This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Leskov, N. S.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ СЕМНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

891.73
L711
ed. 3a
v. 17-20

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ЗАХУДАЛЫЙ РОДЪ.

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

КНЯЗЕЙ ПРОТОЗАНОВЫХЪ.

(Изъ записокъ княжны В. Д. П.)

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

„Родъ проходитъ и родъ приходитъ,
земля же во вѣкъ пребываетъ".
Екклез. I, 4.

СТАРАЯ КНЯГИНЯ И ЕЯ ДВОРЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Родъ нашъ одинъ изъ самыхъ древнихъ родовъ на Руси: всѣ Протозановы по прямой линіи происходятъ отъ первыхъ владѣтельныхъ князей и подъ родовымъ гербомъ нашимъ значится, что онъ намъ не милостью дарованъ, а принадлежитъ «не по грамотѣ». Въ историческихъ разсказахъ о старой Руси встрѣчается не мало именъ нашихъ предковъ и нѣкоторые изъ нихъ воспоминаются съ большимъ одобреніемъ. До Ивана Даниловича Калиты они имѣли свой удѣлъ, а потомъ, потерявъ его, при Иванѣ Третьемъ являются въ числѣ почетныхъ людей Московскаго княжества и остаются на видномъ положеніи до половины царствованія Грознаго. Затѣмъ надъ однимъ изъ нихъ разразилась политическая невзгода и, по обычаямъ того времени, за одного явились въ отвѣтъ всѣ: одни изъ Протозановыхъ казнены, другіе — биты и разосланы въ разныя мѣста. Съ этой поры родъ князей Протозановыхъ надолго исчезаетъ со сцены, и только разъ или два, и то вскользь, при Алексѣѣ Михайловичѣ упоминается въ числѣ «захудалыхъ», но въ правленіе царевны Софіи одинъ изъ этого рода «захудалыхъ князей», князь Леонтій Протозановъ, опять пробился на видъ, и, получивъ въ управленіе одинъ изъ украйныхъ городовъ, сдѣлался «княземъ кормленымъ». Покормился онъ, впрочемъ, такъ неосторожно, что Петръ Великій, довѣдавшись о способѣ его кормленія, отрубилъ ему голову, а животы велѣлъ «поверстать на государя». При этомъ, однако, гнѣвъ государя не былъ не-

ренесенъ съ отца на дѣтей, а напротивъ, старшій сынъ казненнаго, Яковъ Леонтьевичъ, былъ взятъ для обученія его всѣмъ тогдашнимъ наукамъ. Яковъ Львовичъ (съ этихъ поръ имя Леонтій въ родѣ Протозановыхъ уступаетъ мѣсто имени Левъ) учился въ Россіи, потомъ за границею и, по возвращеніи оттуда, былъ проэкзаменованъ самимъ царемъ, который остался имъ очень доволенъ и оставилъ его при своей особѣ. Яковъ Львовичъ оказался столь удобнымъ для исполненія различныхъ предначертаній Петровыхъ, что государь отмѣтилъ его своимъ особеннымъ вниманіемъ и повелѣ его отъ чести къ почести, не забывая при этомъ поправлять и его родовую «захудалость». Петръ, однако, не сдѣлалъ нашего прадѣда богачомъ, а именно только вывелъ его изъ «захудалости». Самъ же князь Яковъ Львовичъ не умѣлъ вознаграждать себя: онъ, какъ говорили въ то время, «заразился глупостью Лефорта», то-есть пренебрегалъ способами къ самовознагражденію, а потому и не разбогатѣлъ. Такова была его жизнь до самаго воцаренія Анны Ивановны, когда Яковъ Львовичъ попался на глаза Бирону, не понравился ему и вслѣдъ затѣмъ быстро очутился въ ссылкѣ за Оренбургомъ.

Въ ссылкѣ князь Яковъ Львовичъ, по отеческому завѣту, обратился *къ смиренію*: онъ даже никогда не жаловался на «Нѣмца», а весь погрузился въ чтеніе религіозныхъ книгъ, съ которыми не успѣлъ познакомиться въ юности: велъ жизнь созерцательную и строгую и прослылъ мудрецомъ и праведникомъ.

Князь Яковъ Львовичъ въ моихъ глазахъ прелестное лицо, открывающее собою рядъ чистыхъ и глубоко для меня симпатичныхъ людей въ нашемъ родѣ. Вся жизнь его свѣтла какъ кристаллъ и поучительна какъ сказаніе, а смерть его исполнена какой-то прелестной, умиряющей таинственности. Онъ умеръ безъ всякихъ мученій на свѣтлый день Христова Воскресенья, послѣ обѣдни, за которою самъ читалъ Апостолъ. Возвратясь домой, онъ разговѣлся со всѣми ссыльными и не ссыльными, которые пришли его поздравить, и потомъ сѣлъ читать положенное въ этотъ день всепрощающее поученіе Іоанна Богослова и, при окончаніи чтенія, на послѣднемъ словѣ нагнулся къ книгѣ и *уснулъ*. Кончину его никакъ нельзя назвать смертью: это

именно было успеніе, за которымъ пошелъ вѣчный сонъ праведника.

Въ тотъ же день къ вечеру на имя ссыльнаго былъ доставленъ пакетъ, возвѣщавшій ему прощеніе и возвращеніе, дарованныя волей воцарившейся императрицы Елисаветы: но все это уже опоздало. Князь Яковъ былъ разрѣшенъ небесною властью ото всѣхъ узъ, которыми вязала его власть земная.

Прабабушка наша, Пелагея Николаевна, схоронивъ мужа, вернулась въ Россію съ однимъ пятнадцатилѣтнимъ сыномъ, а моимъ прадѣдомъ, княземъ Левушкой.

Князь Левушка родился въ ссылкѣ и тамъ же получилъ весь грунтъ своего начальнаго воспитанія непосредственно отъ своего отца, отъ котораго въ замѣчательной степени наслѣдовалъ его превосходныя качества. Вступивъ на службу въ царствованіе Екатерины Второй, онъ не сдѣлалъ себѣ блестящей карьеры, какую ему по началу пророчили. Бабушка моя, княгиня Варвара Никаноровна, говорила о немъ, что «онъ, по тогдашнему времени, былъ не къ масти козырь, презиралъ искательства и слишкомъ любилъ добродѣтель». Лѣтъ въ тридцать съ небольшимъ князь Яковъ Львовичъ вышелъ въ отставку, женился и навсегда засѣлъ въ деревнѣ надъ Окой и жилъ тихою помѣщичьею жизнью, занимаясь въ сторонѣ отъ свѣта чтеніемъ, опытами надъ электричествомъ и записками, которыя писалъ неустанно.

Стараніе этого «чудака» совсѣмъ устранить себя отъ двора и уйти какъ можно далѣе отъ свѣта, съ которымъ онъ не сошелся, увѣнчались для него полнымъ успѣхомъ: о немъ всѣ позабыли, но въ семьѣ нашей онъ высоко чтимъ и преданія о немъ живы о сю пору.

Я съ ранняго моего дѣтства имѣла о князѣ Львѣ Яковлевичѣ какое-то величественное, хотя чрезвычайно краткое представленіе. Бабушка моя, княгиня Варвара Никаноровна, отъ которой я впервые услыхала его имя, вспоминала своего свекра не иначе какъ съ улыбкою совершеннѣйшаго счастья, но никогда не говорила о немъ много, это точно считалось святыней, которой нельзя раскрывать до обнаженія.

Въ домѣ было такъ принято, что если какъ-нибудь въ разговорѣ кто-нибудь случайно упоминалъ имя князя Льва

Яковлевича, то всѣ сію же минуту принимали самый серьезный видъ и считали необходимымъ умолкнуть. Точно старались дать время пронестись звуку священнаго семейнаго имени, не сливая его ни съ какимъ звукомъ иного житейскаго слова.

И вотъ тогда-то, въ эти паузы, бабушка Варвара Никаноровна обыкновенно, бывало, всѣхъ обводила глазами, какъ бы благодаря взглядомъ за уваженіе къ свекру, и говорила:

— Да, чистый былъ человѣкъ, совершенно чистый! Онъ въ случаѣ не былъ и фавору не имѣлъ—его даже недолюбливали, но... его уважали.

И это всегда произносилось старою княгиней одинаково, съ повтореніемъ, при которомъ она употребляла для усиленія выразительности одинъ и тотъ же жестъ.

— Онъ фавору не имѣлъ, — повторяла она, помахивая предъ собою вытянутымъ указательнымъ пальцемъ правой руки.—Нѣтъ, не имѣлъ, но...—Тутъ она круто оборачивала свой палецъ внизъ и со строгимъ выраженіемъ въ лицѣ оканчивала,—но его уважали, и за то не терпѣли.

За этимъ опять шла минута молчанія, послѣ которой бабушка, понюхавъ щепотку табаку изъ жалованной Маріею Ѳеодоровной золотой табакерки, или заговаривала о чемъ-нибудь вседневномъ, или нѣсколько пониженнымъ тономъ добавляла о свекрѣ своемъ слѣдующее:

— Онъ, покойникъ, ни съ кѣмъ не ссорился... Нѣтъ, пріятныхъ императрицѣ людей онъ не критиковалъ и грубости никому не оказывалъ, но ни съ графомъ Валеріаномъ, ни съ княземъ Платономъ домами знакомъ не былъ... Когда нужно было, когда такъ выходило, что они на куртагахъ встрѣчались, онъ имъ кланялся... Понимаете... Какъ должно по этикету... для courtoisie поклонится и отойдетъ; но руки не подавалъ и въ домъ не ѣздилъ. Къ разнымъ бѣднымъ людямъ ѣздилъ и ихъ у себя принималъ, а къ тѣмъ не ѣздилъ; это для нихъ, можетъ-быть, ничего и не значило, а только онъ не ѣздилъ и такъ и въ отставку вышелъ и въ деревню удалился: такъ и умеръ, а всегда говорилъ: «для того, чтобы другіе тебя уважали, прежде самъ въ себѣ человѣка уважай», и онъ въ себѣ человѣка уважалъ, какъ немногіе уважаютъ.

Это говорилось уже давно: послѣдній разъ, что я слы-

шала отъ бабушки эту тираду, было въ сорокъ восьмомъ году, съ небольшимъ за годъ до ея смерти, и я должна сказать, что, слушая тогда ея укоризненное замѣчаніе о томъ, что «такъ немногіе въ себѣ человѣка уважаютъ», я, при всемъ моемъ тогдашнемъ младенчествѣ, понимала, что вижу предъ собою одну изъ тѣхъ, которая умѣла себя уважать.

О ней теперь я и постараюсь записать, что̀ сохранила моя память.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Бабушка Варвара Никаноровна происходила изъ самаго незнатнаго рода: она была «мелкая дворянка», по фамиліи Честунова. Бабушка отнюдь не скрывала своего скромнаго происхожденія, напротивъ, даже любила говорить, что она у своего отца съ матерью въ дѣтствѣ индюшекъ стерегла, но при этомъ всегда объясняла, что «скромный родъ ея былъ хоть тихенькій, но честный и фамилія Честуновы имъ недаромъ досталась, а приросла отъ народнаго прозванія».

Отецъ княгини Варвары Никаноровны былъ очень бѣдный помѣщикъ, убогія поля котораго примыкали къ межамъ князя Льва Яковлевича. Мать бабушкина была очень добрая женщина и большая хозяйка, прославившаяся необыкновеннымъ умѣньемъ дѣлать яблочныя зефирки, до которыхъ жена князя Льва Яковлевича была страстная охотница. На этомъ княгиня и бѣдная дворянка заинтересовались другъ другомъ и, встрѣтясь въ церкви, познакомились, а потомъ, благодаря деревенской скукѣ, скоро сошлись и, наконецъ, нѣжно подружились.

Князь Левъ Яковлевичъ былъ этому чрезвычайно радъ, но онъ находилъ невозможнымъ, чтобы бѣдная дворянка бывала у его жены какъ будто какая-нибудь пришлая, не на равной ногѣ. «Черезъ это люди не будутъ знать какъ ее понимать», разсудилъ онъ, и тотчасъ же надѣлъ свой отставной полковничій мундиръ и регаліи и отправился изъ своего Протозанова въ деревню Дранку съ визитомъ къ бабушкиному отцу.

Въ бѣдныхъ хибарахъ мелкаго сошки всѣ перепугались наѣзда такого важнаго гостя, самъ старикъ Честуновъ едва рѣшился вылѣзть къ князю изъ боковуши въ ни-

зенькую комнату, исправлявшую должность зальцы, но черезъ какіе-нибудь полчаса это все измѣнилось: неравенство исчезло, князь обласкалъ Честунова, обдарилъ прислугу и вернулся домой, привезя рядомъ съ собой въ коляскѣ самого дворянина, а на колѣняхъ его пятилѣтнюю дочку, изъ которой потомъ вышла моя бабушка, княгиня Варвара Никаноровна Протозанова, нѣкогда замѣчательная придворная красавица, пользовавшаяся всеобщимъ уваженіемъ и расположеніемъ императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Честуновы сдѣлались въ домѣ прадѣда своими людьми, а бабушка выросла и воспиталась въ Протозановскомъ домѣ. Ее тамъ чему-то учили, хотя я никогда не могла составить себѣ понятія о ея учености. Она безъ науки знала все, что̀ ей нужно было знать, умѣла всякое дѣло поставить предъ собой такъ, чтобъ обнять его со всѣхъ сторонъ и уразумѣть яснымъ пониманіемъ его смыслъ и значеніе. Изученіемъ же она знала, кажется, только Священное Писаніе, да французскій языкъ. Но зато что̀ она знала, то знала въ совершенствѣ и изъ Священнаго Писанія любила приводить тексты, а по-французски говорила безукоризненно, но только въ случаѣ крайней въ томъ необходимости.

У князя Льва Яковлевича было два сына: Дмитрій и Левъ. Изъ нихъ Дмитрій на девятнадцатомъ году утонулъ, купавшись въ жару въ холодномъ озерѣ, отчего съ нимъ въ водѣ сдѣлались судороги, а князь Левъ Львовичъ на восемнадцатомъ году влюбился въ Варвару Никаноровну, которая, по ея собственнымъ словамъ, въ четырнадцать лѣтъ «была довольно авантажна». Другіе же, напримѣръ, старые люди изъ прислуги княгини, дворецкій ея, Патрикѣй Семенычъ, и горничная, Ольга Ѳедотовна, выражались на этотъ счетъ гораздо рѣшительнѣе; они говорили, что «неописанной красотѣ бабушки и мѣры не было». Это же какъ нельзя болѣе подтверждаетъ и висящій теперь предо мной ея большой портретъ, работы извѣстнаго Лампи. Портретъ писанъ во весь ростъ, масляными красками, и представляетъ княгиню въ то время, когда ей было всего двадцать лѣтъ. Княгиня представлена высокою, стройною брюнеткой, съ большими, ясными голубыми глазами, чистыми, добрыми и необыкновенно умными. Общее выраженіе лица ласковое, но твердое и самостоятельное.

Опущенная книзу рука съ букетомъ изъ бѣлыхъ розъ и выступающая однимъ носочкомъ ботинки ножка даютъ фигурѣ мягкое и царственное движеніе. Глядя на этотъ портретъ, я не могу себѣ представить, какъ пылкій и восторженный юноша, какимъ описываютъ моего покойнаго дѣда, могъ не влюбиться въ эту очаровательницу? Притомъ же онъ почти выросъ съ нею подъ однимъ кровомъ, онъ зналъ ея умъ, доброту, благородство ея мыслей и ту утонченную деликатность, которая приковывала къ ней всѣхъ, кто имѣлъ истинное счастіе знать ее. Къ тому же, эта прелестная дѣвушка въ самые ранніе годы своей юности вдругъ совсѣмъ осиротѣла и, оставаясь одна на всемъ свѣтѣ, по самому своему положенію внушала къ себѣ сочувствіе и какъ бы по повелѣнію самой судьбы дѣлалась естественнымъ членомъ семьи призрѣвшихъ ее князей Протозановыхъ. Старики Протозановы такъ на это и смотрѣли, и когда сынъ ихъ Левъ Львовичъ, получивъ чинъ въ гвардіи, пріѣхалъ изъ Петербурга на побывку домой съ тѣмъ же пламенемъ любви къ сироткѣ, съ какимъ четыре года тому назадъ уѣхалъ, то они только обрадовались, что это чувство, выдержавъ испытаніе, остается прочнымъ. А когда молодой князь рѣшился просить ихъ о позволеніи жениться на Честуновой, то они сказали ему, что лучшей себѣ невѣстки, а ему жены, и не предвидѣли. Тутъ же у нихъ былъ отслуженъ благодарственный молебенъ и затѣмъ ихъ перевѣнчали и вскорѣ же, не успѣвъ нарадоваться ихъ молодымъ счастіемъ, отпустили ихъ въ Петербургъ.

Года не прошло послѣ этой свадьбы, какъ старики, одинъ вслѣдъ за другимъ, сошли въ могилу, оставивъ бабушку, Варвару Никаноровну, съ ея мужемъ полными наслѣдниками всего состоянія, хотя не особенно богатаго, но, однако, довольно ихъ обезпечивающаго.

Заботливостью полюбившей и взявшей Варвару Никаноровну подъ свое крыло императрицы средства Протозановыхъ были вскорѣ сильно увеличены: дѣдъ получилъ въ подарокъ майоратъ и населенныя земли изъ старыхъ отписныхъ имѣній и сталъ богатымъ человѣкомъ. Имъ очень везло. Большое уже въ это время состояніе ихъ вскорѣ еще увеличилось самымъ неожиданнымъ образомъ: во-первыхъ, къ нимъ перешли, по наслѣдству, обширныя имѣнія одного

дальняго ихъ родственника, нѣкогда ограбившаго ихъ предковъ и не имѣвшаго теперь, помимо дѣда, никакихъ другихъ ближайшихъ наслѣдниковъ, а во-вторыхъ, въ старомъ Протозановскомъ лѣсу за Озерною нашли драгоцѣнный кладъ: маленькую пушку, набитую жемчугомъ и монетой, и, вѣроятно, спрятанную кѣмъ-то въ землю отъ разбойниковъ.

Дѣда, любившаго жить пышно, это очень обрадовало, но бабушка, къ удивленію многихъ, приняла новое богатство, какъ Поликратъ свой возвращенный моремъ перстень. Она какъ бы испугалась этого *счастья* и прямо сказала, что это однимъ людямъ сверхъ мѣры. Она имѣла предчувствіе, что за слѣпымъ счастіемъ пойдутъ бѣды.

Однако шли года, никакое несчастіе не приходило: дѣдушка служилъ очень удачно, дѣтей у нихъ было немного: одинъ сынъ и дочь, княжна Настасья Львовна. Эту единственную свою дочь бабушка, въ угожденіе императрицѣ, но противъ своего желанія, должна была записать въ институтъ, и это было для нея первымъ толчкомъ горя въ ея двери. Сынъ, нынѣшній дядя мой, князь Яковъ Львовичъ, былъ гораздо моложе сестры и былъ прекрасный мальчикъ. Словомъ, все было хорошо, но во всемъ этомъ счастіи и удачахъ бабушка Варвара Никаноровна все-таки не находила покоя: ее мучили предчувствія, что вслѣдъ за всѣмъ этимъ невдалекѣ идетъ бѣда, въ которой должна быть испытана ея сила и терпѣніе. Предчувствіе это, перешедшее у нея въ какую-то глубокую увѣренность, ее не обмануло: одновременно съ тѣмъ, какъ благополучнымъ теченіемъ катилось ея для многихъ завидное житье, тѣмъ же теченіемъ наплывалъ на нее и Поликратовъ перстень. Противъ дѣда и жены его, взысканныхъ всѣми милостями рока, поднималась мелкая зависть, которая зорко слѣдила за пониженіемъ уровня ихъ значенія и, наконецъ, дождалась времени, вполнѣ благопріятнаго для того, чтобы съ ними перевѣдаться. Это созрѣло какъ разъ предъ открытіемъ французской кампаніи, въ которую дѣдушка вступилъ съ своимъ полкомъ и былъ замѣчательно несчастливъ: въ какомъ дѣлѣ онъ ни участвовалъ, непріятель разбивалъ его самымъ роковымъ образомъ.

Бабушка, еще вращавшаяся тогда въ высшихъ кружкахъ, чувствовала, что ея мужу измѣняетъ фортуна, что

онъ входитъ въ немилость, и не стала лавировать и поправлять интригами падающее положеніе, а, разставшись равнодушно со свѣтомъ, уѣхала къ себѣ въ Протозаново съ твердою рѣшимостью не выѣзжать оттуда.

Обстоятельства такъ сложились, что это рѣшеніе ея стало крѣпко.

Ольга Ѳедотовна, живая хроника, изъ которой я черпаю многія сказанія, касающіяся моего семейства, передавала мнѣ объ этомъ тягостнѣйшемъ періодѣ бабушкиной жизни слѣдующее. Я запишу это словами ея же собственной рѣчи, которую точно теперь слышу.

— Мы пріѣхали-то,—говорила добрая старушка,—такъ тогда домъ былъ совсѣмъ запущенъ. Лѣтъ десять вѣдь никто въ него не заглядывалъ, онъ хоть и крѣпкій былъ, а все сталъ на видъ упадать. Княгиня Варвара Никаноровна и говорятъ: «надо поправить». Мастера и свои, и чужіе были, — ради спѣшки вольныхъ изъ Орла привезли. Княгиня все торопились, потому что словно она ждала какого послѣдняго несчастія надъ дѣдинькой, и хотя сама въ то время въ тягостяхъ была (ожидаемый ребенокъ былъ мой отецъ), но все ходила и настаивала, чтобы скорѣе домъ былъ отдѣланъ. Сами мы всѣ жили въ трехъ комнаткахъ, а для князя она все хотѣла, чтобы весь домъ въ парадѣ былъ, и дума ея сіятельства была такая, что если его еще будетъ преслѣдовать несчастіе, то чтобъ онъ нашелъ какой-нибудь способъ объясниться съ главнокомандующимъ или государю бы все отъ чистаго сердца объяснилъ и вышелъ въ отставку. Я это все знала, потому что княгиня вѣдь со мною, если у нихъ было что на сердцѣ тягостное, все говорили, и тогда, хотя я еще и молоденькая, даже противъ нихъ, дѣвочка была, а они отъ меня не скрывали.

— Я, говоритъ,—Ольга, такъ рѣшила, что лишь бы онъ здоровъ сюда пріѣхалъ, а то ужъ мы отсюда никуда не поѣдемъ. Такъ здѣсь и будемъ жить, какъ свекоръ съ свекровью жили, а то они, эти не понимающіе справедливости и воли Божіей люди, его замучатъ.

Я, разумѣется, успокаивала ихъ и отвѣчала:

— Да, что вы, говорю,—матушка, ваше сіятельство, объ этомъ еще рано такъ много думаете; вѣдь это еще все, Богъ дастъ, можетъ-быть, совсѣмъ иначе пойдетъ и князь,

Господь дастъ, такую побѣду одержатъ, что цѣлое королевство возьмутъ.

А она меня перебиваетъ:

— Молчи, говорятъ, — Ольга, не говори вздора: я не напрасно безпокоюсь, а я это такъ чувствую. Господь мнѣ такъ много счастія далъ, какого я не стоила... ну, что же; а теперь, — изволятъ говорить, — если Ему меня испытать угодно, такъ сердце мое готово.

Я тутъ изъ усердія имъ глупое слово и скажи:

— За что̀ же, говорю, — Онъ станетъ васъ испытывать: развѣ вы кому зло какое-нибудь сдѣлали?

А онѣ и разсердились:

— Ну, въ такомъ разѣ, говорятъ, — отойди лучше отъ меня прочь...

— За что̀ же, говорю, — ваше сіятельство: вы меня простите!

— Да Богъ тебя проститъ, отвѣчаютъ,—но только я не люблю друга-потаковщика, а лучше люблю друга-стрѣчника, и ты мнѣ соблазнъ. Развѣ, благая отъ Бога принимая, злого я не должна безъ ропота стерпѣть? Нѣтъ; ты уйди скорѣе отъ меня: я лучше одна съ моею покорностью хочу остаться!

И прогнали меня съ глазъ, а сами, вижу, вошли въ спальню и на *пріедьо* стали. А я въ обидѣ на себя, что княгиню такъ огорчила, прошла поскорѣе чрезъ дѣвичью, чтобы прочія дѣвушки меня не видали, потому что была разстроена, и выскочила, да и стала на вѣтерку, на крылечкѣ. Этакое волненіе на меня нашло, что плачу, точно вблизъ самой себя что̀ ужасное чувствую, а оно такъ и было. Всплакнула я разъ-два и вдругъ всего черезъ одну короткую минуту времени отнимаю отъ глазъ платочекъ и предо мною, смотрю, за кладовыми, за угломъ, стоитъ Патрикѣй Семенычъ и меня потихоньку рукою къ себѣ манитъ. Я какъ его увидала, такъ и затрепетала всѣмъ тѣломъ своимъ и ноги у меня подкосились, потому что знала, что этого быть не можетъ, такъ какъ Патрикѣй Семенычъ съ княземъ находился. Откудова же это онъ могъ сюда прямо съ войны взяться? Вѣрно, думаю, его тамъ въ сраженіи убили, онъ мнѣ здѣсь какъ стѣнь и является, и опять на него взглянула и вижу, что и онъ на меня смотритъ: я вскрикнула и какъ стояла, такъ назадъ и пова-

лилась, потому что все думаю, что это мертвецъ. Но онъ намѣсто того сейчасъ же ко мнѣ подбѣжалъ, подхватилъ меня рукою и шепчетъ:

— Ахъ, что же такое, говоритъ,—Ольга Ѳедотовна, что же дѣлать... полноте!

А я... какъ это услыхала, такъ сердце у меня какъ у зайца и забилось.

— Какъ, говорю,—«что же дѣлать», а гдѣ князь?

А онъ этакъ головою на грудь наклонилъ и отвѣчаетъ:

— Не пугайтесь, говоритъ, — князь приказалъ всѣмъ долго жить; а я одинъ, говоритъ, съ письмомъ его пріѣхалъ, да вотъ уже часа четыре все за кладовыми хожу, васъ изъ-за угла высматриваю: не выйдете ли, чтобы посовѣтываться, какъ легче объ этомъ княгинѣ доложить.

Не знаю ужъ я, матушка, что̀ бъ я ему на это сказала, потому что у меня отъ этихъ его словъ рѣшительно даже никакого послѣдняго ума не стало, но только какъ мы это разговариваемъ, а наверху, слышу, надъ самыми нашими головами окошко шибко распахнулось, и княгиня этакимъ прихриплымъ голосомъ изволитъ говорить:

— Патрикѣй! чего ты тамъ стоишь: иди ко мнѣ сейчасъ!

Я, это-то услыхавши, ну, думаю: ну, теперь все пропало, потому что знаю, какая она въ сердцѣ огненная и какъ она князя любила, и опять этакая еще она молодая и неопытная, да и въ тягости. Ну, думаю, кончено: все сразу собралось и аминь: послалъ ей Господь это такое испытаніе, что она его и не вынесетъ. И послѣ этого я ни за что за Патрикѣемъ вслѣдъ не хотѣла идти. Думаю: онъ все-таки сильный человѣкъ, мужчина, свѣта много видѣлъ и перенесть можетъ, пусть какъ знаетъ, такъ ей докладываетъ, а я не пойду, пока она вскрикнетъ и упадетъ, а тогда я и вбѣжу и водой ее сбрызну, и платье отпущу. Ну, какъ Патрикѣй Семенычъ на крыльцѣ перекрестился и пошелъ, и я всю эту трусость съ себя сбросила и не утерпѣла, постояла одну минуточку и тоже за нимъ побѣжала, думаю: ежели что̀ съ нею, съ моей голубушкой, станется, такъ ужъ пусть при мнѣ: вмѣстѣ умремъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Прибѣжала я въ ея комнату съ Патрикѣемъ Семеновичемъ почти за-разъ: онъ только что вошелъ и у дверей у

порога сталъ, а она идетъ отъ окна вся какъ платъ блѣдная, я уже ясно вижу, что она, сердечная, все поняла. Подошла она молча къ голубому помпадуру, что̀ посерединѣ комнаты стоялъ, толкнула его немножко ножкою въ сторону и сѣла какъ разъ супротивъ Патрикѣева лица.

Мнѣ и Патрикѣя-то Семеныча смерть жаль, и ея-то жаль, и не знаю куда дѣться, просто, кажется, сквозь земь бы провалилась и мычусь какъ угорѣлая, сама не знаю за что̀ взяться. А княгиня посмотрѣла на меня и говоритъ:

— Перестань вертѣться! что ты?

Я говорю:

— Я, ваше сіятельство, вашъ ридикюль ищу.

А она мнѣ ни слова больше, а только махнула головкою: дескать, стань на мѣсто. Я скорѣе за помпадуръ и юркнула, и чтобы мнѣ не видать Патрикѣева лица, гляжу ей въ темя, а она вдругъ изволитъ къ Патрикѣю Семенычу обращаться:

— Ну, приказываетъ, говори, какъ все дѣло было?

Тутъ самая жуткость настала. Патрикѣй Семенычъ, какъ и со мною у нихъ было, головою понурилъ и губа у него одна по другой хлябаетъ, а никакой молви нѣтъ. А княгиня, сколь ей, вижу, ни тяжело, подняла на него все лицо и говоритъ:

— Ну, что же это, Патрикѣй! сговорились вы, что ли, всѣ меня нынче съ ума свести? Говори все, я тебѣ приказываю!

Патрикѣй вскрикнулъ:

— Матушка! я не могу, да въ ноги ей и грохнулся, и отъ полу лица не поднимаетъ.

Въ комнатѣ-то этакій свѣтъ вечерній, солнце садится, въ бокъ все краснымъ обливаетъ, а у меня даже въ глазахъ стало темно и вижу, что княгиня, какъ не своею силой съ помпадура встала и къ самой головѣ Патрикѣя Семеныча подошла и говоритъ:

— Патрикѣй! я этого не люблю: ты съ чѣмъ пришелъ, то долженъ сдѣлать. Живъ князь?

А Патрикѣй Семенычъ, не поднимая лица отъ пола, ей отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, ваше сіятельство, князя нашего нѣтъ въ живыхъ.

Она брови наморщила и за сердце рукой взялась. Я ей

сейчасъ воды, — хлебнула и назадъ подала, а сама спрашиваетъ:

— Своею смертью окончилъ или бѣдой какой?

Патрикѣй отвѣчаетъ:

— Въ сраженіи убитъ.

Княгиня оглянулась на образъ, перекрестилась и опять сѣла въ помпадуръ, потому что ноги ей, видно, плохо служили, и велѣла Патрикѣю все въ соблюденіи мелко разсказывать.

Ну, тогда Патрикѣй, видя, что она въ себѣ уже такую силу выдержала, всталъ и началъ смѣлѣе и такой его разсказъ былъ:

— Несчастіе, говоритъ, — ихъ сіятельство преслѣдовало ужасное: куда они ни вступятъ—все пораженіе, да пораженіе, и письма они стали получать изъ Петербурга ужасныя. Прочитаютъ, бывало, волосы на себѣ рвутъ, такъ что даже смотрѣть на нихъ страшно; а потомъ даже вовсе этихъ писемъ распечатывать не стали. Какъ почта получится, они ваши письма отберутъ, прочитаютъ и къ себѣ на грудь къ сердцу положатъ, а тѣ мнѣ приказываютъ всѣ въ огонь бросать. Такъ мѣсяца два шло, а въ счастіи никакой перемѣны нѣтъ, и вдругъ одинъ разъ приходитъ къ нимъ въ палатку адъютантъ, разстроенный, весь блѣдный, и говоритъ имъ что-то по-французски, робко и несмѣло, а должно-быть самое непріятное.

А князь весь даже побагровѣлъ да вдругъ какъ крикнетъ на него по-русски:

— Какъ вы смѣли мнѣ это передать!

Тотъ ему отвѣчаетъ:

— Простите, говоритъ,—ваше сіятельство, я это, ей-Богу, изъ преданности... потому, говоритъ, — это всѣ говорятъ, и я, говоритъ, опасаюсь, чтобы въ неосторожную минуту свои офицеры противъ васъ...

Но князь не далъ ему это кончить и опять какъ крикнетъ:

— Къ чорту, говоритъ,—убирайтесь отъ меня съ этакою вашею преданностью и товарищамъ вашимъ то же самое отъ меня скажите; а если кто думаетъ, что я измѣнникъ, тотъ пусть завтра отъ меня не отстаетъ, а кто отстанетъ — тотъ клеветникъ и подлецъ.

И такъ онъ разсердился, что ни на что не похожъ былъ, и не раздѣлся, и въ кровать не легъ, а все въ шинели по

палаткѣ всю ночь проходилъ и черный кофо пилъ. Въ три часа ночи приказъ далъ солдатамъ коней сѣдлать и чтобы тихо такъ, чтобы ничего не слышно было, потому что непріятель у насъ совсѣмъ въ виду за балкой стоялъ. Пока люди сѣдлаютъ, а я ему умываться подаю, а онъ все велитъ себѣ воду съ ледкомъ на голову лить, а самъ все ее ловитъ горстьми; глотаетъ, и самъ молитву «Живый въ помощи» читаетъ, — молится, а видъ у него совершенно потерянный. Начали они въ боевое платье одѣваться, а я имъ помогаю: берусь имъ саблю подвязывать, да вдругъ хлопъ... на земь ее и уронилъ.

Знаю, въ другое время они бы за это грозно разсердились и ужасно бы что̀ могли сдѣлать, а тутъ только вздрогнули и говорятъ:

— Ахъ, Патрикѣй, что̀ ты сдѣлалъ.

Я, говоритъ, шепчу:

— Виноватъ, ваше сіятельство.

А онъ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, это не ты виноватъ, а это злая рука у тебя изъ рукъ вышибла. Прощай же, говоритъ,—чувствую, что я нынче своей головы изъ битвы не вынесу.

Патрикѣй Семонычъ заплакалъ и говоритъ:

— Что̀ вы, ваше сіятельство, Богъ милостивъ.

А онъ отвѣчаетъ:

— То-то и есть, что Онъ милостивъ: Онъ брани не любитъ и взявшаго мечъ мечомъ наказуетъ, но я упрямый человѣкъ,—мнѣ легче умереть, чѣмъ безчестье переносить, а ты, если меня убьютъ, возьми это письмо и ступай къ княгинѣ: тутъ все писано, а что̀ послѣ писаннаго станется, про то ты самъ скажешь.

Патрикѣй имъ и осмѣлился доложить, что я, говоритъ, ваше сіятельство, лучше со свѣта сбѣгу, а не буду этого княгинѣ докладывать, потому какъ они этого не вынесутъ.

А князь имъ тутъ же на послѣдяхъ «дурака» сказали и говорятъ:

— Тебѣ или мнѣ больше дано мою княгиню знать? Не смѣй разсуждать, что̀ она вынесетъ, а исполняй, что̀ тебѣ приказываю, и съ этимъ изъ палатки выходить сталъ.

А Патрикѣй, видя, что онъ это все какъ предсмертное приказаніе ему передаетъ, догналъ и спрашиваетъ:

— А что же, ваше сіятельство, если такъ, то дѣтямъ какое накажете благословеніе?

Князь остановился, но потомъ только рукой махнулъ:

— Богъ ихъ, говоритъ, — благословитъ, а все, что имъ нужно, мать преподастъ.

Патрикѣй же вдругъ вдосталь сталъ все разспрашивать:

— Батюшка, ваше сіятельство, простите мое слово: княгинюшка молода, мысли ихъ будутъ въ Божьей власти: онѣ могутъ раннимъ вдовствомъ отяготиться и пожелать замужъ выйти.

Такъ отъ этого слова князь, говоритъ, даже весь въ лицѣ потемнѣлъ, но тихо отвѣтилъ:

— Все равно, она дѣтей не забудетъ, я въ ней увѣренъ. — И съ этимъ, говоритъ, ногу въ стремя поставилъ, поцѣловалъ, нагнувшись съ коня, Патрикѣя и сказалъ ему: — Поцѣлуй руку у княгини, и съ тѣмъ повелъ полкъ въ атаку и, по предсказанію своему, живой съ поля не возвратился.

Зарубились они въ рать непріятельскую въ самую средину и все кричали: «всѣ за мной, всѣ за мной!» но только мало было въ этомъ случаѣ смѣлыхъ охотниковъ за нимъ слѣдовать, кромѣ одного трубача! Тотъ одинъ изо всѣхъ и видѣлъ, какъ дѣдъ бился, пока его самого на части изрубили. Жестоко израненный трубачъ выскочилъ и привезъ съ собой князеву голову, которую Патрикѣй обмылъ, уложилъ въ дорожный берестяный туезъ и схоронилъ въ глубокой ямкѣ подъ замѣтнымъ крушиннымъ кустомъ.

Какъ Патрикѣй кончилъ это печальное сказаніе, такъ бабушка, по словамъ Ольги Ѳедотовны, встала и позвала его къ своей рукѣ, какъ то ему завѣщалъ покойный князь, и затѣмъ сама его въ голову поцѣловала и сквозь глубокихъ и обильныхъ слезъ выговорила:

— Благодарю и цѣню, и по гробъ не забуду, и съ этимъ вышла въ образную.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Не было съ княгиней Варварой Никаноровной ни обморока, ни истерики, а на другой день она велѣла служить въ своей церкви по мужѣ заупокойную обѣдню, къ которой приказала быть всѣмъ крестьянамъ ближнихъ селъ, ихъ старостамъ, бурмистрамъ и управителю. Ольга Ѳедотовна

разсказывала, что бабушка, стоя за обѣднею у клироса, даже мало плакала. Она, вѣроятно, успѣла вдоволѣ выплакаться, оставаясь всю ночь въ своей образной, и теперь не хотѣла, чтобъ ее видѣлъ кто-нибудь слабою и слезливою. Она даже не разъ обращала вниманіе ктитора на подтаявавшія мелкія свѣчи желтаго воска, которыя ставили къ кануну за упокой князя крестьяне, а потомъ сама послѣ панихиды скушала первую ложку кутьи и положила одно зерно съ нея въ ротикъ сына, котораго держала на рукахъ нянька, одѣтая въ черное траурное платье.

Послѣ обѣдни, по обычаю, былъ столъ духовенству, за которымъ обѣдалъ и управитель, а крестьянамъ были накрыты особые большіе столы на дворѣ, и всѣ помянули князя по предковскому обычаю и подивились тоже предковской силѣ духа молодой княгини.

Однако, молчаливая, но терзающая скорбь, вѣроятно, такъ тяготила и пугала княгиню, что она страшилась мысли оставаться съ нею самъ-на-самъ: бабушка берегла свою *отвагу*, свою душевную бодрость.

Средствомъ для этого она избрала едва ли не самое лучшее изъ всѣхъ средствъ,—именно усиленную дѣятельность. Тотчасъ же послѣ поминовенія усопшаго, бабушка принялась самымъ энергическимъ образомъ за распорядки, въ которыхъ, нимало другъ другу не мѣшая, шли и хозяйственныя мѣропріятія и планы, и заботы о памяти мужа, и объ очисткѣ всѣхъ его нравственныхъ долговъ.

Во-первыхъ, тотчасъ же послѣ заупокойнаго обѣда, въ ея комнату прямо изъ-за стола былъ позванъ Патрикѣй. Бабушка встрѣтила его опять повтореніемъ выраженныхъ ему вчера благодарностей за службу дѣду, а потомъ подала ему составленную ею отпускную и подарила изъ своего отцовскаго наслѣдія пустынку въ тридцать десятинъ за рѣчкою Дранкою.

Преданный Патрикѣй возропталъ противъ этого и сталъ энергически отказываться, но бабушка принудила его молчать, сказавъ, что все это нужно для нея, такъ какъ: «неблагодарность тягчитъ сердце человѣка».

Вслѣдъ за симъ она приказала тому же Патрикѣю, отдохнувъ, немедленно ѣхать засвидѣтельствовать эту вольную и потомъ, во что бы то ни стало, гдѣ онъ хочетъ, разыскать и привезти ей трубача, раздѣлявшаго съ опасность

въ его послѣднемъ бою. А сама взялась за хозяйство: она потребовала изъ конторы всѣ счеты и отчеты, и безпрестанно призывала старостъ и бурмистровъ, — во все входила, обо всемъ освѣдомилась и всѣмъ показала, что у нея и въ тяжкой горести недреманное око.

— Мать,—говорили крестьяне:—горе горюетъ, а дѣтское добро бережетъ.

Межъ тѣмъ отъѣхавшему Патрикѣю предстояла нелегкая задача отыскать израненнаго солдата, путь котораго, за выходомъ его въ отставку, былъ бабушкиному послу неизвѣстенъ. Къ тому же, Патрикѣй, который недаромъ пользовался довѣріемъ князя и княгини, потому что онъ былъ уменъ, находчивъ и сообразителенъ, здѣсь на первыхъ же шагахъ обличилъ совсѣмъ несвойственное ему крайнее легкомысліе и вѣтреность. На другой же день послѣ его отъѣзда, лакейчонки, начавъ убирать переднюю, нашли въ ящикѣ, въ столѣ, тщательно обернутую бумагу, по разсмотрѣніи которой конторщикомъ она оказалась Патрикѣевой вольною. Онъ долженъ былъ захватить ее съ собою и завезти въ палату, а между тѣмъ... бросилъ, какъ «даръ напрасный, даръ случайный».

Когда эту вольную представили княгинѣ,—она только улыбнулась и сказала:

— Этотъ человѣкъ истинный другъ мнѣ, и тотчасъ же велѣла конторщику ѣхать засвидѣтельствовать отпускную и потомъ положить ее опять въ то же самое мѣсто, гдѣ ее оставилъ Патрикѣй, и никогда ему объ этомъ не сказывать. Все это такъ и было исполнено.

Эта историческая для насъ вольноотпускная Патрикѣя Семеныча Сударичева, хранящаяся нынче въ семейномъ архивѣ дяди, князя Якова Львовича, такъ и пролежала близъ сорока лѣтъ въ ящикѣ, куда положилъ ее Патрикѣй и откуда никогда не хотѣлъ ее вынуть.

Межъ тѣмъ прошло около трехъ мѣсяцевъ, о самомъ княгининомъ послѣ не было ни слуху, ни духу, и вдругъ онъ возвратился, и не одинъ, а съ кѣмъ ему было сказано.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ольга Ѳедотовна, доходя въ своихъ разсказахъ до этого событія, всегда впадала въ какой-то смѣшанный траги-комическій тонъ повѣствованія. Трагическое тутъ всегда при-

надлежало бабушкѣ, а комическое—трубачу, котораго мѣсяца черезъ три послѣ своего отъѣзда привезъ Патрикѣй Семенычъ. Я запишу этотъ разсказъ такъ, какъ его слышала изъ устъ самой пѣстуньи бабушкиной старости и моего дѣтства.

— Бабинька-то тутъ все еще продолжала задавать себѣ трудъ за трудомъ,—начинала, бывало, Ольга Ѳедотовна.— Трудъ за трудомъ, голубушка моя, такъ на себя и хватала, такъ и захапывала на свои молодыя ручки, чтобъ онѣ у нея поскорѣе уставали, такъ время и прошло. Со смерти князя-то шелъ уже седьмой мѣсяцъ, а ея тягости девятый исполнялся. Въ эту-то пору, въ самую весеннюю ростепель, Патрикѣй Семенычъ съ трубачомъ и воротился. По правдѣ сказать: было кого столько времени по всему свѣту искать... И привезъ-то его Патрикѣй Семенычъ изъ-подъ Грайворона, и самъ-то онъ назывался Грайворона, и все, что̀ онъ, бывало, ни сдѣлаетъ, изо всего у него выходила одна грайворона. Былъ онъ изъ хохловъ,—солдатище этакой, какъ верблюдъ огромнѣйшій и нескладный, какъ большое корыто, въ какихъ прачки за большою стиркою бѣлье синятъ, и вдобавокъ былъ весь синеватый, изрубленный; по всему лицу у него крестъ-на-крестъ страшенные шрамы перекрещивались, а одна бакенбарда совсѣмъ на особомъ на отрубленномъ кускѣ росла и не знать, какъ она у него при рожѣ и держалась. Словомъ, такой красавецъ, что безъ привычки смотрѣть на него было страшно, или, лучше того сказать, можно было его по ярмаркамъ возить да за деньги по грошу показывать.

Княгиня его сейчасъ къ себѣ потребовала и долго, молча, на эти его рубцы и шрамы, что̀ по всему лицу шли, смотрѣла, точно сосчитать ихъ хотѣла: сколько онъ, талагай, ихъ въ смертномъ бою за дѣдиньку получилъ, а потомъ тихо его спрашиваютъ:

— Какъ тебя звать?

— Петро Грайворона, говоритъ, — ваше сыятелство!— И все это такимъ густымъ басомъ, что какъ изъ бочки содитъ.

Княгиня и продолжаютъ:

— Ты изъ хохловъ, что ли?

— Точно такъ, говоритъ, — ваше сыятелство: я изъ хохловъ.

— Что же ты... за что ты особенно моего мужа любилъ?

— Никакъ нѣтъ, говоритъ, — ваше сыятелство, въ особину не любилъ.

— Этакій дуракъ,—хохлище безмозглый былъ!—обыкновенно, смѣясь, восклицала, бывало, прерывая разсказъ, Ольга Ѳедотовна:—въ службѣ былъ, а рѣшительно никакой политики не могъ сохранить, что кстати, что некстати, все, бывало, какъ думаетъ, такъ и ляпнетъ!

Княгиня изволятъ продолжать:

— Какъ же такъ: если ты, говорятъ, — особенно его не любилъ, то почему же ты его въ очевидной смерти не бросилъ, когда отъ него всѣ отстали?

— Командиръ, говоритъ, — ваше сыятелство: командира нельзя бросить, на то крестъ цѣловалъ.

Ну, и вотъ грубость да откровенность его эта княгинѣ понравилась: она ему тутъ головкой кивнула и ласково говоритъ:

— А-а, такъ вотъ ты какой! Это хорошо, честно.

А онъ вкратцѣ ей по-своему отвѣчаетъ:

— Точно такъ, ваше сыятелство!—и что разъ отвѣтитъ, выкрикнетъ, то еще больше въ струну по-полковому вытягивается, такъ что даже нога объ ногу кожаной подшивкой на панталонахъ скрипитъ.

Княгиня изволятъ его благодарить.

— Ну, во всякомъ разѣ, говорятъ,—ты добрый человѣкъ, что ко мнѣ пріѣхалъ.

— Никакъ нѣтъ, отвѣчаетъ,—я ослушаться не смѣлъ.

— Почему же ты меня не смѣлъ ослушаться?

— Вы командирша, говоритъ,—ваше сыятелство.

— А-а,—отвѣчаетъ княгиня:—это хорошо!—и сами улыбаются,—ты, значитъ, теперь послѣ мужа ко мнѣ подъ команду поступаешь?

— Точно такъ, ваше сыятелство.

— Ну, такъ отвѣчай же своей командиршѣ: много ли у тебя какого роду-племени?

— Никого, говоритъ, — у меня не осталось ни роду, ни племени: я за сиротство и въ солдаты отданъ.

— Ну, назови мнѣ добрыхъ людей, которымъ бы ты за ихъ добродѣтель чѣмъ-нибудь пособить хотѣлъ.

— Никогда, говоритъ,—я добрыхъ людей, ваше сыятелство, не бачивалъ.

палаткѣ всю ночь проходилъ и черный кофе пилъ. Въ три часа ночи приказъ далъ солдатамъ коней сѣдлать и чтобы тихо такъ, чтобы ничего не слышно было, потому что непріятель у насъ совсѣмъ въ виду за балкой стоялъ. Пока люди сѣдлаютъ, а я ему умываться подаю, а онъ все велитъ себѣ воду съ ледкомъ на голову лить, а самъ все ее ловитъ горстьми; глотаетъ, и самъ молитву «Живый въ помощи» читаетъ, — молится, а видъ у него совершенно потерянный. Начали они въ боевое платье одѣваться, а я имъ помогаю: берусь имъ саблю подвязывать, да вдругъ хлопъ... на земь ее и уронилъ.

Знаю, въ другое время они бы за это грозно разсердились и ужасно бы что̀ могли сдѣлать, а тутъ только вздрогнули и говорятъ:

— Ахъ, Патрикѣй, что̀ ты сдѣлалъ.

Я, говоритъ, шепчу:

— Виноватъ, ваше сіятельство.

А онъ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, это не ты виноватъ, а это злая рука у тебя изъ рукъ вышибла. Прощай же, говоритъ,—чувствую, что я нынче своей головы изъ битвы не вынесу.

Патрикѣй Семенычъ заплакалъ и говоритъ:

— Что̀ вы, ваше сіятельство, Богъ милостивъ.

А онъ отвѣчаетъ:

— То-то и есть, что Онъ милостивъ: Онъ брани не любитъ и взявшаго мечъ мечомъ наказуетъ, но я упрямый человѣкъ,—мнѣ легче умереть, чѣмъ безчестье переносить, а ты, если меня убьютъ, возьми это письмо и ступай къ княгинѣ: тутъ все писано, а что̀ послѣ писаннаго станется, про то ты самъ скажешь.

Патрикѣй имъ и осмѣлился доложить, что я, говоритъ, ваше сіятельство, лучше со свѣта сбѣгу, а не буду этого княгинѣ докладывать, потому какъ они этого не вынесутъ.

А князь имъ тутъ же на послѣдяхъ «дурака» сказали и говорятъ:

— Тебѣ или мнѣ больше дано мою княгиню знать? Не смѣй разсуждать, что̀ она вынесетъ, а исполняй, что̀ тебѣ приказываю, и съ этимъ изъ палатки выходить сталъ.

А Патрикѣй, видя, что онъ это все какъ предсмертное приказаніе ему передаетъ, догналъ и спрашиваетъ:

— А что же, ваше сіятельство, если такъ, то дѣтямъ какое накажете благословеніе?

Князь остановился, но потомъ только рукой махнулъ:

— Богъ ихъ, говоритъ, — благословитъ, а все, что имъ нужно, мать преподастъ.

Патрикѣй же вдругъ вдосталь сталъ все разспрашивать:

— Батюшка, ваше сіятельство, простите мое слово: княгинюшка молода, мысли ихъ будутъ въ Божьей власти: онѣ могутъ раннимъ вдовствомъ отяготиться и пожелать замужъ выйти.

Такъ отъ этого слова князь, говоритъ, даже весь въ лицѣ потемнѣлъ, но тихо отвѣтилъ:

— Все равно, она дѣтей не забудетъ, я въ ней увѣренъ. — И съ этимъ, говоритъ, ногу въ стремя поставилъ, поцѣловалъ, нагнувшись съ коня, Патрикѣя и сказалъ ему: — Поцѣлуй руку у княгини, и съ тѣмъ повелъ полкъ въ атаку и, по предсказанію своему, живой съ поля не возвратился.

Зарубились они въ рать непріятельскую въ самую средину и все кричали: «всѣ за мной, всѣ за мной!» но только мало было въ этомъ случаѣ смѣлыхъ охотниковъ за нимъ слѣдовать, кромѣ одного трубача! Тотъ одинъ изо всѣхъ и видѣлъ, какъ дѣдъ бился, пока его самого на части изрубили. Жестоко израненный трубачъ выскочилъ и привезъ съ собой князеву голову, которую Патрикѣй обмылъ, уложилъ въ дорожный берестяный туезъ и схоронилъ въ глубокой ямкѣ подъ замѣтнымъ крупиннымъ кустомъ.

Какъ Патрикѣй кончилъ это печальное сказаніе, такъ бабушка, по словамъ Ольги Ѳедотовны, встала и позвала его къ своей рукѣ, какъ то ему завѣщалъ покойный князь, и затѣмъ сама его въ голову поцѣловала и сквозь глубокихъ и обильныхъ слезъ выговорила:

— Благодарю и цѣню, и по гробъ не забуду, и съ этимъ вышла въ образную.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Не было съ княгиней Варварой Никаноровной ни обморока, ни истерики, а на другой день она велѣла служить въ своей церкви по мужѣ заупокойную обѣдню, къ которой приказала быть всѣмъ крестьянамъ ближнихъ селъ, ихъ старостамъ, бурмистрамъ и управителю. Ольга Ѳедотовна

разсказывала, что бабушка, стоя за обѣднею у клироса, даже мало плакала. Она, вѣроятно, успѣла вдоволь выплакаться, оставаясь всю ночь въ своей образной, и теперь не хотѣла, чтобъ ее видѣлъ кто-нибудь слабою и слезливою. Она даже не разъ обращала вниманіе ктитора на подтаявшія мелкія свѣчи желтаго воска, которыя ставили къ кануну за упокой князя крестьяне, а потомъ сама послѣ панихиды скушала первую ложку кутьи и положила одно зерно съ нея въ ротикъ сына, котораго держала на рукахъ нянька, одѣтая въ черное траурное платье.

Послѣ обѣдни, по обычаю, былъ столъ духовенству, за которымъ обѣдалъ и управитель, а крестьянамъ были накрыты особые большіе столы на дворѣ, и всѣ помянули князя по предковскому обычаю и подивились тоже предковской силѣ духа молодой княгини.

Однако, молчаливая, но терзающая скорбь, вѣроятно, такъ тяготила и пугала княгиню, что она страшилась мысли оставаться съ нею самъ-на-самъ: бабушка берегла свою *отвагу*, свою душевную бодрость.

Средствомъ для этого она избрала едва ли не самое лучшее изъ всѣхъ средствъ,—именно усиленную дѣятельность. Тотчасъ же послѣ поминовенія усопшаго, бабушка принялась самымъ энергическимъ образомъ за распорядки, въ которыхъ, нимало другъ другу не мѣшая, шли и хозяйственныя мѣропріятія и планы, и заботы о памяти мужа, и объ очисткѣ всѣхъ его нравственныхъ долговъ.

Во-первыхъ, тотчасъ же послѣ заупокойнаго обѣда, въ ея комнату прямо изъ-за стола былъ позванъ Патрикѣй. Бабушка встрѣтила его опять повтореніемъ выраженныхъ ему вчера благодарностей за службу дѣду, а потомъ подала ему составленную ею отпускную и подарила изъ своего отцовскаго наслѣдія пустынку въ тридцать десятинъ за рѣчкою Дранкою.

Преданный Патрикѣй возроптал противъ этого и сталъ энергически отказываться, но бабушка принудила его молчать, сказавъ, что все это нужно для нея, такъ какъ: «неблагодарность тягчитъ сердце человѣка».

Вслѣдъ за симъ она приказала тому же Патрикѣю, отдохнувъ, немедленно ѣхать засвидѣтельствовать эту вольную и потомъ, во что бы то ни стало, гдѣ онъ хочетъ, разыскать и привезти ей трубача, раздѣлявшаго съ дѣдомъ опасность

въ его послѣднемъ бою. А сама взялась за хозяйство: она потребовала изъ конторы всѣ счеты и отчеты, и безпрестанно призывала старостъ и бурмистровъ,—во все входила, обо всемъ освѣдомилась и всѣмъ показала, что у нея и въ тяжкой горести недреманное око.

— Мать,—говорили крестьяне:—горе горюетъ, а дѣтское добро бережетъ.

Межъ тѣмъ отъѣхавшему Патрикѣю предстояла нелегкая задача отыскать израненнаго солдата, путь котораго, за выходомъ его въ отставку, былъ бабушкиному послу неизвѣстенъ. Къ тому же, Патрикѣй, который недаромъ пользовался довѣріемъ князя и княгини, потому что онъ былъ уменъ, находчивъ и сообразителенъ, здѣсь на первыхъ же шагахъ обличилъ совсѣмъ несвойственное ему крайнее легкомысліе и вѣтреность. На другой же день послѣ его отъѣзда, лакейчонки, начавъ убирать переднюю, нашли въ ящикѣ, въ столѣ, тщательно обернутую бумагу, по разсмотрѣніи которой конторщикомъ она оказалась Патрикѣевой вольною. Онъ долженъ былъ захватить ее съ собою и завезти въ палату, а между тѣмъ... бросилъ, какъ «даръ напрасный, даръ случайный».

Когда эту вольную представили княгинѣ,—она только улыбнулась и сказала:

— Этотъ человѣкъ истинный другъ мнѣ, и тотчасъ же велѣла конторщику ѣхать засвидѣтельствовать отпускную и потомъ положить ее опять въ то же самое мѣсто, гдѣ ее оставилъ Патрикѣй, и никогда ему объ этомъ не сказывать. Все это такъ и было исполнено.

Эта историческая для насъ вольноотпускная Патрикѣя Семеныча Сударичева, хранящаяся нынче въ семейномъ архивѣ дяди, князя Якова Львовича, такъ и пролежала близъ сорока лѣтъ въ ящикѣ, куда положилъ ее Патрикѣй и откуда никогда не хотѣлъ ее вынуть.

Межъ тѣмъ прошло около трехъ мѣсяцевъ, о самомъ княгининомъ послѣ не было ни слуху, ни духу, и вдругъ онъ возвратился, и не одинъ, а съ кѣмъ ему было сказано.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ольга Ѳедотовна, доходя въ своихъ разсказахъ до этого событія, всегда впадала въ какой-то смѣшанный траги-комическій тонъ повѣствованія. Трагическое тутъ всегда при-

надлежало бабушкѣ, а комическое—трубачу, котораго мѣсяца черезъ три послѣ своего отъѣзда привезъ Патрикѣй Семенычъ. Я запишу этотъ разсказъ такъ, какъ его слышала изъ устъ самой пѣстуньи бабушкиной старости и моего дѣтства.

— Бабинька-то тутъ все еще продолжала задавать себѣ трудъ за трудомъ,—начинала, бывало, Ольга Ѳедотовна.— Трудъ за трудомъ, голубушка моя, такъ на себя и хватала, такъ и захапывала на свои молодыя ручки, чтобъ онѣ у нея поскорѣе уставали, такъ время и прошло. Со смерти князя-то шелъ уже седьмой мѣсяцъ, а ея тягости девятый исполнялся. Въ эту-то пору, въ самую весеннюю ростепель, Патрикѣй Семенычъ съ трубачомъ и воротился. По правдѣ сказать: было кого столько времени по всему свѣту искать... И привезъ-то его Патрикѣй Семенычъ изъ-подъ Грайворона, и самъ-то онъ назывался Грайворона, и все, что онъ, бывало, ни сдѣлаетъ, изо всего у него выходила одна грайворона. Былъ онъ изъ хохловъ,—солдатище этакой, какъ верблюдъ огромнѣйшій и нескладный, какъ большое корыто, въ какихъ прачки за большою стиркою бѣлье синятъ, и вдобавокъ былъ весь синеватый, изрубленный; по всему лицу у него крестъ-на-крестъ страшенные шрамы перекрещивались, а одна бакенбарда совсѣмъ на особомъ на отрубленномъ кускѣ росла и не знать, какъ она у него при рожѣ и держалась. Словомъ, такой красавецъ, что безъ привычки смотрѣть на него было страшно, или, лучше того сказать, можно было его по ярмаркамъ возить да за деньги по грошу показывать.

Княгиня его сейчасъ къ себѣ потребовала и долго, молча, на эти его рубцы и шрамы, что по всему лицу шли, смотрѣла, точно сосчитать ихъ хотѣла: сколько онъ, талагай, ихъ въ смертномъ бою за дѣдиньку получилъ, а потомъ тихо его спрашиваютъ:

— Какъ тебя звать?

— Петро Грайворона, говоритъ, — ваше сыятелство!— И все это такимъ густымъ басомъ, что какъ изъ бочки содитъ.

Княгиня и продолжаютъ:

— Ты изъ хохловъ, что ли?

— Точно такъ, говоритъ, — ваше сыятелство: я изъ хохловъ.

— Что же ты... за что ты особенно моего мужа любилъ?

— Никакъ нѣтъ, говоритъ, — ваше сыятелство, въ особину не любилъ.

— Этакій дуракъ,—хохлище безмозглый былъ!—обыкновенно, смѣясь, восклицала, бывало, прерывая разсказъ, Ольга Ѳедотовна:—въ службѣ былъ, а рѣшительно никакой политики не могъ сохранить, что кстати, что некстати, все, бывало, какъ думаетъ, такъ и ляпнетъ!

Княгиня изволятъ продолжать:

— Какъ же такъ: если ты, говорятъ, — особенно его не любилъ, то почему же ты его въ очевидной смерти не бросилъ, когда отъ него всѣ отстали?

— Командиръ, говоритъ, — ваше сыятелство: командира нельзя бросить, на то крестъ цѣловалъ.

Ну, и вотъ грубость да откровенность его эта княгинѣ понравилась: она ему тутъ головкой кивнула и ласково говоритъ:

— А-а, такъ вотъ ты какой! Это хорошо, честно.

А онъ вкратцѣ ей по-своему отвѣчаетъ:

— Точно такъ, ваше сыятелство!—и что разъ отвѣтитъ, выкрикнетъ, то еще больше въ струну по-полковому вытягивается, такъ что даже нога объ ногу кожаной подшивкой на панталонахъ скрипитъ.

Княгиня изволятъ его благодарить.

— Ну, во всякомъ разѣ, говорятъ,—ты добрый человѣкъ, что ко мнѣ пріѣхалъ.

— Никакъ нѣтъ, отвѣчаетъ,—я ослушаться не смѣлъ.

— Почему же ты меня не смѣлъ ослушаться?

— Вы командирша, говоритъ,—ваше сыятелство.

— А-а,—отвѣчаетъ княгиня:—это хорошо!—и сами улыбаются,—ты, значитъ, теперь послѣ мужа ко мнѣ подъ команду поступаешь?

— Точно такъ, ваше сыятелство.

— Ну, такъ отвѣчай же своей командиршѣ: много ли у тебя какого роду-племени?

— Никого, говоритъ, — у меня не осталось ни роду, ни племени: я за сиротство и въ солдаты отданъ.

— Ну, назови мнѣ добрыхъ людей, которымъ бы ты за нхъ добродѣтель чѣмъ-нибудь пособить хотѣлъ.

— Никогда, говоритъ,—я добрыхъ людей, ваше сыятелство, не бачивалъ.

Княгиня удивились и говорятъ:

— Какъ: неужто ты во всю жизнь ни одного добраго человѣка не видалъ?

— Точно такъ, говоритъ, — еще никогда ни одного не видалъ.

— Неужели же, говорятъ,—у тебя и въ полку любимаго товарища не было?

— Никакъ нѣтъ, отвѣчаетъ, — ни одного не было: меня въ полку всѣ «хохломъ» дразнили.

— Ну, такъ хохлы-то твои, вѣрно, тебя въ деревнѣ любили?

— Никакъ нѣтъ, ваше сыятелство, — они меня, какъ я вернулся, стали «москалемъ» звать и выгнали.

— Куда же они тебя и за что выгнали?

— Такъ, сказали: — ступай вонъ, чтобъ у насъ здѣсь твоего московьскаго духу не было.

— Ну, а кто же тебя принялъ?

— Слѣпой Игнатъ принялъ.

— Ну, такъ, стало-быть, этотъ слѣпой Игнатъ былъ добрый человѣкъ?

— Никакъ нѣтъ, ваше сыятелство, — онъ самый подлюга и есть: онъ меня пьянымъ напоилъ да хотѣлъ мнѣ кипяткомъ глаза выварить, чтобы вдвоемъ слѣпые пѣть станемъ, такъ больше подавать будутъ. Одинъ Господь спасъ, что я на ту пору проснулся, такъ и побилъ его.

Княгиня даже задумалась и потомъ говорятъ:

— Экой ты какой... ничего съ тобой не сообразишь! и, обратясь къ Патрикѣю Семенычу, изволили приказать, чтобъ отдать ихъ именемъ управителю приказаніе послать за этого Грайворону въ его село на бѣдныхъ пятьсотъ рублей, а въ церковь, гдѣ онъ крещенъ, заказать серебряное паникадило въ два пуда вѣсу, съ большимъ яблокомъ, и чтобы по этому яблоку видная надпись шла, что оно отъ солдата Петра Грайворона, который до смертнаго часа не покинулъ въ сѣчи командира своего князя Льва Протозанова. «Это я, говорятъ, такъ хочу, чтобы въ селѣ помнили, что подъ сею паникадилою былъ крещенъ честный человѣкъ, а что русскіе князья доблесть чествуютъ».

А солдатище-то, это услыхавши, весь просіялъ: стоитъ и зубы скалитъ. Такъ ему весело, что онъ и всю субординацію свою, дуракъ, позабылъ: корчится отъ смѣха и присѣдаетъ, да ручищами въ колѣни хватается.

И княгиня, глядя на него, что онъ такъ киснетъ со смѣху, и сами разсмѣялися, и говорятъ:

— Чего же ты смѣешься? Вѣрно, тебѣ это не нравится?

А онъ отвѣчаетъ:

— Это, говоритъ, — ваше сыятелство, очень что прекрасно, потому что имъ отъ этого никогда въ носъ неучкнетъ; что этотъ паникадилъ для меня горѣть будетъ, а не для праздника.

Ну, такъ ужъ и я разсмѣялась и даже Патрикѣй Семенычъ, на что былъ человѣкъ серьезный, такъ и онъ тоже на грудь лицо опустилъ и улыбнулся. А княгиня, разумѣется, изо всего этого ясно усмотрѣла, что̀ она такое есть эта Грайворона, и сейчасъ вышли на минуту съ Патрикѣемъ въ другую комнату и спрашиваютъ:

— Что̀ онъ, кажется, пьющій?

Патрикѣй отвѣчаетъ:

— Очень, говоритъ,—ваше сіятельство, пьющій.

Княгиня пожалѣли.

— Экая, изволила сказать,—жалость! Намъ—я вижу, никакъ нельзя его навѣкъ устроить, его надо у насъ дома сберечь.

Патрикѣй отвѣчаетъ:

— Это какъ вашему сіятельству будетъ угодно.

А княгиня вышли опять въ залъ и говорятъ Грайворонѣ:

— Ну, слушай команду.

— Радъ, говоритъ,—стараться.

— Я тебѣ приказываю оставаться у меня.

— Радъ стараться!

— Будешь жить на всемъ на готовомъ.

— Радъ стараться!

— И платье, говорятъ,—и обувь, и пищу дамъ, и хозяйство устрою, и по три рубля денегъ въ мѣсяцъ на табакъ будешь получать,—только осторожнѣй кури и трубку куда попало съ огнемъ не суй, а то деревню сожжешь.

Она это ему причитаетъ, а онъ, точно индюкъ на посвистъ, оретъ: радъ стараться!

— А водки,—княгиня спрашиваетъ,—сколько ты любишь употреблять?

— Не могу знать, говоритъ, — ваше сыятелство. Я ее еще до̀-сыта никогда не пилъ.

— Ну, такъ тебѣ отъ меня положеніе будетъ три стакана въ день пить; довольно это?

— Но могу знать, ваше сыятелство, а только я три стакана всегда могу пить.

— Ну, и на здоровье.

— Всегда здоровъ буду, ваше сыятелство.

Княгиня опять на него посмотрѣла и сказала: — «Экой какой», и отпустили его и сейчасъ же взялись всѣ свои на его счетъ обѣщанія исполнять.

Въ церковь его паникадилъ былъ заказанъ, въ село бѣднымъ деньги посланы, да и еще слѣпому тому злому въ особину на его долю десять рублей накинуто, чтобы добрѣй былъ, а Грайворону тутъ дома мало чуть не однодворцемъ посадили: дали ему и избу со свѣтелкой, и корову, и овецъ съ бараномъ, и свинью, и мѣсячину, а водка ему всякій день изъ конторы въ бутылкѣ отпускалась, потому что на весь мѣсяцъ нельзя было давать: всю сразу выпивалъ. Но всѣ эти заботы о немъ онъ ни во что обращалъ: бутылки этой, отъ княгини положенной, ему мало было, и онъ все, что могъ, отъ себя въ казенное село въ кабакъ тащилъ, но во хмелю былъ очень смирный. Придетъ, бывало, домой, у своей пустой избы на порожкѣ сядетъ и сидитъ, только какъ сычъ глаза выпялитъ и водитъ ими, а ничего не видитъ. Скажутъ ему:

— Гляди ты, чудакъ, до чего ты допился: вѣдь у тебя уже въ глазахъ и свѣту нѣтъ.

А онъ чуть внятно проворочаетъ:

— А на что мнѣ, говоритъ, — въ глазахъ свѣтъ, когда за меня паникадило свѣтитъ,—и съ тѣмъ копырнется и тутъ же и спитъ на порогѣ.

Какъ о немъ ни заботились, чтобъ отучить его отъ этой слабости, и Патрикѣй Семенычъ, и сама княгиня, ничего ему не помогало. Княгиня вдобавокъ къ прежней о немъ заботѣ стала говорить:

— Онъ, можетъ-быть, скучаетъ; не женить ли его на какой доброй женщинѣ, чтобъ его берегла?

Такъ онъ отвѣчалъ:

— Никакъ нѣтъ, ваше сыятелство: я къ семейству неспособенъ. Я въ себѣ кавалерскій характеръ имѣю и всякой женщинѣ очень скоро наскучить могу.

Ну, однимъ словомъ, никуда, болванъ, не годился!

Но княгиня вѣдь ужъ была такая, что если она за котораго человѣка возьмется, чтобъ его спасать, то уже тутъ

что про него кто сй ни говори, и что онъ самъ сй худого ни сдѣлай, она его ни за что не броситъ. Такъ было и съ этой, прости меня Господи, съ Грайвороной: что онъ, нелѣпый, сй ни досаждалъ, она все терпѣла и виду не показывала, что надокучилъ. На пьяныхъ людей была первая ненавистница и во всѣхъ имѣніяхъ у насъ это знали и никто мало-мальски выпивши носу на улицу не смѣлъ показать, а Грайворона, бывало, идетъ, шатается, солдатская шапка блиномъ на затылкѣ, руки безобразно въ карманы засунетъ и весь разхрыстанный. Тьфу, даже смотрѣть мерзко, а она, взглянувъ на него, только жалостно поморщится и скажетъ Патрикѣю:

— Уберите его несчастнаго!

За то же и онъ ее, голубушку, чуть шутя со свѣта не убралъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

— Обстоятельство это было такое смѣшное, да не мало и страшное,—продолжала Ольга Ѳедотовна,—а заключалось оно въ томъ, что, храни Богъ, если бы тогда бабиньку Господь не помиловалъ, такъ и тебя бы на свѣтѣ не было, потому что это все произошло при рожденіи твоего отца, князя Дмитрія, всего на второй день. Бабинька лежала тогда въ своей спальнѣ, въ нижнемъ этажѣ, окна въ садъ темно-зеленой тафтой завѣшены. Мы сидимъ,—я да вторая надо мною была горничная Ѳеклуша,—такую тишину блюдемъ, что даже дыханіе утаиваемъ, а Грайворона напился пьянъ и, набивши порохомъ старый мушкетъ, подкрался подъ княгинины окна и выпалилъ. Сдѣлалъ онъ это въ тѣхъ цѣляхъ, «чтобы, говоритъ, командирова новорожденнаго сына какъ должно по военному артикулу поздравить». Но такъ съ пьяныхъ-то глазъ съ излишкомъ пороху переложилъ, что весь мушкетъ у него въ рукахъ разлетѣлся и ему самому всю рожу опалило и большой палецъ на рукѣ оторвало. Этакъ онъ самого себя поздравилъ, а съ княгиней отъ страшнаго перепуга долгій обморокъ сдѣлался, потомъ же, какъ въ себя изволили придти, сейчасъ спрашиваютъ:

— Что это такое было? чего я испугалась?

Я говорю:

— Ничего, матушка, все, слава Богу, цѣло и хорошо.

— Да что же такое именно?

— Что же, говорю,—кромѣ какъ Грайвороны глупости,— и разсказываю ей, что этотъ талагай сдѣлалъ и съ какимъ намѣреніемъ.

А княгиня мнѣ отвѣчаетъ:

— А вотъ видишь, говорятъ, — вы все меня увѣряете, что онъ глупъ. Вы всѣ на него нападаете, а онъ вѣрный человѣкъ. Прикажи, говорятъ,—ему сейчасъ отъ меня стаканъ вина поднести и поблагодарить.

Все бы это тѣмъ и кончилось, но тутъ я-то вышла приказанье исполнить, а эта, вторая-то горничная, начала княгинѣ на ея вопросы отвѣчать, да и брякнула, что Грайворонѣ мушкетъ палецъ оторвалъ и лицо опалилъ.

Княгиня растревожилась:

— Ахъ, онъ бѣдный, говоритъ,—отвезти его сейчасъ къ лѣкарю, чтобы помогъ.

Однако, къ лѣкарю Грайворону не посылали, потому что онъ, проспавшись, ни за что о томъ слышать не хотѣлъ.

— Если я ея сыятелству моимъ усердіемъ, говоритъ, — потрафилъ, такъ прочее все пустяки, — и, не долго думая, взялъ овечьи ножницы да самъ себѣ палецъ оторванный совсѣмъ прочь и отстригнулъ.

— А насчетъ рожи, что опалили, говоритъ,—это совсѣмъ не замѣчательно: она, почитай, такая и была; опухъ, говоритъ,—самъ пройдетъ, а тогда она опять вся на своемъ мѣстѣ станетъ.

И она у него, эта его рожа страшная, точно сама зажила, только припалившись еще немножечко будто почернѣе стала, но пить онъ не пересталъ, а только все освѣдомлялся, когда княгиня встанетъ, и какъ узналъ, что бабинька велѣла на балконъ въ голубой гостиной двери отворить, то онъ подъ этотъ день немножко вытрезвился и въ печи мылся. А какъ княгиня сѣли на балконѣ въ кресло, чтобы воздухомъ подышать, онъ проползъ въ большой сиреневый кустъ и оттуда, изъ самой середины, началъ ихъ какъ перепелъ кликать:

— Ваше сыятелство! а ваше сыятелство!

Княгиня его голосъ сейчасъ узнала и говоритъ:

— Это ты, бѣдный Грайворона?

— Точно такъ, говоритъ,—ваше сыятелство, я-съ!

— Гдѣ же ты спрятанъ?

— Я, ваше сыятелство, здѣсь, въ серединѣ, въ кустѣ сижу.

— Явись же сюда ко мнѣ наружу!

— Никакъ нельзя, ваше сыятелство; я не въ порядкѣ.

— Чѣмъ же ты не въ порядкѣ?

— Рожа у меня, ваше сыятелство, очень поганая.

— Рожа поганая? Ну, что дѣлать: выходи, я не пуглива.

Онъ и вылѣзъ... Прелести сказать какъ былъ хорошъ! Сирень-то о ту пору густо цвѣла и молодые эти лиловые букетики ему всю голову облѣпили и за ушами и въ волосахъ вездѣ торчатъ... Точно волшебный Фавна, что на картинахъ пишутъ.

Княгиня поглядѣла на него и говорятъ:

— Что ты, бѣдный: вѣрно все пьешь?

— Точно такъ, говоритъ,—ваше сыятелство,—пью.

— Зачѣмъ же ты не остановишься?

— Да помилуйте, отвѣчаетъ,— когда мнѣ уже мочи нѣтъ—жить очень хорошо. Велите мнѣ какую-нибудь работу работать.

Княгиня его за это одобрили; но ничего ему это не помогло. Никуда неспособный былъ человѣкъ, не тѣмъ онъ будь, покойничекъ, помянутъ. Къ разнымъ его княгиня должностямъ опредѣляли, ни одной онъ не могъ за пьянствомъ исполнить. Въ десятники его ставили, онъ было всѣхъ бабъ перебилъ; въ конюшни опредѣлили, такъ какъ это въ кавалеріи соотвѣтственнѣе, онъ подъ лошадь попалъ, только, слава Богу, подъ смирную: она такъ надъ нимъ всю ночь не двинулась и простояла; тогда его отъ этой опасности въ огуменные старосты назначили, но тутъ онъ сдѣлалъ княгинѣ страшные убытки: весь скирдникъ, на многія тысячи хлѣба трубкой сжегъ. И послѣ этого какъ проспался, да все это понялъ, что надѣлалъ, такъ пошелъ, съ горя, въ казенное село, на ярмарку, да тамъ совсѣмъ и замутился: отлѣпилъ отъ иконы свѣчку въ церкви и началъ при всѣхъ за обѣднею трубку закуривать. Его мужики начали выводить да и помяли. Привезъ его къ намъ на телѣгѣ одинъ тоже чудакъ дворянинъ, Донкихотъ Рогожинъ звался, только, покойникъ, уже плохъ былъ и вздохнуть не могъ. Княгиня ему послали бутылку нашатырнаго спирту, чтобъ онъ хорошенько вытерся, а вдругъ ей до-

кладываютъ, что ему отъ этого еще хуже стало. Княгиня сами къ нему пошли, а уже у него и голосу нѣтъ: всѣ губы почернѣли, а изо рта нашатырь дышитъ.

Княгиня вдругъ ударила себя пальчикомъ въ лобъ и говорятъ мнѣ:

— Ахъ, Ольга, какіе мы съ тобою дуры: вѣдь это онъ вѣрно нашатырь внутрь выпилъ. Спрашиваютъ его:

— Скажи мнѣ, Грайворона, какъ ты моимъ лѣкарствомъ вытерся?

А онъ ей просипѣлъ, что какъ надо, говоритъ, сдѣлалъ,—все изъ бутылочки выпилъ, а бутылочкой себя по всѣмъ мѣстамъ вытеръ.

Значитъ и снутри, и снаружи себя обошелъ... Ну, что же тутъ было дѣлать? Послали скорѣе за докторомъ, а только онъ его ждать не захотѣлъ и къ другому утру кончился, и кончился-съ такъ, какъ бы и всякій ему позавидовалъ: на собственныхъ на княгининыхъ ручкахъ Богу душу отдалъ. И даже какъ это немножко не въ ожиданности, вдругъ пристигло, такъ сама же княгиня ему отходную прочитала и своими руками глаза завела. Вотъ какой отъ хорошей жены и пустому человѣку за мужа почетъ былъ!—добавляла Ольга Ѳедотовна, въ разсказѣ которой о Грайворонѣ всегда звучала нота небольшой раздражительности, которую, однако, напрасно кто-нибудь принялъ бы за неудовольствіе на этого бѣднаго человѣка, или за открытую нелюбовь къ нему. Боже сохрани! Добрѣйшая старушка моя ни къ кому не питала такихъ чувствъ и въ душѣ она очень сожалѣла Грайворону и даже любила его; но... Тутъ нужно было довольно тонкое проникновеніе, чтобы понять: зачѣмъ этотъ какъ бы недовольный тонъ и къ кому именно онъ относится? Ольга Ѳедотовна никогда не могла примириться съ тѣмъ, что бабушка цѣнила поступокъ Грайвороны какъ нѣчто достойное особой похвалы и благодарности, тогда какъ Ольга Ѳедотовна знала, что и она сама, и Патрикѣй, и многіе другіе люди, не разъ, а сто разъ кряду умерли бы за князя и княгиню, и не помыслили бы поставить это себѣ въ заслугу, а только считали бы это за святой долгъ и за блаженство.

Разсказомъ о смерти Грайвороны и о рожденіи моего отца Ольга Ѳедотовна всегда какъ будто заканчивала введеніе въ нашу семейную хронику. За этимъ слѣдовало повѣствованіе объ одинокомъ житьѣ-бытьѣ княгини Варвары Никаноровны

до тѣхъ поръ, пока ей настало время выдать замужъ воспитавшуюся въ Петербургѣ княжну Анастасію Львовну и заняться воспитаніемъ моего отца, но я должна поступить иначе: я должна еще удержаться въ этомъ тихомъ періодѣ ранняго бабушкинаго вдовства для того, чтобы показать облики ея ближайшихъ друзей и очертить характеръ ея дѣятельности за предѣлами дома—въ обществѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Какъ понятно мнѣ то, что Данте разсказываетъ объ одномъ миніатюристѣ XIII вѣка, который, начавъ рисовать изображенія въ священной рукописи, чувствовалъ, что его опытная рука постоянно дрожитъ отъ страха, какъ бы не испортить миніатюрныя фигуры. Въ эти минуты я чувствую то же самое: пока я писала о бабушкѣ и другихъ предкахъ Протозановскаго дома, я не ощущала ничего подобнаго, но когда теперь мнѣ приходится нарисовать на память ближайшихъ бабушкиныхъ друзей, которыхъ княгиня избирала не по роду и общественному положенію, а по ихъ внутреннимъ, ей одной вполнѣ извѣстнымъ преимуществамъ, я чувствую въ себѣ невольный трепетъ. Могу ли я хоть сколько-нибудь отчетливо изобразить симпатичныя, умиляющею теплотой и безмѣрнымъ благородствомъ дышавшія черты этихъ маленькихъ людей?

Первыми друзьями молодого вдовства княгини были два самыя скромныя лица, имена которыхъ я уже упоминала: это Патрикѣй Семенычъ Сударичевъ и Ольга Ѳедотовна, которую я девятнадцать лѣтъ кряду видѣла изо дня въ день, но фамилія которой осталась для меня неизвѣстною. Я даже думаю, что она и сама ее едва ли знала. Оба эти друга княгини были существа очень добрыя, честныя и безъзавѣтно ей преданныя, а притомъ каждый изъ нихъ совершенно по-своему, что зависѣло отъ различія ихъ характеровъ. Патрикѣй Семенычъ имѣлъ умъ довольно глубокій и сосредоточенный, характеръ солидный и даже немножко важный; онъ по натурѣ былъ фанатикъ рабской преданности и твердый консерваторъ старыхъ порядковъ. Ольга же Ѳедотовна имѣла натуру болѣе впечатлительную и нервную: она была быстрѣе Патрикѣя въ своихъ соображеніяхъ и хотя поступала иногда немножко легкомысленно, но зато искупала этотъ недостатокъ тонкимъ женскимъ

чутьемъ, съ которымъ она открывала малѣйшія причины бабушкиныхъ скорбей и умѣла утѣшать ее прежде, чѣмъ основательный Патрикѣй, подперши рукою свое жабо, могъ до чего-нибудь додуматься. Преданность бабушкѣ у Ольги Ѳедотовны была такая же глубокая и страстная, какъ и у Патрикѣя, но въ ней замѣшивалась нѣкоторая нервная раздражительность и нетерпѣливость, благодаря которой она иногда впадала въ критицизмъ, и, возмнивъ себя чѣмъ-нибудь обиженною, начинала плакать и дуться на княгиню. Бабушка это хорошо знала и въ такихъ случахъ обыкновенно говорила:

— Ольга Ѳедотовна! Что̀ это ты, мать моя, кажется, опять на меня за что-то разсердилась? Ну, прости Христа ради.

Ольга Ѳедотовна сейчасъ же по такому поводу проливала слезы и становилась счастливою. Бабушка втайнѣ отъ нея говаривала, что это у нея «такая *пассія*: захочется ей поплакать, она и начнетъ что-нибудь выдумывать, чтобы на меня разсердиться. Я сношу, привыкла и знаю, что она уваженія стоитъ».

Патрикѣй былъ ортодоксальнѣе Ольги въ своей вѣрѣ въ бабушку и потому никогда не согрѣшалъ противъ нея и не зналъ сладости слезъ Петрова покаянія.

Таковы въ главныхъ чертахъ основныя различія характеровъ Патрикѣя и Ольги. Бабушка обоихъ ихъ любила очень сильно, но тоже не совсѣмъ одинаковымъ образомъ: къ Патрикѣю она обнаруживала больше уваженія, а къ Ольгѣ Ѳедотовнѣ больше нѣжности. Княгиня считала ее легкомысленною и тарантою, что было отчасти и справедливо, но непремѣнно любила съ нею ночью поболтать и посовѣтоваться. При простудныхъ же болѣзняхъ, которымъ очень часто подвергалась неосторожная Ольга Ѳедотовна, бабушка сама обтирала ее согрѣтымъ виномъ съ уксусомъ и поила теплою малиной, хотя не забывала при этомъ ворчать:

— Это тебѣ, впрочемъ, и по дѣломъ, потому что ты таранта и любишь летать куда тебѣ не нужно.

А Ольга Ѳедотовна при этомъ цѣловала ручки бабушки и отвѣчала:

— Истинная правда: не столько я вамъ служу, сколько вы за мной ходите.

Патрикѣй былъ лѣтъ на двадцать старше бабушки, а Ольга Ѳедотовна лѣтъ на восемь ея моложе. Она родилась на дворнѣ въ Протозановѣ и дѣвчонкою была отвезена въ Москву, гдѣ училась въ модномъ магазинѣ. Когда бабушка проѣзжала съ мужемъ послѣ свадьбы изъ деревни въ Петербургъ, ей сдѣлали въ этомъ магазинѣ платья. Ольга Ѳедотовна бѣгала къ бабушкѣ «съ примѣркой» и, понравившись княгинѣ за свою миловидность, была взята ею въ Петербургъ.

— Обѣ мы были молоденькія, — разсказывала объ этой порѣ Ольга Ѳедотовна. — Княгиня въ самые большіе дома и во дворецъ выѣзжала, и обо всемъ томъ, кажется, могли наговориться, а бывало, чуть только вернутся, сейчасъ ко мнѣ: раздѣнутся и велятъ себѣ задорную корочку аржаного хлѣба покруче крупной солью насолить и у меня на сундучкѣ сядутъ и начнемъ съ нею про деревню говорить. А если когда князя долго нѣтъ и княгиня скучаютъ, то положутъ предъ собою отъ нетерпѣнія часики съ такою скорою стрѣлкой, — мы ее «тиранъ жизни» прозвали, и обѣ вмѣстѣ, чтобы не заснуть, на эту стрѣлку на «тиранѣ жизни» и смотримъ.

Съ этихъ-то поръ Ольга Ѳедотовна начала «садиться при княгинѣ», сначала только для того, чтобы прогонять вмѣстѣ съ нею сонъ, слѣдя за неустаннымъ движеніемъ «тирана жизни», а потомъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ, когда княгиня предпочитала имѣть предъ собою Ольгу Ѳедотовну болѣе въ качествѣ друга сердца, чѣмъ въ качествѣ слуги.

Со вдовствомъ бабушки отношенія ихъ съ Ольгой Ѳедотовной сдѣлались еще короче, такъ какъ съ этихъ поръ бабушка все свое время проводила безвыѣздно дома. Ольга Ѳедотовна имѣла свѣтлую и уютную комнату между спальнею княгини Варвары Никаноровны и дѣтскою, двери между которыми всегда, и днемъ, и ночью, были открыты, такъ что бабушка, сидя за рабочимъ столикомъ въ своей спальнѣ, могла видѣть и слышать все, что дѣлается въ дѣтской, и свободно переговариваться съ Ольгой Ѳедотовной.

Офиціальное положеніе Ольги Ѳедотовны всегда оставалось одно и то же: то есть она была просто бабушкина горничная, но честь ей шла отъ всѣхъ не въ мѣру этого положенія. Ольгу Ѳедотовну всѣ любили за ея хорошій

нравъ и доброе сердце, и особенно за то, что она никогда ни про кого не сказала княгинѣ ни одного худого слова. Несмотря на свое скромное общественное положеніе, которое казалось еще болѣе незамѣтнымъ отъ личной скромности этой превосходной женщины, она имѣла очень большой кругъ знакомства между лицами высшей общественной среды. Ольгу Ѳедотовну не только знали и величали по имени и отчеству всѣ небогатые дворяне, къ которымъ княгиня отъ времени до времени посылала ее навѣстить больного или отвезти секретное пособіе, но они принимали ее за панибрата и старались у нея заискивать. Это чрезвычайно смущало врожденную скромность Ольги Ѳедотовны, и она прибѣгала къ пособію своего тонкаго такта, чтобъ отстранять эти панибратства. Она садилась у помѣщиковъ только по повторенному приглашенію и то не иначе, какъ въ дѣтской или въ какой-нибудь другой «ненарадной» комнатѣ, чаю позволяла себѣ выпивать изъ рукъ хозяйки не болѣе какъ двѣ чашечки, а если ее гдѣ-нибудь въ чужомъ домѣ застигала ночь, то она или непремѣнно просилась ночевать съ пянюшками, по крайней мѣрѣ ложилась «на стульяхъ». У Ольги Ѳедотовны было убѣжденіе, что спать на стульяхъ гораздо деликатнѣе, чѣмъ лечь на кровати, или хоть на диванѣ: она это и соблюдала.

Короткія пріятельскія связи у Ольги Ѳедотовны были въ другомъ кружкѣ, именно въ духовенствѣ. Къ своимъ приходскимъ священникамъ и къ дьякону она ѣзжала вечеромъ въ воскресенье, въ гости на чашку чая, и въ этомъ же кружкѣ былъ у нея ея единственный сердечный другъ и ея единственная въ жизни любовь,—любовь такая цѣломудренная и ароматная, что я не встрѣчала ничего ей подобнаго ни въ жизни, ни въ описаніяхъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Сказавъ, что *единственный* другъ Ольги Ѳедотовны былъ на Поповкѣ, я должна оговориться, что тутъ нѣтъ съ моей стороны никакой обмолвки насчетъ ея отношеній къ моей бабушкѣ, или къ Патрикѣю. Бабушка считала Ольгу Ѳедотовну своимъ другомъ и Патрикѣй Семенычъ, я думаю, тоже; по крайней мѣрѣ это было видно во всей аттенціи, съ какою относился къ ней этотъ сдержанный, солидный и самообладающій консерваторъ и княжедворецъ, но для

Ольги Ѳедотовны оба они были слишкомъ умны и подавляли ее своимъ величіемъ. Ихъ она благоговѣйно чтила, а для дружбы, требующей равенства, искала существа попроще и нашла его въ лицѣ нѣсколько старшей ея по лѣтамъ дочери слѣпого заштатнаго дьякона Николая. Дьяконъ этотъ, человѣкъ превосходной жизни, давно овдовѣлъ и былъ очень бѣденъ, а къ довершенію своихъ несчастій, онъ, везя лѣтомъ съ поля снопы, ослѣпъ отъ молніи. Съ тѣхъ поръ онъ уже не могъ служить и получалъ отъ бабушки мѣсячину на дворовомъ положеніи. У него было два сына и двѣ дочери: сыновья его обучались въ семинаріи, а дочери росли дома и трудились. Обѣ онѣ были дѣвушки очень хорошія и хорошенькія. О старшей изъ нихъ, именно Марьѣ Николаевнѣ, я должна немножко распространиться, такъ какъ въ ея лицѣ буду рекомендовать третьяго бабушкинаго друга. Я уже сказала, что Марья Николаевна была хороша собою, но хороша тою особенною красотой, которая исключительно свойственна благообразнымъ женщинамъ изъ нашего духовенства. Эта красота тихая, скромная, далекая отъ всякихъ притязаній на какую бы то ни было торжественность, величіе и силу своего обаянія: она задумчива, трогательна, является какъ бы только вмѣстилищемъ заключенной въ ней красоты духовной. О такой красотѣ прекрасно говорилъ восторженный Савонаролла, впрочемъ и наши искусные древніе иконописцы, изображая лики святыхъ мученицъ, умѣли передавать въ ихъ изображеніяхъ эту мерцающую красоту. Марьѣ Николаевнѣ уже давно истекъ тотъ возрастъ, въ которомъ дѣвицы духовнаго званія дѣлаютъ партіи, а младшая еще была въ порѣ, удобной для замужества. Но и у этой бѣдняжки, несмотря на ея пышную красоту въ отличномъ отъ сестры родѣ, жениховъ, однако, не предвидѣлось: она была безприданница, а бѣдное мѣсто сельскаго дьякона на дьячковской части сколько-нибудь стоящаго человѣка не привлекало. Чтобъ удержать отцовское мѣсто, приходилось или одному изъ сыновей оставить семинарію и заступить отца, или младшей сестрѣ выйти за неуча, который отъ некуда дѣться будетъ радъ взять это бѣдное мѣсто въ приданое за хорошенькою женой.

Такъ бы непремѣнно и случилось, если бъ у нея не было старшей сестры, Марьи Николаевны, въ которой обитала

нравъ и доброе сердце, и особенно за то, что она никогда ни про кого не сказала княгинѣ ни одного худого слова. Несмотря на свое скромное общественное положеніе, которое казалось еще болѣе незамѣтнымъ отъ личной скромности этой превосходной женщины, она имѣла очень большой кругъ знакомства между лицами высшей общественной среды. Ольгу Ѳедотовну не только знали и величали по имени и отчеству всѣ небогатые дворяне, къ которымъ княгиня отъ времени до времени посылала ее навѣстить больного или отвезти секретное пособіе, но они принимали ее за панибрата и старались у нея заискивать. Это чрезвычайно смущало врожденную скромность Ольги Ѳедотовны, и она прибѣгала къ пособію своего тонкаго такта, чтобъ отстранять эти панибратства. Она садилась у помѣщиковъ только по повторенному приглашенію и то не иначе, какъ въ дѣтской или въ какой-нибудь другой «ненарадной» комнатѣ, чаю позволяла себѣ выпивать изъ рукъ хозяйки не болѣе какъ двѣ чашечки, а если ее гдѣ-нибудь въ чужомъ домѣ застигала ночь, то она или непремѣнно просилась ночевать съ пянюшками, по крайней мѣрѣ ложилась «на стульяхъ». У Ольги Ѳедотовны было убѣжденіе, что спать на стульяхъ гораздо деликатнѣе, чѣмъ лечь на кровати, или хоть на диванѣ: она это и соблюдала.

Короткія пріятельскія связи у Ольги Ѳедотовны были въ другомъ кружкѣ, именно въ духовенствѣ. Къ своимъ приходскимъ священникамъ и къ дьякону она ѣзжала вечеромъ въ воскресенье, въ гости на чашку чая, и въ этомъ же кружкѣ былъ у нея ея единственный сердечный другъ и ея единственная въ жизни любовь,—любовь такая цѣломудренная и ароматная, что я не встрѣчала ничего ей подобнаго ни въ жизни, ни въ описаніяхъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Сказавъ, что *единственный* другъ Ольги Ѳедотовны былъ на Поповкѣ, я должна оговориться, что тутъ нѣтъ съ моей стороны никакой обмолвки насчетъ ея отношеній къ моей бабушкѣ, или къ Патрикѣю. Бабушка считала Ольгу Ѳедотовну своимъ другомъ и Патрикѣй Семенычъ, я думаю, тоже, по крайней мѣрѣ это было видно во всей аттенціи, съ какою относился къ ней этотъ сдержанный, солидный и самообладающій консерваторъ и княжедворецъ, но для

Ольги Ѳедотовны оба они были слишкомъ умны и подавляли ее своимъ величіемъ. Ихъ она благоговѣйно чтила, а для дружбы, требующей равенства, искала существа попроще и нашла его въ лицѣ нѣсколько старшей ея по лѣтамъ дочери слѣпого заштатнаго дьякона Николая. Дьяконъ этотъ, человѣкъ превосходной жизни, давно овдовѣлъ и былъ очень бѣденъ, а къ довершенію своихъ несчастій, онъ, везя лѣтомъ съ поля снопы, ослѣпъ отъ молніи. Съ тѣхъ поръ онъ уже не могъ служить и получалъ отъ бабушки мѣсячину на дворовомъ положеніи. У него было два сына и двѣ дочери: сыновья его обучались въ семинаріи, а дочери росли дома и трудились. Обѣ онѣ были дѣвушки очень хорошія и хорошенькія. О старшей изъ нихъ, именно Марьѣ Николаевнѣ, я должна немножко распространиться, такъ какъ въ ея лицѣ буду рекомендовать третьяго бабушкинаго друга. Я уже сказала, что Марья Николаевна была хороша собою, но хороша тою особенною красотой, которая исключительно свойственна благообразнымъ женщинамъ изъ нашего духовенства. Эта красота тихая, скромная, далекая отъ всякихъ притязаній на какую бы то ни было торжественность, величіе и силу своего обаянія: она задумчива, трогательна, является какъ бы только вмѣстилищемъ заключенной въ ней красоты духовной. О такой красотѣ прекрасно говорилъ восторженный Савонаролла, впрочемъ и наши искусные древніе иконописцы, изображая лики святыхъ мученицъ, умѣли передавать въ ихъ изображеніяхъ эту мерцающую красоту. Марьѣ Николаевнѣ уже давно истекъ тотъ возрастъ, въ которомъ дѣвицы духовнаго званія дѣлаютъ партіи, а младшая еще была въ порѣ, удобной для замужества. Но и у этой бѣдняжки, несмотря на ея пышную красоту въ отличномъ отъ сестры родѣ, жениховъ, однако, не предвидѣлось: она была безприданница, а бѣдное мѣсто сельскаго дьякона на дьячковской части сколько-нибудь стоящаго человѣка не привлекало. Чтобъ удержать отцовское мѣсто, приходилось или одному изъ сыновей оставить семинарію и заступить отца, или младшей сестрѣ выйти за неуча, который отъ некуда дѣться будетъ радъ взять это бѣдное мѣсто въ приданое за хорошенькою женой.

Такъ бы непремѣнно и случилось, если бъ у нея не было старшей сестры, Марьи Николаевны, въ которой обитала

какая-то необыкновенная душа. Съ той поры, какъ она впервые себя сознала, до тѣхъ поръ, какъ сказала предъ смертью: «Пріими духъ мой», она *никогда не думала о себѣ* и жила для другихъ, а преимущественно, разумѣется, для своей семьи. Рано потерявъ мать, она буквально вынянчила обоихъ братьевъ и сестру, которые всѣ были моложе ея. Когда братьевъ отвезли въ училище, она тринадцатилѣтнею дѣвочкой отпросилась у отца на бывшую верстъ за сто отъ нихъ ковровую фабрику. Богъ вѣсть, какъ она тамъ прожила два года въ сообществѣ фабричныхъ женщинъ, нравы которыхъ не пользуются особеннымъ уваженіемъ. Марью Николаевну это ничто не попортило; она училась, работала и раза два въ годъ набѣгала домой, чтобы провести праздники съ отцомъ и съ братьями, которые приходили объ эту пору пѣшкомъ изъ училища, а особенно съ младшей сестрой, въ которой не слыхала души. Отпраздновавъ нѣсколько дней дома и наладивъ все, что безъ нея въ домашнемъ хозяйствѣ приходило въ разстройство, Марья Николаевна опять отправлялась пѣшкомъ за сто верстъ на свою фабрику; пока, наконецъ, въ концѣ второго года явилась оттуда веселая и счастливая съ кулькомъ основы, узоровъ и шерстей, и, поставивъ въ свѣтломъ углу бѣдной горницы ткацкій станъ, начала дома ткать ковры уже какъ опытная мастерица. Этимъ рукомесломъ она внесла въ домъ довольство и счастіе, какихъ семья еще никогда не знала. Будучи прекрасною мастерицей, Марья Николаевна получала съ фабрики матеріалъ и заказы и, исполняя однѣ работы, отвозила ихъ и забирала новыя. Дѣло шло прекрасно, и скоро въ домѣ застучалъ другой станокъ, за которымъ въ качествѣ ученицы сѣла младшая сестра. И эта была такою же мастерицей, только Марья Николаевна, охраняя ее отъ всякихъ столкновеній съ торговыми людьми, продолжала ѣздить на фабрику одна и сама переносила всю тяжесть дѣловыхъ отношеній. Но благоденствіе сестеръ обратило на себя вниманіе другихъ дѣвицъ, приходившихъ къ Марьѣ Николаевнѣ съ просьбой «поучить» ихъ: явилось соперничество и цѣны заработковъ сбились до того, что Марья Николаевна, работая добросовѣстно, не находила возможнымъ болѣе конкурировать на фабрикѣ; она стала работать съ сестрою «на городъ», но излишняя конкуренція вторглась и на этотъ рынокъ. Средства бѣдной дѣвушки

стали скудны и недостаточны для того, чтобы поддерживать братьевъ, которые, переходя въ высшіе классы, требовали относительно большихъ расходовъ. Марья же Николаевна, будучи сама крайне чистоплотна, непремѣнно хотѣла, чтобъ и братья ея не ходили босикомъ и въ халатахъ, а имѣли бы обувь, манишечки и хотя нанковые или казинетовые сюртучки и жилеты. Въ устройствѣ этого гардероба мужской портной, разумѣется, не участвовалъ, всѣ мужскіе наряды братьямъ Марья Николаевна кроила и шила сама съ сестрою по выкройкамъ, взятымъ съ сюртука Патрикѣя Семеныча, но все-таки это стоило денегъ, по скуднымъ добыткамъ дѣвушки довольно большихъ. Ко всему этому, какъ я уже сказала, старый дьяконъ въ это время, ѣдучи съ поля, былъ оглушенъ и ослѣпленъ молніей, а сыновьямъ его еще оставалось быть года по два въ семинаріи и потомъ Марья Николаевна хотѣла, чтобы хоть одинъ изъ нихъ шелъ въ академію. Марья Николаевна умѣла смотрѣть и вдаль, и во что бы то ни стало стремилась хотя одному своему брату открыть широкую дорогу. Она знала, что для этого прежде всего нужно, чтобы братьевъ ничто не отрывало отъ ихъ научныхъ занятій, а этому первымъ препятствіемъ становилась бѣдность. Чтобы сколько-нибудь облегчить участь семьи, конечно, можно было пожертвовать младшею сестрой и выдать ее замужъ за дьячка, который бы принялъ отцовское мѣсто, но Марья Николаевна съ такою мыслію никакъ не могла помириться: она никѣмъ не хотѣла жертвовать, кромѣ себя самой, и нашлась какъ это сдѣлать. Энергическая дѣвушка, пользуясь любовью и уваженіемъ купеческаго дома, въ который сбывала свои ковры, необыкновенно ловко и быстро просватала свою младшую красивую сестру за приказчика этого дома, молодого человѣка, который, по соображеніямъ Марьи Николаевны, подавалъ добрыя надежды и не обманулъ ихъ: сестра ея была за нимъ счастлива. Тогда Марья Николаевна чрезъ нѣсколько же дней послѣ сестриной свадьбы явилась къ архіерейскому секретарю, поднесла ему въ подарокъ коверъ своего рукодѣлья и просила дать себѣ самой жениха, какъ единственной теперь незамужней дочери слѣпого дьякона. Секретарь посмотрѣлъ на нее, улыбнулся и, взявъ коверъ, довелъ ея просьбу до архіерея. Марья Николаевна представилась и владыкѣ, который въ свою очередь тоже на нее посмотрѣлъ и промолвилъ:

какая-то необыкновенная душа. Съ той поры, какъ она впервые себя сознала, до тѣхъ поръ, какъ сказала предъ смертью: «Пріими духъ мой», она *никогда не думала о себѣ* и жила для другихъ, а преимущественно, разумѣется, для своей семьи. Рано потерявъ мать, она буквально вынянчила обоихъ братьевъ и сестру, которые всѣ были моложе ея. Когда братьевъ отвезли въ училище, она тринадцатилѣтнею дѣвочкой отпросилась у отца на бывшую верстъ за сто отъ нихъ ковровую фабрику. Богъ вѣсть, какъ она тамъ прожила два года въ сообществѣ фабричныхъ женщинъ, нравы которыхъ не пользуются особеннымъ уваженіемъ. Марью Николаевну это ничто не попортило; она училась, работала и раза два въ годъ набѣгала домой, чтобы провести праздники съ отцомъ и съ братьями, которые приходили объ эту пору пѣшкомъ изъ училища, а особенно съ младшей сестрой, въ которой не слыхала души. Отпраздновавъ нѣсколько дней дома и наладивъ все, что безъ нея въ домашнемъ хозяйствѣ приходило въ разстройство, Марья Николаевна опять отправлялась пѣшкомъ за сто верстъ на свою фабрику; пока, наконецъ, въ концѣ второго года явилась оттуда веселая и счастливая съ кулькомъ основы, узоровъ и шерстей, и, поставивъ въ свѣтломъ углу бѣдной горницы ткацкій станъ, начала дома ткать ковры уже какъ опытная мастерица. Этимъ рукомесломъ она внесла въ домъ довольство и счастіе, какихъ семья еще никогда не знала. Будучи прекрасною мастерицей, Марья Николаевна получала съ фабрики матеріалъ и заказы и, исполняя однѣ работы, отвозила ихъ и забирала новыя. Дѣло шло прекрасно, и скоро въ домѣ застучалъ другой станокъ, за которымъ въ качествѣ ученицы сѣла младшая сестра. И эта была такою же мастерицей, только Марья Николаевна, охраняя ее отъ всякихъ столкновеній съ торговыми людьми, продолжала ѣздить на фабрику одна и сама переносила всю тяжесть дѣловыхъ отношеній. Но благоденствіе сестеръ обратило на себя вниманіе другихъ дѣвицъ, приходившихъ къ Марьѣ Николаевнѣ съ просьбой «поучить» ихъ: явилось соперничество и цѣны заработковъ сбились до того, что Марья Николаевна, работая добросовѣстно, не находила возможнымъ болѣе конкурировать на фабрикѣ; она стала работать съ сестрою «на городъ», но излишняя конкуренція вторглась и на этотъ рынокъ. Средства бѣдной дѣвушки

стали скудны и недостаточны для того, чтобы поддерживать братьевъ, которые, переходя въ высшіе классы, требовали относительно большихъ расходовъ. Марья же Николаевна, будучи сама крайне чистоплотна, непремѣнно хотѣла, чтобъ и братья ея не ходили босикомъ и въ халатахъ, а имѣли бы обувь, манишечки и хотя нанковые или казинетовые сюртучки и жилеты. Въ устройствѣ этого гардероба мужской портной, разумѣется, не участвовалъ, всѣ мужскіе наряды братьямъ Марья Николаевна кроила и шила сама съ сестрою по выкройкамъ, взятымъ съ сюртука Патрикѣя Семеныча, но все-таки это стоило денегъ, по скуднымъ добыткамъ дѣвушки довольно большихъ. Ко всему этому, какъ я уже сказала, старый дьяконъ въ это время, ѣдучи съ поля, былъ оглушенъ и ослѣпленъ молніей, а сыновьямъ его еще оставалось быть года по два въ семинаріи и потомъ Марья Николаевна хотѣла, чтобы хоть одинъ изъ нихъ шелъ въ академію. Марья Николаевна умѣла смотрѣть и вдаль, и во что бы то ни стало стремилась хотя одному своему брату открыть широкую дорогу. Она знала, что для этого прежде всего нужно, чтобы братьевъ ничто не отрывало отъ ихъ научныхъ занятій, а этому первымъ препятствіемъ становилась бѣдность. Чтобы сколько-нибудь облегчить участь семьи, конечно, можно было пожертвовать младшею сестрой и выдать ее замужъ за дьячка, который бы принялъ отцовское мѣсто, но Марья Николаевна съ такою мыслію никакъ не могла помириться: она никѣмъ не хотѣла жертвовать, кромѣ себя самой, и нашлась какъ это сдѣлать. Энергическая дѣвушка, пользуясь любовью и уваженіемъ купеческаго дома, въ который сбывала свои ковры, необыкновенно ловко и быстро просватала свою младшую красивую сестру за приказчика этого дома, молодого человѣка, который, по соображеніямъ Марьи Николаевны, подавалъ добрыя надежды и не обманулъ ихъ: сестра ея была за нимъ счастлива. Тогда Марья Николаевна чрезъ нѣсколько же дней послѣ сестриной свадьбы явилась къ архіерейскому секретарю, поднесла ему въ подарокъ коверъ своего рукодѣлья и просила дать себѣ самой жениха, какъ единственной теперь незамужней дочери слѣпого дьякона. Секретарь посмотрѣлъ на нее, улыбнулся и, взявъ коверъ, довелъ ея просьбу до архіерея. Марья Николаевна представилась и владыкѣ, который въ свою очередь тоже на нее посмотрѣлъ и промолвилъ:

— Стара!

— Чего изволите?—переспросила, будто не разслышавъ, Марья Николаевна.

— Я говорю, что ты стара.

— Тридцать два года, владыко,—отвѣчала, не смущаясь Марья Николаевна.

— Вона какъ! Это стара...

— Всего тридцать два года!

— Совсѣмъ стара!

— Ну, только воля ваша, владыко, а мнѣ женихъ, какъ вамъ угодно, нуженъ.

— Все врешь: ни на что онъ тебѣ не нуженъ...

— Ей-Богу, владыко, нуженъ.

И Марья Николаевна такъ основательно разсказала, зачѣмъ ей нуженъ женихъ, что архіерей сталъ убѣждаться ея доводами и заговорилъ въ другомъ родѣ:

— По этому судя, оно, точно, онъ тебѣ по хозяйству нуженъ.

— По хозяйству же, владыко, по хозяйству и нуженъ. Явите свою милость и не откажите мнѣ его даровать.

Архіерей былъ человѣкъ очень участливый и добрый.

— Гм!... даровать,—заговорилъ онъ:—именно только ужъ надо даровать, да вотъ еще у меня на твое горе женихи-то все очень молоды.

— Ничего, преосвященнѣйшій владыко, что жъ, я всякимъ буду довольна.

— Ну-у! вотъ ты какая увѣтливая: и молодого берешь!

— Беру-съ.

— Берешь? Ну, такъ я же тебя награжу за покорность: возьму да самаго молоденькаго тебѣ и дамъ; вы, старъ да младъ, скорѣе поладите.

— Слушаю, владыко, я полажу.

— Умна; хорошо... очень умна. Я тебѣ дамъ женишка, и очень хорошаго жениха дамъ; онъ давно у меня подъ замѣчаніемъ, да; я его давно въ усмиреніе наказать хотѣлъ, да; вотъ онъ своего часа и дождался. Онъ весьма козляковатъ, свѣтскаго нрава любитель, поскакунъ и краткіе сюртуки себѣ нарочито для плясанія завелъ, и камзельку съ стекловидными пуговками себѣ пріобрѣлъ. Отецъ протопопъ видѣлъ, говоритъ: «аки бы звѣзды во мракѣ сіяютъ, когда онъ вращается», а ученіе бросилъ, — вотъ я его теперь за

все сразу и проучу—и за краткій сюртукъ, и за плясаніе, и за камзельку съ стекловидными пуговками, да... вотъ я его, скакуна, усмирю... да; я возьму его да на тебѣ и женю. Ему это вмѣсто эпитиміи будетъ!

Марья Николаевна за всѣ эти милости владыкѣ въ ноги, а тотъ сейчасъ же вызвалъ изъ коридора, гдѣ ждали просители, молодого, бѣлокураго семинариста и говоритъ:

— Ты хочешь мѣста?

— Желаю.

— Такъ вотъ можешь получать со взятіемъ сей себѣ въ жены,—инако не получишь.

Семинаристъ встряхнулъ кудрявою головой и отвѣчалъ согласіемъ, а Марья Николаевна скорѣе одинъ поклонъ архіерею, другой—жениху, дескать «спасибо, что выручилъ», и выкатила съ женихомъ, который черезъ нѣсколько дней сталъ ея мужемъ.

Неравенство ихъ лѣтъ было очень замѣтное: Марья Николаевна, какъ женщина, была уже на склонѣ, и ея иконописная красота совсѣмъ увяла, а мужъ ея только расцвѣталъ. Но, замѣчательное дѣло, они жили счастливо. Что Марья Николаевна никогда не жаловалась на свою долю, это было въ порядкѣ вещей: она шла замужъ совсѣмъ не для того, чтобы быть счастливой, а для того, чтобы сохранить кусокъ хлѣба отцу и дать братьямъ средства окончить курсъ, но было нѣсколько удивительно, что и мужъ ея не роптал на судьбу свою... Молодой «поскакунъ» оцѣнилъ рѣдкія достоинства этой чудной женщины и... полюбилъ ее! Такова иногда бываетъ власть и сила прямого добра надъ живою душой человѣка.

Вся эта эпопея разыгрывалась еще въ то время, когда бабушка жила въ Петербургѣ, но завершилась она бракомъ Маріи Николаевны какъ разъ къ возвращенію княгини въ Протозаново. Ольга Ѳедотовна, узнавъ какъ-то случайно Марью Николаевну, отрекомендовала ее, въ одной изъ своихъ вечернихъ бесѣдъ, княгинѣ, а та, имѣя общую коллекторамъ страсть къ пріобрѣтенію новыхъ экземпляровъ, сейчасъ же пожелала познакомиться съ «героиней». (Такъ она съ перваго слова назвала Марью Николаевну, выслушавъ о ней докладъ Ольги Ѳедотовны).

Чуждая излишняго самолюбія и потому совершенно свободная отъ застѣнчивости, дьяконица тотчасъ же предстала

княгинѣ и, сразу пріобрѣтя ея благорасположеніе, получила приглашеніе ходить къ ней запросто; а когда пріѣдутъ братья, то и ихъ ей представить.

Марья Николаевна этимъ не проманкировала, и какъ только молодые люди пріѣхали, она ихъ тотчасъ же привела къ княгинѣ.

Изъ нихъ старшій тогда только что окончилъ курсъ, а второй былъ въ философскомъ классѣ.

Марья Николаевна, введя богослова съ философомъ, сама стала у порога, а тѣ сейчасъ же вышли на середину комнаты и начали предъ бабушкой декламировать, сначала философъ по-гречески, а потомъ богословъ по-латыни.

Бабушка, разумѣется, во всемъ этомъ ни слова не понимала, но прилежно слушала, сама разсматривала молодцовъ, изъ которыхъ одинъ былъ другого краше. Особенно былъ хорошъ старшій, богословъ: высокаго роста, съ густыми косицами русыхъ волосъ на вискахъ и съ нѣжнымъ бархатнымъ пухомъ вокругъ свѣжихъ розовыхъ щекъ. Большіе, небеснаго цвѣта глаза его такъ отрадно глядѣли изъ-подъ длинныхъ темныхъ рѣсницъ, что сама бабушка залюбовалась на молодого человѣка и мысленно перебирала: какой прекрасный рядъ разнообразныхъ ощущеній долженъ былъ теперь проходить въ душѣ Марьи Николаевны, которой эти молодые люди всѣмъ были обязаны. Но княгиня не замѣчала, что въ то же самое время рядъ иныхъ и притомъ самыхъ роковыхъ впечатлѣній наплывалъ и тѣснился въ другую восторженную душу, именно въ душу Ольги Ѳедотовны.

Она воспылала самою нѣжною любовью къ богослову, но, увы! не на радость ни ему, ни себѣ, такъ какъ въ планы Маріи Николаевны отнюдь не входила рановременная женитьба брата, которому ея заботливость прочила другую карьеру.

Ольга Ѳедотовна ничего этого тогда не знала, да и къ чему ей было знать что-нибудь въ эти блаженныя минуты. Неодолимыя противорѣчія, въ примиреніи которыхъ лежала развязка этого романическаго случая, и безъ того не замедлили подвергнуть сердце бѣдной дѣвушки всѣмъ испытаніямъ несчастной любви.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Всего «мечтанія» Ольги Ѳедотовны, такъ она обыкновенно называла свою любовь, было два мѣсяца, отъ начала

каникулъ до открытія академическихъ курсовъ. Въ такое короткое время любовь эта зародилась, дошла до зенита и, совершивъ все свое граціозное теченіе, спала звѣздою на землю, гдѣ поросла травой забвенія.

Ольгѣ Ѳедотовнѣ, разумѣется, не легко было скрывать, что она любитъ богослова; чѣмъ она тщательнѣе хоронила въ себѣ эту тайну своего сердца, тѣмъ чистое чувство ея сильнѣе росло и крѣпло въ этихъ похоронкахъ и бунтливо рвалось наружу. Ольга Ѳедотовна, несмотря на свое магазинное воспитаніе, была совершенно неопытна въ любовныхъ дѣлахъ: она думала, что счастіе, которое она впервые ощутила при сознаніи, что она любитъ, можетъ оставаться полнымъ и найдетъ для себя занятіе въ самомъ себѣ, но, увы! сердце бѣдной дѣвушки начало жаждать отвѣта.

Ольгѣ Ѳедотовнѣ томительно захотѣлось знать: замѣтитъ ли онъ ее, думаетъ ли онъ о ней, и что̀ именно это за дума? Но какъ узнать объ этомъ? Она имѣла обыкновеніе бѣгать къ Марьѣ Николаевнѣ на минутку каждыя сумерки и теперь продолжала дѣлать это еще охотнѣе, потому что могла тамъ видѣть свой кумиръ, но она съ кумиромъ никогда не оставалась наединѣ и они не говорили ни о чемъ, кромѣ самыхъ обыкновенныхъ вещей. Сердце страстно влюбленной только больше и больше мучилось. Всемѣрно заботясь о храненіи своей тайны, Ольга Ѳедотовна, по страстному противорѣчію, въ то же время приходила въ негодованіе, что ее не замѣчаютъ. Отъ этой истомы и волненій она занемогла и въ безпрерывныхъ думахъ объ одномъ и томъ же выработала въ себѣ такую чувствительную раздражительность, что глаза у нея постоянно были полны слезъ и она безпрестанно готова была расплакаться. Бабушка не могла придумать, что̀ такое съ ея фавориткою, и сколько ни добивалась, ничего отъ нея не узнала; но вскорѣ же вышелъ случай, при которомъ Ольга Ѳедотовна головою себя выдала сначала Марьѣ Николаевнѣ, а потомъ и самой княгинѣ.

Дѣло это вышло изъ того, что Марьѣ Николаевнѣ, которая не уставала втирать своихъ братьевъ во всеобщее расположеніе и щеголять ихъ образованностью и талантами, пришло на мысль просить Ольгу Ѳедотовну, чтобы та въ свою очередь какъ-нибудь обинякомъ подбила ба-

бушку еще разъ позвать къ себѣ богослова и поговорить съ нимъ по-французски.

Дьяконица передала объ этомъ Ольгѣ Ѳедотовнѣ подъ большимъ секретомъ и съ полною увѣренностью, что та по дружбѣ своей непремѣнно охотно за это возьмется; но, къ удивленію ея, Ольга Ѳедотовна, при первомъ же упоминаніи имени Василія Николаевича (такъ звали богослова), вдругъ вся до ушей покрылась густымъ румянцемъ и съ негодованіемъ воскликнула:

— Что это вы, Марья Николаевна... какъ вы это могли подумать?

— А что такое?

— Да это вы хотите, чтобъ я стала говорить о Василіи Николаичѣ... Ни за что на свѣтѣ!

— Но отчего же?

— Нѣтъ, лучше и не говорите: я вамъ все, что угодно, готова сдѣлать, но имени его предъ княгиней я произнесть... не могу.

Марья Николаевна, никогда не знавшая никакой другой любви, кромѣ родственной и христіанской, и тутъ не поняла въ чемъ дѣло и спросила:

— Ахъ, милая Ольга Ѳедотовна, да неужели же вамъ имя его такъ противно?

Этого наивнаго вопроса Ольга Ѳедотовна уже не выдержала:

— Какъ!—вскрикнула она.—Вы это такъ, Марья Николаевна, поняли, что мнѣ... можетъ быть противно?

И съ этимъ у нея на обѣихъ рѣсницахъ задрожали слезы, и она, не простившись съ Марьей Николаевной, ударилась бѣжать домой.

Марья Николаевна болѣе не возобновляла этого ходатайства чрезъ Ольгу Ѳедотовну, а самолично устроила богослову французскія конференціи съ бабушкой. Результатъ этихъ конференцій былъ, однако, не совсѣмъ удовлетворительный, потому что княгиня, предложивъ семинаристу два-три вопроса на французскомъ языкѣ, тотчасъ же заговорила съ нимъ опять по-русски, а при прощаніи дала ему такой совѣтъ:

— Знаете, я вамъ скажу, мой другъ, вы это прекрасно сдѣлали, что выучились по-французски: это въ разсужденіи чтенія вамъ будетъ очень полезно, но только говорить вамъ на этомъ языкѣ безъ нужды я не совѣтую.

Марья Николаевна, можетъ-быть, не совсѣмъ поняла, что̀ это значитъ, но, вѣроятно, склонна была бы этимъ немножко огорчиться, если бы бабушка тутъ же не отвлекла ея вниманія однимъ самымъ неожиданнымъ и страннымъ замѣчаніемъ: княгиня сказала дьяконицѣ, что братъ ея влюбленъ.

Марья Николаевна странно переконфузилась и отвѣчала:

— Что̀ вы, ваше сіятельство... развѣ это можно?

— Да ты напрасно этого такъ стыдишься.

— Нѣтъ, да какъ же... помилуйте: зачѣмъ же это могло... помилуйте!

— Ну, а велика ли въ томъ польза будетъ, что я тебя помилую; а онъ все-таки влюбленъ!

— Да въ кого же, ваше сіятельство, влюбленъ? Это совсѣмъ напрасно.

— А вотъ же и не напрасно: онъ въ мою Ольгу влюбленъ!

— Какъ!.. въ Ольгу Ѳедотовну?! въ вашемъ домѣ!.. Нѣтъ, ваше сіятельство... Не думайте, я его сама воспитывала... онъ не рѣшится...

Бабушкѣ не малаго труда стоило успокоить дьяконицу, что она ничего о ея братѣ худого не думаетъ и нимало на него не сердится; что «любовь это хвороба, которая не по лѣсу, а по людямъ ходитъ, и кто кого полюбитъ, въ томъ онъ самъ не воленъ».

— А въ такомъ разѣ...

Марья Николаевна не договорила и тихо заплакала и на внимательные разспросы княгини о причинѣ слезъ объяснила, что, во-первыхъ, ей несносно жаль своего брата, потому что она слыхала, какъ любовь для сердца мучительна, а во-вторыхъ, ей обидно, что онъ ей объ этомъ ничего не сказалъ и прежде княгинѣ повинился.

— Перестань, мать: не винился онъ мнѣ,—отвѣчала княгиня,—а я сама все замѣтила.

— Изъ какихъ поступковъ?

— Изъ того, что они другъ другу въ глаза смотрѣть не могутъ... краснѣютъ.

— И только-съ?

— Да; глаза влюбленные.

— Это, можетъ-быть, ваше сіятельство, такъ просто глаза отъ конфуза... Однако, я Васю объ этомъ спрошу.

— Не скажетъ онъ тебѣ.

— Скажетъ-съ; я съ нимъ къ младшей сестрѣ съѣзжу: она хитренькая, притворится и все у него выспроситъ.

На другой день Марья Николаевна, дѣйствительно, съѣздила обыденкой съ братомъ къ сестрѣ и, вернувшись къ вечеру домой, прибѣжала къ бабушкѣ.

— Ну, что̀?—спросила княгиня.

— Влюбленъ-съ,—отвѣчала дьяконица.

— А, вотъ видишь! Ужъ я эти влюбленные глаза знаю.

— Нѣтъ-съ, ужъ что̀ тутъ, ваше сіятельство, глаза! Онъ долго и сестрѣ ничего не хотѣлъ открыть; только когда мы съ нею обѣ предъ нимъ на колѣнки стали, такъ тогда онъ открылъ: «влюбленъ, говоритъ, и безъ нея даже жить не могу».

Если бы княгиня и дьяконица были въ эти минуты поменьше заняты тѣмъ, о чемъ онѣ говорили, то имъ бы надлежало слышать, что при послѣднихъ словахъ двери сосѣдней гардеробной комнаты тихо скрипнули и оттуда кто-то выкатилъ. Это была счастливѣйшая изъ счастливыхъ Ольга Ѳедотовна. Она теперь знала, что *ее любятъ*.

Затѣмъ прошла недѣля ея недолговѣчнаго счастія, въ продолженіе которой она ни разу не ходила къ Марьѣ Николаевнѣ и богослова не видала, а бабушка въ это время все планировала, какъ она устроитъ влюбленныхъ. Она рѣшила, что богословъ выйдетъ изъ духовнаго званія, женится на Ольгѣ Ѳедотовнѣ и поступитъ на службу. Тогда семинаристы, благодаря Сперанскому, были въ модѣ и получали ходъ; а бабушка уже все придумывала: какъ обезпечить молодыхъ такъ, чтобы они не знали нужды и мужъ ея любимицы не погрязъ бы въ темной долѣ и не маралъ бы рукъ взятками.

Все это было стройно улажено въ ея головѣ, и она уже готовилась обрадовать этимъ Ольгу, но только прежде хотѣла знать на этотъ счетъ мнѣніе Марьи Николаевны, которой и открыла весь планъ свой.

Дьяконица, къ немалому удивленію бабушки, выслушала это съ крайнимъ смущеніемъ: какъ она ни любила Ольгу Ѳедотовну, но женитьба на ней брата не входила въ ея соображенія.

— Ему рано,—отвѣчала она: — ваше сіятельство; и я хочу, чтобъ онъ въ академію шелъ и профессоромъ былъ.

Профессорство это было во мнѣніи Марьи Николаевны такое величіе, что она его не желала смѣнять для брата ни на какую другую карьеру. Притомъ же она такъ давно объ этомъ мечтала, такъ долго и такъ неуклонно къ этому стремилась, что бабушка сразу поняла, что дѣло Ольги Ѳедотовны было проиграно.

Бѣдная дѣвушка получила жестокій ударъ не отъ врага, а отъ сердечнѣйшаго друга, и не одна *она*, но и *онъ*.

Для быстролетной любви этой началась краткая, но мучительная пауза: ни бабушка, ни дьяконица ничего не говорили Ольгѣ Ѳедотовнѣ, но она все знала, потому что, разъ подслушавъ случайно разговоръ ихъ, она повторила этотъ маневръ умышленно и, услыхавъ, что она служитъ помѣхою карьерѣ, которую сестра богослова считаетъ для брата наилучшею, рѣшилась поставить дѣло въ такое положеніе, чтобъ этой помѣхи не существовало.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Марья Николаевна, возвращаясь отъ бабушки вечеромъ послѣ описаннаго разговора, была страшно перепугана: ей все казалось, что, какъ только она сошла съ крыльца, за ней кто-то слѣдилъ; какая-то небольшая темная фигурка то исчезала, то показывалась и все неслась стороною, а за нею мелькала какая-то бѣлая нить. Марья Николаевна понять не могла, что̀ это такое, и все ускоряла свой шагъ; но чуть только она опустилась въ лощинку, за которою тотчасъ на горѣ стояла Поповка, это темное привидѣніе вдругъ понеслось прямо на нее и за самыми ея плечами проговорило:

— Вы, Марья Николаевна, не безпокойтесь!

Марья Николаевна страшно испугалась, но, услыхавъ въ этомъ голосѣ что-то знакомое, тотчасъ же ободрилась и крикнула:

— Ольга Ѳедотовна, это вы?

Но, однако, отвѣта не было, а темная фигурка, легко скользя стороною дороги, опять исчезла въ темнотѣ ночи, и только по сѣрому шару, который катился за нею, Марья Николаевна основательно убѣдилась, что это была *она*, то-сть Ольга Ѳедотовна, такъ какъ этотъ прыгающій сѣрый шаръ былъ большой, бѣлый пудель Монтрозъ, принадле-

жавшій Патрикѣю Семенычу и не ходившій никуда, ни за кѣмъ, кромѣ своего хозяина и Ольги Ѳедотовны.

Марья Николаевна, по женскому такту, никому объ этой встрѣчѣ не сказала, она думала: пусть Ольга Ѳедотовна сдѣлаетъ какъ думаетъ. Бабушкѣ ровно ничего не было извѣстно: она только замѣчала, что Ольга Ѳедотовна очень оживлена и дѣятельна и даже три раза на недѣлѣ просилась со двора, но княгиня не приписывала это ничему особенному и ни въ чемъ не стѣсняла бѣдную дѣвушку, которую невдалекѣ ожидало такое страшное горе. Княгиня только безпокоилась: какъ ей открыть, что богословъ никогда ея мужемъ не будетъ.

Межъ тѣмъ прошла въ этомъ недѣля: въ одинъ день Ольга Ѳедотовна ѣздила въ сосѣднее село къ мужику крестить ребенка, а бабушкѣ нездоровилось, и она легла въ постель, не дождавшись своей горничной, и заснула. Только въ самый первый сонъ княгинѣ показалось, что у нея за ширмою скребется мышь... Бабушка терпѣла-терпѣла и наконецъ, чтобъ испугать звѣрька, стукнула нѣсколько разъ рукою въ стѣну, за которою спала Ольга Ѳедотовна.

Та явилась какъ листъ предъ травой.

— Я тебя не звала, мнѣ показалось—мыши...

Ольга Ѳедотовна отошла и стала лицомъ къ образнику.

Бабушка подождала и потомъ окликнула:

— Ольга, что ты тамъ дѣлаешь?

— Лампадъ поправляю-съ,—отвѣчала Ольга Ѳедотовна, и въ это же самое мгновеніе поплавокъ лампады юркнулъ въ масло и свѣтъ потухъ.

— Скора, матушка: прекрасно поправила... И главное, кто тебя объ этомъ просилъ? лампада прекрасно горѣла, такъ нѣтъ...

Но въ это время Ольга Ѳедотовна подошла впотьмахъ къ бабушкиной постели и прошептала:

— Ваше сіятельство! я пришла повиниться.

Бабушка Богъ знаетъ что подумала и тревожно отвѣчала:

— Что такое? что такое? это ни на что не похоже... поди отъ меня съ своей виной; я ничего не хочу знать.

— Ваше сіятельство... я самое безвредное!

Княгиня пожала плечами и молвила:

— Вотъ пристала!

— Теперь я Василью Николаичу не помѣха: онъ меня любить не можетъ.

Бабушка повернулась въ постели и спросила:

— Отчего?

— Мы съ нимъ сегодня у мужика младенца крестили.

Бабушка сѣла въ кровати и произнесла:

— Ольга, ты глупа.

— Ваше сіятельство, это такъ надо было-съ.

— Нѣтъ, ты извини меня: я всегда думала о тебѣ, что ты гораздо умнѣе, а ты положительнѣйшимъ образомъ глупа: Вася могъ окончить курсъ въ академіи и остаться тебѣ вѣренъ и тогда бы на тебѣ женился, а теперь вы кумовья,— куму на кумѣ никогда жениться нельзя.

— Я это знала-съ, я все знала и нарочно сдѣлала.

— Зачѣмъ, говори мнѣ, зачѣмъ?

— Чтобъ имъ обо мнѣ не думалось; чтобъ я... имъ не мѣшала; чтобъ изъ памяти меня выкинули,—отвѣчала бѣдная дѣвушка и зарыдала.

Бабушка встала съ кровати, сама зажгла лампаду и, сѣвши потомъ въ кресло, сказала:

— Удивила ты меня, но онъ мнѣ еще болѣе тебя удивителенъ: какъ же онъ на это согласился? Неужели я въ немъ ошиблась и онъ тебя мало страстно любитъ?!

Это словечко кольнуло самолюбіе Ольги Ѳедотовны: въ ней поднялась гордость женщины, всегда готовой упиваться сознаніемъ, что ее много любятъ.

— Нѣтъ-съ,—отвѣчала она: — они меня истинно какъ должно любятъ, а это что они крестили—все черезъ мое коварство случилось.

— А гдѣ же его голова-то была?

— Не могли-съ они предъ моимъ обольщеніемъ своею головою управлять, а послѣ, давъ мнѣ слово, безчестнымъ быть не хотѣли,—отвѣчала не безъ гордости и не безъ уваженія къ себѣ Ольга Ѳедотовна.

Не зная какъ должно понимать всѣ недомолвки этой обольстительницы злополучнаго богослова, бабушка, отложивъ всякія церемоніи, сказала:

— Ты если хочешь говорить, то здѣсь только Богъ да мы двое, — такъ ты говори откровенно, что ты набѣдокурила?

— Одного этого теперь только и желаю: открыться.

— Ну, и откройся.

Ольга Ѳедотовна и начала.

Разсказавъ бабушкѣ со всей откровенностію, какъ ей стали извѣстны затрудненія Марьи Николаевны, дѣвушка въ трагической простотѣ изобразила состояніе своей души, которая тотчасъ же вся какъ огнемъ прониклась однимъ желаніемъ сдѣлать такъ, чтобы богословъ не могъ и думать на ней жениться. За этимъ рѣшеніемъ послѣдовало обдумываніе плана, какъ это выполнить. Что̀ могла измыслить простая неопытная дѣвушка? Она слыхала, что нельзя жениться на кумѣ, и ей сейчасъ же пришло въ голову: зачѣмъ она не кума своему возлюбленному?

— Тогда бы онъ не могъ ко мнѣ свататься и вышелъ бы въ архіереи.

Такъ заключила Ольга Ѳедотовна, постоянно замѣняя по какой-то случайности слово «профессоръ» словомъ «архіерей». И разъ попавъ на эту мысль, она вдругъ стала искать средствъ: нельзя ли это поправить? Въ концѣ концовъ, это ей показалось хотя и довольно труднымъ, но сбыточнымъ, если пустить въ ходъ всѣ ей извѣстныя средства. И вотъ Ольга Ѳедотовна, забравъ это въ голову, слетала въ казенное село къ знакомому мужичку, у котораго родился ребенокъ; дала тамъ денегъ на крестины и назвалась въ кумы, съ тѣмъ, чтобы кума не звали, такъ какъ она привезетъ своего кума. Во всемъ этомъ она, разумѣется, никакого препятствія не встрѣтила, но труднѣйшая часть дѣла оставалась впереди: надо было уговорить влюбленнаго жениха, чтобъ онъ согласился продать свое счастье за чечевичное варево и ради удовольствія постоять съ любимою дѣвушкою у купели чужого ребенка, лишить себя права стать съ нею у брачнаго аналоя и молиться о собственныхъ дѣтяхъ. Это, конечно, хоть какому уму была задача не легкая. Но Ольга Ѳедотовна разрѣшила ее блистательно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Угадывая инстинктомъ природу молодой страсти своего возлюбленнаго, Ольга Ѳедотовна не рѣшилась ни на какія прямыя съ нимъ откровенности. Она правильно сообразила, что этимъ она его не возьметъ, и обратилась къ хитрости, къ силѣ своихъ чаръ и своего кокетства.

Навѣстивъ въ сумерки одного дня Марью Николаевну, Ольга Ѳедотовна нарочно у нея припоздала, а потомъ высказала опасеніе идти одной черезъ бугоръ, гдѣ ночевала овечья отара, около которой бѣгали злыя сторожевыя собаки. Влюбленный студентъ не смѣлъ вызваться быть ея провожатымъ, но она сама его объ этомъ попросила: богословъ, разумѣется, согласился; онъ выдернулъ изъ плетня большой колъ, чтобы защищаться отъ собакъ, и пошелъ вслѣдъ за своею возлюбленною. Дорога была нехороша; днемъ выпалъ дождикъ и суглинистая земля смокла и осклизла. Ольга Ѳедотовна плохо ступала: она была, какъ на зло, въ новыхъ башмачкахъ, и ея маленькія ножки безпрестанно ползли назадъ или спотыкались.

Если она къ этому прибавляла что-нибудь съ намѣреніемъ дать понять своему сопутнику, что ей очень трудно идти одной безъ его поддержки, то, вѣроятно, дѣлала это съ большимъ мастерствомъ; но, тѣмъ не менѣе, румяный богословъ все-таки или не дерзалъ предложить ей свою руку, или же считалъ это не идущимъ къ его достоинству.

Ольга Ѳедотовна рѣшилась прервать это затрудненіе.

— Василій Николаичъ,—сказала она,—что вы это сзади меня идете?

— А что же такое?

— Да такъ, нехорошо... вы точно служитель.

— Ничего-съ.

— Нѣтъ, вы бы лучше рядомъ шли, да мнѣ бы руку дали, а то очень склизко.

— Съ большимъ моимъ удовольствіемъ,—отвѣчалъ богословъ.

— Или вамъ, можетъ-быть, со мной подъ руку стыдно и непріятно идти?

— Нѣтъ, отчего же... напротивъ, даже очень пріятно.

— Вы, впрочемъ, откровенно скажите: если стыдно, такъ вы не безпокойтесь.

Богословъ еще разъ повторилъ, что ему пріятно, и они взялись подъ руки, но разговоръ у нихъ прекратился, а дорога убывала. Ольга Ѳедотовна видѣла, что спутникъ ея робокъ и самъ ни до чего не дойдетъ, и снова сама заговорила:

— Вы, Василій Николаичъ, много учились?

— Много-съ.

— И вѣдь трудно небось?

— Ничего-съ.

— Какъ же... есть науки трудныя.

— Есть-съ.

— Ну, такъ какъ же съ ними?

— Преодолѣваешь.

— И сѣкутъ?

— Сѣкутъ-съ.

— И васъ тамъ сѣкли?

— Непремѣнно-съ, какъ и всякаго.

— И слукавить нельзя?

— Нельзя-съ.

— Отчего же?

— Потому что это всегда передъ начальствомъ дѣлается.

— Неужто начальникъ смотритъ?

— Постоянно-съ.

— Ахъ, Боже мой! а онъ свѣтскій или монахъ?

— Монахъ-съ.

— Монахъ!

— Навѣрно такъ-съ.

— Такъ это вѣдь какъ же, должно-быть, конфузно?

— Отчего же?

— Да при монахѣ-то?

— Нѣтъ-съ; въ молодыхъ годахъ ничего и потомъ больно, такъ ужъ не разбираешь.

— Видите ли! а вы сколько лѣтъ тамъ находились?

— Тринадцать-съ.

— Ахъ, Боже мой! И какое число несчастливое.

— Это предразсудокъ-съ.

— А вѣдь скажите: въ наукахъ о сердцѣ ничего не говорится?

— Въ какомъ смыслѣ?

— Чтобы какъ любить должно и какъ мужчинѣ съ женщиной обращаться?

— Ничего-съ.

И разговоръ снова смолкъ, а пути, между тѣмъ, осталось еще менѣе. Ольга Ѳедотовна вспомнила, о чемъ бывало слыхала въ магазинѣ, и спросила:

— Вы, Василій Николаичъ, умѣете танцовать?

— Нѣтъ-съ, не умѣю.

— Очень жаль: въ танцахъ кавалеры съ дѣвицами откровенно объясняются.

— Да это, если ловкій кавалеръ, такъ и не въ танцахъ можно-съ.

— Напримѣръ, какъ же?

— Стихами, или задачею: что лучше — желать и не получить, или имѣть и потерять; а то по цвѣтамъ: что какой цвѣтъ означаетъ—вѣрность или измѣну.

— А вы къ измѣнѣ или къ вѣрности склонны?

— Я измѣны ненавижу.

— Вы неправду говорите.

— Почему же неправду?

Ольга Ѳедотовна рѣшительно не знала, куда она идетъ съ этимъ разговоромъ, но на ея счастье въ это время они поровнялись съ отарой: большое стадо овецъ кучно жалось на темной травѣ, а сторожевые псы, заслышавъ прохожихъ, залаяли. Она вздрогнула и смѣло прижалась къ рукѣ провожатаго.

— Вы боитесь?—спросилъ, взмахивая коломъ, богословъ.

— Нѣтъ, не боюсь... А вотъ уже и домъ близко.

— Да; близко-съ,—отвѣчалъ, вздохнувъ, богословъ.

Ольга Ѳедотовна пожала къ себѣ его руку и, отворотясь отъ него въ сторону, проговорила:

— Василій Николаичъ!

— Что вамъ угодно, Ольга Ѳедотовна?

— О чемъ вы вздыхаете?

— Я не вздыхалъ-съ.

— Нѣтъ, вы вздохнули.

— Можетъ-быть-съ.

— Такъ о чемъ же это?

— Этого сказать нельзя-съ.

— Почему же нельзя?

— Потому, что вы можете обидѣться.

— Ну, это, стало-быть, вы меня не любите.

— Кто это?.. я васъ не люблю!—вскричалъ богословъ.

— Ахъ, что вы это, Василій Николаичъ, такъ громко. Это надо тише.

— Я васъ такъ люблю-съ, такъ люблю,—началъ богословъ, но Ольга Ѳедотовна его остановила и, задыхаясь отъ страха, сказала:

— Позвольте, позвольте... Не говорите здѣсь про это.

— А гдѣ же-съ?

— Вотъ сейчасъ... вотъ мы въ сѣни взойдемъ.

Она была въ положеніи того неопытнаго чародѣя, который, вызвавъ духовъ, не зналъ какъ заставить ихъ опять спрятаться. На выручку ея подоспѣлъ Монтрозка, который, завидѣвъ ее съ крыльца, подбѣжалъ къ ней съ радостнымъ воемъ. Ольга Ѳедотовна начала ласкать Патрикѣева пуделя и, быстро вскочивъ на крыльцо, скрылась въ темныхъ сѣняхъ.

Богословъ не сробѣлъ и очутился тутъ же за нею.

— Ишь вы какой, Василій Николаичъ, хитрый,—шептала дѣвушка, и вслѣдъ затѣмъ громко кашляпула.

— Зачѣмъ это вы такъ громко?

— Чтобъ узнать, нѣтъ ли тутъ дѣвушекъ.

— Что же, ихъ нѣтъ-съ?

— Нѣтъ,—отвѣчала Ольга, дрожа всѣмъ тѣломъ и держа рукою за ошейникъ Монтрозку.

— Такъ вы извольте теперь услыхать про мои чувства.

— Нѣтъ, зачѣмъ же, Василій Николаичъ... Я вамъ вѣрю... Я и сама къ вамъ хорошія чувства, Василій Николаичъ, имѣю.

И у нея дрогнулъ голосъ.

— А въ такомъ случаѣ...— сказалъ богословъ: — я отъ васъ долженъ что-нибудь получить.

Ольга Ѳедотовна чувствовала, что ей измѣняютъ силы, но вела игру далѣе и прошептала:

— Что же такое получить?

Рискъ и соблазнительная темнота сѣней, еще прибавили нашему герою смѣлости и онъ отвѣчалъ:

— Поцѣлуй-съ!

Ольга Ѳедотовна вздрогнула и отвѣчала:

— А-а, ишь вы какой, Василій Николаичъ, ужъ и поцѣлуй.

— Всегда такъ-съ... объясненіе, а потомъ и поцѣлуй.

— Неужели это такъ?

— Непремѣнно-съ!

— Ну, хорошо, Василій Николаичъ, если это такъ нужно, то что же дѣлать, я васъ поцѣлую, но только уговоръ!

— Все, что вамъ угодно.

— Чтобы первую просьбу, которую васъ попрошу, чтобы вы исполнили!

— Исполню-съ.

— Честное слово?

— Все, что вамъ угодно.

— Извольте же! Я вамъ удовольствіе сдѣлаю, только вы вотъ идите сюда... Вотъ сюда, сюда за моею рукой: здѣсь темнѣе.

И, заведя богослова въ самый темный уголъ, она обвила одною рукой его шею и робко поцѣловала его въ губы, а другою выпустила ошейникъ Монтроза и энергически его пріуськнула. Собака залаяла и вооруженный коломъ богословъ, только-что сорвавшій первый и единственный поцѣлуй съ губокъ своей коварной красавицы, бросился бѣжать, а на другой день онъ, не успѣвши опомниться отъ своего вчерашняго счастія, сдерживалъ уже свое честное слово—не возражать противъ первой просьбы Ольги Ѳедотовны, и крестилъ съ нею мужичьяго ребенка, разлучившаго у своей купели два благородныя и нѣжно другъ друга любившія сердца.

Остальное пошло такъ, какъ Ольга Ѳедотовна хотѣла для счастья другихъ: съ теченіемъ многихъ лѣтъ ея Василій Николаичъ, котораго она притравила какъ Діана Актеона, окончилъ курсъ академіи, пошелъ въ монахи и былъ, къ удовольствію сестры, архіереемъ, а Ольга Ѳедотовна такъ и осталась Діаною, весталкою и бабушкиною горничной.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Чтобы не оставлять отъ этой любви ничего недосказаннаго, я должна прибавить, что Ольга Ѳедотовна, схрабровавъ въ этотъ разъ болѣе чѣмъ можно было отъ нея ожидать, послѣ, однако, очень долго мучилась.

— Все у нея, бѣдной, корчи въ сердцѣ дѣлались,—говорила бабушка.—Марья Николаевна въ ту пору ее, бѣдную, даже видѣть боялась, а мы съ Патрикѣемъ, какъ могли, ее развлекали. Ничего ей прямо не говорили, а такъ все за нею ухаживали, то на перелетъ, то на рыбную ловлю ее брали, и тутъ она у меня одинъ разъ съ лодки въ озеро упала... Богъ ее знаетъ, какъ это съ нею случилось, — не спрашивала, а только насилу ее въ чувство привели. А потомъ какъ къ первымъ послѣ того каникуламъ пришло извѣстіе, что Вася не будетъ домой, потому что онъ въ Кіевѣ

въ монахи постригся, она опять забѣлепила: все, бывало, уходитъ на чердакъ, въ чуланъ, гдѣ у меня цѣлебныя травы сушились, и сверху въ слуховое окно вдаль смотритъ да поетъ жалкимъ голосомъ:

Ты проходишь, дорогой другъ, мимо кельи,
Гдѣ несчастная черница ждетъ въ мученьи.

Черницей все сама себя воображала!.. Да и я, признаться, этимъ совсѣмъ недовольна была, заключала бабушка, — молодъ больно былъ!.. Это неопытно, могъ бы и не идти въ монастырь, а другую судьбу себѣ въ жизни найти, да удержать, видно, некому было.

Но, наконецъ, и эта «корчь сердца» стихла, и Ольга Ѳедотовна успокоилась, она жила и старѣлась, никогда никому ни словомъ, ни намекомъ не выдавая: умерло или еще живо и вѣчно осталось живымъ ея чувство.

Я уже помню себя, хотя, впрочемъ, очень маленькою дѣвочкою, когда бабушка одинъ разъ прислала къ намъ звать maman со всѣми дѣтьми, чтобы мы пріѣхали къ обѣднѣ, которую проѣздомъ съ епископской каѳедры на архіепископскую будетъ служить архіерей, этотъ самый братъ дьяконицы, Марьи Николаевны. Maman, конечно, поѣхала и повезла всѣхъ насъ къ бабушкѣ. Помню это первое архіерейское служеніе, которое мнѣ довелось видѣть: оно поражало своимъ великолѣпіемъ мои дѣтскія чувства, и мнѣ казалось, что мы находимся въ самомъ небѣ. Но самъ архіерей мнѣ не понравился: онъ былъ очень большой, тучный, съ большою бородой, тяжелымъ, медлительнымъ взглядомъ и нависшими на глаза густыми бровями. Ходилъ шибко, рѣзко взмахивалъ рукавами, на которыхъ гулко рокотали маленькіе серебряные бубенчики, и дѣлалъ нетерпѣливыя нервныя движенія головою, какъ бы безпрестанно старался поправлять на себѣ митру.

Бабушка и для архіерейскаго служенія не перемѣнила своего мѣста въ церкви: она стояла слѣва за клиросомъ, съ ней же рядомъ оставалась и maman, а сзади, у ея плеча, помѣщался пріѣхавшій на это торжество дядя, князь Яковъ Львовичъ, бывшій тогда уже губернскимъ предводителемъ. Насъ же, маленькихъ дѣтей, то-есть меня съ сестрою Nathalie и братьевъ Аркадія и Валерія, бабушка велѣла вывесть впередъ, чтобы мы видѣли «церемонію».

Для надзора за нами, сзади насъ стояла Ольга Ѳедо-

товна, тогда уже довольно старенькая, хотя, по обыкновенію, свѣженькая и опрятная, какою она была во всю свою жизнь.

Никто изъ насъ, дѣтей, разумѣется, и воображенія не имѣлъ, что̀ такое наша Ольга Ѳедотовна могла быть этому суровому старику въ тяжелой золотой шапкѣ, которою онъ все какъ будто помахивалъ. Мы только все дергали Ольгу Ѳедотовну потихоньку за платье и безпрестанно докучали ей разспросами, что̀ значитъ то, и что̀ значитъ это? На всѣ эти вопросы она отвѣчала намъ одно:

— Стойте смирно!

Но когда совсѣмъ облаченный архіерей, взойдя на амвонъ, повернулся лицомъ къ народу и съ словами «призри, виждь и посѣти», осѣнилъ людей пылающими свѣчами, скромный бѣлый чепецъ Ольги Ѳедотовны вдругъ очутился вровень съ нашими дѣтскими головами. Она стояла на колѣняхъ и, скрестивъ на груди свои маленькія ручки, глазами ангела глядѣла въ небо и шептала:

— Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ все!

Въ этомъ какъ бы заключался весь отвѣтъ ея себѣ, намъ и всякому, кто захотѣлъ бы спросить о томъ, что̀ нѣкогда было и о томъ, что̀ она нынче видитъ и что̀ чувствуетъ.

Бабушка въ этотъ день была, повидимому, не въ такомъ покорномъ настроеніи духа: она какъ будто вспомнила что-то непріятное, и за обѣдомъ, угощая у себя почетнаго гостя, преимущественно предоставляла занимать его дядѣ, князю Якову Львовичу, а сама была молчалива. Но когда архіерей, сопровождаемый громкимъ звономъ во всѣ колокола, выѣхалъ изъ родного села въ каретѣ, запряженной шестерикомъ лучшихъ бабушкиныхъ коней, княгиня даже выразила на него дядѣ и maman свою «критику».

— Напрасно, и нахожу, онъ здѣсь этакую проповѣдь изволилъ сказать,—заговорила она:—и не понимаю, что̀ это ему вздумалось тутъ говорить, что «нѣтъ больше любви, если кто душу свою положитъ»... Это божественныя слова, но только и ихъ надо у мѣста ставить. А тутъ, — она повела рукою на чайную комнату, гдѣ Марья Николаевна и Ольга Ѳедотовна въ это время бережно перемывали бывшій въ тотъ день въ употребленіи завѣтный саксонскій сервизъ, и добавила:—тутъ по любви-то у насъ есть своя академія и свои профессора... Вонъ они у меня чайнымъ

полотенцемъ чашки перетираютъ... Ему бы достаточно и того счастья, что онъ могъ ихъ знать, а не то, чтобы еще ихъ любви учить! Это неделикатно!

И, не принимая никакихъ услугъ безъ вознагражденія, княгиня тотчасъ же послала архіерею съ Патрикѣемъ въ городъ отрѣзъ бархата на рясу и гро-гро на подрясникъ. Архіерей переслалъ съ тѣмъ же Патрикѣемъ бархатъ сестрѣ, а шелковую матерію Ольгѣ Ѳедотовнѣ.

Онъ, значитъ, тебя еще не забылъ,—сказала Ольгѣ бабушка.

Да-съ, отвѣчала она, и тотчасъ же отнесла свой подарокъ на завѣсу въ церковь.

Таковъ конецъ этого поздняго эпизода, введеннаго мною здѣсь, можетъ-быть, не совсѣмъ кстати, но я считала его тутъ необходимымъ для того, чтобы закончить фигуру Ольги Ѳедотовны, послѣ которой перехожу къ изображенію другого важнаго лица придворнаго штата княгини — Патрикѣя.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Патрикѣй Семенычъ Сударичевъ былъ человѣкъ очень высокаго роста и имѣлъ очень умное «дипломатическое» [illegible] продолговатое, блѣдное, съ привѣтливымъ, мягкимъ, [illegible] въ то же время внушающимъ почтеніе выраженіемъ. [illegible] онъ всегда очень строго и опрятно въ одинъ и [illegible] довольно длинный суконный сюртукъ [illegible] Nez de Prusse, объ[illegible]ый жилетъ, по которому шелъ [illegible] шнурокъ съ брелокомъ изъ оправленнаго [illegible] дымчатаго топаза съ вензелемъ [illegible] для него священный предметъ, кото[illegible] отъ княгини въ память о князѣ. Па[illegible] высокіе, туго накрахмаленные воротнички, [illegible] «[illegible]», и огромное [illegible] Въ [illegible] сюртукъ за[illegible] сукна съ [illegible] жилетъ жабо и все [illegible] съ кисточ[illegible] подъ ран[illegible] старость всѣхъ [illegible] упорничалъ съ [illegible] [illegible]ковато, а въ

молодости, по словамъ Ольги Ѳедотовны, былъ «просто всѣмъ на заглядѣнье». Сама старенькая Ольга Ѳедотовна, бывало, молодѣла и расцвѣтала, начиная перечислять намъ всѣ достоинства, которыми сіялъ Патрикѣй.

— Красоту онъ,—говорила старушка,—имѣлъ такую, что хотя нашъ женскій полъ, бывало, и всякій день его видѣлъ, но, однако, когда у княгини бывали въ залахъ для гостей большіе столы, то всѣ съ дѣвичьей половины черезъ коридорныя двери глядѣть ходили, какъ онъ, стоя у особаго стола за колоннами, будетъ разливать горячее. И все это не изъ-за чего-нибудь, потому что Патрикѣй Семенычъ былъ семейный человѣкъ, а единственно ради прелести посмотрѣть. Да и откровенно скажу, было на что полюбоваться: какъ доложитъ бабинькѣ, что все готово, и выйдетъ въ залъ, станетъ самъ на возвышеніи между колоннъ передъ чашею и стоитъ точно капитанъ на кораблѣ, отъ котораго все зависитъ. А какъ только гости вслѣдъ за княгинею парами въ залъ вступятъ и сядутъ, онъ молча глазъ человѣку сдѣлаетъ, тотъ сейчасъ крышку съ чаши долой, а онъ и начнетъ большою ложкой разливать... Ахъ, какъ онъ разливалъ! то-есть этакъ, я думаю, ничего на свѣтѣ нельзя такъ красиво дѣлать! Рука эта у него точно шея у лебедя гнется: нальетъ и передаетъ лакею тарелку и опять возьметъ: все красота.

Окончивъ разливанье, которымъ такъ любовались художественныя натуры села Протозанова, Патрикѣй Семенычъ сходилъ съ возвышенія и становился за стуломъ у бабушки, и отсюда опять продолжалъ давать молча тонъ мужской прислугѣ и служить предметомъ восторговъ для наблюдавшихъ за нимъ изъ своего секрета женщинъ.

Стоя за Варварой Никаноровной, Патрикѣй не смѣлъ служить ей какъ обыкновенный лакей. Онъ всегда къ этому имѣлъ тяготѣніе, но это ему давно строго-настрого было запрещено. Онъ дерзалъ только прислуживать княгинѣ, и когда лакей подносилъ бабушкѣ блюдо, Патрикѣй слегка поддерживалъ его подъ краекъ, какъ дѣлаютъ камергеры. Бабушка, говорятъ, много разъ настаивала, чтобы Патрикѣй и такого участія не принималъ въ столовой услугѣ, но это запрещеніе служить ей такъ сильно его огорчало, что княгиня нашлась вынужденною ему уступить. Затѣмъ во всѣхъ обязанностяхъ Патрикѣя при княгинѣ не было ничего сбли-

жавшаго его со званіемъ комнатнаго слуги, хотя, впрочемъ, онъ никакого другого офиціальнаго званія при домѣ не имѣлъ. Съ тѣхъ поръ, какъ излагалъ послѣднія минуты князя и, позабывъ въ свѣчномъ ящикѣ свою вольную, отыскивалъ трубача Грайворону, онъ такъ и остался attaché, безъ всякаго особаго названія, но съ полнѣйшимъ во всемъ полномочіемъ. Онъ велъ всѣ переговоры съ людьми, которыхъ бабушка иногда почему-нибудь не могла принять; устраивалъ ея безчисленныхъ крестниковъ и велъ всѣ *безотчетные* расходы по выдачѣ наградъ состоявшимъ *на пайкѣ* губернскимъ и уѣзднымъ чиновникамъ.

Къ орудованію всякими подобнаго щекотливаго свойства дѣлами у него была особенная способность, которую Ольга Ѳедотовна, можетъ-быть, не совсѣмъ неосновательно, считала врожденною.

— Что же, — говорила она, — отчего отъ него, бывало, какой предсѣдатель или вице-губернаторъ даровъ не возьметъ? Всякій возьметъ. Маленькимъ, тѣмъ, бывало, что нужно, малые дары управитель даетъ, а къ старшимъ съ большими дарами или съ средними Патрикѣй ѣдетъ, и отъ другихъ будто не брали, а отъ него всегда брали, потому что повадку такую имѣлъ, что внушалъ довѣріе: глядѣлъ въ глаза вѣрно и ласково, улыбался улыбкой исподтихонька, одними устами поведетъ и опять сведетъ; слушать станетъ все это степенно, а въ отвѣтъ молвитъ, такъ его слову никто не усомнится повѣрить. Всѣ тайны и зналъ зато.

Жилъ Патрикѣй со своимъ семействомъ во флигелѣ, состоявшемъ подъ одною кровлей со ткацкими; а въ семьѣ у него были только жена да сынъ. Жена у него была такая смирная, что ее даже никто не зналъ: она какъ будто была поражена величіемъ мужа и «шла въ тѣняхъ». Всю жизнь свою она употребила на ежедневную стирку и глаженіе его бѣлыхъ галстуковъ и жилетовъ. У нихъ былъ сынъ Николай, котораго бабушка застала уже по пятнадцатому году писаремъ въ конторѣ. Она его немедленно взяла оттуда и велѣла Патрикѣю отдать въ училище, откуда онъ потомъ поступилъ въ архитектурные классы и былъ хорошимъ архитекторомъ и очень богатымъ человѣкомъ, съ которымъ *нѣкто* изъ рода нашего впослѣдствіи вступилъ въ соотношенія, съ моей точки зрѣнія, не совсѣмъ

желанныя. Но это все придетъ въ свое время, а теперь я упоминаю объ этомъ Николаѣ Патрикѣичѣ для того, чтобы разсказать оригинальный и смѣшной случай, сопровождавшій выходъ его въ *благородные*, причемъ Патрикѣй «оказалъ дикость», характеризующую его лучше всякаго пространнаго описанія.

Когда родоначальникъ извѣстнаго нынѣ богатаго дома, Николай Патрикѣевичъ Сударичевъ, получивъ званіе архитектора, пріѣхалъ повидаться къ отцу, бабушка, разумѣется, пожелала, чтобы «Николашу» ей представили, и обласкавъ его, она подарила ему часы, сто рублей «на пару платья», и—о, ужасъ! — велѣла ему придти къ столу съ нею обѣдать... Патрикѣй Семенычъ нашелъ это ни съ чѣмъ несообразнымъ, возмутительнымъ и просто невозможнымъ. Какъ, онъ, его сынъ, «Николашка», будетъ сидѣть за однимъ столомъ съ княгиней!.. За тѣмъ самымъ столомъ, за которымъ самъ онъ, Патрикѣй Семенычъ, такъ упорно присвоилъ себѣ право стоять и обходить гостей съ бутылкою мадеры... И, стало-быть, теперь онъ и къ сыну, къ «Николашкѣ», долженъ будетъ подойти съ обернутою салфеткою бутылкой вина и спросить: «прикажете мадеры?» Нѣтъ, это... это было что-то такое, что помутило всѣ понятія Патрикѣя и лишило его всѣхъ средствъ, какъ сообразить въ этомъ случаѣ свое положеніе. Чѣмъ онъ больше это обдумывалъ, тѣмъ больше несообразности видѣлъ въ этомъ странномъ поступкѣ княгини и, не смѣя сердиться на нее, онъ далъ волю своему гнѣву противъ сына: какъ онъ смѣлъ, молокососъ, «не отпроситься». Удалясь самъ въ залъ, Патрикѣй сдѣлалъ подсылъ за сыномъ въ ту комнату, гдѣ тотъ сидѣлъ у княгини, и приготовился просто увесть его куда-нибудь изъ покоевъ и скрыть на время обѣда, а потомъ ввечеру повиниться во всемъ этомъ княгинѣ. Но, къ неожиданной досадѣ Патрикѣя, бабушка поняла его маневръ и, выйдя сама къ нему, сказала:

— Послушай, Патрикѣй Семенычъ, какъ тебѣ не стыдно.

И Патрикѣй Семенычъ понялъ это и смирился до того, что готовъ былъ видѣть «Николашку» за столомъ, но бабушка приняла противъ этого свои мѣры и тутъ же дала ему какое-то порученіе, за которымъ онъ не могъ присутствовать при обѣдѣ. Но Патрикѣй исполнилъ это порученіе скорѣе, чѣмъ княгиня ожидала, и въ половинѣ обѣда

явился за бабушкинымъ стуломъ: онъ хотѣлъ показать, что онъ изъ преданности даже и это снести можетъ. И вотъ въ потребное время онъ взялъ въ руку бутылку мадеры и пошелъ вокругъ, нагинаясь къ каждому гостю, съ вопросомъ: «прикажете?» но, дойдя до сына и приклонясь къ нему, онъ не выдержалъ и, вмѣсто «прикажете вина», простоналъ:

— Пошелъ вонъ!—и съ этимъ, выпустивъ бутылку изъ рукъ, самъ покачнулся и упалъ на руки подхватившаго его сына.

Всѣмъ, я думаю, этотъ обѣдъ былъ невкусенъ, а особенно бѣдному Николаю, который теперь страшно бы разсердился, если бъ ему это напомнили.

Была сконфужена этимъ и сама бабушка, и даже до того сконфужена, что, узнавъ, что съ Патрикѣемъ былъ обморокъ и ему цырюльникъ Иванъ открылъ кровь, она сама пошла къ нему во флигель и извинялась предъ нимъ.

Неизвѣстно, какъ именно она выражала ему свои извиненія, но слова ея подѣйствовали, и Патрикѣй послѣ этого разговора просіялъ и утѣшился. Но, однако, онъ былъ за свою слабость наказанъ: сына его съ этихъ поръ за столъ не сажали, но зато самъ Патрикѣй, подавая бабушкѣ ея утренній кофе, всегда получалъ изъ ея рукъ налитую чашку и выпивалъ ее *сидя* на стулѣ передъ самою княгинею. Въ этомъ случаѣ онъ могъ доставлять себѣ только одно облегченіе, что *садился у самой двери.*

Страсти у Патрикѣя были только двѣ, и обѣ благородныя: онъ любилъ охоту съ ружьемъ и музыку. Для охоты онъ всегда держалъ пуделей, котерыхъ самъ дрессировалъ, а ради любви къ музыкѣ имѣлъ скрипку, на которой въ теченіе довольно многихъ лѣтъ, придя вечеромъ домой, обыкновенно около часа игралъ что-то такое у себя подъ окномъ, но что̀ за вещи такія онъ разыгрывалъ—этого никто разобрать не могъ. Но охота ему не измѣняла, а музыку онъ вдругъ оставилъ по одному странному случаю: у бабушки часто гащивалъ, а въ послѣднее время и совсѣмъ проживалъ, одинъ преоригинальный бѣдный, рыжій и тощій дворянинъ Дормидонтъ Рогожинъ, имя котораго было передѣлано бабушкою въ Донкихотъ Рогожинъ. Человѣкъ этотъ, которому принадлежитъ своя весьма симпатичная роль въ

нашей семейной исторіи, по словамъ бабушки, былъ: «голъ какъ турецкій святой, а въ душѣ рыцарь». Но Патрикѣя онъ оторвалъ отъ музыки не своимъ рыцарствомъ, а тѣмъ, что, однажды подслушавъ его ночную игру на скрипкѣ, сказалъ:

— Чего пиликаешь? Развѣ можно такъ скрипѣть, когда теперь гудутъ, несясь въ пространствѣ міровомъ, планеты?

Патрикѣй въ этомъ сначала ничего не понялъ, но за то когда Донкихотъ Рогожинъ нарисовалъ ему значки планетъ и, указавъ орбиты ихъ движенія, сказалъ:

— Вѣдь, понимаешь, каждая должна давать свой тонъ: вотъ это меньшая, она тоненько свиститъ, а эта вотъ здоровая жужжитъ какъ бомба, а наша тутъ землишка и себѣ альтомъ играетъ...

Патрикѣй не сталъ далѣе дослушивать, а обернулъ свою скрипку и смычокъ кускомъ старой кисеи и съ той поры ихъ уже не разворачивалъ; время, которое онъ прежде употреблялъ на игру на скрипкѣ теперь онъ простаивалъ у того же окна, но только лишь смотрѣлъ на небо и старался вообразить себѣ ту гармонію, на которую намекнулъ ему рыжій дворянинъ Донкихотъ Рогожинъ.

Охотникъ мечтать о дарованіяхъ и талантахъ, погибшихъ въ разныхъ русскихъ людяхъ отъ крѣпостного права, имѣлъ бы хорошую задачу расчислить: какихъ степеней и положеній могъ достичь Патрикѣй на поприщѣ дипломатіи или науки, но я не знаю, предпочелъ ли бы Патрикѣй Семенычъ всякій блестящій путь тому, что считалъ своимъ призваніемъ: быть вѣрнымъ слугой своей великодушной княгинѣ.

— Ея рабъ, говорилъ онъ,—и ея рабомъ я умру.

И онъ такъ и сдѣлалъ.

Въ этомъ былъ его point d'honneur и даже болѣе: онъ чувствовалъ потребность быть ей преданъ безъ мѣры.

Я знаю, что это многимъ можетъ показаться глупымъ, или, по меньшей мѣрѣ, страннымъ и непонятнымъ, но что дѣлать? Chaque baron a sa fantaisie, а фантазія Патрикѣя была та, что онъ и въ дряхлой старости своей, схоронивъ княгиню Варвару Никаноровну, не поѣхалъ въ Петербургъ къ своему разбогатѣвшему сыну, а оставался вольнымъ крѣпостнымъ послѣ освобожденія и жилъ при особѣ дяди князя Якова. Будучи уже очень старъ, онъ былъ не въ силахъ трудиться, но ходилъ по дому и постоянно кропотался на

новыхъ слугъ, да содержалъ въ порядкѣ старые чубуки и трубки, изъ которыхъ никто не курилъ и которые для того еще и остались въ домѣ, чтобъ у стараго Патрикѣя было что-нибудь на рукахъ.

Это былъ чтитель высоко имъ цѣнимой доблести рода, постепенное, но широкое исчезновеніе которой ему суждено было видѣть во всеобщей захудалости потомковъ его вліятельной и пышной княгини.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Назвавъ княгиню *вліятельною и пышною*, я считаю необходимымъ показать, въ чемъ проявлялась ея пышность и каково было ея вліяніе на общество людей дворянскаго круга, а также намѣтить, чѣмъ она пріобрѣла это вліяніе въ то время, въ которомъ вліятельность неофиціальному лицу доставалась отнюдь не легче, чѣмъ нынче, когда ее при всѣхъ льготныхъ положеніяхъ никто болѣе не имѣетъ.

Надѣюсь, это будетъ имѣть здѣсь свое мѣсто и даже нѣкоторый интересъ.

Говоря нынѣшнимъ книжнымъ языкомъ, я, можетъ-быть, всего удачнѣе выразилась бы, сказавъ, что бабушка ни одной изъ своихъ цѣлей не преслѣдовала по особому вдаль разсчитанному плану, а достиженіе ихъ пришло ей въ руки *органически*, самымъ простымъ и самымъ правильнымъ, но совершенно незамѣтнымъ образомъ, какъ бы само собою.

Неожиданно овдовѣвъ, бабушка, какъ можно было видѣть изъ первыхъ страницъ моихъ записокъ, не поѣхала искать разсѣянія, какъ бы сдѣлала это современная *дама*, а она тотчасъ же занялась приведеніемъ въ порядокъ своего хозяйства, что̀ было и весьма естественно, и совершенно необходимо, потому что пока княгиня съ княземъ жили въ Петербургѣ, въ деревнѣ многое шло не такъ, какъ нужно. Теперь она, оставшись одинокою, озаботилась всестороннимъ поднятіемъ уровня своихъ экономическихъ дѣлъ и начала это съ самой *живой силы* крѣпостного права, то-есть съ крестьянъ.

Нынче очень многіе думаютъ, что при крѣпостномъ правѣ почти совсѣмъ не нужно было имѣть умѣнья хорошо вести свои дѣла, какъ будто и тогда у многихъ и очень многихъ дѣла не были въ такомъ отчаянно-дурномъ положеніи, что умные люди уже тогда предвидѣли въ недалекомъ будущемъ

неизбѣжное «захуданіе» родового помѣстнаго дворянства. Это зависѣло, конечно, отъ разныхъ причинъ, между которыми, однако, самое главное мѣсто занимало неумѣніе понимать своей пользы иначе какъ въ связи съ пользою всеобщею и прежде всего съ матеріальнымъ и нравственнымъ благосостояніемъ крестьянъ.

Глядя на вещи практически и просто, бабушка не отдѣляла нравственность отъ религіи. Будучи сама религіозна, она человѣка безъ религіи считала ни во что.

— Таковой, по ея словамъ, сколь бы уменъ ни былъ, а положиться на него нельзя, потому что у него смыслъ жизни потерянъ.

Этого для княгини было довольно, потому что у самой у ней *смыслъ жизни* былъ развитъ съ удивительною послѣдовательностію. Сама она строго содержала уставы православной церкви, но, при требованіи отъ человѣка религіи, отнюдь не ставила необходимымъ условіемъ исключительнаго предпочтенія ея вѣры предъ всѣми другими. Совсѣмъ нѣтъ... она не скрывала, что «уважаетъ всякую *добрую* религію».

Княгиня не только не боялась свободомыслія въ дѣлахъ вѣры и совѣсти, но даже любила откровенную духовную бесѣду съ умными людьми и разсуждала смѣло. Владѣя чуткостью религіознаго смысла, она имѣла истинное дерзновеніе вѣры и смотрѣла на противорѣчія ей безъ всякаго страха. Она какъ будто даже считала ихъ полезными.

— Если древо не будетъ колеблемо, — говорила она: — то оно крѣпкихъ корней не пуститъ, въ затишьи деревья слабокоренны.

Но я не хотѣла бы тоже, чтобы кто-нибудь подумалъ, что бабушка была только деисткою и индифферентною въ дѣлахъ вѣры. Опять нѣтъ: повторяю, княгиня была искреннѣйшая почитательница родного православія; не чванилась только въ немъ, а крѣпко его содержала. Она соблюдала посты, ходила въ церковь; твердо знала обиходъ и любила въ службѣ стройность и благолѣпіе; взыскивала, чтобы попы въ алтарѣ громко не сморкались и не обтирали бородъ аналойными полотенцами; дьяконы чтобы не ревѣли, а дьячки не частили въ чтеніи каѳизмъ и особенно шестопсалмія, которое бабушка знала наизусть.

Съ этой духовной стороны она и начала свое вдовье го-

сподарство. Первымъ ея дѣломъ было потребовать изъ церквей исповѣдныя росписи и сличить, кто изъ крестьянъ ходитъ и кто не ходитъ въ церковь? Отъ неходящихъ, которые принадлежали къ расколу, она потребовала только, чтобъ они ей откровенно сознались, и заказала, чтобы ихъ причетъ не смущалъ и не неволилъ къ требамъ. Она о нихъ говорила:

— Пусть, гдѣ хотятъ, молятся: Богъ одинъ, и длиннѣе земли мѣра Его.

Церковныхъ же своихъ крестьянъ княгиня сама раздѣлила по седмицамъ, чтобы каждый могъ свободно говѣть не останавливая работъ; слѣдила, чтобъ изъ числа ихъ не было совращеній,—въ чемъ, впрочемъ, всегда менѣе винила самихъ совращающихся, чѣмъ духовенство. О духовенствѣ она, по собственнымъ ея словамъ, *много скорбѣла*, говоря, что «они лѣнивы, алчны и къ дѣлу своему небрежны, а въ писаніи неискусны».

Состязаться съ княгинею, въ чемъ бы то ни было касающемся церковныхъ уставовъ или обихода, священники ея селъ не дерзали; она была для нихъ все: и ктиторъ, и консисторія, и владыка, и уже у нея священникъ прижать мужичка при бракѣ какою-нибудь натяжкою въ степени родства не помышлялъ.

«Владыка», при малѣйшемъ сомнѣніи, сама бралась за Кормчую и, разсмотрѣвъ дѣло, рѣшала его такъ, что оставалось только исполнять, потому что рѣшеніе всегда было правильно.

Въ томъ же самомъ духѣ ведены ею были и всѣ другія отрасли ея обширнаго хозяйства. Бабушка въ попечительныхъ заботахъ о благѣ крестьянъ хотѣла знать все, что до нихъ касается, и достигла этого тѣмъ, что жила совершенно доступною для каждаго. Всѣ люди безъ исключенія могли приходить къ бабушкѣ со всякими мелочами. Десятникъ не пускалъ мужика на ярмарку продать овцу и купить лыкъ, соли или дегтю, и мужикъ, если онъ считалъ себя напрасно задержаннымъ, сейчасъ шелъ съ жалобою къ княгинѣ. Она къ нему непремѣнно выходила, терпѣливо его выслушивала и рѣшала—правъ онъ или неправъ. Въ первомъ случаѣ мужикъ получалъ удовлетвореніе, а въ противномъ—брался на замѣчаніе и въ случаѣ повторенія кляузничества лишался въ теченіе опредѣленнаго времени права являться

на глаза княгинѣ. Такіе опальные, видя себя на все время опалы лишенными самой правдивѣйшей и мощной защиты, тяжело чувствовали силу справедливаго гнѣва Варвары Никаноровны и страшились впередъ навлекать его на себя.

Наказанія были рѣдки и неожесточительны, но все-таки были, и притомъ иногда не безъ вѣдома самой княгини, которая, правду сказать, этимъ не смущалась. Она говорила, что:

— Когда милосердіе не дѣйствуетъ, то строгость тоже есть милосердіе.

Крестьяне къ похваламъ богобоязненности бабушки скоро пріумножили хвалу на хвалу ея разуму и справедливости. Села ея богатѣли и процвѣтали: крѣпостные ея люди покупали на сторонѣ земли на ея имя и вѣрили ей болѣе, чѣмъ самимъ себѣ.

Это довѣріе впослѣдствіи повлекло за собою для нея тяжелое огорченіе, павшее на нее безъ всякой ея вины, но, по винѣ лица, которое намъ съ нею было очень близко и о которомъ мнѣ тяжело будетъ вспоминать. Но это все послѣ.

Такими простыми мѣрами, какія мною описаны, княгиня безъ фразъ достигла того, что, дѣйствительно, вошла въ народъ, или, какъ нынче говорятъ: «слилась съ нимъ» въ одномъ руслѣ и стояла посреди своихъ людей именно какъ владыка, какъ настоящая народная княгиня и госпожа...

Такова была княгиня для своихъ рабовъ; теперь перехожу къ тому, чѣмъ она успѣла въ это время сдѣлаться для своихъ свободныхъ согражданъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

При большомъ вниманіи къ хозяйству крестьянъ, княгиня Варвара Никаноровна очень скоро привела свои собственныя дѣла въ такое блестящее состояніе, что почиталась самою богатою женщиной въ губерніи. Она не была должна никому, а ей рѣдко кто не былъ долженъ. При недостаткѣ въ тогдашнее время организованнаго мѣстнаго кредита, центральный банкъ для всей окружности былъ у бабушки. Къ ней могъ пріѣхать всякій дворянинъ и даже купецъ и попросить у нея въ ссуду денегъ на нужду. Степень благонадежности кредита опредѣлялъ непосредственный

взглядъ княгини на просящаго и на основательность его расчетовъ поправиться.

Отказы были рѣдки; но тѣмъ, кто, сдѣлавъ у бабушки заемъ, не привозилъ ей въ срокъ своего долга и не пріѣзжалъ «отпроситься», княгиня сама посылала объявить, что:

— Пусть-де не безпокоится: я на немъ крестъ положила.

И тотъ, чей счетъ бабушка въ своей кабинетной книгѣ зачеркивала крестомъ, уже никогда не имѣлъ у нея болѣе кредита. Онъ могъ получить «помощь», но не кредитъ.

Открывъ свой столъ и свой карманъ для помощи неимущему, княгиня, однако, основательно смотрѣла, чтобъ этимъ не злоупотребляли, и выдумала много самыхъ курьезныхъ, но практикою оправданныхъ пріемовъ. Такъ, напримѣръ, если искалъ помощи кредитомъ человѣкъ, котораго благонадежность казалась ей почему-нибудь сомнительною, то такому просителю она обыкновенно сразу не сулила и не отказывала, а оставляла его у себя «погостить во флигеляхъ, покуда она подумаетъ». Срокъ этого думанья былъ различный, иногда онъ доходилъ даже до цѣлаго мѣсяца, что, впрочемъ, всегда было въ извѣстномъ соотношеніи съ разстояніемъ мѣста жительства просителя отъ села Протозанова. Кто жилъ поближе къ Протозанову, тотъ удостоивался получать рѣшительный отвѣтъ поскорѣе; а кто былъ изъ мѣстъ болѣе отдаленныхъ, тому приходилось ожидать подольше. Во все время этого ожиданія, нуждающійся гость ходилъ къ княгинѣ обѣдать, и, если онъ былъ ей по душѣ, то его приглашали къ ней къ вечернему чаю; а впрочемъ, онъ могъ безъ стѣсненія располагать собою, какъ ему угодно. Въ его волѣ было и совсѣмъ не ходить къ княгинѣ, и она за это нимало не обижалась. Для занятій же пріѣзжихъ было достаточное число верховыхъ и упряжныхъ лошадей, ружей, и легавыхъ, и борзыхъ собакъ, а также бильярдъ во флигелѣ и шкафъ съ книгами.

А между тѣмъ, пока проситель гостилъ у бабушки и развлекался чѣмъ могъ по своему вкусу и выбору, на мѣсто его жительства, соблюдая строгое инкогнито тщательнѣе всякаго путешествующаго принца, отправлялся на конторской лошади одинъ изъ «выборныхъ», всегда расторопный, умный и честный мужикъ, который и собиралъ о просителѣ самыя обстоятельныя свѣдѣнія и, не тратя времени, возвращался съ докладомъ къ княгинѣ. Если была хотя ма-

лѣйшая возможность вѣрить человѣку съ надеждою, что онъ, поправясь, современемъ разочтется, то деньги давались. Если дѣло было даже наполовину и рискованно, то и тогда еще отказу не было. Людямъ честнымъ, но сильно разореннымъ, пособіе давалось даже при полнѣйшемъ рискѣ. Отъ такихъ требовалось только одно: чтобы человѣкъ не былъ неблагодаренъ и хоть разъ въ годъ пріѣзжалъ извѣщать Варвару Никаноровну: какъ идутъ его дѣла. Если дѣла должника поправлялись, княгиня радовалась; а если они все еще были худы, то бабушка разспрашивала, что, какъ и почему? и опять помогала и деньгами, и совѣтомъ.

Въ обхожденіи бабушки съ людьми было много милоты и прелести: въ немъ господствовала какая-то, ей одной свойственная, величавая и добродушная простота: княгиня держала себя совершенно одинаково со всѣми. У нея были завѣтные друзья, но избранныхъ гостей у нея никогда не было; въ ея домѣ всѣ были равны, и она ко всѣмъ была одинаково привѣтлива. Лжи княгиня терпѣть не могла: она ни сама къ ней никогда не прибѣгала и другимъ ее не спускала. У нея вообще была даже нѣкоторая слабость сказать человѣку правду въ глаза; но она дѣлала это, во-первыхъ, всегда дружески, а во-вторыхъ, съ самою доброю цѣлью: объясниться и не питать скрытаго зла. Прощала она людей легко и охотно, и притомъ съ поразительною снисходительностію *для слабыхъ*. Въ этомъ случаѣ правиломъ ея было «измѣрять ношу и поприще и не возлагать бремена тяжкія и неудобоносимыя». Въ своихъ разсужденіяхъ о людяхъ княгиня была осторожна: у нея была поговорка, что «разсужденіе сродни осужденію», и потому она пространно ни о комъ не любила разсуждать, особенно же о тѣхъ, кто показывалъ ей какое-нибудь недружелюбіе (хотя такихъ было очень мало).

Убѣдясь въ томъ, что кто-нибудь ее очень злословитъ, она говорила:

— Не безъ причины же онъ на меня сердится: можетъ быть, ему что-нибудь на меня наговорили, или что-нибудь не такъ показалось, а можетъ быть, я и впрямь чѣмъ виновата: что-нибудь грубо сказала, а онъ не стерпѣлъ. Что дѣлать, мы всѣ нетерпѣливы.

Но совершенно равнодушная къ своимъ обидамъ, княгиня держалась совсѣмъ иного правила по отношенію къ

оскорбленіямъ ея друзей. Тутъ у нея было чрезвычайно строго.

— Кто отдаетъ друзей въ обиду, у того у самого свѣтъ въ глазахъ таетъ, — говорила она и, оберегая свои глаза, прямо и въ упоръ устремляла ихъ на обидчика и «поправляла» дѣло.

Ничто, касающееся ея друзей, не казалось ей мелкимъ, и я сама уже помню престранные случаи, которые подавала для горячихъ заступничествъ бабушки, достаточно извѣстная изъ моихъ записокъ, дьяконица Марья Николаевна.

Во время моего дѣтства, домъ княгини попрежнему посѣщался очень многими людьми, между которыми довольно часто попадалась свѣтская петербургская молодежь, пріѣзжавшая къ родителямъ на побывки, а иногда и немолодые заѣзжіе люди, гостившіе у кого-нибудь изъ сосѣдей по вновь составлявшимся семейнымъ и общественнымъ связямъ. Всѣ эти люди считали обязанностью хоть разъ побывать у бабушки, и она имъ, разумѣется, была рада, такъ какъ у нея «гость былъ Божій посолъ», но, тѣмъ не менѣе, тутъ съ этими «послами» иногда происходили прекурьезныя расправы, которыми злополучная Марья Николаевна терзалась и мучилась безпримѣрно.

Въ домѣ такой былъ обычай, что Марья Николаевна, въ качествѣ друга княгини, всегда должна была присутствовать въ числѣ гостей и, къ тому же, непремѣнно занимать одно изъ ближайшихъ къ хозяйкѣ мѣстъ. Этотъ почетъ не мало стѣснялъ бѣдную женщину, вѣчно жавшуюся на креслѣ, или на диванѣ въ своемъ малиновомъ гро-гро платьѣ и желтой французской шали съ голубою башнею на спинѣ и каймою городовъ по окраинѣ. Какъ ни долгъ былъ срокъ, въ теченіе котораго бабушка ее пріучала къ занятію этой позиціи, скромная Марья Николаевна никакъ къ ней не могла привыкнуть и обыкновенно терялась при входѣ каждаго новаго гостя и для смѣлости улыбалась и окручивала свои руки въ жгутикъ свитымъ носовымъ платочкомъ. Если же входящій гость былъ не знакомый мѣстный дворянинъ, которому всѣ уставы и учрежденія бабушкинаго дома были извѣстны, а лицо заѣзжее, то Марьей Николаевной овладѣвало самое критическое безпокойство. Завидѣвъ такое лицо, она вся покрывалась краской, на

носу у нея крупными каплями проступалъ потъ, и она начинала привскакивать и присѣдать, чтобъ ее непремѣнно замѣтили. Видно было, что чѣмъ это для нея мучительнѣе, тѣмъ усерднѣе она объ этомъ старалась, и успокоивалась только, когда гость, наконецъ, замѣчалъ ея заботы и отдавалъ ей поклонъ наравнѣ со всѣми другими; случалось, что заѣзжіе люди, представляясь бабушкѣ, не удостоивали вниманія Марью Николаевну, которая имѣла видъ смущенной и смѣшной приживалки. Неосторожный и не предупрежденный гость раскланивался съ бабушкой и помѣщицами, а Марью Николаевну не замѣчалъ... Тогда эта скромная женщина старалась всякими смѣшными ужимками заставить себя замѣтить и раскланяться съ нею, но старалась совсѣмъ не для себя. Конечно, ей это не было нужно,—но для бабушки и особенно для самого гостя, потому что она знала, какая бѣда не минуетъ его, если онъ «пуститъ ее въ тѣняхъ». Бабушка зорко наблюдала за тѣмъ, какъ онъ «обойдется» съ ея другомъ, и чуть замѣчала, что гость Марью Николаевну «проманкировалъ» и идетъ далѣе, она громко называла его по имени и говорила:

— Извините, сдѣлайте милость: остановитесь на минуточку, вы, кажется, съ Марьей Николаевной не поздоровались!

Гость конфузился и, бормоча что-нибудь въ родѣ того, что «не замѣтилъ», спѣшилъ поправить свою ошибку. Но бабушка удерживала предъ собою гостя, начиная предъ нимъ пространно извиняться:

— Вы будьте милостивы. Я... въ этомъ случаѣ покорнѣйше васъ прошу меня извинить... вы вѣдь ее... Марью-то Николаевну, разумѣется, не знаете, а Марья Николаевна мой первый другъ... давнишній, знаете, старинный другъ... Почтенная женщина... у нея братъ архіерей, да; и это она его довела и вообще она всякаго уваженія заслуживаетъ: такъ я сама ее почитаю и въ ваше благорасположеніе такъ рекомендую.

И, ухъ, какъ не любили и боялись мы этихъ извиненій: она ихъ точно тонкую нить выпрядала, и всѣ знавшіе ее знали и то, что она дѣлаетъ это не безъ умысла.

— Извинилась, говорили,—ну, теперь держись!

Также ревнива была княгиня къ малѣйшему покушенію гостя показать свою важность или воспитанность предъ

другими. Марья Николаевна, бывшая своего рода bête noire во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, говорила мнѣ:

— Чуть, бывало, кто французскимъ языкомъ при ней обмахнется, я уже такъ и замру отъ ожиданія, что она сейчасъ извинится и *осажэ* сдѣлаетъ, и, главное, все это на мой счетъ повернетъ. Такъ бы вотъ его вскочила да и дернула: «перестаньте». А она слушаетъ-слушаетъ и все морщится, да вдругъ и извинится: «Позвольте, скажетъ, мнѣ васъ перервать: что вы это все по-французски безпокоитесь? Мы вѣдь здѣсь русскіе, и вотъ другъ мой Марья Николаевна... она по-французски и не понимаетъ и можетъ подумать что-нибудь на ея счетъ и обидѣться можетъ»...— И все, говоритъ, бывало, этакъ чаще всего за меня, такъ что даже, право, мученье это мнѣ было при гостяхъ сидѣть; но огорчать я ее не могла, и друзей черезъ это пріобрѣтала: кого она этакъ хорошо съ своими извиненіями отчитаетъ, самъ же послѣ этого надъ собою смѣется. Я, бывало, обыкновенно сейчасъ послѣ обѣда хожу между гостей и все отыскиваю, который пострадалъ, и прошу: «Батюшка мой! Христа ради меня простите, что за меня вытерпѣли!.. я тому ни сномъ, ни духомъ не виновата». Всякій, бывало, мнѣ сейчасъ и руку подаетъ, а иной, добрый, такъ даже съ нимъ и поцѣлуемся и оба расхохочемся, и даже не разъ изъ Петербурга отъ такихъ друзей поклоны получала...

Воистину дивно, что на бабушку никто за это не сердился.

Я сама уже помню, какъ бабушка выслала разъ изъ гостиной одного молодого петербургскаго придворнаго, который, пріѣхавъ къ ней съ своимъ отцомъ, рѣзко судилъ о старшихъ. Бабушка предъ нимъ тотчасъ же *извинилась*.

— Простите меня великодушно,—сказала она ему съ доброю улыбкой:—я думаю вамъ съ нами, стариками, здѣсь скучно, вы бы сдѣлали мнѣ одолженіе въ залъ... къ дѣвицамъ... Княжны, барышни! позвала она насъ:—займите молодого гостя!

И гость намъ не отказалъ: онъ, смѣясь, подалъ руки мнѣ и сестрѣ Nathalie, и мы съ нимъ, выйдя въ залу, начали бѣгать около большого круглаго стола, и, признаться сказать, превесело провели часъ предъ обѣдомъ.

Такъ еще въ то время было просто и такъ живо тогда чувствовалось взаимное снисхожденіе, которое послѣ замѣ-

нено сначала французскимъ петиметрствомъ, а потомъ аглицкимъ равнодушіемъ. Но бабушкѣ уже и тогда казалось худо: она считала, что съ возвращеніемъ нашихъ войскъ изъ Парижа въ обществѣ нашемъ обнаружился повсемѣстный недостатокъ взаимоуваженія.

— Шамотонятъ какъ-то,—говорила она,—а настоящихъ чувствъ деликатства нѣтъ.

Въ заключеніе характеристики, приведу, что говорилъ о бабушкѣ простой человѣкъ, мужъ той, столь часто до сихъ поръ упоминавшейся дьяконицы Марьи Николаевны. Этотъ былой «поскакунъ» и танцоръ, дожившій ко днямъ моего отрочества до глубокаго престарѣнія, сказалъ мнѣ однажды о княгинѣ такъ:

— Она это... была всѣмъ дворянамъ-то... и всей прочей околичности... все равно, что столпъ огненный въ пустынѣ путеводящій и мѣдный змій отъ напастей спасающій.

Я какъ сейчасъ помню случай, когда дряхлый дьяконъ изрекъ мнѣ это своеобразное опредѣленіе: это былъ одинъ изъ тѣхъ тяжелыхъ и ужасныхъ случаевъ, съ которыми въ позднѣйшую эпоху не только ознакомилось, но почти не разставалось наше семейство. По болѣзни, я одна оставалась дома: была зима и вечеръ; я скучала, и хлопотавшая около меня Ольга Ѳедотовна позвала для моего разсѣянія Марью Николаевну и ея мужа. Сама Ольга Ѳедотовна была очень разстроена событіемъ, которое совершилось въ нашемъ семействѣ и грозило лечь чернымъ пятномъ на наше доброе имя, поэтому она хоть и жалѣла меня, но не хотѣла со мною много разговаривать, вѣроятно потому, что и меня, какъ молоденькую дѣвочку, считали отвѣтственною за всѣ грѣхи молодого поколѣнія. Марья Николаевна тоже молчала, но старый дьяконъ Досиѳей Андреичъ былъ милостивѣе и снисходительнѣе.

Онъ сидѣлъ предо мною за самоваромъ въ своей обширной какъ облако рясѣ изъ темножелтой нанки и размахивая изъ-подъ широкихъ полъ огромнѣйшимъ смазнымъ сапогомъ, все говорилъ мнѣ о семинаріи, гдѣ учился, объ архіереяхъ и о страшныхъ раскольникахъ, и потомъ, смахнувъ на воспоминанія о бабушкѣ, вдругъ неожиданно сдѣлалъ ей приведенное опредѣленіе, которое до того удивило меня своею оригинальностью, что я не удержалась и воскликнула:

— Какъ, Досиѳей Андреичъ, отчего же бабушка огненный столпъ! Какъ это можно?

Тутъ Ольга Ѳедотовна и вскипѣла, и зачастила:

— А такъ, матушка, такъ... такъ это и было возможно, потому что куда она какъ столпъ свѣтила, туда и всѣ шли, и что̀ хотѣла, то и дѣлала. Не въ городѣ, не на губернаторскомъ подворьѣ тогда искали ума-то, а у насъ въ Протозановѣ: не посовѣтовавшись съ бабинькою, ничего не дѣлали: выборы приходили, всѣ къ ней прежде съѣзжались да совѣтовались, и кого она рѣшитъ выбрать, того и выбирали, а другого, хоть онъ какой будь, не токмо что спереду, а съ боковъ, и сзаду расшитъ и выстроченъ,—не надо. Гдѣ тебя строчили, тамъ ты и гуляй, а намъ не надо. И такъ все черезъ своихъ людей въ ея волѣ и состояло.

— Всѣ «пріидите поклонимся» пѣли,—поддержалъ дьяконъ, а горячая старушка опять подхватила:

— А все почему? Все потому, что она была кость отъ костей и плоть отъ плоти своей, и черныя, и бѣлыя сотни всѣ за собой волокла, а не особилась, какъ вы, шишь-мышь, пыжики, иностранцы.

И Ольга Ѳедотовна, войдя съ сими словами въ азартъ, вдругъ позабыла даже, что я больна, а, подлетѣвъ ко мнѣ, начала меня теребить за руку да приговаривать:

— Дутики вы, дутики, больше ничего какъ самые пустые дутики! Ни вѣсть вы за кѣмъ ухаживаете, ни вѣсть за что̀ на своихъ людей губы дуете, а вотъ вамъ за то городничій поѣдетъ да губы-то вамъ и отдавитъ, и таки непремѣнно отдавитъ. И будете вы, охъ, скоро вы, голубчики, будете сами за заднимъ столомъ съ музыкантами сидѣть, да кому совсѣмъ не сто̀итъ кланяться, дескать: «здравствуй, бояринъ, навѣки!». Срамъ!

Разъясненія всѣхъ этихъ негодованій и пророчествъ впереди; ихъ мѣсто далеко въ хроникѣ событій, которыя я должна записать на память измельчавшимъ, и едва ли самихъ себя не позабывшимъ, потомкамъ древняго и добраго рода нашего. Сдѣлавъ нѣсколько несвоевременный скачокъ впередъ, я снова возвращаюсь «во время о̀но», къ событію, которымъ завершился періодъ тихаго вдовьяго житья княгини съ маленькими дѣтьми въ селѣ Протозановѣ и одновременно съ тѣмъ открылась новая фаза теченія моего свѣтила среди окружавшихъ его тучъ и тумановъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Бабушкѣ минуло тридцать пять лѣтъ; въ это время князья Яковъ и Дмитрій (впослѣдствіи мой отецъ) подросли, такъ что настала пора думать объ ихъ образованіи; а старшей сестрѣ ихъ, княжнѣ Анастасіи Львовнѣ, исполнилось совершеннолѣтіе, и она оканчивала свой институтскій курсъ. Въ персоналѣ и въ порядкахъ дома должны были произойти неизбѣжныя обновленія и реформы, къ которымъ княгиня и приготовлялась; но приготовлялась не спѣша и, повидимому, съ очень малою радостью. Этому всѣ удивлялись, но у княгини были на то свои причины.

Я считаю нужнымъ напомнить, что княжна Анастасія поступила въ институтъ не потому, чтобы бабушка этого хотѣла, а въ угоду основательницѣ заведенія, желавшей, чтобы дѣвицы лучшихъ фамилій получали здѣсь свое воспитаніе. Бабушка считала эту волю для себя священною и повиновалась ей, но сердце ея не лежало къ институту. Не знаю, были ли у нея какія-нибудь опредѣленныя причины для предубѣжденія противъ институтскаго воспитанія, но только она считала, что оно не годится, и черезъ то первый выходъ княжны изъ материнскаго дома подъ институтскій кровъ былъ несчастіемъ и для бабушки, и для ребенка. Глубокая и страстная натура княгини страдала неимовѣрно: Ольга Ѳедотовна разсказывала, что предъ тѣмъ, какъ княжну везть въ институтъ, бабушка чуть ума не рѣшилась.

— Ни одной ночи, говоритъ,—бѣдная, не спала: все, бывало, ходила въ бѣлый залъ гулять, куда, кромѣ какъ для баловъ, никто и не хаживалъ. Выйдетъ, бывало, туда таково страшно, безъ свѣчи, и все ходитъ, или сядетъ у окна, въ которое съ улицы фонарь свѣтитъ, да на портретъ Маріи Ѳеодоровны смотритъ, а у самой изъ глазъ слезы текутъ. Надо полагать, что она до самыхъ послѣднихъ минутъ колебалась, но потомъ преданность ея взяла верхъ надъ сердцемъ и она переломила себя и съ той поры словно отъ княжны оторвалась.

Послѣднее слово ея въ этомъ разсказѣ мнѣ всегда казалось почему-то очень страшнымъ: я никогда не переставала видѣть большой несправедливости въ томъ, что бабушка *оторвалась* отъ дочери ради антипатій къ воспитанію, ко-

торому, такъ или иначе, но, во всякомъ случаѣ, она сама ее ввѣрила. Отвезя дочь изъ дому противъ своей воли, княгиня какъ будто сочла ее уже отрѣзаннымъ ломтемъ, и не ошиблась. И она охладѣла къ дочери, и дочь къ ней. Пока княгиня жила еще въ Петербургѣ, она часто ѣздила къ дочери и исполняла все, что̀ нужно, но прежней, живой связи съ нею уже не чувствовала.

Отъѣздъ бабушки въ Протозаново еще болѣе разъединилъ мать съ дочерью: пока княгиня тамъ, на далекихъ мирныхъ пажитяхъ, укрѣпляла себя во всѣхъ добрыхъ свойствахъ обывательницы, княжна вырастала въ стѣнахъ петербургскаго института, въ сферѣ слабой науки и пылкихъ фантазій, грезившихъ иною жизнью, шумъ и блескъ которой достигали келій института и раздавались подъ ихъ сводами какъ рокотъ далекой эоловой арфы. Деревенское здѣсь знали только какъ буколическое, и то изъ французскихъ басенъ. Не было даже возможности обманываться, что съ окончаніемъ курса княжнѣ будетъ пріятно войти въ кругъ «друзей» и знакомыхъ своей матери и жить простыми ихъ задачами...

Во все время институтскаго курса княгиня сама лично только разъ ѣздила въ Петербургъ со спеціальною цѣлію навѣстить дочь. Такая поѣздка въ то время была вещь не легкая, и княгиня уже не рѣшалась ее повторять, тѣмъ болѣе, что все, что̀ она ни увидала въ Петербургѣ, послѣ двухлѣтняго изъ него отсутствія, ей казалось глубоко противно. Русскій языкъ былъ въ такомъ загонѣ, что ей почти не съ кѣмъ было на немъ обращаться, кромѣ прислуги, а въ институтѣ даже горничная, которой княгиня сдѣлала подарки за услуги княжнѣ, прося у бабушки руку для поцѣлуя, сказала:

— Позвольте, ваше сіятельство, васъ въ ручку померсикать.

Бабушка не дала ей руки и осердилась.

Съ тѣхъ поръ, два года кряду, въ Петербургъ вмѣсто княгини ѣздилъ Патрикѣй. Онъ долженъ былъ доставлять княжкѣ подарки и какъ можно болѣе на нее насматриваться и обстоятельно, какъ можно подробнѣе, разсказывать о ней княгинѣ. Первый годъ это ему удалось довольно удовлетворительно, но во второй Патрикѣй явился, послѣ двухмѣсячнаго отсутствія, очень сконфуженнымъ и сначала все

что-то мямлилъ и говорилъ какой-то пустой вздоръ, а потомъ повинился и сказалъ, что хотя онъ всякій пріемный день ходилъ въ институтъ, но княжна вышла къ нему только однажды, на минуточку, въ самый первый разъ, а съ тѣхъ поръ гостинцы черезъ швейцара принимала, а сама отъ свиданія отказывалась, и даже прощаться съ нимъ не вышла. Впрочемъ, Патрикѣй ручался, что княжна весела и здорова, потому что онъ, подкупивъ швейцара, постоянно прокрадывался въ его будку и наблюдалъ оттуда княжну Анастасію, когда она съ другими дѣвицами выходила гулять.

Бабушка всѣмъ этимъ была не мало удивлена:

— Какъ?! такая дѣвочка, еще подросточекъ, и уже изъ своего дома человѣка видѣть не хочетъ! И какого человѣка! Развѣ она не знаетъ, что онъ мнѣ больше другъ, чѣмъ слуга, или она уже все позабыла!

Прошли годы институтскаго ученія. Княгиня была не особенно радостна съ тѣхъ поръ, какъ стала говорить о поѣздкѣ въ Петербургъ за дочерью. Она терялась. Она не знала, перевозить ли ей дочь въ деревню и здѣсь ее переламывать по-своему, или уже лучше ей самой переѣхать въ свой петербургскій домъ и выдать тамъ княжну замужъ за человѣка, воспитанія къ ней болѣе подходящаго.

Между тѣмъ дни шли за днями и пришло неотложное время ѣхать. Начались сборы и невдалекѣ назначенъ день выѣзда; бабушка ѣхала до губернскаго города на своихъ подставахъ, а оттуда, далѣе, на сдаточныхъ, которыя тогда для неофиціальныхъ лицъ были благонадежнѣе почтовыхъ.

Но пока человѣкъ предполагалъ, Богъ располагалъ по-своему, и бабушкѣ открывался выходъ неожиданный и невѣроятный.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Въ то время, какъ сборы княгини совсѣмъ уже приходили къ концу, губернскій городъ посѣтилъ новый вельможа тогдашняго времени—графъ Функендорфъ, незадолго передъ тѣмъ получившій въ нашей губерніи земли и пріѣхавшій съ тѣмъ, чтобъ обозрѣть ихъ и населять свободными крестьянами. Кромѣ того, у него, по его высокому званію, были какія-то большія полномочія, такъ что онъ, въ одно и то же время, и хозяйничалъ, и міромъ правилъ.

Бабушка, къ дому которой никакія вѣсти не запазды-

вали, слушала объ этомъ новомъ лицѣ съ какимъ-то недовѣріемъ и неудовольствіемъ. Я забыла сказать, что въ числѣ ея разныхъ странностей было то, что она не жаловала графовъ. По ея правиламъ, въ Россіи должны быть царскій родъ, князья, дворяне, приказные, торговые люди и пахотные, но графы... Она говорила, что у насъ искони никакихъ графовъ не было, и она будто бы вовсе не знаетъ, откуда они берутся.

— Говорятъ, графы стали, ну, и Богъ съ ними: они мнѣ ни шьютъ, ни порютъ, и я имъ не помѣха, а только отчего имъ это такъ сдѣлалось—я не знаю.

Но что касается до графовъ съ иностранными фамиліями, то этого она рѣшительно и за титулъ не принимала.

— Пустяки,—утверждала она,—совершенные пустяки, это они и сами-то у себя это въ насмѣшку дѣлаютъ, графами называются. Вонъ Каліостро, простой итальянецъ былъ, макаронникъ, и по всей Европѣ ѣздилъ фокусы показывать, да ужины съ мертвецами давалъ, а тоже графомъ назывался.

При такомъ воззрѣніи понятно, что бабушка не высокаго была сужденія и объ этомъ графѣ Функендорфѣ, о которомъ ей разсказывали, какъ онъ грозенъ и строгъ и какъ отъ страха предъ нимъ въ губернскомъ городѣ всѣ власти сгибаются и трепещутъ.

— Что̀ такое!..—говорила она:—ну, положимъ, онъ и въ самомъ дѣлѣ знатный человѣкъ, я его рода не знаю, но чего же бояться-то? Не Иванъ Грозный, да и того сверхъ Бога отцы наши не пугивались, а это петербургскій божокъ схватилъ батожокъ, а у самого,—глядишь,—вѣкъ кратенькій... Мало ли ихъ ѣдетъ съ перищемъ, гремитъ колесомъ, а тамъ, смотришь, самого этого боженьку за ноженьку, да и поминай какъ звали. Страшенъ одинъ долготерпѣливый, да скромный, за того тяжко Богу отвѣтишь, а это само пройдетъ.

Но грозный для всѣхъ графъ былъ отнюдь не таковъ по отношенію къ княгинѣ; до нея одинъ за другимъ доходили слухи, что онъ о ней очень любопытствуетъ, и самъ съ величайшимъ почтеніемъ говорилъ о ней и съ губернаторомъ, и въ дворянскомъ собраніи.

— Что̀ ему еще до меня?—удивлялась княгиня, и еще болѣе удивилась, когда въ одинъ вечеръ Патрикѣй доложилъ ей о земскомъ разсыльномъ, который пріѣхалъ въ Протозаново съ письмомъ отъ губернатора.

Бабушка распечатала пакетъ и прочитала, что графъ желаетъ ей представиться и проситъ позволенія къ ней пріѣхать въ какой она назначитъ день.

Княгиня отвѣчала, что она *всякому* гостю всегда рада и дня не назначаетъ, но только извѣщаетъ, что она вскорѣ ѣдетъ въ Петербургъ за дочерью и проситъ графа, если ему угодно у нея быть, то не замедлить.

Между тѣмъ ее, какъ бы по предчувствію, какъ-то безпокоило это посѣщеніе. Она зачастую видала у себя разныхъ подобныхъ «божковъ» изъ Петербурга и принимала ихъ какъ и всякаго другого, а этотъ ей былъ почему-то особенно непріятенъ.

Чуждая всякой спеси и всякой подозрительности, княгиня никогда не задавала себѣ вопроса: зачѣмъ къ ней пріѣдетъ тотъ или другой человѣкъ?—ѣдетъ да и только; но тутъ у нея этотъ вопросъ не шелъ изъ головы.

«Что̀ ему до меня?» ломала она свою голову, сдвигая свои красивыя брови, и по цѣлымъ часамъ думала объ этомъ, глядя на играющихъ у ея ногъ на коврѣ маленькихъ князей.

«Если такъ думать, что онъ хочетъ у меня купить крестьянъ на сводъ, то, во-первыхъ, я не имѣю никакого права продавать ихъ, потому что они дѣтскіе, да и неужто я похожа на тѣхъ, что людей на сводъ продаютъ?.. Если же ему, можетъ-быть, денегъ надо... такъ этого быть не можетъ, чтобъ онъ у меня занимать сталъ!» И она опять взглядывала на дѣтей и думала: «не насчетъ ли моихъ дѣтей онъ намѣренъ коснуться? Только кто же посмѣетъ въ это вмѣшаться? Положимъ, у меня это случилось съ дѣвочкой, но то вѣдь была дѣвочка, тамъ я могла еще уступить: дѣвочка въ свой родъ не идетъ, она вырастетъ, замужъ выйдетъ и своему дому только сосѣдкой станетъ, а мальчики, сыновья... Это совсѣмъ другое дѣло: на нихъ все грядущее рода почіетъ; они должны всѣ въ своемъ полѣ созрѣть, одинъ за однимъ Протозановы, и у всѣхъ предъ глазами, на виду, честно свой вѣкъ пройти, а потомъ, какъ снопы пшеницы оспѣвшей во время свое, рядами лечь въ скирдницу... Тутъ никому нельзя уступать, тутъ всякая ошибка въ воспитаніи всему роду смерть».

У княгини тогда уже были зрѣло обдуманныя мысли, какъ она займется воспитаніемъ сыновей и къ чему ихъ будетъ весть.

«Не дочь ли моя его, наконецъ, интересуетъ?» добиралась княгиня и пошла разсуждать, что вѣдь они-де, эти графы-то, любятъ цапнуть: они все высматриваютъ, гдѣ за русскою женщиной поживиться хорошимъ приданымъ можно... Что же? Это дѣло статочное: ему, говорятъ, всего пятьдесятъ лѣтъ... По ихъ сужденіямъ, это нынче еще молодъ, а онъ, говорятъ, еще и впрямь молодецъ. И вдовъ, и здоровъ, и знатенъ... что же? Нынче такіе браки съ шестнадцатилѣтними невѣстами въ Петербургѣ заурядъ пошли. Гадко это, а, чего добраго, это могло ему придти въ голову.

И вдругъ ей самой пришло въ голову еще совершенно иное соображеніе; соображеніе, ни одного раза не приходившее ей съ самаго перваго дня ея вдовства: она вздумала, что ей самой еще всего тридцать пять лѣтъ, и что она въ этой своей порѣ даже и краше, и притомъ втрое богаче своей дочери... Тридцать пять и пятьдесятъ, это гораздо ближе одно къ другому, чѣмъ пятьдесятъ и шестнадцать; а какъ притомъ эта комбинація для графа и гораздо выгоднѣе, то не думаетъ ли онъ, въ самомъ дѣлѣ, осчастливить ее своей декларацiей?

Мысль эта показалась бабушкѣ столь ясною и логичною, что она стала вѣрить какъ въ неотразимый фактъ и ждала гостя въ неспокойствіи, за которое сама на себя сердилась.

Чего въ самомъ дѣлѣ! Неужто она не знаетъ, какъ она встрѣтитъ всякій подходъ съ этой стороны и чѣмъ на него отвѣтитъ.

Между тѣмъ «божокъ съ перищемъ ѣхалъ, и уже недалеко гремѣлъ колесомъ».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Графъ, благодаря бабушку за приглашеніе, прислалъ извѣстить ее, что онъ пожалуетъ къ ней въ первое слѣдующее воскресенье вмѣстѣ съ губернаторомъ, который его ей отрекомендуетъ. Бабушкѣ не нравилась эта помпа.

— Къ чему это? зачѣмъ это? что̀ такое мнѣ губернаторъ?

По независимымъ и оригинальнымъ понятіямъ бабушки, губернаторъ былъ «*старшій приказный въ губерніи*», и приказнымъ до него было и дѣло, а ей никакого: вѣжливъ онъ къ ней и хорошъ для другихъ, она его приметъ въ домъ, а нѣтъ—такъ она его и знать не хочетъ. Таковы

были ея правила. Но гостей надо было принять и день ихъ пріѣзда насталъ: день этотъ былъ погожій и свѣтлый; домъ княгини сіялъ, по обыкновенію, полной чашей, и въ немъ ни на волосъ не было замѣтно движенія сверхъ обыкновеннаго; только къ столу было что нужно прибавлено, да Патрикѣй, сходивъ утромъ въ каменную палатку, досталъ оттуда двѣ большія серебряныя передачи, круглое золоченое блюдо съ чернью подъ желе, подносъ съ кариденами (queridons), да пятнадцать мѣстъ конфектнаго сервиза. Это всегда отбиралось съ усмотрѣнія Патрикѣя по числу гостей и потомъ опять послѣ стола относилось на мѣсто, въ безопасную отъ огня и отъ воровъ каменную палатку.

Изъ того, что конфектнаго сервиза было вынуто пятнадцать мѣстъ, ясно было, что, кромѣ графа, губернатора и самой хозяйки, за столъ сядутъ еще двѣнадцать человѣкъ; но это тоже не были гости отборные, нарочно къ этому случаю призванные; а такъ, обыкновенные люди, изъ сосѣдей, которые къ этому дню подъѣхали и остались обѣдать. Въ счету ихъ, безъ всякаго сомнѣнія, была и дьяконица Марья Николаевна, и Донкихотъ Рогожинъ, о которомъ я уже нѣсколько разъ упоминала и теперь здѣсь непремѣнно должна сказать нѣсколько словъ, прежде чѣмъ сведу его съ графомъ.

Доримедонтъ Васильевичъ Рогожинъ, получившій прозваніе Донкихота, былъ чудакъ, какихъ и въ тогдашнее время было мало на свѣтѣ, а въ нашъ стереотипный вѣкъ ни одного не отыщется.

Онъ былъ длинный, сухой и рыжій дворянинъ, съ грустными изумрудными глазами, изъ которыхъ одинъ впослѣдствіи потерялъ. Рогожинъ своею наружностью въ общемъ чрезвычайно напоминалъ всѣмъ столь извѣстную фигуру Донкихота и такъ же, какъ тотъ, былъ немножко сумасшедшій. По случайной фантазіи, оригинальный костюмъ Рогожина еще болѣе довершалъ его сходство: Доримедонтъ Васильевичъ любилъ верхнее короткое платье, въ родѣ камзола или куртки, похожей на бѣдный колетъ рыцаря Ламанча, и туго стягивался ржавымъ металлическимъ поясомъ, состоявшимъ изъ продолговатыхъ бляхъ, соединенныхъ между собою тоненькими крѣпкими цѣпочками, изъ которыхъ, впрочемъ, многія были оборваны. Весь этотъ костюмъ всегда былъ въ безпорядкѣ, но Рогожинъ и не обращалъ на та-

кую мелочь никакого вниманія. Онъ, впрочемъ, вѣроятно, и не счелъ бы приличнымъ имѣть платье съ иголочки, какъ у какого-нибудь горожанина. Онъ, какъ истый горецъ, въ лохмотьяхъ своихъ любилъ ихъ красоту, и былъ правъ: они ему, дѣйствительно, шли и сидѣли на немъ такъ, какъ не могла сидѣть никакая обнова. Чудакъ этотъ служилъ въ Отечественную войну въ войскахъ и былъ взятъ въ плѣнъ и отведенъ во Францію, откуда вернулся, набравшись тогдашнихъ либеральныхъ идей, которыя, впрочемъ, переработалъ по-своему. Онъ былъ врагъ всякаго угнетенія и другъ демократіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ и другъ изгнаннаго дворянства, реставраціи котораго тоже сильно сочувствовалъ, потому что любилъ «благородство идей» и ненавидѣлъ зазнающихся выскочекъ. Возвратясь домой, онъ потерялся: чему сочувствовать и за кого заступаться? Здѣсь онъ не скоро могъ сообразить: кто кого угнетеннѣе и имѣетъ болѣе правъ на его защиту? Онъ то порывался разбить тюрьмы, или побить неправедныхъ судей; то лютовалъ, слыша стоны возлѣ господскихъ конторъ, и, наконецъ, растерявшись, первымъ дѣломъ положилъ отпустить на волю собственныхъ крестьянъ. Сказано и сдѣлано. У него было ничтожное имѣньишко, доставшееся ему отъ матери, бѣдной дворянки, обреченной въ монастырь и неожиданно вышедшей замужъ за его отца. Это имѣньице, да унаслѣдованное отъ матери умѣнье писать уставами и рисовать золотомъ и киноварью заставки составляли все наслѣдіе Донкихота. Крестьянамъ своимъ онъ объявилъ, что они свободны и могутъ идти куда хотятъ; но крестьяне отъ него не пошли. Это Рогожина крайне удивило, но когда девять мужиковъ, составлявшихъ всю его крѣпостную силу, собравшись къ его соломеннымъ хоромамъ на курьихъ ножкахъ, растолковали ему, что они на свободѣ боятся исправника и всякаго другого начальства, то Доримедонтъ Васильевичъ, долго шевеля въ молчаніи губами и длиннымъ рыжимъ усомъ, наконецъ, махнулъ рукой и сказалъ:

— Ну, такъ живите какъ знаете; только на меня не работать!

Мужики на это согласились: условія для нихъ были довольно удобныя и легкія. Впослѣдствіи эти хуторяне, сколько по великодушію, столько же отъ сосѣдскихъ насмѣшекъ, что они «живьемъ у себя барина заморили», накинули на

себя мірское тягло въ пользу Рогожина: они взялись ему убирать огородъ и лугъ для его коровы и пары клячъ и перекрыли ему соломой горенку. Кромѣ того, какъ въ это время Доримедонтъ Васильичъ часто долженъ былъ ѣздить въ городъ, гдѣ хлопоталъ о пенсіи за свою службу и раны, ему нуженъ былъ кучеръ, то мужики выбрали для услугъ изъ своей среды мужика Зинку. Мужикъ Зинка, сдѣлавшійся Санчо-Пансой нашего Донкихота, кажется, былъ пріуготовленъ къ этой должности самою природой. Въ дѣтствѣ, отрясая съ высокаго ясеня зеленыхъ майскихъ жуковъ, которыхъ оптовщики скупаютъ по деревнямъ для продажи въ аптеки, Зинка сорвался съ самаго верха дерева и повредилъ себѣ крестецъ. Послѣ этого излома онъ такъ странно сросся, что вся нижняя его половина всегда точно шла на одинъ шагъ сзади верхней. Съ лѣтами Зинка обородатѣлъ, но почти совсѣмъ не выросъ и, по слабосилію своему, былъ негоденъ ровно ни къ какой тяжелой сельской работѣ. Поэтому онъ лѣтомъ обыкновенно сидѣлъ у околицы и плелъ изъ лыкъ кошели, а зимой ходилъ съ иглой и ножницами шить зипуны и полушубки. Благодаря долговременному сидѣнію въ одиночествѣ у околицъ, Зинка развилъ въ себѣ большую сосредоточенность и склонность къ размышленіямъ, а хожденіемъ со швецовскимъ промысломъ, при которомъ столь важную роль играетъ мастерство утягивать лоскутья, онъ пріобрѣлъ много ловкости и лукавства, къ которымъ вообще, вѣроятно, былъ способенъ и отъ природы.

Вотъ этимъ-то человѣкомъ рогожинскіе мужики и наградили своего добраго барина. Рогожинъ, осмотрѣвъ Зинку, почелъ его не неудобнымъ для своихъ службъ, а поговоривъ съ нимъ—пришелъ даже въ восторгъ отъ него. Зинка, далеко таскаясь со своимъ швецовствомъ, бывалъ почти во всѣхъ деревняхъ всего округа, зналъ многихъ людей и не боялся неизвѣстныхъ дорогъ, потому что умѣлъ ихъ распытывать: къ тому же, онъ могъ чинить платье неприхотливаго Донкихота и былъ не охотникъ сидѣть долго подъ одною кровлею, столько же какъ и его баринъ. Кромѣ того, Зинка умѣлъ разсказывать разныя страшныя сказки и достовѣрныя исторіи про домовыхъ, водяныхъ, а также колдуновъ и вообще злыхъ людей и, что всего дороже, умѣлъ такъ же хорошо слушать и себѣ на умѣ соглашаться со всѣмъ, что ему говорилъ его баринъ. Въ душѣ онъ счи-

талъ Рогожина дурачкомъ, или, по крайней мѣрѣ, «Божьимъ человѣкомъ». Ну, словомъ, Пансо былъ по всѣмъ статьямъ какъ на заказъ для нашего Донкихота выпеченъ, и они запутешествовали.

Въ своихъ помѣщичьихъ скарбахъ Доримедонтъ Васильичъ отыскалъ старую ободранную рогожную кибитку, поставленную на двѣ утлыя дрожины на неокованныхъ колесахъ. Въ этомъ экипажѣ его бѣдные родители отвозили его когда-то въ училище, и экипажъ этотъ назывался тарантасикомъ. Уцѣлѣла сѣрая кобылица обыкновенной крестьянской породы и при ней ея нисходящее потомство: рыжій трехлѣтній конекъ, да сосунокъ-жеребеночекъ. Выѣхать, значитъ, было на чемъ. Недоставало сбруи, но одинъ хомутишко гдѣ-то нашелся, къ нему приправили гужи, а на пристяжную свертѣли дома изрядную шлейку, да наплели и навязали, гдѣ нужно, веревочекъ и лыко да мочала. Донкихота помчали.

О пенсіи своей Рогожинъ хлопоталъ долго и съ перемѣннымъ счастіемъ: то дѣло его шло, то вдругъ останавливалось. При малѣйшихъ замедленіяхъ Рогожинъ не разбиралъ, кто въ этомъ виноватъ, а грубилъ всѣмъ, кому ни попало, начиная съ губернатора и кончая послѣднимъ писаремъ. Благодаря этой энергіи, онъ скоро прослылъ на всю губернію чудакомъ, и когда онъ показывался въ городѣ, за нимъ издали ходили разные люди, чтобы посмотрѣть на этого безстрашнаго. Мужикъ Зинка этимъ пользовался и очень долго показывалъ его желающимъ на постоялыхъ дворахъ за пироги и за мелкія деньги, но Доримедонтъ Васильичъ случайно открылъ эти продѣлки своего Пансо и, перегнувъ его при всей публикѣ черезъ свое длинное, сухое колѣно, отхлопалъ по отломанной части. Докуки Донкихота имѣли, однако, для него и свою хорошую сторону; начальство, выйдя съ нимъ изъ терпѣнія, выхлопотало ему пенсію, что-то въ родѣ пятисотъ рублей на ассигнаціи, чѣмъ Рогожинъ былъ, впрочемъ, очень доволенъ. Но его чрезвычайно удивило, что, прежде чѣмъ получилась эта пенсія, на него стали въ изобиліи поступать уголовные иски за учиненныя имъ то одному, то другому начальствующему лицу грубости и оскорбленія! Какъ, онъ самъ себя считалъ обиженнымъ, что его такъ долго томили, а тутъ еще на него же жалуются! Другое дѣло сатисфакція...

Онъ это готовъ дать кому угодно, но возиться съ приказными, и все это писать на бумагѣ... Это никуда не годится!

Доримедонтъ Васильичъ опять натянулъ на своихъ Россинантовъ лыко и мочало, и опять съ тѣмъ же Зинкой и въ сопровожденіи того же жеребенка поскакалъ въ городъ предлагать всѣмъ жалобщикамъ свою сатисфакцію, но никто его сатисфакціи не хотѣлъ принимать, и всѣ указывали ему на уголовную палату.

Рогожинъ разсердился, плюнулъ и, наговоривъ заодно всѣмъ, кому могъ, большихъ дерзостей, укатилъ изъ города неизвѣстно по какой дорогѣ. Дома его напрасно разыскивали и вызывали бумагами къ отвѣту: Доримедонтъ Васильичъ исчезъ и неизвѣстно гдѣ пропадалъ цѣлые три года кряду. Во все это время, укрываясь отъ суда, онъ путешествовалъ по разнымъ далекимъ и близкимъ монастырямъ, гдѣ ему, по большой части, добрые иноки были рады. Сынъ монастырки, Рогожинъ зналъ монастырскіе порядки и умѣлъ быть не въ тягость обителямъ, напротивъ, дѣлался вездѣ полезнымъ человѣкомъ: онъ умѣлъ переплетать и *подписывать* пришедшія въ ветхость книги; *размѣчалъ* ѡглавы киноварью и творенымъ золотомъ и вообще мастерски дѣлалъ подобныя мелкія работки, на которыя не только по захолустьямъ, но и въ многолюдныхъ городахъ не скоро достанешь искуснаго художника. Рогожинъ, какъ сказано, во всемъ этомъ унаслѣдовалъ отъ матери большую тонкость, и искусство это ему пригодилось. Можно положительно сказать, что если бъ и въ монастыряхъ тоже не оказывалось какихъ-нибудь угнетенныхъ людей, за которыхъ Доримедонтъ Васильичъ считалъ своею непремѣнною обязанностію вступаться и черезъ это со всѣми ссорился, то его ни одна обитель не согласилась бы уступить другой, но такъ какъ заступничества и неизбѣжно сопряженныя съ ними ссоры были его неразлучными сопутниками, то онъ частенько перемѣнялъ мѣста, и, наконецъ, заѣхавъ Богъ вѣсть какъ далеко, попалъ въ обитель, имѣвшую большой архивъ древнихъ рукописей, которыя ему и поручили разобрать и привесть въ порядокъ.

Нашъ чудакъ такъ обрадовался этой благодати, что, закопавшись въ пыльномъ архивномъ хламѣ, не могъ даже и видѣть, что̀ вокругъ него происходитъ: кто кого угнетаетъ и кто отъ кого страждетъ.

Рогожинъ былъ вообще очень любознателенъ и довольно начитанъ, преимущественно въ исторіи, но онъ терпѣть не могъ *сочиненій*, въ которыхъ ему всегда мѣшалъ личный взглядъ автора. Онъ любилъ читать по источникамъ, гдѣ фактъ излагается въ жизненной простотѣ, какъ происходило событіе, и что не обязываетъ читателя смотрѣть на дѣло съ точки зрѣнія, на которую его наводитъ авторъ книги сочиненной. Тутъ Доримедонту Васильичу выпала сладкая доля до-сыта удовлетворить своему влеченію къ такому чтенію. Жизнь была благодатнѣйшая: онъ читалъ; лошадки его пахали монастырскіе огороды и возили сѣно съ приписныхъ луговъ, а сломанный Зинка, котораго въ монастырѣ звали всѣмъ его крестнымъ именемъ — Зиновій, подметалъ трапезную и растолстѣлъ какъ тучный теленокъ на вкусныхъ квасахъ и на мягкомъ хлѣбѣ. Лучше этой жизни ни Донкихотъ, ни его Пансо выдумать себѣ не могли: лѣнивый къ богомоленію Зинка столь былъ имъ восхищенъ, что сталъ даже усердно славить Бога и молиться, чтобъ это какъ можно долѣе не кончилось. Если бы Вольтеръ зналъ этого нашего земляка, то онъ долженъ былъ бы сознаться, что не ему одному казалось удобнѣе молиться послѣ обѣда, чѣмъ предъ обѣдомъ, но наши натуральные философы, вѣроятно, никогда не получатъ извѣстности, постоянно предвосхищаемой у нихъ чужеземцами.

Однако, послѣобѣденная молитва Зинки, должно-быть, точно такъ же мало доходила до Властителя судебъ человѣческихъ, какъ и сытая молитва, которою хвалился Вольтеръ: ни тому, ни другому изъ этихъ молитвенниковъ не сталось по ихъ моленіямъ.

До монастыря дошла вѣсть, что уже съ полгода тому назадъ, по случаю какого-то торжества, послѣдовалъ манифестъ, покрывшій прощеніемъ многіе проступки, къ категоріи которыхъ относились и тѣ, за кои скрывался въ изгнаніи Рогожинъ.

Доримедонтъ Васильичъ сейчасъ же раскланялся съ настоятелемъ за пріютъ и за подаренныя ему старыя рукописи изъ числа тѣхъ, которыя въ монастырѣ показались ненужными, и, выйдя на крыльцо кельи, закричалъ:

— Эй, Зинобей!

Зинка зналъ этотъ крикъ: это былъ призывный, боевой кличъ его барина, кличъ не то передѣланный изъ имени

Зиновій, не то скомпанованный изъ сокращенія двухъ словъ: «Зинка бей!» Такъ кричалъ Рогожинъ при своихъ рыцарскихъ нападеніяхъ на обидчиковъ.

Зинка выскочилъ изъ-подъ крыльца пекарни какъ заяцъ, схватилъ на-лету за пазуху добрую дольку мягкаго хлѣба и черезъ десять минутъ подалъ къ воротамъ ободранную кибитку съ парой извѣстныхъ намъ лошадокъ во всемъ ихъ пенечномъ и мочальномъ уборѣ.

Донкихотъ Рогожинъ появился за воротами въ подаренной ему настоятелемъ за работу черной мантіи, изъ которой онъ намѣревался себѣ сдѣлать плащъ, но потомъ нашелъ, что она можетъ ему служить свою службу и безъ передѣлки. Онъ швырнулъ въ кибитку цѣлый ворохъ переплетенныхъ и просто въ кули связанныхъ рукописей, и закричалъ:

— Ну, бей, Зинобей; бей! Зинка, бей!

И они покатили.

Дома они застали все какъ было, въ томъ же запустѣніи, только соломенная крыша на горницѣ какъ будто немножко болѣе посунулась. Домашніе тоже не усмотрѣли въ нихъ за три года никакой большой перемѣны: только тарантасъ, стоявшій въ монастырѣ подъ куриною повѣтью, немножко поприбѣлѣлъ сверху, да съ сѣрою кобылицей прибѣжалъ новый сосунокъ. Послѣднее, впрочемъ, было не новость, потому что у этой загадочной лошади всякій годъ были новые жеребятки и съ тѣхъ поръ, какъ съ возвращеніемъ барина, она попала ему въ ѣзду, ни одинъ изъ этихъ жеребятъ не переживалъ перваго года. Они обыкновенно не могли долго бѣжать за своею матерью и ходившимъ съ нею на пристяжкѣ старшимъ братцемъ и или гдѣ-нибудь отставали и терялись, или умирали на дорогѣ отъ перегона; а черезъ годъ Донкихотъ опять скакалъ на своихъ удивительныхъ лошадяхъ и за нимъ со звонкимъ ржаніемъ опять гнался новый жеребенокъ, пока гдѣ-нибудь не исчезалъ и этотъ.

Я назвала одровъ Рогожина *удивительными*, но чувствую, что это слово слишкомъ слабо для выраженія того почтенія, которое они оставили по себѣ въ самомъ позднемъ потомствѣ. Это были не кони, а какіе-то сказочные грифы: сѣдлистые и длинные какъ гусеницы, съ голыми шеями и какими-то остатками перьевъ вмѣсто шерсти на

прочихъ мѣстахъ, они наводили страхъ своими мясистыми головами, похожими скорѣе на головы огромныхъ птицъ, чѣмъ лошадей. Вѣчно они были некованные, а весьма часто и голодные, и на видъ не представляли никакой благонадежности даже для самаго близкаго переѣзда. Когда они стояли въ своей мочальной сбруѣ, казалось, что каждую изъ нихъ достаточно только толкнуть и она сейчасъ же повалится и будетъ лежать, поднявъ ноги какъ деревянная скамейка, но это только такъ казалось. Что же дѣлали эти одры, когда они слышали за собою изъ тарантаса сумасшедшіе возгласы Донкихота и визгливый фистульный крикъ его Пансы—это было уму непостижимо! Они, говорятъ, летали до ста верстъ въ одну упряжку, и именно не бѣгали, а *летали* какъ птицы. Безъ шутокъ говорю: было живое преданіе, что они поднимались со всѣмъ экипажемъ и пассажирами подъ облака и летѣли въ вихрѣ, пока наступало время пасть на землю, чтобы дать Донкихоту случай защитить обиженнаго или самому спрятаться отъ суда и слѣдствія. Къ чести Зинки, онъ отнюдь не поддерживалъ этого заблужденія и откровенно признавался, что одры его барина просто двужильные и страшнаго въ нихъ заключается только то, что послѣ каждаго этого одра непремѣнно должны издохнуть двѣнадцать хорошихъ лошадей, но ему, разумѣется, не вѣрили. Ни одинъ обстоятельный человѣкъ никогда не соглашался положиться легкомысленно на такой разсказъ, сочиненный, очевидно, для того, чтобы только людямъ глаза отвести. Всѣ умные люди понимали, что лошади Донкихота не могли быть обыкновенными лошадьми и, зная, что Зинка мужикъ лукавый, охотнѣе вѣрили другому сказанію, что они, то-есть Донкихотъ и Зинка, гдѣ-то далеко, въ какомъ-то дремучемъ лѣсу, чуть не подъ Кіевомъ, сварили своихъ старыхъ лошадей въ котлѣ съ наговорами и причитаніями по большой книгѣ и, повинуясь этимъ заклинаніямъ, изъ котла, въ образѣ прежнихъ ихъ лошадей, предстали два духа, нестарѣющіе и незнающіе устали. Да это было и вѣроятнѣе, и я отнюдь не хочу этого оспаривать въ моей хроникѣ, гдѣ должна дать мѣсто этимъ таинственнымъ звѣрямъ, которыхъ видъ, годы, сила, умъ и ухватка, — все превосходило средства обыкновеннаго человѣческаго пониманія.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Прискакавъ послѣ долговременнаго отсутствія домой, Донкихотъ впалъ въ полосу долговременнаго штиля, какого пѐтомъ не бывало уже во всю его остальную жизнь, и тутъ онъ совершилъ одинъ страшный и безповоротный шагъ, о которомъ, вѣроятно, имѣлъ какое-нибудь мнѣніе, но никогда его никому не высказывалъ. Покой Рогожина зависѣлъ отъ того, что онъ привезъ съ собою изъ монастыря цѣлые вороха старыхъ книгъ и рукописей. Отъ этого клада онъ не могъ оторваться прежде, чѣмъ всѣ ветхія бумаги были имъ перечитаны, сравнены и изучены, а на это требовалось цѣлые полгода. Рогожинъ просидѣлъ всю осень и зиму за чтеніемъ; зимнія поздніе предразсвѣтныя зори часто заставали его предъ нагорѣвшимъ высокимъ глинянымъ ночникомъ, въ оскудѣвшую плошку котораго онъ глядѣлъ помутившимися отъ устали глазами и думалъ какія-то широкія думы. Онъ доходилъ до мысли: какъ освободить много, много угнетенныхъ людей за одинъ пріемъ, сразу, и въ пылающей головѣ его неслись планъ за планомъ, одинъ другого смѣлѣе и одинъ другого несбыточнѣе. Въ результатѣ всего этого получилось одно, что совсѣмъ выбившійся изъ сна Донкихотъ въ началѣ Великаго поста не выдержалъ и заболѣлъ: онъ сначала-было закуролесилъ и хотѣлъ прорубить у себя въ потолкѣ окно для полученія большей порціи воздуха, который былъ нуженъ его горячей головѣ, а потомъ слегъ и впалъ въ безпамятство, въ которомъ все продолжалъ бредить о широкомъ окнѣ и какомъ-то законѣ троичности, который находилъ во всемъ, о чемъ только могъ думать.

Крестьяне, послушавъ все это, наконецъ, струсили, что ихъ блажной баринъ можетъ совсѣмъ сойти съ ума или умереть и тогда они могутъ достаться въ управленіе какому-нибудь другому лицу, у котораго не будетъ его доброты, и имъ придется сказать «прощай» своему льготному житью. Они привезли къ Рогожину изъ села священника. Донкихотъ былъ на этотъ случай въ памяти и какъ будто даже обрадовался гостю, съ которымъ могъ говорить о предметахъ, недоступныхъ пониманію Зинки и другихъ мужиковъ. Онъ посадилъ гостя на топорномъ стулѣ возлѣ лавки, на которой лежалъ, и заговорилъ съ нимъ о троичности, тро-

ичности во всемъ, въ ипостасяхъ Божества, въ идеяхъ и въ видимыхъ элементахъ строенія общества.

— И въ церкви,—говорилъ онъ, — высшія власти три: митрополитъ, архіерей и архимандритъ; ниже опять три: попъ, дьяконъ и причетникъ, все три! Оттого, если всѣ три совершаютъ дѣло въ строеніи, и нисходитъ благодать.

— Нисходитъ-съ,—отвѣчалъ священникъ.

— Какъ же не быть сему въ государствѣ?

— Надо быть-съ.

— Я это и говорю!—воскликнулъ Донкихотъ.—И я говорю, что этому надо быть! надо быть!

— Надо быть-съ,—поддакнулъ священникъ.

— И оно... нагнитесь сюда ко мнѣ поближе.

Священникъ оперся рукой о лавку и пригнулся къ больному.

Донкихотъ обнялъ его исхудалою рукой за шею и прошепталъ:

— И оно есть-съ!

— Есть-съ; непремѣнно есть.

— Какъ! и вы понимаете, что оно есть?

— Понимаю-съ.

— Вы понимаете, что есть три и они одно: они одно дѣлаютъ, одной странѣ служатъ, ея величіе поютъ, только одинъ въ верхнемъ регистрѣ, другой—въ среднемъ, а третій—въ низшемъ.

— Совершенно понимаю-съ.

— Хорошо,—произнесъ Донкихотъ и вдохновенно добавалъ:—дай руку, мы свои и будемъ говорить откровенно.

Они пожали другъ другу руку.

— Прежде всего повѣрка: свѣримъ силы какъ добрые союзники: откройся, какъ ты это понимаешь?

— Что это-съ?

— Трое... Кто они эти трое въ Россіи, безъ кого нельзя?

— Государь...

— Разъ! это вѣрно, продолжай.

— Второй губернаторъ..

Донкихотъ уже хотѣлъ загнуть второй палецъ съ восклицаніемъ «два», но вдругъ заикнулся и, взглянувъ съ удивленіемъ на священника, протянулъ:

— Что-о-о-о?

— Второй, губернаторъ-съ.

— Какъ, чортъ возьми, губернаторъ!.. Почему онъ второй?

— Потому что государь правитъ всѣмъ государствомъ, а этотъ подъ нимъ губернію въ страхѣ держитъ...

— Ну-у!

— Ну-съ, а третій подъ нимъ городничій — онъ одинъ городъ блюдетъ.

— Пошелъ вонъ!—нимало не медля отвѣчалъ Донкихотъ.

Священникъ удивился и, недоумѣвая, переспросилъ:

— Какъ это?

— Такъ; очень просто: твое счастіе, что я боленъ и не могу дать тебѣ затрещины, а бери свой треухъ и уходи поскорѣй отъ меня вонъ, потому что ты хуже всѣхъ.

И онъ ему съ значительнымъ самообладаніемъ разъяснилъ, почему онъ хуже всѣхъ.

— Всѣ,—сказалъ онъ:—меня не понимаютъ, и прямо такъ и говорятъ, что не понимаютъ, а ты вызвался понять и сказалъ мнѣ всѣхъ хуже. Прощай!

Священникъ поднялся и пошелъ къ двери.

— Однако же постой!—вернулъ его Донкихотъ. — Сними мнѣ съ колка мою куртку.

Тотъ безгнѣвно возвратился и исполнилъ требуемое.

Рогожинъ порылся въ карманахъ, досталъ изъ одного изъ нихъ обширный кожаный кошелекъ съ деньгами и, позвякавъ бывшими тамъ двумя серебряными цѣлковыми, подалъ одинъ изъ нихъ гостю.

— Возьми это и не обижайся—глупость не вина.

Тотъ принялъ и деньги, и извиненіе.

— И вотъ еще что... Истина, добро и красота... Но тебѣ и это не понять... Пожалуйста не говори, что поймешь, а то я разсержусь. Проще объясню: разумъ, воля и влеченіе, только нѣтъ... ты опять и этакъ не поймешь. Еще проще: голова, сердце и желудокъ, вотъ тройка!

И онъ поѣхалъ на этой тройкѣ, пространно объясняя, какъ тутъ каждый нуженъ другъ другу и всякому есть свое дѣло, для того, чтобы весь человѣкъ былъ здравъ умомъ, духомъ и тѣломъ.

— Опять тройка! понялъ? Или лучше молчи и слушай: ты сказалъ государь... это такъ,—голова, она должна умѣть думать. Кормитъ все—желудокъ. Этотъ желудокъ — народъ, онъ кормитъ; а сердце кто? Сердце это просвѣщенный классъ, — это дворянинъ, вотъ кто сердце. Понимаешь ли

ты, что безъ просвѣщенія быть нельзя! Теперь иди домой и все это разбери, что̀ тебѣ открылъ настоящій дворянинъ, котораго пополамъ перервать можно, а вывернуть нельзя. Брысь!.. Не позволю! Въ моемъ умѣ и въ душѣ одинъ Богъ воленъ.

И прочитавъ эту лекцію, дворянинъ, котораго можно перервать, но нельзя вывернуть, впалъ въ такое горячечное безпамятство, что мужики должны были смѣнить выбившагося при немъ изъ силъ Зинку и учредили при Рогожинѣ бабій присмотръ, такъ какъ уходъ за больнымъ сердцу женщины ближе и естественнѣе.

Донкихотъ долго пролежалъ безъ сознанія и когда пришелъ въ себя, то очень удивился.

Все окружающее его глядѣло чрезвычайно пріятно, свѣтелка его была убрана, на самомъ на немъ была чистая мужичья рубашка, у изголовья стояла на столѣ золоченая лукомъ деревянная чаша съ прозрачною, какъ хрусталь, чистою водой, а за образникомъ была заткнута вѣтвь свѣжей вербы.

Но это еще было не все, то былъ сюрпризъ для глазъ, а былъ еще сюрпризъ и для слуха. Рогожину стало сдаваться, что невдалекѣ за его теменемъ что-то рокочетъ, какъ будто кто по одному мѣсту ѣздитъ и подталкиваетъ.

«Что это?»—подумалъ Донкихотъ и хотѣлъ оглянуться, но у него не оказалось къ тому никакихъ силъ.

Экое горе! Вотъ бы позвать, да никого нѣтъ въ избѣ. Котъ одинъ ходитъ прямо предъ нимъ по припечку и лапой съ горшка какую-то холщевую покрышку тянетъ. Хорошо лапкой работаетъ!

И Донкихотъ, давно ничего не видавшій глазами, засмотрѣлся на кота и не замѣтилъ, какъ тотъ мало-по-малу подвигалъ горшокъ къ краю и вдругъ хлопъ... Горшокъ полетѣлъ объ полъ, а сѣрый бѣдокуръ проворными скачками ускакалъ за трубу... Но Рогожину некогда было слѣдить за проказникомъ, потому что при первомъ громѣ, произведенномъ паденіемъ разбившейся посуды, чистый, звонкій, молодой голосъ крикнулъ: «брысь!» и занимавшій нѣсколько минутъ назадъ больного рокотъ за его головою тотчасъ же прекратился, а къ печкѣ подбѣжала молодая сильная дѣвушка въ красной юбкѣ и въ бѣлой, какъ кипень, рубахѣ съ шитымъ оплечьемъ.

Она всплеснула надъ разбитымъ горшкомъ руками и, быстро присѣвъ на корточки, стала бережно подбирать въ передникъ черепья.

Во все это время она держалась къ Донкихоту спиной, и онъ только могъ любоваться на ея сильный и стройный станъ и черную, какъ смоль, косу, которая упала на полъ тяжелою плетью и какъ змѣя вилась съ каждымъ движеніемъ дѣвушки.

Рогожину показалось, что онъ никогда не видалъ такого свѣжаго и здороваго молодого женскаго тѣла, и онъ ждалъ, пока дѣвушка кончитъ уборку и обернется къ нему лицомъ. А она вотъ забрала съ полу послѣдніе черепки и оборотилась... Фу, ты, Господи, да что же это за роскошь!

Вѣдь, вправду, мало сказать, что есть женщины, которыя хороши и прекрасны, а надо сознаться такъ, что есть и такія, которыя какъ на грѣхъ созданы. Вотъ эта и была изъ такихъ.

Какъ она обернулась и мимоходомъ повела глазами на Донкихота, такъ онъ и намагнетизировался. Та смотритъ на него, потому что видитъ его смотрящимъ въ первый разъ послѣ долгаго безпамятства, а онъ отъ нея глазъ оторвать не можетъ. Глаза большіе, изсѣра - темные подъ черною бровью дужкою, лицо горитъ жизнью, зубы словно перлъ, зерно къ зерну низаны, сочныя алыя губы полуоткрыты, шея башенкой, на плечахъ—эполетъ клади, а могучая грудь какъ корабль волной перекачиваетъ.

Больной дворянинъ былъ сраженъ этой красотой, и по немощи сразу влюбился. Онъ только хотѣлъ удостовѣриться, что это не грёза, не сонъ, что это живая дѣвушка, а что она крестьянка, а онъ дворянинъ—это ничего... законы осуждаютъ, а сердце любитъ.

Рогожинъ попробовалъ улыбнуться и слабо выговорилъ:

— Умница!

— Что тебѣ, баринъ? иль полегчило?—сказала дѣвушка, и сама, улыбнувшись отъ доброжелательства, все вокругъ себя какъ солнцемъ освѣтила.

Больной молчалъ.

— Что тебя, поправить, что ли?

И, не дожидаясь отвѣта, она подвела ему подъ плечи круглую упругую руку и, поправляя другою рукою его изголовье, держала во все это время его голову у своей груди.

Запахъ молодого, здороваго тѣла, смѣшанный съ запахомъ чистаго, но въ дымной избѣ выкатаннаго бѣлья, проникъ черезъ обоняніе Рогожина во всю его кровь и животворною теплотою разбѣжался по нервамъ.

— Кто ты?—произнесъ Донкихотъ.

— Дѣвка.

— А какъ тебя звать?

— Аксюткой звать.

— Аксиньею... Ксенія!

Онъ произнесъ это имя и къ нему прислушался. Ему показалось, что оно очень хорошо звучитъ.

— Что ты тутъ дѣлала?

— Я-то? Тебя стерегла...

— Чего?

— Когда ты помрешь.

— Помру?.. вона!

— А что жъ?

— Я теперь жить хочу, Ксенія.

— Жить?.. да что же, для чего тебѣ не жить? Хлѣбъ есть. Живи!

И она посмотрѣла въ его вперенные въ нее глаза и проговорила:

— Или тебя еще поправить?

— Поправь.

И опять это прикосновеніе руки и опять ошибаетъ свѣжій ароматъ легкой смолистой задыми и молодого тѣла.

— Будетъ,—прошепталъ Донкихотъ:—будетъ: хорошо мнѣ. Только вотъ что...

— Что еще?

— Сядь ко мнѣ такъ, чтобъ я тебя видѣлъ.

— Гдѣ сѣсть? тутотка?.. хорошо, сяду.

И она зашла ему за-головы и опять появилась съ донцемъ, гребнемъ и размалеванною прялкою: сѣла, утвердила гребень въ гнѣздѣ донца, поставила ногу въ черевичкѣ на привертокъ и, посунувъ колесо, пустила прялку.

Опять мѣрная музыка заиграла тѣмъ же рокотомъ, а сама чародѣйка сидитъ, работаетъ и ни слова.

— Скажи мнѣ что-нибудь,—попросилъ Донкихотъ.

— Про что тебѣ разсказать? Я ничего не знаю.

— Про что ты думаешь?

— Вонъ котъ горшокъ разбилъ!

— А что̀ тамъ было въ горшкѣ?

— Тѣсто было... калину парили.

— На что она?

— Дѣвкамъ лизать.

Донкихотъ нахмурился и спросилъ:

— Про какихъ ты дѣвокъ говоришь?

— Про нашихъ, про рогожинскихъ,—мы вѣдь на смѣну при тебѣ сидѣть ходимъ. Вотъ Танька уже бѣжитъ, она сичасъ на меня заругается, что не углядѣла. Прощай, баринъ, оздоравливай.

И прежде чѣмъ Рогожинъ успѣлъ ей отвѣтить, она собрала всю свою рабочую снасть и, столкнувшись на порогѣ съ пришедшею ей на смѣну другою дѣвушкою, выбѣжала.

Пришедшая не выдерживала ни малѣйшаго сравненія съ удалявшеюся. Рогожинъ не хотѣлъ и смотрѣлъ на эту. Онъ опять спалъ и поправлялся, но Богъ его знаетъ на какихъ тройкахъ ѣздилъ онъ впросонкахъ: кажется, что онъ теперь на время позабылъ о добрѣ и истинѣ, и несъ уже дань одной красотѣ.

Но на его несчастіе дѣла его шли такъ худо, что ее-то, эту чудную Ксенію, онъ никакъ болѣе и не видалъ. Какъ онъ ни проснется, все сидитъ возлѣ него женщина да не та, а спросить ему казалось неловко и совѣстно. Развѣ ее похвалить за красу? Но какъ же это могъ себѣ позволить благородный и начитанный дворянинъ?

Вѣдь онъ зналъ, что по рыцарскимъ обычаямъ и хвалить дѣвушку безъ ея согласія воспрещалось, а Ксенія не давала ему согласія ее хвалить. И еще что̀ объ этихъ похвалахъ подумаютъ?

А хороша Ксенія, очень хороша!

Онъ рѣшился молчать.

Но вотъ приходитъ разъ мужикъ Архаръ, онъ былъ въ хуторѣ въ родѣ старосты, и говоритъ:

— Баринъ, а баринъ!

— Что тебѣ?—отвѣчалъ Донкихотъ.

— А дѣвка-то Аксютка баяла, что ты съ нею баловалъ...

— Ну, еще что̀ скажи!

— А по что же ты съ другими, кои ходятъ, ничего не балакаешь?

— А тебѣ что за дѣло?

— Такое дѣло, что она изъ моего двора, такъ если она тебѣ противъ другихъ больше по обычаю, такъ чего на нее смотрѣть-то! мы одну къ тебѣ посылать станемъ сидѣть: пускай она, дурища, тебѣ угождаетъ.

— Это ты про свою родную дочь такъ-то?

— Какая она мнѣ дочь!

— Ну такъ падчерица: все равно, зачѣмъ ее дурой называть?

— Она мнѣ и не падчерица.

— Ну племянница, что ли... Это все равно.

— И того совсѣмъ не было.

— Кто же она?.. такъ... чужая... пріемышъ, что ли? А?.. что?.. пріемышъ?

Сердце дворянина то замирало, то учащенно билось отъ необыкновеннаго предчувствія, а староста Архаръ отвѣчалъ:

— Аксютка-та?.. да она и не пріемышъ, а такъ... позабытая... богданка.

— Богданка?

— Да; она не нашенская, сирота будетъ... безродная.

— Гдѣ же ты ее взялъ?

— Чего взялъ, сами родители къ намъ на село привезли. О французовой порѣ можайскіе дворянчики все черезъ наши края бѣгивали, и тутъ тоже пара ихъ бѣгла, да споткнулись оба у насъ и померли, а сиротинку бросили.

— Дворянка! Такъ какъ же ты говоришь, что она безродная! Продолжай! не останавливайся... продолжай!

— Она была тогды махонькая, и глазки у нея болѣли: разсказать ничего не умѣла!..

— Ну!

— Мы ее хотѣли къ засѣдателю, а засѣдатель отъ страсти самъ бѣжалъ. Мужики и говорятъ: «намъ, Архаръ Иванычъ, ее куда же? такую лядащенькую; а ты, братъ, промежъ насъ набольшій, ты староста—ты и бери».

— Ты и взялъ?

— Да вѣдь что съ лихомъ подѣлаешь: не въ колодецъ ее было сунуть: взялъ.

— И это она и есть?

— Она самая.

— Можайская дворянка?

— Да такъ у нея въ бумагахъ написано.

— Кто читалъ?

— Попъ читалъ, когда ее родителевъ хоронилъ.

— Покажи мнѣ сейчасъ эти бумаги!

Архаръ отправился къ попу, а Рогожинъ, сверхъ всякаго ожиданія, въ одну минуту одѣлся и, войдя шатающимися отъ слабости ногами въ избу Архара, прямо держась рукою стѣны, прошелъ въ уголъ, гдѣ сидѣла за своею прялкой его Дульцинея, и, поддержанный ея рукою, сѣлъ возлѣ нея и проговорилъ:

— Мы будемъ вмѣстѣ ждать рѣшенія нашей судьбы!

Та ничего не поняла, но Архаръ принесъ бумаги, и Рогожинъ, взглянувъ въ нихъ, зардѣлся радостію и воскликнулъ:

— Ксенія Матвѣевна, вы дворянка! Вы дворянка, и предъ лицомъ земли и неба клянусь, что я васъ люблю и прошу васъ быть моею женой.

Дѣвушка смутилась и, заслонясь рукавомъ, ничего не отвѣчала. Донкихотъ принялъ это за скромность и обратился къ крестьянамъ:

— Съ этихъ поръ,—сказалъ онъ:—я подъ всякимъ страхомъ запрещаю звать ее Аксюткой. Черезъ день она будетъ моя жена, а ваша госпожа Аксинія Матвѣвна.

Мужики почесались и отвѣчали:

— Ну, Аксинья, такъ и Аксинья.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Рогожинъ свертѣлъ скоропостижную свадьбу и справлялъ необыкновенный медовый мѣсяцъ. Женясь по живости своей и благородству восторженной фантазіи безо всякаго обстоятельнаго освѣдомленія о характерѣ и другихъ свойствахъ своей жены, онъ даже не замѣтилъ, что не имѣлъ отъ нея опредѣленнаго отвѣта: любитъ ли она его, или, по крайней мѣрѣ, не любитъ ли кого-нибудь другого? Онъ прямо женился — исторгъ закинутую въ грубую крестьянскую семью родовую дворянку, реставрировалъ ее въ своемъ званіи и тѣмъ исполнилъ долгъ совѣсти и потребности пылавшаго въ немъ чувства къ красавицѣ. Остальное его не касалось, да и что̀ тамъ еще могло быть остальное? Какіе-нибудь совершенные пустяки. Онъ все это исчерпалъ менѣе, чѣмъ въ одинъ свой медовый мѣсяцъ.

Весна любви Донкихота шла объ руку съ весною жизни природы, и потому въ соломенномъ дворцѣ было тепло, и свѣтло, и для двухъ просторно. Когда молодая жена Рогожина утромъ убирала жилье, онъ выходилъ на крыльцо и, сѣвъ на порогъ, читалъ одинъ изъ своихъ фоліантовъ; затѣмъ онъ самъ ставилъ ей самоваръ; самъ наливалъ для нея чай и непремѣнно требовалъ, чтобы она сидѣла, а онъ подносилъ ей налитую чашку на широкой книгѣ, замѣнявшей ему въ этой церемоніи подносъ. Потомъ счастливые супруги вмѣстѣ варили обѣдъ и, наконецъ, выходили вдвоемъ испить блаженство мечты въ садикѣ, гдѣ Рогожинъ, среди двухъ березъ и рябины, своими руками устроилъ, на низкой лужайкѣ, скамью изъ дощечекъ. Здѣсь онъ садился самъ и, усадивъ рядомъ съ собою жену, обнималъ рукой ея станъ и начиналъ ей съ восторгомъ и декламаціей говорить о Богѣ, о просвѣщеніи и о святой независимости доброй совѣсти и доброй воли.

Онъ совершенно забывалъ, что жена его не знаетъ грамотѣ, что она выросла въ крестьянской избѣ и ей доступенъ изъ трехъ извѣстныхъ ему регистровъ только самый низшій, вседневный.

— Какъ я увидѣлъ тебя и какъ полюбилъ, — говорилъ онъ, держа одною рукой ея руку, а другою обвивая ея сильный, роскошнѣйшій станъ,—ты слушай, какъ я тебя увидѣлъ, въ моемъ сердцѣ сейчасъ же послышался голосъ, что я съ тобою буду счастливъ.

Та, заслышавъ эти всякій день повторявшіяся признанія, тихо зѣвала и жалась вискомъ къ плечу мужа, а онъ въ своемъ бредѣ влюбленномъ шепталъ:

— Ты послушай, послушай, что̀ я тебѣ разскажу: ты знаешь, давно былъ герой Ярль Торгниръ?.. Нѣтъ, ты не знаешь... Ну, ничего: онъ жилъ отъ насъ за моремъ, въ странахъ скандинавскихъ... Да, и у него была жена... Прекрасная жена... Онъ ее очень любилъ, и жить безъ нея не могъ... вотъ все равно, какъ я безъ тебя. Ну, похоронивъ ее, онъ и сталъ о ней тосковать. Всякій день приходилъ онъ рыдать къ ней на могилу... Вотъ онъ разъ такъ сидитъ на могилѣ, а надъ нимъ летитъ ласточка,— вотъ точно такая, какъ теперь передъ нами... Погляди, моя милая, какъ она вьется!.. Ярль Торгниръ взглянулъ на нее и со слезами послалъ птичкѣ слово: «утѣшь меня,

добрая птичка!» И ласточка крылья сложила и, надъ его головой пролетѣвъ, уронила ему русый волосъ... золотой, какъ горючій янтарь, волосокъ, а длиной въ цѣлый ростъ человѣка... Ярль Торгниръ взялъ волосъ и по тонинѣ его понялъ, что высокаго рода была та дѣвица, съ головки которой упалъ этотъ волосъ... И влюбился Ярль Торгниръ по тому волоску въ княжну Ингигерду, поѣхалъ и отыскалъ ее на Руси, какъ и я отыскалъ тебя... тоже случайно... и, въ объятіяхъ сжавъ ее, такъ же какъ я здѣсь тебя обнимаю, былъ счастливъ.

Произнося этотъ монологъ съ глазами, вперенными въ небо, Рогожинъ былъ, дѣйствительно, счастливъ и все крѣпче и крѣпче обнималъ свою подругу и, наконецъ, переводя на нее въ концѣ свой взглядъ, видѣлъ, что она сладко спитъ у него на плечѣ. Онъ сейчасъ же отворачивалъ тихо свою голову въ сторону и, скрутивъ трубочкой губы, страстно шепталъ:

— Душка! Она спитъ... Какъ она крѣпко спитъ!.. Какая совершеннѣйшая душка!

Донкихотъ не могъ взять на руки своей жены и перенести ее домой: онъ былъ еще слабъ отъ болѣзни, а она не слишкомъ портативна, но онъ зато неподвижно сидѣлъ все время, пока «душка» спала, и потомъ, при обнаруженіи ею первыхъ признаковъ пробужденія, переводилъ ее на постель, въ которой та досыпала свой первый сонъ, навѣянный бредомъ влюбленнаго мужа, а онъ все смотрѣлъ на нее, все любовался ея красотою, вѣроятно, воображая немножко самого себя Торгниромъ, а ее Ингигердой.

Однако, все это весьма естественно кончилось тѣмъ, что супруги къ исходу своего медоваго мѣсяца стали изрядно скучать, и Донкихотъ Рогожинъ велѣлъ Зинкѣ запрячь своихъ одровъ въ тарантасъ и поѣхалъ съ женою въ церковь къ обѣднѣ. Тутъ онъ налетѣлъ на извѣстный случай съ Грайвороной, когда бѣдный трубачъ, потерявъ разсудокъ, подошелъ къ иконостасу и, отлѣпивъ отъ мѣстной иконы свѣчу, началъ при всѣхъ закуривать предъ царскими вратами свою трубку.

Доримедонтъ Васильичъ видѣлъ, какъ Грайворону схватили и повлекли, и какъ сотни рукъ всѣ стремились дать ему хоть одного пинка или затрещину. Въ общемъ, это выходило, по соображеніямъ Донкихота, для одного довольно

много, и онъ вступился. Онъ расправилъ свои руки и отбилъ Грайворону, а потомъ, крикнувъ: «Зинобей!», примчалъ отбитаго трубача въ Протозаново и снова скрылся на своихъ вихряхъ.

Жену свою онъ покинулъ въ церкви, и она возвратилась оттуда домой пѣшкомъ, вмѣстѣ съ бабами и мужиками, какъ хаживала будучи крестьянкою, и, вѣроятно, находила это отнюдь не непріятнымъ. Донкихотъ же, тоже прогулявшись, хватилъ старины, отъ которой чуть не отвыкъ, обабившись: и онъ, и Зинка замѣтили, что когда они ѣхали въ церковь съ «барыней Аксюткой» (такъ ее звали крестьяне), то даже лошади шли понуро и самъ тарантасъ все бочилъ на лѣвую сторону, гдѣ сидѣла крѣпкотѣлая Ингигерда; но когда Донкихотъ, сразившись и отбивъ Грайворону, крикнулъ: «Зинобей!» — все сразу измѣнилось: одры запряли ушми и полетѣли, тарантасъ запрыгалъ какъ скорлупочка по вѣтру, и сами Зинка и его баринъ вздохнули родною жизнью.

Зинка до того всѣмъ этимъ увлекся, что, опьянѣвъ отъ удовольствія на обратномъ пути, сказалъ Донкихоту:

— Эхъ, отецъ, бросимъ бабъ!

Рогожинъ отвѣчалъ ему на это пинкомъ въ спину, но не сердился. Зинка понялъ, что баринъ въ душѣ съ нимъ согласенъ и что доброе, старое кочевое время возвращается.

Бабушку въ этотъ свой первый пріѣздъ въ Протозаново нашъ чудакъ не видалъ: они, конечно, знали нѣчто другъ о другѣ по слухамъ, но свидѣться имъ не приходилось. Въ этотъ разъ бабушкѣ тоже было не до свиданія съ гостемъ, потому что княгиня занялась больнымъ и даже не имѣла времени обстоятельно вникнуть, кѣмъ онъ спасенъ и доставленъ. Но зато, похоронивъ Грайворону, она сію же минуту откомандировала Патрикѣя къ Рогожину отблагодарить его и просить къ княгинѣ погостить и хлѣба-соли откушать.

Донкихотъ отвѣчалъ согласіемъ. Ему это вниманіе, какъ видно, понравилось, и онъ на другой же день крикнулъ: «Зинобей!» и явился въ Протозановѣ.

Сойдясь лицомъ къ лицу съ бабушкой, они оба, кажется, были другъ другомъ немножко поражены и долго молчали. Бабушка, однако, первая перервала эту паузу и сказала:

— Вотъ ты какой!

— Да,—отвѣчалъ Рогожинъ:—вотъ этакой, я весь тутъ.

— Не грузенъ, а все воюешь.

— Да, на соколѣ мяса немного, на тетерѣ его больше бываетъ.

— Это ты что же... меня, что ли, тетерей зовешь?

— Нѣтъ, я это просто такъ къ слову.

— Просто къ слову, такъ садись до обѣда и скажи мнѣ, пожалуй, что̀ такая за притча, что̀ я тебя ни разу не видала. Столько времени здѣсь живу и, кажется, всѣхъ у себя перевидѣла, а тебя не видала. Слышу ото всѣхъ, что живетъ воинъ галицкій, то тутъ, то тамъ является защитникомъ, а за меня, за вдову, ни разу и заступиться не пріѣхалъ... Иль чѣмъ прогнѣвала? Такъ въ чемъ засталъ, въ томъ и суди.

— Что̀ мнѣ судить?—коротко отвѣтилъ Рогожинъ:—дѣла не было, такъ оттого и не ѣхалъ.

— А такъ безъ дѣла развѣ нельзя, или грѣхъ по-сосѣдски повидаться?

— Да что же... по-сосѣдски... Какіе мы сосѣди? Я бѣдный дворянинъ, а вы богатая княгиня, совсѣмъ не пара, и я не зналъ, какъ вы это примете,—а я гордъ.

— Господи мой! да довольно того—сосѣдъ и дворянинъ, а ты еще съ достоинствомъ носишь свое званіе, чего же еще нужно?

— Да, я дворянинъ какъ надо, меня перервать можно, а вывернуть нельзя.

— Молодецъ!

Они подружились, и когда гость уѣзжалъ, княгиня у него освѣдомилась:

— Ты вѣдь женатъ?

— Женатъ.

— Такъ не обидься, пожалуйста, я тебѣ въ бричку сослала шелковый отрѣзъ на платье... Не тебѣ, понимаешь, а женѣ твоей... на память и въ благодарность, что пѣшкомъ шла, когда ты мнѣ трубача привезъ, — добавила княгиня, видя, что гость началъ какъ-то необыкновенно отдуваться и хлопать себя пальцемъ по лѣвой ноздрѣ.

— Гм! женѣ... Ну, пускай такъ будетъ этотъ разъ на память!—позволилъ Донкихотъ:—но только... впередъ этого больше не надо.

И онъ потомъ, сдѣлавшись короткимъ и близкимъ прія-

телемъ въ домѣ княгини, никогда не принялъ себѣ отъ нея ничего, ни въ видѣ займа, ни въ видѣ подарка. Какъ съ нимъ ни хитрили, чтобъ обновить его костюмъ, или помочь упряжной сбруишкой, — не рѣшались ни къ чему приступить, потому что чувствовали, что его взаправду скорѣе перервешь, чѣмъ вывернешь. Отъ бабушки принимали пособіе всѣ, но Донкихотъ никогда и ничего рѣшительно, и княгиня высоко цѣнила въ немъ эту черту.

— Тутъ уже не по грамотѣ, а на дѣлѣ дворянинъ,—говорила она своимъ близкимъ: — богатъ какъ церковная мышь, ѣсть нечего, а въ мучной амбаръ саломъ не сманишь: «перервешь, а не выворотишь».

Эти слова Рогожина въ присловье пошли, а самъ онъ тутъ свою кличку получилъ. Бабушка сказала ему:

— Какой ты Доримедонтъ Рогожинъ, ты Донкихотъ Рогожинъ!

А онъ отвѣчалъ:

— Я бы счастливъ былъ, но только не въ томъ мѣстѣ родился.

Прозваніе ему, однако, нравилось.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ съ этой же своей поѣздки къ бабушкѣ, Донкихотъ сразу махнулъ рукой на свою семейную жизнь.

— Его точно песья муха у меня укусила,— разсказывала бабушка: — такъ отъ меня и побѣжалъ на своихъ одрахъ странствовать, и подарокъ мой женѣ насилу къ Рождеству привезъ. И гдѣ онъ въ это время былъ?—ничего не извѣстно. Слышали только, что тамъ чиновникъ по дорогѣ встрѣчный обозъ въ грязь гналъ, на него кто-то налетѣлъ, накричалъ, кнутомъ нахлесталъ и уѣхалъ... По разсказамъ соображаемъ — это нашъ Донкихотъ; тамъ офицера на ярмаркѣ проучилъ; тамъ жаднаго попа прибилъ; тутъ злую помѣщицу въ мѣшкѣ въ поле вывезъ,—все Донкихотъ, все онъ, нашъ соколъ безъ мяса. Къ концу года, гляжу, ко мнѣ и возвращается: «Дома, говоритъ, — день пробылъ и женѣ гостинецъ отдалъ, а жить мнѣ у себя нельзя: полиція ищетъ, подъ судъ берутъ».

О домѣ своемъ онъ и не имѣлъ никакихъ заботъ: всѣмъ хозяйствомъ правила «барыня Аксютка»; она продавала заѣзжимъ прасоламъ овецъ и яловицъ, пеньку, холстъ и посконь и запивала съ ними продажныя сдѣлки чайкомъ

«съ подливочкой», и въ той пріятной жизни полнѣла и была счастлива.

Впрочемъ, о «барынѣ Аксюткѣ» знали очень мало и никогда о ней въ бабушкиномъ обществѣ не говорили и Донкихота о ней не спрашивали, за что онъ, вѣроятно, и былъ очень благодаренъ.

Бабушка находила въ Рогожинѣ очень много прекраснаго и, разумѣется, пріобщила его къ своей коллекціи, но въ обстоятельства его семейной жизни не входила. Она знала только одно, что онъ «*женатъ глупо*», и больше ничего знать не хотѣла.

Время свое Доримедонтъ Васильичъ препровождалъ самымъ страннымъ и невозможнымъ образомъ: когда ему не угрожалъ судъ, онъ исчезалъ на своихъ одрахъ и гдѣ-то странствовалъ, и потомъ вдругъ, какъ снѣгъ на голову, являлся въ Протозаново.

Бабушка знала, что это значитъ, и обыкновенно всегда встрѣчала его однимъ вопросомъ:

— Что, батюшка мой, вѣрно, опять побѣдилъ какого-нибудь врага?

— Ну, такъ что жъ!—отвѣчалъ односложно Донкихотъ.

— Ничего: тебѣ, добру-молодцу, исполать и ползай теперь скорѣй на полать да получше прячься.

— А меня здѣсь не замѣтятъ?

— Ну, гдѣ тебя замѣтить, ты все равно что носъ на жидовской рожѣ незамѣтенъ.

Рогожинъ успокаивался и жилъ во флигеляхъ у княгини, ночуя нерѣдко въ одной комнатѣ съ исправникомъ и сидя съ нимъ рядомъ за обѣденнымъ столомъ.

Времена и нравы теперь такъ перемѣнились, что это многимъ, вѣроятно, покажется совершенно невѣроятнымъ, но это было именно такъ, какъ я разсказываю. Въ домъ княгини Варвары Никаноровны *нельзя* было пріѣхать съ выемкой. Выборному исправнику, да и никому другому ничто подобное никогда и въ голову не могло прійти. Благодаря такому сочетанію обстоятельствъ, Донкихотъ преспокойно жилъ въ Протозановѣ и въ долгіе зимніе вечера служилъ бабушкиному обществу интересною книгой. Онъ развлекалъ всѣхъ своими разсказами, имѣвшими всегда своимъ предметомъ рыцарское благородство и носившими на себѣ особый отпечатокъ его взглядовъ и сужденій. Ро-

гожинъ не любилъ ничего говорить о себѣ и, вѣроятно, считалъ себя мелочью, но онъ, напримѣръ, живообразно повѣствовалъ о честности князя Ѳедора Юрьича Ромодановскаго, какъ тотъ страшныя богатства царя Алексѣя Михайловича, о которыхъ никто не зналъ, спряталъ и потомъ, во время турецкой войны, Петру отдалъ; какъ князю Ивану Андреевичу Хованскому-Тарурую съ сыномъ головы рубили въ Воздвиженскомъ; какъ у князя Василія Голицына роскошь шла до того, что дворецъ былъ мѣдью крытъ, а червонцы и серебро въ погребахъ были ссыпаны, а потомъ родной внукъ его, Михайло Алексѣичъ, при Аннѣ Ивановнѣ шутомъ состоялъ, за ея собакой ходилъ и за то при Бѣлгородскомъ мирѣ тремя тысячами жалованъ, и въ посмѣяніе «Квасникомъ» звался, и свадьба его съ Авдотьей-калмычкой въ Ледяномъ домѣ справлялась... Какъ Салтыковы ополячились; какъ Василій Нарышкинъ съ артиллеріею и пѣхотою богача Сибирякова домъ осадилъ и силою у него пять тысячъ рублей вымогнулъ, а потомъ въ томъ же дому у него безъ совѣсти бражничалъ. А князь Иванъ Васильевичъ Одоевскій даже со столовъ при карточной игрѣ у Разумовскаго деньги воровалъ.

Всѣ гости слушали эти разсказы и словно переживали все, что излагалъ предъ ними Рогожинъ, и «страхомъ огораживались» отъ ужасавшаго ихъ захуданія рода, которое, вѣроятно, и тогда уже предвидѣлось.

По крайней мѣрѣ бабушка, по своей безбоязненности смотрѣть впередъ, и тогда уже объ этомъ говорила.

Все это были бесѣды безконечныя, но не безплодныя, и въ нихъ коротались дни, а когда Донкихотъ вдругъ исчезалъ, эти живыя бесѣды обрывались, и тогда всѣ чувствовали живой недостатокъ въ Рогожинѣ. Возвращался онъ, и съ нимъ въ Протозаново возвращалось веселье. Пріѣзжалъ ли онъ избитый и израненный, что съ нимъ случалось нерѣдко, онъ все равно нимало не измѣнялся и точно такъ же читалъ на память повѣсть чьего-нибудь славнаго дворянскаго рода и пугалъ другихъ захуданіемъ, или декламировалъ что-нибудь изъ рыцарскихъ балладъ, которыхъ много зналъ на память.

Въ то время, когда бабушка ожидала къ себѣ петербургскаго графа Функендорфа, Рогожинъ находился на лицо въ Протозановѣ: онъ только-что возвратился откуда-то послѣ жестокой битвы, въ которой потерялъ глазъ.

— Батюшка мой, какъ тебя обработали!—произнесла, увидавъ его, бабушка.—Ты, вѣдь, теперь кривой останешься?

— Да ничего... одинъ глазъ цѣлый остался, — отвѣчалъ Рогожинъ, и больше ничего не разсказывалъ; но люди черезъ Зинку разузнали, что было побоище страшное, что Донкихотъ гдѣ-то далеко «съ цѣлымъ народомъ дрался».

Вся исторія, сколько помню, состояла въ томъ, что гдѣ-то на дорогѣ у какой-то дамы въ каретѣ сломалось дышло; мужики за это деревцо запросили двадцать рублей и безъ того не выпускали барыню вонъ изъ деревни. Донкихотъ попалъ на эту исторію и сначала держалъ къ мужикамъ внушительную рѣчь, а потомъ, видя безсиліе словъ, вскочилъ въ свой тарантасъ и закричалъ:

— Зинобей! Зинка, бей! бей! бей! Зинобей!

Зинка подобралъ вожжи и въ свою очередь завизжалъ:

— Эхъ вы, караси! ну-ка-си! помахивай-ка-си!

И одры разлетѣлись, сдѣлали съ горы кругъ; за ними закурило и замело облако пыли, и въ этомъ облакѣ, стоя на ногахъ посреди тарантаса, явился Рогожинъ въ своей курткѣ съ развѣвающимся по вѣтру широкимъ монашескимъ плащомъ. Все это какъ воздушный корабль врѣзалось и тутъ и гикъ, и свистъ, и крикъ «бей», и хлопанье кнута и, однимъ словомъ, истребленіе народовъ!

Люди сидѣвшей въ каретѣ дамы, воспользовавшись этою сумятицею, скорѣе по лошадямъ и ускакали, а мужики вдругъ сообразили, что Донкихотъ одинъ, а ихъ много, и приняли его въ передѣлку. Обоихъ путниковъ страшно избили, и они, по показанію Зинки, три дня валялись возлѣ рѣчки на лугу за горою. Пансо былъ избитъ совершенно понапрасну: слушая призывъ «бей! Зинка, бей!» онъ всетаки никогда никого не билъ и въ этомъ дѣлѣ тоже оставался ни предъ кѣмъ неповиннымъ. Мужики этого ничего не разбирали и отъ нихъ досталось даже и конямъ Донкихота, которыхъ изувѣчили, и тарантасу, въ которомъ изломали колесо и украли изъ него желѣзный шкворень.

Несчастные Богъ вѣсть какъ собрались съ силами, вымыли у рѣки опустѣвшую орбиту выбитаго глаза Донкихота, подвязали изорванныя мочалы упряжи и на трехъ колесахъ, при содѣйствіи деревяннаго шкворня, дотащились до Протозанова, гдѣ въ незамѣтности остались ожидать, не станутъ ли ихъ разыскивать.

Мужики, съ которыми происходилъ этотъ послѣдній бой, были, однако, не изъ сутяжливыхъ: они, покончивъ дѣло своею расправой, ничего болѣе не искали, и Донкихотъ, успокоясь на этотъ счетъ и поправясь въ силахъ и здоровьи, теперь опять уже расправлялъ свои крылья и, нося руки фертомъ, водилъ во всѣ стороны носомъ по воздуху, чтобы почуять: не несетъ ли откуда-нибудь обидою, за которую ему съ кѣмъ-нибудь надо перевѣдаться.

Въ это-то самое время у бабушкинаго крыльца и застучали колеса кареты петербургскаго графа.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Княгиня обѣдала по-деревенски, довольно рано, въ два часа. Не измѣняя для архіерея своего мѣста въ церкви, она, разумѣется, не нарушала и порядковъ своего дома ни для какого гостя. Званый гость ожидался сверхъ положенія четверть часа, и если онъ въ теченіе этой четверти часа не пріѣзжалъ, то столъ начинался. Гость, опоздавшій и пріѣхавшій во время обѣда, имѣлъ неудовольствіе получать всѣ блюда сначала и видѣть какъ всѣ ради его одного сидятъ и ожидаютъ, пока онъ вступитъ въ очередь. Это было ему наказаніе за неаккуратность.

Губернатору и графу Функендорфу угрожало то же самое: въ залѣ пробило уже два часа, а они еще не жаловали. Обладавшіе аппетитомъ гости напрасно похаживали около оконъ и посматривали на открытую дорогу, на которой долженъ былъ показаться экипажъ, —однако, его не было. Проходила уже и отсроченная четверть часа, и княгиня готовилась привстать и подать руку Рогожину, который имѣлъ привилегію водить бабушку къ столу, какъ вдругъ кто-то крикнулъ: «ѣдутъ!»

Всѣ сунулись къ окнамъ, разумѣется всѣ, кромѣ княгини; бабушка, конечно, не тронулась; она сидѣла въ углу дивана за круглымъ столомъ и удержала при себѣ Марью Николаевну. Любопытство княгини ограничивалось только тѣмъ, что она со своего мѣста спросила глядѣвшихъ въ окно:

— Какъ они?

Ей отвѣчали:

— Въ четверомѣстной каретѣ, ваше сіятельство.

— Гм!.. въ четверомѣстной?

— Да-съ, четверомѣстной, ваше сіятельство.

— Гм!.. Патрикѣй, слышишь! сообрази сервизъ.

Патрикѣй поклонился и вышелъ прибавить сервиза; а въ это время съ наблюдательнаго поста, откуда видно было, какъ пріѣзжіе высаживались, поданъ голосъ, что пріѣзжихъ только трое, а не четверо, и всѣ мужчины.

— Кто же третій?.. молодой кто-нибудь?.. Вѣрно, секретарекъ при немъ?

— Нѣтъ-съ, не секретарекъ, а это... это Иванъ Петровичъ Павлыганьевъ.

Бабушка наморщила лобъ и переспросила:

— Кто-о?

— Павлыганьевъ!.. предводитель Павлыганьевъ!..

— Быть этого не можетъ!

— Онъ-съ.

— Кто же у нихъ на передней лавкѣ сидѣлъ?

— Да онъ и сидѣлъ,—отвѣчалъ Донкихотъ.

— Что ты, батюшка, вздоръ говоришь.

— Нѣтъ-съ, не вздоръ, я самъ видѣлъ, какъ карету открыли!

И Рогожинъ круто повернулся на каблукѣ и, сдѣлавъ княгинѣ гримасу и укоризненный жестъ рукою, прошипѣлъ съ пѣной у рта:

— А это все вы-съ!

— Ну, оставь это покамѣстъ,—отвѣчала бабушка, но Донкихотъ былъ не въ расположеніи оставлять и настойчиво продолжалъ:

— Вы его совѣтовали выбрать!

— Доримедонтъ Васильичъ, умилосердись же ради Бога! оставь! Я, такъ и я: вѣдь не прежде холмовъ я создана и могу ошибаться, но не время теперь объ этомъ говорить, когда люди входятъ.

Они, дѣйствительно, входили. Въ залѣ уже слышались шаги и сухой, немножко недовольный кашель, очевидно исходившій отъ лица, которому желалось бы, чтобъ его встрѣтили.

Дьяконица Марья Николаевна уже начала присѣдать и подпрыгивать, а бабушка съ Донкихотомъ перекинулись послѣдними летучими фразами.

Она шептала:

— Бога ради, оставь!

А онъ отвѣчалъ:

— Ну, ужъ это извините-съ: не покорюсь!

— Прошу тебя, Доримедонтъ Васильичъ!—и бабушка, не докончивъ послѣдней фразы, перевела глаза съ Донкихота на двери, въ которыя входили гусемъ: губернаторъ, за нимъ высокій, плотно выбритый бѣло-розовый графъ, съ орденскою звѣздой на фракѣ, и за нимъ опять послѣднимъ Павлыганьевъ.

При появленіи этой добродушной толстой фигуры Донкихотъ громко щелкнулъ каблуками и повернулся къ нему спиной... Бабушка теперь уже не могла усмирять расходившагося дворянина: она выслушивала, какъ губернаторъ репрезентовалъ ей заѣзжаго гостя, и потомъ какъ самъ гость, на особомъ французскомъ нарѣчіи, на которомъ говорятъ нѣмцы, сказалъ княгинѣ очень хитро обдуманное привѣтствіе съ комплиментами ея уму, сердцу и значенію.

Все это было не въ ея вкусѣ, но она смолчала и пригласила гостей присѣсть на минуту, а потомъ сейчасъ же почти встала и, подавъ руку графу, отправилась къ столу.

Въ этой спѣшности проминули всѣ опасности со стороны Марьи Николаевны, которая по этому случаю была очень счастлива и, подхвативъ подъ руку Донкихота, просила его:

— Батюшка, Доримедонтъ Васильичъ, усади ты меня, голубчикъ, такъ, чтобы меня не видно было, если онъ по-французски заговоритъ... А то я, ей-Богу, со страху «вуй» отвѣчу.

— Не бойтесь!—отвѣчалъ Рогожинъ, становясь съ Марьей Николаевной въ самую послѣднюю пару, и, усадивъ ее за столомъ ниже большой соли и заслонивъ своимъ локтемъ, добавилъ ей:

— Но если непремѣнно захотите по-французски отвѣчать, то не забудьте, что надо сказать не просто «вуй», а «вуй, мусье».

— Это я выговорю,—отвѣтила, успокоясь, Марья Николаевна; но только оказалось, что все ея безпокойство было совсѣмъ напрасно: графъ былъ сильно занятъ разговоромъ съ княгинею, которая его слушала съ очевиднымъ вниманіемъ и, повидимому, не обращала ни на что болѣе вниманія. Но это только такъ казалось, потому что когда Рогожинъ спросилъ предводителя: не было ли ему безпокойно

ѣхать въ каретѣ на передней лавочкѣ, а тотъ ему отвѣтилъ, что это случилось по необходимости, потому что его экипажъ дорогою сломался, то княгиня послала Донкихоту взглядъ, который тотъ долженъ былъ понять какъ укоризну за свое скорое сужденіе.

Обѣдъ кончился благополучно: гость былъ разговорчивъ; бабушка внимательно его слушала. Въ словахъ его для княгини было много любопытнаго, она опознавала по нимъ знаменія времени и духа общества въ столицѣ, въ которую снаряжалась. Вопросами дня тогда былъ чугуевскій бунтъ: казаки не хотѣли быть уланами и на всѣ дѣлаемыя имъ убѣжденія отвѣчали, что они «волѣ правительства подчиняются, но своего желанія не имѣютъ». Изъ этого былъ сдѣланъ бунтъ. Газетъ тогда по деревнямъ мало получали, но о чугуевскомъ дѣлѣ въ Протозановѣ знали по слухамъ, и когда были новые слухи, ими особенно интересовались. Графъ же былъ близокъ къ источникамъ всѣхъ новостей и разсказалъ объ ужасахъ усмиренія, но не такъ подробно, какъ зналъ объ этомъ Рогожинъ и какъ онъ разсказалъ уже ранѣе. Бабушка это замѣтила и, почесавъ своимъ бѣлымъ пальцемъ лѣвую бровь, молвила:

— Мы какъ-то немножко иначе про это слышали.

— А какъ же вы слышали?

Княгиня посмотрѣла изъ-подъ руки на Донкихота и мягко проговорила:

— Говорятъ, Аракчеевъ съ Клейнмихелемъ изъ Харькова совсѣмъ безъ сердецъ прикатили...

— Знаете, ваше сіятельство... здѣсь нельзя было спрашивать сердце!

— Спрашивать сердце всегда и вездѣ должно.

— Это какъ судить...

— Какъ судить?... помилуйте: сорокъ гробовъ передъ экзекуціею на площади было поставлено... Развѣ это въ христіанской землѣ такъ можно?

Графъ молчалъ.

— А скажите: правда-ли, будто одна казачка, у которой двухъ сыновей на смерть засѣкли...

— Подвела внучатъ?

— Да, будто она еще подвела внучатъ?

— Правда: ужасное упорство!

— И такъ имъ и сказала: «учитесь, хлопци, умирать какъ ваши батьки»?

— Этими самыми словами.

— И ее взяли?

— Вѣроятно.

— А что съ нею сдѣлали?

— Этого, право, не знаю.

Бубушка задумалась и потомъ вздохнула и, во всю грудь положивъ на себя широкій крестъ, произнесла:

— Упокой Господи бѣдныхъ рабовъ твоихъ, а намъ прости какъ мы это сносимъ.

Графъ, повидимому, удивлялся: молитвенное воззваніе княгини его смущало: онъ, очевидно, недоумѣвалъ, коего духа эта странная вдовица, а она продолжала:

— Грустно это, графъ... Безбожное дѣло сдѣлалось! люди были вѣрные, семь лѣтъ назадъ всѣ на видную смерть шли. Не избыть срама тѣмъ, кѣмъ не по истинѣ это дѣло государю представлено.

— Самъ графъ представлялъ.

— Аракчеева не сужу, но опасаюсь, что чрезъ это неблагодарностью родину клепать станутъ, а чрезъ то вѣрныхъ родъ ослабѣетъ, а лицемѣрныя искательства возвысятся. Хотѣлось бы хвалить тѣхъ, кто у престола стоя правду говорить не разучился.

Графу это показалось положительно грубымъ и неумѣстнымъ, и онъ, отведя княгиню изъ-за стола на ея обычное мѣсто въ гостиной, хотѣлъ дать этому разговору другое направленіе. Онъ указалъ, что истинной вѣрности, какъ хочетъ княгиня, можно ждать только отъ родовой аристократіи.

Бабушку это кольнуло: она терпѣть не могла этого новомоднаго тогда у насъ слова, подъ которымъ, по ея своеобразнымъ понятіемъ, пробирался въ русское общество самый пустой и вредный вздоръ, въ цѣляхъ достиженія котораго затѣвали маіораты.

— Что это за *аристократія?* Гдѣ эта аристократія? Никакой этой пустой затѣи у насъ въ Россіи не было и нѣтъ, да и быть не должно.

— Почему же вы такъ говорите?— спросилъ нѣсколько сконфуженный графъ.

— Говорю такъ потому, что такъ думаю, а думаю такъ,

потому что на свою русскую природу надѣюсь, ибо доброю ее почитаю и знаю, что русскій человѣкъ никогда того не захочетъ, чтобы всѣхъ дѣтей для одного задѣлить. Петръ Первый этого желалъ и не достигъ—будто какъ самъ Богъ этому противился: кто заведетъ маіоратъ, глядишь и родъ вымираетъ; ясно Господь глаголетъ: сіе Ему неугодное и намъ не нужно. У насъ есть *знать*, именитые роды отъ знатныхъ дѣлъ и услугъ предковъ государству прославившіеся; вотъ это помнить надо, а у насъ родовое-то все съ Петра раскрадено да въ посмѣхъ дано. Дворянство черезъ то страдаетъ, что прибыльщики да компанейщики не за заслуги въ дворяне попадать стали, а за прислужничество; старая же знать, мало честь соблюдая, съ ними мѣшалась. Толстой да Меншиковъ, да Шафировъ, всѣмъ путь показали къ барышничеству. Меншикову да Шафирову это не диво—оба выскочки, а Толстому стыдъ. Да и самъ Таврическій черезъ подставныхъ людей въ откупахъ участвовалъ, а Соловой уже прямо и открыто въ это дѣло сунулся, да за собой повелъ и Юрія Долгорукаго и Гагарина съ Куракинымъ. Не погнушались заодно идти съ Походяшевыми, Хлюстиными, Ворожейкиными да Кондолинцевыми. И довели дѣло до такой наглости, что черезъ нихъ купецъ Курчаниновъ дерзнулъ правительству предложеніе сдѣлать пятьдесятъ милліоновъ прирастить, чтобъ ему бороды на откупъ дали. Позье брильянтщикъ всѣмъ, кто къ нему цугомъ пріѣзжалъ, отказывалъ, потому что брали да и не платили; а Иванъ Васильичъ князь Одоевскій, тайный совѣтникъ былъ и вотчинной коллегіи президентъ, а до того замотался, что всѣхъ крестьянъ продалъ: крѣпостныхъ музыкантовъ играть по дворамъ посылалъ и тѣмъ жилъ, а потомъ и этихъ своихъ кормильцевъ продалъ да сталъ съ карточныхъ столовъ деньги красть... Не разъ битъ... Рюриковъ-то потомокъ: помилуйте, какую отсель теперь аристократію выводить! Нѣтъ, намъ эта багатель не къ прибыли: намъ надо помнить, что горе тому, у кого имя важнѣе дѣлъ его...

— Во всякомъ случаѣ,—замѣтилъ графъ:—какъ ни плохи иныя отдѣльныя лица, а помѣстное дворянство все-таки вѣчная сила...

— Нѣтъ, не вѣчная,—отвѣчала княгиня.—Что тутъ вѣчнаго: зрячій да слабый на слѣпого да сильнаго сѣлъ да и ѣдетъ. Наше крѣпостное владѣніе — это слѣпой безногаго

возитъ. Это не вѣчно такъ будетъ: слѣпой прозритъ, а зрячій совсѣмъ разслабнетъ, если раньше на своихъ ногахъ идти не научится... Говорятъ, будто правнукъ Головина хочетъ свое имѣніе Воротынецъ въ лотерею разыгрывать?

— Это вѣрно.

— Господи, Боже мой!.. Этакого срама на Руси еще не было... Пять тысячъ живыхъ людей въ лотерею пустить!

Графъ уже глядѣлъ на пессимистку скучнымъ и утомленнымъ взглядомъ и, не зная куда съ ней далѣе повернуть, молвилъ:

— Вы мнительны, княгиня: въ Россіи есть прекрасные дворяне!

— Есть,—отвѣчала бабушка: — и я сама имѣю счастіе многихъ знать съ духомъ и съ благороднымъ сердцемъ, но только всѣ они врозсыпь приходятъ... Склейки нѣтъ, безъ призванія къ дѣлу наша дворянская сила въ пустоцвѣтъ идетъ, а заботливые люди чудаками кажутся. Вонъ у меня человѣка видите... вонъ тотъ, что у окна съ предводителемъ стоитъ разговариваетъ... Рогожинъ, бѣдный дворянинъ, весьма замѣчательный.

— Это вонъ тотъ... рыжій, кривой, въ курткѣ?

— Да; это у него костюмъ такой... Онъ весь оригинальный: самъ золотой, а глаза были изумрудные, — теперь одинъ остался, но онъ очень благороденъ и въ чудака обратился.

— Какъ онъ худъ, точно meurt de faim.

— Да, все съ нимъ бываетъ,—отвѣчала бабушка:—онъ и голодаетъ подчасъ, и въ горахъ, вертепахъ и въ пропастяхъ скрывается, а все въ себѣ настоящій благородный духъ бережетъ. Это что я вамъ о захудавшей нашей знати сказала, я себѣ не приписываю: это я все отъ него знаю. Это онъ все намъ всѣ эти сказанія проповѣдуетъ... Стыдитъ насъ.

— Съ какою же цѣлію онъ все это разсказываетъ?

— Все заботится, чтобы «духъ благородства поддержать отъ захуданія». Надѣется видно! Я вѣдь вамъ самую малую часть его словъ привела, а онъ ужасно много знаетъ. Я его такъ и называю *свитокъ*. Онъ скрученъ весь, а если его раскатать, то я и не знаю, какъ онъ обширенъ будетъ! Мнѣ кажется, одинъ своимъ благородствомъ удивить свѣтъ можетъ. Все въ немъ писано: и великія дѣла для возбужде-

нія духа, и позорное слово для угроженія, и мои беззаконія тоже въ немъ заключаются.

— Ваши беззаконія?—произнесъ съ улыбкой графъ.— Это интересно: я думаю, это бѣлая строка въ свиткѣ.

— Не скажите. Вѣдь я его постоянно прячу и отъ властей скрываю... это беззаконіе.

Графъ полюбопытствовалъ, какъ и отчего княгиня укрываетъ Донкихота, а бабушка ему все это разсказала и тѣмъ до того оживила бесѣду, что графъ началъ смѣяться и шутить, и повторять Рогожинское присловье: «перервать можно, а вывернуть нельзя».

— Да вамъ не угодно ли съ нимъ немножко сблизиться и поговорить? Онъ очень интересенъ,—проговорила княгиня, и, получивъ отъ графа звукъ въ родѣ и да, и нѣтъ, возвысила голосъ и позвала:

— Доримедонтъ Васильичъ! смѣю тебя побезпокоить на минутку?

Рогожинъ бросилъ предводителя и, подойдя къ княгинѣ, щелкнулъ, по своему обычаю, каблукомъ и уставилъ на нее свой изумрудный глазъ.

— Вотъ, другъ мой, графъ желаетъ съ вами познакомиться,—и, обратясь затѣмъ къ графу, она добавила:— имѣю честь представить вашему сіятельству, Доримедонтъ Васильичъ Рогожинъ, и добрый, и честный дворянинъ, какихъ...

Но, не договоривъ этого слова, княгиня вдругъ поблѣднѣла и сдвинула брови, замѣтивъ, что графъ подалъ Рогожину два пальца?

Она была обижена за Рогожина и боялась, что тотъ вспылитъ; но Рогожинъ ее успокоилъ:

— Не обижайтесь, княгиня,—сказалъ онъ:—я бѣдный человѣкъ, мнѣ его ни одного пальца не нужно. Пусть Павлыганьеву цѣлую руку дастъ, тотъ его въ собраніе на обѣдъ позоветъ. Поѣзжайте, графъ, меня тамъ не будетъ.

Этой непредвидѣнной сцены никто не умѣлъ передать во всѣхъ подробностяхъ, и я передаю ее вкратцѣ. Знаю только, что все это случилось такъ, какъ никто не хотѣлъ и не думалъ. Графъ, дѣйствительно, ѣхалъ съ тѣмъ, чтобы прослѣдить тропу къ бабушкиному сердцу и состоянію; чутье княгини не ошибалось: онъ хотѣлъ искать ея руки; конечно, желалъ быть вѣжливъ, но межъ тѣмъ неожиданно

обидѣлъ Рогожина и самъ обидѣлся. Княгиня, считая графа случайнымъ посѣтителемъ, всемѣрно рѣшилась при немъ себя сдерживать, чтобы не нажить врага для своей мѣстности, и между тѣмъ не сдержалась; Рогожинъ тоже сдѣлалъ то, чего совсѣмъ не ожидалъ: онъ хотѣлъ терзать предводителя и, отозванный бабушкой отъ этой работы, сорвалъ все зло на графѣ.

Словомъ, тутъ надо всѣми было какое-то одержаніе: точно какой-то духъ буренъ слетѣлъ и все возмутилъ и все перепуталъ, такъ что никто въ своемъ поведеніи не узнавалъ своихъ плановъ и намѣреній. Все до того перебуровилось, что предводитель, для котораго былъ поданъ особый дормезъ, бросилъ туда одну шинель, а самъ опять сѣлъ на передней лавочкѣ, и когда графъ говорилъ: «Это нельзя; это невозможная женщина!» то предводитель съ губернаторомъ наперерывъ отвѣчали:

— Мы очень рады, что вы сами ее изволили видѣть.

Графъ тѣмъ развлекъ тяжесть мыслей, что сталъ выспрашивать губернатора насчетъ этого «бродяги съ зеленымъ глазомъ», который такъ дерзко съ нимъ обошелся. Что̀ касается княгини, то за нее графъ еще не зналъ, какъ взяться. Онъ имѣлъ на нее планы, при которыхъ вредить ей не было для него выгодно: довольно было дать ей почувствовать, что сила не на ея сторонѣ, но это гораздо благонадежнѣе было сдѣлать не здѣсь, гдѣ она вокругъ обросла на родныхъ пажитяхъ, а тамъ, въ Петербургѣ, гдѣ за ней стать будетъ некому.

И онъ не ошибался въ расчетѣ и еще разъ сумѣлъ подхвалить себя за сдержанность, когда, въ день обѣда, назначеннаго въ его честь въ дворянскомъ собраніи, туда явились только одни чиновники и самая незначительная часть дворянъ.

Графъ слышалъ, какъ смущенный губернаторъ подлетѣлъ къ предводителю съ вопросомъ:

— Гдѣ же остальные?

А предводитель ему отвѣчалъ:

— У Варвары Никаноровны на прощальномъ обѣдѣ.

Послѣ этого губернаторъ напрасно тщился попасть въ тонъ къ графу. Но графъ счелъ себя положительно обиженнымъ и уѣхалъ, не видавшись ни съ кѣмъ изъ ухаживавшихъ за нимъ сановниковъ. Онъ ихъ считалъ достойными

бо̀льшаго наказанія, чѣмъ самоё княгиню, которая ему стала даже серьезно нравиться, какъ Гаральду презиравшая его русская дѣва.

Онъ разсчитывалъ стрѣлять по княгинѣ изъ-за большой башни; а если ему и оттолѣ не удастся ее одолѣть, то все-таки не отступить отъ намѣренія—соединить Протозановскія межи со своими по другому способу.

Между тѣмъ всѣ эти послѣднія исторіи продолжали быть обдержаніями или напастями невольными: такъ, прощальный обѣдъ, которымъ княгиня отвлекла почти всѣхъ дворянъ отъ обѣда, даннаго въ пустой залѣ собранія графу, вовсе не былъ ею разсчитанъ на какую-нибудь обиду, а совпалъ съ этимъ обстоятельствомъ совершенно случайно, или уже послѣ того, дѣйствительно, нѣтъ на свѣтѣ никакихъ случаевъ, а есть на все только одна неисповѣдимая воля, безъ которой не падаетъ ни волосъ съ головы, ни воробей съ кровли.

Бабушка, по крайней мѣрѣ, вѣрила такъ, и во всѣхъ случайностяхъ видѣла не то напоминанія, не то предуготовленія къ чему-то бо̀льшему. Совершая путь свой въ Петербургъ, она часто повторяла въ мысляхъ:

— «Готово сердце мое, Боже, готово!»

Княгиня ѣхала въ Петербургъ съ маленькими дѣтьми, съ Ольгою Ѳедотовною и съ Патрикѣемъ. Дѣти и Ольга помѣщались вмѣстѣ съ бабушкою въ каретѣ, а Патрикѣй въ устроенной сзади откидной коляскѣ, гдѣ ему было очень покойно и откуда онъ съ высоты могъ далеко впередъ видѣть дорогу и наблюдать за форейторомъ и за кучеромъ. Они пріѣхали такъ скоро, какъ только тогда было можно. Въ Протозаново отъ нихъ никакихъ вѣстей еще не приходило.

Рогожинъ, по отъѣздѣ бабушки, заѣхалъ домой и сидѣлъ однажды у себя въ сѣнномъ чуланѣ и въ одно и то же время читалъ какую-то книгу, ѣлъ квасъ со свеклою и билъ ложкою по лбамъ налѣзавшихъ на него со всѣхъ сторонъ ребятъ. Въ это самое время предъ открытыми дверями его сѣней остановилась вскачь прибѣжавшая лошадь и съ нея спрыгнулъ посолъ изъ Протозанова.

Рогожинъ узналъ извѣстнаго ему верхового мальчика и вскричалъ:

— Пхэ! Что у васъ, мальчуганъ?

— У насъ ничего-съ, а у васъ худо,—отвѣчалъ бойкій мальчикъ.

— Ну!

Мальчишка, комкая шапку, подошелъ къ самому плечу Донкихота и, оглянувшись, вдругъ прошепталъ:

— Господа пріѣхали...

— Какіе господа?

— Лихо ихъ знаетъ.., чиновники...

— Ну, ты, дуракъ, впередъ знай, что чиновники не господа, а что дальше—сказывай.

— Васъ ищутъ... Управитель шибко скакать велѣлъ.

Донкихотъ стоялъ и соображалъ: этого еще никогда не было, чтобъ его смѣли искать въ княгининомъ домѣ... Онъ видѣлъ въ этомъ новость, въ которой обсуждалъ не свое положеніе, а то, какое значеніе имѣетъ это по отношенію къ Варварѣ Никаноровнѣ. Пользуются ли тѣмъ, что ея дома нѣтъ, или уже отнынѣ и ея не боятся и не уважаютъ попрежнему? Откуда это?.. Конечно, не отъ здѣшнихъ: у нихъ на это еще не хватило бы смѣлости... Нѣтъ; это оттуда, гдѣ она сама теперь... одна...

Рогожинъ, въ половинѣ этого размышленія, завелъ палецъ въ ротъ и, все туже и туже натягивая имъ свою щеку, при послѣдней мысли вдругъ хлопнулъ на воздухъ и въ ту же минуту заоралъ:

— Эй! Зинобей!

Двужильные одры въ лыкѣ и мочалѣ, и Зинка въ конопляномъ шлыкѣ выросли, какъ по мановенію.

Донкихотъ вскочилъ въ экипажъ и скомандовалъ:

— Въ Петербургъ!

Зинка, хотя не зналъ этой дороги, но задергалъ и завизжалъ:

— Ну, караси! подергивай-ка-си!

Черезъ три недѣли одры стояли у Московской заставы въ Петербургѣ, а Донкихотъ, высунувшись изъ кибитки, одною рукой заслонялъ какую-то пыльную кутафью, а другою, опираясь на Зинку, громко оралъ:

— Солдатъ, а солдатъ! гдѣ здѣсь Мойка?

Проходившій солдатъ разсказалъ ему, гдѣ Мойка, и Зинка опять запрялъ вожжами.

Одры неслись тѣмъ же аллюромъ, точно не они сдѣлали въ эти дни цѣлыя полторы тысячи верстъ.

Черезъ часъ они проскакали мимо каменныхъ львовъ въ ворота Протозановскаго дома и остановились у широкаго, выпуклаго полукруглаго подъѣзда.

Донкихотъ выскочилъ и потащилъ за собою пыльную кутафью, въ которой теперь не трудно было узнать дьяконицу Марью Николаевну.

Въ минуты пріѣзда неожиданныхъ гостей, княгиня только что вернулась изъ института, гдѣ на другой день назначенъ былъ выпускъ, и находилась въ непріятномъ волненіи. Она встрѣтила друзей съ изумленіемъ и ея первымъ къ нимъ словомъ былъ вопросъ:

— Что съ вами? Или вы погорѣли?

— Нѣтъ,—отвѣчала Марья Николаевна:—ничего...—И она, показавъ на Рогожина, докончила:—онъ прискакалъ... ночью... на огородъ вызвалъ... говоритъ: «Княгинѣ не безпечно: поѣдемъ». Я и поѣхала.

Донкихотъ даже и этого не говорилъ. Онъ ничего не объяснялъ; весь сѣрый подъ густымъ слоемъ насѣвшей на него пыли, онъ въ подозрительномъ молчаніи обходилъ залу и засматривалъ по всѣмъ угламъ и заглядывалъ за двери, точно искалъ вездѣ скрытыхъ злодѣевъ.

Бабушка посмотрѣла на него и, улыбнувшись, сказала:

— Ну, довольно тебѣ: перестань основу сновать: тутъ и такъ все вокругъ ходитъ. Патрикѣй! ступай съ нимъ сейчасъ въ баню, да вели, пожалуйста, чтобъ ему усы расчесали и уши хорошенько мыломъ вымыли. Да поди-ка сюда на минутку ко мнѣ.

Вызвавъ Патрикѣя въ другую комнату, княгиня добавила свое приказаніе:

— Сейчасъ купи ему платье, чтобы хорошее, но въ его вкусѣ, а это вели у него въ банѣ украсть.

Патрикѣй все это аккуратно сдѣлалъ, и черезъ часъ Донкихотъ возвратился чисто вымытый и переодѣтый въ бархатный колетъ съ прочими соотвѣтственными деталями и въ щегольскихъ сапогахъ съ раструбами.

— Вотъ какъ тебя здѣсь сразу выворотили!—похвалила его княгиня.

— Престранный случай!—отвѣчалъ Донкихотъ:—меня обокрали!

— Тутъ это вдругъ! впрочемъ, и это платье въ твоемъ вкусѣ.

— Да; оно ничего,—отвѣчалъ Донкихотъ.

И, ставъ передъ цѣльнымъ зеркаломъ посреди комнаты, онъ началъ поворачиваться въ своемъ новомъ костюмѣ, любуясь собою самъ и заставляя любоваться, исподтишка улыбавшихся надъ нимъ, княгиню, дьяконицу, Ольгу Ѳедотовну и Патрикѣя...

Это была живая картина къ той сказкѣ и присказкѣ: полусумасшедшій, кривой дворянинъ, важно позирующій въ пышномъ уборѣ изъ костюмерной лавки, а вокругъ его умная, но своенравная княгиня, да два смертно ей преданные вѣрные слуги и другъ съ сельской поповки. Это собралась на чужинѣ она, отходящая, самодумная Русь; а тамъ, за стѣнами дома, катилась и гремѣла другая жизнь, новая, оторванная отъ домашнихъ преданій: люди иные, на которыхъ страна смотрѣла еще, какъ удивленная курица смотритъ на выведенныхъ ею утятъ.

СТАРОЕ СТАРИТСЯ—МОЛОДОЕ РАСТЕТЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ моей хроникѣ, къ сожалѣнію, неизбѣжны нѣкоторые пробѣлы, особенно въ томъ ея періодѣ, къ которому я приступаю. Въ объясненіе причины многихъ происшествій этой поры я не имѣю точныхъ указаній и могу судить о нихъ только по соображеніямъ и догадкамъ. Впрочемъ, я такъ близко знаю тѣхъ, о комъ говорю, что не могу сдѣлать грубыхъ промаховъ въ моемъ разсказѣ, который буду продолжать съ того, какъ повела себя княгиня Варвара Никаноровна въ Петербургѣ, гдѣ мы ее оставили, въ концѣ первой части моей хроники, любующеюся преобразованнымъ, по ея мысли, Донкихотомъ Рогожинымъ.

Напомню опять, что это было наканунѣ дня, когда бабушка должна была принять изъ рукъ институтскихъ воспитателей свою дочь, княжну Анастасію, съ которою, какъ я уже прежде разсказала, взаимныя отношенія ихъ были нѣсколько расхоложены сначала взаимнымъ отчужденіемъ и отвычкою, а потомъ пренебрежительнымъ обхожденіемъ княжны съ людьми, которыхъ посылала къ ней мать.

Княгиня переживала въ это время самыя тяжелыя ощущенія: горячая душа ея не могла не мучиться отъ сознанія, что она мало любитъ дочь, или, по крайней мѣрѣ, не любитъ ее сколько бы хотѣла. Но любовь, какъ извѣстно, дается и пріемлется туне, и если ея нѣтъ, то ее взять негдѣ. Впрочемъ, я увѣрена, что скорбь эта была напрасна: бабушка себѣ сочиняла, что она мало любитъ свою дочь,

а на самомъ дѣлѣ было иначе. Но какъ бы это ни было, ожидая дочь, княгиня постоянно находилась въ мукахъ недовольства собою и во все это время была мрачна и, противъ своего обыкновенія, даже настолько непривѣтлива, что не обратила на дьяконицу и Донкихота того вниманія, какимъ эти люди у нея всегда пользовались и на которое они, какъ надо бы думать, получили еще болѣе права послѣ новаго оригинальнаго доказательства своей безграничной ей преданности. Варвара Никаноровна умѣла цѣнить эти вещи, но на сей разъ не оцѣнила: недовольная самою собою княгиня ограничивалась тѣмъ, что, полюбовавшись преобразованнымъ Донкихотомъ, отослала гостей отдыхать въ назначенныя имъ комнаты, а сама опять предалась заботамъ о приготовленіи дома ко встрѣчѣ княжны. Эти хлопоты начались давно, но имъ не было конца и къ самому послѣднему дню; княгинѣ безпрестанно мерещилось, что она *мало любитъ дочь*, и, мучимая этимъ призракомъ своего воображенія, она всячески старалась замѣнить укоряющій ее недостатокъ любви заботливостью о благѣ и внѣшнемъ счастіи дочери. Она хотѣла окружить княжну самою нѣжною заботливостью и внѣшними ласками. Ольга Ѳедотовна говорила, что бабушка цѣлые дни была на ногахъ, а если садилась на минутку, то сейчасъ же задумывалась и потомъ тревожно спрашивала:

— Ольга!.. хорошо ли?.. ты смотри, чтобъ ей не показалось, что мы ее мало любимъ...

И княгиня опять стояла у всякаго обойнаго шнура, у каждаго гвоздика, и все примѣняла на свой глазъ, все пробовала своею рукой. Въ старинномъ домѣ, полномъ богатой утвари Екатерининскаго времени, нѣсколько комнатъ было отдѣлано заново: покои, назначенные для княжны, были убраны скромно, какъ княгиня находила приличнымъ для молодой дѣвушки, но все это было сдѣлано изящно и въ тогдашнемъ новомъ вкусѣ: свѣтлый дѣвственный, собранный въ буфы, ситецъ замѣнилъ здѣсь прежній тяжелый штофъ, который сняли и снесли въ кладовыя; масляныя картины извѣстныхъ старинныхъ мастеровъ, но нѣсколько пластическихъ сюжетовъ, тоже были убраны и замѣнены дорогими гравюрами и акватинтами въ легкихъ рамахъ чернаго дерева съ французскою бронзой; старинные тяжелые золоченые кронштейны уступили свое мѣсто другимъ,

легкимъ и веселымъ, изъ севрскаго фарфора; вмѣсто золоченаго обруча съ купидонами, который спускался съ потолка и въ который вставлялись свѣчи, повѣсили дорогую саксонскую люстру съ прекрасно выполненными изъ фарфора гирляндами пестрыхъ цвѣтовъ. Словомъ, все обновили, даже массивный кіотъ съ дорогими отеческими иконами былъ перенесенъ въ собственные бабушкины покои и замѣненъ простымъ, хотя очень дорогимъ Распятіемъ изъ чернаго дерева и слоновой кости. Оно было повѣшено въ слегка драпированной нишѣ и, освѣщенное блѣднозеленою лампадой, напоминало о себѣ слегка и не сразу. Словомъ, все было приготовлено такъ, какъ наиболѣе могло нравиться дѣвушкѣ, получившей совсѣмъ новое воспитаніе и усвоившей вкусъ и привычки совсѣмъ не тѣ, какія имѣла ея мать. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы княгиню не томила мысль, что она мало любитъ дочь, то она встрѣтила бы княжну гораздо проще и не заботилась бы такъ много о всѣхъ мелочахъ, которыя не имѣютъ особой цѣны при большомъ благѣ, даруемомъ любовью. Но и этого мало: не зная, чѣмъ себя успокоить, княгиня готова была для дочери и на жертвы, она старалась подавить въ себѣ многія свои привычки и, даже преодолѣвъ все свое отвращеніе отъ столичной жизни, рѣшилась не уѣзжать въ Протозаново, а жить въ Петербургѣ. Кто помнитъ, какъ сильна была въ ней привычка къ деревнѣ, тотъ долженъ сознаться, что эта женщина умѣла себя переламывать. Но это даже была не ломка, а что-то гораздо большее: на участливый вопросъ дьяконицы, гдѣ думаетъ княгиня жить и когда возвратится въ Протозаново, бабушка отвѣчала:

— Богъ вѣсть, я ничего не знаю... Это все будетъ, какъ Настенька захочетъ.

Изъ этого отвѣта можно было заключить, что княгиня какъ бы находила удовольствіе подчинять обстоятельства желаніямъ дочери. Вечеромъ, наканунѣ пріѣзда дочери, княгиня даже обратилась за столомъ къ Патрикѣю, чтобъ онъ простилъ княжнѣ Анастасіи, что она была къ нему когда-то невѣжлива.

Старый слуга сконфузился и сквозь слезы отвѣтилъ:

— Матушка, ваше сіятельство, помилуйте!..

— То-то: она тогда была молода...

И затѣмъ было въ этомъ же родѣ слово къ Рогожину:

— Благодарю тебя, Доримедонтъ Васильичъ, что ты не утерпѣлъ и прилетѣлъ сюда навѣстить меня вдалекѣ отъ гнѣзда, но здѣсь, сдѣлай милость... Завтра моя дочь пріѣдетъ: она, можетъ-быть, и не такъ проста, какъ мы съ тобой, ты не ставь ея всякое лычко въ строчку...

— Понимаю,—отвѣчалъ Рогожинъ.

— Если тебѣ что̀ въ моей дочери не понравится, сдѣлай милость, снеси, или прежде мнѣ скажи.

— Да и говорить не стану, я и такъ снесу, — отвѣчалъ Рогожинъ.

— Благодарю тебя, ей надо снисходить,—вѣдь она мало людей видѣла.

— Ну, да, разумѣется; вы не безпокойтесь, я не обижусь.

Только Ольгѣ да Марьѣ Николаевнѣ не было никакихъ предупрежденій, — на нихъ, вѣрно, и безъ того полагались.

И вотъ послѣ всѣхъ этихъ предуготовленій и предувѣдомленій совершился входъ княжны Анастасіи въ родительскій домъ, гдѣ ее ожидала такая заботливая нѣжность и стараніе забыть прошлое и любить ее какъ можно болѣе. Ольга Ѳедотовна никогда не хотѣла распространяться о томъ, какъ это было.

— Привезли,—говорила она: — какъ должно княжну въ каретѣ, на крыльцѣ ее свои люди встрѣтили, а въ залѣ ихъ обѣихъ священникъ благословилъ, и только тѣмъ княжна немножко въ этотъ день себя сконфузила, что спросила Доримедонта Васильича, какія онъ штуки умѣетъ представлять? Однако, и это обошлось хорошо: онъ свое слово княгинѣ сдержалъ и не обидѣлся, а взялъ да ей на картахъ два фокуса показалъ, а потомъ кольцо съ завязаннаго шнурка спустилъ, а послѣ ей княгиня разсказала, что это, говоритъ, мой другъ, дворянинъ и очень благородный, а совсѣмъ не фокусникъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Рѣшаясь не увозить только-что взятую изъ института дочь въ деревню, княгиня должна была сдѣлать съ княжною нѣсколько визитовъ двоюроднымъ сестрамъ своего покойнаго мужа и нѣкоторымъ его старымъ свѣтскимъ пріятелямъ, — тѣ, въ свою очередь, разумѣется, отдали бабушкѣ

эти визиты, и реставрированныя, такимъ образомъ, знакомства въ самое короткое время поставили ея домъ на полуоткрытую ногу. Вначалѣ кругъ этотъ былъ довольно ограниченъ, но одно обстоятельство его скоро раздвинуло далеко за тѣ предѣлы, которыхъ предпочитала держаться княгиня Варвара Никаноровна.

На институтокъ тогда существовалъ взглядъ далеко не похожій на нынѣшній: ихъ считали дѣвицами, блестяще образованными, и носились съ ними какъ ни вѣсть съ какими знаменитостями. Вслѣдствіе этого явилась затѣя списать съ нѣкоторыхъ дѣвицъ того выпуска, къ которому принадлежала княжна, большіе портреты масляными красками. Это предположено было исполнить очень пышно и затѣйливо: портреты должны были служить вмѣсто картинъ, которыми предполагалось украсить одну изъ залъ покровительницы заведенія. Портреты было поручено сдѣлать извѣстному автору *Маріулы*, изящному Кипренскому. Этотъ превосходный художникъ тогда былъ въ большой модѣ и горячѣе чѣмъ когда-нибудь преслѣдовалъ свою мысль для полнаго выраженія жизни въ портретахъ писать ихъ съ такою законченностью, чтобы въ тщательной отдѣлкѣ совсѣмъ скрывать движенія кисти и сливать колера красокъ въ неуловимые переходы. Молодыя лица дѣвицъ какъ нельзя болѣе отвѣчали этой задачѣ, и художникъ взялся за эту работу со всею отличавшею его страстностью. Прежде чѣмъ начались сеансы, Кипренскому предстояло обдумать планъ, какъ выгоднѣе размѣстить изображенія дѣвицъ на нѣсколькихъ полотнахъ. Это надо было расположить сообразно ихъ наружности и условіямъ искусства. Нѣкоторыхъ дѣвицъ преполагалось изобразить по одной, каждую порознь, а другихъ, для приданія картинамъ большаго разнообразія, нарисовать въ группахъ. Для того, чтобы художникъ могъ удобнѣе сообразить, какъ ему распорядиться, дѣвицъ свозили вмѣстѣ въ одинъ изъ большихъ домовъ, гдѣ имъ были, такъ сказать, художественныя смотрины, обратившіяся въ своего рода довольно изящное торжество. Дѣвицы съѣзжались въ сопровожденіи своихъ матерей, изъ которыхъ многія и сами тогда еще были довольно молоды и всѣ принадлежали къ тогдашнему большому свѣту. Два поколѣнія женщинъ, изъ которыхъ однѣ еще не отжили, а другія только начинали жить; роскош-

ные туалеты первыхъ и легкіе дѣвственные уборы вторыхъ; богатый залъ и таинственные боковые покои, гдѣ нарочно на этотъ случай привезенныя гардеробныя служанки производили, по требованіямъ художника, необходимыя перемѣны въ нарядахъ молодыхъ красавицъ, — все это придавало собранію самый живой и интересный характеръ. Подрумяненный, въ пышной куафюрѣ, Кипренскій распоряжался всѣмъ не безъ аффектаціи, и многія сановныя и важныя лица въ лентахъ и звѣздахъ искали у него чести попасть на эти смотрины. Кипренскій былъ скупъ на раздачу этихъ дозволеній, но графъ Функендорфъ, знавшій еще отца портретиста, крѣпостного человѣка Адама Швальбе, находился здѣсь въ числѣ избранныхъ.

Бабушка, разумѣется, тоже была на этихъ собраніяхъ съ дочерью и съ Ольгою Ѳедотовной, которая находилась въ гардеробныхъ комнатахъ. Результатомъ перваго же изъ этихъ съѣздовъ было то, что княгиня совсѣмъ противъ желанія попала въ очень большой кругъ знакомствъ, имѣвшихъ то необыкновенное начало, что здѣсь не родители знакомили дѣтей, а дѣти сводили и сближали своихъ родителей.

Благодаря всему этому, княгиня Варвара Никаноровна не успѣла оглянуться, какъ опять очутилась *въ свѣтѣ*. Свѣтъ, однако, какъ и можно было ожидать, бабушкѣ не показался: съ тѣхъ поръ какъ она его оставила, свѣтъ успѣлъ нѣсколько измѣниться и, вѣроятно, не совсѣмъ къ лучшему. По крайней мѣрѣ такъ казалось Варварѣ Никаноровнѣ. Княгинѣ, разумѣется, прежде всего не нравилось, что люди изъ общества ревниво особились отъ всего остального міра и старались какъ можно менѣе походить на русскихъ.

— Это дѣло самое глупое,—говорила княгиня: — черезъ этакое легкомысліе Нащокинъ при Алексѣѣ Михайловичѣ самъ своего сына съ толку сбилъ и Салтыковыхъ дѣти ополячились. Надо свой обычай уважать и подражать не всему, а только хорошему.

Не нравилась княгинѣ и тогдашняя воинственная заносчивость, рядомъ съ которой и даже неразлучно съ нею шло раболѣпство предъ Аракчеевымъ, не нравились ей и узкіе патріоты, и тогдашніе космополиты.

Не могли не занимать княгиню и явленія религіознаго

свойства, которыхъ тогда было не мало. Тогдашнее высшее русское общество не равнодушествовало къ религіознымъ вопросамъ и они подвергались разбору по большей части или подъ вліяніемъ французскаго вольтеріанизма, или подъ вѣяніемъ мистическихъ теорій и масонства. Обсужденіемъ самыхъ серьезныхъ вопросовъ, требовавшихъ глубины христіанскаго настроенія и преданности дѣлу, занимались люди самаго легкаго свѣтскаго воспитанія, и оттого неудивительно, что въ результатѣ изъ школы поклонниковъ Фернейскаго пустынника распространялся матеріализмъ, щеголявшій однѣми фразами, а наши франкъ-масоны во всемъ своемъ ученіи не видали ничего, кромѣ обрядовъ, изъ которыхъ устраивали свою «высшую религію», на что, какъ извѣстно, настоящее масонство вовсе не претендовало. Иныхъ отношеній къ религіи не понимали.

О вольтеріанцахъ бабушка не полагала никакого своего мнѣнія, потому что невѣрующіе, по ея понятіямъ, были люди, «у которыхъ смыслъ жизни потерянъ», но и масоновъ она не жаловала, съ той точки зрѣнія, чего-де они все секретничаютъ? Если они любовь къ ближнему имѣютъ, такъ это дѣло не запретное: вынь изъ кармана, подай да иди съ Богомъ своею дорогой, — вотъ было ея нехитрое правило.

Но всего болѣе не нравилось княгинѣ любопытство, съ которымъ мистики старались засматривать за завѣсы великихъ тайнъ: бабушка и не вѣрила, что они тамъ что-нибудь видятъ, и сердилась.

— Можно ли-де объ этомъ говорить? Что̀ тамъ отъ нашихъ глазъ спрятано, того не увидишь, да и не нужно: пока я въ этомъ мірѣ человѣкомъ живу, мнѣ дана заповѣдь какъ жить, а что̀ послѣ будетъ, то никому неизвѣстно. Одно полагаю, кто, человѣкомъ бывши, своего достоинства не сбережетъ, того хоть и ангеломъ сдѣлай, онъ и ангельское потеряетъ.

Былъ въ то время въ Петербургѣ еще одинъ кружокъ съ религіознымъ же настроеніемъ въ самомъ узкомъ смыслѣ: люди этого кружка не имѣли радѣній и не обнаруживали прозелитизма, а имѣли у себя «благодѣтельницу», къ которой ревновали всѣхъ. Благодѣтельница эта была старая дѣвица, графиня Антонида Петровна Хотѣтова, она доводилась Протозановымъ сродни, и бабушка ее знала и не

любила. Хотѣтова, набожность которой развилась подъ вліяніемъ одного тяжелаго семейнаго воспоминанія, любила казаться отчужденною отъ всѣхъ дѣлъ міра, въ которыхъ она, какъ говорили, ничего не понимаетъ. Она только ѣздила по монастырямъ, на которые и тратила свое, почти можно сказать, несмѣтное богатство. Ею было возстановлено множество обѣднѣвшихъ обителей; много мощей ея средствами были переложены изъ скромныхъ деревянныхъ гробницъ въ дорогія серебряныя раки и въ этомъ, кажется, и заключалась вся ея христіанская добродѣтель. Живому, дѣятельному христіанскому духу бабушки этотъ способъ благотворенія не казался наилучшимъ, тѣмъ болѣе, что, будучи сосѣдкою по имѣніямъ съ Хотѣтовою, княгиня знала, что хотѣтовскіе крестьяне находятся въ большомъ разореніи.

Бабушка находила, что «это ни съ чѣмъ не сообразно», и избѣгала встрѣчи съ этою своею родственницей.

— Богъ съ ней, — разсуждала она: — она, говорятъ, святая, а я сама знаю, что я грѣшная и нетерпѣливая, встрѣчусь, чего добраго, не вытерплю и про крестьянъ заговорю, потому что гробы серебрить, а живыхъ морить, — это безбожно.

Но графиня Антонида, долго ждавъ бабушкинаго визита, вдругъ возымѣла побужденіе смирить себя предъ невѣжливою родственницей до уничиженія. Она прислала къ бабушкѣ одну изъ своихъ адъютантшъ въ каретѣ съ просьбою отпустить къ ней для свиданія княжну Анастасію, или, если ей въ этомъ будетъ отказано, то назначить ей время, когда она сама можетъ пріѣхать повидаться съ племянницею.

Бабушка поняла соль этой выходки, въ которой, подъ видомъ смиренія, ей преподавался урокъ вѣжливости, она отослала карету назадъ и приказала сказать графинѣ, что сама привезетъ къ ней дочь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

На другой день это было исполнено: княжна съ матерью была у Хотѣтовой и визитъ обошелся благополучно, если не считать, что на ежечасныя повторенія Хотѣтовой княжнѣ совѣта «помнить Бога и молиться Ему», бабушка добавляла свои совѣты любить ближняго, быть готовымъ на помощь всякому требующему помощи, не гордиться, не чваниться,

не превозноситься въ благопріятныхъ обстоятельствахъ и не падать духомъ въ противныхъ.

— Безъ добрыхъ дѣлъ и молитва не пользуетъ.

— Мы здѣсь на землѣ путешественники,—внушала графиня:—и живемъ не для наслажденій, надо себя умѣть сдерживать, поститься.

— Да, — поддерживала бабушка: — умѣренность большое дѣло: всего и счастливъ только одинъ умѣренный, но надо не отъ мяса одного удерживаться. Это постъ для глазъ человѣческихъ, а души онъ не пользуетъ: лошади никогда мяса не ѣдятъ, а все какъ они скоты, то скотами и остаются; а надо во всемъ быть умѣренною и свою нетерпѣливость и другія страсти на сердцѣ своемъ приносить во всесожженіе Богу; а притомъ самое главное о другихъ помнить.

— О храмѣ Божіемъ... чтобы благолѣпіе духъ возбуждало; а то мужикъ, въ своей курной избѣ, онъ весь въ грязи тонетъ. Надо его хоть на одинъ часъ въ недѣлю отъ этого оторвать. Это наша обязанность.

— О людяхъ нуждающихся... да; это даже наша первая обязанность; Христосъ обѣщалъ не забыть чашу студеной воды, которую подадимъ, кому надо уста промочить. А Дмитрій Ростовскій на Женъ Мироносицъ всѣмъ вельможамъ прямо въ глаза сказалъ, что у насъ въ знатныхъ людяхъ не найти Христа, а бѣдному, за нуждою тяжкою, про Него совсѣмъ и вспомнить некогда. Надо бѣднымъ тяготы посбавить, а не гробы золотить, и не башни строить, тогда скорѣе начнется Христово царствіе.

— А нынче что же?—тихо и сухо замѣтила Хотѣтова.

— Нынче... что меня искушаешь?—проговорила бабушка, и, вдругъ махнувъ рукою, окончила:

— Намъ пора домой, Настя!

Графиня посмотрѣла на бабушку и замолчала.

Черезъ день Хотѣтова сама пріѣхала отдать Варварѣ Никаноровнѣ визитъ и попросила ее отпустить съ нею княжну къ какому-то схимнику.

Бабушка этому воспротивилась: она уважала людей съ высшимъ призваніемъ и сама ѣздила въ Оптину пустынь къ Макарію, котораго считала прозорливымъ, но для молодой дѣвушки она, вѣроятно, считала это рановременнымъ.

— Всему и всякой вещи есть свое время подъ солн-

цемъ,—сказала она:—благочестиво должно жить во всякой порѣ, но въ молодомъ вѣкѣ человѣку не все понятно, что̀ искушенная жизнью опытность знаетъ, а̀ потому съ этими вещами надо осторожно, да не горшее что̀ прилучится отъ неразумія.

По этому поводу произошелъ разговоръ, послѣ котораго Хотѣтова стала повсюду порицать бабушку за невѣріе. Предоставляю всякому судить, сколько справедливаго заключало въ себѣ это порицаніе, но оно было отнюдь не несправедливѣе другихъ порицаній, которымъ бабушка подверглась со стороны своихъ религіозныхъ воззрѣній: ея знакомые вольтерьянцы называли ее «попадьей» и «московскою просвирней», а ханжи съ ужасомъ шептали, что даже сомнительно: «вѣритъ ли она въ Бога».

И среди такихъ-то толковъ о самой княгинѣ возникалъ вопросъ: каково съ нею жить ея бѣдной дочери, молодой дѣвушкѣ, еще почти ребенку, воспитанному совсѣмъ въ иныхъ понятіяхъ?

Болѣе всѣхъ этимъ занималась Хотѣтова: ея это ближе всѣхъ касалось какъ родственницы и какъ истинной христіанки; она безпрестанно твердила:

— Я ничего не могу представить ужаснѣе положенія ребенка, котораго прямо изъ пріюта, полнаго страха Божія, отдаютъ ужаснымъ матерямъ въ родѣ княгини Варвары Никаноровны, у которой ни Бога, ни религіи и никакихъ правилъ... Я не знаю, какъ правительство на все это смотритъ, а по-моему, я бы не отпустила дочь жить съ княгинею Протозановою.

Противъ этого никто не возражалъ.

На княжну Анастасію начали смотрѣть съ сожалѣніемъ и выражать ей нѣжнѣйшую участливость, которая должна бы казаться ей обидною, если бъ она понимала ея смыслъ и значеніе.

Княжнѣ старались внушить, что она несчастна, и княжна наконецъ это поняла; но она никому не жаловалась на мать: она только нѣжилась, когда о ней соболѣзновали.

Бабушка, при всей своей проницательности, этого не замѣчала: она была такъ честна, что не могла подумать, чтобы кому-нибудь могла придти въ голову сатанинская мысль вооружать дитя противъ матери. И изъ-за чего, и для чего все это дѣлалось? Кажется, единственно изъ-за того, что

въ нашемъ обществѣ всѣмъ тяжело переносить присутствіе лица съ умомъ яснымъ и съ характеромъ твердымъ и открытымъ.

Между тѣмъ громадная разница въ воспитаніи и взглядахъ матери и дочери сказывалась на каждомъ шагу: княжна, по самой молодости своихъ лѣтъ, оставалась совершенно безучастною ко всему, что̀ занимало ея мать, и вовсе ее не понимала. Даже болѣе: поскольку княжна сознавала разницу между своею матерью и матерями другихъ своихъ сверстницъ и подругъ, то всѣ эти сравненія выходили не въ пользу княгини. До строгости чинный домъ бабушки, ея всегда умная и обстоятельная рѣчь, ея всегдашняя требовательность отъ человѣка отвѣтственности за всѣ слова и поступки и готовность къ отвѣту за всякое свое дѣйствіе, дѣлали общество матери для княжны тяжелымъ и скучнымъ.

Начавъ замѣчать, что точно такъ же всѣмъ этимъ тяготятся и другіе, молоденькая княжна мало-по-малу утверждалась въ мысли, что она права, потому что ея мнѣніе о матери находится въ согласіи со всеобщимъ мнѣніемъ о княгинѣ.

Въ свѣтѣ, однако, знакомствомъ бабушки дорожили: извѣстно, что свѣтъ въ этомъ отношеніи похожъ на суетную женщину, которую чѣмъ меньше любятъ, тѣмъ легче ей нравятся. Въ свѣтѣ знали, что княгиня ни у кого ничего не искала и потому тамъ ее искали и собирались ѣсть за ея столами и потомъ сплетничать о ней, какъ о чудакѣ, о женщинѣ рѣзкой, безпокойной, и, пожалуй, даже немножко *опасной*. Несправедливо было бы сказать, что всѣ эти толки не имѣли никакого основанія: княгиня въ Петербургѣ была все та же,—она продолжала и здѣсь имѣть свои мнѣнія, далеко не согласныя съ мнѣніями большинства, не по однимъ вопросамъ религіознаго свойства. Бабушка, какъ я сказала еще въ самомъ началѣ моей хроники, очень уважала свободу сужденій, ибо находила, что «въ затиши деревья слабокоренны».

— Нельзя-де, чтобы всѣмъ одинъ порядокъ нравился: черезъ многіе умы свѣтъ идетъ,—говорила она.

Но, любя во всемъ основательность, княгиня не уважала мечтательныхъ утопій и не могла оставлять безъ возраженій легкомысленности, съ какою многіе тогда судили объ

устройствѣ общества подъ вліяніемъ взглядовъ, вычитанныхъ изъ нѣсколькихъ иностранныхъ книжекъ. Она, когда доводилось, слушала ихъ, но неохотно, и обыкновенно спѣшила ставить вопросъ на практическую почву.

— Что-де вы подъ симъ заглавіемъ прописать желаете? сладкаго медку на остромъ ножѣ, либо еще что особое?

И когда ей разъясняли идеи политическихъ комбинацій, она качала головою и отвѣчала, что, по ея мысли, все это «на кота широко, а на собаку узко».

— Мой згадъ,—говорила она,—намъ прежде всего надо себя поочистить, умы просвѣтить знаніемъ, а сердца смягчать милосердіемъ: надо народъ освободить отъ ранъ и поношенія; иначе онъ будетъ не съ вами, а вы безъ него всѣ, что трости вѣтромъ колеблемыя, къ землѣ падете.

И широкіе планы народниковъ она тоже не ласкала.

— Все не то, все не то,—говорила она:—не маните добрый народъ медомъ на остромъ ножѣ, — ему комплименты лишнее. Проще все надо: дайте ему наѣсться, въ банѣ попариться да не голому на морозъ выйти. О костяхъ, да о кожѣ его позаботитесь, а тогда онъ самъ за умъ возьмется.

Такія рѣчи княгини, разумѣется, не нравились тогдашнимъ любителямъ; но не болѣе имѣла она согласія и съ тогдашними консерваторами: въ этихъ кружкахъ тогда было большое киченіе дворянскими заслугами отечеству во время Наполеонова нашествія. Бабушка же находила, что дворянамъ этимъ никакъ не пристало кичиться.

— Свое-де дѣло сдѣлали и больше ничего; тогда, вѣдь, *всѣ* жертвовали—одни купцы наживались, а мужики больше всѣхъ пострадали.

Многихъ тогда щекотало чрезмѣрное увеличеніе дворянства, которое легко пріобрѣталося самыми небольшими чинами.

— Разночинецъ въ гору лѣзетъ,—говорили старые дворяне, указывая на нѣкоторыхъ людей новаго дворянства, пріобрѣвшихъ въ это время силу и значеніе.

— Что же дѣлать, — отвѣчала княгиня: — въ этомъ вы сами виноваты: плохо учите своихъ дѣтей. Хорошенько учите, чтобъ они не родомъ славились, а сами родъ прославляли, такъ разночинецъ васъ не одолѣетъ, а не то одолѣетъ.

И при этомъ, зная, что у всѣхъ, такимъ образомъ раз-

суждавшихъ на умѣ былъ павшій Сперанскій, смѣло добавляла:

— А вѣдь, и разночинцы не всѣ плохи: я напримѣръ Михайлѣ Михайловичу Сперанскому, хоть онъ изъ семинаристовъ и теперь не въ милости, кланяюсь, потому что онъ того достоинъ.

У Сперанскаго тогда было много враговъ и упоминаніе его имени съ такимъ почтеніемъ не только не могло быть пріятно, но было и не безвредно для того, кто его такъ понималъ; но для бабушки это было все равно: она привыкла къ независимости своего положенія и своихъ сужденій. Уважая родъ какъ преемство извѣстныхъ добрыхъ преданій, которыя, по ея мнѣнію, должны были служить для потомковъ побужденіемъ беречь и по мѣрѣ силъ увеличивать добрую славу предковъ, княгиня отнюдь не была почитательницею породы и даже довольно вульгарно выражалась, что «плохого князя и телята лижутъ; горе тому, у кого имя важнѣе дѣлъ его».

Въ нѣкоторыхъ тогдашнихъ спесивыхъ кружкахъ были возмущены неровнымъ бракомъ графа Николая Петровича Шереметева и весьма часто позволяли себѣ злословить графиню Прасковью Ивановну, которую бабушка знала съ отличной стороны и любила со всею горячностію своей благородной натуры.

Дѣло заключалось въ томъ, что графъ Николай Петровичъ Шереметевъ, въ 1801 году, женился на своей крѣпостной дѣвушкѣ Прасковьѣ Ивановнѣ Кузнецовой, прозвище которой передѣлали въ «Ковалевскую», и говорили, будто она происходила изъ польской шляхты и была записана въ крѣпость Шереметевыхъ незаконно. Къ этому обстоятельству отъ нечего дѣлать не переставали возвращаться при каждомъ удобномъ случаѣ и достойную уваженія графиню въ глаза чествовали, а за глаза звали «Царашкою».

Бабушка этого рѣшительно не могла переносить.

— Да,—говорила она:—что графиня Прасковья Ивановна польская шляхтянка и незаконно будто была въ крѣпость Шереметевыхъ записана, это неправда. Это вотъ съ женою Доримедонта Рогожина такъ было, а Прасковья Ивановна была настоящая крестьянка и про нее и пѣсенка сложена: «вечеръ поздно изъ лѣсочка я коровъ домой гнала», а что графиня Прасковья, помимо своей неоцѣненной кра-

соты, умна, добра и благородна душою, а черезъ то всякаго уваженія достойна — это правда. По ея мысли графомъ страннопріимный домъ въ Москвѣ выстроился и добра людямъ много дѣлается. Это, воля ваша, лучше, чѣмъ породой кичиться, да joli — мордиться и все время съ визитами ѣздить... Нѣтъ, дай Богъ намъ побольше женщинъ съ такимъ сердцемъ, какъ Прасковья Ивановна, «изъ лѣсочка».

Княгиня умѣла держаться скромно и благородно даже по отношенію къ падшимъ врагамъ своего рода: въ то же самое время, когда въ Петербургѣ злословили графиню Прасковью Ивановну Шереметеву, бывшій французскій посланникъ при русскомъ дворѣ, графъ Нельи, описалъ за границею князя Платона Зубова, къ которому свекоръ княгини, князь Яковъ Протозановъ, «въ домъ не ѣздилъ, а кланялся только для courtoisie». Графъ Нельи поносилъ Зубова и прямо писалъ о немъ, что «онъ богатъ какъ Крезъ, а надмененъ какъ индѣйскій пѣтухъ, но не стыдился жить во дворцѣ на всемъ на готовомъ и такъ пресыщался, что столъ его, да Салтыкова съ Браницкимъ, обходился казнѣ въ день четыреста рублей», что, по тогдашней цѣнѣ денегъ, разумѣется, была сумма огромная.

Бабушка, не вынесшая изъ всѣхъ преданій своей семьи никакого особаго уваженія къ князю Платону, гнушалась, однако, вторить этому памфлету, а когда къ ней съ нимъ приставали, то она лѣниво, какъ бы нехотя, отвѣчала:

— Ну да; я знаю... Какъ же... Князь Платонъ... въ большой силѣ былъ... Знаю: онъ былъ женатъ на Ѳеклѣ Игнатьевнѣ, только у нихъ дѣтей не было: одна дѣвчоночка было родилась, да поганенькая какая-то была и умерла во младенчествѣ; а больше такъ и не было... А Нельи... я про него тоже слышала: ужасный былъ подлиза и предъ Платономъ пресмыкался. Я его книги читать не хочу: все вретъ, чай... изъ зависти, что тотъ вкусно ѣлъ.

Такъ противны были ея благородному характеру всякія заглазныя злорѣчія о людяхъ, которыхъ когда-то боялись и пресмыкались предъ ними тѣ самые, что теперь надъ ними издѣвались, подплясывая подъ дудку развязнаго иностранца.

Понятно, что во всѣхъ такихъ рѣчахъ и мнѣніяхъ княгини было много непріятнаго для общества, которое считало всякое несогласное съ нимъ мнѣніе за дерзость.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Говоря объ отношеніяхъ моей бабушки къ обществу, я должна упомянуть еще объ одномъ свѣтскомъ кружкѣ, едва ли не самомъ обширномъ и самомъ для нея непріятномъ: это были проживавшіе въ столицѣ праздные люди, не имѣвшіе никакихъ другихъ задачъ, кромѣ того, чтобы принадлежать къ свѣту. Эти люди принадлежали къ новому, а иногда и къ старому дворянству, но не къ *знати*: знать имъ въ прежнее время покровительствовала, зато на равную съ собою ногу не ставила. Теперь это начало мѣшаться: въ обществѣ помимо знати первой руки образовалось новое наслоеніе, появленію и чрезвычайно быстрому размноженію котораго способствовали двѣ причины: открытіе кредитныхъ учрежденій, гдѣ дворяне получили возможность закладывать свои имѣнія, и сокращеніе сроковъ на асессорскій чинъ, дававшій право на дворянство. Призанявъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ денегъ подъ залогъ своихъ деревнишекъ и пріѣхавъ на зиму въ городъ, эти «аристократы» второй руки сами, впрочемъ, чувствовали, что они что-то не настоящее, и увивались предъ остатками *старой знати*. Старая же знать ихъ, разумѣется, не уважала и потихоньку отталкивала, но именно такъ потихоньку, чтобы тѣ все-таки лѣзли: это было нужно для чванства. Съ тѣмъ, какъ, по замѣчанію писавшаго объ упадкѣ нравовъ въ Россіи князя Щербатова, «у вельможъ отъялась смѣлость изъяснять свои мысли, они учинялись не совѣтниками государевыми, а *дакальщиками* любимцевъ». Эти люди, «имена которыхъ были славнѣе ихъ дѣлъ», любили уже и сами *дакальщиковъ* и охотно окружали себя *людьми искательными*.

Это теперь совсѣмъ почти позабытое слово тогда было въ большомъ ходу: «искательность», доходившая до самаго униженнаго пресмыкательства, ставилась въ заслугу человѣку и нерѣдко открывала ему дорогу къ почестямъ. Новая аристократія въ этомъ преуспѣвала, старая знать принимала эти знаки раболѣпства. Тѣмъ и другимъ иного нечего было желать: ратнаго поля не было, а дома уже не сидѣлось. Въ деревняхъ оставались отслужившіе израненные воины двѣнадцатаго года или такъ-называвшіеся тогда «грузинскіе асессоры», то-есть новые дворяне, получавшіе

въ Грузіи асессорскіе чины по сокращенному сроку и пріобрѣтавшіе затѣмъ мелкопомѣстныя имѣньица. Новыхъ большихъ дворянскихъ маетностей не возникало. Жалованье населенными имѣніями прекратилось еще въ 1801 году. Екатериною было уже почти все роздано и ея внуку нечего было раздавать со щедростью своей бабки. Помѣщики средней руки охотно должали и жили не по средствамъ. Непривычные къ расплатамъ, эти новые *аристократы*, которыхъ тогда за глаза называли «должниками», брали взаймы, мало думая, или, лучше сказать, совсѣмъ не думая объ отдачѣ. На первый взглядъ это казалось очень льготно, и число дворянъ, получившихъ такимъ образомъ средства жить болѣе или менѣе открыто, быстро увеличилось, но это была состоятельность самая обманчивая. Вслѣдъ за симъ, непремѣнно можно было предвидѣть близкія разоренія: такъ оно и пошло, обѣднявшіе дворяне шли въ приказные; состоятельные приказные опять поднимались въ дворяне: богатые сыновья прасоловъ и откупщиковъ ѣздили куролесить въ Грузію, гдѣ дебоширили во всю ширину русской натуры и вывозили себѣ оттуда асессорство, дававшее право на дворянство. Россійское дворянство въ одно и то же время и росло, и цвѣло, собиралось колоситься и... уже вяло. Столы и вечера утрачивали свой прежній нѣсколько окаменѣлый, тяжелый характеръ; собранія становились оживленнѣе, но едва ли достойнѣе: завелось «подшучиваніе», котораго любимыми жертвами были нѣкоторые изъ попавшихъ въ аристократію прибыльщиковъ. Поистинѣ трудно вѣрить тому, что эти люди иногда переносили единственно за то, чтобъ ихъ пускали въ дома *знати*.

Тогда въ свѣтѣ жили не по-нынѣшнему: появившіеся впослѣдствіи времени *козеры* тогда или вовсе не были из вѣстны, или ихъ попросту называли «болтунами» и держали въ презрѣніи въ родѣ извѣстнаго героя Грибоѣдовской комедіи Загорѣцкаго. Тогда, собравшись въ домъ или танцовали до упаду, или занимались такъ-называемыми «играми», изъ которыхъ многія требовали отъ участниковъ и ума, и нѣкоторой образованности.

Прибыльщики обыкновенно были злополучными жертвами этихъ игръ: одинъ изъ нихъ, напримѣръ, никакъ не могъ сказать «три правды и три неправды»; другой, обязанный указать три вещи царства растительнаго и три царства

животнаго, относилъ къ царству *растительному* свои волосы, потому что они растутъ и т. п.

Надъ ними хохотали, но они обнаруживали большую терпѣливость и переносили все, лишь бы только имѣть право хвастать, что принадлежатъ къ свѣту. Я слышала отъ бабушки бездну анекдотовъ этого рода, въ которыхъ съ обстоятельностію упоминались имена «прибыльщиковъ», вылѣзшихъ въ дворяне, благодаря «компанейству» князей Куракина, Юрія Долгорукаго, Сергѣя Гагарина.

Такъ, бабушка сказывала мнѣ, что нѣкто изъ семьи, кажется, Походяшевыхъ, стыдясь своего происхожденія, упросилъ одного шалуна (которому давалъ взаймы деньги) сочинить ему исторію о его будто бы коренномъ дворянскомъ происхожденіи. Тотъ взялся за это дѣло и научилъ прибыльщика приписывать своей роднѣ извѣстное «жалованье» Дмитрія Тимоѳеевича Трубецкого отъ царя Михаила «за многія службы и за радѣнія, и за промыслъ, и за правду, и за кровь». Прибыльщику это понравилось, но показалось мало, и онъ самъ присочинилъ себѣ еще, что будто царевна Софія отрубила его предку голову за вѣрность Петру Великому, и что казненный взялъ будто свою отрубленную голову, поцѣловалъ ее и сказалъ: «отнесите ее моему законному государю».

Одинъ изъ такихъ, по фамиліи Кандолинцевъ, не пропускалъ ни одного случая втираться въ свѣтскіе дома и рѣшился для этого, какъ говорили, «на героическія подлости». Благодаря своимъ компанейщикамъ, онъ однажды цѣною немалыхъ жертвъ добился того, что его пригласили участвовать въ любительскомъ спектаклѣ съ настоящими свѣтскими людьми; но въ самомъ этомъ великодушіи крылась новая обида: Кандолинцеву дали самую ничтожную, выходную роль, лакея безъ словъ.

Это, конечно, было не очень деликатно, однако, искательный свѣтскій неофитъ отъ своей роли не уклонился и показывалъ, что онъ этимъ не обижается. Онъ только со всѣми зашучивалъ, говоря, что онъ не знаетъ, какъ ему держать себя, чтобы болѣе походить на лакея?

— Ахъ, вы всего менѣе затрудняйтесь этимъ,—отвѣчалъ ему кто-то, кому онъ надоѣлъ съ своею игривостью: — держитесь какъ вы есть и вы будете совершенно то, что должны представить.

въ Грузіи асессорскіе чины по сокращенному сроку и пріобрѣтавшіе затѣмъ мелкопомѣстныя имѣньица. Новыхъ большихъ дворянскихъ маетностей не возникало. Жалованье населенными имѣніями прекратилось еще въ 1801 году. Екатериною было уже почти все роздано и ея внуку нечего было раздавать со щедростью своей бабки. Помѣщики средней руки охотно должали и жили не по средствамъ. Непривычные къ расплатамъ, эти новые *аристократы*, которыхъ тогда за глаза называли «должниками», брали взаймы, мало думая, или, лучше сказать, совсѣмъ не думая объ отдачѣ. На первый взглядъ это казалось очень льготно, и число дворянъ, получившихъ такимъ образомъ средства жить болѣе или менѣе открыто, быстро увеличилось, но это была состоятельность самая обманчивая. Вслѣдъ за симъ, непремѣнно можно было предвидѣть близкія разоренія: такъ оно и пошло, обѣднявшіе дворяне шли въ приказные; состоятельные приказные опять поднимались въ дворяне: богатые сыновья прасоловъ и откупщиковъ ѣздили куролесить въ Грузію, гдѣ дебоширили во всю ширину русской натуры и вывозили себѣ оттуда асессорство, дававшее право на дворянство. Россійское дворянство въ одно и то же время и росло, и цвѣло, собиралось колоситься и... уже вяло. Столы и вечера утрачивали свой прежній нѣсколько окаменѣлый, тяжелый характеръ; собранія становились оживленнѣе, но едва ли достойнѣе: завелось «подшучиваніе», котораго любимыми жертвами были нѣкоторые изъ попавшихъ въ аристократію прибыльщиковъ. Поистинѣ трудно вѣрить тому, что эти люди иногда переносили единственно за то, чтобъ ихъ пускали въ дома *знати*.

Тогда въ свѣтѣ жили не по-нынѣшнему: появившіеся впослѣдствіи времени *козеры* тогда или вовсе не были извѣстны, или ихъ попросту называли «болтунами» и держали въ презрѣніи въ родѣ извѣстнаго героя Грибоѣдовской комедіи Загорѣцкаго. Тогда, собравшись въ домъ или танцовали до упаду, или занимались такъ-называемыми «играми», изъ которыхъ многія требовали отъ участниковъ и ума, и нѣкоторой образованности.

Прибыльщики обыкновенно были злополучными жертвами этихъ игръ: одинъ изъ нихъ, напримѣръ, никакъ не могъ сказать «три правды и три неправды»; другой, обязанный указать три вещи царства растительнаго и три царства

животнаго, относилъ къ царству *растительному* свои волосы, потому что они растутъ и т. п.

Надъ ними хохотали, но они обнаруживали большую терпѣливость и переносили все, лишь бы только имѣть право хвастать, что принадлежатъ къ свѣту. Я слышала отъ бабушки бездну анекдотовъ этого рода, въ которыхъ съ обстоятельностію упоминались имена «прибыльщиковъ», вылѣзшихъ въ дворяне, благодаря «компанейству» князей Куракина, Юрія Долгорукаго, Сергѣя Гагарина.

Такъ, бабушка сказывала мнѣ, что нѣкто изъ семьи, кажется, Походяшевыхъ, стыдясь своего происхожденія, упросилъ одного шалуна (которому давалъ взаймы деньги) сочинить ему исторію о его будто бы коренномъ дворянскомъ происхожденіи. Тотъ взялся за это дѣло и научилъ прибыльщика приписывать своей роднѣ извѣстное «жалованье» Дмитрія Тимоѳеевича Трубецкого отъ царя Михаила «за многія службы и за радѣнія, и за промыслъ, и за правду, и за кровь». Прибыльщику это понравилось, но показалось мало, и онъ самъ присочинилъ себѣ еще, что будто царевна Софія отрубила его предку голову за вѣрность Петру Великому, и что казненный взялъ будто свою отрубленную голову, поцѣловалъ ее и сказалъ: «отнесите ее моему законному государю».

Одинъ изъ такихъ, по фамиліи Кандолинцевъ, не пропускалъ ни одного случая втираться въ свѣтскіе дома и рѣшился для этого, какъ говорили, «на героическія подлости». Благодаря своимъ компанейщикамъ, онъ однажды цѣною немалыхъ жертвъ добился того, что его пригласили участвовать въ любительскомъ спектаклѣ съ настоящими свѣтскими людьми; но въ самомъ этомъ великодушіи крылась новая обида: Кандолинцеву дали самую ничтожную, выходную роль, лакея безъ словъ.

Это, конечно, было не очень деликатно, однако, искательный свѣтскій неофитъ отъ своей роли не уклонился и показывалъ, что онъ этимъ не обижается. Онъ только со всѣми зашучивалъ, говоря, что онъ не знаетъ, какъ ему держать себя, чтобы болѣе походить на лакея?

— Ахъ, вы всего менѣе затрудняйтесь этимъ,—отвѣчалъ ему кто-то, кому онъ надоѣлъ съ своею игривостью: — держитесь какъ вы есть и вы будете совершенно то, что должны представить.

Прибыльщикъ обидѣлся и отказался отъ пьесы. Тогда кто-то предложилъ ему роль въ пьесѣ, которая шла въ тотъ же спектакль на французскомъ языкѣ.

— Нѣтъ;—отвѣчалъ обиженный:—я не хочу: я по-французски очень хорошо знаю, но только эти *ле, ля, ли* предъ словами не люблю.

Съ тѣхъ поръ онъ такъ и прозывался «Кандолинцевъ ле, ля, ли».

Но забавнѣе всѣхъ я помню разсказы про какого-то Хлопова: это былъ человѣкъ надменный, сухой, очень недалекій, но нахватавшійся вершковъ. Гордый своими удачами, прибыльщикъ этотъ ничего не относилъ къ счастію, а все приписывалъ своимъ знаніямъ и сообразительности, которыми щеголялъ до того, что почти ни на одинъ вопросъ, какъ бы онъ простъ ни былъ, не отвѣчалъ сразу, а говорилъ: «Тутъ надо взяться за карандашъ», и сейчасъ же, вытащивъ бумажникъ и карандашъ, онъ и въ самомъ дѣлѣ садился что-то соображать и высчитывать. Шалуны подмѣтили эту слабость Хлопова и принялись надъ нимъ подшучивать. Для него за играми нарочно сочинили такіе вопросы: «если судно, имѣя такую-то длину и вмѣщая столько-то тоннъ, сидитъ на такой-то глубинѣ, то сколько лѣтъ долженъ имѣть его капитанъ?» Хлоповъ восклицалъ: «тутъ надо взяться за карандашъ» и бѣжалъ въ уголъ дѣлать свои вычисленія. Въ другой разъ, подсунувъ ему фантъ, спрашивали его: «если лошадь подкована на столько-то подковъ, по столько-то гвоздей въ каждой, то сколько этой лошади лѣтъ?» и опять повторялась та же исторія. Доходило до того, что когда его разъ спросили: если комедіантъ проглотитъ горящую свѣчу—съ огнемъ, или безъ огня, она дойдетъ до его желудка? то Хлоповъ и въ этомъ случаѣ обратился къ своему карандашу.

Человѣкъ этотъ былъ типъ тогдашняго честолюбиваго прибыльщика, пробивавшаго себѣ ходъ въ *люди*; онъ былъ смѣлъ до дерзости и не пасовалъ ни предъ чѣмъ, но зато и получалъ щелчки ужасные.

Въ то время, когда къ нему уже кое-кто ѣздилъ (больше затѣмъ, чтобы занимать деньги) и его кое-гдѣ принимали, одинъ шалунъ, участвуя въ игрѣ, условіями которой требовалось давать утвердительный отвѣтъ на всякій вопросъ, былъ спрошенъ: знаетъ ли онъ, *гдѣ конецъ свѣта*?

— Знаю,—отвѣчалъ тотъ:—это у хлоповскаго порога.

Надъ Хлоповымъ шутила даже сама судьба, сыгравшая съ нимъ одну очень злую шутку въ передней извѣстнаго «послѣдняго могиканина» старой дворянской Москвы, князя Г—цына.

Князь Г—цынъ, при отличавшей его прелестной добротѣ, не легко открывалъ двери своего дома для кого попало и, ни въ комъ не нуждаясь, сторонился не только отъ «прибыльщиковъ», но даже и отъ ихъ «компанейщиковъ». Проводивъ иного изъ иныхъ Рюриковичей, онъ съ неизмѣнявшею ему серьезною важностію иногда хлопалъ три раза своими маленькими бѣлыми ладошками и приказывалъ явившемуся на этотъ зовъ слугѣ «покурить въ комнатахъ».

— Чортъ знаетъ,—обращался онъ съ гримасою къ кому-нибудь по-французски:—у меня прегадкій носъ, — все ему кажется, будто взятками пахнетъ.

Однимъ словомъ, попасть къ этому человѣку было не легко; но чѣмъ труднѣе Хлопову было проникнуть въ домъ князя, тѣмъ онъ упорнѣе этого добивался, и, наконецъ, схватился за одинъ случай, который ему показался благопріятнымъ. Князь былъ очень озабоченъ какимъ-то общественнымъ дѣломъ, представлявшимъ почему-то неодолимыя трудности. Хлоповъ нашелъ средство принести этому дѣлу пользу и, встрѣтивъ гдѣ-то князя Г., сообщилъ ему свой планъ и просилъ позволенія пріѣхать къ нему въ домъ, съ тѣмъ, чтобы развить ему свою мысль подробнѣе.

Въ планѣ этомъ, вѣроятно, заключалось что-нибудь дѣльное (такъ какъ Хлоповъ въ дѣловыхъ отношеніяхъ былъ дальновиднѣе, чѣмъ въ свѣтскихъ), и князь, поблагодаривъ его, назначилъ ему время, когда готовъ былъ его принять, но, возвратясь домой, по своей анекдотической разсѣянности, позабылъ сказать объ этомъ своему камердинеру, а тотъ въ свою очередь не отдалъ нужныхъ распоряженій нижней прислугѣ.

И вотъ, когда Хлоповъ въ урочный часъ пріѣхалъ къ князю съ полною увѣренностью, что его сейчасъ примутъ, швейцаръ объявилъ ему, что князь хотя и дома, но никого не велѣлъ принимать.

Хлоповъ счелъ это за хорошій знакъ; ему показалось, что князь именно потому и велѣлъ не принимать другихъ, что хочетъ на свободѣ поговорить *съ нимъ*.

— Такъ, братецъ, такъ,—заговорилъ онъ:—прекрасно: я

такъ и зналъ, что князь меня ждетъ. Доложи же, любезный, скорѣе его сіятельству, что пріѣхалъ Хлоповъ... Понимаешь: Хло-по-о-въ... Дмитрій Ивановичъ Хлопо-овъ!

Но швейцаръ отказался, сказавъ, что ему теперь рѣшительно ни о комъ не велѣно докладывать.

— Ага! прекрасно, братецъ, прекрасно, я вижу ты очень аккуратный человѣкъ: ты думаешь, что я кто-нибудь другой, а я тотъ самъ и есть, кого князь ждетъ: я Хлоповъ! Ты вспомни фамилію... она совсѣмъ не мудреная: Хлоповъ. Понимаешь: *Хлоповъ*!

— Понимаю-съ.

— Да; фамилія довольно простая... Но только ты ее впередъ пожалуйста не позабывай,—договорилъ онъ, доставая швейцару десятирублевую, и тотъ, поблагодаривъ его за подарокъ, осчастливилъ его слѣдующимъ отвѣтомъ:

— Помилуйте, какъ мнѣ эту фамилію забыть: я самъ Хлоповъ-съ, но только о васъ доложить не смѣю.

Случайно встрѣтившіеся однофамильцы разстались оба другъ другомъ недовольные, и Хлоповъ аристократъ жаловался, что ему нарочно подставили швейцара Хлопова, чтобы надъ нимъ посмѣяться. Жалоба эта дошла до князя Г., который, посмѣявшись надъ странною случайностью, поѣхалъ самъ извиняться предъ Хлоповымъ за свою разсѣянность. Такимъ образомъ тотъ достигъ болѣе чѣмъ желалъ и былъ счастливъ безъ мѣры.

Понятно, что княгиня Варвара Никаноровна, наблюдая этого новаго сорта русскихъ аристократовъ, не проникалась къ нимъ уваженіемъ и не скрывала своего презрѣнія къ ихъ пустотѣ, низкопоклонствамъ и пресмыкательствамъ.

Изо всего тогдашняго столичнаго общества княгиня находила для себя пріятнѣе другихъ только трехъ человѣкъ, изъ которыхъ двое жили нелюдимыми, а въ третьемъ она очень обманывалась. Первыхъ двухъ я пока еще не буду называть, а третьяго отрекомендую, какъ лицо намъ уже знакомое: это былъ графъ Василій Александровичъ Функендорфъ, съ которымъ Донкихотъ Рогожинъ имѣлъ оригинальное столкновеніе, описанное въ первой части моей хроники.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Графъ, по возвращеніи въ Петербургъ, не стѣснялся разсказанною мною исторіей съ Рогожинымъ; онъ, повидимому,

считалъ ее слишкомъ ничтожною и дѣлалъ видъ, будто вовсе позабылъ о ней. Какъ только онъ узналъ о пріѣздѣ княгини въ Петербургъ, онъ одинъ изъ первыхъ сдѣлалъ ей продолжительный визитъ, причемъ былъ необыкновенно внимателенъ къ княгинѣ и даже освѣдомился не только о дѣтяхъ, но и о Донкихотѣ.

Бабушкѣ это понравилось.

— Что же?—разсуждала она,—вѣрно я въ графѣ немножко ошибалась: онъ, кажется, человѣкъ съ хорошимъ о себѣ понятіемъ: ни самъ не шутствуетъ и другихъ въ шуты не наряжаетъ. Это мнѣ нравится.

Графъ началъ повторять свои визиты чаще, а потомъ мало-по-малу обратилъ ихъ въ дружескія посѣщенія запросто: княгинѣ это еще болѣе нравилось. Любя въ сношеніяхъ съ людьми простоту, она находила удовольствіе бесѣдовать съ графомъ, который былъ толковитъ, опредѣлителенъ, не страдалъ ни мистицизмомъ, ни матеріализмомъ, и держалъ себя съ достоинствомъ.

Княгиня и графъ во многомъ могли другъ другу сочувствовать. И она, и онъ предпочитали словамъ дѣло, и она, и онъ видѣли, что русское общество дурно усвоиваетъ просвѣщеніе. Разница была въ томъ, что княгиню это глубоко огорчало, а графъ смотрѣлъ на все это какъ чужой человѣкъ, какъ наблюдатель, спокойно, а можетъ-быть даже и со злорадствомъ, которое, разумѣется, скрывалъ отъ княгини.

Какой истый остзеецъ, и потому настоящій, такъ сказать *прирожденный* аристократъ, графъ и въ самомъ дѣлѣ могъ гордиться тѣмъ, что его дворянство не идетъ разгильдяйскою походкой дворянства русскаго, походкою, которая обличала уже все его безсиліе въ ту пору, когда оно, только что исполнивъ славное дѣло обороны отечества, имѣло, можетъ-быть, самое удобное время, чтобъ обдумать свое будущее и идти къ цѣлямъ своего призванія. Вмѣсто этого оно занималось вольтеріанизмомъ, мистицизмомъ, госпожею Крюднеръ, или еще того хуже, — лѣзло изъ кожи, чтобы слыть *свѣтомъ*. Графъ сочувственно слушалъ, когда бабушка, вытягивая впередъ руки, какъ бы отстраняла отъ себя какое-то безобразное явленіе и говорила:

— Какая густая толпа людей и съ громкими именами, и всѣ безъ громкихъ дѣлъ, и еще слава Богу, что ихъ по-

одаль отъ дѣлъ держать. Окромя какъ по гостинымъ эполетами трясти да шпорами звякать, ни къ чему неспособны... За неволю чужихъ возьмешь, когда свои къ ставцу лицомъ сѣсть не умѣютъ!

Больше этого графу уже никто не могъ сказать пріятнаго: онъ таялъ отъ словъ княгини, и въ то время, когда она сидѣла предъ нимъ и молча думала: какъ ей быть съ своими дѣтьми, чтобъ они, выросши, умѣли не только эполетами трясти и визиты дѣлать, а могли бы и къ ставцу лицомъ сѣсть, графъ былъ увѣренъ, что графиня проводитъ мысленную параллель между имъ и тѣми, которые юродствовали да разсказывали другъ про друга шутовскія вѣсти.

Графу казалось, что теперь онъ имѣлъ право считать княгиню сильно склонною къ самымъ живымъ въ его пользу чувствамъ. Какъ человѣкъ солидный, имѣвшій дѣло не съ дѣвочкою, а съ женщиною, которой было подъ сорокъ, онъ не торопилъ ее болѣе ясными признаніями: онъ былъ увѣренъ, что все это непремѣнно придетъ въ свое время, когда княгиня *поустроится съ дочерью.*

Графъ, дѣйствительно, не ошибался въ томъ, что одною изъ важнѣйшихъ причинъ раздумья княгини была ея дочь.

Бабушкѣ очень рано стали приходить въ голову мысли, что самое лучшее и для нея, и для княжны, и для молодыхъ князьковъ, было бы то, если бы княжна Анастасія не оставалась долго въ дѣвушкахъ. Ее иначе нельзя было выдать замужъ, какъ за человѣка подходящаго ей воспитанія, а такіе люди въ большомъ выборѣ были только въ Петербургѣ. Понимая дочь, княгиня даже и не претендовала на то, чтобъ имѣть зятя по своимъ мыслямъ, и мирилась съ тѣмъ, «лишь бы онъ хоть жену сдѣлалъ счастливою». Княгиня уже давно составляла планы какъ бы она щедро выдѣлила дочь при замужествѣ и, устроивъ ее, тотчасъ же возвратилась бы съ сыновьями къ себѣ въ Протозаново. Тогда оставалось бы только выбрать мальчикамъ хорошаго наставника и посвятить всю жизнь тому, чтобы воспитывать ихъ какъ можно лучше и серьезнѣе. Въ деревнѣ княгиня надѣялась уберечь сыновей отъ свѣтской суеты и сохранить умъ ихъ цѣлымъ и здравымъ, способнымъ постигать дѣйствительно высокое въ жизни и бѣгать всего низкаго, разслабляющаго душу. Каждый разъ, какъ княгиня доду-

ывалась до этой мысли; она погружалась въ такую сосредоточенность, что графъ не разъ вставалъ и, не прерывая этихъ мечтаній, молча подходилъ къ рукѣ княгини и уѣзжалъ. Княгиня его не останавливала; отвѣчая на его поцѣлуй въ руку поцѣлуемъ въ его щеку, она только всегда тепло и искренно пожимала его руку, дескать: «не извиняюсь—мы свои».

Всѣ эти короткости, исходившія единственно изъ бабушкинаго прямодушія и простоты, окончательно убѣждали графа, что онъ княгинѣ нравится. Онъ былъ увѣренъ, что единственная помѣха ему жениться на ней была взрослая княжна, но вскорѣ графъ убѣдился, что княгиня едва ли намѣрена много стѣсняться дочерью. Онъ, какъ другіе, впалъ въ общее многимъ заблужденіе, что Варвара Никаноровна свою дочь недолюбливаетъ.

Поводомъ къ этому открытію послужило слѣдующее незначительное обстоятельство: Кипренскій, проложивъ основные планы портретовъ молодыхъ дѣвицъ, продолжалъ свою художественную работу въ большомъ секретѣ: онъ не хотѣлъ никого допускать въ мастерскую, пока картины не будутъ окончены. Онъ поступалъ такъ потому, что не всякій можетъ понимать незаконченную вещь, а между тѣмъ всякій можетъ распускать о ней свои мнѣнія и сужденія, которыя, расходясь въ публикѣ, имѣютъ свое невыгодное значеніе. Но графъ былъ знакомъ съ «Русскимъ Вандикомъ», и въ качествѣ свѣтскаго пріятеля и дилетанта въ искусствѣ могъ проникать въ мастерскую. Будучи однажды допущенъ художникомъ посмотрѣть неоконченныя картины, графъ расхвалилъ бабушкѣ портретъ княжны Анастасіи. Бабушка знала, что дочь ея изображается вдвоемъ, рядомъ съ очень милою и скромною дѣвушкой, которая потомъ вышла замужъ за одного изъ князей Щербатовыхъ и оставила до сихъ поръ по себѣ превосходную память. Графъ разсказалъ княгинѣ, что Кипренскій изображаетъ дѣвицъ въ какой-то буколической сценѣ, что бабушку очень удивило. Сначала она не могла понять, почему нашъ «Вандикъ» изъ Копорья выбралъ именно этотъ странный жанръ, который, по ея мнѣнію, всего менѣе шелъ *манерной* княжнѣ Анастасіи, а потомъ это ее встревожило. Бабушка вспомнила, что дѣвушка, которая изображалась рядомъ съ ея дочерью на одномъ полотнѣ, далеко уступала княжнѣ

по красотѣ лица и по формамъ тѣла. Не было никакого сомнѣнія, что при близкомъ сопоставленіи съ княжною, она должна была еще болѣе проигрывать. Тетушка Анастасія была очень хороша: она par trait напоминала самоё княгиню, хотя совсѣмъ была на нее не похожа par expression: въ ея выраженіи не было той милоты, которая располагала и влекла въ княгинѣ всякаго человѣка, цѣнящаго въ другомъ благородныя свойства души, но, тѣмъ не менѣе, княжна была очень красива. Бабушкѣ показалось, что Кипренскій, увлекшись выгодною наружностью княжны Анастасіи, ставитъ возлѣ нея дѣвушку болѣе скромнаго вида нарочно, чтобы первая еще болѣе выиграла.

— Отъ художника-де это станется; имъ законъ не писанъ, а это во всѣхъ отношеніяхъ непріятно.

Подозрѣніе, что Кипренскій хочетъ льстить суетности княжны, тревожило бабушку невыносимо: она хотѣла во что бы то ни стало видѣть портретъ прежде, чѣмъ онъ будетъ готовъ. Графъ долженъ былъ уладить это дѣло. Кипренскій сдался на усиленныя просьбы, и княгиня была допущена въ его мастерскую.

Большой портретъ былъ уже почти совсѣмъ готовъ и стоялъ на мольбертѣ: обѣ дѣвушки были изображены рядомъ, въ костюмахъ полу-французскихъ, полу-швейцарскихъ поселянокъ; обѣ онѣ представлены идущими; въ рукахъ у нихъ были корзины: у тетушки съ фруктами, а у ея подруги съ цвѣтами. Обѣ подруги были написаны мастерски и замысловато: въ картинѣ была символика и поэзія. Тетушка выдвигалась немножко впередъ и была ярко освѣщена, межъ тѣмъ какъ ея подруга, отставъ на одинъ шагъ, шла скромно, опустивъ головку, отчего ея тихое, задумчивое личико оттѣнилось въ его верхней части широкими полями соломенной шляпы и приняло глубокое, таинственное выраженіе. Яркая красота выдающейся впередъ княжны тотчасъ съ перваго взгляда останавливала на себѣ глаза зрителя, и тихая прелесть другого лица тогда оставалась какъ бы незамѣтною; но чуть вы хотѣли окинуть бѣглымъ взглядомъ аксессуаръ, это таинственное лицо словно встрѣчалось съ вами, оно какъ изъ ручья на васъ глядѣло, и вы въ него всматривались и не могли отъ него оторваться. Бабушка поняла мысль художника и осталась чрезвычайно довольна картиною.

— Превосходно,—сказала она Кипренскому:—вы всякой отдали свое: la pomme à la plus belle, la rose à la plus sage. Превосходно...

Изъ этихъ словъ княгини и изъ довольнаго тона, какимъ они были произнесены, графъ вывелъ заключеніе, что Варвара Никаноровна не высокаго мнѣнія о своей дочери и, очевидно, не будетъ стѣсняться ею много. Къ тому же это полутаинственное посѣщеніе бабушкою мастерской Кипренскаго вмѣстѣ съ графомъ, съ которымъ она пріѣзжала въ одной каретѣ, дало поводъ къ толкамъ объ ихъ большомъ дружествѣ, изъ котораго дѣлались произвольные выводы, всѣ сходившіеся къ тому, что княгиня, вѣроятно, наскучила вдовствомъ и того и гляди выйдетъ за графа замужъ. Графа съ этимъ даже поздравляли...

Ольга Ѳедотовна одинъ разъ, вся краснѣя и застѣнчиво улыбаясь, открыла мнѣ, что и она, видя какъ княгиня многимъ предпочитаетъ графа Функендорфа, заподозрила, не вздумала бы она, матушка, за него замужъ выйти.

— Что же,—прибавляла въ свое извиненіе Ольга Ѳедотовна:—онъ еще былъ молодецъ, и какъ блондинъ, то и сѣдыхъ волосъ почти не видно, а княгинѣ хоть и подъ сорокъ лѣтъ было, но она еще красавица... Совсѣмъ нестаточнаго ничего тутъ и не было.

Одна княгиня, которой еще въ деревнѣ прежде всѣхъ пришло на мысль — не намѣренъ ли графъ за нее посвататься, теперь объ этомъ вовсе не думала: зато каково же было ея удивленіе, когда въ одинъ прекрасный день онъ неожиданно сдѣлалъ ей предложеніе.

Это случилось вскорѣ послѣ ихъ поѣздки къ Кипренскому, именно въ одну изъ тѣхъ паузъ, о которыхъ я разсказывала. Неудачнѣе подобнаго момента, казалось, нельзя было и выбрать: когда княгиня, совсѣмъ забывая себя, вся была въ дѣтяхъ и напряженно сосредоточивалась, прозирая въ ихъ будущее, графъ въ самыхъ почтительныхъ выраженіяхъ представилъ ей свою декларацію...

Княгиня его даже не сразу поняла, а когда онъ ей повторилъ свои слова и протянулъ ей руку, она со вспыхнувшимъ отъ конфуза лицомъ быстро откинулась къ спинкѣ дивана и проговорила:

— Что вы, графъ!.. помилуйте... Вотъ никогда этого отъ васъ не ожидала.

Графъ проговорилъ что-то объ уваженіи и дружбѣ.

— Да; это правда... мы дружны,—отвѣчала княгиня:—я считаю васъ за очень хорошаго человѣка и увѣрена, что въ этомъ не ошибаюсь (княгиня ошиблась), но... замужъ... какъ вамъ это могло на мысль придти.

— Но почему же... вы меня извините...

— Нѣтъ, вы меня, графъ, извините,—нетерпѣливо перебила княгиня, и, какъ по писанному, прочитала ему свой взглядъ на бракъ и на замужество.

— Я, графъ, того мнѣнія, что со стороны вдовы, имѣющей дѣтей, во второй бракъ вступать непростительно: материнъ второй бракъ дѣтямъ первыя похороны... По-моему, это одна пустая слабость, которой я никогда въ другихъ не осуждаю, но не уважаю, а въ себѣ и подавно допустить не могу. Это хорошо въ крестьянствѣ, когда работникъ въ дворъ нуженъ, но въ нашемъ положеніи, по моему сужденію, это лишнее. Оставимте это, графъ, какъ бы этого и разговора не было, и никогда не будемъ къ этому возвращаться, а будемъ, прошу васъ, по-старому, друзьями.

Въ подкрѣпленіе этой просьбы, княгиня пожала Функендорфу руку, и они разстались; а чуть только карета графа отъѣхала отъ подъѣзда, бабушка сейчасъ же позвала къ себѣ Ольгу Ѳедотовну и послала ее къ модисткѣ, чтобы та принесла ей «коробокъ самыхъ солидныхъ чепцовъ». Выбравъ себѣ изъ нихъ самый большой, съ крахмальнымъ бантомъ на темени, княгиня сейчасъ же надѣла на себя этотъ старушечій чепецъ и, осмотрѣвшись предъ зеркаломъ, велѣла, чтобъ ей такихъ еще двѣ дюжины нашили.

— Въ этомъ чепцѣ мнѣ кажется теперь гораздо пристойнѣе,—сказала она Ольгѣ:—да и тебѣ совѣтую тоже подлиннѣе мармотки нашить, мы съ тобою, вѣдь, уже не молоденькія.

Ольга Ѳедотовна не отстала отъ своей княгини, и на другое же утро явилась ей въ чепчикѣ съ такими длинными оборками, что выглядывала изъ нихъ какъ часовая кукушка изъ рамки. Однако и въ старушечьемъ чепцѣ, и въ темныхъ капотахъ княгиня еще долго не старѣлась, а, по словамъ Ольги Ѳедотовны, «больше походила какъ бы въ костюмѣ на балъ собиралась». Такъ она была моложава, такъ прочна была ея красота.

Бабушка никогда и никому не говорила о сдѣланномъ

ей графомъ предложенія, а графу, кажется, не могло придти желанія объ этомъ разсказывать, но тѣмъ не менѣе Ольга Ѳедотовна все это знала, и когда я ее спрашивала: откуда ей были извѣстны такія тайности? она обыкновенно только сердилась и разъ даже пригрозила мнѣ, что если я еще буду ей этимъ докучать, то она мнѣ больше ничего не скажетъ. Такъ какъ угроза была слишкомъ страшна для моего любопытства, то я уже никогда не возобновляла моихъ разспросовъ, но по догадкамъ думаю, что моя милая старушка, вѣроятно, просто-на-просто подсматривала и подслушивала за своею матушкой княгиней.

Иначе это и не могло быть, особенно потому, что Ольга Ѳедотовна наизусть знала слѣдующій разговоръ графа съ княгинею, который, по ея же собственнымъ словамъ, былъ веденъ бабушкою въ совершенной тайности, «въ особой комнатѣ и при закрытыхъ дверяхъ».

Знаменитый разговоръ этотъ былъ черезъ нѣсколько дней послѣ того, какъ графъ сдѣлалъ бабушкѣ свое предложеніе.

— Графъ вѣрно смутился и пересталъ ѣздить,—говорила Ольга Ѳедотовна: — то онъ у насъ до этого случая всякій день бывалъ, а то вдругъ и пересталъ. Княгиня объ этомъ безпокоилась и все нѣсколько разъ спрашивала: не былъ ли графъ? Скажешь: «не былъ-съ». Она тихо плечами поведетъ, а, наконецъ, разъ даже вслухъ проговорила: «Что это за глупость такая!» и послала къ нему Патрикѣя узнать о его здоровьѣ, и если онъ здоровъ, то велѣли просить его, чтобы заѣхалъ. Онъ и пожаловалъ... Княгиня его привѣтливо встрѣтила, но все въ своемъ большомъ чепцѣ, и повела его въ маленькую гостиную, куда почти никто никогда не ходилъ, — здѣсь затворились, сѣли и начали говорить:

— Я, говоритъ,—графъ, очень желала васъ видѣть...

Тотъ кланяется, а она продолжаетъ:

— Вы на меня, пожалуйста, не сердитесь... съ вашей стороны мнѣ ничего обиднаго не было сдѣлано, и я васъ тоже обидѣть не желала, а сказала по разсужденію.

А графъ говоритъ:

— Повѣрьте, княгиня, если бы не мои чувства..

Но она его сейчасъ перебила:

— Нѣтъ, вы меня извините, говоритъ,—это совсѣмъ не

въ томъ дѣло, я васъ съ тѣмъ пригласила, что хочу предъ вами съ открытою душою быть... Я хочу, чтобы вы обо мнѣ грубо не думали. Сознаюсь вамъ, что я вѣдь любила моего мужа и люблю его до сихъ поръ... Не смѣйтесь, графъ, надъ старухой... я очень страстна въ моихъ привязанностяхъ: я люблю, графъ, *люблю* его, моего друга, и до могилы любить его буду, а тамъ встрѣтимся, или не встрѣтимся—ужъ что̀ Богъ дастъ, но пока жива, я ему вѣрная и благодарная... Вамъ вѣдь, можетъ-быть, неизвѣстно, а я ему всѣмъ обязана, я вышла изъ бѣдной семьи, въ ихъ честномъ домѣ воспитана, и онъ меня замужъ взялъ и любилъ меня, и вѣрилъ мнѣ, и умеръ далеко отъ меня съ твердою въ меня вѣрою... Скажите же, какъ можно это все позабыть? Нѣтъ, вы умный человѣкъ, графъ, вы меня видите и вы должны меня понять: онъ умеръ для всѣхъ, кто про него позабылъ, но я минуты безъ него не жила, и мнѣ... онъ живъ и я ему отдала всю жизнь мою и ему же отдамъ и мой смертный вздохъ. Судите какъ знаете, я вся тутъ!

И княгиня, которую никто никогда не видалъ плачущею, сдвинула болѣзненно бровями и, закрывъ платкомъ глаза, заплакала.

Глубиною этого живучаго чувства былъ тронутъ даже самъ графъ; онъ бросился цѣловать руки бабушки и просилъ ее о прощеніи.

И она его, разумѣется, простила, и какъ простила? — ото всего сердца, съ радостью и съ искреннѣйшимъ совѣтомъ, чтобы онъ поискалъ себѣ невѣсту помоложе годами и какъ можно менѣе на нее похожую характеромъ.

— Характеръ—это самое главное,—говорила она:—а женщина, которая привыкла всѣмъ сама править, отъ этихъ мужскихъ занятій становится къ любви неловкая: отъ домашнихъ счетовъ да споровъ въ насъ чувства грубѣютъ и много мужчинскаго въ характерѣ дѣлается. Никому я никогда не посовѣтовала бы на такихъ жениться... Насъ можно въ засѣдатели выбирать, въ старостихи ставить, но жениться на насъ... не совѣтую. Извините, грубо скажу: старая баба самъ тотъ же мужикъ,—у нея всѣ ключи любовныхъ чувствъ уже изсякли. То ли дѣло существо молодое, въ чувствахъ свѣжее, въ разумѣ гибкое. Какъ вы его захотите повести, такъ и поведете.

— Вы забываете, что я старъ для такихъ юныхъ существъ,—шепталъ шутя графъ.—Увы! меня шестнадцатилѣтняя дѣвушка готова будетъ звать дѣдушкой.

— Ну, вотъ... зачѣмъ шестнадцати?... Есть дѣвушки лѣтъ въ двадцать пять... ну, тридцать... Прекрасныя есть дѣвушки... съ источниками живыхъ чувствъ. И даже скажу, дѣвушка васъ скорѣе и полюбитъ, и ее любить пріятнѣе.

— Почему же?

— Неопытнѣе онѣ, довѣрчивѣе... это должно быть очень пріятно, какъ она станетъ сама къ вамъ примѣняться. Нѣтъ; непремѣнно на дѣвушкѣ женитесь!

— Вы настойчиво требуете, чтобъ я женился на дѣвушкѣ? Я васъ послушаю.

Графъ былъ веселъ и шутилъ, княгиня въ тонъ ему тоже отвѣчала шутливо:

— Непремѣнно, графъ, на дѣвушкѣ, на вдовѣ какъ женитесь, старый мужъ придетъ.

И гость, и хозяйка разстались настоящими друзьями, а чтобы графъ еще скорѣе забылъ свое неудачное сватовство, бабушка дала ему на дорогу просьбу помочь ей отыскать дѣтямъ француза.

Просьба эта не могла обижать графа, а, напротивъ, могла ему льстить, потому что княгиня не вѣрила ничьимъ рекомендаціямъ, когда дѣло шло о людяхъ, нужныхъ къ дѣтямъ.

Какой же ей нуженъ былъ французъ? Совсѣмъ необыкновенный, или, по крайней мѣрѣ, отнюдь не такой, какіе были тогда въ модѣ. Княгиня отнюдь не хотѣла, чтобы французъ ея сыновей воспитывалъ, это, по ея мнѣнію, для русскихъ дѣтей никуда не годится. Серьезнаго воспитателя она хотѣла искать въ другомъ мѣстѣ; а французъ требовался просто, чтобы какъ можно больше говорилъ, но только не вреднаго.

Требованіе было и небольшое, но въ то же время и не совсѣмъ легкое; но графъ услужилъ княгинѣ, онъ досталъ ей такого француза, который превзошелъ всѣ ея ожиданія. Этотъ утѣшительный человѣкъ былъ французскій гражданинъ monsieur Gigot, которому здѣсь надо дать маленькое мѣсто. Ne le renvoyez pas, je vous prie! Онъ тутъ нуженъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Французъ Gigot былъ человѣкъ совершенно неизвѣстнаго происхожденія. Самъ онъ себя производилъ изъ дворянъ, обѣднявшихъ во время переворотовъ, но дворянскаго въ немъ ровно ничего не было. Начиная съ его фамиліи, которую m-r Gigot напрасно скрашивалъ приставкою дворянской частицы, и кончая его наружностью и манерами, дававшими ему видъ неудачнаго приходскаго клерка, онъ всего болѣе напоминалъ католическаго дьячка: тонкій, худой, немного запуганный, съ глазами, таящими внутренній жаръ, и съ длинными руками, постоянно стремящимися къ упражненію въ почтительныхъ жестахъ. О происхожденіи его всякій имѣлъ свое мнѣніе: такъ, Рогожинъ думалъ, что «эта баранья ляжка» (такъ онъ величалъ Жиго) былъ непремѣнно дьячокъ, а Патрикѣй соображалъ, что Жиго изъ почтальоновъ, потому что онъ необыкновенно скоро бѣгалъ и любилъ быть на посылкахъ; Ольга же Ѳедотовна утверждала, что Жиго, по всѣмъ видимостямъ, изъ портныхъ, потому что онъ всегда любилъ садиться, ловко сворачивая подъ себя ножки калачикомъ и необыкновенно искусно штоналъ свое платье.

Но каково бы тамъ ни было въ самомъ дѣлѣ его происхожденіе, онъ оказался какъ нельзя болѣе отвѣчающимъ тому назначенію, какое желала ему дать бабушка. Gigot былъ человѣкъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ удивительный: онъ болталъ съ дѣтьми съ утра и до вечера и, скоро овладѣвъ ихъ расположеніемъ, быстро пріучилъ ихъ бѣгло говорить съ собою по-французски. Кромѣ того, онъ былъ совершенно *безвреденъ*: въ этомъ отношеніи онъ даже превзошелъ всѣ ожиданія княгини, которая, несмотря на рекомендацію графа, принимая въ домъ monsieur Gigot, положила себѣ правиломъ слѣдить за всякимъ его словомъ, «чтобы не наговорилъ дѣтямъ глупостей». Очень скоро она убѣдилась, что это совершенно напрасно: всѣ ея опасенія въ этомъ родѣ не имѣли никакого мѣста. Gigot говорилъ цѣлые дни, и когда онъ говорилъ, княгиня слышала какія-то слова, пожалуй, даже интересныя, иногда онъ даже что-то объяснялъ, и довольно толково, но, чуть только онъ кончалъ свою рѣчь и княгинѣ хотѣлось обдумать, что̀ такое онъ сказалъ, какъ она уже не находила во всемъ имъ

сказанномъ никакого содержанія. Княгиня въ этомъ затрудненіи не разъ пыталась переспросить Gigot: какъ онъ понимаетъ то, что сейчасъ самъ объяснялъ? Но онъ, обыкновенно, не могъ повторить сказаннаго, и бабушка съ удивленіемъ говорила:

— Преудивительнаго француза я себѣ, способнаго къ дѣтямъ, достала: такъ говорливъ, что самъ не помнитъ о чемъ, какъ скворецъ, болтаетъ и выходитъ отъ него практика языка большая, а мыслей никакихъ, и притомъ вѣжливъ, и со двора безъ спроса не ходитъ.

Открывъ эти неоцѣнимыя достоинства Gigot, бабушка стала, разумѣется, благоволить къ нему и, отпуская его, по воскресеньямъ, «погулять къ компатріотамъ», дарила ему по синенькой бумажкѣ на бомбошки; но непремѣнно всякій разъ наказывала, чтобы онъ возвращался домой къ дѣтскому ужину, и притомъ трезвый.

Gigot былъ человѣкъ очень добрый, покладливый и до того мягкій, что, хотя онъ и не былъ кутилою, но, желая доставить княгинѣ совершенное спокойствіе насчетъ своей трезвости, онъ всякій разъ, по возвращеніи отъ компатріотовъ, просилъ бабушку «позволить ему на нее дохнуть».

Бабушка, можетъ-быть, и не считала этого нужнымъ, но когда человѣкъ самъ набивается, то она не нашла въ этомъ ничего лишняго, дескать:

— Положимъ, что онъ и не запиваетъ, а все-таки, для большей аккуратности, удостовѣриться не мѣшаетъ: Богъ знаетъ, другіе какъ-нибудь подпоить могутъ, а этакъ, какъ онъ самъ выдумалъ, это самое вѣрное: если онъ пилъ вино, я сейчасъ услышу.

Позволивъ Gigot дохнуть передъ своимъ лицомъ, княгиня говорила ему: «умникъ», и, давъ ему поцѣловать свою руку, отпускала его укладывать князей, съ которыми и самъ онъ долженъ былъ ложиться спать въ одно время.

Эта обязанность сначала всего болѣе стѣсняла бѣднаго Gigot, и онъ тоскливо жаловался:

— Je ne suis pas disposé à dormir: je n'ai pas sommeil; но потомъ онъ скоро свыкся и съ этимъ горемъ и, тихо вздыхая, внушалъ дѣтямъ:

— On n'a pas toutes ses aises dans ce monde, mes enfants!

Впослѣдствіи, обсидѣвшись въ деревнѣ, этотъ Gigot сдѣ-

лался большимъ сонею и чуть часовая стрѣлка вечеромъ переходила за половину десятаго, онъ уже начиналъ позѣвывать и, шевеля тяготѣющими вѣками, самъ подговаривался:

— Ma foi, j'ai sommeil; il est temps d'aller coucher!—и съ этимъ онъ вскакивалъ, подводилъ дѣтей къ княгинѣ за полученіемъ вечерняго благословенія, а черезъ полчаса уже спалъ въ смежной съ дѣтьми комнатѣ, и спалъ, по собственному его выраженію, comme une marmotte.

Одно, къ чему monsieur Gigot *никогда* не могъ пріучить себя, это былъ фруктовый квасъ. Иностранное вино за столомъ княгини подавалось только при гостяхъ, и то monsieur Gigot неудобно было имъ лакомиться, такъ какъ никогда не пившая никакого вина княгиня находила, что и гувернеру неприлично пить вино при дѣтяхъ, а послѣ стола Патрикѣй Семенычъ имѣлъ обыкновеніе припечатывать всѣ нераспитыя бутылки, «чтобы люди не баловались».

Такимъ образомъ Gigot оставалось лакомиться квасомъ да водицами, къ которымъ онъ и вошелъ во вкусъ, но никакъ не могъ пріучить къ нимъ своего желудка. Чуть онъ выпивалъ лишній глотокъ какой-нибудь шипучки, какъ съ нимъ начинались корчи, и онъ нерѣдко заболѣвалъ довольно серьезно.

Это, однако, имѣло для Gigot свою хорошую сторону, потому что чрезвычайно сблизило его съ Ольгой Ѳедотовной, которая сама была подвержена подобнымъ припадкамъ и, по сочувствію, нѣжно соболѣзновала о другихъ, кто ихъ имѣетъ. А бѣдный Gigot, по разсказамъ Ольги Ѳедотовны, въ началѣ своего житья въ домѣ княгини, бывало, какъ пообѣдаетъ, такъ и начнетъ морщиться.

— Уйдетъ въ свою комнату и такъ тамъ по дивану и катается, а самъ, какъ дитя, ножка объ ножку отъ боли, такъ и сучитъ, такъ и сучитъ... И я ему всегда, бывало, сейчасъ рюмочку березовки да горчичникъ подъ ложечку. Какъ его защипитъ, онъ и вскочитъ, и очень благодарный кричитъ:

— Пуслё, шерь Ольга Ѳедотъ, все пуслё.

А на другой день опять не остережется. Пресмѣшной былъ человѣкъ! И такъ онъ ко мнѣ привыкъ и привлекся, что, бывало, чуть ему худо, онъ сейчасъ ко мнѣ такъ прямо и летитъ, а самъ шепчетъ:

— Экскюзе, шеръ Ольга Ѳедотъ.

Я поначалу пугалась: бывало, засуечусь, спрашиваю:

— Что такое? что такое случилось?

А онъ отвѣчаетъ:

— Нишего... петитъ революція... тре петитъ, тре петитъ... и вижу, что его уже и точно *трепетитъ*.

Одинъ разъ только мнѣ это надо было растолковать, а ужъ потомъ сама понимать стала: онъ только шепнетъ:

— Экскюзе!

А я уже и догадываюсь:

— Что, говорю,—батюшка мой, опять революція?

— Ахъ, отвѣчаетъ, — революція, и самъ какъ былинка гнется.

Такой былъ на этотъ счетъ дрянной, что надо ему было какъ можно скорѣй помогать, и чуть онъ, бывало, мнѣ только заговоритъ это «экскюзе», какъ я уже его дальше и не слушаю, а скорѣе ему изъ кармана пузыречекъ и говорю:

— На̀ тебѣ лѣкарства и не топочи на одномъ мѣстѣ и бѣжи куда надо. Онъ на-лету мнѣ ручкой сдѣлаетъ, а самъ со всѣхъ ногъ такъ и бросится. Добрый былъ мужчинка и очень меня уважалъ съ удовольствіемъ, а на другихъ комнатныхъ людей, которые его не понимали, бывало, разсердится, ножонками затопочетъ и закричитъ:

— Тьфу, тьфу... Наплётъ, валекъ и деревянная баба! и самъ убѣжитъ отъ нихъ.

Этими словами monsieur Gigot стремился выразить, что непонимающіе его комнатные люди достойны только того, чтобы ихъ поставить на *плотъ*, дать имъ въ руки *валекъ* и заставить ихъ мыть бѣлье съ *деревенскими бабами*. Слова «наплётъ, валекъ и деревянная баба» Ольгѣ Ѳедотовнѣ до того казались смѣшными и до того ей нравились, что она усвоила ихъ себѣ въ поговорку и примѣняла ко всякой комнатной новобранкѣ, неискусно принимавшейся за свою новую должность. Болѣе же всего Ольга Ѳедотовна полюбила Gigot по какому-то безотчетному сочувствію къ его сиротской долѣ.

— Сирота,—говорила она:—и безъ языка, его надо жалѣть.

Отношенія Gigot къ другимъ лицамъ бабушкинаго штата были уже далеко не тѣ, что съ Ольгою Ѳедотовною: чинный Патрикѣй оказывалъ французу такое почтеніе, что

Gigot даже принималъ его за обиду и вообще не имѣлъ никакой надежды сколько-нибудь съ Патрикѣемъ сблизиться и притомъ же онъ совершенно не понималъ Патрикѣя, и все, что этотъ княжедворецъ воздавалъ Gigot, «для того, чтобы ему чести прибавить», сей послѣдній истолковывалъ въ обратную сторону.

— Oui,—лепеталъ онъ:—oui! я снай... Patrikej Semenitsch... il tranche du grand seigneur avec moi...

И Gigot самодовольно распространялся, что онъ самъ знаетъ свѣтъ и самъ умѣетъ дѣлать grande mine.

— Patrikej comme ça... такъ, et moi aussi... такъ... Avec tous les gens такъ, а avec Patrikej Semenitsch такъ...

И разсказывая это, онъ для большей вразумительности показывалъ, какъ онъ мимо всѣхъ ходитъ просто, а проходя мимо Патрикѣя, поднимаетъ вверхъ голову и дѣлаетъ grande mine.

Патрикѣй зналъ это и, замѣчая эволюціи Gigot, нимало не измѣнялъ своихъ ровныхъ, холодно почтительныхъ къ нему отношеній, какими считалъ себя обязаннымъ къ нему, какъ къ гувернеру.

Съ дьяконицей, Марьей Николаевной, Gigot тоже никакъ не могъ разговориться: онъ много разъ къ ней подсосѣживался и много разъ начиналъ ей что-то объяснять и разсказывать, но та только тупо улыбалась да пожимала плечами и наконецъ, однажды, увидѣвъ, что Gigot, разсказывая ей что-то, приходитъ въ большое оживленіе, кричитъ, машетъ руками и, несмотря на ея улыбки и пожиманье плечами, все-таки не отстаетъ отъ нея, а, напротивъ, еще схватилъ ее за уголъ ея шейнаго платка и началъ его вертѣть, Марья Николаевна такъ этого испугалась, что сбросила съ себя платокъ и, оставивъ его въ рукахъ Gigot, убѣжала отъ него искать спасенія.

Gigot разсердился: онъ принесъ Марьѣ Николаевнѣ ея платокъ и, гнѣвно глядя въ ея испуганные глаза, прокричалъ:

— Наплётъ, валекъ и деревянная баба!—и затѣмъ быстро повернулся и убѣжалъ.

Марья Николаевна въ эту критическую минуту сидѣла какъ окаменѣвшая, но зато, когда напугавшій ее Gigot скрылся, она не выдержала и жестоко разрыдалась.

Ничего не могло быть забавнѣе того, что ни французъ не

зналъ, чѣмъ онъ оскорбилъ дьяконицу, ни она не понимала, чего она испугалась, за что обидѣлась и о чемъ плачетъ.

Въ этомъ положеніи застала ее Ольга Ѳедотовна и не могла отъ нея добиться ничего, кромѣ словъ:

— Нѣтъ, мнѣ пора... мнѣ пора на свое пепелище.

Надо было призвать самоё бабушку, которая, разобравъ въ чемъ дѣло, призвала Gigot и сказала:

— Посмотри, какъ ты разстроилъ женщину! Вотъ вѣдь тебѣ за это, по меньшей мѣрѣ, стоитъ уши выдрать.

— Ага!... уши, les oreilles,—avec plaisir.—И онъ, наклонясь головой къ дьяконицѣ, весело вскричалъ:—Ну, Marja Nicolaf... нишего déchirez vous bien!

Но Марья Николаевна вдругъ разсмѣялась и, обмахнувъ платкомъ глаза, отвѣчала:

— Нѣтъ, мусьё Жиго... ужъ если такъ, то лучше поцалуемся.

— По-ця-лю-ем-ся?... Ага, понимай! Avec plaisir, avec plaisir, Marja Nicolaf!

— Но только уже вы, мусьё Жиго, послѣ этого, пожалуйста, никогда меня больше не трогайте.

— Никогда, jamais! никогда.

— И не говорите со мною по-французски.

— Jamais de ma vie!

Они поцѣловались, и вполнѣ успокоенная Марья Николаевна, какъ умѣла, объяснила Gigot, почему именно она его проситъ съ нею не говорить? Причина этого, по ея словамъ, заключалась въ томъ, что она «въ свой вѣкъ много отъ французскаго языка страдала».

Понятно, что послѣ этого monsieur Gigot долженъ былъ оставить ее въ покоѣ.

Самыя частыя соотношенія Gigot имѣлъ съ Рогожинымъ, но эти отношенія нельзя было назвать пріятельскими. Сначала они немножко дулись другъ на друга: Gigot, увидавъ передъ собою длиннаго, костюмированнаго человѣка съ однимъ изумруднымъ глазомъ, счелъ его сперва за сумасшедшаго, но потомъ, видя его всегда серьезнымъ, началъ опасаться: не философъ ли это, по образцу древнихъ, и не можетъ ли онъ его, господина Gigot, на чемъ-нибудь поймать и срѣзать? Донкихотъ относился къ Gigot тоже нѣсколько подозрительно, во-первыхъ, потому, что этотъ человѣкъ былъ поставленъ въ домъ графомъ Функендорфомъ, которому Ро-

гожинъ инстинктивно не довѣрялъ, а потомъ и онъ съ своей стороны тоже боялся, что Gigot, читающій или когда-нибудь читавшій французскія книги, большинство которыхъ Рогожину было недоступно, могъ знать то, чего нашъ дворянинъ не знаетъ, и потому, чего добраго, при случаѣ легко могъ его оконфузить.

Они могли бы, вѣроятно, очень долго оставаться другъ противъ друга на стражѣ, но одно счастливое обстоятельство примирило ихъ съ мыслію, что каждый изъ нихъ вполнѣ равенъ другому и оба они другъ другу не страшны. Поводомъ къ такому благопріятному выводу была заносчивость Gigot насчетъ какихъ-то превосходствъ французскаго дворянства.

Такъ какъ разговоръ этотъ шелъ въ гостиной при самой княгинѣ и при постороннихъ людяхъ, изъ которыхъ, однако, никто не желалъ вступиться за честь русскаго дворянства, то Рогожинъ не вытерпѣлъ и выступилъ, но выступилъ неудачно: плохо маракуя по-французски, онъ не могъ отразить самыхъ несостоятельныхъ нападеній Gigot, который кричалъ:

— Attendez; connaissez vous gentilhomme Obry de Mondidie?

— Non... нѣтъ, не знаю.

— Connaissez vous gentilhomme Mordrèle?

— Non... нѣтъ, не знаю.

— Connaissez vous gentilhomme Oblong?

Рогожинъ долженъ былъ сознаться, что и этого жентильома онъ тоже не знаетъ.

— Eh bien votre critique n'est pas fondèe,—рѣшилъ торжествующій Gigot, и, широко шаркнувъ Донкихоту ногой, онъ язвительно поклонился ему, какъ человѣку, съ которымъ нечего много разговаривать тому, кто читалъ про Обри и Мондидье, Облонговъ и Мордрелей. Рогожинъ былъ смятъ, но онъ быстро и преоригинально нашелся.

— А постой-ка, постой!—воскликнулъ онъ по вдохновенію и, изловивъ Gigot за рукавъ, остановилъ его.

— А ты боярина Захарьина знаешь?—спросилъ онъ француза.

— Non, je ne le connais pas.

— А Матвѣева знаешь?

— Non, je ne le connais pas.

— Ага! Молодецъ! да ты уже, смотри-ка, и Романовыхъ-то знаешь ли?

— Non, je ne le connais aussi.

— Да; такъ ты еще вотъ каковъ!—протянулъ Донкихотъ и, шаркнувъ обѣими ногами еще шире Жиго, съ достоинствомъ отъ него отвернулся.

Рогожинъ, къ счастію своему, никогда не зналъ, что въ этомъ спорѣ всѣ преимущества были на его сторонѣ, ему и въ умъ не приходило, что Gigot называлъ ему не историческія лица, а спрашивалъ о вымышленныхъ герояхъ третьестепенныхъ французскихъ романовъ, иначе, конечно, онъ еще тверже обошелся бы съ бѣднымъ французомъ.

Донкихотъ, гостя въ Петербургѣ, имѣлъ празднымъ все свое время, и когда уставалъ читать, тогда обыкновенно раскладывалъ изъ картъ пасьянсъ. Но и это ему тоже, разумѣется, могло уже надокучить, тѣмъ болѣе, что скорый Gigot умѣлъ гораздо лучше его дѣлать пасьянсы и, по живости своего характера, всегда наскакивалъ на него съ своими совѣтами. Такое вмѣшательство до того бѣсило дворянина, что онъ въ досадѣ смѣшивалъ карты и, стиснувъ ихъ въ рукѣ, или сидѣлъ молча, пока Gigot, потерявъ терпѣніе, отходилъ отъ него прочь, или же начиналъ вдругъ креститься и читать «Да воскреснетъ Богъ», отплевываясь отъ Gigot какъ отъ чорта.

Gigot не выдерживалъ заклинаній и отбѣгалъ, но не надолго; не проходило получаса, какъ онъ уже снова наскакивалъ на Рогожина съ шашечной доской и кричалъ:

— Gentilhomme, jouons nous aux dames!

Донкихотъ сдавался на этотъ призывъ, и они проводили за шашками почти все время, когда молодые князьки занимались съ приходящими учителями и Gigot былъ свободенъ.

И какъ они играли! Боже мой! Ольга Ѳедотовна, вспоминая это, говорила о нихъ не иначе, какъ о самыхъ легкомысленныхъ дѣтяхъ.

— Сядутъ, бывало, какъ и надо, будто взрослые, а потомъ вдругъ зашумятъ, закричатъ и смотри уже шашки на полъ летятъ, и бѣдный Жигоша плачетъ и жалуется, что тотъ кривунъ его обидѣлъ. А по правдѣ сказать, оба были самые несносные спорщики, и княгиня часто должна была сама приходить ихъ разнимать и мирить — стыдитъ

ихъ, бывало, стыдитъ да, наконецъ, тѣмъ кончитъ, что велитъ Патрикѣю отъ нихъ шашки взять и къ себѣ въ комнату отнести. Кажется бы вѣдь ужъ довольно, такъ нѣтъ же: Доримедонтъ Васильичъ станетъ за особымъ столикомъ пасьянсъ класть, а Жигошка и тутъ не утерпитъ. Такой былъ зажига, подскочитъ и начнетъ указывать, что будто не такъ ту или другую карту переложилъ, ну и пойдетъ опять дымъ коромысломъ. Княгиня уже изъ терпѣнія, наконецъ, выйдутъ и скажутъ:

— Подбери, Патрикѣй, съ полу карты и отнеси ихъ въ мою комнату.

Впрочемъ, Gigot и Донкихотъ ссорились и безъ игръ и всегда изъ-за совершенныхъ пустяковъ, въ родѣ того, напримѣръ, что живой и веселый Gigot, одушевляясь разговоромъ, любилъ хлопать собесѣдника по плечу или по колѣнамъ, а гордый Донкихотъ находилъ это неумѣстнымъ и рѣшительно не могъ переносить такой фамильярности: онъ вскакивалъ и, какъ ужаленный, сверкая на Gigot гнѣвными взглядами своего единственнаго глаза, кричалъ:

— Не смѣй хлопать, буржуа!.. Ты мнѣ за это когда-нибудь дорого заплатишь!

Больше я не считаю нужнымъ въ особенности говорить о monsieur Gigot, съ которымъ намъ еще не разъ придется встрѣтиться въ моей хроникѣ, но и сказаннаго, я думаю, достаточно, чтобы судить, что это былъ за человѣкъ? Онъ очень шелъ къ бабушкиной коллекціи оригиналовъ и «людей съ совѣстью и съ сердцемъ», но, какъ французскій гувернеръ, онъ былъ терпимъ только благодаря особенности взгляда княгини на качества лица, потребнаго для этой должности.

Дѣти, то-есть оба молодые князья (мой отецъ и дядя Яковъ), очень любили Gigot и не только никогда съ нимъ не скучали, но, напротивъ, *скучали о немъ*, когда его не видѣли. Во время моего отрочества я слыхала похвалы Gigot даже отъ такихъ людей, которымъ, повидимому, никакого и дѣла не могло быть до злополучнаго чужестранца,—Gigot хвалили дворовые и деревенскіе люди Протозанова, говоря въ одно слово, что онъ былъ «добрый и веселый», а дядя, князь Яковъ Львовичъ, вспоминая свое дѣтство, никогда не забывалъ вставлять слѣдующее:

— Братъ Дмитрій, который имѣлъ блестящія способности,

къ сожалѣнію, до того былъ рѣзокъ, что даже верхомъ на нашемъ французѣ ѣздилъ.

ГЛАВА СѢДЬМАЯ.

Душевныя свойства обоихъ князей въ это время обозначались уже въ весьма опредѣленныхъ задаткахъ; отецъ мой, который былъ однимъ годомъ моложе дяди Якова, первенствовалъ надъ старшимъ братомъ по превосходству своихъ дарованій, и князь Яковъ не продалъ ему права своего первородства ни за какую чечевицу, а уступилъ ее безмездно какъ «достойнѣйшему». Дядя Яковъ, безподобнѣйшее лицо изъ всѣхъ нынче живущихъ Протозановыхъ, говорятъ, еще съ дѣтства, съ самыхъ первыхъ уроковъ, за которые онъ сѣлъ ранѣе моего отца, но въ которыхъ папа быстро его перегналъ, призналъ превосходство брата и, приходя отъ него въ восторгъ, любилъ выдвигать его всѣмъ на видъ. Себя онъ всегда стушевывалъ, и такъ пріучилъ къ этому весь домъ, что всѣ, и свои, и чужіе люди, обращали все свое вниманіе на князя Дмитрія, а старшій его братъ, Яковъ, шелъ за нимъ и смотрѣлъ на него не съ ревностью, не съ завистью, а съ восторгомъ, въ которомъ сказывалась благородная и поэтическая натура этого прекраснаго человѣка, пылавшаго любовью ко всему прекрасному. Отецъ мой, сколько я могу о немъ судить, не по разсказамъ Ольги и Патрикѣя и другихъ людей, обожавшихъ въ немъ своего кумира, а по словамъ самой бабушки, которая была очень скромна въ сужденіи о своихъ сыновьяхъ, былъ одаренъ необыкновенными способностями и чарующею красотой. Бабушка, грустно улыбаясь, называла его «своимъ Авессаломомъ». (Увы! его и участь имѣла много сходнаго съ судьбою этого злополучнаго библейскаго царевича!). Онъ былъ высокъ ростомъ, гораздо выше дяди Якова, котораго за его маленькій ростъ звали «карапузикомъ». Лицомъ отецъ напоминалъ бабушку, но только не такъ, какъ тетушка Анастасія, то-есть не только чертами, но и выраженіемъ, но, разумѣется, все это сходство отливалось въ мужской формѣ. Замѣчу мимоходомъ, что, кромѣ моего отца, въ родѣ нашемъ уже никто не имѣлъ большого сходства съ княгинею Варварою Никаноровной: всѣ, и въ этомъ числѣ сама она, находили большое сходство съ собою во мнѣ, но я никогда не могла освободиться отъ подозрѣнія,

что тутъ очень много пристрастія и натяжки: я напоминала ее только моимъ ростомъ да общимъ выраженіемъ, по которому меня съ дѣтства удостоили привилегіи быть «бабушкиною внучкой», но моимъ чертамъ недоставало всего того, что̀ я такъ любила въ ея лицѣ, и, по справедливости говоря, я не была такъ красива. Дядя же мой, князь Яковъ Львовичъ, имѣлъ сходство съ матерью только въ глазахъ, а во всемъ остальномъ онъ шелъ не въ бабушкинъ родъ, а въ дѣдовъ, въ родъ Протозановыхъ, которые не отличались виднымъ ростомъ и имѣли расположеніе къ тучности. Дядя обнаруживалъ эти родовыя черты съ самаго ранняго дѣтства: онъ всегда былъ по своимъ лѣтамъ малъ ростомъ, очень свѣжъ, румянъ, съ прекрасными глазами матери, но съ очень маленькимъ ротикомъ, какіе называютъ «сердечкомъ». Такіе крошечные рты, съ немножко оттопыренными губками, нарисованы у всѣхъ Протозановыхъ, которыхъ портреты я съ дѣтства видѣла въ бабушкиномъ домѣ; но князь Левъ Яковлевичъ немножко даже утрировалъ эту черту: его маленькій ротикъ придавалъ его лицу сходство съ какою-то бойкою птичкой, отчего въ семьѣ его звали также и «чижикомъ». Впрочемъ, благодаря своей важно-комической фигуркѣ, дядя, князь Яковъ, никогда не былъ безъ кличекъ; при всемъ почтеніи, которое онъ умѣлъ себѣ заслужить въ зрѣлые годы, онъ и въ этомъ своемъ возрастѣ назывался «князь-Кис-ме-квикъ», кличкою, составленною изъ трехъ англійскихъ словъ: kiss me quik, которыя имѣли въ приложеніи къ дядюшкѣ свое особенное, нѣсколько роковое для него значеніе. Но объ этомъ будетъ побробнѣе разсказано въ свое время, а теперь возвращаюсь къ дѣтству моего отца и дяди.

При значительномъ превосходствѣ умственныхъ силъ, какое имѣлъ мой отецъ надъ своимъ братомъ, у отца былъ характеръ нетерпѣливый и увлекающійся. Этимъ для меня объясняются многія несообразности и противорѣчія въ его жизни, начиная съ того, напримѣръ, что, не оказывая никакого сожалѣнія Gigot, онъ опасно заболѣлъ отъ огорченія, когда бѣдный французъ умеръ. Дядя былъ совсѣмъ иной: если папа болѣе брата напоминалъ бабушку прекрасною внѣшностію и умомъ, то дядя Яковъ былъ ея сыномъ по духу и характеру. Отецъ, которому уроки не стоили никакого труда, имѣлъ много свободнаго времени и нерѣдко

злоупотреблялъ своими дессугами, наполняя ихъ опрометчивыми шалостями, нерѣдко въ обиду ближнихъ; но въ домѣ, любя князя Дмитрія, все это покрывали и не доводили до княгини. Князю Якову ученіе давалось съ большимъ трудомъ: онъ былъ почти постоянно занятъ, и въ немногіе часы свободы или сидѣлъ безмолвно въ креслахъ съ важностью, которая въ маленькомъ мальчикѣ была довольно комична, или вмѣсто того, чтобы шалить и бѣгать, онъ читалъ какую-нибудь дѣтскую книгу. Шалостей дядя не любилъ: онъ много переносилъ на себѣ отъ рѣзвостей брата, но никогда не отомщалъ ему своихъ обидъ. Выдающимися чертами нрава Якова были чрезвычайная скромность и искренность: онъ отъ природы былъ гораздо менѣе *баринъ*, чѣмъ *джентельменъ*. Уваженіе къ человѣческому достоинству всѣхъ и каждаго въ немъ было развито до того, что онъ никогда не позволялъ слугѣ снять съ себя сапога; такая услуга его конфузила, и все, что онъ могъ сдѣлать безъ помощи другого, онъ такъ и дѣлалъ. Позвать человѣка и заставить его сдѣлать себѣ услугу, безъ которой можно обойтись, дядѣ Якову казалось «стыдно». Объ искренности же его разсказываютъ, что онъ однажды явился къ бабушкѣ съ просьбою наказать его за проступокъ, о которомъ никто не зналъ и который весь состоялъ въ томъ, что дядя, сидя за урокомъ, имѣлъ въ карманѣ маленькую юлу, которая ему очень нравилась и которую ему подарили за нѣсколько минутъ до прихода учителя. Мать свою оба князя очень любили, но отецъ мой не сдерживалъ своей нѣжности, межъ тѣмъ какъ дядя Яковъ, не только страстно любившій, но даже, такъ сказать, обожавшій мать, какъ бы не смѣлъ дать воли своимъ ласкамъ. Оттого въ отношеніяхъ младшаго сына къ матери было болѣе короткости, а въ отношеніяхъ старшаго болѣе почтительности. Князь Дмитрій, шутившій со всѣми, съ Gigot, съ Донкихотомъ, съ Ольгою Ѳедотовной, шутилъ и съ княжною Анастасіей, которая была на семь лѣтъ его старше и шутокъ не любила. Она была обидчива какъ провинціальная барышня и отъ всякой досады легко плакала.

За колкія шутки съ сестрою бабушка наказывала моего отца, а княжнѣ говорила:

— А у тебя, мой другъ, глаза слишкомъ на мокромъ мѣстѣ: отъ всякаго вздора ты плачешь; это значитъ дурной характеръ.

Дядя же князь Яковъ, не любившій никого раздражать, былъ чрезвычайно вѣжливъ съ сестрою, старался ей дѣлать услуги, и если она его за чѣмъ-нибудь посылала, то онъ бѣжалъ со всѣхъ ногъ, чтобъ исполнить это скорѣе, и, подавая княжнѣ требуемую вещь, непремѣнно цѣловалъ ея руку.

Княжна Анастасія тоже болѣе оказывала сочувствія своему брату Якову, чѣмъ моему отцу, котораго она, кажется, вовсе не любила; онъ не нравился ей своею рѣзвостію и слишкомъ смѣлыми манерами.

Манеры тогда были большимъ вопросомъ: ими у насъ, къ сожалѣнію, очень много занимались, пока, къ еще бо́льшему сожалѣнію, вдругъ вовсе перестали обращать на нихъ вниманіе. Отъ этого въ нашемъ обществѣ на смѣну непріятной манерности явилось потомъ поразительное неумѣніе держать себя въ кругу порядочныхъ людей, въ чемъ отличаются даже и тѣ, которымъ надо бы служить примѣромъ благовоспитанности для прочихъ. Бабушка и въ этомъ случаѣ имѣла мѣру: она знала, что дурной тонъ, дурная манера есть все то, что̀ неумѣстно и неизящно; но она не питала уваженія и къ изысканности, и даже смѣялась надъ петиметрствомъ.

— Это что такое,—говорила она:—не живой человѣкъ, а какой-то цирлихъ-манирлихъ, скрученъ, связанъ, по избѣ скачетъ; совсѣмъ нехорошо.

Тетушкѣ же это «цирлихъ-манирлихъ» нравилось: она сама была манерна и не любила слишкомъ живыхъ проявленій какихъ бы то ни было чувствъ, а потому братъ Дмитрій ей совсѣмъ былъ непріятенъ. Впрочемъ, между княжною и братьями было очень мало общаго: они только встрѣчались, видѣлись и больше ничего.

Сама княгиня говорила, что она любила обоихъ сыновей совершенно одинаково, но дядя князь Яковъ не разъ мнѣ говорилъ:

— Матушка твоего отца гораздо больше меня любила, что̀ и неудивительно, такъ какъ братъ Дмитрій вполнѣ того сто̀илъ: онъ былъ красота, и изъ красотъ красота, и всѣхъ лучшихъ дарованій полонъ. Его нельзя было больше всѣхъ не любить.

И я этому вѣрю: въ душѣ княгини Варвары Никаноровны было слишкомъ много артистическаго, что, вѣроятно,

влекло ее къ даровитому сыну. Притомъ же, можетъ-быть она, по дальновидности своего ума, и предусматривала, съ материнскою чуткостью, искушенія и опасности, которыя были удѣломъ моего отца. Съ выборами воспитателя для князей у бабушки была большая возня, составившая цѣлый эпизодъ въ ея жизни.

О приходящихъ учителяхъ, которые были приглашены княгинею къ дѣтямъ въ Петербургѣ, я не буду говорить: ихъ выборомъ бабушка много не стѣснялась, такъ какъ отъ нихъ требовалось только, чтобъ они умѣли преподавать. Окончивъ свои уроки, они уходили и особеннаго вліянія на образованіе воли и характеровъ дѣтей не могли имѣть. Другое дѣло воспитатели, которыхъ надо было принять въ домъ: тутъ обнаруживалась чрезвычайная осмотрительность, съ которою, повидимому, очень трудно было согласить выборъ Gigot. Однако, это только такъ казалось, въ существѣ Gigot былъ весьма удобенъ, потому что, доставляя практику французскаго языка, онъ былъ просто дядькою, на положеніи, нѣсколько повышенномъ для того, чтобъ его можно было сажать съ собою за столъ.

Всякій настоящій гувернеръ-французъ стремился бы внушать дѣтямъ свои мнѣнія и заводить какія-нибудь свои правила и порядки, а въ этомъ они съ княгинею не поладили бы. Но все-таки Gigot, каковъ онъ ни былъ, не разрѣшалъ собою вопроса о воспитателѣ. Княгиня все-таки искала человѣка, который могъ бы одинъ и воспитать, и обучить ея сыновей всему, что́ нужно знать образованнымъ людямъ· но гдѣ было найти такого человѣка?—вотъ задача!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Въ Россіи почти нѣтъ воспитанія, но воспитателей находятъ очень легко, а въ тѣ года, о которыхъ идетъ моя рѣчь, получали ихъ, пожалуй, еще легче: небогатые родители брали къ своимъ дѣтямъ или плоховатыхъ нѣмцевъ, или своихъ русскихъ изъ семинаристовъ, а люди болѣе достаточные держали французовъ или швейцарцевъ. Послѣдніе болѣе одобрялись и, дѣйствительно, были нѣсколько лучше.

Княгиня Варвара Никаноровна иностранцевъ не хотѣла брать, а семинаристовъ немножко боялась; они казались ей грубы и неотесаны, и притомъ, по ея наблюденіямъ, они

вообще очень дурно понимали долгъ и обязанности человѣка къ обществу.

По мнѣнію Ольги Ѳедотовны, бабушка не любила семинаристовъ за то, что, ходя съ отцами въ праздники по приходу, они ловятъ куръ и вообще очень обижаютъ крестьянъ, собирая съ нихъ безъ милосердія все, что̀ взять можно. Но бабушка знала, разумѣется, что и изъ семинаристовъ бываютъ исключенія, и при этомъ ей опять представлялся Сперанскій... Онъ очень занималъ ее.

Княгиня съ величайшимъ любопытствомъ обращалась съ разспросами о Сперанскомъ ко всѣмъ, отъ кого ей казалось возможнымъ узнать что-нибудь близко къ нему относящееся, и благодаря этому своему любопытству, познакомилась съ Х. І. Лазаревымъ и княземъ Мосальскимъ, которые не прерывали своихъ сношеній со Сперанскимъ и состояли съ нимъ въ перепискѣ. Встрѣтивъ въ княгинѣ большое сочувствіе, они давали ей читать получаемыя ими отъ Сперанскаго «дружескія письма», которыя бабушка собственноручно списывала себѣ въ особую тетрадь, и одинъ изъ нихъ вздумалъ черкнуть что-то Сперанскому о благоговѣющей предъ нимъ княгинѣ и о ея заботахъ о воспитаніи своихъ сыновей. Словцо это не осталось безъ отвѣта: Сперанскій въ своемъ отвѣтѣ благодарилъ всѣхъ, кто его добромъ помнитъ, и, распространясь слегка о воспитаніи, жалѣлъ, что у насъ въ Россіи хорошо воспитать юношу большая трудность. Тутъ шло сначала общее сравненіе воспитательнаго дѣла съ посѣвомъ, удача котораго зависитъ не отъ одной доброты сѣмянъ, почвы и обработки, но и отъ *атмосферы*, которая не въ нашей волѣ, а потомъ въ болѣе частномъ смыслѣ говорилось о педагогахъ, подготовка которыхъ признавалась несовершенною: «они-де малосвѣдущи, робки, низкопоклонны и мелочно придирчивы: они не любители свободы, но легко содѣйствуютъ своеволію».

Но что для княгини было всего дороже,—это небольшая приписочка въ post-scriptum, который слѣдовалъ тотчасъ за приведеннымъ разсужденіемъ. Приписка эта гласила слѣдующее:

«А что̀ сталося нынѣ съ моимъ семинарскимъ товарищемъ, Меѳодіемъ Миронычемъ Червевымъ? Мнѣ очень бы хотѣлось о немъ знать; онъ, кажется, пребываетъ въ тѣхъ краяхъ, гдѣ владѣетъ ваша княгиня».

Бабушка подозрѣвала, что этотъ Червевъ упомянутъ тутъ недаромъ: она видѣла въ этомъ тонкій намекъ и указаніе, куда ей надлежитъ устремить свои взоры, и она этому послѣдовала.

Къ немалой ея радости, но вмѣстѣ съ тѣмъ къ немалому ся и удивленію, оказалось, что Червевъ, дѣйствительно, жилъ въ уѣздномъ городѣ, который почти со всѣхъ сторонъ облегали земли княгини, и изъ людей, которые были съ нею въ Петербургѣ, два человѣка знали Червева лично: эти люди были Патрикѣй и Рогожинъ.

Свѣдѣнія, полученныя бабушкою о Червевѣ отъ Патрикѣя, заключались въ томъ, что Меѳодій Миронычъ былъ профессоромъ въ семинаріи, но «чѣмъ-то проштрафился» и, выйдя въ отставку, насилу добылъ себѣ мѣсто въ частномъ училищѣ въ ихъ городѣ. Червеву тогда было еще съ небольшимъ лѣтъ сорокъ и онъ былъ такъ здоровъ, что пришелъ изъ губерніи пѣшкомъ. Кромѣ того, онъ не мало удивилъ всѣхъ тѣмъ, что совсѣмъ не нанялъ себѣ квартиры, а присталъ въ училищѣ да такъ тамъ и остался: обѣдъ ему варилъ сторожъ, а спалъ онъ въ классѣ на столахъ. По субботамъ Червевъ аккуратно ходилъ въ губернскій городъ, гдѣ оставалась его жена и сынъ, обучавшійся въ гимназіи. Имъ онъ относилъ всѣ свои деньги, а на себя ничего почти не издерживалъ, только свеклу варилъ и ею одною питался. Въ гости Червевъ никогда ни къ кому не хаживалъ: гулялъ онъ обыкновенно около часа за городомъ по выгону, а потомъ возвращался назадъ въ училище и «списывалъ себѣ что-то изъ одной книги въ другую». Ученики и горожане любили Червева, но особеннаго въ немъ ничего не замѣчали, кромѣ того, что многіе думали, будто у него есть деньги да онъ ихъ бережетъ, потому что ни на что не тратилъ. На все онъ имѣлъ большое терпѣніе, кромѣ того, что недѣли не могъ провесть, не повидавшись съ сыномъ и съ женою, но и на это онъ опять ничего не расходовалъ. Какъ только въ субботу оканчивались въ училищѣ уроки, Червевъ выходилъ съ палочкою за заставу, снималъ сапоги и, перекинувъ ихъ на веревочкѣ за спину, шелъ за тридцать верстъ въ губернскій городъ. О заутрени онъ приходилъ туда, спрашивалъ у сына уроки, изъяснялъ ему, чего тотъ не понималъ, потомъ въ этотъ разъ обѣдалъ посытнѣе кушаньемъ, которое приготовляла жена, и о вечерни опять

съ тѣмъ же посошкомъ уходилъ въ уѣздный городишко къ мѣсту своего служенія: въ понедѣльникъ на зарѣ, когда сторожъ открывалъ дверь, чтобы выметать классы, Червевъ уже ждалъ его сидя на порожкѣ. Ни грязная осень, ни морозная зима и никакая случайная непогодь и распутица не прекращали этихъ еженедѣльныхъ прогулокъ. Вся разница, которую Червевъ допускалъ въ своихъ путешествіяхъ, во вниманіе ко временамъ года, заключалась въ томъ, что весною и лѣтомъ онъ ходилъ босикомъ, а осенью и зимой совершалъ весь свой путь въ лапоточкахъ. Нрава онъ былъ, по словамъ Патрикѣя, *самаго благополучнаго*, то-есть Червевъ всегда былъ счастливъ, а что дѣлало его счастливымъ, про то зналъ одинъ Богъ. Веселость не оставляла этого человѣка при самыхъ тяжелыхъ испытаніяхъ. Въ Отечественную войну, единственный его сынъ, окончивъ курсъ ученія, не совладѣлъ съ своимъ патріотическимъ чувствомъ и сталъ проситься въ военную службу. Червевъ, выслушавъ сына, сказалъ:

— Знаешь, что я тебѣ скажу: война—это убійство, но ты поступай, какъ знаешь.

Онъ посовѣтовалъ сыну только одно: матери объ этомъ ничего не сказывать и съ нею не прощаться. Ночью онъ самъ потихоньку выпроводилъ сына за городъ съ проѣзжими офицерами, которые обѣщали записать молодого человѣка въ полкъ, и потомъ, возвратясь къ женѣ, открылъ ей истину, горькую для ея материнскаго сердца. Нанеся этотъ ударъ своей подругѣ, Червевъ утѣшалъ ее, и очень успѣшно, тѣмъ, что могъ найти въ ея патріотическомъ чувствѣ, которое въ ней было если не выше материнскаго, то, по крайней мѣрѣ, въ уровень съ нимъ: она нашла облегченіе въ томъ, что молилась въ одной молитвѣ о сынѣ и о Россіи. Россія была спасена, а сынъ бѣдной женщины убитъ: мать этого не снесла, и Червевъ кругомъ осиротѣлъ. Онъ и это свое горе снесъ мужественно, безъ слезъ и безъ жалобъ, но только послѣ этого уже не захотѣлъ оставаться на своемъ мѣстѣ въ училищѣ, а забралъ свои толстыя книги, изъ которыхъ, по словамъ Патрикѣя, «все изъ одной въ другую списывалъ», и ушелъ изъ города.

— Куда?

На это Патрикѣй отвѣчалъ, что никому до этого нужды не было, и потому объ этомъ никто ничего не знаетъ.

— А намъ съ тобой объ этомъ надо будетъ узнать,— произнесла княгиня и дала рукой знакъ, чтобы Патрикѣй удалился.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Странное и притомъ не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе произвелъ этотъ разсказъ на бабушку. Ей не нравилось, что во всемъ этомъ отдаетъ какимъ-то чудачествомъ, и она усомнилась въ основательности своей догадки, что имя Червева упомянуто въ письмѣ Сперанскаго съ цѣлію сдѣлать ей указаніе на Меѳодія Мироныча.

Но, подумавъ немножко, бабушка, однако, пожелала еще разспросить о немъ Донкихота.

Дворянинъ въ это время былъ близко: онъ сидѣлъ предъ княгинею и клалъ свой пасьянсъ. Бабушка тотчасъ же вступила съ нимъ въ разговоръ.

— Полно тебѣ шлепать своими картами!—сказала она.— Давай поговоримъ.

— А? Поговоримъ... Хорошо, извольте... О чемъ поговоримъ?

— Ты вѣдь, разумѣется, тоже зналъ учителя Червева?

— Что за пустяки! Разумѣется, зналъ.

— Мнѣ кажется... что Патрикѣй мнѣ про него что-то вздора наговорилъ.

— Ну, разумѣется, какъ же можетъ Патрикѣй... Развѣ Патрикѣй можетъ его понимать? А что вы про него хотите знать?

— Все.

— Да я всего и самъ не знаю.

— Ну, говори просто: что онъ и какого сорта человѣкъ?

— Гм!.. по-моему, онъ человѣкъ перваго сорта.

— Съ какого края перваго?

— Да, да; вы правы, я не такъ сказалъ: онъ выше перваго, онъ го-человѣкъ.

— Что ты такое несешь?

— Я говорю, онъ го-человѣкъ; это, я думаю, всякому понятно что значитъ.

— Ну, а вообрази, что мнѣ это непонятно и говори толковъ: чѣмъ онъ отъ другихъ рознится?

— А чѣмъ рознится го-сотернъ отъ простого сотерна: то же вино да лучше. Онъ поумнѣе того, кто сто книгъ наизусть выучилъ.

— Кто это сто книгъ выучилъ?

— Я читалъ... былъ такой ученый... я это въ книгахъ читалъ.

— Батюшка, да вѣдь твоихъ книгъ, кромѣ тебя, никто не читывалъ! Ты объясни проще.

— Отчего же моихъ книгъ не читать? Что онѣ старыя, такъ это ничего не значитъ; а впрочемъ, я вамъ разскажу: это было въ Палестинѣ, когда о Святой Троицѣ спорили.

— Ну, вонъ оно куда пошло!

— Да вѣдь позвольте, пожалуйста: вѣдь это такъ-съ... тогда вѣдь, знаете, въ старину, какіе люди бывали: учились много, а не боялись ничего.

— Ну, хорошо—бывали и тогда разные люди, а ты не путай, а разсказывай! «Въ Палестинѣ жилъ ученый, который выучилъ наизусть сто книгъ...» Продолжай дальше!

— Да; а тамъ же, гдѣ-то въ пещерѣ, жилъ мудрецъ. Ученый и захотѣлъ показать мудрецу, что онъ много знаетъ; приходитъ къ нему въ пещеру и говоритъ: «Я сто книгъ выучилъ», а мудрецъ на него посмотрѣлъ и отвѣчалъ: «ты дуракъ».

— За что же онъ его такъ обидѣлъ?

— Да позвольте, вотъ видите, какъ вы поспѣшны: онъ его совсѣмъ не обидѣлъ, а хотѣлъ его ученость узнать, а ученый какъ только услыхалъ, что мудрецъ его дуракомъ назвалъ: взялъ палку и началъ мудреца бить.

— И Троица, и науки, и палкой дерутся... Ничего не разберу.

— Да вы подождите, вѣдь это вдругъ невозможно... Вотъ когда ученый мудреца отколотилъ, мудрецъ и заплакалъ.

— Больно, такъ и мудрецъ заплачетъ.

— Совсѣмъ не о томъ, что больно, а изъ сожалѣнія.

— Ничего не понимаю.

— Слушайте: мудрецъ заплакалъ и говоритъ ученому: «Ахъ, какой ты бѣдный, какъ ты дурно учился», а тотъ еще хуже разсердился и говоритъ:

— Чѣмъ я дурно учился: я сто книгъ выучилъ.

А мудрецъ отвѣчаетъ:

— Какъ же ты сто книгъ выучилъ, *а одно слово* непріятное услыхалъ и всѣ ихъ вдругъ позабылъ, и драться сталъ.

— Это онъ остро ему сказалъ.

— А какъ же? «иди, говоритъ, теперь снова учись». А Червевъ, что выучилъ, все постоянно помнитъ.

— А его тоже развѣ на такой манеръ экзаменовали?

— Еще бы!

— И дуракомъ называли?

— Ну, разумѣется: только вѣдь его кто какъ хочетъ обижай, онъ не обидится и своего достоинства не забудетъ.

— Да въ чемъ же его достоинство?

— Постигъ путь, истину и жизнь.

— Путь, истина и жизнь—это Христосъ.

— Онъ Его и постигъ.

Княгиня перестала разспрашивать; ея докладчики ее интересовали, но не удовлетворили ея любопытства.

Но каково же было ея удивленіе, когда тѣ, кому она передала результатъ своихъ неудачныхъ развѣдокъ о мѣстопребываніи Червева, отвѣтили ей, что мѣстопребываніе старика уже отыскано чрезъ Дмитрія Петровича Журавскаго, который не прерывалъ съ Червевымъ сношеній и зналъ, что этотъ антикъ теперь живетъ въ Курскѣ, гдѣ учитъ грамотѣ дѣтей и наслаждается дружбою «самоучнаго мѣщанина Семенова».

Княгиня слыхала и про Журавскаго, и про «самоучнаго мѣщанина Семенова», которые оба впослѣдствіи получили у насъ оригинальную извѣстность: первый какъ сотрудникъ Сперанскаго по изданію законовъ и потомъ искреннѣйшій аболиціонистъ, а второй какъ самоучка-астрономъ.

Имена этихъ двухъ людей, въ особенности имя Дмитрія Журавскаго, подняли въ глазахъ бабушки значеніе Червева. Какой-нибудь незначащій человѣкъ не могъ быть другомъ страстнаго любителя науки Семенова, и съ нимъ навѣрное не пересылался бы письмами Журавскій, освободительныя идеи котораго, впослѣдствіи неуспѣшно приложенныя имъ въ имѣніяхъ графа Перовскаго, хотя и держались въ секретѣ, но были немножко извѣстны княгинѣ. Къ слову о Журавскомъ, не лишнимъ считаю сказать, что бабушка никогда не боялась «освобожденія», и сама охотно толковала о томъ, что бытъ крѣпостныхъ невыносимо тяжелъ и что «несправедливость эту надо уничтожить». Правда, княгиня Варвара Никаноровна не думала о такомъ освобожденіи крѣпостныхъ, какое послѣдовало при Александрѣ Второмъ; это лучшимъ ея сверстникамъ не казалось возможнымъ.

Журавскій, посвятившій крестьянскому вопросу всю свою жизнь и *всѣ свои средства*, никогда въ лучшихъ своихъ мечтахъ не дерзалъ проектировать такъ, какъ это сдѣлалось... Великодушный человѣкъ этотъ соглашался еще оставить крестьянина помѣщичьимъ работникомъ, но только не рабомъ.

По крайней мѣрѣ такъ писано въ заготовленной Журавскимъ правительству запискѣ, которая нынѣ, вмѣстѣ съ другими бумагами покойнаго, хранится у того, кто пишетъ эти строки. Журавскій не мечталъ объ освобожденіи крестьянъ иначе какъ съ долговременною, *подготовительною* полосою, доколѣ крестьянинъ и его помѣщикъ выправятся умственно и нравственно. Теперь, когда Колумбово яйцо поставлено, всѣ эти примѣриванья, разумѣется, могутъ казаться очень неудовлетворительными, но тогда и такъ едва смѣли думать. Княгиня Варвара Никаноровна, находясь въ числѣ строго избранныхъ лицъ небольшого кружка, въ которомъ Журавскій первый разъ прочелъ свою записку «о крѣпостныхъ людяхъ и о средствахъ устроить ихъ положеніе на лучшихъ началахъ», слушала это сочиненіе съ глубочайшимъ вниманіемъ и, по окончаніи чтенія, выразила автору полное свое сочувствіе и готовность служить его заботамъ всѣмъ, чѣмъ она можетъ. Журавскій, однако, всѣхъ отклонялъ отъ участія въ этомъ дѣлѣ; онъ надѣялся провести все чрезъ В. Перовскаго, отъ имени котораго и должна была идти «записка». Но, тѣмъ не менѣе, все это настолько познакомило княгиню съ Журавскимъ, что она не затруднилась обратиться къ нему за разспросами о Червевѣ. Хворый Журавскій, съ своими длинными золотушными волосами и перевязаннымъ черною косынкою ухомъ, явился къ княгинѣ по ея зову, и на ея вопросъ о Червевѣ отвѣчалъ:

— Онъ человѣкъ очень ученый.

— Какого духа онъ?—спросила бабушка.

Собесѣдникъ княгини поежился, поправилъ черную перевязь на своемъ больномъ лицѣ и отвѣчалъ:

— Слишкомъ возвышеннаго.

— Извините,—молвила бабушка: — я не понимаю, какъ человѣкъ можетъ быть *слишкомъ* возвышенъ?

— Когда онъ, имѣя высокій идеалъ, ничего не уступаетъ условіямъ времени и необходимости.

— Червевъ таковъ?

— Да, онъ таковъ.

— Чего жъ онъ хочетъ?

— Всеобщаго блага народнаго.

— Онъ знаетъ ваши заботы?

— Да.

— Вы съ нимъ совѣтовались?.. Извините меня, Бога ради, что я васъ такъ разспрашиваю.

— Ничего-съ; да, я съ нимъ совѣтовался, мы съ нимъ были объ этомъ въ перепискѣ, но теперь я это оставилъ.

— Почему?

Журавскій опять взялся за перевязь.

— Бога ради... я васъ прошу, извините мнѣ мои вопросы, мнѣ это очень нужно!

— Онъ нехорошо на меня дѣйствуетъ, онъ очень благоразуменъ, но все, что составляетъ цѣль моей жизни, онъ считаетъ утопіею... Онъ охлаждаетъ меня.

— Онъ нерасположенъ къ этому дѣлу?

— Нѣтъ; но у него очень сильна критика...

— Въ чемъ же онъ критикуетъ вашу записку?

— Онъ вмѣсто отвѣта надписалъ просто, что въ возможность освобожденія по волѣ владѣльцевъ не вѣритъ.

— Во что же онъ вѣритъ?

— Въ то, что это сдѣлаемъ не мы.

— А кто же?

— Или сами крестьяне, или самодержавная воля съ трона.

И бабушка, и ея собесѣдникъ умолкли.

— Что же?—тихо молвила послѣ паузы княгиня:—знаете, можетъ-быть, онъ и правъ.

— Быть-можетъ.

— Наше благородное сословіе... ненадежно.

— Да, въ немъ мало благородства, — поспѣшно оторвалъ Журавскій.

— И разсудительности,—подтвердила княгиня;—но скажите мнѣ, пожалуйста, почему этотъ Червевъ, человѣкъ, какъ говорите, съ такимъ умомъ...

— Большимъ,—перебилъ Журавскій.

— И съ образованіемъ...

— Совершеннымъ.

— Почему онъ живетъ въ такомъ уничиженіи?

Журавскій бросилъ на бабушку недовольный взглядъ.

— Извините,—сказала бабушка.

— Ничего-съ; мнѣ только странно, о чемъ вы спросили: «Червевъ въ уничиженіи»... Что же васъ въ этомъ удивляетъ? Онъ потому и въ уничиженіи, что онъ всего менѣе его заслуживаетъ.

— Это превредно, что у насъ быть честнымъ такъ опасно и невыгодно.

— Вездѣ такъ,—буркнулъ, подвинувъ свою повязку, Журавскій.

— Нѣтъ; у насъ особенно не любятъ людей, которыхъ уважать надо: они намъ какъ бы укоромъ служатъ, и мы, русскіе, на этотъ счетъ всѣхъ хуже; но все-таки... неужто же этотъ Червевъ такъ во всю жизнь нигдѣ не могъ мѣста занять?

— Онъ былъ профессоромъ.

— Я это слышала, но что же... съ чѣмъ онъ тамъ не управился?

— Читалъ исторію, и не годился.

— Почему?

— Хотѣлъ ее читать какъ должно...

— Что̀ выдумалъ!.. Его отставили?

— Смѣнили; онъ взялъ другой предметъ, сталъ преподавать философію, его совсѣмъ отставили. Онъ ушелъ.

— Зачѣмъ же?

— Нашелъ, что лучше учить азбукѣ какъ должно, лучше чѣмъ учить исторіи и философіи какъ не надобно.

— И съ тѣхъ поръ бѣдствуетъ?

— Бѣдствуетъ?.. Не знаю, онъ ни на что не жалуется.

— Это удивительный человѣкъ.

— Да, онъ—*человѣкъ*.

— Что вы думаете, если я попрошу его взяться за воспитаніе моихъ дѣтей?

— Я думаю, что вы не можете сдѣлать лучшаго выбора, если только...

— Что?.. Вы мнѣ скажите откровенно.

— Если вы не хотите сдѣлать изъ вашихъ сыновей ни офицеровъ...

— Нѣтъ.

— Ни царедворцевъ...

— О нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ,—и бабушка окрестила передъ собою на три стороны воздухъ.

— А если вы желаете видѣть въ нихъ *людей*...

— Да, да; простыхъ, добрыхъ и честныхъ людей, людей съ познаніями, съ религіей и съ прямою душою.

— Тогда Червевъ вамъ кладъ, но...

— Что еще?

— Червевъ христіанинъ.

Говорившіе переглянулись и помолчали.

— Это остро,—произнесла тихо княгиня.

— Да,—еще тише согласился Журавскій.

— Настоящій христіанинъ?

— Да.

— Желаю довѣрить ему моихъ дѣтей.

— Я напишу ему.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Занятая призваніемъ Червева, княгиня не замѣчала многаго, на что̀ во всякое другое время она навѣрно обратила бы свое вниманіе. Упущенія этого рода особенно выражались по отношенію къ княжнѣ Анастасіи, которая, не входя въ интересы матери и не понимая ея хлопотъ и нетерпѣнія, находила въ это время свой домъ особенно скучнымъ. На *свѣтъ*, конечно, нельзя было жаловаться, *свѣтъ* не отрекался отъ княгини и посѣщалъ ее, но княжнѣ этого было мало: ей хотѣлось предаться ему всѣмъ своимъ существомъ.

Семнадцатилѣтняя княжна рѣшила какъ можно скорѣе оставить материнъ домъ. Выходъ представлялся одинъ—замужество. Княжна Анастасія никого не любила, ей даже никто не нравился, ей было все равно, за кого бы ее судьба ни вынесла, лишь бы поскорѣе, лишь бы заставить завидовать себѣ своихъ подругъ, уѣхать за границу, а возвратясь оттуда, жить открытымъ домомъ и дѣлать то же, что̀ дѣлаютъ другіе, то-есть «выѣзжать въ свѣтъ», къ чему бабушка была рѣшительно неспособна и откровенно въ этомъ сознавалась, говоря, что:

— Я въ каретѣ не могу жить.

Словомъ, требованія княжны въ отношеніи брака были самыя несложныя, и если бы выборъ жениха зависѣлъ отъ нея самой, то трудно рѣшить, кого бы она выбрала, но за нее выбирала благочестивая и благопомощная графиня Хотѣтова.

Въ домѣ графини давно вздыхали о княжнѣ Анастасіи, «терзавшейся въ рукахъ *безвѣрной матери*», вздыхала «объ этой мученицѣ» сама хозяйка, вздыхали ея гости, и, наконецъ, кому-то изъ нихъ пришла геніальная мысль вырвать княжну у матери и выдать ее замужъ, нимало не медля.

Сначала это представлялось какъ будто затруднительнымъ, но недаромъ, видно, сказано, что «въ Россіи невозможности нѣтъ»: когда графинѣ была представлена опасность, которая заключалась въ томъ, что мать можетъ выдать неопытную княжну за человѣка безъ вѣры, графиня въ виду этого страха рѣшилась на смѣлую мѣру и восторжествовала. Жалуясь на княгиню цѣлому свѣту и стараясь, чтобы жалобы эти ни въ какомъ углѣ не застряли, а взмывали все выше и выше, графиня Антонида получила право разсчитывать на тонкое, но могущественное содѣйствіе такого лица, которому, какъ она неложно вѣрила, въ Россіи никто отказать не въ силахъ. По свѣдѣніямъ, которыя она особеннымъ образомъ получала отъ княжны Анастасіи, она знала, что «бѣдное дитя» такъ измучено, что готово выйти замужъ за кого угодно, но притомъ она такъ благоразумна и покорна, что считаетъ лучшимъ для себя женихомъ того, кого ей изберетъ благочестивая графиня Антонида.

Теперь этой «святой женщинѣ» предстояло только избрать жениха княжнѣ, но это ей было не трудно: женихъ уже былъ готовъ: онъ самъ избралъ себя въ это званіе и ему же принадлежалъ и весь объясненный мною планъ, который графиня считала своимъ только по самообольщенію. Женихъ этотъ былъ не кто иной, какъ давно намъ знакомый графъ Василій Александровичъ Функендорфъ, ни за что не желавшій разстаться съ Протозановскими маетностями. Потерявъ надежду жениться на матери, графъ устремилъ свои взоры на дочь: эта затѣя представляла не мало трудностей, но зато она казалась вполнѣ достижимою: путь, на который графъ навелъ богомольную графиню, былъ вѣренъ, а выборъ ея не могъ пасть ни на кого другого. Графиня была имъ заинтересована и притомъ съ самой важной для нея стороны: она знала графа за человѣка наилучшихъ правилъ; за нимъ не было слышно никакихъ интригъ и онъ былъ очень религіозенъ. Несмотря на то, что онъ исповѣдывалъ лютеранскую вѣру, графиня сама видѣла его въ

православной церкви. Графъ даже признался ей, что онъ тяготится сухостью лютеранизма и высоко ставитъ превосходную теплоту восточнаго богослуженія; чувствуетъ молитвенное настроеніе только въ русской церкви и не вѣритъ возможности умолить Бога безъ посредства святыхъ, изъ которыхъ особенно чтитъ святого Николая.

Графиня Антонида заказала извѣстному тогда иконописцу Озерову образъ Мирликійскаго святителя, убрала его ризу бирюзой и брильянтами и послала графу. Вмѣстѣ съ иконою была препровождена и дорогая серебряная лампада. Графъ въ слезахъ прилетѣлъ благодарить графиню. Они оба плакали отъ умиленія. Потомъ вскорѣ графъ заболѣлъ и не хотѣлъ лѣчиться: слухи объ этомъ достигли графини, и она сама поѣхала навѣстить «друга». Другъ встрѣтилъ ее снова въ слезахъ и повелъ показывать «свою убогую келью». Тутъ графиня увидала свою икону въ высокомъ кіотѣ, предъ которымъ стоялъ аналой и горѣла подаренная графинею лампада. Графиня Антонида была взволнована, а графъ еще болѣе ее растрогалъ, сказавъ, что онъ никому не дозволяетъ касаться этой лампады и зажигаетъ ее самъ... Мало этого, говорятъ, будто старый грѣховодникъ, прося снисхожденія своему чудачеству, открылъ графинѣ, что святитель Николай есть единственный его врачъ, а горящая предъ иконою святого лампада единственная аптека.

— Другъ мой! — воскликнула со слезами графиня: — развѣ это чудачество? Вотъ это только и есть вѣра и награда!

Графиня Антонида всегда соединяла *«вѣру съ наградой»*, и это въ такой степени прямо относилось къ главнымъ заботамъ ея жизни, что она даже хлопотала объ учрежденіи въ Россіи особаго знака отличія *за вѣру*, и удивлялась холодности, съ какою въ высшихъ инстанціяхъ отклоняли ея представленія объ орденѣ вѣрныхъ.

Съ тѣхъ поръ какъ графъ явилъ ей вѣру свою во всемъ блескѣ, графиня только и думала о томъ, чтобы наградить его и въ то же время спасти его драгоцѣнную душу присоединеніемъ ее отъ ереси Лютера ко греко-восточному православію. Съ этою цѣлію графиня возила его въ пустынь Св. Сергія за Петербургомъ и къ чудотворцамъ Великаго Новгорода и даже на Валаамъ... Графъ всюду ѣздилъ и вездѣ усердно молился и блюлъ, въ присутствіи графини,

Въ домѣ графини давно вздыхали о княжнѣ Анастасіи, «терзавшейся въ рукахъ *безвѣрной матери*», вздыхала «объ этой мученицѣ» сама хозяйка, вздыхали ея гости, и, наконецъ, кому-то изъ нихъ пришла геніальная мысль вырвать княжну у матери и выдать ее замужъ, нимало не медля.

Сначала это представлялось какъ будто затруднительнымъ, но недаромъ, видно, сказано, что «въ Россіи невозможности нѣтъ»: когда графинѣ была представлена опасность, которая заключалась въ томъ, что мать можетъ выдать неопытную княжну за человѣка безъ вѣры, графиня въ виду этого страха рѣшилась на смѣлую мѣру и восторжествовала. Жалуясь на княгиню цѣлому свѣту и стараясь, чтобы жалобы эти ни въ какомъ углѣ не застряли, а взмывали все выше и выше, графиня Антонида получила право разсчитывать на тонкое, но могущественное содѣйствіе такого лица, которому, какъ она неложно вѣрила, въ Россіи никто отказать не въ силахъ. По свѣдѣніямъ, которыя она особеннымъ образомъ получала отъ княжны Анастасіи, она знала, что «бѣдное дитя» такъ измучено, что готово выйти замужъ за кого угодно, но притомъ она такъ благоразумна и покорна, что считаетъ лучшимъ для себя женихомъ того, кого ей изберетъ благочестивая графиня Антонида.

Теперь этой «святой женщинѣ» предстояло только избрать жениха княжнѣ, но это ей было не трудно: женихъ уже былъ готовъ: онъ самъ избралъ себя въ это званіе и ему же принадлежалъ и весь объясненный мною планъ, который графиня считала своимъ только по самообольщенію. Женихъ этотъ былъ не кто иной, какъ давно намъ знакомый графъ Василій Александровичъ Функендорфъ, ни за что не желавшій разстаться съ Протозановскими маетностями. Потерявъ надежду жениться на матери, графъ устремилъ свои взоры на дочь: эта затѣя представляла не мало трудностей, но зато она казалась вполнѣ достижимою: путь, на который графъ навелъ богомольную графиню, былъ вѣренъ, а выборъ ея не могъ пасть ни на кого другого. Графиня была имъ заинтересована и притомъ съ самой важной для нея стороны: она знала графа за человѣка наилучшихъ правилъ; за нимъ не было слышно никакихъ интригъ и онъ былъ очень религіозенъ. Несмотря на то, что онъ исповѣдывалъ лютеранскую вѣру, графиня сама видѣла его въ

православной церкви. Графъ даже признался ей, что онъ тяготится сухостью лютеранизма и высоко ставитъ превосходную теплоту восточнаго богослуженія; чувствуетъ молитвенное настроеніе только въ русской церкви и не вѣритъ возможности умолить Бога безъ посредства святыхъ, изъ которыхъ особенно чтитъ святого Николая.

Графиня Антонида заказала извѣстному тогда иконописцу Озерову образъ Мирликійскаго святителя, убрала его ризу бирюзой и брильянтами и послала графу. Вмѣстѣ съ иконою была препровождена и дорогая серебряная лампада. Графъ въ слезахъ прилетѣлъ благодарить графиню. Они оба плакали отъ умиленія. Потомъ вскорѣ графъ заболѣлъ и не хотѣлъ лѣчиться: слухи объ этомъ достигли графини, и она сама поѣхала навѣстить «друга». Другъ встрѣтилъ ее снова въ слезахъ и повелъ показывать «свою убогую келью». Тутъ графиня увидала свою икону въ высокомъ кіотѣ, предъ которымъ стоялъ аналой и горѣла подаренная графинею лампада. Графиня Антонида была взволнована, а графъ еще болѣе ее растрогалъ, сказавъ, что онъ никому не дозволяетъ касаться этой лампады и зажигаетъ ее самъ... Мало этого, говорятъ, будто старый грѣховодникъ, прося снисхожденія своему чудачеству, открылъ графинѣ, что святитель Николай есть единственный его врачъ, а горящая предъ иконою святого лампада единственная аптека.

— Другъ мой! — воскликнула со слезами графиня: — развѣ это чудачество? Вотъ это только и есть вѣра и награда!

Графиня Антонида всегда соединяла *«вѣру съ наградой»*, и это въ такой степени прямо относилось къ главнымъ заботамъ ея жизни, что она даже хлопотала объ учрежденіи въ Россіи особаго знака отличія *за вѣру*, и удивлялась холодности, съ какою въ высшихъ инстанціяхъ отклоняли ея представленія объ орденѣ вѣрныхъ.

Съ тѣхъ поръ какъ графъ явилъ ей вѣру свою во всемъ блескѣ, графиня только и думала о томъ, чтобы наградить его и въ то же время спасти его драгоцѣнную душу присоединеніемъ ее отъ ереси Лютера ко греко-восточному православію. Съ этою цѣлію графиня возила его въ пустынь Св. Сергія за Петербургомъ и къ чудотворцамъ Великаго Новгорода и даже на Валаамъ... Графъ всюду ѣздилъ и вездѣ усердно молился и блюлъ, въ присутствіи графини,

посты, отъ которыхъ былъ свободенъ по уставамъ своей церкви, и даже, соревнуя другимъ фаворитамъ графини, начиналъ обличать замѣчательное для тогдашняго времени знакомство съ византизмомъ. Будучи немножко музыкантъ, онъ скоро научился отличать настоящіе восточные напѣвы отъ безстильныхъ нововведеній Сарти, которыми незадолго передъ тѣмъ такъ основательно была перепорчена наша церковная музыка и выправленіемъ которыхъ въ это время занимался Бортнянскій. Графъ даже самъ написалъ трехголосную Херувимскую, модуляціи которой развивались изъ анакреонтическихъ напѣвовъ, сохранившихся по преданію въ пѣсняхъ пасхальнаго канона. Злые языки увѣряли, будто графъ заказалъ эту Херувимскую какому-то музыкальному еврею въ Вѣнѣ, но никто точныхъ справокъ объ этомъ не наводилъ, да онѣ и не требовались, а весьма недурно поддѣланная вѣнскимъ евреемъ Херувимская прекрасно исполнялась петербургскими пѣвчими на клиросѣ домовой церкви графини Антониды... Словомъ, хотя при графинѣ Антонидѣ всякій старался если не быть, то казаться богомольнымъ и вѣрующимъ, чтобы «хватить ея благодати» (какъ это говорили тогдашніе циники), но никому не удавалось «хватить» такъ, какъ графу Василью Александровичу: онъ былъ всѣхъ вѣрующѣе и потому былъ всѣхъ ближе и всѣхъ дороже графинѣ. Отсюда легко понять, какъ больно ей было, что душа этого человѣка все-таки будетъ мучиться въ адѣ, такъ какъ графиня *по своей вѣрѣ* знала, что лютеранъ непремѣнно сгонятъ въ адъ и въ другое мѣсто мѣшаться не пустятъ.

Графъ ничего не приводилъ въ опроверженіе этого мнѣнія: онъ, повидимому, и самъ раздѣлялъ опасеніе попасть въ адъ, но только онъ не могъ перемѣнить вѣры, потому что имѣлъ такой взглядъ, что честный человѣкъ обязанъ жить и умереть въ той религіи, въ какой онъ родился. Этимъ честный человѣкъ будто бы оказываетъ достаточное уваженіе религіи своихъ отцовъ, которой затѣмъ онъ можетъ въ сущности не держаться и даже издѣваться надъ тѣми, кто ее держитъ... Выходила извѣстная безтолковщина, которую, впрочемъ, люди равнодушные къ вопросамъ совѣсти называютъ «правилами».

Отступленіе отъ этихъ правилъ графъ считалъ позволительнымъ только въ томъ единственномъ случаѣ, когда для

человѣка возникаютъ новыя обязательства къ существамъ, съ которыми онъ долженъ искать полнаго единенія, для которыхъ человѣкъ обязанъ «оставить отца и мать». Такое существо, разумѣется, жена. Высоко ставя принципъ семейный, графъ говорилъ, что онъ считаетъ въ высшей степени вреднымъ, чтобы члены одной и той же семьи держались разныхъ религіозныхъ взглядовъ и принадлежали къ разнымъ церквамъ.

Было ясно, что для пріобрѣтенія этого человѣка существовало одно средство—женить его на православной дѣвушкѣ; но, къ сожалѣнію, графъ находилъ эту мысль уже слишкомъ для себя запоздалою, такъ какъ онъ былъ вдовъ и ему было уже около пятидесяти лѣтъ.

Сколько разъ ни наводила графиня Антонида разговоръ съ графомъ на эту тему, онъ былъ непреклоненъ и съ серьезною скромностію указывалъ на то, что его сынъ отъ перваго брака готовился надѣть эполеты.

Свое ухаживанье за княгиней Варварой Никаноровной, а тѣмъ болѣе свое неудачное сватовство къ ней графъ, разумѣется, хранилъ въ глубочайшемъ секретѣ—объ этомъ никто не зналъ, кромѣ бабушки, а та была скромна не менѣе самого графа. Да притомъ, можетъ-быть, если бы княгиня объ этомъ и проговорилась, то ей едва ли бы повѣрили. Въ тотъ разъ, при покушеніи на руку твердой и самостоятельной княгини, графъ не могъ имѣть никакихъ пособниковъ: тамъ онъ долженъ былъ дѣйствовать самъ, но теперь онъ держался иной, болѣе безопасной тактики. Графъ предоставлялъ до всего додуматься графинѣ Антонидѣ и ей же дарилъ весь починъ дѣла: она должна была вызнать мысли княжны, внушить ей симпатію къ этому плану; забрать ее на свою сторону и, увѣрясь, что княжна въ случаѣ рѣшительнаго вопроса дастъ рѣшительный же отвѣтъ въ желанномъ духѣ, графъ предоставлялъ Хотѣтовой упросить и уговорить его на этотъ бракъ; а ему тогда останется только согласиться или не согласиться.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Планъ оказался вѣренъ во всѣхъ деталяхъ, а исполнители его своею смѣлостью и тактомъ превзошли всѣ ожиданія прозорливаго графа. О княгинѣ во всѣ звоны звонили какъ о женщинѣ тяжелой, злой и даже вольнодумкѣ: поло-

женіе ея дочери представлялось страдальческимъ и взывающимъ къ защитѣ... Самъ графъ во весь этотъ промежутокъ, повидимому, былъ такъ далекъ отъ всей затѣи, какъ только можно было себѣ представить: онъ даже рѣже чѣмъ прежде бывалъ теперь у Хотѣтовой, но зато чаще посѣщалъ княгиню Варвару Никаноровну, которая съ пылкимъ восторгомъ повѣряла ему свои радости, заключавшіяся въ открытіи ею Червева.

Графъ, къ чести его сказать, умѣлъ слушать и умѣлъ понимать, что интересуетъ человѣка. Княгиня находила удовольствіе говорить съ нимъ о своихъ надеждахъ на Червева, а онъ не разрушалъ этихъ надеждъ и даже частію укрѣплялъ ихъ. Я увѣрена, что онъ въ этомъ случаѣ былъ совершенно искрененъ. Какъ нѣмецъ, онъ могъ интриговать во всемъ, что касается обихода, но въ дѣлѣ воспитанія онъ не сказалъ бы лживаго слова.

Словомъ, княгиня во все это время находилась съ графомъ въ лучшихъ отношеніяхъ, а межъ тѣмъ вокругъ ея широко облегала ловкая интрига, которой бабушка рѣшительно не замѣчала. Но зато, каково же было ея изумленіе и негодованіе, когда все это перестало таиться, и вдругъ выступило на нее въ атаку.

Бабушка была взята врасплохъ: это случилось на большомъ званомъ вечерѣ, гдѣ были и княгиня, и ея дочь. Сватъ, о которомъ въ домѣ Хотѣтовой было сказано, что «ему никто не отказываетъ», подошелъ къ княгинѣ съ улыбкой и сказалъ:

— Я къ вамъ сватомъ, княгиня, — чтобы смягчить значеніе этихъ словъ, онъ добавилъ извѣстную простонародную фразу: — у васъ товаръ, у меня купецъ.

Княгиня была поражена этою неожиданностію. Дочери возлѣ нея въ эту минуту не было: она танцовала въ залахъ.

Княгиня, стоя передъ тѣмъ, кто говорилъ съ нею, глядѣла въ его лицо и читала по его глазамъ, что ему на нее что-то наговорено: въ ласковыхъ и немного скучающихъ глазахъ чуть замѣтно блестѣли извѣстные холодные блики.

Бабушка отвѣчала тою же простонародною рѣчью:

— По засылу судя гость товара достойнѣе; но живой товаръ долженъ самъ говорить.

— Дочь ваша согласна: попросите сюда княжну.

Взволнованная рѣзвымъ танцемъ княжна предстала; со

спросили: она была согласна. Кто же былъ женихъ? Княгиня видѣла Функендорфа и не вѣрила своимъ глазамъ. Ей казалось, что ее обманываютъ разомъ всѣ ея чувства, что все это не дѣйствительность, а какой-то нелѣпый сонъ, въ которомъ и она бредила и теперь бредятъ всѣ, спѣша приносить свои поздравленія ей, княжнѣ и Функендорфу.

Но это не былъ сонъ: это была самая существенная дѣйствительность, всю силу и все значеніе которой княгиня вполнѣ ощутила только тогда, когда, измученная своею ролью въ продолженіе вечера, она сѣла въ карету и, обхвативъ руками голову дочери, прижала ее къ своей груди и зарыдала.

Княжна была гораздо покойнѣе, — это и было понятно: бабушка искала во всемъ, что случилось, своей вины, а княжна не видала въ случившемся ничего, кромѣ торжества своей правоты и окончанія своего житья въ домѣ, котораго *всѣ* порядки не нравились ей, утомили ее и впереди не обѣщали ей ничего, кромѣ того же недовольства. Княгиня видѣла въ неожиданномъ сегодняшнемъ происшествіи страшное коварство, которое не пощадило ничего, а княжна видѣла во всемъ этомъ благородное заступничество за ея тяжелую долю; княгинѣ былъ эстетически противенъ поступокъ человѣка, который метался съ своею рукой отъ нея къ дочери; княжна этого обстоятельства даже не подозрѣвала и притомъ не могла и оцѣнить всей важности шага, на который дала свое безповоротное согласіе.

— Настя! другъ мой! — проговорила княгиня, сжимая дочь въ своихъ объятіяхъ:—насъ разлучаютъ...

Княжна тихо заплакала.

— Тебя обманули, Настя... меня обманули... насъ всѣхъ обманули!

— Кто, maman?—прошептала княжна.

— Не знаю, не знаю кто; но обманули.

И княгиня, выпустивъ голову дочери, закрыла руками лицо и снова зарыдала въ платокъ.

— Не знаю кто,—продолжала она, немножко успокоясь, черезъ минуту:—тебѣ это, можетъ-быть, больше извѣстно.

Съ этимъ словомъ княгиня вдругъ круто оборотилась въ сторону дочери: та сидѣла, прижавшись въ углу кареты, и послѣ нѣкоторой паузы тихо выговорила:

— Я ничего не знаю.

Въ тонѣ этого отвѣта не было никакой искренности, — онъ звучалъ фальшью.

— Ты жаловалась на меня кому-нибудь?

— Нѣтъ.

— Можетъ быть теткѣ... графинѣ Антонидѣ Павловнѣ?

— Нѣтъ, maman,—я ничего не говорила графинѣ.

Бабушка снова привлекла къ себѣ княжну и, вздохнувъ, поцѣловала ее въ лобъ, въ глаза и въ губы и перекрестила: она какъ нельзя яснѣе слышала, что дочь лжетъ, но ни о чемъ ее болѣе не разспрашивала.

Карета остановилась у подъѣзда, и онѣ вошли въ пространное entrée и рядомъ поднялась на лѣстницу.

Перейдя залъ и гостиныя комнаты, княгиня остановилась у дверей своей спальни и спросила:

— Ты устала, Настя?

— Да, maman.

— Такъ прощай; иди въ свою комнату.

— Перекрестите же меня.

— Ахъ, да: прости меня.

Она подошла къ своему образнику, вынула оттуда небольшой серебряный складень и, благословивъ имъ невѣсту, сказала:

— Возьми это къ себѣ: передъ этимъ складнемъ отецъ твой молился за часъ до смерти: молись и ты, — молитва очищаетъ сердце.

Съ этимъ бабушка благословила дочь образомъ, поцѣловала ее въ голову и, отколовъ бѣлую розу съ ея груди, помѣстила цвѣтокъ въ образникѣ на мѣсто, откуда былъ снятъ складень.

У княжны снова блеснули слезы: она обняла мать и, поцѣловавъ ее, вышла, держа въ одной рукѣ зажженую свѣчу, а въ другой складень.

Княгиня все молча стояла и все глядѣла на дверь, въ которую вышла дочь.

Душевное состояніе бабушки было, вѣроятно, очень тяжело,—она о немъ никому ничего не говорила, но о немъ можно было судить по цѣлому ряду не совсѣмъ правильныхъ и вовсе необдуманныхъ *нервныхъ дѣйствій*, выразившихся въ слѣдующемъ.

Княгиня, во-первыхъ, по словамъ Ольги Ѳедотовны, долго стояла на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ перекрестила

дочь и отдала ей складень. Во все это время она была какъ въ столбнякѣ: она не сводила глазъ съ двери и не слыхала, какъ Ольга Ѳедотовна два раза предлагала ей раздѣваться.

Потомъ она безъ всякой видимой причины вдругъ сильно вздрогнула, такъ что даже покачнулась на мѣстѣ и, замѣтивъ при этомъ Ольгу, окинула ее строгимъ взглядомъ и сказала:

— Что ты здѣсь... подсматриваешь, что ли, за мною?

— Я жду раздѣть васъ.

— Хорошо; я раздѣнусь.

И когда Ольга Ѳедотовна приступила дѣлать бабушкинъ почной туалетъ, та, стоя къ ней спиной, всплеснула руками и, сжавъ ихъ у себя на темени, громко воскликнула:

— Тяжело, Господи, пощади! — и съ этимъ опустилась въ кресло.

Черезъ минуту она, совсѣмъ раздѣтая, перешла комнату и, упавъ въ постель, велѣла унести свѣчу. Но чуть Ольга вышла, бабушка постучала ей въ стѣну. Ольга возвратилась и стала въ ногахъ кровати. Княгиня, не оборачиваясь отъ стѣны, проговорила:

— Ты знаешь новость?

— Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство.

— Наша княжна выходитъ замужъ.

Ольга Ѳедотовна не спросила, кто женихъ, но бабушка сама ей это пояснила:

— Княжна выходитъ за графа Функендорфа. Слышишь?

— Слышу-съ.

— Нравится тебѣ это?

Ольга молчала.

— Старому коту молоденькая мышка... Знать, и старые коты ловки.

Ольга мнѣ разсказывала:

— Я послѣ этого такъ потихоньку и вышла, но и я всю ночь не спала и слышала, что и она ни на минуту не заснула, и утромъ раньше меня встала и пресердитая. Я знала, что съ ней въ это время нельзя бы разговаривать и побѣжала къ княжнѣ, чтобы узнать, что̀ сталося? А княжна тоже, какъ были вчера одѣты, такъ только платье сбросили, такъ и спятъ на кроваткѣ. Я, здѣсь ничего не узнавши, да бѣгу къ Патрикѣю Семенычу, чтобы съ его умомъ по-

совѣтоваться, да какъ разъ въ угольной наскочила, что княгиня,—чего никогда не бывало,—въ утреннемъ капотѣ стоятъ, а передъ ними бѣдный Жигошка и на колѣняхъ вертится, и ручонки ломаетъ, и къ небу таращится и самъ плачетъ.

— Экскюзе, муа! кричитъ,—экскюзе!

Я, разумѣется, догадалась, что тутъ уже не насчетъ здоровья, а что-нибудь поважнѣе,—взяла да за дверь спряталась, а какъ она Жигошу отпустила, а я его въ коридорчикѣ и изловила за рукавъ и говорю:

— Что̀ ты, шальной, сдѣлалъ?

— Ахъ, говоритъ, — шеръ Ольга Ѳедотъ, я самъ теперь наплётъ, валекъ и деревянная баба: я письмо носилъ...

— Какое ты письмо, куда носилъ?

— Много, много письма носилъ.

— Да куда, отъ кого, безтолковая голова?

— Отъ пренсессъ...

Я разсердилась.

— Ахъ, говорю, — ты шелапутъ! Недаромъ, говорю, — видно Патрикѣй Семенычъ говорилъ, что ты почтальонъ,— вотъ такъ и вышло! Да какъ же, говорю,—ты это посмѣлъ сдѣлать? Вѣдь тебя за это сейчасъ со двора долой, да еще псомъ пріуськнуть. Развѣ это можно, чтобъ отъ дѣвицы къ мужчинѣ письма переносить?

Но онъ забожился:

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, говоритъ,—шеръ Ольга Ѳедотъ,— не къ мужчинѣ, а къ брафинь.

Я догадалась, что это къ Хотѣтовшѣ, и стала спокойнѣе,—только спросила его:

— Простила ли тебя княгиня?

Онъ говоритъ:

— Простила, но только, говоритъ,—я теперь послѣ такой революцій,—экскюзе.

— Ну, молъ, бѣжи скорѣе да поменьше нынче съ дѣтьми-то у ней на глазахъ вертись, — нынче здѣсь еще много грому будетъ.

Онъ залопоталъ: «все понимай, все понимай, экскюзе!» и убѣжалъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Ольга Ѳедотовна была хорошій барометръ для опредѣленія домашней атмосферы: она какъ нельзя болѣе основа-

тельно предсказывала грозу и напрасно старалась отвести ее своими отводами, въ родѣ совѣтовъ, данныхъ ею Gigot и увѣщаній «не сердить княгиню», нашептанныхъ по всему дому. Бабушка, сознавшаяся вчера съ вечера самому Богу, что ей очень тяжело, была слишкомъ наэлектризована вчерашнимъ происшествіемъ и не могла не разразиться. Утреннее признаніе, которое она вырвала у Gigot, еще болѣе увеличило зарядъ: Gigot сознался, что онъ каждое воскресенье, уходя къ компатріотамъ, носилъ какія-то письма отъ княжны къ Хотѣтовой. Что онъ дѣлалъ это не изъ интриганства, не изъ корысти и вообще не изъ какихъ-нибудь другихъ дурныхъ побужденій, а par lapitié. Этому княгиня вполнѣ вѣрила и это, дѣйствительно, такъ и было, но тѣмъ не менѣе она открыла, что за нею въ ея собственномъ домѣ было устроено систематическое шпіонство, и кому же оно понадобилось? ея собственной дочери... Какъ это ни принимай, а не могло же это не оскорблять ее... Она вѣрно сообразила, чьи пружины могли тутъ дѣйствовать, и потому-то прямо взяла утромъ на допросъ поставленнаго къ ней въ домъ графомъ m-r Gigot, а не кого бы то ни было другого. Во всѣхъ другихъ она была увѣрена и подобное дѣло par la pitié могъ сдѣлать по своему безразсудству только одинъ Gigot.

Княгиня и въ эти минуты высшаго раздраженія нашла въ себѣ столько справедливости, что, взвѣсивъ поступокъ бѣднаго француза, простила его и даже запретила ему представлять доказательство, кѣмъ онъ былъ склоненъ къ этому. Но зато тотъ, кто всему этому былъ причиною, могъ ожидать себѣ хорошей встрѣчи, и онъ ее таки и дождался.

Княжна Анастасія въ этотъ день долго не выходила изъ своей комнаты. Она поздно проснулась и не совсѣмъ хорошо себя чувствовала. Бабушка навѣстила дочь въ ея комнатахъ и, найдя, что у княжны что-то въ родѣ лихорадки, посовѣтовала ей не выходить до обѣда, а если захочетъ, то и весь день провести у себя.

Княжна очень этого хотѣла и потому съ радостью воспользовалась материнскимъ дозволеніемъ остаться сама съ собою. Ей было о чемъ подумать, но, впрочемъ, о чемъ она думала, это теперь все равно.

Княгиня вышла въ пріемныя комнаты одна и сѣла, по

Въ тонѣ этого отвѣта не было никакой искренности, — онъ звучалъ фальшью.

— Ты жаловалась на меня кому-нибудь?

— Нѣтъ.

— Можетъ быть теткѣ... графинѣ Антонидѣ Павловнѣ?

— Нѣтъ, maman,—я ничего не говорила графинѣ.

Бабушка снова привлекла къ себѣ княжну и, вздохнувъ, поцѣловала ее въ лобъ, въ глаза и въ губы и перекрестила: она какъ нельзя яснѣе слышала, что дочь лжетъ, но ни о чемъ ее болѣе не разспрашивала.

Карета остановилась у подъѣзда, и онѣ вошли въ пространное entrée и рядомъ поднялась на лѣстницу.

Перейдя залъ и гостиныя комнаты, княгиня остановилась у дверей своей спальни и спросила:

— Ты устала, Настя?

— Да, maman.

— Такъ прощай; иди въ свою комнату.

— Перекрестите же меня.

— Ахъ, да: прости меня.

Она подошла къ своему образнику, вынула оттуда небольшой серебряный складень и, благословивъ имъ невѣсту, сказала:

— Возьми это къ себѣ: передъ этимъ складнемъ отецъ твой молился за часъ до смерти: молись и ты, — молитва очищаетъ сердце.

Съ этимъ бабушка благословила дочь образомъ, поцѣловала ее въ голову и, отколовъ бѣлую розу съ ея груди, помѣстила цвѣтокъ въ образникѣ на мѣсто, откуда былъ снятъ складень.

У княжны снова блеснули слезы: она обняла мать и, поцѣловавъ ее, вышла, держа въ одной рукѣ зажженую свѣчу, а въ другой складень.

Княгиня все молча стояла и все глядѣла ка дверь, въ которую вышла дочь.

Душевное состояніе бабушки было, вѣроятно, очень тяжело,—она о немъ никому ничего не говорила, но о немъ можно было судить по цѣлому ряду не совсѣмъ правильныхъ и вовсе необдуманныхъ *[illegible]*, выразившихся въ слѣдующемъ.

Княгиня, во-первыхъ, по словамъ Ольги Ѳедотовны, долго стояла на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ перекрестила

дочь и отдала ей складень. Во все это время она была какъ въ столбнякѣ: она не сводила глазъ съ двери и не слыхала, какъ Ольга Ѳедотовна два раза предлагала ей раздѣваться.

Потомъ она безъ всякой видимой причины вдругъ сильно вздрогнула, такъ что даже покачнулась на мѣстѣ и, замѣтивъ при этомъ Ольгу, окинула ее строгимъ взглядомъ и сказала:

— Что ты здѣсь... подсматриваешь, что ли, за мною?

— Я жду раздѣть васъ.

— Хорошо; я раздѣнусь.

И когда Ольга Ѳедотовна приступила дѣлать бабушкинъ почной туалетъ, та, стоя къ ней спиной, всплеснула руками и, сжавъ ихъ у себя на темени, громко воскликнула:

— Тяжело, Господи, пощади! — и съ этимъ опустилась въ кресло.

Черезъ минуту она, совсѣмъ раздѣтая, перешла комнату и, упавъ въ постель, велѣла унести свѣчу. Но чуть Ольга вышла, бабушка постучала ей въ стѣну. Ольга возвратилась и стала въ ногахъ кровати. Княгиня, не оборачиваясь отъ стѣны, проговорила:

— Ты знаешь новость?

— Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство.

— Наша княжна выходитъ замужъ.

Ольга Ѳедотовна не спросила, кто женихъ, но бабушка сама ей это пояснила:

— Княжна выходитъ за графа Функендорфа. Слышишь?

— Слышу-съ.

— Нравится тебѣ это?

Ольга молчала.

— Старому коту молоденькая мышка... Знать, и старые коты ловки.

Ольга мнѣ разсказывала:

— Я послѣ этого такъ потихоньку и вышла, но и я всю ночь не спала и слышала, что и она ни на минуту не заснула, и утромъ раньше меня встала и пресердитая. Я знала, что съ ней въ это время нельзя бы разговаривать и побѣжала къ княжнѣ, чтобы узнать, что̀ сталося? А княжна тоже, какъ были вчера одѣты, такъ только платье сбросили, такъ и спятъ на кроваткѣ. Я, здѣсь ничего не узнавши, да бѣгу къ Патрикѣю Семенычу, чтобы съ его умомъ по-

совѣтоваться, да какъ разъ въ угольной наскочила, что княгиня,—чего никогда не бывало,—въ утреннемъ капотѣ стоятъ, а передъ ними бѣдный Жигошка и на колѣняхъ вертится, и ручонки ломаетъ, и къ небу таращится и самъ плачетъ.

— Экскюзе, муа! кричитъ,—экскюзе!

Я, разумѣется, догадалась, что тутъ уже не насчетъ здоровья, а что-нибудь поважнѣе,—взяла да за дверь спряталась, а какъ она Жигошу отпустила, а я его въ коридорчикѣ и изловила за рукавъ и говорю:

— Что̀ ты, шальной, сдѣлалъ?

— Ахъ, говоритъ, — шеръ Ольга Ѳедотъ, я самъ теперь наплётъ, валекъ и деревянная баба: я письмо носилъ.

— Какое ты письмо, куда носилъ?

— Много, много письма носилъ.

— Да куда, отъ кого, безтолковая голова?

— Отъ пренсессъ...

Я разсердилась.

— Ахъ, говорю, — ты шелапутъ! Недаромъ, говорю, — видно Патрикѣй Семенычъ говорилъ, что ты почтальонъ,— вотъ такъ и вышло! Да какъ же, говорю,—ты это посмѣлъ сдѣлать? Вѣдь тебя за это сейчасъ со двора долой, да еще псомъ пріуськнуть. Развѣ это можно, чтобъ отъ дѣвицы къ мужчинѣ письма переносить?

Но онъ забожился:

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, говоритъ,—шеръ Ольга Ѳедотъ,— не къ мужчинѣ, а къ врафинь.

Я догадалась, что это къ Хотѣтовшѣ, и стала спокойнѣе,—только спросила его:

— Простила ли тебя княгиня?

Онъ говоритъ:

— Простила, но только, говоритъ,—я теперь послѣ такой революцій,—экскюзе.

— Ну, молъ, бѣжи скорѣе да поменьше нынче съ дѣтьми-то у ней на глазахъ вертись, — нынче здѣсь еще много грому будетъ.

Онъ залопоталъ: «все понимай, все понимай, экскюзе!» и убѣжалъ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Ольга Ѳедотовна была хорошій барометръ для опредѣленія домашней атмосферы: она какъ нельзя болѣе основа-

тельно предсказывала грозу и напрасно старалась отвести ее своими отводами, въ родѣ совѣтовъ, данныхъ ею, Gigot и увѣщаній «не сердить княгиню», нашептанныхъ по всему дому. Бабушка, сознавшаяся вчера съ вечера самому Богу, что ей очень тяжело, была слишкомъ наэлектризована вчерашнимъ происшествіемъ и не могла не разразиться. Утреннее признаніе, которое она вырвала у Gigot, еще болѣе увеличило зарядъ: Gigot сознался, что онъ каждое воскресенье, уходя къ компатріотамъ, носилъ какія-то письма отъ княжны къ Хотѣтовой. Что онъ дѣлалъ это не изъ интриганства, не изъ корысти и вообще не изъ какихъ-нибудь другихъ дурныхъ побужденій, а par lapitié. Этому княгиня вполнѣ вѣрила и это, дѣйствительно, такъ и было, но тѣмъ не менѣе она открыла, что за нею въ ея собственномъ домѣ было устроено систематическое шпіонство, и кому же оно понадобилось? ея собственной дочери... Какъ это ни принимай, а не могло же это не оскорблять ее... Она вѣрно сообразила, чьи пружины могли тутъ дѣйствовать, и потому-то прямо взяла утромъ на допросъ поставленнаго къ ней въ домъ графомъ m-r Gigot, а не кого бы то ни было другого. Во всѣхъ другихъ она была увѣрена и подобное дѣло par la pitié могъ сдѣлать по своему безразсудству только одинъ Gigot.

Княгиня и въ эти минуты высшаго раздраженія нашла въ себѣ столько справедливости, что, взвѣсивъ поступокъ бѣднаго француза, простила его и даже запретила ему представлять доказательство, кѣмъ онъ былъ склоненъ къ этому. Но зато тотъ, кто всему этому былъ причиною, могъ ожидать себѣ хорошей встрѣчи, и онъ ее тамъ и дождался.

Княжна Анастасія въ этотъ день долго не выходила изъ своей комнаты. Она поздно проснулась и не совсѣмъ хорошо себя чувствовала. Бабушка навѣстила дочь въ ея комнатахъ и, найдя, что у княжны что-то въ родѣ лихорадки, посовѣтовала ей не выходить до обѣда, а если захочетъ, то и весь день провести у себя.

Княжна очень этого хотѣла и потому съ радостью воспользовалась материнскимъ дозволеніемъ остаться сама съ собою. Ей было о чемъ подумать, но, впрочемъ, о чемъ она думала, это теперь все равно.

Княгиня вышла въ пріемныя комнаты одна и сѣла, по

обыкновенію, съ своею работою. Безъ работы она никогда не оставалась и потому въ тонѣ, или не въ тонѣ было работать при гостяхъ, это ее не озабочивало. Итакъ, княгиня сидѣла тихо, задумчиво, работала молча и, повидимому, была даже покойна. Она приняла нѣсколько человѣкъ, пріѣхавшихъ ее поздравить, и ко всѣмъ она была ласкова и привѣтлива, такъ что пріемъ ея дышалъ даже особенною тихостію и теплотою; она, повидимому, ни въ чьихъ словахъ не слыхала никакой ироніи и насмѣшки, и всѣхъ только сдерживала на сокращеніи благожеланій:

— Будетъ, будетъ, — вѣрю... благодарю, — отвѣчала она, усаживая гостя.

Но все это была только тишина передъ бурею. Чуть только въ длинной анфиладѣ открытыхъ комнатъ показалась импозантная фигура графа Функендорфа, по лицу бабушки заходили розовыя пятна, — однако она и на этотъ разъ себя сдержала и отвѣчала графу поцѣлуемъ въ щеку на его поцѣлуй ея руки, шутливо молвивъ:

— Я, любезный зять, васъ раньше ждала, — и она прикусила слегка нижнюю губу и внимательно слушала, пока Функендорфъ извинялся, что его утромъ звали въ кабинетъ по важному дѣлу.

— Я пошутила: вы человѣкъ дѣловой, — отвѣчала, оборачиваясь къ другимъ, княгиня.

Она не вѣрила слышанной отговоркѣ и мысленно искала настоящей причины, для чего графъ, сыгравъ съ ней вчерашнюю штуку, не пріѣхалъ къ ней ранѣе всѣхъ утромъ, чтобы объясниться безъ свидѣтелей, а, напротивъ, оттянулъ свиданіе? Но причина эта не замедлила объясниться: вслѣдъ за графомъ вдали той же анфилады показалась графиня Антонида Павловна. Бабушка догадалась, что графъ и графиня условились съѣхаться... Конечно, графъ хотѣлъ держаться за графинею, какъ за ширмою, и только немножко неосторожно опередилъ ее, или та, противъ уговора, замѣшкалась.

Варвара Никаноровна, замѣтивъ гостью, встала и сдѣлала нѣсколько шаговъ ей навстрѣчу.

Графиня Антонида была чинна и отъ нея холодкомъ такъ и повѣвало; впрочемъ, въ общемъ всегда мало измѣнявшійся видъ ея имѣлъ въ себѣ на этотъ разъ нѣчто торжественное: ея коски на вискахъ были словно круче,

одутловатыя щечки подъ смуглою кожею горѣли румянымъ подсвѣтомъ, изумительной чистоты руки сверкали отъ гладкости, а каленое платье погромыхивало. Графиня шла не одна: за нею сзади двигались двѣ покровительствуемыя дамы изъ ея придворнаго штата: онѣ несли большую и, повидимому, довольно тяжелую роскошную корзину, покрытую широкимъ кускомъ бѣлаго батиста.

Бабушка поняла, что эти дамы, при участіи которыхъ подносится подарокъ, тоже здѣсь для ширмъ, для того, чтобы всѣмъ этимъ многолюдствомъ защититься отъ бабушкиной рѣзкости. Княгинѣ это даже стало смѣшно и бродившія у нея по лицу розовыя пятна перестали двигаться и стали на мѣстѣ. Теперь она сходилась лицомъ къ лицу съ этой женщиной, которая нанесла ей такой нестерпимый ударъ.

Та первая подала бабушкѣ руку, но взглянула ей не въ лицо, а черезъ плечо, далѣе. Она, очевидно, искала глазами княжну, но, не видя ея, должна была начать разговоръ съ княгинею:

— Извини... я думала: для такихъ минутъ... ты не осердишься...

Княгинѣ, кромѣ мужа и родителей, да крестьянъ, никто, никто не говорилъ *ты*, — это была первая попытка ввести такую форму въ обращеніи съ бабушкою, и бабушка это снесла и отвѣчала графинѣ Антонидѣ съ *вы*.

— Сердиться? мнѣ?.. за что? Я рада...

— Что дочь? — продолжала Хотѣтова, небрежно роняя слова и осматривая присутствующихъ: — я, извини меня... хотѣла васъ поздравить...

— Я васъ благодарю, и снова...

— Да; не безпокойся... я утромъ съѣздила къ обѣднѣ... помолилась... смотрѣла васъ по церкви, да не видала... Неужто не были? Потомъ заѣхала, взяла... тутъ кой-какія бездѣлушки... для невѣсты... Позволишь?

— Сколько вамъ угодно.

— Но гдѣ же она? княжна-то?..

— Она, тамъ... у себя.

— Что, нездорова?

— Да.

— Такъ я туда... Надѣюсь можно?

— О, конечно.

Графиня тронулась въ сопровожденіи своихъ ассистентокъ и бабушки; гости, видя недосугъ хозяйки, окружили графа съ поздравленіями, которыя тотъ съ этой поры позволилъ приносить себѣ.

Эти гости были здѣсь такъ оживлены и веселы, что имъ показалось, будто княгиня Варвара Никаноровна просидѣла со своею гостьею у дочери всего одну минуту, но зато при возвращеніи ихъ никто бы не узналъ: ни эту хозяйку, ни эту гостью, — даже ассистентки графини сморщились какъ сморчки и летѣли за графинею, которая пронеслась стремглавъ и, выкативъ за порогъ гостиной, обернулась, обшаркнула о коверъ подошву и сказала:

— Я отряхаю прахъ.

Затѣмъ она снова повернулась и вышла.

Княгиня ее не провожала: она молча сидѣла въ углу дивана и тяжело дышала, теребя въ рукахъ вѣеръ.

Гости переглянулись и одинъ по одному тихо вышли. Княгиня ихъ не удерживала. Она осталась вдвоемъ съ графомъ, который тоже не совсѣмъ былъ доволенъ своимъ положеніемъ и не зналъ, что дѣлать съ разгнѣванной княгиней. Онъ, я думаю, былъ только очень радъ, что онъ женится не на ней, а на ея дочери.

— Что случилось? — прошепталъ онъ мягкимъ и вкрадчивымъ шопотомъ.

Княгиня не отвѣчала и продолжала обмахиваться вѣеромъ.

Графъ, переждавъ минуту, повторилъ вопросъ.

— Случилась вещь простая,—отвѣчала бабушка:—я не люблю, чтобы меня унижали, когда я этого не желаю...

— Васъ унижать... кто это можетъ?

— Вотъ... графиня...

— Графиня!

— Да; она благочестива... я не спорю: я грѣшница и не сужу людей... Она мнѣ здѣсь ни слова не сказала, что свадьбу надо скоро... Вашъ сватъ васъ хочетъ самъ благословить?

Графъ самодовольно покраснѣлъ и поклонился.

— Что же? къ его отъѣзду у меня все будетъ готово; но графинѣ и этого казалось мало... за меня рѣшать и всѣмъ распоряжаться... она при дочери мнѣ стала говорить, что я должна бъ сегодня ѣхать въ церковь... Она была, а я...

— Зачѣмъ это ей?

— Не знаю, право... но я мать: зачѣмъ меня ронять при дѣтяхъ? Я ей отвѣтила, что тоже утромъ занималась: она молилася за Настеньку, и вкладъ монастырю дала, а я писала управителю, чтобы онъ голоднымъ хотѣтовскимъ мужикамъ безплатно по четверти хлѣба на сѣмена роздалъ за Настино здоровье... всякій, значитъ, свое сдѣлалъ...

— И вы ей это сказали?

— Да; а что же: развѣ это обидно?

— Гм... нѣтъ... разумѣется: но ей это всегда непріятно про голодныхъ...

— Очень вѣрю, графъ... голодные мужики очень непріятны, но и мнѣ, графъ, тоже многое очень непріятно...

Тотъ склонилъ голову и пожалъ плечами.

— Очень, очень, графъ, непріятно, но я стараюсь все перенести; и я отдаю вамъ, графъ, мою дочь; и я дамъ, графъ, моей дочери не только все, что ей слѣдуетъ, но и то, чего не слѣдуетъ; я, графъ, дамъ все, что только могу отдать.

Графъ склонился еще ниже и прильнулъ губами къ рукамъ княгини.

— Все, все дамъ, графъ; много дамъ: все вамъ къ одной межѣ... Имѣнья хорошія... земля какъ бархатъ, угодья водяныя, лѣса и мужики исправные, въ зажитьѣ...

Говоря это свободнымъ и громкимъ голосомъ, княгиня все крѣпче и крѣпче сжимала руки графа и при послѣднихъ словахъ еще усилила это пожатіе и, понизивъ тонъ, добавила:

— Но если, графъ, ваша, слишкомъ молоденькая для васъ, жена когда-нибудь вами наскучитъ и въ другую сторону взглянетъ, то ужъ тогда я вамъ помочь буду не въ силахъ, а вы къ графинѣ Хотѣтовой обратитесь, — пусть она о васъ помолится.

Съ послѣднимъ словомъ бабушка презрительно выбросила руки графа и, оставивъ его посреди гостиной, ушла во внутренніе покои.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Этимъ взрывомъ княгиня облегчила свою обиду и весь остальной день просидѣла въ гораздо болѣе спокойномъ состояніи, а вечеромъ въ домѣ произошла исторія, которая

ее даже заставила разсмѣяться: дѣло въ томъ, что Gigot имѣлъ неосторожность разсказать о своемъ проступкѣ Рогожину, а тотъ началъ дѣлать ему внушенія, окончившіяся тѣмъ, что они подрались. Бабушка вбѣжала на страшный крикъ въ столовую и застала, что французъ и Донкихотъ, вооруженные мѣдными прутьями изъ оконныхъ шторъ, съ страшнымъ крикомъ гонялись другъ за другомъ вокругъ обѣденнаго стола. Взглянувъ на эту катавасію, сейчасъ же можно было понять, что Рогожинъ нападаетъ, а Gigot отъ него спасается: Рогожинъ, дѣлая аршинные шаги и сверкая глазами, хрипѣлъ: «шпіонъ! шпіонъ!» а Gigot весь красный катился впередъ, какъ шаръ, и оралъ отчаяннымъ голосомъ: «исво-о-ощи-къ!»

Увидѣвъ вошедшую въ столовую княгиню, Gigot тотчасъ же бросился подъ ея защиту.

Бабушка разсмѣялась и, скрывъ Gigot у себя за спиною, огородила его своими руками и сказала Рогожину:

— Не стыдно ли тебѣ: за что ты его душишь?

Донкихотъ, ничего не отвѣчая, только тяжело дышалъ, сверкая своимъ изумруднымъ глазомъ, а Gigot весь трясся и держался дрожащими руками за бабушкино платье.

— Помиритесь сейчасъ! — сказала княгиня. — Слышите? сейчасъ помиритесь: я этого требую.

При словѣ «требую» Gigot выступилъ впередъ и, восклицая: «A la bonne heure», кинулся съ объятіями къ Рогожину, но тотъ отодвинулся назадъ и, высоко поднявъ голову, прошипѣлъ:

— Я съ шпіонами не мирюсь.

Княгиня насилу убѣдила Рогожина, что Gigot въ извѣстномъ происшествіи отнюдь не былъ подкупной шпіонъ, а только игралъ глупую роль, и заставила враговъ поцѣловаться. Gigot исполнилъ это охотно, но Рогожинъ только едва подставилъ ему сухо свою щеку. Послѣ всего этого бабушка велѣла ихъ *проводить* каждаго въ свою комнату, и Патрикѣй свелъ Донкихота, а Ольга отвела Gigot.

Однако, тѣмъ дѣло не кончилось. Доримедонтъ Васильичъ, убѣдясь, что «съ бараньей ляжки» взыскивать нечего, считалъ себя призваннымъ отмстить графинѣ Антонидѣ и графу, и онъ привелъ это въ исполненіе. Первой онъ написалъ «памфлетъ» и принудилъ того же Gigot доставить этотъ памфлетъ въ запечатанномъ конвертѣ самой графинѣ.

Онъ это поставилъ французу необходимымъ условіемъ для его цѣлости, безъ чего грозился, въ удобное время, отдуть его, когда княгини не будетъ дома.

— Ты знай, — говорилъ онъ: — что если ты и половину шпіонъ, или три четверти шпіонъ, а можетъ-быть и цѣлый, но все-таки честный человѣкъ тебя можетъ бить.

Gigot былъ вынужденъ исполнить требованіе Рогожина и доставилъ графинѣ конвертъ, который та и распечатала, ожидая найти въ немъ письмо отъ княжны.

Въ конвертѣ было слѣдующее шестистишіе, посвященное не то графинѣ Хотѣтовой, не то ея большому голодавшему селу Хотѣтову:

Хоть этого
Хотѣтова
Давно я не видалъ,
Но энтого
Хотѣтова
Несчастнѣй я не зналъ.

Подписано: «*Сочинилъ дворянинъ Доримедонтъ Рогожинъ*».

Графиня Антонида страшно оскорбилась произведеніемъ Донкихотовой музы: напоминаніе о бѣдственномъ положеніи ея мужиковъ, о которомъ она никогда не желала слушать и которымъ ей въ послѣднее время такъ часто досаждала княгиня Варвара Никаноровна, привело ее въ ярость, подъ вліяніемъ которой она немедленно же отослала письмо Рогожина къ начальнику столицы съ просьбою защитить ее отъ «нестерпимаго нахала», а вмѣстѣ съ тѣмъ позвала графа и принесла ему горячую жалобу на его тещу.

Графъ, желая примирить враждующія стороны, явился къ бабушкѣ и засталъ ее въ кабинетѣ сильно занятою: сидя за кучею бумагъ, она составляла проектъ выдѣла княжны Анастасіи. Выдѣлъ былъ, дѣйствительно, самый щедрый: бабушка, дѣйствуя какъ опекунша въ предѣлахъ предоставленной ей закономъ власти, выбирала дочери законную часть въ такихъ мѣстахъ, что часть эта, отвѣчая законнымъ размѣрамъ по объему земли и численности душъ, далеко превосходила эти размѣры дѣйствительною стоимостью. Княгиня выбирала въ приданое дочери самое лучшее и какъ можно ближе подходившее къ новымъ владѣніямъ графа: лучшія земли съ бечевникомъ по берегамъ

судоходной рѣки, старые плодовитые сады, мельницы, толчеи и крупорушки, озера и заводи, конскій заводъ въ Разновильѣ и барскій домъ въ Шаховѣ. Мужики въ обоихъ селахъ все состоятельные, у которыхъ, кромѣ нарѣзныхъ помѣщичьихъ земель, бывшихъ въ ихъ обработкѣ, были еще значительныя собственныя земли, купленныя ими на имя княгини, амбары въ базарныхъ селахъ и даже дома въ городахъ. Сыновей княгиня этимъ выдѣломъ не боялась обидѣть, потому что, по ея мнѣнію, имъ и такъ доставалось противъ сестры очень много, а къ тому же княгиня разсчитывала добрымъ хозяйствомъ увеличить ихъ состояніе къ тому времени, когда они придутъ въ совершенный возрастъ. Кромѣ того, княгиня посягнула для «нелюбимой дочери» на свою собственную часть: чтобы соединить выдѣляемыя ей поля, бабушка рѣшила просить собственнаго выдѣла съ тѣмъ, чтобъ при новой нарѣзкѣ соединить интервалы дочернихъ полей насчетъ своей вдовьей части.

Графъ, препожаловавъ съ жалобою графини Антониды на Донкихота, засталъ бабушку уже при концѣ ея работы, которую оставалось только оформить актуальнымъ порядкомъ, для чего тутъ передъ княгинею и стояли землемѣръ и чиновникъ. А потому, когда княгинѣ доложили о графѣ, она велѣла просить его въ кабинетъ и встрѣтила его словами:

— Вы кстати, графъ: взгляните, что я отдѣляю Настенькѣ изъ отцова и моего состоянія.

И она положила передъ графомъ реестры и планы съ проведенными на послѣднихъ линіями проектированнаго надѣла.

Графъ, разумѣется, не имѣлъ времени разсмотрѣть все въ подробности, но линіи, проведенныя на планахъ, убѣдили его, что онъ получаетъ за женою много, такъ много, какъ онъ не ожидалъ и сколько ни въ какомъ случаѣ не могъ бы взять, если бы женился не на княжнѣ, а на самой княгинѣ.

Онъ опять повторилъ свои благодарности и поцѣловалъ руку тещи, а княгиня дала знакъ чиновнику и землемѣру взять бумаги и сдѣлать, какъ сказано. Когда тѣ вышли, она спросила:

— Довольны ли вы мною, графъ?

— О, княгиня!..

— Право, не знаю, но мнѣ кажется, что я своей дочери не обидѣла?

— Нѣтъ, Боже мой! кто говоритъ, чтобы вы кого-нибудь могли обидѣть...

— Отчего же?.. человѣкъ, какъ всѣ... могу и я грѣшить и ошибаться, но только я не люблю быть долго виноватою и если кого обижу, люблю поскорѣй поправиться: прошу прощенія.

— Княгиня, вы меня радуете.

— Радую!

— Да, княгиня... я не зналъ, какъ съ вами заговорить, а вы мнѣ это облегчили.

— Что такое? о чемъ вы со мною не знали какъ заговорить?

Графъ оглянулся и прошепталъ:

— Мы одни, княгиня?

— Никто чужой насъ не слышитъ,—говорите.

— Графиня Антонида Павловна... Вотъ чуть я ее назвалъ, вы уже, кажется, и сердитесь?

— Нимало нѣтъ.

— Графиня Антонида Павловна ужасно обижена... и... право, я не знаю, какъ вамъ про это разсказать...

— Да говорите просто: она обижена; ну кто ее обидѣлъ: я?

— Не вы, но... Вы вѣрно слышали, на нее написанъ скверный пашквиль...

— Фуй! Нѣтъ, я ничего ни про какіе пашквили не хочу знать.

— Но досадно то, что пашквиль вышелъ отсюда...

— Откудова, графъ?

— Изъ вашего дома, княгиня.

Бабушка помахала, по своему обыкновенію, отрицательно пальцемъ и, въ глубокой увѣренности въ своей правотѣ, отвѣчала:

— Нѣтъ, графъ, это неправда, этого быть не можетъ.

Но графъ вмѣсто отвѣта вынулъ изъ кармана и подалъ бабушкѣ копію съ извѣстнаго намъ стихотворенія Рогожина.

Княгиня пробѣжала бумажку и, насупивъ брови, еще разъ перечитала ее вслухъ:

— «Хоть этого Хотѣтова, но энтого Хотѣтова»,—Держа-

винъ острѣй писалъ. А, впрочемъ, позвольте мнѣ, графъ, узнать, что̀ мнѣ за дѣло до «этого Хотѣтова и энтого Хотѣтова»; съ какой стати вы сочли своимъ долгомъ мнѣ это доставить?

— Вѣдь это Рогожинъ написалъ.

— Такъ что же такое: развѣ я отвѣчаю за то, что сумасшедшій человѣкъ можетъ кому-нибудь написать?

— Вы увѣрены, что онъ сумасшедшій?

— Гм... ну, я такъ думаю, что онъ немножечко разстроенъ, а если вы иначе о немъ полагаете, вызовите его на дуэль.

— Что вы, княгиня!

— Отчего же? онъ не откажется.

— Помилуйте: да этого и графиня не захочетъ... Дуэль, которая можетъ кончиться убійствомъ... Что вы, что вы! это совсѣмъ не въ ея правилахъ.

— А если это не въ ея правилахъ, такъ не о чемъ и говорить: ругнулъ ее человѣкъ, ну и что такое: надъ Христомъ ругались. А я вамъ вотъ что̀ скажу: я вашей графинѣ только удивляюсь, какъ она съ своею святостію никому ничего простить не можетъ.

Графъ былъ уступчивъ.

— Все дѣло въ томъ, княгиня, разумѣется... если онъ сумасшедшій,—заговорилъ графъ, но бабушка его перебила.

— Да,—сказала она:—все дѣло въ томъ, графъ, что это вздоръ, что умнымъ людямъ, графъ, стыдно обращать на такія вещи вниманіе...

— Конечно.

— Да; скажите ей, что «стыдно»: пускай беретъ примѣръ съ царицы Екатерины. Ей, чай, извѣстно, что Екатерина сочиненную на нее мерзость, не читая, разорвала и въ печку бросила. Такъ ей и скажите, а я про «этого Хотѣтова» ничего не знаю, окромя какъ то, что тамъ всѣ мужики съ сумой по-міру ходятъ... Такъ и про это скажите, графъ: стыдно на мертвыя тѣла серебряныя раки дѣлать, когда живыя голодомъ гибнутъ. Они гибнутъ только потому, что не знаютъ, въ комъ сила... Я къ этому ничего не прибавлю, да мнѣ и некогда: у меня черезъ двѣ недѣли дочь замужъ выходитъ: будетъ съ меня этихъ хлопотъ безъ графини Антониды Павловны; а она пусть смирится,— люди большія обиды сносятъ и не жалуются. А теперь про-

щайте: тамъ обойные мастера ждутъ. Вы ко мнѣ кушать пріѣзжайте.

И княгиня, извинясь, не пошла провожать графа, а направилась къ другимъ дверямъ; она хотѣла какъ можно скорѣе призвать Рогожина и дать ему добрый напрягай, а можетъ-быть даже склонить его какъ можно скорѣе къ тому, чтобы онъ уѣхалъ изъ Петербурга.

— Совсѣмъ не то время теперь и не то мѣсто, чтобы еще здѣсь распутывать его глупости, размышляла княгиня, которой вдругъ пришло въ голову, что «аракчеевцы», ища повсюду особыхъ случаевъ, того и гляди рады будутъ этому вздору и навлекутъ на бѣднаго дворянина небывалое обвиненіе, что онъ-де не только пашквилянтъ на благородное сословіе, но еще и пашквили его имѣютъ дурное вліяніе: могутъ служить къ подрыву помѣщичьей власти надъ крѣпостными людьми.

— Нѣтъ, лучше всего его за добра ума выпроводить отсюда, хоть не туда... не совсѣмъ домой, потому что онъ тамъ подъ судомъ, а...

Но въ это время до слуха ея долетѣлъ страшный ударъ, отъ котораго задрожали стѣны дома: можно было думать, что упало какое-то грузное, тяжелое, массивное тѣло...

— Вѣрно большая люстра оборвалась, или статуя съ хоръ упала!—подумала княгиня и, быстро выбѣжавъ въ дверь, увидала, что въ залѣ Патрикѣй поднималъ графа, который никакъ не могъ встать на ноги.

Бабушка кинулась къ пострадавшему съ вопросомъ:

— Что съ вами, графъ?..

— Я, кажется, ногу сломалъ,—отвѣчалъ графъ, дѣлая неудачную попытку стать на ногу.

— Скорѣе доктора и костоправа! но какъ вы здѣсь могли упасть?

И княгиня, оглянувъ комнату, тутъ только замѣтила, что длинная ковровая дорожка, лежавшая черезъ весь залъ, была до половины сдернута и въ дверяхъ, куда ее стянули, стоялъ Рогожинъ.

— Уйди ты, ненавистный!—крикнула ему княгиня, направляясь вслѣдъ за людьми, которые внесли графа въ одну изъ гостиныхъ и положили его на диванѣ.

Графъ молчалъ, княгиня была страшно взволнована и,

наказавъ какъ можно тщательнѣе скрыть все отъ дочери, встрѣтила костоправа со словами:

— Тысячу рублей вамъ заплачу, если больной будетъ ходить черезъ двѣ недѣли.

Костоправъ вышелъ, осмотрѣвъ ногу графа и выйдя въ залъ, чтобы велѣть подать себѣ тазъ съ взбитою мыльною пѣной, объявилъ княгинѣ, что у больного просто небольшой вывихъ и что онъ можетъ ходить черезъ недѣлю.

— Вы получите двѣ тысячи вмѣсто одной,—отвѣчала княгиня и сама присутствовала при операціи, какъ графу по старинѣ намылили ногу, какъ его начали тащить люди въ одну сторону, а костоправъ намыленными по локоть руками въ другую: дернулъ разъ, два и въ третій что-то глухо щелкнуло, и графъ вскрикнулъ:

— Вы оторвали мнѣ ногу!

— Нога теперь на мѣстѣ,—отвѣчалъ костоправъ.

И дѣйствительно, графъ къ вечеру могъ уже переѣхать въ каретѣ къ себѣ, а черезъ два дня былъ на ногахъ попрежнему молодцомъ и уже не засталъ Рогожина въ домѣ тещи. Донкихотъ былъ высланъ изъ Петербурга въ тотъ же день, какъ онъ уронилъ графа, потянувъ изъ-подъ его ногъ коверъ. Княгиня наскоро призвала его и сказала:

— Доримедонтъ Васильичъ: у меня до тебя просьба!

— А что такое?

— Уѣзжай изъ Петербурга сейчасъ... Домой не ѣзди, тебя тамъ схватятъ...

— То-то и есть.

— Да; я тебя въ Курскъ посылаю; ступай туда къ Меѳодію Миронычу Червеву и скажи ему, что я скоро сама къ нему пріѣду и буду его просить моихъ дѣтей учить...

— Князей?

— Да; князей.

— Это хорошо: онъ знаетъ больше того, кто сто книгъ выучилъ.

— Вотъ и прекрасно: можетъ-быть онъ знаетъ какъ и съ тобой управляться, а то ты мнѣ уже здѣсь очень дорого стоишь, да и хлопотъ съ тобой не оберешься, а мнѣ теперь некогда... Бери Марью Николаевну и поѣзжайте,— ее изъ Курска отправь, а самъ меня жди у Червева.

Рогожинъ потянулъ носомъ и по обыкновенію скоро заоралъ свое:

— Эй, Зинобей!

Одры и Зинка не забыли службы и черезъ часъ уже катили за заставою, держась навстрѣчу журавлей, которые, чуя приближеніе весны, летѣли на сѣверъ.

Княгиня, отправивъ этихъ гостей, успокоилась. Къ Патрикѣю, правда, являлся полицейскій узнавать, что̀ за человѣкъ живетъ у нихъ подъ именемъ дворянина Рогожина, но Патрикѣй зналъ, какъ обходиться съ чиновными людьми: онъ далъ ему двадцать пять рублей и сказалъ, что это былъ изъ ихъ мѣстъ крѣпостной, въ умѣ тронутый, но его въ Бѣлые берега къ подспуднымъ мощамъ отправили.

Болѣе о Рогожинѣ розысковъ тутъ не было и въ домѣ все шло какъ нельзя лучше: приданое было готово какъ по щучьему велѣнію, а графъ ходилъ молодцомъ лучше прежняго.

— Какъ должно, передъ свадьбой и у костоправа въ рукахъ побывалъ,—говорила Ольга Ѳедотовна, обрывавшая на этомъ второй періодъ Протозановской хроники.

Графъ женился на тетушкѣ Анастасіи. На свадьбѣ ихъ ничего не произошло замѣчательнаго: было все пышно, хорошо, было много гостей, роздано всѣмъ много подарковъ и много денегъ. Княгиня на третій день послѣ свадьбы дала большой балъ, на которомъ допустила слѣдующее отступленіе отъ новаго этикета въ пользу старины: когда пили за здоровье молодыхъ, къ княгинѣ подошелъ Патрикѣй съ серебрянымъ подносомъ, на которомъ была насыпана куча червонцевъ.

Бабушка взяла подносъ и, поднеся его графу, сказала:

— Любезный зять, не осудите: вы были нездоровы немножечко: позвольте мнѣ просить васъ съѣздить съ Настей за границу—ей будетъ ново и полезно видѣть, какъ живутъ въ чужихъ краяхъ; а это отъ меня вамъ на дорогу.

Графъ долженъ былъ принять и приношеніе, и просьбу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Вслѣдъ за этимъ баломъ вскорѣ же начались сборы новобрачныхъ за границу. Графъ устроилъ такъ, что поѣздка его имѣла дипломатическую цѣль, это давало ему прекрасное положеніе при иностранныхъ дворахъ, а также и дѣлало экономію. Княгиня, узнавъ объ этомъ, сказала только:

— Значитъ, я ему немножко лишняго дала на дорогу, ну да Богъ съ нимъ: пусть съ легкой руки разживается.

Княгиня была все это время очень весела и довольна и никто не зналъ, чему надо было приписать такое довольное ея состояніе? Впрочемъ, полагали, что она рада, устроивъ дочь за виднаго человѣка; но причина пріятнаго настроенія княгини была совсѣмъ иная: Варвара Никаноровна не одобряла въ душѣ брака дочери и предвидѣла отъ него впереди «много непріятнаго», но это уже было дѣло непоправимое, зато теперь, пока что случится, дѣло это давало ей передышку и увольняло ее отсюда, съ этого «ингерманландскаго болота», какъ звали тогда Петербургъ люди, побывавшіе за границею. Княгиня могла уѣхать домой въ свое теплое гнѣздышко, въ ютное, неприкосновенное Протозаново, которое казалось ей еще милѣе послѣ всѣхъ петербургскихъ передрягъ и особенно послѣ того, какъ Патрикѣй, всего за день до свадьбы тетушки Анастасіи Львовны, подалъ княгинѣ распечатанный конвертъ изъ Курска.

Конвертъ былъ надписанъ незнакомою рукою на имя Дмитрія Петровича Журавскаго, и Патрикѣй, доложивъ княгинѣ, что Журавскій «самъ изволилъ заносить пакетъ, но доложить не приказалъ,—сказалъ: не надо... тутъ увидятъ все, что нужно».

Бабушка догадалась, что Дмитрій Петровичъ слышалъ, что у нея свадьба, и не хотѣлъ отрывать ее... Ей было это немножечко досадно, что онъ даже «спасибо» сказать себѣ не позволилъ, но все равно: она знала, отъ кого этотъ конвертъ: въ немъ долженъ былъ заключаться столь долго жданный и столь важный для нея отвѣтъ отъ Червева.

Княгиня была такъ взволнована, что, дернувъ нетерпѣливою рукою листокъ изъ конверта, она опять вложила его туда назадъ и сказала:

— Нѣтъ, это малодушіе: буду терпѣть до вечера.

Съ этимъ она положила письмо на образникъ и прочитала его только помолясь на ночь Богу: письмо было вполнѣ утѣшительное. Списываю его точно съ пожелтѣвшаго листка сѣроватой, рыхлой бумаги съ прозрачнымъ водянымъ штемпелемъ, изображающимъ козерога въ двойномъ кругѣ.

«Любезный благопріятель! Получилъ я письмо ваше съ предложеніемъ принять на себя воспитаніе дѣтей извѣст-

ной вамъ княгини и много о семъ предложеніи думалъ и соображалъ оное со многихъ сторонъ, а потому долгонько вамъ и не отвѣчалъ. Не знаю, однако, что̀ и теперь вамъ отвѣчу.

«Есть страны, гдѣ образованіе въ полнѣйшемъ объемѣ даютъ тѣмъ, кто въ немъ менѣе будетъ имѣть надобности, и лишаютъ онаго другихъ, которые должны имѣть обширную ученость, дабы служить народу съ высокаго положенія. Сіи, по несчастію, предполагаются какъ бы отъ самаго рожденія своего получившими всѣ познанія, и имъ вручаютъ ключи разумѣнія, взявъ которые они ни сами въ храмъ знанія не входятъ и желающимъ войти въ него возбраняютъ. Смотрите, не такъ ли это и у насъ: не учатъ ли и у насъ всѣхъ менѣе тѣхъ, кого надо бы учить всѣхъ болѣе, и не изобрѣтаютъ ли и у насъ для таковыхъ особыхъ пріемовъ ученія, кои ничего общаго съ наукою не имѣютъ? Не въ таковыхъ ли мысляхъ ищетъ учителя своимъ дѣтямъ и объясненная вами княгиня? Въ такомъ разѣ, ей нѣтъ во мнѣ никакой надобности и вы ей можете посовѣтовать ученыхъ людей въ столицахъ: тамъ есть много искусныхъ для такого преподаванія. Но если, какъ вы полагаете, она нѣсколько инакова, то надо бы объяснить ей задачи и планъ зрѣлой науки. Кто что̀ ни говори, а корень ученія горекъ, да и плоды онаго въ Россіи не сладки. То же и о вѣрѣ. Скажите ей, что Моисей, изводя народъ изъ неволи, велѣлъ своимъ унести драгоцѣнные сосуды египтянъ, и мы можемъ хорошо воспитать *новаго человѣка* только тогда, когда онъ похититъ мудрость древнихъ и поносится съ нею въ зноѣ пустыни, пренебрегая и голодъ, и жажду, и горечь мерры. Вѣра моя—отъ удостовѣренія моего ума, а не отъ того, что писано уставомъ или полууставомъ. А посему размыслите, благопріятель, гожусь ли я воспитывать княжатъ, назначаемыхъ достигать славы своея, а не славы пославшаго насъ Отца. Имъ внушаютъ—почитать себя за важное и необходимое въ руководствѣ другими, а по-моему, первое начало, чтобы сей глупости не довѣряли и руководить людьми не стремились, а себя умнѣе руководили. Молодымъ родовитымъ и знатнымъ юношамъ всего потребнѣе внушать—что они весьма не очень потребны. Что же касается до моего согласія, то гдѣ я возьму силы, чтобы не согласиться хоть двухъ ребятъ во всю мою жизнь обучить

наказавъ какъ можно тщательнѣе скрыть все отъ дочери, встрѣтила костоправа со словами:

— Тысячу рублей вамъ заплачу, если больной будетъ ходить черезъ двѣ недѣли.

Костоправъ вышелъ, осмотрѣвъ ногу графа и выйдя въ залъ, чтобы велѣть подать себѣ тазъ съ взбитою мыльною пѣной, объявилъ княгинѣ, что у больного просто небольшой вывихъ и что онъ можетъ ходить черезъ недѣлю.

— Вы получите двѣ тысячи вмѣсто одной,—отвѣчала княгиня и сама присутствовала при операціи, какъ графу по старинѣ намылили ногу, какъ его начали тащить люди въ одну сторону, а костоправъ намыленными по локоть руками въ другую: дернулъ разъ, два и въ третій что-то глухо щелкнуло, и графъ вскрикнулъ:

— Вы оторвали мнѣ ногу!

— Нога теперь на мѣстѣ,—отвѣчалъ костоправъ.

И дѣйствительно, графъ къ вечеру могъ уже переѣхать въ каретѣ къ себѣ, а черезъ два дня былъ на ногахъ попрежнему молодцомъ и уже не засталъ Рогожина въ домѣ тещи. Донкихотъ былъ высланъ изъ Петербурга въ тотъ же день, какъ онъ уронилъ графа, потянувъ изъ-подъ его ногъ коверъ. Княгиня наскоро призвала его и сказала:

— Доримедонтъ Васильичъ: у меня до тебя просьба!

— А что такое?

— Уѣзжай изъ Петербурга сейчасъ... Домой не ѣзди, тебя тамъ схватятъ...

— То-то и есть.

— Да; я тебя въ Курскъ посылаю; ступай туда къ Меѳодію Миронычу Червеву и скажи ему, что я скоро сама къ нему пріѣду и буду его просить моихъ дѣтей учить...

— Князей?

— Да; князей.

— Это хорошо: онъ знаетъ больше того, кто сто книгъ выучилъ.

— Вотъ и прекрасно: можетъ-быть онъ знаетъ какъ и съ тобой управляться, а то ты мнѣ уже здѣсь очень дорого стоишь, да и хлопотъ съ тобой не оберешься, а мнѣ теперь некогда... Бери Марью Николаевну и поѣзжайте,— ее изъ Курска отправь, а самъ меня жди у Червева.

Рогожинъ потянулъ носомъ и по обыкновенію скоро заоралъ свое:

— Эй, Зинобей!

Одры и Зинка не забыли службы и черезъ часъ уже катили за заставою, держась навстрѣчу журавлей, которые, чуя приближеніе весны, летѣли на сѣверъ.

Княгиня, отправивъ этихъ гостей, успокоилась. Къ Патрикѣю, правда, являлся полицейскій узнавать, что̀ за человѣкъ живетъ у нихъ подъ именемъ дворянина Рогожина, но Патрикѣй зналъ, какъ обходиться съ чиновными людьми: онъ далъ ему двадцать пять рублей и сказалъ, что это былъ изъ ихъ мѣстъ крѣпостной, въ умѣ тронутый, но его въ Бѣлые берега къ подспуднымъ мощамъ отправили.

Болѣе о Рогожинѣ розысковъ тутъ не было и въ домѣ все шло какъ нельзя лучше: приданое было готово какъ по щучьему велѣнію, а графъ ходилъ молодцомъ лучше прежняго.

— Какъ должно, передъ свадьбой и у костоправа въ рукахъ побывалъ,—говорила Ольга Ѳедотовна, обрывавшая на этомъ второй періодъ Протозановской хроники.

Графъ женился на тетушкѣ Анастасіи. На свадьбѣ ихъ ничего не произошло замѣчательнаго: было все пышно, хорошо, было много гостей, роздано всѣмъ много подарковъ и много денегъ. Княгиня на третій день послѣ свадьбы дала большой балъ, на которомъ допустила слѣдующее отступленіе отъ новаго этикета въ пользу старины: когда пили за здоровье молодыхъ, къ княгинѣ подошелъ Патрикѣй съ серебрянымъ подносомъ, на которомъ была насыпана куча червонцевъ.

Бабушка взяла подносъ и, поднеся его графу, сказала:

— Любезный зять, не осудите: вы были нездоровы немножечко: позвольте мнѣ просить васъ съѣздить съ Настей за границу—ей будетъ ново и полезно видѣть, какъ живутъ въ чужихъ краяхъ; а это отъ меня вамъ на дорогу.

Графъ долженъ былъ принять и приношеніе, и просьбу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Вслѣдъ за этимъ баломъ вскорѣ же начались сборы новобрачныхъ за границу. Графъ устроилъ такъ, что поѣздка его имѣла дипломатическую цѣль, это давало ему прекрасное положеніе при иностранныхъ дворахъ, а также и дѣлало экономію. Княгиня, узнавъ объ этомъ, сказала только:

— Значитъ, я ему немножко лишняго дала на дорогу, ну да Богъ съ нимъ: пусть съ легкой руки разживается.

Княгиня была все это время очень весела и довольна и никто не зналъ, чему надо было приписать такое довольное ея состояніе? Впрочемъ, полагали, что она рада, устроивъ дочь за виднаго человѣка; но причина пріятнаго настроенія княгини была совсѣмъ иная: Варвара Никаноровна не одобряла въ душѣ брака дочери и предвидѣла отъ него впереди «много непріятнаго», но это уже было дѣло непоправимое, зато теперь, пока что случится, дѣло это давало ей передышку и увольняло ее отсюда, съ этого «ингерманландскаго болота», какъ звали тогда Петербургъ люди, побывавшіе за границею. Княгиня могла уѣхать домой въ свое теплое гнѣздышко, въ ютное, неприкосновенное Протозаново, которое казалось ей еще милѣе послѣ всѣхъ петербургскихъ передрягъ и особенно послѣ того, какъ Патрикѣй, всего за день до свадьбы тетушки Анастасіи Львовны, подалъ княгинѣ распечатанный конвертъ изъ Курска.

Конвертъ былъ надписанъ незнакомою рукою на имя Дмитрія Петровича Журавскаго, и Патрикѣй, доложивъ княгинѣ, что Журавскій «самъ изволилъ заносить пакетъ, но доложить не приказалъ,—сказалъ: не надо... тутъ увидятъ все, что нужно».

Бабушка догадалась, что Дмитрій Петровичъ слышалъ, что у нея свадьба, и не хотѣлъ отрывать ее... Ей было это немножечко досадно, что онъ даже «спасибо» сказать себѣ не позволилъ, но все равно: она знала, отъ кого этотъ конвертъ: въ немъ долженъ былъ заключаться столь долго жданный и столь важный для нея отвѣтъ отъ Червева.

Княгиня была такъ взволнована, что, дернувъ нетерпѣливою рукою листокъ изъ конверта, она опять вложила его туда назадъ и сказала:

— Нѣтъ, это малодушіе: буду терпѣть до вечера.

Съ этимъ она положила письмо на образникъ и прочитала его только помолясь на ночь Богу: письмо было вполнѣ утѣшительное. Списываю его точно съ пожелтѣвшаго листка сѣроватой, рыхлой бумаги съ прозрачнымъ водянымъ штемпелемъ, изображающимъ козерога въ двойномъ кругѣ.

«Любезный благопріятель! Получилъ я письмо ваше съ предложеніемъ принять на себя воспитаніе дѣтей извѣст-

ной вамъ княгини и много о семъ предложеніи думалъ и соображалъ оное со многихъ сторонъ, а потому долгонько вамъ и не отвѣчалъ. Не знаю, однако, что̀ и теперь вамъ отвѣчу.

«Есть страны, гдѣ образованіе въ полнѣйшемъ объемѣ даютъ тѣмъ, кто въ немъ менѣе будетъ имѣть надобности, и лишаютъ онаго другихъ, которые должны имѣть обширную ученость, дабы служить народу съ высокаго положенія. Сіи, по несчастію, предполагаются какъ бы отъ самаго рожденія своего получившими всѣ познанія, и имъ вручаютъ ключи разумѣнія, взявъ которые они ни сами въ храмъ знанія не входятъ и желающимъ войти въ него возбраняютъ. Смотрите, не такъ ли это и у насъ: не учатъ ли и у насъ всѣхъ менѣе тѣхъ, кого надо бы учить всѣхъ болѣе, и не изобрѣтаютъ ли и у насъ для таковыхъ особыхъ пріемовъ ученія, кои ничего общаго съ наукою не имѣютъ? Не въ таковыхъ ли мысляхъ ищетъ учителя своимъ дѣтямъ и объясненная вами княгиня? Въ такомъ разѣ, ей нѣтъ во мнѣ никакой надобности и вы ей можете посовѣтовать ученыхъ людей въ столицахъ: тамъ есть много искусныхъ для такого преподаванія. Но если, какъ вы полагаете, она нѣсколько инакова, то надо бы объяснить ей задачи и планъ зрѣлой науки. Кто что̀ ни говори, а корень ученія горекъ, да и плоды онаго въ Россіи не сладки. То же и о вѣрѣ. Скажите ей, что Моисей, изводя народъ изъ неволи, велѣлъ своимъ унести драгоцѣнные сосуды египтянъ, и мы можемъ хорошо воспитать *новаго человѣка* только тогда, когда онъ похититъ мудрость древнихъ и поносится съ нею въ зноѣ пустыни, пренебрегая и голодъ, и жажду, и горечь мерры. Вѣра моя—отъ удостовѣренія моего ума, а не отъ того, что писано уставомъ или полууставомъ. А посему размыслите, благопріятель, гожусь ли я воспитывать княжатъ, назначаемыхъ достигать славы своея, а не славы пославшаго насъ Отца. Имъ внушаютъ—почитать себя за важное и необходимое въ руководствѣ другими, а по-моему, первое начало, чтобы сей глупости не довѣряли и руководить людьми не стремились, а себя умнѣе руководили. Молодымъ родовитымъ и знатнымъ юношамъ всего потребнѣе внушать—что они весьма не очень потребны. Что же касается до моего согласія, то гдѣ я возьму силы, чтобы не согласиться хоть двухъ ребятъ во всю мою жизнь обучить

такъ, какъ бы мнѣ хотѣлось? Именитыхъ дѣтей, учимыхъ не ради скораго пріобрѣтенія ими хлѣба куска, можно учить лишь себѣ въ радость и въ утѣшеніе, о коемъ, признаюсь, въ лучшей порѣ моей жизни мечталъ я. Вспомните, что я излагалъ нѣкогда о есотерическомъ и ексотерическомъ въ наукѣ: я видѣлъ мою esotoris тогда яко зерцаломъ въ гаданіи: я лишь въ отраднѣйшей мечтѣ воображалъ счастливцевъ, которымъ суждено отраднѣйшее бремя овладѣть на много лѣтъ умомъ цвѣтущихъ юношей съ призваніемъ къ степени высокому и весть ихъ къ истинному разумѣнію жизни... и вотъ объ этомъ рѣчь... И сей счастливецъ я! О, благопріятель! неужто я увижу ихъ лицомъ къ лицу? неужто я почувствую въ моихъ рукахъ ихъ юношескія руки, неужто я увижу, какъ ихъ юношескій умъ начнетъ передо мною раскрываться будто пышный цвѣтъ предъ зарею, и я умру съ отрадаю, что этотъ цвѣтъ въ свое время дастъ плодъ сторичный... О, благопріятель! смотрите: осторожно ли вы писали, не шутка ли это, не кладете ли вы камень въ протянутую руку нищаго? Эта шутка была бы слишкомъ жестока... Подумайте: великій Кеплеръ говорилъ, что если бы онъ могъ окинуть взглядомъ вселенную, но не видалъ бы жаждущаго познанія человѣка, то онъ нашелъ бы свое удивленіе безплоднымъ, а я червякъ, безъ всѣхъ рѣшительно сравненій, его ничтожнѣйшій, до сей поры все жилъ, не видя никого, кому бы могъ сказать о томъ, что я своимъ окинулъ взоромъ... Но, нѣтъ; вы вѣдь не шутите... не правда ли? давайте ихъ сюда, давайте этихъ юношей Червеву,—онъ ихъ съ любовію научитъ понимать достойное познанья и можетъ быть откроетъ имъ — какъ можно быть счастливымъ въ бѣдствіяхъ.

«Объ условіяхъ со мной не говорите: дѣлающій достоинъ мзды, а волъ молотящій корму. Болѣе мнѣ ничего не нужно. Меѳодій Червевъ».

Княгиня была въ восторгѣ отъ этого письма. Не знаю, что именно ее въ немъ плѣняло; но, конечно, тутъ имѣло значеніе и слово о «счастіи въ самыхъ бѣдствіяхъ». Она и сама почитала такое познаніе драгоцѣннѣе всякихъ иныхъ знаній, но не рѣшалась это высказать, потому что считала себя «профаномъ въ наукахъ». Притомъ, бабушка хотя и не вѣрила, что «древле было все лучше и дешевле», но ей нравились большіе характеры, съ которыми она была

знакома по жизнеописаніямъ Плутарха во французскомъ переводѣ.

— Тамъ есть кому подражать и есть на чемъ дитя воспитывать, — вотъ, кажется, все, что она понимала, усвоивая себѣ самое важное и существенное. Пусть-де не будутъ верхолетами, — пусть готовенькихъ вершковъ не схватываютъ, а по началамъ все продумаютъ, тогда они не будутъ самомнящи и смирнѣй будутъ въ счастіи и крѣпче въ несчастіи... Она тоже не по уставу, а «по удостовѣренію своего ума» была увѣрена, что добрые и умные родители непремѣнно должны приготовлять своихъ дѣтей къ умѣнью съ достоинствомъ жить въ счастьѣ и въ несчастьѣ.

Таковы были непосредственные взгляды княгини на воспитаніе и письмо Меѳодія Мироныча, конечно, этимъ взглядамъ отвѣчало. Но что всего болѣе влекло теперь княгиню къ Червеву, это было его особенное отношеніе къ своему призванію.

— Ни слова добрый человѣкъ не говоритъ о томъ, что ему заплатить... даже гнушается этимъ, — значитъ дѣло любитъ, а не деньги... Такіе люди рѣдки: Богъ мнѣ въ немъ неслыханное счастье посылаетъ.

И княгиня, благословивъ Бога, спала эту ночь крѣпко, а на другой день встала довольною и веселою. Съ тѣхъ поръ прекрасное настроеніе духа не измѣняло ей во всѣ остальные дни приготовленія къ дочерниной свадьбѣ и къ наступившимъ за свадьбою проводамъ новобрачныхъ за границу.

День отъѣзда молодыхъ былъ давно назначенъ: княгиня собиралась сама уѣхать къ себѣ въ Протозаново тотчасъ по отъѣздѣ Функендорфовъ. Знакомымъ, которые уговаривали княгиню еще погостить въ «хорошемъ городѣ Петербургѣ», она отвѣчала:

— Нѣтъ, благодарю за привѣтъ, не спорю, Петербургъ городъ хорошій: и вымощенъ, и выметенъ, но у себя дома, въ деревнѣ, мнѣ все-таки больше нравится.

Варвара Никаноровна и впередъ сюда не обѣщалась скоро. На просьбы дочери пріѣхать въ Петербургъ на будущую зиму, она ласково отвѣчала ей:

— Нѣтъ, мой другъ, я и обманывать тебя не хочу, — не поѣду: зачѣмъ? мнѣ тутъ дѣлать нечего. Здѣсь мѣсто тому, кому нужны кресты да перстни, а наше благо на

неплѣ растетъ и надо въ немъ копаться, сидя на своемъ кореню. Было время, и я здѣсь жила, но хорошаго тоже мало изъ того времени помню... а теперь я уже совсѣмъ отъ этого отстала и слава за то Создателю: надо кому-нибудь и соху съ лопатой знать, а наѣздомъ хлѣба не напашешь.

Нѣжность княгини къ «нелюбимой дочери» во все это время не только не уменьшалась, но, напротивъ, еще болѣе усиливалась: Варвара Никаноровна сама не знала, чѣмъ ей свою Настеньку утѣшить и обрадовать. Она каждый день пріѣзжала къ ней съ дорогими подарками; купила ей самый дорогой, покойный и щегольской дорожный дормезъ и навезла такую кучу разныхъ путевыхъ вещей, что съ ними не знали, куда дѣваться. Графъ, разсматривая эти вещи, вѣроятно, не разъ думалъ, къ чему эта трата? Не лучше ли бы деньгами? Молодая графиня была, кажется, однѣхъ съ мужемъ мыслей. По крайней мѣрѣ она всякій разъ ставила матери на видъ, что за границею все лучше и дешевле, но княгиня отвѣчала:

— То лучше, да изъ чужихъ рукъ, а это отъ матери,—и опять продолжала возить подарокъ за подаркомъ. Наконецъ бабушкѣ пришла самая оригинальная мысль, и она сдѣлала тетушкѣ такой странный подарокъ, какого отъ нея никакъ невозможно было и ожидать, а именно: она, явясь въ одинъ день къ дочери, объявила, что даритъ ей Ольгу Ѳедотовну... Конечно, не навѣкъ, не въ крѣпость, а такъ, въ услуженіе.

Тетушка Анастасія отнюдь не выражала никогда ни малѣйшаго желанія получить этотъ подарокъ, и даже едва ли была ему рада, по крайней мѣрѣ она энергически отъ него отказывалась, говоря:

— Къ чему она мнѣ, maman? вы Ольгу любите, вы къ ней привыкли, а я имѣю свою прислугу... Наконецъ, она и сама къ вамъ такъ привязана, что ей будетъ тяжело съ вами разстаться.

Но бабушка была непреклонна: она хотѣла отдать «нелюбимой дочери» все, что имѣла самаго дорогого, и рѣшительно настаивала, чтобы графиня брала Ольгу.

— Она ко мнѣ привязана, — это правда, и я ее люблю, но поэтому-то непремѣнно ты ее и бери: она тебя сбережетъ, а иначе я за тебя покойна не буду.

Переспорить въ этомъ бабушку было рѣшительно невоз-

можно, и графиня должна была согласиться принять Ольгу, но за то уже рѣшительно воспротивилась, когда мать задумала сдѣлать ей еще одинъ подарокъ, въ лицѣ m-r Gigot. Бабушка находила, что онъ былъ бы очень пригоденъ за границею, и говорила:

— Ты не церемонься со мною: я безъ него обойдусь, а онъ французикъ услужливый и ничѣмъ не обижается, да и притомъ онъ еще, кажется, изъ портныхъ,—такъ и починку какую нужно дорогою сдѣлаетъ... Право, бери его: я имъ обоимъ и денегъ отъ себя на дорогу дамъ, а ты при немъ съ Ольгою все такъ и будешь, какъ будто бы между своихъ.

Это, однакоже, осталось втуне: молодая графиня отнюдь не желала быть между своихъ и проектъ о Gigot былъ оставленъ; но Ольга Ѳедотовна собиралась въ путь. Сборы моей доброй старушки, главнымъ образомъ, заключались не въ вещевомъ багажѣ, а въ нравственномъ приготовленіи къ разлукѣ на цѣлый годъ съ родиною и съ милыми сердцу. Ольгѣ Ѳедотовнѣ было всѣхъ жалко, и княгиню, и князьковъ, и Патрикѣя Семеныча, и «Жигошу»;—о послѣднемъ она заботилась даже, кажется, больше, чѣмъ о всѣхъ другихъ, и всѣхъ, кого могла, просила жалѣть его, сироту.

Все время своихъ сборовъ она была очень растрогана и чѣмъ ближе подходилъ день отъѣзда, тѣмъ нервное ея состояніе становилось чувствительнѣе; но недаромъ говорятъ, истома хуже смерти: день отъѣзда пришелъ и Ольга Ѳедотовна встрепенулась. Она въ этотъ день встала утромъ очень рано: хотя по ея глазамъ и покраснѣвшему носику видно было, что она не спала цѣлую ночь и все плакала, но она умылась холодной водицей и тотчасъ же спозаранковъ начала бодро ходить по дому и со всѣми прощаться и всѣмъ наказывать отъ себя поклонъ Рогожину, Марьѣ Николаевнѣ и многимъ другимъ лицамъ домашняго круга. Къ Gigot она забѣгала нѣсколько разъ и все ему что-нибудь дарила, или оставляла во временное пользованіе, — какъ-то: теплые чулки, излишнія подушки и прочее, но при этомъ все что-то забывала.

— Совсѣмъ какъ дура сдѣлалась,—говорила она о себѣ:— знаю, что что-то самое пренужное-нужное хотѣла тебѣ отдать и опять позабыла... Ну, да я еще вспомню.

И она опять убѣгала, и опять приносила Жиго пустяки

въ родѣ чайной чашечки или частаго гребня, а «самое пренужное-нужное» опять забывала.

— Ну, да ничего: я вспомню!

Отъѣздъ предполагался изъ дома бабушки: на ея дворѣ стоялъ уложенный дормезъ и графъ съ молодою графинею должны были позавтракать у княгини и съ ея двора и отправиться.

Это такъ было и сдѣлано: откушали, помолились, экипажъ поданъ и стали садиться,—Ольга Ѳедотовна еще ранѣе была усажена въ высокое переднее сидѣнье и плотно застегнута кожанымъ фартукомъ. Она такъ самаго нужнаго и не вспомнила, а теперь было уже некогда: графъ и графиня сѣли,— на крыльцѣ оставались только княгиня съ двумя сыновьями, да Gigot съ Патрикѣемъ.

Все было готово: форейторъ натянулъ постромки, коренники налегли въ хомутъ и экипажъ застучалъ и тронулся. Изъ-за чернаго кожанаго фартука въ переднемъ сидѣньи замелькала ручка Ольги Ѳедотовны: это она крестилась, но вдругъ она вся высунулась и закричала:

— Жигоша! Жигоша, скорѣй! я вспомнила!

Gigot подлетѣлъ и, вспрыгнувъ на подножку, подскочилъ къ Ольгѣ Ѳедотовнѣ.

— Вотъ, бери это;—проговорила она и, торопливо вынувъ изъ кармана маленькую бутылочку съ березовкой, сунула ее въ руки француза.

— Oh, chère Ольга Ѳедотъ... c'est impossible: c'est pour vous même, pour vous,—заговорилъ Gigot и, замахавъ руками, соскочилъ съ колеса въ ту самую минуту, когда Ольга Ѳедотовна хотѣла сунуть ему пузырекъ за жилетъ.

Пузырекъ упалъ на мощеный дворъ и разбился о камень.

Экипажъ скрылся изъ глазъ за угломъ улицы.

Провожавшіе стояли на крыльцѣ, а Gigot на томъ мѣстѣ, гдѣ передъ нимъ лежалъ разбитый пузырекъ и пролившееся лѣкарство.

Французъ былъ растроганъ и, вынувъ платокъ, обтеръ имъ глаза.

— Ты плачешь, Gigot?—спросила его княгиня.

— Mais certainement, madame!.. Sapristi, cette pauvre Ольга Ѳедотъ... elle ne parle jamais français et allemand et elle casse sa médecine!

— Ну; ничего: она по-русски разговорится.

— Нишего... c'est bien: по-рюсски: c'est *нишего!*

И Жиго разсмѣялся: онъ поднялъ разбитый пузыречекъ и, держа его въ рукахъ, проговорилъ:

— Нишего: разбилъ—это шастье!

— Не по его только предсказанію все это вышло,—говорила, бывало, объ этомъ Ольга Ѳедотовна, никогда не забывавшая ни одной мелочи своего отъѣзда за границу и особенно своего скораго и страннаго оттуда возвращенія.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Бабушка не могла уѣхать изъ Петербурга въ Протозаново такъ скоро, какъ она хотѣла, — ее удержала болѣзнь дѣтей. Отецъ мой, стоя на крыльцѣ при проводахъ Функендорфовъ, простудился и заболѣлъ корью, которая отъ него перешла къ дядѣ Якову. Это продержало княгиню въ Петербургѣ около мѣсяца. Въ теченіе этого времени она не получала здѣсь отъ дочери ни одного извѣстія, потому что письма по уговору должны были посылаться въ Протозаново. Какъ только дѣти выздоровѣли, княгиня, къ величайшему своему удовольствію, тотчасъ же уѣхала.

На сѣверѣ «въ ингерманландскихъ болотахъ» было еще сыро и холодно, но чѣмъ ближе къ югу, тѣмъ становилось теплѣе и пріятнѣе: за Москвою, къ Окѣ, совсѣмъ уже была весна, хотя еще и ранняя, безъ яркой зелени и безъ обилія цвѣтовъ, но уже съ животворною мягкостью въ воздухѣ, которая такъ цѣлебно живитъ силы и успокоиваетъ душевныя волненія.

Всѣ чувства княгини отдыхали среди этой атмосферы отъ утомленія, которое она чувствовала послѣ столь несвойственной ей жизни и мелкихъ интригъ, кипящихъ въ салонахъ. Эти скромныя картины русской ранней весны превосходны. весело зеленѣющія озими играютъ на солнцѣ; поднятый къ яровому посѣву тучный черноземъ лежитъ какъ бархатъ и грѣется, тихіе ручейки и рѣчки то мелькаютъ въ перелогахъ, какъ волшебныя зеркала въ изумрудныхъ рамахъ, то вьются какъ ленты, отражая въ себѣ облака,—грунтовыя дороги обсохли, но еще не завалены пылью—ѣзда по нимъ удобна и пріятна: копыта бѣгущихъ коней не пылятъ и стучатъ мягко, колеса катятъ совсѣмъ безъ шуму и слѣдъ позади только маслится... Все способ-

ствуетъ тому, чтобы у путника на душѣ становилось мирно и покойно.

Ѣдучи верстъ по сту съ небольшимъ въ сутки и пробывъ двое сутокъ въ Москвѣ, княгиня провела уже въ дорогѣ около двухъ недѣль: въ это время она имѣла время отдохнуть отъ всѣхъ перенесенныхъ ею потрясеній, она или спокойно дремала, или была занята своими экономическими соображеніями, которыя вызывались только что заключенными большими тратами. Денежныя средства ея, всегда содержавшіяся въ большомъ порядкѣ, хотя и теперь не были особенно разстроены, но, однако, требовали рачительнаго восполненія. Свадьба, со всѣми выдѣлами, наградами и цѣнными подарками, стоила очень дорого, но справедливость требуетъ сказать, что княгиня объ этомъ не жалѣла: она, напротивъ, была рада, что «нелюбимая дочь» награждена какъ слѣдуетъ. Притомъ же ей нечего было и бояться сдѣланныхъ большихъ экстренныхъ расходовъ, потому что она знала, какъ наверстать ихъ. Живучи въ деревнѣ, хотя и очень открыто, княгиня тратила относительно очень мало: кромѣ лимоновъ, сахару и прочей «бакалеи», которая разъ въ годъ закупалась на *коренной* ярмаркѣ, все было «изъ своей провизіи», и княгиня была увѣрена, что черезъ пять-шесть лѣтъ она опять будетъ совсѣмъ такъ же исправна, какъ была передъ выдачею замужъ «нелюбимой дочери». За дорогу бабушка имѣла время все это сообразить и сосчитать и, совсѣмъ на этотъ счетъ успокоясь, была весела какъ прежде: она шутила съ дѣтьми и съ Gigot, который сидѣлъ тутъ же въ каретѣ на передней лавочкѣ; дѣлала Патрикѣю замѣчанія о ѣздѣ, о всходахъ озими и тому подобномъ; сходила пѣшкомъ на крутыхъ спускахъ и какъ «для моціона», такъ и «чтобы лошадей пожалѣть», пѣшкомъ же поднималась на горы, причемъ обыкновенно задавала французу и дѣтямъ задачу: кто лучше сумѣетъ взойти и не умориться.

Чѣмъ ближе подъѣзжала княгиня къ своимъ мѣстамъ, тѣмъ она чувствовала себя счастливѣе, и передъ самымъ Курскомъ, откуда бабушка надѣялась захватить Червева, она находилась въ превосходномъ настроеніи; но тутъ встрѣтилось обстоятельство, которое вдругъ смутило ее самымъ непредвидѣннымъ и непріятнымъ образомъ. Въѣзжая на дворъ, гдѣ была послѣдняя сдаточная перепряжка, бабушка

была неожиданно привѣтствована здѣсь Рогожинымъ, который вдругъ наскакалъ сюда на своихъ одрахъ изъ-за ближайшаго перелѣска.

— Здравствуй! что̀ ты это?.. откуда? — заговорила, увидавъ его, княгиня.

Донкихотъ только водилъ усами и, тяжело дыша, оглядывался.

— Отчего ты не ждалъ меня въ Курскѣ?

— Нельзя было, — отвѣчалъ дворянинъ.

— Отчего?

— Я скрываюсь.

— Неужели опять сражался? Пора перестать.

— Да; Жиго: сядь, братъ, скорѣй въ мой тарантасъ... Тебѣ вѣдь все равно, а ты все-таки три четверти шпіонъ, а можетъ быть и цѣлый, а мнѣ говорить надо. Переходи скорѣй: я на твоемъ мѣстѣ спрячусь, потому что мнѣ опасно.

Жиго согласился, а бабушка велѣла французу взять съ собою и дѣтей, чтобы ей свободнѣе было говорить безъ нихъ съ Донкихотомъ.

Дѣти рады были случаю проѣхаться въ лубочной коробкѣ Рогожина, и когда пассажиры размѣстилися такимъ образомъ, оба экипажа снова тронулись въ путь.

Потные одры Рогожина не отставали отъ свѣжихъ лошадей, впряженныхъ въ экипажахъ княгини, и Зинка звонко посвистывалъ сзади кареты.

Бабушка сначала спросила Рогожина, съ кѣмъ онъ и за что дрался, но, получивъ въ отвѣтъ, что «это пустяки», она подумала, что это и впрямь не болѣе какъ обыкновенные пустяки, и перешла къ разговору о Червевѣ.

— Червевъ, что же ему, — отвѣчалъ Рогожинъ: — онъ съ губернаторомъ говорилъ, и ничего, — а вотъ Ольгѣ Ѳедотовнѣ очень скверно.

— Развѣ она тебѣ уже писала изъ чужихъ краевъ?

— Нѣтъ, не писала, а она сама все разсказала...

— Что̀ ты за вздоръ говоришь: гдѣ ты могъ видѣть Ольгу?

— Здѣсь... Посольскій дьячокъ сюда пріѣзжалъ изъ Парижа съ родными повидаться и ее привезъ.

— Что̀ ты за вздоръ говоришь!

— Нимало не вздоръ: я ее третьяго дня самъ въ Протозаново свезъ.

— Ушамъ не вѣрю, что слышу... Этого быть не можетъ. Ты трезвый человѣкъ, а пьяную гиль несешь!

— Да; я трезвый человѣкъ и хотите на васъ дыхну?

— Дохни, сдѣлай милость.

Рогожинъ дохнулъ: отъ него пахло только суровцомъ-квасомъ, котораго онъ выпилъ два огромныхъ ковша на постояломъ дворѣ.

— Однимъ квасомъ пахнетъ,—сказала, пожавъ плечами, бабушка:—теперь продолжай: какъ могла явиться здѣсь Ольга.

— Прислали ее назадъ.

— Кто?

— Ну понятно кто: съ кѣмъ она поѣхала, тѣ ее и вернули.

— За что это,—съ какой стати?

— Не годилась.

— Что̀ такое она сдѣлала? Что̀ она говоритъ?

— Она ничего не говоритъ, а только плачетъ.

— Плачетъ?

— Ужасно плачетъ.

— Господи, что это такое! съ дѣтства почти знаю эту женщину,—скромная, хорошая...

— Она тамъ въ чужихъ краяхъ немножко съ ума сошла.

— Ольга!

— Да; дьячокъ говоритъ, что у нея это съ Рейна началось.

— Отчего же это съ нею сдѣлалось?

— Отъ развалинъ.

— Господи, какая мука съ тобою говорить!

— Да чѣмъ я худо говорю? она нигдѣ за границею развалинъ видѣть не могла.

— Напугали ее, что ли, тамъ?

— Нѣтъ; а просто какъ увидитъ развалины, сейчасъ вся взрадуется и пристаетъ ко всѣмъ: «смотрите, батюшка, смотрите: это все нашъ князь развалилъ» и сама отъ умиленія плачетъ.

— Моя бѣдная Ольга: я узнаю ее,—проговорила, покачавъ головою, бабушка.—Но въ этомъ ли и все ея сумасшествіе?

— Гм... да,—отвѣчалъ Донкихотъ:—она этимъ графинѣ очень надоѣла, а потомъ въ Парижѣ дѣло дошло до того, что Ольга Ѳедотовна одна со всѣми французами перессорилась.

И Рогожинъ разсказалъ, что моя бѣдная старушка, продолжая свою теорію разрушенія всѣхъ европейскихъ зданій

моимъ дѣдомъ, завела въ Парижѣ войну съ французскою прислугою графа, доказывая всѣмъ имъ, что церковь Notre Dame, которая была видна изъ оконъ квартиры Функендорфовъ, отнюдь не недостроена, но что ее князь «развалилъ». Французы, понявъ въ чемъ дѣло, разобидѣлись; графиня приняла ихъ сторону, а это показалось Ольгѣ Ѳедотовнѣ несправедливымъ и она объяснила самой графинѣ, что та «своего рода не уважаетъ».

Результатомъ всего этого вышло, что тетушка, вообще съ трудомъ переносившая людей материнаго штата, совсѣмъ отстранила отъ себя Ольгу и распорядилась отправить ее домой.

Бабушка, выслушавъ это, горько улыбнулась и ироговорила про себя:

— Ахъ, дочь моя, дочь!

— А вы увѣрены, что она *ваша* дочь?—спросилъ Рогожинъ.

Бабушка взглянула ему въ лицо и разсмѣялась.

— Что вы?—спросилъ онъ:—я читалъ нѣсколько случаевъ, какъ дѣтей подмѣняли.

— А? да... подмѣняли... Ты правъ: я тоже думаю, что мнѣ ее *подмѣнили*.

— Гдѣ?

— Въ петербургскомъ институтѣ. Но доскажи же мнѣ про Ольгу: какъ ее привезли сюда?

— Графъ съ дьячкомъ прислалъ.

— И спасибо ему, что онъ такъ сдѣлалъ,—сказала, дослушавъ, княгиня.

— Нѣтъ; вы повремените его благодарить, — отвѣчалъ Донкихотъ:—вы вотъ прежде взгляните сюда,—и Рогожинъ, засучивъ рукавъ, показалъ нѣсколько кругомъ расположенныхъ маленькихъ ранъ, которыя окружала одна сплошная опухоль съ кровянистымъ подтекомъ.

— Что это у тебя?

— Нѣмецъ укусилъ.

— Какой нѣмецъ?

— Котораго графъ прислалъ сюда графининымъ имѣніемъ управлять.

— Что же: вы съ нимъ подрались, что ли?

— Да.

— Господи, какъ это все скоро: и нѣмецъ уже есть, и уже и кусается! А за что же у васъ дѣло стало?

— Онъ всѣхъ мужиковъ, у которыхъ своя земля и дома съ амбарами на базарахъ, выселять хочетъ.

— Ты это шутишь?

— Нѣтъ; я дыхну, если хотите.

— Я вѣдь тебя всерьезъ спрашиваю.

— А я вамъ всерьезъ и отвѣчаю: онъ ихъ въ степи гонитъ.

— Да это что же: они ихъ ограбить, что ли, хотятъ?

— И я имъ то говорилъ...

— Боже мой, Боже мой, что я надѣлала! Эти люди гибнутъ за то, что они мнѣ вѣрили.

— Да,—отвѣчалъ Рогожинъ и черезъ минуту глухого молчанія заговорилъ снова:

— Я этого нѣмца просилъ, умолялъ, усовѣщивалъ... и наконецъ...

— Прибилъ, что ли?

Рогожинъ только сдѣлалъ молча рукою выразительный жестъ, какъ будто дралъ кого-то за волосы.

Бабушка молчала: она была поражена тѣмъ, что слышала, и тѣмъ, что̀ теперь ей представлялось возможнымъ далѣе въ этомъ же возмутительномъ родѣ.

«Я не дамъ разорить мужиковъ, — думала она: — нѣтъ; я сейчасъ же поѣду назадъ въ Петербургъ... я встрѣчу государя, брошусь ему въ ноги и скажу все... онъ добръ,— онъ разсудитъ...»

Но черезъ минуту она думала:

«Противъ кого же я пойду? противъ родной дочери, противъ зятя? Нѣтъ; это не то: за свою вину я отдамъ крестьянамъ все свое, чего ихъ добро стоило... У меня послѣ этого *ничего своего* не останется, но это полъ-горя,— безъ денегъ легче жить, чѣмъ безъ чести... Авось сыновья въ углѣ и въ кускѣ хлѣба мнѣ не откажутъ... А если и они, если и ихъ мнѣ *подмѣнятъ?*»

Бабушка закрыла обѣими руками запылавшее отъ этой мысли лицо и не замѣтила, что ея экипажъ не ѣдетъ, а у открытой дверцы съ фуражкою въ рукахъ стоитъ Патрикѣй.

— Что такое?—спросила она.

— Червевъ-съ.

— Гдѣ онъ?

— Извольте смотрѣть вонъ туда влѣво за рѣку.

Бабушка оглянула мѣстность: впереди, за горою, виднѣлись кресты курскихъ церквей, а влѣвѣ плыла сонная Тускарь и правый берегъ ея, заросшій мелкою ивой, тонулъ въ рѣдкомъ молочномъ туманѣ.

— Никого не вижу,—проговорила, приставляя къ глазу лорнетку, княгиня.

— Извольте смотрѣть... двѣ ракиты... за ракитами кустъ, за кустомъ тихая заводь и стоитъ цапля.

— Цаплю вижу.

— Противъ нея, на землѣ, сидитъ человѣкъ.

— Это *онъ*!

— Это Меѳодій Миронычъ!

— О, какъ онъ мнѣ дорогъ въ эту минуту!—воскликнула бабушка.

— Да; это самъ онъ и есть,—подтвердилъ Донкихотъ:—онъ сюда ходитъ читать. А я вамъ про него забылъ сказать: я открылъ, что онъ хорошаго рода, я читалъ рукопись: житіе святой боярыни Уліяны Ольшанской,—Червевы ихъ рода...

— Ахъ, оставь ты мнѣ теперь про всѣ роды... Патрикѣй: нѣтъ ли здѣсь лодки, чтобъ къ нему переѣхать?

— Вонъ дощаникъ подъ берегомъ: худой, чай, только.

— Все равно какой онъ: Тускарь не море,—отвѣтила бабушка и, толкнувъ ногой дверцу, легко спрыгнула изъ кареты.

Черезъ минуту ветхій дощаникъ, на которомъ стояли княгиня, ея оба сына, Донкихотъ и Gigot, тяжело зашуршалъ плоскимъ дномъ по травѣ и, сдвинувшись дальше, тихо поплылъ по тихой и мутной водѣ сонной Тускари.

Съ половины рѣки сѣрая фигура обозначилась яснѣе: теперь и близорукому было видно, что это сидѣлъ человѣкъ, а на колѣняхъ его лежала книга, которую онъ читалъ съ такимъ вниманіемъ, что не слыхалъ, какъ поднявшаяся, при приближеніи дощаника, цапля пролетѣла почти надъ самою его головою.

Лодка пристала у берега,—бабушка стала выходить.

— Смотрите ему прежде всего въ глаза,—шепталъ ей Рогожинъ: — удивительные глаза... чисты, точно сейчасъ снѣгомъ вытерты.

— Хорошо,—отвѣчала княгиня, и, велѣвъ всѣмъ остаться у лодки, пошла одна къ Червеву.

Червевъ говоритъ:

— Кажется, я могъ бы уважать ту власть, которая вела бы дѣло къ тому, чтобы себя упразднить и поставить вмѣсто себя власть Божію.

Губернаторъ ему сказалъ:

— Вы все очень своеобразно понимаете, но вы честный.—Я такъ и донесу.

— Кому донесетъ?

— А не знаю,—можетъ быть онъ такъ и донесъ...

— Да, разумѣется, такъ и донесъ!

— Я думаю, я думаю!—спокойно поддержалъ Рогожинъ.

Бабушка задумалась.

— Однако что же это такое?..

Это совсѣмъ выходило за рамки всѣхъ ея картинъ... Неужто онъ, въ самомъ дѣлѣ, таковъ, что сомнѣвается даже въ потребности самихъ государствъ... отдѣльныхъ «языковъ...» отдѣльныхъ народовъ... вѣръ... Это не можетъ быть. Ей никогда въ голову не приходило, чтобы такія вещи говорилъ просвѣщенный человѣкъ... и притомъ тотъ именно человѣкъ, котораго она приглашаетъ быть воспитателемъ ея сыновей... И когда это ей открывается? Именно теперь, когда она готова и даже должна его взять... Да; но почему же непремѣнно *должна?* А потому, что она сама все это затѣяла, вмѣшала въ это много людей и теперь ей дѣлать шагъ назадъ было бы неловко и поздно!.. Впрочемъ, что за вздоръ! Когда что-нибудь можно остановить до начала—такъ это не называется *поздно*, а что до *неловкости*, то развѣ такія соображенія могутъ руководить поступками большой важности. Не лучше ли отказаться отъ невѣсты наканунѣ самаго брака, чѣмъ дать совершиться акту, угрожающему обоюднымъ несчастіемъ?.. Нѣтъ; Варвара Никаноровна не изъ такихъ безхарактерныхъ и сентиментальныхъ людей. Пускай она въ Червевѣ больше чѣмъ самъ губернаторъ увѣрена, что онъ изъ честныхъ честный, но она не сунетъ ему сразу дѣтей, — она съ нимъ теперь поговоритъ,—она, по отчему обычаю, прямо спроситъ «како вѣруеши?» И онъ, безъ сомнѣнія, ей скажетъ правду.

Она такъ и сдѣлала и получила какъ разъ такой результатъ, какого ожидала.

Просидѣвъ около часа съ глаза на глазъ съ Червевымъ,

она стала сама резюмировать въ своемъ умѣ его положенія, и начертала такую схему: характеръ въ высшей мѣрѣ благородный и сильный; воля непреклонная; доброта безъ границъ; славолюбія — никакого, безсребренникъ полный, терпѣливъ, скроменъ и проникнутъ богопочтеніемъ, но Богъ его «не въ рукотворномъ храмѣ», а всѣ земные престолы, начальства и власти, — это для него совсѣмъ не существуетъ. Это все по его выводамъ не соединяетъ людей, а раздѣляетъ, а онъ хочетъ, чтобы каждый жилъ для всѣхъ и всѣ для одного... И это въ немъ такъ искренно, что онъ не хочетъ допускать никакихъ постороннихъ соображеній. По его мнѣнію, весь опытъ жизни обманчивъ,—и самая разсудительность ненадежна: не стòитъ думать о томъ, чтò будутъ дѣлать другіе, когда вы будете дѣлать имъ добро, а надо, ни передъ чѣмъ не останавливаясь, быть ко всѣмъ добрымъ.

Онъ убѣжденъ, что всѣ современемъ захотятъ платить добромъ за добро,—и потому онъ исключаетъ всякій судъ и всякія наказанія, всякія похвалы и всякія почести... Заслуги ума, трудолюбія, даже заслуги самоотверженія и любви — все это, по его мнѣнію, не нуждается ни въ какихъ наградахъ и даже страдаетъ отъ нихъ. Добро—само въ себѣ награда. Журавскій съ его идеями освободить крестьянъ ничего не достигнетъ, а во всей дѣятельности Сперанскаго онъ считаетъ за достойное вниманія только то, что онъ умѣетъ сносить съ достоинствомъ свое удаленіе.

Княгиню удивляло: какъ же этотъ человѣкъ былъ близокъ Сперанскому и Журавскому, которые имѣли совсѣмъ другіе взгляды и стремились къ улучшеніямъ путемъ государственныхъ мѣръ! Ихъ намѣренія княгинѣ казались прекрасными и во всякомъ случаѣ они были ей памятны, межъ тѣмъ какъ все то, что сказалъ ей съ полною откровенностію Черневъ,—это все измѣняетъ и отмѣняетъ, все упраздняетъ и все ставитъ ни во что. А то, что онъ говоритъ, о томъ приходится выводить изъ его идей, что это утопіи, что это неприложимо и не можетъ держаться при всѣхъ другихъ условіяхъ общества и гражданственности.

Проведя все это въ думѣ, она вслухъ договорила свою мысль:

— Это не ладъ, а разладъ.

— Да, принесенъ «не миръ, а мечъ», — спокойно отвѣчалъ ей Червевъ.

Княгиня прочитала въ его глазахъ, что онъ понялъ все, что она молча продумала, и нимало этому не удивился и не разсердился. Это ему, очевидно, было за привычку: онъ словно ожидалъ того, что̀ она ему сказала.

— Какъ же вводить молодыхъ людей въ эту жизнь съ такими идеями?—спросила она.

— Не легко,—отвѣчалъ Червевъ.

— И какъ имъ будетъ жить?

— Трудно.

— Нельзя!

— Если соединять несоединимое, то нельзя, но если вести одну линію, то можно.

— Надо, значитъ, начать съ того, что на многое почитаемое за важное взять и положить крестъ.

— Да, съ этого должно начаться.

— А далѣе пойдетъ разладъ со всѣмъ!

— Разладъ только съ тѣмъ, что не идетъ въ ладъ съ порядкомъ, при которомъ левъ не захочетъ вредить ягненку.

— Слова ваши рѣжущи.

— Я съ вами долженъ говорить откровенно: я вѣдь зналъ, что я вамъ не гожусь.

— Нѣтъ, я прошу васъ дать мнѣ подумать.

— И не думайте, я не гожусь. Вы вѣрите въ возможность мира при сохраненіи того, что не есть миръ, а я не вижу, на чемъ можетъ стать этакій миръ. Мечъ прошелъ даже матери въ душу.

— Вы строже, чѣмъ Савонаролла!

— Я не говорю ничего своего.

— Да, но это ужаснѣе! Вы отнимаете у меня не только вѣру во все то, во что я всю жизнь мою вѣрила, но даже лишаете меня самой надежды найти гармонію въ устройствѣ отношеній моихъ дѣтей съ религіей отцовъ и съ условіями общественнаго быта.

— Этой гармоніи я не касаюсь.

— Но вы не вѣрите въ ея возможность?

— Воспитывать умъ и сердце—значитъ просвѣщать ихъ и давать имъ прямой ходъ, а не подводить ихъ въ гармонію съ тѣмъ, что, быть-можетъ, само не содержитъ въ себѣ ничего гармоническаго.

— Становясь на вашу точку зрѣнія, я чувствую, что мнѣ

ничего не остается: я упразднена: я должна осудить себя въ прошломъ и не вижу, чего могу держаться дальше.

Червевъ улыбнулся доброй улыбкой и тихо сказалъ:

— Когда поколебались вѣра и надежда, остается *любовь*.

— Какъ еще любить и кого?

— Всѣхъ, но если вы истинно любите вашихъ дѣтей...

— Безъ сомнѣнія.

— И если вѣрите тому, что̀ открылъ показавшій путь, истину и жизнь...

— Вѣрю.

— Тогда вы должны знать, что̀ вамъ надо дѣлать.

Княгиня задумалась и тихо проговорила:

— Въ душѣ моей я съ вами согласна...

— Душа, вѣдь, по природѣ своей христіанка.

— Но этотъ ножъ, этотъ мечъ, — это измѣненіе всего...

— Измѣненіе всего, но сначала всего въ самомъ человѣкѣ.

— Да; только въ самомъ себѣ... но... все равно... Вы обобрали меня какъ птицу изъ перьевъ. Я никогда не думала, что я совсѣмъ *не* христіанка. Но вы принесли мнѣ пользу, вы смирили меня, вы мнѣ показали, что я живу и думаю какъ всѣ и ничуть не лучше тѣхъ, о комъ говорятъ, будто они меня хуже... Привычки жизни держатъ въ оковахъ мою «христіанку», страшно... Разорвать ихъ я безсильна... Конецъ!.. Я должна себя сломать или не уважать себя какъ лгунью!

— Послѣ, быть-можетъ, будетъ иное.

— Нѣтъ, это будетъ вѣчный мой стыдъ, что вмѣсто того, чтобы теперь привлечь къ себѣ въ домъ человѣка, какъ вы,—я говорю ему какъ тѣ, которые говорили: «выйди отъ меня—я человѣкъ грѣшный».

— Вы искренни, и я вамъ благодаренъ,—отвѣчалъ Червевъ и всталъ съ мѣста.

— Но какъ же вы теперь будете устроены?—спросила, удерживая въ своихъ рукахъ руку его, княгиня,—и она съ замѣшательствомъ стала говорить о томъ, что почла бы за счастье его успокоить у себя въ деревнѣ, но Червевъ это отклонилъ, отвѣтивъ, что онъ «всегда устроенъ».

И на этотъ разъ онъ, дѣйствительно, уже былъ устроенъ и притомъ совсѣмъ необыкновенно: посѣтившій княгиню на другой день предводитель сообщилъ ей двѣ новости:

во-первыхъ, присланное ему приглашеніе наблюдать, чтобы княгиня «воспитывала своихъ сыновей сообразно ихъ благородному происхожденію», а во-вторыхъ, извѣстіе о томъ, что Червевъ за свои «завиральныя идеи» посланъ жить подъ надзоромъ въ Бѣлые берега.

Княгиня, по словамъ Ольги Ѳедотовны, послѣ этого въ три дня постарѣла и сгорбилась больше, чѣмъ во многіе годы. Она измѣнилась и въ нравѣ: навсегда перестала шутить, никого не осуждала и часто, какъ въ мечтѣ, сама говорила съ собою:

— Лучшаго не стоимъ.

Донкихотъ, Жиго и сама Марья Николаевна утратили свои живыя роли и только имѣли по временамъ пребываніе въ Протозановскомъ домѣ. «Княгиня стала ко всѣмъ равна, и къ нимъ, какъ къ обыкновеннымъ». Ласково, но коротко. На послѣдовавшее затѣмъ вскорѣ распоряженіе доставить князей для воспитанія въ избранное учебное заведеніе въ Петербургѣ, она не возражала ни слова, но только не повезла ихъ сама, а доставила туда съ Патрикѣемъ. Въ душѣ ея что-то хрустнуло и развалилось и паденіе это было большое. Пало то, чѣмъ серьезные и умные люди больше всего дорожатъ и, обманувшись въ чемъ, объ этомъ много не разсказываютъ.

Я бы, кажется, имѣла основаніе уподобить состояніе бабушки съ состояніемъ извѣстной сверстницы Августа Саксонскаго, графини Козель, когда ее заключили въ замкѣ. Обѣ онѣ были женщины умныя и съ большими характерами и обѣ обречены на одиночество, и обѣ стали анализировать свою религію, но Козель оторвала отъ своей Библіи и выбросила въ ровъ Новый Завѣтъ, а бабушка это одно именно для себя только и выбрала и лишь это одно сохранила, и все еще добивалась, гдѣ тутъ материкъ?

Толкущему въ двери разума—дверь отворяется. Бабушка достала себѣ то, что нужнѣе всего человѣку: жизнь не раздражала ее болѣе ничѣмъ: она, какъ овца, тихо шла, не сводя глазъ съ пастушьяго посоха, на крючкѣ котораго ей свѣтилъ бѣлый цвѣтокъ съ кровавою жилкой.

Бывшіе многочисленные знакомые оставили княгиню и скоро стали ее забывать. Поводомъ къ тому послужило неизвѣстно откуда распространившееся извѣстіе, будто она «одержима черной меланхоліей», что всѣмъ представлялось

заразительнымъ и опаснымъ, въ родѣ водобоязни. Опасность отъ меланхоліи совсѣмъ иначе представлялъ себѣ Донкихотъ Рогожинъ: онъ вспомнилъ изъ читанныхъ имъ монастырскихъ исторій, какое происшествіе случилось съ медикомъ Яковомъ Несмѣяновымъ, признаннымъ за «меленхолика» и посланнымъ, въ 1744 г., въ Москву, въ Заиконоспасскій монастырь съ тѣмъ, чтобы съ нимъ тамъ «разговаривать и его усматривать: не имѣетъ ли въ законѣ Божіемъ сомнѣнія». Рогожинъ испугался, что и у княгини напишутъ не меланхолію, а «меленхолію» и пошлютъ княгиню куда-нибудь, чтобы ее «усматривать», — и Донкихотъ сталъ вести себя смирно и дожилъ вѣкъ въ Протозановѣ на стражѣ, съ рѣшимостію умереть, охраняя княгиню, когда это понадобится. Надобности такой онъ, однако, не дождался и умеръ своею смертію, но, кажется, онъ умѣлъ заронить сѣмя особливаго страха и боязни въ душу княгини. До этихъ поръ всегда независимая и смѣлая во всѣхъ своихъ сужденіяхъ и поступкахъ, она блѣднѣла при одномъ напоминаніи имени Хотѣтовой и архимандрита Фотія и жаловалась Ольгѣ, что въ ней «развилась подозрительность и меланхолія». Такимъ образомъ, значитъ, общественные толки о ней оправдались, и эта смѣлая, твердая и чистая душа впала въ слабость, утратила силу быть полезною другимъ и доживала жизнь, оберегая одну свою неприкосновенность. Она стала бояться тѣхъ, которые ея боялись, и Фотій началъ являться ей во снѣ и стучать костылемъ. Ольга говорила, что бабушка, бывало, проснется и не спитъ, боясь, что онъ опять ей приснится, и цѣлые дни потомъ молчитъ и ходитъ одна съ собачкою въ темныхъ аллеяхъ сада съ такимъ печальнымъ лицомъ, на которое жалко было смотрѣть: а ночью ей опять снился Фотій и опять грозилъ костылемъ.

Конечно, она не могла говорить съ Ольгой всего, что думала, но, однако, говорила ей: «я прожила жизнь дурно и нечестиво и зато бѣгаю какъ нечестивая, можетъ быть ни единому меня гонящу. Меня барство испортило, — я ему предалась и лучшее за нимъ проглядѣла». «Лучшее», по ея теперешнимъ понятіямъ, была «истина», которая дѣлаетъ человѣка свободнымъ, и при этомъ она вспоминала о Червевѣ. А когда Ольга говорила ей: «вѣдь и вы то же самое знать изволите», она отвѣчала: «знать я изволю, а слѣдо-

вать неспособна, и оттого я хуже тѣхъ, которые не знаютъ». Ольга этого не понимала и, не зная что̀ сказать, одинъ разъ сказала: «Богъ дастъ доспѣете». Бабушка ей отвѣчала: «очень была бы рада». И радость эта была ей дарована.

У крестьянъ, отданныхъ въ приданое княжнѣ Анастасіи, были свои земли, купленныя на господское имя, какъ это тогда водилось. Функендорфъ не призналъ ихъ правъ и все посчиталъ на себя. Бабушка увидала свою ужасную ошибку и тотчасъ же освободила людей своей части на легкій выкупъ земель и все что̀ выручила отдала обиженнымъ Функендорфомъ людямъ, вознаградивъ ихъ съ излишкомъ, а сама рѣшилась жить нахлѣбницею у Марьи Николаевны. Моему отцу и дядѣ и ихъ крестьянамъ стоило немалаго труда упросить ее остаться въ ихъ домѣ и продолжать управлять ихъ имѣніемъ. Она сдалась болѣе на просьбы крестьянъ и, «чтобы имъ не было худо», осталась въ Протозановѣ «въ гостяхъ у сыновей», и жила просто, кушая вмѣстѣ съ Ольгою самое простое кушанье Ольгинаго приготовленія, ни о какихъ вопросахъ общаго государственнаго управленія не хотѣла знать и умерла спокойно, съ твердостію и даже шутила, что̀ теперь опять ничего не боится и что Фотій на нее навѣрное больше грозиться не будетъ.

Червевъ кончалъ свое теченіе всѣхъ благополучнѣе: онъ, мимо воли своей, наконецъ сдѣлался извѣстенъ въ свѣтѣ. Несмотря на то, что къ нему никого изъ шаткихъ въ вѣрѣ людей не допускали, Патрикѣй не разъ ѣздилъ узнавать по секрету: какъ онъ томится, и всякій разъ привозилъ извѣстіе, что нѣтъ ему никакого томленія. Червевъ почиталъ себя вполнѣ благополучнымъ и счастливымъ, что не былъ лишенъ свѣта, воздуха и работы. О винѣ, за которую онъ присланъ, ничего никому не было извѣстно. Звали его «добрый бродяга». Строгость къ Червеву примѣнялась только въ томъ, что его не ставили работать вмѣстѣ съ простыми людьми изъ мірянъ. Для иноковъ же, которые были хорошо утверждены во всемъ, что имъ надобно знать, Червевъ не почитался нимало опаснымъ. Лѣтомъ онъ разбивалъ навозъ и копалъ гряды, а зимою качалъ воду изъ колодца и чистилъ коровники.

Черезъ нѣсколько лѣтъ такой совершенно благополучной жизни Червевъ умеръ въ коровникѣ и сдѣлалъ это такъ

скрытно, что его не досмотрѣли и упустили его напутствовать. Червевъ, однако, и тутъ не былъ безполезнымъ жильцомъ: незадолго передъ смертью онъ оказалъ обители цѣнную услугу и въ этотъ разъ явилъ себя міру со стороны до сихъ поръ неизвѣстной. Въ проѣздъ графини Хотѣтовой черезъ Бѣлые берега, она остановила свое вниманіе на чистыхъ, будто снѣгомъ натертыхъ глазахъ Червева и прочла въ нихъ сокровенный даръ пророчества. Она просила позволенія съ нимъ говорить, но въ этомъ даже и ей было отказано. Тогда она обратилась къ другому способу сношеній,—просила передать Червеву написанный ею важный вопросъ съ тѣмъ, чтобы онъ написалъ отвѣтъ, за который она обѣщала вкладъ по сту червонцевъ за слово.

Братія передала это Червеву, и онъ, ничего не писавшій со дня своего заключенія въ монастырь, сейчасъ же взялъ въ руки карандашъ и, не читая вопроса, написалъ на него отвѣтъ: «поступай какъ знаешь, все равно — будешь раскаиваться».

Могила Червева цѣла и теперь. На ней есть крестъ съ надписью: «Меѳодій Червевъ». Хотѣли-было ему надписать «рабъ Божій», но вспомнили, что онъ «бродяга» и что вообще о немъ есть что-то неизвѣстное, и не надписали.

Оглавленіе

XVII ТОМА.

стр.

Захудалый родъ. Семейная хроника князей Протозановыхъ. Въ двухъ частяхъ.

Часть первая.—Старая княгиня и ея дворъ 5

Часть вторая.—Старое старится—молодое растетъ . . . 117

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

СВЯТОЧНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемые въ этой книгѣ святочные разсказы написаны мною разновременно для праздничныхъ — преимущественно для рождественскихъ и новогоднихъ нумеровъ разныхъ періодическихъ изданій. Изъ этихъ разсказовъ только немногіе имѣютъ элементъ *чудеснаго* — въ смыслѣ сверхчувственнаго и таинственнаго. Въ прочихъ причудливое или загадочное имѣетъ свои основанія не въ сверхъестественномъ или сверхчувственномъ, а истекаетъ изъ свойствъ русскаго духа и тѣхъ общественныхъ вѣяній, въ которыхъ для многихъ, и въ томъ числѣ для самого автора, написавшаго эти разсказы, заключается значительная доля страннаго и удивительнаго.

ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ одномъ образованномъ семействѣ сидѣли за чаемъ друзья и говорили о литературѣ — о вымыслѣ, о фабулѣ. Сожалѣли, отчего все это у насъ бѣднѣетъ и блѣднѣетъ. Я припомнилъ и разсказалъ одно характерное замѣчаніе покойнаго Писемскаго, который говорилъ, будто усматриваемое литературное оскудѣніе прежде всего связано съ размноженіемъ желѣзныхъ дорогъ, которыя очень полезны торговлѣ, но для художественной литературы вредны.

«— Теперь человѣкъ проѣзжаетъ много, но скоро и безобидно,—говорилъ Писемскій, — и оттого у него никакихъ сильныхъ впечатлѣній не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда,—все скользитъ. Оттого и бѣдно. А бывало, какъ ѣдешь изъ Москвы въ Кострому «на долгихъ», въ общемъ тарантасѣ, или «на сдаточныхъ»,—да и ямщикъ-то тебѣ попадетъ подлецъ, да и сосѣди нахалы, да и постоялый дворникъ шельма, а «куфарка» у него неопрятище,— такъ вѣдь сколько разнообразія насмотришься. А еще какъ сердце не вытерпитъ,—изловишь какую-нибудь гадость во щахъ, да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на отвѣтъ— вдесятеро изсрамитъ, такъ отъ впечатлѣній-то просто и не отдѣлаешься. И стоятъ они въ тебѣ густо, точно суточная каша прѣетъ, — ну, разумѣется, густо и въ сочиненіи выходило; а нынче все это по желѣзнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ѣшь — пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять ѣдешь, и только всѣхъ у тебя впе-

чатлѣній, что лакей сдачей тебя обсчиталъ, а обругаться съ нимъ въ свое удовольствіе уже и некогда».

Одинъ гость на это замѣтилъ, что Писемскій оригиналенъ, но неправъ, и привелъ въ примѣръ Диккенса, который писалъ въ странѣ, гдѣ очень быстро ѣздятъ, однакоже видѣлъ и наблюдалъ много, и фабулы его разсказовъ не страдаютъ скудостію содержанія.

— Исключеніе составляютъ развѣ только одни его святочные разсказы. И они, конечно, прекрасны, но въ нихъ есть однообразіе; однако, въ этомъ винить автора нельзя, потому что это такой родъ литературы, въ которомъ писатель чувствуетъ себя невольникомъ слишкомъ тѣсной и правильно ограниченной формы. Отъ святочнаго разсказа непремѣнно требуется, чтобы онъ былъ пріуроченъ къ событіямъ святочнаго вечера — отъ Рождества до Крещенья, чтобы онъ былъ сколько-нибудь фантастиченъ; имѣлъ какую-нибудь мораль, хотя въ родѣ опроверженія вреднаго предразсудка, и наконецъ — чтобы онъ оканчивался непремѣнно весело. Въ жизни такихъ событій бываетъ немного, и потому авторъ неволитъ себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую къ программѣ. А черезъ это въ святочныхъ разсказахъ и замѣчается большая дѣланность и однообразіе.

— Ну, я не совсѣмъ съ вами согласенъ,—отвѣчалъ третій гость, почтенный человѣкъ, который часто умѣлъ сказать слово кстати. Потому намъ всѣмъ и захотѣлось его слушать.

— Я думаю, — продолжалъ онъ: — что и святочный разсказъ, находясь въ своихъ его рамкахъ, все-таки можетъ видоизмѣняться и представлять любопытное разнообразіе, отражая въ себѣ и свое время, и нравы.

— Но чѣмъ же вы можете доказать ваше мнѣніе? Чтобы оно было убѣдительно, надо, чтобы вы намъ показали такое событіе изъ современной жизни русскаго общества, гдѣ отразился бы и вѣкъ, и современный человѣкъ, и между тѣмъ все бы это отвѣчало формѣ и программѣ святочнаго разсказа, то-есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предразсудокъ, и имѣло бы не грустное, а веселое окончаніе.

— А что же, я могу вамъ представить такой разсказъ, если хотите.

— Сдѣлайте одолженіе! Но только помните, что онъ долженъ быть *истинное происшествіе!*

— О, будьте увѣрены, я разскажу вамъ происшествіе самое истиннѣйшее и притомъ о лицахъ мнѣ очень дорогихъ и близкихъ. Дѣло касается моего родного брата, который, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, хорошо служитъ и пользуется вполнѣ имъ заслуженною доброю репутаціею.

Всѣ подтвердили, что это правда, и многіе добавили, что братъ разсказчика, дѣйствительно, достойный и прекрасный человѣкъ.

— Да,—отвѣчалъ тотъ:—вотъ я и поведу рѣчь объ этомъ, какъ вы говорите, прекрасномъ человѣкѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Назадъ тому три года братъ пріѣхалъ ко мнѣ на святки изъ провинціи, гдѣ онъ тогда служилъ, и точно его какая муха укусила—приступилъ ко мнѣ и къ моей женѣ съ неотступною просьбою: «жените меня».

Мы сначала думали, что онъ шутитъ, но онъ серьезно и не съ короткимъ пристаетъ: «жените, сдѣлайте милость! Спасите меня отъ невыносимой скуки одиночества! Опостылѣла холостая жизнь, надоѣли сплетни и вздоры провинціи,—хочу имѣть свой очагъ, хочу сидѣть вечеромъ съ дорогою женою у своей лампы. Жените!»

— Ну, да постой же, говоримъ, — все это прекрасно и пусть будетъ по-твоему, — Господь тебя благослови, — женись, но вѣдь надобно же время, надо имѣть въ виду хорошую дѣвушку, которая бы пришлась тебѣ по сердцу и чтобы ты тоже нашелъ у нея къ себѣ расположеніе. На все это надо время.

А онъ отвѣчаетъ:

— Что же, времени довольно: двѣ недѣли святокъ вѣнчаться нельзя, — вы меня въ это время сосватайте, а на Крещенье, вечеркомъ, мы обвѣнчаемся и уѣдемъ.

— Э, говорю, — да ты, любезный мой, должно-быть, немножко съ ума сошелъ отъ скуки. (Слова «психопатъ» тогда еще не было у насъ въ употребленіи). Мнѣ, говорю, съ тобой дурачиться некогда, я сейчасъ въ судъ на службу иду, а ты вотъ тутъ оставайся съ моей женою и фантазируй.

Думалъ, что все это, разумѣется, пустяки или, по край-

ней мѣрѣ, что это затѣя очень далекая отъ исполненія, а между тѣмъ возвращаюсь къ обѣду домой и вижу, что у нихъ уже дѣло созрѣло.

Жена говоритъ мнѣ:

— У насъ была Машенька Васильева, просила меня съѣздить съ нею выбрать ей платье, и пока я одѣвалась, они (т. е. братъ мой и эта дѣвица) посидѣли за чаемъ, и братъ говоритъ: «Вотъ прекрасная дѣвушка! Что̀ тамъ еще много выбирать,—жените меня на ней!»

Я отвѣчаю женѣ:

— Теперь я вижу, что братъ въ самомъ дѣлѣ одурѣлъ.

— Нѣтъ, позволь,—отвѣчаетъ жена:—отчего же это непремѣнно «одурѣлъ»? Зачѣмъ же отрицать то, что̀ ты самъ всегда уважалъ?

— Что̀ это такое я уважалъ?

— Безотчетныя симпатіи, влеченія сердца.

— Ну, говорю, — матушка, меня на это не поддѣнешь. Все это хорошо во̀-время и кстати, хорошо, когда эти влеченія вытекаютъ изъ чего-нибудь ясно сознаннаго, изъ признанія видимыхъ превосходствъ души и сердца, а это—что такое... въ одну минуту увидѣлъ и готовъ обрѣшетиться на всю жизнь.

— Да, а ты что же имѣешь противъ Машеньки? — она именно такая и есть, какъ ты говоришь,—дѣвушка яснаго ума, благороднаго характера и прекраснаго и вѣрнаго сердца. Притомъ и онъ ей очень понравился.

— Какъ! воскликнулъ я, — такъ это ты ужъ и съ ея стороны успѣла заручиться признаніемъ?

— Признаніе, отвѣчаетъ,—не признаніе, а развѣ это не видно? Любовь вѣдь —это по нашему женскому вѣдомству,— мы ее замѣчаемъ и видимъ въ самомъ зародышѣ.

— Вы, говорю, — всѣ очень противныя свахи: вамъ бы только кого-нибудь женить, а тамъ что̀ изъ этого выйдетъ,— это до васъ не касается. Побойся послѣдствій твоего легкомыслія.

— А я ничего, говоритъ,—не боюсь, потому что я ихъ обоихъ знаю, и знаю, что братъ твой — прекрасный человѣкъ, и Маша—премилая дѣвушка, и они какъ дали слово заботиться о счастьѣ другъ друга, такъ это и исполнятъ.

— Какъ! закричалъ я, себя не помня,—они уже и слово другъ другу дали?

— Да,—отвѣчаетъ жена:—это было пока иносказательно, но понятно. Ихъ вкусы и стремленія сходятся, и я вечеромъ поѣду съ твоимъ братомъ къ нимъ,—онъ навѣрно понравится старикамъ, и потомъ...

— Что же, что потомъ?

— Потомъ, — пускай какъ знаютъ; ты только не мѣшайся.

— Хорошо, говорю, — хорошо, очень радъ въ подобную глупость не мѣшаться.

— Глупости никакой не будетъ.

— Прекрасно.

— А будетъ все очень хорошо: они будутъ счастливы!

— Очень радъ! Только не мѣшаетъ, говорю, — моему братцу и тебѣ знать и помнить, что отецъ Машеньки всѣмъ извѣстный богатый сквалыжникъ.

— Что же изъ этого? Я этого, къ сожалѣнію, и не могу оспаривать, но это нимало не мѣшаетъ Машенькѣ быть прекрасною дѣвушкой, изъ которой выйдетъ прекрасная жена. Ты вѣрно забылъ то, надъ чѣмъ мы съ тобою не разъ останавливались: вспомни, что у Тургенева — всѣ его лучшія женщины, какъ на подборъ, имѣли очень не почтенныхъ родителей.

— Я совсѣмъ не о томъ говорю. Машенька, дѣйствительно, превосходная дѣвушка, а отецъ ея, выдавая замужъ двухъ старшихъ ея сестеръ, обоихъ зятьевъ обманулъ и ничего не далъ,—и Машѣ ничего не дастъ.

— Почемъ это знать? Онъ ее больше всѣхъ любитъ.

— Ну, матушка, держи карманъ шире: знаемъ мы, что такое ихъ «особенная» любовь къ дѣвушкѣ, которая на выходѣ. Всѣхъ обманетъ! Да ему и не обмануть нельзя,— онъ на томъ стоитъ, и состоянію-то своему, говорятъ, тѣмъ начало положилъ, что деньги въ большой ростъ подъ залоги давалъ. У такого-то человѣка вы захотѣли любви и великодушія доискаться. А я вамъ то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если онъ ихъ надулъ и они теперь всѣ во враждѣ съ нимъ, то ужъ моего братца, который съ дѣтства страдалъ самою утрированною деликатностію, онъ и подавно оставитъ на бобахъ.

— То-есть какъ это, говоритъ,—на бобахъ?

— Ну, матушка, это ты дурачишься.

— Нѣтъ, не дурачусь.

— Да развѣ ты не знаешь, что̀ такое значитъ «оставить на бобахъ»? Ничего не дастъ Машенькѣ,—вотъ и вся недолга̀.

— Ахъ, вотъ это-то!

— Ну, конечно.

— Конечно, конечно! Это быть можетъ, но только я, говоритъ,—никогда не думала, что по-твоему—получить путную жену, хотя бы и безъ приданаго, — это называется «остаться на бобахъ».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчасъ—въ чужой огородъ, а вамъ, по сосѣдству, шпильку въ бокъ...

— Я говорю вовсе не о себѣ...

— Нѣтъ, отчего же?..

— Ну, это странно, ma chère!

— Да отчего же странно?

— Оттого странно, что я этого на свой счетъ не говорилъ.

— Ну, думалъ.

— Нѣтъ, совсѣмъ и не думалъ.

— Ну, воображалъ.

— Да, нѣтъ же, чортъ возьми, ничего я не воображалъ!

— Да чего же ты кричишь?!

— Я не кричу!

— И «черти»... «чортъ»... Что̀ это такое?

— Да потому, что ты меня изъ терпѣнія выводишь.

— Ну, вотъ то-то и есть! А если бы я была богата и принесла съ собою тебѣ приданое...

— Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержалъ и, по выраженію покойнаго поэта Толстого, «начавъ — какъ богъ, окончилъ — какъ свинья». Я принялъ обиженный видъ, — потому, что и въ самомъ дѣлѣ чувствовалъ себя несправедливо обиженнымъ,— и, покачавъ головою, повернулся и пошелъ къ себѣ въ кабинетъ. Но, затворяя за собою дверь, почувствовалъ неодолимую жажду отмщенія,—снова отворилъ дверь и сказалъ:

— Это свинство!

А она отвѣчаетъ:

— Merci, мой милый мужъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

— Чортъ знаетъ, что̀ за сцена! И не забудьте — это послѣ четырехъ лѣтъ самой счастливой и ничѣмъ ни на

минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно—и непереносно! Что̀ за вздоръ такой. И изъ-за чего!.. Все это набаламутилъ братъ. И что мнѣ такое, что я такъ кипячусь и волнуюсь! Вѣдь онъ въ самомъ дѣлѣ взрослый и не въ правѣ ли онъ самъ обсудить, какая особа ему нравится и на комъ ему жениться?.. Господи, въ этомъ сыну родному нынче не укажешь, а то чтобы еще братъ брата долженъ былъ слушаться... Да и по какому, наконецъ, праву?.. И могу ли я, въ самомъ дѣлѣ, быть такимъ провидцемъ, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чѣмъ кончится?.. Машенька, дѣйствительно, превосходная дѣвушка, а моя жена развѣ не прелестная женщина?.. Да и меня, слава Богу, никто негодяемъ не называлъ, а между тѣмъ вотъ мы съ нею, послѣ четырехъ лѣтъ счастливой, ни на минуту ничѣмъ не смущенной жизни, теперь разбранились какъ портной съ портнихой... И все изъ-за пустяковъ, изъ-за чужой шутовской прихоти..

Мнѣ стало ужасно совѣстно передъ собою и ужасно ее жалко, потому что я ея слова уже считалъ ни во что, а за все винилъ себя, и въ такомъ грустномъ и недовольномъ настроеніи уснулъ у себя въ кабинетѣ на диванѣ, закутавшись въ мягкій ватный халатъ, выстеганный мнѣ собственными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь—носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Такъ оно хорошо, такъ мило и такъ во̀-время и не во̀-время напоминаетъ и наши вины, и тѣ драгоцѣнныя ручки, которыя вдругъ захочется расцѣловать и просить въ чемъ-то прощенія.

— Прости меня, мой ангелъ, что ты меня, наконецъ, вывела изъ терпѣнія. Я впередъ не буду.

И мнѣ, признаться, до того захотѣлось поскорѣе идти съ этой просьбой, что я проснулся, всталъ и вышелъ изъ кабинета.

Смотрю—въ домѣ вездѣ темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

— Гдѣ же барыня?

— А онѣ, отвѣчаетъ, — уѣхали съ вашимъ братцемъ къ Марьи Николаевны отцу. Я вамъ сейчасъ чай приготовлю.

«Какова! думаю, — значитъ, она своего упорства не оставляетъ,—она таки хочетъ женить брата на Машенькѣ... Ну, пусть ихъ дѣлаютъ, какъ знаютъ, и пусть ихъ Ма-

шенькинъ отецъ надуетъ, какъ онъ надулъ своихъ старшихъ зятьевъ. Да даже еще и болѣе, потому что тѣ сами жохи, а мой братъ,—воплощенная честность и деликатность. Тѣмъ лучше, — пусть онъ ихъ надуетъ, — и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первомъ урокѣ, какъ людей сватать».

Я получилъ изъ рукъ горничной стаканъ чаю и усѣлся читать дѣло, которое завтра начиналось у насъ въ судѣ и представляло для меня не мало трудностей.

Занятіе это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя съ братомъ возвратились въ два часа и оба превеселые.

Жена говоритъ мнѣ:

— Не хочешь ли холоднаго ростбифа и стаканъ воды съ виномъ? А мы у Васильевыхъ ужинали.

— Нѣтъ, говорю,—покорно благодарю.

— Николай Ивановичъ расщедрился и отлично насъ покормилъ.

— Вотъ какъ.

— Да, — мы превесело провели время, и шампанское пили.

— Счастливцы! говорю, — а самъ думаю: значитъ, эта бестія, Николай Ивановичъ, сразу раскусилъ, что за теленокъ мой братъ, и далъ ему пойла недаромъ. Теперь онъ его будетъ ласкать, пока тамъ жениховскій рученецъ кончится, а потомъ—быть бычку на обрывочку.

А чувства мои противъ жены снова озлобились, и я не сталъ просить у нея прощенья въ своей невинности. И даже, если бы я былъ свободенъ и имѣлъ досугъ вникать во всѣ перипетіи затѣянной ими любовной игры, то не удивительно было бъ, что я снова не вытерпѣлъ бы, во что-нибудь вмѣшался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастію, мнѣ было некогда. Дѣло, о которомъ я вамъ говорилъ, заняло насъ на судѣ такъ, что мы съ нимъ не чаяли освободиться и къ празднику, а потому я домой являлся только поѣсть да выспаться, а всѣ дни и часть ночей проводилъ предъ алтаремъ Ѳемиды.

А дома у меня дѣла не ждали, и когда я подъ самый сочельникъ явился подъ свой кровъ, довольный тѣмъ, что освободился отъ судебныхъ занятій, меня встрѣтили тѣмъ, что пригласили осмотрѣть роскошную корзину съ дорогими подарками, подносимыми Машенькѣ моимъ братомъ.

— Да,—отвѣчаетъ жена:—это было пока иносказательно, но понятно. Ихъ вкусы и стремленія сходятся, и я вечеромъ поѣду съ твоимъ братомъ къ нимъ,—онъ навѣрно понравится старикамъ, и потомъ...

— Что же, что потомъ?

— Потомъ, — пускай какъ знаютъ; ты только не мѣшайся.

— Хорошо, говорю, — хорошо, очень радъ въ подобную глупость не мѣшаться.

— Глупости никакой не будетъ.

— Прекрасно.

— А будетъ все очень хорошо: они будутъ счастливы!

— Очень радъ! Только не мѣшаетъ, говорю, — моему братцу и тебѣ знать и помнить, что отецъ Машеньки всѣмъ извѣстный богатый сквалыжникъ.

— Что же изъ этого? Я этого, къ сожалѣнію, и не могу оспаривать, но это нимало не мѣшаетъ Машенькѣ быть прекрасною дѣвушкой, изъ которой выйдетъ прекрасная жена. Ты вѣрно забылъ то, надъ чѣмъ мы съ тобою не разъ останавливались: вспомни, что у Тургенева — всѣ его лучшія женщины, какъ на подборъ, имѣли очень не почтенныхъ родителей.

— Я совсѣмъ не о томъ говорю. Машенька, дѣйствительно, превосходная дѣвушка, а отецъ ея, выдавая замужъ двухъ старшихъ ея сестеръ, обоихъ зятьевъ обманулъ и ничего не далъ,—и Машѣ ничего не дастъ.

— Почемъ это знать? Онъ ее больше всѣхъ любитъ.

— Ну, матушка, держи карманъ шире: знаемъ мы, что такое ихъ «особенная» любовь къ дѣвушкѣ, которая на выходѣ. Всѣхъ обманетъ! Да ему и не обмануть нельзя,— онъ на томъ стоитъ, и состоянію-то своему, говорятъ, тѣмъ начало положилъ, что деньги въ большой ростъ подъ залоги давалъ. У такого-то человѣка вы захотѣли любви и великодушія доискаться. А я вамъ то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если онъ ихъ надулъ и они теперь всѣ во враждѣ съ нимъ, то ужъ моего братца, который съ дѣтства страдалъ самою утрированною деликатностію, онъ и подавно оставитъ на бобахъ.

— То-есть какъ это, говоритъ,—на бобахъ?

— Ну, матушка, это ты дурачишься.

— Нѣтъ, не дурачусь.

— Да развѣ ты не знаешь, что̀ такое значитъ «оставить на бобахъ»? Ничего не дастъ Машенькѣ,—вотъ и вся недолга̀.

— Ахъ, вотъ это-то!

— Ну, конечно.

— Конечно, конечно! Это быть можетъ, но только я, говоритъ,—никогда не думала, что по-твоему—получить путную жену, хотя бы и безъ приданаго, — это называется «остаться на бобахъ».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчасъ—въ чужой огородъ, а вамъ, по сосѣдству, шпильку въ бокъ...

— Я говорю вовсе не о себѣ...

— Нѣтъ, отчего же?..

— Ну, это странно, ma chère!

— Да отчего же странно?

— Оттого странно, что я этого на свой счетъ не говорилъ.

— Ну, думалъ.

— Нѣтъ, совсѣмъ и не думалъ.

— Ну, воображалъ.

— Да, нѣтъ же, чортъ возьми, ничего я не воображалъ!

— Да чего же ты кричишь?!

— Я не кричу!

— И «черти»... «чортъ»... Что̀ это такое?

— Да потому, что ты меня изъ терпѣнія выводишь.

— Ну, вотъ то-то и есть! А если бы я была богата и принесла съ собою тебѣ приданое...

— Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержалъ и, по выраженію покойнаго поэта Толстого, «начавъ — какъ богъ, окончилъ — какъ свинья». Я принялъ обиженный видъ, — потому, что и въ самомъ дѣлѣ чувствовалъ себя несправедливо обиженнымъ,— и, покачавъ головою, повернулся и пошелъ къ себѣ въ кабинетъ. Но, затворяя за собою дверь, почувствовалъ неодолимую жажду отмщенія,—снова отворилъ дверь и сказалъ:

— Это свинство!

А она отвѣчаетъ:

— Merci, мой милый мужъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

— Чортъ знаетъ, что̀ за сцена! И не забудьте — это послѣ четырехъ лѣтъ самой счастливой и ничѣмъ не

минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно—и непереносно! Что̀ за вздоръ такой. И изъ-за чего!.. Все это набаламутилъ братъ. И что мнѣ такое, что я такъ кипячусь и волнуюсь! Вѣдь онъ въ самомъ дѣлѣ взрослый и не въ правѣ ли онъ самъ обсудить, какая особа ему нравится и на комъ ему жениться?.. Господи, въ этомъ сыну родному нынче не укажешь, а то чтобы еще братъ брата долженъ былъ слушаться... Да и по какому, наконецъ, праву?.. И могу ли я, въ самомъ дѣлѣ, быть такимъ провидцемъ, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чѣмъ кончится?.. Машенька, дѣйствительно, превосходная дѣвушка, а моя жена развѣ не прелестная женщина?.. Да и меня, слава Богу, никто негодяемъ не называлъ, а между тѣмъ вотъ мы съ нею, послѣ четырехъ лѣтъ счастливой, ни на минуту ничѣмъ не смущенной жизни, теперь разбранились какъ портной съ портнихой... И все изъ-за пустяковъ, изъ-за чужой шутовской прихоти...

Мнѣ стало ужасно совѣстно передъ собою и ужасно ее жалко, потому что я ея слова уже считалъ ни во что, а за все винилъ себя, и въ такомъ грустномъ и недовольномъ настроеніи уснулъ у себя въ кабинетѣ на диванѣ, закутавшись въ мягкій ватный халатъ, выстеганный мнѣ собственными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь—носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Такъ оно хорошо, такъ мило и такъ во̀-время и не во̀-время напоминаетъ и наши вины, и тѣ драгоцѣнныя ручки, которыя вдругъ захочется расцѣловать и просить въ чемъ-то прощенія.

— Прости меня, мой ангелъ, что ты меня, наконецъ, вывела изъ терпѣнія. Я впередъ не буду.

И мнѣ, признаться, до того захотѣлось поскорѣе идти съ этой просьбой, что я проснулся, всталъ и вышелъ изъ кабинета.

Смотрю—въ домѣ вездѣ темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

— Гдѣ же барыня?

— А онѣ, отвѣчаетъ, — уѣхали съ вашимъ братцемъ къ Марьи Николаевны отцу. Я вамъ сейчасъ чай приготовлю.

«Какова! думаю, — значитъ, она своего упорства не оставляетъ,—она таки хочетъ женить брата на Машенькѣ... Ну, пусть ихъ дѣлаютъ, какъ знаютъ, и пусть ихъ Ма-

шенькинъ отецъ надуетъ, какъ онъ надулъ своихъ старшихъ зятьевъ. Да даже еще и болѣе, потому что тѣ сами жохи, а мой братъ,—воплощенная честность и деликатность. Тѣмъ лучше, — пусть онъ ихъ надуетъ, — и брата, и мою жену. Пусть она обожжется на первомъ урокѣ, какъ людей сватать».

Я получилъ изъ рукъ горничной стаканъ чаю и усѣлся читать дѣло, которое завтра начиналось у насъ въ судѣ и представляло для меня не мало трудностей.

Занятіе это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя съ братомъ возвратились въ два часа и оба превеселые.

Жена говоритъ мнѣ:

— Не хочешь ли холоднаго ростбифа и стаканъ воды съ виномъ? А мы у Васильевыхъ ужинали.

— Нѣтъ, говорю,—покорно благодарю.

— Николай Ивановичъ расщедрился и отлично насъ покормилъ.

— Вотъ какъ.

— Да, — мы превесело провели время, и шампанское пили.

— Счастливцы! говорю, — а самъ думаю: значитъ, эта бестія, Николай Ивановичъ, сразу раскусилъ, что за теленокъ мой братъ, и далъ ему пойла недаромъ. Теперь онъ его будетъ ласкать, пока тамъ жениховскій рученецъ кончится, а потомъ—быть бычку на обрывочку.

А чувства мои противъ жены снова озлобились, и я не сталъ просить у нея прощенья въ своей невинности. И даже, если бы я былъ свободенъ и имѣлъ досугъ вникать во всѣ перипетіи затѣянной ими любовной игры, то не удивительно было бъ, что я снова не вытерпѣлъ бы, — во что-нибудь вмѣшался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастію, мнѣ было некогда. Дѣло, о которомъ я вамъ говорилъ, заняло насъ на судѣ такъ, что мы съ нимъ не чаяли освободиться и къ празднику, а потому я домой являлся только поѣсть да выспаться, а всѣ дни и часть ночей проводилъ предъ алтаремъ Ѳемиды.

А дома у меня дѣла не ждали, и когда я подъ самый сочельникъ явился подъ свой кровъ, довольный тѣмъ, что освободился отъ судебныхъ занятій, меня встрѣтили тѣмъ, что пригласили осмотрѣть роскошную корзину съ дорогими подарками, подносимыми Машенькѣ моимъ братомъ.

— Это что же такое?

— А это дары жениха невѣстѣ,—объяснила мнѣ моя жена.

— Ага! такъ вотъ уже какъ! Поздравляю.

— Какъ же! Твой братъ не хотѣлъ дѣлать формальнаго предложенія, не переговоривъ еще разъ съ тобою, но онъ спѣшитъ своей свадьбой, а ты какъ на зло сидѣлъ все въ своемъ противномъ судѣ. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

— Да и прекрасно, говорю,—незачѣмъ было меня и ждать.

— Ты, кажется, остришь?

— Нисколько я не острю.

— Или иронизируешь?

— И не иронизирую.

— Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будутъ пресчастливы.

— Конечно, говорю, — ужъ если ты ручаешься, то будутъ... Есть такая пословица: «кто думаетъ три дни, тотъ выберетъ злыдни». Не выбирать—вѣрнѣе.

— А что же,—отвѣчаетъ моя жена, закрывая корзинку съ дарами: — вѣдь это вы думаете, будто вы насъ выбираете, а въ существѣ, вѣдь, все это вздоръ.

— Почему же это вздоръ? Надѣюсь, не дѣвушки выбираютъ жениховъ, а женихи къ дѣвушкамъ сватаются.

— Да, сватаются — это правда, но выбора, какъ осмотрительнаго или разсудительнаго дѣла, никогда не бываетъ.

Я покачалъ головою и говорю:

— Ты бы подумала о томъ, что̀ ты такое говоришь. Я вотъ тебя, напримѣръ, выбралъ — именно изъ уваженія къ тебѣ и сознавая твои достоинства.

— И врешь.

— Какъ вру?!

— Врешь,—потому что ты выбралъ меня совсѣмъ не за достоинства.

— А за что же?

— За то, что я тебѣ понравилась.

— Какъ, ты даже отрицаешь въ себѣ достоинства!

— Нимало, — достоинства во мнѣ есть, а ты все-таки на мнѣ не женился бы, если бы я тебѣ не понравилась.

Я чувствовалъ, что она говоритъ правду.

— Однакоже, говорю,—я цѣлый годъ ждалъ и ходилъ къ вамъ въ домъ. Для чего же я это дѣлалъ?

— Чтобы смотрѣть на меня.

— Неправда,—я изучалъ твой характеръ.

Жена расхохоталась.

— Что̀ за пустой смѣхъ!

— Нисколько не пустой. Ты ничего, мой другъ, во мнѣ не изучалъ и изучать не могъ.

— Это почему?

— Сказать?

— Сдѣлай милость, скажи!

— Потому, что ты былъ въ меня влюбленъ.

— Пусть такъ, но это мнѣ не мѣшало видѣть твои душевныя свойства.

— Мѣшало.

— Нѣтъ, не мѣшало.

— Мѣшало, и всегда всякому будетъ мѣшать, а потому это долгое изученіе и безполезно. Вы думаете, что, влюбившись въ женщину, вы на *нее смотрите съ разсужденіемъ*, а на самомъ дѣлѣ вы только *глазѣете съ воображеніемъ*.

— Ну... однако, говорю,—ты ужъ это какъ-то... очень реально.

А самъ думаю: вѣдь это правда!

А жена говоритъ:

— Полно думать,—худа не вышло, а теперь переодѣвайся скорѣе и поѣдемъ къ Машенькѣ: мы сегодня у нихъ встрѣчаемъ Рождество, и ты долженъ принести ей и брату свое поздравленіе.

— Очень радъ, говорю. И поѣхали.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Тамъ было подношеніе даровъ и принесеніе поздравленій, и всѣ мы порядочно упились веселымъ нектаромъ Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всѣхъ вѣру въ счастье, ожидающее обрученныхъ, и пить шампанское. Въ этомъ и проходили дни и ночи то у насъ, то у родителей невѣсты.

Въ этакомъ настроеніи долго ли время тянется?

Не успѣли мы оглянуться, какъ уже налетѣлъ и канунъ новаго года. Ожиданія радостей усиливаются. Свѣтъ цѣлый

желаетъ радостей,—и мы отъ людей не отстали. Встрѣтили мы новый годъ опять у Машенькиныхъ родныхъ съ такимъ, какъ дѣды наши говорили, «мочимордіемъ», что оправдали дѣдовское реченіе: «Руси есть веселіе пити». Одно было не въ порядкѣ. Машенькинъ отецъ о приданомъ молчалъ, но зато сдѣлалъ дочери престранный и, какъ потомъ я понялъ, совершенно непозволительный и зловѣщій подарокъ. Онъ самъ надѣлъ на нее при всѣхъ за ужиномъ богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянувъ на эту вещь, даже подумали «очень хорошо».

— Ого-го, молъ,—сколько это должно стоить? Вѣроятно, такая штучка припасена съ оныхъ давнихъ, благихъ дней, когда богатые люди изъ знати еще въ ломбарды вещей не посылали, а при большой нуждѣ въ деньгахъ охотнѣе ввѣряли свои цѣнности тайнымъ ростовщикамъ въ родѣ Машенькинаго отца.

Жемчугъ крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притомъ ожерелье сдѣлано въ старомъ вкусѣ, что называлось рефидью, ряснами, — назади начато небольшимъ, но самымъ скатнымъ кафимскимъ зерномъ, а потомъ все крупнѣй и крупнѣе бурмицкое и наконецъ, что далѣе книзу, то пошли какъ бобы, и въ самой серединѣ три черные перла поражающей величины и самаго лучшаго блеска. Прекрасный цѣнный даръ совсѣмъ затмевалъ сконфуженные передъ нимъ дары моего брата. Словомъ сказать, — мы, грубые мужчины, всѣ находили отцовскій подарокъ Машенькѣ прекраснымъ, и намъ понравилось также и слово, произнесенное старикомъ при подачѣ ожерелья. Отецъ Машеньки, подавъ ей эту драгоцѣнность, сказалъ: — «Вотъ тебѣ, доченька, штучка съ наговоромъ: ее никогда ни тля не истлитъ, ни воръ не украдетъ, а если и украдетъ, то не обрадуется. Это—вѣчное».

Но у женщинъ вѣдь на все свои точки зрѣнія, и Машенька, получивъ ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучивъ удобную минуту, даже сдѣлала Николаю Ивановичу у окна выговоръ, который онъ по праву родства выслушалъ. Выговоръ ему за подарокъ жемчуга слѣдовалъ потому, что жемчугъ знаменуетъ и предвѣщаетъ *слезы*. А потому жемчугъ никогда для новогоднихъ подарковъ не употребляется.

Николай Ивановичъ, впрочемъ, ловко отшутился.

— Это, говоритъ, — во-первыхъ, пустые предразсудки и если кто-нибудь можетъ подарить мнѣ жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчасъ возьму. Я, сударыня, тоже въ свое время эти тонкости проходилъ и знаю, чего нельзя дарить. Дѣвушкѣ нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятіямъ персовъ, есть кости людей, умершихъ отъ любви, а замужнимъ дамамъ нельзя дарить аметиста avec flèches d'Amour, но тѣмъ не менѣе я пробовалъ дарить такіе аметисты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А онъ говоритъ:

— Я и вамъ попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчугъ жемчугу рознь. Не всякій жемчугъ добывается со слезами. Есть жемчугъ персидскій, есть изъ Краснаго моря, а есть перлы изъ тихихъ водъ—d'eau douce, тотъ безъ слезы берутъ. Сентиментальная Марія Стюартъ только такой и носила perle d'eau douce изъ шотландскихъ рѣкъ, но онъ ей не принесъ счастья. Я знаю, что̀ надо дарить,—то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вамъ не подарю ничего avec flèches d'Amour, а подарю вамъ хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь, и выбрось изъ головы, что мой жемчугъ приноситъ слезы. Это не такой. Я тебѣ на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебѣ никакихъ предразсудковъ бояться нечего...

Такъ это и успокоилось, и брата съ Машенькой послѣ Крещенья перевѣнчали, а на слѣдующій день мы съ женою поѣхали навѣстить молодыхъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Мы застали ихъ вставшими и въ необыкновенно веселомъ расположеніи духа. Братъ самъ открылъ намъ двери помѣщенія, взятаго имъ для себя, ко дню свадьбы, въ гостиницѣ, встрѣтилъ насъ весь сіяя и покатываясь со смѣху.

Мнѣ это напомнило одинъ старый романъ, гдѣ новобрачный сошелъ съ ума отъ счастья, и я это брату замѣтилъ, а онъ отвѣчаетъ:

— А что̀ ты думаешь, вѣдь со мною въ самомъ дѣлѣ произошелъ такой случай, что возможно своему уму не вѣрить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшнимъ

днемъ, принесла мнѣ не только ожиданныя радости отъ моей милой жены, но также неожиданное благополучіе отъ тестя.

— Что же такое еще съ тобою случилось?

— А вотъ входите, я вамъ разскажу.

Жена мнѣ шепчетъ:

— Вѣрно старый негодяй ихъ надулъ.

Я отвѣчаю:

— Это не мое дѣло.

Входимъ, а братъ подаетъ намъ открытое письмо, полученное на ихъ имя рано по городской почтѣ, и въ письмѣ читаемъ слѣдующее:

«Предразсудокъ насчетъ жемчуга ничѣмъ вамъ угрожать не можетъ: этотъ жемчугъ *фальшивый*».

Жена моя такъ и сѣла.

— Вотъ, говоритъ,—негодяй!

Но братъ ей показалъ головою въ ту сторону, гдѣ Машенька дѣлала въ спальнѣ свой туалетъ, и говоритъ:

— Ты неправа: старикъ поступилъ очень честно. Я получилъ это письмо, прочелъ его и разсмѣялся... Что же мнѣ тутъ печальнаго? Я вѣдь приданаго не искалъ и не просилъ, я искалъ одну жену, стало-быть мнѣ никакого огорченія въ томъ нѣтъ, что жемчугъ въ ожерельѣ не настоящій, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоитъ не тридцать тысячъ, а просто триста рублей,—не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, какъ это сообщить Машѣ? Надъ этимъ я задумался и сѣлъ, оборотясь лицомъ къ окну, а того не замѣтилъ, что дверь забылъ запереть. Черезъ нѣсколько минутъ оборачиваюсь и вдругъ вижу, что у меня за спиною стоитъ тесть и держитъ что-то въ рукѣ въ платочкѣ.

— Здравствуй, говоритъ,—зятюшка!

Я вскочилъ, обнялъ его и говорю:

— Вотъ это мило! мы должны были къ вамъ черезъ часъ ѣхать, а вы сами... Это противъ всѣхъ обычаевъ... мило и дорого.

— Ну, что, отвѣчаетъ,—за счеты! Мы свои. Я былъ у обѣдни,—помолился за васъ и вотъ просвиру вамъ привезъ.

Я его опять обнялъ и поцѣловалъ.

— А ты письмо мое получилъ?—спрашиваетъ.

— Какъ же, говорю,—получилъ.

И я самъ разсмѣялся.

Онъ смотритъ.

— Чего же, говоритъ,—ты смѣешься?

— А что же мнѣ дѣлать? Это очень забавно.

— Забавно?

— Да какъ же.

— А ты подай-ка мнѣ жемчугъ.

Ожерелье лежало тутъ же на столѣ въ футлярѣ, — я его и подалъ.

— Есть у тебя увеличительное стекло?

Я говорю:—нѣтъ.

— Если такъ, то у меня есть. Я по старой привычкѣ всегда его при себѣ имѣю. Изволь смотрѣть на замокъ подъ собачку.

— Для чего мнѣ смотрѣть?

— Нѣтъ, ты посмотри. Ты, можетъ-быть, думаешь, что я тебя обманулъ.

— Вовсе не думаю.

— Нѣтъ,—смотри, смотри!

Я взялъ стекло и вижу: на замкѣ, на самомъ скрытномъ мѣстѣ, микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильонъ».

— Убѣдился, говоритъ, — что это дѣйствительно жемчугъ *фальшивый?*

— Вижу.

— И что же ты мнѣ теперь скажешь?

— То же самое, что и прежде. То-есть: это до меня не касается, и васъ только буду объ одномъ просить...

— Проси, проси!

— Позвольте не говорить объ этомъ Машѣ.

— Это для чего?

— Такъ...

— Нѣтъ, въ какихъ именно цѣляхъ? Ты не хочешь ее огорчить?

— Да,—это между прочимъ.

— А еще что?

— А еще то, что я не хочу, чтобы въ ея сердцѣ хоть что-нибудь шевельнулось противъ отца.

— Противъ отца?

— Да.

— Ну, для отца она теперь уже отрѣзанный ломоть, который къ короваю не пристанетъ, а ей главное—мужъ...

— Никогда, говорю,—сердце не заѣзжій дворъ: въ немъ тѣсно не бываетъ. Къ отцу одна любовь, а къ мужу—другая, и кромѣ того... мужъ, который желаетъ быть счастливъ, обязанъ заботиться, чтобы онъ могъ уважать свою жену, а для этого онъ долженъ беречь ея любовь и почтеніе къ родителямъ.

— Ага! Вотъ ты какой практикъ!

И сталъ молча пальцами по табуреткѣ барабанить, а потомъ всталъ и говоритъ:

— Я, любезный зять, наживалъ состояніе своими трудами, но очень разными средствами. Съ высокой точки зрѣнія они, можетъ-быть, не всѣ очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умѣлъ наживать иначе. Въ людей я не очень вѣрю, и про любовь только въ романахъ слыхалъ, какъ читаютъ, а на дѣлѣ я все видѣлъ, что всѣ денегъ хотятъ. Двумъ зятьямъ я денегъ не далъ, и вышло вѣрно: они на меня злы и женъ своихъ ко мнѣ не пускаютъ. Не знаю, кто изъ насъ благороднѣе, — они или я? Я денегъ имъ не даю, а они живыя сердца портятъ. А я имъ денегъ не дамъ, а вотъ тебѣ возьму да и дамъ! Да! И вотъ, даже сейчасъ дамъ!—И вотъ извольте смотрѣть!

Братъ показалъ намъ три билета по пятидесяти тысячъ рублей.

— Неужели, говорю,—все это твоей женѣ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, — онъ Машѣ далъ пятьдесятъ тысячъ, а я ему говорю:

— Знаете, Николай Ивановичъ, это будетъ щекотливо... Машѣ будетъ неловко, что она получитъ отъ васъ приданое, а сестры ея — нѣтъ... Это непремѣнно вызоветъ у сестеръ къ ней зависть и непріязнь... Нѣтъ, Богъ съ ними, — оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благопріятный случай примиритъ васъ съ другими дочерьми, тогда вы дадите *всѣмъ* поровну. И вотъ тогда это принесетъ всѣмъ намъ радость... А однимъ намъ... *не надо!*

Онъ опять всталъ, опять прошелся по комнатѣ и, остановясь противъ двери спальни, крикнулъ:

— Марья!

Маша уже была въ пеньюарѣ и вышла.

— Поздравляю, говоритъ,—тебя.

Она поцѣловала его руку.

— А счастлива быть хочешь?

— Конечно, хочу, папа, и... надѣюсь.

— Хорошо... Ты себѣ, братъ, хорошаго мужа выбрала!

— Я, папа, не выбирала. Мнѣ его Богъ далъ.

— Хорошо, хорошо. Богъ далъ, а я *придамъ*: я тебѣ хочу прибавить счастья. Вотъ три билета, всѣ равные. Одинъ тебѣ, а два твоимъ сестрамъ. Раздай имъ сама — скажи, что *ты даришь*...

— Папа!

Маша бросилась ему сначала на шею, а потомъ вдругъ опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колѣна. Смотрю—и онъ заплакалъ.

— Встань, встань! говоритъ. — Ты нынче по народному слову «княгиня», — тебѣ неприлично въ землю мнѣ кланяться.

— Но я такъ счастлива... за сестеръ!..

— То-то и есть... И я счастливъ!.. Теперь можешь видѣть, что нечего тебѣ было бояться жемчужнаго ожерелья. Я пришелъ тебѣ тайну открыть: подаренный мною тебѣ *жемчугъ фальшивый*, меня имъ давно сердечный пріятель надулъ, — да вѣдь какой, — не простой, а слитый изъ Рюриковичей и Гедиминовичей. А вотъ у тебя мужъ простой души, да *истинной*: такого надуть невозможно, — душа не стерпитъ!

— Вотъ вамъ весь мой разсказъ, — заключилъ собесѣдникъ: — и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхожденіе и на его невымышленность, онъ отвѣчаетъ и программѣ, и формѣ традиціоннаго святочнаго разсказа.

НЕРАЗМѢННЫЙ РУБЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Есть повѣрье, будто волшебными средствами можно получить неразмѣнный рубль, т. е. такой рубль, который, сколько разъ его ни выдавай, онъ все-таки опять является цѣлымъ въ карманѣ. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпѣть большіе страхи. Всѣхъ ихъ я не помню, но знаю, что, между прочимъ, надо взять черную безъ одной отмѣтины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекрестокъ четырехъ дорогъ, изъ которыхъ притомъ одна непремѣнно должна вести къ кладбищу.

Здѣсь надо стать, пожать кошку посильнѣе, такъ, чтобы она *замяукала*, и зажмурить глаза. Все это надо сдѣлать за нѣсколько минутъ передъ полночью, а въ самую полночь придетъ кто-то и станетъ торговать кошку. Покупщикъ будетъ давать за бѣднаго звѣрька очень много денегъ, но продавецъ долженъ требовать непремѣнно только *рубль*, — ни больше, ни меньше какъ одинъ серебряный рубль. Покупщикъ будетъ навязывать болѣе, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконецъ, этотъ рубль будетъ данъ, тогда его надо положить въ карманъ и держать рукою, а самому уходить какъ можно скорѣе и не оглядываться. Этотъ рубль и есть неразмѣнный или безрасходный,—то-есть сколько ни отдавайте его въ уплату за что-нибудь, — онъ все-таки опять является въ карманѣ. Чтобы заплатить, напримѣръ, сто рублей, надо только сто разъ опустить руку въ карманъ и оттуда всякій разъ вынуть рубль.

Конечно, это повѣрье пустое и нестаточное; но есть простые люди, которые склонны вѣрить, что неразмѣнные рубли дѣйствительно можно добывать. Когда я былъ маленькимъ мальчикомъ, и я тоже этому вѣрилъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Разъ, во время моего дѣтства, няня, укладывая меня спать въ рождественскую ночь, сказала, что у насъ теперь на деревнѣ очень многіе не спятъ, а гадаютъ, рядятся, ворожатъ и, между прочимъ, добываютъ себѣ «неразмѣнный рубль». Она распространилась на тотъ счетъ, что людямъ, которые пошли добывать неразмѣнный рубль, теперь всѣхъ страшнѣе, потому что они должны лицомъ къ лицу встрѣтиться съ дьяволомъ на далекомъ распутьѣ и торговаться съ нимъ за черную кошку; но зато ихъ ждутъ и самыя большія радости... Сколько можно накупить прекрасныхъ вещей за безпереводный рубль! Что̀ бы я надѣлалъ, если бы мнѣ попался такой рубль! Мнѣ тогда было всего лѣтъ восемь, но я уже побывалъ въ своей жизни въ Орлѣ и въ Кромахъ и зналъ нѣкоторыя превосходныя произведенія русскаго искусства, привозимыя купцами къ нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я зналъ, что на свѣтѣ бываютъ пряники желтые, съ патокою, и бѣлые пряники — съ мятой, бываютъ столбики и сосульки, бываетъ такое лакомство, которое называется «рѣзь», или лапша, или еще проще — «шмотья», бываютъ орѣхи простые и каленые; а для богатаго кармана привозятъ и изюмъ, и финики. Кромѣ того, я видалъ картины съ генералами и множество другихъ вещей, которыхъ я не могъ всѣхъ перекупить, потому что мнѣ давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не безпереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будетъ иначе, потому что безпереводный рубль есть у моей бабушки, и она рѣшила подарить его мнѣ, но только я долженъ быть очень остороженъ, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имѣетъ одно волшебное, очень капризное свойство.

— Какое?—спросилъ я.

— А это тебѣ скажетъ бабушка. Ты спи, а завтра, какъ проснешься, бабушка принесетъ тебѣ неразмѣнный рубль и скажетъ, какъ надо съ нимъ обращаться.

Обольщенный этимъ обѣщаніемъ, я постарался заснуть въ ту же минуту, чтобы ожиданіе неразмѣннаго рубля не было томительно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Няня меня не обманула: ночь пролетѣла какъ краткое мгновеніе, котораго я и не замѣтилъ, и бабушка уже стояла надъ моею кроваткою въ своемъ большомъ чепцѣ съ рюшевыми мармотками и держала въ своихъ бѣлыхъ рукахъ новенькую, чистую серебряную монету, отбитую въ самомъ полномъ и превосходномъ калибрѣ.

— Ну, вотъ тебѣ безпереводный рубль,—сказала она. — Бери его и поѣзжай въ церковь. Послѣ обѣдни мы, старики, зайдемъ къ батюшкѣ, отцу Василію, пить чай, а ты одинъ, — совершенно одинъ, — можешь идти на ярмарку и покупать все, что̀ ты самъ захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку въ карманъ и выдашь свой рубль, а онъ опять очутится въ твоемъ же карманѣ.

— Да, говорю,—я уже все это знаю.

А самъ зажалъ рубль въ ладонь и держу его какъ можно крѣпче. А бабушка продолжаетъ:

— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство,—его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразмѣнный рубль не переведется въ твоемъ карманѣ до тѣхъ поръ, пока ты будешь покупать на него вещи, тебѣ или другимъ людямъ нужныя или полезныя, но разъ что ты изведешь хоть одинъ грошъ на полную безполезность—твой рубль въ то же мгновеніе исчезнетъ.

— О, говорю,—бабушка, я вамъ очень благодаренъ, что вы мнѣ это сказали; но повѣрьте, я ужъ не такъ малъ, чтобы не понять, что̀ на свѣтѣ полезно и что̀ безполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомнѣвается; но я ее увѣрилъ, что знаю, какъ надо жить при богатомъ положеніи.

— Прекрасно, — сказала бабушка:—но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что̀ я тебѣ сказала.

— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду къ отцу Василію и принесу на заглядѣнье прекрасныя покупки, а рубль мой будетъ цѣлъ у меня въ карманѣ.

— Очень рада, — посмотримъ. Но ты все-таки не будь самонадѣянъ: помни, что отличить нужное отъ пустого и излишняго вовсе не такъ легко, какъ ты думаешь.

— Въ такомъ случаѣ не можете ли вы походить со мною по ярмаркѣ?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будетъ имѣть возможности дать мнѣ какой бы то ни было совѣтъ или остановить меня отъ увлеченія и ошибки, потому что тотъ, кто владѣетъ безпереводнымъ рублемъ, не можетъ ни отъ кого ожидать совѣтовъ, а долженъ руководиться своимъ умомъ.

— О, моя милая бабушка,—отвѣчалъ я:—вамъ и не будетъ надобности давать мнѣ совѣты,—я только взгляну на ваше лицо и прочитаю въ вашихъ глазахъ все, что мнѣ нужно.

— Въ такомъ разѣ идемъ,—и бабушка послала дѣвушку сказать отцу Василію, что она придетъ къ нему попозже, а пока мы отправились съ нею на ярмарку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Погода была хорошая,—умѣренный морозецъ съ маленькой влажностью; въ воздухѣ пахло крестьянской бѣлой онучею, лыкомъ, пшеномъ и овчиной. Народу много и всѣ разодѣты въ томъ, что у кого есть лучшаго. Мальчики изъ богатыхъ семей всѣ получили отъ отцовъ на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на пріобрѣтеніе глиняныхъ свистулекъ, на которыхъ задавали самый бѣдовый концертъ. Бѣдные ребятишки, которымъ грошей не давали, стояли подъ плетнемъ и только завистливо облизывались. Я видѣлъ, что имъ тоже хотѣлось бы овладѣть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою въ общей гармоніи, и... я посмотрѣлъ на бабушку...

Глиняныя свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малѣйшаго порицанія моему намѣренію купить всѣмъ бѣднымъ дѣтямъ по свистулькѣ. Напротивъ, доброе лицо старушки выражало даже удовольствіе, которое я принялъ за одобреніе: я сейчасъ же опустилъ мою руку въ карманъ, досталъ оттуда мой неразмѣнный рубль и купилъ цѣлую коробку свистулекъ, да еще мнѣ подали съ него нѣсколько сдачи. Опуская сдачу въ карманъ, я ощупалъ рукою, что мой неразмѣнный рубль цѣлехонекъ и уже опять лежитъ тамъ, какъ было до покупки. А между тѣмъ всѣ ребятишки получили по свистулькѣ, и самые бѣдные изъ нихъ вдругъ сдѣлались такъ же счастливы, какъ и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы съ бабушкой пошли дальше, и она мнѣ сказала:

— Ты поступилъ хорошо, потому что бѣднымъ дѣтямъ надо играть и рѣзвиться, и кто можетъ сдѣлать имъ какую-нибудь радость, тотъ напрасно не спѣшитъ воспользоваться своею возможностію. И въ доказательство, что я права, опусти еще разъ свою руку въ карманъ и попробуй, гдѣ твой неразмѣнный рубль?

Я опустилъ руку и... мой неразмѣнный рубль былъ въ моемъ карманѣ.

— Ага. — подумалъ я: — теперь я уже понялъ, въ чемъ дѣло, и могу дѣйствовать смѣлѣе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Я подошелъ къ лавочкѣ, гдѣ были ситцы и платки, и накупилъ всѣмъ нашимъ дѣвушкамъ по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкамъ по малиновому головному платку; и каждый разъ, что я опускалъ руку въ карманъ, чтобы заплатить деньги,—мой неразмѣнный рубль все былъ на своемъ мѣстѣ. Потомъ я купилъ для ключницыной дочери, которая должна была выйти замужъ, двѣ сердоликовыя запонки и, признаться, сробѣлъ; но бабушка попрежнему смотрѣла хорошо, и мой рубль послѣ этой покупки тоже преблагополучно оказался въ моемъ карманѣ.

— Невѣстѣ идетъ принарядиться, — сказала бабушка: — это памятный день въ жизни каждой дѣвушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать,—отъ радости всякій человѣкъ бодрѣе выступаетъ на новый путь жизни, а отъ перваго шага много зависитъ. Ты сдѣлалъ очень хорошо, что обрадовалъ бѣдную невѣсту.

Потомъ я купилъ и себѣ очень много сластей и орѣховъ, а въ другой лавкѣ взялъ большую книгу «Псалтирь», такую точно, какая лежала на столѣ у нашей скотницы. Бѣдная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имѣла несчастіе придтись по вкусу племенному теленку, который жилъ въ одной избѣ со скотницею. Теленокъ по своему возрасту имѣлъ слишкомъ много свободнаго времени и занялся тѣмъ, что въ счастливый часъ досуга отжевалъ углы у всѣхъ листовъ «Псалтиря». Бѣдная старушка была лишена удовольствія читать и пѣть тѣ псалмы, въ которыхъ она находила для себя утѣшеніе, и очень объ этомъ скорбѣла.

Я былъ увѣренъ, что купить для нея новую книгу вмѣсто старой было не пустое и не излишнее дѣло, и это именно

такъ и было: когда я опустилъ руку въ карманъ—мой рубль былъ снова на своемъ мѣстѣ.

Я сталъ покупать шире и больше,—я бралъ все, что, по моимъ соображеніямъ, было нужно, и накупилъ даже вещи слишкомъ рискованныя,—такъ, напримѣръ, нашему молодому кучеру Константину я купилъ наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егоркѣ — гармонію. Рубль, однако, все былъ дома, а на лицо бабушки я ужъ не смотрѣлъ и не допрашивалъ ея выразительныхъ взоровъ. Я самъ былъ центръ всего, — на меня всѣ смотрѣли, за мною всѣ шли, обо мнѣ говорили.

— Смотрите, каковъ нашъ барчукъ Миколаша! Онъ одинъ можетъ скупить цѣлую ярмарку, у него, знать, есть неразмѣнный рубль.

И я почувствовалъ въ себѣ что-то новое и до тѣхъ поръ незнакомое. Мнѣ хотѣлось, чтобы всѣ обо мнѣ знали, всѣ за мною ходили и всѣ обо мнѣ говорили — какъ я уменъ, богатъ и добръ.

Мнѣ стало безпокойно и скучно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

А въ это самое время, — откуда ни возьмись, — ко мнѣ подошелъ самый пузатый изъ всѣхъ ярмарочныхъ торговцевъ и, снявъ картузъ, сталъ говорить:

— Я здѣсь всѣхъ толще и всѣхъ опытнѣе, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что̀ есть на этой ярмаркѣ, потому что у васъ есть неразмѣнный рубль. Съ нимъ не штука удивлять весь приходъ, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этотъ рубль не можете купить.

— Да, если это будетъ вещь ненужная,—такъ я ее, разумѣется, не куплю.

— Какъ это «ненужная»? Я вамъ не сталъ бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите вниманіе на то, кто окружаетъ насъ съ вами, несмотря на то, что у васъ есть неразмѣнный рубль. Вотъ вы себѣ купили только сластей да орѣховъ, а то вы все покупали полезныя вещи для другихъ, но вонъ какъ эти другіе помнятъ ваши благодѣянія: васъ ужъ теперь всѣ позабыли.

Я посмотрѣлъ вокругъ себя и, къ крайнему моему удивленію, увидѣлъ, что мы съ пузатымъ купцомъ стоимъ, дѣйствительно, только вдвоемъ, а вокругъ насъ ровно ни-

кого нѣтъ. Бабушки тоже не было, да я о ней и забылъ, а вся ярмарка отвалила въ сторону и окружила какого-то длиннаго, сухого человѣка, у котораго поверхъ полушубка былъ надѣтъ длинный полосатый жилетъ, а на немъ нашиты стекловидныя пуговицы, отъ которыхъ, когда онъ поворачивался изъ стороны въ сторону, исходило слабое, тусклое блистаніе.

Это было все, что длинный, сухой человѣкъ имѣлъ въ себѣ привлекательнаго, и, однако, за нимъ всѣ шли и всѣ на него смотрѣли, какъ будто на самое замѣчательное произведеніе природы.

— Я ничего не вижу въ этомъ хорошаго, — сказалъ я моему новому спутнику.

— Пусть такъ, но вы должны видѣть, какъ это всѣмъ нравится. Поглядите,—за нимъ ходятъ даже и вашъ кучеръ Константинъ съ его щегольскимъ ремнемъ, и башмачникъ Егорка съ его гармоніей, и невѣста съ запонками, и даже старая скотница съ ея новою книжкою. А о ребятишкахъ съ свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрѣлся, и въ самомъ дѣлѣ всѣ эти люди дѣйствительно окружали человѣка съ стекловидными пуговицами, и всѣ мальчишки на своихъ свистулькахъ пищали про его славу.

Во мнѣ зашевелилось чувство досады. Мнѣ показалось все это ужасно обидно, и я почувствовалъ долгъ и призваніе стать выше человѣка со стекляшками.

— И вы думаете, что я не могу сдѣлаться больше его?

— Да, я это думаю,—отвѣчалъ пузанъ.

— Ну, такъ я же сейчасъ вамъ докажу, что вы ошибаетесь!—воскликнулъ я и, быстро подбѣжавъ къ человѣку въ жилетѣ поверхъ полушубка, сказалъ:

— Послушайте, не хотите ли вы продать мнѣ вашъ жилетъ?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Человѣкъ со стекляшками повернулся передъ солнцемъ, такъ что пуговицы на его жилетѣ издали тусклое блистаніе, и отвѣчалъ:

— Извольте, я вамъ его продамъ съ большимъ удовольствіемъ, но только это очень дорого стоитъ.

— Прошу васъ не безпокоиться и скорѣе сказать мнѣ вашу цѣну за жилетъ.

Онъ очень лукаво улыбнулся и молвилъ:

— Однако, вы, я вижу, очень неопытны, какъ и слѣдуетъ быть въ вашемъ возрастѣ, — вы не понимаете, въ чемъ дѣло. Мой жилетъ ровно ничего не стоитъ, потому что онъ не свѣтитъ и не грѣетъ, и потому я его отдаю вамъ даромъ, но вы мнѣ заплатите по рублю за каждую нашитую на немъ стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не свѣтятъ и не грѣютъ, но онѣ могутъ немножко блестѣть на минутку, и это всѣмъ очень нравится.

— Прекрасно, — отвѣчалъ я: — я даю вамъ по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорѣй вашъ жилетъ.

— Нѣтъ, прежде извольте отсчитать деньги.

— Хорошо.

Я опустилъ руку въ карманъ и досталъ оттуда одинъ рубль, потомъ снова опустилъ руку во второй разъ, но... карманъ мой былъ пустъ... Мой неразмѣнный рубль уже не возвратился... онъ пропалъ... онъ исчезъ... его не было, и на меня всѣ смотрѣли и смѣялись.

Я горько заплакалъ и... проснулся...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Было утро; у моей кроватки стояла бабушка, въ ея большомъ бѣломъ чепцѣ съ рюшевыми мармотками, и держала въ рукѣ новенькій серебряный рубль, составлявшій обыкновенный рождественскій подарокъ, который она мнѣ дарила.

Я понялъ, что все видѣнное мною происходило не на-яву, а во снѣ, и поспѣшилъ разсказать, о чемъ я плакалъ.

— Что же, — сказала бабушка: — сонъ твой хорошъ, — особенно если ты захочешь понять его, какъ слѣдуетъ. Въ басняхъ и сказкахъ часто бываетъ сокрытъ особый затаенный смыслъ. *Неразмѣнный рубль* — по-моему, это талантъ, который Провидѣніе даетъ человѣку при его рожденіи. Талантъ развивается и крѣпнетъ, когда человѣкъ сумѣетъ сохранить въ себѣ бодрость и силу на распутіи четырехъ дорогъ, изъ которыхъ съ одной всегда должно быть видно кладбище. *Неразмѣнный рубль* — это есть сила, которая можетъ служить истинѣ и добродѣтели, на пользу людямъ, въ чемъ для человѣка съ добрымъ сердцемъ и яснымъ умомъ заключается самое высшее удовольствіе. Все, что онъ сдѣлаетъ для истиннаго счастія своихъ ближнихъ, никогда не убавитъ его духовнаго богатства, а напротивъ—

чѣмъ онъ болѣе черпаетъ изъ своей души, тѣмъ она становится богаче. Человѣкъ въ жилеткѣ сверхъ теплаго полушубка—есть *суета,* потому что жилетъ сверхъ полушубка *не нуженъ,* какъ не нужно и то, чтобы за нами ходили и насъ прославляли. Суета затемняетъ умъ. Сдѣлавши коечто—очень немного въ сравненіи съ тѣмъ, что̀ бы ты могъ еще сдѣлать, владѣя безрасходнымъ рублемъ, ты уже сталъ гордиться собою и отвернулся отъ меня, которая для тебя въ твоемъ снѣ изображала опытъ жизни. Ты началъ уже хлопотать не о добрѣ для другихъ, а о томъ, чтобы всѣ на тебя глядѣли и тебя хвалили. Ты захотѣлъ имѣть ни на что ненужныя стеклышки, и—рубль твой растаялъ. Этому такъ и слѣдовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получилъ такой урокъ во снѣ. Я очень бы желала, чтобы этотъ рождественскій сонъ у тебя остался въ памяти. А теперь поѣдемъ въ церковь и послѣ обѣдни купимъ все то, что ты покупалъ для бѣдныхъ людей въ твоемъ сновидѣніи.

— Кромѣ одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета съ стекловидными пуговицами.

— Нѣтъ, я не куплю также и лакомствъ, которыя я покупалъ во снѣ для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

— Я не вижу нужды, чтобы ты лишилъ себя этого маленькаго удовольствія, но... если ты желаешь за это получить гораздо бо̀льшее счастіе, то... я тебя понимаю...

И вдругъ мы съ нею оба обнялись и, ничего болѣе не говоря другъ другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотѣлъ *всѣ* мои маленькія деньги извести въ этотъ день *не для себя.* И когда это мною было сдѣлано, то сердце мое исполнилось такою радостію, какой я не испытывалъ до того еще ни одного раза. Въ этомъ лишеніи себя маленькихъ удовольствій для пользы другихъ я впервые испыталъ то, что̀ люди называютъ увлекательнымъ словомъ—*полное счастіе,* при которомъ ничего больше не хочешь.

Каждый можетъ испробовать сдѣлать въ своемъ нынѣшнемъ положеніи мой опытъ, и я увѣренъ, что онъ найдетъ въ словахъ моихъ не ложь, а истинную правду

ЗВѢРЬ.

«И звѣри внимаху святое слово».
Житіе старца Серафима.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отецъ мой былъ извѣстный въ свое время слѣдователь. Ему поручали много важныхъ дѣлъ и потому онъ часто отлучался отъ семейства, а дома оставались мать, я и прислуга.

Матушка моя тогда была еще очень молода, а я—маленькій мальчикъ.

При томъ случаѣ, о которомъ я теперь хочу разсказать,—мнѣ было всего только пять лѣтъ.

Была зима, и очень жестокая. Стояли такіе холода, что въ хлѣвахъ замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченѣлыя. Отецъ мой находился объ эту пору по служебнымъ обязанностямъ въ Ельцѣ и не обѣщалъ пріѣхать домой даже къ Рождеству Христову, а потому матушка собралась сама къ нему съѣздить, чтобы не оставить его одинокимъ въ этотъ прекрасный и радостный праздникъ. Меня, по случаю ужасныхъ холодовъ, мать не взяла съ собою въ дальнюю дорогу, а оставила у своей сестры, а моей тетки, которая была замужемъ за однимъ орловскимъ помѣщикомъ, про котораго ходила невеселая слава. Онъ былъ очень богатъ, старъ и жестокъ. Въ характерѣ у него преобладали злобность и неумолимость, и онъ объ этомъ нимало не сожалѣлъ, а, напротивъ, даже щеголялъ этими качествами, которыя, по его мнѣнію, служили будто бы выраженіемъ мужественной силы и непреклонной твердости духа.

Такое же мужество и твердость онъ стремился развить въ своихъ дѣтяхъ, изъ которыхъ одинъ сынъ былъ мнѣ ровесникъ.

Дядю боялись всѣ, а я всѣхъ болѣе, потому что онъ и во мнѣ хотѣлъ «развить мужество», и одинъ разъ, когда мнѣ было три года и случилась ужасная гроза, которой я боялся, онъ выставилъ меня одного на балконъ и заперъ дверь, чтобы такимъ урокомъ отучить меня отъ страха во время грозы.

Понятно, что я въ домѣ такого хозяина гостилъ неохотно и съ немалымъ страхомъ, но мнѣ, повторяю, тогда было пять лѣтъ и мои желанія не принимались въ расчетъ при соображеніи обстоятельствъ, которымъ приходилось подчиняться.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ имѣніи дяди былъ огромный каменный домъ, похожій на замокъ. Это было претенціозное, но некрасивое и даже уродливое двухъэтажное зданіе съ круглымъ куполомъ и съ башнею, о которой разсказывали страшные ужасы. Тамъ когда-то жилъ сумасшедшій отецъ нынѣшняго помѣщика, потомъ въ его комнатахъ учредили аптеку. Это также почему-то считалось страшнымъ; но всего ужаснѣе было то, что наверху этой башни, въ пустомъ, изогнутомъ окнѣ были натянуты струны, то-есть была устроена такъ-называемая «Эолова арфа». Когда вѣтеръ пробѣгалъ по струнамъ этого своевольнаго инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные, столько же часто странные звуки, переходившіе отъ тихаго густого рокота въ безпокойные нестройные стоны и неистовый гулъ, какъ будто сквозь нихъ пролеталъ цѣлый сонмъ, пораженный страхомъ, гонимыхъ духовъ. Въ домѣ всѣ не любили эту арфу и думали, что она говоритъ что-то такое здѣшнему грозному господину, и онъ не смѣетъ ей возражать, но оттого становится еще немилосерднѣе и жесточе... Было несомнѣнно примѣчено, что если ночью срывается буря и арфа на башнѣ гудитъ такъ, что звуки долетаютъ черезъ пруды и парки въ деревню, то баринъ въ ту ночь не спитъ и на утро встаетъ мрачный и суровый и отдаетъ какое-нибудь жестокое приказаніе, приводившее въ трепетъ сердца всѣхъ его многочисленныхъ рабовъ.

Въ обычаяхъ дома было, что тамъ никогда и никому никакая вина не прощалась. Это было правило, которое никогда не измѣнялось, не только для человѣка, но даже и

для звѣря или какого-нибудь мелкаго животнаго. Дядя не хотѣлъ знать милосердія и не любилъ его, ибо почиталъ его за слабость. Неуклонная строгость казалась ему выше всякаго снисхожденія. Оттого въ домѣ и во всѣхъ обширныхъ деревняхъ, принадлежащихъ этому богатому помѣщику, всегда царила безотрадная унылость, которую съ людьми раздѣляли и звѣри.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Покойный дядя былъ страстный любитель псовой охоты. Онъ ѣздилъ съ борзыми и травилъ волковъ, зайцевъ и лисицъ. Кромѣ того, въ его охотѣ были особенныя собаки, которыя брали медвѣдей. Этихъ собакъ называли «пьявками». Онѣ впивались въ звѣря такъ, что ихъ нельзя было отъ него оторвать. Случалось, что медвѣдь, въ котораго впивалась зубами пьявка, убивалъ ее ударомъ своей ужасной лапы или разрывалъ ее пополамъ, но никогда не бывало, чтобы пьявка отпала отъ звѣря живая.

Теперь, когда на медвѣдей охотятся только облавами или съ рогатиной, порода собакъ-пьявокъ, кажется, совсѣмъ уже перевелась въ Россіи; но въ то время, о которомъ я разсказываю, онѣ были почти при всякой хорошо собранной большой охотѣ. Медвѣдей въ нашей мѣстности тогда тоже было очень много и охота за ними составляла большое удовольствіе.

Когда случалось овладѣвать цѣлымъ медвѣжьимъ гнѣздомъ, то изъ берлоги брали и привозили маленькихъ медвѣжатъ. Ихъ обыкновенно держали въ большомъ каменномъ сараѣ съ маленькими окнами, продѣланными подъ самой крышей. Окна эти были безъ стеколъ, съ однѣми толстыми желѣзными рѣшетками. Медвѣжата, бывало, до нихъ вскарабкивались другъ по дружкѣ и висѣли, держась за желѣзо своими цѣпкими, когтистыми лапами. Только такимъ образомъ они и могли выглядывать изъ своего заключенія на вольный свѣтъ Божій.

Когда насъ выводили гулять передъ обѣдомъ, мы больше всего любили ходить къ этому сараю и смотрѣть на выставлявшіяся изъ-за рѣшетокъ смѣшныя мордочки медвѣжатъ. Нѣмецкій гувернеръ Кольбергъ умѣлъ подавать имъ на концѣ палки кусочки хлѣба, которые мы припасали для этой цѣли за своимъ завтракомъ.

За медвѣдями смотрѣлъ и кормилъ ихъ молодой доѣзжачій, по имени Ферапонтъ; но, какъ это имя было трудно для простонароднаго выговора, то его произносили «Храпонъ» или, еще чаще, «Храпошка». Я его очень хорошо помню: Храпошка былъ средняго роста, очень ловкій, сильный и смѣлый парень лѣтъ двадцати пяти. Храпонъ считался красавцемъ, — онъ былъ бѣлъ, румянъ, съ черными кудрями и съ черными же большими глазами навыкатѣ. Къ тому же онъ былъ необычайно смѣлъ. У него была сестра Аннушка, которая состояла въ подняняхъ, и она разсказывала намъ презанимательныя вещи про смѣлость своего удалого брата и про его необыкновенную дружбу съ медвѣдями, съ которыми онъ зимою и лѣтомъ спалъ вмѣстѣ въ ихъ сараѣ, такъ что они окружали его со всѣхъ сторонъ и клали на него свои головы, какъ на подушку.

Передъ домомъ дяди, за широкимъ круглымъ цвѣтникомъ, окруженнымъ расписною рѣшеткою, были широкія ворота, а противъ воротъ посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершинѣ этой мачты былъ прилаженъ маленькій помостикъ или, какъ его называли, «бесѣдочка».

Изъ числа плѣнныхъ медвѣжатъ всегда отбирали одного «умнаго», который представлялся наиболѣе смышленымъ и благонадежнымъ по характеру. Такого отдѣляли отъ прочихъ собратій и онъ жилъ на волѣ, то-есть ему дозволялось ходить по двору и по парку, но главнымъ образомъ онъ долженъ былъ содержать караульный постъ у столба передъ воротами. Тутъ онъ и проводилъ большую часть своего времени или лежа на соломѣ у самой мачты, или же взбирался по ней вверхъ до «бесѣдки» и здѣсь сидѣлъ или тоже спалъ, чтобы къ нему не приставали ни докучные люди, ни собаки.

Жить такою привольною жизнью могли не всѣ медвѣди, а только нѣкоторые, особенно умные и кроткіе, и то не во всю ихъ жизнь, а пока они не начинали обнаруживать своихъ звѣрскихъ, неудобныхъ въ общежитіи наклонностей, то-есть пока они вели себя смирно и не трогали ни куръ, ни гусей, ни телятъ, ни человѣка.

Медвѣдь, который нарушалъ спокойствіе жителей, немедленно же былъ осуждаемъ на смерть и отъ этого приговора его ничто не могло избавить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отбирать «смышленаго медвѣдя» долженъ былъ Храпонъ. Такъ какъ онъ больше всѣхъ обращался съ медвѣжатами и почитался большимъ знатокомъ ихъ натуры, то понятно, что онъ одинъ и могъ это дѣлать. Храпонъ же и отвѣчалъ за то, если сдѣлаетъ неудачный выборъ,—но онъ съ перваго же раза выбралъ для этой роли удивительно способнаго и умнаго медвѣдя, которому было дано необыкновенное имя: медвѣдей въ Россіи вообще зовутъ «мишками», а этотъ носилъ испанскую кличку «Сганарель». Онъ уже пять лѣтъ прожилъ на свободѣ и не сдѣлалъ еще ни одной «шалости». Когда о медвѣдѣ говорили, что «онъ шалитъ», это значило, что онъ уже обнаружилъ свою звѣрскую натуру какимъ-нибудь нападеніемъ.

Тогда «шалуна» сажали на нѣкоторое время въ «яму», которая была устроена на широкой полянѣ между гумномъ и лѣсомъ, а черезъ нѣкоторое время его выпускали (онъ самъ вылѣзалъ *по бревну*) на поляну и тутъ его травили «молодыми пьявками» (т. е. подрослыми щенками медвѣжьихъ собакъ). Если же щенки не умѣли его взять и была опасность, что звѣрь уйдетъ въ лѣсъ, то тогда стоявшіе въ запасномъ «секретѣ» два лучшихъ охотника бросались на него съ отборными опытными сворами и тутъ дѣлу наставалъ конецъ.

Если же эти собаки были такъ неловки, что медвѣдь могъ прорваться «къ острову» (т. е. къ лѣсу), который соединялся съ обширнымъ брянскимъ полѣсьемъ, то выдвигался особый стрѣлокъ, съ длиннымъ и тяжелымъ кухенрейторовскимъ штуцеромъ и, прицѣлясь «съ сошки», посылалъ медвѣдю смертельную пулю.

Чтобы медвѣдь когда-либо ушелъ отъ всѣхъ этихъ опасностей, такого случая еще никогда не было, да страшно было и подумать, если бы это могло случиться: тогда всѣхъ въ томъ виноватыхъ ждали бы смертоносныя наказанія.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Умъ и солидность Сганареля сдѣлали то, что описанной потѣхи или медвѣжьей казни не было уже цѣлыя пять лѣтъ. Въ это время Сганарель успѣлъ вырасти и сдѣлался большимъ, *матерымъ* медвѣдемъ, необыкновенной силы,

красоты и ловкости. Онъ отличался круглою, короткою мордою и довольно стройнымъ сложеніемъ, благодаря которому напоминалъ болѣе колоссальнаго грифона или пуделя, чѣмъ медвѣдя. Задъ у него былъ суховатъ и покрытъ невысокою, лоснящеюся шерстью, но плечи и загорбокъ были сильно развиты и покрыты длинною и мохнатою растительностью. Уменъ Сганарель былъ тоже какъ пудель и зналъ нѣкоторые замѣчательные, для звѣря его породы, пріемы: онъ, напримѣръ, отлично и легко ходилъ на двухъ заднихъ лапахъ, подвигаясь впередъ передомъ и задомъ, умѣлъ бить въ барабанъ, маршировалъ съ большою палкою, раскрашенною въ видѣ ружья, а также охотно и даже съ большимъ удовольствіемъ таскалъ съ мужиками самые тяжелые кули на мельницу и съ своеобразнымъ шикомъ пресмѣшно надѣвалъ себѣ на голову высокую мужичью островерхую шляпу съ павлинымъ перомъ или съ соломеннымъ пучкомъ въ родѣ султана.

Но пришла роковая пора — звѣриная натура взяла свое и надъ Сганарелемъ. Незадолго передъ моимъ прибытіемъ въ домъ дяди, тихій Сганарель вдругъ провинился сразу нѣсколькими винами, изъ которыхъ притомъ одна была другой тяжче.

Программа преступныхъ дѣйствій у Сганареля была та же самая, какъ и у всѣхъ прочихъ: для первоученки онъ взялъ и оторвалъ крыло гусю; потомъ положилъ лапу на спину бѣжавшему за маткою жеребенку и переломилъ ему спину, а наконецъ: ему не понравились слѣпой старикъ и его поводырь, и Сганарель принялся катать ихъ по снѣгу, при чемъ поттопталъ имъ руки и ноги.

Слѣпца съ его поводыремъ взяли въ больницу, а Сганареля велѣли Храпону отвести и посадить въ яму, откуда былъ только одинъ выходъ—*на казнь*...

Анна, раздѣвая вечеромъ меня и такого же маленькаго въ то время моего двоюроднаго брата, разсказала намъ, что при отводѣ Сганареля въ яму, въ которой онъ долженъ былъ ожидать смертной казни, произошли очень большія трогательности. Храпонъ не продергивалъ въ губу Сганареля «больнички» или кольца и не употреблялъ противъ него ни малѣйшаго насилія, а только сказалъ:

— Пойдемъ, звѣрь, со мною.

Медвѣдь всталъ и пошелъ, да еще что было смѣшно—

взялъ свою шляпу съ соломеннымъ султаномъ и всю дорогу до ямы шелъ съ Храпономъ обнявшись, точно два друга.

Они-таки и были друзья.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Храпону было очень жаль Сганареля, но онъ ему ничѣмъ пособить не могъ. Напоминаю, что тамъ, гдѣ это происходило, никому никогда никакая провинность не прощалась, и скомпрометировавшій себя Сганарель непремѣнно долженъ былъ заплатить за свои увлеченія лютой смертью.

Травля его назначалась, какъ послѣобѣденное развлеченіе для гостей, которые обыкновенно съѣзжались къ дядѣ на Рождество. Приказъ объ этомъ былъ уже отданъ на охотѣ въ то же самое время, когда Храпону было велѣно отвести виновнаго Сганареля и посадить его въ яму.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Въ яму медвѣдей сажали довольно просто. Люкъ или творило ямы обыкновенно закрывали легкимъ хворостомъ, накиданнымъ на хрупкія жерди, и посыпали эту покрышку снѣгомъ. Это было маскировано такъ, что медвѣдь не могъ замѣтить устроенной ему предательской ловушки. Покорнаго звѣря подводили къ этому мѣсту и заставляли идти впередъ. Онъ дѣлалъ шагъ или два и неожиданно проваливался въ глубокую яму, изъ которой не было никакой возможности выйти. Медвѣдь сидѣлъ здѣсь до тѣхъ поръ, пока наступало время его травить. Тогда въ яму опускали въ наклонномъ положеніи длинное, аршинъ семи, бревно и медвѣдь вылѣзалъ по этому бревну наружу. Затѣмъ начиналась травля. Если же случалось, что смѣтливый звѣрь, предчувствуя бѣду, не хотѣлъ выходить, то его понуждали выходить, безпокоя длинными шестами, на концѣ которыхъ были острые желѣзные наконечники, бросали зажженую солому или стрѣляли въ него холостыми зарядами изъ ружей и пистолетовъ.

Храпонъ отвелъ Сганареля и заключилъ его подъ арестъ по этому же самому способу, но самъ вернулся домой очень разстроенный и опечаленный. На свое несчастіе, онъ разсказалъ своей сестрѣ, какъ звѣрь шелъ съ нимъ «ласково» и какъ онъ, провалившись сквозь хворостъ въ яму, сѣлъ тамъ на днищѣ и, сложивъ переднія лапы, какъ руки, застоналъ, точно заплакалъ.

Храпонъ открылъ Аннѣ, что онъ бѣжалъ отъ этой ямы бѣгомъ, чтобы не слыхать жалостныхъ стоновъ Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

— Слава Богу,—добавилъ онъ:—что не мнѣ, а другимъ людямъ велѣно въ него стрѣлять, если онъ уходить станетъ. А если бы мнѣ то было приказано, то я лучше бы самъ всякія муки принялъ, но въ него ни за что бы не выстрѣлилъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Анна разсказала это намъ, а мы разсказали гувернеру Кольбергу, а Кольбергъ, желая чѣмъ-нибудь позанять дядю, передалъ ему. Тотъ это выслушалъ и сказалъ: «Молодецъ Храпошка», а потомъ хлопнулъ три раза въ ладоши.

Это значило, что дядя требуетъ къ себѣ своего камердинера Устина Петровича, старичка изъ плѣнныхъ французовъ двѣнадцатаго года.

Устинъ Петровичъ, иначе Жюстинъ, явился въ своемъ чистенькомъ лиловомъ фрачкѣ съ серебряными пуговицами, и дядя отдалъ ему приказаніе, чтобы къ завтрашней «садкѣ» или охотѣ на Сганареля стрѣлками въ секретахъ были посажены Флегонтъ—извѣстнѣйшій стрѣлокъ, который всегда билъ безъ промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотѣлъ позабавиться надъ затруднительною борьбою чувствъ бѣднаго парня. Если же онъ не выстрѣлитъ въ Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьетъ вторымъ выстрѣломъ Флегонтъ, который никогда не даетъ промаха.

Устинъ поклонился и ушелъ передавать приказаніе, а мы, дѣти, сообразили, что мы надѣлали бѣды и что во всемъ этомъ есть что-то ужасно тяжелое, такъ что, Богъ знаетъ, какъ это и кончится. Послѣ этого насъ не занимали по достоинству ни вкусный рождественскій ужинъ, который справлялся «при звѣздѣ», за одинъ разъ съ обѣдомъ, ни пріѣхавшіе на ночь гости, изъ коихъ съ нѣкоторыми были и дѣти.

Намъ было жаль Сганареля, жаль и Фсрапонта, и мы даже не могли себѣ рѣшить, кого изъ нихъ двухъ мы больше жалѣемъ.

Оба мы, то-есть я и мой ровесникъ—двоюродный братъ,

долго ворочались въ своихъ кроваткахъ. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что намъ обоимъ представлялся медвѣдь. А когда няня насъ успокоивала, что медвѣдя бояться уже нечего, потому что онъ теперь сидитъ въ ямѣ, а завтра его убьютъ, то мною овладѣвала еще бо́льшая тревога.

Я даже просилъ у няни вразумленія: нельзя ли мнѣ помолиться за Сганареля? Но такой вопросъ былъ выше религіозныхъ соображеній старушки, и она, позѣвывая и крестя ротъ рукою, отвѣчала, что навѣрно она объ этомъ ничего не знаетъ, такъ какъ ни разу о томъ у священника не спрашивала, но что, однако, медвѣдь — тоже Божіе созданіе и онъ плавалъ съ Ноемъ въ ковчегѣ.

Мнѣ показалось, что напоминаніе о плаваньи въ ковчегѣ вело какъ будто къ тому, что безпредѣльное милосердіе Божіе можетъ быть распространено не на однихъ людей, а также и на прочія Божьи созданія, и я, съ дѣтскою вѣрою, сталъ въ моей кроваткѣ на колѣни и, припавъ лицомъ къ подушкѣ, просилъ величіе Божіе не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Наступилъ день Рождества. Всѣ мы были одѣты въ праздничномъ и вышли съ гувернерами и боннами къ чаю. Въ залѣ, кромѣ множества родныхъ и гостей, стояло духовенство: священникъ, дьяконъ и два дьячка.

Когда вошелъ дядя, причтъ запѣлъ «Христосъ рождается». Потомъ былъ чай, потомъ, вскорѣ же, маленькій завтракъ и въ два часа ранній праздничный обѣдъ. Тотчасъ же послѣ обѣда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что въ эту пору рано темнѣетъ, а въ темнотѣ травля невозможна и медвѣдь легко можетъ скрыться изъ вида.

Исполнилось все такъ, какъ было назначено. Насъ прямо изъ-за стола повели одѣвать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надѣли наши заячьи шубки и лохматые, съ круглыми подошвами, сапоги, вязаные изъ козьей шерсти, и повели усаживать въ сани. А у подъѣздовъ съ той и съ другой стороны дома уже стояло множество длинныхъ бо́льшихъ троечныхъ саней, покрытыхъ узорчатыми коврами, и тутъ же два стремянныхъ держали подъ-уздцы

Храпонъ открылъ Аннѣ, что онъ бѣжалъ отъ этой ямы бѣгомъ, чтобы не слыхать жалостныхъ стоновъ Сганареля, потому что стоны эти были мучительны и невыносимы для его сердца.

— Слава Богу,—добавилъ онъ:—что не мнѣ, а другимъ людямъ велѣно въ него стрѣлять, если онъ уходить станетъ. А если бы мнѣ то было приказано, то я лучше бы самъ всякія муки принялъ, но въ него ни за что бы не выстрѣлилъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Анна разсказала это намъ, а мы разсказали гувернеру Кольбергу, а Кольбергъ, желая чѣмъ-нибудь позанять дядю, передалъ ему. Тотъ это выслушалъ и сказалъ: «Молодецъ Храпошка», а потомъ хлопнулъ три раза въ ладоши.

Это значило, что дядя требуетъ къ себѣ своего камердинера Устина Петровича, старичка изъ плѣнныхъ французовъ двѣнадцатаго года.

Устинъ Петровичъ, иначе Жюстинъ, явился въ своемъ чистенькомъ лиловомъ фрачкѣ съ серебряными пуговицами, и дядя отдалъ ему приказаніе, чтобы къ завтрашней «садкѣ» или охотѣ на Сганареля стрѣлками въ секретахъ были посажены Флегонтъ—извѣстнѣйшій стрѣлокъ, который всегда билъ безъ промаха, а другой Храпошка. Дядя, очевидно, хотѣлъ позабавиться надъ затруднительною борьбою чувствъ бѣднаго парня. Если же онъ не выстрѣлитъ въ Сганареля или нарочно промахнется, то ему, конечно, тяжело достанется, а Сганареля убьетъ вторымъ выстрѣломъ Флегонтъ, который никогда не даетъ промаха.

Устинъ поклонился и ушелъ передавать приказаніе, а мы, дѣти, сообразили, что мы надѣлали бѣды и что во всемъ этомъ есть что-то ужасно тяжелое, такъ что, Богъ знаетъ, какъ это и кончится. Послѣ этого насъ не занимали по достоинству ни вкусный рождественскій ужинъ, который справлялся «при звѣздѣ», за одинъ разъ съ обѣдомъ, ни пріѣхавшіе на ночь гости, изъ коихъ съ нѣкоторыми были и дѣти.

Намъ было жаль Сганареля, жаль и Фсрапонта, и мы даже не могли себѣ рѣшить, кого изъ нихъ двухъ мы больше жалѣемъ.

Оба мы, то-есть я и мой ровесникъ—двоюродный братъ,

долго ворочались въ своихъ кроваткахъ. Оба мы заснули поздно, спали дурно и вскрикивали, потому что намъ обоимъ представлялся медвѣдь. А когда няня насъ успокоивала, что медвѣдя бояться уже нечего, потому что онъ теперь сидитъ въ ямѣ, а завтра его убьютъ, то мною овладѣвала еще бо̀льшая тревога.

Я даже просилъ у няни вразумленія: нельзя ли мнѣ помолиться за Сганареля? Но такой вопросъ былъ выше религіозныхъ соображеній старушки, и она, позѣвывая и крестя ротъ рукою, отвѣчала, что навѣрно она объ этомъ ничего не знаетъ, такъ какъ ни разу о томъ у священника не спрашивала, но что, однако, медвѣдь — тоже Божіе созданіе и онъ плавалъ съ Ноемъ въ ковчегѣ.

Мнѣ показалось, что напоминаніе о плаваньи въ ковчегѣ вело какъ будто къ тому, что безпредѣльное милосердіе Божіе можетъ быть распространено не на однихъ людей, а также и на прочія Божьи созданія, и я, съ дѣтскою вѣрою, сталъ въ моей кроваткѣ на колѣни и, припавъ лицомъ къ подушкѣ, просилъ величіе Божіе не оскорбиться моею жаркою просьбою и пощадить Сганареля.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Наступилъ день Рождества. Всѣ мы были одѣты въ праздничномъ и вышли съ гувернерами и боннами къ чаю. Въ залѣ, кромѣ множества родныхъ и гостей, стояло духовенство: священникъ, дьяконъ и два дьячка.

Когда вошелъ дядя, причтъ запѣлъ «Христосъ рождается». Потомъ былъ чай, потомъ, вскорѣ же, маленькій завтракъ и въ два часа ранній праздничный обѣдъ. Тотчасъ же послѣ обѣда назначено было отправляться травить Сганареля. Медлить было нельзя, потому что въ эту пору рано темнѣетъ, а въ темнотѣ травля невозможна и медвѣдь легко можетъ скрыться изъ вида.

Исполнилось все такъ, какъ было назначено. Насъ прямо изъ-за стола повели одѣвать, чтобы везти на травлю Сганареля. Надѣли наши заячьи шубки и лохматые, съ круглыми подошвами, сапоги, вязаные изъ козьей шерсти, и повели усаживать въ сани. А у подъѣздовъ съ той и съ другой стороны дома уже стояло множество длинныхъ большихъ троечныхъ саней, покрытыхъ узорчатыми коврами, и тутъ же два стремянныхъ держали подъ-уздцы

дядину верховую англійскую рыжую лошадь, по имени Щеголиху.

Дядя вышелъ въ лисьемъ архалукѣ и въ лисьей остроконечной шапкѣ, и какъ только онъ сѣлъ на сѣдло, покрытое черною медвѣжьею шкурою съ пахвами и паперсями, убранными бирюзой и «змѣиными головками», весь нашъ огромный поѣздъ тронулся, а черезъ десять или пятнадцать минутъ мы уже пріѣхали на мѣсто травли и выстроились полукругомъ. Всѣ сани были расположены полуоборотомъ къ обширному, ровному, покрытому снѣгомъ полю, которое было окружено цѣпью верховыхъ охотниковъ и вдали замыкалось лѣсомъ.

У самаго лѣса были сдѣланы секреты или тайники за кустами, и тамъ должны были находиться Флегонтъ и Храпошка.

Тайниковъ этихъ не было видно и нѣкоторые указывали только на едва замѣтныя «сошки», съ которыхъ одинъ изъ стрѣлковъ долженъ былъ прицѣлиться и выстрѣлить въ Сганареля.

Яма, гдѣ сидѣлъ медвѣдь, тоже была незамѣтна и мы поневолѣ разсматривали красивыхъ вершниковъ, у которыхъ за плечомъ было разнообразное, но красивое вооруженіе: были шведскіе Штрабусы, нѣмецкіе Моргенраты, англійскіе Мортимеры и варшавскіе Колеты.

Дядя стоялъ верхомъ впереди цѣпи. Ему подали въ руки свору отъ двухъ сомкнутыхъ злѣйшихъ «пьявокъ», а передъ нимъ положили у орчака на вальтрапъ бѣлый платокъ.

Молодыя собаки, для практики которыхъ осужденъ былъ умереть провинившійся Сганарель, были въ огромномъ числѣ и всѣ вели себя крайне самонадѣянно, обнаруживая пылкое нетерпѣніе и недостатокъ выдержки. Онѣ визжали, лаяли, прыгали и путались на сворахъ вокругъ коней, на которыхъ сидѣли одѣтые въ форменное платье доѣзжачіе, а тѣ безпрестанно хлопали арапниками, чтобы привести молодыхъ, непомнившихъ себя отъ нетерпѣнія псовъ къ повиновенію. Все это кипѣло желаніемъ броситься на звѣря, близкое присутствіе котораго собаки, конечно, открыли своимъ острымъ, природнымъ чутьемъ.

Настало время вынуть Сганареля изъ ямы и пустить его на растерзаніе!

Дядя махнулъ положеннымъ на его вальтрапъ бѣлымъ платкомъ и сказалъ: «Дѣлай!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Изъ кучки охотниковъ, составлявшихъ главный штабъ дяди, выдѣлилось человѣкъ десять и пошли впередъ черезъ поле.

Отойдя шаговъ двѣсти, они остановились и начали поднимать изъ снѣга длинное, не очень толстое бревно, которое до сей поры намъ издалека нельзя было видѣть.

Это происходило какъ разъ у самой ямы, гдѣ сидѣлъ Сганарель, но она тоже съ нашей далекой позиціи была незамѣтна.

Дерево подняли и сейчасъ же спустили однимъ концомъ въ яму. Оно было спущено съ такимъ пологимъ уклономъ, что звѣрь безъ затрудненія могъ выйти по немъ, какъ по лѣстницѣ.

Другой конецъ бревна опирался на край ямы и торчалъ изъ нея на аршинъ.

Всѣ глаза были устремлены на эту предварительную операцію, которая приближала къ самому любопытному моменту. Ожидали, что Сганарель сейчасъ же долженъ былъ показаться наружу; но онъ, очевидно, понималъ въ чемъ дѣло и ни за что не шелъ.

Началось гонянье его въ ямѣ снѣжными комьями и шестами съ острыми наконечниками, послышался ревъ, но звѣрь не шелъ изъ ямы. Раздалось нѣсколько холостыхъ выстрѣловъ, направленныхъ прямо въ яму, но Сганарель только сердитѣе зарычалъ, а все-таки попрежнему не показывался.

Тогда откуда-то изъ-за цѣпи вскачь подлетѣли запряженныя въ одну лошадь простыя навозныя дровни, на которыхъ лежала куча сухой ржаной соломы.

Лошадь была высокая, худая, изъ тѣхъ, которыхъ употребляли на воркѣ для подвоза корма съ гуменника, но, несмотря на свою старость и худобу, она летѣла, поднявши хвостъ и натопорщивъ гриву. Трудно, однако, было опредѣлить: была ли ея теперешняя бодрость остаткомъ прежней молодой удали, или это скорѣе было порожденіе страха и отчаянія, внушаемыхъ старому коню близкимъ присутствіемъ медвѣдя? Повидимому, послѣднее имѣло болѣе вѣроятія, потому что лошадь была взнуздана, кромѣ желѣзныхъ удилъ, еще острою бечевкою, которою и были уже въ кровь истерзаны ея посѣрѣвшія губы. Она и неслась и металась въ стороны такъ отчаянно, что управлял-

шій ею конюхъ въ одно и то же время дралъ ей кверху голову бечевой, а другою рукою немилосердно стегалъ ее толстою нагайкою.

Но, какъ бы тамъ ни было, солома была раздѣлена на три кучи, разомъ зажжена и разомъ же съ трехъ сторонъ скинута, зажженая, въ яму. Внѣ пламени остался только одинъ тотъ край, къ которому было приставлено бревно.

Раздался оглушительный, бѣшеный ревъ, какъ бы смѣшанный вмѣстѣ со стономъ, но... медвѣдь опять-таки не показывался...

До нашей цѣпи долетѣлъ слухъ, что Сганарель весь «опалился», и что онъ закрылъ глаза лапами и легъ вплотную въ уголъ къ землѣ, такъ что «его не стронуть».

Ворковая лошадь, съ разрѣзанными губами, понеслась опять вскачь назадъ... Всѣ думали, что это была посылка за новымъ привозомъ соломы. Между зрителями послышался укоризненный говоръ: зачѣмъ распорядители охоты не подумали ранѣе припасти столько соломы, чтобы она была здѣсь съ излишкомъ. Дядя сердился и кричалъ что-то такое, чего я не могъ разобрать за всею поднявшеюся въ это время у людей суетою и еще болѣе усилившимся визгомъ собакъ и хлопаньемъ арапниковъ.

Но во всемъ этомъ виднѣлось настроеніе и былъ, однако, свой ладъ, и ворковая лошадь уже опять, метаясь и храпя, неслась назадъ къ ямѣ, гдѣ залегъ Сганарель, но не съ соломою: на дровняхъ теперь сидѣлъ Ферапонтъ.

Гнѣвное распоряженіе дяди заключалось въ томъ, чтобы Храпошку спустили въ яму и чтобы онъ *самъ вывелъ* оттуда своего друга на травлю...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

И вотъ, Ферапонтъ былъ на мѣстѣ. Онъ казался очень взволнованнымъ, но дѣйствовалъ твердо и рѣшительно. Нимало не сопротивляясь барскому приказу, онъ взялъ съ дровней веревку, которою была прихвачена привезенная минуту тому назадъ солома, и привязалъ эту веревку однимъ концомъ около зарубки верхней части бревна. Остальную веревку Ферапонтъ взялъ въ руки и, держась за нее, сталъ спускаться по бревну, на ногахъ, въ яму...

Страшный ревъ Сганареля утихъ и замѣнился глухимъ ворчаніемъ.

Звѣрь какъ бы жаловался своему другу на жестокое обхожденіе съ нимъ со стороны людей; но вотъ и это ворчаніе смѣнилось совершенной тишиной.

— Обнимаетъ и лижетъ Храпошку! — крикнулъ одинъ изъ людей, стоявшихъ надъ ямой.

Изъ публики, размѣщавшейся въ саняхъ, нѣсколько человѣкъ вздохнули, другіе поморщились.

Многимъ становилось жалко медвѣдя и травля его, очевидно, не обѣщала имъ большого удовольствія. Но описанныя мимолетныя впечатлѣнія внезапно были прерваны новымъ событіемъ, которое было еще неожиданнѣе и заключало въ себѣ новую трогательность.

Изъ творила ямы, какъ бы изъ преисподней, показалась курчавая голова Храпошки въ охотничьей круглой шапкѣ. Онъ взбирался наверхъ опять тѣмъ же самымъ способомъ, какъ и спускался, то-есть Ферапонтъ шелъ на ногахъ по бревну, притягивая себя кверху крѣпко завязанной концомъ наружи веревки. Но Ферапонтъ выходилъ *не одинъ:* рядомъ съ нимъ, крѣпко съ нимъ обнявшись и положивъ ему на плечо большую косматую лапу, выходилъ и Сганарель... Медвѣдь былъ не въ духѣ и не въ авантажномъ видѣ. Пострадавшій и изнуренный, повидимому, не столько отъ тѣлеснаго страданія, сколько отъ тяжкаго моральнаго потрясенія, онъ сильно напоминалъ короля Лира. Онъ сверкалъ исподлобья налитыми кровью и полными гнѣва и негодованія глазами. Такъ же, какъ Лиръ, онъ былъ и взъерошенъ, и мѣстами опаленъ, а мѣстами къ нему пристали будылья соломы. Вдобавокъ же, какъ тотъ несчастный вѣнценосецъ, Сганарель, по удивительному случаю, сберегъ себѣ и нѣчто въ родѣ вѣнца. Можетъ-быть, любя Ферапонта, а можетъ-быть случайно, онъ зажалъ у себя подъ мышкой шляпу, которою Храпошка его снабдилъ и съ которою онъ же поневолѣ столкнулъ Сганареля въ яму. Медвѣдь сберегъ этотъ дружескій даръ, и... теперь, когда сердце его нашло мгновенное успокоеніе въ объятіяхъ друга, онъ, какъ только сталъ на землю, сейчасъ же вынулъ изъ-подъ мышки жестоко измятую шляпу и положилъ ее себѣ на макушку...

Эта выходка многихъ насмѣшила, а другимъ зато мучительно было ее видѣть. Иные даже поспѣшили отвернуться отъ звѣря, которому сейчасъ же должна была послѣдовать злая кончина.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Тѣмъ временемъ какъ все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякаго повиновенія. Даже арапникъ не оказывалъ на нихъ болѣе своего внушающаго дѣйствія. Щенки и старыя пьявки, увидя Сганареля, поднялись на заднія лапы и, сипло воя и храпя, задыхались въ своихъ сыромятныхъ ошейникахъ; а въ это же самое время Храпошка уже опять мчался на ворковомъ одрѣ къ своему секрету подъ лѣсомъ. Сганарель опять остался одинъ и нетерпѣливо дергалъ лапу, за которую случайно захлеснулась брошенная Храпошкой веревка, прикрѣпленная къ бревну. Звѣрь, очевидно, хотѣлъ скорѣе ее распутать или оборвать и догнать своего друга, но у медвѣдя, хоть и очень смышленаго, ловкость все-таки была медвѣжья, и Сганарель не распускалъ, а только сильнѣе затягивалъ петлю на лапѣ.

Видя, что дѣло не идетъ такъ, какъ ему хотѣлось, Сганарель дернулъ веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крѣпка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стоймя въ ямѣ. Онъ на это оглянулся; а въ то самое мгновеніе двѣ пущенныхъ изъ стаи со своры пьявки достигли его и одна изъ нихъ со всего налета впилась ему острыми зубами въ загорбокъ.

Сганарель такъ былъ занятъ съ веревкой, что не ожидалъ этого и въ первое мгновеніе какъ будто не столько разсердился, сколько удивился такой наглости; но потомъ, черезъ полсекунды, когда пьявка хотѣла перехватить зубами, чтобы впиться еще глубже, онъ рванулъ ее лапою и бросилъ отъ себя очень далеко и съ разорваннымъ брюхомъ. На окровавленный снѣгъ тутъ же выпали ея внутренности, а другая собака была въ то же мгновеніе раздавлена подъ его задней лапой... Но что̀ было всего страшнѣе и всего неожиданнѣе, это то, что случилось съ бревномъ. Когда Сганарель сдѣлалъ усиленное движеніе лапою, чтобы отбросить отъ себя впившуюся въ него пьявку, онъ тѣмъ же самымъ движеніемъ вырвалъ изъ ямы крѣпко привязанное къ веревкѣ бревно, и оно полетѣло пластомъ въ воздухѣ. Натянувъ веревку, оно закружило вокругъ Сганареля, какъ около своей оси и чертя однимъ концомъ по снѣгу, на первомъ же оборотѣ размозжило и положило на мѣстѣ не двухъ и не трехъ, а цѣлую стаю поспѣвавшихъ

собакъ. Однѣ изъ нихъ взвизгнули и копошились изъ снѣга лапками, а другія, какъ кувырнулись, такъ и вытянулись.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Звѣрь или былъ слишкомъ понятливъ, чтобы не сообразить, какое хорошее оказалось въ его обладаніи оружіе, или веревка, охватившая его лапу, больно ее рѣзала, но онъ только взревѣлъ и сразу, перехвативъ веревку въ самую лапу, еще такъ наподдалъ бревно, что оно поднялось и вытянулось въ одну горизонтальную линію съ направленіемъ лапы, державшей веревку, и загудѣло, какъ могъ гудѣть сильно пущенный колоссальный волчокъ. Все, что̀ могло попасть подъ него, непремѣнно должно было сокрушиться вдребезги. Если же веревка гдѣ-нибудь, въ какомъ-нибудь пунктѣ своего протяженія оказалась бы недостаточно прочною и лопнула, то разлетѣвшееся въ центробѣжномъ направленіи бревно, оторвавшись, полетѣло бы вдаль, Богъ вѣсть до какихъ далекихъ предѣловъ, и на этомъ полетѣ непремѣнно сокрушитъ все живое, что оно можетъ встрѣтить.

Всѣ мы — люди, всѣ лошади и собаки, на всей линіи и цѣпи, были въ страшной опасности и всякій, конечно, желалъ, чтобы для сохраненія его жизни, веревка, на которой вертѣлъ свою колоссальную пращу Сганарель, была крѣпка. Но какой, однако, все это могло имѣть конецъ? Этого, впрочемъ, не пожелалъ дожидаться никто, кромѣ нѣсколькихъ охотниковъ и двухъ стрѣлковъ, посаженныхъ въ секретныхъ ямахъ у самаго лѣса. Вся остальная публика, то-есть всѣ гости и семейные дяди, пріѣхавшіе на эту потѣху въ качествѣ зрителей, не находили болѣе въ случившемся ни малѣйшей потѣхи. Всѣ въ перепугѣ велѣли кучерамъ какъ можно скорѣе скакать далѣе отъ опаснаго мѣста, и въ страшномъ безпорядкѣ, тѣсня и перегоняя другъ друга, помчались къ дому.

Въ спѣшномъ и безпорядочномъ бѣгствѣ по дорогѣ было нѣсколько столкновеній, нѣсколько паденій, немного смѣха и не мало перепуговъ. Выпавшимъ изъ саней казалось, что бревно оторвалось отъ веревки и свиститъ, пролетая надъ ихъ головами, а за ними гонится разсвирѣпѣвшій звѣрь.

Но гости, достигши дома, могли придти въ покой и оправиться, а тѣ немногіе, которые остались на мѣстѣ травли, видѣли нѣчто, гораздо болѣе страшное.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Никакихъ собакъ нельзя было пускать на Сганареля. Ясно было, что при его страшномъ вооруженіи бревномъ, онъ могъ побѣдить все великое множество псовъ безъ малѣйшаго для себя вреда. А медвѣдь, вертя свое бревно и самъ за нимъ поворачиваясь, прямо подавался къ лѣсу и смерть его ожидала только здѣсь, у секрета, въ которомъ сидѣли Ферапонтъ и безъ промаха стрѣлявшій Флегонтъ.

Мѣткая пуля все могла кончить смѣло и вѣрно.

Но рокъ удивительно покровительствовалъ Сганарелю и, разъ вмѣшавшись въ дѣло звѣря, какъ будто хотѣлъ спасти его во что бы то ни стало.

Въ ту самую минуту, когда Сганарель сравнялся съ привалами, изъ-за которыхъ торчали на сошкахъ наведенныя на него дула кухенрейтеровскихъ штуцеровъ Храпошки и Флегонта, веревка, на которой летало бревно, неожиданно лопнула и... какъ пущенная изъ лука стрѣла, стрекнуло въ одну сторону, а медвѣдь, потерявъ равновѣсіе, упалъ и покатился кубаремъ въ другую.

Передъ оставшимися на полѣ вдругъ сформировалась новая живая и страшная картина: бревно сшибло сошки и весь заметъ, за которымъ скрывался въ секретѣ Флегонтъ, а потомъ, перескочивъ черезъ него, оно ткнулось и закопалось другимъ концомъ въ дальнемъ сугробѣ; Сганарель тоже не терялъ времени. Перекувыркнувшись три или четыре раза, онъ прямо попалъ за снѣжный валикъ Храпошки...

Сганарель его моментально узналъ, дохнулъ на него своей горячей пастью, хотѣлъ лизнуть языкомъ, но вдругъ съ другой стороны, отъ Флегонта крякнулъ выстрѣлъ и... медвѣдь убѣжалъ въ лѣсъ, а Храпошка... упалъ безъ чувствъ.

Его подняли и осмотрѣли: онъ былъ раненъ пулею въ руку навылетъ, но въ ранѣ его было также нѣсколько медвѣжьей шерсти.

Флегонтъ не потерялъ званія перваго стрѣлка, но онъ стрѣлялъ впопыхахъ изъ тяжелаго штуцера и безъ сошекъ, съ которыхъ могъ бы прицѣлиться. Притомъ же на дворѣ уже было сѣро и медвѣдь съ Храпошкою были слишкомъ тѣсно скучены...

При такихъ условіяхъ и этотъ выстрѣлъ съ промахомъ на одну линію должно было считать въ своемъ родѣ замѣчательнымъ.

Тѣмъ не менѣе—*Сганарель ушелъ*. Погоня за нимъ по лѣсу въ этотъ же самый вечеръ была невозможна; а до слѣдующаго утра въ умѣ того, чья воля была здѣсь для всѣхъ закономъ, просіяло совсѣмъ иное настроеніе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Дядя вернулся послѣ окончанія описанной неудачной охоты. Онъ былъ гнѣвенъ и суровъ болѣе, чѣмъ обыкновенно. Передъ тѣмъ, какъ сойти у крыльца съ лошади, онъ отдалъ приказъ—завтра чѣмъ-свѣтъ искать слѣдовъ звѣря и обложить его такъ, чтобы онъ не могъ скрыться.

Правильно поведенная охота, конечно, должна была дать совсѣмъ другіе результаты.

Затѣмъ ждали распоряженія о раненомъ Храпошкѣ. По мнѣнію всѣхъ, его должно было постигнуть нѣчто страшное. Онъ, по меньшей мѣрѣ, былъ виноватъ въ той оплошности, что не всадилъ охотничьяго ножа въ грудь Сганареля, когда тотъ очутился съ нимъ вмѣстѣ и оставилъ его нимало не поврежденнымъ въ его объятіяхъ. Но, кромѣ того, были сильныя и, кажется, вполнѣ основательныя подозрѣнія, что Храпошка схитрилъ, что онъ въ роковую минуту умышленно не хотѣлъ поднять своей руки на своего косматаго друга и пустилъ его на волю.

Всѣмъ извѣстная взаимная дружба Храпошки съ Сганарелемъ давала этому предположенію много вѣроятности.

Такъ думали не только всѣ участвовавшіе въ охотѣ, но такъ же точно толковали теперь и всѣ гости.

Прислушиваясь къ разговорамъ взрослыхъ, которые собрались къ вечеру въ большой залѣ, гдѣ въ это время для насъ зажигали богато-убранную елку, мы раздѣляли и общія подозрѣнія и общій страхъ предъ тѣмъ, что̀ можетъ ждать Ферапонта.

На первый разъ, однако, изъ передней, черезъ которую дядя прошелъ съ крыльца къ себѣ «на половину», до залы достигъ слухъ, что о Храпошкѣ не было никакого приказанія.

— Къ лучшему это, однако, или нѣтъ?—прошепталъ кто-то, и шопотъ это среди общей тяжелой унылости толкнулся въ каждое сердце.

Его услыхалъ и отецъ Алексѣй, старый сельскій священникъ съ бронзовымъ крестомъ двѣнадцатаго года. Старикъ тоже вздохнулъ и такимъ же шопотомъ сказалъ:

— Молитесь рожденному Христу.

Съ этимъ онъ самъ и всѣ сколько здѣсь было взрослыхъ и дѣтей, баръ и холопей, всѣ мы сразу перекрестились. И тому было время. Не успѣли мы опустить наши руки, какъ широко растворились двери и вошелъ, съ палочкой въ рукѣ, дядя. Его сопровождали двѣ его любимыя борзыя собаки и камердинеръ Жюстинъ. Послѣдній несъ за нимъ на серебряной тарелкѣ его бѣлый фуляръ и круглую табакерку съ портретомъ Павла Перваго.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Вольтеровское кресло для дяди было поставлено на небольшомъ персидскомъ коврѣ передъ елкою, посреди комнаты. Онъ молча сѣлъ въ это кресло и молча же взялъ у Жюстина свой фуляръ и свою табакерку. У ногъ его тотчасъ легли и вытянули свои длинныя морды обѣ собаки.

Дядя былъ въ синемъ шелковомъ архалукѣ съ вышитыми гладью застежками, богато украшенными бѣлыми филиграневыми пряжками съ крупной бирюзой. Въ рукахъ у него была его тонкая, но крѣпкая палка изъ натуральной кавказской черешни.

Палочка теперь ему была очень нужна, потому что во время суматохи, происшедшей на садкѣ, отмѣнно выѣзженная Щеголиха тоже не сохранила безстрашія—она метнулась въ сторону и больно прижала къ дереву ногу своего всадника.

Дядя чувствовалъ сильную боль въ этой ногѣ и даже немножко похрамывалъ.

Это новое обстоятельство, разумѣется, тоже не могло прибавить ничего добраго въ его раздраженное и гнѣвливое сердце. Притомъ, было дурно и то, что при появленіи дяди мы всѣ замолчали. Какъ большинство подозрительныхъ людей, онъ терпѣть не могъ этого, и хорошо его знавшій отецъ Алексѣй поторопился, какъ умѣлъ, поправить дѣло, чтобы только нарушить эту зловѣщую тишину.

Имѣя нашъ дѣтскій кругъ близъ себя, священникъ задалъ намъ вопросъ: понимаемъ ли мы смыслъ пѣсни «Христосъ рождается»? Оказалось, что не только мы, но и старшіе плохо ее разумѣли. Священникъ сталъ намъ разъяснять слова: «славите», «рящите» и «возноситеся», и дойдя до значенія этого послѣдняго слова, самъ тихо «вознесся»

и умомъ, и сердцемъ. Онъ заговорилъ *о дарѣ*, который и нынче, какъ и «во время оно», всякій бѣднякъ можетъ поднесть къ яслямъ «рожденнаго Отроча», смѣлѣе и достойнѣе, чѣмъ поднесли злато, смирну и ливанъ волхвы древности. Даръ нашъ,—наше сердце исправленное по Его ученію. Старикъ говорилъ о любви, о прощеньи, о долгѣ каждаго утѣшить друга и недруга «во имя Христово»... И думается мнѣ, что слово его въ тотъ часъ было убѣдительно... Всѣ мы понимали, къ чему оно клонитъ, всѣ его слушали съ особеннымъ чувствомъ, какъ бы моляся, чтобы это слово достигло до цѣли, и у многихъ изъ насъ на рѣсницахъ дрожали хорошія слезы...

Вдругъ что-то упало... Это была дядина палка... Ее ему подали, но онъ до нея не коснулся: онъ сидѣлъ, склонясь на бокъ, съ опущенною съ кресла рукою, въ которой, какъ позабытая, лежала большая бирюза отъ застежки... Но вотъ онъ уронилъ и ее, и... ее никто не спѣшилъ поднимать.

Всѣ глаза были устремлены на его лицо. Происходило удивительное: *онъ плакалъ!*

Священникъ тихо раздвинулъ дѣтей и, подойдя къ дядѣ, молча благословилъ его рукою.

Тотъ поднялъ лицо, взялъ старика за руку и неожиданно поцѣловалъ ее передъ всѣми и тихо молвилъ:

— Спасибо.

Въ ту же минуту онъ взглянулъ на Жюстина и велѣлъ позвать сюда Ферапонта.

Тотъ предсталъ блѣдный, съ подвязанной рукою.

— Стань здѣсь!—велѣлъ ему дядя и показалъ рукою на коверъ.

Храпошка подошелъ и упалъ на колѣни.

— Встань... поднимись!—сказалъ дядя.—Я тебя прощаю.

Храпошка опять бросился ему въ ноги. Дядя заговорилъ нервнымъ, взволнованнымъ голосомъ:

— Ты любилъ звѣря, какъ не всякій умѣетъ любить человѣка. Ты меня этимъ тронулъ и превзошелъ меня въ великодушіи. Объявляю тебѣ отъ меня милость: даю вольную и сто рублей на дорогу. Иди, куда хочешь.

— Благодарю, и никуда не пойду,—воскликнулъ Храпошка.

— Что?

— Никуда не пойду,—повторилъ Ферапонтъ.

— Чего же ты хочешь?

— За вашу милость я хочу вамъ вольной волей служить честнѣй, чѣмъ за страхъ поневолѣ.

Дядя моргнулъ глазами, приложилъ къ нимъ одною рукою свой бѣлый фуляръ, а другою, нагнувшись, обнялъ Ферапонта и... всѣ мы поняли, что намъ надо встать съ мѣстъ, и тоже закрыли глаза... Довольно было чувствовать, что здѣсь совершилась слава вышнему Богу и заблагоухалъ миръ во имя Христово, на мѣстѣ суроваго страха.

Это отразилось и на деревнѣ, куда были посланы котлы браги. Зажглись веселые костры и было веселье во всѣхъ, и, шутя, говорили другъ другу:

— У насъ нонѣ такъ сталось, что и звѣрь пошелъ во святой тишинѣ Христа славить.

Сганареля не отыскивали. Ферапонтъ, какъ ему сказано было, сдѣлался вольнымъ, скоро замѣнилъ при дядѣ Жюстина и былъ не только вѣрнымъ его слугою, но и вѣрнымъ его другомъ до самой его смерти. Онъ закрылъ своими руками глаза дяди и онъ же схоронилъ его въ Москвѣ на Ваганьковскомъ кладбищѣ, гдѣ и по сю-пору цѣлъ его памятникъ. Тамъ же, въ ногахъ у него, лежитъ и Ферапонтъ.

Цвѣтовъ имъ теперь приносить уже некому, но въ московскихъ норахъ и трущобахъ есть люди, которые помнятъ бѣлоголоваго длиннаго старика, который словно чудомъ умѣлъ узнавать, гдѣ есть истинное горе, и умѣлъ поспѣвать туда во-время самъ, или посылалъ не съ пустыми руками своего добраго пучеглазаго слугу.

Эти два добряка, о которыхъ много бы можно сказать, были: мой дядя и его Ферапонтъ, котораго старикъ въ шутку называлъ: «*укротитель звѣря*»

ПРИВИДѢНІЕ ВЪ ИНЖЕНЕРНОМЪ ЗАМКѢ.

(Изъ кадетскихъ воспоминаній.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

У домовъ, какъ у людей, есть своя репутація. Есть дома, гдѣ, по общему мнѣнію, *нечисто*, т. е., гдѣ замѣчаютъ тѣ или другія проявленія какой-то нечистой или, по крайней мѣрѣ, непонятной силы. Спириты старались много сдѣлать для разъясненія этого рода явленій, но такъ какъ теоріи ихъ не пользуются большимъ довѣріемъ, то дѣло съ страшными домами остается въ прежнемъ положеніи.

Въ Петербургѣ во мнѣніи многихъ подобною худою славою долго пользовалось характерное зданіе бывшаго Павловскаго дворца, извѣстное нынче подъ названіемъ Инженернаго замка. Таинственныя явленія, приписываемыя духамъ и привидѣніямъ, замѣчали здѣсь почти съ самаго основанія замка. Еще при жизни императора Павла тутъ, говорятъ, слышали голосъ Петра Великаго и, наконецъ, даже самъ императоръ Павелъ видѣлъ тѣнь своего прадѣда. Послѣднее, безъ всякихъ опроверженій, записано въ заграничныхъ сборникахъ, гдѣ нашли себѣ мѣсто описанія внезапной кончины Павла Петровича, и въ новѣйшей русской книгѣ г. Кобеко. Прадѣдъ, будто бы, покидалъ могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конецъ ихъ близокъ. Предсказаніе сбылось.

Впрочемъ, тѣнь Петрова была видима въ стѣнахъ замка не однимъ императоромъ Павломъ, но и людьми, къ нему приближенными. Словомъ, домъ былъ страшенъ потому, что

тамъ жили или, по крайней мѣрѣ, являлись тѣни и привидѣнія и говорили что-то такое страшное и, вдобавокъ, еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой въ обществѣ тотчасъ вспомнили и заговорили о предвѣщательныхъ тѣняхъ, встрѣчавшихъ покойнаго императора въ зàмкѣ, еще болѣе увеличила мрачную и таинственную репутацію этого угрюмаго дома. Съ тѣхъ поръ домъ утратилъ свое прежнее значеніе жилого дворца, а по народному выраженію—«пошелъ подъ кадетовъ».

Нынче въ этомъ упраздненномъ дворцѣ помѣщаются юнкера инженернаго вѣдомства, но начали его «обживать» прежніе инженерные кадеты. Это былъ народъ еще болѣе молодой и совсѣмъ еще не освободившійся отъ дѣтскаго суевѣрія, и притомъ рѣзвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всѣмъ имъ, разумѣется, болѣе или менѣе были извѣстны страхи, которые разсказывали про ихъ страшный зàмокъ. Дѣти очень интересовались подробностями страшныхъ разсказовъ и напитывались этими страхами, а тѣ, которые успѣли съ ними достаточно освоиться, очень любили пугать другихъ. Это было въ большомъ ходу между инженерными кадетами, и начальство никакъ не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошелъ случай, который сразу отбилъ у всѣхъ охоту къ пуганьямъ и шалостямъ.

Объ этомъ случаѣ и будетъ наступающій разсказъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Особенно было въ модѣ пугать новичковъ или, такъ называемыхъ, «малышей», которые, попадая въ зàмокъ, вдругъ узнавали такую массу страховъ о зàмкѣ, что становились суевѣрными и робкими до крайности. Болѣе всего ихъ пугало, что въ одномъ концѣ коридоровъ зàмка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, въ которой онъ легъ почивать здоровымъ, а утромъ его оттуда вынесли мертвымъ. «Старики» увѣряли, что духъ императора живетъ въ этой комнатѣ и каждую ночь выходитъ оттуда и осматриваетъ свой любимый зàмокъ, — а «малыши» этому вѣрили. Комната эта была всегда крѣпко заперта и притомъ не однимъ, а нѣсколькими замками, но для духа, какъ извѣстно, никакіе замки и затворы не имѣютъ значенія. Да и кромѣ того, говорили, будто въ эту комнату

можно было какъ-то проникать. Кажется, это такъ и было на самомъ дѣлѣ. По крайней мѣрѣ, жило и до сихъ поръ живетъ преданіе, будто это удавалось нѣсколькимъ «старымъ кадетамъ» и продолжалось до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ нихъ не задумалъ отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Онъ открылъ какой-то неизвѣстный лазъ въ страшную спальню покойнаго императора, успѣлъ пронести туда простыню и тамъ ее спряталъ, а по вечерамъ забирался сюда, покрывался съ ногъ до головы этой простынею и становился въ темномъ окнѣ, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проѣзжая, поглядитъ въ эту сторону.

Исполняя такимъ образомъ роль привидѣнія, кадетъ, дѣйствительно, успѣлъ навести страхъ на многихъ суевѣрныхъ людей, жившихъ въ замкѣ, и на прохожихъ, которымъ случалось видѣть его бѣлую фигуру, всѣми принимавшуюся за тѣнь покойнаго императора.

Шалость эта продолжалась нѣсколько мѣсяцевъ и распространила упорный слухъ, что Павелъ Петровичъ по ночамъ ходитъ вокругъ своей спальни и смотритъ изъ окна на Петербургъ. Многимъ до несомнѣнности живо и ясно представлялось, что стоявшая въ окнѣ бѣлая тѣнь имъ не разъ кивала головой и кланялась; кадетъ, дѣйствительно, продѣлывалъ такія штуки. Все это вызывало въ замкѣ обширные разговоры съ предвозвѣщательными истолкованіями и закончилось тѣмъ, что надѣлавшій описанную тревогу кадетъ былъ пойманъ на мѣстѣ преступленія и, получивъ «примѣрное наказаніе на тѣлѣ», исчезъ навсегда изъ заведенія. Ходилъ слухъ, будто злополучный кадетъ имѣлъ несчастіе испугать своимъ появленіемъ въ окнѣ одно случайно проѣзжавшее мимо замка высокое лицо, за что и былъ наказанъ не по-дѣтски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалунъ «умеръ подъ розгами», и такъ какъ въ тогдашнее время подобныя вещи не представлялись невѣроятными, то и этому слуху повѣрили, а съ этихъ поръ самъ этотъ кадетъ сталъ новымъ привидѣніемъ. Товарищи начали его видѣть «всего изсѣченнаго» и съ гробовымъ вѣнчикомъ на лбу, а на вѣнчикѣ, будто, можно было читать надпись: «вкушая вкусихъ мало меду и се азъ умираю».

Если вспомнить библейскій разсказъ, въ которомъ эти слова находятъ себѣ мѣсто, то оно выходитъ очень трогательно.

Вскорѣ за погибелью кадета спальная комната, изъ которой исходили главнѣйшіе страхи инженернаго зàмка, была открыта и получила такое приспособленіе, которое измѣнило ея жуткій характеръ, но преданія о привидѣніи долго еще жили, несмотря на послѣдовавшее разоблаченіе тайны. Кадеты продолжали вѣрить, что въ ихъ зàмкѣ живетъ, а иногда ночами является призракъ. Это было общее убѣжденіе, которое равномѣрно держалось у кадетовъ младшихъ и старшихъ съ тою, впрочемъ, разницею, что младшіе просто слѣпо вѣрили въ привидѣніе, а старшіе иногда сами устраивали его появленіе. Одно другому, однако, не мѣшало, и сами поддѣлыватели привидѣнія его тоже побаивались. Такъ, иные «ложные сказатели чудесъ» сами ихъ воспроизводятъ и сами имъ поклоняются и даже вѣрятъ въ ихъ дѣйствительность.

Кадеты младшаго возраста не знали «всей исторіи», разговоръ о которой, послѣ происшествія съ получившимъ жестокое наказаніе на тѣлѣ, строго преслѣдовался, но они вѣрили, что старшимъ кадетамъ, между которыми находились еще товарищи высѣченнаго или засѣченнаго, была извѣстна вся тайна призрака. Это давало старшимъ большой престижъ и тѣ имъ пользовались до 1859 или 1860 года, когда четверо изъ нихъ сами подверглись очень страшному перепугу, о которомъ я разскажу со словъ одного изъ участниковъ неумѣстной шутки у гроба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Въ томъ 1859 или 1860 году умеръ въ инженерномъ зàмкѣ начальникъ этого заведенія, генералъ Ламновскій. Онъ едва ли былъ любимымъ начальникомъ у кадетъ и, какъ говорятъ, будто бы не пользовался лучшею репутаціею у начальства. Причинъ къ этому у нихъ насчитывали много: находили, что генералъ держалъ себя съ дѣтьми, будто бы, очень сурово и безучастливо; мало вникалъ въ ихъ нужды; не заботился объ ихъ содержаніи, — а, главное, былъ докучливъ, придирчивъ и мелочно суровъ. Въ корпусѣ же говорили, что самъ по себѣ генералъ былъ бы еще болѣе золъ, но что неодолимую его лютость укрощала

тихая, какъ ангелъ, генеральша, которой ни одинъ изъ кадетъ никогда не видалъ, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрымъ геніемъ, охраняющимъ всѣхъ отъ конечной лютости генерала.

Кромѣ такой славы по сердцу, генералъ Ламновскій имѣлъ очень непріятныя манеры. Въ числѣ послѣднихъ были и смѣшныя, къ которымъ дѣти придирались, и когда хотѣли «представить» нелюбимаго начальника, то обыкновенно выдвигали одну изъ его смѣшныхъ привычекъ на видъ до карикатурнаго преувеличенія.

Самою смѣшною привычкою Ламновскаго было то, что, произнося какую-нибудь рѣчь или дѣлая внушеніе, онъ всегда гладилъ всѣми пятью пальцами правой руки свой носъ. Это, по кадетскимъ опредѣленіямъ, выходило такъ, какъ будто онъ «доилъ слова изъ носа». Покойникъ не отличался краснорѣчіемъ, и у него, что называется, часто недоставало словъ на выраженіе начальственныхъ внушеній дѣтямъ, а потому при всякой такой запинкѣ «доеніе» носа усиливалось, а кадеты тотчасъ же теряли серьезность и начинали пересмѣиваться. Замѣчая это нарушеніе субординаціи, генералъ начиналъ еще болѣе сердиться и наказывалъ ихъ. Такимъ образомъ, отношенія между генераломъ и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всемъ этомъ, по мнѣнію кадетъ, всего болѣе былъ виноватъ «носъ».

Не любя Ламновскаго, кадеты не упускали случая дѣлать ему досажденія и мстить, портя такъ или иначе его репутацію въ глазахъ своихъ новыхъ товарищей. Съ этою цѣлью они распускали въ корпусѣ молву, что Ламновскій знается съ нечистою силою и заставляетъ демоновъ таскать для него мраморъ, который Ламновскій поставлялъ для какого-то зданія, кажется, для Исаакіевскаго собора. Но такъ какъ демонамъ эта работа надоѣла, то разсказывали, будто они нетерпѣливо ждутъ кончины генерала, какъ событія, которое возвратитъ имъ свободу. А чтобы это казалось еще достовѣрнѣе, разъ вечеромъ, въ день именинъ генерала, кадеты сдѣлали ему большую непріятность, устроивъ «похороны». Устроено же это было такъ, что, когда у Ламновскаго, въ его квартирѣ, пировали гости, то въ коридорахъ кадетскаго помѣщенія появилась печальная процессія: покрытые простынями кадеты, со свѣчами въ ру-

кахъ, несли на одрѣ чучело съ длинноносой маской и тихо пѣли погребальныя пѣсни. Устроители этой церемоніи были открыты и наказаны, но въ слѣдующія именины Ламновскаго непростительная шутка съ похоронами опять повторилась. Такъ шло до 1859 года или 1860 года, когда генералъ Ламновскій въ самомъ дѣлѣ умеръ и когда пришлось справлять настоящія его похороны. По обычаямъ, которые тогда существовали, кадетамъ надо было посмѣнно дежурить у гроба, и вотъ тутъ-то и произошла страшная исторія, испугавшая тѣхъ самыхъ героевъ, которые долго пугали другихъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Генералъ Ламновскій умеръ позднею осенью, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, когда Петербургъ имѣлъ самый человѣконенавистный видъ: холодъ, пронизывающая сырость и грязь; особенно мутное туманное освѣщеніе тяжело дѣйствуетъ на нервы, а черезъ нихъ на мозгъ и фантазію. Все это производитъ болѣзненное душевное безпокойство и волненіе. Молешоттъ для своихъ научныхъ выводовъ о вліяніи свѣта на жизнь могъ бы получить у насъ въ это время самыя любопытныя данныя.

Дни, когда умеръ Ламновскій, были особенно гадки. Покойника не вносили въ церковь зàмка, потому что онъ былъ лютеранинъ: тѣло стояло въ большой траурной залѣ генеральской квартиры и здѣсь было учреждено кадетское дежурство, а въ церкви служились, по православному установленію, панихиды. Одну панихиду служили днемъ, а другую вечеромъ. Всѣ чины зàмка, равно какъ кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихидѣ, и это соблюдалось въ точности. Слѣдовательно, когда въ православной церкви шли панихиды,—все населеніе зàмка собиралось въ эту церковь, а остальныя обширныя помѣщенія и длиннѣйшіе переходы совершенно пустѣли. Въ самой квартирѣ усопшаго не оставалось никого кромѣ дежурной смѣны, состоявшей изъ четырехъ кадетъ, которые съ ружьями и съ касками на локтѣ стояли вокругъ гроба.

Тутъ и пошла заматываться какая-то безпокойная жуть: всѣ начали чувствовать что-то безпокойное и стали чего-то побаиваться; а потомъ вдругъ гдѣ-то проговорили, что опять кто-то «встаетъ» и опять кто-то «ходитъ». Стало такъ не-

пріятно, что всѣ начали останавливать другихъ, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну васъ къ чорту съ такими разсказами! Вы только себѣ и людямъ нервы портите!» А потомъ и сами говорили то же самое, отъ чего унимали другихъ, и къ ночи уже становилось всѣмъ страшно. Особенно это обострилось, когда кадетъ пощунялъ «батя», т. е. какой тогда былъ здѣсь священникъ.

Онъ постыдилъ ихъ за радость по случаю кончины генерала и какъ-то коротко, но хорошо умѣлъ ихъ тронуть и насторожить ихъ чувства.

— «*Ходитъ*»,—сказалъ онъ имъ, повторяя ихъ же слова.— И разумѣется что ходитъ нѣкто такой, кого вы не видите и видѣть не можете, а въ немъ и есть сила, съ которою не сладишь. Это *сѣрый человѣкъ*, — онъ не въ полночь встаетъ, а въ сумерки, когда сѣро дѣлается, и каждому хочетъ сказать о томъ, что въ мысляхъ есть нехорошаго. Этотъ сѣрый человѣкъ — *совѣсть:* совѣтую вамъ не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякаго человѣка кто-нибудь любитъ, кто-нибудь жалѣетъ,—смотрите, чтобы сѣрый человѣкъ имъ не скинулся, да не далъ бы вамъ тяжелаго урока!

Кадеты это какъ-то взяли глубоко къ сердцу и, чуть только начало въ тотъ день смеркаться, они такъ и оглядываются: нѣтъ ли сѣраго человѣка и въ какомъ онъ видѣ? Извѣстно, что въ сумеркахъ въ душахъ обнаруживается какая-то особенная чувствительность, — возникаетъ новый міръ, затмевающій тотъ, который былъ при свѣтѣ: хорошо знакомые предметы обычныхъ формъ становятся чѣмъ-то прихотливымъ, непонятнымъ и, наконецъ, даже страшнымъ. Этой порою всякое чувство, почему-то, какъ будто, ищетъ для себя какого-то неопредѣленнаго, но усиленнаго выраженія: настроеніе чувствъ и мыслей постоянно колеблется, и въ этой стремительной и густой дисгармоніи всего внутренняго міра человѣка начинаетъ свою работу фантазія: міръ обращается въ сонъ, а сонъ — въ міръ... Это заманчиво и страшно, и чѣмъ болѣе страшно, тѣмъ болѣе заманчиво и завлекательно...

Въ такомъ состояніи было большинство кадетъ, особенно передъ ночными дежурствами у гроба. Въ послѣдній вечеръ передъ днемъ погребенія къ панихидѣ въ церковь ожидалось посѣщеніе самыхъ важныхъ лицъ, а потому,

кромѣ людей, жившихъ въ замкѣ, былъ большой съѣздъ изъ города. Даже изъ самой квартиры Ламновскаго всѣ ушли въ русскую церковь, чтобы видѣть собраніе высокихъ особъ; покойникъ оставался окруженный однимъ дѣтскимъ карауломъ. Въ караулѣ на этотъ разъ стояли четыре кадета: Г—танъ, Б—новъ, З—скій и К—динъ, всѣ до сихъ поръ благополучно здравствующіе и занимающіе теперь солидныя положенія по службѣ и въ обществѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Изъ четырехъ молодцовъ, составлявшихъ караулъ,—одинъ, именно К—динъ, былъ самый отчаянный шалунъ, который докучалъ покойному Ламновскому болѣе всѣхъ и потому, въ свою очередь, чаще прочихъ подвергался со стороны умершаго усиленнымъ взысканіямъ. Покойникъ особенно не любилъ К—дина за то, что этотъ шалунъ умѣлъ его прекрасно передразнивать «по части доенія носа» и принималъ самое дѣятельное участіе въ устройствѣ погребальныхъ процессій, которыя дѣлались въ генеральскія именины.

Когда такая процессія была совершена въ послѣднее тезоименитство Ламновскаго, К—динъ самъ изображалъ покойника и даже произносилъ рѣчь изъ гроба, съ такими ужимками и такимъ голосомъ, что пересмѣшилъ всѣхъ, не исключая офицера, посланнаго разогнать кощунствующую процессію.

Было извѣстно, что это происшествіе привело покойнаго Ламновскаго въ крайнюю гнѣвность, и между кадетами прошелъ слухъ, будто разсерженный генералъ «поклялся наказать К—дина на всю жизнь». Кадеты этому вѣрили и, принимая въ соображеніе извѣстныя имъ черты характера своего начальника, нимало не сомнѣвались, что онъ свою клятву надъ К—динымъ исполнитъ. К—динъ въ теченіе всего послѣдняго года считался «висящимъ на волоскѣ», а такъ какъ, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться отъ рѣзвыхъ и рискованныхъ шалостей, то положеніе его представлялось очень опаснымъ и въ заведеніи того только и ожидали, что вотъ-вотъ К—динъ въ чемъ-нибудь попадется, и тогда Ламновскій съ нимъ не поцеремонится и всѣ его дроби приведетъ къ одному знаменателю, «дастъ себя помнить на всю жизнь».

Страхъ начальственной угрозы такъ сильно чувствовался К—динымъ, что онъ дѣлалъ надъ собою отчаянныя усилія

и, какъ запойный пьяница отъ вина, онъ бѣжалъ отъ всякихъ проказъ, покуда ему пришелъ случай провѣрить на себѣ поговорку, что «мужикъ годъ не пьетъ, а какъ чортъ прорветъ, такъ онъ все пропьетъ».

Чортъ прорвалъ К—дина, именно у гроба генерала, который опочилъ, не приведя въ исполненіе своей угрозы. Теперь генералъ былъ кадету не страшенъ, и долго сдержанная рѣзвость мальчика нашла случай отпрянуть, какъ долго скрученная пружина. Онъ просто обезумѣлъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Послѣдняя панихида, собравшая всѣхъ жителей зàмка въ православную церковь, была назначена въ восемь часовъ, но такъ какъ къ ней ожидались высшія лица, послѣ которыхъ неделикатно было входить въ церковь, то всѣ отправились туда гораздо ранѣе. Въ залѣ у покойника осталась одна кадетская смѣна: Г—тонъ, Б—новъ, З—скій и К—динъ. Ни въ одной изъ прилегавшихъ огромныхъ комнатъ не было ни души...

Въ половинѣ восьмого дверь на мгновеніе пріотворилась и въ ней на минуту показался плацъ-адъютантъ, съ которымъ въ эту же минуту случилось пустое происшествіе, усилившее жуткое настроеніе: офицеръ, подходя къ двери, или испугался своихъ собственныхъ шаговъ, или ему казалось, что его кто-то обгоняетъ: онъ сначала пріостановился, чтобы дать дорогу, а потомъ вдругъ воскликнулъ:

«— Кто это! кто!» и, торопливо просунувъ голову въ дверь, другою половинкою этой же двери придавилъ самого себя и снова вскрикнулъ, какъ будто его кто-то схватилъ сзади.

Разумѣется, вслѣдъ же за этимъ онъ оправился и, торопливо окинувъ безпокойнымъ взглядомъ траурный залъ, догадался по здѣшнему безлюдію, что всѣ ушли уже въ церковь: тогда онъ опять притворилъ двери и, сильно звеня саблею, бросился ускореннымъ шагомъ по коридорамъ, ведущимъ къ зàмковому храму.

Стоявшіе у гроба кадеты ясно замѣчали, что и большіе чего-то пугались, а страхъ на всѣхъ дѣйствуетъ заразительно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Дежурные кадеты проводили слухомъ шаги удалявшагося офицера и замѣчали, какъ за каждымъ шагомъ ихъ

положеніе здѣсь становилось сиротливѣе,—точно ихъ привели сюда и замуровали съ мертвецомъ за какое-то оскорбленіе, котораго мертвый не позабылъ и не простилъ, а, напротивъ, встанетъ и непремѣнно отмститъ за него. И отмститъ страшно, по-мертвецки... Къ этому нуженъ только свой часъ,—удобный часъ полночи.

...«Когда поетъ пѣтухъ,
И нежить мечется въ потемкахъ...»

Но они же не достоятъ здѣсь до полуночи,—ихъ смѣнятъ, да и притомъ имъ вѣдь страшна не «нежить», а сѣрый человѣкъ, котораго пора—въ сумеркахъ.

Теперь и были самыя густыя сумерки: мертвецъ въ гробу и вокругъ самое жуткое безмолвіе... На дворѣ съ свирѣпымъ неистовствомъ вылъ вѣтеръ, обдавая огромныя окна цѣлыми потоками мутнаго осенняго ливня, и гремѣлъ листами кровельныхъ загибовъ: печныя трубы гудѣли съ перерывами, — точно онѣ вздыхали или, какъ будто, въ нихъ что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнѣе напирало. Все это не располагало ни къ трезвости чувствъ, ни къ спокойствію разсудка. Тяжесть всего этого впечатлѣнія еще болѣе усиливалась для ребятъ, которые должны были стоять, храня мертвое молчаніе: все какъ-то путается; кровь, приливая къ головѣ, ударялась имъ въ виски и слышалось что-то въ родѣ однообразной мельничной стукотни. Кто переживалъ подобныя ощущенія, тотъ знаетъ эту странную и совершенно особенную стукотню крови, — точно мельница мелетъ, но мелетъ не зерно, а перемалываетъ самоё себя. Это скоро приводитъ человѣка въ тягостное и раздражающее состояніе, похожее на то, которое непривычные люди ощущаютъ, опускаясь въ темную шахту къ рудокопамъ, гдѣ обычный для насъ дневной свѣтъ вдругъ замѣняется дымящейся плошкой... Выдерживать молчаніе становится невозможно,—хочется слышать хоть свой собственный голосъ, хочется куда-то сунуться,—что-то сдѣлать самое безразсудное.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Одинъ изъ четырехъ, стоявшихъ у гроба генерала, кадетовъ, именно К—динъ, переживая всѣ эти ощущенія, забылъ дисциплину и, стоя подъ ружьемъ, прошепталъ:

— Духи лѣзутъ къ намъ за папкинымъ носомъ.

Ламновскаго въ шутку называли иногда «папкою», но шутка на этотъ разъ не смѣшила товарищей, а, напротивъ, увеличила жуть, и двое изъ дежурныхъ, замѣтивъ это, отвѣчали К—дину:

— Молчи... и безъ того страшно,—и всѣ тревожно воззрились въ укутанное кисеею лицо покойника.

— Я оттого и говорю, что вамъ страшно,—отвѣчалъ К—динъ:—а мнѣ, напротивъ, не страшно, потому что мнѣ онъ теперь уже ничего не сдѣлаетъ. Да: надо быть выше предразсудковъ и пустяковъ не бояться, а всякій мертвецъ—это уже настоящій пустякъ, и я это вамъ сейчасъ докажу.

— Пожалуйста, ничего не доказывай.

— Нѣтъ, докажу. Я вамъ докажу, что папка теперь ничего не можетъ мнѣ сдѣлать даже въ томъ случаѣ, если я его сейчасъ, сію минуту, возьму за носъ.

И съ этимъ, неожиданно для всѣхъ остальныхъ, К—динъ въ ту же минуту, перехвативъ ружье на локоть, быстро взбѣжалъ по ступенямъ катафалка и, взявъ мертвеца за носъ, громко и весело вскрикнулъ:

— Ага, папка, ты умеръ, а я живъ и трясу тебя за носъ, и ты мнѣ ничего не сдѣлаешь!

Товарищи оторопѣли отъ этой шалости и не успѣли проронить слова, какъ вдругъ всѣмъ имъ въ разъ ясно и внятно послышался глубокій болѣзненный вздохъ,—вздохъ очень похожій на то, какъ бы кто сѣлъ на надутую воздухомъ резиновую подушку съ неплотно завернутымъ клапаномъ... И этотъ вздохъ, — всѣмъ показалось, — повидимому, шелъ прямо изъ гроба...

К—динъ быстро отхватилъ руку и, споткнувшись, съ громомъ полетѣлъ съ своимъ ружьемъ со всѣхъ ступеней катафалка, трое же остальныхъ, не отдавая себѣ отчета, что они дѣлаютъ, въ страхѣ взяли свои ружья на-перевѣсъ, чтобы защищаться отъ поднимавшагося мертвеца.

Но этого было мало; покойникъ не только вздохнулъ, а, дѣйствительно, гнался за оскорбившимъ его шалуномъ или придерживалъ его за руку: за К—динымъ ползла цѣлая волна гробовой кисеи, отъ которой онъ не могъ отбиться,—и, страшно вскрикнувъ, онъ упалъ на полъ... Эта ползущая волна кисеи, въ самомъ дѣлѣ, представлялась явленіемъ совершенно необъяснимымъ и, разумѣется, страшнымъ, тѣмъ болѣе, что закрытый ею мертвецъ те-

перь совсѣмъ открывался съ его сложенными руками на впалой груди.

Шалунъ лежалъ, уронивъ свое ружье, и, закрывъ отъ ужаса лицо руками, издавалъ ужасные стоны. Очевидно, онъ былъ въ памяти и ждалъ, что покойникъ сейчасъ за него примется по-свойски.

Между тѣмъ вздохъ повторился и, вдобавокъ къ нему, послышался тихій шелестъ. Это былъ такой звукъ, который могъ произойти, какъ бы, отъ движенія одного суконнаго рукава по другому. Очевидно, покойникъ раздвигалъ руки,—и вдругъ тихій шумъ; затѣмъ потокъ иной температуры пробѣжалъ струею по свѣчамъ и въ то же самое мгновеніе въ шевелившихся портьерахъ, которыми были закрыты двери внутреннихъ покоевъ, показалось *привидѣніе*. Сѣрый человѣкъ! Да, испуганнымъ глазамъ дѣтей предстало вполнѣ ясно сформированное привидѣніе въ видѣ человѣка... Явилась ли это сама душа покойника въ новой оболочкѣ, полученной ею въ другомъ мірѣ, изъ котораго она вернулась на мгновеніе, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть-можетъ, это былъ еще болѣе страшный гость,—самъ *духъ за́мка*, вышедшій сквозь полъ сосѣдней комнаты изъ подземелья!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Привидѣніе не было мечтою воображенія,—оно не исчезало и напоминало своимъ видомъ описаніе, сдѣланное поэтомъ Гейне для видѣнной имъ «таинственной женщины»: какъ то, такъ и это представляло «трупъ, въ которомъ заключена душа». Передъ испуганными дѣтьми была въ крайней степени изможденная фигура, вся въ бѣломъ, но въ тѣни она казалась сѣрою. У нея было страшно худое, до синевы блѣдное и совсѣмъ угасшее лицо; на головѣ всклоченные въ безпорядкѣ густые и длинные волосы. Отъ сильной просѣди они тоже казались сѣрыми и, разбѣгавшись въ безпорядкѣ, закрывали грудь и плечи привидѣнія!.. Глаза видѣлись яркіе, воспаленные и блестѣвшіе болѣзненнымъ огнемъ... Сверканье ихъ изъ темныхъ глубоко впалыхъ орбитъ было подобно сверканью горящихъ углей. У видѣнія были тонкія худыя руки, похожія на руки скелета, и обѣими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая матерію въ слабыхъ пальцахъ, эти руки и производили тотъ сухой суконный шелестъ, который слышали кадеты.

Уста привидѣнія были совершенно черны и открыты, и изъ нихъ-то послѣ короткихъ промежутковъ со свистомъ и хрипѣніемъ вырывался тотъ напряженный полустонъ, полувздохъ, который впервые послышался, когда К—динъ взялъ покойника за носъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Увидавъ это грозное привидѣніе, три оставшіеся на ногахъ стража окаменѣли и замерли въ своихъ оборонительныхъ позиціяхъ крѣпче К—дина, который лежалъ пластомъ съ прицѣпленнымъ къ нему гробовымъ покровомъ.

Привидѣніе не обращало никакого вниманія на всю эту группу: его глаза были устремлены на одинъ гробъ, въ которомъ теперь лежалъ совсѣмъ раскрытый покойникъ. Оно тихо покачивалось и, повидимому, хотѣло двигаться. Наконецъ, это ему удалось. Держась руками за стѣну, привидѣніе медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движеніе это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждомъ шагѣ и съ мученіемъ ловя раскрытыми устами воздухъ, оно исторгало изъ своей пустой груди тѣ ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи изъ гроба. И вотъ еще шагъ, и еще шагъ и, наконецъ, оно близко, оно подошло къ гробу, но прежде, чѣмъ подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К—дина за ту руку, у которой, отвѣчая лихорадочной дрожи его тѣла, трепеталъ край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцѣпило эту кисею отъ обшлажной пуговицы шалуна; потомъ посмотрѣло на него съ неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и... перекрестило его...

Затѣмъ, оно, едва держась на трясущихся ногахъ, поднялось по ступенямъ катафалка, ухватилось за край гроба и, обвивъ своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало...

Казалось, въ гробу цѣловались двѣ смерти, но скоро и это кончилось. Съ другого конца замка донесся слухъ жизни: панихида кончилась и изъ церкви въ квартиру мертвеца спѣшили передовые, которымъ надо было быть здѣсь, на случай посѣщенія высокихъ особъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

До слуха кадетъ долетѣли приближавшіеся по коридорамъ гулкіе шаги и вырвавшіеся вслѣдъ за ними изъ отворенной церковной двери послѣдніе отзвуки заупокойной пѣсни.

Оживительная перемѣна впечатлѣній заставила кадетъ ободриться, а долгъ привычной дисциплины поставилъ ихъ въ надлежащей позиціи на надлежащее мѣсто.

Тотъ адъютантъ, который былъ послѣднимъ лицомъ, заглянувшимъ сюда передъ панихидою, и теперь торопливо вбѣжалъ первый въ траурную залу и воскликнулъ:

— Боже мой, какъ она сюда пришла!

Трупъ въ бѣломъ, съ распущенными сѣдыми волосами, лежалъ, обнимая покойника, и, кажется, самъ не дышалъ уже. Дѣло пришло къ разъясненію.

Напугавшее кадетъ привидѣніе была вдова покойнаго генерала, которая сама была при смерти и, однако, имѣла несчастіе пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда всѣ ушли къ парадной панихидѣ въ церковь, она сползла съ своего смертнаго ложа и, опираясь руками объ стѣны, явилась къ гробу покойника. Сухой шелестъ, который кадеты приняли за шелестъ рукавовъ покойника, были ея прикосновенія къ стѣнамъ. Теперь она была въ глубокомъ обморокѣ, въ которомъ кадеты, по распоряженію адъютанта, и вынесли ее въ креслѣ за драпировку.

Это былъ послѣдній страхъ въ инженерномъ замкѣ, который, по словамъ разсказчика, оставилъ въ нихъ навсегда глубокое впечатлѣніе.

— Съ этого случая,—говорилъ онъ:—всѣмъ намъ стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку послѣдняго привидѣнія инженернаго замка, которое одно имѣло власть простить насъ по святому праву любви. Съ этихъ же поръ прекратились въ корпусѣ и страхи отъ привидѣній. То, которое мы видѣли, было послѣднее.

ОТБОРНОЕ ЗЕРНО.

КРАТКАЯ ТРИЛОГІЯ ВЪ ПРОСОНКѢ.

«Сѣящимъ человѣкомъ пріиде врагъ и всѣя плевелы посреди пшеницы».

Мѳ. XII, 25.

Желаніе видѣть дорогихъ друзей заставляло меня спѣшить къ нимъ, а недосугъ дозволялъ сдѣлать нужный для этого переѣздъ на самыхъ праздникахъ. Благодаря такимъ условіямъ, я встрѣчалъ новый годъ въ вагонѣ. Настроеніе внутри себя я чувствовалъ невеселое и тяжелое. Учители благочестія внушаютъ повѣрять свою совѣсть каждый вечеръ. Этого я не дѣлаю, но при окончаніи прожитаго года благочестивый совѣтъ наставниковъ приходитъ на память, и я начинаю себя провѣрять. Дѣлаю я это сразу за цѣлый годъ, но зато аккуратно всякій разъ остаюсь собою всесторонне недоволенъ. Въ нынѣшній разъ мое обычное неудовольствіе осложнилось еще и досадами на другихъ,— особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моихъ соотечественникахъ и за его недобрыя на нашъ счетъ предсказанія. Его желѣзная грубость позволила ему прямо и безъ застѣнчивости сказать, что Россіи, по его мнѣнію, только и остается «погибнуть». Какъ, «за что погибнуть!?» И пошло думаться и выходить—будто какъ и есть за что, — будто какъ и не за что? А кругомъ меня все спитъ. Пять, шесть пассажировъ, которыхъ случай послалъ мнѣ въ попутчики, всѣ другъ отъ друга сторонились и всѣ храпятъ въ какомъ-то озлобленіи.

положеніе здѣсь становилось сиротливѣе,—точно ихъ привели сюда и замуровали съ мертвецомъ за какое-то оскорбленіе, котораго мертвый не позабылъ и не простилъ, а, напротивъ, встанетъ и непремѣнно отмститъ за него. И отмститъ страшно, по-мертвецки... Къ этому нуженъ только свой часъ,—удобный часъ полночи.

...«Когда поетъ пѣтухъ,
И нежить мечется въ потемкахъ...»

Но они же не достоятъ здѣсь до полуночи,—ихъ смѣнятъ, да и притомъ имъ вѣдь страшна не «нежить», а сѣрый человѣкъ, котораго пора—въ сумеркахъ.

Теперь и были самыя густыя сумерки: мертвецъ въ гробу и вокругъ самое жуткое безмолвіе... На дворѣ съ свирѣпымъ неистовствомъ вылъ вѣтеръ, обдавая огромныя окна цѣлыми потоками мутнаго осенняго ливня, и гремѣлъ листами кровельныхъ загибовъ: печныя трубы гудѣли съ перерывами, — точно онѣ вздыхали или, какъ будто, въ нихъ что-то врывалось, задерживалось и снова еще сильнѣе напирало. Все это не располагало ни къ трезвости чувствъ, ни къ спокойствію разсудка. Тяжесть всего этого впечатлѣнія еще болѣе усиливалась для ребятъ, которые должны были стоять, храня мертвое молчаніе: все какъ-то путается; кровь, приливая къ головѣ, ударялась имъ въ виски и слышалось что-то въ родѣ однообразной мельничной стукотни. Кто переживалъ подобныя ощущенія, тотъ знаетъ эту странную и совершенно особенную стукотню крови, — точно мельница мелетъ, но мелетъ не зерно, а перемалываетъ самоё себя. Это скоро приводитъ человѣка въ тягостное и раздражающее состояніе, похожее на то, которое непривычные люди ощущаютъ, опускаясь въ темную шахту къ рудокопамъ, гдѣ обычный для насъ дневной свѣтъ вдругъ замѣняется дымящейся плошкой... Выдерживать молчаніе становится невозможно,—хочется слышать хоть свой собственный голосъ, хочется куда-то сунуться,—что-то сдѣлать самое безразсудное.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Одинъ изъ четырехъ, стоявшихъ у гроба генерала, кадетовъ, именно К—динъ, переживая всѣ эти ощущенія, забылъ дисциплину и, стоя подъ ружьемъ, прошепталъ:

— Духи лѣзутъ къ намъ за папкинымъ носомъ.

Ламновскаго въ шутку называли иногда «папкою», но шутка на этотъ разъ не смѣшила товарищей, а, напротивъ, увеличила жуть, и двое изъ дежурныхъ, замѣтивъ это, отвѣчали К—дину:

— Молчи... и безъ того страшно,—и всѣ тревожно воззрились въ укутанное кисеею лицо покойника.

— Я оттого и говорю, что вамъ страшно,—отвѣчалъ К—динъ:—а мнѣ, напротивъ, не страшно, потому что мнѣ онъ теперь уже ничего не сдѣлаетъ. Да: надо быть выше предразсудковъ и пустяковъ не бояться, а всякій мертвецъ—это уже настоящій пустякъ, и я это вамъ сейчасъ докажу.

— Пожалуйста, ничего не доказывай.

— Нѣтъ, докажу. Я вамъ докажу, что папка теперь ничего не можетъ мнѣ сдѣлать даже въ томъ случаѣ, если я его сейчасъ, сію минуту, возьму за носъ.

И съ этимъ, неожиданно для всѣхъ остальныхъ, К—динъ въ ту же минуту, перехвативъ ружье на локоть, быстро взбѣжалъ по ступенямъ катафалка и, взявъ мертвеца за носъ, громко и весело вскрикнулъ:

— Ага, папка, ты умеръ, а я живъ и трясу тебя за носъ, и ты мнѣ ничего не сдѣлаешь!

Товарищи оторопѣли отъ этой шалости и не успѣли проронить слова, какъ вдругъ всѣмъ имъ въ разъ ясно и внятно послышался глубокій болѣзненный вздохъ,—вздохъ очень похожій на то, какъ бы кто сѣлъ на надутую воздухомъ резиновую подушку съ неплотно завернутымъ клапаномъ... И этотъ вздохъ,—всѣмъ показалось,—повидимому, шелъ прямо изъ гроба...

К—динъ быстро отхватилъ руку и, споткнувшись, съ громомъ полетѣлъ съ своимъ ружьемъ со всѣхъ ступеней катафалка, трое же остальныхъ, не отдавая себѣ отчета, что они дѣлаютъ, въ страхѣ взяли свои ружья на-перевѣсъ, чтобы защищаться отъ поднимавшагося мертвеца.

Но этого было мало: покойникъ не только вздохнулъ, а, дѣйствительно, гнался за оскорбившимъ его шалуномъ или придерживалъ его за руку: за К—динымъ ползла цѣлая волна гробовой кисеи, отъ которой онъ не могъ отбиться,—и, страшно вскрикнувъ, онъ упалъ на полъ... Эта ползущая волна кисеи, въ самомъ дѣлѣ, представлялась явленіемъ совершенно необъяснимымъ и, разумѣется, страшнымъ, тѣмъ болѣе, что закрытый ею мертвецъ те-

перь совсѣмъ открывался съ его сложенными руками на впалой груди.

Шалунъ лежалъ, уронивъ свое ружье, и, закрывъ отъ ужаса лицо руками, издавалъ ужасные стоны. Очевидно, онъ былъ въ памяти и ждалъ, что покойникъ сейчасъ за него примется по-свойски.

Между тѣмъ вздохъ повторился и, вдобавокъ къ нему, послышался тихій шелестъ. Это былъ такой звукъ, который могъ произойти, какъ бы, отъ движенія одного суконнаго рукава по другому. Очевидно, покойникъ раздвигалъ руки,—и вдругъ тихій шумъ; затѣмъ потокъ иной температуры пробѣжалъ струею по свѣчамъ и въ то же самое мгновеніе въ шевелившихся портьерахъ, которыми были закрыты двери внутреннихъ покоевъ, показалось *привидѣніе*. Сѣрый человѣкъ! Да, испуганнымъ глазамъ дѣтей предстало вполнѣ ясно сформированное привидѣніе въ видѣ человѣка... Явилась ли это сама душа покойника въ новой оболочкѣ, полученной ею въ другомъ мірѣ, изъ котораго она вернулась на мгновеніе, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть-можетъ, это былъ еще болѣе страшный гость,—самъ *духъ за́мка*, вышедшій сквозь полъ сосѣдней комнаты изъ подземелья!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Привидѣніе не было мечтою воображенія,—оно не исчезало и напоминало своимъ видомъ описаніе, сдѣланное поэтомъ Гейне для видѣнной имъ «таинственной женщины»: какъ то, такъ и это представляло «трупъ, въ которомъ заключена душа». Передъ испуганными дѣтьми была въ крайней степени изможденная фигура, вся въ бѣломъ, но въ тѣни она казалась сѣрою. У нея было страшно худое, до синевы блѣдное и совсѣмъ угасшее лицо; на головѣ всклоченные въ безпорядкѣ густые и длинные волосы. Отъ сильной просѣди они тоже казались сѣрыми и, разбѣгавшись въ безпорядкѣ, закрывали грудь и плечи привидѣнія!.. Глаза видѣлись яркіе, воспаленные и блестѣвшіе болѣзненнымъ огнемъ... Сверканье ихъ изъ темныхъ глубоко впалыхъ орбитъ было подобно сверканью горящихъ углей. У видѣнія были тонкія худыя руки, похожія на руки скелета, и обѣими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая матерію въ слабыхъ пальцахъ, эти руки и производили тотъ сухой суконный шелестъ, который слышали кадеты.

Уста привидѣнія были совершенно черны и открыты, и изъ нихъ-то послѣ короткихъ промежутковъ со свистомъ и хрипѣніемъ вырывался тотъ напряженный полустонъ, полувздохъ, который впервые послышался, когда К—динъ взялъ покойника за носъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Увидавъ это грозное привидѣніе, три оставшіеся на ногахъ стража окаменѣли и замерли въ своихъ оборонительныхъ позиціяхъ крѣпче К—дина, который лежалъ пластомъ съ прицѣпленнымъ къ нему гробовымъ покровомъ.

Привидѣніе не обращало никакого вниманія на всю эту группу: его глаза были устремлены на одинъ гробъ, въ которомъ теперь лежалъ совсѣмъ раскрытый покойникъ. Оно тихо покачивалось и, повидимому, хотѣло двигаться. Наконецъ, это ему удалось. Держась руками за стѣну, привидѣніе медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движеніе это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждомъ шагѣ и съ мученіемъ ловя раскрытыми устами воздухъ, оно исторгало изъ своей пустой груди тѣ ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи изъ гроба. И вотъ еще шагъ, и еще шагъ и, наконецъ, оно близко, оно подошло къ гробу, но прежде, чѣмъ подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К—дина за ту руку, у которой, отвѣчая лихорадочной дрожи его тѣла, трепеталъ край волновавшейся гробовой кисеи, и своими тонкими, сухими пальцами отцѣпило эту кисею отъ обшлажной пуговицы шалуна; потомъ посмотрѣло на него съ неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и... перекрестило его...

Затѣмъ, оно, едва держась на трясущихся ногахъ, поднялось по ступенямъ катафалка, ухватилось за край гроба и, обвивъ своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало...

Казалось, въ гробу цѣловались двѣ смерти, но скоро и это кончилось. Съ другого конца замка донесся слухъ жизни: панихида кончилась и изъ церкви въ квартиру мертвеца спѣшили передовые, которымъ надо было быть здѣсь, на случай посѣщенія высокихъ особъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

До слуха кадетъ долетѣли приближавшіеся по коридорамъ гулкіе шаги и вырвавшіеся вслѣдъ за ними изъ отворенной церковной двери послѣдніе отзвуки заупокойной пѣсни.

Оживительная перемѣна впечатлѣній заставила кадетъ ободриться, а долгъ привычной дисциплины поставилъ ихъ въ надлежащей позиціи на надлежащее мѣсто.

Тотъ адъютантъ, который былъ послѣднимъ лицомъ, заглянувшимъ сюда передъ панихидою, и теперь торопливо вбѣжалъ первый въ траурную залу и воскликнулъ:

— Боже мой, какъ она сюда пришла!

Трупъ въ бѣломъ, съ распущенными сѣдыми волосами, лежалъ, обнимая покойника, и, кажется, самъ не дышалъ уже. Дѣло пришло къ разъясненію.

Напугавшее кадетъ привидѣніе была вдова покойнаго генерала, которая сама была при смерти и, однако, имѣла несчастіе пережить своего мужа. По крайней слабости, она уже давно не могла оставлять постель, но, когда всѣ ушли къ парадной панихидѣ въ церковь, она сползла съ своего смертнаго ложа и, опираясь руками объ стѣны, явилась къ гробу покойника. Сухой шелестъ, который кадеты приняли за шелестъ рукавовъ покойника, были ея прикосновенія къ стѣнамъ. Теперь она была въ глубокомъ обморокѣ, въ которомъ кадеты, по распоряженію адъютанта, и вынесли ее въ креслѣ за драпировку.

Это былъ послѣдній страхъ въ инженерномъ замкѣ, который, по словамъ разсказчика, оставилъ въ нихъ навсегда глубокое впечатлѣніе.

— Съ этого случая,—говорилъ онъ:—всѣмъ намъ стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку послѣдняго привидѣнія инженернаго замка, которое одно имѣло власть простить насъ по святому праву любви. Съ этихъ же поръ прекратились въ корпусѣ и страхи отъ привидѣній. То, которое мы видѣли, было послѣднее.

ОТБОРНОЕ ЗЕРНО.

КРАТКАЯ ТРИЛОГІЯ ВЪ ПРОСОНКѢ.

«Спящимъ человѣкомъ пріиде врагъ и всѣя плевелы посреди пшеницы».

Мѳ. XII, 25.

Желаніе видѣть дорогихъ друзей заставляло меня спѣшить къ нимъ, а недосугъ дозволялъ сдѣлать нужный для этого переѣздъ на самыхъ праздникахъ. Благодаря такимъ условіямъ, я встрѣчалъ новый годъ въ вагонѣ. Настроеніе внутри себя я чувствовалъ невеселое и тяжелое. Учители благочестія внушаютъ повѣрять свою совѣсть каждый вечеръ. Этого я не дѣлаю, но при окончаніи прожитаго года благочестивый совѣтъ наставниковъ приходитъ на память. и я начинаю себя провѣрять. Дѣлаю я это сразу за цѣлый годъ, но зато аккуратно всякій разъ остаюсь собою всесторонне недоволенъ. Въ нынѣшній разъ мое обычное неудовольствіе осложнилось еще и досадами на другихъ,— особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моихъ соотечественникахъ и за его недобрыя на нашъ счетъ предсказанія. Его желѣзная грубость позволила ему прямо и безъ застѣнчивости сказать, что Россіи, по его мнѣнію, только и остается «погибнуть». Какъ, «за что погибнуть!?» И пошло думаться и выходить—будто какъ и есть за что, — будто какъ и не за что? А кругомъ меня все спитъ. Пять, шесть пассажировъ, которыхъ случай послалъ мнѣ въ попутчики, всѣ другъ отъ друга сторонились и всѣ храпятъ въ какомъ-то озлобленіи.

И стало мнѣ стыдно отъ моей унылости и моего пустомыслія, и зачѣмъ я не сплю, когда всѣмъ спится? И какое мнѣ дѣло до того, что̀ сказалъ о насъ Бисмаркъ, и для чего я обязанъ вѣрить его предсказаніямъ? Лучше ничего этого «внятіемъ не тѣшить», а приспособиться, да заснуть яко же и прочіе человѣцы и пойдетъ дѣло веселѣе и занимательнѣе.

Такъ я и сдѣлалъ: отвернулся отъ всѣхъ, ранѣе оборотившихся ко мнѣ спинами, и началъ усиленно звать сонъ; но мнѣ плохо спалось съ безпрестанными перерывами, пока судьба не послала мнѣ неожиданнаго развлеченія, которое разогнало на время мою дремоту и въ то же время ободрило меня противъ невыгодныхъ заключеній о нашей дисгармоніи.

Съ платформы у одного маленькаго городка вошли два человѣка—одинъ легкій на ногу, должно быть, молодой, а другой—грузнѣе и постарше. Я, впрочемъ, не могъ ихъ разсмотрѣть, потому что фонари въ вагонѣ были затянуты темно-синей тафтою и не пропускали столько свѣта, чтобы можно было хорошо разсмотрѣть незнакомыя лица. Однако я сразу же расположенъ былъ думать, что новые пассажиры принадлежатъ не только къ достаточному, но и къ образованному классу. Они, входя, не шумѣли, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не обезпокоить своимъ приходомъ, а расположились тихо и снисходительно тамъ, гдѣ нашлось для нихъ свободное сидѣнье. По случаю это пришлось очень близко отъ того мѣста, гдѣ я дремалъ, забившись въ темный уголъ дивана. Волей-неволей я долженъ былъ слышать всякое ихъ слово, если бы оно было сказано даже полушопотомъ. Это такъ и вышло, и я на то нимало не жалуюсь, потому что разговоръ, который повели тихо вполголоса мои новые сосѣди, показался мнѣ настолько интереснымъ, что я его тогда же, по пріѣздѣ домой, записалъ, а теперь рѣшаюсь даже представить вниманію читателей.

По первымъ же словамъ, съ которыхъ здѣсь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя въ ожиданіи поѣзда на станціи, бесѣдовали на одну какую-то любопытную тему, а здѣсь они только продолжали иллюстраціи къ положеніямъ, до которыхъ раньше договорились.

Говорилъ изъ двухъ пассажировъ одинъ, у котораго былъ

старый, подержаный баритонъ, — голосъ приличный, такъ сказать, большому акціонеру или не меньше, какъ тайному совѣтнику, явно разрабатывающему какія-нибудь естественныя богатства страны. Другой только слушалъ и лишь изрѣдка вставлялъ какое-нибудь слово, или спрашивалъ какихъ-нибудь поясненій. Этотъ говорилъ немного звонкимъ фальцетомъ, какой наичаще случается у прогрессирующихъ чиновниковъ особыхъ порученій, чувствующихъ тяготѣніе къ литературѣ.

Начиналъ баритонъ, и рѣчь его была слѣдующая:

— Я вамъ сейчасъ же представлю всю эту нашу соціабельность въ лицахъ и притомъ, какъ она выразилась, заразъ въ одномъ самомъ недавнемъ и на мой взглядъ прелюбопытномъ дѣлѣ. Случай этотъ можетъ вамъ показать, что нашъ самобытный русскій геній, который вы отрицаете,—вовсе не вздоръ. Пускай тамъ говорятъ, что мы и *Разсѣя*, и что у насъ вездѣ разладъ, да разладъ, но на самомъ-то дѣлѣ, кто умѣетъ наблюдать явленія безпристрастно, тотъ и въ этомъ разладѣ долженъ усмотрѣть нѣчто чрезвычайно круговое, или, такъ сказать, по-вашему «соціабельное». Бисмаркъ гдѣ-то сказалъ разъ, что Россіи будто «остается только погибнуть», а газетные звонари это подхватили и звонятъ, и звонятъ... А вы не слушайте этого звона, а вникайте въ дѣла, какъ они на самомъ дѣлѣ дѣлаются, такъ вы и увидите, что мы умѣемъ спасаться отъ бѣдъ, какъ никто другой не умѣетъ, и что намъ, дѣйствительно, не страшны многія такія положенія, которыя и самому господину Бисмарку въ голову, можетъ-быть, не приходили, а другихъ людей, не имѣющихъ нашего крѣпкаго закала, просто раздавили бы.

— Прелюбопытно ставите вопросъ, и я охотно васъ слушаю,—замѣтилъ фальцетъ.

Баритонъ продолжалъ:

— Если бы я готовилъ къ печати тѣ три маленькія исторійки, которыя хочу разсказать вамъ о нашей соціабельности, то я, вѣроятно, назвалъ бы это какъ-нибудь трилогіею о томъ, какъ воръ у вора дубинку укралъ и какое оттого вышло для всѣхъ благополучіе жизни. Впрочемъ, какъ нынче уже, можно сказать, всякій даже шишъ литератора изъ себя корчитъ, то и я попробую излагать вамъ мою повѣсть литературно... Именно, раздѣлю вамъ мой раз-

сказъ по рубрикамъ, въ родѣ трилогіи, и въ первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнѣнію нѣкоторыхъ, будто бы болѣе другихъ «оторванъ отъ почвы». А вотъ вы сейчасъ же увидите, какіе это пустяки, и какъ у насъ по родной пословицѣ «всякая сосна своему бору шумитъ».

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Баринъ.

Поѣхалъ я лѣтомъ странствовать и пріѣхалъ на выставку. Обошелъ и осмотрѣлъ всѣ отдѣлы, попробовалъ-было чѣмъ-нибудь отечественнымъ полюбоваться, но, какъ и слѣдовало ожидать, — вижу, что это не выходитъ: полюбоваться нечѣмъ. Одно, что мнѣ, было, приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно — это чья-то пшеница въ одной витринѣ.

Въ жизнь мою я никогда еще такого крупнаго, чистаго и полнаго зерна не видывалъ. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, какъ, бывало, въ дѣтствѣ видалъ у себя дома, когда матушка къ Пасхѣ такимъ миндалемъ кулич украшала.

Посмотрѣлъ я на подпись и еще больше удивился: подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано съ полей моей родной мѣстности, изъ имѣнія, принадлежащаго сосѣду моихъ родственниковъ, именитому барину, котораго называть вамъ не стану. Скажу только, что онъ извѣстный славянскій дѣятель, и въ Красномъ Крестѣ ходилъ, и прочее, и прочее.

Я зналъ этого господина еще въ гимназіи, но, признаться, не питалъ къ нему пріязни. Впрочемъ, это еще по дѣтскимъ воспоминаніямъ, — потому что онъ сначала въ классѣ все ножички кралъ и продавалъ, а потомъ началъ себѣ брови сурмить и еще чѣмъ-то худшимъ заниматься.

Думаю себѣ: пожалуй, и здѣсь тоже обманъ! Небось, гдѣ нибудь купилъ у нѣмецкихъ колонистовъ куль хорошей пшеницы и выставилъ будто съ своихъ полей.

Разсуждалъ я такимъ образомъ потому, что наши поля ржаныя, и если родятъ пшеничку, то очень не авантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближняго, пойду-ка, думаю, лучше въ буфетъ, выпью глотокъ нашего добраго русскаго вина и кусокъ кулебяки съѣмъ. За сытостью критика исчезаетъ.

Но только я занялъ въ ресторанѣ мѣсто, какъ замѣчаю, что совсѣмъ возлѣ меня сидитъ господинъ, съ виду мнѣ какъ будто когда-то извѣстный. Я на него взглянулъ и отвелъ глаза въ сторону, но чувствую, что и онъ въ меня всматривается, и вдругъ наклонился ко мнѣ и говоритъ:

— Извините меня, если я не ошибаюсь—вы такой-то?

Я отвѣчаю:

— Вы не ошиблись, — я дѣйствительно тотъ, кѣмъ вы меня назвали.

— А я, говоритъ,—такой-то,—и отрекомендовался.

Надѣюсь, вы можете догадаться, что это былъ какъ разъ тотъ самый мой давній товарищъ, который въ гимназіи ножички кралъ и брови сурмилъ, а теперь уже разводитъ и выставляетъ самую удивительную пшеницу.

Что же, и прекрасно: гора съ горою не сходится, а человѣку съ человѣкомъ—очень возможно сойтись. Мы перекинулись нѣсколькими вопросами: кто, откуда и зачѣмъ? Я говорю, что такъ, просто, какъ Чичиковъ, ѣзжу для собственнаго удовольствія. А онъ шутливо подсказываетъ: «вѣрно, обозрѣваете».

— Не обозрѣваю, говорю, — а просто для своего удовольствія посмотрѣть хочу.

А онъ рекомендуетъ себя экспонентомъ и объявляетъ, что пшеницу выставилъ.

Я отвѣтилъ, что замѣтилъ уже его пшеничку и полюбопытствовалъ, изъ какихъ это сѣмянъ и на какой именно мѣстности росло? Все объясняетъ рѣчисто, — такъ рѣжетъ со всѣми подробностями. Я снова подивился, когда узналъ, что и сѣмена изъ нашего края и поля, зародившія такое удивительное зерно,—смежны съ полями моего брата.

Дивился, повторяю вамъ, потому, что край нашъ никогда прежде не родилъ очень хорошей пшеницы. А онъ отвѣчаетъ:

— Ну, да то было прежде, а теперь и у насъ совсѣмъ не то. Особенно у меня въ хозяйствѣ. Съ старымъ этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всемъ произошла перемѣна съ тѣхъ поръ, какъ вы отбыли изъ нашей губерніи достигать чиновъ и знатности да легкихъ капиталовъ смѣлыми оборотами. А мы, батюшка, какъ муромцы,—сидимъ на землѣ, сидѣли и кое-что высидѣли и дождались. Теперь опять наше дворянское время начи-

нается, а ваше, чиновничье, проходитъ. Люди вспомнили дѣдовскую поговорку, что «земляной рубль тонокъ да дологъ, а торговый широкъ да коротокъ». Мы, дворяне, обернулись къ сохѣ и по сторонамъ не зѣваемъ, — мы знаемъ, что не столица, а соха насъ спасетъ.

— Да, говорю,—все это прекрасно, но, однакоже, тамъ, въ вашей мѣстности живетъ мой братъ, и я его навѣщалъ, но никогда не слыхалъ, чтобы тамъ родилось такое удивительное зерно.

— Что же изъ этого? Навѣщаю, — это еще не значитъ хозяйничаю. У меня въ селѣ теперь молодой попъ, такъ я въ его отсутствіе, напримѣръ, жену его навѣщаю, а все-таки я не могу сказать, что я у него хозяйничаю, хозяинъ-то все-таки попъ. А братъ вашъ, извините,—рутинеръ.

— Да, говорю,—мой братъ не рискливъ.

— Куда ему! Нѣтъ! Такихъ, какъ я, покуда еще только нѣсколько человѣкъ, но мы уже двинули свои хозяйства, и вотъ вамъ результаты: это моя пшеница. Вы не читали: я уже получилъ здѣсь за мое зерно золотую медаль. Мнѣ это дорого, такъ же какъ упорядоченіе нашихъ славянскихъ княжествъ, которое повредилъ берлинскій трактатъ, — но въ чемъ мы не виноваты, въ томъ и не виноваты, а въ нашемъ хозяйскомъ дѣлѣ намъ никто не указъ. Пройдемтесь еще разъ къ моей витринкѣ.

Я былъ очень радъ, чтобы только кончить про «княжества», потому что я въ этомъ вопросѣ профанъ. Подошли къ витринѣ. Онъ взялъ въ руку серебряный совочекъ и началъ съ него у меня передъ глазами зерно перепускать.

— Изумляюсь, говорю,—вижу, но и глазамъ вѣрить не могу, какъ этакое дивное, крупное зерно могло вырасти на нашей земелькѣ!

— А вотъ читайте, — указываетъ на надпись на витринѣ.—Видите: мое имя. И притомъ, батюшка, здѣсь подлогъ невозможенъ: такъ у нихъ въ выставочномъ правленіи всѣ документы—всѣ эти свидѣтельства и разныя удостовѣренія. Всѣ доказательства есть, что это дѣйствительно зерно изъ моихъ урожаевъ. Да вотъ будете у своего двоюроднаго братца, такъ жалуйте, сдѣлайте милость, и ко мнѣ — вамъ и всѣ наши крестьяне подтвердятъ, что это зерно съ моихъ полей. Способъ, батюшка, способъ отдѣлки,—вотъ въ чемъ дѣло.

Думаю себѣ: не смѣю вѣрить, а впрочемъ, — Боже, благослови.

— Какая же, спрашиваю,—такому рѣдкостному зерну цѣна?

— Да цѣна хорошая: червивые французишки и англичане не отходятъ, все осаждаютъ и даютъ цѣну какъ разъ въ два раза больше самой высокой, но я имъ, подлецамъ, разумѣется, не продамъ.

— Отчего?

— Какъ это — иностранцамъ-то?.. Э, нѣтъ, батюшка, нѣтъ, — не продамъ! Нѣтъ, батюшка, и такъ у насъ уже много этого несчастнаго разлада слова съ дѣломъ. Что въ самомъ дѣлѣ баловаться? Зачѣмъ намъ иностранцы? Если мы люди истинно-русскіе, то мы и должны поддержать своихъ, истинно-русскихъ торговцевъ, а не чужихъ. Пусть у меня купитъ нашъ истинно-русскій купецъ,—я ему продамъ и охотно продамъ. Даже своему, православному человѣку уступлю противъ того, что предлагаютъ иностранцы,— но пусть истинно-русскій наживаетъ.

А въ это самое время какъ мы разговариваемъ, смотрю, къ нему дѣйствительно вдругъ подлетаютъ два иностранца.

...Мнѣ показалось, что они какъ будто евреи, но, впрочемъ, оба прекрасно говорили по-французски и начали жарко убѣждать его продать имъ пшеницу.

— Видите, какъ юлятъ, — сказалъ онъ мнѣ по-русски:—а тамъ вонъ, смотрите, рыжій чортъ смоленскій ленъ разсматриваетъ. Это только одинъ отводъ глазъ. Ему ленъ ни на что не нуженъ, это англичанинъ, который тоже проходу мнѣ не даетъ.

— Что же, думаю, — можетъ-быть, это все и правда. Тогда и иностранные агенты у насъ приболтывались, а между своихъ именитыхъ людей не мало встрѣчалось таковыхъ, что гнилой Западъ подъ пятой задавить собирались. Вотъ, вѣрно, и это одинъ изъ таковыхъ.

Прошло съ этой встрѣчи два или три дня, я было уже про этого господина и позабылъ, но мнѣ довелось опять его встрѣтить и ближе съ нимъ ознакомиться. Дѣло было въ одной изъ лучшихъ гостиницъ за обѣдомъ; сѣлъ я обѣдать и вижу, неподалеку сидитъ образцовый хозяинъ съ какимъ-то солиднымъ человѣкомъ, несомнѣнно русскаго и даже несомнѣнно торговаго тѣлосложенія. Оба ѣдятъ хорошо, а еще лучше того запиваютъ.

Замѣтилъ и онъ меня и сейчасъ же присылаетъ съ служившимъ имъ половымъ карточку и стаканъ шампанскаго на серебряномъ подносѣ.

Не принять было неловко, — я взялъ бокалъ и издали послалъ ему воздушный поклонъ.

На карточкѣ было начертано карандашомъ: «Поздравьте! продалъ зерно сему благополучному россіянину и тремтете пьемъ. Окончивъ обѣдъ, приближайтесь къ намъ».

Ну, думаю, вотъ этого я уже не сдѣлаю, а онъ точно проникъ мои мысли и самъ подходитъ.

— Кончилъ, говоритъ, — батюшка, разстался, продалъ, но своему, русскому. Вотъ этотъ купчина весь урожай закупилъ и сразу пять тысячъ задатку далъ за мою пшеничку. Дѣло не совсѣмъ пустое, — всего вышло тысячъ на сорокъ. Собственно говоря—и то продешевилъ, но по крайней мѣрѣ пусть пойдетъ своему брату, русскому. Французы и англичанинъ изъ себя выходятъ, злятся, а я очень радъ. Чортъ съ ними, пусть не распускаютъ вздоровъ, что у насъ своего патріотизма нѣтъ. Пойдемте, я васъ познакомлю съ моимъ покупателемъ. Оригинальный въ своемъ родѣ субъектъ: изъ настоящихъ простыхъ, истинно-русскихъ людей въ купцы вышелъ и теперь страшно богатъ и все на храмы жертвуетъ, но при случаѣ не прочь и покутить. Теперь онъ именно въ такомъ ударѣ: не хотите ли отсюда вмѣстѣ ударимся, «гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ»?

— Нѣтъ, говорю,—куда же мнѣ кутить?

— Отчего такъ? Здѣсь вѣдь чиномъ и званіемъ не стѣсняются,—мы люди простые и дурачимся всѣ кто какъ можетъ.

— То-то и горе, говорю,—что я уже совсѣмъ не могу пить.

— Ну, нечего съ вами дѣлать,—будь по-вашему — оставайтесь. А пока вотъ пробѣжите наше условіе, — полюбуйтесь, какъ все обстоятельно. Я, батюшка, вѣдь иначе не иду, какъ нотаріальнымъ порядкомъ. Да-а-съ, съ нашими русачками надо все крѣпко дѣлать, и иначе нельзя, какъ хорошенько его «обовязать», а потомъ ужъ и тремтете съ нимъ пить. Вотъ видите, у меня все обозначено: пять тысячъ задатка, зерно принять у меня въ имѣніи, — «весь урожай обмолоченный и хранимый въ амбарахъ села Черитаева, и деньги по расчету уплатить немедленно, до погрузки кулей на барки». Какъ находите, нѣтъ ли недосмотра? По-моему, кажется, довольно аккуратно?

— И я, говорю,—того же самаго мнѣнія.

— Да, отвѣчаетъ,—я его немножко знаю: онъ на славянъ жертвовалъ, а ему пальца въ ротъ не клади.

Баринъ былъ неподдѣльно веселъ и купецъ тоже.

Вечеромъ я ихъ видѣлъ въ театрѣ въ ложѣ съ слишкомъ красивою и щегольски одѣтою женщиною, которая навѣрно не могла быть ни одному изъ нихъ ни женою, ни родственницею и, повидимому, даже еще не совсѣмъ давно образовала съ ними знакомства.

Въ антрактахъ купецъ появлялся въ буфетѣ и требовалъ «тремтете».

Человѣкъ тотчасъ же уносилъ за ними персики и другіе фрукты и бутылку crême de thé.

При выходѣ изъ театра, старый товарищъ уловилъ меня и настоятельно звалъ ѣхать съ ними вмѣстѣ ужинать и притомъ сообщилъ, что ихъ дама «субъектъ самой высшей школы».

— Настоящей haut école!

— Ну, тѣмъ вамъ лучше, говорю,—а мнѣ въ мои лѣта, и проч., и проч.,—словомъ, отклонилъ отъ себя это соблазнительное предложеніе, которое для меня тѣмъ болѣе неудобно, что я намѣревался на другой день рано утромъ выѣхать изъ этого веселаго города и продолжать мое путешествіе. Землякъ меня освободилъ, но зато взялъ съ меня слово, что когда я буду въ деревнѣ у моихъ родныхъ, то непремѣнно пріѣду къ нему посмотрѣть его образцовое хозяйство и въ особенности его удивительную пшеницу.

Я далъ требуемое слово, хотя съ неудовольствіемъ. Не умѣю ужъ вамъ сказать: мѣшали ли мнѣ школьныя воспоминанія о ножичкѣ и о чемъ-то худшемъ изъ области haut école, или отталкивала меня отъ него настоящая ноздревщина, но только мнѣ все такъ и казалось, что онъ мнѣ дома у себя всучитъ либо борзую собаку, либо шарманку.

Мѣсяца черезъ два, послонявшись здѣсь и тамъ и немножко полѣчившись, я какъ разъ попалъ въ родныя палестины и послѣ малаго отдыха спрашиваю у моего двоюроднаго брата:

— Скажи, пожалуйста, гдѣ у васъ такой-то? и что это за человѣкъ? мнѣ надо у него побывать.

А кузенъ на меня посмотрѣлъ и говоритъ:

— Какъ, ты его знаешь?

Я говорю, что мы съ нимъ вмѣстѣ въ школѣ были, а потомъ на выставкѣ опять возобновили знакомство.

— Не поздравляю съ этимъ знакомствомъ.

— А что такое?

— Да вѣдь это отсвѣтнѣйшій лгунище и патентованный негодяй.

— Я, говорю,—признаться, такъ и думалъ.

Тутъ я и разсказалъ, какъ мы встрѣтились на выставкѣ, какъ вспомнили однокашничество и какія вещи онъ мнѣ разсказывалъ про свое хозяйство и про свою дѣятельность въ пользу славянскихъ братій.

Кузенъ мой расхохотался.

— Что же тутъ смѣшного?

— Все смѣшно, кромѣ кой-чего гадкаго. Впрочемъ, ты, надѣюсь, въ политическія откровенности съ нимъ не пускался.

— А что?

— Да у него есть одна престранная манера: онъ все наклоняетъ разговоръ по извѣстному склону, а потомъ вдругъ вспоминаетъ, что онъ «дворянинъ», и начинаетъ протестовать и угрожать. Его уже за это, случалось, били, а еще чаще шампанскимъ отпаивали, пока пропьетъ память.

— Нѣтъ, говорю, — я въ политику не пускался, да хоть бы и пустился, ничего бы изъ того не вышло, потому что вся моя политика заключается въ отвращеніи отъ политики.

— А это, говоритъ,—ничего не значитъ.

— Однако же?

— Онъ совретъ, наклевещетъ, что ты какъ-нибудь молчаливо пренебрегаешь...

— Ну, тогда, значитъ, отъ него все равно спасенья нѣтъ.

— Да и нѣтъ, если только не имѣть отваги выгнать его отъ себя вонъ.

Мнѣ это показалось уже слишкомъ.

— Удивляюсь, говорю, — какъ же это всѣ другіе на его счетъ такъ ошибаются.

— А кто, напримѣръ?

— Да вѣдь вотъ, говорю, — онъ отъ васъ же пріѣзжалъ во время славянской войны, и у насъ про него въ газетахъ писали, и солидные люди его принимали.

Братъ разсмѣялся и говоритъ, что этого господина никто не посылалъ и въ пользу славянъ дѣйствовать не уполномочивалъ, а что онъ самъ усматривалъ въ этомъ хорошее средство къ поправленію своихъ плохихъ денежныхъ обстоятельствъ и еще болѣе дрянной репутаціи.

— А что его у васъ въ столицѣ возили и принимали, такъ этому виновато ваше модничанье: у васъ вѣдь все такъ: какъ затѣете возню въ какомъ-нибудь особливомъ родѣ, то и возитесь съ кѣмъ попало, безъ всякаго разбора.

— Ну, вотъ видишь ли, говорю, — мы же и виноваты. На васъ взаправду не угодишь: то вамъ Петербургъ казался холоденъ и чопоренъ, а теперь вы готовы увѣрять, что онъ какой-то простофиля, котораго каждый вашъ нахалъ за усы проводить можетъ.

— И вообрази себѣ, что вѣдь, дѣйствительно, можетъ.

— Пожалуйста!

— Истинно тебя увѣряю. Только всей и мудрости, что надо прислушаться, что̀ у васъ въ данную минуту въ головѣ бурчитъ и какая глупость на дежурство назначается. Открываете ли вы славянскихъ братій, или плѣняете умомъ заатлантическихъ друзей, или собираетесь зазвонить вмѣсто колокола въ мужичьи лапти... Уловить это всегда не трудно, чѣмъ вы бредите, а потомъ сейчасъ только пусти къ вашей примѣ свою втору и дѣло сдѣлано. У васъ такъ и заорутъ: «вотъ она наша провинція! — вотъ она наша свѣжая, непочатая сила! Она откликнулась не такъ, какъ мы, такіе, сякіе, ледащіе, гадкіе, скверные, безнатурные, заморенные на ингерманландскихъ болотахъ». Вы себя черните да бьете при содѣйствіи какого-нибудь литературнаго лгунищи, а наши провинціалы читаютъ да думаютъ: «эва мы, братцы, въ гору пошли!» И вотъ, которые пошельмоватѣе, поначитавшись, какъ вы тамъ сами собою тяготитесь и ждете отъ насъ, провинціаловъ, обновленія—снаряжаются и ѣдутъ въ Петербургъ, чтобы удѣлить вамъ нѣчто отъ нашей дѣловитости, отъ нашихъ «здравыхъ и крѣпкихъ національныхъ идей». Хорошіе и смирные люди, разумѣется, глядятъ на это да удивляются, а ловкачи межъ тѣмъ дѣло дѣлаютъ. Везутъ вамъ эти лгунищи какъ разъ то, что̀ вамъ хочется получить изъ провинціи: они и славянамъ братья, и заатлантичникамъ — друзья, и впереди они вызывались бѣжать, и назадъ рады спятиться до Обровъ и

Дулѣбовъ. Словомъ, чего хотите, — тѣмъ они вамъ и скинутся. А вы думаете: «это *земля!* это провинція». Но мы, домосѣды, знаемъ, что это и не земля, и не провинція, а просто наши лгунищи. И тотъ, къ которому ты теперь собираешься, именно и есть изъ этого сорта. У васъ его величали, а по-нашему онъ имени человѣческаго не стоитъ и у насъ съ нимъ, Богъ вѣсть, съ коей поры никто никакого дѣла имѣть не хотѣлъ.

— Но, однако, по крайней мѣрѣ,—онъ хорошій хозяинъ.

— Нимало.

— Но онъ при деньгахъ,—это теперь рѣдкость.

— Да, съ того времени, какъ ѣздилъ въ Петербургъ учить васъ національнымъ идеямъ, у него въ мошнѣ коечто стало позвякивать, но намъ извѣстно, что онъ тамъ купилъ и кого продалъ.

— Ну, въ этомъ случаѣ, говорю, — я свѣдущѣе васъ всѣхъ: я самъ видѣлъ, какъ онъ продалъ свою превосходную пшеницу.

— Нѣтъ у него такой пшеницы.

— Какъ это—«нѣтъ»?

— Нѣтъ, да и только. Такъ нѣтъ, какъ и не было.

— Ну, ужъ это извини,—я ее самъ видѣлъ.

— Въ витринѣ?

— Да, въ витринѣ.

— Ну, это неудивительно — это ему наши бабы руками отбирали.

— Полно, говорю,—пожалуйста: развѣ это можно руками отбирать?

— Какъ! руками-то? А разумѣется можно. Такъ, — сидятъ, знаешь, бабы и дѣвки весеннимъ денькомъ въ тѣни подъ амбарчикомъ, поютъ какъ «Антонъ козу ведетъ», а сами на ладоняхъ зернышко къ зернышку отбираютъ. Это очень можно.

— Какіе, говорю,—пустяки!

— Совсѣмъ не пустяки. За пустяки такой скаредъ, какъ мой сосѣдъ, денегъ платить не станетъ, а онъ сорока́ бабамъ цѣлый мѣсяцъ по пятиалтынному въ день платилъ. Время только хорошо выбралъ: — у насъ вѣдь весной бабы ни по чемъ.

— А какъ же, спрашиваю, — у него на выставкѣ было свидѣтельство, что это зерно съ его полей!

— Что же, это и правда. Выбранныя зернышки тоже вѣдь на его полѣ выросли.

— Да; но, однако, это, значитъ, — голое и очень наглое мошенничество.

— И не забудь—не первое и не послѣднее.

— Да, но какъ же... этотъ купецъ, котораго онъ «обовязалъ» такими безвыходными условіями... Онъ началъ, разумѣется, противъ этого барина судебное дѣло, или онъ разорился?

— Да, пожалуй, — онъ началъ дѣло, но только совсѣмъ въ особой инстанціи.

— Гдѣ же это?

— У мужика. Выше этого вѣдь теперь, по вашему вразумленію, ничего быть не можетъ.

— Да полно, говорю, — тебѣ эти крючки загинать, да шутовствовать.—Разскажи лучше просто, какъ слѣдуетъ,— что такое происходитъ въ вашей самодѣятельности?

— Изволь,—отвѣчаетъ пріятель:—я тебѣ разскажу.—Да, батюшка, и разсказалъ такое, что въ самомъ дѣлѣ можетъ и даже должно превышать всякія узкія, чужеземныя понятія объ оживленіи дѣлъ въ краѣ... Не знаю, какъ вамъ это покажется, но по-моему — оригинально и духъ истиннаго, самобытнаго человѣка не можетъ не радовать.

Тутъ фальцетъ перебилъ разсказчика и началъ его упрашивать довести начатую трилогію до конца, то-есть разсказать, какъ купецъ сдѣлался съ пройдохою-бариномъ, и какъ всѣхъ ихъ помирилъ и выручилъ мужикъ, къ которому теперь якобы идетъ какая-то апелляція во всѣхъ случаяхъ жизни.

Баритонъ согласился продолжать и замѣтилъ:

— Это довольно любопытно. Представьте вы себѣ, что какъ ни смѣлъ и находчивъ былъ сейчасъ мною вамъ описанный дворянинъ, съ которымъ никому не дай Богъ въ дѣлахъ встрѣтиться, но купецъ, котораго онъ такъ безпощадно надулъ и запуталъ, оказался еще его находчивѣе и смѣлѣе. Какой-нибудь вертопрахъ-чужеземецъ увидалъ бы тутъ всего два выхода: или обратиться къ суду, или сдѣлать изъ этого,—чортъ возьми,—вопросъ крови. Но нашъ простой, ясный русскій умъ нашелъ еще одно измѣреніе и такой выходъ, при которомъ и до суда не доходили, и не ссорились, и даже ничего не потеряли, а напротивъ,—

всѣ свою невинность соблюли, и всѣ себѣ капиталы пріобрѣли.

— Прелюбопытно!

— Да какъ же-съ! Изъ такой возмутительной, предательской и вообще гадкой исторіи, которая какого хотите, любого западника въ конецъ бы разорила, — нашъ православный пузатый купчина вышелъ молодцомъ и даже нажилъ этимъ большія деньги и, что всего важнѣе, — онъ, сударь, общественное дѣло сдѣлалъ: онъ многихъ истинно несчастныхъ людей поддержалъ, поправилъ и, такъ сказать, устроилъ для многихъ благоденствіе.

— Прелюбопытно,—снова вставилъ фальцетъ.

— Ну, ужъ, однимъ словомъ, — слушайте: купецъ, который сейчасъ передъ вами является, увѣряю васъ, барина лучше.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Купецъ.

Купецъ, которому было продано отборное зерно, разумѣется, былъ обманутъ безпощадно. Всѣ эти французы жидовскаго типа и англичане, — равно какъ и дама haut école у помѣщика были подставныя лица, такъ сказать его агенты, которые дѣйствовали, какъ извѣстный Утѣшительный въ гоголевскихъ «игрокахъ». Иностранцамъ такое отборное зерно нельзя было продавать, потому что, во-первыхъ, они не нашли бы способа, какъ съ покупкою справиться, и завели бы судебный скандалъ, а во-вторыхъ, у нихъ у всѣхъ водятся консулы и посольства, которые не соблюдаютъ правилъ невмѣшательства нашихъ дипломатовъ и готовы вступать за своего во всякія мелочи. Съ иностранцами могла бы выйти прескверная исторія, и баринъ, стоя на почвѣ, понималъ, что русское изобрѣтеніе только одинъ русскій же національный геній и можетъ преодолѣть. Потому отборное зерно и было продано своему единовѣрцу.

Прислалъ этотъ купецъ къ барину приказчика принимать пшеницу. Приказчикъ вошелъ въ амбары, взглянулъ въ закромы, ворохнулъ лопатою и видитъ, разумѣется, что надъ его хозяиномъ совершено страшное надувательство. А между тѣмъ купецъ уже запродалъ зерно по образцамъ за границу. Первая мысль у растерявшагося приказчика

явилась такая, что лучше бы всего отказаться и получить назадъ задатокъ, но условіе такъ написано, что спасенья нѣтъ: и урожай, и годы, и амбары, — все обозначено и задатокъ ни въ какомъ случаѣ не возвращается. У насъ извѣстно: «что взято, то свято». Сунулся приказчикъ туда-сюда, къ законовѣдамъ, — тѣ говорятъ, — ничего не подѣлаешь: надо принимать зерно, какое есть, и остальныя деньги выплачивать. Споръ, разумѣется, завести можно, да неизвѣстно, чѣмъ онъ кончится, а десять тысячъ задатку гулять будутъ, да и съ заграничными покупателями шутить нельзя. Подавай имъ, что̀ запродано.

Приказчикъ посылаетъ хозяину телеграмму, чтобы тотъ скорѣе самъ пріѣхалъ. Купецъ пріѣхалъ, выслушалъ приказчика, посмотрѣлъ хлѣбъ и говоритъ своему молодцу:

— Ты, братецъ, дуракъ и очень глупо дѣло повелъ. Зерно хорошее и никакой тутъ ссоры и огласки не надо; коммерція любитъ тайность: товаръ надо принять, а деньги заплатить.

А съ бариномъ онъ повелъ объясненіе въ другомъ родѣ.

Приходитъ,—помолился на образъ и говоритъ:

— Здравствуй, баринъ!

А тотъ отвѣчаетъ:—и ты здравствуй!

— А ты, баринъ, плутъ,—говоритъ купецъ:—ты, вѣдь, меня надулъ какъ нельзя лучше.

— Что дѣлать, пріятель! а вы сами вѣдь тоже никому спуску не даете и нашего брата тоже объегориваете?— Дѣло обоюдное.

— Такъ-то оно такъ,—отвѣчаетъ купецъ:—дѣло это, дѣйствительно, обоюдно; но надо ему свою развязку сдѣлать.

Баринъ очень согласенъ, только говоритъ:

— Желаю знать: въ какихъ смыслахъ развязаться?

— А въ такихъ, молъ, смыслахъ, что если ты меня въ свое время надулъ, то ты же долженъ мнѣ теперь по-христіански помогать, а я тебѣ всѣ деньги отдамъ и еще, пожалуй, немножко накину.

Дворянинъ говоритъ, что онъ на этихъ условіяхъ всякое добро очень радъ сдѣлать, только говори, молъ, мнѣ прямо: что вашей чести, какая новая механика требуется?

Купецъ вкратцѣ отвѣчаетъ:

— Мнѣ немного отъ тебя нужно, только поступи ты со мною, какъ поступилъ благоразумный домоправитель, о которомъ въ Евангеліи повѣствуется.

Баринъ говоритъ:

— Я всегда послѣ Евангелія въ церковь хожу: не знаю, что̀ тамъ читается.

Купецъ ему довелъ на память: «Призвавъ коегожда отъ должниковъ господина своего глаголаше: колицѣмъ долженъ еси? Пріими писаніе твое и напиши другое. И похвали Господь домоправителя неправеднаго».

Дворянинъ выслушалъ и говоритъ:

— Понимаю. Это ты, вѣрно, хочешь еще у меня купить такой же рѣдкой пшеницы.

— Да,—отвѣчалъ купецъ;—теперь ужъ надо продолжать, потому что никакимъ другимъ манеромъ намъ себя соблюсти невозможно. А къ тому, нельзя все только о себѣ думать,—надо тоже дать и бѣдному народишку что-нибудь заработать.

Баринъ это о народушкѣ пустилъ мимо ушей, и спрашиваетъ:

— А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?

— Да я теперь много куплю... Мнѣ такъ надо, чтобы цѣлую барку однимъ этимъ добрымъ зерномъ нагрузить.

— Гмъ! Такъ, такъ! Ты вѣрно хочешь ее особенно бережно везти?

— Вотъ это и есть.

— Ага! понимаю. Я очень радъ, очень радъ, и могу служить.

— Документальное удостовѣреніе нужно, что на цѣлую барку зерна нагружаю.

— Само собою разумѣется. — Развѣ можно въ нашемъ краю безъ документа?

— А какая цѣна? сколько возьмешь за эту добавочную покупку?

— Возьму не дороже, какъ за мертвыя души.

Купецъ не понялъ, въ чемъ дѣло, и перекрестился.

— Какія такія мертвыя души? Что тебѣ про нихъ вздумалось! Имъ гнить, а намъ жить. Мы про живое говоримъ: сказывай сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

— Въ одно слово?

— Въ одно слово.

— По два рубля за куль.

— Вотъ те и разъ!

Это недорого.

— Нѣтъ, ты по-Божьему, — получи по полтинѣ за куль.

Дворянинъ сдѣлалъ удивленное лицо.

— Какъ это,—по полтинѣ за куль пшеницы-то?

А тотъ его обрезониваетъ:

— Ну, какая, говоритъ,—это пшеница!

— Да ужъ объ этомъ не будемъ спорить — такая она, или сякая, однако ты за нее съ кого-нибудь настоящія деньги слупишь.

— Это еще какъ Богъ дастъ.

— Да ужъ тебѣ-то Богъ непремѣнно дастъ. къ вамъ, къ купцамъ, я вѣдь и не знаю,—за что Богъ ужасно милостивъ. Даже, ей-Богу, завидно.

— А ты не завидуй,—зависть грѣхъ.

— Нѣтъ, да зачѣмъ это всѣ деньги должны къ вамъ плыть? Вамъ съ деньгами-то хорошо.

— Да, мы припадаемъ и молимся, — и ты молись: кто молится, тому Богъ даетъ хорошо.

— Конечно, такъ, но вамъ тоже и есть чѣмъ—вы много жертвуете на храмы.

— И это.

— Ну, вотъ то-то и есть. А ты мнѣ дай цѣну подороже, такъ тогда и я отъ себя пожертвую.

Купецъ разсмѣялся.

— Ты, говоритъ,—плутъ.

А тотъ отвѣчаетъ:

— Да и ты тутъ.

— Нѣтъ, взаправду, вотъ что: — такъ какъ я вижу, что ты знаешь писаніе и хочешь самъ къ вѣрѣ придержаться, то я тебѣ дамъ по гривеннику на куль больше, чѣмъ располагалъ. Получай по шесть гривенъ, и о томъ, что мы сдѣлали, никто знать не будетъ.

А баринъ отвѣчаетъ:

— Хорошо, но еще лучше ты мнѣ дай по рублю за куль и потомъ, если хочешь, всѣмъ объ этомъ разсказывай.

Купецъ посмотрѣлъ на него и оба вразъ разсмѣялись.

— Ну,—говоритъ купецъ: — скажу я тебѣ, баринъ, что плутѣе тебя даже въ самомъ нижнемъ званіи рѣдко подыскать.

А тотъ, не смутясь, отвѣчаетъ:

— Нельзя, братецъ, въ нашемъ вѣкѣ иначе: теперь у

насъ благородство есть, а нѣтъ крестьянъ, которые наше благородство оберегали, а, во-вторыхъ, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.

Купецъ не сталъ больше торговаться.

— Нечего, видно, съ тобою говорить — ты чищеный, — крестись передъ образомъ и по рукамъ.

Баринъ согласенъ молиться, но только деньги впередъ требуетъ и мѣстечко на столѣ ударяетъ, гдѣ ихъ передъ нимъ положить желательно.

Купецъ о то самое мѣсто деньги и выклалъ.

— Ладно, молъ, — вели, только скорѣе, чѣмъ попало новое кулье набивать,—я хочу, чтобы при мнѣ вся погрузка была готова и караванъ отплылъ.

Нагрузили барку кулями, въ которыхъ, чортъ знаетъ, какой дряни набили подъ видомъ драгоцѣнной пшеницы; застраховалъ все это купецъ въ самой дорогой цѣнѣ, отслужили молебенъ съ водосвятіемъ, покормили православный народушко пирогами съ легкимъ и съ сердцемъ, и отправили судно въ ходъ. Барки поплыли своимъ путемъ, а купецъ, время не тратя, съ бариномъ подвелъ окончательные счеты по-Божьему, взялъ бумаги и полетѣлъ своимъ путемъ въ Питеръ и прямо на Аглицкую набережную къ толстому англичанину, которому раньше запродажу совершилъ по тому дивному образцу, который на выставкѣ былъ.

— Зерно, говоритъ, — отправлено въ ходъ и вотъ документы и страховка: — прошу теперь мнѣ отдать, что слѣдуетъ, на такое-то количество, вторую часть полученія.

Англичанинъ посмотрѣлъ документы и сдалъ ихъ въ контору, а изъ несгораемаго шкафа вынулъ деньги и заплатилъ.

Купецъ завязалъ ихъ въ платокъ и ушелъ.

Тутъ фальцетъ перебилъ разсказчика словами:

— Вы какія-то страсти говорите.

— Я говорю вамъ то, что въ дѣйствительности было.

— Ну,—такъ значитъ, этотъ купецъ, взявши у англичанина деньги, бѣжалъ, что ли, съ ними за границу?

— Вовсе не бѣжалъ. Чего истинный русскій человѣкъ побѣжитъ за границу? Это не въ его правилахъ: да онъ и никакого другого языка, кромѣ русскаго, не знаетъ. Никуда онъ не бѣжалъ.

— Такъ какъ же онъ ни аглицкаго консула, ни посла

не боялся? Почему дворянинъ ихъ боялся, а купецъ не сталъ бояться?

— Вѣроятно потому, что купецъ опытнѣе былъ и лучше зналъ народныя средства.

— Ну, полноте, пожалуйста, какія могутъ быть народныя средства противъ англичанъ!.. Эти всесвѣтные торгаши сами кого угодно облупятъ.

— Да кто вамъ сказалъ, что онъ хотѣлъ англичанъ, обманывать? Онъ зналъ, что съ ними шутить не годится, и всему дальнѣйшему благополучно теченію дѣла усмотрѣлъ иной проспектъ, а на томъ проспектѣ предвидѣлъ уже для себя полезнаго дѣятеля, въ рукахъ котораго были всѣ средства все это дѣло огранить и въ рамку вставить. Тотъ и далъ всему такой оборотъ, что ни Ротшильдъ, ни Томсонъ Бонеръ и никакой другой коммерческій геній не выдумаетъ.

— И кто же былъ этотъ великій дѣлецъ:—адвокатъ или маклеръ?

— Нѣтъ, мужикъ.

— Какъ мужикъ?

— Да все дѣло обдѣлалъ, онъ — нашъ простой, нашъ находчивый и умный мужикъ! Да я и не понимаю:—отчего васъ это удивляетъ? Вѣдь читали же вы, небось, у Щедрина, какъ мужикъ трехъ генераловъ прокормилъ?

— Конечно, читалъ.

— Ну, такъ отчего же вамъ кажется страннымъ, что мужикъ умѣлъ плутню распутать.

— Будь по-вашему:—спрячу пока мои недоразумѣнія.

— А я вамъ кончу про мужика, и притомъ про такого, который не трехъ генераловъ, а цѣлую деревню одинъ прокормилъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мужикъ.

Мужикъ, къ помощи котораго обратился купецъ, былъ, какъ всякій русскій мужикъ: «съ вида сѣръ, но умъ у него не чортъ съѣлъ». Родился онъ при матушкѣ широкой рѣкѣ-кормилицѣ, а звали его, скажемъ такъ, — *Иваномъ Петровымъ*. Былъ этотъ рабъ Божій Иванъ въ свое время молодъ, а теперь достигалъ почтенной старости, но хлѣба даромъ, лежа на печи, не кушалъ, а служилъ лоцманомъ

Баринъ говоритъ:

— Я всегда послѣ Евангелія въ церковь хожу: не знаю, что̀ тамъ читается.

Купецъ ему довелъ на память: «Призвавъ коегожда отъ должниковъ господина своего глаголаше: колицѣмъ долженъ еси? Пріими писаніе твое и напиши другое. И похвали Господь домоправителя неправеднаго».

Дворянинъ выслушалъ и говоритъ:

— Понимаю. Это ты, вѣрно, хочешь еще у меня купить такой же рѣдкой пшеницы.

— Да,—отвѣчалъ купецъ:—теперь ужъ надо продолжать, потому что никакимъ другимъ манеромъ намъ себя соблюсти невозможно. А къ тому, нельзя все только о себѣ думать,—надо тоже дать и бѣдному народишку что-нибудь заработать.

Баринъ это о народушкѣ пустилъ мимо ушей, и спрашиваетъ:

— А какое количество зерна ты у меня еще купить желаешь?

— Да я теперь много куплю... Мнѣ такъ надо, чтобы цѣлую барку однимъ этимъ добрымъ зерномъ нагрузить.

— Гмъ! Такъ, такъ! Ты вѣрно хочешь ее особенно бережно везти?

— Вотъ это и есть.

— Ага! понимаю. Я очень радъ, очень радъ, и могу служить.

— Документальное удостовѣреніе нужно, что на цѣлую барку зерна нагружаю.

— Само собою разумѣется. — Развѣ можно въ нашемъ краю безъ документа?

— А какая цѣна? сколько возьмешь за эту добавочную покупку?

— Возьму не дороже, какъ за мертвыя души.

Купецъ не понялъ, въ чемъ дѣло, и перекрестился.

— Какія такія мертвыя души? Что тебѣ про нихъ вздумалось! Имъ гнить, а намъ жить. Мы про живое говоримъ: сказывай сколько возьмешь, чтобы несуществующее продать?

— Въ одно слово?

— Въ одно слово.

— По два рубля за куль.

— Вотъ те и разъ!

Это недорого.

— Нѣтъ, ты по-Божьему, — получи по полтинѣ за куль.

Дворянинъ сдѣлалъ удивленное лицо.

— Какъ это,—по полтинѣ за куль пшеницы-то?

А тотъ его обрезониваетъ:

— Ну, какая, говоритъ,—это пшеница!

— Да ужъ объ этомъ не будемъ спорить — такая она, или сякая, однако ты за нее съ кого-нибудь настоящія деньги слупишь.

— Это еще какъ Богъ дастъ.

— Да ужъ тебѣ-то Богъ непремѣнно дастъ. Къ вамъ, къ купцамъ, я вѣдь и не знаю,—за что Богъ ужасно милостивъ. Даже, ей-Богу, завидно.

— А ты не завидуй,—зависть грѣхъ.

— Нѣтъ, да зачѣмъ это всѣ деньги должны къ вамъ плыть? Вамъ съ деньгами-то хорошо.

— Да, мы припадаемъ и молимся, — и ты молись: кто молится, тому Богъ даетъ хорошо.

— Конечно, такъ, но вамъ тоже и есть чѣмъ—вы много жертвуете на храмы.

— И это.

— Ну, вотъ то-то и есть. А ты мнѣ дай цѣну подороже, такъ тогда и я отъ себя пожертвую.

Купецъ разсмѣялся.

— Ты, говоритъ,—плутъ.

А тотъ отвѣчаетъ:

— Да и ты тутъ.

— Нѣтъ, взаправду, вотъ что: — такъ какъ я вижу, что ты знаешь писаніе и хочешь самъ къ вѣрѣ придержаться, то я тебѣ дамъ по гривеннику на куль больше, чѣмъ располагалъ. Получай по шесть гривенъ, и о томъ, что мы сдѣлали, никто знать не будетъ.

А баринъ отвѣчаетъ:

— Хорошо, но еще лучше ты мнѣ дай по рублю за куль и потомъ, если хочешь, всѣмъ объ этомъ разсказывай.

Купецъ посмотрѣлъ на него и оба вразъ разсмѣялись.

— Ну,—говоритъ купецъ: — скажу я тебѣ, баринъ, что плутѣе тебя даже въ самомъ нижнемъ званіи рѣдко подыскать.

А тотъ, не смутясь, отвѣчаетъ:

— Нельзя, братецъ, въ нашемъ вѣкѣ иначе: теперь у

насъ благородство есть, а нѣтъ крестьянъ, которые наше благородство оберегали, а, во-вторыхъ, нынче и мода такая, чтобы русской простонародности подражать.

Купецъ не сталъ больше торговаться.

— Нечего, видно, съ тобою говорить — ты чищеный, — крестись передъ образомъ и по рукамъ.

Баринъ согласенъ молиться, но только деньги впередъ требуетъ и мѣстечко на столѣ ударяетъ, гдѣ ихъ передъ нимъ положить желательно.

Купецъ о то самое мѣсто деньги и выклалъ.

— Ладно, молъ, — вели, только скорѣе, чѣмъ попало новое кулье набивать,—я хочу, чтобы при мнѣ вся погрузка была готова и караванъ отплылъ.

Нагрузили барку кулями, въ которыхъ, чортъ знаетъ, какой дряни набили подъ видомъ драгоцѣнной пшеницы; застраховалъ все это купецъ въ самой дорогой цѣнѣ, отслужили молебенъ съ водосвятіемъ, покормили православный народушко пирогами съ легкимъ и съ сердцемъ, и отправили судно въ ходъ. Барки поплыли своимъ путемъ, а купецъ, время не тратя, съ бариномъ подвелъ окончательные счеты по-Божьему, взялъ бумаги и полетѣлъ своимъ путемъ въ Питеръ и прямо на Аглицкую набережную къ толстому англичанину, которому раньше запродажу совершилъ по тому дивному образцу, который на выставкѣ былъ.

— Зерно, говоритъ, — отправлено въ ходъ и вотъ документы и страховка: — прошу теперь мнѣ отдать, что слѣдуетъ, на такое-то количество, вторую часть полученія.

Англичанинъ посмотрѣлъ документы и сдалъ ихъ въ контору, а изъ несгораемаго шкафа вынулъ деньги и заплатилъ.

Купецъ завязалъ ихъ въ платокъ и ушелъ.

Тутъ фальцетъ перебилъ разсказчика словами:

— Вы какія-то страсти говорите.

— Я говорю вамъ то, что въ дѣйствительности было.

— Ну,—такъ значитъ, этотъ купецъ, взявши у англичанина деньги, бѣжалъ, что ли, съ ними за границу?

— Вовсе не бѣжалъ. Чего истинный русскій человѣкъ побѣжитъ за границу? Это не въ его правилахъ: да онъ и никакого другого языка, кромѣ русскаго, не знаетъ. Никуда онъ не бѣжалъ.

— Такъ какъ же онъ ни аглицкаго консула, ни посла

не боялся? Почему дворянинъ ихъ боялся, а купецъ не сталъ бояться?

— Вѣроятно потому, что купецъ опытнѣе былъ и лучше зналъ народныя средства.

— Ну, полноте, пожалуйста, какія могутъ быть народныя средства противъ англичанъ!.. Эти всесвѣтные торгаши сами кого угодно облупятъ.

— Да кто вамъ сказалъ, что онъ хотѣлъ англичанъ, обманывать? Онъ зналъ, что съ ними шутить не годится, и всему дальнѣйшему благополучно теченію дѣла усмотрѣлъ иной проспектъ, а на томъ проспектѣ предвидѣлъ уже для себя полезнаго дѣятеля, въ рукахъ котораго были всѣ средства все это дѣло огранить и въ рамку вставить. Тотъ и далъ всему такой оборотъ, что ни Ротшильдъ, ни Томсонъ Бонеръ и никакой другой коммерческій геній не выдумаетъ.

— И кто же былъ этотъ великій дѣлецъ:—адвокатъ или маклеръ?

— Нѣтъ, мужикъ.

— Какъ мужикъ?

— Да все дѣло обдѣлалъ, онъ — нашъ простой, нашъ находчивый и умный мужикъ! Да я и не понимаю:—отчего васъ это удивляетъ? Вѣдь читали же вы, небось, у Щедрина, какъ мужикъ трехъ генераловъ прокормилъ?

— Конечно, читалъ.

— Ну, такъ отчего же вамъ кажется страннымъ, что мужикъ умѣлъ плутню распутать.

— Будь по-вашему:—спрячу пока мои недоразумѣнія.

— А я вамъ кончу про мужика, и притомъ про такого, который не трехъ генераловъ. а цѣлую деревню одинъ прокормилъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мужикъ.

Мужикъ, къ помощи котораго обратился купецъ, былъ, какъ всякій русскій мужикъ: «съ вида сѣръ, но умъ у него не чортъ съѣлъ». Родился онъ при матушкѣ широкой рѣкѣ-кормилицѣ, а звали его, скажемъ такъ, — *Иваномъ Петровымъ*. Былъ этотъ рабъ Божій Иванъ въ свое время молодъ, а теперь достигалъ почтенной старости, но хлѣба даромъ, лежа на печи, не кушалъ, а служилъ лоцманомъ

при Толмачевскихъ порогахъ, на Курипой переправѣ. Лоцманская должность, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, состоитъ въ томъ, чтобы провожать суда, идущія черезъ опасныя для прохода мѣста. За это провожатому лоцману платятъ извѣстную плату и та плата идетъ въ артель, а потомъ раздѣляется между всѣми лоцманами данной мѣстности.

Всякій хозяинъ можетъ повести свое судно и на собственную отвѣтственность, безъ лоцмана, но тогда уже, если съ «посудкой» случится какое-нибудь несчастіе, — лоцманская артель не отвѣчаетъ. А потому, если судно идетъ съ застрахованнымъ грузомъ, то условіями страховки требуется, чтобы лоцманъ былъ непремѣнно. Взято это, конечно, съ иностранныхъ примѣровъ, безъ надлежащаго вниманія къ нашей безпримѣрной оригинальности и непосредственности. Заводили у насъ страховыя операціи господа иностранцы и думали, что ихъ Рейнъ или Дунай это все равно, что наши Свирь или Волга, и что ихъ лоцманъ и нашъ—это опять одно и то же. Ну, нѣтъ, братъ,— извини!

Наши рѣчные лоцманы люди простые, — не ученые, водятъ они суда, сами водимые единымъ Богомъ. Есть какой-то навыкъ и сноровка. Говорятъ, что будто они послѣ половодья дно рѣки изслѣдуютъ и провѣряютъ, но, полагать надо, все это относится болѣе къ области успокоительныхъ всероссійскихъ иллюзій; но въ своемъ родѣ лоцманы — очень большіе дѣльцы и наживаютъ порою кругленькіе капитальцы. И все это въ простотѣ и въ смиреніи,—Бога почитаючи и не огорчая міръ, то-есть своихъ людей не позабывая.

Мужикъ Иванъ Петровъ былъ изъ зажиточныхъ; ѣлъ не только щи съ мясомъ, а еще, пожалуй, въ жирную масляную кашу ложку сметаны клалъ, не столько уже «для скусу», сколько для степенства — чтобы по бородѣ текло, а ко всему этому выпивалъ для сваренія желудка стаканъ-два нашего простого, добраго русскаго вина, отъ котораго никогда подагры не бываетъ. По субботамъ онъ ходилъ въ баню, а по воскресеніямъ *молился* усердно и вѣжливо, т. е. прямо отъ своего лица ни о чемъ просить не дерзалъ, а искалъ посредства просіявшихъ угодниковъ; но и тѣмъ не докучалъ съ пустыми руками, а приносилъ во

храмъ дары и жертвы: пелены, ризы, свѣчи и куренія. Словомъ, былъ христіанинъ самаго заправскаго московскаго письма.

Купцу, котораго дворянинъ отборнымъ зерномъ обидѣлъ, благочестивый мужикъ Иванъ Петровъ былъ знаемъ по вѣрнымъ слухамъ какъ разъ съ той стороны, съ какой онъ ему нынче самому понадобился. Онъ-то и былъ тотъ, который могъ все дѣло поправить, чтобы никому рѣшительно убытка не было, а *всѣмъ польза.*

— Онъ выручалъ другихъ — долженъ выручить и меня, разсудилъ купецъ и позвалъ къ себѣ въ кабинетъ того приказчика, который одинъ зналъ, съ чѣмъ у нихъ застрахованные кули на барки нагружены, и говоритъ:

— Ты веди караванъ, а я васъ гдѣ надо встрѣчу.

А самъ поѣхалъ налегкѣ простымъ, богомольнымъ человѣкомъ прямо къ Тихвинской, а замѣсто того попалъ къ Толмачевымъ порогамъ на Куриный переходъ. «Гдѣ сокровище, тамъ и сердце». Присталъ нашъ купецъ здѣсь на постояломъ дворѣ и пошелъ узнавать: гдѣ большой человѣкъ Иванъ Петровъ и какъ съ нимъ свидѣться.

Ходитъ купецъ по бережку и не знаетъ: какъ за дѣло взяться? А просто взяться—невозможно: дѣло затѣяно воровское.

Къ счастію своему, видитъ купецъ на бережкѣ, на обернутой кверху дномъ лодкѣ сидитъ весь бѣлый матерой старикъ, въ плисовомъ ватномъ картузѣ, борода празелень и корсунскій мѣдный крестъ изъ-за пазухи касандрійской рубахи наружу виситъ.

Понравился старецъ купцу своимъ правильнымъ видомъ.

Прошелъ мимо этого старика купецъ разъ и два, а тотъ его спрашиваетъ:

— Чего ты здѣсь, хозяинъ, ищешь и что обрѣсти желаешь: то ли, чего не имѣлъ, или то, что потерялъ?

Купецъ отвѣчаетъ, что онъ такъ себѣ «прохаживается», но старикъ умный,—улыбнулся и отвѣчаетъ:

— Что это еще за прохаживаніе! Въ проходку ходить—это господское, а не христіанское дѣло, а степенный человѣкъ за дѣломъ ходитъ и дѣла смотритъ, — дѣла пытаетъ, а не отъ дѣла лытаетъ. Неужели же ты въ такихъ твоихъ годахъ даромъ время провождаешь?

Купецъ видитъ, что обрѣлъ человѣка большого ума и

проницательности, — сейчасъ передъ нимъ и открылся, что онъ, дѣйствительно, дѣла пытаетъ, а не отъ дѣла лытаетъ.

— А къ какому мѣсту касающему?

— Касающее этого самаго мѣста.

— И въ чемъ оно содержащее?

— Содержащее въ томъ, что я обиженъ весьма несправедливымъ человѣкомъ.

— Такъ; нынче, другъ, мало уже кто по правдѣ живетъ, а все по обидѣ. А кого ты на нашемъ берегу ищешь?

— Ищу себѣ человѣка помогательнаго.

— Такъ; а въ какой силѣ?

— Въ самой большой силѣ—грѣхъ и обиду отнимающей.

— И-и, братъ! Гдѣ весь грѣхъ омыть! Въ Писаніи у Апостоловъ сказано: «весь міръ во грѣхѣ положенъ»,—всего не омоешь, а развѣ хоть по малости.

— Ну, хоть по малости.

— То-то и есть: Господь грѣхъ потопомъ омылъ, а онъ вновь насталъ.

— Научи меня, дѣдушка,—гдѣ для меня здѣсь полезный человѣкъ?

— А какъ ему имя отъ Бога дано?

— Имя ему Іоаннъ.

— «Бысть человѣкъ посланъ отъ Бога, имя ему Іоаннъ»,— проговорилъ старикъ.—А какъ по изотчеству?

— Петровичъ.

— Ну, самъ передъ тобою я — Иванъ Петровичъ. Сказывай, какая твоя нужда?

Тотъ ему разсказалъ, впрочемъ только одну первую половину, то-есть о томъ, какой плутъ былъ баринъ, который ему отборное зерно продалъ, а о томъ, какое онъ самъ плутовство сдѣлалъ,—про то умолчалъ, да и надобности разсказывать не было, потому что старецъ все въ молчаніи постигъ и мягко оформилъ отвѣтное слово:

— Товаръ значитъ страховой?

— Да.

— И подконтраченъ?

— Да, подконтраченъ.

— Иностранцамъ?

— Англичанамъ.

— Ухъ! Это жохи!

Старикъ зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ, потомъ всталъ и добавилъ:

— Приходи-ко ты ко мнѣ, кручинная голова, на дворъ: о такомъ дѣлѣ надо говорить—подумавши.

Черезъ нѣкоторое время, какъ тамъ было у нихъ условлено, приходитъ купецъ, «кручинная голова», къ Ивану Петрову, а тотъ его на огородъ,—сѣлъ съ нимъ на банное крылечко и говоритъ:

— Я твое дѣло все обдумалъ. Пособить тебѣ отъ твоихъ обязательствъ—дѣйствительно надо, потому что своего русскаго человѣка грѣшно чужанамъ выдать, и какъ тебя избавить—это есть въ нашихъ рукахъ, но только есть у насъ одна своя мірская причина, которая здѣсь къ тому не позволяетъ.

Купецъ сталъ упрашивать.

— Сдѣлай милость, говоритъ: — я тысячъ не пожалѣю и деньги сейчасъ впередъ хоть Николѣ, хоть Спасу за образникъ положу.

— Знаю, да взять нельзя.

— Отчего?

— Очень опасно.

— Съ коихъ же поръ ты такъ опасливъ сталъ?

Старикъ на него поглядѣлъ и съ солиднымъ достоинствомъ замѣтилъ, что онъ всегда былъ опасливъ.

— Однако,—другимъ помогалъ.

— Разумѣется,—помогалъ, когда въ своемъ правилѣ и весь міръ за тебя стоять будетъ.

— А нынѣ развѣ міръ противъ тебя стоитъ?

— Я такъ думаю.

— А почему?

— Потому что у насъ, на Куриной переправѣ, въ прошломъ году страховое судно затонуло и наши сельскіе на томъ разгрузѣ вволю и заработали, а если нынче опять у насъ этому статься, то на Поросячьемъ бродѣ люди осерчаютъ и въ доносъ пойдутъ. Тамъ нонѣ пожаръ былъ, почитай все село сгорѣло и имъ строиться надо и храмъ поправить. Нельзя все однимъ нашимъ предоставить благостыню, а надо и тѣмъ. А поѣзжай-ко ты нынче ночью туда на Поросячій бродъ, да вызови изъ третьяго двора въ селѣ человѣка, Петра Иванова, — вотъ той рабъ *тебѣ все яже* ко спасенію твоему учредитъ. Да денегъ не пожалѣй—имъ строиться нужно.

проницательности, — сейчасъ передъ нимъ и открылся, что онъ, дѣйствительно, дѣла пытаетъ, а не отъ дѣла лытаетъ.

— А къ какому мѣсту касающему?

— Касающее этого самаго мѣста.

— И въ чемъ оно содержащее?

— Содержащее въ томъ, что я обиженъ весьма несправедливымъ человѣкомъ.

— Такъ; нынче, другъ, мало уже кто по правдѣ живетъ, а все по обидѣ. А кого ты на нашемъ берегу ищешь?

— Ищу себѣ человѣка помогательнаго.

— Такъ; а въ какой силѣ?

— Въ самой большой силѣ—грѣхъ и обиду отнимающей.

— И-и, братъ! Гдѣ весь грѣхъ омыть! Въ Писаніи у Апостоловъ сказано: «весь міръ во грѣхѣ положенъ»,—всего не омоешь, а развѣ хоть по малости.

— Ну, хоть по малости.

— То-то и есть: Господь грѣхъ потопомъ омылъ, а онъ вновь насталъ.

— Научи меня, дѣдушка,—гдѣ для меня здѣсь полезный человѣкъ?

— А какъ ему имя отъ Бога дано?

— Имя ему Іоаннъ.

— «Бысть человѣкъ посланъ отъ Бога, имя ему Іоаннъ»,— проговорилъ старикъ.—А какъ по изотчеству?

— Петровичъ.

— Ну, самъ передъ тобою я — Иванъ Петровичъ. Сказывай, какая твоя нужда?

Тотъ ему разсказалъ, впрочемъ только одну первую половину, то-есть о томъ, какой плутъ былъ баринъ, который ему отборное зерно продалъ, а о томъ, какое онъ самъ плутовство сдѣлалъ,—про то умолчалъ, да и надобности разсказывать не было, потому что старецъ все въ молчаніи постигъ и мягко оформилъ отвѣтное слово:

— Товаръ значитъ страховой?

— Да.

— И подконтраченъ?

— Да, подконтраченъ.

— Иностранцамъ?

— Англичанамъ.

— Ухъ! Это жохи!

Старикъ зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ, потомъ всталъ и добавилъ:

— Приходи-ко ты ко мнѣ, кручинная голова, на дворъ: о такомъ дѣлѣ надо говорить—подумавши.

Черезъ нѣкоторое время, какъ тамъ было у нихъ условлено, приходитъ купецъ, «кручинная голова», къ Ивану Петрову, а тотъ его на огородъ,—сѣлъ съ нимъ на банное крылечко и говоритъ:

— Я твое дѣло все обдумалъ. Пособить тебѣ отъ твоихъ обязательствъ—дѣйствительно надо, потому что своего русскаго человѣка грѣшно чужанамъ выдать, и какъ тебя избавить—это есть въ нашихъ рукахъ, но только есть у насъ одна своя мірская причина, которая здѣсь къ тому не позволяетъ.

Купецъ сталъ упрашивать.

— Сдѣлай милость, говоритъ: — я тысячъ не пожалѣю и деньги сейчасъ впередъ хоть Николѣ, хоть Спасу за образникъ положу.

— Знаю, да взять нельзя.

— Отчего?

— Очень опасно.

— Съ коихъ же поръ ты такъ опасливъ сталъ?

Старикъ на него поглядѣлъ и съ солиднымъ достоинствомъ замѣтилъ, что онъ всегда былъ опасливъ.

— Однако,—другимъ помогалъ.

— Разумѣется,—помогалъ, когда въ своемъ правилѣ и весь міръ за тебя стоять будетъ.

— А нынѣ развѣ міръ противъ тебя стоитъ?

— Я такъ думаю.

— А почему?

— Потому что у насъ, на Куриной переправѣ, въ прошломъ году страховое судно затонуло и наши сельскіе на томъ разгрузѣ вволю и заработали, а если нынче опять у насъ этому статься, то на Поросячьемъ бродѣ люди осерчаютъ и въ доносъ пойдутъ. Тамъ нонѣ пожаръ былъ, почитай все село сгорѣло и имъ строиться надо и храмъ поправить. Нельзя все однимъ нашимъ предоставить благостыню, а надо и тѣмъ. А поѣзжай-ко ты нынче ночью туда на Поросячій бродъ, да вызови изъ третьяго двора въ селѣ человѣка, Петра Иванова, — вотъ той рабъ *тебѣ все яже* ко спасенію твоему учредитъ. Да денегъ не пожалѣй—имъ строиться нужно.

— Не пожалѣю.

Купецъ въ ту же ночь поѣхалъ, куда благословилъ дѣдушка Іоаннъ, нашелъ тамъ безъ труда въ третьемъ дворѣ указаннаго ему помогательнаго Петра и очень скоро съ нимъ сдѣлался. Далъ, можетъ-быть, и дорого, но вышло такъ честно и аккуратно, что одно только утѣшеніе.

— То-есть какое же это утѣшеніе?—спросилъ фальцетъ.

— А такое утѣшеніе, что какъ подоспѣлъ сюда купцовъ караванъ, гдѣ плыла и та барка съ соромъ, вмѣсто дорогой пшеницы, то всѣ пристали противъ часовенки на бережку, помолебствовали, а потомъ лоцманъ Петръ Ивановъ сталъ на буксиръ и повелъ, и все велъ благополучно, да вдругъ самую малость рулевому оборотъ далъ и такъ похибилъ, что всѣ суда прошли, а эта барка зацѣпилась, повернулась, какъ лягушка, пузомъ вверхъ и потонула

Народу стояло на обоихъ берегахъ множество и всѣ видѣли, и всѣ восклицали: «ишь-ты! поди-жъ ты!» Словомъ, «случилось несчастіе» ни вѣсть отчего. Ребята во всю мочь веслами били, дядя Петръ на рулѣ весь въ поту, умаялся, а купецъ на берегу весь блѣдный, какъ смерть, стоялъ да молился, а все не помогло. Барка потонула, а хозяинъ только покорностью взялъ: перекрестился, вздохнулъ да молвилъ:

— Богъ далъ, Богъ и взялъ, — буди Его Святая Воля.

Всѣхъ искреннѣе и оживленнѣе былъ народъ: изъ народа къ купцу уже сейчасъ же начали приставать люди съ просьбами: «теперь насъ не обезсудь, — это на сиротскую долю Богъ далъ». И послѣ этого пошли веселыя дѣла: съ одной стороны исполнялись формы и обряды законныхъ удостовѣреній и выдача купцу страховой преміи за погибшій соръ, какъ за драгоцѣнную пшеницу; а съ другой— закипѣло народное оживленіе и пошла поправка всей мѣстности.

— Какъ это?

— Очень просто; нѣмцы ведутъ все по правиламъ заграничнаго сочиненія: пріѣхалъ страховой агентъ и сталъ нанимать людей, чтобы затонувшій грузъ изъ воды доставать. Заботились, чтобы не все пропало. Трудъ не малый и долгій. Погорѣлые мужички сумѣли воспользоваться обстоятельствами: на мужчину брали въ день полтора рубля, а на бабенку рубль. А работали потихонечку, — все лѣто

такъ съ Божіей помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало,—погорѣлыя слезы высохли, всѣ поютъ пѣсни да приплясываютъ, а на горѣ у наемныхъ плотниковъ весело топоры стучатъ и домики, какъ грибки, растутъ на погорѣломъ мѣстѣ. И такъ, сударь мой, все село отстроилось, и вся бѣднота и голытьба поприкрылась, и понаѣлась, и Божій храмъ поправили. Всѣмъ хорошо стало и всѣ зажили, хваляще и благодаряще Господа, и никто, ни одинъ человѣкъ не остался въ убыткѣ—и никто не въ огорченіи. Никто не пострадалъ!

— Какъ никто?

— А кто же пострадалъ? Баринъ, купецъ, народъ, т. е. мужички,—всѣ только нажились.

— А страховое общество?!

— Страховое общество?

— Да.

— Батюшка мой, о чемъ вы заговорили!

— А что же,—развѣ оно не заплатило?

— Ну, какъ же можно не заплатить, — разумѣется, заплатило.

— Такъ это по-вашему—не гадость, а соціабельность?!

— Да, разумѣется же соціабельность! Столько русскихъ людей поправилось, и цѣлое село годъ прокормилось, и великолѣпныя постройки отстроились, и это, изволите видѣть, по-вашему называется «гадость».

— А страховое-то общество — это что уже, стало-быть, не соціабельное учрежденіе?

— Разумѣется, нѣтъ.

— А что же это такое?

— Нѣмецкая затѣя.

— Тамъ есть акціонеры и русскіе.

— Да, которые съ нѣмцами знаются, да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалятъ.

— А вы его не хвалите?

— Боже меня сохрани! Онъ уже сталъ проповѣдывать, что мы, русскіе, будто «черезъ мѣру своею глупостію злоупотреблять начали»,—такъ пусть его и знаетъ, какъ мы глупы-то; а я его и знать не хочу.

— Это чортъ знаетъ что̀ такое!

— А что именно?

— Вотъ то, что вы мнѣ разсказывали.

Фальцетъ расхохотался и добавилъ:

— Нѣтъ, я васъ рѣшительно не понимаю.

— Представьте, а я васъ тоже не понимаю.

— Да, если бы насъ слушалъ кто-нибудь сторонній человѣкъ, который бы насъ не зналъ, то онъ бы непремѣнно въ правѣ былъ о насъ подумать, что мы или плуты, или дураки.

— Очень можетъ быть, но только онъ этимъ доказалъ бы свое собственное легкомысліе, потому что мы и не плуты, и не дураки.

— Да, если это такъ, то, пожалуй, мы и сами не знаемъ, кто мы такіе.

— Ну, отчего же не знать. Что до меня касается, то я отлично знаю, что мы просто благополучные россіяне, возвращающіеся съ ингерманландскихъ болотъ къ себѣ *домой*,—на теплыя полати, ко щамъ, да къ бабамъ... А кстати, вотъ и наша станція.

Поѣздъ началъ убавлять ходъ, послышался визгъ тормозовъ, звонокъ—и собесѣдники вышли.

Я приподнялся-было, чтобы ихъ разсмотрѣть, но въ густомъ полумракѣ мнѣ это не удалось. Видѣлъ только, что оба люди окладистые и рослые.

ОБМАНЪ.

«Смоковница отметаетъ пупы своя отъ вѣтра велика».

Анк. VI, 13.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Подъ самое Рождество мы ѣхали на югъ и, сидя въ вагонѣ, разсуждали о тѣхъ современныхъ вопросахъ, которые даютъ много матеріала для разговора и въ то же время требуютъ скораго рѣшенія. Говорили о слабости русскихъ характеровъ, о недостаткѣ твердости въ нѣкоторыхъ органахъ власти, о классицизмѣ и о евреяхъ. Болѣе всего прилагали заботъ къ тому, чтобы усилить власть и вывести въ расходъ евреевъ, если невозможно ихъ исправить и довести, по крайней мѣрѣ, хотя до извѣстной высоты нашего собственнаго нравственнаго уровня. Дѣло, однако, выходило не радостно: никто изъ насъ не видалъ никакихъ средствъ распорядиться властію, или достигнуть того, чтобы всѣ, рожденные въ еврействѣ, опять вошли въ утробы и снова родились совсѣмъ съ иными натурами.

— А въ самой вещи,—какъ это сдѣлать?

— Да никакъ не сдѣлаешь.

И мы безотрадно поникли головами.

Компанія у насъ была хорошая,—люди скромные и несомнѣнно основательные.

Самымъ замѣчательнымъ лицомъ въ числѣ пассажировъ, по всей справедливости, надо было считать одного отставного военнаго. Это былъ старикъ атлетическаго сложенія. Чинъ его былъ неизвѣстенъ, потому что изъ всей боевой

амуниціи у него уцѣлѣла одна фуражка, а все прочее было замѣнено вещами статскаго изданія. Старикъ былъ бѣловолосъ, какъ Несторъ, и крѣпокъ мышцами, какъ Сампсонъ, котораго еще не остригла Далила. Въ крупныхъ чертахъ его смуглаго лица преобладало твердое и опредѣлительное выраженіе и рѣшимость. Безъ всякаго сомнѣнія это былъ характеръ положительный и притомъ — убѣжденный практикъ. Такіе люди не вздоръ въ наше время, да и ни въ какое иное время они не бываютъ вздоромъ.

Старецъ все дѣлалъ умно, отчетливо и съ соображеніемъ; онъ вошелъ въ вагонъ раньше всѣхъ другихъ и потому выбралъ себѣ наилучшее мѣсто, къ которому искусно присоединилъ еще два сосѣднія мѣста и твердо удержалъ ихъ за собою посредствомъ мастерской, очевидно заранѣе обдуманной, раскладки своихъ дорожныхъ вещей. Онъ имѣлъ при себѣ цѣлыя три подушки очень большихъ размѣровъ. Эти подушки сами по себѣ уже составляли добрый багажъ на одно лицо, но онѣ были такъ хорошо гарнированы, какъ будто каждая изъ нихъ принадлежала отдѣльному пассажиру: одна изъ подушекъ была въ синемъ кубовомъ ситцѣ съ желтыми незабудками, — такія чаще всего бываютъ у путниковъ изъ сельскаго духовенства; другая—въ красномъ кумачѣ, что въ большомъ употребленіи по купечеству, а третья—въ толстомъ полосатомъ тикѣ—это уже настоящая штабсъ-капитанская. Пассажиръ, очевидно, не искалъ ансамбля, а искалъ чего-то болѣе существеннаго,—именно приспособительности къ другимъ гораздо болѣе серьезнымъ и существеннымъ цѣлямъ.

Три разношерстныя подушки могли кого угодно ввести въ обманъ, что занятыя ими мѣста принадлежатъ тремъ разнымъ лицамъ, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось.

Кромѣ того, мастерски задѣланныя подушки имѣли не совсѣмъ одно то простое названіе, какое можно было придать имъ по первому на нихъ взгляду. Подушка въ полосатомъ тикѣ была собственно чемоданъ и погребецъ и на этомъ основаніи она пользовалась преимущественнымъ передъ другими вниманіемъ своего владѣльца. Онъ помѣстилъ ее vis-à-vis передъ собою, и какъ только поѣздъ отвалилъ отъ амбаркадера,— тотчасъ же облегчилъ и пооспабилъ ее, разстегнувъ для того у ея наволочки бѣлыя костяныя пуго-

вицы. Изъ пространнаго отверстія, которое теперь образовалось, онъ началъ вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутые сверточки, въ которыхъ оказались сыръ, икра, колбаса, сайки, антоновскія яблоки и ржевская пастила. Всего веселѣе выглянула на свѣтъ хрустальная фляжка, въ которой находилась удивительно пріятнаго фіолетоваго цвѣта жидкость съ извѣстною старинною надписью: «Ея же и монаси пріемлятъ». Густой аметистовый цвѣтъ жидкости былъ превосходный и вкусъ, вѣроятно, соотвѣтствовалъ чистотѣ и пріятности цвѣта. Знатоки дѣла увѣряютъ, будто это никогда одно съ другимъ не расходится.

Во все время, пока прочіе пассажиры спорили о жидахъ, объ отечествѣ, объ измельчаніи характеровъ и о томъ, какъ мы «во всемъ сами себѣ напортили», и,—вообще занимались «оздоровленіемъ корней» — бѣловласый богатырь сохранялъ величавое спокойствіе. Онъ держалъ себя, какъ человѣкъ, который знаетъ, когда ему придетъ время сказать свое слово, а пока—онъ просто кушалъ разложенную имъ на полосатой подушкѣ провизію и выпилъ три или четыре рюмки той аппетитной влаги «ея же и монаси пріемлятъ». Во все это время онъ не проронилъ ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнѣйшее дѣло было окончено какъ слѣдуетъ, и когда весь буфетъ былъ имъ снова тщательно убранъ,—онъ щелкнулъ складнымъ ножомъ и закурилъ съ собственной спички невѣроятно толстую, самодѣльную папиросу, потомъ вдругъ заговорилъ и сразу завладѣлъ всеобщимъ вниманіемъ.

Говорилъ онъ громко, внушительно и смѣло, такъ что никто не думалъ ему возражать или противорѣчить, а, главное, онъ ввелъ въ бесѣду живой и общезанимательный любовный элементъ, къ которому политика и цензура нравовъ примѣшивалась только слегка, лѣвою стороною, не докучая и не портя живыхъ приключеній мимо протекшей жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Онъ началъ рѣчь свою очень деликатно, — какимъ-то чрезвычайно пріятнымъ и въ своемъ родѣ даже красивымъ обращеніемъ къ пребывающему здѣсь «обществу», а потомъ и перешелъ прямо къ предмету давнихъ и нынѣ столь обыденныхъ сужденій.

— Видите ли,—сказалъ онъ: — мнѣ все это, о чемъ вы говорили, не только не чуждо, но даже, вѣрнѣе сказать, очень знакомо. Мнѣ, какъ видите, уже не мало лѣтъ, — я много жилъ и могу сказать — много видѣлъ. Все, что вы говорите про жидовъ и поляковъ, — это все правда, но все это идетъ отъ нашей собственной русской, глупой деликатности: все хотимъ всѣхъ деликатнѣй быть. Чужимъ мирволимъ, а своихъ давимъ. Мнѣ это, къ сожалѣнію, очень извѣстно и даже больше того, чѣмъ извѣстно: я это испыталъ на самомъ себѣ-съ; но вы напрасно думаете, что это только теперь настало: это давно завелось и напоминаетъ мнѣ одну роковую исторію. Я, положимъ, не принадлежу къ прекрасному полу, къ которому принадлежала Шехеразада, однако я тоже очень бы могъ позанять иного султана не пустыми разсказами. Жидовъ я очень знаю, потому что живу въ этихъ краяхъ и здѣсь постоянно ихъ вижу, да и въ прежнее время, когда еще въ военной службѣ служилъ, и когда по роковому случаю городничимъ былъ, такъ не мало съ ними повозился. Случалось у нихъ и деньги занимать, случалось и за пейсы ихъ трепать и въ шею выталкивать, всего приводилъ Богъ, — особенно когда жидъ придетъ за процентами, а заплатить нечѣмъ. Но бывало, что я и хлѣбъ-соль съ ними водилъ, и на свадьбахъ у нихъ бывалъ, и мацу, и гугель, и аманово ухо у нихъ ѣлъ, а къ чаю ихъ булки съ чернушкой и теперь предпочитаю непропеченой сайкѣ, но того, что съ ними теперь хотятъ дѣлать,—этого я не понимаю. Нынче о нихъ вездѣ говорятъ и даже въ газетахъ пишутъ... Изъ-за чего это? У насъ, бывало, просто хватишь его чубукомъ по спинѣ, а если онъ очень дерзкій, то клюквой въ него выстрѣлишь,—онъ и бѣжитъ. И жидъ бо́льшаго не стоитъ, а выводить его совсѣмъ въ расходъ не надо, потому что при случаѣ жидъ бываетъ человѣкъ полезный.

Что же касается въ разсужденіи всѣхъ подлостей, которыя евреямъ приписываютъ, такъ я вамъ скажу, это ничего не значитъ передъ молдаванами и еще валахами, и что я съ своей стороны предложилъ бы, такъ это не вводить жидовъ въ утробы, ибо это и невозможно, а помнить, что есть люди хуже жидовъ.

— Кто же, напримѣръ?

— А, напримѣръ, румыны-съ!

— Да, про нихъ тоже нехорошо говорятъ,—отозвался солидный пассажиръ съ табакеркой въ рукахъ.

— О-о, батюшка мой! — воскликнулъ, весь оживившись, нашъ старецъ:—повѣрьте мнѣ, что это самые худшіе люди на свѣтѣ. Вы о нихъ только слыхали, но по чужимъ словамъ, какъ по лѣстницѣ, можно чортъ знаетъ куда залѣзть, а я все самъ на себѣ испыталъ и, какъ православный христіанинъ, я свидѣтельствую, что хотя они и одной съ нами православной вѣры, такъ что, можетъ-быть, намъ за нихъ когда-нибудь еще и воевать придется, но это такіе подлецы, какихъ другихъ еще и свѣтъ не видалъ.

И онъ намъ разсказалъ нѣсколько плутовскихъ пріемовъ, практикующихся или нѣкогда практиковавшихся въ тѣхъ мѣстахъ Молдавіи, которыя онъ посѣщалъ въ свое боевое время, но все это выходило не ново и мало эффектно, такъ что бывшій средь прочихъ слушателей пожилой лысый купецъ даже зѣвнулъ и сказалъ:

— Это и у насъ музыка извѣстная!

Такой отзывъ оскорбилъ богатыря, и онъ, слегка сдвинувъ брови, молвилъ:

— Да, разумѣется, русскаго торговаго человѣка плутомъ не удивишь!

Но вотъ разсказчикъ оборотился къ тѣмъ, которые ему казались просвѣщеннѣе, и сказалъ:

— Я вамъ, господа, если на то пошло, разскажу анекдотикъ изъ ихняго привилегированнаго-то класса; разскажу про ихъ помѣщичьи нравы. Тутъ вамъ кстати будетъ и про эту нашу дымку очесъ, черезъ которую мы на все смотримъ, и про деликатность, которою только своимъ и себѣ вредимъ.

Его, разумѣется, попросили, и онъ началъ, пояснивъ, что это составляетъ и одинъ изъ очень достопримѣчательныхъ случаевъ его боевой жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Разсказчикъ началъ такъ:

Человѣкъ, знаете, всего лучше познается въ деньгахъ, въ картахъ и въ любви. Говорятъ, будто еще въ опасности на морѣ, но я этому не вѣрю, — въ опасности иной трусъ развоюется, а смѣльчакъ спасуетъ. Карты и лю-

бовь... Любовь даже можетъ быть важнѣй картъ, потому что всегда и вездѣ въ модѣ: поэтъ это очень правильно говоритъ: «любовь царитъ во всѣхъ сердцахъ», безъ любви не живутъ даже у дикихъ народовъ,—а мы, военные люди, ею «вси движимся и есьми». Положимъ, что это сказано въ разсужденіи другой любви, однако, что попы ни сочиняй,— всякая любовь есть «влеченіе къ предмету». Это у Курганова сказано. А вотъ предметъ предмету рознь, — это правда. Впрочемъ, въ молодости, а для другихъ даже еще и подъ старость, самый общеупотребительный предметъ для любви все-таки составляетъ женщина. Никакіе проповѣдники этого не могутъ отмѣнить, потому что Богъ ихъ всѣхъ старше и какъ Онъ сказалъ: «не благо быть человѣку единому», такъ и остается.

Въ наше время у женщинъ не было нынѣшнихъ мечтаній о независимости, — чего я, впрочемъ, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные, такъ что вѣрность имъ даже можно въ грѣхъ поставить. Не было тогда и этихъ гражданскихъ браковъ, какъ нынче завелось. Тогда на этотъ счетъ холостежь была осторожнѣе и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящіе, въ церкви пѣтые, при которыхъ обычаемъ не возбранялась свободная любовь къ военнымъ. Этого грѣха, какъ и въ романахъ Лермонтова, видно было дѣйствительно очень много, но только происходило все это по-раскольницки, то-есть «безъ доказательствъ». Особенно съ военными: народъ перехожій, нигдѣ корней не пускали: нынче здѣсь, а завтра затрубимъ и на другомъ мѣстѣ очутимся — слѣдовательно, что шито, что вито, — все позабыто. Стѣсненья никакого. Зато насъ и любили, и ждали. Куда, бывало, въ какой городишко полкъ ни вступитъ, — какъ на званый пиръ, сейчасъ и закипѣли шуры-муры. Какъ только офицеры почистятся, поправятся и выйдутъ гулять, такъ уже въ прелестныхъ маленькихъ домикахъ окна у барышень открыты и оттуда летитъ звукъ фортепіано и пѣніе. Любимый романсъ былъ:

«Какъ хорошъ,—не правда-ль, мама,
Постоялецъ нашъ удалый,
Мундиръ золотомъ весь шитый
И какъ жаръ горятъ ланиты,

Боже мой,
Боже мой,
Ахъ, когда бы онъ былъ мой».

Ну ужъ, разумѣется, изъ какого окна услыхалъ это пѣніе — туда глазомъ и мечешь — и никогда не даромъ. Въ тотъ же день къ вечеру, бывало, уже полетятъ черезъ денщиковъ и записочки, а потомъ пойдутъ порхать къ господамъ офицерамъ горничныя... Тоже не нынѣшнія субретки, но крѣпостныя, и это были самыя безкорыстныя созданія. Да мы, разумѣется, имъ часто и платить ничѣмъ инымъ не могли, кромѣ какъ поцѣлуями. Такъ и начинаются, бывало, любовные успѣхи съ посланницъ, а кончаются съ пославшими. Это даже въ водевилѣ у актера Григорьева на театрахъ въ куплетѣ пѣли:

«Чтобъ съ барышней слюбиться,
За дѣвкой волочись».

При крѣпостномъ званіи горничною не называли, а просто — дѣвка.

Ну, понятно, что при такомъ лестномъ вниманіи всѣ мы, военные люди, были чертовски женщинами избалованы! Тронулись изъ Великой Россіи въ Малороссію — и тамъ то же самое; пришли въ Польшу — а тутъ этого добра еще больше. Только польки ловкія — скоро женить нашихъ начали.—Намъ командиръ сказалъ: «смотрите, господа, осторожно», и дѣйствительно у насъ Богъ спасалъ — женитьбы не было. Одинъ былъ влюбленъ такимъ образомъ, что побѣжалъ предложеніе дѣлать, но засталъ свою будущую тещу наединѣ и, къ счастію, ею самою такъ увлекся, что уже не сдѣлалъ дочери предложенія. И удивляться нечему, что были успѣхи—потому что народъ молодой и вездѣ встрѣчали пылъ страсти. Нынѣшняго житья, вѣдь, тогда въ образованныхъ классахъ не было... Внизу тамъ, конечно, пищали, но въ образованныхъ людяхъ просто зудъ любовный одолѣвалъ, и притомъ внѣшность много значила. Дѣвицы и замужнія признавались, что чувствуютъ этакое, можно сказать, какое-то безотчетное замираніе при одной военной формѣ... Ну, а мы знали, что на то селезню дано въ крылья зеркальце, чтобы утицѣ въ него поглядѣться хотѣлось. Не мѣшали имъ собой любоваться...

Изъ военныхъ не много было женатыхъ, потому что бѣдность содержанія, и скучно. Женившись: тащись самъ на

лошадкѣ, жена на коровкѣ, дѣти на телятках, а слуги на собачкахъ. Да и къ чему, когда и одинокіе тоски жизни одинокой, по милости Божіей, никогда нимало не испытывали. А ужъ о тѣхъ, которые собой поавантажнѣе, или могли пѣть, или рисовать, или по-французски говорить, то эти часто даже не знали, куда имъ дѣваться отъ рога изобилія. Случалось даже, въ придачу къ ласкамъ и очень цѣнныя бездѣлушки получали, и то такъ, понимаете, что отбиться отъ нихъ нельзя... Просто даже бывали случаи, что отъ одного случая вся, бѣдняжка, вскроется, какъ кладъ отъ аминя, и тогда непремѣнно забирай у нея что отдаетъ, а то сначала на колѣняхъ проситъ, а потомъ обидится и заплачетъ. Вотъ у меня и посейчасъ одна такая завѣтная балаболка на рукѣ застряла.

Разсказчикъ показалъ намъ руку, на которой на одномъ толстомъ, одеревянѣломъ пальцѣ заплылъ старинной работы золотой эмальированный перстень съ довольно крупнымъ алмазомъ. Затѣмъ онъ продолжалъ разсказъ:

Но такой нынѣшней гнусности, чтобы съ мужчинъ чѣмъ-нибудь пользоваться, этого тогда даже и въ намекахъ не было. Да и куда, и на что? Тогда, вѣдь, были достатки отъ имѣній, и притомъ еще и простота. Особенно въ уѣздныхъ городкахъ, вѣдь, чрезвычайно просто жили. Ни этихъ нынѣшнихъ клубовъ, ни букетовъ, за которые надо деньги заплатить и потомъ бросить, не было. Одѣвались со вкусомъ,—мило, но простенько; или этакій шелковый марселинецъ, или цвѣтная кисейка, а очень часто не пренебрегали даже и ситчикомъ или даже какою-нибудь дешевенькою цвѣтною холстинкою. Многія барышни еще для экономіи и фартучки и бертельки носили съ разными этакими бахромочками и городками, и часто это очень красиво и нарядно было, и многимъ шло. А прогулки и всѣ эти рандевушки совершались совсѣмъ не по-нынѣшнему. Никогда не приглашали дамъ куда-нибудь въ загородные кабаки, гдѣ только за все дерутъ вдесятеро, да въ щелки подсматриваютъ. Боже сохрани! Тогда дѣвушка или дама со стыда бы сгорѣла отъ такой мысли, и ни за что бы не поѣхала въ подобныя мѣста, гдѣ мимо одной лакузы-то пройти—все равно, какъ сквозь строй! И вы сами ведете свою даму подъ руку, видите какъ тѣ подлецы за вашими плечами зубы скалятъ, потому что въ ихъ холопскихъ гла-

захъ, что честная дѣвица, или женщина, увлекаемая любовною страстію, что какая-нибудь дама изъ Амстердама— это все равно. Даже если честная женщина скромнѣе себя держитъ, такъ они о ней еще ниже судятъ.

— «Тутъ, дескать, много поживы не будетъ: по барынькѣ и говядинка».

Нынче этимъ манкируютъ, но тогдашняя дама обидѣлась бы, если бы ей предложить хотя бы самое пріятное уединеніе въ такомъ мѣстѣ.

Тогда былъ вкусъ и всѣ искали, какъ все это облагородить, и облагородить не какимъ-нибудь фанфаронствомъ, а именно изящной простотою, — чтобы даже ничто не подавало воспоминаній о презрѣнномъ металлѣ. Влюбленные всего чаще шли, напримѣръ, гулять за городъ, рвать въ цвѣтущихъ поляхъ васильки или гдѣ-нибудь надъ рѣчечкой подъ лозою рыбу удить, или вообще что-нибудь другое этакое невинное и простосердечное. Она выйдетъ съ своею крѣпостною, а ты и сидишь на рубежечкѣ, поджидаешь. Дѣвушку, разумѣется, оставишь гдѣ-нибудь на межѣ, а съ барышней углубишься въ чистую зрѣющую рожь... Это колосья, небо, букашки разныя по стебелькамъ и по землѣ ползаютъ... А съ вами молодое существо, часто еще со всей институтской невинностью, которое не знаетъ, что̀ говорить съ военнымъ, и точно у естественнаго учителя спрашиваетъ у васъ: «какъ выдумаете: это буканъ или букашка?..» Ну, что̀ тутъ думать: букашка это или буканъ, когда съ вами наединѣ и на вашу руку опирается этакій живой, чистѣйшій ангелъ! Закружатся головы и, кажется, никто не виноватъ и никто ни за что отвѣчать не можетъ, потому что не ноги тебя несутъ, а самое поле въ лѣсъ уплываетъ, гдѣ этакіе дубы и клены, и въ ихъ тѣни задумчивы дріады!.. Ни съ чѣмъ, ни съ чѣмъ въ мірѣ не сравнимое состояніе блаженства! Святое и безмятежное счастіе!..

Разсказчикъ такъ увлекся воспоминаніями высокихъ минутъ, что на минуту умолкъ. А въ это время кто-то тихо замѣтилъ, что̀ для дріадъ это начиналось хорошо, но кончалось не безъ хлопотъ.

— Ну да, — отозвался повѣствователь: — послѣ, разумѣется, ищи что̀ на орлѣ, на лѣвомъ крылѣ. Но я о себѣ-то, о кавалерахъ только говорю: мы привыкли принимать себѣ такое женское вниманіе и сакрифисы въ простотѣ,

безъ разсужденій, какъ даръ Венеры Марсу слѣдующій, и ничего продолжительнаго ни для себя не требовали, ни сами не обѣщали, а пришли да взяли — и поминай какъ звали. Но вдругъ крутой переломъ! Вдругъ прямо изъ Польши намъ пришло совершенно неожиданное назначеніе въ Молдавію. Поляки мужчины страсть какъ намъ этотъ румынскій край расхваливали: «тамъ, говорятъ, куконы, то-есть эти молдаванскія дамы,—такая краса природы совершенство, какъ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ. И любовь у нихъ, будто, получить ничего не стоитъ, потому что онѣ ужасно пламенныя».

Что же,—мы очень рады такому кладу.

Наши ребята и расхорохорились. Изъ послѣдняго тянутся, передъ выходомъ всякихъ перчатокъ, помадъ и духовъ себѣ въ Варшавѣ понакупили и идутъ съ этимъ запасомъ, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку лапоть не обуваемъ.

Затрубили, въ бубны застучали и вышли съ веселою пѣснею:

«Мы любовницъ оставляемъ,
Оставляемъ и друзей.
Въ шумномъ видѣ представляемъ
Пулей свистъ и звукъ мечей».

Ждали себѣ ни вѣсть какихъ благодатей, а вышло дѣло съ такою развязкою, какой никакимъ образомъ невозможно было представить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вступали мы къ нимъ со всѣмъ русскимъ радушіемъ, потому что молдаване всѣ православные, но страна ихъ намъ съ перваго же впечатлѣнія не понравилась: низменность, кукуруза, арбузы и земляныя груши прекрасныя, но климатъ нездоровый. Очень многіе у насъ еще на походѣ переболѣли, а къ тому же ни привѣтливости, ни благодарности нигдѣ не встрѣчаемъ.

Что ни понадобится — за все давай деньги, а если что-нибудь, хоть пустяки, безъ денегъ у молдава возьмутъ, такъ онъ, чумазый, заголоситъ, будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему—бери свои костыли,—только не голоси, такъ онъ спрячетъ и самъ уйдетъ, такъ что его, чорта лохматаго, нигдѣ и не отыщешь. Иной разъ даже проводить

или дорогу показать станетъ и некому — всѣ разбѣгутся. Трусишки единственные въ мірѣ, и въ низшемъ классѣ у нихъ мы ни одной красивой женщины не замѣтили. Однѣ дѣвчонки чумазыя, да пребезобразнѣйшія старухи.

Ну, думаемъ себѣ, можетъ быть у нихъ это такъ только въ хуторахъ придорожныхъ: тутъ всегда народъ бываетъ похуже; а вотъ придемъ въ городъ, тамъ измѣнится. Не могли же поляки совсѣмъ безъ основанія насъ увѣрять, что здѣсь хороши и куконы! Гдѣ онѣ, эти куконы? посмотримъ.

Пришли въ городъ, анъ и здѣсь то же самое: за все рѣшительно извольте платить.

Въ разсужденіи женской красоты поляки сказали правду. Куконы и куконицы намъ очень понравились—очень томны и такъ гибки, что даже полекъ превосходятъ, а вѣдь ужъ польки, знаете, славятся, хотя онѣ на мой вкусъ немножко большероты, и притомъ въ характерѣ капризовъ у нихъ много. Пока дойдетъ до того, что ей по Мицкевичу скажешь: «Коханка моя! на цо намъ размова»—вволю ей накланяешься. Но въ Молдавіи совсѣмъ другое—тутъ во всемъ жидъ дѣйствуетъ. Да-съ, простой жидъ и безъ него никакой поэзіи нѣтъ. Жидъ является къ вамъ въ гостиницу и спрашиваетъ: не тяготитесь ли вы одиночествомъ и не причуяли ли какую-нибудь кукону?

Вы ему говорите, что его услуги вамъ не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, напримѣръ, такою-то или такою-то дамою, которую вы видѣли, напримѣръ скажете, въ такомъ-то или такомъ-то домѣ подъ шелковымъ шатромъ на балконѣ. А жидъ вамъ отвѣчаетъ: «мозно».

Поневолѣ окрикъ дашь:

— Что такое «мозно»!?

Отвѣчаетъ, что съ этою дамою можно имѣть компанію, и сейчасъ же предлагаетъ, куда надо выѣхать за городъ, въ какую кофейню, куда и она пріѣдетъ туда съ вами кофе пить. Сначала думали—это вранье, но нѣтъ-съ, не вранье. Ну, съ нашей мужской стороны, разумѣется, препятствій нѣтъ, всѣ мы уже что-нибудь присмотрѣли и причуяли и всѣ готовы вмѣстѣ съ какою-нибудь куконою за городъ кофе пить.

Я тоже сказалъ про одну кукону, которую видѣлъ на балконѣ. Очень красивая. Жидъ сказалъ, что она богатая и всего одинъ годъ замужемъ.

— Что-то ужъ, знаете, очень хорошо показалось, такъ что даже и плохо вѣрится. Переспросилъ еще разъ, и опять то же самое слышу: богатая, годъ замужемъ и кофе съ нею пить можно.

— Не врешь ли ты?—говорю жиду.

— Зачѣмъ врать? отвѣчаетъ,—я все честно сдѣлаю: вы сидите сегодня вечеромъ дома, а какъ только смеркнется къ вамъ придетъ ея няня.

— А мнѣ на какой чортъ нужна ея няня?

— Иначе нельзя. Это здѣсь такой порядокъ.

— Ну, если такой порядокъ, то дѣлать нечего, въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ. Хорошо; скажи ея нянѣ, что я буду сидѣть дома и буду ея дожидаться.

— И огня, говоритъ,—у себя не зажигайте.

— Это зачѣмъ?

— А чтобы думали, что васъ дома нѣтъ.

Пожалъ плечами и на это согласился.

— Хорошо, говорю,—не зажгу.

Въ заключеніе жидъ съ меня за свои услуги червонецъ потребовалъ.

— Какъ, говорю,—червонецъ! Ничего еще не видя, да ужъ и червонецъ! Это жирно будетъ.

Но онъ, шельма этакій, должно быть травленый.

Улыбается и говоритъ:

— Нѣтъ; ужъ послѣ того какъ увидите — поздно будетъ получать. Военные, говорятъ, тогда не того...

— Ну, говорю,—про военныхъ ты не смѣй разсуждать,— это не твое дѣло, а то я разобью тебѣ морду и рыло и скажу, что оно такъ и было.

А впрочемъ, далъ ему злата и проклялъ его и вѣрнаго позвалъ раба своего.

Далъ денщику двугривенный и говорю:

— Ступай куда знаешь и нарѣжься какъ сапожникъ, только чтобы вечеромъ тебя дома не было.

Все, замѣчайте, прибавляется расходъ къ расходу. Совсѣмъ не то, что васильки рвать. Да можетъ быть еще и няньку надо позолотить.

Наступилъ вечеръ; товарищи всѣ разошлись по кофейнямъ. Тамъ тоже дѣвицы служатъ и есть довольно любопытныя,—а я притворился, солгалъ товарищамъ, будто зубы болятъ и будто мнѣ надо пойти въ лазаретъ къ фельдшеру

какихъ-нибудь зубныхъ капель взять, или совсѣмъ пускай зубъ выдернетъ.—Обѣжалъ поскорѣй кварталъ да къ себѣ въ квартиру, — нырнулъ незамѣтно; двери отперъ и сѣлъ безъ огня при окошечкѣ. Сижу какъ дуракъ, дожидаюсь: пульсъ колотится и въ ушахъ стучитъ. А у самого уже и сомнѣніе закралось, думаю: не обманулъ ли меня жидъ, не наговорилъ ли онъ мнѣ про эту няньку, чтобы только червонецъ себѣ схватить... И теперь гдѣ-нибудь другимъ жидамъ хвалится, какъ онъ офицера надулъ, и всѣ помираютъ, хохочутъ. И въ самомъ дѣлѣ, съ какой стати тутъ няня и что̀ ей у меня дѣлать?.. Преглупое положеніе, такъ что я уже рѣшилъ: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду къ товарищамъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вдругъ, я и полсотни не сосчиталъ, раздался тихонечко стукъ въ двери и что-то такое вползаетъ, — шуршитъ этакимъ чѣмъ-то твердымъ. Тогда у нихъ шалоновыя мантоны носили длинныя, а шалонъ шуршитъ.

Безъ свѣчи-то темно у меня такъ, что ничего ясно не разсмотришь, что̀ это за кукуруза.

Только отъ уличнаго фонаря чуть-чуть видно, что гостья моя, должно быть, уже очень большая старушенція. И однако, и эта съ предосторожностями, такъ что на лицѣ у нея вуаль.

Вошла и шепчетъ:

— Гдѣ ты?

Я отвѣчаю:

— Не бойся, говори громко: никого нѣтъ, а я дожидаюсь, какъ сказано. Говори, когда же твоя кукона поѣдетъ кофе пить?

— Это, говоритъ,—отъ тебя зависитъ.

И все шопотомъ.

— Да я, говорю,—всегда готовъ.

— Хорошо. Что же ты мнѣ велишь ей передать?

— Передай, молъ, что я ею пораженъ, влюбленъ, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, напримѣръ, завтра вечеромъ.

— Хорошо, завтра она можетъ пріѣхать.

Кажется вѣдь надо бы ей послѣ этого уходить,—не такъ ли? Но она стоитъ-съ!

безъ разсужденій, какъ даръ Венеры Марсу слѣдующій, и ничего продолжительнаго ни для себя не требовали, ни сами не обѣщали, а пришли да взяли — и поминай какъ звали. Но вдругъ крутой переломъ! Вдругъ прямо изъ Польши намъ пришло совершенно неожиданное назначеніе въ Молдавію. Поляки мужчины страсть какъ намъ этотъ румынскій край расхваливали: «тамъ, говорятъ, куконы, то-есть эти молдаванскія дамы,—такая краса природы совершенство, какъ въ цѣломъ мірѣ нѣтъ. И любовь у нихъ, будто, получить ничего не стоитъ, потому что онѣ ужасно пламенныя».

Что же,—мы очень рады такому кладу.

Наши ребята и расхорохорились. Изъ послѣдняго тянутся, передъ выходомъ всякихъ перчатокъ, помадъ и духовъ себѣ въ Варшавѣ понакупили и идутъ съ этимъ запасомъ, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку лапоть не обуваемъ.

Затрубили, въ бубны застучали и вышли съ веселою пѣснею:

«Мы любовницъ оставляемъ,
Оставляемъ и друзей.
Въ шумномъ видѣ представляемъ
Пулей свистъ и звукъ мечей».

Ждали себѣ ни вѣсть какихъ благодатей, а вышло дѣло съ такою развязкою, какой никакимъ образомъ невозможно было представить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вступали мы къ нимъ со всѣмъ русскимъ радушіемъ, потому что молдаване всѣ православные, но страна ихъ намъ съ перваго же впечатлѣнія не понравилась: низменность, кукуруза, арбузы и земляныя груши прекрасныя, но климатъ нездоровый. Очень многіе у насъ еще на походѣ переболѣли, а къ тому же ни привѣтливости, ни благодарности нигдѣ не встрѣчаемъ.

Что ни понадобится — за все давай деньги, а если что-нибудь, хоть пустяки, безъ денегъ у молдава возьмутъ, такъ онъ, чумазый, заголоситъ, будто у него дитя родное отняли. Воротишь ему—бери свои костыли,—только не голоси, такъ онъ спрячетъ и самъ уйдетъ, такъ что его, чорта лохматаго, нигдѣ и не отыщешь. Иной разъ даже проводить

или дорогу показать станетъ и некому — всѣ разбѣгутся. Трусишки единственные въ мірѣ, и въ низшемъ классѣ у нихъ мы ни одной красивой женщины не замѣтили. Однѣ дѣвчонки чумазыя, да пребезобразнѣйшія старухи.

Ну, думаемъ себѣ, можетъ быть у нихъ это такъ только въ хуторахъ придорожныхъ: тутъ всегда народъ бываетъ похуже; а вотъ придемъ въ городъ, тамъ измѣнится. Не могли же поляки совсѣмъ безъ основанія насъ увѣрять, что здѣсь хороши и куконы! Гдѣ онѣ, эти куконы? посмотримъ.

Пришли въ городъ, анъ и здѣсь то же самое: за все рѣшительно извольте платить.

Въ разсужденіи женской красоты поляки сказали правду. Куконы и куконицы намъ очень понравились—очень томны и такъ гибки, что даже полекъ превосходятъ, а вѣдь ужъ польки, знаете, славятся, хотя онѣ на мой вкусъ немножко большероты, и притомъ въ характерѣ капризовъ у нихъ много. Пока дойдетъ до того, что ей по Мицкевичу скажешь: «Коханка моя! на цо намъ размова»—вволю ей накланяешься. Но въ Молдавіи совсѣмъ другое—тутъ во всемъ жидъ дѣйствуетъ. Да-съ, простой жидъ и безъ него никакой поэзіи нѣтъ. Жидъ является къ вамъ въ гостиницу и спрашиваетъ: не тяготитесь ли вы одиночествомъ и не причуяли ли какую-нибудь кукону?

Вы ему говорите, что его услуги вамъ не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, напримѣръ, такою-то или такою-то дамою, которую вы видѣли, напримѣръ скажете, въ такомъ-то или такомъ-то домѣ подъ шелковымъ шатромъ на балконѣ. А жидъ вамъ отвѣчаетъ: «мозно».

Поневолѣ окрикъ дашь:

— Что такое «мозно»!?

Отвѣчаетъ, что съ этою дамою можно имѣть компанію, и сейчасъ же предлагаетъ, куда надо выѣхать за городъ, въ какую кофейню, куда и она пріѣдетъ туда съ вами кофе пить. Сначала думали—это вранье, но нѣтъ-съ, не вранье. Ну, съ нашей мужской стороны, разумѣется, препятствій нѣтъ, всѣ мы уже что-нибудь присмотрѣли и причуяли и всѣ готовы вмѣстѣ съ какою-нибудь куконою за городъ кофе пить.

Я тоже сказалъ про одну кукону, которую видѣлъ на балконѣ. Очень красивая. Жидъ сказалъ, что она богатая и всего одинъ годъ замужемъ.

— Что-то ужъ, знаете, очень хорошо показалось, такъ что даже и плохо вѣрится. Переспросилъ еще разъ, и опять то же самое слышу: богатая, годъ замужемъ и кофе съ нею пить можно.

— Не врешь ли ты?—говорю жиду.

— Зачѣмъ врать? отвѣчаетъ,—я все честно сдѣлаю: вы сидите сегодня вечеромъ дома, а какъ только смеркнется къ вамъ придетъ ея няня.

— А мнѣ на какой чортъ нужна ея няня?

— Иначе нельзя. Это здѣсь такой порядокъ.

— Ну, если такой порядокъ, то дѣлать нечего, въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ. Хорошо; скажи ея нянѣ, что я буду сидѣть дома и буду ея дожидаться.

— И огня, говоритъ,—у себя не зажигайте.

— Это зачѣмъ?

— А чтобы думали, что васъ дома нѣтъ.

Пожалъ плечами и на это согласился.

— Хорошо, говорю,—не зажгу.

Въ заключеніе жидъ съ меня за свои услуги червонецъ потребовалъ.

— Какъ, говорю,—червонецъ! Ничего еще не видя, да ужъ и червонецъ! Это жирно будетъ.

Но онъ, шельма этакій, должно быть травленый.

Улыбается и говоритъ:

— Нѣтъ; ужъ послѣ того какъ увидите — поздно будетъ получать. Военные, говорятъ, тогда не того...

— Ну, говорю,—про военныхъ ты не смѣй разсуждать,— это не твое дѣло, а то я разобью тебѣ морду и рыло и скажу, что оно такъ и было.

А впрочемъ, далъ ему злата и проклялъ его и вѣрнаго позвалъ раба своего.

Далъ денщику двугривенный и говорю:

— Ступай куда знаешь и нарѣжься какъ сапожникъ, только чтобы вечеромъ тебя дома не было.

Все, замѣчайте, прибавляется расходъ къ расходу. Совсѣмъ не то, что васильки рвать. Да можетъ быть еще и няньку надо позолотить.

Наступилъ вечеръ; товарищи всѣ разошлись по кофейнямъ. Тамъ тоже дѣвицы служатъ и есть довольно любопытныя,—а я притворился, солгалъ товарищамъ, будто зубы болятъ и будто мнѣ надо пойти въ лазаретъ къ фельдшеру

какихъ-нибудь зубныхъ капель взять, или совсѣмъ пускай зубъ выдернетъ.—Обѣжалъ поскорѣй кварталъ да къ себѣ въ квартиру, — нырнулъ незамѣтно; двери отперъ и сѣлъ безъ огня при окошечкѣ. Сижу какъ дуракъ, дожидаюсь: пульсъ колотится и въ ушахъ стучитъ. А у самого уже и сомнѣніе закралось, думаю: не обманулъ ли меня жидъ, не наговорилъ ли онъ мнѣ про эту няньку, чтобы только червонецъ себѣ схватить... И теперь гдѣ-нибудь другимъ жидамъ хвалится, какъ онъ офицера надулъ, и всѣ помираютъ, хохочутъ. И въ самомъ дѣлѣ, съ какой стати тутъ няня и что̀ ей у меня дѣлать?.. Преглупое положеніе, такъ что я уже рѣшилъ: еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду къ товарищамъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вдругъ, я и полсотни не сосчиталъ, раздался тихонечко стукъ въ двери и что-то такое вползаетъ, — шуршитъ этакимъ чѣмъ-то твердымъ. Тогда у нихъ шалоновыя мантоны носили длинныя, а шалонъ шуршитъ.

Безъ свѣчи-то темно у меня такъ, что ничего ясно не разсмотришь, что̀ это за кукуруза.

Только отъ уличнаго фонаря чуть-чуть видно, что гостья моя, должно быть, уже очень большая старушенція. И однако, и эта съ предосторожностями, такъ что на лицѣ у нея вуаль.

Вошла и шепчетъ:

— Гдѣ ты?

Я отвѣчаю:

— Не бойся, говори громко: никого нѣтъ, а я дожидаюсь, какъ сказано. Говори, когда же твоя кукона поѣдетъ кофе пить?

— Это, говоритъ,—отъ тебя зависитъ.

И все шопотомъ.

— Да я, говорю,—всегда готовъ.

— Хорошо. Что же ты мнѣ велишь ей передать?

— Передай, молъ, что я ею пораженъ, влюбленъ, страдаю, и когда ей угодно, я тогда и явлюсь, хотя, напримѣръ, завтра вечеромъ.

— Хорошо, завтра она можетъ пріѣхать.

Кажется вѣдь надо бы ей послѣ этого уходить,—не такъ ли? Но она стоитъ-съ!

— Чего-съ!

Надо, видно, проститься еще съ однимъ червонцемъ. Себѣ бы онъ очень пригодился, но ужъ нечего дѣлать — хочу ей червонецъ подать, какъ она вдругъ спрашиваетъ:

— Согласенъ ли я сейчасъ съ нею послать куконѣ *триста червонцевъ?*

— Что-о-о тако-о-ое?

Она преспокойно повторяетъ: «триста червонцевъ», и начинаетъ мнѣ шептать, что мужъ ея куконы хотя и очень богатъ, но что онъ ей не вѣренъ и проживаетъ деньги съ итальянскою графинею, а кукона совсѣмъ имъ оставлена и даже должна на свой счетъ весь гардеробъ изъ Парижа выписывать, потому что не хочетъ хуже другихъ быть...

То-есть вы понимаете меня, — это чортъ знаетъ что такое! Триста золотыхъ червонцевъ—ни больше, ни меньше!.. А вѣдь это-съ тысяча рублей! Полковницкое жалованье за цѣлый годъ службы... Милліонъ картечей! Какъ это выговорить и предъявить такое требованіе къ офицеру? Но, однако, я нашелся: червонцевъ у меня, думаю, столько нѣтъ, но честь свою я поддержать долженъ.

— Деньги, говорю, — для насъ, русскихъ, пустяки. — Мы о деньгахъ не говоримъ, но кто же мнѣ поручится, что ты ей передашь, а не себѣ возьмешь мои триста червонцевъ?

— Разумѣется, отвѣчаетъ,—я ей передамъ.

— Нѣтъ, говорю,—деньги дѣло не важное, но я не желаю быть тобою одураченъ. — Пусть мы съ нею увидимся, и я ей самой, можетъ-быть, еще больше дамъ.

А кукуруза вломилась въ амбицію и начала наставленіе мнѣ читать.

— Что ты это, говоритъ, — развѣ можно, чтобы кукона сама брала.

— А я не вѣрю.

— Ну, такъ иначе, говоритъ, — ничего не будетъ.

— И не надобно.

Такими она меня впечатлѣніями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовалъ, и очень радъ былъ, когда ее чортъ отъ меня унесъ.

Пошелъ въ кофейню къ товарищамъ, напился вина до чрезвычайности и проводилъ время, какъ и прочіе, по-ка-

валерски; а на другой день пошелъ гулять мимо дома, гдѣ жила моя пригляженая кукона, и вижу, она какъ святая сидитъ у окна въ зеленомъ бархатномъ спенсерѣ, на груди яркій махровый розанъ, воротъ низко вырѣзанъ, голая рука въ широкомъ распашномъ рукавѣ, шитомъ золотомъ, и тѣло... этакое удивительное розовое... изъ зеленаго бархата, совершенно какъ арбузъ изъ кожи, выглядываетъ:

Я не стерпѣлъ, подскочилъ къ окну и заговорилъ:

— Вы меня такъ измучили, какъ женщина съ сердцемъ не должна; я томился и ожидалъ минуты счастія, чтобы гдѣ-нибудь видѣться, но вмѣсто васъ пришла какая-то жадная и для меня подозрительная старуха, насчетъ которой я, какъ честный человѣкъ, долгомъ считаю васъ предупредить: она ваше имя мараетъ.

Кукона не сердится; я ей брякнулъ, что старуха деньги просила,—она и на это только улыбается. Ахъ ты чортъ возьми! зубки открыла — просто перлы средь коралловъ, — все очаровательно, но какъ будто дурочкой отъ нея немножко пахнуло.

— Хорошо, говоритъ,—я няню опять пришлю.

— Кого? эту же самую старуху?

— Да; она нынче вечеромъ опять придетъ.

— Помилуйте, говорю,—да вы, вѣрно, не знаете, что эта алчная старуха какою не стоющею уваженія особою васъ представляетъ!

А кукона вдругъ уронила за окно платокъ, и когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевѣсилась такъ, что вырѣзъ-то этотъ проклятый въ ея лифѣ весь передо мною, какъ дѣтскій бумажный кораблик, вывернулся, а сама шепчетъ:

— Я ей скажу... она будетъ добрѣе.—И съ этимъ окно тюкъ на крюкъ.

«Я ее вечеромъ опять пришлю». «Я велю быть добрѣе». Вѣдь тутъ уже не все глупость, а есть и смѣлая дѣловитость... И это въ такой молоденькой и въ такой хорошенькой женщинѣ!

Любопытно, и кого это не заинтересуетъ? Ребенокъ, а несомнѣнно, что она все знаетъ и все сама ведетъ и сама эту чертовку ко мнѣ присылала и опять ее пришлетъ.

Я взялъ терпѣніе, думаю: дѣлать нечего, буду опять дожидаться, чѣмъ это кончится.

— Чего-съ!

Надо, видно, проститься еще съ однимъ червонцемъ. Себѣ бы онъ очень пригодился, но ужъ нечего дѣлать — хочу ей червонецъ подать, какъ она вдругъ спрашиваетъ:

— Согласенъ ли я сейчасъ съ нею послать куконѣ *триста червонцевъ?*

— Что-о-о тако-о-ое?

Она преспокойно повторяетъ: «триста червонцевъ», и начинаетъ мнѣ шептать, что мужъ ея куконы хотя и очень богатъ, но что онъ ей не вѣренъ и проживаетъ деньги съ итальянскою графинею, а кукона совсѣмъ имъ оставлена и даже должна на свой счетъ весь гардеробъ изъ Парижа выписывать, потому что не хочетъ хуже другихъ быть...

То-есть вы понимаете меня, — это чортъ знаетъ что такое! Триста золотыхъ червонцевъ—ни больше, ни меньше!.. А вѣдь это-съ тысяча рублей! Полковницкое жалованье за цѣлый годъ службы... Милліонъ картечей! Какъ это выговорить и предъявить такое требованіе къ офицеру? Но, однако, я нашелся: червонцевъ у меня, думаю, столько нѣтъ, но честь свою я поддержать долженъ.

— Деньги, говорю, — для насъ, русскихъ, пустяки. — Мы о деньгахъ не говоримъ, но кто же мнѣ поручится, что ты ей передашь, а не себѣ возьмешь мои триста червонцевъ?

— Разумѣется, отвѣчаетъ,—я ей передамъ.

— Нѣтъ, говорю,—деньги дѣло не важное, но я не желаю быть тобою одураченъ. — Пусть мы съ нею увидимся, и я ей самой, можетъ-быть, еще больше дамъ.

А кукуруза вломилась въ амбицію и начала наставленіе мнѣ читать.

— Что ты это, говоритъ, — развѣ можно, чтобы кукона сама брала.

— А я не вѣрю.

— Ну, такъ иначе, говоритъ, — ничего не будетъ.

— И не надобно.

Такими она меня впечатлѣніями исполнила, что я даже физическую усталость почувствовалъ, и очень радъ былъ, когда ее чортъ отъ меня унесъ.

Пошелъ въ кофейню къ товарищамъ, напился вина до чрезвычайности и проводилъ время, какъ и прочіе, по-ка-

валерски; а на другой день пошелъ гулять мимо дома, гдѣ жила моя пригляженая кукона, и вижу, она какъ святая сидитъ у окна въ зеленомъ бархатномъ спенсерѣ, на груди яркій махровый розанъ, воротъ низко вырѣзанъ, голая рука въ широкомъ распашномъ рукавѣ, шитомъ золотомъ, и тѣло... этакое удивительное розовое... изъ зеленаго бархата, совершенно какъ арбузъ изъ кожи, выглядываетъ:

Я не стерпѣлъ, подскочилъ къ окну и заговорилъ:

— Вы меня такъ измучили, какъ женщина [illegible] не должна; я томился и ожидалъ минуты [illegible] гдѣ-нибудь видѣться, но вмѣсто васъ при[illegible] ная и для меня подозрительная старуха. [illegible] я, какъ честный человѣкъ, долгомъ сч[illegible] дить: она ваше имя маретъ.

Кукона не сердится; я ей брякну[illegible] просила,—она и на это только ух[illegible] возьми! зубки открыла — просто [illegible] все очаровательно, но какъ [illegible] множко пахнуло.

— Хорошо, говоритъ,—я [illegible]

— Кого? эту же самую [illegible]

— Да; она нынче вечер[illegible]

— Помилуйте, говор[illegible] эта алчная старуха [illegible] васъ представляетъ!

А кукона вдругъ у[illegible] нагнулся его поднять [illegible] что вырѣзъ-то эт[illegible] мною, какъ дѣт[illegible] сама шепчетъ: [illegible]о

— Я ей скажу... [illegible] но тюкъ на крюкъ. въ

«Я ее вечер[illegible] омъ. Вѣдь тутъ уже [illegible] ь по-тость... И эт[illegible] и мо-кой женщин[illegible] пили,

Любопыт[illegible] ть ужъ сомнѣнно. [illegible] эту черт[illegible] чилось.

Я взял[illegible] о круга жидаться. [illegible]

Дождался сумерекъ и опять притаился, и жду въ потемкахъ. Входитъ опять тотъ же самый шалоновый свертокъ подъ вуалемъ.

— Что, спрашиваю,—скажешь?

Она мнѣ шопотомъ отвѣчаетъ:

— Кукона въ тебя влюблена и съ своей груди розу тебѣ прислала.

— Очень, говорю, — ее благодарю и цѣню,—взялъ розу и поцѣловалъ.

— Ей отъ тебя не надо трехсотъ червонцевъ, а только полтораста.

Хорошо сожалѣніе.... Сбавка большая, а все-таки полтораста червонцевъ пожалуйте. Шутка сказать! Да у насъ рѣшительно ни у кого тогда такихъ денегъ не было, потому что мы, выходя изъ Польши, совсѣмъ не такъ были обнадежены и накупили себѣ что̀ нужно и чего не нужно,—всякаго платья себѣ нашили, чтобы здѣсь лучше себя показать, а о томъ, какіе здѣсь порядки, даже и не думали.

— Поблагодари, говорю,—твою кукону, а ѣхать съ нею на свиданіе не хочу.

— Отчего?

— Ну вотъ еще: отчего? не хочу да и баста.

— Развѣ ты бѣдный? Вѣдь у васъ всѣ богатые. Или кукона не красавица?

— И я, говорю, — не бѣдный, у насъ нѣтъ бѣдныхъ,—и твоя кукона большая красавица, а мы къ такому обращенію съ нами не привыкли!

— А вы какъ же привыкли?

— Я говорю:—Это не твое дѣло.

— Нѣтъ,—говоритъ,—ты мнѣ скажи: какъ вы привыкли, можетъ-быть и это можно.

А я тогда всталъ, пріосанился и говорю:

— Мы вотъ какъ привыкли, что на то у селезня въ крыльяхъ зеркальце, чтобы уточка сама за нимъ бѣжала глядѣться.

Она вдругъ расхохоталась.

— Тутъ, говорю,—ничего нѣтъ смѣшного.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, говоритъ:—это смѣшное!

И убѣжала такъ скоро, словно улетѣла.

Я опять разстроился, пошелъ въ кофейню и опять напился.

Молдавское вино у нихъ дешево. Кислитъ немножко, но пить очень можно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

На другое утро, государи мои, еще лежу я въ постели, какъ приходитъ ко мнѣ жидъ, который самъ собственно и ввелъ меня во всю эту дурацкую исторію, и вдругъ пришелъ просить себѣ за что-то еще червонецъ.

— Я говорю:—за что же это ты, мой любезный, стоишь еще червонца?

— Вы, говоритъ,—мнѣ сами обѣщали.

Я припоминаю, что, дѣйствительно, я ему обѣщалъ другой червонецъ, но не иначе, какъ послѣ того, какъ я буду уже имѣть свиданіе съ куконой.

Такъ ему и говорю. А онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— А вы же съ нею уже два раза видѣлись.

— Да, молъ,—у окошка. Но это недостаточно.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ:—она два раза у васъ была.

— У меня какой-то чортъ старый былъ, а не кукона.

— Нѣтъ, говоритъ,—у васъ была кукона.

— Не ври, жидъ,—за это вашего брата бьютъ!

— Нѣтъ, я, говоритъ, — не вру: это она сама у васъ была, а не старуха. Она вамъ и свою розу подарила, а старухи... у нея совсѣмъ нѣтъ никакой старухи.

Я свое достоинство сохранилъ, но это меня просто ошпарило. Такъ мнѣ стало досадно и такъ горько, что я вцѣпился въ жида и исколотилъ его ужасно, а самъ пошелъ и нарѣзался молдавскимъ виномъ до безпамятства. Но и въ этомъ-то положеніи никакъ не забуду, что кукона у меня была и я ея не узналъ и какъ ворона ее изъ рукъ выпустилъ. Недаромъ мнѣ этотъ шалоновый свертокъ какъ-то былъ подозрителенъ... Словомъ, и больно, и досадно, но стыдно такъ, что хоть сквозь землю провалиться... Былъ въ рукахъ кладъ, да не умѣлъ брать,—теперь сиди дуракомъ.

Но, къ утѣшенію моему, въ то же самое время, въ подобныхъ же родахъ произошла исторія и съ другими моими боевыми товарищами, и всѣ мы съ досады только пили, да арбузы ѣли съ кофейницами, а настоящихъ куконъ ужъ порѣшили наказать презрѣніемъ.

Васильковое наше время невинныхъ успѣховъ кончилось. Скучно было безъ женщинъ порядочнаго образованнаго круга

въ сообществѣ однѣхъ кофейницъ, но старые отцы капитаны насъ куражили.

— Неужели, говорили,—если въ одномъ саду яблоки не зародились, такъ и Спасова дня не будетъ? Куражъ, братцы! Сбой поправкой красенъ.

Куражились мы тѣмъ, что насъ скоро выведутъ изъ города и расквартируютъ по хуторамъ. Тамъ помѣщичьи барышни и вообще все общество, должно-быть, не такое, какъ городское, и подобной скаредности, какъ здѣсь, быть не можетъ. Такъ мы думали и не воображали того, что тамъ насъ ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочемъ, и предвидѣть невозможно было, чѣмъ насъ одолжатъ въ ихъ деревенской простотѣ. Пришелъ вожделѣнный день, мы затрубили, забубнили, «Черную галку» запѣли и вышли на вольный воздухъ.

— Авось, молъ, тутъ опять заголубѣютъ для насъ васильки!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Распредѣленіе, гдѣ кому стоять, намъ вышло самое разнобивуачное, потому что въ Молдавіи на заграничный манеръ,—такихъ большихъ деревень, какъ у насъ, нѣтъ, а все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе къ мызѣ Холуянъ, потому что тамъ жилъ самъ бояръ или банъ, тоже по прозванью Холуянъ. Онъ былъ женатый, и жена, говорили, будто красавица, а о немъ говорили, что онъ большой торгашъ,—у него можно имѣть все, только за деньги—и столъ, и вино. Прежде насъ тамъ по близости другія наши войска стояли, и мы встрѣтили на дорогѣ квартирмейстера, который у Холуяна квитанцію выправлялъ. Обратились къ нему съ разспросами: что и какъ? но онъ былъ изъ полковыхъ стихотворцевъ и все любилъ риѳмами отвѣчать.

— Ничего, говоритъ, — мыза хорошая, какъ придете, увидите:

Между горъ, между ямъ
Сидитъ птица Холуянъ.

Предурацкая это манера стихами о дѣлѣ говорить. У такихъ людей ничего путнаго никогда не добьешься.

— А куконы, спрашиваемъ,—есть?

— Какъ же, отвѣчаетъ:—есть и куконы, есть и препоны.

— Хороши? то-есть красивыя?

— Да, говоритъ,—красивыя и не очень спесивыя.

Спрашиваемъ: находили ли тамъ ихъ офицеры благорасположеніе?

— Какъ же, тамъ, отвѣчаетъ,—на тонцѣ, на древцѣ наши животы скончалися.

— Чортъ его знаетъ, что̀ за языкъ такой!—все загадки загадываетъ.

Однако, всѣ мы поняли, что этотъ шельма изъ хитрыхъ и ничего намъ открыть не хотѣлъ.

А только вотъ, хотите вѣрьте, хотите вы не вѣрьте въ предчувствіе... Нынче вѣдь невѣріе въ модѣ, а я предчувствіямъ вѣрю, потому что въ бурной жизни моей имѣлъ много тому доказательствъ, но на душѣ у меня, когда мы къ этой мызѣ шли, стало такъ уныло, такъ скверно, что просто какъ будто я на свою казнь шелъ.

Ну, а пути и времени, разумѣется, все убываетъ, и вотъ пока я иду на своемъ мѣстѣ въ раздумчивости, сапогами по грязи шлепаю, кто-то изъ переднихъ увидалъ и крикнулъ:

— «Холуянъ!»

Прокатило это по рядамъ, а я отчего-то вдругъ вздрогнулъ, но перекрестился и сталъ всматриваться, гдѣ этотъ чертовскій Холуянъ.

Однако, и крестъ не отогналъ отъ меня тоски. Въ сердцѣ такое томленіе, какъ описывается, что было на походѣ съ молодымъ Іонаѳаномъ, когда онъ увидалъ сладкій медъ на полѣ. Лучше бы его не было,—не пришлось бы тогда бѣдному юношѣ сказать: «вкушая вкусихъ мало меду и се азъ умираю».

А мыза Холуянъ, дѣйствительно, стояла совсѣмъ передъ нами и взаправду была она между горъ и между ямъ, то-есть между этакихъ какихъ-то ледащихъ холмушковъ и плюгавенькихъ озерцовъ.

Первое впечатлѣніе она на меня произвела самое отвратительное.

Были уже и какія-то настоящія пустыя ямы, какъ могилы. Чортъ ихъ знаетъ, когда и какими чертями и для кого онѣ выкопаны, но преглубокія. Глину ли изъ нихъ когда-нибудь доставали, или, какъ нѣкоторые говорили, будто бы тутъ есть цѣлебная грязь и будто ею еще римляне пачкались. Но вообще мѣстность прегрустная и престранная.

Виднѣются кой-гдѣ и перелѣсочки, но точно маленькія кладбища. Грунтъ, что называется, мочажинный и, надо полагать, пропитанъ нездоровою сыростью. Настоящее гнѣздо злой молдаванской лихорадки, отъ которой люди дохнутъ въ молдавскомъ поту.

Когда мы подходили вечеркомъ, небо зарилось, этакое ражее, красное, а надъ зеленью сине, какъ будто синяя тюль раскинута — такой туманъ. Цвѣтковъ и васильковъ нѣтъ, а торчатъ только какія-то точно пухомъ осыпанныя будылья, на которыхъ сидятъ тяжелые желтые кувшины въ родѣ лилій, но преядовитые: какъ чуть его понюхаешь,— сейчасъ носъ распухнетъ. И что еще удивило насъ, какъ тутъ много цапель, точно со всего свѣта собраны, которая летитъ, которая въ водѣ на одной ножкѣ стоитъ. Терпѣть не могу, гдѣ множится эта фараонская птаха: она имѣетъ что-то такое, что о всѣхъ египетскихъ казняхъ напоминаетъ. Мыза Холуянъ довольно большая, но, чортъ ее знаетъ, какъ ее слѣдовало назвать,—дрянная она или хорошая. Очень много разныхъ хозяйственныхъ построекъ, но все какъ-то будто нарочно раскидано «между горъ и между ямъ». Ничего почти одного отъ другого не разглядишь: это въ ямкѣ и то въ ямкѣ, а посреди бугорокъ. Точно какъ будто имѣли въ виду дѣлать здѣсь что-нибудь тайное подъ большимъ секретомъ. Всего вѣроятнѣе, пожалуй, наши русскія деньги поддѣлывали. Домъ помѣщичій, низенькій и очень некрасивый... Облупленный, труба высокая, и снаружи небольшой, но просторный,—говорили,—будто есть комнатъ шестнадцать. Снаружи совсѣмъ похоже на тѣ наши станціонные дома, что покойный Клейнмихель по московскому шоссе настроилъ. И буфеты, и конторы, и проѣзжающіе, и смотритель съ семьею, и все это чортъ знаетъ куда влѣзало, и еще просторно. Строено прямо безъ всякаго фасона, какъ фабрика, крыльцо посерединѣ, въ передней буфетъ, прямо въ залѣ бильярдъ, а жилыя комнаты гдѣ-то такъ особенно спрятаны, какъ будто ихъ и нѣтъ. Словомъ, все какъ на станціи или въ дорожномъ трактирѣ. И въ довершеніе этого сходства напоминаю вамъ, что въ передней былъ учрежденъ буфетъ. Это, пожалуй, и хорошо было «для удобства господъ офицеровъ», но видъ-то все-таки странный, а устройство этого буфета сдѣлано тоже съ подлостью,—чтобы ничѣмъ нашего брата безплатно не попот-

чивать, а вотъ какъ: все, что у насъ есть, мы все предоставляемъ къ вашимъ услугамъ, только не угодно ли получить «за чистыя денежки». Кредитъ, положимъ, былъ открытъ свободный, но все, что получали, водку ли или ихъ мѣстное вино, все этакій особый хлапъ, въ синемъ жупанѣ съ краснымъ гарусомъ,—до самой мелочи писалъ въ книгу живота. Даже и за ѣду деньги брали; мы сначала къ этому долго никакъ не могли себя пріучить, чтобы въ помѣщичьемъ домѣ и деньги платить. И надо вамъ знать, какъ они это ловко подвели, чтобы деньги брать. Тоже прекурьезно. У насъ въ Россіи или въ Польшѣ у хлѣбосольнаго помѣщика стыда бы одного не взяли завести такую коммерцію. Съ перваго же дня является этотъ жупанъ, обходитъ офицеровъ и спрашиваетъ: не угодно ли будетъ всѣмъ съ помѣщикомъ кушать?

Наши ребята, разумѣется, простые, добрые и очень благодарятъ:

— Очень хорошо, говорятъ,—мы очень рады.

— А гдѣ—продолжаетъ жупанъ:—прикажете накрывать на столъ: въ залѣ, или на верандѣ? У насъ, говоритъ,—есть и зала большая, и веранда большая.

— Намъ, говоримъ, — голубчикъ, это все равно, гдѣ хотите.

Нѣтъ-таки, добивается, говоритъ, — бояръ велѣлъ васъ спросить и накрывать столъ непремѣнно по вашему желанію.

— Вотъ, думаемъ,—какая предупредительность!—Накрывай, братъ, гдѣ лучше.

— Лучше, отвѣчаетъ,—на верандѣ.

— Пожалуй, тамъ должно быть воздухъ свѣжѣе.

— Да, и тамъ полъ глиняный.

— Въ этомъ какое же удобство?

— А если красное вино прольется, или что-нибудь другое, то удобнѣе вытереть и пятна не останется.

— Правда, правда!

Замышляется, видимъ, что-то въ родѣ разливного моря.

Вино у нихъ, положимъ, дешевое, правда, съ привкусомъ, но ничего: есть сорта очень изрядные.

Настаетъ время обѣда. Являемся, садимся за столъ—все честь честью,—и хозяева съ нами: самъ Холуянъ, мужчина, этакій худой, черный, съ лицомъ выжженой глины, весь,

можно сказать, жиляный да глиняный и говоритъ съ передушинкой, какъ будто больной.

— Вотъ, говоритъ,—господа, у меня вина такого-то года урожая хорошаго; не хотите ли попробовать?

— Очень рады.

Онъ сейчасъ же кричитъ слугѣ:

— Подай господину поручику такого-то вина.

Тотъ подаетъ и непремѣнно непочатую бутылку, а предъ послѣднимъ блюдомъ вдругъ является жупанъ съ пустымъ блюдомъ и всѣхъ обходитъ.

— Это что, молъ, такое?!..

— Деньги за обѣдъ и за вино.

Мы переконфузились, — особенно тѣ, съ которыми и денегъ не случилось. Тѣ подъ столомъ другъ у друга потихоньку перехватывали.

Вотъ вѣдь какая черномазая рвань!

Но дѣло, которымъ до злого горя насъ донялъ Холуянъ, разумѣется, было не въ этомъ, а въ куконицѣ, изъ-за которой на тонцѣ, на древцѣ всѣ наши животы измотались, а я, можно сказать, навсегда потерялъ то, что мнѣ было всего дороже и милѣе,—можно сказать даже, священнѣе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Семья у нашихъ хозяевъ была такая: самъ банъ Холуянъ, котораго я ужъ вамъ слегка изобразилъ: худой, жиляный, а ножки глиняныя, еще не старый, а все палочкой подпирается и ни на минуту ее изъ рукъ не выпускаетъ. Сядетъ, а палочка у него въ колѣняхъ. Говорили, будто онъ когда-то былъ на дуэли раненъ, а я думаю, что гдѣ-нибудь почту хотѣлъ остановить, да почтальонъ его подстрѣлилъ. Послѣ это объяснилось еще совсѣмъ иначе, и понятно стало, да поздно. А по началу казалось, что онъ человѣкъ свѣтскій и образованный,—ногти длинные, бѣлые и всегда батистовый платокъ въ рукахъ. Для дамы, онъ, впрочемъ, кромѣ образованія, не могъ обѣщать ни малѣйшаго интереса, потому что видъ у него былъ ужасно холоднаго человѣка. А у него куконица просто какъ сказочная царица: было ей лѣтъ не болѣе, какъ двадцать два, двадцать три,—вся въ полномъ расцвѣтѣ, бровь тонкая, черная, кость легкая, а на плечикахъ уже первый молодой жирокъ ямочками пупится и одѣта всегда чудо какъ

къ лицу, чаще въ палевомъ, или въ бѣломъ, съ расшивными узорами, и ножки въ цвѣтныхъ башмакахъ съ золотомъ.

Разумѣется, началось смятеніе сердецъ. У насъ былъ офицеръ, котораго мы звали Фоблазъ, потому что онъ удивительно какъ скоро умѣлъ обворожать женщинъ, — пройдетъ, бывало, мимо дома, гдѣ какая-нибудь мѣщаночка хорошенькая сидитъ,—скажетъ всего три слова: «милые глазки ангелочки»,—смотришь, уже и знакомство завязывается. Я самъ былъ тоже преданъ красотѣ до сумасшествія. Къ концу обѣда я вижу—у него уже все рыльце огнивцемъ, а глаза буравцомъ.

Я его даже остановилъ:

— Ты, говорю,—неприличенъ.

— Не могу, отвѣчаетъ,—и не мѣшай, я ее раздѣваю въ моемъ воображеніи.

Послѣ обѣда Холуянъ предложилъ метнуть банкъ.

Я ему говорю,—какая глупость! А самъ вдругъ о томъ же замечталъ, и вдругъ замѣчаю, что и у другихъ у всѣхъ стало рыльце огнивцемъ, а глаза буравцомъ.

Вотъ она, молъ, съ какого симптома началась проклятая молдавская лихорадка! Всѣ согласились, кромѣ одного Фоблаза. Онъ остался при куконѣ и до самаго вечера съ ней говорилъ.

Вечеромъ спрашиваемъ:

— Что она, какъ—занимательна?

А онъ расхохотался.

— По-моему, отвѣчаетъ,—у нея, должно-быть, матушка или отецъ съ дуринкой были, а она по природѣ въ нихъ пошла. Рѣшимости мало: никуда отъ дома не отходитъ. Надо сообразить—каковъ за нею здѣсь присмотръ и кого она боится? Женщины часто бываютъ нерѣшительны да ненаходчивы. Надо за нихъ думать.

А насчетъ досмотра въ насъ возбуждалъ подозрѣнія не столько самъ Холуянъ, какъ его братъ, который назывался Антоній.

Онъ совсѣмъ былъ непохожъ на брата: такой мужиковатый, полнаго сложенія, но на смѣшныхъ тонкихъ ножкахъ.

Мы его такъ и прозвали «Антошка на тонкой ножкѣ».— Лицо тоже было совершенно не такое, какъ у брата. Простой этакой,—ни скобленъ, ни тесанъ, а слѣпленъ да бро-

шенъ, но намъ сдавалось, что, несмотря на его баранью простоту, въ немъ клокъ сѣрой волчьей шерсти есть... Однако, вышло такое удивленіе, что всѣ наши подозрѣнія были напрасны: за куконою совсѣмъ никакого присмотра не оказалось.

Образъ жизни домашней у Холуяновъ былъ самый удивительный,—точно нарочно на нашу руку приспособлено.

Тонкаго Холуяна Леонарда до самаго обѣда ни за что и нигдѣ нельзя было увидѣть. Чортъ его знаетъ, гдѣ онъ скрывался! Говорили, будто безвыходно сидѣлъ въ отдаленныхъ, внутреннихъ комнатахъ, и что-то тамъ дѣлалъ—литературой будто какой-то занимался. А Антошка на тонкихъ ножкахъ, какъ вставалъ, такъ уходилъ куда-то въ поле съ маленькою безчеревной собачкою, и его также цѣлый день не видно. Все по хозяйству ходитъ. Лучшихъ, то-есть, условій даже и пожелать нельзя.

Оставалось только расположить къ себѣ кукону разговоромъ и другими пріемами. Думалось, что это недолго и что Фоблазъ это сдѣлаетъ, но неожиданно замѣчаемъ, что нашъ Фоблазъ не въ авантажѣ обрѣтается. Все онъ имѣетъ видъ человѣка, который держитъ волка за уши,—ни къ себѣ его ни оборотитъ, ни выпуститъ, а между тѣмъ уже видно, что руки набрякли и вотъ-вотъ сами отвалятся...

Видно, что малый ужасно сконфуженъ, потому что онъ къ неуспѣхамъ не привыкъ, и не только намъ, а самому себѣ этого объяснить не можетъ.

— Въ чемъ же дѣло?

— Пароль донеръ, говоритъ,—ничего не понимаю, кромѣ того, что она очень странная.

— Ну, богатая женщина, избалованная, капризничаетъ,—весьма естественно.

Порядокъ жизни у нашей куконы былъ такой, что она не могла не скучать. Съ утра до обѣда ее почти постоянно можно было видѣть, какъ она мотается, и всегда одна-одинёшенька или возится съ самой глупѣйшей въ мірѣ птицей—съ курицей: странное занятіе для молодой, изящной, богатой дамы, но что сдѣлать, если такова фантазія? Дѣлать ей, видно, было совершенно нечего: выйдетъ она вся въ бѣломъ, или въ палевомъ неглиже, сядетъ на широкихъ плитахъ у края веранды подъ зеленымъ хмелемъ,—въ черныхъ волосахъ тюльпанъ или махровый макъ, и гляди на нее хоть цѣлый

день. Все ея занятіе въ томъ состояло, что, бывало, какую-то любимую свою маленькую курочку съ сережками у себя на колѣняхъ лущеной кукурузой кормитъ.—Ясное дѣло, что образованія должно быть немного, а досуга некуда дѣть. Если съ курицей возится, то, стало-быть, ей очень скучно, а гдѣ женщинѣ скучно, тамъ кавалерское дѣло даму развлекать. Но ничего не выходитъ,—даже и разговоръ съ нею вести трудно, потому что все только слышишь: «шти, эшти, молдованешти, кернешти» — десятаго слова и того понять нельзя. А къ мимикѣ страстей она была ужасно безпонятна. Фоблазъ совсѣмъ руки опустилъ, только конфузился, когда ему смѣялись, что онъ съ курицею не можетъ соперничать. Попыи мы увиваться вокругъ куконы всѣ — кому больше счастье послужитъ, но ни одному изъ насъ ничего не фортунило. Открываешься ей въ любви, а она глядитъ на тебя своими черными волооками, или заговоритъ въ родѣ: «шти, эшти, молдованешти», и ничего болѣе.

Омерзѣло всѣмъ себя видѣть въ такомъ глупомъ положеніи, и даже ссоры пошли, другъ къ другу зависть и ревность,—придираемся, колкости говоримъ... Словомъ, всѣ въ безпокойнѣйшемъ состояніи, то о ней мечтаемъ, то другъ за другомъ въ секретѣ смотримъ за нею. А она сидитъ себѣ съ этой курочкой и кончено. Такъ весь день глядимъ, всю ночь зѣваемъ, а время мчится и строитъ намъ еще другую бѣду. Я вамъ сказалъ, что съ перваго же дня, какъ обѣдъ кончился, Холуянъ предложилъ, что онъ намъ банкъ заложитъ. Съ тѣхъ поръ пошла ежедневно игра: съ обѣда рѣжемся до полночи, и отъ того ли, что всѣ мы стали разсѣянные, или карты невѣрныя, но многіе изъ насъ уже успѣли себя хорошо охолостить даже до послѣдней копейки. А Холуянъ чиститъ, да чиститъ насъ ежедневно, какъ барановъ стрижетъ.

Разорились, оскудѣли и умомъ, и спокойствіемъ, и невѣдомо до чего бы мы дошли, если бы вдругъ не появилось среди насъ новое лицо, которое, можетъ-быть, еще худшія безпокойства надѣлало, но, однако, дало толчокъ къ развязкѣ.

Пріѣхалъ къ намъ съ деньгами чиновникъ комиссаріатскій. Изъ поляковъ, и пожилой, но шельма ужасная: гдѣ взлаетъ, гдѣ хвостомъ повиляетъ,—и ото всѣхъ все узналъ, какъ мы не живемъ, а зѣваемъ. Пошелъ онъ тоже съ нами

къ Холуяну обѣдать, а потомъ остался въ карты играть,— а на кукону, подлецъ, и не смотритъ. Но на другой день-съ вдругъ говоритъ: «я заболѣлъ». Молдавская лихорадка, видите ли, схватила. И что же выдумалъ: не лѣкаря позвалъ, а попа,—молебенъ о здравіи отслужить. Пришелъ попъ—настоящій тараканный лобъ: весь черный и запѣлъ ни на что похоже,—хуже армянскаго. У армяновъ хоть поймешь два слова: «Григоріосъ Арменіосъ», а у этого ничего не разобрать, что онъ лопочетъ.

Полякъ же, шельма, по-ихнему зналъ немножко и такую съ попомъ конституцію развелъ, что пріятелями сдѣлались и оба другъ другомъ довольны: попъ радъ, что комиссіонеръ ему хорошо заплатилъ, а тотъ сразу же отъ его молебна выздоровѣлъ и такую штуку удралъ, что мы и рты разинули.

Вечеромъ, когда уже при свѣчахъ мы всѣ въ залѣ банкъ метали, — входитъ нашъ комиссіонеръ и играть не сталъ, но говоритъ: «я боленъ еще», и прямо прошелъ на веранду, гдѣ въ сумракѣ небесъ, на плитахъ, сидѣла кукона—и вдругъ оба съ нею за густымъ хмелемъ скрылись и исчезли въ темной тѣни. Фоблазъ не утерпѣлъ, выскочилъ, а они уже преавантажно вдвоемъ на плотикѣ черезъ заливчикъ плывутъ къ островку... На его же глазахъ переплыли и скрылись...

А Холуянъ хоть бы, подлецъ, глазомъ моргнулъ. Тасуетъ карты и записи смотритъ на тѣхъ, которые уже въ долгъ промотались...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Но надо вамъ сказать, что̀ это былъ за островокъ, куда они отплывали.

Когда я говорилъ про мызу, я забылъ вамъ сказать, что̀ тамъ при усадьбѣ было самаго лучшаго,—это вотъ и есть маленькій островокъ передъ верандой. Передъ верандой прямо былъ цвѣтникъ, а за цвѣтникомъ сейчасъ заливчикъ, а за нимъ островокъ, небольшой, такъ сказать, величины съ хорошій дворъ помѣщичьяго дома. Весь онъ заросъ густою жимолостью и разными цвѣтущими кустами, въ которыхъ было много соловьевъ. Соловей у нихъ хорошій,—не такой крѣпкій какъ курскій, но на манеръ бердичевскаго. Площадь острова была вся въ бугоркахъ или въ холмикахъ,

и на одномъ холмикѣ была устроена бесѣдочка, а подъ нею въ плитахъ гротъ, гдѣ было очень прохладно. Тутъ стоялъ старинный диванъ, на которомъ можно было отдохнуть, и большая золоченая арфа, на которой кукона играла и пѣла. По острову были расчищены дорожки и въ одномъ мѣстѣ по другую сторону дерновая скамья, откуда былъ широкій видъ на луга. Сообщеніе черезъ проливчикъ къ островку было устроено посредствомъ маленькаго прекраснаго плотика. Перильца и все это на немъ раскрашено въ восточномъ вкусѣ, а по серединѣ золоченое кресло. Садится кукона на это кресло, беретъ пестрое весло съ двумя лопастями и переплываетъ. Другой человѣкъ могъ стоять только сзади за ея кресломъ.

Островъ этотъ и гротъ мы звали: «гротъ Калипсы», но сами тамъ не бывали, потому что плотикъ у куконы былъ на цѣпочкѣ запертъ. Комиссіонеръ нашелъ ключи къ этой цѣпи...

Мы, по правдѣ сказать, просто хотѣли его избить, но онъ смѣлъ былъ, каналья, и всѣхъ успокоилъ.

— Господа! говоритъ: — изъ-за чего намъ ссориться. Я вамъ весь путь покажу. Это мнѣ попъ сказалъ. Я его спросилъ: какая кукона? А онъ говоритъ: «очень хорошая — о бѣдныхъ заботится». Я взялъ пятьдесятъ червонцевъ и ей подалъ молча, для ея бѣдныхъ, а она, также молча, мнѣ руку подала и повезла съ собою на островъ. Головой вамъ отвѣчаю,—берите прямо въ руки сверточекъ червонцевъ и, ни слова не разговаривая, тѣмъ же счастіемъ можете пользоваться. Видъ лунный прекрасенъ, арфа сладкозвучна, но я ничѣмъ этимъ болѣе наслаждаться не могу, потому что долгъ службы моей меня призываетъ, и я завтра ѣду отъ васъ, а вы остаетесь.

Вотъ такъ развязка!

Онъ уѣхалъ, а мы смотримъ другъ на друга: кто можетъ жертвовать въ пользу бѣдныхъ здѣшняго прихода по пятидесяти червонцевъ? Нѣкоторые храбрились,—«я вотъ-вотъ изъ дома жду»,—и другой тоже изъ дома ждетъ, а дома-то, вѣрно, и въ своихъ приходахъ случились бѣдные. Что-то никому не присылаютъ.

И вдругъ среди этого — неожиданнѣйшее приключеніе: Фоблазъ оторвалъ цѣпь, которою былъ прикованъ плотикъ, переплылъ туда одинъ и въ гротѣ застрѣлился.

Чортъ знаетъ, что за происшествіе! И товарища жаль, и глупо это какъ-то... совсѣмъ глупо, а однако, печальный фактъ совершился и одного изъ храбрыхъ не стало.

Застрѣлился Фоблазъ, конечно, отъ любви, а любовь разгорѣлась отъ раздраженія самолюбія, такъ какъ онъ у всѣхъ женщинъ на своей родинѣ былъ счастливъ. — Похоронили его честь честью,—съ музыкой, а за упокой его души всѣ, у одного собравшись, выпили и заговорили, что это такъ невозможно оставить,—что мы тутъ съ нашей всегдашней простотою совсѣмъ пропадаемъ. А батальонный маіоръ, который у насъ былъ женатый и человѣкъ обстоятельный, говоритъ:

— Да вы и не безпокойтесь, я уже донесъ по начальству, что не ручаюсь, будетъ ли въ чемъ васъ изъ этой мызы вывесть, и жду завтра же новаго распоряженія. Пусть тутъ чортъ стоитъ у этого Холуяна! Проклятая мыза и проклятый хозяинъ!

И всѣ мы то же самое чувствовали и радовались возможности уйти отсюда, но всѣмъ господамъ офицерамъ досадно было уйти отсюда такъ,—не наказавши подлецовъ.

Придумывали разныя штуки устроить надъ Холуянами; думали его высѣчь или какъ-нибудь смѣшно обрить, но маіоръ сказалъ:

— Боже спаси, господа: прошу васъ, чтобы ничего похожаго на малѣйшее насиліе не было, и кто ему долженъ— извольте, гдѣ хотите занять денегъ и съ нимъ разсчитаться. А если что-нибудь невинненькое, для отыгранія своей чести придумаете,—это можете.

Лиха бѣда, отыгранія чести-то не было на что этого произвести.

Маіоръ сказалъ, наконецъ, что онъ отъ насъ только скрываетъ, а что собственно у него уже есть въ карманѣ предписаніе выступить, и что завтра здѣсь послѣдній день нашей красы, а послѣзавтра на зарѣ и выступимъ въ другія мѣста.

Тутъ мнѣ и взбрыкнула на умъ какая-то кобылка:

— Если, говорю,—мы послѣзавтра выходимъ, такъ что завтра здѣсь нашъ послѣдній вечеръ, то, сдѣлайте милость, Холуянъ будетъ хорошо проученъ, и никому не похвалится, что ему довелось русскихъ офицеровъ надуть.

Нѣкоторые похвалили, говорили, — «молодецъ», а другіе не вѣрили и смѣялись: «ну, гдѣ тебѣ! лучше не трогай».

А я говорю:

— Это, господа, мое дѣло: я все беру за свой пай.

— Но что же такое ты сдѣлаешь?

— Это мой секретъ.

— Но Холуянъ будетъ наказанъ?

— Ужасно!

— И честь наша будетъ отомщена?

— Непремѣнно.

— Поклянись.

Я поклялся тѣнью несчастнаго друга нашего Фоблаза, которая сама себя осудила одиноко блуждать въ этомъ проклятомъ мѣстѣ, и разбилъ свой стаканъ объ полъ.

Всѣ товарищи меня подхватили, одобрили, расцѣловали и запили нашу клятву, но только маіоръ удержалъ, чтобы стакановъ не бить.

— Это, говоритъ,—одинъ театральный фарсъ и больше ничего...

Разошлись прекрасно. Я былъ въ себѣ крѣпко увѣренъ, потому что планъ мой былъ очень хорошъ. Холуянъ въ своихъ продѣлкахъ долженъ быть совершенно одураченъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Настало завтра и послѣдній день нашей красы. Получили мы свое жалованье, отдали все сполна, кто сколько былъ долженъ Холуяну, и осталось у каждаго столько денегъ, что и кошеля не надо. У меня было съ чѣмъ-нибудь сто рублей, то-есть на ихніе, по-тогдашнему, это составляло съ небольшимъ десять червонцевъ. А для меня, по плану затѣи моей, еще требовалось, по крайней мѣрѣ, сорокъ червонцевъ. Гдѣ же ихъ взять? У товарищей и не было, да я и не хотѣлъ, потому что у меня другой планъ имѣлся. Я его и привелъ въ исполненіе.

Приходимъ на послѣднюю вечерю къ Холуяну—онъ очень адушенъ и приглашаетъ меня играть.

Я говорю:

— Радъ бы играть, да игрушекъ нѣтъ.

Онъ проситъ не стѣсняться,—взять взаймы у него изъ банка.

— Хорошо, говорю, — позвольте мнѣ пятьдесятъ червонцевъ.

— Сдѣлайте милость, говоритъ,—и подвигаетъ кучку.

Я взялъ и опустилъ ихъ въ карманъ.

Вѣрилъ намъ, шельма, будто мы всѣ Шереметьевы.

Я говорю:

— Позвольте, я не буду пока ставить, а минуточку погуляю на воздухѣ,—и вышелъ на веранду.

За мною выбѣгаютъ два товарища и говорятъ:

— Что ты это дѣлаешь: чѣмъ отдать?

Я отвѣчаю:

— Не ваше дѣло,—не безпокойтесь.

— Вѣдь это нельзя, пристаютъ,—мы завтра выходимъ,—непремѣнно надо отдать.

— И отдамъ.

— А если проиграешь?

— Во всякомъ случаѣ отдамъ.

И совралъ имъ, будто у меня есть на рукахъ казенныя.

Они отстали, а я прямо подлетаю къ куконѣ, ногой шаркнулъ и подаю ей горсть червонцевъ.

— Прошу, говорю,—васъ принять отъ меня для бѣдныхъ вашего прихода.

Не знаю, какъ она это поняла, но сейчасъ же встала, подала мнѣ свою ручку; мы обошли клумбу, да на плотикѣ и поплыли.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Объ игрѣ ея на арфѣ отмѣннаго сказать нечего: вошли въ гротъ: она сѣла и какой-то экосезъ заиграла. Тогда не было еще такихъ воспалительныхъ романсовъ, какъ «мой тигренокъ», или «затигри меня до смерти»,—а экосезки-съ, все простыя экосезки, подъ которыя можно только одни пà танцовать, а тогда, бывало, ни вѣсть чтò подъ это готовъ сдѣлать. Такъ и въ настоящій разъ, — сначала экосезъ, а потомъ «гули, да люли пошли ходули,—эшти, да молдаванешти»,—кокъ да и дѣло въ мѣшокъ... И благополучнымъ образомъ назадъ оба переплыли.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Откровенно признаться—я не утаю, что былъ въ очень мечтательномъ настроеніи, которое совсѣмъ не отвѣчало задуманному мною плану. Но, знаете, къ тридцати годамъ уже подходило, а въ это время всегда начинаются первыя оглядки. Вспомнилось все — какъ это начиналась «жизнь

сердца»—всѣ эти скромные васильки во ржи на далекой родинѣ, потомъ эти хохлушечки и польки въ ихъ скромныхъ будиночкахъ, и вдругъ — чортъ возьми, — гротъ Калипсы... и сама эта богиня... Какъ хотите, есть о чемъ привести воспоминанія... И вдругъ сдѣлалось мнѣ такъ грустно, что я оставилъ кукону въ уединеніи приковывать цѣпочкою ея плотикъ, а самъ единолично вхожу въ залу, которую оставилъ, какъ банкъ метали, а теперь вмѣсто того застаю ссору, да еще какую! Холуянъ сидитъ, а наши офицеры всѣ встали и нѣкоторые даже нарочно фуражки надѣли, и всѣ шумятъ, спорятъ о справедливости его игры. Онъ ихъ опять всѣхъ обыгралъ.

Офицеры говорятъ:

— Мы вамъ заплатимъ, но, по справедливости говоря, мы вамъ ничего не должны.

Я какъ разъ на эти слова вхожу и говорю:

— И я тоже не долженъ—пятьдесятъ червонцевъ, которые я у васъ занялъ,—я вашей женѣ отдалъ.

Офицеры ужасно смутились, а онъ какъ полотно поблѣднѣлъ съ досады, что я его перехитрилъ. Схватилъ въ руку карты, затрясся и закричалъ:

— Вы врете! вы—плутъ!

И прямо, подлецъ, бросилъ въ меня картами. Но я не потерялся и говорю:

— Ну, нѣтъ, братъ, — я выше плута на два фута, — да бацъ ему пощечину... А онъ тряхнулъ свою палку, а изъ нея выскочила толедская шпага, и онъ съ нею, каналья, на безоружнаго лѣзетъ!

Товарищи кинулись и не допустили. Одни его держали за руки, другіе—меня. А онъ кричитъ:

— Вы подлецъ! никто изъ васъ никогда моей жены не видалъ!

— Ну, молъ, батюшка, — ужъ это ты оставь намъ доказывать,—очень мы ее видали!

— Гдѣ? Какую?

Ему говорятъ:

— Оставьте, объ этомъ-то уже нечего спорить. Разумѣется, мы знаемъ вашу супругу.

А онъ, въ отвѣтъ на это, какъ чортъ расхохотался, плюнулъ и ушелъ за двери, и ключомъ заперся.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

И что же вы думаете?—вѣдь онъ былъ правъ!

Вы себѣ даже и вообразить не можете, что тутъ такое надъ нами было продѣлано. Какая хитрость надъ хитростью и подлость надъ подлостью! Представьте, оказалось, вѣдь, что мы его жены, дѣйствительно, никогда ни одного разу въ глаза не видали! Онъ насъ считалъ какъ бы недостойными, что ли, этой чести, чтобы познакомить насъ съ его настоящимъ семействомъ, и оно на все время нашей стоянки укрывалось въ тѣхъ дальнихъ комнатахъ, гдѣ мы не были. А эта кукона, по которой мы всѣ съ ума сходили и за счастіе считали ручки да ножки ея цѣловать, а одинъ даже умеръ за нее,—была чортъ знаетъ что такое... просто арфистка изъ кофейни, которую за одинъ червонецъ можно нанять танцовать въ костюмѣ Евы... Она была взята изъ профита къ нашему приходу изъ кофейни и онъ съ нея доходъ имѣлъ... И самъ этотъ Холуянъ-то, съ которымъ мы играли, совсѣмъ былъ не Холуянъ, а тоже наемный шуллеръ, а настоящій Холуянъ только и былъ Антошка на тонкихъ ножкахъ, который все съ безчеревной собакой на охоту ходилъ... Онъ и былъ всему этому дѣлу антрепренеръ! Вотъ это плуты, такъ ужъ плуты! теперь посудите же, каково было намъ, офицерамъ, чувствовать, въ какомъ мы были дурацкомъ положеніи, и по чьей милости? — По милости такой, можно сказать, наипрезрѣннѣйшей дряни!

А узналъ объ этомъ прежде всѣхъ я, но только тоже ужъ слишкомъ поздно,—когда вся моя военная карьера черезъ эту гадость была испорчена, благодаря глупости моихъ товарищей. Господа же офицеры наши еще и обидѣлись моимъ поступкомъ, нашли, что я будто поступилъ нечестно,—выдалъ, изволите видѣть, тайну дамы ея мужу... Вотъ вѣдь какая глупость! Однако, потребовали, чтобы я изъ полка вышелъ. Нечего было дѣлать — я вышелъ. Но при проѣздѣ черезъ городъ жидъ мнѣ все и открылъ.

Я говорю:

— Да какъ же, ихъ попъ-то зачѣмъ же онъ про свою кукону говорилъ, что ей будто можно подъ предлогомъ на бѣдныхъ давать?

— А это, говоритъ, — справедливо, только попъ это про

настоящую кукону говорилъ, которая въ комнатахъ сидѣла, а не про ту свинью, которую вы за бобра приняли.

Словомъ сказать—кругомъ одурачены. Я человѣкъ очень сильной комплекціи, но былъ этимъ такъ потрясенъ, что у меня даже молдавская лихорадка сдѣлалась. Насилу на родину дотащился къ своимъ простымъ сердцамъ, и радъ былъ, что городническое мѣстишко себѣ въ жидовскомъ городкѣ досталъ... Не хочу отрицать, — ссорился съ ними не мало, и, признаться сказать, изъ своихъ рукъ училъ, но... слава Богу—жизнь прожита и кусокъ хлѣба даже съ масломъ есть, а вотъ, когда вспомнишь про эту молдавскую лихорадку, такъ опять въ ознобъ броситъ.

И отъ такого непріятнаго ощущенія разсказчикъ опять распаковалъ свою вмѣстительную подушку, налилъ стаканъ аметистовой влаги съ надписью «ея же и монаси пріемлятъ», и молвилъ:

— Выпьемте, господа, за жидовъ и на погибель злымъ плутамъ—румынамъ.

— Что же, это будетъ преоригинально.

— Да,—отозвался другой собесѣдникъ:—но не будетъ ли еще лучше, если мы въ эту ночь, когда родился «Другъ грѣшниковъ», пожелаемъ «всѣмъ добра и никому зла».

— Прекрасно, прекрасно!

И воинъ согласился, сказалъ: «абгемахтъ», и выпилъ чарку.

ШТОПАЛЬЩИКЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Преглупое это пожеланіе сулить каждому въ новомъ году новое счастіе, а вѣдь иногда что-то подобное приходитъ. Позвольте мнѣ разсказать вамъ на эту тему небольшое событьице, имѣющее совсѣмъ святочный характеръ.

Въ одну изъ очень давнихъ моихъ побывокъ въ Москвѣ я задержался тамъ долѣе, чѣмъ думалъ, и мнѣ надоѣло жить въ гостиницѣ. Псаломщикъ одной изъ придворныхъ церквей услышалъ, какъ я жаловался на претерпѣваемыя неудобства пріятелю моему, той церкви священнику, и говоритъ:

— Вотъ бы имъ, батюшка, къ куму моему, — у него нынче комната свободная на улицу.

— Къ какому куму?—спрашиваетъ священникъ.

— Къ Василью Конычу.

— Ахъ, это «метръ тальеръ Лепутанъ!»

— Такъ точно-съ.

— Что же—это, дѣйствительно, очень хорошо.

И священникъ мнѣ пояснилъ, что онъ и людей этихъ знаетъ, и комната отличная, а псаломщикъ добавилъ еще про одну выгоду:

— Если, говоритъ, — что прорвется или низки въ брюкахъ обобьются — все опять у васъ будетъ исправно, такъ что глазомъ не замѣтить.

Я всякія дальнѣйшія освѣдомленія почелъ излишними и даже комнаты не пошелъ смотрѣть, а далъ псаломщику ключъ отъ моего номера съ довѣрительною надписью на

карточкѣ и поручилъ ему разсчитаться въ гостиницѣ, взять оттуда мои вещи и перевезти все къ его куму. Потомъ я просилъ его зайти за мною сюда и проводить меня на мое новое жилище.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Псаломщикъ очень скоро обдѣлалъ мое порученіе и съ небольшимъ черезъ часъ зашелъ за мною къ священнику.

— Пойдемте, говоритъ, — все уже ваше тамъ разложили и разставили, и окошечки вамъ открыли, и дверку въ садъ на балкончикъ отворили, и даже сами съ кумомъ тамъ же, на балкончикѣ, чайку выпили. Хорошо тамъ, разсказываетъ,—цвѣтки вокругъ, въ крыжовникѣ пташки гнѣздятся и въ клѣткѣ подъ окномъ соловей свищетъ. Лучше какъ на дачѣ, потому — зелено, а межъ тѣмъ все домашнее въ порядкѣ, и если какая пуговица ослабѣла или низки обились—сейчасъ исправятъ.

Псаломщикъ былъ парень аккуратный и большой франтъ, а потому онъ очень напиралъ на эту сторону выгодности моей новой квартиры.

Да, и священникъ его поддерживалъ.

— Да, говоритъ, — tailleur Lepoutant такой артистъ по этой части, что другого ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ не найдете.

— Спеціалистъ, — серьезно подсказалъ, подавая мнѣ пальто, псаломщикъ.

Кто это Lepoutant—я не разобралъ, да притомъ это до меня и не касалось.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мы пошли пѣшкомъ.

Псаломщикъ увѣрялъ, что извозчика брать не стоитъ, потому что это будто бы «два шага проминажи».

На самомъ дѣлѣ это, однако, оказалось около получасу ходьбы, но псаломщику хотѣлось сдѣлать «проминажу», можетъ-быть, не безъ умысла, чтобы показать бывшую у него въ рукахъ тросточку съ лиловой шелковой кистью.

Мѣстность, гдѣ находится домъ Лепутана, была за Москвой-рѣкою къ Яузѣ, гдѣ-то на бережку. Теперь я уже не припомню, въ какомъ это приходѣ и какъ переулокъ называется. Впрочемъ, это собственно не былъ и переулокъ, а

ШТОПАЛЬЩИКЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Преглупое это пожеланіе сулить каждому въ новомъ году новое счастіе, а вѣдь иногда что-то подобное приходитъ. Позвольте мнѣ разсказать вамъ на эту тему небольшое событьице, имѣющее совсѣмъ святочный характеръ.

Въ одну изъ очень давнихъ моихъ побывокъ въ Москвѣ я задержался тамъ долѣе, чѣмъ думалъ, и мнѣ надоѣло жить въ гостиницѣ. Псаломщикъ одной изъ придворныхъ церквей услышалъ, какъ я жаловался на претерпѣваемыя неудобства пріятелю моему, той церкви священнику, и говоритъ:

— Вотъ бы имъ, батюшка, къ куму моему, — у него нынче комната свободная на улицу.

— Къ какому куму?—спрашиваетъ священникъ.

— Къ Василью Конычу.

— Ахъ, это «метръ тальеръ Лепутанъ!»

— Такъ точно-съ.

— Что же—это, дѣйствительно, очень хорошо.

И священникъ мнѣ пояснилъ, что онъ и людей этихъ знаетъ, и комната отличная, а псаломщикъ добавилъ еще про одну выгоду:

— Если, говоритъ, — что прорвется или низки въ брюкахъ обобьются — все опять у васъ будетъ исправно, такъ что глазомъ не замѣтить.

Я всякія дальнѣйшія освѣдомленія почелъ излишними и даже комнаты не пошелъ смотрѣть, а далъ псаломщику ключъ отъ моего номера съ довѣрительною надписью на

карточкѣ и поручилъ ему разсчитаться въ гостиницѣ, взять оттуда мои вещи и перевезти все къ его куму. Потомъ я просилъ его зайти за мною сюда и проводить меня на мое новое жилище.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Псаломщикъ очень скоро обдѣлалъ мое порученіе и съ небольшимъ черезъ часъ зашелъ за мною къ священнику.

— Пойдемте, говоритъ, — все уже ваше тамъ разложили и разставили, и окошечки вамъ открыли, и дверку въ садъ на балкончикъ отворили, и даже сами съ кумомъ тамъ же, на балкончикѣ, чайку выпили. Хорошо тамъ, разсказываетъ,—цвѣтки вокругъ, въ крыжовникѣ пташки гнѣздятся и въ клѣткѣ подъ окномъ соловей свищетъ. Лучше какъ на дачѣ, потому — зелено, а межъ тѣмъ все домашнее въ порядкѣ, и если какая пуговица ослабѣла или низки обились—сейчасъ исправятъ.

Псаломщикъ былъ парень аккуратный и большой франтъ, а потому онъ очень напиралъ на эту сторону выгодности моей новой квартиры.

Да, и священникъ его поддерживалъ.

— Да, говоритъ, — tailleur Lepoutant такой артистъ по этой части, что другого ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ не найдете.

— Спеціалистъ, — серьезно подсказалъ, подавая мнѣ пальто, псаломщикъ.

Кто это Lepoutant—я не разобралъ, да притомъ это до меня и не касалось.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мы пошли пѣшкомъ.

Псаломщикъ увѣрялъ, что извозчика брать не стоитъ, потому что это будто бы «два шага проминажи».

На самомъ дѣлѣ это, однако, оказалось около получасу ходьбы, но псаломщику хотѣлось сдѣлать «проминажу», можетъ-быть, не безъ умысла, чтобы показать бывшую у него въ рукахъ тросточку съ лиловой шелковой кистью.

Мѣстность, гдѣ находится домъ Лепутана, была за Москвой-рѣкою къ Яузѣ, гдѣ-то на бережку. Теперь я уже не припомню, въ какомъ это приходѣ и какъ переулокъ называется. Впрочемъ, это собственно не былъ и переулокъ, а

скорѣе какой-то непроѣзжій закоулочекъ, въ родѣ стариннаго погоста. Стояла церковка, а вокругъ нея угольничкомъ объѣздъ, и вотъ въ этомъ-то объѣздѣ шесть или семь домиковъ, все очень небольшіе, сѣренькіе, деревянные, одинъ на каменномъ полуэтажѣ. Этотъ былъ всѣхъ показнѣе и всѣхъ больше, и на немъ во весь фронтонъ была прибита большая желѣзная вывѣска, на которой по черному полю золотыми буквами крупно и четко выведено: «Maitr taileur Lepoutant».

Очевидно, здѣсь и было мое жилье, но мнѣ странно показалось: зачѣмъ же мой хозяинъ, по имени Василій Конычъ, называется «Maitr taileur Lepoutant»? Когда его называлъ такимъ образомъ священникъ, я думалъ, что это не болѣе, какъ шутка, и не придалъ этому никакого значенія, но теперь, видя вывѣску, я долженъ былъ перемѣнить свое заключеніе. Очевидно, что дѣло шло въ-серьезъ, и потому я спросилъ моего провожатаго:

— Василій Конычъ—русскій или французъ?

Псаломщикъ даже удивился и какъ будто не сразу понялъ вопросъ, а потомъ отвѣчалъ:

— Что вы это? какъ можно французъ,—чистый русскій! Онъ и платье дѣлаетъ на рынокъ только самое русское: поддевки и тому подобное, но больше онъ по всей Москвѣ знаменитъ починкою: страсть сколько стараго платья черезъ его руки на рынкѣ за новое идетъ.

— Но все-таки,—любопытствую я, — онъ, вѣрно, отъ французовъ происходитъ?

Псаломщикъ опять удивился.

— Нѣтъ, говоритъ, — зачѣмъ же отъ французовъ? Онъ самой правильной здѣшней природы, русской, и дѣтей у меня воспринимаетъ, а вѣдь мы, духовнаго званія, всѣ числимся православные. Да и почему вы такъ воображаете, что онъ приближенъ къ французской націи?

— У него на вывѣскѣ написана французская фамилія.

— Ахъ, это, говоритъ, — совершенные пустяки — одна лаферма. Да и то на главной вывѣскѣ по-французски, а вотъ у самыхъ воротъ, видите, есть другая, русская вывѣска, эта вѣрнѣе.

Смотрю, и точно у воротъ есть другая вывѣска, на которой нарисованы армякъ и поддевка и два черные жилета

съ серебряными пуговицами, сіяющими какъ звѣзды во мракѣ, а внизу подпись:

«Дѣлаютъ кустумы русскаго и духовнаго платья, со спеціальностью ворса, выверта и починки».

Подъ этою второю вывѣскою фамилія производителя «кустумовъ, выверта и починки» не обозначена, а стояли только два иниціала «В. Л.».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Помѣщеніе и хозяинъ оказались въ дѣйствительности выше всѣхъ сдѣланныхъ имъ похвалъ и описаній, такъ что я сразу же почувствовалъ себя здѣсь какъ дома, и скоро полюбилъ моего добраго хозяина, Василья Коныча. Скоро мы съ нимъ стали сходиться пить чай, начали благобесѣдовать о разнообразныхъ предметахъ. Такимъ образомъ, разъ сидя за чаемъ на балкончикѣ, мы завели рѣчи на царственныя темы Когелета о суетѣ всего, что есть подъ солнцемъ, и о нашей неустанной склонности работать всякой суетѣ. Тутъ и договорились до Лепутана.

Не помню, какъ именно это случилось, но только дошло до того, что Василій Конычъ пожелалъ разсказать мнѣ странную исторію: какъ и по какой причинѣ онъ явился «подъ французскимъ заглавіемъ».

Это имѣетъ маленькое отношеніе къ общественнымъ правамъ и къ литературѣ, хотя писано на вывѣскѣ.

Конычъ началъ просто, но очень интересно.

— Моя фамилія, сударь,—сказалъ онъ:—вовсе не Лепутанъ, а иначе,—а подъ французское заглавіе меня помѣстила сама *судьба*.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

— Я природный, коренной москвичъ, изъ бѣднѣйшаго званія. Дѣдушка нашъ у Рогожской заставы стелечки для древлестепенныхъ старовѣровъ продавалъ. Отличный былъ старичокъ, какъ святой, — весь сѣденькій, будто подлинялый зайчикъ, а все до самой смерти своими трудами питался: купитъ, бывало, войлочекъ, нарѣжетъ его на кусочки по подошевкѣ, смечетъ нарочками на нитку и ходитъ «по христіанамъ», а самъ поетъ ласково: «стелечки, стелечки, кому надо стелечки?» Такъ, бывало, по всей Москвѣ ходитъ и на одинъ грошъ у него всего товару, а кормится.

Отецъ мой былъ портной по древнему фасону. Для самыхъ законныхъ старовѣровъ рабскіе кафташки шилъ съ тремя сборочками, и меня къ своему мастерству выучилъ. Но у меня съ дѣтства особенное дарованіе было — штопать. Крою не фасонисто, но штопать у меня первая охота. Такъ я къ этому приспособился, что, бывало, гдѣ угодно на самомъ видномъ мѣстѣ подштопаю и очень трудно замѣтить.

Старики отцу говорили

— Это мальцу отъ Бога таланъ данъ, а гдѣ таланъ, тамъ и счастье будетъ.

Такъ и вышло, но до всякаго счастья надо, знаете, покорное терпѣніе, и мнѣ тоже даны были два немалыя испытанія: во-первыхъ, родители мои померли, оставивъ меня въ очень молодыхъ годахъ, а во-вторыхъ, квартирка, гдѣ я жилъ, сгорѣла ночью на самое Рождество, когда я былъ въ Божьемъ храмѣ у заутрени, — и тамъ погорѣло все мое заведеніе: и утюгъ, и колодка, и чужія вещи, которыя были взяты для штопки. Очутился я тогда въ большомъ злостраданіи, но отсюда же и начался первый шагъ къ моему счастію.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Одинъ давалецъ, у котораго при моемъ разореніи сгорѣла у меня крытая шуба, пришелъ и говоритъ:

— Потеря моя большая и къ самому празднику непріятно остаться безъ шубы, но я вижу, что взять съ тебя нечего, а надо еще тебѣ помочь. Если ты путный парень, такъ я тебя на хорошій путь выведу, съ тѣмъ, однако, что ты мнѣ современемъ долгъ отдашь.

Я отвѣчаю:

— Если бы только Богъ позволилъ, то съ большимъ моимъ удовольствіемъ: отдать долгъ почитаю за первую обязанность.

Онъ велѣлъ мнѣ одѣться и привелъ въ гостиницу напротивъ главнокомандующаго дома къ подбуфетчику и сказываетъ ему при мнѣ:

— Вотъ, говоритъ, — тотъ самый подмастерье, который, я вамъ говорилъ, что для вашей коммерціи можетъ быть очень способный.

Коммерція ихъ была такая, чтобы разутюживать пріѣз-

жающимъ всякое платье, которое пріѣдетъ въ чемоданахъ, замявшись, и всякую починку дѣлать, гдѣ какая потребуется.

Подбуфетчикъ далъ мнѣ на пробу одну штуку сдѣлать, увидалъ, что исполняю хорошо, и приказалъ оставаться.

— Теперь, говоритъ, — Христовъ праздникъ и господъ много наѣхало, и всѣ пьютъ-гуляютъ, а впереди еще Новый годъ и Крещенье — безобразія будетъ еще больше,— оставайся.

Я отвѣчаю:

— Согласенъ.

А тотъ, что меня привелъ, говоритъ:

— Ну, смотри, дѣйствуй,—здѣсь нажить можно. А только его (т. е. подбуфетчика) слушай какъ пастыря. Богъ пристанетъ и пастыря приставитъ.

Отвели мнѣ въ заднемъ коридорѣ маленькій уголочекъ при окошечкѣ, и пошелъ я дѣйствовать. Очень много, пожалуй и не счесть, сколько я господъ перечинилъ, и грѣхъ жаловаться, самъ хорошо починился, потому что работы было ужасно какъ много и плату давали хорошую. Люди простой масти тамъ не останавливались, а пріѣзжали одни козыри, которые любили, чтобы постоять съ главнокомандующимъ на одномъ мѣстоположеніи изъ оконъ въ окна.

Особенно хорошо платили за штуковки да за штопку при тѣхъ случаяхъ, если поврежденіе вдругъ неожиданно окажется въ такомъ платьѣ, которое сейчасъ надѣть надо. Иной разъ, бывало, даже совѣстно,—дырка вся въ гривенникъ, а зачинить ее незамѣтно—даютъ золотой.

Меньше червонца дырочку подштопать никогда не плачивали. Но, разумѣется, требовалось уже и искусство настоящее, чтобы, какъ воды капля съ другою слита и нельзя ихъ различить, такъ чтобы и штука была вштукована.

Изъ денегъ мнѣ, изъ каждой платы, давали третью часть, а первую бралъ подбуфетчикъ, другую — услужающіе, которые въ номерахъ господамъ чемоданы съ пріѣзда разбираютъ и платье чистятъ. Въ нихъ все главное дѣло, потому они вещи и помнутъ, и потрутъ, и дырочку клюнутъ, и потому имъ двѣ доли, а остальное мнѣ. Но только и этого было на мою долю такъ достаточно, что я изъ коридорнаго угла ушелъ, и себѣ на томъ же дворѣ поспокойнѣе комнатку занялъ, а черезъ годъ подбуфетчикова

сестра изъ деревни пріѣхала, я на ней и женился. Теперешняя моя супруга, какъ ее видите,—она и есть, дожила до старости съ почтеніемъ, и, можетъ-быть, на ея долю все Богъ и далъ. А женился просто такимъ способомъ, что подбуфетчикъ сказалъ: «она сирота и ты долженъ ее осчастливить, а потомъ черезъ нее тебѣ большое счастье будетъ». И она тоже говорила: «я, говоритъ, счастливая,— тебѣ за меня Богъ дастъ», и вдругъ, словно черезъ это, въ самомъ дѣлѣ случилась удивительная неожиданность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Пришло опять Рождество, и опять канунъ на Новый годъ. Сижу я вечеромъ у себя — что-то штопаю, и уже думаю работу кончить да спать ложиться, какъ прибѣгаетъ лакей изъ номеровъ и говоритъ:

— Бѣги скорѣй, въ первомъ номерѣ страшный Козырь остановившись, — почитай, всѣхъ перебилъ, и кого ударитъ — червонцемъ даритъ, — сейчасъ онъ тебя къ себѣ требуетъ.

— Что̀ ему отъ меня нужно?—спрашиваю.

— На балъ, говоритъ,—онъ сталъ одѣваться, и въ самую послѣднюю минуту во фракѣ на видномъ мѣстѣ прожженую дырку осмотрѣлъ; человѣка, который чистилъ, избилъ и три червонца далъ. Бѣги, какъ можно скорѣе, такой сердитый, что на всѣхъ звѣрей сразу похожъ.

Я только головой покачалъ, потому что зналъ, какъ они проѣзжающихъ вещи нарочно портятъ, чтобы профитъ съ работы имѣть, но, однако, одѣлся и пошелъ смотрѣть Козыря, который одинъ сразу на всѣхъ звѣрей похожъ.

Плата непремѣнно предвидѣлась большая, потому что первый номеръ во всякой гостиницѣ считается «козырной» и не роскошный человѣкъ тамъ не останавливается; а въ нашей гостиницѣ цѣна за первый номеръ полагалась въ сутки, по-нынѣшнему, пятнадцать рублей, а по-тогдашнему счету на ассигнаціи — пятьдесятъ два съ полтиною, и кто тутъ стоялъ, звали его Козыремъ.

Этотъ, къ которому меня теперь привели, на видъ былъ ужасно какой страшный,—ростомъ огромнѣйшій и съ лица смуглъ и дикъ, и дѣйствительно на всѣхъ звѣрей похожъ.

— Ты, — спрашиваетъ онъ меня злобнымъ голосомъ:—

можешь такъ хорошо дырку заштопать, чтобы замѣтить нельзя?

Отвѣчаю:

— Зависитъ отъ того, въ какой вещи. Если вещь ворсистая, такъ можно очень хорошо сдѣлать, а если блестящій атласъ или шелковая мове—матерія, съ тѣми не берусь.

— Самъ, говоритъ, — ты мове, а мнѣ какой-то подлецъ вчера, вѣроятно, сзади меня сидѣвши, цыгаркою фракъ прожегъ. Вотъ осмотри его и скажи.

Я осмотрѣлъ и говорю:

— Это хорошо можно сдѣлать.

— А въ сколько времени?

— Да черезъ часъ, отвѣчаю,—будетъ готово.

— Дѣлай, говоритъ,—и если хорошо сдѣлаешь, получишь денегъ полушку, а если нехорошо, то головой объ кадушку. Поди разспроси, какъ я здѣшнихъ молодцовъ избилъ, и знай, что тебя я въ сто разъ больнѣе изобью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пошелъ я чинить, а самъ не очень и радъ, потому что не всегда можно быть увѣреннымъ, какъ сдѣлаешь: попроховѣе сукнецо лучше слипнетъ, а которое жостче, — трудно его подворсить такъ, чтобы не было замѣтно.

Сдѣлалъ я, однако, хорошо, но самъ не понесъ, потому что обращеніе его мнѣ очень не нравилось. Работа этакая капризная, что какъ хорошо ни сдѣлай, а все кто охочь придраться—легко можно непріятность получить.

Послалъ я фракъ съ женою къ ея брату и наказалъ, чтобы отдала, а сама скорѣе домой ворочалась, и какъ она прибѣжала назадъ, такъ поскорѣе заперлись изнутри на крюкъ и легли спать.

Утромъ я всталъ и повелъ день своимъ порядкомъ: сижу за работою и жду, какое мнѣ отъ козырнаго барина придутъ сказывать жалованіе — денегъ полушку или головой объ кадушку?

И вдругъ, такъ часу во второмъ, является лакей и говоритъ:

— Баринъ изъ перваго номера тебя къ себѣ требуетъ.

Я говорю:

— Ни за что не пойду.

— Черезъ что такое?

— А такъ — не пойду да и только; пусть лучше работа моя даромъ пропадаетъ, но я видѣть его не желаю.

А лакей сталъ говорить:

— Напрасно ты только страшишься: онъ тобою очень доволенъ остался и въ твоемъ фракѣ на балѣ Новый годъ встрѣчалъ и никто на немъ дырки не замѣтилъ. А теперь у него собрались къ завтраку гости его съ Новымъ годомъ поздравлять и хорошо выпили и, ставши о твоей работѣ разговаривать, объ закладъ пошли: кто дырку найдетъ, да никто не нашелъ. Теперь они на радости, къ этому случаю присыпавшись, за твое русское искусство пьютъ и самого тебя видѣть желаютъ. Иди скорѣй — черезъ это тебя въ Новый годъ новое счастье ждетъ.

И жена тоже на томъ настаиваетъ:

— Иди, да иди, — мое сердце, говоритъ, — чувствуетъ, что съ этого наше новое счастье начинается.

Я ихъ послушался и пошелъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Господъ въ первомъ номерѣ я встрѣтилъ человѣкъ десять и всѣ много выпивши, и какъ я пришелъ, то и мнѣ сейчасъ подаютъ бокалъ съ виномъ и говорятъ:

— Пей съ нами вмѣстѣ за твое русское искусство, въ которомъ ты нашу націю прославить можешь.

И разное такое подъ виномъ говорятъ, чего дѣло совсѣмъ и не стоитъ.

Я, разумѣется, благодарю и кланяюсь, и два бокала выпилъ за Россію и за ихъ здоровье, а болѣе,—говорю,—не могу сладкаго вина пить черезъ то, что я къ нему не привыченъ, да и такой компаніи не заслуживаю.

А страшный баринъ изъ перваго номера отвѣчаетъ:

— Ты, братецъ, оселъ и дуракъ, и скотина, — ты самъ себѣ цѣны не знаешь, сколько ты по своимъ дарованіямъ заслуживаешь. Ты мнѣ помогъ подъ Новый годъ весь предлогъ жизни исправить, черезъ то, что я вчера на балу любимой невѣстѣ важнаго рода въ любви открылся и согласіе получилъ, въ этотъ мясоѣдъ и свадьба моя будетъ.

— Желаю, говорю, — вамъ и будущей супругѣ вашей принять законъ въ полномъ счастіи.

— А ты за это выпей.

Я не могъ отказаться и выпилъ, но дальше прошу отпустить.

— Хорошо, говоритъ, — только скажи мнѣ, гдѣ ты живешь и какъ тебя звать по имени, отчеству и прозванію: я хочу твоимъ благодѣтелемъ быть.

Я отвѣчаю:

— Звать меня Василій, по отцу Кононовъ сынъ, а прозваніе Лапутинъ, и мастерство мое тутъ же рядомъ, тутъ и маленькая вывѣска есть, обозначено: «Лапутинъ».

Разсказываю это и не замѣчаю, что всѣ гости при моихъ словахъ чего-то порскнули и со смѣху покатились, а баринъ, которому я фракъ чинилъ, ни съ того, ни съ сего, хлясь меня въ ухо, а потомъ хлясь въ другое, такъ что я на ногахъ не устоялъ. А онъ подтолкнулъ меня выступкомъ къ двери, да за порогъ и выбросилъ.

Ничего я понять не могъ, и дай Богъ скорѣе ноги.

Прихожу, а жена спрашиваетъ:

— Говори скорѣе, Васенька, какъ мое счастье тебѣ послужило?

Я говорю:

— Ты меня, Машенька, во всѣхъ частяхъ подробно не разспрашивай, но только если по этому началу въ такомъ же родѣ дальше пойдетъ, то лучше бы для твоего счастья не жить. Избилъ меня, ангелъ мой, этотъ баринъ.

Жена встревожилась, — что, какъ и за какую провинность; а я, разумѣется, и сказать не могу, потому что самъ ничего не знаю.

Но пока мы этотъ разговоръ ведемъ, вдругъ у насъ въ сѣнечкахъ что-то застучало, зашумѣло, загремѣло, и входитъ мой изъ перваго номера благодѣтель.

Мы оба встали съ мѣстъ и на него смотримъ, а онъ, раскраснѣвшись отъ внутреннихъ чувствъ, или еще вина подбавивши, и держитъ въ одной рукѣ дворницкій топоръ на долгомъ топорищѣ, а въ другой поколотую въ щепы дощечку, на которой была моя плохая вывѣсочка съ обозначеніемъ моего бѣднаго рукомесла и фамиліи: «старье чинитъ и выворачиваетъ Лапутинъ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Вошелъ баринъ съ этими поколотыми досточками и прямо кинулъ ихъ въ печку, а мнѣ говоритъ: «одѣвайся, сейчасъ

вмѣстѣ со мною въ коляскѣ поѣдемъ, — я счастье жизни твоей устрою. Иначе и тебя, и жену, и все, что у васъ есть, какъ эти доски поколю».

Я думаю:—чѣмъ съ такимъ дебоширомъ спорить, лучше его скорѣе изъ дома увести, чтобы женѣ какой обиды не сдѣлалъ.

Торопливо одѣлся,—говорю женѣ:

— Перекрести меня, Машенька!—и поѣхали. Прикатили въ Бронную, гдѣ жилъ извѣстный покупной сводчикъ Прохоръ Иванычъ, и баринъ сейчасъ спросилъ у него:

— Какіе есть въ продажу дома и въ какой мѣстности, на цѣну отъ двадцати пяти до тридцати тысячъ, или немножко болѣе. Разумѣется, по-тогдашнему, на ассигнаціи.

— Только мнѣ такой домъ требуется, объясняетъ,— чтобы его сію минуту взять и перейти туда можно.

Сводчикъ вынулъ изъ комода тетрадь, вздѣлъ очки, посмотрѣлъ въ одинъ листъ, въ другой, и говоритъ:

— Есть домъ на всѣ виды вамъ подходящій, но только прибавить немножко придется.

— Могу прибавить.

— Такъ надо дать до тридцати пяти тысячъ.

— Я согласенъ.

— Тогда, говоритъ,—все дѣло въ часъ кончимъ и завтра въѣхать въ него можно, потому что въ этомъ домѣ дьяконъ на крестинахъ куриной костью подавился и померъ, и черезъ то тамъ теперь никто не живетъ.

Вотъ это и есть тотъ самый домикъ, гдѣ мы съ вами теперь сидимъ. Говорили, будто здѣсь покойный дьяконъ ночами ходитъ и давится, но только все это совершенные пустяки и никто его тутъ при насъ ни разу не видывалъ. Мы съ женою на другой же день сюда переѣхали, потому что баринъ намъ этотъ домъ по дарственной перевелъ; а на третій день онъ приходитъ съ рабочими, которыхъ больше какъ шесть или семь человѣкъ, и съ ними лѣстница и вотъ эта самая вывѣска, что я будто французскій портной.

Пришли и приколотили, и назадъ ушли, а баринъ мнѣ наказалъ:

— Одно, говоритъ,—тебѣ мое приказаніе: вывѣску эту никогда не смѣть перемѣнять и на это названіе отзываться. И вдругъ вскрикнулъ:

— Лепутанъ!

Я откликаюсь:

— Чего изволите?

— Молодецъ, говоритъ. — Вотъ тебѣ еще тысячу рублей на ложки и плошки, но смотри, Лепутанъ, — заповѣди мои соблюди и тогда самъ соблюденъ будеши, а ежели что... да, снаси тебя Господи, станешь въ своемъ прежнемъ имени утверждаться и я узнаю... то во первое предисловіе я всего тебя изобью, а во-вторыхъ, по закону, «даръ дарителю возвращается». А если въ моемъ желаніи пребудешь, то объясни, что тебѣ еще надо, и все отъ меня получишь.

Я его благодарю и говорю, что никакихъ желаніевъ не имѣю и не придумаю, окромя одного,—если его милость будетъ, сказать мнѣ: что̀ все это значитъ и за что̀ я домъ получилъ?

Но этого онъ не сказалъ.

— Это, говоритъ,—тебѣ совсѣмъ не надо, но только помни, что съ этихъ поръ ты называешься—«Лепутанъ» и такъ въ моей дарственной именованъ. Храни это имя: тебѣ это будетъ выгодно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Остались мы въ своемъ домѣ хозяйствовать и пошло у насъ все очень благополучно, и считали мы такъ, что все это женинымъ счастіемъ, потому что настоящаго объясненія долгое время ни отъ кого получить не могли, но одинъ разъ пробѣжали тутъ мимо насъ два господина и вдругъ остановились и входятъ.

Жена спрашиваетъ:

— Что прикажете?

Они отвѣчаютъ:

— Намъ нужно самого мусье Лепутана.

Я выхожу, а они переглянулись, оба вразъ засмѣялись и заговорили со мной по-французски.

Я извиняюсь, что по-французски не понимаю.

— А давно ли, спрашиваютъ,—вы стали подъ этой вывѣской?

Я имъ сказалъ сколько лѣтъ.

— Ну, такъ и есть. Мы васъ, говорятъ,—помнимъ и видѣли: вы одному господину подъ Новый годъ удивительно

фракъ къ балу заштопали и потомъ отъ него при насъ непріятность въ гостиницѣ перенесли.

— Совершенно вѣрно, говорю,—былъ такой случай, но только я этому господину благодаренъ и черезъ него жить пошелъ, но не знаю ни его имени, ни прозванія, потому все это отъ меня скрыто.

Они мнѣ сказали его имя, а фамилія его, прибавили,—Лапутинъ.

— Какъ, Лапутинъ?

— Да, разумѣется, говорятъ,—Лапутинъ. А вы развѣ не знали, черезъ что онъ вамъ все это благодѣтельство оказалъ. Черезъ то, чтобы его фамиліи на вывѣскѣ не было.

— Представьте, говорю,—а мы до-сю пору ничего этого понять не могли, благодѣяніемъ пользовались, а словно какъ въ потемкахъ.

— Но, однако,—продолжаютъ мои гости:—ему отъ этого ничего не помоглося, — вчера съ нимъ новая исторія вышла.

И разсказали мнѣ такую новость, что стало мнѣ моего прежняго однофамильца очень жалко.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Жена Лапутина, которой они сдѣлали предложеніе въ заштопанномъ фракѣ, была еще щекотистѣе мужа и обожала важность. Сами они оба были не Богъ вѣсть какой породы, а только отцы ихъ по откупамъ разбогатѣли, но искали знакомства съ одними знатными. А въ ту пору у насъ въ Москвѣ былъ главнокомандующимъ графъ Закревскій, который самъ тоже, говорятъ, былъ изъ поляцкихъ шляхтецовъ, и его настоящіе господа, какъ князь Сергѣй Михайловичъ Голицынъ, не высоко числили; но прочіе обольщались быть въ его домѣ приняты. Моего прежняго однофамильца супруга тоже этой чести жаждали. Однако, Богъ ихъ знаетъ почему, имъ это долго не выходило, но, наконецъ, нашелъ господинъ Лапутинъ сдѣлать графу какую-то пріятность, и тотъ ему сказалъ:

— Заѣзжай, братецъ, ко мнѣ, я велю тебя принять, скажи мнѣ, чтобы я не забылъ: какъ твоя фамилія?

Тотъ отвѣчалъ, что его фамилія Лапутинъ.

— Лапутинъ?—заговорилъ графъ:—Лапутинъ... Постой,

постой, сдѣлай милость, Лапутинъ... Я что-то помню, Лапутинъ... Это чья-то фамилія.

— Точно такъ, говоритъ, — ваше сіятельство, это моя фамилія.

— Да, да, братецъ, дѣйствительно это твоя фамилія, только я что-то помню... какъ будто былъ еще кто-то Лапутинъ. Можетъ-быть, это твой отецъ былъ Лапутинъ?

Баринъ отвѣчаетъ, что его отецъ былъ Лапутинъ.

— То-то я помню, помню... Лапутинъ. Очень можетъ быть, что это твой отецъ. У меня очень хорошая память; пріѣзжай, Лапутинъ, завтра же пріѣзжай; я тебя велю принять, Лапутинъ.

Тотъ отъ радости себя не помнитъ и на другой день ѣдетъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Но графъ Закревскій память свою хотя и хвалилъ, однако, на этотъ разъ оплошалъ и ничего не сказалъ, чтобы принять господина Лапутина.

Тотъ разлетѣлся.

— Такой-то, говоритъ,—и желаю видѣть графа.

А швейцаръ его не пущаетъ.

— Никого, говоритъ,—не велѣно принимать.

Баринъ такъ-сякъ его убѣждать,—что «я,—говоритъ,—не самъ, а по графскому зову пріѣхалъ»,—швейцаръ ко всему пребываетъ нечувствителенъ.

— Мнѣ, говоритъ,—никого не велѣно принимать, а если вы по дѣлу, то идите въ канцелярію.

— Не по дѣлу я,—обижается баринъ, а по личному знакомству; графъ навѣрно тебѣ сказалъ мою фамилію—Лапутинъ, а ты, вѣрно, напуталъ.

— Никакой фамиліи мнѣ вчера графъ не говорилъ.

— Этого не можетъ быть; ты просто позабылъ фамилію—Лапутинъ.

— Никогда я ничего не позабываю, а этой фамиліи я даже и не могу позабыть, потому что я самъ Лапутинъ.

Баринъ такъ и вскипѣлъ.

— Какъ, говоритъ,—ты самъ Лапутинъ! Кто тебя научилъ такъ назваться?

А швейцаръ ему отвѣчаетъ:

— Никто меня не научалъ, э наша природа, и въ

Москвѣ Лапутиныхъ обширное множество, но только остальные незначительны, а въ настоящіе люди одинъ я вышелъ.

А въ это время, пока они спорили, графъ съ лѣстницы сходитъ и говоритъ:

— Дѣйствительно, это я его и помню, онъ и есть Лапутинъ, и онъ у меня тоже мерзавецъ. А ты въ другой разъ приди, мнѣ теперь некогда. До свиданія.

Ну, разумѣется, послѣ этого уже какое свиданіе!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Разсказалъ мнѣ это maître tailleur Lepoutant съ сожалительною скромностью и прибавилъ въ видѣ финала, что на другой же день ему довелось, идучи съ работою по бульвару, встрѣтить самого анекдотическаго Лапутина, котораго Василій Конычъ имѣлъ основаніе считать своимъ благодѣтелемъ.

— Сидитъ, говоритъ,—на лавочкѣ очень грустный. Я хотѣлъ проюркнуть мимо, но онъ лишь замѣтилъ и говоритъ:

— Здравствуй, monsieur Lepoutant! Какъ живешь-можешь?

— По Божьей и по вашей милости—очень хорошо. Вы какъ, батюшка, изволите себя чувствовать?

— Какъ нельзя хуже; со мною прескверная исторія случилась.

— Слышалъ, говорю,—сударь, я порадовался, что вы его, по крайней мѣрѣ, не тронули.

— Тронуть его, отвѣчаетъ, — невозможно, потому что онъ не свободнаго трудолюбія, а при графѣ въ мерзавцахъ служитъ; но я хочу знать: кто его подкупилъ, чтобы мнѣ эту подлость сдѣлать?

А Конычъ, по своей простотѣ, сталъ барина утѣшать.

— Не ищите, говоритъ, — сударь, подученія. Лапутиныхъ, точно, много есть, и есть между нихъ люди очень честные, какъ, напримѣръ, мой покойный дѣдушка,—онъ по всей Москвѣ стелечки продавалъ...

А онъ меня вдругъ съ этого слова вразъ черезъ всю спину палкою... Я и убѣжалъ, и съ тѣхъ поръ его не видалъ, а только слышалъ, что они съ супругой за границу во Францію уѣхали, и онъ тамъ разорился и умеръ, а она надъ нимъ памятникъ поставила, да, говорятъ, по случаю,

съ такою надписью, какъ у меня на вывѣскѣ: «Лепутанъ». Такъ и вышли мы опять однофамильцы.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Василій Конычъ закончилъ, а я его спросилъ: почему онъ теперь не хочетъ перемѣнить вывѣски и выставить опять свою законную, русскую фамилію?

— Да зачѣмъ, говоритъ,—сударь, ворошить то, съ чего новое счастье стало, черезъ это можно вредъ всей окрестности сдѣлать.

— Окрестности-то какой же вредъ?

— А какъ же-съ, моя французская вывѣска, хотя, положимъ, всѣ знаютъ, что одна лаферма, однако, черезъ нее наша мѣстность другой эффектъ получила, и дома у всѣхъ сосѣдей совсѣмъ другой противъ прежняго профитъ имѣютъ.

Такъ Конычъ и остался французомъ для пользы обывателей своего замоскворѣцкаго закоулка, а его знатный однофамилецъ безъ всякой пользы сгнилъ подъ псевдонимомъ у Перъ-Лашеза.

ЖИДОВСКАЯ КУВЫРКОЛЛЕГІЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дѣло было на святкахъ послѣ большихъ еврейскихъ погромовъ. Событія эти служили повсемѣстно темою для живыхъ и иногда очень странныхъ разговоровъ на одну и ту же тему: какъ намъ быть съ евреями? Куда ихъ выпроводить, или кому подарить, или самимъ ихъ на свой ладъ передѣлать? Были охотники и дарить, и выпроваживать, но самые практическіе изъ собесѣдниковъ встрѣчали въ обоихъ этихъ случаяхъ неудобство и болѣе склонялись къ тому, что лучше евреевъ приспособить къ своимъ домашнимъ надобностямъ—по преимуществу изнурительнымъ, которыя вели бы родъ ихъ на убыль.

— Но это вы, господа, задумываете что-то въ родѣ «египетской работы»,—молвилъ нѣкто изъ собесѣдниковъ...—Будетъ ли это современно?

— На современность намъ смотрѣть нечего,—отвѣчалъ другой:—мы живемъ внѣ современности, но евреи прескверные строители, а наши инженеры и безъ того гадко строятъ. А вотъ война... военное дѣло тоже убыточно, и чѣмъ намъ лить на поляхъ битвы русскую кровь, гораздо бы лучше поливать землю кровью жидовскою.

Съ этимъ согласились многіе, но только послышались возраженія, что евреи ничего не стоятъ какъ воины, что они—трусы и имъ совсѣмъ чужды отвага и храбрость.

А тутъ сидѣлъ одинъ изъ заслуженныхъ военныхъ, который замѣтилъ, что и храбрость, и отвагу въ сердца жидовъ можно влить.

Всѣ засмѣялись и кто-то замѣтилъ, что это до сихъ поръ еще никому не удавалось.

Военный возразилъ:

— Напротивъ, удавалось, и притомъ съ самымъ блестящимъ результатомъ.

— Когда же это и гдѣ?

— А это цѣлая исторія, о которой я слышалъ отъ очень вѣрнаго человѣка.

Мы попросили разсказать, и тотъ началъ.

— Въ Кіевѣ, въ сороковыхъ годахъ, жилъ нѣкто полковникъ Стадниковъ. Его многіе знали въ мѣстномъ высшемъ кругѣ, образовавшемся изъ чиновнаго населенія, и въ средѣ настоящаго кіевскаго аристократизма, каковымъ слѣдуетъ, безъ сомнѣнія, признавать «кіевскихъ старожилыхъ мѣщанъ». Эти хранили тогда еще воспоминанія о своихъ магдебургскихъ правахъ и своихъ предкахъ, выѣзжавшихъ, въ силу тѣхъ правъ, на днѣпровскую Іордань верхомъ на коняхъ и съ рушницами, которыя они, по командѣ, то вскидывали на плечо, то опускали «товстымъ кінцемъ до чобота!» Захудалые потомки этой настоящей кіевской знати именовали Стадникова «Штаниковымъ»; такъ, вѣроятно, на ихъ вкусъ выходило больше «по-московски» или, просто, такъ было легче для ихъ мягкаго и нѣжнаго произношенія.

Стадниковъ пользовался въ городѣ хорошею репутаціею и добрымъ расположеніемъ; онъ былъ отличный стрѣлокъ и, какъ настоящій охотникъ, самъ не ѣлъ дичи, а всегда ее раздаривалъ. Поэтому извѣстная доля общества была даже заинтересована въ его охотничьихъ успѣхахъ. Кромѣ того, полковникъ былъ, что называется, «пріятный собесѣдникъ». Онъ уже довольно прожилъ на своемъ вѣку; честно служилъ и храбро сражался; много видѣлъ умнаго и глупаго и при случаѣ умѣлъ разсказать занимательную исторійку.

Въ разсказахъ Стадниковъ всегда держался короткаго, такъ сказать, лапидарнаго стиля, въ которомъ прославился король баварскій, но наивысшаго совершенства, по моему мнѣнію, достигъ Степанъ Александровичъ Хрулевъ.

Стадниковъ, впрочемъ, и съ вида былъ похожъ на Хрулева, да имѣлъ и нѣкоторыя другія, сходныя съ нимъ, черты. Такъ, онъ, напримѣръ, подобно Хрулеву, могъ играть

въ карты безъ сна и безъ отдыха по цѣлой недѣлѣ. Соперниковъ по этой выносливости у него во всемъ Кіевѣ не было ни одного, но были только два, достойные его силъ, партнера. Одинъ изъ нихъ былъ просто іерей, а другой—протоіерей. Перваго изъ нихъ звали Евфиміемъ, а другого—Василіемъ. Оба они были люди предобрые и пользовались въ городѣ большою извѣстностью, а притомъ обладали какъ замѣчательными силами физическими, такъ и дарами духовными. Но при всемъ томъ полковникъ далеко превосходилъ ихъ въ выносливости и однажды до того ихъ спуталъ, что отецъ протоіерей, перейдя отъ карточнаго стола къ совершенію утренняго служенія, не во-время позабылся и, вмѣсто положеннаго возгласа: «яко твое царство»,—возгласилъ причетнику: «пассъ!»

Впрочемъ, въ доброй компаніи, которая состояла изъ этихъ трехъ милыхъ людей, не только дѣлали, что играли: случалось, что они иногда отрывались отъ картъ для другихъ занятій, напримѣръ, закусывали и кое-о-чемъ говорили. Разсказывалъ, впрочемъ, по преимуществу, болѣе одинъ Стадниковъ и, какъ нѣкоторые примѣчали, онъ, будто бы, какъ разсказчикъ, не очень строго держался сухой правды, а немного «расцвѣчалъ» свои повѣствованія, или, какъ по-охотницки говорится, немножко привиралъ, но вѣдь безъ этого и невозможно. Довольно того, что полковникъ дѣлалъ это такъ складно и ладно, что вводную неправду у него было очень трудно отличать отъ дѣйствительной основы. Притомъ же Стадниковъ былъ неуступчивъ и переспорить его было невозможно. Разсказывали, будто полковникъ побѣдоносно выходилъ изъ всевозможныхъ въ этомъ родѣ затрудненій до того, что его никто никогда не останавливалъ и ему не возражали; да это и было безполезно. Одинъ разъ полковникъ ошибкой или по увлеченію сказалъ, будто онъ имѣлъ гдѣ-то въ степяхъ ордынскихъ овецъ, у которыхъ было по пуду въ курдюкѣ, а нѣкто, случившійся здѣсь, перехватилъ еще болѣе, что у его овецъ по пуду слишкомъ... Полковникъ только посмотрѣлъ на смѣльчака и спросилъ съ состраданіемъ:

— Да, но что же такое было въ хвостахъ у вашихъ овецъ?

— Разумѣется, сало,—отвѣчалъ собесѣдникъ.

— Ага, то-то и есть! А у моихъ былъ воскъ!

Тѣмъ и покончилъ. Разумѣется, съ такимъ человѣкомъ спорить было невозможно, но слушать его пріятно.

Говорить здѣсь любили о матеріяхъ важныхъ, и одинъ разъ тутъ при мнѣ шла замѣчательная рѣчь о министрахъ и царедворцахъ, причемъ всѣ тогдашніе вельможи были подвергаемы очень строгой критикѣ; но вдругъ усиліемъ одного изъ іереевъ былъ выдвинутъ и высоко превознесенъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ, который «одинъ изъ всѣхъ» не взялъ денегъ съ жидовъ и настоялъ на призывѣ евреевъ къ военной службѣ, наравнѣ со всѣми прочими податными людьми въ русскомъ государствѣ.

Исторія эта, сколько помню, излагалась тогда такимъ образомъ.

Когда государь Николай Павловичъ обратилъ вниманіе на то, что жиды не несутъ рекрутской повинности, и захотѣлъ обсудить это съ своими совѣтниками, то жиды подкупили, будто, всѣхъ важныхъ вельможъ и согласились совѣтовать государю, что евреевъ нельзя брать въ рекруты на томъ основаніи, что «они всю армію перепортятъ». Но не могли жиды задарить только одного графа Мордвинова, который былъ хоть и не богатъ, да честенъ, и держался насчетъ жидовъ такихъ мыслей, что если они живутъ на русской землѣ, то должны одинаково съ русскими нести всѣ тягости и служить въ военной службѣ. А что насчетъ порчи арміи, то онъ этому не вѣрилъ. Однако, евреи все-таки отъ своего не отказывались и не теряли надежды сдѣлаться какъ-нибудь съ Мордвиновымъ: подкупить его или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близкаго графу бѣднаго родственника и склонили его за немалый даръ, чтобы онъ упросилъ Мордвинова принять ихъ и выслушать всего только «два слова»; а своего слова онъ имъ могъ ни одного не сказать. Иначе, дали намекъ, что они все равно, если не такъ, то иначе графа остепенятъ.

Бѣдный родственникъ соблазнился, принялъ жидовскіе дары и говоритъ графу Мордвинову:

— Такъ и такъ, вы меня при моей бѣдности можете осчастливить.

Графъ спрашиваетъ:

— Что же для этого надо сдѣлать, какую неправду?

А бѣдный родственникъ отвѣчаетъ:

— Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы

для меня два жидовскія слова выслушали и ни одного своего не сказали. Черезъ это, — говоритъ, — и вамъ собственный покой и интересъ будетъ.

Графъ подумалъ, улыбнулся и, какъ имѣлъ сердце очень доброе, то отвѣчалъ:

— Хорошо, такъ и быть, я для тебя это сдѣлаю: два жидовскія слова выслушаю и ни одного своего не скажу.

Родственникъ побѣжалъ къ жидамъ, чтобы ихъ обрадовать, а они ему сейчасъ же обѣщанный даръ выдали настоящими золотыми лобанчиками, по два рубля семи гривенъ за штуку, только не прямо изъ рукъ въ руки кучкой дали, а каждый лобанчикъ по столу, покрытому сукномъ, перешмыгнули, отчего съ каждаго золотого на четвертакъ золотой пыли соскочило и въ ихъ пользу осталось. Бѣдный же родственникъ ничего этого не понялъ и сейчасъ побѣжалъ себѣ домикъ купить, чтобы ему было гдѣ жить съ родственниками. А жиды на другое же утро къ графу и принесли съ собою три сельдяныхъ боченка.

Камердинеръ графскій удивился, съ какой это стати графу селедки принесли, но дѣлать было нечего, допустилъ положить тѣ боченки въ залѣ и пошелъ доложить графу. А жиды, межъ тѣмъ, пока графъ къ нимъ вышелъ, эти свои сельдяные боченки раскрыли и въ нихъ срѣзь съ краями полно золота. Всѣ монетки новенькія, какъ жаръ горятъ, и биты однимъ калибромъ: по пяти рублей пятнадцати копеекъ за штуку.

Мордвиновъ вошелъ и сталъ молча, а жиды показали руками на золото и проговорили только два слова:

«Возьмите,—молчите», а сами съ этимъ повернулись и, не ожидая никакого отвѣта, вышли.

Мордвиновъ велѣлъ золото убрать, а самъ поѣхалъ въ государственный совѣтъ и, какъ пришелъ, то точно воды въ ротъ набралъ,—ничего не говоритъ... Такъ онъ молчалъ во все время, пока другіе говорили и доказывали государю всѣми доказательствами, что евреямъ нельзя служить въ военной службѣ. Государь замѣтилъ, что Мордвиновъ молчитъ, и спрашиваетъ его:

— Что вы, графъ Николай Семеновичъ, молчите? Для какой причины? Я ваше мнѣніе знать очень желаю.

А Мордвиновъ будто отвѣчалъ:

— Простите, ваше величество, я не могу ничего говорить, потому что я жидамъ продался.

Государь большіе глаза сдѣлалъ и говоритъ:

— Этого быть не можетъ.

— Нѣтъ, точно такъ, — отвѣчаетъ Мордвиновъ: — я три сельдяные бочонка съ золотомъ взялъ, чтобы ни одного слова правды не сказывать.

Государь улыбнулся и сказалъ:

— Если вамъ три боченка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тѣмъ, которые взялись говорить?.. Но мы это теперь безъ дальнихъ словъ покончимъ.

И съ этимъ взялъ со стола проектъ, гдѣ было написано, чтобы евреевъ брать въ рекруты наравнѣ съ прочими, и написалъ: «быть по сему». Да въ прибавку повелѣлъ еще за тѣхъ, кои, если уклоняться вздумаютъ, то брать за нихъ трехъ, вмѣсто одного, штрафу.

Кажется, это построено слишкомъ по австрійскому анекдоту, извѣстному подъ заглавіемъ: «одно слово министру...» Изъ этого давно сдѣлана пьеска, которая тоже давно уже разыгрывается на театрахъ и близко знакома русскимъ по превосходному исполненію Самойловымъ трудной мимической роли жида; но въ то время, къ которому относится мой разсказъ, этотъ слухъ ходилъ повсемѣстно, и всѣ ему вполнѣ вѣрили, и русскіе восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали.

Анекдотъ этотъ былъ цѣликомъ вспомянутъ въ той задушевной бесѣдѣ полковника Стадникова съ іереями Василіемъ и Евфиміемъ, съ которой начинается нашъ разсказъ, и отсюда рѣчь повели далѣе.

Не любившій дѣлать въ чемъ бы то ни было уступки, полковникъ не выдержалъ и сказалъ:

— Да, эта пѣсня всѣмъ знакома, и давно вы ее все дудите, а того никто не знаетъ, что все бы это ни къ чему еще не повело, если бы въ это дѣло не вмѣшался еще одинъ человѣкъ.—И неуступчивый полковникъ сейчасъ же пояснилъ, что Мордвиновъ настроилъ это дѣло только въ теоріи, а на самомъ исполненіи оно еще могло погибнуть. И въ этой своей, гораздо болѣе важной, части оно спасено другимъ лицомъ, съ которымъ Мордвиновъ, по справедливости, долженъ бы подѣлиться честью. Но какъ справедли-

вости нѣтъ на землѣ, то этотъ достойный человѣкъ не только ничѣмъ не награжденъ, но даже остается въ полнѣйшей неизвѣстности.

— А кто же это такой?—вопросили оба іерея.

— Это одинъ простодушный кромчанинъ незнатнаго происхожденія, по имени Симеонъ Машкинъ или Мамашкинъ,— судя по фамиліи, должно-быть, сынъ пылкой, но незаконной любви, которому я далъ за всю его патріотическую услугу три гривенника, да и тѣ ему впрокъ не пошли.

Отцы іереи вспомнили, какъ полковникъ спорилъ про бараньи курдюки, и сказали:

— Ну, это вы, вѣроятно, опять что-нибудь такое, изъ чего воскъ выйдетъ.

Но полковникъ отвѣчалъ, что это не воскъ, а исторія, и притомъ самая настоящая, самая правдивая исторія, которой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидѣтельствуетъ о ясномъ умѣ и глубокой сообразительности человѣка изъ народа.

— Ну, такъ подавайте вашу исторію и, если она интересна, мы ее охотно послушаемъ.

— Да, она очень интересна, — сказалъ Стадниковъ и, переставъ тасовать карты, началъ слѣдующее повѣствованіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вѣсть, что еврейская просьба объ освобожденіи ихъ отъ рекрутства не выиграла, стрѣлою пролетѣла по пантофлевой почтѣ во всѣ мѣста ихъ осѣдлости. Тутъ сразу же и по городамъ, и по мѣстечкамъ поднялся ужасный гвалтъ и вой. Жиды кричали громко, а жидовки еще громче. Всѣ всполошились и заметались какъ угорѣлые. Совсѣмъ потеряли головы и не знали, что̀ дѣлать. Даже не знали, какому Богу молиться, которому жаловаться. До того дошло, что къ покойному императору Александру Павловичу руки вверхъ все поднимали и вопили на небо:

— Ай, Александеръ, Александеръ, посмотри, що зъ нами твій Миколайчикъ робитъ!

Думали, вѣрно, что Александръ Павловичъ, по огромной своей деликатности, оттуда для нихъ назадъ въ Ильиной колесницѣ спустится и братнино слово «быть по сему» вычеркнетъ.

Долго они съ этимъ, какъ угорѣлые, по школамъ и ба-

зарамъ бѣгали, но никого съ неба не выкликали. Тогда всѣ вдругъ это бросили и начали, куда кто могъ, дѣтей прятать. Отлично, шельмы, прятали, такъ что никто не могъ разыскать. А которымъ не удалось спрятать, тѣ ихъ калѣчили,—плакали, а калѣчили, чтобы сдѣлать негодными.

Въ нѣсколько дней все молодое жидовство, какъ талый снѣгъ, въ землю ушло или поверглось въ отвратительныя лихія болѣсти. Этакой гадости, какую они надъ собой производили, кажется, никогда и не видала наша сарматская сторона. Одни сплошь до шеи покрывались самыми злокачественными золотушными паршами, какихъ ни на одной русской собакѣ до тѣхъ поръ было не видано; другіе сдѣлали себѣ падучую болѣзнь; третьи охромѣли, окривѣли и осухоручили. Бретонскіе компрачикосы, надо полагать, даже не знали того, что̀ тутъ умѣли дѣлать. Въ Бердичевѣ были слухи, будто бы объявился такой докторъ, который бралъ сто рублей за «прецептъ», отъ котораго «кишки наружу выходили, а душа въ тѣлѣ сидѣла». Во многихъ польскихъ аптекахъ продавалось какое-то жестокое снадобье подъ невиннымъ и притомъ исковерканнымъ названіемъ: «капель съ датскаго корабля». Отъ этихъ капель человѣкъ надолго, чуть ли не на цѣлые полгода, терялъ владѣніе всѣми членами и выдерживалъ самое тщательное испытаніе въ госпиталяхъ *). Все это покупали и употребляли, предпочитая, кажется, самыя ужасныя увѣчья служебной неволѣ. Только умирать не хотѣли, чтобы не сокращать чрезъ то родъ израилевъ.

Наборъ, назначенный вскорѣ же послѣ рѣшенія вопроса, съ самаго начала пошелъ ужасно туго, и вскорѣ же понадобились самыя крутыя мѣры побужденія, чтобы законъ, съ грѣхомъ пополамъ, былъ исполненъ. Приказано было за каждаго недоимочнаго рекрута брать трехъ штрафныхъ. Тутъ уже стало не до шутокъ. Сдатчики набирали кое-какихъ, преимущественно, разумѣется, бѣдняковъ, за которыхъ стоять было некому. Между этими попадались и здоровенькіе, такъ какъ у нихъ, видно, не хватало средствъ, чтобы купить спасительныхъ капель «съ датскаго корабля». Иной, бывало, свеклой ноженьки вымажетъ или ободранный козій хвостикъ

*) О такомъ же способѣ разсказываетъ въ одномъ мѣстѣ извѣстный эпатокъ солдатской жизни А. Ѳ. Погосскій. Секретъ этотъ знали и русскія знахарки и обманывали имъ врачей съ блистательнымъ успѣхомъ.

въ карты безъ сна и безъ отдыха по цѣлой недѣлѣ. Соперниковъ по этой выносливости у него во всемъ Кіевѣ не было ни одного, но были только два, достойные его силъ, партнера. Одинъ изъ нихъ былъ просто іерей, а другой—протоіерей. Перваго изъ нихъ звали Евфиміемъ, а другого—Василіемъ. Оба они были люди предобрые и пользовались въ городѣ большою извѣстностью, а притомъ обладали какъ замѣчательными силами физическими, такъ и дарами духовными. Но при всемъ томъ полковникъ далеко превосходилъ ихъ въ выносливости и однажды до того ихъ спуталъ, что отецъ протоіерей, перейдя отъ карточнаго стола къ совершенію утренняго служенія, не во-время позабылся и, вмѣсто положеннаго возгласа: «яко твое царство»,—возгласилъ причетнику: «пассъ!»

Впрочемъ, въ доброй компаніи, которая состояла изъ этихъ трехъ милыхъ людей, не только дѣлали, что играли: случалось, что они иногда отрывались отъ картъ для другихъ занятій, напримѣръ, закусывали и кое-о-чемъ говорили. Разсказывалъ, впрочемъ, по преимуществу, болѣе одинъ Стадниковъ и, какъ нѣкоторые примѣчали, онъ, будто бы, какъ разсказчикъ, не очень строго держался сухой правды, а немного «расцвѣчалъ» свои повѣствованія, или, какъ по-охотницки говорится, немножко привиралъ, но вѣдь безъ этого и невозможно. Довольно того, что полковникъ дѣлалъ это такъ складно и ладно, что вводную неправду у него было очень трудно отличать отъ дѣйствительной основы. Притомъ же Стадниковъ былъ неуступчивъ и переспорить его было невозможно. Разсказывали, будто полковникъ побѣдоносно выходилъ изъ всевозможныхъ въ этомъ родѣ затрудненій до того, что его никто никогда не останавливалъ и ему не возражали; да это и было безполезно. Одинъ разъ полковникъ ошибкой или по увлеченію сказалъ, будто онъ имѣлъ гдѣ-то въ степяхъ ордынскихъ овецъ, у которыхъ было по пуду въ курдюкѣ, а нѣкто, случившійся здѣсь, перехватилъ еще болѣе, что у его овецъ по пуду слишкомъ... Полковникъ только посмотрѣлъ на смѣльчака и спросилъ съ состраданіемъ:

— Да, но что же такое было въ хвостахъ у вашихъ овецъ?

— Разумѣется, сало,—отвѣчалъ собесѣдникъ.

— Ага, то-то и есть! А у моихъ былъ воскъ!

Тѣмъ и покончилъ. Разумѣется, съ такимъ человѣкомъ спорить было невозможно, но слушать его пріятно.

Говорить здѣсь любили о матеріяхъ важныхъ, и одинъ разъ тутъ при мнѣ шла замѣчательная рѣчь о министрахъ и царедворцахъ, причемъ всѣ тогдашніе вельможи были подвергаемы очень строгой критикѣ; но вдругъ усиліемъ одного изъ іереевъ былъ выдвинутъ и высоко превознесенъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ, который «одинъ изъ всѣхъ» не взялъ денегъ съ жидовъ и настоялъ на призывѣ евреевъ къ военной службѣ, наравнѣ со всѣми прочими податными людьми въ русскомъ государствѣ.

Исторія эта, сколько помню, излагалась тогда такимъ образомъ.

Когда государь Николай Павловичъ обратилъ вниманіе на то, что жиды не несутъ рекрутской повинности, и захотѣлъ обсудить это съ своими совѣтниками, то жиды подкупили, будто, всѣхъ важныхъ вельможъ и согласились совѣтовать государю, что евреевъ нельзя брать въ рекруты на томъ основаніи, что «они всю армію перепортятъ». Но не могли жиды задарить только одного графа Мордвинова, который былъ хоть и не богатъ, да честенъ, и держался насчетъ жидовъ такихъ мыслей, что если они живутъ на русской землѣ, то должны одинаково съ русскими нести всѣ тягости и служить въ военной службѣ. А что насчетъ порчи арміи, то онъ этому не вѣрилъ. Однако, евреи все-таки отъ своего не отказывались и не теряли надежды сдѣлаться какъ-нибудь съ Мордвиновымъ: подкупить его или погубить клеветою. Нашли они какого-то одного близкаго графу бѣднаго родственника и склонили его за немалый даръ, чтобы онъ упросилъ Мордвинова принять ихъ и выслушать всего только «два слова»; а своего слова онъ имъ могъ ни одного не сказать. Иначе, дали намекъ, что они все равно, если не такъ, то иначе графа остепенятъ.

Бѣдный родственникъ соблазнился, принялъ жидовскіе дары и говоритъ графу Мордвинову:

— Такъ и такъ, вы меня при моей бѣдности можете осчастливить.

Графъ спрашиваетъ:

— Что же для этого надо сдѣлать, какую неправду?

А бѣдный родственникъ отвѣчаетъ:

— Никакой неправды не надо, а надо только, чтобы вы

для меня два жидовскія слова выслушали и ни одного своего не сказали. Черезъ это, — говоритъ, — и вамъ собственный покой и интересъ будетъ.

Графъ подумалъ, улыбнулся и, какъ имѣлъ сердце очень доброе, то отвѣчалъ:

— Хорошо, такъ и быть, я для тебя это сдѣлаю: два жидовскія слова выслушаю и ни одного своего не скажу.

Родственникъ побѣжалъ къ жидамъ, чтобы ихъ обрадовать, а они ему сейчасъ же обѣщанный даръ выдали настоящими золотыми лобанчиками, по два рубля семи гривенъ за штуку, только не прямо изъ рукъ въ руки кучкой дали, а каждый лобанчикъ по столу, покрытому сукномъ, перешмыгнули, отчего съ каждаго золотого на четвертакъ золотой пыли соскочило и въ ихъ пользу осталось. Бѣдный же родственникъ ничего этого не понялъ и сейчасъ побѣжалъ себѣ домикъ купить, чтобы ему было гдѣ жить съ родственниками. А жиды на другое же утро къ графу и принесли съ собою три сельдяныхъ боченка.

Камердинеръ графскій удивился, съ какой это стати графу селедки принесли, но дѣлать было нечего, допустилъ положить тѣ боченки въ залѣ и пошелъ доложить графу. А жиды, межъ тѣмъ, пока графъ къ нимъ вышелъ, эти свои сельдяные боченки раскрыли и въ нихъ срѣзь съ краями полно золота. Всѣ монетки новенькія, какъ жаръ горятъ, и биты однимъ калибромъ: по пяти рублей пятнадцати копеекъ за штуку.

Мордвиновъ вошелъ и сталъ молча, а жиды показали руками на золото и проговорили только два слова:

«Возьмите,—молчите», а сами съ этимъ повернулись и, не ожидая никакого отвѣта, вышли.

Мордвиновъ велѣлъ золото убрать, а самъ поѣхалъ въ государственный совѣтъ и, какъ пришелъ, то точно воды въ ротъ набралъ,—ничего не говоритъ... Такъ онъ молчалъ во все время, пока другіе говорили и доказывали государю всѣми доказательствами, что евреямъ нельзя служить въ военной службѣ. Государь замѣтилъ, что Мордвиновъ молчитъ, и спрашиваетъ его:

— Что вы, графъ Николай Семеновичъ, молчите? Для какой причины? Я ваше мнѣніе знать очень желаю.

А Мордвиновъ будто отвѣчалъ:

— Простите, ваше величество, я не могу ничего говорить, потому что я жидамъ продался.

Государь большіе глаза сдѣлалъ и говоритъ:

— Этого быть не можетъ.

— Нѣтъ, точно такъ, — отвѣчаетъ Мордвиновъ: — я три сельдяные бочонка съ золотомъ взялъ, чтобы ни одного слова правды не сказывать.

Государь улыбнулся и сказалъ:

— Если вамъ три боченка золота дали за то, чтобы вы только молчали, сколько же надо было дать тѣмъ, которые взялись говорить?.. Но мы это теперь безъ дальнихъ словъ покончимъ.

И съ этимъ взялъ со стола проектъ, гдѣ было написано, чтобы евреевъ брать въ рекруты наравнѣ съ прочими, и написалъ: «быть по сему». Да въ прибавку повелѣлъ еще за тѣхъ, кои, если уклоняться вздумаютъ, то брать за нихъ трехъ, вмѣсто одного, штрафу.

Кажется, это построено слишкомъ по австрійскому анекдоту, извѣстному подъ заглавіемъ: «одно слово министру...» Изъ этого давно сдѣлана пьеска, которая тоже давно уже разыгрывается на театрахъ и близко знакома русскимъ по превосходному исполненію Самойловымъ трудной мимической роли жида; но въ то время, къ которому относится мой разсказъ, этотъ слухъ ходилъ повсемѣстно, и всѣ ему вполнѣ вѣрили, и русскіе восхваляли честность Мордвинова, а евреи жестоко его проклинали.

Анекдотъ этотъ былъ цѣликомъ вспомянутъ въ той задушевной бесѣдѣ полковника Стадникова съ іереями Василіемъ и Евфиміемъ, съ которой начинается нашъ разсказъ, и отсюда рѣчь повели далѣе.

Не любившій дѣлать въ чемъ бы то ни было уступки, полковникъ не выдержалъ и сказалъ:

— Да, эта пѣсня всѣмъ знакома, и давно вы ее все дудите, а того никто не знаетъ, что все бы это ни къ чему еще не повело, если бы въ это дѣло не вмѣшался еще одинъ человѣкъ.—И неуступчивый полковникъ сейчасъ же пояснилъ, что Мордвиновъ настроилъ это дѣло только въ теоріи, а на самомъ исполненіи оно еще могло погибнуть. И въ этой своей, гораздо болѣе важной, части оно спасено другимъ лицомъ, съ которымъ Мордвиновъ, по справедливости, долженъ бы подѣлиться честью. Но какъ справедли-

вости нѣтъ на землѣ, то этотъ достойный человѣкъ не только ничѣмъ не награжденъ, но даже остается въ полнѣйшей неизвѣстности.

— А кто же это такой?—вопросили оба іерея.

— Это одинъ простодушный кромчанинъ незнатнаго происхожденія, по имени Симеонъ Машкинъ или Мамашкинъ,— судя по фамиліи, должно-быть, сынъ пылкой, но незаконной любви, которому я далъ за всю его патріотическую услугу три гривенника, да и тѣ ему впрокъ не пошли.

Отцы іереи вспомнили, какъ полковникъ спорилъ про бараньи курдюки, и сказали:

— Ну, это вы, вѣроятно, опять что-нибудь такое, изъ чего воскъ выйдетъ.

Но полковникъ отвѣчалъ, что это не воскъ, а исторія, и притомъ самая настоящая, самая правдивая исторія, которой ни за что бы не должно забыть неблагодарное потомство, ибо она свидѣтельствуетъ о ясномъ умѣ и глубокой сообразительности человѣка изъ народа.

— Ну, такъ подавайте вашу исторію и, если она интересна, мы ее охотно послушаемъ.

— Да, она очень интересна, — сказалъ Стадниковъ и, переставъ тасовать карты, началъ слѣдующее повѣствованіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вѣсть, что еврейская просьба объ освобожденіи ихъ отъ рекрутства не выиграла, стрѣлою пролетѣла по пантофлевой почтѣ во всѣ мѣста ихъ осѣдлости. Тутъ сразу же и по городамъ, и по мѣстечкамъ поднялся ужасный гвалтъ и вой. Жиды кричали громко, а жидовки еще громче. Всѣ всполошились и заметались какъ угорѣлые. Совсѣмъ потеряли головы и не знали, что̀ дѣлать. Даже не знали, какому Богу молиться, которому жаловаться. До того дошло, что къ покойному императору Александру Павловичу руки вверхъ все поднимали и вопили на небо:

— Ай, Александеръ, Александеръ, посмотри, що зъ нами твій Миколайчикъ робитъ!

Думали, вѣрно, что Александръ Павловичъ, по огромной своей деликатности, оттуда для нихъ назадъ въ Ильиной колесницѣ спустится и братнино слово «быть по сему» вычеркнетъ.

Долго они съ этимъ, какъ угорѣлые, по школамъ и ба-

зарамъ бѣгали, но никого съ неба не выкликали. Тогда всѣ вдругъ это бросили и начали, куда кто могъ, дѣтей прятать. Отлично, шельмы, прятали, такъ что никто не могъ разыскать. А которымъ не удалось спрятать, тѣ ихъ калѣчили,—плакали, а калѣчили, чтобы сдѣлать негодными.

Въ нѣсколько дней все молодое жидовство, какъ талый снѣгъ, въ землю ушло или поверглось въ отвратительныя лихія болѣсти. Этакой гадости, какую они надъ собой производили, кажется, никогда и не видала наша сарматская сторона. Одни сплошь до шеи покрывались самыми злокачественными золотушными паршами, какихъ ни на одной русской собакѣ до тѣхъ поръ было не видано; другіе сдѣлали себѣ падучую болѣзнь; третьи охромѣли, окривѣли и осухоручили. Бретонскіе компрачикосы, надо полагать, даже не знали того, что̀ тутъ умѣли дѣлать. Въ Бердичевѣ были слухи, будто бы объявился такой докторъ, который бралъ сто рублей за «прецептъ», отъ котораго «кишки наружу выходили, а душа въ тѣлѣ сидѣла». Во многихъ польскихъ аптекахъ продавалось какое-то жестокое снадобье подъ невиннымъ и притомъ исковерканнымъ названіемъ: «капель съ датскаго корабля». Отъ этихъ капель человѣкъ надолго, чуть ли не на цѣлые полгода, терялъ владѣніе всѣми членами и выдерживалъ самое тщательное испытаніе въ госпиталяхъ *). Все это покупали и употребляли, предпочитая, кажется, самыя ужасныя увѣчья служебной неволѣ. Только умирать не хотѣли, чтобы не сокращать чрезъ то родъ израилевъ.

Наборъ, назначенный вскорѣ же послѣ рѣшенія вопроса, съ самаго начала пошелъ ужасно туго, и вскорѣ же понадобились самыя крутыя мѣры побужденія, чтобы законъ, съ грѣхомъ пополамъ, былъ исполненъ. Приказано было за каждаго недоимочнаго рекрута брать трехъ штрафныхъ. Тутъ уже стало не до шутокъ. Сдатчики набирали кое-какихъ, преимущественно, разумѣется, бѣдняковъ, за которыхъ стоять было некому. Между этими попадались и здоровенькіе, такъ какъ у нихъ, видно, не хватало средствъ, чтобы купить спасительныхъ капель «съ датскаго корабля». Иной, бывало, свеклой ноженьки вымажетъ или ободранный козій хвостикъ

*) О такомъ же способѣ разсказываетъ въ одномъ мѣстѣ извѣстный знатокъ солдатской жизни А. Ѳ. Погосскій. Секретъ этотъ знали и русскія знахарки и обманывали имъ врачей съ блистательнымъ успѣхомъ.

себѣ приткнетъ, будто кишки изъ него валятся, но сейчасъ у него это вытащатъ и браво — лобъ забреютъ, и служи Богу и государю вѣрой и правдой.

Со всѣми возмутительными мѣрами побужденія кое-какіе полукалѣки, наконецъ, были забриты и началась новая мука съ ихъ устройствомъ къ дѣлу. Вдругъ сюрпризомъ начало обнаруживаться, что евреи воевать не могутъ. Здѣсь уже вашъ Николай Семеновичъ Мордвиновъ никакой помощи намъ оказать не могъ, а военные люди струсили, какъ бы «не пошелъ портежъ въ арміи». Жидки же этого, разумѣется, весьма хотѣли и пробовали привесть въ дѣйство хитрость несказанную.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Набрано было евреевъ въ войска и взрослыхъ, и малолѣтокъ, которымъ минуло будто уже двѣнадцать лѣтъ. Взрослыхъ было немного сравнительно съ малолѣтками, зато съ ними возни было во сто разъ болѣе, чѣмъ съ малолѣтками. Маленькихъ помѣщали въ батальоны военныхъ кантонистовъ, гдѣ наши отцы духовные, по распоряженію отцовъ-командировъ, въ одно мановеніе ока приводили этихъ ребятишекъ къ познанію истинъ православной христіанской вѣры и крестили ихъ во славу имени Господа Іисуса, а со взрослыми это было гораздо труднѣе, и потому ихъ оставляли при всемъ ихъ вехтозавѣтномъ заблужденіи и размѣщали въ небольшомъ количествѣ въ команды.

Все это была, какъ я вамъ сказалъ, самая препоганая калѣчь, способная наводить одно уныніе на фронтъ. И жалостно, и смѣшно было на нихъ смотрѣть, и поневолѣ думалось:

«Изъ-за чего и споръ былъ? Стоило ли брать въ службу такихъ козероговъ, чтобы ими только фронтъ поганить?»

Само дѣло показывало, что надо ихъ убирать куда-нибудь съ глазъ подальше. Въ большинствѣ случаевъ они и сами этого желали и сразу же, обнявъ умомъ свое новое положеніе, старались попадать въ музыкантскія школы или въ швальни, гдѣ нѣтъ дѣла съ ружьемъ. А отъ ружья пятились хуже, чѣмъ чортъ отъ поповскаго кропила, и вдругъ обнаружили твердое намѣреніе отъ настоящаго военнаго ремесла совсѣмъ отбиться.

Въ этомъ родѣ и началась у насъ могущественная игра

природы, которой врядъ ли быть бы выигранною, если бы на помощь государству не пришелъ острый геній Семена Мамашкина. Задумано это было очень серьезно и, по несчастію, начало практиковаться какъ разъ въ той маленькой отдѣльной части, которою я тогда командовалъ, имѣя въ своемъ вѣдѣніи трехъ жидовиновъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Я тогда былъ въ небольшомъ чинѣ и стоялъ съ ротою въ Бѣлой Церкви. (Свой чинъ полковника Стадниковъ почиталъ уже большимъ. Тогда на чины было поскупѣе нынѣшняго). Бѣлая Церковь, какъ вамъ извѣстно, это жидовское царство: все мѣстечко сплошь жидовское. Они тутъ имѣютъ свою вторую столицу. Первая у нихъ—Бердичевъ, а вторая, болѣе старая и болѣе загаженная,—Бѣлая Церковь. У нихъ это соотвѣтствуетъ своего рода Петербургу и Москвѣ. Такъ это и въ жидовскихъ прибауткахъ сказывается.

Жизнь въ Бѣлой Церкви, можно сказать, была и хорошая, и прескверная. Виденъ палацъ Браницкихъ и ихъ роскошный паркъ—Александрія. Рѣка тоже прекрасная и чистая, Рось, которая свѣжитъ однимъ своимъ пріятнымъ названіемъ, не говоря уже объ ея прозрачныхъ водахъ. Воды эти текутъ среди такихъ береговъ, которыми вволю налюбоваться нельзя, а въ мѣстечкѣ такая жидовская нечисть, что жить невозможно. Всякій день, бывало, дегтярнымъ мыломъ съ ногъ до головы моешься, чтобы не покрыться паршами или коростой. Это—одна противность квартированія въ жидовскихъ мѣстечкахъ; а другая заключается въ томъ, что какъ ни вертись, а безъ жидовъ тутъ совсѣмъ пропасть бы пришлось, потому что жидъ сапоги шьетъ, жидъ кастрюли лудитъ, жидъ булки печетъ, — все жидъ, а безъ него ни «пру», ни «ну». Противное положеніе!

Офицеровъ со мною было три человѣка, да все, какъ говорятъ, съ бычками. Одинъ изъ нихъ, всѣхъ постарше, былъ русскій, по фамиліи Рословъ, изъ солдатъ, все Богу молился и каждое первое число у себя водосвятіе правилъ. Жидовъ онъ за людей не считалъ. Другой былъ нѣмецъ, по фамиліи Фингершпилеръ, очень большой чистюля: снаружи все чистился, а изнутри, по собственному его выраженію, «сохранялъ себя въ спирту», т. е. былъ всегда пьянъ.

Въ рѣдкія минуты просвѣтленія, когда Фингершпилеръ случался безъ спиртнаго сохраненія, онъ былъ очень скоръ на руку, но, впрочемъ, службистъ. Третій же, въ чинѣ прапорщика, только что былъ произведенъ изъ фендриковъ, въ которые его сдали тетки, недовольныя какими-то его семейными качествами. И онъ, и его тетки были русскіе, но за какое-то наказаніе или, можетъ-быть, для важности—судьба дала имъ иностранныя фамиліи и притомъ пресмѣшныя. Изъ его собственной фамиліи солдаты сдѣлали «Полуфертъ», а тетки его назывались, кажется: одна—мадамъ Сижу, а другая—мадамъ Лежу. Ни въ одномъ изъ этихъ господъ я не имѣлъ настоящаго помощника на предстоящій мнѣ трудный подвигъ, но прапорщикъ былъ мнѣ всѣхъ вреднѣе. Полуфертъ имѣлъ отвратительныя свойства. Это былъ аристократически-глупый хлыщъ и нестерпимый резонеръ, а въ то же время любилъ деньги и не страдалъ разборчивостью въ средствахъ для ихъ пріобрѣтенія. Онъ даже занималъ деньги у фельдфебеля и не отдавалъ ихъ ему въ срокъ, но любилъ дѣлать дамамъ презенты и сопровождалъ ихъ стихами своего сочиненія. Но что было для меня всего непереноснѣе въ этомъ человѣкѣ — это его ужасная привычка говорить по-французски, тогда какъ онъ, несмотря на свою полуфранцузскую фамилію, не зналъ ни одного слова на этомъ языкѣ. На день, на два—это смѣшно, но въ долготѣ дней, на лѣтнемъ постоѣ, такая штука нервнаго человѣка въ гробъ уложить можетъ. Службою Полуфертъ занимался мало, а больше всего рисовалъ родословное дерево съ длинными хворостинами, на которыхъ онъ разсаживалъ въ кружкахъ какихъ-то перепелокъ съ коронами на макушкахъ. Это все были его предки, черезъ которыхъ онъ имѣлъ твердое намѣреніе доказать свое прямое родство съ какою-то княжескою линіею отъ Бурбонскихъ блюдолизовъ. Тутъ же были и m-me Сижу и m-me Лежу.

Полуферту очень хотѣлось быть княземъ, и то съ корыстною цѣлью, чтобы жениться въ Москвѣ на какой-нибудь богатой купчихѣ. Пока онъ искалъ тридцати тысячъ взаймы, чтобы дать кому-то въ герольдіи за утвержденіе его въ княжествѣ; но только у насъ-то ни у кого такихъ денегъ не было, и онъ твердилъ себѣ на вѣтеръ:

— Муа же сюи юнъ пренсъ!

Это «пренсъ» было для него самое главное въ жизни, а между тѣмъ, при ханжествѣ одного офицера и пьянствѣ другого, этотъ Полуфертъ былъ моимъ самымъ надежнымъ помощникомъ въ то роковое время, когда мнѣ въ роту были присланы три новобранца-жидовина, изъ которыхъ отъ каждаго можно было прійти въ самое безнадежное отчаяніе. Попробую ихъ вамъ представить.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Одинъ изъ трехъ первозванныхъ жидовъ, мною полученныхъ, былъ рыжій, другой—черный или вороной, а третій—пестрый или пѣгій. По послѣднему прошла какая-то прелюбопытная игра причудливой природы: у него на головѣ были три цвѣта волосъ и располагались они, не переходя изъ тона въ тонъ съ какою-нибудь постепенностью, а прямо располагались пестрыми клочками другъ возлѣ друга. Вся его башка была какъ будто холодильный пузырь изъ шотландской клеенки—вся пестрая. Особенно чуденъ былъ хохолъ—весь сѣдой, отчего этотъ жидовинъ имѣлъ нѣкоторымъ образомъ видъ чорта, какихъ пишутъ наши благочестивые изографы на древнихъ иконахъ.

Словомъ, изъ всѣхъ трехъ, что ни портретъ—то рожа, но каждый антикъ въ своемъ родѣ; такъ, напримѣръ, у рыжаго физія была прехитрая и презлая, и, къ тому же, онъ заикался. Черный смотрѣлъ дуракомъ и на самомъ дѣлѣ былъ не уменъ или, по крайней мѣрѣ, всѣ мы такъ думали до извѣстнаго случая, когда мудрецъ Мамашкинъ и въ немъ умъ отыскалъ. У этого брюнета были престрашной толщины губы и такой жирный языкъ, что онъ во рту не вмѣщался и все наружу лѣзъ. Одно то, чтобы выучить этого франта языкъ за губы убирать, ни вѣсть какихъ трудовъ стоило, а къ обученію его говорить по-русски мы даже и приступать не смѣли, потому что этому вся его природа противилась, и онъ, при самыхъ усиленныхъ стараніяхъ что-нибудь выговорить, могъ только плеваться. Но третій, пѣгій или пестрый, имѣлъ безобразіе, которое меня даже къ нему какъ-то располагало. Это былъ человѣкъ удивительно плоскорожій, съ впалыми глазами и однимъ только жидовскимъ носомъ на выкатѣ; но выраженіе лица имѣлъ страдальческое и притомъ онъ лучше всѣхъ своихъ товарищей умѣлъ говорить по-русски.

Лѣтами этотъ пѣгій былъ старше товарищей: тѣмъ двумъ было этакъ лѣтъ по двадцати, а пѣгому, хотя значилось двадцать четыре года, но онъ увѣрялъ, будто ему уже есть лѣтъ за тридцать. Въ эти годы жидовъ уже нельзя было сдавать въ рекруты, но онъ, вѣроятно, былъ сданъ на основаніи присяжнаго удостовѣренія двѣнадцати добросовѣстныхъ евреевъ, поклявшихся всемогущимъ Еговою, что пѣгому только двадцать четыре года.

Клятвопреступничество тогда было въ большомъ ходу и даже являлось необходимостью, такъ какъ жиды или совсѣмъ не вели метрическихъ книгъ, либо предусмотрительно пожгли ихъ, какъ только заслышали, «що зъ ними Миколайчикъ зробытъ». Безъ книгъ лѣта ихъ стали опредѣлять по такъ-называемому присяжному разысканію. Соберутъ, бывало, двѣнадцать прохвостовъ, приведутъ ихъ къ присягѣ съ незамѣтнымъ нарушеніемъ формъ и обрядовъ,—и тѣ врутъ, что имъ закажутъ. Кому надо назначить сколько лѣтъ, столько они и покажутъ, а власти обязаны были имъ вѣрить... Смѣхъ и грѣхъ!

Такъ, бывало, и расхаживаютъ такія шайки присяжныхъ разбойниковъ, всегда числомъ по двѣнадцати, сколько законъ требуетъ для несомнѣнной вѣрности, и при нихъ всегда, какъ при артели, свой рядчикъ, который ихъ водитъ по должностнымъ лицамъ и освѣдомляется:

— Чи нема чого присягать?

Отвратительнѣйшее растлѣніе, до какого едва ли кто иной доходилъ, и все это, повторяю, будучи прикрыто именемъ всемогущаго Еговы, принималось русскими властями за доказательство и даже протежировалось...

Такъ былъ сданъ и мой пѣгій воинъ, котораго имя было Лейзеръ, или по-нашему,—Лазарь.

И имя это чрезвычайно ему шло, потому что онъ весь, какъ я вамъ говорю, былъ прежалкій и внушалъ къ себѣ большое состраданіе.

Всегда этотъ Лазарь былъ смиренъ и безотвѣтенъ; всегда смотрѣлъ прямо въ глаза, точно сейчасъ высѣченный пудель, который старается прочитать въ вашемъ взглядѣ: кончена ли произведенная надъ нимъ экзекуція или только рука у васъ устала и, по маломъ ея отдыхѣ, начнется новое продолженіе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пѣгій былъ дамскій портной и, слѣдуя влеченію природы, принесъ съ собою изъ міра въ команду свою портновскую иглу съ вощеной ниткой и ножницы, и немедленно же открылъ мастерскую и пошелъ всей этой инструментиной дѣйствовать.

Болѣе онъ производилъ какія-то «фантазіи» — изъ стараго дѣлалъ новое, потому что тогда въ провинціи въ моду вошли какія-то этакія особенныя мантиліи, которыя назывались «палантины». Забавная была штука: фасонъ—совершенно какъ будто мужскія панталоны,—такъ это и носили: назади за спиною у дамы словно огузье треплется, а напередъ, черезъ плечи, двѣ штанины спущены. Пресмѣшно, точно солдатъ, который штаны вымылъ и домой ихъ несетъ, чтобы на вѣтеркѣ сохли. И сходство это солдатами было замѣчено и вело къ нѣкоторымъ непріятностямъ, которымъ я долженъ былъ положить конецъ весьма энергическою мѣрою.

Вымоетъ, бывало, солдатъ на рѣкѣ свои бѣлые штаны, накинетъ ихъ на плечи палантиномъ и идетъ. А одинъ до того разрѣзвился, что, встрѣтясь съ становихой, присѣлъ ей по-дамски и сказалъ:

— Кланяйтесь бабушкѣ и поцѣлуйте ручку.

Становой на это пожаловался, и я солдатика велѣлъ высѣчь.

Лазарь отлично строилъ эти палантины изъ старыхъ платьевъ и нарядилъ въ нихъ всѣхъ бѣлоцерковскихъ пань и панянокъ. Но, впрочемъ, говорили, что онъ тоже и новыя платья будто хорошо шилъ. Я въ этомъ, разумѣется, не знатокъ, но меня удивляло его досужество—какъ онъ добывалъ для себя работу и гдѣ находилъ мѣсто ее производить? Тоже удивительна мнѣ была и цѣна, какую онъ бралъ за свое артистическое искусство: за цѣлое платье онъ бралъ отъ четырехъ до пяти злотыхъ, т. е. шестьдесятъ или семьдесятъ пять копеекъ. А палантины прямо ставилъ по два злота за штуку и притомъ половину изъ этого еще отдавалъ фельдфебелю или, по-ихнему—«подфебелю», чтобы отъ него помѣхи въ работѣ не было, а другую половину посылалъ куда-то въ Нѣжинъ или въ Каменецъ семейству «на воспитаніе ребенковъ и прочаго семейства».

«Ребенковъ» у него было, по его словамъ, что-то очень много, едва ли не «семь штуковъ», которые «всѣ себѣ имѣютъ желудки, которые кушать просятъ».

Какъ не почтить человѣка съ такими семейными добродѣтелями, и мнѣ этого Лазаря, повторяю вамъ, было очень жалко, тѣмъ больше, что, обиженный отъ своего собственнаго рода, онъ ни на какую помощь своихъ жидовъ не надѣялся и даже выражалъ къ нимъ горькое презрѣніе, а это, конечно, не проходитъ даромъ, особенно въ родѣ жидовскомъ.

Я его разъ спросилъ:

— Какъ ты это, Лазарь, своего рода не любишь?

А онъ отвѣчалъ, что добра отъ нихъ никакого не видѣлъ.

— И въ самомъ дѣлѣ, говорю я,—какъ они не пожалѣли, что у тебя семь «ребенковъ» и въ рекруты тебя отдали? Это безсовѣстно.

— Какая же,—отвѣчаетъ онъ: — у нашихъ жидовъ совѣсть?

— Я, молъ, думалъ, что, по крайности, хоть противъ своихъ они чего-нибудь посовѣстятся, вѣдь вы всѣ одной вѣры.

Но Лазарь только рукой махнулъ.

— Неужели, спрашиваю,—они ужъ и Бога не боятся?

— Они, говоритъ,—Его въ школѣ запираютъ.

— Ишь, какіе хитрые!

— Да, хитрѣе ихъ, отвѣчаетъ,—на свѣтѣ нѣтъ.

Такимъ образомъ, если замѣчаете, мы съ этимъ пѣгимъ рекрутомъ изъ жидовъ даже какъ будто единомыслили и пришли въ душевное согласіе, и я его очень полюбилъ и сталъ лелѣять тайное намѣреніе какъ-нибудь облегчить его, чтобы онъ могъ больше заработывать для своихъ «ребенковъ».

Даже въ примѣръ его своимъ ставилъ какъ трезваго и трудолюбиваго человѣка, который не только самъ постоянно работаетъ, но и обоихъ своихъ товарищей къ дѣлу приспособилъ: рыжій у него что-то подшивалъ, а черный губанъ утюги грѣлъ да носилъ.

Въ строю они учились хорошо; фигуры, разумѣется, имѣли не важныя, но выучились стоять прямо и носки на маршировкѣ вытягивать, какъ слѣдуетъ, по чину Мельхиседекову.

Вскорѣ и ружьемъ стали артикулъ выкидывать, — словомъ все, какъ подобало; но вдругъ, когда я къ нимъ совсѣмъ расположился и даже сдѣлался ихъ первымъ защитникомъ, они выкинули такую каверзу, что чуть съ ума меня не свели. Измыслили они такую штуку, что ею всю мудрую стойкость Мордвинова чуть подъ плотину не выбросили, если бы не спасъ дѣла Мамашкинъ.

Вдругъ всѣ мои три жида начали «падать»!

Все исполняютъ какъ надо: и маршировку, и ружейные пріемы, а какъ имъ скомандуютъ: «пали!» — они выпалятъ и повалятся, ружья бросятъ, а сами ногами дрыгаютъ...

И замѣтьте, что вѣдь это не одинъ который-нибудь, а всѣ трое: и вороной, и рыжій, и пѣгій... А тутъ точно на зло, какъ разъ въ это время, получается извѣстіе, что генералъ Ротъ, который жилъ въ своей деревнѣ подъ Звенигородкою, собирается объѣхать всѣ части войскъ въ мѣстахъ ихъ расположенія и будетъ смотрѣть, какъ обучены новые рекруты.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Ротъ—это теперь для всѣхъ одинъ звукъ, а па насъ тогда это имя страхъ и трепетъ наводило. Ротъ былъ начальникъ самый бѣдовый, какихъ не дай Господи встрѣчать: человѣкъ сухой, формалистъ, желчный и злой, притомъ такая страшная придира, что угодить ему не было никакой возможности. Онъ всѣхъ изъ терпѣнія выводилъ, и въ подвѣдомыхъ ему частяхъ тогда того только и ждали, что его кто-нибудь прикончитъ по образу графа Каменскаго или Аракчеевской Настьки. Былъ, напримѣръ, такой случай, что одинъ ремонтеръ, человѣкъ очень богатый, подержалъ пари, что онъ избѣжитъ отъ Рота всякихъ придирокъ, и въ этомъ своемъ усердіи ремонтеръ затратилъ на покупку лошадей много своихъ собственныхъ денегъ и зато привелъ такихъ превосходныхъ коней, что на любой императору сѣсть не стыдно. Особенно между ними одна всѣхъ восхищала, потому что во всѣхъ статьяхъ была совершенство. Но Ротъ, какъ сталъ смотрѣть, такъ у всѣхъ нашелъ недостатки и всѣхъ перебраковалъ. А какъ дошло дѣло до этой самой лучшей, тутъ и вышла исторія.

Вывели эту лошадушку, а она такая веселая, точно ба-

рышня, которая сама себя показать хочетъ: хвостъ и гриву разметала и заржала.

Ротъ къ этому и придрался:

— Лошадь, говоритъ,—хороша, а голосъ у нея скверный.

Тутъ ремонтеръ уже не выдержалъ.

— Это, говоритъ,—ваше высокопревосходительство, отъ того, что «ротъ» скверенъ.

Анекдотъ этотъ тогда разошелся по всей арміи.

Генералъ понялъ, разсердился, а ремонтера въ отставку выгналъ.

Съ этакимъ-то, прости Господи, чортомъ мнѣ надо было видѣться и представлять ему падучихъ жидовъ. А они, замѣтьте, успѣли уже произвести такой скандалъ, что солдаты ихъ зачислили особою командою и прозвали «Жидовская кувыркаллегія».

Можете себѣ представить, каково было мое положеніе! Но теперь извольте же прослушать, какъ я изъ него выпутался.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Разумѣется, мы всячески бились отучить нашихъ жидковъ отъ «падежа», и труды эти составляютъ весьма характерную исторію.

Самый первый одобрительный пріемъ въ строю тогдашняго времени былъ хорошій матеріальный окрикъ и два-три легкихъ угощенія шато-скуловоротомъ. Это подносилось не въ счетъ абонемента, а потомъ слѣдовало поднятіе казенныхъ хвостиковъ у мундира за фронтомъ и, наконецъ, настоящія розги въ обширной пропорціи. Все это и было испробовано какъ слѣдуетъ, но не помогло: опять чуть скомандуютъ «пали»—всѣ три жидовина съ ногъ валятся.

Велѣлъ я ихъ очень сильно взбрызнуть, и такъ сильно сбрызнули, что они перестали шить сидя, а начали шить лежа на животахъ, но все-таки при каждомъ выстрѣлѣ падаютъ.

Думаю: давай я ихъ попробую какими-нибудь трогательными резонами обрезонить.

Призвалъ всѣхъ троихъ и обращаю къ нимъ свое командирское слово:

— Что это, говорю,—вы такое выдумали—падать?

— Сохрани Богъ, ваше благородіе,—отвѣчаетъ пѣгій:—

мы ничего не выдумываемъ, а это наша природа, которая намъ не позволяетъ палить изъ ружья, которое само стрѣляетъ.

— Это еще что за вздоръ!

— Точно такъ, отвѣчаетъ: — потому Богъ создалъ жида не къ тому, чтобы палить изъ ружья, ежели которое стрѣляетъ, а мы должны торговать и всякія мастерства дѣлать. Мы ружьемъ, которое стрѣляетъ, все махать можемъ, а стрѣлять, если которое стрѣляетъ,—мы этого не можемъ.

— Какъ такъ «которое стрѣляетъ»? Ружье всякое стрѣляетъ, оно для того и сдѣлано.

— Точно такъ,—отвѣчаетъ онъ:—ружье, которое стрѣляетъ, оно для того и сдѣлано.

— Ну, такъ и стрѣляйте.

Послалъ стрѣлять, а они опять попадали.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Чортъ знаетъ, что такое! Хоть рапортъ по начальству подавай, что жиды по своей природѣ не могутъ служить въ военной службѣ.

Вотъ тебѣ и Мордвиновъ и вся его побѣда надъ супостатомъ!

Срамъ и досада! И стало мнѣ казаться, что надо мною даже свои люди издѣваются и подаютъ мнѣ насмѣшливые совѣты.

Такъ, напримѣръ, поручикъ Рословъ все совѣтовалъ «перепороть ихъ хорошенько».

— Пороны уже, говорю,—они достаточно.

— Выпороть, говоритъ, — еще ихъ «на-бѣло» и окрестить. Тогда они иной духъ примутъ.

Но отецъ-батюшка, который тамъ былъ, сомнѣвался и говорилъ, что крещеніе, пожалуй, не поможетъ, а онъ иное совѣтовалъ.

— Надо бы, говоритъ,—выписать изъ Петербурга протоіерейскаго сына, который изъ духовнаго званія въ техноложцы вышелъ.

— Что же, говорю,—тутъ техноложецъ можетъ сдѣлать?

— А онъ, говоритъ,—когда въ прошломъ году къ отцу въ гости пріѣзжалъ, то для маленькой племянницы, которая ходить не умѣла, такія ходульныя креслица сдѣлалъ, что она не падала.

— Такъ это вы хотите, чтобы и солдаты въ ходульныхъ креслицахъ ходили?

И только ради сана его не обругалъ матеріально, а послалъ его ко всѣмъ чертямъ мысленно.

А тутъ Полуфертъ приходитъ и говоритъ, что будто точно такая же кувыркаллегія началась и въ другихъ частяхъ, которыя стояли въ Васильковѣ, въ Сквирѣ и въ Таращѣ.

— Я, даже, говоритъ, — «паръ сетъ оказіенъ» и стихи написалъ: вотъ «экутэ», пожалуйста.

И начинаетъ мнѣ читать какую-то свою риѳмованную окрошку изъ словъ жидовскихъ, польскихъ и русскихъ.

Цѣлымъ этимъ стихотвореніемъ, которое я немного помню, убѣдительно доказывалось, что евреямъ не слѣдуетъ и невозможно служить въ военной службѣ, потому что, какъ у моего поэта было написано:

«Жидъ, который привыкъ торговать
Люкемъ и гужалькемъ,
Ляпсардакъ класть на спину
И подпирацься съ палькемъ;
Жидъ, ктурый, якъ се уродзилъ,
Нигдѣ по водѣ безъ мосту не ходзилъ.»

И такъ далѣе, все «который», да «ктурый», и въ результатѣ то, что жиду никакъ нельзя служить въ военной службѣ.

— Такъ что же по-вашему съ ними дѣлать?

— Перепасе люи данъ отръ режиманъ.

— Ага? «перепасе...» А вы, говорю, напрасно имъ заказываете палантины для вашихъ «танте» шить.

Полуфертъ сконфузился и забожился.

— Нонъ, Дьо манъ гардъ, говоритъ, — я это просто такъ, а ву комъ вуле ву, и же ву зангаже въ цукерьню— выпьемте по рюмочкѣ высочайше утвержденнаго.

Я, разумѣется, не пошелъ.

Досада только, что чортъ знаетъ какіе у меня помощники, даже не съ кѣмъ посовѣтоваться: одинъ глупъ, другой пьянъ безъ просыпа, а третій только поэзію разводитъ, да что-то каверзитъ.

Но у меня былъ денщикъ-хохолъ изъ породы этакихъ Шельменокъ; онъ видитъ мое затрудненіе и говоритъ:

— Ваше благородіе, осмѣливаюсь я вашему благородію

доложить, что какъ ваше благородіе съ жидами ничего не зробите, почему що якъ ваше благородіе изъ Россыи, которые русскіе люди къ жидамъ непривычные.

— А ты, привычный, что ты мнѣ посовѣтуешь?

— А я, отвѣчаетъ, — тое вамъ присовѣтую, що тутъ треба поляка приставить; есть у насъ капральный изъ поляковъ, отдайте ихъ тому поляку, — полякъ до жида майстровитѣе.

Я подумалъ.

— А и справды попробовать! поляки ихъ круто донимали.

Полякъ этотъ былъ парень ловкій и даже очень образованный; онъ былъ изъ шляхты, не доказавшей дворянства, но обладалъ свѣдѣніями по исторіи и однажды пояснялъ мнѣ, что есть правленіе, которое называется республика, и есть другое — республиканція. Республика—это выходило то, гдѣ «есть король и публика, а республиканція, гдѣ нѣтъ королю ваканціи.»

Велѣлъ я позвать къ себѣ этого образованнаго шляхтича и говорю ему:

— Вѣдь ты, братецъ, полякъ?

— Дѣйствительно такъ, отвѣчаетъ, — римско-католическаго исповѣданія, вѣрноподданный его императорскаго величества.

— Ты, говорятъ,—отлично знаешь евреевъ?

— Еще какъ маленькій былъ, то ихъ тогда горохомъ да клюквой стрѣлялъ для испуганія.

— Знаешь ты, какую у насъ жиды досаду дѣлаютъ,— падаютъ. Не можешь ли ты ихъ отучить?

— Со всѣмъ моимъ удовольствіемъ.

— Ну, такъ я отдаю ихъ на твою отвѣтственность. Дѣлай съ ними что знаешь, только помни, что они уже до сихъ поръ и начерно и набѣло выпороны, такъ что даже сидѣть не могутъ, а лежа на брюхѣ работаютъ.

— Это, отвѣчаетъ,—ничего, не суть важно: жидъ поляка не обманетъ.

— Ну, иди и дѣлай.

— Счастливо оставаться, говоритъ,—и завтра же узнаете, что Господь Богъ и поляка недаромъ создалъ.

— Хорошо, говорю,—доказывай.

На другой день иду посмотрѣть, какъ мои жидки обрѣ-

таются, и вижу, что всѣ они уже не сидятъ и не лежатъ на брюхѣ, а стоя пьютъ.

— Отчего, спрашиваю,—вы стоя пьете? развѣ вамъ такъ ловко?

— Никакъ нѣтъ,—совсѣмъ даже неловко,—отвѣчаютъ.

— Такъ отчего же вы не садитесь?

— Невозможно, отвѣчаютъ,—потому—мы съ этой стороны пострадали.

— Ну, такъ, по крайней мѣрѣ, хоть лежа на брюхѣ пейте.

— Теперь и такъ, говорятъ,—невозможно, потому что мы и съ этой стороны тоже пострадали.

Полякъ ихъ, извольте видѣть, по другой сторонѣ отстрочилъ. Въ этомъ и было все его тонкое доказательство, зачѣмъ Богъ поляка создалъ; а жидовское паденіе все-таки и послѣ этого продолжалось.

Узналъ я, что мой Шельменко нарочно поляка подвелъ, и посадилъ ихъ обоихъ на хлѣбъ-на воду, а самъ послалъ за поручикомъ Фингершпилеромъ и очень удивился, когда тотъ ко мнѣ почти въ ту же минуту явился и совсѣмъ въ трезвомъ видѣ.

«Вотъ, думаю, нѣмецъ ихъ достигнетъ.»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

— Очень радъ, говорю,—что могу васъ видѣть и совсѣмъ свѣжаго.

— Какъ же, капитанъ, отвѣчаетъ,—я уже очень давно, даже еще со вчерашняго дня, совсѣмъ ничего не пью.

— Ну, вотъ видите ли, говорю, — это мнѣ очень большая радость, потому что я терплю смѣшную, но неодолимую досаду: вы знаете, у насъ во фронтѣ три жида, очень смирные люди, но должно быть отбиться отъ службы хотятъ—все падаютъ. Вы—нѣмецъ, человѣкъ твердой воли, возьмитесь вы за нихъ и одолѣйте эту проклятую ихъ привычку.

— Хорошо, говоритъ,—я ихъ отучу.

Училъ онъ ихъ цѣлый день, а на слѣдующее утро опять та же исторія: выстрѣлили и попадали.

Повелъ ихъ нѣмецъ доучивать, а вечеромъ я спрашиваю вѣстового:

— Какъ наши жиды?

— Живы, говоритъ, — ваше благородіе, а только ни на что не похожи.

— Что это значитъ?

— Не могу знать для чего, ваше благородіе, а ничего распознать нельзя.

Обезпокоился я, не случилось ли чего черезчуръ глупаго, потому что съ одной стороны они всякаго изъ терпѣнія могли вывести, а съ другой — уже они меня въ какую-то меланхолію вогнали и мнѣ такъ и стало чудиться — не нажить бы съ ними бѣды.

Одѣлся я и иду въ ихъ закуту; но, еще не доходя, встрѣчаю солдата, который отъ нихъ идетъ, и спрашиваю:

— Живы жиды?

— Какъ есть живы, ваше благородіе.

— Работаютъ?

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе.

— Что же они дѣлаютъ?

— Морды вверхъ держатъ.

— Что ты врешь,—зачѣмъ морды вверхъ держатъ?

— Очень морды у нихъ, ваше благородіе, поопухли, какъ будто пчелы изъѣли, и глазъ не видать; работать никакъ невозможно, только пить просятъ.

— Господи!—воскликнулъ я въ душѣ своей,—да что̀ же за му̀ка такая мнѣ ниспослана съ этими тремя жидовинами; не беретъ ихъ ни таска, ни ласка, а между тѣмъ того и гляди, что переломить ихъ не переломишь, а либо тотъ, либо другой изувѣчитъ ихъ.

И уже самъ я въ эти минуты былъ противъ Мордвинова:

— Гораздо лучше, думаю,—если бы ихъ въ рекруты не брали.

Вхожу въ такомъ волненіи гдѣ были жиды, и вижу— дѣйствительно, всѣ они трое сидятъ на колѣняхъ, а руками въ землю опираются и лица кверху задрали.

Но, Боже мой, что̀ это были за лица! Ни глазъ, ни рта— ничего не разсмотришь, даже носы жидовскіе и тѣ обезформились, а все вмѣстѣ скипѣлось и слилось въ одну какую-то безобразную, синебагровую нашлепку. Я просто ужаснулся, и, ничего не спрашивая, пошелъ домой, понуря голову.

Но тутъ-то, въ моментъ величайшаго моего сознанія своей немощи, и пришла ко мнѣ помощь нежданная и необыкновенно могущественная.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Вхожу я въ свою квартиру, которая была заперта, послѣ посажденія подъ арестъ Шельменки, и вижу—на полу лежитъ довольно поганенькій конвертикъ и подписанъ онъ моему благородію съ обозначеніемъ слова «секретъ».

Все надписаніе сдѣлано неумѣлымъ почеркомъ, въ родѣ того, какимъ у насъ на Руси пишутъ лавочные мальчишки. Способъ доставки мнѣ тоже понравился — подметный, т. е. самый великорусскій.

Письмо, очевидно, было брошено мнѣ въ окно тѣмъ обычнымъ путемъ, которымъ въ старину подбрасывались извѣты о «словѣ и дѣлѣ», а понынѣ возвѣщается о красномъ пѣтухѣ и его дѣтяхъ.

Ломаю конвертъ и достаю грязноватый листокъ, на которомъ начинается сначала долгое титулованіе моего благородія, потомъ извиненія о безпокойствѣ и просьбы о прощеніи, а затѣмъ такое изложеніе: «осмѣливаюсь я вамъ доложить, что какъ послѣ тѣлеснаго меня наказанія за дамскую никсу (т. е. книксенъ), лежалъ я все время въ обложной болѣзни съ нутренностями въ кіевскомъ вошпиталѣ и тамъ даютъ нашему брату только одну булычку и несчастной супъ, то очень желамши чернаго христіанскаго хлѣба, задолжалъ я фершалу три гривенника и оставилъ тамъ ему въ закладъ сапоги, которые получилъ съ богомольцами изъ своей стороны, изъ Кромъ, замѣсто родительскаго благословенія. А потому прибѣгаю къ вашему благородію какъ къ командеру за помощью: нѣтъ ли въ царствѣ вашего благородія столько милосердныхъ денежекъ на выкупъ моего благословенія для обуви ногъ, за что вашему благородію все воздастъ Богъ въ день страшнаго своего пришествія, а я, въ ожиданіи всей вашей ко мнѣ благоволеніи, остаюсь по гробъ жизни вашей роты рядовой солдатъ, Семеонъ Мамашкинъ».

Тѣмъ и кончилась страница «секрета», но я былъ такъ благоразуменъ, что, не смотря на подпись, заключающую письмо, перевернулъ листокъ и на слѣдующихъ его страницахъ нашелъ настоящій «секретъ». Пишетъ мнѣ далѣе господинъ Мамашкинъ нижеслѣдующее:

«А что у насъ отъ жидовъ по службѣ, черезъ ихъ паденіе начался обегдотъ и вашему благородію есть опасеніе,

что черезъ то можетъ послѣдовать портежъ по всей арміи, то я могу всѣ эти кляверзы уничтожить».

Прочелъ я еще это письмо, и, самъ не знаю почему, оно мнѣ показалось серьезнымъ.

Только не мало меня удивило, что я всѣхъ своихъ солдатъ отлично знаю и въ лицо и по имени, а этого Семеона Мамашкина будто не слыхивалъ и про какую онъ дамскую никсу писалъ—тоже не помню. Но какъ разъ въ это время заходитъ ко мнѣ Полуфертъ и напоминаетъ мнѣ, что это тотъ самый солдатикъ, который, выполоскавъ на рѣкѣ свои бѣлые штаны, надѣлъ ихъ на плечи и, встрѣтясь съ становихою, сдѣлалъ ей реверансъ и сказалъ: «кланяйтесь бабушкѣ и поцѣлуйте ручку». За это мы его въ успокоеніе штатскихъ властей посѣкли, а потомъ онъ, отъ какого-то другого случая, былъ боленъ и лежалъ въ лазаретѣ.

Впрочемъ, Полуфертъ рекомендовалъ мнѣ этого Мамашкина какъ человѣка крайне легкомысленнаго.

— Муа же ле коню бьенъ,—говорилъ Полуфертъ;—сетъ бетъ Мамашкинъ: онъ у меня въ взводѣ и, — ву саве, — иль мель боку, и все проситъ себѣ «хлѣба супротивъ человѣческаго положенія».

— Пришлите его, пожалуйста, ко мнѣ: я хочу его видѣть.

— Не совѣтую,—говоритъ Полуфертъ.

— А почему?

— Паръ се ке же ву ди—иль мель боку.

— Ну, «мель» не «мель», а я его хочу выслушать. И съ этимъ кликнулъ вѣстового и говорю:

— Слетай на одной ногѣ, братецъ, въ роту, позови ко мнѣ изъ второго взвода рядового Мамашкина.

А вѣстовой отвѣчаетъ:

— Онъ здѣсь, ваше благородіе.

— Гдѣ здѣсь?

— Въ сѣняхъ, при кухнѣ, дожидается.

— Кто же его звалъ?

— Не могу знать, ваше благородіе, самъ пришелъ, — говоритъ, будто извѣстился въ томъ, что скоро требовать будутъ.

— Ишь, говорю,—какой торопливый, времени даромъ не тратитъ.

— Точно такъ,—говоритъ,—онъ уже щенка вашего благородія чистымъ дегтемъ вымазалъ и съ золой отмылъ.

— Отлично, думаю, — я все забывалъ приказать этого щенка отмыть, а мосье Мамашкинъ самъ догадался, значитъ—практикъ, а не то что «иль мель боку», и я приказалъ Мамашкина сейчасъ же ввести.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Входитъ этакій солдатикъ чистенькій, лѣтъ двадцати трехъ-четырехъ, съ маленькими усиками, блѣдноватъ немножко, какъ бываетъ послѣ долгой болѣзни, но каріе маленькіе глазки смотрятъ бойко и смѣтливо, а въ манерѣ не только нѣтъ никакой робости, а, напротивъ, даже нѣкоторая простодушная развязность.

— Ты, говорю,—Мамашкинъ, ѣсть очень сильно желаешь?

— Точно такъ, отвѣчаетъ,—очень сильно желаю.

— А все-таки не хорошо, что ты родительское благословеніе проѣлъ.

— Виноватъ, ваше благородіе, удержаться не могъ, потому даютъ, ваше благородіе, все одну булочку да несносный супъ.

— А все же, говорю,—отецъ тебя не похвалитъ.

Но онъ меня успокоилъ, что у него нѣтъ ни отца, ни матери.

— Тятеньки, говоритъ, — у меня совсѣмъ и въ заводѣ не было, а маменька померла, а сапоги прислалъ цѣловальникъ изъ орловскаго кабака, возлѣ котораго Мамашкинъ до своего рекрутства калачи продавалъ. Но сапоги были важнѣйшіе: на двойныхъ передахъ и съ поднарядомъ.

— А какой, говорю, — ты мнѣ хотѣлъ секретъ сказать объ обегдотѣ?

— Точно такъ, отвѣчаетъ, — а самъ на Полуферта смотритъ.

Я понялъ, что, по его мнѣнію, тутъ «лишнія бревна есть», и безъ церемоніи послалъ Полуферта исполнять какое-то порученьишко, а солдата спрашиваю:

— Теперь можешь объяснить?

— Теперь могу-съ, отвѣчаетъ: — евреи въ дѣйствительности не по природѣ падаютъ, а дѣлаютъ одинъ обегдотъ, чтобы службы обѣжать.

— Ну, это я и безъ тебя знаю, а ты какое средство противъ ихъ обегдота придумалъ?

— Всю ихъ хитрость, ваше благородіе, въ два мига разрушу.

— Небось, какъ-нибудь еще на иной манеръ ихъ бить выдумалъ?

— Боже сохрани, ваше благородіе! рѣшительно безъ всякаго бойла; даже безъ самой пустой подщечины.

— То-то и есть, а то они уже и безъ тебя и въ хвостъ и въ голову избиты... Это противно.

— Точно такъ, ваше благородіе, — человѣчество надо помнить: я, разсмотрѣвъ ихъ, видѣлъ, что весь спинной календарь до того расписанъ, что открышку поднять невозможно. Я оттого и хочу ихъ сразу отъ всего страданья избавить.

— Ну, если ты такой добрый и надѣешься ихъ безъ битья исправить, такъ говори, въ чемъ твой секретъ?

— Въ разсужденіи здраваго разсудка.

— Можетъ-быть, голодомъ ихъ морить хочешь?

Опять отрицается.

— Боже, говоритъ, — сохрани! пускай себѣ что̀ хотятъ ѣдятъ: хоть свой рыбный супъ, хоть даже говяжій мыштексъ,—что̀ имъ угодно.

— Такъ мнѣ, говорю,—любопытно: чѣмъ же ты ихъ хочешь донять?

Проситъ этого не понуждать его открывать, потому что такъ уже онъ поладилъ сдѣлать все дѣло въ секретѣ. И клянется, и божится, что никакого обмана нѣтъ и ошибки быть не можетъ, что средство его вѣрное и безопасное. А чтобы я не безпокоился, то онъ кладетъ такой зарокъ, что если онъ нашу жидовскую кувыркаллегію уничтожитъ, то ему за это ничего, окромя трехъ гривенниковъ на выкупъ благословенныхъ сапоговъ не нужно, «а если повторится опять тотъ самый многократъ, что они упадутъ», то тогда ему, господину Мамашкину, занести въ спинной календарь двѣсти палокъ.

Пари, какъ видите, для меня было совсѣмъ безпроигрышное, а онъ кое-чѣмъ рисковалъ.

Я задумался и, какъ русскій человѣкъ, заподозрилъ, что землячокъ какою ни на есть хитростью хочетъ съ меня что-то сорвать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Посмотрѣлъ я на Мамашкина въ упоръ и спрашиваю:

— Что же тебѣ, можетъ-быть, расходъ какой-нибудь нуженъ?

— Точно такъ, говоритъ,—расходъ надо безпремѣнно.

— И большой?

— Очень, ваше благородіе, значительный.

— Ну, лукавь, думаю, лукавь, — откройся скорѣе, — на сколько ты замахнулся отца-командира объегорить.

— Хорошо, говорю, — я тебѣ дамъ сколько надо, и для вящшаго ему соблазна руку къ кошельку протягиваю, но онъ замѣтилъ мое движеніе и перебиваетъ:

— Не извольте, ваше благородіе, безпокоиться, на такую неткаль не надо ничего изъ казны брать, — мы сею статьею такъ раздобудемся. Мнѣ позвольте только двухъ товарищей—Петрова да Иванова съ собой взять.

— Воровства дѣлать не будете?

— Боже сохрани! займемъ что надо, и какъ все справимъ, такъ въ исправности назадъ отдадимъ.

Убѣждаюсь, что человѣкъ этотъ не стремится съ меня сорвать, а хочетъ произвести свой полезный для меня и евреевъ опытъ собственными средствами, и снова чувствую къ нему довѣріе и, разрѣшивъ ему взять Петрова и Иванова, отпускаю съ обѣщаніемъ, если опытъ удастся, выкупить его благословенные сапоги.

А какъ все это было вечеру сущу, то самъ я, мало годя, легъ спать и заснулъ скоро и прекрѣпко.

Да!—позабылъ вамъ сказать, что весьма важно для дѣла: Мамашкинъ, послѣ того, какъ я его отпустилъ, пожелавъ мнѣ «счастливо оставаться», выговорилъ, чтобы обработанные Фингершпилеромъ евреи были выпущены изъ-подъ запора на «вольность вольдуха», дабы у нихъ морды поотпухли. Я на это соблаговолилъ и даже еще посмѣялся: — откуда онъ беретъ такое краснорѣчіе, какъ «вольность вольдуха», а онъ мнѣ объяснилъ, что всѣ разныя такія хорошія слова онъ усвоилъ, продавая проѣзжимъ господамъ калачи.

— Ты, братъ, способный человѣкъ, — похвалилъ я его и легъ спать, по правдѣ сказать, ничего отъ него не ожидая.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Во снѣ мнѣ снился Полуфертъ, который все выпытывалъ, что говорилъ мнѣ Мамашкинъ, и увѣрялъ, что «иль *мель* боку», а потомъ звалъ меня «жуе о картъ император-

скаго воспитательнаго дома», а я его прогонялъ. Въ этомъ прошла у меня украинская ночь; и чуть надъ Бѣлою Церковью начала алѣть слабая предразсвѣтная заря, я проснулся отъ тихаго зова, который несся ко мнѣ въ открытое окно спальни.

Это будилъ меня Мамашкинъ.

Слышу, что въ окно точно любовный шопотъ вѣетъ:

— Вставайте, ваше благородіе,—все готово.

— Что же надо сдѣлать?

— Пожалуйте на ученье, гдѣ всегда собираемся.

А собирались мы на рѣкѣ Роси, за мѣстечкомъ, въ превосходномъ расположеніи. Тутъ и лѣсокъ, и рѣка, и просторный выгонъ.

Было это немножко рано, но я всталъ и пошелъ посмотрѣть, что̀ мой Мамашкинъ тамъ устроилъ.

Прихожу и вижу, что черезъ всю рѣку протянута веревка, а на ней держатся двѣ лодки, а на лодкахъ положена кладка въ одну доску. А третья лодка впереди въ лозѣ спрятана.

— Что же это за флотилія? спрашиваю.

— А это, говоритъ, — ваше благородіе, «снасть». Какъ ваше благородіе скомандуете ружья зарядить на берегу, такъ сейчасъ добавьте имъ команду: «налѣво кругомъ», и чтобы фаршированнымъ маршемъ на кладку, а мнѣ впереди; а какъ жиды за мною взойдутъ, такъ—«оборотъ лицомъ къ рѣкѣ», а сами сядьте въ лодку, посередь рѣки къ намъ визавидомъ станьте и дайте команду: «пли». Они выстрѣлятъ и ни за что не упадутъ.

Посмотрѣлъ я на него и говорю:

— Да ты, пожалуй, три гривенника стоишь.

И какъ люди пришли на ученье,—я все такъ и сдѣлалъ, какъ говорилъ Мамашкинъ, и... представьте себѣ — жидъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ ни одинъ не упалъ! Выстрѣлили и стоятъ на досточкѣ, какъ журавлики.

Я говорю:—что же вы не падаете?

А они отвѣчаютъ:—«мозе, ту глибоко».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Мы не вытерпѣли и спросили полковника:

— Неужто тѣмъ и кончилось?

— Никогда больше не падали,—отвѣчалъ Стадниковъ:—

и все какъ рукой сняло. Сейчасъ же, по всѣмъ трактамъ къ Василькову, Сквирѣ и Звенигородкѣ, всѣ, во единомъ образѣ, видѣли, какъ проѣзжалъ верхомъ какой-то «жидъ каштановатый, конь сивый, бородатый», — и кувыркаллегія повсемѣстно сразу кончилась. Да и нельзя иначе: вѣдь евреи же люди очень умныр: какъ они увидѣли, что ни шибкомъ да рывкомъ, а настоящимъ умомъ за нихъ взялись,—они и полно баловаться. Даже благодарили, что, говорятъ, «теперь наши видятъ, что намъ нельзя было не служить». Вѣдь они больше своихъ боятся. А вскорѣ и «Рвотъ» пріѣхалъ, и оралъ, оралъ: «заппаррю... заккаттаю!» а ужъ къ чему это относилось, того, чай, онъ и самъ не зналъ, а за жидовъ мы отъ него даже получили отеческое «благгодарррю!», которое и старались употребить на улучшеніе солдатскаго приварка, — только не очень наварно выходило.

— Ну, а что же за все это было Мамашкину?

— Я ему выдалъ три гривенника на благословенные сапоги и четвертый гривенникъ прибавилъ за сборъ этой снасти его собственными средствами. Онъ вѣдь все это у жидовъ же и позаимствовалъ: и лодки, и доски, и веревки— надо было потомъ все это честно возвратить собственникамъ, чтобы никто не обижался. Но этотъ гривенникъ все и испортилъ:—не умѣли дурачки раздѣлить десять на три безъ остатка и все у жида въ шинкѣ пропили.

— А благословенные саноги?

— Вѣроятно, такъ и пропали. Ну, да вѣдь когда дѣло государственныхъ вопросовъ касается, тогда частные интересы не важны

ДУХЪ ГОСПОЖИ ЖАНЛИСЪ.

СПИРИТИЧЕСКІЙ СЛУЧАЙ.

«Духа иногда гораздо легче вызвать, чѣмъ отъ него избавиться».

А. Б. Калметъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Странное приключеніе, которое я намѣренъ разсказать, имѣло мѣсто нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и теперь оно можетъ быть свободно разсказано, тѣмъ болѣе, что я выговариваю себѣ право не называть при этомъ ни одного собственнаго имени.

Зимою, 186** года, въ Петербургъ прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее изъ трехъ лицъ: матери, пожилой дамы, княгини, слывшей женщиною тонкаго образованія и имѣвшей наилучшія свѣтскія связи въ Россіи и за границею; сына ея, молодого человѣка, начавшаго въ этотъ годъ служебную карьеру по дипломатическому корпусу, и дочери, молодой княжны, которой едва пошелъ семнадцатый годъ.

Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границею, гдѣ покойный мужъ старой княгини занималъ мѣсто представителя Россіи при одномъ изъ второстепенныхъ европейскихъ дворовъ. Молодой князь и княжна родились и выросли въ чужихъ краяхъ, получивъ тамъ вполнѣ иностранное, но очень тщательное образованіе.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Княгиня была женщина весьма строгихъ правилъ и заслуженно пользовалась въ обществѣ самой безукоризненной репутаціей. Въ своихъ мнѣніяхъ и вкусахъ она придерживалась взглядовъ прославленныхъ умомъ и талантами французскихъ женщинъ временъ процвѣтанія женскаго ума и талантовъ во Франціи. Княгиню считали очень начитанною и и говорили, что она читаетъ съ величайшимъ разборомъ. Самое любимое ея чтеніе составляли письма г-жи Савиньи, Лафаетъ и Ментенонъ, а также Коклюсъ и Данго Куланжъ, но всѣхъ больше она уважала г-жу Жанлисъ, къ которой она чувствовала слабость, доходившую до обожанія. Маленькіе томики прекрасно сдѣланнаго въ Парижѣ изданія этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные въ голубой сафьянъ, всегда помѣщались на красивой стѣнной этажеркѣ, висѣвшей надъ большимъ кресломъ, которое было любимымъ мѣстомъ княгини. Надъ перламутровой инкрустаціей, завершавшей самую этажерку, свѣшиваясь съ темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная изъ terra-cota миніатюрная ручка, которую цѣловалъ въ своемъ Фернеѣ Вольтеръ, не ожидавшій, что она уронитъ на него первую каплю тонкой, но ѣдкой критики. Какъ часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней подъ рукой и княгиня говорила, что они имѣютъ для нея особенное, такъ сказать, таинственное значеніе, о которомъ она не всякому рѣшилась бы разсказывать, потому что этому не всякій можетъ повѣрить. По ея словамъ, выходило, что она не разстается съ этими волюмами «съ тѣхъ поръ, какъ себя помнитъ», и что они лягутъ съ нею въ могилу.

— Мой сынъ,—говорила она: — имѣетъ отъ меня порученіе положить книжечки со мной въ гробъ, подъ мою гробовую подушку, и я увѣрена, что онѣ пригодятся мнѣ даже послѣ смерти.

Я осторожно пожелалъ получить хотя бы самыя отдаленныя объясненія по поводу послѣднихъ словъ, — и получилъ ихъ.

— Эти маленькія книги,—говорила княгиня: — напоены *духомъ* Фелиситы (такъ она называла m-me Genlis, вѣроятно, въ знакъ короткаго съ нею общенія). Да, свято вѣря

въ безсмертіе духа человѣческаго, я также вѣрю и въ его способность свободно сноситься изъ-за гроба съ тѣми, кому такое сношеніе нужно и кто умѣетъ это цѣнить. Я увѣрена, что тонкій флюидъ Фелиситы избралъ себѣ пріятное мѣстечко подъ счастливымъ сафьяномъ, обнимающимъ листки, на которыхъ опочили ея мысли, и если вы не совсѣмъ невѣрующій, то я надѣюсь, что вамъ это должно быть понятно.

Я молча поклонился. Княгинѣ, повидимому, понравилось, что я ей не возражалъ, и она въ награду мнѣ прибавила, что все, ею мнѣ сейчасъ сказанное, есть не только вѣра, но настоящее и полное *убѣжденіе*, которое имѣетъ такое твердое основаніе, что его не могутъ поколебать никакія силы.

— И это именно потому,—заключила она:—что я имѣю множество доказательствъ, что духъ Фелиситы живетъ, и живетъ именно здѣсь!

При послѣднемъ словѣ княгиня подняла надъ головою руку и указала изящнымъ пальцемъ на этажерку, гдѣ стояли голубые волюмы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Я отъ природы немножко суевѣренъ и всегда съ удовольствіемъ слушаю разсказы, въ которыхъ есть хотя какое-нибудь мѣсто таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разнымъ дурнымъ категоріямъ, одно время говорила, будто я спиритъ.

Притомъ же, къ слову сказать, все, о чемъ мы теперь говоримъ, происходило какъ разъ въ такое время, когда изъ-за границы къ намъ приходили въ изобиліи вѣсти о спиритическихъ явленіяхъ. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видалъ причины не интересоваться тѣмъ, во что начинаютъ вѣрить люди.

«Множество доказательствъ», о которыхъ упоминала княгиня, можно было слышать отъ нея множество разъ: доказательства эти заключались въ томъ, что княгиня издавна образовала привычку въ минуты самыхъ разнообразныхъ душевныхъ настроеній — обращаться съ сочиненіямъ г-жи Жанлисъ, какъ къ оракулу, а голубые волюмы, въ свою очередь, обнаруживали неизмѣнную способность разумно отвѣчать на ея мысленные вопросы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Княгиня была женщина весьма строгихъ правилъ и заслуженно пользовалась въ обществѣ самой безукоризненной репутаціей. Въ своихъ мнѣніяхъ и вкусахъ она придерживалась взглядовъ прославленныхъ умомъ и талантами французскихъ женщинъ временъ процвѣтанія женскаго ума и талантовъ во Франціи. Княгиню считали очень начитанною и и говорили, что она читаетъ съ величайшимъ разборомъ. Самое любимое ея чтеніе составляли письма г-жи Савиньи, Лафаетъ и Ментенонъ, а также Коклюсъ и Данго Куланжъ, но всѣхъ больше она уважала г-жу Жанлисъ, къ которой она чувствовала слабость, доходившую до обожанія. Маленькіе томики прекрасно сдѣланнаго въ Парижѣ изданія этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные въ голубой сафьянъ, всегда помѣщались на красивой стѣнной этажеркѣ, висѣвшей надъ большимъ кресломъ, которое было любимымъ мѣстомъ княгини. Надъ перламутровой инкрустаціей, завершавшей самую этажерку, свѣшиваясь съ темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная изъ terra-cota миніатюрная ручка, которую цѣловалъ въ своемъ Фернеѣ Вольтеръ, не ожидавшій, что она уронитъ на него первую каплю тонкой, но ѣдкой критики. Какъ часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю, но они всегда были у ней подъ рукой и княгиня говорила, что они имѣютъ для нея особенное, такъ сказать, таинственное значеніе, о которомъ она не всякому рѣшилась бы разсказывать, потому что этому не всякій можетъ повѣрить. По ея словамъ, выходило, что она не разстается съ этими волюмами «съ тѣхъ поръ, какъ себя помнитъ», и что они лягутъ съ нею въ могилу.

— Мой сынъ,—говорила она: — имѣетъ отъ меня порученіе положить книжечки со мной въ гробъ, подъ мою гробовую подушку, и я увѣрена, что онѣ пригодятся мнѣ даже послѣ смерти.

Я осторожно пожелалъ получить хотя бы самыя отдаленныя объясненія по поводу послѣднихъ словъ, — и получилъ ихъ.

— Эти маленькія книги,—говорила княгиня: — напоены *духомъ* Фелиситы (такъ она называла m-me Genlis, вѣроятно, въ знакъ короткаго съ нею общенія). Да, свято вѣря

въ безсмертіе духа человѣческаго, я также вѣрю и въ его способность свободно сноситься изъ-за гроба съ тѣми, кому такое сношеніе нужно и кто умѣетъ это цѣнить. Я увѣрена, что тонкій флюидъ Фелиситы избралъ себѣ пріятное мѣстечко подъ счастливымъ сафьяномъ, обнимающимъ листки, на которыхъ опочили ея мысли, и если вы не совсѣмъ невѣрующій, то я надѣюсь, что вамъ это должно быть понятно.

Я молча поклонился. Княгинѣ, повидимому, понравилось, что я ей не возражалъ, и она въ награду мнѣ прибавила, что все, ею мнѣ сейчасъ сказанное, есть не только вѣра, но настоящее и полное *убѣжденіе*, которое имѣетъ такое твердое основаніе, что его не могутъ поколебать никакія силы.

— И это именно потому,—заключила она:—что я имѣю множество доказательствъ, что духъ Фелиситы живетъ, и живетъ именно здѣсь!

При послѣднемъ словѣ княгиня подняла надъ головою руку и указала изящнымъ пальцемъ на этажерку, гдѣ стояли голубые волюмы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Я отъ природы немножко суевѣренъ и всегда съ удовольствіемъ слушаю разсказы, въ которыхъ есть хотя какое-нибудь мѣсто таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разнымъ дурнымъ категоріямъ, одно время говорила, будто я спиритъ.

Притомъ же, къ слову сказать, все, о чемъ мы теперь говоримъ, происходило какъ разъ въ такое время, когда изъ-за границы къ намъ приходили въ изобиліи вѣсти о спиритическихъ явленіяхъ. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видалъ причины не интересоваться тѣмъ, во что начинаютъ вѣрить люди.

«Множество доказательствъ», о которыхъ упоминала княгиня, можно было слышать отъ нея множество разъ: доказательства эти заключались въ томъ, что княгиня издавна образовала привычку въ минуты самыхъ разнообразныхъ душевныхъ настроеній — обращаться съ сочиненіямъ г-жи Жанлисъ, какъ къ оракулу, а голубые волюмы, въ свою очередь, обнаруживали неизмѣнную способность разумно отвѣчать на ея мысленные вопросы.

Это, по словамъ княгини, вошло въ ея «абитюды», которымъ она никогда не измѣняла, и «духъ», обитающій въ книгахъ, ни разу не сказалъ ей ничего неподходящаго.

Я видѣлъ, что имѣю дѣло съ очень убѣжденной послѣдовательницей спиритизма, которая притомъ не обдѣлена умомъ, опытностью и образованіемъ, и потому чрезвычайно всѣмъ этимъ заинтересовался.

Мнѣ было уже извѣстно кое-что изъ природы духовъ, и въ томъ, чему мнѣ доводилось быть свидѣтелемъ, меня всегда поражала одна общая всѣмъ духамъ странность, что они, являясь изъ-за гроба, ведутъ себя гораздо легкомысленнѣе и, откровенно сказать, глупѣе, чѣмъ проявляли себя въ земной жизни.

Я уже зналъ теорію Кардека о «шаловливыхъ духахъ» и теперь крайне интересовался: какъ удостоитъ себя показать при мнѣ духъ остроумной маркизы Сюльери, графин Брюсляръ?

Случай къ тому не замедлилъ, но какъ и въ короткомъ разсказѣ, такъ же какъ въ маленькомъ хозяйствѣ, не нужно портить порядка, то я прошу еще минуту терпѣнія, прежде чѣмъ довести дѣло до сверхъестественнаго момента, способнаго превзойти всяческія ожиданія.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Люди, составлявшіе небольшой, но очень избранный кругъ княгини, вѣроятно, знали ея причуды; но какъ все это были люди воспитанные и учтивые, то они умѣли уважать чужія вѣрованія даже въ томъ случаѣ, если эти вѣрованія рѣзко расходились съ ихъ собственными и не выдерживали критики. А потому никто и никогда съ княгиней объ этомъ не спорилъ. Впрочемъ, можетъ быть и то, что друзья княгини не были увѣрены въ томъ, что она считаетъ свои голубые волюмы обиталищемъ «духа» ихъ автора въ прямомъ и непосредственномъ смыслѣ, а принимали эти слова какъ риторическую фигуру. Наконецъ, можетъ быть и еще проще, т. е. что они принимали все это за шутку.

Одинъ, кто не могъ смотрѣть на дѣло такимъ образомъ, къ сожалѣнію, былъ я; и я имѣлъ къ тому свои основанія, причины которыхъ, можетъ-быть, кроются въ легковѣріи и впечатлительности моей натуры.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Вниманію этой великосвѣтской дамы, которая открыла мнѣ двери своего уважаемаго дома, я былъ обязанъ тремъ причинамъ: во-первыхъ, ей почему-то нравился мой разсказъ: «Запечатлѣнный Ангелъ», незадолго передъ тѣмъ напечатанный въ «Русскомъ Вѣстникѣ»; во-вторыхъ, ее заинтересовало ожесточенное гоненіе, которому я ряды лѣтъ, безъ числа и мѣры, подвергался отъ моихъ добрыхъ литературныхъ собратій, желавшихъ, конечно, поправить мои недоразумѣнія и ошибки, и, въ-третьихъ, княгинѣ меня хорошо рекомендовалъ въ Парижѣ русскій іезуитъ,—очень добрый князь Гагаринъ старикъ, съ которымъ мы находили удовольствіе много бесѣдовать и который составилъ себѣ обо мнѣ не наихудшее мнѣніе.

Послѣднее было особенно важно, потому, что княгинѣ было дѣло до моего образа мыслей и настроенія; она имѣла, или, по крайней мѣрѣ, ей казалось, будто она можетъ имѣть надобность въ небольшихъ съ моей стороны услугахъ. Какъ это ни странно для человѣка такого скромнаго значенія, какъ я, это было такъ. Надобность эту княгинѣ сочинила ея материнская заботливость о дочери, которая совсѣмъ почти не знала по-русски... Привозя прелестную дѣвушку на родину, мать хотѣла найти человѣка, который могъ бы сколько-нибудь ознакомить княжну съ русскою литературою,—разумѣется, исключительно *хорошею*, т. е. настоящею, а не зараженною «злобою дня».

О послѣдней книгиня имѣла представленія самыя смутныя и притомъ до крайности преувеличенныя. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современныхъ титановъ русской мысли,—ихъ ли силы и отваги, или ихъ слабости и жалкаго самомнѣнія; но улавливая кое-какъ, съ помощью наведенія и догадокъ «головки и хвостики» собственныхъ мыслей княгини, я пришелъ къ безошибочному, на мой взглядъ, убѣжденію, что она всего опредѣлительнѣе боялась, «нецѣломудренныхъ намековъ», которыми, по ея понятіямъ, была въ конецъ испорчена вся наша нескромная литература.

Разувѣрять въ этомъ княгиню было безполезно, такъ какъ она была въ томъ возрастѣ, когда мнѣнія уже сложились прочно, и очень рѣдко кто способенъ подвергать

ихъ новому пересмотру и повѣркѣ. Она, несомнѣнно, была не изъ этихъ, и, чтобы ее переувѣрить въ томъ, во что она увѣровала, недостаточно было слова обыкновеннаго человѣка, а это могло быть по силамъ развѣ духу, который счелъ бы нужнымъ придти съ этою цѣлью изъ ада или изъ рая. Но могутъ ли подобныя мелкія заботы занимать безплотныхъ духовъ безвѣстнаго міра; не мелки ли для нихъ всѣ, подобные настоящему, споры и заботы о литературѣ, которую и несравненно большая доля живыхъ людей считаетъ пустымъ занятіемъ пустыхъ головъ?

Обстоятельства, однако, скоро показали, что, разсуждая такимъ образомъ, я очень грубо заблуждался. Привычка къ литературнымъ прегрѣшеніямъ, какъ мы скоро увидимъ, не оставляетъ литературныхъ духовъ и за гробомъ, а читателю будетъ предстоять задача рѣшить: въ какой мѣрѣ эти духи дѣйствуютъ успѣшно и остаются вѣрны своему литературному прошлому.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Благодаря тому, что княгиня имѣла на все строго сформированные взгляды, моя задача помочь ей въ выборѣ литературныхъ произведеній для молодой княжны, была очень опредѣлительна. Надо было, чтобы княжна могла изъ этого чтенія узнавать русскую жизнь и притомъ не встрѣтить ничего, что̀ могло бы смутить дѣвственный слухъ. Материнскою цензурой княгини цѣликомъ не допускался ни одинъ авторъ, ни даже Державинъ и Жуковскій. Всѣ они ей представлялись не вполнѣ надежными. О Гоголѣ, разумѣется, нечего было и говорить, — онъ цѣликомъ изгонялся. Изъ Пушкина допускались: «Капитанская дочка» и «Евгеній Онѣгинъ», но послѣдній съ значительными урѣзками, которыя собственноручно отмѣчала княгиня. Лермонтовъ не допускался, какъ и Гоголь. Изъ новѣйшихъ одобрялся несомнѣнно одинъ Тургеневъ, но и то кромѣ тѣхъ мѣстъ, «гдѣ говорятъ о любви», а Гончаровъ былъ изгнанъ, и хотя я за него довольно смѣло заступался, но это не помогло, княгиня отвѣчала:

— Я знаю, что онъ большой художникъ, но это тѣмъ хуже,—вы должны признать, что у него есть разжигающіе предметы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я во что бы то ни стало хотѣлъ знать: что̀ такое именно разумѣетъ княгиня подъ *разжигающими предметами*, которые она нашла въ сочиненіяхъ Гончарова. Чѣмъ онъ могъ, при его мягкости отношеній къ людямъ и обуревающимъ ихъ страстямъ, оскорбить чье бы то ни было чувство?

Это было до такой степени любопытно, что я напустилъ на себя смѣлость и прямо спросилъ, какіе у Гончарова есть разжигающіе предметы?

На этотъ откровенный вопросъ я получилъ откровенный же, острымъ шопотомъ произнесенный, односложный отвѣтъ: «локти».

Мнѣ показалось, что я не вслушался или не понялъ.

— Локти, локти,—повторила княгиня и, видя мое недоразумѣніе, какъ будто разсердилась. — Неужто вы не помните... какъ его этотъ... герой гдѣ-то... тамъ засматривается на голые локти своей... очень простой какой-то дамы?

Теперь я, конечно, вспомнилъ извѣстный эпизодъ изъ «*Обломова*» и не нашелъ отвѣтить ни слова. Мнѣ собственно тѣмъ удобнѣе было молчать, что я не имѣлъ ни нужды, ни охоты спорить съ недоступною для переубѣжденій княгинею, которую я, по правдѣ сказать, давно гораздо усерднѣе наблюдалъ, чѣмъ старался служить ей моими указаніями и совѣтами. И какія указанія я могъ ей сдѣлать послѣ того, какъ она считала возмутительнымъ неприличіемъ «локти», а вся новѣйшая литература шагнула въ этихъ откровеніяхъ несравненно далѣе?

Какую надо было имѣть смѣлость, чтобы, зная все это, назвать хотя одно новѣйшее произведеніе, въ которыхъ покровы красоты приподняты гораздо рѣшительнѣе!

Я чувствовалъ, что, при такомъ раскрытіи обстоятельствъ, моя роль совѣтчика должна быть кончена — и рѣшился не совѣтовать, а противорѣчить.

— Княгиня,—сказалъ я:—мнѣ кажется, что вы несправедливы: въ нашихъ требованіяхъ къ художественной литературѣ есть преувеличеніе.

Я изложилъ ей все, что, по моему мнѣнію, относилось къ дѣлу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Увлекаясь, я произнесъ не только цѣлую критику надъ ложнымъ пуризмомъ, но и привелъ извѣстный анекдотъ о французской дамѣ, которая не могла ни написать, ни выговорить слова «calotte», но зато, когда ей, однажды, неизбѣжно пришлось выговорить это слово при королевѣ, она запнулась и тѣмъ заставила всѣхъ расхохотаться. Но я никакъ не могъ вспомнить: у кого изъ французскихъ писателей мнѣ пришлось читать объ ужасномъ придворномъ скандалѣ, котораго совсѣмъ бы не произошло, если бы дама выговорила слово «calotte» такъ же просто, какъ выговаривала его своими августѣйшими губками сама королева.

Цѣль моя была показать, что излишняя щепетильность можетъ служить во вредъ скромности, и что поэтому черезчуръ строгій выборъ чтенія едва ли нуженъ.

Княгиня, къ немалому моему изумленію, выслушала меня, не обнаруживая ни малѣйшаго неудовольствія, и, не покидая своего мѣста, подняла надъ головою свою руку и взяла одинъ изъ голубыхъ волюмовъ.

— У васъ, — сказала она:—есть доводы, а у меня есть оракулъ.

— Я, говорю,—интересуюсь его слышать.

— Это не замедлитъ: я призываю духъ Genlis, и онъ будетъ отвѣчать вамъ. Откройте книгу и прочтите.

— Потрудитесь указать, гдѣ я долженъ читать?—спросилъ я, принимая волюмчикъ.

— Указать? Это не мое дѣло: духъ самъ вамъ укажетъ. Раскройте, гдѣ попало.

Мнѣ это становилось немножко смѣшно, и даже какъ будто стыдно за мою собесѣдницу; однако, я сдѣлалъ такъ, какъ она хотѣла, и только-что окинулъ глазомъ первый періодъ раскрывшейся страницы, какъ почувствовалъ досадительное удивленіе.

— Вы смущены?—спросила княгиня.

— Да.

— Да; это бывало со многими. Я прошу васъ читать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

«Чтеніе — занятіе слишкомъ серьезное и слишкомъ важное по своимъ послѣдствіямъ, чтобы при выборѣ его не ру-

ководить вкусами молодыхъ людей. Есть чтеніе, которое нравится юности, но оно дѣлаетъ ихъ безпечными и предрасполагаетъ къ вѣтренности, послѣ чего трудно исправить характеръ. Все это я испытала на опытѣ». Вотъ что прочелъ я, и остановился.

Княгиня съ тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою побѣду, проговорила:

— По-латыни это, кажется, называется dixi?

— Совершенно вѣрно.

Съ тѣхъ поръ мы не спорили, но княгиня не могла отказать себѣ въ удовольствіи поговорить иногда при мнѣ о невоспитанности русскихъ писателей, которыхъ, по ея мнѣнію, «никакъ нельзя читать вслухъ безъ предварительнаго пересмотра».

О «духѣ» Genlis я, разумѣется, серьезно не думалъ. Мало ли что говорится въ этомъ родѣ.

Но «духъ», дѣйствительно, жилъ и былъ въ дѣйствіи, и, вдобавокъ, представьте, что онъ былъ на нашей сторонѣ, т. е. на сторонѣ литературы. Литературная природа взяла въ немъ верхъ надъ сухимъ резонерствомъ, и, неуязвимый со стороны приличія «духъ» г-жи Жанлисъ, заговоривъ du fond de coeur, отололъ (да, именно отололъ) въ строгомъ салонѣ такую школярскую штуку, что послѣдствія этого были исполнены глубокой трагикомедіи.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

У княгини разъ въ недѣлю собирались вечеромъ къ чаю «три друга». Это были достойные люди, съ отличнымъ положеніемъ. Два изъ нихъ были сенаторы, а третій—дипломатъ. Въ карты, разумѣется, не играли, а бесѣдовали.

Говорили, обыкновенно, старшіе, т. е. княгиня и «три друга», а я, молодой князь и княжна очень рѣдко вставляли свое слово. Мы болѣе поучались, и, къ чести нашихъ старшихъ, надо сказать, что у нихъ было чему поучиться,—особенно у дипломата, который удивлялъ насъ своими тонкими замѣчаніями.

Я пользовался его расположеніемъ, хотя не знаю за что. Въ сущности, я обязанъ думать, что онъ считалъ меня не лучше другихъ, а въ его глазахъ «литераторы» были всѣ «одного корня». Шутя онъ говорилъ: «и лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя».

Это-то самое мнѣніе и послужило поводомъ къ наступающему ужасному случаю.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Будучи стоически вѣрна своимъ друзьямъ. княгиня не хотѣла, чтобы такое общее опредѣленіе распространялось и на г-жу Жанлисъ и на «женскую плеяду», которую эта писательница держала подъ своей защитою. И вотъ, когда мы собрались у этой почтенной особы встрѣчать тихо новый годъ, незадолго до часа полночи, у насъ зашелъ обычный разговоръ, въ которомъ опять упомянуто было имя г-жи Жанлисъ, а дипломатъ припомнилъ свое замѣчаніе, что «и лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя».

— Правила безъ исключенія не бываетъ,—сказала княгиня.

Дипломатъ догадался — *кто* долженъ быть исключеніемъ, и промолчалъ.

Княгиня не вытерпѣла и, взглянувъ по направленію къ портрету Жанлисъ, сказала:

— Какая же она змѣя:

Но искушенный жизнью дипломатъ стоялъ на своемъ: онъ тихо помовалъ пальцемъ и тихо же улыбался,—онъ не вѣрилъ ни плоти, ни духу.

Для рѣшенія несогласія, очевидно, нужны были доказательства, и тутъ-то способъ обращенія къ духу вышелъ кстати.

Маленькое общество было прекрасно настроено для подобныхъ опытовъ, а хозяйка сначала напомнила о томъ, что мы знаемъ насчетъ ея вѣрованій, а потомъ и предложила опытъ.

— Я отвѣчаю, — сказала она: — что самый придирчивый человѣкъ не найдетъ у Жанлисъ ничего такого, чего бы не могла прочесть вслухъ самая невинная дѣвушка, и мы это сейчасъ попробуемъ.

Она опять, какъ въ первый разъ, закинула руку къ помѣщавшейся также надъ ея этаблисманомъ этажеркѣ, взяла безъ выбора волюмъ,—и обратилась къ дочери:

— Мое дитя! раскрой и прочти намъ страницу.

Княжна повиновалась.

Мы всѣ изображали собою серьезное ожиданіе.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Если писатель начинаетъ обрисовывать внѣшность выведенныхъ имъ лицъ въ концѣ своего разсказа, то онъ до-

стоинъ порицанія; но я писалъ эту бездѣлку такъ, чтобы въ ней никто не былъ узнанъ. Поэтому я не ставилъ никакихъ именъ и не давалъ никакихъ портретовъ. Портретъ же княжны и превышалъ бы мои силы, такъ какъ она была вполнѣ, что называется, «ангелъ во плоти». Что же касается всесовершенной ея чистоты и невинности, — она была такова, что ей можно было даже довѣрить рѣшить неодолимой трудности богословскій вопросъ, который вели у Гейне «Bernardiner und Rabiner». За эту, непричастную ни къ какому грѣху душу, конечно, должно было говорить нѣчто, стоящее превыше міра и страстей. И княжна, съ этою именно невинностью, прелестно грасируя, прочитала интересныя воспоминанія Genlis о старости madame Dudeffand, когда она «слаба глазами стала». Запись говорила о толстомъ Джиббонѣ, котораго французской писательницѣ рекомендовали какъ знаменитаго автора. Жанлисъ, какъ извѣстно, скоро его разгадала и ѣдко осмѣяла французовъ, увлеченныхъ дутой репутаціей этого иностранца.

Далѣе я привожу по извѣстному переводу съ французскаго подлинника, который читала княжна, способная рѣшить споръ между «Bernardiner und Rabiner»:

«Джиббонъ малъ ростомъ, чрезвычайно толстъ и у него преудивительное лицо. На этомъ лицѣ невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глазъ, ни рта совсѣмъ не видно; двѣ жирныя, толстыя щеки, похожія чортъ знаетъ на что, поглощаютъ все... Онѣ такъ надулись, что совсѣмъ отошли отъ всякой соразмѣрности, которая была бы маломальски прилична для самыхъ большихъ щекъ; каждый, увидавъ ихъ, долженъ былъ бы удивляться: зачѣмъ это мѣсто помѣщено не на своемъ мѣстѣ. Я бы характеризовала лицо Джиббона однимъ словомъ, если бы только возможно было сказать такое слово. Лозенъ, который былъ очень коротокъ съ Джиббономъ, привелъ его однажды къ Dudeffand. M-me Dudeffand тогда уже была слѣпа и имѣла обыкновеніе ощупывать руками лица вновь представляемыхъ ей замѣчательныхъ людей. Такимъ образомъ она усвояла себѣ довольно вѣрное понятіе о чертахъ новаго знакомца. Къ Джиббону она приложила тотъ же осязательный способъ, и это было ужасно. Англичанинъ подошелъ къ креслу и особенно добродушно подставилъ ей свое удивительное лицо. M-me Dudeffand приблизила къ нему свои руки и повела

пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала на чемъ бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слѣпой дамы сначала выразило изумленіе, потомъ гнѣвъ, и, наконецъ, она, быстро отдернувъ съ гадливостью свои руки, вскричала: «какая гадкая шутка!»

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Здѣсь былъ конецъ и чтенію, и бесѣдѣ друзей, и ожидаемой встрѣчѣ наступающаго года, потому что, когда молодая княжна, закрывъ книгу, спросила: — что такое показалось m-me Dudeffand? то лицо княгини было столь страшно, что дѣвушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась въ другую комнату, откуда сейчасъ же послышался ея плачъ, похожій на истерику.

Братъ побѣжалъ къ сестрѣ, и въ ту же минуту широкимъ шагомъ поспѣшила туда княгиня.

Присутствіе постороннихъ людей было теперь некстати, и потому всѣ «три друга» и я сію же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встрѣчи новаго года бутылка вдовы Клико осталась завернутою въ салфетку, но не раскупоренною.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Чувства, съ которыми мы расходились, были томительны, но не дѣлали чести нашимъ сердцамъ, ибо, содержа на лицахъ усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавшій насъ смѣхъ, и не въ мѣру старательно наклонялись, отыскивая свои калоши, что было необходимо, такъ какъ прислуга тоже разбѣжалась, по случаю тревоги, поднятой внезапной болѣзнью барышни.

Сенаторы сѣли въ свои экипажи, а дипломатъ прошелся со мною пѣшкомъ. Онъ хотѣлъ освѣжиться и, кажется, интересовался узнать мое незначущее мнѣніе о томъ, что̀ могло представиться мысленнымъ очамъ молодой княжны, послѣ прочтенія извѣстнаго намъ мѣста изъ сочиненій m-me Жанлисъ?

Но я рѣшительно не смѣлъ дѣлать объ этомъ никакихъ предположеній.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Съ несчастнаго дня, когда случилось это происшествіе, я не видалъ болѣе ни княгини, ни ея дочери. Я не могъ рѣ-

шиться идти поздравить ее съ новымъ годомъ, а только послалъ узнать о здоровьѣ молодой княжны, но и то съ большою нерѣшительностью, чтобъ не приняли этого въ другую сторону. Визиты же «кондолеансы» мнѣ казались совершенно неумѣстными. Положеніе было преглупое: вдругъ перестать посѣщать знакомый домъ выходило грубостью, а явиться туда—тоже казалось некстати.

Можетъ быть я былъ и неправъ въ своихъ заключеніяхъ, но мнѣ они казались вѣрными; и я не ошибся: ударъ, который перенесла княгиня подъ новый годъ отъ «духа» г-жи Жанлисъ, былъ очень тяжелъ и имѣлъ серьезныя послѣдствія.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Около мѣсяца спустя, я встрѣтился на Невскомъ съ дипломатомъ: онъ былъ очень привѣтливъ, и мы разговорились.

— Давно не видалъ васъ,—сказалъ онъ.

— Негдѣ встрѣчаться,—отвѣчалъ я.

— Да, мы потеряли милый домъ почтенной княгини: она, бѣдняжка, должна была уѣхать.

— Какъ, говорю,—уѣхать... Куда?

— Будто вы не знаете?

— Ничего не знаю.

— Они всѣ уѣхали за границу, и я очень счастливъ, что могъ устроить тамъ ея сына. Этого нельзя было не сдѣлать послѣ того, что̀ тогда случилось... Какой ужасъ! Несчастная, вы знаете, она въ ту же ночь сожгла всѣ свои волюмы и разбила вдребезги терракотовую ручку, отъ которой, впрочемъ, кажется, уцѣлѣлъ на память одинъ пальчикъ, или, лучше сказать, шишъ. Вообще пренепріятное происшествіе, но зато оно служитъ прекраснымъ доказательствомъ одной великой истины.

— По-моему: даже двухъ и трехъ.

Дипломатъ улыбнулся и, смотря мнѣ въ упоръ, спросилъ:

— Какихъ-съ?

— Во-первыхъ, это доказываетъ, что книги, о которыхъ мы рѣшаемся говорить, нужно прежде прочесть.

— А во-вторыхъ?

— А во-вторыхъ,—что неблагоразумно держать дѣвушку

въ такомъ дѣтскомъ невѣдѣніи, въ какомъ была до этого случая молодая княжна; иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о Джиббонѣ.

— И въ-третьихъ?

— Въ-третьихъ, что на духовъ такъ же нельзя полагаться, какъ и на живыхъ людей.

— И все не то: духъ подтверждаетъ одно мое мнѣніе, что «и лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя» и притомъ, чѣмъ змѣя лучше, тѣмъ она опаснѣе, потому что держитъ свой ядъ въ хвостѣ.

Если бы у насъ была сатира, то это для нея превосходный сюжетъ.

Къ сожалѣнію, не обладая никакими сатирическими способностями, я могу передать это только въ простой формѣ разсказа.

Оглавленіе

XVIII ТОМА.

стр.

Святочные разсказы:

Предисловіе 5
Жемчужное ожерелье 6
Неразмѣнный рубль 22
Звѣрь 31
Привидѣніе въ Инженерномъ замкѣ. (Изъ кадетскихъ воспоминаній) 51
Отборное зерно. (Краткая трилогія въ просонкѣ) 65
Обманъ 91
Штопальщикъ 124
Жидовская кувырколлегія 140
Духъ госпожи Жанлисъ. (Спиритическій случай) 169

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

СТАРЫЙ ГЕНІЙ.

«Геній лѣтъ не имѣетъ—онъ преодолѣваетъ все, что останавливаетъ обыкновенные умы».

Ларошфуко.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Нѣсколько лѣтъ назадъ въ Петербургъ пріѣхала маленькая старушка-помѣщица, у которой было, по ея словамъ, «вопіющее дѣло». Дѣло это заключалось въ томъ, что она, по своей сердечной добротѣ и простотѣ, чисто изъ одного участія, выручила изъ бѣды одного великосвѣтскаго франта, заложивъ для него свой домикъ, составлявшій все достояніе старушки и ея недвижимой, увѣчной дочери да внучки. Домъ былъ заложенъ въ пятнадцати тысячахъ, которыя франтъ полностію взялъ, съ обязательствомъ уплатить въ самый короткій срокъ.

Добрая старушка этому вѣрила, да и не мудрено было вѣрить, потому что должникъ принадлежалъ къ одной изъ лучшихъ фамилій, имѣлъ передъ собою блестящую карьеру и получалъ хорошіе доходы съ имѣній и хорошее жалованье по службѣ. Денежныя затрудненія, изъ которыхъ старушка его выручила, были послѣдствіемъ какого-то мимолетнаго увлеченія или неосторожности за картами въ дворянскомъ клубѣ, что поправить ему было, конечно, очень легко,— «лишь бы только доѣхать до Петербурга».

Старушка знавала когда-то мать этого господина и, во имя старой пріязни, помогла ему; онъ благополучно уѣхалъ въ Питеръ, а затѣмъ, разумѣется, началась довольно обыкновенная въ подобныхъ случаяхъ игра въ кошку и мышку. Приходятъ сроки, старушка напоминаетъ о себѣ

письмами, — сначала самыми мягкими, потомъ немножко пожёстче, а наконецъ, и бранится, — намекаетъ, что «это не честно», но должникъ ея былъ звѣрь травленый и все равно ни на какія ея письма не отвѣчалъ. А между тѣмъ время уходитъ, приближается срокъ закладной — и передъ бѣдной женщиной, которая уповала дожить свой вѣкъ въ своемъ домишкѣ, вдругъ разверзается страшная перспектива холода и голода съ увѣчной дочерью и маленькою внучкою.

Старушка въ отчаяніи поручила свою больную и ребенка доброй сосѣдкѣ, а сама собрала кое-какія крохи и полетѣла въ Петербургъ «хлопотать».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Хлопоты ея вначалѣ были очень успѣшны: адвокатъ ей встрѣтился участливый и милостивый, и въ судѣ ей рѣшеніе вышло скорое и благопріятное, но какъ дошло дѣло до исполненія—тутъ и пошла закорюка, да такая, что и ума къ ней приложить было невозможно. Не то, чтобы полиція или иные какіе пристава должнику мирволили — говорятъ, что тотъ имъ самимъ давно надоѣлъ, и что они всѣ старушку очень жалѣютъ и рады ей помочь, да *не смѣютъ*... Было у него какое-то такое могущественное родство, или свойство, что нельзя было его приструнить, какъ всякаго иного грѣшника.

О силѣ и значеніи этихъ связей достовѣрно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно — какая бабушка ему ни ворожила и все на милость преложила.

Не умѣю тоже вамъ разсказать въ точности, что надъ нимъ надо было учинить, но знаю, что нужно было «вручить *должнику* съ роспискою» какую-то бумагу, и вотъ этого-то никто, никакія лица, никакого уряда — не могли сдѣлать. Къ кому старушка ни обратится, всѣ ей въ одномъ родѣ совѣтуютъ:

— Ахъ, сударыня, и охота же вамъ! Бросьте лучше! Намъ очень васъ жаль, да что дѣлать, когда онъ никому не платитъ... Утѣшьтесь тѣмъ, что не вы первая, не вы и послѣдняя.

— Батюшки мои,—отвѣчаетъ старушка:—да какое же мнѣ въ этомъ утѣшеніе, что не мнѣ одной худо будетъ? Я бы, голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мнѣ, и всѣмъ другимъ хорошо было.

— Ну, отвѣчаютъ, — чтобъ всѣмъ-то хорошо — вы ужъ это оставьте,—это спеціалисты выдумали и это невозможно.

А та, въ простотѣ своей, пристаетъ:

— Почему же невозможно? У него состояніе во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ онъ всѣмъ намъ долженъ, и пусть онъ должное отдастъ, а ему еще много останется.

— Э, сударыня, у кого «много», тѣмъ никогда много не бываетъ, а имъ всегда недостаточно, но главное дѣло въ томъ, что онъ платить не привыкъ, и если очень докучать станете—можетъ вамъ непріятность сдѣлать.

— Какую непріятность?

— Ну, что вамъ разспрашивать: гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдругъ уѣдете.

— Ну, извините,—говоритъ старушка:—я вамъ не повѣрю: онъ замотался, но человѣкъ хорошій.

— Да, отвѣчаютъ,—конечно, онъ баринъ хорошій, но только дурной платить; а если кто этимъ занялся, тотъ и все дурное сдѣлаетъ.

— Ну, такъ тогда употребите мѣры.

— Да вотъ тутъ-то, отвѣчаютъ, — и точка съ запятою: мы не можемъ противъ всѣхъ «употреблять мѣры». Зачѣмъ съ такими знались.

— Какая же разница?

А вопрошаемые на нее только посмотрятъ да отвернутся, или даже предложатъ идти высшимъ жаловаться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ходила она и къ высшимъ. Тамъ и доступъ труднѣе, и разговору меньше, да и отвлеченнѣе.

Говорятъ: «да гдѣ онъ? о немъ доносятъ, что его нѣтъ!»

— Помилуйте,—плачетъ старушка:—да я его всякій день на улицѣ вижу,—онъ въ своемъ домѣ живетъ.

— Это вовсе и не его домъ. У него нѣтъ дома: это домъ его жены.

— Вѣдь это все равно: мужъ и жена—одна сатана.

— Да это вы такъ судите, но законъ судитъ иначе. Жена на него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду, и онъ у нея не значится... Онъ, чортъ его знаетъ, онъ всѣмъ намъ надоѣлъ, — и зачѣмъ вы ему деньги давали! Когда онъ въ Петербургѣ бываетъ — онъ прописывается гдѣ-то въ меблированныхъ комнатахъ, но тамъ не живетъ.

А если вы думаете, что мы его защищаемъ, или намъ его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймайте, — это ваше дѣло,—тогда ему *«вручатъ»*.

Утѣшительнѣе этого старушка ни на какихъ высотахъ ничего не добилась, и, по провинціальной подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка ротъ деретъ».

— Что ты, говоритъ, — мнѣ ни увѣряй, а я вижу, что все оно оттого же самаго движетъ, что *надо смазать*.

Пошла она «мазать» и пришла еще болѣе огорченная. Говоритъ, что «прямо с[illegible]лой тысячи начала», т. е. обѣщала тысячу рублей изъ взысканныхъ денегъ, но ее и слушать не хотѣли, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трехъ тысячъ, то ее даже попросили выйти.

— Трехъ тысячъ не берутъ за то только, чтобы бумажку вручить! Вѣдь это что же такое?... Нѣтъ, прежде лучше было.

— Ну, тоже, напоминаю ей: — забыли вы, вѣрно, какъ тогда хорошо шло: кто больше далъ, тотъ и правъ былъ.

— Это, отвѣчаетъ,—твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало его спросишь: «можно ли?»—а онъ отвѣчаетъ: «въ Россіи невозможности нѣтъ», и вдругъ выдумку выдумаетъ и сдѣлаетъ. Вотъ мнѣ и теперь одинъ такой объявился и пристаетъ ко мнѣ, да не знаю: вѣрить или нѣтъ? Мы съ нимъ вмѣстѣ въ Маріинскомъ пассажѣ у саечника Василья обѣдаемъ, потому что я вѣдь теперь экономлю и надъ каждымъ грошемъ трясусь, — горячаго уже давно не ѣмъ, все на дѣло берегу, а онъ, вѣрно, тоже по бѣдности или питущій... но преубѣдительно говоритъ: «дайте мнѣ пятьсотъ рублей—я *вручу*». Какъ ты объ этомъ думаешь?

— Голубушка моя, отвѣчаю ей: — увѣряю васъ, что вы меня своимъ горемъ очень трогаете, но я и своихъ-то дѣлъ вести не умѣю и рѣшительно ничего не могу вамъ посовѣтовать. Разспросили бы вы, по крайней мѣрѣ, о немъ кого-нибудь: кто онъ такой и кто за него поручиться можетъ?

— Да ужъ я саечника разспрашивала, только онъ ничего не знаетъ. «Такъ, говоритъ, надо думать, или купецъ притишилъ торговлю, или подупавшій изъ какихъ-нибудь своихъ благородій».

— Ну, самого его прямо спросите.

— Спрашивала—кто онъ такой и какой на немъ чинъ? «Это, говоритъ, въ нашемъ обществѣ разсказывать совсѣмъ лишнее и не принято; называйте меня Иванъ Иванычъ, а чинъ на мнѣ изъ четырнадцати овчинъ,—какую захочу, ту вверхъ шерстью и выворечу».

— Ну, вотъ видите,—это, выходитъ, совсѣмъ какая-то темная личность.

— Да, темная... «Чинъ изъ четырнадцати овчинъ»—это я понимаю, такъ какъ я сама съ чиновникомъ была. Это значитъ, что онъ четырна[illegible] класса. А насчетъ имени и рекомендаціи прямо объ[illegible]ть, что «насчетъ рекомендацій», говоритъ, «я ими пренебрегаю и у меня ихъ нѣтъ, а я геніальныя мысли въ своемъ лбу имѣю и знаю достойныхъ людей, которые всякій мой планъ готовы привести за триста рублей въ исполненіе».

— Почему же, батюшка, непремѣнно *триста?*

— «А такъ,—ужъ это у насъ такой прификсъ, съ котораго мы уступать не желаемъ и больше не беремъ».

— Ничего, сударь, не понимаю.

— «Да и не надо. Нынѣшніе вѣдь много тысячъ берутъ, а мы сотни. Мнѣ двѣсти за мысль и за руководство, да триста исполнительному герою, въ соразмѣрѣ, что онъ можетъ за исполненіе три мѣсяца въ тюрьмѣ сидѣть, и конецъ дѣло вѣнчаетъ. Кто хочетъ—пусть намъ вѣритъ, потому что я всегда берусь за дѣла только за невозможныя; а кто вѣры не имѣетъ, съ тѣмъ дѣлать нечего»,—но что до меня касается,—прибавляетъ старушка,—то представь ты себѣ мое искушеніе: я ему почему-то вѣрю...

— Рѣшительно, говорю,—не знаю, отчего вы ему вѣрите?

— Вообрази—предчувствіе у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это какъ-то такъ тепло убѣждаетъ довѣриться.

— Не подождать ли еще?

— Подожду, пока возможно.

Но скоро это сдѣлалось невозможно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Пріѣзжаетъ ко мнѣ старушка въ состояніи самой трогательной и острой горести: во-первыхъ, настаетъ Рождество; во-вторыхъ, изъ дому пишутъ, что домъ на сихъ же дняхъ

поступаетъ въ продажу; и въ-третьихъ, она встрѣтила своего должника подъ-руку съ дамой и погналась за ними и даже схватила его за рукавъ, и взывала къ содѣйствію публики, крича со слезами: «Боже мой, онъ мнѣ долженъ!» Но это повело только къ тому, что ее отъ должника съ его дамою отвлекли, а привлекли къ отвѣтственности за нарушеніе тишины и порядка въ людномъ мѣстѣ. Ужаснѣе же этихъ трехъ обстоятельствъ было четвертое, которое заключалось въ томъ, что должникъ старушки добылъ себѣ заграничный отпускъ и не позже, какъ завтра, уѣзжаетъ съ роскошною дамою своего сердца за границу, — гдѣ навѣрно пробудетъ годъ или два, а можетъ быть и совсѣмъ не вернется, «потому что она очень богатая».

Сомнѣній, что все это именно такъ, какъ говорила старушка, не могло быть ни малѣйшихъ. Она научилась зорко слѣдить за каждымъ шагомъ своего неуловимаго должника и знала всѣ его тайности отъ подкупленныхъ его слугъ.

Завтра, стало быть, конецъ этой долгой и мучительной комедіи: завтра онъ несомнѣнно улизнетъ и надолго, а можетъ-быть и навсегда, потому что его компаньонка, всеконечно, не желала афишировать себя за мигъ иль краткое мгновенье.

Старушка все это во всѣхъ подробностяхъ повергла уже обсужденію дѣльца, имѣющаго чинъ изъ четырнадцати овчинъ, и тотъ тамъ же, сидя за ночвами у саечника въ Маріинскомъ пассажѣ, отвѣчалъ ей:

— «Да, дѣло кратко, но помочь еще можно: сейчасъ пятьсотъ рублей на столъ, и завтра же ваша душа на просторъ; а если не имѣете ко мнѣ вѣры — ваши пятнадцать тысячъ пропали».

— Я, другъ мой,—разсказываетъ мнѣ старушка: — уже рѣшилась ему довѣриться... Что же дѣлать: все равно, вѣдь, никто не берется, а онъ берется и твердо говоритъ: «я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня такъ, глаза испытуючи.—Я нимало не сумасшедшая, — а и сама ничего не понимаю, но только имѣю къ нему какое-то таинственное довѣріе въ моемъ предчувствіи, и сны такіе снились, что я рѣшилась и увела его съ собою.

— Куда?

— Да видишь ли, мы у саечника вѣдь только въ одну пору, все въ обѣдъ встрѣчаемся. А тогда уже поздно будетъ,—такъ я его теперь при себѣ веду и не отпущу до завтраго. Въ мои годы, конечно, ужъ объ этомъ никто ничего дурного подумать не можетъ, а за нимъ надо смотрѣть, потому что я должна ему сейчасъ же всѣ пятьсотъ рублей отдать и безъ всякой росписи.

— И вы рѣшаетесь?

— Конечно, рѣшаюсь.—Что же еще сдѣлать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала и онъ теперь ждетъ меня въ трактирѣ, чай пьетъ, а я къ тебѣ съ просьбою: у меня еще двѣсти пятьдесятъ рублей есть, а полутораста нѣтъ. Сдѣлай милость, ссуди меня,—я тебѣ возвращу. Пусть хоть домъ продадутъ, — все-таки тамъ полтораста рублей еще останется.

Зналъ я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ея такое трогательное, — думаю: отдастъ или не отдастъ—Господь съ ней, отъ полутораста рублей не разбогатѣешь и не обѣднѣешь, а между тѣмъ у нея мученія на душѣ не останется, что она не всѣ средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ея дѣло.

Взяла она просимыя деньги и поплыла въ трактиръ къ своему отчаянному дѣльцу. А я съ любопытствомъ дожидалъ ее на слѣдующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое штукарство изловчаются плутовать въ Петербургѣ?

Только то, о чемъ я узналъ, превзошло мои ожиданія: пассажный геній не постыдилъ ни вѣры, ни предчувствій доброй старушки.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

На третій день праздника, она влетаетъ ко мнѣ въ дорожномъ платьѣ и съ саквояжемъ, и первое что дѣлаетъ,—кладетъ мнѣ на столъ занятые у меня полтораста рублей, а потомъ показываетъ банковую, переводную росписку слишкомъ на пятнадцать тысячъ...

— Глазамъ своимъ не вѣрю! Что это значитъ?

— Ничего больше, какъ я получила всѣ свои деньги съ процентами.

— Какимъ образомъ? Неужто все это четырнадцати-овчинный Иванъ Иванычъ устроилъ?

— Да, онъ. Впрочемъ, былъ еще и другой, которому онъ отъ себя триста рублей далъ, — потому что безъ помощи этого человѣка обойтись было невозможно.

— Это что же еще за дѣятель? Вы ужъ разскажите все, какъ они вамъ помогали!

— Помогли очень честно. Я какъ пришла въ трактиръ и отдала Ивану Иванычу деньги—онъ сосчиталъ, принялъ и говоритъ: «теперь, госпожа, поѣдемъ. Я, говоритъ, геній по мысли моей, но мнѣ нуженъ исполнитель моего плана, потому что я самъ таинственный незнакомецъ и своимъ лицомъ юридическихъ дѣйствій производить не могу». Ѣздили по многимъ низкимъ мѣстамъ и по банямъ — все искали какого-то «сербскаго сражателя», но долго его не могли найти. Наконецъ нашли. Вышелъ этотъ сражатель изъ какой-то ямки, въ сербскомъ военномъ костюмѣ, весь оборванный, а въ зубахъ пипочка изъ газетной бумаги и говоритъ: «я все могу, что̀ кому нужно, но прежде всего надо выпить». Всѣ мы трое въ трактирѣ сидѣли и торговались, и сербскій сражатель требовалъ «по сту рублей на мѣсяцъ, за три мѣсяца». На этомъ рѣшили. Я еще ничего не понимала, но видѣла, что Иванъ Иванычъ ему деньги отдалъ, стало-быть, онъ вѣритъ, и мнѣ полегче стало. А потомъ я Ивана Иваныча къ себѣ взяла, чтобы въ моей квартирѣ находился, а сербскаго сражателя въ бани ночевать отпустили съ тѣмъ, чтобы утромъ явился. Онъ утромъ пришелъ и говоритъ: я готовъ! А Иванъ Иванычъ мнѣ шепчетъ: «Пошлите для него за водочкой: отъ него нужна смѣлость. Много я ему пить не дамъ, а немножко необходимо для храбрости: настаетъ самое главное его исполненіе».

Выпилъ сербскій сражатель, и они поѣхали на станцію желѣзной дороги, съ поѣздомъ которой старушкинъ должникъ и его дама должны были уѣхать. Старушка все еще ничего не понимала, что̀ такое они замыслили и какъ исполнятъ, но сражатель ее успокоивалъ и говорилъ, что «все будетъ честно и благородно». Стала съѣзжаться къ поѣзду публика, и должникъ явился тутъ, какъ листъ передъ травою, и съ нимъ дама; лакей беретъ для нихъ билеты, а онъ сидитъ съ своей дамой, чай пьетъ и тревожно осматривается на всѣхъ. Старушка спряталась за Ивана Иваныча и указываетъ на должника, говоритъ: «вотъ—онъ!»

Сербскій воитель увидалъ, сказалъ «хорошо» и сейчасъ же всталъ и прошелъ мимо франта разъ, потомъ во второй, а потомъ въ третій разъ, прямо противъ него остановился и говоритъ:

— Чего это вы на меня такъ смотрите?

Тотъ отвѣчаетъ: «я на васъ вовсе никакъ не смотрю, я чай пью».

— А-а!—говоритъ воитель:—вы не смотрите, а чай пьете? такъ я же васъ заставлю на меня смотрѣть, и вотъ вамъ отъ меня къ чаю лимонный сокъ, песокъ и шоколаду кусокъ!.. Да съ этимъ—хлопъ, хлопъ, хлопъ! его три раза по лицу и ударилъ.

Дама бросилась въ сторону, господинъ тоже хотѣлъ убѣжать и говорилъ, что онъ теперь не въ претензіи; но полиція подскочила и вмѣшалась: «этого, говоритъ, нельзя: это въ публичномъ мѣстѣ», — и сербскаго воителя арестовали, и побитаго тоже. Тотъ въ ужасномъ былъ волненіи, — не знаетъ: не то за своей дамой броситься, не то полиціи отвѣчать. А между тѣмъ уже и протоколъ готовъ, и поѣздъ отходитъ... Дама уѣхала, а онъ остался... и какъ только объявилъ свое званіе, имя и фамилію, полицейскій говоритъ: «такъ вотъ у меня кстати для васъ и бумажка въ портфелѣ есть для врученія». Тотъ — дѣлать нечего — при свидѣтеляхъ поданную ему бумагу принялъ, и, чтобы освободить себя отъ обязательствъ о невыѣздѣ, немедленно же сполна и съ процентами уплатилъ чекомъ весь долгъ свой старушкѣ.

Такъ были побѣждены неодолимыя затрудненія, правда восторжествовала и въ честномъ, но бѣдномъ домѣ водворился покой, и праздникъ сталъ тоже свѣтелъ и веселъ.

Человѣкъ, который нашелся—какъ уладить столь трудное дѣло, кажется, вполнѣ имѣетъ право считать себя въ самомъ дѣлѣ геніемъ.

— Да, онъ. Впрочемъ, былъ еще и другой, которому онъ отъ себя триста рублей далъ, — потому что безъ помощи этого человѣка обойтись было невозможно.

— Это что же еще за дѣятель? Вы ужъ разскажите все, какъ они вамъ помогали!

— Помогли очень честно. Я какъ пришла въ трактиръ и отдала Ивану Иванычу деньги—онъ сосчиталъ, принялъ и говоритъ: «теперь, госпожа, поѣдемъ. Я, говоритъ, геній по мысли моей, но мнѣ нуженъ исполнитель моего плана, потому что я самъ таинственный незнакомецъ и своимъ лицомъ юридическихъ дѣйствій производить не могу». Ѣздили по многимъ низкимъ мѣстамъ и по банямъ — все искали какого-то «сербскаго сражателя», но долго его не могли найти. Наконецъ нашли. Вышелъ этотъ сражатель изъ какой-то ямки, въ сербскомъ военномъ костюмѣ, весь оборванный, а въ зубахъ пипочка изъ газетной бумаги и говоритъ: «я все могу, что̀ кому нужно, но прежде всего надо выпить». Всѣ мы трое въ трактирѣ сидѣли и торговались, и сербскій сражатель требовалъ «по сту рублей на мѣсяцъ, за три мѣсяца». На этомъ рѣшили. Я еще ничего не понимала, но видѣла, что Иванъ Иванычъ ему деньги отдалъ, стало-быть, онъ вѣритъ, и мнѣ полегче стало. А потомъ я Ивана Иваныча къ себѣ взяла, чтобы въ моей квартирѣ находился, а сербскаго сражателя въ бани ночевать отпустили съ тѣмъ, чтобы утромъ явился. Онъ утромъ пришелъ и говоритъ: я готовъ! А Иванъ Иванычъ мнѣ шепчетъ: «Пошлите для него за водочкой: отъ него нужна смѣлость. Много я ему пить не дамъ, а немножко необходимо для храбрости: настаетъ самое главное его исполненіе».

Выпилъ сербскій сражатель, и они поѣхали на станцію желѣзной дороги, съ поѣздомъ которой старушкинъ должникъ и его дама должны были уѣхать. Старушка все еще ничего не понимала, что̀ такое они замыслили и какъ исполнятъ, но сражатель ее успокоивалъ и говорилъ, что «все будетъ честно и благородно». Стала съѣзжаться къ поѣзду публика, и должникъ явился тутъ, какъ листъ передъ травою, и съ нимъ дама; лакей беретъ для нихъ билеты, а онъ сидитъ съ своей дамой, чай пьетъ и тревожно осматривается на всѣхъ. Старушка спряталась за Ивана Иваныча и указываетъ на должника, говоритъ: «вотъ—онъ!»

Сербскій воитель увидалъ, сказалъ «хорошо» и сейчасъ же всталъ и прошелъ мимо франта разъ, потомъ во второй, а потомъ въ третій разъ, прямо противъ него остановился и говоритъ:

— Чего это вы на меня такъ смотрите?

Тотъ отвѣчаетъ: «я на васъ вовсе никакъ не смотрю, я чай пью».

— А-а!—говоритъ воитель:—вы не смотрите, а чай пьете? такъ я же васъ заставлю на меня смотрѣть, и вотъ вамъ отъ меня къ чаю лимонный сокъ, песокъ и шоколаду кусокъ!.. Да съ этимъ—хлопъ, хлопъ, хлопъ! его три раза по лицу и ударилъ.

Дама бросилась въ сторону, господинъ тоже хотѣлъ убѣжать и говорилъ, что онъ теперь не въ претензіи; но полиція подскочила и вмѣшалась: «этого, говоритъ, нельзя: это въ публичномъ мѣстѣ», — и сербскаго воителя арестовали, и побитаго тоже. Тотъ въ ужасномъ былъ волненіи, — не знаетъ: не то за своей дамой броситься, не то полиціи отвѣчать. А между тѣмъ уже и протоколъ готовъ, и поѣздъ отходитъ... Дама уѣхала, а онъ остался... и какъ только объявилъ свое званіе, имя и фамилію, полицейскій говоритъ: «такъ вотъ у меня кстати для васъ и бумажка въ портфелѣ есть для врученія». Тотъ — дѣлать нечего — при свидѣтеляхъ поданную ему бумагу принялъ, и, чтобы освободить себя отъ обязательствъ о невыѣздѣ, немедленно же сполна и съ процентами уплатилъ чекомъ весь долгъ свой старушкѣ.

Такъ были побѣждены неодолимыя затрудненія, правда восторжествовала и въ честномъ, но бѣдномъ домѣ водворился покой, и праздникъ сталъ тоже свѣтелъ и веселъ.

Человѣкъ, который нашелся—какъ уладить столь трудное дѣло, кажется, вполнѣ имѣетъ право считать себя въ самомъ дѣлѣ геніемъ.

ПУТЕШЕСТВІЕ СЪ НИГИЛИСТОМЪ.

«Кто скачетъ, кто мчится
въ таинственной мглѣ?»
Гете.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Случилось провести мнѣ рождественскую ночь въ вагонѣ, и не безъ приключеній.

Дѣло было на одной изъ маленькихъ желѣзнодорожныхъ вѣтвей, такъ сказать, совсѣмъ въ сторонѣ отъ «большого свѣта». Линія была еще не совсѣмъ окончена, поѣзда ходили неаккуратно, и публику помѣщали какъ попало. Какой классъ ни возьми, все выходитъ одно и то же,—всѣ являются вмѣстѣ.

Буфетовъ еще нѣтъ; многіе, чувствуя холодъ, грѣются изъ дорожныхъ фляжекъ.

Согрѣвающіе напитки развиваютъ общеніе и разговоры. Больше всего толкуютъ о дорогѣ и судятъ о ней снисходительно, что бываетъ у насъ не часто.

— Да, плохо насъ везутъ,—сказалъ какой-то военный:— а все спасибо имъ, — лучше, чѣмъ на коняхъ. На коняхъ въ сутки бы не доѣхали, а тутъ завтра къ утру будемъ и завтра назадъ можно. Должностнымъ людямъ то удобство, что завтра съ родными повидаешься, а послѣзавтра и опять къ службѣ.

— Вотъ и я то же самое,—поддержалъ, вставъ на ноги и держась за спинку скамьи, большой, сухощавый духовный;—вотъ у нихъ въ городѣ дьяконъ гласомъ подупавши, многолѣтіе—въ родѣ какъ пѣтухъ выводитъ. Пригласили меня

за десятку позднюю обѣдню сдѣлать. Многолѣтіе проворчу и опять въ ночь въ свое село.

Одно находили на лошадяхъ лучше, что можно ѣхать въ своей компаніи и гдѣ угодно остановиться.

— Ну, да вѣдь здѣсь компанія-то не навѣкъ, а на часъ,— молвилъ купецъ.

— Однако, иной если и на часъ навяжется, то можно его всю жизнь помнить,—отозвался дьяконъ.

— Чего же это такъ?

— А если, напримѣръ, нигилистъ, да въ полномъ своемъ облаченіи, со всѣми составами и револьверъ-барбосомъ.

— Это сужектъ полицейскій.

— Всякаго это касается, потому вы знаете ли, что отъ одного даже трясенія... пафъ—и готово.

— Оставьте, пожалуйста... Къ чему вы это къ ночи завели. У насъ этого званія еще нѣтъ.

— Можетъ съ поля взяться.

— Лучше спать давайте.

Всѣ послушались купца и заснули, и не могу уже вамъ сказать, сколько мы проспали, какъ вдругъ насъ такъ сильно встряхнуло, что всѣ мы проснулись, а въ вагонѣ съ нами уже былъ нигилистъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Откуда онъ взялся? Никто не замѣтилъ, гдѣ этотъ непріятный гость могъ взойти, но не было ни малѣйшаго сомнѣнія, что это настоящій, чистокровный нигилистъ, и потому сонъ у всѣхъ пропалъ сразу. Разсмотрѣть его еще было невозможно, потому что онъ сидѣлъ впотемочкахъ въ углу у окна, но и смотрѣть не надо — это такъ уже чувствовалось.

Впрочемъ, дьяконъ попробовалъ произвести обозрѣніе личности: онъ прошелся къ выходной двери вагона, мимо самаго нигилиста, и, возвратясь, объявилъ потихоньку, что весьма ясно примѣтилъ «рукава съ фибрами», за которыми непремѣнно спрятанъ револьверъ-барбосъ или бинамидъ.

Дьяконъ оказывался человѣкомъ очень живымъ и, для своего сельскаго званія, весьма просвѣщеннымъ и любознательнымъ, а къ тому же и находчивымъ. Онъ немедленно сталъ подбивать военнаго, чтобы тотъ вынулъ па-

пироску и пошелъ къ нигилисту попросить огня отъ его сигары.

— Вы, говоритъ,—не цивильные, а вы со шпорою—вы можете на него такъ топнуть, что онъ какъ бильярдный шаръ выкатится. Военному все смѣлѣе.

Къ поѣздовому начальству напрасно было обращаться, потому что оно насъ заперло на ключъ и само отсутствовало.

Военный согласился: онъ всталъ, постоялъ у одного окна, потомъ у другого и, наконецъ, подошелъ къ нигилисту и попросилъ закурить отъ его сигары.

Мы зорко наблюдали за этимъ маневромъ и видѣли, какъ нигилистъ схитрилъ: онъ не далъ сигары, а зажегъ спичку и молча подалъ ее офицеру.

Все это холодно, кратко, отчетисто, но безучастливо и въ совершенномъ молчаніи. Ткнулъ въ руки зажженную спичку и отворотился.

Но, однако, для нашего напряженнаго вниманія было довольно и одного этого свѣтового момента, пока сверкнула спичка. Мы разглядѣли, что это человѣкъ совершенно сомнительный, даже неопредѣленнаго возраста. Точно донской рыбецъ, котораго не отличишь—нынѣшній онъ или прошлогодній. Но подозрительнаго много: грефовскіе круглые очки, неблагонамѣренная фуражка, не православнымъ блиномъ, а съ еретическимъ надзатыльникомъ, и на плечахъ типическій пледъ, составляющій въ нигилистическомъ сословіи своего рода «мундирную пару», но что всего болѣе намъ не понравилось—это его лицо. Не патлатое и воеводственное, какъ бывало у ортодоксальныхъ нигилистовъ шестидесятыхъ годовъ, а нынѣшнее — щуковатое, такъ сказать фальсифицированное и представляющее какъ бы нѣкую невозможную помѣсь нигилистки съ жандармомъ. Въ общемъ это являетъ собою подобіе геральдическаго козерога.

Я не говорю геральдическаго *льва*, а именно геральдическаго *козерога*. Помните, какъ ихъ обыкновенно изображаютъ по бокамъ аристократическихъ гербовъ: посрединѣ пустой шлемъ и забрало, а на него щерятся левъ и козерогъ. У послѣдняго вся фигура безпокойная и острая, какъ будто «счастья онъ не ищетъ и не отъ счастія бѣжитъ». Вдобавокъ и колера, въ которые былъ окрашенъ нашъ непріятный сопутникъ, не обѣщали ничего добраго: волосенки цвѣта гаванна, лицо зеленоватое, а глаза сѣрые и бѣгаютъ

какъ метрономъ, поставленный на скорый темпъ «allegro udiratto». (Такого темпа въ музыкѣ, разумѣется, нѣтъ, но онъ есть въ нигилистическомъ жаргонѣ).

Чортъ его знаетъ: не то его кто-то догоняетъ,—или онъ за кѣмъ-то гонится—никакъ не разберешь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Военный, возвратясь на свое мѣсто, сказалъ, что на его взглядъ нигилистъ немножко чисто одѣтъ, и что у него на рукахъ есть перчатки, а передъ нимъ на противоположной лавочкѣ стоитъ бѣльевая корзинка.

Дьяконъ, впрочемъ, сейчасъ же доказалъ, что все это ничего не значитъ, и привелъ къ тому нѣсколько любопытныхъ исторій, которыя онъ зналъ отъ своего брата, служащаго гдѣ-то при таможнѣ.

— Черезъ нихъ,—говорилъ онъ:—разъ проѣзжалъ даже не въ простыхъ перчаткахъ, а филь-де-помъ, а какъ стали его обыскивать—обозначился шульеръ. Думали смирный—посадили его въ подводную тюрьму, а онъ изъ-подъ воды ушелъ.

Всѣ заинтересовались: какъ шульеръ ушелъ изъ-подъ воды?

— А очень просто,—разъяснилъ дьяконъ: — онъ началъ притворяться, что его занапрасно посадили, и началъ просить свѣчку. «Мнѣ, говоритъ, — въ темнотѣ очень скучно, прошу дозволить свѣчечку, я хочу въ поверхностную комиссію графу Лорисъ-Мелихову объявленіе написать, кто я таковъ, и въ какихъ упованіяхъ прошу прощады и хорошее мѣсто. Но комендантъ былъ старый, мушкетнаго пороху,—зналъ всѣ ихъ хитрости и не позволилъ. «Кто къ намъ, говоритъ,—залученъ, тому нѣтъ прощады», и такъ все его впотьмахъ и томилъ; а какъ этотъ померъ, а новаго назначили, шульеръ видитъ, что этотъ изъ неопытныхъ — навзрыдъ передъ нимъ зарыдалъ, и началъ просить, чтобы ему хоть самый маленькій сальный огарочекъ дали и какую-нибудь божественную книгу: «для того, говоритъ, — что я хочу благочестивыя мысли читать и въ раскаяніе придти». Новый комендантъ и далъ ему свѣчной огарокъ и духовный журналъ «Православное Воображеніе», а тотъ и ушелъ.

— Какъ же онъ ушелъ?

— Съ огаркомъ и ушелъ.

Военный посмотрѣлъ на дьякона и сказалъ:

— Вы какой-то вздоръ разсказываете!

— Нимало не вздоръ, а слѣдствіе было.

— Да что же ему огарокъ значилъ?

— А чортъ ёго знаетъ, что̀ значилъ! Только послѣ стали вездѣ по каморкѣ смотрѣть — ни дыры никакой, ни щелочки,—ничего нѣтъ, и огарка нѣтъ, а изъ листовъ изъ «Православнаго Воображенія» остались одни корневильскіе корешки.

— Ну, вы совсѣмъ чортъ знаетъ что̀ говорите!—нетерпѣливо молвилъ военный.

— Ничего не вздоръ, а я вамъ говорю — и слѣдствіе было, и узнали потомъ, кто онъ такой, да уже поздно.

— А кто же онъ такой былъ?

— Нахалкиканецъ изъ-за Ташкенту. Ґенералъ Черняевъ его верхомъ на битюкѣ послалъ, чтобы онъ болгарамъ отъ Кокорева пятьсотъ рублей отвезъ, а онъ, по театрамъ да по баламъ, всѣ деньги въ карты проигралъ и убѣжалъ. Свѣчнымъ саломъ смазался, а съ свѣтилемъ ушелъ.

Военный только рукою махнулъ и отвернулся.

Но другимъ пассажирамъ словоохотливый дьяконъ нимало не наскучилъ: они любовно слушали, какъ онъ отъ коварнаго нахалкиканца съ корневильскими корешками перешелъ къ настоящему нашему собственному положенію съ подозрительнымъ нигилистомъ. Дьяконъ говорилъ:

— Я на его чистоту не льщусь, а какъ вотъ придетъ сейчасъ первая станція — здѣсь одна сторожиха изъ керосиновой бутылочки водку продаетъ,—я поднесу кондуктору бутершафтъ, и мы его встряхнемъ и что въ бѣльевой корзинѣ есть, посмотримъ... какіе тамъ у него составы...

— Только надо осторожнѣе.

— Будьте покойны — мы съ молитвою. Помилуй мя, Боже...

Тутъ насъ вдругъ и толкнуло, и завизжало. Многіе вздрогнули и перекрестились.

— Вотъ оно и есть, — воскликнулъ дьяконъ: — наѣхали на станцію!

Онъ вышелъ и побѣжалъ, а на его мѣсто пришелъ кондукторъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Кондукторъ сталъ прямо передъ нигилистомъ и ласково молвилъ:

— Не желаете ли, господинъ, корзиночку въ багажъ сдать?

Нигилистъ на него посмотрѣлъ и не отвѣтилъ.

Кондукторъ повторилъ предложеніе.

Тогда мы въ первый разъ услыхали звукъ голоса нашего ненавистнаго попутчика. Онъ дерзко отвѣчалъ:

— *Не желаю.*

Кондукторъ ему представилъ резоны, что «такихъ большихъ вещей не дозволено съ собой въ вагоны вносить».

Онъ процѣдилъ сквозь зубы:

— И прекрасно, что не дозволено.

— Такъ желаете, я корзиночку сдамъ въ багажъ?

— *Не желаю.*

— Какъ же, сами правильно разсуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете?

— *Не желаю.*

Взошедшій на эту исторію дьяконъ не утерпѣлъ и воскликнулъ: — «развѣ такъ можно!» но, услыхавъ, что кондукторъ пригрозилъ «оберомъ» и протоколомъ, успокоился и согласился ждать слѣдующей станціи.

— Тамъ городъ, — сказалъ онъ намъ: — тамъ его и скрутятъ.

И что въ самомъ дѣлѣ за упрямый человѣкъ: ничего отъ него не добьются, кромѣ одного—«не желаю».

Неужто тутъ и взаправду замѣшаны корневильскіе корешки?

Стало очень интересно, и мы ждали слѣдующей станціи съ нетерпѣніемъ.

Дьяконъ объявилъ, что тутъ у него жандармъ даже кумъ и человѣкъ стараго мушкетнаго пороху.

— Онъ, говоритъ, — ему такую завинтушку подъ ребро ткнетъ, что изъ него все это рояльное воспитаніе выскочитъ.

Оберъ явился еще на ходу поѣзда и настойчиво сказалъ:

— Какъ пріѣдемъ на станцію, извольте эту корзину взять.

А тотъ опять тѣмъ же тономъ отвѣчаетъ:

— Не желаю.

— Да вы прочитайте правила!

— Не желаю.

— Такъ пожалуйте со мною объясниться къ начальнику станціи. Сейчасъ остановка.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Пріѣхали.

Станціонное зданіе побольше другихъ и поотдѣланнѣе: видны огни, самоваръ, на платформѣ и за стеклянными дверями буфетъ и жандармы. Словомъ, все, что нужно. И вообразите себѣ: нашъ нигилистъ, который оказывалъ столько грубаго сопротивленія во всю дорогу, вдругъ обнаружилъ намѣреніе сдѣлать движеніе, извѣстное у нихъ подъ именемъ allegro udiratto. Онъ взялъ въ руки свой маленькій саквояжикъ и направился къ двери, но дьяконъ замѣтилъ это и очень ловкимъ манеромъ загородилъ ему выходъ. Въ эту же самую минуту появился оберъ-кондукторъ, начальникъ станціи и жандармъ.

— Это ваша корзина?—спросилъ начальникъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ нигилистъ.

— Какъ нѣтъ?!

— Нѣтъ.

— Все равно, пожалуйте.

— Не уйдешь, братъ, не уйдешь,—говорилъ дьяконъ.

Нигилиста и всѣхъ насъ, въ качествѣ свидѣтелей, попросили въ комнату начальника станціи и сюда же внесли корзину.

— Какія здѣсь вещи?—спросилъ строго начальникъ.

— Не знаю,—отвѣчалъ нигилистъ.

Но съ нимъ больше не церемонились: корзинку мгновенно раскрыли и увидали новенькое голубое дамское платье, а въ это же самое мгновеніе въ контору съ отчаяннымъ воплемъ ворвался еврей и закричалъ, что это его корзинка, и что платье, которое въ ней, онъ везетъ одной знатной дамѣ; а что корзину, дѣйствительно, поставилъ онъ, а не кто другой, въ томъ онъ сослался на нигилиста.

Тотъ подтвердилъ, что они взошли вмѣстѣ, и еврей, дѣйствительно, внесъ корзинку и поставилъ ее на лавочку, а самъ легъ подъ сидѣнье.

— А билетъ?—спросили у еврея.

— Ну, что билетъ,—отвѣчалъ онъ...—Я не зналъ, гдѣ брать билетъ...

Еврея велѣно придержать, а отъ нигилиста потребовали удостовѣренія его личности. Онъ молча подалъ листокъ, взглянувъ на который начальникъ станціи рѣзко перемѣнилъ тонъ и попросилъ его въ кабинетъ, добавивъ при этомъ:

— Ваше превосходительство здѣсь ожидаютъ.

А когда тотъ скрылся за дверью, начальникъ станціи приложилъ ладони рукъ рупоромъ ко рту и отчетливо объявилъ намъ:

— Это *прокуроръ судебной палаты!*

Всѣ ощутили полное удовольствіе и перенесли его въ молчаніи; только одинъ военный вскрикнулъ:

— А все это надѣлалъ этотъ болтунъ дьяконъ! Ну-ка— гдѣ онъ... куда онъ дѣлся?

Но всѣ напрасно оглядывались: «куда онъ дѣлся»,—дьякона уже не было; онъ исчезъ, какъ нахалкиканецъ, даже и безъ свѣчки. Она, впрочемъ, была и не нужна, потому что на небѣ уже свѣтало и въ городѣ звонили къ рождественской заутренѣ.

— Да вы прочитайте правила!

— Не желаю.

— Такъ пожалуйте со мною объясниться къ начальнику станціи. Сейчасъ остановка.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Пріѣхали.

Станціонное зданіе побольше другихъ и поотдѣланнѣе: видны огни, самоваръ, на платформѣ и за стеклянными дверями буфетъ и жандармы. Словомъ, все, что нужно. И вообразите себѣ: нашъ нигилистъ, который оказывалъ столько грубаго сопротивленія во всю дорогу, вдругъ обнаружилъ намѣреніе сдѣлать движеніе, извѣстное у нихъ подъ именемъ allegro udiratto. Онъ взялъ въ руки свой маленькій саквояжикъ и направился къ двери, но дьяконъ замѣтилъ это и очень ловкимъ манеромъ загородилъ ему выходъ. Въ эту же самую минуту появился оберъ-кондукторъ, начальникъ станціи и жандармъ.

— Это ваша корзина?—спросилъ начальникъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ нигилистъ.

— Какъ нѣтъ?!

— Нѣтъ.

— Все равно, пожалуйте.

— Не уйдешь, братъ, не уйдешь,—говорилъ дьяконъ.

Нигилиста и всѣхъ насъ, въ качествѣ свидѣтелей, попросили въ комнату начальника станціи и сюда же внесли корзину.

— Какія здѣсь вещи?—спросилъ строго начальникъ.

— Не знаю,—отвѣчалъ нигилистъ.

Но съ нимъ больше не церемонились: корзинку мгновенно раскрыли и увидали новенькое голубое дамское платье, а въ это же самое мгновеніе въ контору съ отчаяннымъ воплемъ ворвался еврей и закричалъ, что это его корзинка, и что платье, которое въ ней, онъ везетъ одной знатной дамѣ; а что корзину, дѣйствительно, поставилъ онъ, а не кто другой, въ томъ онъ сослался на нигилиста.

Тотъ подтвердилъ, что они взошли вмѣстѣ, и еврей, дѣйствительно, внесъ корзинку и поставилъ ее на лавочку, а самъ легъ подъ сидѣнье.

— А билетъ?—спросили у еврея.

— Ну, что билетъ,—отвѣчалъ онъ...—Я не зналъ, гдѣ брать билетъ...

Еврея велѣно придержать, а отъ нигилиста потребовали удостовѣренія его личности. Онъ молча подалъ листокъ, взглянувъ на который начальникъ станціи рѣзко перемѣнилъ тонъ и попросилъ его въ кабинетъ, добавивъ при этомъ:

— Ваше превосходительство здѣсь ожидаютъ.

А когда тотъ скрылся за дверью, начальникъ станціи приложилъ ладони рукъ рупоромъ ко рту и отчетливо объявилъ намъ:

— Это *прокуроръ судебной палаты!*

Всѣ ощутили полное удовольствіе и перенесли его въ молчаніи; только одинъ военный вскрикнулъ:

— А все это надѣлалъ этотъ болтунъ дьяконъ! Ну-ка— гдѣ онъ... куда онъ дѣлся?

Но всѣ напрасно оглядывались: «куда онъ дѣлся»,—дьякона уже не было; онъ исчезъ, какъ нахалкиканецъ, даже и безъ свѣчки. Она, впрочемъ, была и не нужна, потому что на небѣ уже свѣтало и въ городѣ звонили къ рождественской заутренѣ.

МАЛЕНЬКАЯ ОШИБКА.

СЕКРЕТЪ ОДНОЙ МОСКОВСКОЙ ФАМИЛІИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Вечеркомъ, на святкахъ, сидя въ одной благоразумной компаніи, было говорено о вѣрѣ и о невѣріи. Рѣчь шла, впрочемъ, не въ смыслѣ высшихъ вопросовъ деизма или матеріализма, а въ смыслѣ вѣры въ людей, одаренныхъ особыми силами предвѣдѣнія и прорицанія, а, пожалуй, даже и своего рода чудотворства. И случился тутъ же нѣкто, степенный московскій человѣкъ, который сказалъ слѣдующее:

— Не легко это, господа, судить о томъ: кто живетъ съ вѣрою, а который не вѣруетъ, ибо разные тому въ жизни бываютъ прилоги; случается, что разумъ-то нашъ въ таковыхъ случаяхъ впадаетъ въ ошибки.

И послѣ такого вступленія онъ разсказалъ намъ любопытную повѣсть, которую я постараюсь передать его же словами:

Дядюшка и тетушка мои одинаково прилежали покойному чудотворцу Ивану Яковлевичу. Особенно тетушка, — никакого дѣла не начинала, у него не спросившись. Сначала бывало сходитъ къ нему въ сумасшедшій домъ и посовѣтуется, а потомъ попроситъ его, чтобы за ея дѣло молился. Дядюшка былъ себѣ на умѣ и на Ивана Яковлевича меньше полагался, однако тоже довѣрялъ иногда и носить ему дары и жертвы не препятствовалъ. Люди они были не богатые, но очень достаточные, — торговали чаемъ и сахаромъ изъ

магазина въ своемъ домѣ. Сыновей у нихъ не было, а были три дочери: Капитолина Никитишна, Катерина Никитишна и Ольга Никитишна. Всѣ онѣ были собою недурны и хорошо знали разныя работы и хозяйство. Капитолина Никитишна была замужемъ, только не за купцомъ, а за живописцемъ,—однако, очень хорошій былъ человѣкъ и довольно зарабатывалъ — все бралъ подряды выгодно церкви расписывать. Одно въ немъ всему родству непріятно было, что работалъ божественное, а зналъ какія-то вольнодумства изъ Курганова «Письмовника». Любилъ говорить про Хаосъ, про Овидія, про Промиѳея и охотникъ былъ сравнивать баснословія съ бытописаніемъ. Если бы не это, все бы было прекрасно. А второе — то, что у нихъ дѣтей не было, и дядюшку съ теткой это очень огорчало. Они еще только первую дочь выдали замужъ, и вдругъ она три года была бездѣтна. За это другихъ сестеръ женихи обѣгать стали.

Тетушка спрашивала Ивана Яковлевича, черезъ что ея дочь не родитъ: — оба, говоритъ, — молоды и красивы, а дѣтей нѣтъ?

Иванъ Яковлевичъ забормоталъ:

— Есть убо небо небесе; есть небо небесе.

Его подсказчицы перевели теткѣ, что батюшка велитъ,— говорятъ, — вашему зятю, чтобы онъ Богу молился, а онъ, должно быть, у васъ маловѣрующій.

Тетушка такъ и ахнула: все, говоритъ, — ему явлено! И стала она приставать къ живописцу, чтобы онъ поисповѣдался; а тому все трынъ-трава! Ко всему легко относился... даже по постамъ скоромное ѣлъ... и притомъ, слышатъ они стороною, будто онъ и червей, и устрицъ вкушаетъ. А жили они всѣ въ одномъ домѣ, и часто сокрушались, что есть въ ихнемъ купеческомъ родствѣ такой человѣкъ безъ вѣры.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Вотъ и пошла тетка къ Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его разомъ помолиться о еже рабѣ Капитолинѣ отверсти ложесна, а раба Ларія (такъ живописца звали) просвѣтити вѣрою.

Просятъ объ этомъ вмѣстѣ и дядя, и тетка.

Иванъ Яковлевичъ залепеталъ что-то такое, чего и по-

нять нельзя, а его послушныя женки, которыя возлѣ него присидѣли, разъясняютъ:

— Онъ, говорятъ, — нынѣ невнятенъ, а вы скажите о чемъ просите,—мы ему завтра на записочкѣ подадимъ.

Тетушка стала сказывать, а тѣ записываютъ: «Рабѣ Капитолинѣ отверсть ложесна, а рабу Ларію усугубити вѣру.»

Оставили старики эту просительную записочку и пошли домой веселыми ногами.

Дома они никому ничего не сказали, кромѣ одной Капочки, и то съ тѣмъ, чтобы она мужу своему, невѣрному живописцу, этого не передавала, а только жила бы съ нимъ какъ можно ласковѣе и согласнѣе, и смотрѣла за нимъ: не будетъ ли онъ приближаться къ вѣрѣ въ Ивана Яковлевича. А онъ былъ ужасный чертыханщикъ, и все съ присловьями, точно скоморохъ съ Прѣсни. Все ему шутки да забавки. Придетъ въ сумерки къ тестю—«пойдемъ,—говоритъ,—часословъ въ пятьдесятъ два листа читать», то-есть, значитъ, въ карты играть... Или садится, — говоритъ:— «съ уговоромъ, чтобы играть до перваго обморока».

Тетушка, бывало, этихъ словъ слышать не можетъ. Дядя ему и сказалъ:— «Не огорчай такъ ее: она тебя любитъ и за тебя обѣщаніе сдѣлала». А онъ разсмѣялся и говоритъ тещѣ:

— Зачѣмъ вы невѣдомыя обѣщанія даете? Или вы не знаете, что черезъ такое обѣщаніе глава Ивана Предтечи была отрублена. Смотрите, можетъ у насъ въ домѣ какое-нибудь неожиданное несчастіе быть.

Тещу это еще больше испугало, и она всякій день, въ тревогѣ, въ сумасшедшій домъ бѣгала. Тамъ ее успокоятъ,—говорятъ, что дѣло идетъ хорошо: батюшка всякій день записку читаетъ, и что теперь о чемъ писано, то скоро сбудется.

Вдругъ и сбылось, да такое, что и сказать неохотно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Приходитъ къ тетушкѣ средняя ея дочь дѣвица Катечка и прямо ей въ ноги, и рыдаетъ, и горько плачетъ.

Тетушка говоритъ:—что тебѣ—кто обидѣлъ?

А та сквозь рыданія отвѣчаетъ:

— Милая тетенька, и сама я не знаю, что̀ это такое и

отчего... въ первый и въ послѣдній разъ сдѣлалось... Только вы отъ тятеньки мой грѣхъ скройте.

Тетушка на нее посмотрѣла да прямо пальцемъ въ животъ ткнула и говоритъ:

— Это мѣсто?

Катечка отвѣчаетъ:

— Да, тетенька... какъ вы угадали... сама не знаю отчего...

Тетушка только ахнула да руками всплеснула.

— Дитя мое, говоритъ,—и не дознавайся: это, можетъ быть, я виновата въ ошибкѣ,—я сейчасъ узнать съѣзжу,—и сейчасъ на извозчикѣ полетѣла къ Ивану Яковлевичу.

— Покажите, говоритъ, — мнѣ записку нашей просьбы, о чемъ батюшка для насъ проситъ рабѣ Божьей плодъ чрева: какъ она писана?

Присѣдящія поискали на окнѣ и подали.

Тетушка взглянула, и мало ума не рѣшилась. Что вы думаете? Дѣйствительно вѣдь все вышло по ошибочному моленію потому, что на мѣсто рабы Божіей Капитолины, которая замужемъ, тамъ писана раба Катерина — которая еще незамужняя, дѣвица.

Женки говорятъ:—Поди же, какой грѣхъ! Имена очень сходственны... но ничего, это *можно поправить*.

А тетушка подумала:—нѣтъ, врете, теперь вамъ ужъ не поправить: Катѣ ужъ вымолено,—и разорвала бумажку на мелкія частички.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Главное дѣло, боялись: какъ дядюшкѣ сказать? Онъ былъ такой человѣкъ, что если расходится, то его мудрено унять. Къ тому же, онъ Катю меньше всѣхъ любилъ, а любимая дочь у него была самая младшая, Оленька,—ей онъ всѣхъ больше и обѣщалъ.

Думала-думала тетушка и видитъ, что однимъ умомъ ей этой бѣды не обдумать,—зоветъ зятя-живописца на совѣтъ и все ему во всѣхъ подробностяхъ открыла, а потомъ проситъ:

— Ты, говоритъ, — хотя невѣрующій, однако, могутъ и въ тебѣ быть какія-нибудь чувства, — пожалуйста пожалѣй ты Катю, пособи мнѣ скрыть ея дѣвичій грѣхъ.

А живописецъ вдругъ лобъ нахмурилъ и строго говоритъ:

— Извините, пожалуйста, — вы хотя моей женѣ мать, однако, во-первыхъ, я этого терпѣть не люблю, чтобы меня безвѣрнымъ считали, а во-вторыхъ, я не понимаю—какой же тутъ причитаете Катѣ грѣхъ, если объ ней такъ Иванъ Яковлевичъ столько времени просилъ? Я къ Катечкѣ всѣ братскія чувства имѣю, и за нее заступлюсь, потому что она тутъ ни въ чемъ не виновата.

Тетушка пальцы кусаетъ и плачетъ, а сама говоритъ:

— Ну... ужъ какъ ни въ чемъ?

— Разумѣется, ни въ чемъ. Это вашъ чудотворецъ все напуталъ, съ него и взыскивайте.

— Какое же съ него взысканіе! Онъ праведникъ.

— Ну, а если праведникъ, такъ и молчите. Пришлите мнѣ съ Катею три бутылки шампанскаго вина.

Тетушка переспрашиваетъ:—что такое?

А онъ опять отвѣчаетъ: — Три бутылки шампанскаго,— одну ко мнѣ сейчасъ въ мои комнаты, а двѣ послѣ, куда прикажу, но только, чтобы дома готовы были и во льду стояли заверчены.

Тетушка посмотрѣла на него и только головой покивала:

— Богъ съ тобою, говоритъ:—я думала, что ты только безъ одной вѣры, а ты святые лики изображаешь, а самъ безъ всѣхъ чувствъ оказываешься... Оттого я твоимъ иконамъ и не могу поклоняться.

А онъ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, вы насчетъ вѣры оставьте: это вы, кажется, сомнѣваетесь и все по естеству думаете, будто тутъ собственная Катина причина есть, а я крѣпко вѣрю, что во всемъ этомъ одинъ Иванъ Яковлевичъ причиненъ; а чувства мои вы увидите, когда мнѣ съ Катею въ мою мастерскую шампанское пришлете.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Тетушка думала-подумала, да и послала живописцу вино съ самой Катечкой. Та взошла съ подносомъ, вся въ слезахъ, а онъ вскочилъ, схватилъ ее за обѣ ручки и самъ заплакалъ.

— Скорблю, говоритъ, — голубочка моя, что съ тобою случилося, однако, дремать съ этимъ некогда,—подавай мнѣ скорѣе наружу всѣ твои тайности.

Дѣвица ему открылась какъ сшалила, — а онъ взялъ да ее у себя въ мастерской на ключъ и заперъ.

Тетушка встрѣчаетъ зятя съ заплаканными глазами и молчитъ. А онъ и ее обнялъ, поцѣловалъ и говоритъ:

— Ну не бойтесь, не плачьте. Авось Богъ поможетъ.

— Скажи же мнѣ,—шепчетъ тетушка:—кто всему виноватъ?

А живописецъ ей ласково пальцемъ погрозилъ и говоритъ:

— Вотъ это ужъ не хорошо: сами вы меня постоянно невѣріемъ попрекали, а теперь, когда вѣрѣ вашей дано испытаніе, я вижу, что вы сами нимало не вѣрите. Неужто вамъ не ясно, что виноватыхъ нѣтъ, а просто чудотворецъ маленькую ошибку сдѣлалъ.

— А гдѣ же моя бѣдная Катечка?

— Я ее страшнымъ художническимъ заклятьемъ заклялъ,—она, какъ кладъ отъ аминя, и разсыпалась.

А самъ ключъ тещѣ показываетъ.

Тетушка догадалась, что онъ дѣвушку отъ перваго отцова гнѣва укрылъ, и обняла его.

Шепчетъ:

— Прости меня,—въ тебѣ нѣжныя чувства есть.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Пришелъ дядя, по обычаю чаю напился и говоритъ:

— Ну, давай читать часословъ въ пятьдесятъ два листа?

Сѣли. А домашніе всѣ двери вокругъ нихъ затворили и на цыпочкахъ ходятъ. Тетушка же то отойдетъ отъ дверей; то опять подойдетъ, — все подслушиваетъ, и все крестится.

Наконецъ, какъ тамъ что-то звякнетъ... Она поотбѣжала и спряталась.

— Объявилъ,—говоритъ,—объявилъ тайну! Теперь начнется адское представленіе.

И точно: вразъ дверь растворилась, и дядя кричитъ:

— Шубу мнѣ и большую палку!

Живописецъ его назадъ за руку и говоритъ:

— Что ты? Куда это?

Дядя говоритъ:

— Я въ сумасшедшій домъ поѣду чудотворца бить!

Тетушка за другими дверями застонала:

— Бѣгите, — говоритъ, — скорѣе въ сумасшедшій домъ, чтобы батюшку Ивана Яковлевича спрятали!

И дѣйствительно, дядя бы его непремѣнно избилъ, но зять-живописецъ страхомъ вѣры своей и этого удержалъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Сталъ зять вспоминать тестю, что у него есть еще одна дочь.

— Ничего,—говоритъ,—той своя доля, а я Корейшу бить хочу. Послѣ пусть меня судятъ.

— Да я тебя, — говоритъ, — не судомъ стращаю, а ты посуди: какой вредъ Иванъ Яковлевичъ Ольгѣ можетъ сдѣлать. Вѣдь это ужасъ, чѣмъ ты рискуешь!

Дядя остановился и задумался:

— Какой же,—говоритъ,—вредъ онъ можетъ сдѣлать?

— А какъ разъ такой самый, какой вредъ онъ сдѣлалъ Катечкѣ.

Дядя поглядѣлъ и отвѣчаетъ:

— Полно вздоръ городить! Развѣ онъ это можетъ?

А живописецъ отвѣчаетъ:

— Ну, ежели ты, какъ я вижу, — не вѣрующій, то дѣлай, какъ знаешь, только потомъ не тужи и бѣдныхъ дѣвушекъ не виноватъ.

Дядя и остановился. А зять его втащилъ назадъ въ комнату и началъ уговаривать.

— Лучше, — говоритъ, — по-моему, чудотворца въ сторону, а взять это дѣло и домашними средствами поправить.

Старикъ согласился, только самъ не зналъ, какъ именно поправить, а зять-живописецъ и тутъ помогъ—говоритъ:

— Хорошія мысли надо искать не во гнѣвѣ, а въ радости.

— Какое,—отвѣчаетъ,—теперь, братецъ, веселіе при такомъ случаѣ?

— А такое, что у меня есть два пузырька шипучки, и пока ты ихъ со мною не выпьешь, я тебѣ ни одного слова не скажу. Согласись со мною. Ты знаешь, какъ я характеренъ.

Старикъ на него посмотрѣлъ и говоритъ: — «подводи, подводи! Что̀ такое дальше будетъ?» А впрочемъ согласился.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Живописецъ живо скомандовалъ и назадъ пришелъ, а за нимъ идетъ его мастеръ, молодой художникъ, съ подносомъ, и несетъ двѣ бутылки съ бокалами.

Какъ вошли, такъ живописецъ за собою двери заперъ и ключъ въ карманъ положилъ. Дядя посмотрѣлъ и все понялъ, а зять художнику кивнулъ,—тотъ взялъ и сталъ въ смирную просьбу.

— Виноватъ,—простите и благословите.

Дядюшка зятя спрашиваетъ:

— Бить его можно?

Зять говоритъ:

— Можно, да не надобно.

— Ну, такъ пусть онъ передо мною, по крайности, на колѣна станетъ.

Зять тому шепнулъ:

— Ну, стань за любимую дѣвушку на колѣна передъ батькою.

Тотъ сталъ.

Старикъ и заплакалъ.

— Очень,—говоритъ,—любишь ее?

— Люблю.

— Ну, цѣлуй меня.

Такъ Ивана Яковлевича маленькую ошибку и прикрыли. И оставалось все это въ благополучной тайности, и къ младшей сестрѣ женихи пошли, потому что видятъ — дѣвицы надежныя.

ПУГАЛО.

«У страха большіе глаза».
Поговорка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мое дѣтство прошло въ Орлѣ. Мы жили въ домѣ Нѣмчинова, гдѣ-то недалеко отъ. «маленькаго собора». Теперь я не могу разобрать, гдѣ именно стоялъ этотъ высокій, деревянный домъ, но помню, что изъ его сада былъ просторный видъ за широкій и глубокій оврагъ, съ обрывистыми краями, прорѣзанными пластами красной глины. За оврагомъ разстилался большой выгонъ, на которомъ стояли казенные магазины, а возлѣ нихъ лѣтомъ всегда учились солдаты. Я всякій день смотрѣлъ, какъ ихъ учили и какъ ихъ били. Тогда это было въ употребленіи, но я никакъ не могъ къ этому привыкнуть, и всегда о нихъ плакалъ. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарѣлая московская солдатка — Марина Борисовна, уводила меня гулять въ городской садъ. Здѣсь мы садились надъ мелководной Окой и глядѣли, какъ въ ней купались и играли маленькія дѣти, свободѣ которыхъ я тогда очень завидовалъ.

Главная выгода ихъ привольнаго положенія въ моихъ глазахъ состояла въ томъ, что они не имѣли на себѣ ни обуви, ни бѣлья, такъ какъ рубашонки ихъ были сняты и воротъ ихъ съ рукавами связаны. Въ такомъ приспособленіи рубашки получали видъ небольшихъ мѣшковъ, и ребятишки, ставя ихъ противъ теченія, налавливали туда кро-

хотную серебристую рыбешку. Она такъ мала, что ее нельзя чистить, и это признавалось достаточнымъ основаніемъ къ тому, чтобы ее варить и ѣсть нечищенною.

Я никогда не имѣлъ отваги узнать ея вкусъ, но ловля ея, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мнѣ верхомъ счастія, какимъ мальчика моихъ тогдашнихъ лѣтъ могла утѣшить свобода.

Няня, впрочемъ, знала хорошіе доводы, что мнѣ такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались въ томъ, что я — дитя благородныхъ родителей и отца моего всѣ въ городѣ знаютъ.

— Другое дѣло,—говорила няня:—если-бы это было въ деревнѣ. Тамъ, при простыхъ, сѣрыхъ мужикахъ, и мнѣ, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чѣмъ въ томъ же свободномъ родѣ.

Кажется, отъ этихъ именно сдерживающихъ разсужденій меня стало сильно и томительно манить въ деревню, и восторгъ мой не зналъ предѣловъ, когда родители мои купили небольшое имѣньице въ Кромскомъ уѣздѣ. Тѣмъ же лѣтомъ мы переѣхали изъ большого городского дома въ очень уютный, но маленькій деревенскій домъ съ балкономъ, подъ соломенною крышею. Лѣсъ въ Кромскомъ уѣздѣ и тогда былъ дорогъ и рѣдокъ. Это мѣстность степная и хлѣбородная и притомъ она хорошо орошена маленькими, но чистыми рѣчками.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ деревнѣ у меня сразу же завелись обширныя и любопытныя знакомства съ крестьянами. Пока отецъ и мать были усиленно заняты устройствомъ своего хозяйства, я не терялъ времени, чтобы самымъ тѣснымъ образомъ сблизиться съ взрослыми парнями и съ ребятишками, которые пасли лошадей «на кулигахъ» *). Сильнѣе всѣхъ моими привязанностями овладѣлъ впрочемъ старый мельникъ, дѣдушка Илья, — совершенно сѣдой старикъ съ пребольшими черными усами. Онъ болѣе всѣхъ другихъ былъ доступенъ для разговоровъ, потому что на работы не отлучался, а или похаживалъ съ навозными вилами по плотинѣ, или сидѣлъ

*) *Кулига* — мѣсто, гдѣ срублены и выжжены деревья, чищоба, пережога.

надъ дрожащею скрынью и задумчиво слушалъ, ровно ли стучатъ мельничныя колеса или не сосетъ ли гдѣ-нибудь подъ скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не дѣлать,—онъ заготовлялъ на всякій случай кленовыя кулачья или цѣвки для шестерни. Но во всѣхъ описанныхъ положеніяхъ онъ легко отклонялся отъ дѣла и вступалъ охотно въ бесѣды, которыя онъ велъ отрывками, безъ всякой связи, но любилъ систему намековъ и при этомъ подсмѣивался не то самъ надъ собою, не то надъ слушателями.

По должности мельника дѣдушка Илья имѣлъ довольно близкое соотношеніе къ водяному, который завѣдывалъ нашими прудами, верхнимъ и нижнимъ, и двумя болотами. Свою главную штабъ-квартиру этотъ демонъ имѣлъ подъ холостою скрынью на нашей мельницѣ.

Дѣдушка Илья объ немъ все зналъ и говорилъ:

— *Онъ* меня любитъ. *Онъ,* если когда и сердитъ домой придетъ за какіе-нибудь безпорядки, — онъ меня не обижаетъ. Ляжь тутъ другой на моемъ мѣстѣ, на мѣшкахъ,— онъ такъ и сорветъ съ мѣшка и выброситъ, а меня ни въ жизнь не тронетъ.

Всѣ молодшіе люди подтверждали мнѣ, что между дѣдушкою Ильею и «водянымъ дѣдкой», дѣйствительно, существовали описанныя отношенія, но только они держались вовсе не на томъ, что водяной Илью любилъ, а на томъ, что дѣдушка Илья, какъ настоящій, заправскій мельникъ, зналъ настоящее, заправское мельницкое слово, которому водяной и всѣ его чертенята повиновались такъ же безпрекословно, какъ ужи и жабы, жившіе подъ скрынями и на плотинѣ.

Съ ребятами я ловилъ пескарей и гольцовъ, которыхъ было великое множество въ нашей узенькой, но чистой рѣчкѣ Гостомлѣ; но, по серьезности моего характера, болѣе держался общества дѣдушки Ильи, опытный умъ котораго открывалъ мнѣ полный таинственной прелести міръ, который былъ совсѣмъ мнѣ, городскому мальчику, неизвѣстенъ. Отъ Ильи я узналъ и про домового, который спалъ на каткѣ, и про водяного, который имѣлъ прекрасное и важное помѣщеніе подъ колесами, и про кикимору, которая была такъ застѣнчива и непостоянна, что пряталась отъ всякаго нескромнаго взгляда въ разныхъ пыльныхъ заметахъ,—то въ ригѣ, то въ овинѣ, то на толчеѣ, гдѣ осенью

толкли замашки. Меньше всѣхъ дѣдушка зналъ про лѣшаго, потому что этотъ жилъ гдѣ-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходилъ къ намъ въ густой ракитникъ, чтобы сдѣлать себѣ новую ракитовую дудку и поиграть на ней въ тѣни у сажалокъ. Впрочемъ, дѣдушка Илья во всю свою богатую приключеніями жизнь видѣлъ лѣшаго лицомъ къ лицу всего только одинъ разъ, и то на Николинъ день, когда у насъ бывалъ храмовой праздникъ. Лѣшій пошелъ къ Ильѣ, прикинувшись совсѣмъ смирнымъ мужичкомъ, и попросилъ понюхать табачку. А когда дѣдушка сказалъ ему: «чортъ съ тобой — понюхай!» и при этомъ открылъ тавлинку, — то лѣшій не могъ болѣе соблюсти хорошаго поведенія и сошкольничалъ: онъ такъ поддалъ ладонью подъ табакерку, что запорошилъ доброму мельнику всѣ глаза.

Всѣ эти живыя и занимательныя исторіи имѣли тогда для меня полную вѣроятность, и ихъ густое, образное содержаніе до такой степени переполняло мою фантазію, что я самъ былъ чуть ли не духовидцемъ. По крайней мѣрѣ, когда я однажды заглянулъ съ большимъ рискомъ въ толчейный амбаръ, то глазъ мой обнаружилъ такую остроту и тонкость, что видѣлъ сидѣвшую тамъ въ пыли кикимору. Она была неумытая, въ пыльномъ повойникѣ и съ золотушными глазами. А когда я, испуганный этимъ видѣніемъ, бросился безъ памяти бѣжать оттуда, то другое мое чувство — слухъ — обнаружило присутствіе лѣшаго. Я не могу поручиться, гдѣ именно онъ сидѣлъ, — вѣроятно, на какой-нибудь высокой ракитѣ, но только, когда я бѣжалъ отъ кикиморы, лѣшій во всю мочь засвисталъ на своей зеленой дудкѣ, и такъ сильно прихватилъ меня къ землѣ за ногу, что у меня оторвался каблукъ отъ ботинки.

Едва переводя духъ, я сообщилъ все это домашнимъ и за свое чистосердечіе былъ посаженъ въ комнатѣ читать священную исторію, пока посланный босой мальчикъ сходилъ въ сосѣднее село къ солдату, который могъ исправить поврежденіе, сдѣланное лѣшимъ въ моей ботинкѣ. Но и самое чтеніе священной исторіи не защищало уже меня отъ вѣры въ тѣ сверхъестественныя существа, съ которыми я, можно сказать, сживался при посредствѣ дѣдушки Ильи. Я хорошо зналъ и любилъ священную исторію, — я и до сихъ поръ готовъ ее перечитывать, а все-таки

ребячій милый міръ тѣхъ сказочныхъ существъ, о которыхъ наговорилъ мнѣ дѣдушка Илья, казался мнѣ необходимымъ. Лѣсные родники оскротѣли бы, если бы отъ нихъ были отрѣшены геніи, приставленные къ нимъ народною фантазіей.

Въ числѣ непріятныхъ послѣдствій отъ лѣшевой дудки было еще то, что дѣдушка Илья, за прочитанные имъ для меня курсы демонологіи, получилъ отъ матушки выговоръ и нѣкоторое время меня дичился и будто не хотѣлъ продолжать моего образованія. Онъ даже притворялся, будто гонитъ меня отъ себя прочь.

— Пошелъ отъ меня прочь, иди къ своей нянькѣ,—говорилъ онъ, заворачивая меня къ себѣ спиною и поддавая широкой, мозолистой ладонью подъ сидѣнье.

Но я уже могъ гордиться своимъ возрастомъ и считать подобное обращеніе со мною несовмѣстнымъ. Мнѣ было восемь лѣтъ, и къ нянькѣ своей мнѣ тогда идти было не зачѣмъ. Я это и далъ почувствовать Ильѣ, принося ему полоскательную чашку вишенъ изъ-подъ слитой наливки.

Дѣдушка Илья любилъ эти фрукты, — принялъ ихъ, смягчился, погладилъ меня своей мозольной рукой по головѣ, и между нами снова возстановились самыя короткія и самыя добрыя отношенія.

— Ты вотъ что,—говорилъ мнѣ дѣдушка Илья:—ты мужика завсегда больше всѣхъ почитай и люби слушать, но того, что отъ мужика услышишь, не всѣмъ сказывай. А не то—прогоню.

Съ тѣхъ поръ я сталъ таить все, что слышалъ отъ мельника, и зато узналъ такъ много интереснаго, что началъ бояться не только ночью, когда всѣ домовые, лѣшіе и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже сталъ бояться и днемъ. Такой страхъ овладѣлъ мною потому, что домъ нашъ и весь нашъ край, оказалось, находился во власти одного престрашнаго разбойника и кровожаднаго чародѣя, который назывался Селиванъ. Онъ жилъ отъ насъ всего въ шести верстахъ «на розновильѣ», т. е. тамъ, гдѣ большой почтовый трактъ развѣтвлялся на два: одна, новая дорога, шла на Кіевъ, а другая, старая, съ дуплистыми ракитами «Екатерининскаго насажденія», вела на Фатежъ. Эта теперь уже брошена и лежитъ взапустѣ.

Въ верстѣ за этимъ розновильемъ былъ хорошій, дубовый лѣсъ, а при лѣсѣ — самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившійся постоялый дворъ, въ которомъ, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко вѣрить, потому что дворъ не представлялъ никакихъ удобствъ для постоя, и потому, что отсюда было слишкомъ близко до города Кромъ, гдѣ и въ тѣ полудикія времена можно было надѣяться найти теплую горницу, самоваръ и калачи второй руки. Вотъ въ этомъ-то ужасномъ дворѣ, гдѣ *никто* никогда не останавливался, и жилъ «пустой дворникъ» Селиванъ, ужасный человѣкъ, съ которымъ никто не радъ былъ встрѣтиться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Повѣсть «пустого дворника» Селивана, по словамъ дѣдушки Ильи, была слѣдующая. Селиванъ былъ кромской мѣщанинъ; родители его рано умерли, а онъ жилъ въ мальчикахъ у калачника и продавалъ калачи у кабака за Орловской заставой. Мальчикъ онъ былъ хорошій, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что съ Селиваномъ требовалась осторожность, потому что у него на лицѣ была красная мѣтинка, какъ огонь, — а это никогда даромъ не ставится. Были такіе люди, которые знали на это и особенную пословицу: «Богъ плута мѣтитъ». Хозяинъ калачникъ очень хвалилъ Селивана за его усердіе и вѣрность, но всѣ другіе люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразуміе все-таки заставляетъ его остерегаться и много ему не довѣрять, — потому что «Богъ плута мѣтитъ». Если мѣтка на его лицѣ положена, то это именно для того, чтобы всѣ слишкомъ довѣрчивые люди его остерегались. Калачникъ не хотѣлъ отстать отъ людей умныхъ, но Селиванъ былъ очень хорошій работникъ. Калачи онъ продавалъ исправно и всякій вечеръ аккуратно высыпалъ хозяину изъ большого кожанаго кошелька всѣ пятаки и гривны, сколько выручилъ отъ проѣзжавшихъ мужичковъ. Однако, мѣтка лежала на немъ не даромъ, а до случая (это уже всегда такъ бываетъ). Пришелъ въ Кромы изъ Орла «отслужившійся палачъ», по имени Борька, и сказано было ему: «ты былъ палачъ, Борька, а теперь тебѣ у насъ жить бу-

детъ горько», — и всѣ, насколько кто могъ, старались, чтобы такія слова не остались для отставного палача вотще. А когда палачъ Борька пришелъ изъ Орла въ Кромы, съ нимъ уже была дочь, дѣвочка лѣтъ пятнадцати, которая родилась въ острогѣ, — хотя многіе думали, что ей бы лучше совсѣмъ не родиться.

Пришли они въ Кромы жить по припискѣ. Это теперь непонятно, но тогда бывало такъ, что отслужившимся палачамъ дозволялось приписываться къ какимъ-нибудь городишкамъ, и дѣлалось это просто, ни у кого на то желанія и согласія не спрашивая. Такъ случилось и съ Борькой: велѣлъ какой-то губернаторъ приписать этого стараго палача въ Кромахъ,—его и приписали, а онъ пришелъ сюда жить и привелъ съ собою дочку. Но только въ Кромахъ палачъ, разумѣется, ни для кого не былъ желаннымъ гостемъ, а, напротивъ, всѣ имъ пренебрегали, какъ люди чистые, и ни его, ни его дѣвочку рѣшительно никто не захотѣлъ пустить къ себѣ на дворъ. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палачъ въ одинъ домъ, потомъ въ другой и не сталъ болѣе докучать. Онъ видѣлъ, что не возбуждаетъ ни въ комъ ни малѣйшаго состраданія, и зналъ, что вполнѣ этого заслужилъ.

«Но дитя! — думалъ онъ. — Дитя не виновато въ моихъ грѣхахъ,—кто-нибудь пожалѣетъ дитя».

И Борька опять пошелъ стучаться изъ двора во дворъ, прося взять, если не его, то только дѣвчонку... Онъ заклинался, что никогда даже не придетъ, чтобы навѣстить дочь.

Но и эта просьба была такъ же напрасна.

Кому охота съ палачомъ знаться?

И вотъ, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься въ острогъ. Тамъ хоть можно было обогрѣться отъ осенней мокроты и стужи. Но и въ острогъ ихъ не взяли, потому что срокъ ихъ острожной неволи минулъ, и они теперь были люди вольные. Они были свободны умереть подъ любымъ заборомъ, или въ любой канавѣ.

Милостыню палачу съ дочерью иногда подавали не для нихъ, конечно, а Христа ради, но въ домъ никуда не пускали. Старикъ съ дочерью не имѣли пріюта и ночевали

то гдѣ-нибудь подъ кручею, въ глинокопныхъ ямахъ, то въ опустѣлыхъ сторожевыхъ шалашахъ на огородахъ, по долинѣ. Суровую долю ихъ дѣлила тощая собака, которая пришла съ ними изъ Орла.

Это былъ большой, лохматый песъ, на которомъ вся шерсть завойлочилась въ войлокъ. Чѣмъ она питалась при своихъ нищихъ-хозяевахъ—это никому не было извѣстно, но, наконецъ, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была «безчеревная», то-есть у нея были только кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а «въ серединѣ» у нея ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась.

Дѣдушка Илья разсказывалъ мнѣ, какъ этого можно достигать «самымъ легкимъ манеромъ». Любую собаку, пока она щенкомъ, стòитъ только разъ напоить жидко расплавленнымъ оловомъ или свинцомъ, и она сдѣлается *безъ черева* и можетъ не ѣсть. Но, разумѣется, при этомъ необходимо знать «особливое, колдовское слово». А за то, что палачъ, очевидно, зналъ этакое слово, — люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, такъ и слѣдовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это было большимъ несчастьемъ для нищихъ, такъ какъ дѣвочка спала вмѣстѣ съ собакою, и та удѣляла ребенку часть теплоты, которую имѣла въ своей шерсти. Однако, для такихъ пустяковъ, разумѣется, нельзя было потворствовать волшебствамъ, и всѣ были того мнѣнія, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунамъ не удается морочить правовѣрныхъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Послѣ уничтоженія собаки, дѣвочку согрѣвалъ въ шалашахъ самъ палачъ, но онъ уже былъ старъ и, къ его счастію, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. Въ одну морозную ночь дитя ощутило, что отецъ ея застылъ болѣе, чѣмъ она сама, и ей сдѣлалось такъ страшно, что она отъ него отодвинулась и даже отъ ужаса потеряла сознаніе. До утра пробыла она въ объятіяхъ смерти. Когда стало свѣтать, и люди, шедшіе къ заутренѣ, заглянули изъ любопытства въ шалашъ, то они увидѣли отца и дочь закоченѣвшими. Дѣвочку кое-какъ отогрѣли, и когда она увидала у отца странно остолбенѣ-

лые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла, въ чемъ дѣло, и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищемъ, потому что онъ жилъ скверно и умеръ безъ покаянія, а про его дѣвочку немножко позабыли... Правда, не надолго, всего на какой-нибудь мѣсяцъ, но когда про нее черезъ мѣсяцъ вспомнили,— ее уже негдѣ было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убѣжала въ другой городъ, или пошла просить милостыню по деревнямъ. Гораздо любопытнѣе было то, что съ исчезновеніемъ сиротки соединялось другое странное обстоятельство: прежде чѣмъ хватились дѣвочки, было замѣчено, что безъ вѣсти пропалъ куда-то калачникъ Селиванъ.

Онъ пропалъ совершенно неожиданно, и притомъ такъ необдуманно, какъ не дѣлалъ еще до него никакой другой бѣглецъ. Селиванъ рѣшительно ничего ни у кого не унесъ, и даже всѣ данные ему для продажи калачи лежали на его лоткѣ, и тутъ же уцѣлѣли всѣ деньги, которыя онъ выручилъ за то, что̀ продалъ; но самъ онъ домой не возвращался.

И оба эти сироты считались безъ вѣсти пропавшими цѣлыхъ три года.

Вдругъ, однажды, пріѣзжаетъ съ ярмарки купецъ, которому принадлежалъ давно опустѣлый постоялый дворъ «на розновильѣ» и говоритъ, что съ нимъ было несчастіе: ѣхалъ онъ, да плохо направилъ на гать свою лошадь, и его возъ придавилъ, но его спасъ неизвѣстный бродяжка.

Бродяжка этотъ былъ имъ узнанъ, и оказалось, что это не кто иной, какъ Селиванъ.

Спасенный Селиваномъ купецъ былъ не изъ такихъ людей, которые совсѣмъ нечувствительны къ оказанной имъ услугѣ; чтобы не подлежать на страшномъ судѣ отвѣту за неблагодарность, онъ захотѣлъ сдѣлать добро бродягѣ.

— Я долженъ тебя осчастливить,—сказалъ онъ Селивану:—у меня есть пустой дворъ на розновильѣ, иди туда и сиди въ немъ дворникомъ и продавай овесъ и сѣно, а мнѣ плати всего сто рублей въ годъ аренды.

Селиванъ зналъ, что на шестой верстѣ отъ городка, по запустѣвшей дорогѣ, постоялому двору не мѣсто, и, въ немъ сидючи, никакого заѣзда ждать невозможно; но, однако,

какъ это былъ еще первый случай, когда ему предлагали имѣть свой уголъ, то онъ согласился.

Купецъ пустилъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Селиванъ пріѣхалъ во дворъ съ маленькой ручной, одноколесной навозницей, въ которой у него мѣстились пожитки, а на нихъ лежала, закинувъ назадъ голову, больная женщина въ жалкихъ лохмотьяхъ.

Люди спросили у Селивана:

— Кто это такая?

Онъ отвѣчалъ:

— Это моя жена.

— Изъ какихъ она мѣстъ родомъ?

Селиванъ кротко отвѣчалъ:

— Изъ Божьихъ.

— Чѣмъ она больна?

— Ногами недужна.

— А отчего она такъ недужаетъ?

Селиванъ, насупясь, буркнулъ:

— Отъ земного холода.

Больше онъ не сталъ говорить ни слова, поднялъ на руки свою немощную калѣку и понесъ ее въ избу.

Словоохотливости и вообще пріятной общительности въ Селиванѣ не было; людей онъ избѣгалъ и даже какъ будто боялся, и въ городѣ не показывался, а жены его совсѣмъ никто не видалъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ ее сюда привезъ въ ручной навозной телѣжкѣ. Но съ тѣхъ поръ, когда это случилось, уже прошло много лѣтъ,—молодые люди тогдашняго вѣка уже успѣли состариться, а дворъ въ розновильѣ еще болѣе обветшалъ и развалился, но Селиванъ и его убогая калѣка все жили здѣсь и, къ общему удивленію, платили за дворъ наслѣдникамъ купца какую-то плату.

Откуда же этотъ чудакъ выручалъ все то, что̀ было нужно на его собственныя нужды и на то, что̀ слѣдовало платить за совершенно разрушенный дворъ? Всѣ знали, что сюда *никогда* не заглядывалъ *ни одинъ* проѣзжающій и не кормилъ здѣсь своихъ лошадей ни одинъ обозъ, а между тѣмъ Селиванъ хотя жилъ бѣдственно, но все еще не умиралъ съ голода.

Вотъ въ этомъ-то и былъ вопросъ, который, впрочемъ,

не очень долго томилъ окрестное крестьянство. Скоро всѣ поняли, что Селиванъ знался съ нечистою силою... Эта нечистая сила и устраивала ему довольно выгодныя и для обыкновенныхъ людей даже невозможныя дѣлишки.

Извѣстно, что дьяволъ и его помощники имѣютъ большую охоту дѣлать людямъ всякое зло; но особенно имъ нравится вынимать изъ людей души такъ неожиданно, чтобы они не успѣли очистить себя покаяніемъ. Кто изъ людей помогаетъ такимъ проискамъ, тому вся нечистая сила, то-есть всѣ лѣшіе, водяные и кикиморы, охотно дѣлаютъ разныя одолженія, хотя, впрочемъ, на очень тяжелыхъ условіяхъ. Помогающій чертямъ долженъ самъ за ними послѣдовать въ адъ, — рано или поздно, — но непремѣнно. Селиванъ находился именно на этомъ роковомъ положеніи. Чтобы кое-какъ жить въ своемъ разоренномъ домишкѣ, онъ давно продалъ свою душу нѣсколькимъ чертямъ сразу, а эти съ тѣхъ поръ начали загонять къ нему на дворъ путниковъ самыми усиленными мѣрами. Назадъ же отъ Селивана не выѣзжалъ никто. Дѣлалось это такимъ образомъ, что лѣшіе, сговорясь съ кикиморами, вдругъ передъ ночью поднимали вьюги и мятели, при которыхъ дорожный человѣкъ растеривался и спѣшилъ спрятаться отъ разгулявшейся стихіи куда попало. Селиванъ тогда сейчасъ же и выкидывалъ хитрость: онъ выставлялъ огонь на свое окошко, и на этотъ свѣтъ къ нему попадали купцы съ толстыми черезами, дворяне съ потайными шкатулками и попы съ мѣховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назадъ изъ Селивановыхъ воротъ уже не было поворота ни одному изъ тѣхъ, кто пріѣхалъ. Куда ихъ дѣвалъ Селиванъ,—про то никому не было извѣстно.

Дѣдушка Илья, договорившись до этого, только проводилъ по воздуху рукой и внушительно произносилъ:

— Сова летитъ, лунь плыветъ — ничего не видно: буря, мятель и... ночь матка—все гладко.

Чтобы не уронить себя во мнѣніи дѣдушки Ильи, я притворялся, будто понимаю, что̀ значитъ «сова летитъ и лунь плыветъ», а понималъ я только одно, что Селиванъ— это какое-то общее пугало, съ которымъ чрезвычайно опасно встрѣтиться... Не дай Богъ этого никому на свѣтѣ.

Я, впрочемъ, старался провѣрить страшные разсказы

про Селивана и отъ другихъ людей, но всѣ въ одно слово говорили то же самое. Всѣ смотрѣли на Селивана, какъ на страшное пугало, и всѣ такъ же, какъ дѣдушка Илья, строго заказывали мнѣ, чтобы я «дома, въ хоромахъ, никому про Селивана не сказывалъ». По совѣту мельника, я эту мужичью заповѣдь исполнялъ до особаго страшнаго случая, когда я самъ попался въ лапы Селивану.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Зимою, когда въ домѣ вставили двойныя рамы, я не могъ попрежнему часто видѣться съ дѣдушкой Ильей и съ другими мужиками. Меня берегли отъ морозовъ, а они всѣ остались работать на холоду, причемъ съ однимъ изъ нихъ произошла непріятная исторія, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

Въ самъ началѣ зимы, племянникъ Ильи, мужикъ Николай, пошелъ на свои именины въ Кромы, въ гости, и не возвратился, а черезъ двѣ недѣли его нашли на опушкѣ у Селиванова лѣса. Николай сидѣлъ на пнѣ, опершись бородою на палочку и, повидимому, отдыхалъ послѣ такой сильной усталости, что не замѣтилъ, какъ метель замела его выше колѣнъ снѣгомъ, а лисицы обкусали ему носъ и щеки.

Очевидно, Николай сбился съ дороги, усталъ и замерзъ; но всѣ знали, что это вышло не спроста и не безъ Селивановой вины. Я узналъ объ этомъ черезъ дѣвушекъ, которыхъ было у насъ въ комнатахъ очень много и всѣ онѣ, большею частію, назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потомъ еще Аннушка, по прозванію «Шибаенокъ». Эта послѣдняя была у насъ въ своемъ родѣ фельетонистомъ и репортеромъ. Она по своему живому и рѣзвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двухъ дѣвушекъ — Неонилу да Настю, которыя числились на нѣкоторомъ особомъ положеніи, потому что получили особенное воспитаніе въ тогдашнемъ модномъ орловскомъ магазинѣ мадамъ Морозовой, да еще были въ домѣ три побѣгушки-дѣвочки—Оська, Моська и Роська. Крестное имя одной изъ нихъ было Матрена, другой Раиса, а какъ звали по-настоящему Оську—

этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились еще въ малолѣтствѣ, и потому къ нимъ всѣ относились довольно презрительно. Онѣ еще бѣгали босикомъ и не имѣли права садиться на стульяхъ, а присаживались внизу, на подножныхъ скамейкахъ. По должности онѣ исполняли разныя унизительныя порученія, какъ-то: чистили тазы, выносили умывальныя лаханки, провожали гулять комнатныхъ собачекъ и бѣгали скороходами на посылкахъ за кухонными людьми и на деревню. Въ теперешнихъ помѣщичьихъ домахъ уже нигдѣ нѣтъ такого излишняго многолюдства, но тогда оно казалось необходимымъ.

Всѣ наши дѣвы и дѣвчонки, разумѣется, много знали о страшномъ Селиванѣ, вблизи двора котораго замерзъ мужикъ Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану всѣ его старыя продѣлки, о которыхъ я прежде и не зналъ. Теперь обнаружилось, что кучеръ Константинъ, ѣдучи одинъ разъ въ городъ за говядиной, слышалъ, какъ изъ окна Селивановой избы неслись жалобные стоны и слышались слова: «Ой, ручку больно! Ой, пальчикъ рѣжетъ».

Дѣвушка, Аннушка большая, объясняла это такъ, что Селиванъ забралъ къ себѣ, во время метели (по-орловски— *куры*), цѣлый господскій возокъ, съ цѣлымъ дворянскимъ семействомъ, и медленно отрѣзалъ дворянскимъ дѣтямъ пальчикъ за пальчикомъ. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потомъ башмачнику Ивану приключилось что-то еще болѣе страшное и, вдобавокъ, необъяснимое. Разъ, когда его послали въ городъ за сапожнымъ товаромъ, и онъ, позамѣшкавшись, возвращался домой темнымъ вечеромъ, то поднялась маленькая метель, — а это составляло первое удовольствіе для Селивана. Онъ сейчасъ же вставалъ и выходилъ на поле, чтобы вѣяться во мглѣ вмѣстѣ съ Ягою, лѣшими и кикиморами. И башмачникъ это зналъ и остерегался, но не остерегся. Селиванъ выскочилъ у него передъ самымъ носомъ и загородилъ ему дорогу... Лошадь стала. Но башмачникъ, къ его счастію, отъ природы былъ смѣлъ и очень находчивъ. Онъ подошелъ къ Селивану, будто съ ласкою, и проговорилъ: «Здравствуй, пожалуйста», а въ это самое время изъ рукава кольнулъ его самымъ большимъ и острымъ шиломъ прямо въ животъ. Это единственное мѣсто, въ которое

можно ранить колдуна на-смерть, но Селиванъ спасся тѣмъ, что немедленно обратился въ толстый верстовой столбъ, въ которомъ острый инструментъ башмачника застрялъ такъ крѣпко, что башмачникъ никакъ не могъ его вытащить и долженъ былъ разстаться съ шиломъ, между тѣмъ какъ оно ему было рѣшительно необходимо.

Этотъ послѣдній случай былъ даже обидною насмѣшкою надъ честными людьми и убѣдилъ всѣхъ, что Селиванъ, дѣйствительно, былъ не только великій злодѣй и лукавый колдунъ, но и нахалъ, которому нельзя было давать спуску. Тогда его рѣшили проучить строго; но Селиванъ тоже не былъ промахъ и научился новой хитрости: онъ началъ «скидываться», то-есть, при малѣйшей опасности, даже просто при всякой встрѣчѣ, онъ сталъ измѣнять свой человѣческій видъ и у всѣхъ на глазахъ обращаться въ различные одушевленные и неодушевленные предметы. Правда, что, благодаря общему противъ него возбужденію, онъ и при такой ловкости все-таки немножко страдалъ, но искоренить его никакъ не удавалось, а борьба съ нимъ иногда даже принимала немножко смѣшной характеръ, что всѣхъ еще болѣе обижало и злило. Такъ, напримѣръ, послѣ того, когда башмачникъ изо всей силы прокололъ его шиломъ и Селиванъ спасся только тѣмъ, что успѣлъ скинуться верстовымъ столбомъ, нѣсколько человѣкъ видѣли это шило торчавшимъ въ настоящемъ верстовомъ столбѣ. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось и башмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку.

Селиванъ же и послѣ этого ходилъ по лѣсу, какъ будто его даже совсѣмъ и не кололи, и скидывался кабаномъ до такой степени истово, что ѣлъ дубовые жолуди съ удовольствіемъ, какъ будто такой фруктъ могъ приходиться ему по вкусу. Но чаще всего онъ вылѣзалъ подъ видомъ краснаго пѣтуха на свою черную, растрепанную крышу и кричалъ оттуда «ку-ка-реку!» Всѣ знали, что его, разумѣется, занимало не пѣніе «ку-ка-реку», а онъ высматривалъ, не ѣдетъ ли кто-нибудь такой, противъ кого стоило бы подучить лѣшаго и кикимору поднять хорошую бурю и затормошить его до смерти. Словомъ, окрестные люди такъ хорошо отгадывали всѣ его хитрости, что никогда не поддавались злодѣю въ его сѣти, и даже порядкомъ мстили

Селивану за его коварства. Одинъ разъ, когда онъ, скинувшись кабаномъ, встрѣтился съ кузнецомъ Савельемъ, который шелъ пѣшкомъ изъ Кромъ со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнецъ остался побѣдителемъ, благодаря тому, что у него, къ счастію, случилась въ рукахъ претяжелая дубина. Оборотень притворился, будто онъ не желаетъ обращать на кузнеца ни малѣйшаго вниманія и, тяжело похрюкивая, чавкалъ жолуди; но кузнецъ проникъ острымъ умомъ его замыселъ, который состоялъ въ томъ, чтобы пропустить его мимо себя и потомъ напасть на него сзади, сбить съ ногъ и съѣсть вмѣсто жолудя. Кузнецъ рѣшился предупредить бѣду; онъ поднялъ высоко надъ головою свою дубину и такъ треснулъ ею кабана по храпѣ, что тотъ жалобно взвизгнулъ, упалъ и болѣе уже не поднимался. А когда кузнецъ послѣ этого началъ поспѣшно уходить, то Селиванъ опять принялъ на себя свой человѣческій видъ и долго смотрѣлъ на кузнеца, со своего крылечка,—очевидно, имѣя противъ него какое-то самое недружелюбное намѣреніе.

Послѣ этой ужасной встрѣчи, кузнеца даже била лихорадка, отъ которой онъ спасся единственно тѣмъ, что пустилъ по вѣтру за окно хинный порошокъ, который ему былъ присланъ изъ горницы для пріема.

Кузнецъ слылъ за человѣка очень разсудительнаго и зналъ, что хина и всякое другое аптечное лѣкарство противъ волшебства ничего сдѣлать не могутъ. Онъ оттерпѣлся, завязалъ на суровой ниткѣ узелокъ и бросилъ его гнить въ навозную кучу. Этимъ было все кончено, потому что какъ только узелокъ и нитка сгнили, такъ и сила Селивана должна была кончиться. И это такъ и сдѣлалось. Селиванъ послѣ этого случая въ свинью уже никогда болѣе не скидывался, или, по крайней мѣрѣ, съ тѣхъ поръ его никто рѣшительно не встрѣчалъ въ этомъ неопрятномъ видѣ.

Съ проказами же Селивана въ образѣ краснаго пѣтуха было еще удачнѣе: на него ополчился косой мирошникъ Савка, преудалый парень, который дѣйствовалъ всѣхъ предусмотрительнѣе и ловчѣе.

Будучи посланъ разъ въ городъ на подторжье, онъ ѣхалъ верхомъ на очень лѣнивой и упрямой лошади. Зная такой нравъ своего коня, Савка взялъ съ собою, на всякій случай, потихоньку, хорошее березовое полѣно, которымъ надѣялся

запечатлѣть сувениръ въ бока своего меланхолическаго буцефала. Кое-что въ этомъ родѣ онъ и успѣлъ уже сдѣлать, и настолько переломить характеръ своего коня, что тотъ, потерявъ терпѣніе, сталъ понемножку припрыгивать.

Селиванъ, не ожидая, что Савка такъ хорошо вооруженъ, какъ разъ къ его пріѣзду выскочилъ пѣтухомъ на застрѣху и началъ вертѣться, глазѣть на всѣ стороны да пѣть «ку-ка-реку!» Савка не сробѣлъ колдуна, а, напротивъ, сказалъ ему: «Э, братъ, врешь — не уйдешь», и съ этимъ, недолго думая, такъ ловко швырнулъ въ него своимъ полѣномъ, что тотъ даже не допѣлъ до конца своего «ку-ка-реку» и свалился мертвымъ. По несчастію, онъ только упалъ не на улицу, а во дворъ, гдѣ ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой природный человѣческій образъ. Онъ сдѣлался Селиваномъ и, выбѣжавъ, погнался за Савкою, имѣя въ рукѣ то же самое полѣно, которымъ его угостилъ Савка, когда онъ пѣлъ пѣтухомъ на крышѣ.

По разсказамъ Савки, Селиванъ въ этотъ разъ былъ такъ взбѣшенъ, что Савкѣ могло придтись отъ него очень плохо; но Савка былъ парень сообразительный и отлично зналъ одну преполезную штуку. Онъ зналъ, что его лѣнивая лошадь сразу забываетъ о своей лѣни, если ее поворотить домой, къ яслямъ. Онъ это и сдѣлалъ. Какъ только Селиванъ, вооруженный полѣномъ, на Савку кинулся, — Савка вразъ повернулъ коня въ обратный путь и скрылся. Онъ прискакалъ домой, не имѣя на себѣ лица отъ страха, и разсказалъ о бывшей съ нимъ страшной исторіи только на другой день. И то слава Богу, что заговорилъ, а то боялись, какъ бы онъ не остался нѣмъ навсегда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Вмѣсто оробѣвшаго Савки былъ наряженъ другой, болѣе смѣлый посолъ, который достигъ Кромъ и возвратился назадъ благополучно. Однако и этотъ, совершивъ путешествіе, говорилъ, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чѣмъ ѣхать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другіе: страхъ сталъ всеобщій; но зато со стороны всѣхъ вообще началось и за Селиваномъ всеобщее усиленное смотрѣніе. Гдѣ бы и чѣмъ бы онъ ни скидывался, его вездѣ постоянно обнаруживали и во всѣхъ видахъ

стремились пресѣчь его вредное существованіе. Являлся ли Селиванъ у своего двора овцою или теленкомъ, — его все равно узнавали и били, и ни въ какомъ видѣ ему не удавалось укрыться. Даже, когда онъ одинъ разъ выкатился на улицу въ видѣ новаго свѣже-высмоленнаго телѣжнаго колеса и легъ на солнцѣ сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо на мелкія части такъ, что и втулка, и спицы разлетѣлись въ разныя стороны.

Обо всѣхъ этихъ происшествіяхъ, составлявшихъ героическую эпопею моего дѣтства, мною своевременно получались скорыя и самыя достовѣрныя свѣдѣнія. Быстротѣ извѣстій много содѣйствовало то, что у насъ на мельницѣ всегда случалась отмѣнная заѣзжая публика, пріѣзжавшая за помоломъ. Пока мельничные жернова мололи привезенныя ими хлѣбныя зерна, уста помольцевъ еще усерднѣе мололи всяческій вздоръ, а оттуда всѣ любопытныя исторіи приносились въ дѣвичью Моською и Роською, и потомъ, въ наилучшей редакціи, сообщались мнѣ, а я начиналъ о нихъ думать цѣлыя ночи и создавалъ презанимательныя положенія для себя и для Селивана, къ которому я, несмотря на все, что̀ о немъ слышалъ,—питалъ въ глубинѣ моей души большое сердечное влеченіе. Я безповоротно вѣрилъ, что настанетъ часъ, когда мы съ Селиваномъ какъ-то необыкновенно встрѣтимся,—и даже полюбимъ другъ друга гораздо болѣе, чѣмъ я любилъ дѣдушку Илью, въ которомъ мнѣ не нравилось то, что у него одинъ, именно лѣвый, глазъ всегда немножко смѣялся.

Я никакъ не могъ долго вѣрить, что Селиванъ дѣлаетъ всѣ свои сверхъестественныя чудеса съ злымъ намѣреніемъ къ людямъ, и очень любилъ о немъ думать; и обыкновенно, чуть я начиналъ засыпать, онъ мнѣ снился тихимъ, добрымъ и даже обиженнымъ. Я его никогда еще не видалъ и не умѣлъ себѣ представить его лица по искаженнымъ описаніямъ разсказчиковъ, но глаза его я видѣлъ, чуть закрывалъ свои собственные. — Это были большіе глаза, совсѣмъ голубые и предобрые. И пока я спалъ, мы съ Селиваномъ были въ самомъ пріятномъ согласіи: у насъ съ нимъ открывались въ лѣсу разныя секретныя норки, гдѣ у насъ было напрятано много хлѣба, масла и теплыхъ дѣтскихъ тулупчиковъ, которые мы доставали, бѣгомъ но-

сили къ извѣстнымъ намъ избамъ по деревнямъ, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянулъ, и сами убѣгали.

Это были, кажется, самыя прекрасныя сновидѣнія въ моей жизни, и я всегда сожалѣлъ, что съ пробужденіемъ Селиванъ опять дѣлался для меня тѣмъ разбойникомъ, противъ котораго всякій добрый человѣкъ долженъ былъ принимать всѣ мѣры предосторожности. Признаться, я и самъ не хотѣлъ отстать отъ другихъ, и хотя во снѣ я велъ съ Селиваномъ самую теплую дружбу, но на яву я считалъ не лишнимъ обезпечить себя отъ него даже издали.

Съ этою цѣлію я, путемъ не малой лести и другихъ униженій, выпросилъ у ключницы хранившійся у нея въ кладовой старый, очень большой кавказскій кинжалъ моего отца. Я подвязалъ его на кутасъ, который снялъ съ дядинаго гусарскаго кивера, и мастерски спряталъ это оружіе въ головахъ, подъ матрацъ моей постельки. Если бы Селиванъ появился ночью въ нашемъ домѣ, я бы непремѣнно противъ него выступилъ.

Объ этомъ скрытомъ цейхгаузѣ не знали ни отецъ, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжалъ у меня, конечно, былъ бы отобранъ, а тогда Селиванъ могъ помѣшать мнѣ спать спокойно, потому что я все-таки его ужасно боялся. А онъ, между тѣмъ, уже дѣлалъ къ намъ подходы, но наши бойкія дѣвушки его сразу же узнали. Къ намъ въ домъ Селиванъ дерзнулъ появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала онъ просто шумѣлъ по ночамъ въ кладовой, а потомъ одинъ разъ спустился въ глубокій, долбленый липовый наполъ, на днѣ котораго ставили, покрывая рѣшетомъ, колбасы и другія закуски, сберегаемыя для пріема гостей. Тутъ Селиванъ захотѣлъ сдѣлать намъ серьезную домашнюю непріятность,—вѣроятно, въ отплату за тѣ непріятности, какія онъ перенесъ отъ нашихъ мужиковъ. Оборотясь рыжею крысою, онъ вскочилъ на самое дно въ липовый наполъ, сдвинулъ каменный гнетокъ, который лежалъ на рѣшетѣ, и съѣлъ всѣ колбасы, но зато назадъ никакъ не могъ выскочить изъ высокой кади. Здѣсь Селивану, по всѣмъ видимостямъ, никакъ невозможно было избѣжать заслуженной казни, которую вызвалась произвесть надъ нимъ самая скорая Аннушка Шибаенокъ. Она явилась для этого съ

цѣлымъ чугуномъ кипятку и съ старою вилкою. Аннушка имѣла такой планъ, чтобы сначала ошпарить оборотня кипяткомъ, а потомъ приколоть его вилкою и выбросить мертваго въ бурьянъ въ расклеванье воронамъ. Но, при исполненіи казни, произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипяткомъ на руку самой Аннушкѣ Шибаенку; та выронила отъ боли вилку, а въ это время крыса укусила ее за палецъ и съ удивительнымъ проворствомъ, по ея же рукаву, выскочила наружу и, произведя общій перепугъ всѣхъ присутствующихъ, сдѣлалась невидимкой.

Родители мои, смотрѣвшіе на это происшествіе обыкновенными глазами, приписывали глупый исходъ травли неловкости нашихъ Аннушекъ; но мы, которые знали тайныя пружины дѣла, знали и то, что тутъ ничего невозможно было сдѣлать лучшаго, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиванъ. Разсказать объ этомъ старшимъ мы, однако, не смѣли. Какъ простосердечный народъ, мы боялись критики и насмѣшекъ надъ тѣмъ, что̀ сами почитали за несомнѣнное и очевидное.

Черезъ порогъ передней Селиванъ перешагнуть не рѣшался ни въ какомъ видѣ, какъ мнѣ казалось, потому, что онъ кое-что зналъ о моемъ кинжалѣ. И мнѣ это было и лестно, и досадно, потому что, собственно говоря, мнѣ уже стали утомительны одни толки и слухи, и во мнѣ разгоралось страстное желаніе встрѣтиться съ Селиваномъ лицомъ къ лицу.

Это во мнѣ обратилось, наконецъ, въ томленіе, въ которомъ и прошла вся долгая зима съ ея безконечными вечерами, а съ первыми весенними потоками съ горъ у насъ случилось происшествіе, которое разстроило весь порядокъ жизни и дало волю опаснымъ порывамъ несдержанныхъ страстей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Случай былъ неожиданный и печальный. Въ самую весеннюю ростепель, когда, по народному выраженію, «лужа быка топитъ», изъ далекаго тетушкина имѣнія прискакалъ верховой съ роковымъ извѣстіемъ объ опасной болѣзни дѣдушки.

Длинный переѣздъ въ такую распутицу былъ сопряженъ

съ большою опасностію; но отца и мать это не остановило, и они пустились въ дорогу немедленно. Ѣхать надо было сто верстъ и не иначе, какъ въ простой телѣжкѣ, потому что ни въ какомъ другомъ экипажѣ проѣхать совсѣмъ было невозможно. Телѣгу сопровождали два вершника, съ длинными шестами въ рукахъ. Они ѣхали впередъ и ощупывали дорожные просовы. Я и домъ были оставлены на попеченіе особаго временного комитета, въ составъ котораго входили разныя лица по разнымъ вѣдомствамъ. Аннушкѣ большой были подчинены всѣ лица женскаго пола до Оськи и Роськи; но высшій нравственный надзоръ порученъ былъ старостихѣ Дементьевнѣ. Интеллигентное же руковожденіе нами — въ разсужденіи наблюденія праздниковъ и дней недѣльныхъ— было ввѣрено діаконскому сыну Аполлинарію Ивановичу, который, въ качествѣ исключеннаго изъ семинаріи ритора, состоялъ при моей особѣ на линіи наставника. Онъ училъ меня латинскимъ склоненіямъ и вообще приготовлялъ къ тому, чтобы я могъ на слѣдующій годъ поступить въ первый классъ орловской гимназіи не совершеннымъ дикаремъ, котораго способны удивить латинская грамматика Бѣлюстина и французская—Ломонда.

Аполлинарій былъ юноша свѣтскаго направленія и собирался поступить въ «приказные» или, по-нынѣшнему говоря, въ писцы — въ орловское губернское правленіе, гдѣ служилъ его дядя, имѣвшій презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправникъ не исполнялъ какого-нибудь предписанія, то дядю Аполлинарія посылали на одной лошади «нарочнымъ» на счетъ виновнаго. Онъ ѣздилъ, не платя за лошадей денегъ, и, кромѣ того, получалъ съ виновныхъ дары и презенты и видѣлъ разные города и много разныхъ людей разныхъ чиновъ и обычаевъ. Мой Аполлинарій тоже имѣлъ въ виду современемъ достичь такого счастія, и могъ надѣяться сдѣлать гораздо болѣе своего дяди, потому что онъ обладалъ двумя большими талантами, которые могли быть очень пріятны въ свѣтскомъ обхожденіи: Аполлинарій игралъ на гитарѣ двѣ пѣсни: «Дѣвушка крапивушку жала» и вторую, гораздо болѣе трудную— «Подъ вечеръ осенью ненастной» и, что еще рѣже было въ тогдашнее время въ провинціяхъ,—онъ умѣлъ сочинять прекрасные стихи дамамъ, за что собственно и былъ выгнанъ изъ семинаріи.

Мы съ Аполлинаріемъ, несмотря на разницу нашихъ лѣтъ, держались какъ друзья и, какъ прилично вѣрнымъ друзьямъ, мы крѣпко хранили взаимныя тайны. Въ этомъ случаѣ на его долю приходилось немножко меньше, чѣмъ на мою: мои всѣ секреты заключались въ находившемся у меня подъ матрацомъ кинжалѣ, а я обязанъ былъ глубоко таить два ввѣренные мнѣ секрета: первый касался спрятанной въ шкафѣ трубки, изъ которой Аполлинарій курилъ вечеромъ въ печку кисло-сладкіе, бѣлые нѣжинскіе корешки, а второй былъ еще важнѣе — здѣсь дѣло шло о стихахъ, написанныхъ Аполлинаріемъ въ честь нѣкоей «легконосной Пулхеріи».

Стихи были, кажется, очень плохіе, но Аполлинарій говорилъ, что для вѣрнаго о нихъ сужденія необходимо было видѣть, какое они могутъ произвести впечатлѣніе, если ихъ хорошенько, съ чувствомъ прочесть нѣжной и чувствительной женщинѣ.

Это предполагало большую и даже въ нашемъ положеніи непреодолимую трудность, потому что маленькихъ барышень у насъ въ домѣ не было, а барышнямъ взрослымъ, которыя иногда пріѣзжали, Аполлинарій не смѣлъ предложить быть его слушательницами, такъ какъ онъ былъ очень застѣнчивъ, а между нашими знакомыми барышнями водились большія насмѣшницы.

Нужда научила Аполлинарія выдумать компромиссъ,— именно продекламировать оду, написанную «Легконосной Пулхеріи», передъ нашей дѣвушкой Неонилой, которая усвоила себѣ въ модномъ магазинѣ Морозовой разныя отшлифованныя, городскія манеры и, по соображеніямъ Аполлинарія, должна была имѣть тонкія чувства, необходимыя для того, чтобы почувствовать достоинство поэзіи.

По малолѣтству моему я боялся подавать своему учителю совѣты въ его поэтическихъ опытахъ, но считалъ его намѣреніе декламировать стихи передъ швеею рискованнымъ. Я, разумѣется, судилъ по себѣ и хотя бралъ въ соображеніе, что молоденькой Неонилѣ знакомы нѣкоторые предметы городского круга, но едва ли ей можетъ быть понятенъ языкъ высокой поэзіи, какимъ Аполлинарій обращался къ воспѣваемой имъ Пулхеріи. Притомъ въ одѣ къ «Легконосицѣ» были такія восклицанія: «О ты, жестокая!» или «Исчезни съ глазъ моихъ!» и тому подобныя. Неонила

отъ природы имѣла робкій и застѣнчивый характеръ, и я боялся, что она приметъ это на свой счетъ и непремѣнно расплачется и убѣжитъ.

Но всего хуже то, что, при обыкновенномъ строгомъ домашнемъ порядкѣ нашей домашней жизни, вся эта задуманная риторомъ поэтическая репетиція была совершенно невозможна. Ни время, ни мѣсто, ни даже всѣ другія условія не благопріятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполлинарія и была ихъ первою цѣнительницею. Однако, безначаліемъ, которое водворилось у насъ съ отъѣздомъ родителей, все измѣнилось, и риторъ захотѣлъ этимъ воспользоваться. Теперь мы, забывъ всякую разность своихъ положеній, ежедневно играли по вечерамъ въ короли, а Аполлинарій даже курилъ въ комнатахъ свои нѣжинскіе корешки и садился въ столовой въ отцовскомъ креслѣ, что̀ меня немножко обижало. Кромѣ того, по его же настоянію, у насъ нѣсколько разъ была затѣяна игра въ жмурки, причемъ мнѣ и брату набили синяки. Потомъ мы играли въ прятки, и разъ даже былъ устроенъ формальный фестивалъ, съ большимъ угощеніемъ. Кажется, все это дѣлалось «на шереметевскій счетъ», какъ въ тогдашнее время бражничали многіе неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которыхъ направились и мы, увлекаемые риторомъ. Мнѣ до сихъ поръ неизвѣстно, отъ кого тогда были предложены собранію цѣлый мѣшечекъ самыхъ зрѣлыхъ лѣсныхъ орѣховъ, добытыхъ изъ мышиныхъ норокъ (гдѣ обыкновенно̀ бываютъ только орѣхи самаго высшаго сорта). Кромѣ орѣховъ были три свертка сѣрой бумаги съ желтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Послѣдняя очень прочно липла къ рукамъ и не скоро отмывалась.

Такъ какъ этотъ послѣдній фруктъ пользовался особымъ вниманіемъ, то груши давались только въ розыгрышъ на фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему ничтожеству, смоквъ вовсе не получали. Въ фантахъ участвовали Аннушка и я, да мой наставникъ Аполлинарій, который оказался очень ловкимъ выдумщикомъ. Происходило все это въ гостиной комнатѣ, гдѣ бывало сидѣли только очень почетные гости. И тутъ-то, въ чаду увлеченія веселостями, въ Аполлинарія вошелъ какой-то отчаянный духъ, и онъ задумалъ еще болѣе дерзкое предпріятіе. Онъ захо-

тѣлъ декламировать свою оду въ грандіозной и даже ужасающей обстановкѣ, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряженію самые сильные нервы. Онъ началъ всѣхъ насъ подговаривать, чтобы отправиться всѣмъ вмѣстѣ въ будущее воскресенье за ландышами въ Селивановъ лѣсъ. А вечеромъ, когда мы съ нимъ ложились спать, онъ мнѣ открылся, что ландыши тутъ одинъ только предлогъ, а главная цѣль въ томъ, чтобы прочитать стихи въ самой ужасной обстановкѣ.

Съ одной стороны будетъ дѣйствовать страхъ отъ Селивана, а съ другой — страхъ отъ ужасныхъ стиховъ... Каково это выйдетъ и можно ли это выдержать?

Представьте же себѣ, что мы на это отважились.

Въ оживленности, которою всѣ мы были охвачены въ этотъ достопамятный весенній вечеръ, намъ представлялось, что всѣ мы смѣлы и можемъ совершить отчаянную штуку безопасно. Въ самомъ дѣлѣ, насъ будетъ много, и притомъ я возьму, разумѣется, свой огромный кавказскій кинжалъ.

Признаться, мнѣ очень хотѣлось, чтобы и всѣ другіе вооружились сообразно своей силѣ и возможности, но я ни у кого не встрѣтилъ къ этому должнаго вниманія и готовности. Аполлинарій бралъ только чубукъ да гитару, а съ дѣвушками ѣхали таганы, сковороды, котелки съ яйцами и чугунокъ. Въ чугункѣ предполагалось варить пшенный кулешъ съ саломъ, а на сковородѣ жарить яичницу, и въ этомъ смыслѣ они были прекрасны; но въ смыслѣ обороны, на случай возможныхъ продѣлокъ со стороны Селивана, рѣшительно ничего не значили.

Впрочемъ, по правдѣ сказать, я былъ и еще кое за что недоволенъ моими компаньонами, а именно—я не чувствовалъ съ ихъ стороны того вниманія къ Селивану, какимъ я самъ былъ проникнутъ. Они и боялись его, но какъ-то легкомысленно, и даже рисковали критически надъ нимъ подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьметъ пирожную скалку и скалкой его убьетъ, а Шибаенокъ смѣялась, что она его загрызть можетъ, и при этомъ показывала свои бѣлые-пребѣлые зубы и перекусывала ими кусочекъ проволоки. Все это какъ-то не солидно; всѣхъ превзошелъ риторъ. Онъ совсѣмъ отвергалъ существованіе Селивана,—говорилъ, что его даже никогда не было и что онъ

просто есть изобрѣтеніе фантазіи, такое же, какъ Пифонъ, Церберъ и тому подобное.

Тогда я первый разъ видѣлъ, до чего способенъ человѣкъ увлекаться въ отрицаніяхъ! Къ чему же тогда вся риторика, если она позволяетъ поставить на одну ступень вѣроятность баснословнаго Пифона съ Селиваномъ, дѣйствительное существованіе котораго подтверждалось множествомъ очевидныхъ событій.

Я этому соблазну не поддался и сберегъ мою вѣру въ Селивана. Даже болѣе того, я вѣрилъ, что риторъ за свое невѣріе будетъ непремѣнно наказанъ.

Впрочемъ, если не строго относиться къ этимъ философствамъ, то затѣянная поѣздка въ лѣсъ обѣщала много веселости, и никто не хотѣлъ или не могъ заставить себя приготовиться къ явленіямъ другого сорта. А межъ тѣмъ благоразуміе заставляло весьма поостеречься въ этомъ проклятомъ лѣсу, гдѣ мы будемъ, такъ сказать, въ самой пасти у звѣря.

Всѣ думали только о томъ, какъ имъ весело будетъ разбрестись по лѣсу, куда всѣ боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о томъ, какъ мы пройдемъ насквозь весь опасный лѣсъ, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, въ которыхъ дотлѣваетъ послѣдній снѣгъ, а и не подумали, будетъ ли все это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочемъ, мы за то имѣли въ виду изготовить на туалетъ мамы два большіе букета изъ лучшихъ ландышей, а изъ остальныхъ сдѣлать душистый перегонъ, который во все предстоящее лѣто будетъ давать превосходное умыванье отъ загара.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Нетерпѣливо дождавшись воскресенья, мы оставили въ домѣ на хозяйствѣ старостиху Дементьевну, а сами отправились къ Селиванову лѣсу. Вся публика шла пѣшкомъ, держась болѣе просохшихъ высокихъ рубежей, гдѣ уже зеленѣла первая изумрудная травка, а по дорогѣ слѣдовалъ обозъ, состоящій изъ телѣги, запряженной старою буланою лошадью. На телѣгѣ лежала Аполлинаріева гитара и взятыя, на случай ненастья, дѣвичьи кацавейки. Правилъ лошадью я, а назади, въ качествѣ пассажировъ, помѣщались Роська и другія дѣвчонки, изъ которыхъ одна бережно везла

въ колѣняхъ кошелочку съ яйцами, а другая имѣла общее попеченіе о различныхъ предметахъ, но наиболѣе поддерживала рукою мой огромный кинжалъ, который былъ у меня подвѣшенъ черезъ плечо на старомъ гусарскомъ шнурѣ отъ дядина этишкета и болтался изъ стороны въ сторону, значительно затрудняя мои движенія и отрывая мое вниманіе отъ управленія лошадью.

Дѣвушки, идучи по рубежу, пѣли: «Распашу-ль я пашеньку, посѣю-ль я ленъ-конопель», а риторъ имъ вторилъ басомъ.

Попадавшіеся намъ навстрѣчу мужики кланялись и спрашивали:

— Куда поднялись?

Аннушки имъ отвѣчали:

— Идемъ Селиванку въ плѣнъ брать.

Мужики помахивали головами и говорили:

— Угорѣлыя!

Мы и дѣйствительно были въ какомъ-то чаду, насъ охватила неудержимая полудѣтская потребность бѣгать, пѣть, смѣяться и дѣлать все очертя голову.

А между тѣмъ часъ ѣзды по скверной дорогѣ началъ на меня дѣйствовать неблагопріятно, — старый буланый мнѣ надоѣлъ и во мнѣ охладѣла охота держать въ рукахъ веревочныя вожжи; но невдалекѣ, на горизонтѣ, засинѣлъ Селивановъ лѣсъ, и все ожило. Сердце забилось и заныло, какъ у Вара при входѣ въ Тевтобургскія дебри. А въ это же время изъ-подъ талой межи выскочилъ заяцъ и, пробѣжавъ черезъ дорогу, понесся по полю.

— Фуй, чтобъ тебѣ пусто было!—закричали вслѣдъ ему Аннушки.

Онѣ всѣ знали, что встрѣча съ зайцемъ къ добру никогда не бываетъ. И я тоже струсилъ и схватился за свой кинжалъ, но такъ увлекся заботами объ извлеченіи его изъ заржавѣвшихъ ноженъ, что не замѣтилъ, какъ выпустилъ изъ рукъ вожжи и, съ совершенною для себя неожиданностію, очутился подъ опрокинувшеюся телѣгою, которую потянувшійся на рубежъ за травкою буланый повернулъ самымъ правильнымъ образомъ, такъ что всѣ четыре колеса очутились вверху, а я съ Роськой и со всею нашею провизіею явились подъ спудомъ...

Это несчастіе съ нами случилось моментально, но по-

слѣдствія его были неисчислимы: гитара Аполлинарія была разломана вдребезги, а разбитыя яйца текли и заклеивали намъ лица своимъ содержимымъ. Вдобавокъ Роська ревѣла.

Я былъ всемѣрно подавленъ и сконфуженъ и до того растерялся, что даже желалъ, чтобы насъ лучше совсѣмъ не освобождали; но я уже слышалъ голоса всѣхъ Аннушекъ, которыя, трудясь надъ нашимъ освобожденіемъ, тутъ же, очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего паденія. Я и буланый были тутъ ни въ чемъ непричинны: все это было дѣломъ Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить насъ къ его лѣсу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротивъ, только привела всѣхъ въ большое негодованіе и увеличила рѣшимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телѣгу, поставить насъ на ноги, смыть съ насъ гдѣ-нибудь у ручейка непріятную яичную слизь и посмотрѣть, что̀ уцѣлѣло послѣ нашего крушенія изъ вещей, взятыхъ для дневного продовольствія нашей многоличной группы.

Все это и было кое-какъ сдѣлано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бѣжалъ подъ самымъ Селивановымъ лѣсомъ, и когда глаза мои раскрылись, то свѣтъ мнѣ показался очень невзрачнымъ. Розовыя платья дѣвочекъ и мой новый бешметъ изъ голубого кашемира были никуда не годны: покрывшія ихъ грязь и яйца совсѣмъ ихъ попортили и не могли быть отмыты безъ мыла, котораго мы съ собой не захватили. Чугунъ и сковородка были расколоты, отъ тагана валялись однѣ ножки, а отъ гитары Аполлинарія остался одинъ грифъ съ закрутившимися на немъ струнами. Хлѣбъ и другая сухая провизія были въ грязи. По меньшей мѣрѣ намъ угрожалъ цѣлоденный голодъ, если не считать ни во что другихъ ужасовъ, которые чувствовались во всемъ окружающемъ. Въ долинѣ надъ ручьемъ свистѣлъ вѣтеръ, а черный, еще не убранный зеленью лѣсъ шумѣлъ и зловѣще махалъ на насъ своими прутьями.

Настроеніе духа во всѣхъ насъ значительно понизилось,—особенно въ Роськѣ, которая озябла и плакала. Но, однако, мы все-таки рѣшили вступить въ Селиваново царство, а дальше пусть будетъ, что̀ будетъ.

Во всякомъ случаѣ, одно и то же приключеніе безъ какой-нибудь перемѣны не могло повториться.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Всѣ перекрестились и начали входить въ лѣсъ. Входили робко и нерѣшительно; но каждый скрывалъ отъ другихъ свою робость. Всѣ только уговаривались какъ можно чаще перекликаться. Но, впрочемъ, не оказалось и большой нужды въ перекличкѣ, потому что никто далеко вглубь не ушелъ, всѣ мы какъ будто случайно безпрестанно скучивались къ краю и тянулись веревочкой вдоль опушки. Одинъ Аполлинарій оказался смѣлѣе другихъ и нѣсколько углубился въ чащу: онъ заботился найти самое глухое и страшное мѣсто, гдѣ его декламація могла бы произвести какъ можно болѣе ужасное впечатлѣніе на слушательницъ; но зато, чуть только Аполлинарій скрылся изъ вида, лѣсъ вдругъ огласился его пронзительнымъ, неистовымъ крикомъ. Никто не могъ себѣ вообразить, какая опасность встрѣтила Аполлинарія, но всѣ его покинули и бросились бѣжать вонъ изъ лѣса на поляну, а потомъ, не оглядываясь назадъ, — дальше, по дорогѣ къ дому. Такъ бѣжали всѣ Аннушки и всѣ Моськи, а за ними, продолжая кричать отъ страха, пронесся и самъ педагогъ, а мы съ маленькимъ братомъ остались одни.

Изъ всей нашей компаніи не осталось никого: насъ покинули не только всѣ люди, но безчеловѣчному примѣру людей послѣдовала и лошадь. Перепуганная ихъ крикомъ, она замотала головою и, повернувъ прочь отъ лѣса, помчалась домой, разбросавъ по ямамъ и рытвинамъ все, что еще оставалось до сихъ поръ въ телѣжкѣ.

Это было не отступленіе, а полное и самое позорное бѣгство, потому что оно сопровождалось не только потерею обоза, но и утратою всего здраваго смысла, причемъ мы, дѣти, были кинуты на произволъ судьбы.

Богъ знаетъ, что намъ довелось бы испытать въ нашемъ безпомощномъ сиротствѣ, которое было тѣмъ опаснѣе, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая изъ мягкихъ козловыхъ башмачковъ на тонкой рантовой подшивкѣ, не представляла удобства для перехода въ четыре версты по сырымъ тропинкамъ, на которыхъ еще во многихъ мѣстахъ стояли холодныя лужи. Въ до-

вершеніе бѣды; прежде чѣмъ мы съ братомъ успѣли себѣ представить вполнѣ весь ужасъ нашего положенія, по лѣсу что-то зарокотало, и потомъ съ противоположной стороны отъ ручья на насъ дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядѣли за лощину и увидали, что съ той стороны, куда лежитъ нашъ путь и куда позорно бѣжала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча съ весеннимъ дождемъ и съ первымъ весеннимъ громомъ, при которомъ молодыя дѣвушки умываются съ серебряной ложечки, чтобы самимъ стать бѣлѣй серебра.

Видя себя въ такомъ отчаянномъ положеніи, я готовъ былъ расплакаться, а мой маленькій братъ уже плакалъ. Онъ весь посинѣлъ и дрожалъ отъ страха и холода и, склонясь головою подъ кустикъ, жарко молился Богу.

Богъ, кажется, внялъ его дѣтской мольбѣ, и намъ было послано невидимое спасеніе. Въ ту самую минуту, когда прогремѣлъ громъ и мы теряли послѣднее мужество, въ лѣсу за кустами послышался трескъ и изъ-за густыхъ вѣтвей рослаго орѣшника выглянуло широкое лицо незнакомаго намъ мужика. Лицо это показалось намъ до такой степени страшнымъ, что мы вскрикнули и стремглавъ бросились бѣжать къ ручью.

Не помня себя, мы перебѣжали лощину, кувыркомъ слѣтѣли съ мокраго, осыпавшагося бережка и прямо очутились по-поясъ въ мутной водѣ, между тѣмъ какъ ноги наши до колѣнъ увязли въ тинѣ.

Бѣжать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше былъ слишкомъ глубокъ для нашего маленькаго роста, и мы не могли надѣяться перейти черезъ него, а притомъ по его струямъ теперь страшно сверкали зигзаги молніи — они трепетали и вились какъ огненные змѣи и точно прятались въ прошлогоднихъ оставшихся водоросляхъ.

Очутясь въ водѣ, мы схватили другъ друга за руки и стали въ оцѣпенѣніи, а сверху на насъ уже падали тяжелыя капли полившаго дождя. Но это оцѣпенѣніе и сохранило насъ отъ большой опасности, которой мы никакъ бы не избѣжали, если бы сдѣлали еще хотя одинъ шагъ далѣе въ воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, къ счастію, насъ обвили двѣ черныя, жилистыя руки — и тотъ

самый мужикъ, который выглянулъ на насъ страшно изъ орѣшника, ласково проговорилъ:

— Эхъ, вы, глупые ребятки, куда залѣзли!

И съ этимъ онъ взялъ и понесъ насъ черезъ ручей.

Выйдя на другой берегъ, онъ опустилъ насъ на землю, снялъ съ себя коротенькую свитку, которая была у него застегнута у вòрота круглою мѣдною пуговкою, и обтеръ этою свиткою наши мокрыя ноги.

Мы на него смотрѣли въ это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполнѣ въ его власти, но чудное дѣло—черты его лица въ нашихъ глазахъ быстро измѣнялись. Въ нихъ мы уже не только не видѣли ничего страшнаго, но, напротивъ, лицо его намъ казалось очень добрымъ и пріятнымъ.

Это былъ мужикъ плотный, коренастый, съ просѣдью въ головѣ и въ усахъ,—борода комкомъ и тоже съ просѣдью, глаза живые, быстрые и серьезные, но въ устахъ что-то близкое къ улыбкѣ.

Снявъ съ нашихъ ногъ, насколько могъ, грязь и тину полою своей свитки, онъ даже совсѣмъ улыбнулся и опять заговорилъ:

— Вы того... ничего... не пужайтесь...

Съ этимъ онъ оглянулся по сторонамъ и продолжалъ:

— Ничего; сейчасъ большой дождь пойдетъ! (Онъ уже шелъ и тогда).—Вамъ, ребятишки, пѣшкомъ не дойти.

Мы въ отвѣтъ ему только молча плакали.

— Ничего, ничего, не голосите, я васъ донесу на себѣ!—заговорилъ онъ и утеръ своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчасъ же показались на лицѣ грязныя полосы.

— Вонъ ишь, какія мужичьи руки-то грязныя,—сказалъ нашъ избавитель и провелъ еще разъ по лицу брата ладонью въ другую сторону, — отчего грязь не убавилась, а только получила растушовку въ другую сторону.

— Вамъ не дойти... Я васъ поведу, да не дойти, и въ грязи черевички *) спадутъ.

— Умѣете ли верхомъ ѣздить?—заговорилъ снова мужикъ.

Я взялъ смѣлость проронить слово и отвѣтилъ:

— Умѣю.

---

*) *Башмаки*—по-орловски *черевички*.

— А умѣешь, то и ладно! — молвилъ онъ и въ одно мгновеніе вскинулъ меня на одно плечо, а брата — на другое, велѣлъ намъ взяться другъ съ другомъ руками за его затылкомъ, а самъ покрылъ насъ своею свиткою, прижалъ къ себѣ наши колѣна и понесъ насъ, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала подъ его твердо ступавшими ногами, обутыми въ большіе лапти.

Мы сидѣли на его плечахъ, покрытые его свитою. Это, должно-быть, выходила пребольшая фигура, но намъ было удобно: свита замокла отъ ливня и залубенѣла такъ, что намъ подъ нею и сухо, и тепло было. Мы покачивались на плечахъ нашего носильщика какъ на верблюдѣ и скоро впали въ какое-то каталептическое состояніе, а пришли въ себя у родника, на своей усадьбѣ. Для меня лично это былъ настоящій глубокій сонъ, изъ котораго пробужденіе наступало не разомъ. Я помню, что насъ разворачивалъ изъ свиты этотъ самый мужикъ, котораго теперь окружали всѣ наши Аннушки, и всѣ онѣ вырывали насъ у него изъ рукъ и при этомъ самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, въ которой мы были имъ такъ хорошо сбережены, бросили ему съ величайшимъ презрѣніемъ на землю. Кромѣ того, ему еще угрожали пріѣздомъ моего отца и тѣмъ, что онѣ сейчасъ сбѣгаютъ на деревню, позовутъ съ цѣпами бабъ и мужиковъ и пустятъ на него собакъ.

Я рѣшительно не понималъ причины такой жестокой несправедливости, и это было неудивительно, потому что дома у насъ, во всемъ господствовавшемъ теперь временномъ правленіи, былъ образованъ заговоръ, чтобы намъ ничего не открывать о томъ, кто былъ этотъ человѣкъ, которому мы были обязаны своимъ спасеніемъ.

— Ничѣмъ вы ему не обязаны,—говорили намъ наши охранительницы,—а, напротивъ, это онъ-то все и надѣлалъ.

По этимъ словамъ я тотчасъ же догадался, что насъ спасъ не кто иной, какъ самъ *Селиванъ!*

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Оно такъ и было. На другой день, въ виду возвращенія родителей, намъ это открыли и взяли съ насъ клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей съ нами исторіи.

Въ тѣ времена, когда водились крѣпостные люди, иногда

случалось, что помѣщичьи дѣти питали къ крѣпостной прислугѣ самыя нѣжныя чувства и крѣпко хранили ихъ тайны. Такъ было и у насъ. Мы даже покрывали, какъ умѣли, грѣхи и проступки «своихъ людей» передъ родителями. Такія отношенія упоминаются во многихъ произведеніяхъ, гдѣ описывается помѣщичій бытъ того времени. Что до меня, то мнѣ наша дѣтская дружба съ нашими бывшими крѣпостными до сихъ поръ составляетъ самое пріятное и самое теплое воспоминаніе. Черезъ нихъ мы знали всѣ нужды и всѣ заботы бѣдной жизни ихъ родныхъ и друзей на деревнѣ и учились *жалѣть народъ*. Но этотъ добрый народъ, къ сожалѣнію, самъ не всегда былъ справедливъ и иногда былъ способенъ для очень неважныхъ причинъ бросить на ближняго темную тѣнь, не заботясь о томъ, какое это можетъ имѣть вредное вліяніе. Такъ поступалъ «народъ» и съ Селиваномъ, объ истинномъ характерѣ и правилахъ котораго не хотѣли знать ничего основательнаго, но смѣло, не боясь погрѣшить передъ справедливостію, распространяли о немъ слухи, сдѣлавшіе его для всѣхъ *пугаломъ*. И, къ удивленію, все, что о немъ говорили, не только казалось вѣроятнымъ, но даже имѣло какіе-то видимые признаки, по которымъ приходилось думать, что Селиванъ въ самомъ дѣлѣ человѣкъ дурной и что вблизи его уединеннаго жилища происходятъ страшныя злодѣйства.

То же самое произошло и теперь, когда насъ бранили тѣ, на которыхъ состояла обязанность охранять насъ: они не только взвалили всю вину на Селивана, который спасъ насъ отъ непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Аполлинарій и всѣ Аннушки разсказали намъ, что когда Аполлинарій замѣтилъ въ лѣсу хорошенькій холмъ, съ котораго ему казалось удобно декламировать,—онъ побѣжалъ къ этому холму черезъ лощинку, засыпанную прошлогоднимъ увядшимъ древеснымъ листомъ, но здѣсь споткнулся на что-то мягкое. Это «мягкое» повернулось подъ ногами Аполлинарія и заставило его упасть, а когда онъ сталъ вставать, то увидалъ, что это трупъ молодой крестьянской женщины. Онъ разсмотрѣлъ, что трупъ былъ въ чистомъ бѣломъ сарафанѣ, съ краснымъ шитьемъ, и... съ перерѣзаннымъ горломъ, изъ котораго лилась кровь...

Отъ такой ужасной неожиданности, конечно, можно было

и перепугаться, и закричать, — какъ онъ и сдѣлалъ; но вотъ что было непонятно и удивительно: Аполлинарій, какъ я разсказываю, былъ отъ всѣхъ другихъ въ отдаленіи, и одинъ споткнулся о трупъ убитой, но всѣ Аннушки и Роськи клялись и божились, что онѣ тоже *видѣли* убитую...

— Иначе, говорили онѣ, — мы развѣ бы такъ испугались?

И я о сю пору увѣренъ, что онѣ не лгали; что онѣ были глубоко увѣрены въ томъ, что видѣли въ Селивановомъ лѣсу убитую бабу, въ чистомъ крестьянскомъ уборѣ, съ краснымъ шитьемъ и съ перерѣзаннымъ горломъ, изъ котораго струилась кровь... Какъ это могло случиться?

Такъ какъ я пишу не вымыселъ, а то, что дѣйствительно было, то долженъ здѣсь остановиться и примолвить, что случай этотъ такъ и остался навсегда необъяснимымъ въ домѣ нашемъ. Убитую и лежавшую, по словамъ Аполлинарія, подъ листомъ въ ямкѣ женщину не могъ видѣть никто, кромѣ Аполлинарія, ибо никого, кромѣ Аполлинарія, здѣсь не было. Между тѣмъ всѣ клялись, что всѣ видѣли, точно эта мертвая баба въ одно мгновеніе ока проявилась на всѣхъ мѣстахъ подъ глазами у каждаго. Кромѣ того, видѣлъ ли въ дѣйствительности такую женщину и Аполлинарій? Едва ли это было возможно, потому что дѣло это происходило въ самую росталь, когда еще и снѣгъ не вездѣ стаялъ. Древесный листъ лежалъ подъ снѣгомъ съ *осени*, а между тѣмъ Аполлинарій видѣлъ трупъ въ чистомъ бѣломъ уборѣ, съ шитьемъ, и кровь изъ раны еще струилась... Ничего такого въ этомъ видѣ положительнаго не могло быть, но между тѣмъ всѣ крестились и клялись, что видѣли бабу, какъ разъ такъ, какъ сказано. И всѣ послѣ боялись ночью спать, и всѣмъ страшно было, точно всѣ мы сдѣлали преступленіе. Вскорѣ и я получилъ убѣжденіе, что мы съ братомъ тоже видѣли зарѣзанную бабу. Тутъ у насъ началась всеобщая боязнь, окончившаяся тѣмъ, что все дѣло открылось родителямъ, а отецъ написалъ письмо исправнику—и тотъ пріѣзжалъ къ намъ съ предлинной саблей и всѣхъ разспрашивалъ по секрету въ отцовскомъ кабинетѣ. Аполлинарія исправникъ призывалъ даже два раза и во второй разъ дѣлалъ ему такое сильное внушеніе, что у того, когда онъ вышелъ, оба уха горѣли какъ въ огнѣ и изъ одного изъ нихъ даже шла кровь.

Это мы тоже *всѣ видѣли.*

Но какъ бы то ни было, мы нашими розсказнями причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лѣсъ и самого его содержали долгое время подъ карауломъ, но ничего подозрительнаго у него не нашли и слѣдовъ видѣнной нами убитой женщины тоже никакихъ не оказалось. Селивановъ опять вернулся домой, но это ему не помогло въ общественномъ мнѣніи: всѣ съ этихъ поръ знали, что онъ несомнѣнный, хотя и неуловимый злодѣй, и не хотѣли имѣть съ нимъ ровно никакого дѣла. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздѣйствію поэтическаго элемента, отвезли въ «благородный пансіонъ», гдѣ я и началъ усвоивать себѣ общеобразовательныя науки, въ полной безмятежности, вплоть до приближенія рождественскихъ праздниковъ, когда мнѣ настало время ѣхать домой опять непремѣнно мимо Селиванова двора и видѣть въ немъ собственными глазами большіе страхи

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Дурная репутація Селивана давала мнѣ большой апломбъ между моими пансіонскими товарищами, съ которыми я дѣлился моими свѣдѣніями объ этомъ страшномъ человѣкѣ. Изъ всѣхъ моихъ пансіонерскихъ сверстниковъ ни одинъ еще не переживалъ такихъ страшныхъ ощущеній, какими я могъ похвастаться, и теперь, когда мнѣ опять предстояло проѣхать мимо Селивана,—къ этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротивъ, большинство товарищей меня сожалѣли и прямо говорили, что они не хотѣли бы быть на моемъ мѣстѣ, а два или три смѣльчака мнѣ завидовали и хвалились, что они бы очень хотѣли встрѣтиться лицомъ къ лицу съ Селиваномъ. Но двое изъ этихъ были записные хвастунишки, а третій могъ никого не бояться, потому что, по его словамъ, у его бабушки въ *старинномъ венецейскомъ кольцѣ былъ «таусинный камень»*, съ которымъ къ человѣку «никакая бѣда неприступна» *). У насъ же въ семьѣ такой драгоцѣнности не

*) «Таусинный камень» или «таусень» — свѣтлый сафиръ съ оттѣнкомъ *павлиньяго пера*, въ старину считался спасительнымъ талисманомъ. У Грознаго былъ такой талисманъ тоже въ кольцѣ или, по-старинному, въ «напалкѣ». «Напалка золотная жуковиною (перстнемъ), а въ ней камень *таусень*, а въ томъ муть и какъ бы пузырина зрится».

было, да и притомъ я долженъ былъ совершить мое рождественское путешествіе не на своихъ лошадяхъ, а съ тетушкою, которая какъ разъ передъ святками продала домъ въ Орлѣ и, получивъ за него тридцать тысячъ рублей, ѣхала къ намъ, чтобы тамъ въ нашихъ краяхъ купить давно приторгованное для нея моимъ отцомъ имѣніе.

Къ досадѣ моей, сборы тетушки цѣлые два дня задерживались какими-то важными дѣловыми обстоятельствами, и мы выѣхали изъ Орла какъ разъ утромъ въ рождественскій сочельникъ.

Ѣхали мы въ просторной, рогожной троечной кибиткѣ, съ кучеромъ Спиридономъ и молодымъ лакеемъ Борискою. Въ экипажѣ помѣщались тетушка, я, мой двоюродный братъ, маленькія кузины и няня—Любовь Тимоѳеевна.

На порядочныхъ лошадяхъ, при хорошей дорогѣ, до нашей деревеньки отъ Орла можно было доѣхать въ пять или шесть часовъ. Мы пріѣхали въ Кромы въ два часа и остановились у знакомаго купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у насъ была въ обычаѣ, да ее требовалъ и туалетъ моей маленькой кузины, которую еще пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти къ оттепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить и потомъ «закурило», т. е. помело по землѣ мелкимъ снѣжкомъ.

Тетушка была въ раздумьѣ: переждать ли это, или, напротивъ, поспѣшить, ѣхать скорѣе, чтобы успѣть добраться къ намъ домой ранѣе, чѣмъ можетъ разыграться непогода.

Проѣхать оставалось съ небольшимъ двадцать верстъ. Кучеръ и лакей, которымъ хотѣлось встрѣтить праздникъ съ родными и пріятелями, увѣряли, что мы успѣемъ доѣхать благополучно—лишь бы только не медлить и выѣзжать скорѣе.

Мои желанія и желанія тетушки тоже вполнѣ отвѣчали тому, чего хотѣли Спиридонъ и Бориска. Никто не хотѣлъ встрѣтить праздникъ въ чужомъ домѣ, въ Кромахъ. Притомъ же тетушка была недовѣрчива и мнительна, а съ нею теперь была такая значительная сумма денегъ, помѣщавшаяся въ краснаго дерева шкатулочкѣ, закрытой чехломъ изъ толстаго зеленаго фриза.

Ночевать съ такимъ денежнымъ богатствомъ въ чужомъ

домѣ тетушкѣ казалось очень не безопаснымъ, и она рѣшилась послушаться совѣта нашихъ вѣрныхъ слугъ.

Съ небольшимъ въ три часа кибитка наша была запряжена и мы выѣхали изъ Кромъ по направленію къ раскольницкой деревнѣ Колчевѣ; но едва лишь переѣхали по льду черезъ рѣку Крому, какъ почувствовали, что намъ какъ бы вдругъ недостало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бѣжали шибко, пофыркивали и мотали головами,—это составляло вѣрный признакъ, что и онѣ тоже испытывали недостатокъ воздуха. Между тѣмъ экипажъ несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Вѣтеръ былъ намъ взадъ и какъ бы гналъ насъ съ усиленною скоростію къ какой-то предначертанной межѣ. Скоро, однако, бойкій слѣдъ по пути сталъ «заикаться»; по дорогѣ пошли уже мягкіе снѣговые переносы,—они начали встрѣчаться все чаще и чаще, наконецъ, вскорѣ прежняго бойкаго слѣда сдѣлалось вовсе не видно.

Тетушка тревожно выглянула изъ возка, чтобы спросить кучера, вѣрно ли мы держимся дороги, и сейчасъ же откинулась назадъ, потому что ее обдало мелкою холодною пылью и, прежде чѣмъ мы успѣли дозваться къ себѣ людей съ козелъ, снѣгъ понесся густыми хлопьями, небо въ мгновеніе стемнѣло, и мы очутились во власти настоящей снѣговой бури.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Ѣхать назадъ къ Кромамъ было такъ же опасно, какъ и ѣхать впередъ. Даже позади чуть ли не было болѣе опасности, потому что за нами осталась рѣка, на которой было подъ городомъ нѣсколько прорубей, и мы при метели легко могли ихъ не разглядѣть и попасть подъ ледъ, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой верстѣ—Селивановъ лѣсъ, который въ метель не увеличивалъ опасности, потому что въ лѣсу должно быть даже тише. Притомъ въ глубь лѣса проѣзжей дороги не было, а она шла по опушкѣ. Лѣсъ намъ могъ быть только полезнымъ указаніемъ, что мы проѣхали половину дороги до дому и потому кучеръ Спиридонъ погналъ лошадей пошибче.

Дорога все становилась тяжелѣе и снѣжистѣе: прежняго веселаго стука подъ полозьями не было и помина, а, на-

противъ, возокъ ползъ по рыхлому наносу и скоро началъ бочить то въ одну, то въ другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроеніе духа и начали чаще освѣдомляться о нашемъ положеніи у лакея и у кучера, которые давали намъ отвѣты неопредѣленные и нетвердые. Они старались внушить намъ увѣренность въ нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой увѣренности въ себѣ не чувствовали.

Черезъ полчаса скорой ѣзды, при которой кнутъ Спиридона все чаще и чаще щелкалъ по лошадкамъ, мы были обрадованы восклицаніемъ:

— Вотъ Селиванкинъ лѣсъ завиднѣлся.

— Далеко онъ?—спросила тетушка.

— Нѣтъ, вотъ совсѣмъ до него доѣхали.

Это такъ и слѣдовало,—мы ѣхали отъ Кромъ уже около часа, но прошло еще добрыхъ полчаса,—мы все ѣдемъ и кнутъ хлещетъ по конямъ все чаще и чаще, а лѣса нѣтъ.

— Что же это такое? Гдѣ Селивановъ лѣсъ?

Съ козелъ ничего не отвѣчаютъ.

— Гдѣ же лѣсъ?—переспрашиваетъ тетушка:—проѣхали мы его, что ли?

— Нѣтъ, еще не проѣзжали,—глухо, какъ бы изъ-подъ подушки, отвѣчаетъ Спиридонъ.

— Да что же это значитъ?

Молчаніе.

— Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тетушка выглянула изъ-за фартука и изо всѣхъ силъ отчаянно крикнула: «остановитесь!» а сама упала назадъ въ возокъ, куда вмѣстѣ съ нею ввалилось цѣлое облако снѣжныхъ шапокъ, которыя, подчиняясь вліянію вѣтра, еще не сразу сѣли, а тряслись точно рѣющія мухи.

Кучеръ остановилъ лошадей, и прекрасно сдѣлалъ, потому что онѣ тяжело носили животами и шатались отъ устали. Если бы имъ не дать въ эту минуту передышки, бѣдныя животныя, вѣроятно, упали бы.

— Гдѣ ты?—спросила тетушка сошедшаго Бориса.

Онъ былъ на себя не похожъ. Передъ нами стоялъ не человѣкъ, а снѣжный столбъ. Воротникъ волчьей шубы у Бориса былъ поднятъ вверхъ и обвязанъ какимъ-то обрывкомъ. Все это пропушило снѣгомъ и слѣпило въ одну кучу.

Борисъ былъ не знатокъ дороги и робко отвѣчалъ, что мы, *кажется,* сбились.

— Позови сюда Спиридона.

Звать голосомъ было невозможно: метель всѣмъ затыкала рты и только сама одна ревѣла и выла на просторѣ съ ужасающимъ ожесточеніемъ.

Бориска полѣзъ на козла, чтобы потянуть Спиридона рукою, но... ему на это потребовалось потратить очень много времени прежде, чѣмъ онъ сталъ снова у возка и объяснилъ:

— Спиридона нѣтъ на козлахъ!

— Какъ нѣтъ! гдѣ же онъ?

— Я не знаю. Вѣрно сошелъ поискать слѣда. Позвольте и я пойду.

— О Господи! Нѣтъ, не надо,—не ходи; а то вы оба пропадете, и мы всѣ замерзнемъ.

Услыхавъ это слово, я и мой кузенъ заплакали, но въ это же самое мгновеніе у возка рядомъ съ Борисушкой появился другой снѣговой столбъ, еще болѣе крупный и страшный.

Это былъ Спиридонъ, надѣвшій на себя запасной мочальный кулекъ, который стоялъ вокругъ его головы весь набитый снѣгомъ и обмерзлый.

— Гдѣ же ты видѣлъ лѣсъ, Спиридонъ?

— Видѣлъ, сударыня.

— Гдѣ же онъ теперь?

— И теперь видно.

Тетушка хотѣла посмотрѣть, но ничего не увидала, все было темно. Спиридонъ увѣрялъ, что это оттого, что она «необсмотрѣмши»; но что онъ очень давно видитъ какъ лѣсъ чернѣетъ, но... только въ томъ бѣда, что къ нему подъѣзжаемъ, а онъ отъ насъ отъѣзжаетъ.

— Все это, воля ваша, Селивашка дѣлаетъ. Онъ насъ куда-то заводитъ.

Услыхавъ, что мы попали въ такую страшную пору въ руки злодѣя Селивашки, мы съ кузеномъ заплакали еще громче, но тетушка, которая была по рожденію деревенская барышня и потомъ полковая дама, она не такъ легко терялась, какъ городскія дамы, которымъ всякія невзгоды меньше знакомы. У тетушки были опытъ и сноровка, и они насъ спасли изъ положенія, которое, въ самомъ дѣлѣ, было очень опасно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Не знаю: вѣрила или не вѣрила тетушка въ злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнѣе для нашего спасенія, чтобы не выбились изъ силъ наши лошади. Если лошади изнурятся и станутъ, а морозъ закрѣпчаетъ, то всѣ мы непремѣнно погибнемъ. Насъ удушитъ буря и морозъ заморозитъ. Но если лошади сохранятъ силу для того, чтобы брести какъ-нибудь, шагъ за шагомъ, то можно питать надежду, что кони, идучи по вѣтру, сами выйдутъ какъ-нибудь на дорогу и привезутъ насъ къ какому-нибудь жилью. Пусть это будетъ хоть нетопленая избушка на курьихъ ножкахъ въ овражкѣ, но все же въ ней хоть не бьетъ такъ сердито вьюга и нѣтъ этого дерганья, которое ощущается при каждомъ усиліи лошадей переставить ихъ усталыя ноги... Тамъ бы можно было уснуть... Уснуть ужасно хотѣлось и мнѣ, и моему кузену. На этотъ счетъ изъ насъ счастлива была только одна маленькая, которая спала за теплою заячьей шубкой у няни, но намъ двумъ не давали засыпать. Тетушка знала, что страшно, потому что сонный скорѣе замерзнетъ. Положеніе наше съ каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидѣвшіе на козлахъ кучеръ и лакей начали отъ стужи застывать и говорить невнятнымъ языкомъ, а тетушка перестала обращать вниманіе на меня съ братомъ, и мы, прижавшись другъ къ другу, разомъ уснули. Мнѣ даже видѣлись веселые сны: лѣто, нашъ садъ, наши люди, Аполлинарій, и вдругъ все это перескочило къ поѣздкѣ за ландышами и къ Селивану, про котораго не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Все спуталось... такъ что никакъ не разберу, что̀ происходитъ во снѣ, что̀ наяву. Чувствуется холодъ, слышится вой вѣтра и тяжелое хлопанье рогожки на крышкѣ возка, а прямо передъ глазами стоитъ Селиванъ, въ свиткѣ на одно плечо, а въ вытянутой къ намъ рукѣ держитъ фонарь... Видѣніе это, сонъ или картина фантазіи?

Но это былъ не сонъ, не фантазія, а судьбѣ, дѣйствительно, угодно было привести насъ въ эту страшную ночь въ страшный дворъ Селивана, и мы не могли искать себѣ спасенія нигдѣ въ иномъ мѣстѣ, потому что кругомъ не

было вблизи никакого другого жилья. А между тѣмъ съ нами была еще тетушкина шкатулка, въ которой находилось тридцать тысячъ ея денегъ, составлявшихъ все ея состояніе. Какъ остановиться съ такимъ соблазнительнымъ богатствомъ у такого подозрительнаго человѣка, какъ Селиванъ?

Конечно, мы погибли! Впрочемъ, выборъ могъ быть только въ томъ, что̀ лучше,—замерзнуть ли на вьюгѣ, или пасть подъ ножомъ Селивана и его злыхъ сообщниковъ?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Какъ во время короткаго мгновенія, когда сверкнетъ молнія, глазъ, находившійся въ темнотѣ, вдругъ различаетъ разомъ множество предметовъ, такъ и при появленіи освѣтившаго насъ Селиванова фонаря я видѣлъ ужасъ всѣхъ лицъ нашего бѣдствующаго экипажа. Кучеръ и лакей чуть не повалились передъ нимъ на колѣна и остолбенѣли въ наклонѣ, тетушка подалась назадъ, какъ будто хотѣла продавить спинку кибитки. Няня же припала лицомъ къ ребенку и вдругъ такъ сократилась, что сама сдѣлалась не больше ребенка.

Селиванъ стоялъ молча, но... въ его некрасивомъ лицѣ я не видалъ ни малѣйшей злости. Онъ теперь казался только сосредоточеннѣе, чѣмъ тогда, когда несъ меня на закоркахъ. Оглядѣвъ насъ, онъ тихо спросилъ:

— Отогрѣться, что ли?...

Тетушка оправилась скорѣе другихъ и отвѣтила ему:

— Да, мы замерзаемъ... Спаси насъ!

— Пусть Богъ спасетъ! Въѣзжайте,—изба топлена.

И онъ сошелъ съ порога и сталъ свѣтить фонаремъ въ кибиткѣ.

Между прислугою, тетушкою и Селиваномъ перекидывались отдѣльныя коротенькія фразы, обнаружившія со стороны нашей недовѣріе къ хозяину и страхъ, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронію и, пожалуй, тоже своего рода недовѣріе.

Кучеръ спрашивалъ:—есть ли кормъ лошадямъ?

Селиванъ отвѣчалъ:—поищемъ.

Лакей Борисъ узнавалъ, есть ли другіе проѣзжіе?

— Взойдешь—увидишь,—отвѣчалъ Селиванъ.

Няня проговорила:—да у тебя не страшно ли оставаться?

Селиванъ отвѣчалъ:

— Страшно, такъ не заходи.

Тетушка остановила ихъ, сказавши каждому какъ могла тише:

— Оставьте, не перекоряйтесь,—все равно это ничему не поможетъ. Дальше ѣхать нельзя. Останемся на волю Божью.

И между тѣмъ, пока шла эта перемолвка, мы очутились въ дощатомъ отдѣленіи, отгороженномъ отъ просторной избы. Впереди всѣхъ вошла тетушка, а за нею Борисъ внесъ ея шкатулку. Потомъ вошли мы съ кузеномъ и няня.

Шкатулку поставили на столъ, а на нее поставили жестяной оплывшій саломъ подсвѣчникъ съ небольшимъ огаркомъ, котораго могло достать на одинъ часъ, не больше.

Практическая сообразительность тетушки сейчасъ же обратилась къ этому предмету, т. е. къ свѣчкѣ.

— Прежде всего,—сказала она Селивану:—принеси-ка мнѣ, батюшка, новую свѣчку.

— Вотъ свѣчка.

— Нѣтъ, ты дай новую, цѣлую!

— Новую, цѣлую?—переспросилъ Селиванъ, опираясь одною рукою на столъ, а другой о шкатулку.

— Давай поскорѣй новую, цѣлую свѣчку.

— Зачѣмъ тебѣ цѣлую?

— Это не твое дѣло,—я не скоро спать лягу. Можетъ-быть, буря пройдетъ—мы поѣдемъ.

— Буря не пройдетъ.

— Ну все равно, я тебѣ за свѣчку заплачу.

— Знамо заплатила-бъ, да нѣтъ у меня свѣчки.

— Поищи, батюшка!

— Что неположеннаго искать попусту!

Въ этотъ разговоръ вмѣшался неожиданно слабый-преслабый тонкій голосъ изъ-за перегородки.

— Нѣтъ у насъ, матушка, свѣчечки.

— Кто это говоритъ?—спросила тетушка.

— Моя жена.

Лица тетки и няни немножко просіяли.—Близкое присутствіе женщины, казалось, имѣло что-то ободрительное.

— Что она больна, что ли?

— Больна.

— Чѣмъ?

— Хворостью.—Ложитесь, мнѣ огарокъ въ фонарь нуженъ. Надо лошадей ввесть.

И какъ съ Селиваномъ ни разговаривали. онъ настоялъ на своемъ: что огарокъ ему необходимъ да и только. Онъ обѣщалъ принести его снова,—но пока взялъ его и вышелъ.

Исполнилъ ли Селиванъ свое обѣщаніе принести назадъ огарокъ, — этого я уже не видѣлъ, потому что мы съ кузеномъ опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сонъ я слышалъ иногда шушуканье тетушки съ няней и улавливалъ въ этомъ шопотѣ чаще всего слово «шкатулка».

Очевидно, няня и другіе наши люди знали, что въ этомъ ларцѣ сокрыты большія драгоцѣнности, и всѣ замѣтили, что шкатулка съ перваго же мгновенія остановила на себѣ алчное вниманіе нашего неблагонадежнаго хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью тетушка моя видѣла явную необходимость подчиняться обстоятельствамъ, но зато тотчасъ же сдѣлала соотвѣтственныя опасному положенію распоряженія.

Чтобы Селиванъ не зарѣзалъ насъ, рѣшено было, чтобы никто не спалъ. Лошадей велѣно было выпрячь, но не снимать съ нихъ хомутовъ, и кучеру съ лакеемъ сидѣть обоимъ въ повозкѣ: они не должны были разъединяться, потому что по одиночкѣ Селиванъ ихъ перебьетъ, и мы тогда останемся безпомощны. Тогда онъ убьетъ, конечно, и насъ, и всѣхъ насъ зароетъ подъ поломъ, гдѣ зарыто уже и безъ того множество жертвъ его лютости. Въ избѣ съ нами кучеръ и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиванъ обрѣжетъ гужи въ коренномъ хомутѣ, чтобы нельзя было запрячь лошадей, или совсѣмъ сдастъ всю тройку своимъ товарищамъ, которые у него пока гдѣ-то припрятаны. Въ такомъ случаѣ намъ не на чемъ будетъ и спасаться, между тѣмъ какъ очень можетъ статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучеръ станетъ запрягать, а Борисъ стукнетъ три раза въ стѣнку, и мы всѣ бросимся на дворъ, сядемъ и уѣдемъ. Для того, чтобы быть постоянно наготовѣ, и изъ насъ никто не раздѣвался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочихъ, но для насъ, двухъ спящихъ мальчиковъ, оно пролетѣло какъ одно мгновенье, которое вдругъ завершилось ужаснѣйшимъ пробужденіемъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я проснулся оттого, что мнѣ стало невыносимо тяжело дышать. Открывъ глаза, я не увидалъ ничего ровно, потому что вокругъ меня было темно, но только въ отдаленіи что-то какъ будто сѣрѣло: это обозначалось окно. Но зато, какъ при свѣтѣ Селиванова фонаря я разомъ увидалъ лица всѣхъ бывшихъ на той ужасной сценѣ людей, такъ теперь я въ одно мгновенье вспомнилъ все—кто я, гдѣ я, зачѣмъ я здѣсь, кто есть у меня милые и дорогіе въ отцовскомъ домѣ, — и мнѣ стало всего и всѣхъ жалко, и больно, и страшно, и мнѣ хотѣлось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человѣческою рукою, а на ухо трепетный голосъ шепталъ мнѣ:

— Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли, — къ намъ ломятся.

Я узналъ теткинъ голосъ и пожалъ ея руку въ знакъ того, что я понимаю ея требованіе.

За дверями, которыя выходили въ сѣни, слышался шорохъ... кто-то тихо переступалъ съ ноги на ногу и водилъ по стѣнѣ руками... Очевидно, этотъ злодѣй искалъ, но никакъ не могъ найти двери...

Тетушка прижала насъ къ себѣ и прошептала, что Богъ намъ еще можетъ помочь, потому что въ дверяхъ ею устроено укрѣпленіе. Но въ это же самое мгновеніе, можетъ-быть, именно потому, что мы выдали себя своимъ шопотомъ и дрожью, за тесовой перегородкой, гдѣ была изба и откуда при разговорѣ о свѣчкѣ отзывалась жена Селивана, кто-то выбѣжалъ и сцѣпился съ тѣмъ, кто тихо подкрадывался къ нашей двери, и они вдвоемъ начали ломиться; дверь затрещала, и къ нашимъ ногамъ полетѣли столъ, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а въ самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею котораго держались могучія руки Селивана...

Увидавъ это, тетушка закричала на Селивана и бросилась къ Борису.

— Матушка! Богъ спасъ,—хрипѣлъ Борисъ.

Селиванъ принялъ свои руки и стоялъ.

— Скорѣе, скорѣй вонъ отсюда!—заговорила тетушка.— Гдѣ наши лошади?

— Хворостью.—Ложитесь, мнѣ огарокъ въ фонарь нуженъ. Надо лошадей ввесть.

И какъ съ Селиваномъ ни разговаривали, онъ настоялъ на своемъ: что огарокъ ему необходимъ да и только. Онъ обѣщалъ принести его снова,—но пока взялъ его и вышелъ.

Исполнилъ ли Селиванъ свое обѣщаніе принести назадъ огарокъ, — этого я уже не видѣлъ, потому что мы съ кузеномъ опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сонъ я слышалъ иногда шушуканье тетушки съ няней и улавливалъ въ этомъ шопотѣ чаще всего слово «шкатулка».

Очевидно, няня и другіе наши люди знали, что въ этомъ ларцѣ сокрыты большія драгоцѣнности, и всѣ замѣтили, что шкатулка съ перваго же мгновенія остановила на себѣ алчное вниманіе нашего неблагонадежнаго хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью тетушка моя видѣла явную необходимость подчиняться обстоятельствамъ, но зато тотчасъ же сдѣлала соотвѣтственныя опасному положенію распоряженія.

Чтобы Селиванъ не зарѣзалъ насъ, рѣшено было, чтобы никто не спалъ. Лошадей велѣно было выпрячь, но не снимать съ нихъ хомутовъ, и кучеру съ лакеемъ сидѣть обоимъ въ повозкѣ: они не должны были разъединяться, потому что по одиночкѣ Селиванъ ихъ перебьетъ, и мы тогда останемся безпомощны. Тогда онъ убьетъ, конечно, и насъ, и всѣхъ насъ зароетъ подъ поломъ, гдѣ зарыто уже и безъ того множество жертвъ его лютости. Въ избѣ съ нами кучеръ и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиванъ обрѣжетъ гужи въ коренномъ хомутѣ, чтобы нельзя было запрячь лошадей, или совсѣмъ сдастъ всю тройку своимъ товарищамъ, которые у него пока гдѣ-то припрятаны. Въ такомъ случаѣ намъ не на чемъ будетъ и спасаться, между тѣмъ какъ очень можетъ статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучеръ станетъ запрягать, а Борисъ стукнетъ три раза въ стѣнку, и мы всѣ бросимся на дворъ, сядемъ и уѣдемъ. Для того, чтобы быть постоянно наготовѣ, и изъ насъ никто не раздѣвался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочихъ, но для насъ, двухъ спящихъ мальчиковъ, оно пролетѣло какъ одно мгновенье, которое вдругъ завершилось ужаснѣйшимъ пробужденіемъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Я проснулся оттого, что мнѣ стало невыносимо тяжело дышать. Открывъ глаза, я не увидалъ ничего ровно, потому что вокругъ меня было темно, но только въ отдаленіи что-то какъ будто сѣрѣло: это обозначалось окно. Но зато, какъ при свѣтѣ Селиванова фонаря я разомъ увидалъ лица всѣхъ бывшихъ на той ужасной сценѣ людей, такъ теперь я въ одно мгновенье вспомнилъ все—кто я, гдѣ я, зачѣмъ я здѣсь, кто есть у меня милые и дорогіе въ отцовскомъ домѣ, — и мнѣ стало всего и всѣхъ жалко, и больно, и страшно, и мнѣ хотѣлось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человѣческою рукою, а на ухо трепетный голосъ шепталъ мнѣ:

— Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли, — къ намъ ломятся.

Я узналъ теткинъ голосъ и пожалъ ея руку въ знакъ того, что я понимаю ея требованіе.

За дверями, которыя выходили въ сѣни, слышался шорохъ... кто-то тихо переступалъ съ ноги на ногу и водилъ по стѣнѣ руками... Очевидно, этотъ злодѣй искалъ, но никакъ не могъ найти двери...

Тетушка прижала насъ къ себѣ и прошептала, что Богъ намъ еще можетъ помочь, потому что въ дверяхъ ею устроено укрѣпленіе. Но въ это же самое мгновеніе, можетъ-быть, именно потому, что мы выдали себя своимъ шопотомъ и дрожью, за тесовой перегородкой, гдѣ была изба и откуда при разговорѣ о свѣчкѣ отзывалась жена Селивана, кто-то выбѣжалъ и сцѣпился съ тѣмъ, кто тихо подкрадывался къ нашей двери, и они вдвоемъ начали ломиться; дверь затрещала, и къ нашимъ ногамъ полетѣли столъ, скамья и чемоданы, которыми заставилась тетушка, а въ самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею котораго держались могучія руки Селивана...

Увидавъ это, тетушка закричала на Селивана и бросилась къ Борису.

— Матушка! Богъ спасъ,—хрипѣлъ Борисъ.

Селиванъ принялъ свои руки и стоялъ.

— Скорѣе, скорѣй вонъ отсюда!—заговорила тетушка.— Гдѣ наши лошади?

— Лошади у крыльца, матушка, я только хотѣлъ васъ вызвать... А этотъ разбойникъ... Богъ спасъ, матушка! — лепеталъ скороговоркою Борисъ, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дорогѣ все, что̀ попало. Всѣ врозь бросились къ двери, вскочили въ повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиванъ, казалось, былъ жестоко переконфуженъ и смотрѣлъ намъ вслѣдъ. Онъ, очевидно, зналъ, что это не можетъ пройти безъ послѣдствій.

На дворѣ теперь свѣтало, и передъ нами на востокѣ горѣла красная, морозная рождественская заря.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Мы доѣхали до дому не болѣе какъ въ полчаса, во все время безумолчно толкуя о пережитыхъ нами страхахъ. Тетушка, няня, кучеръ и Борисъ всѣ перебивали другъ друга и безпрестанно крестились, благодаря Бога за наше удивительное спасеніе. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей безпрестанно слышалось, какъ кто-то нѣсколько разъ подходилъ, пробовалъ отворить двери. Это и понудило ее загромоздить входъ всѣмъ, что попалось подъ ея руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шопотъ за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что онъ не разъ тихонько отворялъ свою дверь, выходилъ въ сѣни и тихонько пробовалъ за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ея словамъ, минутами засыпала. Кучеръ и Борисъ видѣли болѣе всѣхъ. Боясь за лошадей, кучеръ не отходилъ отъ нихъ ни на минуту, но Борисушка не разъ подходилъ къ нашимъ дверямъ и всякій разъ, какъ подходилъ онъ, — сію же минуту появлялся изъ своихъ дверей и Селиванъ. Когда буря передъ разсвѣтомъ утихла, кучеръ и Борисъ тихонько запрягли лошадей и тихонько же выѣхали, сами отперевъ ворота; но когда Борисъ также тихо подошелъ опять къ нашей двери, чтобы насъ вывесть, тутъ Селиванъ увидалъ, что добыча уходитъ у него изъ рукъ, бросился на Бориса и началъ его душить. Слава Богу, конечно, что это ему не удалось и онъ теперь уже не отдѣлается одними подозрѣніями, какъ отдѣлывался до сихъ поръ: его злыя намѣренія были слишкомъ ясны и слишкомъ очевидны, и все это происходило не съ глазу на глазъ съ какимъ-ни-

будь однимъ человѣкомъ, а при шести свидѣтеляхъ, изъ которыхъ тетушка одна стоила по своему значенію нѣсколькихъ, потому что она слыла во всемъ городѣ умницею и къ ней, несмотря на ея среднее состояніе, заѣзжалъ съ визитами губернаторъ, а нашъ тогдашній исправникъ былъ ей обязанъ устройствомъ своего семейнаго благополучія. По одному ея слову, онъ, разумѣется, сейчасъ же возьмется разслѣдовать дѣло по горячимъ слѣдамъ, и Селивану не миновать петли, которую онъ думалъ накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались такъ, что все собиралось къ немедленному отмщенію за насъ Селивану и къ наказанію его за звѣрское покушеніе на нашу жизнь и имущество.

Подъѣзжая къ своему дому, за родникомъ на горѣ, мы встрѣтили верхового парня, который, завидѣвъ насъ, чрезвычайно обрадовался, заболталъ ногами по бокамъ лошади, на которой ѣхалъ, и, снявъ издали шапку, подскакалъ къ намъ съ сіяющимъ лицомъ и началъ рапортовать тетушкѣ, какое мы причинили дома всѣмъ безпокойство.

Оказалось, что отецъ, мать и всѣ домашніе тоже не спали. Насъ непремѣнно ждали, и съ тѣхъ поръ, какъ вечеромъ начала разыгрываться метель, всѣ были въ большой тревогѣ — не сбились ли мы съ дороги или не случилось ли съ нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться въ ухабѣ оглобля, — могли напасть волки... Отецъ высылалъ навстрѣчу намъ нѣсколько человѣкъ верховыхъ людей съ фонарями, но буря рвала изъ рукъ и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никакъ не могли отбиться отъ дома. Топочется человѣкъ очень долго, — все ему кажется, будто онъ ѣдетъ противъ бури, и вдругъ остановка и лошадь ни съ мѣста далѣе. Сѣдокъ ее понуждаетъ, хотя и самъ едва дышитъ отъ задухи, но конь не идетъ... Вершникъ слѣзетъ, чтобы взять за поводъ и провести оробѣвшее животное, и вдругъ, къ удивленію своему, открываетъ, что лошадь его стоитъ, упершись лбомъ въ стѣну конюшни или сарая... Только одинъ изъ развѣдчиковъ уѣхалъ немножко далѣе и имѣлъ настоящую дорожную встрѣчу: это былъ шорникъ Прохоръ. Ему дали выносную форейторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, такъ что желѣзо до губъ ея не дотрогивалось, и ей черезъ то ста-

— Лошади у крыльца, матушка, я только хотѣлъ васъ вызвать... А этотъ разбойникъ... Богъ спасъ, матушка! — лепеталъ скороговоркою Борисъ, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дорогѣ все, что̀ попало. Всѣ врозь бросились къ двери, вскочили въ повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиванъ, казалось, былъ жестоко переконфуженъ и смотрѣлъ намъ вслѣдъ. Онъ, очевидно, зналъ, что это не можетъ пройти безъ послѣдствій.

На дворѣ теперь свѣтало, и передъ нами на востокѣ горѣла красная, морозная рождественская заря.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Мы доѣхали до дому не болѣе какъ въ полчаса, во все время безумолчно толкуя о пережитыхъ нами страхахъ. Тетушка, няня, кучеръ и Борисъ всѣ перебивали другъ друга и безпрестанно крестились, благодаря Бога за наше удивительное спасеніе. Тетушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей безпрестанно слышалось, какъ кто-то нѣсколько разъ подходилъ, пробовалъ отворить двери. Это и понудило ее загромоздить входъ всѣмъ, что попалось подъ ея руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шопотъ за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что онъ не разъ тихонько отворялъ свою дверь, выходилъ въ сѣни и тихонько пробовалъ за скобку нашей двери. Все это слышала и няня, хотя она, по ея словамъ, минутами засыпала. Кучеръ и Борисъ видѣли болѣе всѣхъ. Боясь за лошадей, кучеръ не отходилъ отъ нихъ ни на минуту, но Борисушка не разъ подходилъ къ нашимъ дверямъ и всякій разъ, какъ подходилъ онъ, — сію же минуту появлялся изъ своихъ дверей и Селиванъ. Когда буря передъ разсвѣтомъ утихла, кучеръ и Борисъ тихонько запрягли лошадей и тихонько же выѣхали, сами отперевъ ворота; но когда Борисъ также тихо подошелъ опять къ нашей двери, чтобы насъ вывесть, тутъ Селиванъ увидалъ, что добыча уходитъ у него изъ рукъ, бросился на Бориса и началъ его душить. Слава Богу, конечно, что это ему не удалось и онъ теперь уже не отдѣлается одними подозрѣніями, какъ отдѣлывался до сихъ поръ: его злыя намѣренія были слишкомъ ясны и слишкомъ очевидны, и все это происходило не съ глазу на глазъ съ какимъ-ни-

будь однимъ человѣкомъ, а при шести свидѣтеляхъ, изъ которыхъ тетушка одна стоила по своему значенію нѣсколькихъ, потому что она слыла во всемъ городѣ умницею и къ ней, несмотря на ея среднее состояніе, заѣзжалъ съ визитами губернаторъ, а нашъ тогдашній исправникъ былъ ей обязанъ устройствомъ своего семейнаго благополучія. По одному ея слову, онъ, разумѣется, сейчасъ же возьмется разслѣдовать дѣло по горячимъ слѣдамъ, и Селивану не миновать петли, которую онъ думалъ накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались такъ, что все собиралось къ немедленному отмщенію за насъ Селивану и къ наказанію его за звѣрское покушеніе на нашу жизнь и имущество.

Подъѣзжая къ своему дому, за родникомъ на горѣ, мы встрѣтили верхового парня, который, завидѣвъ насъ, чрезвычайно обрадовался, заболталъ ногами по бокамъ лошади, на которой ѣхалъ, и, снявъ издали шапку, подскакалъ къ намъ съ сіяющимъ лицомъ и началъ рапортовать тетушкѣ, какое мы причинили дома всѣмъ безпокойство.

Оказалось, что отецъ, мать и всѣ домашніе тоже не спали. Насъ непремѣнно ждали, и съ тѣхъ поръ, какъ вечеромъ начала разыгрываться метель, всѣ были въ большой тревогѣ — не сбились ли мы съ дороги или не случилось ли съ нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться въ ухабѣ оглобля, — могли напасть волки... Отецъ высылалъ навстрѣчу намъ нѣсколько человѣкъ верховыхъ людей съ фонарями, но буря рвала изъ рукъ и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никакъ не могли отбиться отъ дома. Топочется человѣкъ очень долго, — все ему кажется, будто онъ ѣдетъ противъ бури, и вдругъ остановка и лошадь ни съ мѣста далѣе. Сѣдокъ ее понуждаетъ, хотя и самъ едва дышитъ отъ задухи, но конь не идетъ... Вершникъ слѣзетъ, чтобы взять за поводъ и провести оробѣвшее животное, и вдругъ, къ удивленію своему, открываетъ, что лошадь его стоитъ, упершись лбомъ въ стѣну конюшни или сарая... Только одинъ изъ развѣдчиковъ уѣхалъ немножко далѣе и имѣлъ настоящую дорожную встрѣчу: это былъ шорникъ Прохоръ. Ему дали выносную форейторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, такъ что желѣзо до губъ ея не дотрогивалось, и ей черезъ то ста-

новились нечувствительны никакія удержки. Она и понесла Прохора въ самый адъ метели, и скакала долго, брыкая задомъ и загибая голову къ переднимъ колѣнамъ, пока, наконецъ, при одномъ такомъ вольтѣ, шорникъ перелетѣлъ черезъ ея голову и всею своею фигурою ввалился въ какую-то странную кучу живыхъ людей, не оказавшихъ, впрочемъ, ему съ перваго раза никакого дружелюбія. Напротивъ, изъ нихъ кто-то тутъ же снабдилъ его тумакомъ въ голову, другой сдѣлалъ поправку въ спину, а третій сталъ мять ногами и приталкивать чѣмъ-то холоднымъ, металлическимъ и крайне неудобнымъ для ощущенія.

Прохоръ былъ малый не промахъ,—онъ понялъ, что имѣетъ дѣло съ особенными существами, и неистово закричалъ.

Испытываемый имъ ужасъ, вѣроятно, придалъ его голосу особенную силу, и онъ былъ немедленно услышанъ. Для спасенія его тутъ же, въ трехъ отъ него шагахъ, показалось «огненное свѣтеніе». Это былъ огонь, который выставили на окнѣ въ нашей кухнѣ, подъ стѣною которой пріютились исправникъ, его письмоводитель, разсыльный солдатъ и ямщикъ съ тройкою лошадей, увязшихъ въ сугробѣ.

Они тоже сбились съ дороги и, попавъ къ нашей кухнѣ, думали, что находятся гдѣ-то на лугу у сѣнного омета.

Ихъ откопали и просили кого на кухню, кого въ домъ, гдѣ исправникъ теперь и кушалъ чай, собираясь поспѣть къ своимъ въ городъ ранѣе, чѣмъ они проснутся и встревожатся его отсутствіемъ послѣ такой ненастной ночи.

— Вотъ это прекрасно,—сказала тетушка:—исправникъ теперь всѣхъ нужнѣе.

— Да! онъ баринъ хватскій,—онъ Селивашкѣ задастъ!—подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили къ дому, когда исправникова тройка стояла еще у нашего крыльца.

Сейчасъ исправнику все разскажутъ и черезъ полчаса разбойникъ Селиванъ будетъ уже въ его рукахъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Мой отецъ и исправникъ были поражены тѣмъ, что̀ мы перенесли въ дорогѣ и особенно въ разбойничьемъ домѣ Селивана, который хотѣлъ насъ убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами...

Кстати о деньгахъ. При упоминаніи о нихъ, тетушка сейчасъ же воскликнула:

— Ахъ, Боже мой! да гдѣ же моя шкатулка?

Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же эта шкатулка и лежащія въ ней тысячи?

Представьте себѣ, что ея не было! Да, да, ея-то одной только и не было ни въ комнатахъ между внесенными вещами, ни въ повозкѣ, — словомъ нигдѣ... Шкатулка, очевидно, осталась тамъ и теперь—въ рукахъ Селивана... Или... можетъ-быть даже онъ ее еще ночью выкралъ. Ему вѣдь это было возможно; онъ, какъ хозяинъ, могъ знать всѣ щелки своего дрянного дома, и этихъ щелокъ у него навѣрно не мало... Могла у него быть и подъемная половица, и приставная дощечка въ перегородкѣ.

И едва только опытнымъ въ выслѣживаніи разбойничьихъ дѣлъ исправникомъ было высказано послѣднее предположеніе о приставной дощечкѣ, которую Селиванъ могъ ночью тихонько отставить и черезъ нее утащить шкатулку, какъ тетушка закрыла руками лицо и упала въ кресло.

Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала ее въ уголокъ подъ лавкою, которая приходилась къ перегородкѣ, отдѣляющей наше ночное помѣщеніе отъ той части избы, гдѣ оставался самъ Селиванъ съ его женою...

— Ну, вотъ оно и есть!—воскликнулъ, радуясь вѣрности своихъ опытныхъ соображеній, исправникъ.—Вы сами ему подставили вашу шкатулку!.. но я все-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто ея не хватился, когда вамъ пришло время ѣхать.

— Да, Боже мой! мы были всѣ въ такомъ страхѣ!—стонала тетушка.

— И это правда, правда; я вамъ вѣрю,—говорилъ исправникъ: — вамъ было чего напугаться, но все-таки... такая большая сумма... такія хорошія деньги. Я сейчасъ скачу, скачу туда... Онъ вѣрно уже скрылся куда-нибудь, но онъ отъ меня не уйдетъ! Наше счастье, что всѣ знаютъ, что онъ воръ, и всѣ его не любятъ: его никто не станетъ скрывать... А впрочемъ, — теперь у него въ рукахъ есть деньги... онъ можетъ дѣлиться... Надо спѣшить... Народъ вѣдь шельма... Прощайте, я ѣду. А вы успокойтесь, примите капли... Я ихъ воровскую натуру знаю и увѣряю васъ, что онъ будетъ пойманъ.

И исправникъ опоясался своею саблею, какъ вдругъ въ передней послышалось между бывшими тамъ людьми необыкновенное движеніе и... черезъ порогъ въ залу, гдѣ всѣ мы находились, тяжело дыша, вошелъ Селиванъ съ тетушкиной шкатулкой въ рукахъ.

Всѣ вскочили съ мѣстъ и остановились какъ вкопанные...

— Укладочку забыли, возьмите, — глухо произнесъ Селиванъ.

Болѣе онъ ничего не могъ говорить, потому что совсѣмъ задыхался отъ непомѣрно скорой ходьбы и, можетъ-быть, отъ сильнаго внутренняго волненія.

Онъ поставилъ шкатулку на столъ, а самъ, никѣмъ не прошенный, сѣлъ на стулъ и опустилъ голову и руки.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Шкатулка была въ полной цѣлости. Тетушка сняла съ шеи ключикъ, отперла ее и воскликнула:

— Все, все какъ было!

— Сохранно,—тихо молвилъ Селиванъ.—Я все бёгъ за вами... хотѣлъ догнать... не сдужалъ.. Простите, что сижу передъ вами... задохнулся.

Отецъ первый подошелъ къ нему, обнялъ его и поцѣловалъ въ голову.

Селиванъ не трогался.

Тетушка вынула изъ шкатулки двѣ сотенныя бумажки и стала давать ихъ ему въ руки.

Селиванъ продолжалъ сидѣть и смотрѣть, словно ничего не понималъ.

— Возьми, что̀ тебѣ даютъ,—сказалъ исправникъ.

— За что?—не надо!

— За то, что ты честно сберегъ и принесъ забытыя у тебя деньги.

— А то какъ же? Развѣ надо не честно?

— Ну ты... хорошій человѣкъ... ты не подумалъ утаить чужое.

— Утаить чужое!..—Селиванъ покачалъ головою и добавилъ:—мнѣ не надо чужого.

— Но вѣдь ты бѣденъ,—возьми это себѣ на поправку!—ласкала его тетушка.

— Возьми, возьми, — убѣждалъ его мой отецъ. — Ты имѣешь на это право.

— Какое право?

Ему сказали про законъ, по которому всякій, кто найдетъ и возвратитъ потерянное, имѣетъ право на третью часть находки.

— Что такой за законъ,—отвѣчалъ онъ, снова отстраняя отъ себя тетушкину руку съ бумажками. — Чужою бѣдою не разживешься... Не надо!—прощайте!

И онъ всталъ съ мѣста, чтобы идти назадъ къ своему опороченному дворишку, но отецъ его не пустилъ: онъ взялъ его къ себѣ въ кабинетъ и заперся тамъ съ нимъ на ключъ, а потомъ черезъ часъ велѣлъ запрячь сани и отвезти его домой.

Черезъ день объ этомъ происшествіи знали въ городѣ и въ округѣ, а черезъ два дня отецъ съ тетушкою поѣхали въ Кромы и, остановясь у Селивана, пили въ его избѣ чай и оставили его женѣ теплую шубу. На обратномъ пути они опять заѣхали къ нему и еще привезли ему подарковъ: чаю, сахару и муки.

Онъ бралъ все вѣжливо, но неохотно, и говорилъ:

— На что? Ко мнѣ теперь, вотъ уже три дня, все стали люди заѣзжать... пошелъ доходъ... щи варили... Насъ не боятся, какъ прежде боялись.

Когда меня повезли послѣ праздниковъ въ пансіонъ, со мною опять была къ Селивану посылка, и я пилъ у него чай и все смотрѣлъ ему въ лицо и думалъ:

«Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же онъ мнѣ и другимъ такъ долго казался *пугаломъ*?»

Эта мысль преслѣдовала меня и не оставляла въ покоѣ... Вѣдь это тотъ же самый человѣкъ, который всѣмъ представлялся такимъ страшнымъ, котораго всѣ считали колдуномъ и злодѣемъ. И такъ долго все выходило похоже на то, что онъ только тѣмъ и занятъ, что замышляетъ и устраиваетъ злодѣянія. Отчего же онъ вдругъ сталъ такъ хорошъ и пріятенъ?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Я былъ очень счастливъ въ своемъ дѣтствѣ въ томъ отношеніи, что первые уроки религіи мнѣ были даны превосходнымъ христіаниномъ. Это былъ орловскій священ-

никъ, Остромысленій, — хорошій другъ моего отца и другъ всѣхъ насъ, дѣтей, которыхъ онъ умѣлъ научить любить правду и милосердіе. Я не разсказывалъ товарищамъ ничего о томъ, что произошло съ нами въ Рождественскую ночь у Селивана, потому что во всемъ этомъ не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротивъ, надъ моимъ страхомъ можно было посмѣяться, но я открылъ всѣ мои приключенія и сомнѣнія отцу Ефиму.

Онъ меня поласкалъ рукою и сказалъ:

— Ты очень счастливъ; твоя душа въ день Рождества была—какъ ясли для Святого Младенца, который пришелъ на землю, чтобъ пострадать за несчастныхъ. Христосъ озарилъ для тебя тьму, которою окутывало твое воображеніе—пусторѣчіе темныхъ людей. Пугало было не Селиванъ, а вы сами,—ваша къ нему подозрительность, которая никому не позволяла видѣть его добрую совѣсть. Лицо его казалось вамъ темнымъ, потому что око ваше было темно. Наблюди это для того, чтобы въ другой разъ не быть такимъ же слѣпымъ.

Это былъ совѣтъ умный и прекрасный. Въ дальнѣйшіе годы моей жизни я сблизился съ Селиваномъ и имѣлъ счастье видѣть, какъ онъ у всѣхъ сдѣлался человѣкомъ любимымъ и почетнымъ.

Въ новомъ имѣніи, которое купила тетушка, былъ хорошій постоялый дворъ на проѣзжемъ трактовомъ пунктѣ. Этотъ дворъ она и предложила Селивану на хорошихъ для него условіяхъ, и Селиванъ это принялъ и жилъ въ этомъ дворѣ до самой своей кончины. Тутъ сбылись мои давніе дѣтскіе сны: я не только близко познакомился съ Селиваномъ, но мы питали одинъ къ другому полное довѣріе и дружбу. Я видѣлъ, какъ измѣнилось къ лучшему его положеніе, — какъ у него въ домѣ водворилось спокойствіе и мало-по-малу заводился достатокъ; какъ вмѣсто прежнихъ хмурыхъ выраженій на лицахъ людей, встрѣчавшихъ Селивана, теперь всѣ смотрѣли на него съ удовольствіемъ. И дѣйствительно, вышло такъ, что какъ только просвѣтились очи окружавшихъ Селивана, такъ сдѣлалось свѣтлымъ и его собственное лицо.

Изъ тетушкиныхъ людей, Селивана особенно не любилъ лакей Борисушка, котораго Селиванъ чуть не задушилъ въ ту памятную намъ Рождественскую ночь.

Надъ этой исторіей иногда подшучивали. Случай этой почи объяснялся тѣмъ, что какъ у всѣхъ было подозрѣніе — не ограбилъ бы тетушку Селиванъ, такъ точно и Селиванъ имѣлъ сильное подозрѣніе: не завезли ли насъ кучеръ и лакей на его дворъ нарочно съ тѣмъ умысломъ, чтобы украсть здѣсь ночью тетушкины деньги и потомъ свалить все удобнѣйшимъ образомъ на подозрительнаго Селивана.

Недовѣріе и подозрительность съ одной стороны вызывали недовѣріе же и подозрѣнія — съ другой, — и всѣмъ казалось, что всѣ они — враги между собою и всѣ имѣютъ основаніе считать другъ друга людьми, склонными ко злу.

Такъ всегда зло родитъ другое зло и побѣждается только добромъ, которое, по слову Евангелія, дѣлаетъ око и сердце наше чистыми.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Остается досказать, отчего же, однако, съ тѣхъ поръ, какъ Селиванъ ушелъ отъ калачника, онъ сталъ угрюмъ и скрытенъ? Кто тогда его огорчилъ и оттолкнулъ?

Отецъ мой, будучи расположенъ къ этому доброму человѣку, все-таки думалъ, что у него есть какая-то *тайна*, которую Селиванъ упорно скрываетъ.

Это такъ и было, но Селиванъ открылъ свою тайну одной только тетушкѣ моей и то послѣ нѣсколькихъ лѣтъ жизни въ ея имѣніи и послѣ того, когда у Селивана умерла его всегда болѣвшая жена.

Когда я разъ пріѣхалъ къ тетушкѣ, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиванѣ, который и самъ незадолго передъ тѣмъ умеръ, то тетушка разсказала мнѣ его тайну.

Дѣло заключалось въ томъ, что Селиванъ, по нѣжной добротѣ своего сердца, былъ тронутъ горестной судьбою безпомощной дочери умершаго въ ихъ городѣ отставного палача. Дѣвочку эту никто не хотѣлъ пріютить, какъ дитя человѣка презрѣннаго. Селиванъ былъ бѣденъ и притомъ онъ не могъ рѣшиться держать у себя палачеву дочку въ городкѣ, гдѣ ее и его всѣ знали. Онъ долженъ былъ скрывать отъ всѣхъ ея происхожденіе, въ которомъ она была

неповинна. Иначе она не избѣжала бы тяжкихъ попрековъ отъ людей, неспособныхъ быть милостивыми и справедливыми. Селиванъ скрывалъ ее потому, что постоянно боялся, что ее узнаютъ и оскорбятъ, и эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на немъ отпечатлѣлись.

Такъ, каждый, кто называлъ Селивана «пугаломъ», въ гораздо бо̀льшей мѣрѣ самъ былъ для него «пугаломъ».

ФИГУРА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Когда я еще просвѣщался въ Кіевѣ и въ отдаленныхъ думахъ не имѣлъ заниматься писательствомъ, у меня завязалось одно знакомство съ бѣднымъ, но благороднымъ семействомъ, жившимъ въ маленькомъ собственномъ домикѣ въ самомъ отдаленномъ краю города, близъ упраздненнаго Кирилловскаго монастыря. Семейство состояло изъ двухъ пожилыхъ сестеръ, дѣвушекъ, и изъ третьей—старушки, ихъ тетки,—тоже дѣвушки. Жили онѣ скромно на очень маленькую пенсію и на доходъ отъ своихъ коровъ и отъ своего огорода. Въ гостяхъ у нихъ бывали только три человѣка: извѣстный русскій аболиціонистъ Дмитрій Петровичъ Журавскій, я и еще оригинальный, съ виду совсѣмъ похожій на крестьянина, человѣкъ, котораго фамилія была Вигура, но всѣ называли его «Фигура».

Объ немъ здѣсь и будетъ поминальная рѣчь.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Фигура или, по малороссійскому простому выговору, «Хвыгура» во время моего знакомства имѣлъ лѣтъ около шестидесяти, но обладалъ еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Онъ имѣлъ огромный ростъ и атлетическое сложеніе: волосы у него были густые, коричневые, почти безъ просѣди, но усы «сивые». По собственному его выраженію, онъ «сививъ зъ мороды—

якъ песъ», т. е. сѣдѣлъ, начиная не съ головы, а съ усовъ—какъ сѣдѣютъ старыя собаки. Борода у него тоже была бы сѣдая, но онъ ее брилъ. Глаза у Фигуры были большіе, сѣрые съ поволокою, губы румяныя, цвѣтъ лица смуглый и загорѣлый. Взглядъ его имѣлъ выраженіе смѣлое, умное и съ оттѣнкомъ затаенной малороссійской ироніи.

Жилъ Фигура совершеннымъ, настоящимъ подгороднымъ мужикомъ, на предмѣстіи Куриневкѣ, «у своей господі», т. е. въ собственной усадьбѣ и при собственномъ хозяйствѣ, которое велъ въ сотрудничествѣ молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работалъ своими собственными руками и все содержалъ въ простомъ, но безукоризненномъ порядкѣ. Онъ самъ «копалъ огородъ», самъ его воздѣлывалъ и засѣвалъ овощами и самъ же вывозилъ эти овощи на Подолъ, на Житній базаръ, гдѣ становился со своею телѣгою въ ряду съ другими пріѣзжими мужиками и продавалъ свои óгурцы, гàрбузы (тыквы), дыни, капусту, бураки и рѣпку.

Торговалъ Фигура лучше другихъ потому, что его овощи всегда отличались лучшимъ достоинствомъ. Особенно славились его нѣжныя и сладкія тыквы, чрезвычайно большихъ размѣровъ, доходившія иногда до пуда вѣса.

Также и огурцы, и бураки, и капуста — все у Фигуры было самое рослое и самое лучшее.

Перекупки подольскаго Житняго базара знали, что «проть Хвыгуры вже не учкнешь»,—т. е. лучше его ни у кого не достанешь, — но онъ не любилъ продавать перекупкамъ «що-бъ людей не мордовали», а продавалъ прямо «людямъ», т. е. прямымъ потребителямъ.

Къ перекупамъ и перекупкамъ Фигура «мавъ зуба» (имѣлъ зубъ), и любилъ проникать хитрости этихъ людей и ихъ выпучивать. Какъ бывало перекупъ или перекупка ни переодѣнутся, или кого ни подошлютъ къ возу съ подсыломъ, чтобы забрать товаръ у Фигуры, — онъ, бывало, это сейчасъ проникнетъ и на вопросъ «почемъ копà» — отвѣчаетъ:

— По деньгамъ, але тыльки шкода що не для твоей милости.

Если же подсыльный станетъ увѣрять, что онъ простой

человѣкъ и торгуетъ «для сѐбѣ», то Фигура, не вынимая изъ губъ трубки, скажетъ ему:

— Эге! ну не юлы—бо не покуришь!—и больше не станетъ разговаривать.

Фигуру всѣ знали на базарѣ и знали, что онъ «якъ бы то не съ простыхъ людей, а тильки опростывся» но настоящаго его чина и званія и того—почему онъ такъ «опростывся»—не знали и узнать этого не добивались.

Я тоже долго этого не зналъ, а настоящаго его чина и теперь не знаю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Домикъ у Фигуры былъ обыкновенная малороссійская мазанка, раздѣленная, впрочемъ, на комнатку и кухню. Ѣлъ онъ пищу всегда растительную и молочную, но самую простую — крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замѣчательной красоты хохлушка Христя. Христя была «покрытка», т. е. дѣвушка, имѣвшая дитя. Дитя это была прехорошенькая дѣвочка, по имени Катря. По сосѣдству думали, что она «хвыгурина дочка», но Фигура на это дѣлалъ гримасу и, пыхнувъ губами, отвѣчалъ:

— Такъ-то оно и есть що моя! Правда, що якъ Богъ мени давъ щасте, що-бъ ее кормить, то тимъ вона теперечки моя,—а кто ее на свитъ бидовать пустивъ, то я вже того добродія не знаю. Але якъ кто хоче — нехай такъ и ліче: якъ моя—то нехай моя,—мени все едино.

Но насчетъ Катри еще немножко сомнѣвались; а что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за «дружину» Фигуры безъ всякихъ сомнѣній.

Фигура и къ этому тоже пребывалъ равнодушенъ, и если ему кто-нибудь Христей подшучивалъ, такъ онъ отвѣчалъ только:

— А вамъ хиба завидно?

Зато же и Фигура, и Христя, да и ни въ чемъ неповинная Катря несли епитимію: изъ нихъ трехъ никто не употреблялъ въ пищу ни мяса, ни рыбъ — словомъ ничего, имѣющаго сознаніе жизни.

Куриневскія жинки знали, за что эта епитимія положена. Фигура же только усмѣхался и говорилъ:

— Дуры!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Отношенія у Христи съ Фигурою были премилыя, но такія, что ничего ясно не раскрывали.

Христя держалась въ домѣ не какъ наймычка при хозяйкѣ, а какъ будто своя родная, живущая у родственника. Она «тягала воду» изъ колодца, мыла полы и хату мазала, и бѣлье стирала и шила себѣ, Катрѣ и Фигурѣ, но коровъ не доила, потому что коровы были «мощныя», и ихъ выдаивалъ самъ Фигура соотвѣтственными къ сему великомощными руками. Обѣдали они всѣ трое за однимъ столомъ, къ которому Христя «подносила» и «убирала». Чаю не пили вовсе, «бо це пуста повадка», а въ праздники пили сушеныя вишни или малину—и опять всѣ за однимъ столомъ. Гости у нихъ бывали только тѣ пожилыя барышни, Журавскій, да я. При насъ Христя «бигала и митусилась», т. е. хлопотала, и ее съ трудомъ можно было усадить на минуту; но когда гости вставали, чтобъ уходить, Христя быстро срывалась съ мѣста и неудержимо стремилась подавать всѣмъ верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ея услугамъ, но она настаивала, и Фигура за нее заступался; онъ говорилъ гостямъ:

— Позвольте ей свою присягу исполнить.

Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли ей себя «одѣть и обуть якъ слидъ по закону». Въ этомъ была «ея присяга» — ея служебное назначеніе, которому простодушная красавица оставалась преданною и вѣрной.

Въ разговорѣ между собою Фигура и Христя относились другъ къ другу въ разныхъ формахъ: Фигура говорилъ ей «ты» и называлъ ее Христино, или Христя, а она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Дѣвочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамой»... Катрѣ было девять лѣтъ, и она была вся въ мать—красавица.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Родственныхъ связей ни у Фигуры, ни у Христи никакихъ не было. Христя была «безродна сыротина», а у Фигуры (правильно Вигуры) хотя и были родственники, изъ которыхъ одинъ служилъ даже въ университетѣ про-

фессоромъ,—но нашъ куриневскій Фигура съ этими Вигурами никакихъ сношеній не имѣлъ — «бо воны зъ панами знались», а это, по мнѣнію Фигуры, не то что не хорошо, а «якось—не до шмыги» (т. е. не идетъ ему).

— Богъ ихъ церковный знае: они вже може яки ассесоры, чи якись таки сяки совѣтники, а мы, якъ и зъ рыла бачите—изъ простыхъ свиней.

Въ основѣ же своего характера и всѣхъ поступковъ куриневскій Фигура былъ такая оригинальная личность, что даже снимаетъ всю нелѣпость съ пословицы, внушающей цѣнить человѣка битаго—дороже небитаго.

Вотъ одинъ его поступокъ, имѣвшій значеніе для всей его жизни, которая черезъ этотъ самый поступокъ и опредѣлилась. О немъ едва ли кто зналъ и едва ли знаетъ, а я объ этомъ слышалъ отъ самого Фигуры и перескажу, какъ помню.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Я жилъ въ Кіевѣ, въ очень многолюдномъ мѣстѣ, между двумя храмами — Михайловскимъ и Софійскимъ, — и тутъ еще стояли тогда двѣ деревянныя церкви. Въ праздники здѣсь было такъ много звона, что бывало трудно выдержать, а внизу по всѣмъ улицамъ, сходящимъ къ Крещатику, были кабаки и пивныя, а на площадкѣ балаганы и качели. Ото всего этого я спасался на такіе дни къ Фигурѣ. Тамъ была тишина и покой: играло на травкѣ красивое дитя, свѣтили добрыя женскія очи, и тихо разговаривалъ всегда разумный и всегда трезвый Фигура.

Разъ я ему и сталъ жаловаться на безпокойство, спозаранку начавшееся въ моемъ кварталѣ, а онъ отвѣчаетъ:

— И не говорите. Я самъ нашего русскаго празднованія съ дѣтства переносить не могу, и все до сихъ поръ боюсь: какъ бы какой бѣды не было. Бывало, насъ кадетами проводятъ подъ качели и еще говорятъ: «смотрите — это народное!» А мнѣ еще и тогда казалось: что̀ тутъ хорошаго — хоть бы это и народное! У Исаіи пророка читается: «праздники ваши ненавидитъ душа Моя», — и я недаромъ имѣлъ предчувствіе, что со мною когда-нибудь въ этомъ разгулѣ дурное случится. Такъ и вышло, да только хорошо, что все дурное тогда для меня поворотилось на доброе.

— А можно узнать, что это такое было?

— Я думаю, что можно. Видите... это еще, когда вы у бабушки въ рукавѣ сидѣли,—тогда у насъ были двѣ арміи: одна называлась первая, а другая — вторая. Я служилъ подъ Сакеномъ... Вотъ тотъ самый Ероѳеичъ, что и теперь еще все акаѳисты читаетъ *). Великій, Богъ съ нимъ, былъ богомолецъ, все на колѣняхъ молился, а то еще на полъ ляжетъ и лежитъ, и лежитъ долго, и куда ни идетъ, и что ни беретъ — все крестится. Ему тогда и многіе другіе въ этомъ въ арміи старались подражать, и заискивали, чтобъ онъ ихъ видѣлъ... Которые умѣли—хорошо выходило... И мнѣ это разъ помогло такъ, что я за это до сихъ поръ пенсію получаю. Вотъ какимъ это было случаемъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Полкъ нашъ стоялъ на югѣ, въ городѣ, — тутъ же былъ и штабъ сего Ероѳеича. И попало мнѣ идти въ караулъ къ погребамъ съ порохомъ, подъ самое Свѣтлое Воскресенье. Заступилъ я караулъ въ двѣнадцать часовъ дня въ чистую субботу и стоять мнѣ до двѣнадцати часовъ въ Воскресенье.

Со мною мои армейскіе солдаты, сорокъ два человѣка, и шесть объѣздныхъ казаковъ.

Сталъ надходить вечеръ, и мнѣ вдругъ начало дѣлаться чего-то очень грустно. Молодой человѣкъ былъ, и привязанности были семейныя. Родители еще были живы и сестра... но, самое главное и драгоцѣннѣйшее—мати... мати моя добродѣтельница!.. Чудесная у меня была мати, — предобрая и пренепорочная, — добромъ окрытая и въ добрѣ повитая... До того была милостива, что никого не могла огорчить, ни человѣка, ни животнаго, — даже ни мяса, ни рыбы не кушала изъ сожалѣнія къ животнымъ. Отецъ, бывало, споритъ: «Помилуй, скажи: сколько-жъ ихъ разродится? Дѣваться будетъ некуда». А она отвѣчаетъ: «Ну это еще когда-то будетъ, а я этихъ сама выкормила, такъ они мнѣ какъ родные. Я не могу своихъ родныхъ ѣсть». И у сосѣдей не ѣла: «этихъ, говорила, я живыхъ видѣла: они мнѣ знакомые, — не могу ѣсть своихъ знакомыхъ». А потомъ и незнакомыхъ не стала кушать. «Все равно, го-

*) Сакенъ тогда еще былъ живъ.

воритъ, съ ними убійство сдѣлано». Священникъ ее уговаривалъ, что «это отъ Бога показано», и въ требникѣ на освященіе мясовъ молитву показывалъ, но ее не переспорилъ. «Ну, и хорошо,—отвѣчала она:—якъ вы прочитали, то вы и кушайте». Священникъ сказалъ отцу, что это все дѣлаютъ какія-нибудь «понырящія въ домы и прельщающія женища, всегда учащеся и николи же въ разумъ придти могущія». А мать говоритъ отцу: «Се пустое: я никакихъ понырящихъ не знаю, а такъ просто противно мнѣ, чтобы одно другое поѣдало».

Я о моей матери никогда не могу воспоминать спокойно, — непремѣнно разстроюсь. Такъ случилось и тогда. Скучно по матери! Хожу-похожу, соломинку зубами со скуки кусаю и думаю: вотъ она теперь всѣхъ провожаетъ въ село, съ вечера на заутреню, а сама сиротокъ сберетъ, неодѣтыхъ, невычесаныхъ, — всѣхъ сама у печки перемоетъ, головенки имъ вычешетъ и чистыя рубахи надѣнетъ... Какъ съ ней радостно! Если бы я не дворянинъ былъ, я при ней бы и жилъ, и работалъ бы, а не въ караулѣ стоялъ. Что̀ мы такое караулимъ?.. Все для смертнаго бою... А, впрочемъ, что я такъ очень скучаю... — Стыдно!... Я вѣдь жалованье за службу получаю и чиновъ заслуживаю, а вонъ солдатъ — онъ совсѣмъ безнадежный человѣкъ, да еще бьютъ его безъ милосердія, — ему куда для сравненія тяжелѣе... а вѣдь живетъ же, терпитъ и не куксится... Бодрости себѣ надо поддать — все и пройдетъ. Что̀, думаю, самое лучшее можетъ человѣкъ сдѣлать, если ему самому тяжело? То, другое, третье приходитъ въ голову, и наконецъ опять самое ясное приходитъ отъ матери: она, бывало, говоритъ: «когда самому худо, тогда поспѣши къ тѣмъ, кому еще хуже, чѣмъ тебѣ»... Ну, вотъ, солдатамъ хуже, чѣмъ мнѣ...

«Давай, думаю, я чѣмъ-нибудь солдатъ бѣдныхъ обрадую! Угощу ихъ, что ли, чаемъ напою, — разговѣюсь съ ними на мои гроши!»

Понравилось.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Я позвалъ вѣстового, даю ему изъ своего кошелька денегъ и посылаю, чтобы купилъ четверть фунта чаю, да три фунта сахару, да копу крашенокъ (60 красныхъ яицъ),

да хлѣба шафраннаго на все, сколько останется. Прибавилъ бы еще болѣе, да у самого не было.

Вѣстовой сбѣгалъ и все принесъ, а я сѣлъ къ столику, колю и раскладываю по кусочкамъ сахаръ—и очень занялся тѣмъ: по скольку кусковъ на всѣхъ людей достанется.

И хоть небольшая забота, а сейчасъ, какъ я этимъ занялся, такъ и скука у меня прошла, и я даже радостно сижу, да кусочки отсчитываю и думаю: простые люди — съ ними никто не нѣжничаетъ,—имъ и это участіе пріятно будетъ. Какъ услышу, что отпустный звонъ прозвонятъ, и люди изъ церкви пойдутъ, я поздороваюсь — скажу: «ребята! Христосъ воскресе!» и предложу имъ это мое угощеніе.

А стояли мы въ караулѣ за городомъ, какъ всегда пороховые погреба бываютъ вдалекѣ отъ жилья, а кордегардіей у насъ служили сѣни одного пустого погреба, въ которомъ въ эту пору пороху не было. Тутъ въ сѣняхъ и солдаты, и я,—часовые наружи, а казаки—трое съ солдатами, а трое въ разъѣздъ уѣхали.

Изъ города намъ, однако, звонъ слышенъ, и огни коскакъ мелькаютъ. Да и по часамъ я сообразилъ, что уже время церковной службѣ непремѣнно скоро кончиться,— скоро, должно быть, наступитъ пора поздравлять и потчивать. Я всталъ, чтобы обойти посты, и вдругъ слышу шумъ... дерутся... Я—туда, а мнѣ летитъ что-то подъ ноги, и въ ту же минуту я получаю пощечину... Что̀ вы смотрите? Да — настоящую пощечину и трахъ, — съ одного плеча эполета прочь!

— Что̀ такое?.. Кто меня бьетъ?

И главное дѣло—темно.

— Ребята! кричу,—братцы! Что̀ это дѣлается?

Солдаты узнали мой голосъ и отвѣчаютъ:

— Казаки, ваше благородіе, винища облопались!.. дерутся.

— Кто же это на меня бросился?

— И васъ, ваше благородіе, это казакъ по мордѣ ударилъ. Вонъ онъ и есть — въ ногахъ лежитъ безъ памяти, а двухъ тамъ на погребицѣ вяжутъ. Рубиться хотѣли.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Все вдругъ въ головѣ у меня засуетилось и перепута-

лось. Тягчайшее оскорбленіе! Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрѣлъ не своими глазами, а какъ задолбилъ, и разсужденіе тоже было не свое, а чужое, вдолбленное, какъ принято. «*Тебя* ударили — такъ это безчестіе, а если *ты* побьешь на отместку — тогда ничего, — тогда это тебѣ честь»... Убить его, этого казака, я долженъ!.. зарубить его на мѣстѣ!.. А я не зарубилъ. Теперь куда же я годенъ? Я битый по щекѣ офицеръ. Все, значитъ, для меня кончено?.. Кинусь—заколю его! Непремѣнно надо заколоть! Онъ вѣдь у меня честь взялъ, онъ всю карьеру мою испортилъ. Убить! за это сейчасъ убить его! Судъ оправдаетъ или не оправдаетъ, но честь спасена будетъ.

А въ глубинѣ кто-то и говоритъ: «не убій!» Это я понялъ кто! — Это такъ Богъ говоритъ: на это у меня, въ душѣ моей, явилось удостовѣреніе. Такое, знаете, крѣпкое, несомнѣнное удостовѣреніе, что и доказывать не надо, и своротить нельзя. Богъ! Онъ вѣдь старше и выше самого Сакена. Сакенъ откомандуетъ, да когда-нибудь со звѣздой въ отставку выйдетъ, а Богъ-то вѣки-вѣковъ будетъ всей вселенной командовать! А если Онъ мнѣ не позволяетъ убить того, кто меня билъ, такъ что мнѣ съ нимъ дѣлать? Что сдѣлать? Съ кѣмъ посовѣтуюсь?.. Всего лучше съ Тѣмъ, Кто самъ это вынесъ. Іисусъ Христосъ!.. Тебя Самого били?.. Тебя били, и Ты простилъ... а я что предъ Тобою.. я червь... гадость... ничтожество! Я хочу быть *Твой:* я простилъ! я *Твой*...

Вотъ только плакать хочется!.. плачу и плачу!

Люди думаютъ, что я это отъ обиды, а я уже, — понимаете... я уже совсѣмъ не отъ обиды...

Солдаты говорятъ:

— Мы его убьемъ!

— Что вы!.. Богъ съ вами!.. Нельзя человѣка убивать!

Спрашиваю старшаго: куда его дѣли?

— Мы, говорятъ, — ему руки связали и въ погребъ его бросили.

— Развяжите его скорѣе и приведите сюда.

Пошли его развязать и вдругъ дверь изъ погреба наотмашь распахнулась, и этотъ казакъ летитъ на меня прямо, какъ по воздуху, и, точно снопъ, опять упалъ въ ноги и вопитъ:

— Ваше благородіе!.. я несчастный человѣкъ!..

— Конечно, говорю,—несчастный.

— Что̀ со мною сдѣлали!..

И плачетъ горестно такъ, что даже реветъ.

— Встань!—говорю.

— Не могу встать, я еще въ изступленіи...

— Отчего ты въ изступленіи?

— Я непитущій, а меня напоили... У меня дома жена молодая и дѣтки... и отцы старички старые... Что̀ я надѣлалъ!..

— Кто тебя упоилъ?

— Товарищи, ваше благородіе, — заставили за живыхъ и за мертвыхъ въ перезвонъ пить... Я непитущій!

И разсказалъ, что заѣхали они въ шинокъ, и стали его товарищи неволить — выпить для Свѣтлаго Христова Воскресенія, въ самый первый звонъ, — чтобы всѣмъ живымъ и умершимъ «легонько взгадалося»,—одинъ товарищъ поднесъ ему чару, а другой—другую, а третью онъ уже самъ купилъ и другихъ потчивалъ, а дальше не помнитъ, что̀ ему пришло въ голову на меня броситься и ударить, и эполетъ сорвать.

Вотъ вамъ и приключеніе! Теперь валяется въ ногахъ, плачетъ, какъ дитя, и весь хмель сошелъ... Стонетъ:

— Дѣтки мои, голубятки мои!.. Старички мои жалостные!.. женка безсчастная!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Убивается бѣдняга, и люди всѣ на него смотрятъ, и — вижу и имъ тягостно, а мнѣ еще болѣе всѣхъ тяжело. А межъ тѣмъ какъ я немножко раздумался, сердце-то у меня ужъ назадъ пошло: разсуждать опять начинаю: ударь онъ меня наединѣ, я и минуты бы одной не колебался — сказалъ бы: «иди съ миромъ и впередъ такъ не дѣлай». Но вѣдь это все произошло при подначальныхъ людяхъ, которымъ я долженъ подавать первый примѣръ...

И вдругъ это слово опять меня спасительно уловляетъ... какой-такой намъ поданъ *первый примѣръ?* Я вѣдь не могу же это забыть... я вѣдь не могу же, чтобы Іисуса вспоминать, а притомъ ему совсѣмъ напротивъ надъ людьми дѣлать...

«Нѣтъ, думаю, этого нельзя: я спутался, — лучше я

отстраню отъ себя это пока... хоть на-время, а скажу только то, что надо по правилу...»

Взялъ въ руки яйцо и хотѣлъ сказать: «Христосъ воскресъ!» — но чувствую, что вотъ вѣдь я уже и схитрилъ. Теперь я не Его, — я Ему ужъ чужой сталъ... Я этого не хочу... не желаю отъ Него увольняться. А зачѣмъ же я дѣлаю, какъ тѣ, кому съ Нимъ тяжело было... который говорилъ: «Господи, выйди отъ меня: я человѣкъ грѣшный!» Безъ Него-то, конечно, полегче... Безъ Него пожалуй со всѣми уживешься... ко всѣмъ поддѣлаешься...

А я этого не хочу! Не хочу, чтобы мнѣ легче было! Не хочу!

Я другое вспомнилъ... Я Его не попрошу уйти, а еще позову... Приди—ближе! и зачиталъ: «Христе, свѣте истинный, просвѣщаяй и освѣщаяй всякаго человѣка, грядущаго въ миръ»...

Между солдатами вдругъ вниманіе... кто-то и повторилъ:

— «Всякаго человѣка!»

— Да, говорю,—«всякаго человѣка, грядущаго въ миръ», и такой смыслъ придаю, что Онъ просвѣщаетъ того, кто приходитъ отъ вражды къ *миру*. И еще сильнѣе голосомъ воззвалъ: «Да знаменуется на насъ, грѣшныхъ, свѣтъ Твоего лица!»

— «Да знаменуется!.. да знаменуется!» вразъ, однимъ дыханіемъ продохнули солдаты... Всѣ содрогнулись... всѣ всхлипываютъ... всѣ неприступный свѣтъ узрѣли и къ нему сунулись...

— Братцы! говорю,—будемъ молчать!

Вразъ всѣ поняли.

— Языкъ пусть намъ отсохнетъ, — отвѣчаютъ: — ничего не скажемъ.

— Ну,—я говорю:—значитъ Христосъ воскресъ!—и поцѣловалъ перваго побившаго меня казака, а потомъ сталъ и съ другими цѣловаться. «Христосъ воскресъ!» — «Воистину воскресъ!»

И вправду обнимали мы другъ друга радостно. А казакъ все плакалъ и говорилъ: «я въ Іерусалимъ пойду Бога молить... священника упрошу, чтобы мнѣ питинью наложилъ».

— Богъ съ тобой, говорю,—еще лучше и въ Іерусалимъ не ходи, а только водки не пей.

— Нѣтъ, плачетъ,—я, ваше благородіе, и водки не буду пить, и пойду къ батюшкѣ...

— Ну, какъ знаешь.

Пришла смѣна, и мы возвратились, и я отрапортовалъ, что все было благополучно, и солдаты всѣ молчали; но случилось такъ, однако, что секретъ нашъ вышелъ наружу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

На третій день праздника призываетъ меня къ себѣ командиръ, запирается въ кабинетъ и говоритъ:

— Какъ это вы, смѣнившись послѣдній разъ съ караула, рапортовали, что у васъ все было благополучно, когда у васъ было ужасное происшествіе!

Я отвѣчаю:

— Точно такъ, господинъ полковникъ, происшествіе было нехорошее, но Богъ насъ вразумилъ, и все кончилось благополучно.

— Нижній чинъ оскорбилъ офицера и остается безъ наказанія... и вы это считаете благополучнымъ? Да у васъ что же — нѣтъ, что ли, ни субординаціи, ни благородной гордости?

— Господинъ полковникъ,— говорю:—казакъ былъ человѣкъ непьющій и обезумѣлъ, потому что его опоили.

— Пьянство—не оправданіе!

— Я,—говорю:—не считаю за оправданіе,—пьянство пагуба, но я духу въ себѣ не нашелъ доносить, чтобы за меня безразсуднаго человѣка наказывали. Виноватъ, господинъ полковникъ, я простилъ.

— Вы не имѣли права прощать!

— Очень знаю, господинъ полковникъ, не могъ выдержать.

— Вы послѣ этого не можете болѣе оставаться на службѣ.

— Я готовъ выйти.

— Да; подавайте въ отставку.

— Слушаю-съ.

— Мнѣ васъ жалко,—но поступокъ вашъ есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вамъ внушилъ такія правила.

Мнѣ стало отъ этихъ словъ грустно, и я попросилъ извиненія и сказалъ, что я пенять ни на кого не буду, а осо-

бенно на того, кто мнѣ внушилъ такія правила, потому что я взялъ себѣ эти правила изъ христіанскаго ученія.

Полковнику это ужасно не понравилось.

— Что̀,—говоритъ:—вы мнѣ съ христіанствомъ!—вѣдь я не богатый купецъ и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковровъ вышивать не умѣю, а я съ васъ службу требую. Военный человѣкъ долженъ почерпать христіанскія правила изъ своей присяги, а если вы чего-нибудь не умѣли согласовать, такъ вы могли на все получить совѣтъ отъ священника. И вамъ должно быть очень стыдно, что казакъ, который васъ прибилъ, лучше зналъ, что̀ надо дѣлать: онъ явился и открылъ свою совѣсть священнику! Его это одно и спасло, а не ваше прощеніе. Дмитрій Ероѳеичъ простилъ его не для васъ, а для священника, а солдаты всѣ, которые были съ вами въ караулѣ, будутъ раскассированы. Вотъ чѣмъ ваше христіанство для нихъ кончилось. А вы сами пожалуйте къ Сакену; онъ самъ съ вами поговоритъ — ему и разсказывайте про христіанство: онъ церковное писаніе все равно, какъ военный уставъ, знаетъ. А всѣ, извините, о васъ того мнѣнія, что вы, извините, получивъ пощечину, изволили прощать единственно съ тѣмъ, чтобы это безчестіе вамъ не помѣшало на службѣ остаться... Нельзя! Ваши товарищи съ вами служить не желаютъ.

Это мнѣ, по тогдашней моей молодости, показалось жестоко и обидно.

— Слушаю-съ, говорю: — господинъ полковникъ, я пойду къ графу Сакену и доложу все, какъ дѣло было, и объясню, чему я подчинился — все доложу по совѣсти. Можетъ-быть, онъ иначе взглянетъ.

Командиръ рукой махнулъ.

— Говорите, что̀ хотите, но знайте, что вамъ ничто не поможетъ. Сакенъ церковные уставы знаетъ — это правда, но, однако, онъ все-таки пока еще исполняетъ военные. Онъ еще въ архіереи не постригся.

Тогда между военными ходили разные нелѣпые слухи о Сакенѣ: одни говорили, будто онъ имѣетъ видѣнія и знаетъ отъ ангела — когда надо начинать бой; другіе разсказывали вещи еще болѣе чудныя, а полковой казначей, имѣвшій большой кругъ знакомства съ купцами, увѣрялъ, будто Филаретъ московскій говорилъ графу Протасову: «Если я

умру, то Боже васъ сохрани, не дѣлайте оберъ-прокуроромъ Муравьева, а митрополитомъ московскимъ — кіевскаго ректора (Иннокентія Борисова). Они только хороши кажутся, а хорошо не сдѣлаютъ; а вы ставьте на свое мѣсто Сакена, а на мое — самаго смирнаго монаха. Иначе я вамъ въ темномъ блескѣ являться стану».

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Я тогда ни за что не хотѣлъ, чтобы Сакенъ допускалъ, будто я простилъ и скрылъ полученную мною пощечину изъ-за того, чтобы мнѣ можно было на службѣ оставаться. Ужасная глупость! Не все ли это равно? Теперь это кажется смѣшно, а въ тогдашнемъ дикомъ состояніи я въ самомъ дѣлѣ полагалъ немножко свою честь въ такихъ пустякахъ, какъ постороннее мнѣніе... Ночей не спалъ: одну ночь въ караулѣ не спалъ, а потомъ три ночи не спалъ отъ волненія... Обидно было, что товарищи обо мнѣ нехорошо думаютъ, и что Сакенъ обо мнѣ нехорошо думаетъ! Надо, видите, такъ, чтобы всѣ о насъ хорошо думали!..

Опять изъ-за этого всю ночь не спалъ, и на другой день всталъ рано и являюсь утромъ въ сакенскую пріемную. Тамъ былъ только еще одинъ аудиторъ, а потомъ и другіе стали собираться. Жужжатъ между собою потихонечку, а у меня знакомыхъ нѣтъ, — я молчу и чувствую, что сонъ меня клонитъ, — совсѣмъ некстати. А глаза такъ и слипаются. И долго я тутъ со всѣми вмѣстѣ ожидалъ Сакена, потому что онъ въ этотъ день какъ нарочно не выходилъ: все у себя въ спальнѣ передъ чудотворной иконой молился. Онъ вѣдь былъ страшно богомоленъ: непремѣнно каждый день читалъ утреннія и вечернія молитвы и три акаѳиста, а то иногда зайдется до безконечности. Случалось, до того уставалъ на колѣняхъ стоять, что даже падалъ и на коврѣ ничкомъ лежалъ, а все молился. Мѣшать ему, или какъ-нибудь перебить молитву считалось — Боже сохрани! На это, кажется, даже при штурмѣ никто бы не отважился, потому что помѣшать ему все равно, что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнетъ кукситься и капризничать, и тогда его ничѣмъ не успокоишь. Адъютанты у него это знали, — иные и сами тоже были богомолы, — другіе при-

творялись. Онъ не разбиралъ и всѣхъ такихъ любилъ и поощрялъ.

Какъ только, бывало, онъ покажется, штабные сейчасъ различали, если онъ намолился, и тогда въ хорошемъ расположеніи, и всѣ бумаги несли, потому что, намолившись, онъ добръ и тогда все подпишетъ.

На мою долю какъ разъ такое счастіе и досталось: какъ Сакенъ вышелъ ко всѣмъ въ пріемную, такъ одинъ опытный говоритъ мнѣ:

— Вы хорошо попали; нынче его обо всемъ можно просить; онъ теперь намолившись.

Я полюбопытствовалъ:

— Почему это замѣтно?

Опытный отвѣчаетъ:

— Развѣ не видите — у него колѣни бѣлѣются, и надъ бровями свѣтлыя пятнышки... какъ будто свѣтъ сіяетъ... Значитъ, будетъ ласковый.

Я сіянія надъ бровями не отличилъ, а панталоны у него на колѣняхъ, дѣйствительно, были побѣлѣвши.

Со всѣми онъ переговорилъ и всѣхъ отпустилъ, а меня оставилъ на самый послѣдъ и велѣлъ за собою въ кабинетъ идти.

«Ну, думаю, — тутъ будетъ развязка». И сонъ прошелъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Въ кабинетѣ у него большая икона въ дорогой ризѣ, на особомъ возвышеніи, и трисоставная лампада въ три огня горитъ.

Сакенъ прежде всего подошелъ къ иконѣ, перекрестился и поклонился въ землю, а потомъ обернулся ко мнѣ и говоритъ:

— Вашъ полковой командиръ за васъ заступается. Онъ васъ даже хвалитъ, — говоритъ, что вы были хорошій офицеръ, но я не могу, чтобы васъ оставить на службѣ!

Я отвѣчаю, что я объ этомъ и не прошу.

— Не просите! Почему же не просите?

— Я знаю, что это нельзя, и не прошу о невозможномъ.

— Вы горды!

— Никакъ нѣтъ.

— Почему же вы такъ говорите — «о невозможномъ»? Французскій духъ! гордость! У Бога все возможно! Гордость!

— Во мнѣ нѣтъ гордости.

— Вздоръ!.. Я вижу. Все французская болѣзнь!.. своеволіе!.. Хотите все по-своему сдѣлать!.. Но васъ я, дѣйствительно, оставить не могу. Надо мною тоже выше начальство есть... Эта ваша вольнодумная выходка можетъ дойти до государя... Что̀ это вамъ пришла за фантазія!..

— Казакъ, говорю, — по дурному примѣру напился пьянъ до безумія и ударилъ меня безъ всякаго сознанія.

— А вы ему это простили?

— Да, я не могъ не простить!..

— На какомъ же основаніи?

— Такъ, по вліянію сердца.

— Гм!.. сердце!.. На службѣ прежде всего долгъ службы, а не сердце... Вы, по крайней мѣрѣ, раскаиваетесь?

— Я не могъ иначе.

— Значитъ, даже и не каетесь?

— Нѣтъ.

— И не жалѣете?

— О немъ я жалѣю, а о себѣ нѣтъ.

— И еще бы во второй разъ, пожалуй, простили?

— Во второй разъ, я думаю, даже легче будетъ.

— Вонъ какъ!.. вонъ какъ у насъ!.. солдатъ его по одной щекѣ ударилъ, а онъ еще другую готовъ подставить.

Я подумалъ: «Цыцъ! не смѣй этимъ шутить!» и молча посмотрѣлъ на него съ таковымъ выраженіемъ.

Онъ какъ бы смутился, но опять по-генеральски напѣтушился и задаетъ:

— А гдѣ же у васъ гордость?

— Я сейчасъ имѣлъ честь вамъ доложить, что у меня нѣтъ гордости.

— Вы дворянинъ?

— Я изъ дворянъ.

— И что же, этой... noblesse oblige... дворянской гордости у васъ тоже нѣтъ?

— Тоже нѣтъ.

— Дворянинъ безъ всякой гордости?

Я молчалъ, а самъ думалъ:

«Ну, да, ну, да: дворянинъ и безъ всякой гордости, — ну, что̀ же ты со мной подѣлаешь?»

А онъ не отстаетъ — говоритъ:

— Что же вы молчите? Я васъ спрашиваю объ этой — о благородной гордости?

Я опять промолчалъ, но онъ еще повторяетъ:

— Я опять спрашиваю о *благородной гордости*, которая возвышаетъ человѣка. Сирахъ велѣлъ «пещись объ имени своемъ...»

Тогда я, чувствуя себя уже какъ бы отставнымъ и потому человѣкомъ свободнымъ, отвѣтилъ, что я ни про какую благородную гордость ничего въ Евангеліи не встрѣчалъ, а читалъ про одну только гордость сатаны, которая противна Богу.

Сакенъ вдругъ отступилъ и говоритъ:

— Перекреститесь!.. Слышите: я вамъ приказываю, сейчасъ перекреститесь!

Я перекрестился.

— Еще разъ!

Я опять перекрестился.

— И еще... до трехъ разъ!

Я и въ третій разъ перекрестился.

Тогда онъ подошелъ ко мнѣ и самъ меня перекрестилъ, и прошепталъ:

— Не надо про сатану! Вы вѣдь православный?

— Православный.

— За васъ воспріемники у купели отреклись отъ сатаны... и отъ гордыни, и отъ всѣхъ дѣлъ его, и на него плюнули. Онъ бунтовщикъ и отецъ лжи. Плюньте сейчасъ.

Я плюнулъ.

— И еще!

Я еще плюнулъ.

— Хорошенько!.. До трехъ разъ на него плюньте!

Я плюнулъ, и Сакенъ самъ плюнулъ и ногою растеръ. Всего сатану мы оплевали.

— Вотъ такъ!.. А теперь... скажите, того... Что же вы будете съ собой дѣлать въ отставкѣ?

— Не знаю еще.

— У васъ есть состояніе?

— Нѣтъ.

— Не хорошо! Родственники со связями есть?

— Тоже нѣтъ.

— Скверно! На кого же вы надѣетесь?

— Не на князей и не на сыновъ человѣческихъ: воробей не пропадаетъ у Бога, и я не пропаду.

— Ого-го, какъ вы, однако, начитаны!.. Хотите въ монахи?

— Никакъ нѣтъ, — не хочу.

— Отчего? Я могу написать Иннокентію.

— Я не чувствую призванія въ монахи.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу только того, чтобы вы не думали, что я умолчалъ о полученномъ мною ударѣ изъ-за того, чтобы остаться на службѣ: я это сдѣлалъ просто...

— Спасти свою душу! Понимаю васъ, понимаю! я вамъ потому и говорю: идите въ монахи.

— Нѣтъ, я въ монахи не могу, и спасать свою душу не думалъ, а просто я пожалѣлъ другого человѣка, чтобы его не били на смерть палками.

— Наказаніе бываетъ человѣку въ пользу. «Любяй наказуетъ». Вы не дочитали... А, впрочемъ, мнѣ васъ все-таки жалко. Вы пострадали!.. Хотите въ комиссаріатскую комиссію?

— Нѣтъ, благодарю покорно.

— Это отчего?

— Я не знаю, право, какъ вамъ объ этомъ правдивѣе доложить... я туда неспособенъ.

— Ну, въ провіанты?

— Тоже не гожусь.

— Ну, въ цейхвартеры! — тамъ, случается, бываютъ люди и честные.

Такъ онъ меня этимъ своимъ разговоромъ отяготилъ, что я просто будто замагнитизировался и спать хочу до самой невозможности.

А Сакенъ стоитъ передо мною, — и мѣрно, въ тактъ головою покачиваетъ и, загиная одною рукою пальцы другой руки, вычисляетъ:

— Въ Писаніи начитанъ; благородной гордости не имѣетъ; по лицу битъ; въ комиссаріатъ не хочетъ; въ провіантскіе не хочетъ и въ монахи не хочетъ! Но я, кажется, понялъ васъ, почему вы не хотите въ монахи: вы влюблены?

А мнѣ только спать хочется.

— Никакъ нѣтъ, говорю: — я ни въ кого не влюбленъ.

— Жениться не намѣрены?

— Нѣтъ.

— Отчего?

— У меня слабый характеръ.

— Это видно! Это сразу видно! Но что же вы застѣнчивы, — вы боитесь женщинъ... да?

— Нѣкоторыхъ боюсь.

— И хорошо дѣлаете! Женщины суётны и... есть очень злыя, но вѣдь не всѣ женщины злы и не всѣ обманываютъ.

— Я самъ боюсь быть обманщикомъ.

— То-есть... Какъ?.. Для чего?

— Я не надѣюсь сдѣлать женщину счастливой.

— Почему? Боитесь несходства характеровъ?

— Да, говорю, — женщина можетъ не одобрять то, что я считаю за хорошее, и наоборотъ.

— А вы ей докажите.

— Доказать все можно, но отъ этого выходятъ только споры и человѣкъ дѣлается хуже, а не лучше.

— А вы и споровъ не любите?

— Терпѣть не могу.

— Такъ ступайте же, мой милый, въ монахи! Что же вамъ такое?! Вѣдь вамъ въ монахахъ отлично будетъ съ вашимъ настроеніемъ.

— Не думаю.

— Почему? Почему не думаете-то? Почему?

— Призванія нѣтъ.

— А вотъ вы и ошибаетесь — прощать обиды, безбрачная жизнь... это и есть монастырское призваніе. А дальше что же еще остается трудное? — мяса не ѣсть. Этого, что ли, вы боитесь? Но вѣдь это не такъ строго...

— Я мяса совсѣмъ никогда не ѣмъ.

— А зато у нихъ прекрасныя рыбы.

— Я и рыбы не ѣмъ.

— Какъ, и рыбъ не ѣдите? Отчего?

— Мнѣ непріятно.

— Отчего же это можетъ быть непріятно — рыбъ ѣсть?

— Должно-быть, врожденное — моя мать не ѣла тѣлъ убитыхъ животныхъ и рыбъ тоже не ѣла.

— Какъ странно! Значитъ, вы такъ и ѣдите одно грибное да зелень?

— Да, и молоко, и яйца. Мало ли еще что можно ѣсть!

— Ну, такъ вы и сами себя не знаете: вы природный монахъ, вамъ даже схиму дадутъ. Очень радъ! Очень радъ! Я вамъ сейчасъ дамъ письмо къ Иннокентію!

— Да я, ваше сіятельство, не пойду въ монахи!

— Нѣтъ, пойдете, — такихъ, которые и рыбъ не ѣдятъ, очень мало! вы схимникъ! Я сейчасъ напишу.

— Не извольте писать: я въ монастырь жить не пойду. — Я желаю ѣсть свой трудовой хлѣбъ въ потѣ своего лица.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Сакенъ наморщился.

— Это, говоритъ,—вы Библіи начитались,—а вы Библіи-то не читайте. Это англичанамъ идетъ: они недовѣрки и кривотолки. Библія опасна,—это мірская книга. Человѣкъ съ аскетическимъ основаніемъ долженъ ея избѣгать.

«Фу ты, Господи! думаю. — Что же это за мучитель такой!»

И говорю ему:

— Ваше сіятельство! я уже вамъ доложилъ: во мнѣ нѣтъ никакихъ аскетическихъ основаній.

— Ничего, идите и безъ основаній! Основанія послѣ придутъ; всего дороже, что у васъ это врожденное: не только мяса, а и рыбы не ѣдите. Чего вамъ еще!

Умолкаю! Рѣшительно умолкаю и думаю только о томъ: когда же онъ меня отъ себя выпуститъ, чтобы я могъ спать.

А онъ возлагаетъ мнѣ руки на плечи, смотритъ долго въ глаза и говоритъ:

— Милый другъ! вы уже призваны, но только вамъ это еще непонятно!..

— Да, отвѣчаю,—непонятно!

Чувствую, что мнѣ теперь все равно, — что я вотъ-вотъ сейчасъ тутъ же, стоя, усну — и потому инстинктивно отвѣтилъ:

— Непонятно.

— Ну, такъ помолимся, говоритъ, — вмѣстѣ поусерднѣе вотъ передъ этимъ ликомъ. Этотъ образъ былъ со мною во Франціи, въ Персіи и на Дунаѣ... Много разъ я передъ нимъ упадалъ въ недоумѣніи и когда вставалъ—мнѣ было все ясно. Становитесь на коврѣ на колѣни и земной поклонъ... Я начинаю.

Я сталъ на колѣни и поклонился, а онъ зачиталъ умиленнымъ голосомъ: «Совѣтъ превѣчный открывая Тебѣ»...

А дальше я уже ничего не слыхалъ, а только почудилось мнѣ, что я, какъ дошелъ лбомъ до ковра,—такъ и пошелъ свайкой спускаться внизъ, куда-то все глубже къ самому центру земли.

Чувствую, что-то не то, что̀ нужно: мнѣ бы нужно куда-то легкимъ перомъ вверхъ, а я иду свайкой внизъ туда, гдѣ по словамъ Гёте «первообразы кипятъ, — клокочутъ зиждящія силы». А потомъ и не помню уже ничего.

Возвращаюсь опять отъ центра къ поверхности не скоро и ничего не узнаю: трисоставная лампада горитъ, въ окнахъ темно, впереди меня на томъ же коврѣ какой-то генералъ клубочкомъ свернувшись спитъ.

— Что это такое за мѣсто?—заспалъ и запамятовалъ.

Потихонечку поднимаюсь, сажусь и думаю: гдѣ я?—Что это генералъ въ самомъ дѣлѣ, или такъ кажется... Потрогалъ его... ничего—парной, теплый и смотрю—и онъ просыпается и шевелится... И тоже сѣлъ на коврѣ и на меня смотритъ... Потомъ говоритъ:

— Что вижу?.. Фигура!

— Я отвѣчаю:—точно такъ.

Онъ перекрестился и мнѣ велѣлъ.

— Перекрестись!

Я перекрестился.

— Это мы съ вами вмѣстѣ были?

— Да-съ.

— Каково!

Я промолчалъ.

— Какое блаженство!

Не понимаю, въ чемъ дѣло, но, къ счастію, онъ продолжаетъ:—видѣли, какая святыня!

— Гдѣ?

— Въ раю!

— Въ раю? Нѣтъ, говорю,—я въ раю не былъ и ничего не видалъ.

— Какъ не видалъ! Вѣдь мы вмѣстѣ летали... Туда... вверхъ!

Я отвѣчаю, что я летать леталъ, но только не вверхъ, а внизъ.

— Какъ внизъ?

— Точно такъ.
— Внизъ?
— Точно такъ.
— Внизу адъ!
— Не видалъ.
— И ада не видалъ?
— Не видалъ.
— Такъ какой же дуракъ тебя сюда пустилъ?
— Графъ Остенъ-Сакенъ.
— Это я графъ Остенъ-Сакенъ.
— Теперь, говорю,—вижу.
— А до сихъ поръ и этого не видалъ?
— Прошу прощенія, говорю, — мнѣ кажется, будто я спалъ.
— Ты спалъ!
— Точно такъ.
— Ну, такъ пошелъ вонъ!
— Слушаю, говорю,—но только здѣсь темно—я не знаю, какъ выйти.

Сакенъ поднялся, самъ открылъ мнѣ дверь и самъ сказалъ:

— Zum Teufel!

Такъ мы съ нимъ и простились, хотя нѣсколько сухо, но его ко мнѣ милости этимъ не кончились.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Я былъ совершенно спокоенъ, потому что зналъ, что мнѣ всего дороже — это моя воля, возможность жить по одному завѣту, а не по нѣсколькимъ, не спорить, не поддѣлываться и никому ничего не доказывать, если ему не явлено свыше, — и я зналъ, гдѣ и какъ можно найти такую волю. Я не хотѣлъ рѣшительно никакихъ службъ, ни тѣхъ, гдѣ нужна благородная гордость, ни тѣхъ, гдѣ можно обходиться и безъ всякой гордости. Ни на какой службѣ человѣкъ самъ собой быть не можетъ, онъ долженъ впередъ не обѣщаться, а потомъ исполнять, какъ обѣщался, а я вижу, что я порченый, что я ничего обѣщать не могу, да и не смѣю, и не долженъ, потому что суббота для человѣка, а не человѣкъ для субботы... Сердце сжалится, и я не могу обѣщанія выдержать: увижу страданіе и не выстою... я измѣню субботѣ! На службѣ надо имѣть клятвенную твер-

дость и умѣть самого себя заговаривать, а у меня этого дарованія нѣтъ. Мнѣ надо что-нибудь самое простое... Перебиралъ я, перебиралъ, — что есть самое простое, гдѣ не надо себя заговаривать, и рѣшилъ, что лучше пахать землю.

Но меня, однако, ждала еще награда и по службѣ.

Передъ самымъ моимъ выѣздомъ полковникъ объявляетъ мнѣ:

— Вы не безъ пользы для себя съ Дмитріемъ Ероѳеичемъ повидались. Онъ тогда былъ съ утра прекрасно намолившись, и еще съ вами, кажется, молился?

— Какъ же, отвѣчаю,—мы молились.

— Вмѣстѣ въ блаженныя селенія парили?..

— То-есть... какъ это вамъ доложить...

— Да, вы—большой политикъ! Знаете, вы и достигли,— вы ему очень понравились; онъ вамъ велѣлъ сказать, что особымъ путемъ вамъ пенсію выпроситъ.

— Я, говорю,—пенсіи не выслужилъ.

— Ну, ужъ это теперь расчислять поздно,—ужъ отъ него пошло представленіе, а ему не откажутъ.

Вышла мнѣ пенсія по тридцати шести рублей въ годъ, и я ее до сихъ поръ по этому случаю получаю. Солдаты со мною тоже хорошо простились.

— Ничего, говорили,—мы, ваше благородіе, вами довольны и не плачемся. Намъ все равно, гдѣ служить. А вамъ бы, ваше благородіе, мы желали, чтобы къ намъ въ попы достигнуть и благословлять на полѣ сраженія.

Тоже доброжелатели!

А я вмѣсто всего ихняго доброжеланія вотъ эту господку купилъ... Невелика господка, да добра... Може и Катря еще на ней буде съ мужемъ господуроваты... Бидна Катруся! Я ее съ матерью подъ тополями Подолинскаго сада нашелъ... Мать хотѣла ее на чужія руки кинуть, а сама къ какой-нибудь пани въ мамки идти. А я вызвѣрывся, да говорю ей:

— Чи ты съ самаго роду такъ дурна, чи ты сумасшедшая! Що тоби такэ подиялось, щобъ свою дытыну покинуты, а паньскихъ своимъ молокомъ годувати! Нехай ихъ яка пани породыла, та сама и годуетъ: такъ отъ Бога показано, — а ты ходы впростъ до минэ, та пильнуй свою дытыну.

Она встала,—подобрала Катрю въ тряпочки и пишла,—каже:

— Пиду, куды минэ доля моя ведэ!

Такъ вотъ и живемъ, и поле оремъ, и сіемъ, а чого нэма, о томъ не скучаемъ—бо всѣ люди просты: мать сирота, дочка мала, а я битый офицеръ, да еще и безъ усякой благородной гордости. Тпфу, яка пропаща фигура!

По моимъ свѣдѣніямъ, Фигура умеръ въ концѣ пятидесятыхъ или въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ. О немъ я не встрѣчалъ въ литературѣ никакихъ упоминаній.

РАЗСКАЗЫ КСТАТИ.

СОВМѢСТИТЕЛИ.

БУКОЛИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ НА ИСТОРИЧЕСКОЙ КАНВѢ.

«Родъ сей ничѣмъ же изимается».

Совмѣстительство у насъ есть очень старое и очень важное зло. Даже когда по существу какъ-будто ничему не мѣшаетъ, оно все-таки составляетъ зло,—говорилъ нѣкоторый знатный и правдивый человѣкъ и при этомъ разсказалъ слѣдующій, по моему мнѣнію, не безынтересный анекдотическій случай изъ стараго времени. — Дѣло идетъ о бывшемъ министрѣ финансовъ, извѣстномъ графѣ Канкринѣ. Я записалъ этотъ разсказъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ, прямо со словъ разсказчика и такъ его здѣсь и передамъ, почти тѣми же словами, какъ слышалъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Графъ Канкринъ былъ дѣловитъ и уменъ, но любилъ поволочиться. Тогда было, впрочемъ, такое время, что всѣ волочились. Даже впослѣдствіи это перешло какъ бы въ преданіе по финансовому вѣдомству, и покойный Вронченко тоже былъ превеликій ухаживатель: только въ этомъ игры и любезности той не было, какъ въ Канкринѣ *). Такое господствовало настроеніе: жизнь играла у гробового входа.

И тѣ, кому волокитство уже ни на что не нужно было,

---

*) Графъ Егоръ Францовичъ Канкринъ род. 1774 г., состоялъ генералъ-интендантомъ въ 1812 г., а съ 1823 года министромъ финансовъ. Умеръ въ 1846 г. Былъ отличный финансистъ и извѣстенъ также какъ писатель; писалъ на нѣмецкомъ языкѣ.

и они все-таки старались не отставать отъ сверстниковъ.

Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или приличія всѣ имѣли дамъ на попеченіи. Въ самой большой модѣ были танцорки или цыганки, но иногда и другія особы соотвѣтственнаго значенія. И притомъ никто почти не скрывалъ свои грѣшки, а нерѣдко даже желали ихъ огласки. Это давало случай въ обществѣ подшучивать надъ «старыми грѣшниками». О нихъ разсказывали разные смѣшные анекдоты, а это дѣлало грѣшникамъ извѣстность и рекомендовало ихъ какъ добрыхъ и забавныхъ вье-гарсоновъ.

Случалось, что имя грѣшника вспоминалось съ какою-нибудь веселою шуткою при такихъ лицахъ, что это воспомянутому было полезно, и этимъ дорожили и умѣли обращать себѣ въ выгоду.

Были даже такіе старички, которые сами про себя нарочно сочиняли смѣшныя любезныя исторійки и доходили въ этомъ до замѣчательной виртуозности. Позднѣйшіе критики, не знавшіе хорошо дѣйствительности прошлой жизни, приписали нигилистической порѣ стремленіе «пить втроемъ утренній чай»; но это несправедливо. Все это было извѣстно гораздо раньше появленія нигилистовъ и производилось гораздо крупнѣе, но только тогда на это былъ другой взглядъ, и «чай втроемъ» не получалъ тенденціозныхъ истолкованій.

А что старички въ то время очень, очень шалили и что грѣшки ихъ забавляли общество—это вы можете видѣть по театральному репертуару. Тогда нерѣдко такъ съ кого-нибудь прямикомъ и писали пьесы. Напримѣръ, «Новички въ любви», или «Его превосходительство или средство нравиться»—это все съ натуры. Теперь всѣхъ этихъ пьесъ уже и названій не припомнишь, а тогда бывало выведенныхъ лицъ по именамъ въ театрѣ называли и смѣялись. Многіе актеры, особенно Мартыновъ, бывало нарочно гримировались и копировали на сценѣ того, въ кого мѣтили. Былъ даже одинъ такой случай, что нѣкто, имѣвшій желаніе о себѣ напомнить, самъ избралъ для этого театръ и самъ пріѣзжалъ къ Мартынову съ просьбою — «нельзя ли такъ представить, чтобы его лицо узнали». Мартыновъ надъ этимъ просителемъ подсмѣялся: онъ ему не отказалъ, но что-то такое какъ-то прикрасилъ по-своему и чуть-чуть не повредилъ почтенному человѣку. Впрочемъ, дѣло обошлось,

и тотъ возобновилъ себя у кого желалъ въ памяти и получилъ солидную должность.

Въ министерствѣ финансовъ тогда собралась компанія очень большихъ волокитъ, и самъ министръ считался въ этой компаніи не послѣднимъ. Любовныхъ грѣшковъ у графа Канкрина, какъ у очень умнаго человѣка, съ очень живою фантазіей, было много, но къ той порѣ, когда подошелъ комическій случай, о которомъ теперь наступаетъ разсказъ, графъ уже былъ въ упадкѣ тѣлесныхъ силъ и не совсѣмъ охотно, а болѣе для одного приличія велъ знакомство съ нѣкоторой барынькой полуинтендантскаго происхожденія.

Среди интендантовъ графъ Канкринъ былъ очень извѣстенъ по его прежней службѣ, а можетъ быть и по его прежней старательности въ ухаживаніяхъ за смазливыми дамочками, или, какъ онъ ихъ называлъ, «жоли мордочками». Это совсѣмъ не то, что Тургеневъ называетъ въ своихъ письмахъ *мордемондіи*. «Мордемондіи» — это начитанная противность, а «жоли-мордочки»—это была прелесть.

Притомъ, я не знаю, какъ это кажется вамъ, а я въ этомъ названіи слышу что-то веселое, молодое и беззаботное и въ словѣ «жоли-мордочка» не вижу ничего ни грубаго, ни обиднаго для прекраснаго пола.

Въ оное былое время, когда графъ интендантствовалъ, «жоли-мордочки» его сильно занимали и не мало ему стоили; но въ ту пору, до которой доходитъ мой разсказъ, онъ уже только «соблюдалъ приличія круга» и потому сталъ и разсчетливъ, и лѣнивъ въ оказательствахъ своего вниманія дамѣ.

А состоявшая въ это время при немъ «жоли-мордочка» была, какъ на грѣхъ, особа съ нѣкоторымъ образованіемъ и очень живого характера: она требовала вниманія, сердилась, капризничала, дѣлала ему сцены и вообще хотѣла, чтобы онъ ею занимался и какъ-нибудь ее развлекалъ. Графъ же былъ и старъ, и очень занятъ, да и по положенію своему онъ не могъ удовлетворять эти требованія. А потому, поступая въ духѣ времени, онъ очень желалъ, чтобы часть заботъ о развлеченіи молоденькой особы понесъ кто-нибудь другой. Это тогда не только допускалось, но даже и патронировалось. Одно лишь было въ условіяхъ этикета, чтобы совмѣститель былъ человѣкъ съ тактомъ и не ронялъ значенія главенствующаго лица, или патрона.

Такимъ дамамъ позволяли появляться съ ихъ адъютантами, гдѣ можно, въ общественныхъ мѣстахъ, и это никому не вредило, потому что отъ этого шелъ хорошій говоръ: «Вотъ-де князь NN надуваетъ графа ZZ». А совсѣмъ никакого надувательства ни съ чьей стороны и не было,—все было съ общаго согласія, но только черезъ хорошаго «аташе» больше прославлялось имя патрона. Старичокъ бывало заѣдетъ утромъ, чашку кофе или шоколада выпьетъ и уѣдетъ и денегъ пачку оставитъ, а послѣ визита пріѣзжаетъ совмѣститель, и идетъ счастливое препровожденіе времени.

Но нынѣшняя «жоли-мордочка» графа была капризница и дикарка: она ни съ кѣмъ не знакомилась и тѣмъ ужасно обременяла графа безпрерывными претензіями.

Онъ хотѣлъ отношеній болѣе удобныхъ, а она скучала и совсѣмъ другое пѣла.

— Я, говоритъ, — такъ безъ участія сердца жить не могу,—я понимаю только одни серьезныя отношенія.

Графъ ей нѣсколько разъ представлялъ, что ему невозможно сидѣть у нея и оказывать «участіе сердца», а она говорила:

— Нѣтъ, вы должны. Пойдемъ погуляемъ; я вамъ что-нибудь почитаю или поиграю.

Ни за что не хотѣла понять, что ему, какъ министру, это неудобно. Онъ и озаботился помирить ея требованія какъ-нибудь иначе, и сдѣлалъ въ этомъ направленіи очень находчивый и смѣлый шагъ; но только съ хлопотами его вышелъ пресмѣшной казусъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Графъ жилъ лѣтомъ въ Лѣсномъ, который тогда считался очень хорошимъ дачнымъ мѣстомъ. Канкринъ самъ, вѣдь, и положилъ начало здѣшнему заселенію и всегда Лѣсному покровительствовалъ.

Оттого, можетъ-быть, здѣсь и послѣ долго жили директоры изъ министерства финансовъ, но только это ужъ не то. Славы Лѣсного они не поддержали — она пала невозвратно. Даму свою Канкринъ помѣстилъ отъ себя въ сторонкѣ, именно въ Новой Деревнѣ, гдѣ тогда тоже было еще довольно чистенько и прилично. На здѣшнихъ дачахъ помѣщалось большинство нѣжныхъ особъ, имѣвшихъ имени-

тыхъ попечителей. Дачи этихъ дамъ, бывало, замѣтны, и опытный глазъ сейчасъ ихъ узнавалъ по хорошимъ, густымъ занавѣскамъ и по тому, что изъ нихъ чаще всего слышалось пѣніе куплетовъ:

«Въ васъ, конечно, нѣтъ дурного,
«Только,—право не въ упрекъ,—
«Нѣтъ ли гдѣ-нибудь сѣдого?
«Что-съ?»

а хоръ отвѣчаетъ:

«Водится грѣшокъ!
«Водится грѣшокъ!»

Весело, очень весело жилося! И куда только все это ушло и куда миновалося съ усиленіемъ разночинца!..

Какъ пошли пѣть подъ бряцаніе: «Ты, душа-ль моя, красна дѣвица! Ты, звѣзда-ль моя, ненаглядная», — такъ игривый куплетъ изъ комнатнаго пѣнія и вывелся.

«Всякой вещи свое время подъ солнцемъ», — даже и куплету.

Такъ пройдетъ и оперетка, съ которою нынче напрасно борются.

Все пройдетъ когда-нибудь въ свое время.

Канкринъ посѣщалъ свою пустынницу всегда верхомъ и всегда безъ провожатаго; но серьезный служебный недосугъ мѣшалъ ему дѣлать эти посѣщенія такъ часто, какъ желала его неудобная, по серьезности своихъ требованій, «жоли-мордочка». И выходило у нихъ худо: та скучала и капризничала, а онъ, будучи обремененъ государственными вопросами и литературой, никакъ не могъ угодить ей. Сцены она умѣла дѣлать такія, что графъ даже сталъ бояться одинъ къ ней ѣздить.

Рядомъ же съ дачей графа Канкрина въ Лѣсномъ въ это лѣто поселился молодой, умный, прекрасно образованный и очень въ свое время красивый гвардейскій кавалеристъ П. Н. К—шинъ. Онъ былъ изъ дворянъ нашей Орловской губерніи, и я зналъ его отца и весь родъ этихъ К—шиныхъ: всѣ были преумны и прекрасивы, этакіе бравые, рослые, черноглазые,—просто молодцы.

Этотъ интересный сосѣдъ графа, несмотря на свои молодые годы и на военное званіе, съ представленіемъ о которомъ у насъ соединяется понятіе о склонности къ раз-

веселому житью, велъ жизнь самую уединенную, — онъ все домосѣдничалъ и читалъ книги или игралъ на скрипкѣ.

Игра на скрипкѣ и обратила на него вниманіе графа, который тоже былъ музыкантъ и притомъ очень не плохой музыкантъ. Графъ игралъ на скрипкѣ въ темной комнатѣ, примыкавшей къ его кабинету, который былъ тоже полутеменъ, потому что окна его были заслонены деревьями и кромѣ того заставлены рамками, на которыхъ была натянута темнозеленая марли.

Офицеръ заиграетъ, а графъ положитъ перо и слушаетъ и, заинтересовавшись имъ, спрашиваетъ одинъ разъ у своего латыша-камердинера:

— Кто это, братецъ, возлѣ насъ такъ хорошо играетъ?

Тотъ отвѣчаетъ:

— Офицеръ какой-то, ваше сіятельство.

— Да кто же онъ такой,—онъ какого полка?

Камердинеръ говоритъ:

— Я не знаю.

— Ну, такъ я тебѣ приказываю: разузнай и доложи мнѣ.

Камердинеръ все разузналъ и вечеромъ, когда сталъ раздѣвать графа, докладываетъ ему, что сосѣдъ ихъ—молодой, одинокій офицеръ самаго щегольского кавалерійскаго полка, человѣкъ очень достаточный, а живетъ скромно. Графу это понравилось. Молодой человѣкъ и военный, если онъ все сидитъ дома да читаетъ, то непремѣнно, должно быть, онъ человѣкъ интересный и нравственный. Вѣтреникъ или гуляка не выдержалъ бы, онъ бы все бѣгалъ да на глазахъ мотался. У графа что-то на сонъ грядущій и замелькало въ мечтахъ, а утромъ, только-что графъ просыпается, — офицеръ уже на самой тонкой струнѣ выводитъ какую-то самую забористую Паганиніевскую нотку.

«Ишь, однако, какой онъ досужій, этотъ офицерикъ!» подумалъ графъ, и ему захотѣлось посмотрѣть на сосѣда. А тотъ какъ разъ подошелъ и сталъ со скрипкою у окна.

Камердинеръ говоритъ:

— Извольте, ваше сіятельство, смотрѣть: господинъ офицерикъ весь теперь въ виду вашемъ.

Графъ взглянулъ и отвѣчаетъ камердинеру:

— Ты, братецъ, дуракъ. Развѣ это «офицерикъ»? Это цѣлый офицеръ, да еще, пожалуй, даже офицерище!

И графу захотѣлось съ этимъ сосѣдомъ познакомиться.

На слѣдующій же день, когда молодой офицеръ возвращался съ купанья и проходилъ мимо ограды сада графа Канкрина, тотъ стоялъ у своей рѣшетки и заговорилъ съ нимъ.

— Извините меня, поручикъ, — это вы такъ хорошо играете на скрипкѣ?

— Да, я играю, ваше сіятельство. Не смѣю думать, чтобы я игралъ хорошо, но прошу у васъ извиненія, если безпокою васъ моею игрою. Я, впрочемъ, старался узнать время, когда я могу не нарушать вашего покоя.

— О, нѣтъ, нѣтъ, нисколько. Сдѣлайте милость, играйте! Я самъ играю и прошу васъ покорно—познакомимтесь. И у жены моей тоже собираются Klimperei. Приходите ко мнѣ запросто, по-сосѣдски, и мы съ вами вмѣстѣ поиграемъ.

Молодой человѣкъ поклонился, а графъ указалъ часы, когда его удобно посѣщать запросто, «по-сосѣдски», и они разстались.

Кавалеристъ поблагодарилъ графа и очень умно воспользовался его приглашеніемъ. Онъ пришелъ къ графу не очень скоро и не черезчуръ долго, а какъ того требовали вѣжливость и уваженіе къ лицу Канкрина, человѣка дѣйствительно замѣчательнаго—и по уму, и по дѣятельности, и по таланту.

Въ два визита молодой, умный поручикъ чрезвычайно расположилъ къ себѣ министра. Графъ съ удовольствіемъ любовался прекраснымъ молодымъ человѣкомъ и втайнѣ возымѣлъ на него свой планъ. Офицеръ ему казался какъ разъ такимъ человѣкомъ, съ которымъ онъ могъ завоевать себѣ—если не область міра, то нѣкоторую долю весьма желательнаго покоя. Короче и проще говоря, графъ былъ увѣренъ, что его безпокойная дама съ серьезными взглядами и требованіями непремѣнно этимъ молодымъ человѣкомъ заинтересуется. Стòитъ лишь ихъ познакомить—и они станутъ вмѣстѣ читать и разыгрывать дуэты, а ему, старичку, будетъ отдыхъ. И вотъ, когда офицеръ еще разъ навѣстилъ Канкрина, министръ и сказалъ ему:

— Ахъ, поручикъ, какой сегодня хорошій день. Мнѣ совсѣмъ не хочется сидѣть дома и читать мои скучныя бумаги. Я бы съ большимъ удовольствіемъ проѣхался верхомъ, а отъ васъ зависитъ сдѣлать мнѣ эту прогулку еще пріятнѣе.

Тотъ говоритъ:

— Я къ вашимъ услугамъ, но только спрашиваетъ, — какимъ образомъ онъ можетъ увеличить это удовольствіе.

— А вотъ, — отвѣчаетъ графъ: — прикажите-ка, чтобы вамъ осѣдлали вашу лошадь да привели ее сюда и поѣдемте вмѣстѣ.

Офицеръ съ удовольствіемъ согласился. Приказаніе было немедленно отдано и исполнено: верховыя лошади подведены къ крыльцу, и графъ съ молодымъ человѣкомъ сѣли и поѣхали.

День былъ дѣйствительно прекрасный, располагающій человѣка хорошо себя чувствовать и весело болтать.

Канкринъ былъ въ своемъ обыкновенномъ, длиннополомъ военномъ сюртукѣ съ краснымъ воротникомъ, въ большихъ темныхъ очкахъ съ боковыми зелеными стеклами и въ галошахъ, которыя онъ носилъ во всякую погоду и часто не снималъ ихъ даже въ комнатѣ. На головѣ графъ имѣлъ военную фуражку съ большимъ козырькомъ, который отѣнялъ все его лицо. Онъ вообще одѣвался чудакомъ и, несмотря на тогдашнюю строгость въ отношеніи военной формы, позволялъ очень большія отступленія и льготы. Государь этого какъ бы не замѣчалъ, а прочіе и не смѣли замѣчать.

Всадники ѣхали довольно долго молча, но, несмотря на это молчаніе, видно было, что графъ чувствуетъ себя очень въ духѣ. Онъ не разъ улыбался и весело поглядывалъ на своего спутника, а потомъ, у одного поворота вправо къ тогдашней опушкѣ лѣса, остановилъ лошадь и сказалъ:

— А знаете ли что, поручикъ: не заѣдемъ ли мы съ вами къ одной прехорошенькой дамочкѣ.

Молодой человѣкъ немного сконфузился отъ этой неожиданности и проговорилъ, что онъ не знаетъ—ловко ли это будетъ съ его стороны пріѣхать незванымъ въ незнакомый домъ.

— О, не безпокойтесь, — отвѣчалъ графъ. — Вы уже во всемъ этомъ положитесь на меня. Я, конечно, знаю, куда васъ приглашаю. Это, я вамъ скажу, премилая молодая особа, и держитъ себя совсѣмъ безъ глупыхъ церемоній. Мы съ нею давно друзья, и вы, я увѣренъ, непремѣнно захотите съ нею подружиться. Она довольно умна и прехорошенькая. По своимъ семейнымъ обстоятельствамъ она живетъ совершенно одна—монастыркой и очень часто ску-

чаетъ. Это ея единственный, можно сказать, недостатокъ. Мы пріѣдемъ очень кстати, и вы увидите, какъ она мило намъ обрадуется и встрѣтитъ насъ à bras-ouvert.

— Въ такомъ случаѣ, я въ вашемъ распоряженіи,—отвѣчалъ офицеръ.

— Ну, вотъ и прекрасно!—воскликнулъ графъ.—А эта милая дама и живетъ отсюда очень недалеко—въ Новой Деревнѣ, и дача ея какъ разъ съ этой стороны. Мы подъѣдемъ къ ея домику такъ, что насъ рѣшительно никто и не замѣтитъ. И она будетъ удивлена и обрадована, потому что я только вчера ее навѣщалъ, и она затомила меня жалобами на тоску одиночества. Вотъ мы и явимся ее веселить. Теперь пустимъ коней рысью и черезъ четверть часа будемъ уже пить шоколадъ, сваренный самыми безподобными ручками.

Офицеръ молча поклонился.

— Да, да,—продолжалъ Канкринъ.—Вы не думайте, что это одни слова. Такихъ другихъ ручекъ не скоро отыщете. Лавальеръ дорого дала бы, чтобы имѣть такія ручки, потому что ихъ-то ей и недоставало, но у этой госпожи ни въ чемъ нѣтъ недостатка. Ну, давайте поводья, и мы сейчасъ будемъ тамъ.

Поводья даны, и путники пріѣхали такъ скоро, какъ обѣщалъ Канкринъ. И другое его соображеніе тоже оказалось вѣрно: при приближеніи ихъ къ дачкѣ, обитаемой прелестною дамою, ихъ дѣйствительно никто не замѣтилъ. На маленькомъ дворикѣ была тишина,—только чьи-то пестренькія цесарскія куры похаживали и дѣлали свойственныя имъ фальшивыя движенія головами изъ стороны въ сторону,—точно онѣ на кого-то кивали. Разрисованныя шторы съ пастушками и деревьями были опущены до низу, и изъ-за одной изъ нихъ выглядывала морда сытаго рыжаго кота, но сама милая пустынница была нигдѣ не замѣтна и не спѣшила à bras-ouvert навстрѣчу графу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Черезъ минуту пріѣздъ гостей былъ, однако, замѣченъ и произвелъ смятеніе въ маленькомъ домикѣ. Владѣтельная обитательница дачи не показалась, а ея служанка взглянула въ окно и тотчасъ же быстро снова исчезла. Запертую изнутри дверь открыли не совсѣмъ скоро, и вышедшая на-

встрѣчу гостямъ дѣвушка заговорила второпяхъ, что «барышня» нездорова, а она оберегала ее, чтобъ было тихо, и сама заснула.

Графъ спросилъ:

— Чѣмъ Марья Степановна нездорова?

— Зубки у нихъ болятъ,—всю ночь не спали.

— А-а, зубки! Надо заговорить ея зубки.

Канкринъ входилъ въ комнаты, громко стуча своими галошами, а его спутникъ слѣдовалъ молодой, легкой поступью за нимъ.

Горничная еще больше обезпокоилась и стала говорить:

— Осмѣлюсь доложить... Онѣ сейчасъ выйдутъ, я имъ уже сказала, что вы пожаловали, и онѣ одѣваютъ распашонку.

Образованіе тогда еще было распредѣлено такъ неровно, что многія горничныя не употребляли иностранное слово «пеньюаръ», а называли по-русски «распашонка».

— Ну, такъ мы подождемъ, пока она одѣнется,—отвѣчалъ графъ, и не пошелъ далѣе, а спокойно сѣлъ на широкомъ оттоманѣ и пригласилъ сѣсть офицера:—Садитесь, поручикъ. Не стѣсняйтесь,—я васъ увѣряю, что мы будемъ хорошо приняты.

Онъ понизилъ голосъ и, наклонясь къ уху собесѣдника, добавилъ:

— Она немножко съ душкомъ,—какъ и всѣ хорошенькія женщины,—но это ровно ничего не значитъ: миленькимъ женщинамъ все простить можно. Притомъ же надо имѣть снисхожденіе къ ея положенію. Какъ хотите, а оно немножко неправильно и уязвляетъ ея самолюбіе. Конечно, она ни въ чемъ не нуждается, но это все не то, что она намѣчала въ своихъ мечтаніяхъ. Она дочь почтеннаго человѣка и образована, притомъ мечтательна. Она прекрасно умѣетъ разсказать свою исторію и вѣрно когда-нибудь вамъ ее разскажетъ. О, она преинтересная и любитъ «участіе сердца».

И графъ сообщилъ кое-что о странностяхъ живого и смѣлаго характера Марьи Степановны. Она жила въ фаворѣ и на свободѣ у отца, потомъ въ имѣніи у бабушки, отчаянно ѣздитъ верхомъ, какъ наѣздница, стрѣляетъ съ сѣдла и прекрасно играетъ на бильярдѣ. Въ ней есть немножко дикарки. Петербургъ ей въ тягость, особенно какъ она здѣсь

лишена живого сообщества равныхъ ей людей, — и ужасно скучаетъ.

— Но вы понимаете, — продолжалъ графъ: — что, послѣ утомленія однообразіемъ характеровъ нашихъ свѣтскихъ «кавалеръ-дамъ», этакое живое существо — оно, чортъ возьми, щевелитъ, оно волнуетъ и встряхиваетъ своею кипучей натурой.

А Марья Степановна все-таки еще не показывалась.

Графъ усталъ говорить, тѣмъ болѣе, что спутникъ его ничего ему не возражалъ, а только молча съ нимъ соглашался и обводилъ глазами квартиру прелестной дамы въ фальшивомъ положеніи. Какъ большинство всѣхъ дачныхъ построекъ, это былъ животрепещущій домикъ съ дощатыми переборками, оклеенными бумагой и выкрашенными клеевою краскою.

Набивные бумажные обои тогда еще только начинали входить въ употребленіе въ городскихъ домахъ, а дачные домики внутри раскрашивали и потолки ихъ расписывали цвѣтами и амурами.

Это тогда дешевле стоило и, по правдѣ сказать, выходило недурно.

Убранство комнатъ было не бѣдное, но и не богатое, но какое-то особенное, какъ бы, напримѣръ, *походное* или вообще полковое; точно какъ будто здѣсь жила не молоденькая, красивая женщина, а, напримѣръ, эскадронный командиръ, у котораго лихость и отвага соединялись съ нѣкоторымъ вкусомъ и любовью къ изящному. Не плохіе ковры, не плохіе занавѣсы, диваны, фортепіано и цитра, но больше всего ковровъ. Все, гдѣ только можно повѣсить коверъ, тамъ покрыто и занавѣшено коврами. Огромный же персидскій коверъ закрываетъ отъ потолка до полу и всю дверь въ спальню, гдѣ теперь за перегородкой одѣвается Марья Степановна.

А оттуда все-таки еще ни слуха, ни духа.

— Однако, долго она что-то надѣваетъ свою распашонку! — замѣтилъ графъ и громко позвалъ по-русски:

— Марья Степановна!

Очень пріятный грудной контральтъ отозвался изъ-за стѣнки:

— Сейчасъ.

— А когда же вы кончите свои Klimperei? мы уже устали васъ ждать.

— Тѣмъ лучше.

— Да, но если вы скоро не выйдете, то я буду такъ дерзокъ, что пойду къ вамъ.

— Вы этого не смѣете. Впрочемъ, я сейчасъ, сейчасъ выйду.

— Все пукольки, пукольки,—пошутилъ графъ.

Офицеръ приподнялся съ дивана и началъ разсматривать приставленную въ углу комнаты доску, на которой былъ наклеенъ бѣлый картонъ съ расчерченными на немъ кругами и со многими слѣдами попавшихъ сюда пулекъ.

— Это вотъ наша Діана изволитъ стрѣлять, — сказалъ графъ.

— Довольно мѣткіе выстрѣлы.

— Да, но вѣдь это не дозволено въ жиломъ мѣстѣ, и я уже изъ-за нея имѣлъ по этому поводу объясненія... Но, однако...

Графъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе и добавилъ:

— Этотъ прекрасный стрѣлокъ нынче такъ долго медлитъ, что я позволю себѣ сдѣлать атаку.

И графъ только-что приподнялся съ дивана, чтобы постучать въ двери, какъ завѣшивавшій дверь коверъ отодвинулся и въ его полутемномъ отворотѣ появилась красивая Марья Степановна. Она въ самомъ дѣлѣ была очень хороша,—хотя немножко полновата. Ростъ у нея былъ небольшой, но хорошій и притомъ удивительное античное тѣлосложеніе, а лицо нѣсколько смугловатое, съ замѣчательнымъ тонкимъ очертаніемъ, напоминающимъ новогреческій типъ. Это прелестное лицо очень знали въ Петербургѣ, и Марья Степановна впослѣдствіи еще покрушила много сердецъ и головъ, такъ какъ съ этого случая, о которомъ я теперь разсказываю, только началась ея настоящая карьера. Впослѣдствіи изъ нея вышелъ такой на всѣ руки боецъ и дѣлецъ, черезъ котораго обдѣлывались самыя невозможныя дѣла. Но мы, однако, не будемъ предупреждать событія.

Графъ подалъ Марьѣ Степановнѣ руку, а другою рукою поддержалъ ее за затылокъ подъ голову и поцѣловалъ ее въ лобъ, который та подставила графу, какъ истая леди.

Затѣмъ онъ представилъ хозяйкѣ гостя, а тому сказалъ:

— Марья Степановна—мой другъ: ея друзья—мои друзья, а враговъ у насъ съ нею нѣтъ.

Марья Степановна ласково протянула гостю руку, а въ сторону графа отвѣчала:

— Что до меня, то это не такъ: у меня враги есть и впредь очень быть могутъ, но я ихъ никогда не замѣчаю.

Между тѣмъ, хотя она держала себя и очень самоувѣренно и смѣло, но въ ея лицѣ, фигурѣ и въ довольно хорошихъ, но нѣсколько нервныхъ движеніяхъ было что-то немножко вульгарное и немножко тревожное, но тревожное, такъ сказать, «съ предусмотрѣніемъ» на всякій возможный случай. Она держалась прекрасно и говорила бойко и умно, не стѣсняясь своей очень очевидной роли,—что непремѣнно стала бы дѣлать женщина менѣе сообразительная; но только ей все-таки было не по себѣ, и она прибѣгла къ обще-армейскому средству: она пожаловалась на нездоровье, причемъ впала въ довольно замѣтную ошибку: дѣвушка ея говорила о зубной боли, а сама Марья Степановна возроптала на несносную мигрень.

Графъ замѣтилъ ей это и разсмѣялся, а она разсердилась и запальчиво отвѣтила:

— Не все ли это равно.

— Ну, не совсѣмъ все равно.

— Совершенно равно: когда сильно болятъ зубы, тогда все болитъ. Не правда ли?—обратилась она къ офицеру.

Тотъ согласился съ шутливымъ поклономъ.

— Вы очень милы,—отвѣчала она и снова обвела комнату взглядомъ, въ которомъ читалось ея желаніе, чтобы визитъ посѣтителей сошелъ какъ можно короче. Когда же графъ сказалъ ей, что они только выпьютъ у нея чашку шоколада и сейчасъ же уѣдутъ, то она просіяла и, забывъ роль больной, живо вышла изъ комнаты отдать приказанія служанкѣ, а графъ въ это время спросилъ своего спутника:

— Какова-съ?

— Эта дама очень красива.

— Да, это лицо сотворено для художника,—и она позировала передъ Майковымъ. Пріятный художникъ. Я его зналъ еще въ двѣнадцатомъ году, когда онъ былъ офицеромъ. Очень нѣжно пишетъ. Государь любитъ его

кисть. У меня есть нѣсколько головокъ Марьи Степановны, но тутъ у нея у самой есть съ нея этюдъ, гдѣ видно больше чѣмъ одна головка... Это ничего, что она полна. Майковъ былъ ею очарованъ. Говорятъ, будто онъ религіозенъ,—я этого не знаю, но онъ въ беззастѣнчивомъ родѣ пишетъ прелестно. Вы видали его произведенія въ этомъ родѣ?

— Нѣтъ,—я о нихъ только слышалъ.

— Ну, такъ вы сейчасъ это можете видѣть: давайте вашу руку и идите за мною.

И Канкринъ почти втянулъ офицера за собою въ спальню красавицы, гдѣ надъ газированнымъ уборнымъ столомъ висѣлъ довольно большой, драпированный бархатомъ, портретъ Марьи Степановны. Портретъ дѣйствительно былъ хорошо написанъ, извѣстными нѣжными Майковскими лассировками и съ большою классическою открытостію, дозволявшею любоваться и формами, и живымъ и сочнымъ колоритомъ прелестнаго женскаго тѣла. Картина была вполнѣ мастерская и вполнѣ достойная живой красоты, которую она воспроизводила. Но Майковскія лассировки были очень нѣжны, а офицеръ былъ отъ природы сильно близорукъ и, чтобы разсмотрѣть картину, долженъ былъ стать къ ней очень близко. Канкринъ его самъ къ этому и подвинулъ, подведя вплотную къ пышно убранному кисеею туалетному столику.

Тутъ и случилось самое неожиданное происшествіе: офицеръ не замѣтилъ, какъ онъ запутался шпорами или саблей въ легкія оборки кисейной отдѣлки туалетнаго стола, а когда онъ нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, то сдѣлалъ другую, еще бо̀льшую. Желая освободить себя изъ волнъ кисеи, онъ приподнялъ полу чехла и остолбенѣлъ: глазамъ его, какъ равно и глазамъ графа, представились подъ столомъ двѣ неизвѣстно кому принадлежащія ноги въ мужскихъ сапогахъ и двѣ руки, которыя обхватывали эти ноги, чтобы удержать ихъ въ ихъ неестественномъ компактѣ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Молодой офицеръ былъ преисполненъ жесточайшею на себя досадою за свою неловкость, и въ то же время ему разомъ хотѣлось смѣяться, и было жаль и этой дамы, и

графа, и того неизвѣстнаго счастливца, кому принадлежали обрѣтенныя ноги.

Но положеніе сдѣлалось еще труднѣе, когда офицеръ оглянулся и увидалъ, что сама Марья Степановна успѣла возвратиться и стояла тутъ же на порогѣ открытой двери.

«Вотъ, чортъ возьми, положеніе!» подумалъ онъ, и въ его головѣ вдругъ промелькнуло, какъ такія вещи разыгрываются у людей той или другой націи и того или другого круга, но вѣдь это все здѣсь не годится... Вѣдь это Канкринъ! Онъ долженъ быть уменъ вездѣ, во всякомъ положеніи, и если въ данномъ досадномъ и смѣшномъ случаѣ Марьѣ Степановнѣ предстояла задача показать присутствіе духа, болѣе чѣмъ нужно на сѣдлѣ и съ ружьемъ въ рукахъ, то и онъ долженъ явить собою примѣръ благоразумія!

Между тѣмъ картина не могла оставаться нѣмою,—и графъ былъ, очевидно, того же самаго мнѣнія.

Видя всеобщее удрученіе нѣмою сценою, графъ, нимало не теряя своего спокойнаго самообладанія, нагнулся къ задрапированному столу, изъ-подъ котораго торчали ноги, и привѣтливо позвалъ:

— Милостивый государь!

Отвѣта не было.

— Молодой человѣкъ!—повторилъ графъ.

Ноги слегка вздрогнули.

— Mon enfant,—обратился графъ къ Марьѣ Степановнѣ:—не можете ли вы мнѣ сказать, какъ зовутъ этого страннаго молодого человѣка?

— Его зовутъ Иванъ Павловичъ,—отвѣчала, покраснѣвъ, но съ задоромъ въ голосѣ хозяйка *).

— Прекрасная вещь, но какъ жаль, что онъ такъ застѣнчивъ! Зачѣмъ онъ отъ насъ прячется?

— Такъ... просто застѣнчивъ...

— Что за причуды сидѣть подъ столомъ!

— Онъ прекрасно вышиваетъ и умогалъ мнѣ вышивать сюрпризъ ко дню вашего рожденія, и... сконфузился.

— Сюрпризъ ко дню моего рожденія...

Графъ послалъ ей рукою по воздуху поцѣлуй и добавилъ:

*) Имена героя и героини я ставлю не настоящія и фамиліи ихъ не обозначаю. Отъ этого изображеніе эпохи и нравовъ, надѣюсь, ничего не теряютъ.—Н. Л.

кисть. У меня есть нѣсколько головокъ Марьи Степановны, но тутъ у нея у самой есть съ нея этюдъ, гдѣ видно больше чѣмъ одна головка... Это ничего, что она полна. Майковъ былъ ею очарованъ. Говорятъ, будто онъ религіозенъ,—я этого не знаю, но онъ въ беззастѣнчивомъ родѣ пишетъ прелестно. Вы видали его произведенія въ этомъ родѣ?

— Нѣтъ,—я о нихъ только слышалъ.

— Ну, такъ вы сейчасъ это можете видѣть: давайте вашу руку и идите за мною.

И Канкринъ почти втянулъ офицера за собою въ спальню красавицы, гдѣ надъ газированнымъ уборнымъ столомъ висѣлъ довольно большой, драпированный бархатомъ, портретъ Марьи Степановны. Портретъ дѣйствительно былъ хорошо написанъ, извѣстными нѣжными Майковскими лассировками и съ большою классическою открытостію, дозволявшею любоваться и формами, и живымъ и сочнымъ колоритомъ прелестнаго женскаго тѣла. Картина была вполнѣ мастерская и вполнѣ достойная живой красоты, которую она воспроизводила. Но Майковскія лассировки были очень нѣжны, а офицеръ былъ отъ природы сильно близорукъ и, чтобы разсмотрѣть картину, долженъ былъ стать къ ней очень близко. Канкринъ его самъ къ этому и подвинулъ, подведя вплотную къ пышно убранному кисеею туалетному столику.

Тутъ и случилось самое неожиданное происшествіе: офицеръ не замѣтилъ, какъ онъ запутался шпорами или саблей въ легкія оборки кисейной отдѣлки туалетнаго стола, а когда онъ нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, то сдѣлалъ другую, еще бо́льшую. Желая освободить себя изъ волнъ кисеи, онъ приподнялъ полу чехла и остолбенѣлъ: глазамъ его, какъ равно и глазамъ графа, представились подъ столомъ двѣ неизвѣстно кому принадлежащія ноги въ мужскихъ сапогахъ и двѣ руки, которыя обхватывали эти ноги, чтобы удержать ихъ въ ихъ неестественномъ компактѣ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Молодой офицеръ былъ преисполненъ жесточайшею на себя досадою за свою неловкость, и въ то же время ему разомъ хотѣлось смѣяться, и было жаль и этой дамы, и

графа, и того неизвѣстнаго счастливца, кому принадлежали обрѣтенныя ноги.

Но положеніе сдѣлалось еще труднѣе, когда офицеръ оглянулся и увидалъ, что сама Марья Степановна успѣла возвратиться и стояла тутъ же на порогѣ открытой двери.

«Вотъ, чортъ возьми, положеніе!» подумалъ онъ, и въ его головѣ вдругъ промелькнуло, какъ такія вещи разыгрываются у людей той или другой націи и того или другого круга, но вѣдь это все здѣсь не годится... Вѣдь это Канкринъ! Онъ долженъ быть уменъ вездѣ, во всякомъ положеніи, и если въ данномъ досадномъ и смѣшномъ случаѣ Марьѣ Степановнѣ предстояла задача показать присутствіе духа, болѣе чѣмъ нужно на сѣдлѣ и съ ружьемъ въ рукахъ, то и онъ долженъ явить собою примѣръ благоразумія!

Между тѣмъ картина не могла оставаться нѣмою,—и графъ былъ, очевидно, того же самаго мнѣнія.

Видя всеобщее удрученіе нѣмою сценою, графъ, нимало не теряя своего спокойнаго самообладанія, нагнулся къ задрапированному столу, изъ-подъ котораго торчали ноги, и привѣтливо позвалъ:

— Милостивый государь!

Отвѣта не было.

— Молодой человѣкъ!—повторилъ графъ.

Ноги слегка вздрогнули.

— Mon enfant,—обратился графъ къ Марьѣ Степановнѣ:—не можете ли вы мнѣ сказать, какъ зовутъ этого страннаго молодого человѣка?

— Его зовутъ Иванъ Павловичъ,—отвѣчала, покраснѣвъ, но съ задоромъ въ голосѣ хозяйка *).

— Прекрасная вещь, но какъ жаль, что онъ такъ застѣнчивъ! Зачѣмъ онъ отъ насъ прячется?

— Такъ... просто застѣнчивъ...

— Что за причуды сидѣть подъ столомъ!

— Онъ прекрасно вышиваетъ и умолялъ мнѣ вышивать сюрпризъ ко дню вашего рожденія, и... сконфузился.

— Сюрпризъ ко дню моего рожденія...

Графъ послалъ ей рукою по воздуху поцѣлуй и добавилъ:

*) Имена героя и героини я ставлю не настоящія и фамиліи ихъ не обозначаю. Отъ этого изображеніе эпохи и нравовъ, надѣюсь, ничего не теряютъ.—Н. Л.

— Merçi, mon enfant. Иванъ Павловичъ, выходите: вамъ тамъ совсѣмъ неловко вышивать.

Гость подъ столомъ фыркнулъ отъ смѣха и самымъ беззаботнымъ, веселымъ голосомъ отвѣчалъ:

— Дѣйствительно, ваше сіятельство, неудобно.

И съ этимъ вдругъ, какъ арлекинъ изъ балаганнаго люка, передъ ними появился штатскій молодецъ въ сюртучкѣ не первой свѣжести, но съ веселыми голубыми глазами, пунцовымъ ртомъ и такими русыми кудрями, отъ которыхъ, какъ отъ нагрѣтой проволоки, тепломъ палило...

Канкринъ подалъ ему съ лежавшаго на столѣ серебрянаго plateau большую черепаховую гребенку и сказалъ:

— Поправьте вашу прическу.

— Это напрасно, ваше сіятельство.

— Нѣтъ, она у васъ въ безпорядкѣ.

— Все равно, ваше сіятельство, ихъ причесать нельзя.

— Отчего?

— Они у меня не ложатся.

— Какъ не ложатся?

— Никогда, ваше сіятельство, не ложатся.

— Слышите!—обратился графъ къ офицеру; тотъ улыбнулся.

— Ну, а если ихъ—эти ваши волосы намочить водою?

— И тогда не ложатся!

— Вотъ такъ натура!—подхватилъ графъ, и то же самое повторилъ, оборотясь къ офицеру, а Марьѣ Степановнѣ сказалъ по-французски:

— А вы напрасно говорите, что онъ конфузливъ.

— Онъ теперь оправился, потому что вы его обласкали.

— А-а, это очень быть-можетъ,—согласился графъ и докончилъ:

— Ведите же насъ, милая хозяйка, къ вашему столу.

Съ этимъ онъ подалъ Марьѣ Степановнѣ руку и провелъ ее къ столу, гдѣ всѣхъ ихъ ожидалъ шоколадъ.

На Ивана Павловича дѣйствительно была сказана напраслина, будто онъ конфузливъ; но тѣмъ не менѣе онъ все-таки не зналъ, куда дѣть глаза, и министръ вступился въ его положеніе и началъ его разспрашивать.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

— Служите ли вы гдѣ-нибудь, молодой человѣкъ?

— Служу, ваше сіятельство.

— И что же: везетъ ли вамъ на службѣ?

— Не знаю, какъ вамъ объ этомъ доложить.

— Ну, какое вы, напримѣръ, занимаете мѣсто?

— Канцелярскій чиновникъ.

— Еще не высоко! А давно уже служите?

— Пять лѣтъ.

— Что же васъ не подвигаютъ?

— Протекціи не имѣю, ваше сіятельство.

— Надо имѣть не протекцію, а способности и доброе прилежаніе, при добромъ поведеніи. Это гораздо надежнѣе.

— Никакъ нѣтъ, ваше сіятельство.

— Что̀ значитъ ваше «никакъ нѣтъ»?

— Протекція гораздо надежнѣй.

— Что̀ за вздоръ вы говорите!

— Нѣтъ-съ, это дѣйствительно такъ.

— Перестаньте, пожалуйста! Это даже думать такъ стыдно.

— Отчего же, ваше сіятельство, стыдно,—я это беру съ практики.

— Съ какой практики? Велика ли еще ваша практика! Вы такъ молоды.

— Молодъ, дѣйствительно, ваше сіятельство, но всѣ такъ говорятъ, и я тоже по себѣ заключаю: я считаюсь и способнымъ, и все стараніе прилагаю, и ни въ чемъ предосудительномъ въ поведеніи не замѣченъ, въ этомъ, я думаю, Марья Степановна за меня поручиться можетъ, потому что я ей уже три года извѣстенъ...

— Ахъ, вы уже три года знакомы!—перебилъ графъ.— Это раньше меня!

— Нѣсколько менѣе,—замѣтила Марья Степановна.

— Да, дѣйствительно, менѣе, — подхватилъ Иванъ Павловичъ.

— Онъ, однако, вовсе не застѣнчивъ, — шепнулъ ей на ухо графъ.

— Вы его обласкали.

— Правда ваша, правда.

— А кто это, молодой человѣкъ, вашъ главный начальникъ, при которомъ такъ мало значатъ труды и способности, а все зависитъ отъ протекціи?

— Прошу прощенія у вашего сіятельства: этотъ вопросъ меня затрудняетъ.

— Не стѣсняйтесь! Мы здѣсь встрѣтились просто у общей знакомой—милой и доброй дамы и можемъ говорить откровенно. Кто вашъ главный начальникъ?

— Вы, ваше сіятельство.

— Какъ я!

— Точно такъ, ваше сіятельство: я служу въ министерствѣ финансовъ.

— Ну, послушайте,—обратился графъ по-французски къ Марьѣ Степановнѣ:—онъ совершенно незастѣнчивъ.

Та сдѣлала нетерпѣливое движеніе.

— Отчего же я васъ, Иванъ Павловичъ, никогда не видалъ?—спросилъ графъ.

— Нѣтъ, вы изволили меня видѣть, только не замѣтили. Я во всѣ праздники являюсь и расписываюсь на канцелярскомъ листѣ раньше многихъ.

— Да какъ же, наконецъ, ваша фамилія?

— Я называюсь N—овъ.

— N—овъ,—такъ я произношу?

— Точно такъ, ваше сіятельство.

— Ну, adieu, mon enfant,—обратился графъ къ дамѣ:— и au revoir, monsieur N—овъ.

Графъ и его спутникъ простились, сѣли на своихъ коней и уѣхали.

Наблюдавшій всю эту любопытную сцену офицеръ замѣтилъ, что Марья Степановна различила разницу посланнаго ей графомъ «adieu» отъ адресованнаго Ивану Павловичу «au revoir», но нимало этимъ не смутилась; что касается самого Ивана Павловича, то онъ при отъѣздѣ гостей со двора выстроился у окна и смотрѣлъ совсѣмъ побѣдителемъ, а завитки его жесткихъ, какъ сталь, волосъ казались еще сильнѣе наэлектризованными и топорщились кверху.

«Чортъ меня знаетъ, на какое я налетѣлъ происшествіе»,—думалъ офицеръ и ощущалъ сильное желаніе какъ можно скорѣе разстаться съ графомъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

То же самое, въ свою очередь, испытывалъ и Канкринъ. И ему, разумѣется, не было теперь удовольствія ѣхать

съ-глазу-на-глазъ вдвоемъ съ малознакомымъ щегольскимъ офицеромъ, который видѣлъ его въ смѣшномъ положеніи.

Какъ только они выѣхали за Новую Деревню, на лужайку къ Лѣсному, графъ говоритъ:

— Ну, вы теперь отсюда куда же?

Офицеръ понялъ, что тотъ хочетъ отъ него отдѣлаться, и самъ этому случаю обрадовался.

— Я, говоритъ, — хотѣлъ бы заѣхать къ одному товарищу здѣсь, въ Старой Деревнѣ.

— Что же, и прекрасно, вы не стѣсняйтесь. А я поѣду на Каменный навѣстить графа Панина.

Имъ дальше было не по дорогѣ.

Графъ остановилъ коня и крѣпко, дружески пожалъ офицеру руку.

Тотъ ощутилъ въ этомъ пожатіи цѣлую скромную просьбу и въ молчаливомъ поклонѣ умѣлъ выразить готовность ее исполнить.

— Спасибо,—отвѣчалъ Канкринъ, и они разстались.

Графъ, однако, обманулъ своего молодого друга, — онъ не поѣхалъ къ Панину, а возвратился домой и прошелъ къ супругѣ. Графиня Екатерина Захаровна (рожденная Муравьева) въ это время принимала у себя какого-то иностранца-піаниста, котораго привезъ ей напоказъ частый ея гость, извѣстный въ свое время откупщикъ Жадовскій.

Графиня и Жадовскій сидѣли и слушали артиста, который съ величайшимъ стараніемъ показывалъ имъ свое искусство въ игрѣ на фортепіано.

Графъ даже не вошелъ въ комнату, а только постоялъ въ открытыхъ дверяхъ, держась обѣими руками за притолки, а когда пьеса была окончена и графиня съ Жадовскимъ похлопали польщенному артисту, Канкринъ, махнувъ рукою, произнесъ безцеремонно «miserable Klimperei», и застучалъ своими галошами по направленію къ своему темному кабинету.

Здѣсь онъ надѣлъ на лобъ козырекъ отъ фуражки, служившій ему вмѣсто тафтяного зонтика, и сѣлъ за работу передъ большимъ подсвѣчникомъ, въ которомъ горѣли въ рядъ шесть свѣчей подъ темнымъ абажуромъ.

На половинѣ «кавалеръ-дамы» Екатерины Захаровны (такъ величалъ ее покойный графъ) долго еще оставались откупщикъ и артистъ, и раздавалась «miserable Klimperei»,

а графъ все сидѣлъ и, можетъ-быть, обдумывалъ одинъ изъ своихъ финансовыхъ плановъ, а можетъ быть просто дремалъ послѣ прогулки на лошади. Но только возвратившійся домой спутникъ графа видѣлъ съ своего балкона силуэтъ Канкрина на марли заставокъ очень долго, а утромъ рано опять уже послышалась его скрипка. Это значило, что Канкринъ всталъ, умылся и, вмѣсто утренней молитвы, играетъ въ своей темной уборной.

Значитъ, его настроеніе находится въ полномъ порядкѣ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На другой день, при докладѣ, Канкринъ обратился къ директору департамента, Александру Максимовичу Княжевичу, и спросилъ: есть ли у него канцелярскій чиновникъ по фамиліи N—овъ?

Княжевичъ этого навѣрно и самъ не зналъ, но отвѣчалъ, что, кажется, будто такой есть.

Спросили у экзекутора, — оказалось, что дѣйствительно есть чиновникъ N—овъ.

— А давно ли онъ служитъ и гдѣ воспитывался?

Отвѣчаютъ, что служитъ уже около пяти лѣтъ (совершенно вѣрно, какъ говорилъ самъ Иванъ Павловичъ). А происходитъ онъ изъ небогатыхъ курскихъ дворянъ, мать его была въ Суджѣ акушеркою, а онъ обучался на средства какого-то благодѣтеля въ курской гимназіи и окончилъ курсъ.

Графъ это выслушалъ и говоритъ:

— Я его видѣлъ. Въ курской гимназіи хорошо воспитываютъ. У насъ образованныхъ молодыхъ людей немного еще: нельзя ли намъ его какъ-нибудь по службѣ поощрить?

А Александръ Максимовичъ Княжевичъ былъ иногда упрямъ и съ странностями; онъ отвѣчалъ:

— У меня нѣтъ никакихъ вакансій.

Только тутъ же случился директоръ другого департамента, который былъ ловчѣе; этотъ и вызвался:

— У меня, говоритъ,—ваше сіятельство, въ одномъ отдѣленіи есть мѣсто помощника столоначальника, и мнѣ образованный, скромный молодой человѣкъ очень нуженъ.

Канкринъ поблагодарилъ этого директора и мѣсто Ивану Павловичу тотчасъ дали.

Какъ онъ былъ радъ — ужъ это можно представить, но

только на другой день, по подписаніи приказа, директоръ призвалъ Ивана Павловича къ себѣ и говоритъ:

— Есть ли у васъ вицъ-мундиръ?

Иванъ Павловичъ отвѣчаетъ:

— Никакъ нѣтъ, ваше превосходительство: я занималъ до сихъ поръ неклассную должность и вицъ-мундира себѣ не шилъ да и сшить не за что.

— Ну, теперь,—отвѣчаетъ директоръ:—вы повышены, и на классной должности вамъ вицъ-мундиръ необходимъ. Я назначу вамъ изъ канцелярскихъ суммъ полтораста рублей пособія, — извольте ихъ получить и немедленно же закажите себѣ хорошій вицъ-мундиръ. Совѣтую вамъ сдѣлать его на Васильевскомъ Островѣ у портного Доса. Онъ самъ англичанинъ и всѣмъ англичанамъ работаетъ. Его фраки очень солидно сидятъ, что́ для формы идетъ. Можете ему сказать, что я васъ прислалъ: онъ и мнѣ тоже работаетъ.— А когда будете одѣты, прошу ко мнѣ явиться.

Досъ сшилъ Ивану Павловичу такую вицъ-мундирную пару, что тотъ сразу получилъ видъ, по крайней мѣрѣ, молодого сенатора.

— Чудесно сшито,—похвалилъ директоръ.—Теперь извольте же завтра представиться въ этомъ вицъ-мундирѣ графу и поблагодарить его, такъ какъ вы вашимъ повышеніемъ обязаны непосредственному вниманію его сіятельства къ вашимъ способностямъ и воспитанію.

«Эхъ, ты, чортъ возьми, какая загвоздка!» — подумалъ Иванъ Павловичъ.

Онъ и самъ чувствовалъ въ себѣ большую потребность благодарить графа, но, при воспоминаніи объ обстоятельствахъ, которыя предшествовали этому начальственному вниманію, мысли молодого человѣка путались. Ивану Павловичу казалось и смѣшно, и даже какъ будто дерзко напоминать о себѣ графу предъявленіемъ ему своей интересной самоличности. Иванъ Павловичъ думалъ такъ, что если онъ не пойдетъ благодарить, то это будетъ лучше: графъ навѣрно не сочтетъ этого за непочтительность, а, напротивъ, похвалитъ его скромность; но директоръ понималъ дѣло иначе и настоялъ, чтобы Иванъ Павловичъ непремѣнно пошелъ представляться и благодарить.

Дѣлать нечего, надо было повиноваться.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Въ нарочитый день, когда Канкринъ принималъ чиновниковъ своего вѣдомства, сталъ передъ нимъ въ числѣ представлявшихся и Иванъ Павловичъ.

Только этотъ застѣнчивый человѣкъ,—сколько по скромности, столько же по тонкому расчету,—помѣстился ниже всѣхъ, въ самомъ концѣ шеренги представлявшихся чиновъ. Этимъ Иванъ Павловичъ оказалъ скромность передъ другими болѣе сановными лицами, а себѣ предуготовилъ ту выгоду, что, оставаясь послѣднимъ, онъ могъ принести свою благодарность министру наединѣ.

Дѣйствительно, такъ и пришлось: Канкринъ отпустилъ по очереди всѣхъ представлявшихся, а потомъ подошелъ къ послѣднему Ивану Павловичу и, не смотря ему въ лицо, протянулъ руку, чтобы принять прошеніе.

Иванъ Павловичъ поклонился и молвилъ:

— Я, ваше сіятельство, не съ прошеніемъ.

Канкринъ вскинулъ на него глаза и проговорилъ:

— Что же вамъ угодно?

— Я являюсь по приказанію директора, чтобы благодарить ваше сіятельство.

— За что?

— Я получилъ мѣсто...

— Прекрасно... я очень радъ... Значитъ, вы его заслужили.

— Господинъ директоръ мнѣ объявилъ, что вы сами изволили оказать мнѣ въ этомъ помощь.

— Очень можетъ быть: вы мнѣ помогали, а я вамъ помогъ. Это такъ и слѣдовало. Желаю вамъ счастливо подвигаться впередъ.

Графъ поклонился и ушелъ, а директоръ призвалъ къ себѣ въ кабинетъ Ивана Павловича и разспросилъ его, что съ нимъ говорилъ министръ при представленіи.

Иванъ Павловичъ отвѣчалъ:

— Графъ изволили быть со мной очень милостивы и пожелали мнѣ «счастливо подвигаться впередъ».

Директоръ сдѣлалъ жестъ и говоритъ:

— Это прекрасно,—вы можете считать себя устроеннымъ: графъ очень проницателенъ и онъ не ошибся отмѣтить въ васъ способнаго молодого человѣка, которому стоило

только сдѣлать первый шагъ. Этотъ шагъ теперь вами и сдѣланъ, а дальнѣйшее зависитъ не отъ однихъ вашихъ стараній, но также и отъ сообразительности,—присядьте.

Иванъ Павловичъ поклонился.

— Присядьте, присядьте, — повторилъ директоръ, показывая ему на стулъ.

Тотъ сѣлъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

— Финансовая служба,—заговорилъ директоръ:—это не то, что какая-нибудь другая служба. Она имѣетъ свои особенности. Здѣсь идетъ дѣло не о юридическихъ фантазіяхъ, а о хозяйствѣ, — о всемъ, такъ сказать, достояніи Россіи. Вотъ почему люди, которые допускаются къ финансовымъ должностямъ, облекаются большимъ довѣріемъ начальства, и потому они должны быть ему крѣпки... Они должны, такъ сказать, представлять начальству въ самихъ себѣ прочное ручательство, что, кромѣ естественно въ каждомъ честномъ человѣкѣ предполагаемаго сознанія собственнаго достоинства и священнаго долга, они скрѣпили себя другими узами, которыя въ своемъ родѣ тоже равны присягѣ, потому что онѣ произносятся передъ алтаремъ и начертываются въ сердцѣ...

Директоръ былъ немножко поэтъ, но Иванъ Павловичъ въ ту же минуту умѣлъ перелагать его оду на обыкновенный прозаическій языкъ.

— Я говорю о томъ,—сказалъ директоръ:—что въ финансовомъ вѣдомствѣ довольно трудно полагаться на холостыхъ людей. Холостые люди — они, какъ мотыльки или какъ перелетныя птички, всегда готовы порхать съ цвѣтка на цвѣтокъ, съ вѣтки на вѣтку. Посидѣлъ, вспорхнулъ— и нѣтъ его, и ищи гдѣ знаешь. Въ военной службѣ это, напримѣръ, даже принято, но по финансовой службѣ это невозможно. Настоящій финансистъ, если онъ желаетъ внушать къ себѣ полное довѣріе, непремѣнно долженъ имѣть дорогихъ и близкихъ его сердцу существъ... Понимаете, чтобы ему было къ кому чувствовать привязанность и было чѣмъ и для кого дорожить собою.

Директоръ чувствовалъ, что говоритъ вздоръ, и спѣшилъ окончить.

— Я разумѣю то, — заключилъ онъ: — что финансистъ

непремѣнно долженъ быть женатъ и имѣть семейство. Да, да, да! Непремѣнно! И я разумѣю не какое-нибудь вѣтреное семейство, составленное на холостую руку, а плотную и почтенную женатую жизнь. Истинный финансистъ, если онъ желаетъ представлять собою надежныя за себя ручательства, непремѣнно долженъ быть женатъ. Одно глубоко и искренно уважаемое мною лицо, котораго я не назову вамъ, разъ прямо высказало мнѣ свою тайную задушевную мысль, что, по его мнѣнію, отвѣтственныя должности по финансовому вѣдомству предпочтительно надлежитъ довѣрять людямъ женатымъ. И мы этого держимся, если не совсѣмъ безъ отступленій, то по возможности мы женатымъ даемъ преимущества. Таковы почти правила для финансовой службы, если ею управляютъ какъ слѣдуетъ. И я хотѣлъ бы сказать, что это прекрасныя правила, выработанныя практикой и освященныя временемъ. И для того, кто имѣетъ благородное честолюбіе и кто способенъ никогда не упускать изъ виду сдѣлать себѣ быструю и хорошую карьеру, — я надѣюсь, что я не говорю ничего необычайнаго и новаго. Кто религіозенъ и кто уважаетъ заповѣдь Божію, тотъ долженъ знать, что «не благо быть человѣку одному». Этого положенія обойти нельзя, ибо оно вѣчно, ибо это... такъ...

Директоръ поднялся съ своего кресла, вознесъ вверхъ правую руку съ двумя выпрямленными пальцами и докончилъ:

— Такъ сказалъ о человѣкѣ самъ Богъ!

Съ этимъ сановникъ вручилъ свои два пальца Ивану Павловичу и отпустилъ его со словами:

— И я такъ вамъ совѣтую, и желаю вамъ счастья и успѣховъ. Вашъ столоначальникъ почти такой же, какъ вы, молодой человѣкъ съ прекраснымъ образованіемъ и сердцемъ. Вамъ съ нимъ будетъ пріятно. Въ немъ много самолюбія, и онъ на своемъ нынѣшнемъ посту долго не засидится. Я не люблю оставлять безъ поощренія людей способныхъ и меня понимающихъ. Томить людей не слѣдуетъ, и никого изъ моихъ подчиненныхъ не томитъ — это мое правило.

Они поклонились другъ другу самымъ пристойнымъ и самымъ выразительнымъ манеромъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу показалось нужнымъ для того, чтобы дѣло его имѣло надлежащій видъ, онъ подалъ своему директору записку о разрѣшеніи ему вступить въ законный бракъ съ Марьей Степановной.

Графъ Канкринъ хотя съ неудовольствіемъ, но все-таки не отказалъ въ просьбѣ Марьи Степановны и былъ у нея посаженымъ отцомъ.

Иванъ Павловичъ для этого случая обнаружилъ всю тонкость своего практическаго ума: онъ устроилъ свадьбу «по-англійски» — тихую, въ маленькой домовой церкви, состоявшей на особыхъ правахъ.

Министръ ни малѣйшимъ образомъ не имѣлъ причины пожалѣть о томъ, что онъ уступилъ *послѣдней* просьбѣ своей милой знакомой, которой уже ранѣе сказалъ свое «adieu».

Она ему, впрочемъ, напомнила объ этомъ «adieu», когда, по пріѣздѣ изъ церкви, осталась на короткое мгновеніе вдвоемъ съ глазу на глазъ съ графомъ.

— «Adieu», — сказала она: — можетъ говорить женщина мужчинѣ, но не мужчина женщинѣ. Вы меня оскорбили — это на васъ не похоже.

Графъ извинился разсѣянностью.

— Я очень рада, а то я начинала думать, что вы способны забывать свои самыя лучшія философскія правила.

— Напримѣръ, какія?

— Никогда не говорить «никогда». Вы меня этому учили, и я помню.

Графъ засмѣялся, какъ будто этимъ ему было приведено на память что-то очень смѣшное и въ то же время пріятное.

— А что, видите, — вы мнѣ вѣрно не льстили, находя у меня «философскую складку».

— О, я вамъ нимало не льстилъ! Вы не только имѣете «философскую складку», но вы совсѣмъ великій практическій философъ.

— И что же, должна ли я теперь сказать вамъ «adieu»?

— Mon ange, — вы можете попрежнему сказать au revoir.

И онъ взялъ и поцѣловалъ ея руку, а она слегка коснулась его лба и слегка же уронила ему въ отвѣтъ:

— Попрежнему.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Иванъ Павловичъ немедленно же получилъ мѣсто столоначальника и былъ очень счастливъ въ своей семейной жизни. Марья Степановна была ему прекрасною женою, что ей было и не трудно, потому что она этого молодца въ самомъ дѣлѣ любила. Изъ ея приглашенія графа къ «прежнему» для супружескаго счастія Ивана Павловича не выходило ничего угрожающаго. Марья Степановна была не пустая, легкомысленная кокетка, которая способна упражняться въ кокетствѣ по одной любви къ этому искусству. Нѣтъ, Марья Степановна была умная женщина и именно русская умная женщина, съ практическимъ закаломъ. Она широко обозрѣвала раскрывающееся передъ нею поле жизни и умѣла отличать кажущееся отъ существеннаго. Въ самомъ ея красивомъ обличьи тонкія черты новогреческаго типа, если всматриваться въ нихъ, напоминали одновременно старый византизмъ и славянскую смышленость. Въ ней было что-то пристойное бывшей «матерой вдовѣ Мамелефѣ Тимоѳеевнѣ», передъ которою въ раздумьѣ тыкали посошками въ землю и трясли бородами поважные старцы, чувствуя, что при такой бабѣ имъ негоже надъ бабьею головою тѣшиться. Весь разговоръ, веденный Марьей Степановной съ цѣлью упомянуть про «прежнее», былъ умный пріемъ не для возобновленія прежнихъ «пустяковъ», изъ которыхъ Марья Степановна выбралась совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы къ нимъ возвращаться, «какъ песъ на своя блевотины», а для того, чтобы сохранить декорумъ. Она знала французское присловье, что и «королевская любовница не стоитъ честной жены пастуха» — и она вышла замужъ недаромъ не балуясь; но что могло быть пригодно, того она упускать тоже не хотѣла. Уважала или нѣтъ она своего Ивана Павловича, — это иной вопросъ: умныя, практическія женщины рѣдко кого уважаютъ, да имъ это и не нужно; но она его *любила*, и этого съ нея было довольно, чтобы сдѣлать для него привязанность къ ней легкою, пріятною и ничѣмъ не возмутимою.

Какъ большинство женщинъ подобнаго практическаго склада, она любила Ивана Павловича просто за то, что онъ молодецъ собою, а притомъ расторопенъ, смѣтливъ и ей

послушенъ. Онъ ей во всемъ станетъ вѣрить: она его ни въ чемъ не обманетъ—именно потому, что онъ ей очень нравится, и они вдвоемъ заживутъ въ мирѣ и согласіи безъ всякаго уваженія, и возьмутъ съ жизни на свой бенефисъ прехорошую срывку.

А о томъ, что о нихъ будутъ говорить, что о нихъ станутъ думать, — этому вздору она знала настоящую цѣну.

«Будь бѣла какъ снѣгъ и чиста какъ ледъ и — все равно — людская клевета тебя очернитъ».

Играя съ графомъ на «прежнихъ» струнахъ, она знала, что аккордъ зазвучитъ такъ, какъ она захочетъ.

Уголь, который она раздувала будто бы неосторожно, былъ ей извѣстенъ; она знала, что въ немъ есть нѣкоторая теплота, но не осталось уже ни малѣйшей доли опаснаго пламени.

Но именно эта-то тихая и безопасная теплота ей и была полезна для ея цѣлей. Въ ней именно и нуждалось ихъ все-таки пока еще совсѣмъ неустроенное и несогрѣтое домашнее гнѣздышко. Графъ былъ нуженъ,—и Иванъ Павловичъ зналъ это ничуть не менѣе, чѣмъ его супруга. А потому, когда Канкринъ, считая себя совершенно уединеннымъ съ Марьей Степановной, цѣловалъ ея пальчикъ въ знакъ возстановленія чего-то «прежняго», — Иванъ Павловичъ, стоя за дверью съ шампанскою бутылкою, придерживалъ подрѣзанную пробку, чтобы она не хлопнула ранѣе, чѣмъ разговоръ будетъ конченъ.

Онъ явился съ виномъ какъ разъ во-время и кстати, когда все нужное уже было сказано.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Иванъ Павловичъ, при всей его малозначительности для такого несомнѣнно большого человѣка, какъ графъ Канкринъ, сдѣлался тѣмъ, что былъ какой-то сомнительный духъ, вызванный изъ какой-то бездны словомъ очень неосторожнаго аскета.

Выскочилъ Иванъ Павловичъ передъ графомъ изъ-подъ уборнаго стола неожиданно, какъ гороховый ростокъ изъ пупа индійскаго дервиша, котораго описываетъ болтливый французъ Жаколіо, а убрать его назадъ съ глазъ долой сдѣлалось трудно.

Это произошло, во-первыхъ, отъ изящной манеры графа

никогда не оставлять безъ вниманія тѣхъ дамъ, съ которыми онъ былъ однажды ласковъ, и во-вторыхъ—тутъ оказались на античныхъ ручкахъ Марьи Степановны (которымъ могла позавидовать Лавальеръ) забористые коготки «матерой» Мамелефы Тимоѳеевны.

Графъ былъ пораженъ, какъ начальникъ колѣна Іуды, отъ собственныхъ чреслъ своихъ: онъ не могъ отбиться отъ предупредительнаго желанія угодить ему въ лицѣ Ивана Павловича. Этотъ молодой счастливецъ въ началѣ слѣдующаго года былъ представленъ уже въ начальники отдѣленія. Канкринъ его утвердилъ — хотя, впрочемъ, освѣдомился:

— Что же, развѣ онъ очень способенъ?

Ему отвѣчали: — О, да-съ; онъ очень способенъ.

Министръ не имѣлъ никакихъ причинъ оспаривать заключенія ближайшаго начальника, и Иванъ Павловичъ сталъ начальникомъ отдѣленія.

Это великій урядъ въ департаментской іерархіи. Съ этого уряда начинается уже пріятная положительность не только въ департаментѣ, но и въ мірѣ. Начальника отдѣленія уже не вышвыриваютъ изъ службы, какъ мелкую сошку, а съ нимъ церемонятся и даже въ случаѣ обнаруженія за нимъ какихъ-нибудь большихъ грѣховъ — его все-таки спускаютъ благовидно. Начальникъ отдѣленія получаетъ позицію — онъ уже можетъ пробираться въ члены благотворительныхъ обществъ, а оттуда его начинаютъ «проводить въ дома». И положеніе его все лѣпится глаже и выше.

Для жены чиновника достиженіе мужемъ мѣста начальника отдѣленія было еще важнѣе. Теперь это значительно измѣнилось, потому что іерархія вообще разслабѣла и потеряла престижъ, но тогда и женщины ее знали и соблюдали. Всѣ жены лицъ низшаго положенія иначе не назывались, какъ «наши чиновницы», ниже которыхъ были однѣ курьерши, а съ женъ начальниковъ отдѣленій уже начинались «наши министерскія дамы». Эти уже не ходили на Пасху въ приходскій храмъ, а пріѣзжали въ «свою министерскую церковь», гдѣ ихъ съ предупредительностію провожалъ дежурный чиновникъ и подавалъ унесенное изъ канцеляріи мужнино кресло; дьяконъ подкаждалъ имъ граціознымъ движеніемъ щегольски рокочущаго кадила съ стираксой, а батюшка говорилъ: «цвѣтите и благоухайте!»

Послѣ пасхальнаго служенія, у начальницъ отдѣленія уже нерѣдко цѣловали ручки даже сами директоры, а взамѣнъ того мужья начальницъ поздравляли лично директоршъ...

Это уже былъ «министерскій кругъ», соприкасающійся съ «кабинетомъ», а не канцелярія, которая граничитъ съ курьерской.

Иванъ Павловичъ съ Марьей Степановной преодолѣли эти ступени, но они не думали на нихъ остановиться. Да, по правдѣ сказать, это имъ было и невозможно, ибо, несмотря на то, что офиціальная часть положенія была теперь въ порядкѣ, но въ неофиціальной многое не ладилось: дамы называли Марью Степановну «ci-devant» и немножечко отъ нея сторонились.

Надо было сдѣлать что-нибудь такое, чтобы образовать свой кругъ и заставить отдать справедливость своимъ способностямъ, которыя, въ самомъ дѣлѣ, были достойны вниманія.

Марья Степановна кое-что придумала. Она нашла поводъ видѣться со Скобелевымъ, который когда-то зналъ ея ничѣмъ не знаменитаго отца. Старый комендантъ тоже былъ не прочь приволокнуться и обошелся привѣтливо съ милой дамой, а она заинтересовалась его разсказами. Она вообще попробовала кое-что говорить о литературѣ и увидала, что въ Россіи ничего нѣтъ легче какъ это. Скобелевъ заходилъ къ ней пить чай и иногда излагалъ такіе разсказы, которые не были напечатаны.

Марья Степановна чувствовала вкусъ къ простонародности, — тамъ столько сердца, ума и юмора...

Скобелевъ находилъ, что все это есть и въ самой въ ней.

Въ самомъ дѣлѣ: развѣ находка у нея нынѣшняго мужа въ нѣкоторомъ родѣ не самая простонародная сцена? Развѣ это не отдаетъ «Москалемъ Чаривникомъ»?.. Какъ хороша взаправду живая народная жизнь! Марья Степановна почувствовала негодованіе къ выходкамъ противъ Бѣлинскаго. Скобелевъ ей открылъ болѣе, и она добилась случая видѣть разъ знаменитаго критика. Потомъ у ней пилъ чай и что-то читалъ Николай Полевой, и кто-то съ кѣмъ-то спорилъ о славянофилахъ и о необычайномъ умѣ молодого Хомякова.

Это произвело свое дѣйствіе: «министерскія дамы» измѣ-

нили неглижированную презрительность на сосредоточенную сухость, въ которой одновременно ощущались и надменіе, и зависть.

Съ такимъ недоброжелательствомъ со стороны искреннихъ уже можно было жить.

Марья Степановна пошла пожинать плоды умнаго посѣва.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Марья Степановна, разумѣется, не могла любить литературу, а имѣла ее лишь только для своихъ практическихъ цѣлей. Литература представляетъ большое удобство, когда хочешь говорить о чемъ-нибудь, а не о комъ-нибудь, — такъ однако, чтобы это было для насъ полезно. Она усвоила двѣ-три мысли Бѣлинскаго, знала какое-то непримиримое положеніе Хомякова и склонялась на сторону Иннокентія противъ Филарета. Словомъ, впала, что называется, въ сферу высшихъ вопросовъ.

Это дало ей апломбъ и заставило многихъ кивать головами: «чѣмъ-то это кончится?»

Иванъ Павловичъ уже былъ сдѣланъ вице-директоромъ. Полагали, что это по женѣ, у которой такія прекрасныя, хотя, быть-можетъ, и не безопасныя знакомства.

Только она уже очень рисковала. Графъ Канкринъ былъ человѣкъ довольно свободныхъ взглядовъ, однако, сказывали, что и онъ, подписывая назначеніе Ивана Павловича вице-директоромъ, поморщился.

Но судьба Ивану Павловичу служила съ невѣроятною преданностію: какъ нарочно, случались такія дѣла, что надо было командировать туда и сюда лицъ способныхъ и достойныхъ, и всякій разъ министру представляли для такихъ дѣлъ Ивана Павловича.

Это было очень непріятно Канкрину, и онъ одно представленіе отложилъ въ сторону, — сдѣлать было неудобно; но черезъ нѣсколько дней графъ былъ на одномъ музыкально-литературномъ «soirée intime», куда гости попадали не иначе, какъ сквозь фильтръ,—и вдругъ тамъ, въ одномъ укромномъ уголкѣ, графъ встрѣтилъ скромную женскую фигуру, которая ему сдѣлала глубокій поклонъ съ оттѣнкомъ подчиненности и ироніи, и произнесла только одно слово:

— Excellence!

Графъ не ожидалъ ее здѣсь встрѣтить и, немножко взволновавшись, взялъ ее за руку и сказалъ:

— Ахъ, мой другъ,—вѣдь ужъ для него много сдѣлано—что же такое нужно, чтобы я еще сдѣлалъ?

— Только не мѣшайте.

Графъ улыбнулся и отвѣчалъ:

— Это напоминаетъ комедію: «Одно слово министру».—Ну, хорошо: я подпишу.

И онъ подписалъ Ивану Павловичу новое повышеніе.

Сила ея надъ графомъ была доказана. Пусть онъ и морщится, когда ему представляютъ Ивана Павловича, но въ общемъ сочетаніи различныхъ комбинацій все-таки пріятно. Вскорѣ къ протекціи Марьи Степановны стали прибѣгать сторонніе люди, имѣвшіе въ графѣ надобность по дѣламъ, и престранная вещь—тоже выходило успѣшно...

Было ли это случайное совпаденіе обстоятельствъ, или нѣтъ,—въ этомъ трудно было разобраться.

Пошло какое-то жужжанье, въ которомъ мѣшали все, упоминая что-то и про Иннокентія, и про Хомякова, — и вдругъ также что-то такое про взятку...

Словомъ, являлось острое положеніе, въ которомъ надо—какъ говорятъ игроки—«квитъ или двойной кушъ».

Марья Степановна повела на двойной кушъ, а объ Иванѣ Павловичѣ въ самую неожиданную минуту послѣдовало новое представленіе графу къ повышенію.

Графъ вскипѣлъ.

— Что такое!.. куда его еще!.. И притомъ я что-то слышалъ...

Представлявшій отлично зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и хорошо нашелся.

— Да,—отвѣчалъ онъ:—я знаю, что говорятъ: это очень жалко, но это не его вина, — а вина его жены, которая увлечена идеями славянофильства Хомякова...

Славянофильство графу было противно.

— Что такое? Какія хомяковскія идеи? Это что-то про сорокъ мучениковъ... Я въ этомъ рѣшительно ничего не понимаю. Оставьте у меня бумаги.

Но тотчасъ же гдѣ-то и какъ-то опять является «она, прелестной простоты полна», и даже безъ «excellence», а съ однимъ поклономъ и даетъ дѣлу желанное направленіе.

Увидавъ ее въ высокомъ кругѣ, графъ захотѣлъ, во что бы то ни стало, разъ и навсегда избавиться и отъ нея, и отъ ея мужа самымъ рѣшительнымъ пріемомъ.

Онъ самъ съ нею остановился, самъ взялъ ее за руку и сказалъ:

— Я все, все сдѣлаю, но другимъ образомъ.

Марья Степановна отвѣчала:

— Я всегда вѣрю вашему рыцарскому слову.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Дѣло о карьерѣ Ивана Павловича приходилось завершать,—только бы не быть болѣе съ нимъ вмѣстѣ.

Графъ сдѣлалъ комбинацію. Другое лицо большого положенія — графъ Панинъ имѣлъ надобность въ услугѣ министра финансовъ.

Канкринъ ее сдѣлалъ скоро и охотно, а чрезъ нѣкоторое время явился просить за подчиненнаго, котораго заслугъ онъ не въ силахъ совмѣстить съ ограниченностію персонала по своему вѣдомству.

Графъ Панинъ пожевалъ и отвѣчалъ, что «совмѣщать» многое очень трудно, и свободнѣе другихъ это можетъ развѣ Перовскій, у котораго не перечесть сколько хорошихъ мѣстъ, находящихся въ его власти.

Перовскій это и сдѣлалъ, а Канкринъ, подписывая бумагу о согласіи на переводъ Ивана Павловича въ другое вѣдомство, совсѣмъ неожиданно для предстоявшихъ перекрестился по-русски, какъ самъ Хомяковъ, и сказалъ:

— Это, какъ тамъ говорятъ, «нынче отпущаеши». Наконецъ, я не буду опасаться, что мнѣ представятъ, чтобы я его утвердилъ начальникомъ самому себѣ.

Такъ всѣ были введены въ обманъ, и думали, будто, представляя Ивана Павловича, дѣлали графу неописанное удовольствіе, тогда какъ это было совсѣмъ напротивъ.

Но собственно «отпущенія» графу все-таки не было. Въ Петербургѣ поняли, что въ услужливости ему въ лицѣ Ивана Павловича было много ошибочнаго, но въ провинціи, куда этотъ карьеристъ поѣхалъ большимъ лицомъ и гдѣ первенствующее положеніе Марьѣ Степановнѣ уже принадлежало по праву, они были встрѣчены иначе. Въ осѣдавшее тѣсто словно подпустили свѣжихъ дрождей, и оно пошло подниматься на опарѣ.

Марья Степановна слыла всемогущею по своему прежнему положенію и совмѣщала теперь это съ выгодами новаго положенія: она стояла выше того, чтобы ее подозрѣвать въ искательности: она говорила словами Бѣлинскаго «о человѣкѣ нравственно-развитомъ», слѣдила за Хомяковымъ, бесѣдовала съ Иннокентіемъ и... брала самыя отчаянныя взятки даже по такимъ вѣдомствамъ, которыя были чужды непосредственному вліянію ея мужа. Всѣ думали, что въ ея лицѣ заключается всеобщее надежное «совмѣстительство».

Съ кѣмъ она дѣлилась тѣмъ, что̀ взимала,—это была ея тайна, но графъ напрасно думалъ, будто его рѣшительная мѣра отстраненія совмѣстителей отъ непосредственнаго участія въ вѣдомствѣ освободила его на самомъ дѣлѣ отъ ихъ вліянія.

— Совмѣстительство, какъ лесть, можетъ являться въ разнообразныхъ формахъ, и гдѣ не промчится звѣремъ рыскучимъ, тамъ проползетъ змѣею или перепорхнетъ легкой пташечкой. Надо свѣтъ передѣлать или, другими словами, пріучить людей, чтобы они въ каждомъ дѣлѣ старались служить дѣлу, а не лицамъ. Вотъ это поистинѣ прекрасная задача, и добромъ вспомянется имя того, кто ей съ умѣньемъ служитъ.

Такъ закончилъ свой разсказъ правдивый и умный человѣкъ, со словъ котораго мною теперь передана выше изложенная исторійка «о совмѣстителѣ».

СТАРИННЫЕ ПСИХОПАТЫ.

«Что взаправду было и что міромъ сложено—не распознаешь».

В. Даль.

Полагаю, что рѣдко кому не приводилось слышать или читать разсказъ о какомъ-нибудь болѣе или менѣе любопытномъ событіи, выдаваемый авторомъ или разсказчикомъ за *новое,* тогда какъ новость эта уже давно сообщена другими въ томъ же самомъ видѣ или немножко измѣненная. И читать, и слышать такія вещи бываетъ досадно. Еще досаднѣе, когда случится самому принять такой разсказъ за дѣйствительную новость и потомъ неосторожно передать его—какъ происшествіе, бывшее съ пріятелемъ или знакомымъ, живущимъ будто тамъ-то и тамъ-то. И вдругъ оказывается, что все это или было когда-то очень давно, въ Нормандіи, съ барономъ, который имѣлъ большую слабость къ псамъ и жилъ съ деревенской простотою, или же и вовсе этого никогда еще нигдѣ не было. Такіе смѣшные, а отчасти иногда и непріятные казусы бывали, я думаю, съ каждымъ; но частный человѣкъ, не занимающійся литературою, не знаетъ, какъ легко можно попасть тому же самому при литературныхъ занятіяхъ и во сколько досаднѣе и обиднѣе попасться съ этимъ не въ устной бесѣдѣ, а съ записью «чернымъ по бѣлому». Между тѣмъ въ послѣднее время, Богъ вѣсть по какимъ причинамъ, въ нашей литературѣ безпрестанно начинаютъ встрѣчаться сказанія о такихъ исторіяхъ, которыя уже давно оповѣданы.

И еще того удивительнѣе,—замѣчаются случаи, когда вы-

мышленный разсказъ послѣ весьма небольшого промежутка времени объявляется за дѣйствительное событіе, или съ маленькими измѣненіями пересказывается заново какъ фактъ, имѣвшій будто бы дѣйствительное бытіе въ другомъ мѣстѣ.

Въ первомъ родѣ мы не разъ доходили до повторенія заново старой выдумки объ «иперболѣ», поѣдавшей много сѣна, а во второмъ — я могу указать два лично меня касающіеся случая: первый былъ съ моимъ «Сказомъ о тульскомъ косомъ лѣвшѣ и о стальной блохѣ», а второй — съ разсказомъ «Путешествіе съ нигилистомъ». Оба эти разсказа нѣсколько лѣтъ тому назадъ мною *выдуманы* и напечатаны—первый въ «Руси», И. С. Аксакова, а второй—въ «Новомъ Времени», А. С. Суворина; но «Лѣвшу» критики объявили исторіей, которая имъ будто давно была извѣстна, а съ «Путешествіемъ съ нигилистомъ» случилось нѣчто еще болѣе странное. Этотъ послѣдній разсказъ состоялъ въ томъ, что нѣсколько человѣкъ, ѣдучи въ вагонѣ желѣзной дороги, вели будто бесѣду о различныхъ странахъ и мало-по-малу наэлектризовались до того, что сами начали всего бояться. Вдругъ имъ сталъ казаться подозрительнымъ молчаливый пассажиръ, передъ которымъ на лавочкѣ помѣщался маленькій чемоданъ. Отчего этотъ господинъ все молчитъ? Что̀ это за поведеніе? Зачѣмъ передъ нимъ стоитъ чемоданчикъ? Что̀ у него въ этомъ чемоданѣ? Можетъ-быть, это и есть «трахъ-тарарахъ»? И навѣрное такъ... Даже не можетъ быть иначе... Иначе онъ сдалъ бы чемоданчикъ въ багажъ—и тогда столь очевидная опасность для всѣхъ пассажировъ значительно уменьшилась бы...

Пассажиры обезпокоились и посылаютъ къ незнакомцу депутата съ вѣжливой просьбой удалить проклятый «трахъ-тарарахъ» изъ вагона. Посолъ говоритъ: «не желаете ли вы сдать этотъ чемоданъ въ багажъ?» Пассажиръ отвѣчаетъ: «Не желаю». — «А! въ такомъ случаѣ мы къ начальству». Кондуктора, жандармы, станціонные — всѣ приступаютъ съ вопросомъ: «не желаете ли сдать»,—но пассажиръ всѣмъ даетъ одинъ отвѣтъ: «Не желаю». И голосъ у незнакомца недобрый, и тонъ подозрительный, и видъ ожесточенный. Всѣ рѣшаютъ, что это «нигилистъ». Его берегутъ, глазъ съ него не спускаютъ и, наконецъ, у городской станціи требуютъ, чтобы онъ вышелъ. Онъ выходитъ очень охотно, потому что ему тутъ и надо было выйти,

но чемодана брать не хочетъ. — «Не желаете ли взять съ собою этотъ чемоданъ?» Онъ отвѣчаетъ: «Не желаю». Его ведутъ къ допросу, спрашиваютъ, кто онъ такой, и узнаютъ, что онъ «прокуроръ судебной палаты», а чемоданъ оказывается принадлежащимъ еврею, который скрывался безъ билета подъ лавкою.— Картина. Всѣ успокаиваются, смѣются и ѣдутъ далѣе... И вдругъ все это вымышленное мною шуточное событіе будто бы повторяется въ дѣйствительности, и гдѣ же? — въ Италіи, съ предсѣдателемъ окружного суда изъ Равенны, проѣзжавшимъ черезъ маленькій городокъ Форли. Есть кое-какая перемѣна въ лицахъ и обстановкѣ, сообразно условіямъ мѣстности, но вся фабула та же.

Узнавъ объ этомъ 11-го января изъ «Новостей», я не только изумился, но даже испугался...

— Какъ, подумалось мнѣ: — неужто и до того должно было дойти, что «оскудѣніе» ощущается уже не въ области литературнаго вымысла, но даже въ самой жизни, изобрѣтательность которой всегда почиталась столь разнообразною и неистощимою. Неужто и она вдругъ притупѣла и вмѣсто того, чтобы постыждать насъ блѣдностію нашихъ измышленій передъ живостью истинныхъ событій, она нисходитъ до того, чтобы разыгрывать на своихъ клавишахъ несовершенные наброски нашей композиціи... Но, однако, къ счастію, еще не утрачено право думать, что это не такъ,— что дѣйствительная жизнь нашихъ литературныхъ фантазій не разыгрываетъ, а совпаденіе, какое случилось въ Италіи послѣ моего разсказа, придумано, быть-можетъ, знакомымъ съ русскимъ языкомъ нѣмецкимъ корреспондентомъ.

И мнѣ сталъ припоминаться цѣлый рой болѣе или менѣе замѣчательныхъ исторій и исторіекъ, которыя издавна живутъ въ той или другой изъ русскихъ мѣстностей и постоянно передаются изъ устъ въ уста, отъ одного человѣка другому. Большинство изъ нихъ пользуется репутаціей самыхъ достовѣрныхъ событій и сообщается съ указаніемъ собственныхъ именъ, мѣста и времени событій. Разсказы эти ведутся такъ, что усомниться въ справедливости ихъ часто значило бы оскорбить не одного разсказчика, но всю мѣстную публику, раздѣляющую его вѣрованія, а между тѣмъ вѣрить въ дѣйствительность упоминаемыхъ событій очень трудно и иногда даже совсѣмъ невозможно.

Между тѣмъ всѣ подобныя исторіи должны быть дороги

литературѣ и достойны сохраненія ихъ въ ея записяхъ. Эти исторіи, какъ бы кто о нихъ ни думалъ,—есть современное продолженіе народнаго творчества, къ которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. Въ устныхъ преданіяхъ или даже въ сочиненіяхъ этого рода (допустимъ, что есть чистѣйшія сочиненія) всегда сильно и ярко обозначается настроеніе умовъ, вкусовъ и фантазіи людей даннаго времени и данной мѣстности. А что это дѣйствительно такъ, въ томъ меня достаточно убѣждаютъ записи, сдѣланныя мною во время моихъ скитаній по разнымъ мѣстамъ моего отечества. Такъ, напримѣръ, въ преданіяхъ (или, пожалуй, въ вымыслахъ) малороссійскихъ всегда преобладаетъ характеръ *героическій,* напоминающій сродство здѣшней фантазіи съ вымыслами польскихъ сочинителей апокрифовъ о «панѣ Коханку», а въ исторіяхъ великорусскихъ и особенно столичныхъ, петербургскихъ — больше сказывается *находчивость,* бойкость и тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фантазія людей данной мѣстности выражаетъ ихъ настроеніе и, такъ сказать, создаетъ сама себѣ *своихъ козырей* для своей игры. Но замѣчательно, что всѣ эти козыри, какъ герои, такъ и плуты,—всѣ въ своемъ родѣ выходятъ какъ будто въ свою очередь тоже и «*психопаты*».

Я очень цѣню такія исторіи, даже и тогда, когда историческая достовѣрность ихъ не представляется надежною, а иногда и совсѣмъ кажется сомнительною. По моему мнѣнію, какъ вымыселъ или какъ сплетеніе вымысла съ дѣйствительностью — онѣ даже любопытнѣе. Я передамъ здѣсь нѣкоторыя изъ нихъ не только затѣмъ, чтобы сохранить эти памятники общественнаго творчества, но и для того, чтобы вызвать нѣкоторымъ изъ нихъ этимъ путемъ провѣрку. Быть-можетъ, то, что мнѣ кажется невѣроятнымъ, или сочиненнымъ, или заимствованнымъ изъ какихъ-то постороннихъ источниковъ, — происходило и на самомъ дѣлѣ, но только переиначено и преувеличено. Кто-нибудь изъ мѣстныхъ людей можетъ отозваться къ моимъ записямъ и поправить ихъ свѣдущими сообщеніями и тогда предъ нами предстанетъ рядъ житейскихъ курьезовъ, которые до сихъ поръ не переходятъ за границу своихъ мѣстностей.

Я начну съ *героическаго,* — съ разсказовъ малороссійскихъ, въ которыхъ болѣе грандіознаго, наивнаго и, какъ

мнѣ кажется, преувеличеннаго, но во всякомъ случаѣ весьма своеобразнаго.

Эпопея о Вишневскомъ и его сродникахъ.

Вотъ самъ помѣщикъ благодатный,
Изъ непосредственныхъ натуръ.
И. Тургеневъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ переяславскомъ уѣздѣ, полтавской губерніи, былъ помѣщикъ Иванъ Гавриловичъ Вишневскій. Онъ получилъ отъ щедротъ императрицы Елисаветы Петровны большое имѣніе по обоимъ берегамъ рѣки Супоя (рѣки Удай и Супой отмѣчены въ одной географіи «неспособными къ судоходству по множеству пороковъ»). Имѣніе это состояло изъ двухъ большихъ деревень, изъ которыхъ одна называлась Фарбованая, а другая Сосновка.

Старый панъ Иванъ Вишневскій жилъ и умеръ въ этомъ имѣніи, а послѣ его смерти Фарбованая и Сосновка достались сыну его, Степану Ивановичу Вишневскому, который оставилъ по себѣ героическую извѣстность,—можетъ быть сильно дополненную и разукрашенную домыслами во вкусѣ мѣстной фантазіи.

Степанъ Ивановичъ былъ атлетъ и богатырь, а притомъ также хлѣбосолъ, самодуръ и преужасный развратникъ, но имѣлъ образованіе. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ молодыхъ людей, которыхъ императрица Екатерина посылала въ Англію «для просвѣщенія ума и сердца».

По возвращеніи изъ Англіи онъ поступилъ на службу въ конно-гвардейскій полкъ, но какъ только дослужился до чина поручика—вышелъ въ отставку, женился на тверской дворянкѣ, дѣвицѣ Степанидѣ Васильевнѣ изъ рода Шубинскихъ, и поселился въ Москвѣ въ собственномъ домѣ.

Дѣлать Вишневскому здѣсь было нечего, и онъ началъ «чудить».

Прежде всего онъ надумалъ импонировать москвичамъ своей хохлацкой «нацыей». Онъ не хотѣлъ никого знать,—одѣвался по-хохлацки, много пилъ «запридуху» и ѣлъ будто одно только медвѣжье мясо.

Императрицѣ доложили, что Вишневскій «не соблюдаетъ

свѣтскихъ приличій», и тогда самодуру было сдѣлано замѣчаніе. Онъ рѣшился исправиться и съ этою цѣлью вытребовалъ себѣ изъ Малороссіи въ Москву хохлацкую телѣгу съ парою воловъ и паробка, который умѣлъ этими волами править. А какъ только наступилъ день обычныхъ и для всѣхъ видныхъ лицъ въ столицѣ обязательныхъ визитовъ, Степанъ Ивановичъ собрался «объѣзжать всѣхъ именитыхъ людей съ визитами». Но выѣхалъ онъ не налегкѣ, въ одномъ экипажѣ, а съ цѣлымъ поѣздомъ. Впереди скакалъ жокей на кургузой англійской кобылѣ, за нимъ слѣдовала цугомъ запряженная прекрасная карета, въ которой сидѣлъ камердинеръ, а за каретою ѣхала телѣга, или хохлацкій «возъ», заложенный парою сивыхъ, круторогихъ воловъ, и на этомъ возу помѣщался панъ Степанъ. Онъ сидѣлъ, какъ обыкновенно садятся малороссійскіе крестьяне, — т. е. по серединѣ телѣги, на кучкѣ раскинутой ржаной соломы, и курилъ съ флегматическимъ спокойствіемъ коренковую трубку излюбленнаго хохлацкаго фасона. Волами правилъ хохолъ въ затрапезныхъ шароварахъ «ширше облака», въ дегтярной рубахѣ съ прямымъ воротомъ, въ «тяжкихъ чоботахъ» и въ высокой смушковой шапкѣ. Хохолъ шелъ около воловъ съ батогомъ и придерживалъ ихъ за ременный налыгачь, «що-бъ ни злякались якъ торохтыть городъ», а самъ покрикивалъ гдѣ надо: «цо-бе», а гдѣ надо: «цобъ».

Жокей имѣлъ списокъ особъ, которыхъ долженъ былъ посѣтить этотъ задичавшій европеецъ. Справляясь съ спискомъ, жокей скакалъ впередъ и, прискакавъ на дворъ стоявшаго въ спискѣ вельможнаго лица, возвѣщалъ: а

— Мій панъ іде!

А когда поѣздъ показывался, жокей оборачивался къ нему лицомъ и опять въ голосъ кричалъ:

— Ось самъ панъ Вишневьски приіхавъ!

Тогда карета останавливалась у крыльца, изъ нея вылѣзалъ камердинеръ Степана Ивановича и шелъ спрашивать, угодно ли хозяевамъ принять его господина?

Если Вишневскаго принимали,—тогда карета отъѣзжала далѣе, а къ крыльцу подъѣзжалъ «возъ» на парѣ воловъ, и Степанъ Ивановичъ входилъ въ покои и щедро одарялъ всю попадавшуюся ему на глаза хозяйскую прислугу. Въ апартаментахъ онъ велъ себя бариномъ и европейцемъ,

щеголяя прекрасными манерами, отличнымъ знаніемъ языковъ и острою ѣдкостью малороссійскаго ума.

«Бо бувъ собі шутковатій, и знавъ усе по-хрянцузьски и по-вложски и на усі языки умівъ хвалыть Господа. Але тылько до того бувъ лінивый».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ѣлъ Вишневскій, какъ выше сказано, будто бы только одну медвѣжатину и для того содержалъ въ одномъ изъ тверскихъ имѣній жены «медвѣжій питомникъ». Медвѣдей тамъ кормили и доставляли въ Москву, къ столу Степана Ивановича. Къ полиціи Вишневскій имѣлъ врожденную и непобѣдимую ненависть, и ни одинъ полицейскій не смѣлъ отважиться войти къ нему во дворъ, не рискуя натерпѣться всяческихъ обидъ, если только попадется на глаза Степану Ивановичу. Домъ Вишневскаго въ Москвѣ для полиціи былъ недоступенъ и, по тому ли, или по другому, скоро получилъ себѣ весьма таинственную и нѣсколько нелестную извѣстность. Болѣе всего ей помогали безнравственные инстинкты Вишневскаго по отношенію къ женщинамъ, или, пожалуй, точнѣе сказать, къ дѣтямъ женскаго пола. Полиція, въ свою очередь, ненавидѣла Степана Ивановича и подыскивала случаи ему отмстить за его невѣжества, но долго никакого удобнаго къ тому основанія не находила. Наконецъ, однако, къ тому представился случай: одинъ разъ дворная собака вытащила на улицу и обронила не совсѣмъ еще лишенную мускульныхъ связей пясть, которая была признана стопою небольшой человѣческой ноги. Черезъ нѣсколько дней это еще разъ повторилось. За собакою подсмотрѣли и увидали, что она таскаетъ эти кости изъ мусорной ямы. Прислуга сосѣднихъ домовъ стала говорить, что Вишневскій производитъ безчинства надъ своими крѣпостными дѣвочками и потомъ, будто бы, ихъ убиваетъ. Скоро стали производить счетъ дѣвочкамъ, будто бы безвѣстно пропавшимъ, и даже называли ихъ по именамъ.

Полиція не только усмотрѣла въ этомъ достаточный поводъ вмѣшаться въ дѣло, но даже сочла это своею прямою обязанностью,—что и въ самомъ дѣлѣ такъ было. Съ этою цѣлью на дворъ Степана Ивановича явились приставъ и квартальный и приступили къ осмотру той ямы, откуда

собака таскала подозрительныя кости. Вѣрные слуги Степана Ивановича не дозволили полиціи приступить къ осмотру, не извѣстивъ своего «пана». Степанъ Ивановичъ надѣлъ архалукъ, самъ вышелъ къ полицейскимъ и велѣлъ имъ открыть яму. Тамъ, къ радости полицейскихъ, нашли множество такихъ точно костей, какія послужили поводомъ къ подозрѣнію, но тутъ же было доказано, что это отнюдь не ступни человѣческихъ ногъ, а лапы убитыхъ для стола Вишневскаго молодыхъ медвѣжатъ.

Полицейскіе сконфузились и начали извиняться передъ Степаномъ Ивановичемъ, говоря, что они были вовлечены въ ошибку сомнѣніями и ложными слухами.

Вишневскій ихъ извинилъ и... тутъ же отстегалъ кнутомъ.

Эта острая выходка имѣла для него послѣдствіемъ то, что ему велѣно было оставить Москву и жить въ малороссійскихъ деревняхъ, пожалованныхъ его отцу Ивану Гавриловичу отъ щедротъ императрицы Елисаветы Петровны.

Вишневскій долженъ былъ подчиниться сказанному требованію и переѣхалъ въ переяславскій уѣздъ въ Фарбованую, чтобы колобродить тамъ еще на бо̀льшей свободѣ.

Случай съ медвѣжьими лапами приписывается московскими розсказнями нѣсколькимъ лицамъ, и Степану Ивановичу Вишневскому онъ усвояется только одними малороссійскими преданіями, сложившимися преимущественно по равнинамъ, орошаемымъ рѣками Удаемъ и Супоемъ. Что же касается визитовъ по Москвѣ на парѣ воловъ, то въ этомъ родѣ какъ будто что-то было, но въ московскихъ преданіяхъ объ этомъ мнѣ никогда не удалось услыхать о такой оригинальной выходкѣ ни малѣйшаго воспоминанія. На этомъ основаніи разсказъ этотъ, кажется, должно считать сомнительнымъ; но между обитателями равнинъ Удая и Супоя много охотниковъ крѣпко стоять за справедливость этой исторіи, и на всѣ доводы о томъ, что это ничѣмъ не подтверждается въ Москвѣ, они съ самоувѣренною презрительностью оттопыриваютъ свои толстыя казацкія губы и говорятъ:

— Отъ тоже,—захотілы вы на Москві правду шукать!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Когда Степанъ Ивановичъ Вишневскій поселился въ своихъ малороссійскихъ маетностяхъ, то онъ себѣ построилъ

дома въ обѣихъ деревняхъ, по обѣ стороны достославнаго Супоя,—въ Фарбованой и Сосновкѣ. При обоихъ домахъ, ремонтированныхъ на широкую барскую руку, содержались обширные штаты прислуги, выѣзды охоты, конные заводы и гаремы, которыми, впрочемъ, Степанъ Ивановичъ не довольствовался и пользовался еще широко своими правами падишаха на всѣхъ женщинъ своего подданства. Жилъ онъ попеременно то въ одномъ своемъ имѣніи, то въ другомъ, и вездѣ содержалъ разъ установленные имъ своевольные порядки. Онъ считалъ себя въ полнѣйшемъ правѣ приводить всѣхъ, какъ онъ выражался, «въ свою крещеную вѣру» — и свободно и безпрепятственно достигалъ всего, чего желалъ достичь.

Между всѣми прихотями его своенравія и здѣсь прежде всего обозначалась ничѣмъ неусмиряемая ненависть Вишневскаго къ полиціи. Какъ только онъ пріѣхалъ въ деревню, такъ тотчасъ же сдѣлалъ распоряженіе, чтобы ни исправникъ, ни пристава и никто изъ чиновниковъ не смѣли ѣздить по его владѣніямъ съ колокольчиками. Крестьянамъ было приказано, чтобы они останавливали каждаго, кто ѣдетъ съ колокольчикомъ, и освѣдомлялись — кто онъ такой. Если проѣзжающій былъ дворянинъ или вообще частное лицо, то его было велѣно отпускать и при этомъ говорить, что земли, по которымъ онъ ѣдетъ, принадлежатъ пану Вишневскому, и что этотъ панъ «любитъ и шануетъ» честныхъ гостей,—для чего проѣзжающихъ и приглашали «до господы», чтобы «отпочить съ дороги», то-есть отдохнуть отъ путевыхъ трудовъ и «откушать панскаго хлѣба-соли». Если проѣзжающій торопился и не хотѣлъ заѣзжать «на гостинци», а учтиво благодарилъ, то его насильно не задерживали, а такъ же «учтиво» позволяли слѣдовать далѣе и не возбраняли звонить колокольцемъ. А если проѣзжій не спѣшилъ и изъявлялъ согласіе заѣхать къ пану, то его провожали въ Фарбованую или Сосновку, смотря по тому, въ которой изъ этихъ деревень жилъ въ то время панъ Вишневскій.

Степанъ Ивановичъ встрѣчалъ всѣхъ такихъ гостей радушно, не разбирая ихъ чиновъ и званій, и угощалъ ихъ по-тогдашнему роскошно и обильно, — иногда даже слишкомъ обильно, такъ что иные отъ его хлѣбосольства даже занемогали. Но приневоливанія ни въ пищѣ, ни въ питіи

не было, а только все предлагалось «до отвалу», и если кто-нибудь себя превозмогалъ до излишества, то въ этомъ вины и насилія со стороны Вишневскаго не было, а всякій неосторожный гость долженъ былъ пенять на самого себя, безропотно казнился за свою неумѣренность.

Многимъ изъ гостей, которые оказывались людьми нуждающимися, Степанъ Ивановичъ даже оказывалъ значительное пособіе, а офицерамъ всегда любилъ дарить что-нибудь цѣнное на память. И такой широкій обычай былъ причиною того, что его ласка и хлѣбосольство дѣлали его очень милымъ и любезнымъ. Но чуть только дѣло касалось чиновниковъ и особенно полиціи, — Степанъ Ивановичъ являлся по отношенію къ нимъ самымъ грубымъ тираномъ, и требованія, какія онъ простиралъ къ этимъ несчастнымъ лицамъ, были въ такой степени суровы и для нихъ унизительны, что даже трудно вѣрить—какъ они могли имъ подчиниться и не находили средства оградить себя отъ фарбованскаго причудника.

Какъ только исправникъ или приставъ подъѣзжали къ граничной межѣ владѣній Вишневскаго, они должны были остановиться и подвязать язычокъ колокольчика, чтобы онъ не звонилъ. Иначе крестьяне останавливали блюстителя порядка, должны были *отвязать* колокольчикъ и немедленно отнести его въ господскій домъ къ самому пану. Сопротивленіе со стороны полиціанта угрожало ему двойною опасностью—быть побитымъ отъ крестьянъ, которые могли производить это въ «панскую голову», т. е. на отвѣтственность самого помѣщика, а потомъ виновнаго отвели бы къ «пану», у котораго всякаго полицейскаго, по меньшей мѣрѣ, ожидалъ невѣроятно унизительный, но съ неупустительною строгостью соблюдавшійся особый церемоніалъ.

Покорный и непокорный, честный или притязательный полицейскій чиновникъ былъ у Степана Ивановича «въ одномъ расчисленіи». Въ честность ихъ онъ, впрочемъ, нимало не вѣрилъ и, кажется, на этотъ счетъ не очень сильно ошибался. Правиломъ его было то, что *никакой* чиновникъ ни для какой надобности и ни подъ какимъ предлогомъ не могъ переступать черезъ порогъ его дома. Если исправникъ или приставъ имѣли къ нему служебную надобность или вынуждены были явиться къ нему съ какою-либо претензіею или просьбою, то они знали, что должны ѣхать по

его владѣніямъ «безъ звона», какъ можно тише и останавливаться у околицы, — отнюдь не смѣя въѣзжать на лошадяхъ въ его усадьбу. По усадьбѣ и по двору они обязаны были идти пѣшкомъ и, снявъ шапку у воротъ, проходить мимо оконъ дома не иначе, какъ съ открытою головою.

Иначе, при малѣйшемъ нарушеніи этого правила, надрессированная прислуга сейчасъ же взяла бы ихъ подъ локти и заворотила назадъ, «наклавъ имъ при семъ добре по потылицѣ». А такъ какъ это соблюдалось крѣпко и вѣрно, то никто и не смѣлъ думать ослушаться и сопротивляться. На этомъ, однако, униженія еще не кончались: чиновникъ не допускался далѣе крыльца, подъ которымъ жили огромныя меделянскія собаки. Здѣсь чиновникъ долженъ былъ стоять и ожидать, пока Степанъ Ивановичъ вышлетъ къ нему «комнатнаго казака», то-есть, просто говоря, лакея. Съ лакеемъ чиновникъ долженъ былъ «поздороваться вровняхъ», то-есть подать лакею руку, и затѣмъ только могъ изложить тому же лакею цѣль своего пріѣзда къ пану.

Если Вишневскому казалось, что надобность, за которою пріѣхалъ чиновникъ, не стоитъ вниманія, то онъ приказывалъ «прогнать его вонъ». А если надобность была какая-нибудь дворянская или объявленіе ему чего-либо изъ высшихъ сферъ, то Степанъ Ивановичъ надѣвалъ на себя бекешъ, шапку, самъ выходилъ на крыльцо и выслушивалъ чиновника, стоя къ нему все время бокомъ и никогда не глядя ему въ лицо.

Затѣмъ Вишневскій молча уходилъ, а лакей подавалъ чиновнику на тарелкѣ рюмку водки и пятидесятирублевую ассигнацію. Чиновникъ долженъ былъ выпить водку и потомъ взять себѣ на «закуску» пятьдесятъ рублей (хлѣба-соли въ ихъ натуральномъ видѣ чиновникамъ въ домѣ Вишневскаго не предлагали). Если же чиновникъ, паче чаянія, какъ-нибудь высоко о себѣ мнилъ и не сталъ бы выпивать вынесенной ему на крыльцо рюмки водки, то онъ не могъ получить и денегъ, положенныхъ на закуску. Въ такомъ случаѣ лакей долженъ былъ *столкнуть* его съ крыльца и водку выплеснуть ему въ спину, а закусочные пятьдесятъ рублей взять себѣ въ свою пользу и дернуть за веревку, а эта веревка шла къ желѣзной клямкѣ

отъ двери, за которою сидѣли подъ крыльцомъ меделянскія собаки.

Зная все это, чиновники никогда не отваживались обнаруживать хотя бы самомалѣйшее сопротивленіе установленіямъ Степана Ивановича и... даже были очень рады, когда имъ встрѣчалась надобность появиться на крыльцѣ фарбованскаго пана.

Если все это несомнѣнно такъ, какъ гласятъ преданія, то 50 рублей на закуску, очевидно, имѣли тогда свою высокую цѣну.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ отношеніи цѣломудрія и нравственности вообще Степанъ Ивановичъ слылъ человѣкомъ безцеремоннымъ и притомъ самымъ наивнымъ. Впрочемъ, въ этихъ отношеніяхъ онъ имѣлъ себѣ очень много подобныхъ и равныхъ, но въ его героической эпопеѣ въ этого рода дѣлахъ чрезвычайно оригинальною представляется роль его супруги Степаниды Васильевны, рожденной Шубинской, которую тоже, кажется, есть полное основаніе называть психопаткою,— хотя, впрочемъ, въ иномъ родѣ.

Она была, какъ выше сказано, тверская дворянка и образованная барыня изъ очень хорошаго рода. Супруга своего она любила и жила съ нимъ всегда въ постоянномъ согласіи. Отъ союза ея съ Степаномъ Ивановичемъ у нея были двѣ дочери, изъ которыхъ рожденіе второй было очень неблагополучно, и Степанида Васильевна сдѣлалась «навѣкъ не человѣкъ». Степанъ Ивановичъ сталъ съ нею сепаратничать: если она жила въ Фарбованой, онъ уѣзжалъ въ Сосновку, а если она была въ Сосновкѣ, то онъ съѣзжалъ въ Фарбованую. Видя это и, какъ говорила Степанида Васильевна, «любя своего мужа», она стала прилагать всякія заботы, чтобы онъ «отъ нея не удалялся» и чтобы ему и при ней «жить было не скучно». Съ этою цѣлью она устраивала у себя дѣвичьи посидѣлки, на которыя дѣвушки шли неохотно и со слезами, но Степанида Васильевна ихъ обласкивала и угощала до тѣхъ поръ, пока тѣ освоивались и переставали плакать. Тогда Степанида Васильевна писала мужу и приглашала его къ себѣ «прибыть, на дѣвицъ полюбоваться». А онъ ей отвѣчалъ: «очень тебя благодарю и заботы твои обо мнѣ цѣню, а, впрочемъ,

въ главномъ выборѣ я на твой вкусъ больше, чѣмъ на свой собственный, полагаюсь».

Такой отвѣтъ мужа не только радовалъ, но и умилялъ Степаниду Васильевну. Чувства ея къ Степану Ивановичу горѣли сугубымъ пламенемъ, и она ему въ скорости же опять нетерпѣливо отписывала: «за довѣріе твое, безцѣнный другъ мой, весьма тебя благодарю, и въ разсужденіи моего вкуса, въ чемъ на меня полагаешься, отъ души тебѣ угодить надѣюсь, но только прошу тебя, ангелъ моей души,—пріѣзжай ко мнѣ сколь возможно скорѣе, потому что сердце мое по тебѣ стосковалося, и ты увидишь, что я не объ одной себѣ сокрушаюсь, но и твой вкусъ понимаю. Дѣти наши обѣ здоровы и тебѣ кланяются и цѣлуютъ ручки». Подпись: «твоя вѣрная жена и раба Степанида».

Степанъ Ивановичъ, получивъ такое посланіе, оставлялъ отдѣльное житье и пріѣзжалъ къ супругѣ, которая вполнѣ достигала того, что ему «жить въ одномъ домѣ съ нею становилось нескучно».

Она не только ласкала и нѣжила ею же избранныхъ для своего мужа фаворитокъ, но няньчила и выхаживала его дѣтей, которыхъ при такомъ патріархальномъ порядкѣ панской жизни въ Фарбованой народилось очень много.

Самъ Вишневскій далеко не былъ такъ чистосердеченъ и искрененъ, какъ его жена: когда растлѣнный нравъ Степана Ивановича начиналъ прискучать тою особою, которая была призвана къ обязанности «дѣлать его жизнь нескучною», Вишневскій начиналъ собираться «пожить одинъ въ другой деревнѣ».

Степанида Васильевна это тотчасъ же понимала и хотя не перечила мужу, такъ какъ миръ и согласіе супружеское она, по завѣту предковъ, ставила выше всего на свѣтѣ, но черезъ нѣкоторое время она опять устраивалась и писала ему тихое и ласковое письмо, гдѣ говорила: «Хитрости твои и твоя со мною въ важныхъ дѣлахъ неоткровенность очень меня, мой другъ, огорчаютъ и терзаютъ, потому что я ихъ ничѣмъ не заслужила. Богъ видитъ мою правду и истину, что люблю тебя больше всего на свѣтѣ, и отъ разлуки съ тобой сердце мое по тебѣ изсушается какъ трава, но горючая слеза текущая не высыхаетъ. А ту особу, которая незанимательностію своею

тебя утомила и прискучила, я своимъ раченіемъ безъ большихъ хлопотъ совершенно устроила, и всѣ онѣ нынче своимъ положеніемъ теперь вполнѣ довольны и благодарятъ. А ты бы если поспѣшилъ ко мнѣ, то могъ бы теперь полюбоваться на очень пріятныя лица. Дѣти же наши обѣ благостію Божіею хранимы,—живы и здоровы и объ отцѣ своемъ молятся». И опять та же подпись: «жена и раба».

Въ отвѣтъ на это отъ Вишневскаго слѣдовали комплименты женѣ, съ повтореніемъ полнаго довѣрія къ ея вкусу, и затѣмъ Степанъ Ивановичъ вскорѣ возвращался подъ семейный кровъ. Его ждали, разумѣется, тимпаны и лики, ласки и восклицанія, и телецъ упитанный, и все, все, что было нужно, чтобы сдѣлать его счастливымъ, какъ онъ желалъ и какъ это могла устроить его нѣжная, пренѣжная жена, которая имѣла несчастіе изъ живой и очень милой женщины стать «навѣкъ не человѣкъ».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Послѣ описанныхъ уже перипетій Степанъ Ивановичъ исправился въ отношеніи своей скрытности и недовѣрія и никогда не прибѣгалъ болѣе къ хитростямъ сепаратной политики.

Степанида Васильевна, по словамъ крестьянъ, «доглядала его якъ маты свою дытыну».

Невѣроятная, примитивная простота этихъ отношеній, напоминающая собою библейскій разсказъ о Саррѣ и объ Агари, становится еще невѣроятнѣе, если дать вѣру частностямъ, которыя разсказываютъ о житьѣ этихъ супруговъ.

Степанъ Ивановичъ былъ какой-то чистый турокъ. По отношенію къ своимъ многообразнымъ привязанностямъ онъ совмѣщалъ въ себѣ всѣ роды любви, отъ мимоходныхъ неосторожностей до привязанностей къ одалискамъ и къ первой султаншѣ. Мимоходное, конечно, ни во что не ставилось и не подлежитъ счету; а роль первой султанши, разумѣется, занимала его законная жена, которую онъ, съ своей стороны, тоже, пожалуй, по-своему любилъ и, во всякомъ случаѣ, увѣрялъ, будто очень ее «уважаетъ».

— Если кто сдѣлаетъ что-нибудь противъ меня,—гово-

рилъ онъ:—то это я еще, пожалуй, могу простить, но если бы кто-нибудь только помыслилъ вслухъ сдѣлать что-нибудь къ обидѣ Степаниды Васильевны, то кто бы онъ ни былъ, я вездѣ его достану, и самъ царь Иванъ Васильевичъ не выдумалъ такой казни, какою я расказню грубіяна безцѣнной жены моей.

Всѣ это знали и знали тоже, что Степанъ Ивановичъ не шутитъ и что̀ говоритъ, то и выполнитъ, и потому никому и въ голову не приходило обнаружить хоть малѣйшій признакъ неповиновенія или ослушанія Степанидѣ Васильевнѣ. Но не всѣ одинаково разумѣли такую ревнивую заботу Вишневскаго о женѣ, и между тѣмъ, какъ одинъ приписывалъ ее безмѣрной его къ ней нѣжности,—другіе усматривали въ этомъ хитрость, которая и въ самомъ дѣлѣ была въ значительной мѣрѣ доступна хохлацкой натурѣ Вишневскаго. Думали, что онъ «нагонялъ страхъ» всѣмъ за жену болѣе для того, чтобы ея требованія, къ услажденію его жизни любовью крѣпостныхъ одалисокъ, не встрѣчали ни малѣйшаго противорѣчія, такъ какъ всякое самомалѣйшее ослушаніе ей онъ наказалъ бы такъ, что царь Иванъ Васильевичъ во гробѣ бы содрогнулся.

Впрочемъ, было это такъ или иначе, съ положительностію сказать невозможно, но есть положительные разсказы, что крайне развращенный и до жестокости безцеремонный въ своихъ мимоходныхъ дѣлахъ, Степанъ Ивановичъ любилъ вносить своеобычную поэзію въ свои отношенія съ одалисками, избранными для него на вкусъ его первой султанши. И онъ умѣлъ достигать этого безъ всякаго принужденія своей натуры, въ которой обнаруживалось въ этихъ случаяхъ нѣчто нѣжное и чувствительное. Онъ, подобно Донъ-Жуану, могъ похвалиться, что не только не оскорблялъ молодыя существа грубостію, но даже «никогда не обольщалъ съ холодностью безстрастной». Нѣтъ, онъ пріѣзжалъ въ домъ жены, гдѣ ея любовь приготовила ему утѣху, съ нѣжною ласковостію, и оба супруга вмѣстѣ выносили избранницу «какъ соколку по зорькамъ». Они ее приласкивали, наряжали, лелѣяли, она жила въ комнатахъ Степаниды Васильевны, пестро разодѣтая, утопая въ нѣгѣ и пресыщаясь лакомствами, и сама не замѣчала, какъ переходила изъ одной роли въ другую, словно въ туманѣ долго не сознавая того, что̀ съ нею сталось и чѣмъ это должно

было окончиться. Всѣ эти одалиски вступали въ свою роль въ лѣтахъ едва окончившагося дѣтства, когда еще голова бѣдна опытомъ и представленія о грядущемъ слабы, а жизнь, полная утѣхъ въ настоящемъ, заманчива. Изъ нихъ многія искренно располагались душою и сердцемъ къ своему повелителю или по крайней мѣрѣ не тяготились имъ, а Степаниду Васильевну даже любили «якъ маты». И она ихъ дѣйствительно ласкала какъ мать и ободряла какъ старшая гаремная подруга, наслаждавшаяся тѣмъ счастіемъ, какое младшія одалиски доставляли ея любимому падишаху. Въ домѣ жена, мужъ и дежурная фаворитка почти не разлучались и бо̀льшею частію проводили время втроемъ, но къ нѣкоторымъ изъ одалисокъ Степанъ Ивановичъ пристращался до того, что не могъ съ ними разставаться даже и на одну минуту. Вишневскій пристращался къ возлюбленной не только чувственно, но и любовно, какъ пылкій юноша, и, покидая домъ въ случаяхъ неизбѣжныхъ, бралъ ее съ собою, переодѣтою казачкомъ или арапчикомъ, на попеченіи котораго будто состояли янтари его роскошныхъ чубуковъ и кисетъ съ табакомъ, который надобился ему безпрестанно, такъ какъ Степанъ Ивановичъ курилъ даже ночью, и потому «трубочный ма̀льчикъ» былъ при немъ безотлучно.

Полагали, что въ подобныхъ случаяхъ Степаномъ Ивановичемъ до извѣстной степени руководила ревность, но это предположеніе не имѣетъ основенія, такъ какъ Вишневскій, конечно, ничѣмъ не рисковалъ бы, если бы оставилъ дѣвушку на попеченіе Степаниды Васильевны: и потому гораздо вѣрнѣе думать такъ, какъ передавали люди, ближе знавшіе этого малороссійскаго психопата,—то-есть, что онъ просто страстно влюблялся въ своихъ фаворитокъ и не могъ съ ними разставаться до тѣхъ поръ, пока страсть его совершала свое теченіе и остывала.

И чѣмъ страстнѣе была привязанность къ извѣстной одалискѣ со стороны Степана Ивановича, тѣмъ бо̀льшую нѣжность и заботу это лицо вызывало къ себѣ со стороны его жены. Проходила страсть у Вишневскаго, и онъ «отъѣзжалъ за Супой», а Степанида Васильевна брала на себя заботу устроить старую «утѣху» и пріуготовить новую, которая снова возвратила бы фарбованскаго пана съ того берега.

Трагическаго въ этихъ развязкахъ никогда не было. Благодаря такту, сердоболію и щедрости Степаниды Васильевны, всѣ эти дѣла устраивались мирно и ладно, ко всеобщему удовольствію всѣхъ мало-мальски близкихъ къ дѣвушкѣ лицъ. Исключеніе составлялъ единственный случай съ пятнадцатилѣтнею крестьянскою дѣвочкою, занявшей особенно сильное положеніе въ сердцѣ Вишневскаго и оставившей ему сына и непріятный слѣдъ въ его воспоминаніяхъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Мѣстныя преданія сохранили самое имя этой стройной, «якъ былинка», черноокой дѣвушки, приблизившейся къ своему пану въ довольно уже поздніе годы его жизни. Ее называютъ Гапка Петруненко. Она была такъ хороша, «що ажъ очамъ мило було на нее дивитися», и, какъ показываетъ ея исторія, имѣла сердце чуткое и очень воспріимчивую душу. Вишневскій могъ обнять ея тонкій станъ, ея талію перстами своихъ рукъ, и такъ любилъ ее, какъ никакую другую, ни до нея, ни послѣ ея пользовавшуюся его фаворомъ. Онъ одѣвалъ ее въ розовый атласъ и въ кофты, сшитыя изъ дорогихъ турецкихъ шалей, носилъ ее на рукахъ и цѣловалъ ея ноги.

Видя такую неутолимую привязанность мужа къ этой дѣвушкѣ, Степанида Васильевна тоже пѣстовала ее до забвенія о себѣ и о своихъ дочеряхъ, изъ которыхъ старшей тогда уже шелъ двѣнадцатый годъ. Степанида Васильевна сама плела на день черныя косы Гапочки, сама ихъ расплетала на ночь и подкуривала ароматами, пахучій дымъ которыхъ проницалъ густые волосы и держался въ нихъ съ смолистою силою. Она не дозволяла ничьимъ низкимъ рукамъ коснуться до ея тѣла и даже сама орошала крѣпкимъ настоемъ душистыхъ розъ ея ноги, къ которымъ на ея же глазахъ въ страстномъ самозабвеніи припадалъ устами Степанъ Ивановичъ. Словомъ, эта прелестная дѣвушка была фавориткой изъ фаворитокъ, и пребываніе ея въ домѣ Вишневскихъ заключало въ себѣ много отъ всѣхъ отмѣннаго. Степанъ Ивановичъ, даже выѣзжая на охоту съ борзыми, бралъ Ганку съ собою и не довольствовался тѣмъ, что она, одѣтая черкешенкой, ѣдетъ въ покойномъ рыдванѣ, а бралъ *ее оттуда* и возилъ передъ собою на сѣдлѣ. Когда же дѣ-

вушка уставала отъ неудобнаго и утомительнаго путешествія на лошади и сонъ начиналъ клонить ея головку,— Вишневскій не отдавалъ ее ни на чьи чужія руки, а тотчасъ же прекращалъ поленванье и бережно, на своихъ собственныхъ рукахъ, везъ Гапочку домой. И Боже сохрани, чтобы кто-нибудь изъ его свиты завелъ въ это время какой-нибудь шумъ и нарушилъ имъ дѣтскій сонъ возлюбленницы пана!.. Виновный не миновалъ бы сырой ямы и ременныхъ арапниковъ.

Такъ же бережно Вишневскій опускалъ съ рукъ это дитя у крыльца на руки встрѣчавшихъ его людей и самъ сопровождалъ ихъ, когда они переносили Гапку во всякой тишинѣ въ покои Степаниды Васильевны.

Здѣсь ее раздѣвали и укладывали на атласныя подушки широкаго турецкаго дивана, на которомъ съ краю садились и сами супруги пить чай. И во все это время они не говорили, а только любовались, глядя на спящую дѣвушку. Когда же наставалъ часъ идти къ покою, Степанида Васильевна вставала, чтобы легкою стопою по мягкимъ коврамъ перейти въ смежную комнату, гдѣ была ея опочивальня, а Степанъ Ивановичъ въ благодарномъ молчаніи много разъ кряду цѣловалъ руки жены и шепталъ ей:

— Ты мой ангелъ-хранитель,—я тебя обожаю!

Степанида Васильевна чувствовала и раздѣляла счастье мужа съ способностью, быть-можетъ, ей одной только свойственною по своей неимовѣрной прихотливости.

Она уходила въ спальню, долго тамъ молилась передъ лампадою и потомъ опять неслышными стопами входила въ смежную комнату, гдѣ розовая Гапка спала, обнявъ крѣпкими молодыми руками подушки, а атлетическая фигура Вишневскаго лежала на коврѣ, съ головою, прислоненною къ дивану, въ ногахъ спящей дѣвушки.

Степанида Васильевна крестила ихъ обоихъ и уходила на свою вдовью кроватку, и сонъ ея былъ тихъ, миренъ и живителенъ... И во всемъ этомъ странномъ и несогласимомъ, повидимому, сочетаніи чувствъ и отношеній она не видала ничего для себя унизительнаго, и даже ничего неудобнаго, а, напротивъ, ей казалось, что все идетъ именно такъ, какъ только можетъ идти лучше.

Безграничная любовь этой женщины къ мужу и огромное несчастіе заключавшееся для нея въ условіяхъ ея заго-

ровья, какъ-то смѣшивались, ея нравственныя понятія никому не были ясны и понятны. Передавая эти сказанія въ сборѣ отрывочныхъ свѣдѣній изъ нѣсколькихъ устъ, я не стану и стараться пояснить личность Степаниды Васильевны Вишневской какимъ-нибудь болѣе точнымъ опредѣленіемъ. Думаю лишь, что по нынѣшнимъ временамъ это подходило бы къ тому, что называютъ «*психопатіей*». Я передаю только любопытный разсказъ, какъ самъ его слышалъ, и не произношу надъ характерами и правилами героевъ этихъ легендарныхъ сказаній никакой своей критики.

Я думаю, что дѣло главнымъ образомъ теперь не въ критикѣ, отъ которой всѣ именуемыя здѣсь лица ушли уже въ царство тѣней, а въ сохраненіи на память потомству удивительной непосредственности ихъ характеровъ и прихотливой, оригинальной ихъ жизни.

Намъ хорошо извѣстны бурныя натуры нашихъ великорусскихъ дворянъ, при которыхъ, по выраженію поэта, жизнь «текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства, разврата мелкаго и мелкаго тиранства,—гдѣ хоръ подавленныхъ и трепетныхъ людей завидовалъ житью собакъ и лошадей». Здоровое, реальное направленіе нашей русской литературы, быть-можетъ, порою заслуживающей и укоры за излишній реализмъ, показало намъ нашу великорусскую жизнь налицо. Мы знаемъ, каковы наши «ветхіе мѣхи», затрещавшіе при игрѣ влитаго въ нихъ молодого вина; но писатели малороссійскаго происхожденія не слѣдовали нашему, можетъ-быть, единственно полезному въ настоящее время литературному направленію. Жизнь малороссійскаго козырнаго барства отъ насъ скрыта романтизмомъ или крайнимъ простонародничествомъ малорусскихъ писателей. Если она гдѣ-нибудь изрѣдка и представляется, то почти всегда въ напыщенныхъ формахъ, напоминающихъ безконечныя польскія исторіи о «панѣ Коханку». Межъ тѣмъ малороссійское барство имѣетъ свою оригинальность, которая стòитъ изученія и которая въ то же время способна проливать довольно яркій свѣтъ на тѣ особенности малороссійскаго характера, какія, по замѣчанію Шевченко, представляютъ міру «славніхъ прадідовъ великихъ праунoки погани».

Небезполезно посмотрѣть на представителей той серединной генераціи, которая лежитъ пластомъ между «праді-

дами и праунoками»,—между тѣми, которыхъ національный поэтъ величалъ «велыкими», и тѣми, которыхъ онъ считалъ за «поганыхъ». Передъ нами теперь фигуры, стоявшія на водораздѣлѣ этихъ двухъ главныхъ теченій, изъ которыхъ одно несло будто на себѣ малороссійскій край къ незапятнанному величію, а другое повлекло его къ неисправимому «поганству».

Въ мірѣ «все причинно, послѣдовательно и условно», и потому въ цѣпи могутъ измѣняться фасоны звеньевъ, но тѣмъ не менѣе все-таки звено за звено держится и одно къ другому непремѣнно находится въ соотношеніи.

Собирая въ одну запись то, что̀ мнѣ приводилось слыхать о Вишневскомъ и его сродникахъ, я думаю, что я сберегаю этимъ литературѣ звено чего-то пропущеннаго и до сихъ поръ сохранившагося только въ однихъ преданіяхъ. Пусть они и не совсѣмъ вѣрны, но даже и въ такомъ случаѣ они интересны,—какъ мѣстное народное творчество, указывающее, что̀ поражало и что̀ вдохновляло людей съ фантазіей, или что̀ имъ нравилось.

Продолжаю о Вишневскомъ.

За нѣсколько строкъ предъ симъ мы оставили могучаго фарбованскаго пана спящимъ на коврѣ у ногъ своей сельской нимфы. Оставимъ ихъ и еще въ этомъ положеніи, изящнѣе и поэтичнѣе котораго, кажется, не было въ его своеобразной, безалаберной и ни вѣсть чему подобной жизни. Пусть они, какъ малороссы говорятъ, «отпочнутъ» здѣсь сладко до зари того дня, который омрачилъ ихъ счастье и спокойствіе и въ чашу любовныхъ утѣхъ пана выжалъ каплю горькаго омега.

Ниже мы встрѣтимъ случай, при которомъ будетъ мѣсто изложить это происшествіе, составлявшее высшій, кульминаціонный пунктъ душевныхъ страданій и нравственнаго возбужденія Вишневскаго, — вслѣдъ зачѣмъ опять пошли своимъ чередомъ любовныя смѣны, не захватывавшія выше того, что̀ нами уже описано, но зато не оставлявшія Степана Ивановича до самой его смерти.

Очеркнемъ теперь, какъ можемъ и какъ умѣемъ, другія стороны его дѣятельности и характера.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Какъ отецъ и какъ воспитатель, Вишневскій ни въ

ровья, какъ-то смѣшивались, ея нравственныя понятія никому не были ясны и понятны. Передавая эти сказанія въ сборѣ отрывочныхъ свѣдѣній изъ нѣсколькихъ устъ, я не стану и стараться пояснить личность Степаниды Васильевны Вишневской какимъ-нибудь болѣе точнымъ опредѣленіемъ. Думаю лишь, что по нынѣшнимъ временамъ это подходило бы къ тому, что называютъ «*психопатіей*». Я передаю только любопытный разсказъ, какъ самъ его слышалъ, и не произношу надъ характерами и правилами героевъ этихъ легендарныхъ сказаній никакой своей критики.

Я думаю, что дѣло главнымъ образомъ теперь не въ критикѣ, отъ которой всѣ именуемыя здѣсь лица ушли уже въ царство тѣней, а въ сохраненіи на память потомству удивительной непосредственности ихъ характеровъ и прихотливой, оригинальной ихъ жизни.

Намъ хорошо извѣстны бурныя натуры нашихъ великорусскихъ дворянъ, при которыхъ, по выраженію поэта, жизнь «текла среди пировъ, безсмысленнаго чванства, разврата мелкаго и мелкаго тиранства,—гдѣ хоръ подавленныхъ и трепетныхъ людей завидовалъ житью собакъ и лошадей». Здоровое, реальное направленіе нашей русской литературы, быть-можетъ, порою заслуживающей и укоры за излишній реализмъ, показало намъ нашу великорусскую жизнь налицо. Мы знаемъ, каковы наши «ветхіе мѣхи», затрещавшіе при игрѣ влитаго въ нихъ молодого вина; но писатели малороссійскаго происхожденія не слѣдовали нашему, можетъ-быть, единственно полезному въ настоящее время литературному направленію. Жизнь малороссійскаго козырнаго барства отъ насъ скрыта романтизмомъ или крайнимъ простонародничествомъ малорусскихъ писателей. Если она гдѣ-нибудь изрѣдка и представляется, то почти всегда въ напыщенныхъ формахъ, напоминающихъ безконечныя польскія исторіи о «панѣ Коханку». Межъ тѣмъ малороссійское барство имѣетъ свою оригинальность, которая стòитъ изученія и которая въ то же время способна проливать довольно яркій свѣтъ на тѣ особенности малороссійскаго характера, какія, по замѣчанію Шевченко, представляютъ міру «славніхъ прадідовъ великихъ праунoки погани».

Небезполезно посмотрѣть на представителей той серединной генераціи, которая лежитъ пластомъ между «праді-

дами и прауноками»,—между тѣми, которыхъ національный поэтъ величалъ «велыкими», и тѣми, которыхъ онъ считалъ за «поганыхъ». Передъ нами теперь фигуры, стоявшія на водораздѣлѣ этихъ двухъ главныхъ теченій, изъ которыхъ одно несло будто на себѣ малороссійскій край къ незапятнанному величію, а другое повлекло его къ неисправимому «поганству».

Въ мірѣ «все причинно, послѣдовательно и условно», и потому въ цѣпи могутъ измѣняться фасоны звеньевъ, но тѣмъ не менѣе все-таки звено за звено держится и одно къ другому непремѣнно находится въ соотношеніи.

Собирая въ одну запись то, что̀ мнѣ приводилось слыхать о Вишневскомъ и его сродникахъ, я думаю, что я сберегаю этимъ литературѣ звено чего-то пропущеннаго и до сихъ поръ сохранившагося только въ однихъ преданіяхъ. Пусть они и не совсѣмъ вѣрны, но даже и въ такомъ случаѣ они интересны,—какъ мѣстное народное творчество, указывающее, что̀ поражало и что̀ вдохновляло людей съ фантазіей, или что̀ имъ нравилось.

Продолжаю о Вишневскомъ.

За нѣсколько строкъ предъ симъ мы оставили могучаго фарбованскаго пана спящимъ на коврѣ у ногъ своей сельской нимфы. Оставимъ ихъ и еще въ этомъ положеніи, изящнѣе и поэтичнѣе котораго, кажется, не было въ его своеобразной, безалаберной и ни вѣсть чему подобной жизни. Пусть они, какъ малороссы говорятъ, «отпочнутъ» здѣсь сладко до зари того дня, который омрачилъ ихъ счастье и спокойствіе и въ чашу любовныхъ утѣхъ пана выжалъ каплю горькаго омега.

Ниже мы встрѣтимъ случай, при которомъ будетъ мѣсто изложить это происшествіе, составлявшее высшій, кульминаціонный пунктъ душевныхъ страданій и нравственнаго возбужденія Вишневскаго, — вслѣдъ зачѣмъ опять пошли своимъ чередомъ любовныя смѣны, не захватывавшія выше того, что̀ нами уже описано, но зато не оставлявшія Степана Ивановича до самой его смерти.

Очеркнемъ теперь, какъ можемъ и какъ умѣемъ, другія стороны его дѣятельности и характера.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Какъ отецъ и какъ воспитатель, Вишневскій ни въ

одномъ изъ слышанныхъ мною о немъ разсказовъ не занималъ никакихъ характерныхъ положеній, а упоминается только какъ *родитель*. Впрочемъ, говорятъ, что когда въ Петербургѣ «заводились институты» и именитое дворянство, по желанію государыни, получило приглашеніе привозить туда для воспитанія дѣвицъ, то Степанъ Ивановичъ ѣздилъ въ Петербургъ и самъ отвезъ туда дочь. Но и это обстоятельство воспоминается не для того, чтобы обозначить ею родительскую заботливость Вишневскаго, а потому, что эта поѣздка оказалась въ связи съ другимъ любопытнымъ событіемъ, о которомъ ниже будетъ разсказано. Какъ помѣщикъ, въ качествѣ хозяина, судіи и наказателя душъ подвластныхъ ему крѣпостныхъ людей, Вишневскій тоже не представлялъ собою особой оригинальности. Онъ правилъ хозяйствомъ «якъ повелось изъ давняго времени». Все дѣлалось черезъ крѣпостныхъ или наемныхъ приставниковъ, изъ православныхъ и изъ поляковъ. Вишневскій держалъ при себѣ на службѣ нѣсколько человѣкъ поляковъ, къ которымъ не питалъ никакой вражды, но любилъ иногда надъ ними забавляться. Было и нѣсколько евреевъ, которыхъ психопатъ любилъ пугать разными страхами. Не одного изъ нихъ онъ заморилъ и загналъ страхомъ со свѣта, но они все къ нему лѣзли, потому что Вишневскій иногда бывалъ щедръ и бросалъ имъ что-нибудь на разживу. Впрочемъ, комиссіонерскихъ услугъ отъ евреевъ онъ не чуждался. Только Боже спаси было его обмануть... Онъ не столько больно запоретъ розгами или плетьми, сколько истерзаетъ страхомъ. У Вишневскаго былъ и патріотизмъ, выражавшійся, впрочемъ, à la longue пристрастіемъ къ малороссійскому жупану и къ малороссійской рѣчи, а затѣмъ—въ презрѣніи къ иноземцамъ. Особенно онъ не благоволилъ къ нѣмцамъ, которыхъ не находилъ возможности уважать по двумъ причинамъ: во-первыхъ, что они «тонконоги», а во-вторыхъ — вѣра ихъ ему не нравилась — «святителей не почитаютъ». Степанъ Ивановичъ думалъ, что самъ онъ «святителей почитаетъ». Въ вопросахъ вѣры онъ былъ невѣжда круглый и ни въ критику, ни въ философію религіозныхъ вопросовъ не пускался, находя, что «се діло поповское», а какъ «лыцарь» онъ только ограждалъ и отстаивалъ «свою вѣру» отъ всѣхъ «иновѣрныхъ», и въ этомъ пунктѣ смотрѣлъ на дѣло взглядомъ народнымъ, почитая «христіанами» однихъ

православныхъ, а всѣхъ прочихъ, такъ-называемыхъ «инославныхъ» христіанъ считалъ «недовѣрками», а евреевъ и «всю остальную сволочь» — *поганцами*. Иностранецъ и «даже нѣмецъ» могъ попасть къ столу Степана Ивановича, и одинъ — именно нѣмецъ — даже втерся къ нему въ домъ и пользовался его довѣріемъ, но все-таки, прежде чѣмъ допустить «недовѣрка» къ обліженію, религіозная совѣсть Вишневскаго искала для себя удовлетворенія и примиренія съ собою. У Степана Ивановича, который, по собственному его сознанію, «катехизицу не обучавься», хорошо сложился и очень конкретно оформился имъ самимъ составленный чинокъ для пріятія инославныхъ.

Степанъ Ивановичъ говорилъ «люторю» или «католыку»:

— Ну, а все же вѣдь ты хоть и не по-нашему вѣришь и молишься, но Николу угодника ты навѣрно уважаешь?

Испытуемый «иновѣръ» зналъ по достовѣрнымъ слухамъ, что бы такое съ нимъ произошло, если бы онъ посмѣлъ сказать, что онъ не уважаетъ угодника, за котораго стоитъ фарбованскій панъ... Онъ бы сейчасъ узналъ — крѣпки ли стулья, на которыхъ Степанъ Ивановичъ сажаетъ своихъ гостей, и гибки ли лозы, которыя растутъ, купая свои вѣточки въ водахъ Супоя. А потому каждый инославецъ, которому посчастливилось расположить къ себѣ Вишневскаго до того, что онъ уже заговорилъ о вѣрѣ,—отвѣчалъ ему какъ разъ то, что требовалось по чину «пріятія».

— О, да!—отвѣчалъ вопрошаемый инославецъ: — какъ же не уважать Николу,—его весь свѣтъ уважаетъ.

— Ну, чтобы «весь свѣтъ» — это ужъ ты, братъ, немножко хватилъ лишнее, говорилъ Степанъ Ивановичъ: — ибо надлежитъ тебѣ знать, что святой Никола природы московской, а ты поуважай нашего «русськаго Юрка».

Слово «русській», въ смыслѣ малороссійскій или южнорусскій, тогда здѣсь рѣзко противопоставлялось «московскому» или великороссійскому, сѣверному. Московское и «русськое»—это были два разныя понятія, и на небѣ, и на землѣ. Земныя различія всякому были видимы тѣлесными очами, а расчисленія, относимыя къ небесамъ, познавались вѣрою. По вѣрѣ же, великорусскія дѣла подлежали заботамъ чудотворца Николая, какъ покровителя Россіи, а дѣла южно-русскія находили себѣ защиту и опору въ попеченіяхъ особенно расположеннаго къ малороссія-

намъ святого Юрія, или, по нынѣшнему произношенію, св. Георгія (по-народному «Юрко»).

Всякій инославецъ, выдержавъ испытаніе о св. Николаѣ, конечно, еще тверже говорилъ Вишневскому, что онъ уважаетъ святого Юрія «еще больше, якъ Николу».

Это Степану Ивановичу нравилось. Тѣмъ вся катехизація новопріемлемаго оканчивалась, и возсоединеннаго уже никогда болѣе разновѣріемъ не попрекали. Даже если кто-нибудь невзначай касался словомъ ихъ разницы, то Степанъ Ивановичъ это останавливалъ, говоря:

— Никакой нѣтъ разницы: онъ и Николу уважае, а святого Юрко еще больше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Такъ исправившіе себя инославцы всходили на самыя перси психопата, а нѣмецъ даже управлялъ почти безотчетно однимъ имѣніемъ и такъ широко пользовался своими полномочіями, что̀ дѣлалъ почти все то самое, что̀ дѣлалъ и Вишневскій.

Степанъ Ивановичъ только въ разсужденіи женщинъ не позволялъ ему простирать требованій къ себѣ на дворъ, дабы никто не видалъ женщины настоящаго, греческаго закона «входящей къ нѣмцу». Изъ этого для нея могъ произойти срамъ, унизительный даже и для могущаго явиться ребенка. Нѣмецъ обязанъ былъ надѣвать лѣтомъ холодный, а зимою ватный халатъ и картузъ, и брать въ руки фонарь и идти самъ на деревню, въ сопровожденіи десятника, который «отвѣчалъ за его жизнь». А нѣмецъ былъ только ограничиваемъ однимъ наказомъ, чтобы отъ него не было никакого размноженія «нѣмецкой прибыли, а все шло въ прибыль русскую».

По деталямъ это казалось только частными ограниченіями, но въ общей сложности всего выходило, что нѣмецъ жаловался Степану Ивановичу, говоря:

— Никакъ нивозможность.

— А почему бы это такъ?

— Всѣ удирается!..

Это означало, что какъ только нѣмецъ выходилъ въ свой почной походъ въ длинномъ спальномъ халатѣ и съ фонаремъ въ сопровожденіи «отвѣчавшаго за его жизнь», такъ

всѣ его издали видѣли и всѣ, кому угрожало по направленію его посѣщеніе, разбѣгались и прятались.

Степанъ Ивановичъ объ этомъ какъ будто сожалѣлъ, но ничего въ установленномъ имъ порядкѣ отмѣнять не дозволялъ.

— Безъ фонаря и безъ провожатаго тебя пришибутъ и выпотрошатъ, и отвѣчать за тебя мнѣ будетъ некому,—говорилъ онъ, какъ будто искренно признавая установленный имъ порядокъ за необходимое; но близко изучившіе его люди замѣчали, что притомъ, какъ онъ обсуждалъ съ нѣмцемъ его дѣло,—«одинъ усъ» у Степана Ивановича «смѣялся».

У него, какъ у настоящаго психопата, многое безтолковое соединялось съ хитрымъ и было такъ «пересыпано», что «не можно було добрать, що вінъ вередуе».

Игривыя штуки его съ нѣмцемъ кончились тѣмъ, что тотъ все ходилъ, мерцая своимъ фонаремъ, какъ ивановскій жукъ въ травѣ, пока, наконецъ, въ сѣняхъ одной крестьянской хаты ему отмяли бока, и провожатый, отвѣчавшій за его жизнь, принесъ его домой, гдѣ тотъ и не замедлилъ отдать Богу свою нѣмецкую душу, пожившую здѣсь съ почтеніемъ къ святителю Николаю и къ св. Георгію.

Но, несмотря на самоподчиненіе этого нѣмца названнымъ святымъ, Степанъ Ивановичъ все-таки нашелъ, что его недостойно было хоронить внутри кладбища, «вмѣстѣ съ родителями правой восточной вѣры», а указалъ закопать его «за оградою» и не крестъ поставить надъ нимъ, а положить камень, «дабы притомленные люди могли на немъ присѣсть и отпочить».

Все онъ во всѣхъ случаяхъ держалъ какой-то особливый, но въ своемъ родѣ очень сообразный тонъ, обличавшій въ немъ и юморъ, и почтительность къ родной вѣрѣ, утверждавшейся для него не столько на катехизическомъ ученіи, какъ на св. Николѣ и на Юркѣ. Но Богу единому вѣдомо, было ли это такъ, какъ выдавалъ Степанъ Ивановичъ, и не располагало ли имъ что-либо иное.

Для выраженія полноты религіознаго культа Вишневскаго остается прибавить, что почитать или обожать св. Николая и св. Георгія тоже дозволялось не всякому, а только однимъ христіанамъ инославныхъ исповѣданій. Тѣ ласкою и почтеніемъ къ этимъ святымъ откупались отъ бѣдъ и входили въ милость у Степана Ивановича. Но евреямъ онъ отнюдь не дозволялъ прибѣгать подъ защиту этихъ свя-

намъ святого Юрія, или, по нынѣшнему произношенію, св. Георгія (по-народному «Юрко»).

Всякій инославецъ, выдержавъ испытаніе о св. Николаѣ, конечно, еще тверже говорилъ Вишневскому, что онъ уважаетъ святого Юрія «еще больше, якъ Николу».

Это Степану Ивановичу нравилось. Тѣмъ вся катехизація новопріемлемаго оканчивалась, и возсоединеннаго уже никогда болѣе разновѣріемъ не попрекали. Даже если кто-нибудь невзначай касался словомъ ихъ разницы, то Степанъ Ивановичъ это останавливалъ, говоря:

— Никакой нѣтъ разницы: онъ и Николу уважае, а святого Юрко еще больше.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Такъ исправившіе себя инославцы всходили на самыя перси психопата, а нѣмецъ даже управлялъ почти безотчетно однимъ имѣніемъ и такъ широко пользовался своими полномочіями, что̀ дѣлалъ почти все то самое, что̀ дѣлалъ и Вишневскій.

Степанъ Ивановичъ только въ разсужденіи женщинъ не позволялъ ему простирать требованій къ себѣ на дворъ, дабы никто не видалъ женщины настоящаго, греческаго закона «входящей къ нѣмцу». Изъ этого для нея могъ произойти срамъ, унизительный даже и для могущаго явиться ребенка. Нѣмецъ обязанъ былъ надѣвать лѣтомъ холодный, а зимою ватный халатъ и картузъ, и брать въ руки фонарь и идти самъ на деревню, въ сопровожденіи десятника, который «отвѣчалъ за его жизнь». А нѣмецъ былъ только ограничиваемъ однимъ наказомъ, чтобы отъ него не было никакого размноженія «нѣмецкой прибыли, а все шло въ прибыль русскую».

По деталямъ это казалось только частными ограниченіями, но въ общей сложности всего выходило, что нѣмецъ жаловался Степану Ивановичу, говоря:

— Никакъ нивозможность.

— А почему бы это такъ?

— Всѣ удираетси!..

Это означало, что какъ только нѣмецъ выходилъ въ свой почной походъ въ длинномъ спальномъ халатѣ и съ фонаремъ въ сопровожденіи «отвѣчавшаго за его жизнь», такъ

всѣ его издали видѣли и всѣ, кому угрожало по направленію его посѣщеніе, разбѣгались и прятались.

Степанъ Ивановичъ объ этомъ какъ будто сожалѣлъ, но ничего въ установленномъ имъ порядкѣ отмѣнять не дозволялъ.

— Безъ фонаря и безъ провожатаго тебя пришибутъ и выпотрошатъ, и отвѣчать за тебя мнѣ будетъ некому,—говорилъ онъ, какъ будто искренно признавая установленный имъ порядокъ за необходимое; но близко изучившіе его люди замѣчали, что притомъ, какъ онъ обсуждалъ съ нѣмцемъ его дѣло,—«одинъ усъ» у Степана Ивановича «смѣялся».

У него, какъ у настоящаго психопата, многое безтолковое соединялось съ хитрымъ и было такъ «пересыпано», что «не можно було добрать, що вінъ вередуе».

Игривыя штуки его съ нѣмцемъ кончились тѣмъ, что тотъ все ходилъ, мерцая своимъ фонаремъ, какъ ивановскій жукъ въ травѣ, пока, наконецъ, въ сѣняхъ одной крестьянской хаты ему отмяли бока, и провожатый, отвѣчавшій за его жизнь, принесъ его домой, гдѣ тотъ и не замедлилъ отдать Богу свою нѣмецкую душу, пожившую здѣсь съ почтеніемъ къ святителю Николаю и къ св. Георгію.

Но, несмотря на самоподчиненіе этого нѣмца названнымъ святымъ, Степанъ Ивановичъ все-таки нашелъ, что его недостойно было хоронить внутри кладбища, «вмѣстѣ съ родителями правой восточной вѣры», а указалъ закопать его «за оградою» и не крестъ поставить надъ нимъ, а положить камень, «дабы притомленные люди могли на немъ присѣсть и отпочить».

Все онъ во всѣхъ случаяхъ держалъ какой-то особливый, но въ своемъ родѣ очень сообразный тонъ, обличавшій въ немъ и юморъ, и почтительность къ родной вѣрѣ, утверждавшейся для него не столько на катехизическомъ ученіи, какъ на св. Николѣ и на Юркѣ. Но Богу единому вѣдомо, было ли это такъ, какъ выдавалъ Степанъ Ивановичъ, и не располагало ли имъ что-либо иное.

Для выраженія полноты религіознаго культа Вишневскаго остается прибавить, что почитать или обожать св. Николая и св. Георгія тоже дозволялось не всякому, а только однимъ христіанамъ инославныхъ исповѣданій. Тѣ ласкою и почтеніемъ къ этимъ святымъ откупались отъ бѣдъ и входили въ милость у Степана Ивановича. Но евреямъ онъ отнюдь не дозволялъ прибѣгать подъ защиту этихъ свя-

тыхъ, и даже тѣхъ, которые обнаруживали къ этому хоть малѣйшую наклонность,—подвергалъ взысканію. Такъ, былъ одинъ еврей, который въ чемъ-то обманулъ Степана Ивановича и былъ за то назначенъ къ поркѣ. Когда его повлекли отъ крыльца, съ котораго Вишневскій изрекалъ свой судъ,—еврей этотъ сталъ упираться и, жалостно кривляясь, кричалъ:

— Ой, кили жъ я шаную... я шаную и Мыколу... шаную и Юрко...

Степанъ Ивановичъ велѣлъ ликторамъ остановиться и переспросилъ трясущагося жидка:

— Что ты такое кричишь?

— Кили я шаную... Кили я шаную...

— Не лопочи,—скажи спокойно, кого шануешь?

— Ой же усихъ... ой обоихъ шаную... святого Мыколу и святого Юрка.

— Ну, это ты напрасно...

— Ой, отчего... ой, зачѣмъ напрасно... Кили жъ вони милостивы... можетъ, вони меня помилуютъ.

— Да, они милостивы, — это совершенно правда, но имъ, братку, никакого дѣла нѣтъ за жидовъ заступаться,— у васъ есть свой Моисей, ты его и кличь, когда тебя пороть будутъ; а за то, що ты осмілився своими жидовскими устами произнести таке свячене имя,—прибавьте ему, хлопци, еще десять плетюгановъ за Мыколу, да двадцать пьять за святого Юрка, що бы не дерзалъ ихъ трогать.

И несчастнаго еврейчика, конечно, отвели куда надо, и задали ему все, что̀ было назначено за обманъ,—съ прибавкою тридцати пяти ударовъ за неумѣстное, по мнѣнію Вишневскаго, ласкательство къ Николѣ и къ св. Георгію,— причемъ и тутъ тоже честь этихъ двухъ святыхъ не была сравнена, а за Николу давалось только десять «плетюгановъ», тогда какъ за св. Юрія двадцать пять.

Разумѣется, это дѣлалось неспроста, а по бо̀льшему почтенію и любви къ св. Юрію.

— «Бо се, выбачайте,—нашъ, русскій, а не зъ московьской стороны».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Упомянувъ не разъ, что Степанъ Ивановичъ отдавалъ видимый преферансъ тому, что̀ исходило «не зъ стороны

московьской», я долженъ предупредить читателя, чтобы онъ не поспѣшилъ счесть Вишневскаго политикомъ, сепаратистомъ или, какъ нынче называютъ, «хохломаномъ». Правда, что тогда на хохломанство не только смотрѣли сквозь пальцы, но даже совсѣмъ и знать о немъ не хотѣли; но если бы кто приступилъ къ душѣ Степана Ивановича и «со всякимъ испытаніемъ», то онъ не нашелъ бы тамъ ничего политическаго. Вѣрнѣе всего, онъ почувствовалъ бы себя тамъ какъ въ амбарѣ, гдѣ все навалено и все, почитай, есть, но никто толкомъ ничего не отыщетъ. Вишневскій противорѣчилъ рѣшительно всѣмъ, кромѣ своей первой жены, здѣсь уже довольно подробно описанной Степаниды Васильевны, изъ рода тверскихъ дворянъ Шубинскихъ. Если собесѣдникъ былъ хохломанъ и хвалилъ все малороссійское, то Вишневскій непремѣнно хотѣлъ выставлять недостатки малороссійскихъ нравовъ, и дѣлалъ это съ талантомъ, доводя свои сравненія до большой мѣткости и ѣдкости. Тогда онъ усердно похвалялъ Польшу, особенно Батура и Собіесскаго,—называлъ «Богдана» великимъ «пьянычкой» и приводилъ споръ къ рѣшительной, по его мнѣнію, формулѣ, что «Польша впала и насъ задавила». Но отзывался кто-нибудь со вздохомъ за Польшу,— и Степанъ Ивановичъ сейчасъ перемѣнялъ валъ въ своемъ органѣ и велъ рѣчь на великорусскій мотивъ.

— То правда,—говорилъ онъ: — були у нихъ вольности и поважанье, але що зъ того, якъ всѣ хотѣли быть «крулями» да надъ «крулями» каверзували. За те жъ то и згинули, и мусяли сгинуть, бо не тімъ занимались, що треба для благоденствія цілаго края, а шарпали ту несчастну свободу усякъ, кто якъ могъ, на свою сторону.

Онъ махалъ рукою и презрительно заключалъ:

— Ледаще, ледаще!

Но Вишневскій не былъ и поборникъ строгаго уваженія къ властямъ, а, напротивъ, какъ выше показано, самъ весьма часто и даже почти при всякомъ случаѣ готовъ былъ унижать и оскорблять органы законной власти. Не былъ онъ и демократомъ, не былъ и народникомъ въ нашемъ нынѣшнемъ понятіи. Напротивъ, самое скромное и, повидимому, безобидное учрежденіе выборной должности городскихъ головъ его смѣшило, и онъ ни за что не хотѣлъ называть ихъ «головами», а называлъ иначе. Словомъ, Виш-

невскій, по короткому, но мѣткому опредѣленію простыхъ людей, былъ «*панъ*, якъ се належи—якъ жубръ изъ Бѣловѣжи», т. е. онъ былъ «баринъ», какъ слѣдуетъ, все равно, что зубръ изъ Гродненской пущи, который не чета обыкновеннымъ быкамъ, а всѣхъ ихъ отважнѣе и сильнѣе. И какъ панъ, онъ наблюдалъ свое полное достоинство и зналъ толкъ въ этомъ дѣлѣ. Не имѣя настоящаго образованія и не читавъ неизвѣстныхъ еще тогда политическихъ разсужденій, написанныхъ позже такими людьми какъ Токвиль, — онъ вѣрно понималъ космополитическія стремленія настоящаго аристократизма, свойственныя также и настоящему демократизму, ибо при обоихъ объединяющимъ стимуломъ является принципъ, оттѣсняющій въ сторону симпатіи національности. Вишневскій недолюбливалъ поляковъ, но чуть рѣчь заходила о какихъ-нибудь именитыхъ людяхъ «московськихъ», — онъ сейчасъ начиналъ строить ироническія гримасы и, улучивъ минуту, когда Степанида Васильевна не была въ комнатѣ, говорилъ:

— Ну, какая тамъ у нихъ именитость!—у всѣхъ у нихъ дѣды и бабки батогами биты.

Съ этой точки зрѣнія, Вишневскій превозвышалъ польскую знать и даже ливонскихъ бароновъ; но если бы съ ними у Россіи зашла война, онъ бы не утерпѣлъ и пошелъ бы ихъ «колотить» со всеусердіемъ, ибо хотя онъ втайнѣ завидовалъ чистотѣ ихъ «родовитой крови», но терпѣть не могъ въ нихъ «собачьей брови», т. е. ихъ высокомѣрія и надменія, которыя ему были противны, такъ какъ онъ считалъ себя простымъ и прямодушнымъ.

Кто могъ бы разобраться во всемъ этомъ, что̀ было наворочено подъ черепомъ у этого психопата? Но возникалъ случайно передъ нимъ какой-нибудь вопросъ или случай необыкновеннаго свойства, — и вся эта психопатическая «бусырь» куда-то исчезала и Степанъ Ивановичъ обнаруживалъ самую удивительную, тоже, пожалуй, психопатическую находчивость. Онъ дѣйствовалъ смѣло и разсчитанно въ обстоятельствахъ сложныхъ и опасныхъ и шутя выводилъ людей изъ затрудненій и большихъ бѣдъ, которыя угрожали тѣхъ задавить.

Одинъ изъ такихъ случаевъ разсказываютъ объ офицерахъ какого-то драгунскаго полка, квартировавшаго не то

въ Пирятинѣ (полтавской губерніи), не то въ Бѣжецкѣ (тверской губерніи).

Этотъ занимательный случай одни усвояютъ тверской области, а другіе Малороссіи, и что правѣе—судить трудно, да едва ли и стоитъ ломать надъ этимъ голову. Случай таковъ, что онъ съ одинаковою вѣроятностію могъ произойти въ любомъ городкѣ, но, судя по характерамъ двухъ упоминаемыхъ здѣсь «панычей», кажется, статочнѣе прилагать это къ нравамъ малороссійскаго подычества.

Намъ, впрочемъ, дѣло не въ точномъ обозначеніи мѣста, а въ самой картинѣ событія и въ томъ участіи, которое принялъ въ немъ нашъ психопатическій герой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Въ Пирятинѣ (примемъ за данное, что это было тамъ) стояли драгуны. Части полка были расположены и въ другихъ мѣстностяхъ. Полковой командиръ квартировалъ, можетъ-быть, въ Переяславѣ.

Разумѣется, на стоянкѣ въ крошечномъ городкѣ офицеры скучали отъ бездѣлья и развлекались, разъѣзжая въ гости къ помѣщикамъ. Когда же выдавалось нѣсколько дней домосѣдства, они кутили, играли въ карты и пили въ погребкѣ при лавкѣ какого-то мѣстнаго торговца виноградными винами. Торговецъ былъ еврей, любилъ обирать офицеровъ и разгулу ихъ потворствовалъ, но самъ ихъ боялся и, — для того ли, чтобы они хоть мало-мальски вели себя тише при возбужденіи, — онъ повѣсилъ въ томъ помѣщеніи, гдѣ пировали его гости, портретъ лица, которое, по его понятіямъ, могло напоминать посѣтителямъ его заведенія объ уваженіи къ законамъ благочинія. Можетъ-быть, это было умно, но повело къ исторіи.

Какъ-то, въ самую скучную лѣтнюю пору, въ городъ заѣхалъ жонглеръ и, ходя по городу, давалъ, гдѣ его принимали, свои незамысловатыя представленія, изъ коихъ одно пришлось очень по вкусу господамъ офицерамъ: артистъ сажалъ свою дочь на стулъ, плотно подвигая его спинкой къ стѣнѣ, и, доставъ изъ мѣшка нѣсколько кинжаловъ, металъ ихъ въ стѣну такъ, что они втыкались, обрамливая голову дѣвушки со всѣхъ сторонъ, но нигдѣ ее не задѣвая.

Такое твердое и ловкое упражненіе оружіемъ весьма за-

пяло людей, знакомыхъ съ трудностію этихъ смѣлыхъ эволюцій кинжалами, и вотъ офицеры, собравшись однажды тамъ, гдѣ было имъ за обычай пить и закусывать кусочками сыра, наструганнаго наподобіе вывѣтрѣлыхъ остриженныхъ ногтей, стали говорить о метаніяхъ кинжала, и когда сдѣлались уже пьяны, то одному изъ нихъ пришло въ голову, что и онъ можетъ продѣлать то же самое.

Кинжаловъ при нихъ не было, но на столѣ находились вилки, которыя до извѣстной степени при этомъ опытѣ могли замѣнить кинжалы. Если ихъ и не такъ легко было бросать съ прицѣломъ, то все же таки онѣ втыкались въ стѣну.

Остановка была за человѣческимъ лицомъ, около котораго можно бы натыкать вилокъ. Изъ офицеровъ, разумѣется, ни одинъ не пожелалъ самъ подвергнуть себя этакому опыту. Надо было найти личность низшаго разряда, конечно, самое лучшее жида, — и разгулявшіеся офицеры отнеслись съ предложеніемъ такого рода къ прислуживавшимъ евреямъ, но тѣ, по трусости и жизнелюбію, не только не согласились сидѣть на такомъ сеансѣ, но даже покинули свои посты при торговлѣ и предоставили всю лавку во власть господъ офицеровъ, а сами разбѣжались и скрылись, хотя, конечно, не переставали наблюдать изъ скрытныхъ мѣстъ за тѣмъ, кто что будетъ брать и, вообще, что станетъ далѣе дѣлать шумливая компанія.

На этотъ грѣхъ случай поднесъ сюда двухъ молодыхъ приказныхъ, по мѣстному выраженію—«судовыхъ панычей», которые въ этотъ день, вѣроятно, стянули съ кого-нибудь «добраго хабара» (т. е. хорошую взятку) и пришли угостить себя въ погребкѣ холоднымъ донскимъ виномъ полыннаго привкуса.

Офицерамъ тотчасъ же пришла мысль пріурочить этихъ панычей для своего опыта, — для чего тѣмъ сначала было предложено вмѣстѣ выпить, а потомъ къ нимъ стали приставать, чтобы который-нибудь изъ нихъ посидѣлъ на сеансѣ.

Панычи оказались очень странными людьми, совершенно разнаго нрава,—одинъ какъ Гераклитъ, а другой какъ Демокритъ. Придя съ жару въ холодный погребокъ, они какъ выпили холоднаго вина, такъ ихъ и развезло, и потому, когда офицеры стали къ нимъ приставать, они вмѣсто того,

чтобы скорѣе уйти, не трогались съ мѣста. Считая себя на равной ногѣ, какъ аборигены, они начали проявлять свой характеръ. Одинъ на дѣлаемыя ему предложенія смѣялся и отпускалъ раздражавшія офицеровъ малороссійскія шуточки, а другой раскисъ и сталъ плакать. И хотя его уже никто не трогалъ, но онъ все продолжалъ кричать: «Не чепайте меня! Идите соби до біса! дайте мени святого покою!»

Оба эти панычи такъ надоѣли офицерамъ, что тѣ, наконецъ, поступили съ ними по-свойски, — т. е. похлопали ихъ и подбили подъ столъ и рѣшили держать тамъ, «какъ поросятъ», до тѣхъ поръ, пока окончится пирушка. Это было и удобно, и безопасно, ибо подъ столомъ панычей офицеры удерживали ногами, имѣя и рты и руки свободными, а между тѣмъ, черезъ обезпеченіе личности панычей устранялся скандалъ, который казался неизбѣжнымъ при мерзкомъ характерѣ, какой обнаруживали эти неуступчивые молодцы. Одинъ изъ нихъ непремѣнно бы сталъ на площади или на улицѣ визжать на весь городъ, а другой, чего добраго, могъ бы взлѣзть на заборъ или подойти къ окну и тутъ же черезъ окно дразниться.

Тогда пришлось бы за нимъ бѣгать, его доставать и ловить, — все это было бы скандально и непремѣнно бы собрало бы кучу бабъ и жиденятъ. Словомъ, вышло бы совсѣмъ неприлично офицерскому званію,—между тѣмъ какъ панычи, подбитые подъ столъ, сидѣли тамъ смирно и только жались, обнявшись другъ съ другомъ, на тѣсномъ пространствѣ, гдѣ ихъ тѣснили офицерскія ноги, въ сапогахъ со шпорами.

Все было прекрасно, но въ компанію замѣшался чортъ, и все дѣло испортилось: офицеры до того запьянѣли, что стали метать вилки въ портретъ, разсчитывая, что могутъ окружить его такъ же ловко, какъ жонглеръ окружалъ кинжалами голову живого человѣка. Но чортъ тутъ и былъ: какъ только первый офицеръ метнулъ вилку, бѣсъ толкнулъ его подъ локоть — и вилка попала въ самый глазъ портрета. Метнулъ другой офицеръ, а чортъ опять навелъ вилку по тому же направленію въ другой глазъ, и тогда въ опьянѣвшей компаніи развилось соревнованіе, — вилки полетѣли одна за другою и совсѣмъ изуродовали лицо портрета.

Въ пьяномъ загулѣ, перешедшемъ уже въ состояніе умственнаго омраченія, офицеры не придали этому событію никакого особеннаго значенія. Попортили картину—больше ничего. Не Богъ вѣсть какого она мастера,—не Рафаэлево произведеніе и огромныхъ суммъ стоить не можетъ. Призовутъ завтра жида-хозяина, спросятъ его, сколько картина стоила, хорошенько съ нимъ поторгуются и заплатятъ, — и на томъ квитъ всему дѣлу. Зато какъ было весело, сколько шутили и смѣялись при всякой неудачѣ бросить вилку такъ мѣтко, какъ бросалъ жонглеръ.

— Нѣтъ, онъ, шельма, лучше дѣлалъ. Намъ такъ не сдѣлать. И славу Богу, что никто живой не согласился передъ нами сидѣть, а то бы мы живому глаза повыкололи — тогда и не раздѣлаться.

Очень рады были добрые удальцы, что такъ хорошо дѣло кончилось одними смѣшками да шутками, и, поддерживая другъ друга, разбрелись по квартирамъ. Уходя, они совсѣмъ даже позабыли про судовыхъ панычей, которые притихли подъ столомъ и не подавали о себѣ ни слуху, ни духу.

А дѣло было совсѣмъ не такъ просто и совсѣмъ неблагополучно, какъ думали разошедшіеся на отдыхъ добрые ребята.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Какъ только офицеры разошлись и оставленная ими камора при еврейской лавкѣ опустѣла, «судовые панычи» вылѣзли изъ-подъ стола и, расправя окоченѣвшія отъ долгаго согбенія колѣни, оглядѣли вокругъ свою диспозицію... Все было тихо — ни въ каморѣ, ни въ лавкѣ ни души, а сквозь густое облако табачнаго дыма со стѣны едва былъ виденъ изуродованный портретъ съ выколотыми глазами и со множествомъ рваныхъ дырокъ въ другихъ мѣстахъ.

По счастью для однихъ и по несчастью для другихъ, панычи были много трезвѣе офицеровъ, потому что, когда тѣ довершали свое опьянѣніе за столомъ, изъ-за котораго метали въ портретъ вилки, заключенные подъ столомъ Гераклитъ и Демокритъ значительно «прочунѣли»,—чему, можетъ-быть, сильно содѣйствовали и страхъ, и воздержаніе, и жажда мести, которая въ нихъ зажглась, и они придумали прекрасный планъ наказать своихъ обидчиковъ.

Панычи, недолго размышляя, сняли со стѣны израненный портретъ и, выбѣжавъ съ нимъ вмѣстѣ на крылечко лавки, закричали: «гвалтъ!»

— Люди добрые, сходытесь... Кто въ Бога віруе и старшихъ поважае, дывитесь... Ось якъ охвицеры такой персоны патретъ спонивадыли!

И сейчасъ на этотъ зовъ — ни вѣсть откуда, какъ изъ земли, выросли спрятавшіеся на время дебоша хозяева, прибѣжали съ торга бабы-перекупки, загалдѣли жиденята,— и пошла исторія.

Жидъ-хозяинъ, больше всѣхъ струсившій и всѣхъ болѣе недовольный скандаломъ, закрылъ себѣ большими пальцами глаза, какъ закрываетъ ихъ благословляющій раввинъ, и кричалъ:

— Я ничего небачывъ и теперь не бачу да и не знаю, кто сей войсковій панъ, ще тутъ писанъ... Дай Богъ ему, чтобъ все доброе, а только мени... мени теперь эта картына совсѣмъ не нужна... Я ее жертвую: берите ее себѣ кто хочетъ.

А Демокритъ возглашаетъ:

— Мы то знаемъ... яка се персона и протестуемось... Бачте, добри люди, — очей нема, повыколованы. Несемъ портретъ до городничаго.

И Демокритъ понесъ израненный портретъ по улицѣ къ городническому дому, а Гераклитъ его сопровождалъ и опять раскисъ на тепломъ солнышкѣ и плакалъ, и всѣ, кто за ними слѣдовалъ, указывали на него съ похвалою, говоря:

— Отъ се жъ дивитесь яке чувства маетъ!

А офицеры себѣ спятъ да спятъ и не чуютъ, что они опротестованы и что дѣло это имъ непремѣнно натворитъ хлопотъ, съ которыми не знать какъ и развязаться.

Но если грузенъ былъ ихъ хмельной сонъ, то не легко было и пробужденіе на слѣдующее утро.

Рано всѣхъ собутыльниковъ описанной попойки обѣжалъ вѣстовой отъ усатаго маіора или ротмистра, который командовалъ эскадрономъ и представлялъ своимъ лицомъ высшую полковую власть въ мѣстѣ расположенія.

Конечно, ротмистръ еще не Богъ вѣсть какое высокое начальство,—почти то же, что «свой братъ Исакій», и порою «вмѣстѣ пляшетъ»,—однако офицеры струхнули.

Главное лихо въ томъ было, что у нихъ еще головы трещали и они никакъ не могли вспомнить всего, что̀ вчера происходило въ каморѣ при жидовской лавкѣ... Что-то такое помнилось, что было будто крѣпко закручено, да только не все подъ рядъ вспомнить, а что-то обрывается и являются промежутки времени, когда будто даже и самаго времени не было... Помнится, что будто разогнали жидовъ, да вѣдь это совсѣмъ не важно и не разъ это случалось и при самомъ ротмистрѣ. Разогнать никого не бѣда, а особенно жидовъ, потому что это такой народъ, который самыми высшими судьбами обреченъ на «разсѣяніе». Жидъ насчитаетъ лишнее, положитъ за выпитое то, что и не было пито, и за то поврежденное и разбитое, что совсѣмъ не повреждалось; но они разсчитаются съ нимъ и опять будутъ жить ладно до новой исторіи. Жидъ самъ же имъ поставитъ первую выставку безъ денегъ «на мировую», а потомъ они заохотятся и поддержатъ коммерцію... Не можетъ быть, чтобы это онъ, жидъ, захотѣлъ съ ними ссориться и былъ причиною внезапнаго ранняго призыва ихъ къ старшему офицеру!.. Развѣ что-нибудь приказные... Кажется, будто тамъ были какіе-то два приказные... «судовые панычи»... Тоже кушанье неважное... мало ли ихъ вездѣ въ то время военные люди трепали!.. Да и чего они больше стоятъ — это крапивное сѣмя, взяточники?.. Развѣ вотъ только не обрубили бы которому-нибудь изъ нихъ носъ или уши!.. Вотъ это скверно, — отрубленнаго не приставишь... Но, — Богъ милостивъ, — сходили съ рукъ и не такія дѣла, — сойдетъ и это. Да и на что приказному носъ? — развѣ только чтобы табакъ нюхать да обсыпать имъ казенную бумагу... А хабаръ или взятка не жаркое, онъ ее и такъ, безъ носа почуетъ... Разумѣется, придется сложиться и заплатить, но въ складчину это не тяжело будетъ...

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Въ такихъ или приблизительно въ подобныхъ сему размышленіяхъ офицеры, мало унывая, потянулись къ квартирѣ своего старшаго товарища и вступили въ его просторную, но низенькую залу, въ малороссійскомъ домикѣ, смѣло; но тутъ сразу же замѣтили, что дѣло что-то очень неладно. Ротмистръ ихъ не встрѣчаетъ за панибрата — въ

полосатомъ канаусовомъ архалукѣ, съ трубкой въ зубахъ, а двери въ его кабинетъ заперты, — пока, значитъ, всѣ соберутся, тогда онъ и выйдетъ и заговоритъ ко всѣмъ разомъ...

Эта офиціальность не обѣщала ничего добраго, и сходящіеся офицеры переглядывались другъ съ другомъ и, понизивъ тонъ до полушопота, спрашивали одинъ у другого:

— Да что это такое?.. Что мы вчера надѣлали?

Одному кому-то на переходѣ по улицѣ удалось что-то услыхать про портретъ...

— Портретъ, портретъ... Что такое за портретъ?!

Никто не можетъ вспомнить.

А въ это время дверь вдругъ отворяется и изъ кабинета выходитъ ротмистръ, въ мундирѣ съ эполетами и усы оттопырены, и, не поздоровавшись, начинаетъ рѣчь словами, гораздо позднѣе вложенными Гоголемъ въ уста Сквозника-Дмухановскаго.

— Я пригласилъ васъ, господа, для того, чтобы сообщить вамъ пренепріятное извѣстіе: на васъ подана жалоба по гражданскому начальству, и мнѣ сообщилъ о ней городничій; я долженъ васъ арестовать. Пожалуйте мнѣ ваши сабли и извольте сейчасъ чистосердечно объясниться: что вы такое вчера надѣлали въ лавкѣ?

Офицеры стали безропотно снимать сабли и подавать ихъ эскадронному, но насчетъ «чистосердечнаго объясненія» отвѣчали, что они и сами рады бы узнать, что такое именно они надѣлали, но не могутъ привести себѣ этого на память.

Ротмистръ еще принасупился и еще суровѣе произнесъ:

— Прошу не шутить! я съ вами говорю по службѣ, какъ старшій!

— Шутокъ и нѣтъ,—отвѣчалъ одинъ изъ обвиняемыхъ:— а ей-Богу мы не помнимъ.

— Припоминайте!

— День былъ жаркій... вошли невзначай... стали пить въ холодкѣ полынное... съ жидами за что-то поспорили... но худого умысла не имѣли... Тамъ даже были два приказные, и тѣ все могли видѣть...

— То-то и есть... два приказные! Въ нихъ-то и дѣло. Эти два приказные, дѣйствительно, могли все видѣть, и они и видѣли, а вотъ вы чѣмъ будете противъ нихъ оправдываться? Срамъ нашему званію!

— Да въ чемъ оправдываться?... Позвольте узнать, — проговорили офицеры.

— А вотъ въ чемъ вамъ надо оправдываться!—воскликнулъ ротмистръ и, вынувъ изъ кармана сложенный вчетверо листъ бумаги, сталъ читать обязательно сообщенную ему городничимъ копію съ извѣта судовыхъ панычей, гдѣ писано, какъ господа офицеры повреждали портретъ метаніемъ вилокъ, несмотря на то, что они, случившіеся на мѣстѣ преступленія судовые панычи, «имѣя въ сердцахъ своихъ страхъ Божій и любовь ко Всевышнему», во все это время стояли на колѣняхъ и до того даже, что растерзали на тѣхъ мѣстахъ объ полъ имѣвшіяся на нихъ въ ту пору единственныя шаровары и по той причинѣ теперь лишены возможности ходить на исправленіе обязанностей службы. А потому они противъ всего оказаннаго офицерами безчинства по долгу своему протестуютъ, а за панталонное поврежденіе просятъ взыскать съ виновныхъ, особенно въ пользу каждаго, по двадцати рублей ассигнаціей.

Дочиталъ это ротмистръ и, свистнувъ вѣстовому, велѣлъ подать изъ своей спальни портретъ, на которомъ офицеры воочію могли увидѣть слѣды своего вчерашняго времяпровожденія, и остолбенѣли...

А ротмистръ межъ тѣмъ снялъ съ себя мундиръ и, оставшись въ одномъ военномъ галстукѣ, сѣлъ на столъ и, заложивъ руки за вышитыя гарусныя подтяжки, заговорилъ другимъ голосомъ:

— Дѣло, господа, плохое. Это имѣетъ предрянной характеръ, потому что тутъ чортъ знаетъ что̀ такое присочинятъ... Какая-то ничтожная приказь, дрянь, канцелярскіе съ приписью подьячіе и противъ офицеровъ... Я съ вами обошелся какъ старшій, а теперь говорю какъ товарищъ... Этого такъ предоставить своему обыкновенному теченію невозможно, а надо предупредить быстротою и чистосердечною военною откровенностію, какъ прилично благороднымъ людямъ... Поможетъ это или нѣтъ, но надо дѣйствовать откровенно и честно. Прошу садиться, закуривайте трубки и давайте думать. А мое мнѣніе такое: грѣхъ воровать, да нельзя миновать. Надо тѣмъ пользоваться, что почта въ Переяславъ вчера ушла и теперь опять только черезъ три дня пойдетъ. Это ваше счастье. Я отобралъ у васъ сабли, и вы выберите поскорѣе изъ

себя двухъ, и пусть они скачутъ къ полковнику и разскажутъ ему все по совѣсти. Онъ съ губернаторомъ хорошо знакомъ и помочь можетъ.

Лучше этого плана не могли и придумать, и черезъ часъ два офицера уже скакали изъ Пирятина въ Переяславъ, а на дорогѣ у нихъ Фарбованая; съ неба послѣ жары и духоты ударилъ громъ и полилъ ливень, и въ потокахъ воды, какъ пузырь, выскакиваетъ передъ офицерами изъ хлѣбовъ хохолъ въ видлогѣ.

— Що за люди съ дзвономъ и чого треба?

Отвѣчаютъ:

— Мы офицеры, ѣдемъ по своему дѣлу.

— А якъ по своему ділу, то вертайте до нашего пана Вишневскаго.

Офицеры было не хотѣли, но хохолъ ихъ убѣдилъ, что:

— Се вже такички... такая поведенцыя.

Заѣхали, чтобы переждать дождикъ и грозу, а Степанъ Ивановичъ встрѣчаетъ ихъ радушно, — сейчасъ напоилъ, накормилъ и спрашиваетъ:

— Что вы, господа, волей-неволей или своею охотою дальше рветесь въ такую погоду?

Офицеры отвѣчаютъ по-сказочному, — что ѣдутъ они и волей, и неволей, и своею охотою.

— А именно?.. Можетъ-быть, я пособить вамъ могу, что и ѣхать не надо будетъ.

Тѣ вздохнули и говорятъ:

— Нѣтъ, у насъ такое трудное дѣло, что развѣ только полковникъ губернатора упросить можетъ.

— Ну, однако — что̀ такое губернаторъ? Я вѣдь не изъ пустого любопытства спрашиваю.

Офицеры разсказали.

Вишневскій поводилъ себя растопыренными пальцами по темени, чихнулъ и говоритъ:

— Это совсѣмъ не губернаторское дѣло, и вамъ въ Переяславъ ѣхать не зачѣмъ. Никто вамъ не поможетъ, если не дать дѣлу правильнаго оборота.

— А какъ ему дать правильный оборотъ?

— Ну, это мнѣ надо еще почихать.

И Степанъ Ивановичъ опять поводилъ себѣ пальцами по темени, чихнулъ и говоритъ:

— Да, вижу я, что всѣ вы хоть москали и надо бы

вамъ насъ учить, а вы дѣло не хорошо поставили и можете его совсѣмъ испортить, если поѣдете къ старшимъ. Вы вашею откровенностію себѣ не поможете и начальство затрудните, а вотъ я васъ до завтраго у себя арестовываю и имѣю право арестовать, потому что вы мнѣ сами сознались, что сбѣжали, да при васъ и вашихъ сабель нѣтъ. Прошу пожаловать во флигель, — тамъ вамъ готовы всѣ услуги, и спите крѣпко, а завтра утромъ все ваше дѣло приметъ такое правильное направленіе, какъ слѣдуетъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Офицеры, поговоривъ, подумали: что же, до утра подождать бѣда не велика,—и подчинились своеобычному хозяину. Они ушли во флигель, а фарбованскій панъ крикнулъ гайдука Прокопа, велѣлъ ему сѣсть въ бричку и скакать въ Пирятинъ, гдѣ найти такихъ-то двухъ судовыхъ панычей и во что бы ни стало привезти имъ къ утру въ Фарбованую.

Гайдукъ поскакалъ, разыскалъ панычей и говоритъ:

— Мій панъ Вишневьскій нездужае. Такъ ему прикоротіло, що ажъ не знаю, чи вінъ до вечера додышитъ. Схопывся, колысь теперечки отказну духовну писать и приславъ меня до васъ просити, щобъ сейчасъ увзяли съ собою каломарь и паперу и іхалы со мною, въ свидѣтеляхъ подписаться. Вамъ за се добрый хабаръ буде.

Панычи знали, что Вишневскій *никогда не болѣлъ*, а такіе если заболятъ, то къ смерти.

Они подумали: «Вѣрно онъ помретъ, то и мы себѣ что-нибудь въ духовной припишемъ. Онъ больной не расчухаетъ».

Такъ они съ радостію скоро собрались и поѣхали и какъ Степанъ Ивановичъ только проснулся, — они уже у него на крыльцѣ стоятъ.

Степанъ Ивановичъ сдѣлалъ для этихъ гостей маленькую отмѣну въ пріемномъ этикетѣ. Въ домъ онъ ихъ, разумѣется, тоже не впустилъ, но велѣлъ вынесть на свой лиоостротопъ маленькій столикъ и на двухъ панычей одинъ стулъ, — только съ тѣмъ, чтобы они не смѣли на него садиться.

Затѣмъ онъ вышелъ къ нимъ въ картузѣ съ большимъ козырькомъ и повелъ политику.

— Васъ, говоритъ, — мой гайдукъ надулъ, будто я помираю. Это еще, хлопци, Богъ дастъ, не скоро будетъ, и я до тѣхъ поръ привезу для своей духовной другихъ свидѣтелей, васъ поисправнѣе. А я привезъ васъ сюда для вашего блага...

Тѣ смотрятъ.

— Что вы тамъ, анаѳемы, позавчера у жида въ каморѣ надѣлали? А?

Панычи выразили удивленіе.

— Помилуйте... Кто это вамъ наговорилъ?.. Мы ничего, а это офицеры...

— Да, да, — я все знаю. Потому мнѣ васъ и жаль, что вы, дурни, вздумали свою вину на офицеровъ взваливать, какъ будто это вамъ поможетъ... Вы-бъ таки одно то вздумали, что офицеровъ шесть человѣкъ свидѣтельствуютъ, что вы портретъ повредили, а васъ противъ нихъ всего только двое... Кто же вамъ повѣритъ?

— Позвольте... да мы...

— Нечего, нечего пустяки говорить,—перебиваетъ Вишневскій.—Я все знаю, — мнѣ все извѣстно. Вы тамъ задумали доносъ писать, и когда еще вашъ тотъ доносъ пойдетъ, — а ужъ офицеры поскакали и въ Переяславъ, и въ Полтаву, и въ Кіевъ. Хвала Божья, що я ихъ перехвативъ да у себя зариштовавъ... Ихъ шесть человѣкъ и всѣ видѣли, какъ вы вилки кидали...

— Позвольте... да когда же мы кидали?

— Нечего, нечего!—не даетъ слова Вишневскій: — васъ двое, а ихъ шесть, и вамъ не выкрутиться. Притомъ они васъ знатнѣе... они благородные дворяне, а вы что такое?— яки-сь крученые панычи, пидкрапивники...

— Да мы въ правдѣ...

— Цыцъ! что такое за правда съ москалями! Ихъ шесть, а васъ двое... Кто-жъ вамъ повѣритъ? И развѣ вы не знаете, что у насъ и все большое начальство тоже московское. Да еще и забісовьски жиды навѣрно за сильнѣйшаго потягнутъ — скажутъ, что видѣли, какъ вы кололи.

— Смилуйтесь, пане, — вѣдь жиды-жъ шельмы!

— Да кто-жъ вамъ говоритъ, что они не шельмы, а только они на васъ покажутъ... Вотъ потому-то мнѣ васъ и жаль, что вы въ такую біду попали, ажъ просвіту нэма.

Подьячіе, понимая толкъ въ формахъ судопроизводства, видятъ, что, чортъ возьми — дѣло-то вѣдь въ самомъ дѣлѣ плохо и не только нѣтъ никакого преферанса на ихъ сторонѣ, а даже, пожалуй, какъ пить дадутъ — всю вину на нихъ взвалятъ.

— Ихъ вѣдь шестеро... а насъ двое... А!

— Да... А еще жиды, можетъ-быть...

— Что же дѣлать?

— Что намъ, ваша милость, дѣлать?

— А я вотъ что научу васъ сдѣлать. Садись-ка одинъ изъ васъ и пиши, что я говорить буду.

Началось писаніе, а Степанъ Ивановичъ диктуетъ:

«Бувъ малосмысленны отъ природы и отъ обращенія въ хабарной бідности помрачени совістью»...

Пишущій пріостановился... но Вишневскій его подогналъ:

— Пиши, пиши! Это такъ надо.

«Помрачени совістью... мы такой-то и такой судовые копіисты, придя въ камору при жидовской лавкѣ, упилися до безумія нашего и, зачавъ за хабара спориться, стали другъ въ друга метать вилками, и какъ були весьма пьяны, то попали неосторожностью въ портретъ»...

Пишущій опять остановилъ руку, но Степанъ Ивановичъ пощупалъ его за затылокъ, и тотъ сейчасъ же сталъ продолжать и написалъ до конца цѣлый актъ своего сознанія въ невольной винѣ и потомъ въ томъ, что «по опасенію своему они рѣшились было возвести свою вину на офицеровъ, уповая, что тѣмъ, какъ людямъ войсковымъ, ничего не будетъ. Но нынѣ, чувствуя свое согрѣшеніе и помышляя часъ смертный, они въ томъ каются и просятъ у офицеровъ прощенія и *недонесенія*. А за провинность свою, въ пьяномъ видѣ сдѣланную, сами упросили пана Вишневскаго родительски наказать ихъ у него въ селѣ Фарбованой по возможности розгами, послѣ чего Вишневскій будетъ, въ случаѣ надобности, просить, чтобы дѣло не начиналось».

— Да за що жъ... ваша милость, за що жъ насъ же и битимуть?

— Это только такъ пишется!

Они подписались, и Вишневскій подписалъ, и позвалъ офицеровъ.

— И вы, говоритъ,—господа, подпишите, что согласны ихъ простить отъ своего общества и ужъ, пожалуйста, по-военному — будьте великодушны, ни до кого этого дѣла... не доводите. Я вѣдь межъ васъ порукою.

И тѣ подписали.

— Вотъ такъ чисто,—сказалъ Степанъ Ивановичъ, кладя въ карманъ бумагу, — а теперь,—добавилъ онъ, обращаясь къ людямъ,—сведите этихъ панычей на конюшню и велите ихъ тамъ добре выпороть.

— Помилуйте, — что такое...

— А то що такое? — это же такъ... якъ писано есть! Що жъ вы уже писанію хотите противиться! Эге! добры панычи. Выпорите ихъ, хлопци!

И выпороли.

Этихъ панычей послѣ, говорятъ, будто долго спрашивали:

— Що якъ имъ трапилось: якъ вони въ Фарбованой фарбовались?

А къ Степану Ивановичу въ Фарбованую пріѣзжалъ командиръ и хоть словами не говорилъ, но всѣмъ выражалъ ему свою признательность за такое находчивое и «правильное направленіе дѣла».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Самъ въ собственныхъ своихъ дѣлахъ Степанъ Ивановичъ былъ предусмотрителенъ и поддавался ошибочнымъ увлеченіямъ только тогда, когда его отуманивала любовная страсть. И высшее въ этомъ родѣ безумство овладѣло имъ по одному случаю, бывшему именно съ тою тонкой и стройной Гапкой Петруненко, у ногъ которой мы его оставили на коврѣ.

Во время любви Вишневскаго къ этой дѣвушкѣ, въ церкви села Фарбованой былъ священникъ, котораго называютъ Платономъ. Онъ имѣлъ будто довольно общую русскимъ людямъ слабость, что трезвый «на все добре мовчалъ», а выпивши — любилъ говорить и даже «правдуматку різать».

На другой день, послѣ того, какъ Вишневскій всталъ съ ковра, онъ радостно объявилъ утромъ Степанидѣ Васильевнѣ важную новость.

Гапка ощутила въ себѣ біеніе новой жизни.

— И то, что отъ нея родится, ужъ не будетъ моимъ крѣпакомъ, а будетъ вольнымъ,—сказалъ Вишневскій.

Степанида Васильевна встала и поцѣловала мужа въ голову.

Это былъ рѣдкій даръ любви со стороны Степана Ивановича, потому что все великое множество его дѣтей были писаны за нимъ «душами» и благополучно исправляли паньщину на его поляхъ.

И Гапочка была веселенькая.

А черезъ часъ она пошла себѣ рвать малину, и тогда къ садовой оградѣ подошелъ въ правдивомъ настроеніи отецъ Платонъ. Онъ увидалъ дѣвушку и заговорилъ съ ней пастырскимъ тономъ:

— Що, дивчинка — весела?.. Веселись, веселись, — ішь малынку сладѐньку... а якъ родышь дытынку маленьку, такъ тоди тобѣ буде по потылицѣ...

— Зачѣмъ такъ? — оглянулась на него въ бокъ Гапка, вдругъ внезапно сконфуженная и огорченная... потому что, — какъ это ни странно, — Вишневскаго любили многія женщины, дѣлавшіяся сначала его любовницами противъ своей воли. И Гапка чувствовала то же самое и спросила: зачѣмъ ей непремѣнно надлежитъ быть прогнанной, какъ только она родитъ дытыну.

— А затѣмъ, — отвѣчалъ батюшка: — що на панскомъ дворѣ не держатъ коровку по второму теленку.

Только всей и причины было со стороны отца Платона, а Гапочка была впечатлительна, особенно въ новомъ, чуткомъ состояніи своего организма, и стала горько плакать; но, какъ скрытная малороссіянка, она ни за что не хотѣла сказать о чемъ плачетъ. Степанъ Ивановичъ самъ о всемъ довѣдался: люди видѣли, какъ священникъ говорилъ съ Гапкою, и донесли пану, а тотъ сейчасъ потребовалъ своего духовнаго отца къ себѣ на исповѣдь и говоритъ ему:

— Что такое ты насказалъ Ганци?

Священникъ не могъ рѣшиться сказать, что онъ говорилъ дѣвушкѣ, и говоритъ:

— Не помню.

Вишневскій взбѣсился и заоралъ:

— Ага!.. я теперь тебя знаю: это ты самъ до нея матався... Ты думалъ, що вона мене на тебя зміняе?

— Что вы, что вы, ваша милость...

— Нечего «моя милость». Моя милость только тѣмъ тебя помилуетъ, что, какъ духовный сынъ твой, я бить тебя не велю, а пускай тебя уберутъ, якъ слідъ, и проведутъ по селу, щобъ бачили, якій ты паскудникъ...

Несчастнаго взяли, раздѣли, всунули его въ рогожный куль, изъ котораго была выставлена въ прорѣзъ одна голова, и въ волосы ему насыпали пуху и въ такомъ видѣ провели по всему селу.

Священникъ ѣздилъ, жаловался, просилъ перевода и получилъ его, безъ всякихъ, впрочемъ, неудобныхъ для Степана Ивановича послѣдствій.

Отмщеніе ему воздалъ самъ обиженный священникъ, но отмщеніе смѣшное и очень позднее. Оно открылось черезъ много лѣтъ, когда Степанъ Ивановичъ задумалъ выдавать замужъ одну изъ своихъ дочерей. Тогда потребовалась выписъ изъ метрическихъ книгъ, и тамъ неожиданно нашли глупую и совершенно безсмысленную запись по подчищенному, что такого-то Степана Ивановича и *законной* жены его родилась *незаконная* дочь такая-то...

Это было безсмысленно и серьезнаго вреда Степану Ивановичу причинить не могло, но это его ужасно сконфузило. Какъ, съ нимъ и осмѣлились отшутить такую шутку!.. И кто же? — попъ! И притомъ — онъ останется неотомщеннымъ... потому что отецъ Платонъ раньше этого волею Божіею умеръ.

Иначе, разумѣется, Степанъ Ивановичъ нашелъ бы его и въ чужомъ приходѣ...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Таковы были дикіе поступки этого оригинала, которые теперь, въ наше порицаемое время, были бы невозможны, или ихъ навѣрное нынче зачли бы за психопатію. Но у Вишневскаго отдавали психопатизмомъ и самые его вкусы и ощущенія. Онъ, напримѣръ, не чувствовалъ красотъ природы, но любилъ только ночь и грозовые эффекты, а въ мірѣ животныхъ любилъ только голубя и лошадей. Голуби ему нравились потому, что они «цѣлуются», а лошади потому, что въ нихъ есть удаль, быстрота и голосъ... Да, да, да,— ему чрезвычайно нравился лошадиный голосъ, т. е. ржаніе.

Для доставленія себѣ удовольствія въ первомъ родѣ.

Степанъ Ивановичъ содержалъ передъ своими окнами большую голубятню и часто по цѣлымъ часамъ любовался, «якъ вони цілуются». И Степаниду Васильевну призывалъ къ этому зрѣлищу.

— Смотри,—цѣлуются.

И смотрятъ, бывало, оба—долго-долго и навѣрно съ хорошими мыслями.

Для конскаго ржанья Степанъ Ивановичъ всегда ѣздилъ на жеребцахъ, и оставался совершенно равнодушенъ къ тому, если они производили безпорядокъ въ какомъ-нибудь съѣздѣ экипажей. Но и этого ему мало было: гдѣ бы онъ ни заслышалъ конское ржаніе—на ѣздѣ ли это или изъ дома, онъ сейчасъ же останавливался, поднималъ передъ собою палецъ и замиралъ... Навѣрно ни одинъ меломанъ не слушалъ такъ страстно ни Кальцоляри, ни Тамберлика, ни Патти.

Любимѣйшее зрѣлище Вишневскаго было хорошій конскій табунъ, гдѣ гуляетъ мощный и красивый жеребецъ. Даже издали заслышавъ его ржаніе, Степанъ Ивановичъ останавливался, и лицо его принимало выраженіе полнаго удовольствія... Казалось, глаза его, не стѣсняясь пространствомъ, видѣли, какъ конь, напрягши хребетъ и втягивая и ноздрями и оскаломъ воздухъ, несется и пышетъ страстью...

— Слышишь, Степанида Васильевна?

— Да, мой другъ, слышу.

И счастливая всѣмъ на свѣтѣ, что только доставляло удовольствіе ея мужу, она и здѣсь выражала счастіе... И Степанъ Ивановичъ это цѣнилъ.

Ему было шестьдесятъ лѣтъ, когда Степанида Васильевна скончалась и онъ ее оплакалъ горячими слезами, а потомъ, несмотря на свой преклонный уже возрастъ, довольно скоро вступилъ во второй бракъ съ восемнадцатилѣтнею красивою малороссійскою дѣвушкою по фамиліи Гордіенко. И снова съ этою своею супругою тоже былъ счастливъ, но... Степаниду Васильевну помнилъ... Второй его молодой супругѣ, при многихъ ея достоинствахъ, недоставало той, такъ сказать, *схожести* во всѣ его слабости и маніи... Ей Степанъ Ивановичъ не указывалъ на цѣлующихся голубковъ и не хотѣлъ ее спрашивать, слышитъ ли она, какъ звенитъ и разрывается трелями, а потомъ сходитъ на октаву источнымъ голосомъ заливающійся султанъ табуна...

Вишневскій попробовалъ-было обратить на это вниманіе своей новой жены, но она оказалась безчувственна,—она даже не встала и не улыбнулась, а только холодно проговорила:

— Да, слышу, это гдѣ-то лошадь заржала! — и затѣмъ опять спокойно принялась за свою работу...

Не такъ должна была относиться къ такимъ страстнымъ вещамъ женщина съ живою фантазіею!..

Степанъ Ивановичъ понялъ, что его новой женѣ недостаетъ того, что имѣла прежняя, и не втягивалъ ее болѣе въ циклъ понятій, которыя были ей недоступны.

Въ минуты душевнаго подъема онъ только вздыхалъ и искалъ глазами портрета Степаниды Васильевны и ей улыбался...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Со второю своею супругою Вишневскій прожилъ еще около двадцати лѣтъ, наслаждаясь никогда не измѣнявшимъ ему здоровьемъ, и скончался, начавъ девятый десятокъ. Всѣхъ лѣтъ жизни его было восемьдесятъ два года. Немощей старости или медленнаго, но постояннаго умиранія, онъ тоже не испытывалъ, а когда пришелъ къ нему его часъ, онъ сразу отпалъ, какъ отпадаетъ отъ стебля мягко созрѣвшая малина.

Утромъ, въ одинъ изъ дней своего восемьдесятъ третьяго года,—весною, когда въ Малороссіи цвѣтетъ роскошно сирень, Степанъ Ивановичъ объѣзжалъ никому не поддававшуюся ногайскую кобылицу.

При участіи своей необычайной силы и при необычайной своей тяжести, онъ уходилъ до изнеможенія дикую кобылицу и, сойдя съ сѣдла, отдалъ ея поводья конюхамъ, а самъ взошелъ на балконъ и вдругъ остановился...

Вишневскому показалось, что у него какъ будто «отряслось сердце»... Скакалъ - скакалъ, трясся - трясся—и оно отряслось... Такъ совсѣмъ безъ боли, безъ поврежденія какъ будто упала дозрѣвшая ягода... Мѣсто его стало пусто... и все вдругъ стало сдвигаться, какъ часовыя гири, у которыхъ бечева сошла съ колеса.

Вишневскій сѣлъ скорѣй въ кресло и хотѣлъ что-то сказать, но языкъ его завялъ въ устахъ... Все такъ хорошо, кругомъ цвѣтъ и благоуханіе... Онъ все видитъ, слышитъ и понимаетъ... Вотъ конюхи, облегчивъ подпругу, «разво-

дятъ» подъ тѣнью стѣны потную кобылицу... Она отдыхаетъ, встряхнулась и легкія частицы покрывавшей ее бѣлой пѣны пронеслись въ воздухѣ. За стѣною конюшни раздался ударъ о помостъ двухъ крѣпкихъ переднихъ копытъ и разлилось могучее и звонкое съ фаготнымъ трескомъ: и-го-го-го!..

Степанъ Ивановичъ повелъ глазами направо и налѣво... Онъ искалъ портрета Степаниды Васильевны, но остановилъ ихъ на кустѣ цвѣтущей сирени и улыбнулся...

Надо думать, что онъ увидалъ тамъ самоё Степаниду Васильевну съ ея продолговатымъ обличьемъ типа Шубинскихъ, и... упалъ со стула къ ея ногамъ—мертвый. Въ жизни иной они оба другъ друга, вѣроятно, узнали.

Оглавленіе

XIX ТОМА.

стр.

Святочные разсказы: (Продолженіе).

Старый геній 3
Путешествіе съ нигилистомъ 12
Маленькая ошибка. Секретъ одной московской фамиліи . 20
Пугало 28
Фигура 79

Разсказы кстати:

Совмѣстители 105
Старинные психопаты 138

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДВАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1903 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1903.

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИНЫ.

«Нѣтъ ничего увлекательнѣе порыва горячаго чувства».

Берсье.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ дружественномъ мнѣ домѣ съ нетерпѣніемъ ожидали полученія февральской книги московскаго журнала «Мысль». Нетерпѣніе это понятно, потому что долженъ былъ появиться новый разсказъ графа Льва Николаевича Толстого.—Я заходилъ къ моимъ друзьямъ почаще, чтобы встрѣтить ожидаемое произведеніе нашего великаго художника и прочитать его вмѣстѣ съ добрыми людьми за ихъ круглымъ столомъ и у ихъ тихой, домашней лампы. Подобно мнѣ, заходили и другіе изъ короткихъ друзей — все съ одною и тою же самою цѣлью. И вотъ желанная книжка пришла, но разсказа Толстого въ ней не было: маленькій розовый билетикъ объяснялъ, что разсказъ не можетъ быть напечатанъ. Всѣ огорчились и всякъ это выразилъ соотвѣтственно своему характеру и темпераменту: кто молча надулся и насупился, кто заговорилъ въ раздражительномъ тонѣ, иные проводили параллели между воспоминаемымъ прошедшимъ, переживаемымъ настоящимъ и воображаемымъ будущимъ. А я въ это время молча перелистывалъ книгу и пробѣгалъ напечатанный тутъ новый очеркъ Глѣба Ивановича Успенскаго,—одного изъ немногихъ литературныхъ собратій нашихъ, который не разрываетъ связей съ жизненной правдою, не лжетъ и не притворствуетъ ради угодничества такъ-называемымъ направленіямъ. Отъ этого бе-

сѣдовать съ нимъ всегда пріятно и очень нерѣдко—даже полезно.

На этотъ разъ г. Успенскій писалъ о своей встрѣчѣ и разговорѣ съ пожилою дамою, которая припоминала передъ нимъ недавнее прошлое и замѣчала, что тогда мужчины были *интереснѣе*. Съ виду они были очень форменны, ходили въ узкихъ мундирахъ, а между тѣмъ имѣли много одушевленія, сердечнаго жара, благородства и занимательности,—словомъ, того, что дѣлаетъ человѣка *интереснымъ* и черезъ что онъ нравится. Нынче, по замѣчанію дамы, этого стало меньше, да порою и совсѣмъ не встрѣчается. По профессіямъ мужчины теперь стали свободнѣе и одѣваются какъ хотятъ и разныя большія идеи имѣютъ, а при всемъ томъ они стереотипны, они скучны и неинтересны.

Замѣчанія пожилой дамы мнѣ показались очень вѣрными, и я предложилъ оставить тщетныя кручины о томъ, чего читать не можемъ, и прочесть то, что предлагаетъ г. Успенскій. Предложеніе мое было принято, и разсказъ г. Успенскаго всѣмъ показался справедливымъ. Пошли воспоминанія и сравненія. Нашлось нѣсколько человѣкъ, знавшихъ лично недавно скончавшагося грузнаго генерала Ростислава Андреевича Ѳадеева; стали припоминать, сколько необыкновеннаго, живого интереса умѣлъ онъ являть своею особою, которая съ виду была такъ мѣшковата и ничего будто не обѣщала. Вспомнили, какъ онъ даже подъ старость легко бывало овладѣвалъ вниманіемъ самыхъ умныхъ и милыхъ женщинъ, и ни одному изъ молодыхъ и цвѣтущихъ здоровьемъ щеголей никогда не удавалось взять передъ нимъ первенство.

— Эко вы вещь какую указали!—отозвался на мои слова собесѣдникъ, который былъ всѣхъ въ компаніи постарше и отличался наблюдательностію.—Велико ли дѣло такому умному человѣку, какъ былъ покойный Ѳадеевъ, заполонить себѣ вниманіе *умной* женщины! Умнымъ женщинамъ, батюшка, жутко. Ихъ, во-первыхъ, на свѣтѣ очень немного, а во-вторыхъ—какъ онѣ больше другихъ понимаютъ, то онѣ больше и страдаютъ, и рады встрѣчѣ съ настоящимъ умнымъ человѣкомъ. Тутъ simile simili curatur или gaudet—не знаю, какъ лучше сказать: «подобное подобному радуется». Нѣтъ, и вы, и дама, съ которою бесѣдовалъ

нашъ пріятный писатель, берете очень свысока: вы выставляете людей отличныхъ дарованій, а по-моему болѣе замѣчательно, что и гораздо пониже, въ сферахъ самыхъ обыкновенныхъ, гдѣ, кажется, ничего особеннаго ожидать было невозможно, являлись живыя и привлекательныя личности, или, какъ ихъ называли, «интересные мужчинки». И дамы, ими занятыя, тоже были не изъ такихъ избранницъ, которыя способны «преклоняться» передъ умомъ и талантомъ, а тоже, бывало, и такія, въ своемъ родѣ, особы средней руки — очень бывали нѣжны и чувствительны. Какъ въ глубокихъ водахъ была въ нихъ своя скрытая теплота. Вотъ эти-то средніе люди, по-моему, еще чуднѣе, чѣмъ тѣ, которые подходили къ типу лермонтовскихъ героевъ, въ которыхъ, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь нельзя же было не влюбляться.

— А вы знаете какой-нибудь примѣръ такого рода интересныхъ среднихъ людей съ скрытою теплотою глубокихъ водъ?

— Да, знаю.

— Такъ вотъ и разсказывайте, и пусть это будетъ намъ хоть какимъ-нибудь возмѣщеніемъ за то, что мы лишены удовольствія читать Толстого.

— Ну, «возмѣщеніемъ» мой разсказъ не будетъ, а для времяпровожденія я вамъ разскажу одну старую исторійку изъ самаго невеликаго армейско-дворянскаго быта.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Я служилъ въ кавалеріи. Стояли мы въ Т. губерніи, расположившись по разнымъ деревнямъ, но полковой командиръ и штабъ, разумѣется, находились въ губернскомъ городѣ. Городокъ и тогда былъ веселый, чистенькій, просторный и съ учрежденіями,—былъ въ немъ театръ, клубъ дворянскій и большая, довольно нелѣпая, впрочемъ, гостиница, которую мы завоевали и взяли въ свое владѣніе почти бо̀льшую половину ея номеровъ. Одни нанимали офицеры, которые имѣли постоянное пребываніе въ городѣ, а другіе номера содержались для временно прибывающихъ изъ деревенскихъ стоянокъ, и эти никому изъ постороннихъ людей не передавались, а такъ и шли все «подъ офицеровъ». Одни съѣзжаютъ, а другіе на ихъ мѣсто пріѣзжаютъ,—такъ и назывались «офицерскими».

Времяпровожденіе было, разумѣется,—картежъ и поклоненіе Бахусу, а также и богинѣ радостей сердечныхъ.

Игра велась порою очень большая,—особенно зимою и во время выборовъ. Играли не въ клубѣ, а у себя въ «номерахъ»—чтобы свободнѣе, безъ сюртуковъ и нараспашку,—и зачастую проводили за этимъ занятіемъ дни и ночи. Пустѣе и безчиннѣе время, кажется, и проводить нельзя было, и отсюда вы сами вѣрно можете заключить, что̀ мы за народъ были о ту пору и какими главнымъ образомъ мы одушевлялись идеями. Читали мало, писали еще того менѣе,—и то развѣ послѣ сильнаго проигрыша, когда нужно было обмануть родителей и выпросить у нихъ денегъ сверхъ положенія. Словомъ—хорошему среди насъ поучиться было нечему. Проигрывались то между собою, то съ пріѣзжими помѣщиками—людьми такого же серьезнаго настроенія, какъ мы сами, а въ антрактахъ пили да приказныхъ били, увозили да назадъ привозили купчихъ и актерокъ.

Общество самое пустое и забубенное, въ которомъ молодые спѣшили равняться со старшими и всѣ равно не представляли въ своихъ особахъ ничего умнаго и достойнаго уваженія.

Объ отмѣнной чести и благородствѣ тоже ни разговоровъ, ни рацей никогда не было. Ходили всѣ по формѣ и вели себя по заведенному обыкновенію,—тонули въ оргіяхъ и въ охлажденіи души и сердца ко всему нѣжному, высокому и серьезному. А между тѣмъ *скрытая теплота*, присущая глубокимъ водамъ, была и оказалась на нашемъ мелководьѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Командиръ полка былъ у насъ довольно уже пожилой,—очень честный и бравый воинъ, но человѣкъ суровый и, какъ говорилось въ то время,—«безъ пріятностей для нѣжнаго пола». Ему было лѣтъ пятьдесятъ съ чѣмъ-нибудь. Онъ былъ уже два раза женатъ, въ Т. опять овдовѣлъ и снова задумалъ жениться на молоденькой барышнѣ, происходившей изъ мѣстнаго небогатаго помѣщичьяго круга. Звали ее Анна Николаевна. Имя этакое незначительное, и подъ кадриль тому—все въ ней было такое же совершенно незначительное. Средняго роста, средней полноты, ни хо-

роша, ни дурна, бѣлокуренькіе волосики, голубые глазки, губки аленькія, зубки бѣленькіе, круглолица, бѣлолица, на румяныхъ щечкахъ по ямочкѣ,—словомъ, особа невдохновительная, а именно что называется—«стариковское утѣшеніе».

Познакомился съ нею нашъ командиръ въ собраніи черезъ ея брата, который служилъ у насъ же корнетомъ, и черезъ него же сдѣлалъ ея родителямъ и предложеніе.

Просто это дѣлалось,—по-товарищески. Пригласилъ офицера къ себѣ въ кабинетъ и говоритъ:

— Послушайте—на меня ваша достойная сестра произвела самое пріятное впечатлѣніе, но вы знаете—въ мои года и при моемъ положеніи мнѣ получить отказъ будетъ очень непріятно, а мы съ вами какъ солдаты—люди свои, и я вашей откровенностію, какова бы она ни была, нимало не обижусь... Въ случаѣ—если хорошо, то хорошо, а если пожелаютъ мнѣ отказать, то Боже меня сохрани отъ мысли, чтобы я сталъ имѣть къ вамъ черезъ то какую-нибудь личность, но вы узнайте...

Тотъ такъ же просто отвѣчаетъ:

— Извольте—узнаю.

— Очень благодаренъ.

— Могу ли, говоритъ,—я для этой надобности отлучиться отъ своей части домой на три или четыре дня?

— Сдѣлай милость,—хоть на недѣлю.

— И не позволите ли, говоритъ,—поѣхать со мною и моему двоюродному брату?

Братъ двоюродный у него былъ почти такой же, какъ онъ, молоденькій, розовый юноша, котораго всѣ за его юность и дѣвственную свѣжесть такъ и называли «Саша-розанъ». Особеннаго описанія ни одинъ изъ этихъ молодыхъ людей не заслуживаетъ, потому что ни въ одномъ изъ нихъ ничего замѣчательнаго и выдающагося не было.

Командиръ замѣчаетъ корнету:

— Для чего же вамъ нуженъ вашъ двоюродный братъ при такомъ семейномъ вопросѣ?

А тотъ отвѣчаетъ, что именно при семейномъ-то вопросѣ онъ и нуженъ.

— Я, говоритъ,—съ отцомъ и съ матерью долженъ буду разговаривать, а онъ въ это время займется съ сестрою и отвлечетъ ея вниманіе, пока я улажу дѣло съ родителями.

Командиръ отвѣчаетъ:

— Что же, въ такомъ разѣ поѣзжайте оба съ вашимъ двоюроднымъ братомъ,—я его увольняю.

Корнеты поѣхали, и миссія ихъ вышла вполнѣ благоуспѣшна. Черезъ нѣсколько дней родной братъ возвращается и говоритъ командиру:

— Если вамъ угодно, можете моимъ родителямъ написать или сдѣлать ваше предложеніе словесно,—отказа не будетъ.

— Ну, а какъ, спрашиваетъ,—сама ваша сестра?

— И сестра, отвѣчаетъ,—согласна.

— Но какъ она... то-есть... рада этому или не рада?

— Ничего-съ.

— Ну, однако... по крайней мѣрѣ—довольна она или больше недовольна.

— По правдѣ доложить, она ничего почти не обнаруживала. Говоритъ: «какъ вамъ, папаша и мамаша, угодно—я вамъ повинуюсь».

— Ну да, это прекрасно, что она такъ говоритъ и повинуется, но вѣдь по лицу, въ глазахъ, безъ словъ дѣвушку можно замѣтить, какое у нея выраженіе.

Офицеръ извиняется, что онъ, какъ братъ, къ лицу своей сестры очень привыкъ и за выраженіемъ ея глазъ не слѣдилъ, такъ что ничего на этотъ счетъ опредѣленнаго сказать не можетъ.

— Ну, а двоюродный вашъ братъ могъ замѣтить,—вы могли съ нимъ объ этомъ говорить на обратномъ пути?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ,—мы объ этомъ не говорили, потому что я спѣшилъ исполнить ваше порученіе и вернулся одинъ, а его оставилъ у своихъ, и вотъ имѣю честь представить отъ него рапортъ о болѣзни, такъ какъ онъ захворалъ и мы послали дать знать его отцу и матери.

— А-а! А что же съ нимъ такое сдѣлалось?

— Внезапный обморокъ и головокруженіе.

— Вонъ какая дѣвичья немочь. Хорошо-съ. Я васъ очень благодарю и такъ какъ теперь мы почти какъ родные, то прошу васъ—останьтесь, пожалуйста, со мной вдвоемъ пообѣдать.

И за обѣдомъ все нѣтъ-нѣтъ, да его о кузенѣ и спроситъ—что онъ и какъ въ ихъ домѣ принятъ, и опять—при какихъ обстоятельствахъ съ нимъ сдѣлался обморокъ.

А самъ все молодого человѣка виномъ поитъ, и очень его подпоилъ, такъ что тотъ, если бы имѣлъ въ чемъ проговориться, то навѣрно бы проговорился; но ничего такого, къ счастію, не было, и командиръ скоро на Аннѣ Николаевнѣ женился, мы всѣ на свадьбѣ были и медъ-вино пили, а оба корнета—родной братъ и кузенъ были даже у невѣсты шаферами, и ничего не было замѣтно ни за кѣмъ—ни сучка, ни занозочки. Молодые люди попрежнему кутили, а новая наша полковница скоро начала авантажнѣть въ турнюрѣ, и особыя желанія у нея являлись во вкусѣ. Командиръ этимъ радовался, мы всѣ, кто чѣмъ могъ, старались споспѣшествовать ея капризцамъ, а молодые люди—ея братъ съ кузеномъ въ особенности. Бывало, то за тѣмъ, то за другимъ такъ тройки въ Москву и скачутъ, чтобы доставить ей что-либо желанное. И вкусы у нея, помню, все сказывались не избранные, все къ вещамъ простымъ, но которыхъ не всегда отыщешь: то султанскаго финика ей захочется, то орѣховой халвы греческой,—словомъ, все простое и дѣтское, какъ и сама она глядѣла дѣтёнкомъ. Наконецъ, насталъ и часъ воли Божіей, а ихъ супружеской радости, и изъ Москвы привезли для Анны Николаевны акушерку. Какъ сейчасъ помню, что пріѣхала эта дама въ городъ во время звона къ вечернѣ, и мы еще посмѣялись: «вотъ, молъ, фараонскую бабу со звономъ встрѣчаютъ! Что-то за радость черезъ нее будетъ?» И ждемъ этого, точно это въ самомъ дѣлѣ какое-нибудь общее полковое дѣло. А тѣмъ временемъ является неожиданное происшествіе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Если вы читали у Бретъ-Гарта, какъ какіе-то малопутящіе люди въ американской пустынѣ были со скуки заинтересованы рожденіемъ ребенка совершенно постороннею имъ женщиною, то вы не станете удивляться, что мы, офицеры, кутилы и тоже безпутники, всѣ внимательно занялись тѣмъ, что Богъ даруетъ дитя нашей молоденькой полковницѣ. Вдругъ это почему-то получило въ нашихъ глазахъ такое общественное значеніе, что мы даже распорядились отпировать появленіе на свѣтъ новорожденнаго и съ этою цѣлью заказали своему трактирщику приготовить усиленный запасъ шипучаго, а сами—чтобы не заскучать—

сѣли подъ вечерній звонъ «рѣзаться», или, какъ тогда говорилось, «трудиться для пользъ императорскаго воспитательнаго дома».

Повторяю, что это было у насъ и занятіе, и обыкновеніе, и работа, и самое лучшее средство, которое мы знали для того, чтобы преодолѣвать свое скучаніе. И нынче это производилось точно такъ же, какъ и всегда: заначалили бдѣніе старшіе, ротмистры и штабъ-ротмистры съ пробивающеюся сѣдиною на вискахъ и усахъ. Они сѣли именно какъ разъ, когда въ городѣ звонили къ вечернѣ и горожане, низко раскланиваясь другъ съ другомъ, тянулись въ церкви исповѣдываться, такъ какъ описываемое мною событіе происходило въ пятницу на шестой недѣлѣ Великаго поста.

Ротмистры посмотрѣли на этихъ добрыхъ христіанъ, поглядѣли и вслѣдъ акушеркѣ, а потомъ съ солдатскою простотою пожелали всѣмъ имъ удачи и счастія, какое кому надобится, и, спустивъ въ большомъ номерѣ оконныя шторы изъ зеленаго коленкора, зажгли канделябры и пошли метать «направо, налѣво».

Молодежь же еще сдѣлала нѣсколько концовъ по улицамъ и, проходя мимо купеческихъ домовъ, перемигнулась съ купеческими дочками, а потомъ, при сгустившихся сумеркахъ, тоже явилась къ канделябрамъ.

Я отлично помню этотъ вечеръ, какъ онъ стоялъ и по ту, и по другую сторону опущенныхъ шторъ. На дворѣ было превосходно. Свѣтлый, мартовскій день сгасъ румянымъ закатомъ и все оттаявшее на угрѣвѣ опять подкрѣпилось,—стало свѣжо, а въ воздухѣ все-таки повѣвало весеннимъ запахомъ и сверху слышались жаворонки. Церкви были полуосвѣщены, и изъ нихъ тихо выходили поодиночкѣ сложившіе свои грѣхи исповѣдники. Тихо, поодиночкѣ же брели они, ни съ кѣмъ не говоря, по домамъ и исчезали, храня глубокое молчаніе. На всѣхъ на нихъ была одна забота, чтобы ничѣмъ себя не развлечь и не лишиться водворившихся въ ихъ душахъ мира и безмятежности.

Тишина разомъ скоро стала во всемъ городѣ,—и безъ того, впрочемъ, нешумномъ. Запирались ворота, за заборами послышалось дерганіе собачьихъ цѣпей по веревкамъ; заперлись маленькіе трактиры, и только у занимаемой нами

гостиницы вертѣлись два «живейные» извозчика, поджидавшіе, что они намъ на что-нибудь понадобятся.

Въ эту пору вдалекѣ, по подмерзшему накату большой улицы застучали большія дорожныя троечныя сани, и къ гостиницѣ подъѣхалъ незнакомый рослый господинъ въ медвѣжьей шубѣ съ длинными рукавами и спросилъ: «есть номеръ?»

Это случилось какъ разъ въ то время, какъ я и еще двое изъ молодыхъ офицеровъ подходили къ подъѣзду гостиницы послѣ обхода дозоромъ окошекъ, въ которыхъ имѣли обыкновеніе показываться намъ недоступныя купеческія барышни.

Мы слышали, какъ пріѣзжій спросилъ себѣ номеръ и какъ вышедшій къ нему старшій коридорный Марко назвалъ его «Августомъ Матвѣичемъ», поздравилъ его съ счастливымъ возвращеніемъ, а потомъ отвѣчалъ на его вопросъ:

— Не смѣю, сударь Августъ Матвѣичъ, солгать вашей милости, что номера нѣтъ. Номерокъ есть-съ, но только я опасаюсь—останетесь ли вы имъ, сударь, довольны?

— А что такое?—спросилъ пріѣзжій:—нечистый воздухъ или клопы?

— Никакъ нѣтъ, — нечистоты, изволите знать, мы не держимъ, а только у насъ очень много офицеровъ стоятъ...

— Что же—шумятъ, что ли?

— Н... н... да-съ, знаете—холостежь,—ходятъ, свищутъ... Чтобы вы послѣ не гнѣвались и неудовольствія на насъ бы не положили, потому какъ мы ихъ вѣдь утихомирить не можемъ.

— Ну вотъ—еще бы вы смѣли сами офицеровъ усмирять! Послѣ этого на что бы уже и на свѣтѣ жить... Но, я думаю, съ усталости переночевать можно.

— Оно точно можно, но только я хотѣлъ, чтобы впередъ это вашей милости объяснить, а то, разумѣется, можно-съ. Затѣмъ позволите брать чемоданъ и подушки?

— Бери, братецъ, бери. Я отъ самой Москвы не останавливался и такъ спать хочу, что никакого шума не боюсь—мнѣ никто не помѣшаетъ.

Лакей повелъ помѣщать гостя, а мы прослѣдовали въ главный номеръ—эскадроннаго ротмистра, гдѣ шла игра, въ которой теперь принимала участіе уже вся наша компанія, кромѣ полковницына кузена Саши, который жало-

вался на какое-то нездоровье, не хотѣлъ ни пить, ни играть, а все прохаживался по коридору,

Родной братъ полковницы ходилъ съ нами на купеческое обозрѣніе и съ нами же присоединился и къ игрѣ, а Саша только вошелъ въ игорный номеръ и сейчасъ же опять вышелъ и опять сталъ прохаживаться.

Страненъ онъ былъ какъ-то, такъ что даже пришлось обратить на него вниманіе. На видъ онъ казался, въ самомъ дѣлѣ, какъ будто просто не въ своей тарелкѣ—не то боленъ, не то грустенъ, не то разстроенъ, а станешь въ него всматриваться—будто и ничего. Только сдавалось, будто онъ мысленно отъ всего окружающаго отошелъ и занятъ чѣмъ-то далекимъ и для всѣхъ насъ постороннимъ. Всѣ мы слегка надъ нимъ подтрунили, что, молъ, «ты не акушеркою ли заинтересовался», а впрочемъ никакого особеннаго значенія его поведенію не придали. Въ самомъ дѣлѣ—онъ былъ еще очень молодой человѣкъ и въ настоящее офицерское питье «изъ девяти элементовъ» еще какъ слѣдуетъ не втравился. Вѣроятно ослабѣлъ отъ бывшихъ передъ тѣмъ трудовъ и притихъ. Притомъ же въ комнатѣ, гдѣ играли, было, по обыкновенію, сильно накурено и голова могла разболѣться; да могло быть, что и финансы у Саши были въ безпорядкѣ, потому что онъ въ послѣднее время азартно игралъ и часто бывалъ въ значительномъ проигрышѣ, а онъ былъ мальчикъ съ правилами и стыдился часто безпокоить родителей.

Словомъ—мы оставили этого молодого человѣка бродить тихими шагами по суконному половику, застилавшему коридоръ, а сами рѣзались, пили и закусывали, спорили и шумѣли, и совсѣмъ позабыли и о теченіи ночныхъ часовъ, и о торжественномъ событіи, которое ожидалось въ командирскомъ семействѣ. А чтобы забвеніе это вышло еще гуще,—около часа за полночь всѣ мы были развлечены однимъ неожиданнымъ обстоятельствомъ, которое подвелъ намъ тотъ самый незнакомый пріѣзжій, котораго мы встрѣтили, какъ я вамъ сказалъ, выходящимъ изъ дорожныхъ саней на ночлегъ въ нашу гостиницу.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Во второмъ часу ночи въ комнату, гдѣ мы играли, явился старшій коридорный Марко и, помявшись, доложилъ, что

пріѣзжій, «княжескій главноуправитель», остановившійся въ такомъ-то номерѣ, прислалъ его къ намъ извиниться и доложить, что онъ не спитъ и скучаетъ, а потому проситъ—не позволятъ ли ему господа офицеры придти и принять участіе въ игрѣ?

— Да ты знаешь ли этого господина?—спросилъ старшій изъ нашихъ офицеровъ.

— Помилуйте, какъ же не знать Августа Матвѣича? Ихъ здѣсь всѣ знаютъ,—да они и по всей Россіи, гдѣ только есть княжьи имѣнія, всѣмъ извѣстны. Августъ Матвѣичъ самую главную довѣренность имѣетъ на всѣ княжескія дѣла и вотчины и близко сорока тысячъ въ годъ одного жалованья беретъ. (Тогда еще считали на ассигнаціи).

— Полякъ онъ, что ли?

— Изъ поляковъ-съ, только баринъ отличный и самъ въ военной службѣ служилъ.

Слугу, который намъ докладывалъ, всѣ мы считали за человѣка добропорядочнаго и намъ преданнаго. Очень смышленый былъ и набожный—все ходилъ къ заутренѣ и на колоколъ въ свой приходъ въ деревню собиралъ. А Марко видитъ, что мы заинтересовались, и поддерживаетъ интересъ.

— Августъ Матвѣичъ теперь, говоритъ,—изъ Москвы ѣдетъ, какъ слухъ былъ—два имѣнія княжескія въ совѣтъ заложивши, и должно быть съ деньгами—желаютъ поразсѣяться.

Наши переглянулись, перешепнулись и рѣшили:

— Что же намъ все свои-то лобанчики изъ кошелька въ кошелекъ перелобанивать. Пусть придетъ свѣжій человѣкъ и освѣжитъ насъ новымъ элементомъ.

— Что же, говоримъ,—пожалуй, но только ты намъ отвѣчаешь: есть ли у него деньги?

— Помилуйте! Августъ Матвѣичъ никогда безъ денегъ не бываютъ.

— А если такъ, то пусть идетъ и деньги несетъ,—мы очень рады. Такъ, господа?—обратился ко всѣмъ старшій ротмистръ.

Всѣ отвѣчали согласіемъ.

— Ну и прекрасно,—скажи, Марко, что просимъ пожаловать.

— Слушаю-съ.

— Только того... про всякій случай намекни, или прямо скажи, что мы хоть и товарищи, но даже между собою непремѣнно на наличныя деньги играемъ. Никакихъ счетовъ, ни расписокъ—ни за что.

— Слушаю-съ,—да это не безпокойтесь. У него во всѣхъ мѣстахъ деньги.

— Ну и проси.

Черезъ самое малое время, сколько надо было человѣку не франту одѣться, растворяется дверь, и въ наше облако дыма входитъ очень приличный на видъ, высокій, статный, пожилыхъ лѣтъ незнакомецъ, — въ штатскомъ платьѣ, но манера держаться военная и даже, можно сказать, этакая... гвардейская, какъ тогда было въ модѣ,—то-есть смѣло и самоувѣренно, но съ лѣнивой граціей равнодушнаго пресыщенія. Лицо красивое съ чертами, строго размѣщенными. какъ на металлическомъ циферблатѣ длинныхъ англійскихъ часовъ Грагама. Стрѣлка въ стрѣлку такъ весь многосложный механизмъ и ходитъ.

И самъ-то онъ какъ часы длинный и говоритъ онъ— какъ Грагамовъ бой отчеканиваетъ.

— Прошу, начинаетъ, — господа, извиненія, что позволилъ себѣ напроситься въ вашу дружескую компанію. Я такой-то (назвалъ свое имя), спѣшу изъ Москвы домой, но усталъ и захотѣлъ здѣсь отдохнуть, а межъ тѣмъ услыхалъ вашъ говоръ—и «покой бѣжитъ отъ глазъ». Какъ старый боевой конь, я рванулся и приношу вамъ искреннюю благодарность за то, что вы меня принимаете.

Ему отвѣчаютъ:

— Сдѣлайте милость! сдѣлайте милость! Мы люди простые и ѣдимъ пряники неписанные. Мы всѣ здѣсь товарищи и держимъ себя безъ всякихъ церемоній.

— Простота,—отвѣчаетъ онъ:—всего лучше, ее любитъ Богъ и въ ней поэзія жизни. Я самъ служилъ въ военной службѣ и хотя по семейнымъ дѣламъ вынужденъ былъ ее оставить, при самомъ счастливомъ ходѣ, но военныя привычки во мнѣ остались, и я врагъ всѣхъ церемоній. Но вы, я вижу, господа, въ сюртукахъ, а здѣсь жарко?

— Да, признаться, мы только сейчасъ надѣли сами сюртуки для встрѣчи незнакомаго человѣка.

— Ай, какъ не стыдно! А я этого-то и боялся. Но если

уже вы были такъ любезны, что меня приняли, то вы на первомъ шагу нашего знакомства ничѣмъ не можете мнѣ сдѣлать такого истиннаго удовольствія, какъ если освободите себя и останетесь снова, какъ было до моего прихода.

Офицеры позволили склонить себя къ этому и остались въ однихъ жилетахъ,—причемъ потребовали точно такого же дезабилье и отъ незнакомца. Августъ Матвѣичъ охотно сбросилъ съ себя ловко и солидно сшитую венгерку съ голубою шелковою подкладкою въ рукавахъ и не отказался выпить «для знакомства со всѣми» рюмку водки.

Всѣ по рюмкѣ выпили и закусили и при этомъ случаѣ вспомнили о «кузенѣ» Сашѣ, который все еще продолжалъ свою прогулку по коридору.

— Позвольте, говорятъ,—здѣсь нѣтъ одного изъ нашихъ. Позвать его сюда!

А Августъ Матвѣичъ и говоритъ:

— Вы вѣрно не досчитываетесь этого интереснаго молодого корнета, который тамъ ходитъ въ милой задумчивости по коридору?

— Да, его. Позовите его сюда, господа!

— Да онъ не идетъ.

— Что за пустяки такіе!.. Премилый молодой товарищъ и уже хорошо повелъ курсъ наукъ по питью и игрѣ и вдругъ что-то сегодня измѣнилъ и осовѣлъ. Возьмите его сюда, господа, силою.

Этому запротиворѣчили, и послышалось нѣсколько замѣчаній, что, быть-можетъ, Саша въ самомъ дѣлѣ боленъ.

— Какой чортъ,—я головою отвѣчаю, что онъ просто усталъ или хандритъ съ непривычки отъ большого проигрыша.

— А корнетъ много проигралъ?

— Да,—въ послѣднее время ему ужасно не везло, онъ былъ постоянно какъ-то внѣ себя и постоянно проигрывалъ.

— Скажите, пожалуйста,—это бываетъ; но у него такой видъ, какъ будто онъ не столько несчастливъ въ картахъ, какъ несчастливъ въ любви.

— А вы его видѣли?

— Да; и притомъ я въ него всмотрѣлся совершенно случайно. Онъ такъ задумчивъ и потерянъ, что зашелъ ошибкою въ мой номеръ вмѣсто своего и, не видя меня

на постели, направился было прямо къ комоду и сталъ что-то искать. Я даже подумалъ, не лунатикъ ли онъ, и позвалъ Марка.

— Что̀ за удивленіе!

— Да, и когда Маркъ спросилъ его, что̀ ему угодно,— онъ точно не скоро понялъ, въ чемъ дѣло, а потомъ, бѣдняжка, очень сконфузился... Я вспомнилъ старые годы и подумалъ: вѣрно тутъ зазноба сердечная!

— Ну, ужъ и зазноба. Пройдетъ это все. Вы, господа, въ Польшѣ слишкомъ много значенія придаете этимъ сентиментамъ, а мы, москали, народъ грубый.

— Да, но видъ этого молодого человѣка не говоритъ о грубости: онъ, напротивъ, нѣженъ и показался мнѣ встревоженнымъ или безпокойнымъ.

— Онъ просто усталъ, и надъ нимъ, по нашей философіи, надо употребить насиліе. Господа, выйдите вы кто-нибудь двое и введите сюда Сашу, пусть онъ оправдается противъ подозрѣній въ безнадежной любви!

Два офицера вышли и вернулись съ Сашей, на молодомъ лицѣ котораго блуждали, поборая другъ друга, усталость, конфузъ и улыбка.

Онъ говорилъ, что ему дѣйствительно нездоровится, но что болѣе всего его смущаетъ то, что съ него безпрестанно требуютъ отчета. Когда же ему пошутили, что «даже незнакомецъ» замѣтилъ въ немъ «страданье сердца отъ амура», Саша вдругъ вспыхнулъ и взглянулъ на нашего гостя съ невыразимою ненавистью, а потомъ сердито и рѣзко оторвалъ:

— Это вздоръ!

Онъ просилъ позволенія уйти къ себѣ въ номеръ и лечь спать, но ему напомнили, что сегодня ожидается важное событіе, которое всѣ желаютъ вмѣстѣ привѣтствовать, и потому оставить компанію непозволительно. При напоминаніи объ ожидаемомъ «событіи», Саша опять поблѣднѣлъ.

Ему сказали:

— Уйти нельзя, но выпей свою очередную рюмку водки, и если не хочешь играть, то сними сюртукъ и ложись здѣсь на диванѣ. Когда тамъ закричитъ дитя, — мы услышимъ и тебя разбудимъ.

Саша повиновался, но не вполнѣ: рюмку водки онъ выпилъ, но сюртука не снялъ и не легъ, а сѣлъ въ тѣни у

окна, гдѣ отъ дурно вставленной рамы ходилъ холодокъ, и сталъ смотрѣть на улицу.

Ждалъ ли онъ кого и высматривалъ, или такъ просто его безпокоило что-то внутреннее—не могу вамъ сказать; но онъ все глядѣлъ, какъ мерцаетъ огонекъ въ фонарѣ, которымъ качалъ и скрипѣлъ вѣтеръ, и то откинется въ глубь кресла, то точно хочетъ сорваться и убѣжать.

Нашъ незнакомецъ, съ которымъ я сидѣлъ рядомъ, замѣчалъ, что я наблюдаю за Сашей, и самъ наблюдалъ его. Я это долженъ былъ видѣть по его взглядамъ и по тому, что онъ сказалъ мнѣ, а онъ сказалъ мнѣ вполголоса слѣдующія дрянныя слова, которыхъ я не могу позабыть во всю жизнь:

— Вы дружны съ этимъ вашимъ товарищемъ?

При этомъ онъ метнулъ глазами въ сторону опустившагося Саши.

— Ну, разумѣется, — отвѣчалъ я съ легкимъ задоромъ молодости, усмотрѣвшей въ такомъ вопросѣ неумѣстную фамильярность.

Августъ Матвѣичъ замѣтилъ это и тихо пожалъ подъ столомъ мою руку. Я посмотрѣлъ на его солидное и красивое лицо, и опять, по какой-то странной ассоціаціи идей, мнѣ пришли на память никогда себѣ не измѣняющіе англійскіе часы въ длинномъ футлярѣ съ грагамовскимъ ходомъ. Каждая стрѣлка ползетъ по своему назначенію и отмѣчаетъ часы, дни, минуты и секунды, лунное теченіе и «звѣздныя зодіи», а все тотъ же холодный и безучастный «фронъ»: указать они могутъ все, отмѣтятъ все — и останутся сами собою.

Примиривъ меня съ собою ласковымъ рукопожатіемъ, Августъ Матвѣичъ продолжалъ:

— Не сердитесь на меня, молодой человѣкъ. Повѣрьте, я не хочу сказать о вашемъ товарищѣ ничего дурного, но я не мало жилъ, и его положеніе мнѣ что-то внушаетъ.

— Въ какомъ смыслѣ?

— Оно мнѣ кажется какимъ-то... какъ вамъ это сказать... феральнымъ: оно глубоко меня трогаетъ и безпокоитъ.

— Даже уже и безпокоитъ?

— Да, именно—безпокоитъ.

— Ну, смѣю васъ увѣрить, что это совершенно напрас-

ное безпокойство. Я хорошо знаю всѣ обстоятельства этого моего товарища и ручаюсь вамъ, что въ нихъ нѣтъ ничего, что̀ могло бы смутить или оборвать теченіе его жизни.

— *Оборвать!* — повторилъ онъ за мною: — c'est le mot! Вотъ именно слово... «оборвать теченіе жизни»!

Меня непріятно покоробило. Зачѣмъ это я самъ именно такъ выразился, что далъ поводъ незнакомцу ухватиться за мое выраженіе?

Августъ Матвѣичъ мнѣ вдругъ началъ ненравиться, и я сталъ съ недоброжелательствомъ смотрѣть на его точный грагамовскій циферблатъ. Что-то гармоничное и вмѣстѣ съ тѣмъ какое-то давящее и неотразимое. Идетъ, идетъ — и проиграютъ куранты, и опять идетъ далѣе. И все на немъ какое-то отмѣнное... Вонъ рукава его рубашки, которая несравненно тоньше и бѣлѣе всѣхъ нашихъ, а подъ нею красная шелковая фуфайка какъ кровь сверкаетъ изъ-подъ бѣлыхъ манжетъ. Точно онъ снялъ съ себя свою живую кожу да чѣмъ-то только обернулся. А на рукѣ у него женскій золотой браслетъ, который то поднимается къ кисти, то снова упадетъ и спрячется внизъ за рукавъ. На немъ явно читается польскими буквами исполненное русское женское имя «Olga».

Мнѣ почему-то досадно за эту «Ольгу». Кто она и что она ему такое—родная или любовница,—мнѣ все равно досадно.

Чего, зачѣмъ и почему? Не знаю. Такъ,—одна изъ тысячи глупостей, нивѣсть откуда приходящихъ затѣмъ, чтобы «смутить смыслъ смертнаго».

Но я вспоминаю, что мнѣ надо отдѣлаться отъ своего слова «*оборвать*», которому онъ придалъ вовсе нежеланное значеніе, и говорю:

— Я жалѣю, что я такъ выразился,—но сказанное мною слово не можетъ имѣть никакого двойного значенія. Мой товарищъ молодъ, имѣетъ состояніе, онъ одинъ сынъ у родителей и всѣми любимъ...

— Да, да, но тѣмъ не менѣе... онъ не хорошъ.

— Я васъ не понимаю.

— Вѣдь онъ смертенъ?

— Разумѣется, какъ вы и я,—какъ цѣлый свѣтъ.

— Совершенно справедливо, но только людей цѣлаго свѣта я не вижу, а ни на мнѣ, ни на васъ нѣтъ этихъ роковыхъ знаковъ, какъ на немъ.

— Какихъ «роковыхъ знаковъ»? О чемъ вы говорите?

Я очень неумѣстно разсмѣялся.

— Зачѣмъ же вы смѣетесь надъ этимъ?

— Да, извините, говорю,—я сознаю невѣжливость моего смѣха, но вы представьте мое положеніе: мы съ вами глядимъ на одно и то же лицо, и вы мнѣ разсказываете, будто видите на немъ что-то необыкновенное, тогда какъ я рѣшительно ничего не вижу, кромѣ того, что всегда видѣлъ.

— Всегда? Этого не можетъ быть.

— Я васъ увѣряю.

— Гиппократовы черты!

— Въ этомъ ничего не понимаю.

— Какъ не понимаете? Есть такой agent psychique.

— Не понимаю, — сказалъ я, чувствуя, что это слово наволокло на меня какой-то глупый страхъ.

— Agent psychique, или Гиппократовы черты—это непостижимыя, роковыя, странныя обозначенія, которыя давно извѣстны. Эти неуловимыя черты появляются на лицахъ людей только въ роковыя минуты ихъ жизни, только наканунѣ того, когда предстоитъ свершить «великій шагъ въ страну, откуда путникъ къ намъ еще не возвращался»... Эти черты превосходно умѣютъ наблюдать шотландцы и индусы Голубыхъ горъ.

— Вы были въ Шотландіи?

— Да,—я въ Англіи учился сельскому хозяйству и путешествовалъ по Индостану.

— И что же—вы говорите, что видите извѣстныя вамъ проклятыя черты теперь на добромъ Сашѣ?

— Да; если этотъ молодой человѣкъ сейчасъ называется Саша, то я думаю, что онъ скоро получитъ *другое* имя.

Я почувствовалъ, что меня прошелъ насквозь какой-то ужасъ, и несказанно обрадовался, что въ это самое время къ намъ подошелъ одинъ изъ нашихъ офицеровъ, сильно подгулявшій, и спросилъ меня:

— Что ты—о чемъ съ этимъ бариномъ ссоришься?

Я отвѣчалъ, что мы вовсе не ссоримся, но что у насъ шелъ вотъ какой странный и смутившій меня разговоръ.

Офицеръ, малый простой и рѣшительный, посмотрѣлъ на Сашу и сказалъ:

— Онъ, въ самомъ дѣлѣ, какой-то скверный!—Но вслѣдъ за тѣмъ обратился къ Августу Матвѣичу и сурово спросилъ:

— А вы что же—френологъ или предсказатель?

Тотъ отвѣчалъ:

— Я не френологъ и не предсказатель.

— А такъ—чортъ знаетъ что?

— Ну, и это тоже нѣтъ, — я не «чортъ знаетъ что»,— отвѣчалъ тотъ спокойно.

— Такъ что же вы: стало-быть, колдунъ?

— И не колдунъ.

— А кто же?

— *Мистикъ.*

— Ага! вы *мистикъ*!.. это значитъ—вы любите поиграть въ вистикъ. Знаю, знаю, видали мы такихъ, — протянулъ офицеръ и, будучи безъ того уже порядкомъ пьянъ, снова отправился еще повреждать себя водкою.

Августъ Матвѣичъ посмотрѣлъ на него не то съ сожалѣніемъ, не то съ презрѣніемъ. Обозначательныя стрѣлки на его циферблатѣ передвинулись; онъ всталъ, отошелъ къ играющимъ, декламируя себѣ подъ носъ изъ Красинскаго:

Ja Boga nie chcę, ja nieba nie czuję,
Ja w niebo nie pójdę...

Мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ не по себѣ, точно я бесѣдовалъ съ самимъ паномъ Тварковскимъ, и я захотѣлъ себя пріободрить. Я еще далѣе отошелъ отъ карточнаго стола къ закусочному, и позамѣшкался съ пріятелемъ, изъяснявшимъ по-своему слово «мистикъ», а когда меня черезъ нѣкій часъ волною снова подвинуло туда, гдѣ играли въ карты, то я засталъ уже талію въ рукахъ Августа Матвѣича.

У него были огромныя записи выигрышей и проигрышей, и на всѣхъ лицахъ по отношенію къ нему читалось какое-то нерасположеніе, выражавшееся даже отчасти и задорными замѣчаніями, которыя ежеминутно угрожали еще болѣе обостриться и, можетъ-быть, сдѣлаться причиною серьезныхъ непріятностей.

Безъ непріятностей какъ-то дѣло не представлялось ни на минуту,—словно на то было будто какое-то, какъ мужички говорятъ, «придѣленіе».

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Когда я подошелъ къ игравшимъ, кто-то изъ нашихъ замѣтилъ, напримѣръ, Августу Матвѣичу, что браслетъ,

прыгавшій вверхъ и внизъ на его рукѣ, мѣшаетъ ему свободно метать талію. И тутъ же добавилъ:

— Вы бы, можетъ-быть, лучше сняли съ себя это женственное украшеніе.

Но Августъ Матвѣичъ и на этотъ разъ выдержалъ спокойствіе и отвѣчалъ:

— Да, снять бы лучше, это такъ, но я не могу воспользоваться вашимъ добрымъ совѣтомъ: эта вещь наглухо заклепана на моей рукѣ.

— Вотъ фантазія—изображать изъ себя невольника!

— А почему бы и нѣтъ? — иногда очень хорошо чувствовать себя невольникомъ.

— Ага! и поляки это, наконецъ, признали!

— Какъ же, — что́ до меня, то я съ самыхъ первыхъ дней, когда мнѣ стали доступны понятія о добрѣ, истинѣ и красотѣ, призналъ, что они достойны господствовать надъ чувствами и волей человѣка.

— Но въ комъ бываютъ совмѣщены всѣ эти идеалы?

— Конечно, въ лучшемъ твореніи Бога—въ женщинѣ.

— Которую зовутъ Ольгою,—пошутилъ кто-то, прочитавъ имя на браслетѣ.

— Да,—вы угадали: имя моей жены Ольга. Не правда ли, какое это прекрасное русское имя, и какъ отрадно думать, что русскіе хоть его не заняли у грековъ, а нашли въ своемъ родномъ обиходѣ.

— Вы женаты на русской?

— Я вдовъ. Счастье, какого я былъ удостоенъ, было такъ полно и велико, что не могло быть продолжительно, но я о сю пору счастливъ воспоминаніемъ о русской женщинѣ, которая находила себя со мною счастливою.

Офицеры переглянулись. Отвѣтъ показался имъ немножко колкимъ и куда-то направленнымъ.

— Чортъ его возьми! — проговорилъ кто-то: — не хочетъ ли этотъ заѣзжій сказать, что господа поляки особенно милы и вѣжливы и что наши женщины безъ ума отъ ихъ любезности.

Тотъ непремѣнно долженъ былъ это слышать, даже посмотрѣлъ молча въ сторону говорившаго и улыбнулся, но тотчасъ же снова началъ метать очень спокойно и чисто. За нимъ, разумѣется, во всѣ глаза смотрѣли понтеры, но никто изъ нихъ не замѣчалъ ничего нехорошаго. Вдобавокъ,

никакое подозрѣніе въ нечестности игры не могло имѣть и мѣста, потому что Августъ Матвѣичъ былъ въ очень значительномъ проигрышѣ. Часамъ къ четыремъ онъ заплатилъ уже болѣе двухъ тысячъ рублей и, окончивъ расчетъ, сказалъ:

— Если вамъ, господа, угодно продолжать игру, то я еще закладываю тысячу.

Выигравшіе офицеры, по принятому этикету банковой игры, находили неловкимъ забастовать и отвѣчали, что они будутъ понтировать.

Нѣкоторые только, отвернувшись, пересмотрѣли заплаченныя Августомъ Матвѣичемъ деньги, но въ содержаніи оныя одобрили.

Все было въ совершенномъ порядкѣ, онъ всѣмъ заплатилъ самыми достовѣрными и несомнѣнными ассигнаціями.

— Далѣе, господа,—сказалъ онъ:—я не могу положить на столъ передъ вами ходячей монеты, такъ какъ все, что у меня было въ этомъ видѣ, отъ меня уже ушло. Но у меня есть банковые билеты по пятисотъ и по тысячѣ рублей. Я буду ставить билеты и для удобства прошу васъ на первый разъ размѣнять мнѣ пару такихъ билетовъ.

— Это возможно,—отвѣчали ему.

— Въ такомъ случаѣ я сейчасъ буду имѣть честь представить вамъ два билета и попрошу васъ ихъ разсмотрѣть и размѣнять на деньги.

Съ этими словами онъ поднялся съ мѣста, подошелъ къ своему сюртуку, который лежалъ на диванѣ неподалеку отъ сидѣвшаго въ непробудномъ самоуглубленіи Саши, и сталъ шарить по карманамъ. Но это выходило долго, и потомъ вдругъ Августъ Матвѣичъ отшвырнулъ отъ себя прочь сюртукъ, взялся рукою за лобъ, пошатнулся и едва не упалъ на полъ.

Движеніе это было тотчасъ же всѣми замѣчено и показалось до такой степени истиннымъ и неподдѣльнымъ, что Августъ Матвѣичъ возбудилъ во многихъ живое участіе. Два или три человѣка, находившіеся къ нему ближе, участливо воскликнули: «что съ вами такое?» и кинулись его поддержать.

Гость нашъ былъ очень блѣденъ и на себя не похожъ. Я въ этотъ разъ впервые еще видѣлъ, какъ большое и неожиданное горе вдругъ перевертываетъ и моментально ста-

ритъ очень сильнаго и самообладающаго человѣка, какимъ, мнѣ казалось, надлежало считать появившагося среди насъ на свое и на наше несчастіе княжескаго главноуправителя. Моментально постигающее человѣка неожиданное горе его какъ-то третъ, мнетъ и комкаетъ, какъ баба тряпку на портомойнѣ, и потомъ колотитъ валькомъ, пока все изъ него не выколотитъ. Не умѣю и не стану вамъ описывать лицо и взгляды Августа Матвѣича, но живо помню досадное и неуважительное по отношенію къ его горю сравненіе, которое мнѣ пришло въ голову, когда я въ числѣ другихъ подался къ главноуправителю и приблизилъ къ его лицу свѣчу. Это опять касалось часовъ и циферблата и притомъ одного смѣшного съ ними случая.

Отецъ мой имѣлъ страсть къ старымъ картинамъ. Онъ ихъ много разыскивалъ и портилъ: онъ самъ ихъ размывалъ и покрывалъ новымъ лакомъ. Мы бывало смотримъ, какъ онъ привезетъ откуда-нибудь старую картину, и видимъ темноватую, ровную поверхность, на которой всѣ колера какъ-то мирно стушевались и сгладились во что-то неразборчивое, но гармоническое, подъ слоемъ потемнѣвшаго лака; но вотъ по этой картинѣ проѣхала губка, напитанная скипидаромъ; остекленившійся лакъ пошелъ сворачиваться, проползли грязные потоки, и всѣ тоны той же самой картины зашевелились, измѣнились и, кажется, пришли въ безпорядокъ. Она стала какъ будто не она — именно потому, что теперь-то она и являлась глазамъ сама собою, какъ есть, безъ лакировки, которая ее усмиряла и сглаживала. И мнѣ вспомнилось, какъ мы разъ, подражая отцу, хотѣли также *умыть* циферблатъ на часахъ въ нашей дѣтской и, къ ужасу своему, увидали, что изображенный на немъ Бука съ корзинкою, въ которой сидѣли непослушныя дѣти, вдругъ потерялъ свои очертанія и на мѣсто очень храбраго лица являлъ что-то въ высшей степени двусмысленное и смѣшное.

Нѣчто такое же являетъ собою въ несчастіи и живой человѣкъ, даже самообладающій, а иногда и гордый. Горе срываетъ съ него лакъ, и вдругъ всѣмъ становятся видны его пожухлые тоны и давно прорвавшіяся до грунта трещины.

Но нашъ гость былъ еще сильнѣе многихъ: онъ владѣлъ собою,—онъ старался оправиться и заговорилъ:

— Извините, господа,—совершенные пустяки... Я только

прошу васъ не обращать на это вниманія и отпустить меня къ себѣ, потому что... мнѣ... сдѣлалось дурно: извините— я продолжать игры не могу.

И Августъ Матвѣичъ обратилъ ко всѣмъ свое лицо, глядѣвшее теперь совершенно смытымъ циферблатомъ, но онъ еще силился держать любезную улыбку. Очевидно, онъ хотѣлъ «уйти безъ исторіи», но въ это самое мгновеніе кто-то изъ нашихъ, тоже, конечно, находившійся подъ вліяніемъ лишней рюмки, задорно крикнулъ:

— У васъ еще раньше этого не было ли дурно?

Полякъ поблѣднѣлъ.

— Нѣтъ,—отозвался онъ скоро и сильно возвысивъ голосъ:—нѣтъ, со мною никогда еще не бывало *такъ дурно.* Кто говоритъ и думаетъ иначе, тотъ ошибается... Я сдѣлалъ неожиданное открытіе... я имѣю слишкомъ достаточную причину, чтобы отмѣнить мое намѣреніе продолжать игру, и рѣшительно не понимаю: что̀ и кому отъ меня угодно!

Тутъ всѣ заговорили:

— О чемъ это онъ? Отъ васъ, милостивый государь, ничего не угодно и никто ничего не требуетъ. Но это любопытно: какое такое вы сдѣлали, находясь среди насъ, открытіе?

— Никакое,—отвѣчалъ полякъ и, поблагодаривъ поклономъ офицеровъ, поддерживавшихъ его въ виду охватившей его мгновенной слабости, добавилъ:—Вы, господа, меня совсѣмъ не знаете, и репутація моя, отрекомендованная вамъ коридорнымъ слугою, не можетъ вамъ много говорить въ мою пользу, а потому я не нахожу возможнымъ продолжать дальнѣйшій разговоръ и желаю вамъ откланяться.

Но его удержали.

— Позвольте, позвольте,—заговорили къ нему: — этакъ невозможно.

— Я не знаю — почему «этакъ невозможно». Я заплатилъ все, что проигралъ, а дальше игры продолжать не желаю и прошу освободить меня изъ вашего общества.

— Тутъ не о платѣ...

— Да, не о платѣ-съ.

— Такъ о чемъ же еще?.. Спрашиваю: «что вамъ угодно?» вы отвѣчаете, что вамъ отъ меня «ничего не угодно»; ухожу

молча—вы снова въ какой-то претензіи... Что такое, чортъ возьми! Что такое?

Тутъ къ нему подошелъ одинъ изъ усатыхъ ротмистровъ, — «товарищъ въ битвахъ посѣдѣлый», мужъ бывалый въ картежныхъ столкновеніяхъ различнаго рода.

— Милостивый государь! — заговорилъ онъ: — позвольте мнѣ объясниться съ вами одному отъ лица многихъ.

— Я очень радъ, — хотя совершенно не вижу, о чемъ намъ объясняться.

— Я вамъ сейчасъ это изложу.

— Извольте.

— Я и мои товарищи, милостивый государь, дѣйствительно, васъ не знаемъ, но мы приняли васъ въ свою компанію съ нашею простою русскою довѣрчивостію, а между тѣмъ вы не могли совершенно скрыть, что васъ поразила какая-то внезапность... И это въ нашемъ кружкѣ... Вы, милостивый государь, упомянули слово «репутація». У насъ, чортъ возьми!—надѣюсь, тоже есть репутація... Да-съ! Мы вамъ вѣримъ, но васъ тоже просимъ довѣриться нашей честности.

— Охотно-съ, — перебилъ полякъ,—охотно! — и протянулъ руку, которую ротмистръ какъ бы не замѣтилъ, и продолжалъ:

— Я вамъ ручаюсь моею рукою и головою, что васъ не ожидаетъ здѣсь ни малѣйшая непріятность, и всякій, кто позволитъ себѣ чѣмъ бы то ни было, хотя бы отдаленнымъ намекомъ оскорбить васъ здѣсь до разбора дѣла, тотъ будетъ имѣть во мнѣ вашего защитника. Но это дѣло такъ остаться не можетъ; ваше поведеніе намъ кажется страннымъ, и я прошу васъ отъ лица всѣхъ здѣсь присутствующихъ, чтобы вы успокоились и серьезно намъ объяснили, дѣйствительно ли вы внезапно заболѣли, или вы что-нибудь замѣтили и съ вами что-нибудь случилось. Просимъ васъ сказать это намъ откровенно въ одно слово.

Всѣ подхватили: «да, мы всѣ просимъ, всѣ просимъ!» И дѣйствительно всѣ просили. Движеніе сдѣлалось всеобщее. Къ нему не присоединялся развѣ только одинъ Саша, который попрежнему оставался въ своей глупой потерянности, но и онъ всталъ съ своего мѣста, — произнесъ: «какъ это противно!» и оборотился лицомъ къ окну.

А полякъ, когда мы къ нему такъ круто приступили,

не потерялся, а напротивъ, даже пріосанился, развелъ руками и сказалъ:

— Ну, въ такомъ случаѣ, господа, я васъ прошу меня извинить: я ничего не хотѣлъ говорить и все хотѣлъ снести на моемъ сердцѣ, но когда вы меня честью обязываете вамъ сказать,—что̀ со мною сдѣлалось, я повинуюсь чести и какъ честный человѣкъ и дворянинъ...

Кто-то не выдержалъ и крикнулъ:

— Не слишкомъ ли долго все о чести!

Ротмистръ сердито посмотрѣлъ въ сторону, откуда это было сказано, а Августъ Матвѣичъ продолжалъ:

— Какъ честный человѣкъ и дворянинъ, я скажу вамъ, что у меня, господа, кромѣ того, сколько я проигралъ вамъ, было еще съ собою въ бумажникѣ двѣнадцать тысячъ рублей банковыми билетами по тысячѣ и по пятисотъ рублей.

— Вы ихъ имѣли при себѣ?—спросилъ ротмистръ.

— Да, при себѣ.

— Вы хорошо это помните?

— Безъ малѣйшаго сомнѣнія.

— И теперь ихъ нѣтъ?

— Да; это вы сказали: ихъ нѣтъ.

Пьяный офицеръ опять было крикнулъ:

— Да они были ли?

Но ротмистръ еще строже отвѣтилъ:

— Прошу молчать! Господинъ, котораго мы видимъ, не смѣетъ лгать. Онъ знаетъ, что такими вещами въ присутствіи порядочныхъ людей не шутятъ, потому что такія шутки кровью пахнутъ. А что мы дѣйствительно порядочные люди—это мы должны доказать дѣломъ. Никто, господа, ни съ мѣста, а вы, поручикъ такой-то, и вы, и вы еще (онъ назвалъ трехъ изъ товарищей) извольте сейчасъ запереть на ключъ всѣ двери и положить ключи здѣсь у всѣхъ на виду. Первый, кто захотѣлъ бы теперь отсюда выйти, долженъ лечь на мѣстѣ, но я надѣюсь, что изъ насъ, господа, никто этого не сдѣлаетъ. Никто не смѣетъ сомнѣваться, что изъ насъ ни одинъ не можетъ быть виноватъ въ пропажѣ, о которой говоритъ этотъ проѣзжій, но это должно быть доказано.

— Да, да, безъ сомнѣнія,—вторили офицеры.

— И когда это будетъ доказано, тогда начнется второе дѣйствіе, а теперь, оберегая нашу честь и гордость, всѣ

мы, господа, обязаны немедленно, не выходя отсюда, позволить себя обыскать до нитки.

— Да, да, обыскать, обыскать!—заговорили офицеры.

— И до нитки, господа!—повторилъ ротмистръ.

— До нитки, до нитки!

— Мы всѣ по очереди до-нага раздѣнемся передъ этимъ господиномъ. Да, да, какъ мать родила — до-нага, чтобы нельзя было нигдѣ ничего спрятать, и пусть онъ самъ обыщетъ насъ каждаго. Я всѣхъ васъ старше лѣтами и службою, и я первый подвергаю себя этому обыску, въ которомъ не должно быть ничего унизительнаго для честныхъ людей. Прошу отойти отъ меня далѣе и стать всѣмъ въ рядъ,—я раздѣваюсь.

И онъ сталъ скоро и порывисто снимать съ себя все, до носковъ на ногахъ, и, положивъ вещи на полу передъ управляющимъ, поднялъ надъ головою руки и сказалъ:

— Вотъ я весь,—какъ рекрутъ на пріемѣ стою. Прошу обыскивать мои вещи.

Августъ Матвѣичъ началъ было отнѣкиваться и уклоняться подъ тѣмъ довольно справедливымъ предлогомъ, что онъ подозрѣній не заявлялъ и обыска не требовалъ.

— Э-э! нѣтъ, это стара шутка,—заговорилъ, весь побагровѣвъ и засверкавъ гнѣвно глазами, ротмистръ и затопоталъ босыми пятками по полу.—Теперь поздно, милостивый государь, деликатничать... Я не даромъ передъ вами раздѣвался... Прошу васъ осмотрѣть мои вещи до нитки! Иначе я, голый, сію же минуту и тутъ же убью васъ вотъ этимъ стуломъ.

И тяжелый трактирный стулъ заходилъ въ его волосатой рукѣ по воздуху надъ головою Августа Матвѣича.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Августъ Матвѣичъ волей-неволей нагнулся къ разложенному на полу гардеробу ротмистра и сталъ трогать вещи для вида.

Голыя пятки по полу затопотали еще сильнѣе, и съ ихъ тупымъ выстукиваніемъ раздался задушенный, шипящій со свистомъ голосъ:

— Не такъ ищутъ, не такъ! Держите меня, или я кинусь на него и задушу его, если онъ не будетъ насъ обыскивать какъ слѣдуетъ!

Ротмистръ былъ буквально внѣ себя и такъ весь трясся отъ гнѣва, что даже дрожалъ густой черный мохъ на подмышкахъ его мускулистыхъ рукъ, которыя онъ теперь судорожно сжалъ снова надъ своею головою.

Полякъ, однако, оказался молодцомъ и нимало не сробѣлъ передъ бѣшенымъ порывомъ ротмистра: онъ окинулъ спокойнымъ взглядомъ его лицо и его подмышки, въ которыхъ, точно, будто дрожали двѣ черныя крысы, и сказалъ:

— Извольте, — и хотя я увѣренъ, что вы несомнѣнно честный человѣкъ, я, по вашему требованію, буду обыскивать васъ какъ вора.

— Да, чортъ возьми, — я честный человѣкъ, и я непремѣнно требую, чтобы вы обыскали меня *какъ вора!*

Августъ Матвѣичъ его обыскалъ и, разумѣется, ничего не нашелъ.

— Итакъ, я чистъ отъ подозрѣній,—сказалъ ротмистръ.— Прошу другихъ слѣдовать моему примѣру.

Другой офицеръ раздѣлся, и его обыскали такимъ же образомъ, потомъ третій, и такъ всѣ мы по очереди уже позволили себя осмотрѣть, и оставался еще необысканнымъ только одинъ Саша, какъ вдругъ въ ту самую минуту, когда до него дошла очередь, въ дверь изъ коридора раздался стукъ.

Мы всѣ вздрогнули.

— Не пускать никого! — скомандовалъ ротмистръ.

Стукъ повторился настойчивѣе.

— Да какой это чортъ тамъ ломится? Мы не можемъ пустить никого посторонняго на этакое срамное дѣло. Кто бы это ни былъ—прогнать его къ дьяволу.

Но стукъ снова повторился и вмѣстѣ съ тѣмъ послышался знакомый голосъ:

— Прошу отворить,—это я.

Голосъ принадлежалъ нашему полковнику.

. . . . . .

. . . . . .

Офицеры переглянулись.

— Откройте же, господа, двери,—просилъ полковникъ.

— Откройте!—сказалъ, застегиваясь, ротмистръ.

Двери отперли, и командиръ, очень мало нами любимый, вошелъ пріятельски съ рѣдко посѣщавшей его лицо ласковой улыбкой.

— Господа! — заговорилъ онъ, не успѣвъ оглядѣться,— у меня дома все благополучно, и я, послѣ пережитыхъ мною тревожныхъ минутъ, вышелъ пройтись по воздуху и, зная ваше товарищеское желаніе раздѣлить мою семейную радость, самъ зашелъ сказать вамъ, что мнѣ Богъ далъ дочь!

Мы стали его поздравлять, но поздравленія наши, разумѣется, были не такъ живы и веселы, какъ полковникъ въ правѣ былъ ожидать по тому, что узналъ о тронувшихъ его нашихъ сборахъ, и онъ это замѣтилъ, — онъ окинулъ своими желтыми глазами комнату и остановилъ ихъ на постороннемъ человѣкѣ.

— Кто этотъ господинъ?—спросилъ онъ тихо.

Ротмистръ ему отвѣчалъ еще тише и сейчасъ же въ короткихъ словахъ передалъ нашу смутительную исторію.

— Какая гадость!—воскликнулъ полковникъ.—И чѣмъ же это кончено, или до сихъ поръ еще не кончено?

— Мы всѣ заставили его насъ обыскать и къ вашему приходу остался необысканнымъ только одинъ корнетъ N.

— Такъ кончайте это! — сказалъ полковникъ и сѣлъ на стулъ посреди комнаты.

— Корнетъ N, ваша очередь раздѣться, — позвалъ ротмистръ.

Саша стоялъ у окна со сложенными на груди руками и ничего не отвѣчалъ, но и не трогался съ мѣста.

— Что же вы, корнетъ,—развѣ не слышите? — позвалъ полковникъ.

Саша двинулся съ мѣста и отвѣтилъ:

— Господинъ полковникъ и всѣ вы, господа офицеры,— клянусь моею честью, что я денегъ не кралъ...

— Фуй, фуй! къ чему такая ваша клятва! — отвѣчалъ полковникъ: — всѣ вы здѣсь выше всякихъ подозрѣній, но если товарищи ваши постановили сдѣлать, какъ они всѣ сдѣлали, то то же самое должны сдѣлать и вы. Пусть этотъ господинъ васъ обыщетъ при всѣхъ — и затѣмъ начнется другое дѣло.

— *Я этого не могу.*

— Какъ?.. чего не можете?

— Я денегъ не кралъ и у меня ихъ нѣтъ, но я обыскать себя не позволю!

Послышался недовольный шопотъ, говоръ и движеніе.

— Что это? Это глупо... Почему же мы всѣ позволили себя обыскать?..

— Я не могу.

— *Но вы должны* это сдѣлать! Вы должны, наконецъ, понять, что ваше упрямство усиливаетъ унизительное для всѣхъ насъ подозрѣніе... Вамъ должна, наконецъ, быть дорога если не ваша честь, то честь всѣхъ вашихъ товарищей, — честь полка и мундира!.. Мы всѣ отъ васъ требуемъ, чтобы вы сейчасъ, сію минуту раздѣлись и дали себя обыскать... И какъ поведеніе ваше уже усилило подозрѣніе, то мы рады случаю, что вы можете быть обысканы при полковникѣ... Извольте раздѣваться.

— Господа! — продолжалъ блѣдный, покрывшійся холоднымъ потомъ юноша: — я денегъ не бралъ... Я вамъ клянусь въ томъ отцомъ и матерью, которыхъ люблю больше всего на свѣтѣ. И на мнѣ денегъ этого господина нѣтъ, но я сейчасъ вышибу эту раму и брошусь на улицу, но не раздѣнусь ни ради чего на свѣтѣ. Этого требуетъ *честь*.

— Какая честь! что̀ за честь можетъ быть выше чести общества... чести полка и мундира... Чья это честь?

— Я вамъ не скажу больше ни слова, но я не раздѣнусь, и у меня въ карманѣ есть пистолетъ,—я предупреждаю, что выстрѣлю во всякаго, кто захочетъ меня тронуть силою.

Юноша, говоря это, то блѣднѣлъ, то горѣлъ весь какъ въ огнѣ, задыхался и блуждающимъ взоромъ глядѣлъ на дверь съ томящимъ желаніемъ вырваться, между тѣмъ какъ въ рукѣ его, опущенной въ карманъ рейтузъ, щелкнулъ взведенный пальцемъ курокъ.

Словомъ, Саша былъ внѣ себя, и этимъ экстазомъ онъ остановилъ весь потокъ направленныхъ къ нему убѣжденій и всѣхъ заставилъ задуматься.

Полякъ первый обнаружилъ къ нему самое большее и даже трогательное участіе. Забывая свое уединенное и вполнѣ невыгодное, нерасполагающее положеніе, онъ съ выраженіемъ какого-то заразительнаго ужаса закричалъ:

— Проклятье! проклятье этому дню и этимъ деньгамъ! Я не хочу, я не ищу ихъ, я о нихъ не жалѣю, я никому никогда ни одного слова не скажу объ ихъ пропажѣ, но только ради создавшаго васъ Саваоѳа, ради страдавшаго за правду и милость Христа, ради всего, что̀ кому-нибудь изъ васъ жалко и дорого,—отпустите этого *младенца*...

Онъ сказалъ именно «младенца» вмѣсто юноши, и вдругъ совершенно инымъ, какъ будто изъ какихъ-то глубокихъ нѣдръ души исходящимъ голосомъ добавилъ:

— Не *ускоряйте* рока... Развѣ вы не видите, куда идетъ онъ...

А онъ, т. е. Саша, дѣйствительно, въ это время шелъ, или, лучше сказать, пробирался мимо офицеровъ къ двери.

Полковникъ слѣдилъ за нимъ желтыми бѣлками своихъ глазъ и проговорилъ:

— Пусть уходитъ...

И потомъ онъ еще тише добавилъ:

— Я, кажется, что-то понимаю.

Саша достигъ порога, остановился и, оборотясь ко всѣмъ лицомъ, сказалъ:

— Господа! я знаю, какъ я оскорбилъ васъ и какъ дуренъ долженъ быть въ глазахъ всякаго мой поступокъ. Простите!.. я иначе поступить не могъ... Это моя тайна... Простите!.. Это честь...

Голосъ его заволновался,—точно въ немъ задрожали чистыя дѣтскія слезы, и онъ застыдился ихъ,—захотѣлъ ихъ скрыть, — онъ закрылъ ладонью глаза, крикнулъ: «прощайте!» и выбѣжалъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Очень трудно излагать такія происшествія передъ спокойными слушателями, когда и самъ уже не волнуешься пережитыми впечатлѣніями. Теперь, когда надо разсказать то, до чего дошло дѣло, то я чувствую, что это рѣшительно невозможно передать въ той живости и, такъ сказать, въ той компактности, быстротѣ и въ какомъ-то натискѣ событій, которыя другъ друга гнали, толкали, мостились одно на другое, и все это для того, чтобы глянуть съ какой-то роковой высоты на человѣческое малоуміе и снова разлиться гдѣ-то въ природѣ.

Если вы читали, что писалъ Жаколіо, или пишетъ о загадочныхъ вещахъ наша соотечественница Рада-Бай, то вы, можетъ-быть, прислушались къ тому, что она повѣствуетъ о «психической силѣ» у индусовъ и о зависимости этой силы отъ «умственнаго настроенія». Психическая сила, можетъ-быть, есть и въ томъ франтѣ, который проходитъ

— Что это? Это глупо... Почему же мы всѣ позволили себя обыскать?..

— Я не могу.

— *Но вы должны* это сдѣлать! Вы должны, наконецъ, понять, что ваше упрямство усиливаетъ унизительное для всѣхъ насъ подозрѣніе... Вамъ должна, наконецъ, быть дорога если не ваша честь, то честь всѣхъ вашихъ товарищей, — честь полка и мундира!.. Мы всѣ отъ васъ требуемъ, чтобы вы сейчасъ, сію минуту раздѣлись и дали себя обыскать... И какъ поведеніе ваше уже усилило подозрѣніе, то мы рады случаю, что вы можете быть обысканы при полковникѣ... Извольте раздѣваться.

— Господа! — продолжалъ блѣдный, покрывшійся холоднымъ потомъ юноша: — я денегъ не бралъ... Я вамъ клянусь въ томъ отцомъ и матерью, которыхъ люблю больше всего на свѣтѣ. И на мнѣ денегъ этого господина нѣтъ, но я сейчасъ вышибу эту раму и брошусь на улицу, но не раздѣнусь ни ради чего на свѣтѣ. Этого требуетъ *честь*.

— Какая честь! что̀ за честь можетъ быть выше чести общества... чести полка и мундира... Чья это честь?

— Я вамъ не скажу больше ни слова, но я не раздѣнусь, и у меня въ карманѣ есть пистолетъ,—я предупреждаю, что выстрѣлю во всякаго, кто захочетъ меня тронуть силою.

Юноша, говоря это, то блѣднѣлъ, то горѣлъ весь какъ въ огнѣ, задыхался и блуждающимъ взоромъ глядѣлъ на дверь съ томящимъ желаніемъ вырваться, между тѣмъ какъ въ рукѣ его, опущенной въ карманъ рейтузъ, щелкнулъ взведенный пальцемъ курокъ.

Словомъ, Саша былъ внѣ себя, и этимъ экстазомъ онъ остановилъ весь потокъ направленныхъ къ нему убѣжденій и всѣхъ заставилъ задуматься.

Полякъ первый обнаружилъ къ нему самое большее и даже трогательное участіе. Забывая свое уединенное и вполнѣ невыгодное, нерасполагающее положеніе, онъ съ выраженіемъ какого-то заразительнаго ужаса закричалъ:

— Проклятье! проклятье этому дню и этимъ деньгамъ! Я не хочу, я не ищу ихъ, я о нихъ не жалѣю, я никому никогда ни одного слова не скажу объ ихъ пропажѣ, но только ради создавшаго васъ Саваоѳа, ради страдавшаго за правду и милость Христа, ради всего, что̀ кому-нибудь изъ васъ жалко и дорого,—отпустите этого *младенца*...

Онъ сказалъ именно «младенца» вмѣсто юноши, и вдругъ совершенно инымъ, какъ будто изъ какихъ-то глубокихъ нѣдръ души исходящимъ голосомъ добавилъ:

— Не *ускоряйте* рока... Развѣ вы не видите, куда идетъ онъ...

А онъ, т. е. Саша, дѣйствительно, въ это время шелъ, или, лучше сказать, пробирался мимо офицеровъ къ двери.

Полковникъ слѣдилъ за нимъ желтыми бѣлками своихъ глазъ и проговорилъ:

— Пусть уходитъ...

И потомъ онъ еще тише добавилъ:

— Я, кажется, что-то понимаю.

Саша достигъ порога, остановился и, оборотясь ко всѣмъ лицомъ, сказалъ:

— Господа! я знаю, какъ я оскорбилъ васъ и какъ дуренъ долженъ быть въ глазахъ всякаго мой поступокъ. Простите!.. я иначе поступить не могъ... Это моя тайна... Простите!.. Это честь...

Голосъ его заволновался,—точно въ немъ задрожали чистыя дѣтскія слезы, и онъ застыдился ихъ,—захотѣлъ ихъ скрыть, — онъ закрылъ ладонью глаза, крикнулъ: «прощайте!» и выбѣжалъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Очень трудно излагать такія происшествія передъ спокойными слушателями, когда и самъ уже не волнуешься пережитыми впечатлѣніями. Теперь, когда надо разсказать то, до чего дошло дѣло, то я чувствую, что это рѣшительно невозможно передать въ той живости и, такъ сказать, въ той компактности, быстротѣ и въ какомъ-то натискѣ событій, которыя другъ друга гнали, толкали, мостились одно на другое, и все это для того, чтобы глянуть съ какой-то роковой высоты на человѣческое малоуміе и снова разлиться гдѣ-то въ природѣ.

Если вы читали, что писалъ Жаколіо, или пишетъ о загадочныхъ вещахъ наша соотечественница Рада-Бай, то вы, можетъ-быть, прислушались къ тому, что̀ она повѣствуетъ о «психической силѣ» у индусовъ и о зависимости этой силы отъ «умственнаго настроенія». Психическая сила, можетъ-быть, есть и въ томъ франтѣ, который проходитъ

по тротуару, помахивая тросточкой и насвистывая изъ Орфея: — «*И в-о-т-ъ м-ы шли,—и в-о-т-ъ м-ы шли*». Но подите-ка, докопайтесь въ немъ, гдѣ у него завалена эта сила, да и къ чему ее приложить можно. Екклезіастъ прекрасно представляетъ это въ примѣрѣ тѣни, падающей отъ дерева по направленію получаемаго освѣщенія... Въ общей суматохѣ всѣ метутся и принимаютъ за важнѣйшее то, что вовсе не важно, а одинъ иначе настроенный взглядъ видитъ и замѣчаетъ настоящее и самое главное въ эту минуту,—и вотъ вамъ «психическая сила».

Во мнѣ какъ будто сверкнулъ какой-то маленькій ея клочокъ, когда выбѣжалъ Саша. Что-то было страшное въ его движеніи и въ оборотѣ, — въ быстромъ скачкѣ — не скачкѣ, а въ какомъ-то отдаленіи, — словно онъ оторвался и унесся безслѣдно... Даже шаговъ его не было слышно по коридору, а только что-то прошумѣло... Полякъ сразу же бросился вслѣдъ за нимъ... Мы думали, что онъ хочетъ его настичь и обличить въ кражѣ, такъ какъ Саша, если помните, имѣлъ роковое несчастіе заходить еще ранѣе ошибкою въ его комнату и, стало-быть, становился еще подозрительнѣе по отношенію къ пропавшимъ деньгамъ (а мы всѣ уже волею-неволею вѣрили въ то, что деньги были и пропали). Нѣсколько человѣкъ сдѣлали быстрое движеніе, чтобы преградить Августу Матвѣевичу путь къ двери, а полковникъ крикнулъ ему:

— Остановитесь, милостивый государь, ваши деньги будутъ вамъ заплачены!

Но полякъ съ удивительною силою отбросилъ офицеровъ, а полковнику крикнулъ въ отвѣтъ:

— Пусть чортъ возьметъ деньги!—и выбѣжалъ вслѣдъ за Сашей.

Тутъ только всѣ мы вспомнили свой непростительный промахъ, что, дозволяя обыскивать самихъ себя, мы не потребовали того же самаго отъ причинившаго намъ все это безпокойство поляка, и кинулись за нимъ, чтобы схватить его и не дать ему возможности спрятать деньги и потомъ взвести на насъ унизительную клевету; но въ это самое мгновеніе, которое шло быстрѣе и кратче, чѣмъ идетъ мой разсказъ, въ нѣкоторомъ отдаленіи изъ коридора послышался какъ будто ударъ въ ладоши...

Насъ прожгла мысль, что полякъ оскорбилъ Сашу уда-

ромъ въ лицо, и мы кинулись на помощь къ товарищу, но... помощь ему была безполезна...

Въ дверяхъ передъ нами стояла, колеблясь, длинная часовая фигура Августа Матвѣича съ грагамовскимъ циферблатомъ, на которомъ всѣ стрѣлки упали книзу...

— Поздно,—прохрипѣлъ онъ:—*онъ застрѣлился.*

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мы бросились толпою въ маленькій номерокъ, который занималъ Саша, и увидали поражающую картину: посреди комнаты, освѣщенной одною догоравшею свѣчкой, стоялъ блѣдный, испуганный денщикъ Саши и держалъ его въ своихъ объятіяхъ, межъ тѣмъ какъ голова Саши лежала у него на плечѣ. Руки его повисли какъ плети, но согнувшіяся въ колѣнахъ ноги еще дѣлали такія судорожныя движенія, какъ будто его щекотали и онъ смѣялся.

Исторія о деньгахъ, которая довела до всего этого или, по крайней мѣрѣ, подоспѣла къ тому, чтобы подтвердить причинность появленія «Гиппократовыхъ чертъ» на юномъ лицѣ бѣднаго Саши, была позабыта... Опасеніе скандала тоже отодвинулось Богъ вѣсть куда,—всѣ забѣгали, засуетились, укладывали раненаго на постель, требовали докторовъ и хотѣли помочь ему, бывшему уже внѣ всякихъ средствъ для помощи... Старались унять кровь, въ изобиліи стремившуюся изъ раны, нанесенной большою пулею въ самое сердце, звали его по имени и кричали ему на ухо: «Саша! Саша! милый Саша!..» Но онъ, очевидно, ничего не слышалъ,—онъ гасъ, холодѣлъ и черезъ минуту вытянулся на кровати какъ карандашъ.

Многіе плакали, а денщикъ рыдалъ навзрыдъ... Изъ толпы къ трупу протѣснился коридорный Марко и, вѣрный своему набожному настроенію, сказалъ тихо:

— Господа, это не хорошо надъ отходящей душою плакать. Лучше молитесь,—и съ этимъ онъ раздвинулъ насъ и поставилъ на столъ глубокую тарелку съ чистою водою.

— Это что?—спросили мы Марка.

— Вода,—отвѣчалъ онъ.

— Зачѣмъ она?

— Чтобы омылась и окунулась его душа.

И Марко поправилъ самоубійцу навзничь и сталъ заводить ему глазныя вѣки...

Мы всѣ крестились и плакали, а денщикъ упалъ на колѣна и билъ лбомъ о-полъ, такъ что это было слышно.

Прибѣжали два доктора,—нашъ полковой и полицейскій, и оба, какъ нынче по-русски говорятъ, «констатировали фактъ смерти...».

Са́ша умеръ.

За что? за кого онъ убилъ себя? Гдѣ деньги, кто воръ, который укралъ ихъ? Что будетъ дальше съ этой исторіей, которая разлетѣлась какъ выпущенная на вѣтеръ пуховая подушка и ко всѣмъ къ намъ липла?

Все это мѣшалось и головы шли кругомъ, но мертвое тѣло умѣетъ отвлечь все вниманіе и заставить прежде всего заботиться о себѣ.

Въ номерѣ Саши появились полицейскіе и лѣкаря съ фельдшерами и стали писать протоколъ. Мы оказались лишними и насъ попросили удалиться. Его раздѣвали и осматривали его вещи при однихъ понятыхъ, въ числѣ которыхъ былъ коридорный Марко и нашъ полковой докторъ, да одинъ офицеръ въ видѣ депутата. Денегъ, разумѣется, не нашли.

Подъ столомъ оказался пистолетъ, а на столѣ листокъ бумаги, на которомъ наскоро, торопливымъ почеркомъ Саша написалъ: «Папа и мама, простите—я невиненъ».

Для того, чтобы написать это, требовалось, разумѣется, двѣ секунды.

Денщикъ, который былъ свидѣтелемъ смерти Саши, говорилъ, что покойный вбѣжалъ,—не садясь къ столу, стоя написалъ эту строчку и сейчасъ же, стоя, выстрѣлилъ себѣ въ грудь и упалъ ему на руки.

Солдатъ много разъ передавалъ этотъ разсказъ въ неизмѣнной редакціи всѣмъ, кто его разспрашивалъ, и потомъ стоялъ молча, моргая глазами; но когда подошелъ къ нему Августъ Матвѣичъ и, взглянувъ ему въ глаза, хотѣлъ его разспрашивать болѣе подробно, денщикъ отвернулся отъ него и сказалъ ротмистру:

— Дозвольте, ваше высокоблагородіе, мнѣ выйти обмыться, на моихъ рукахъ кровь христіанская.

Ему разрѣшили выйти, потому что онъ въ самомъ дѣлѣ былъ сильно залитъ кровью,—что являло видъ тяжелый и ужасный.

Все это происходило еще на разсвѣтѣ, и заря уже чуть алѣла—свѣтъ уже чуть пробивался въ окна.

Въ номерахъ, занятыхъ офицерами, всѣ двери въ коридоръ были открыты и вездѣ еще горѣли свѣчи. Въ двухъ-трехъ комнаткахъ сидѣли, опустя руки и головы, офицеры. Всѣ они были похожи теперь болѣе на мумій, чѣмъ на живыхъ людей. Пьяный чадъ унесся какъ туманъ, не оставивъ и слѣда... На всѣхъ лицахъ выражалось отчаянье и горе...

Бѣдный Саша, — если бы духъ его могъ интересоваться земнымъ, — конечно, долженъ бы найти утѣшеніе въ томъ, какъ всѣ его любили и какъ всѣмъ больно было пережить его, столь молодого, столь цвѣтущаго и полнаго жизнью!

А на немъ тяготѣло подозрѣніе... ужасное, гнусное подозрѣніе... Но кто бы посмѣлъ напомнить теперь объ этомъ подозрѣніи усачамъ, по опустившимся лицамъ которыхъ струились слезы...

— Саша! Саша! бѣдный, юный Саша! что̀ ты съ собой сдѣлалъ? — шептали уста и вдругъ сердце останавливалось и предъ всякимъ изъ насъ вставалъ вопросъ: и ты тоже не виноватъ ли въ этомъ? Развѣ ты не видѣлъ, *какой онъ былъ?* Развѣ ты остановилъ другихъ, чтобы къ нему не приставали? Развѣ ты сказалъ, что ты ему вѣришь, что ты уважаешь неприкосновенность его тайны? Саша! бѣдный Саша! И что̀ это за тайна, которую унесъ онъ съ собою въ тотъ міръ, куда онъ предсталъ теперь съ явной разгадкой погубившей его тайны... О, онъ чистъ, конечно, онъ чистъ отъ этого гнуснаго подозрѣнія и... проклятіе тому, кто довелъ его до этого поступка!

А кто довелъ?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Комната Августа Матвѣича была отворена въ коридоръ точно такъ же, какъ и всѣ офицерскія комнаты, но въ ней не было зажженой свѣчи, и при слабомъ разсвѣтѣ тамъ едва можно было отличить щегольской чемоданъ и другія дорожныя вещи. Въ углу комнаты стояла слегка смятая постель.

Проходя мимо этой комнаты, непремѣнно хотѣлось остановиться и поглядѣть издали: что въ ней такое? Откуда и за что на насъ нанесло такую напасть?

Меня лично тянуло зайти сюда и поискать, нѣтъ ли пропавшихъ денегъ здѣсь — не засунулъ ли ихъ куда-нибудь самъ пострадавшій и потомъ позабылъ и развелъ всю эту исторію, стоившую намъ столькихъ тревогъ и потери прекраснаго, молодого товарища. Я даже склоненъ былъ исполнить это: я хотѣлъ вскочить въ номеръ поляка и поискать, и съ этимъ приблизился къ двери, но, по счастію, неосторожное легкомысліе мое было остановлено неожиданнымъ предупрежденіемъ.

Изъ конца коридора, съ той стороны, гдѣ былъ просторный ротмистерскій номеръ, въ которомъ ночью шла игра и попойка, послышалось нѣсколько голосовъ:

— Куда? Куда?.. Еще этой глупости недоставало!

Я сконфузился и оробѣлъ. Мнѣ вдругъ ясно представилась моя опрометчивость и опасность, которой я подвергалъ себя быть заподозрѣннымъ въ особенной близости къ этому дѣлу.

Я перекрестился и ускореннымъ шагомъ пошелъ въ тотъ уголъ, откуда донеслись ко мнѣ предостерегшіе меня голоса.

Здѣсь, у полутемнаго еще окна, выходившаго на сѣверъ, на грязномъ войлокѣ, покрывавшемъ грязный же коникъ, служившій постелью ротмистерскаго денщика, сидѣли три наши офицера и нашъ полковой батюшка съ заплетенной косою и широчайшею русою бородою, за которую мы его звали «отецъ Барбаросса». Онъ былъ очень добрый человѣкъ, принимавшій участіе во всѣхъ полковыхъ интересахъ, но все выражавшій всегда безъ словъ, однимъ лишь многозначительнымъ качаніемъ головы и повтореніемъ короткой частицы «да». Говорилъ онъ только въ случаѣ крайней необходимости и тогда отличался находчивостью.

Три офицера и батюшка курили вмѣстѣ изъ двухъ трубокъ, затягиваясь поочередно и затѣмъ передавая ихъ для потребы ближняго. Батюшка помѣщался посерединѣ группы, и потому трубки шли черезъ него и справа, и слѣва,— отчего онъ получалъ двойную противъ всѣхъ долю наслажденія и притомъ еще увеличивалъ его тѣмъ, что послѣ всякой сильной затяжки закрывалъ себѣ все лицо своею бородою и выпускалъ изъ себя дымъ съ большою медлительностію сквозь этотъ удивительный респираторъ.

Коникъ, на которомъ сидѣли эти добрые люди, приходился вблизи ротмистерскихъ дверей, которыя теперь были

заперты на ключъ, и за ними шла оживленная, но очень сдержанная бесѣда. Слышенъ былъ говоръ и перемѣнявшіяся реплики, но нельзя было разобрать ни одного слова.

Тамъ, запершись на ключъ, находились теперь нашъ полковой командиръ, нашъ ротмистръ и виновникъ всѣхъ нашихъ сегодняшнихъ бѣдъ, Августъ Матвѣичъ. Они вошли въ эту комнату по приглашенію полковника и о чемъ они тамъ хотѣли говорить — никому не было извѣстно. Три офицера и батюшка заняли ближайшую къ комнатѣ позицію сами, — по собственному побужденію и по собственной предусмотрительности, изъ опасенія, чтобы не оставить своихъ безпомощными въ случаѣ, если объясненія примутъ острый характеръ.

Опасенія эти были, однако, напрасны: разговоръ, какъ я уже сказалъ, шелъ въ приличномъ тонѣ, который все болѣе смягчался и, наконецъ, даже послышались ноты дружественности и задушевности,—вслѣдъ затѣмъ раздалось движеніе стульевъ и шаги двухъ человѣкъ, приближавшихся къ двери.

Повернулся ключъ, и въ открытыхъ дверяхъ показались нашъ командиръ и Августъ Матвѣичъ.

Выраженіе ихъ лицъ было если не спокойное, то вполнѣ мирное и даже дружественное.

Полковникъ пожалъ на порогѣ руку поляка и сказалъ:

— Очень радъ, что могу питать къ вамъ тѣ чувства, которыя вы сумѣли внушить мнѣ при такихъ ужасныхъ обстоятельствахъ. Прошу вѣрить моей искренности такъ же, какъ я вѣрю вашей.

Полякъ съ достоинствомъ отвѣтилъ ему поклономъ и молча направился въ свою комнату, а полковникъ обратился къ намъ и сказалъ:

— Я спѣшу домой. Прошу васъ всѣхъ войти къ ротмистру и отъ него узнать,—чего мы всѣ должны держаться.

Съ этимъ полковникъ кивнулъ намъ головою и пошелъ къ выходу, а мы всѣ, сколько насъ было, наполнили номеръ ротмистра прежде, чѣмъ внизу прогремѣлъ блокъ выходной двери, затворившейся за нашимъ командиромъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Нашъ ротмистръ былъ прекрасный человѣкъ, но нервякъ, вспыльчивый и горячка. Онъ былъ находчивъ и уменъ, но

не отличался умѣньемъ владѣть собою и даръ краснорѣчія имѣлъ чисто военный,—онъ болѣе внушалъ, чѣмъ излагалъ и разсказывалъ.

Таковъ же точно онъ былъ и въ эту минуту, когда мы его застали срывающимъ съ себя галстукъ и мечущимъ на всѣхъ сердитые взгляды.

— Что?.. хорошо случилось? — обратился онъ къ батюшкѣ.

Тотъ отвѣчалъ: «да, да, да», и покачалъ головою.

— То-то и есть — «да, да, да». Добрыя занятія довели и до добрыхъ послѣдствій.

Батюшка опять протянулъ: «да, да, да».

— А вѣдь это ваше бы дѣло...

— Что такое?

— Внушить нашему брату совсѣмъ другое настроеніе...

— Да.

— А вы никакого вліянія не имѣете.

— Говори пустяки.

— Нечего «пустяки». Чего вы теперь явились?—теперь надо дьячка псалтырь читать и ничего болѣе.

— Да въ чемъ дѣло-то... что дѣлать-то далѣе? — стали приступать наши.—Полковникъ ушелъ—вы пылите и батьку распекаете... Развѣ мы, въ самомъ дѣлѣ, его внушеній, что ли, стали бы слушать... А гдѣ теперь полякъ? Чортъ знаетъ, были ли у него деньги, — что онъ одинъ теперь у себя въ комнатѣ дѣлаетъ? Говорите, пожалуйста,—что рѣшено? Кто же обидчикъ, кто злодѣй?

— Чортъ злодѣй, чортъ! Другого никого нѣтъ,—отвѣчалъ ротмистръ.

— Но самъ этотъ панъ...

— Этотъ панъ внѣ всякихъ подозрѣній...

— Кто это вамъ открылъ?

— Мы сами, господа, мы сами: я и вашъ полковой командиръ сами за него ручаемся. Мы не говоримъ вамъ, что онъ честнѣйшій человѣкъ, но мы ясно видимъ, что онъ говоритъ правду,—что деньги у него были и пропали. Ихъ могъ взять только чортъ... А что онѣ были — это доказывается тѣмъ, что командиръ, желая избѣжать скандальной огласки, здѣсь при мнѣ предложилъ ему сегодня же получить отъ него сполна всѣ двѣнадцать тысячъ, лишь бы не было дѣла и разговоровъ,—и онъ отказался...

— Отказался?..

— Да; и *мало того*, что отказался, но онъ самъ вызвался никому не жаловаться на пропажу и ни передъ кѣмъ не упоминать объ этомъ проклятомъ происшествіи. Словомъ, онъ велъ себя такъ честно, благородно и деликатно, какъ только можно пожелать.

— Да, да, да!—протянулъ батюшка.

— Да, и мы съ полковникомъ дали ему слово, что и мы, и вы будемъ питать къ нему полную довѣренность и станемъ считать себя всѣ его должниками въ теченіе года, — и если, по истеченіи года, ничто не разъяснится и деньги не отыщутся, тогда мы платимъ ему двѣнадцать тысячъ, а онъ ихъ тогда далъ согласіе взять...

— Разумѣется, мы это принимаемъ и будемъ передъ нимъ исправны въ нашемъ долгѣ,—подхватили офицеры.

— Но, господа, — продолжалъ ротмистръ, понизивъ голосъ: — онъ увѣренъ, что мы и не будемъ платить, — онъ почему-то утверждаетъ, что *эти деньги найдутся*. Онъ говоритъ объ этомъ такъ твердо и съ такою увѣренностію, что если только вѣрно, что вѣра можетъ переставлять горы,—то его увѣренность должна сбыться... Да, да, — она должна сбыться, ибо это цѣна крови... Онъ передалъ, просто сказать, онъ перелилъ эту вѣру въ насъ съ полковникомъ, и хотя онъ просилъ насъ, чтобы мы его обыскали, но и я, и полковникъ отъ этого отказались... Вамъ предоставляю сдѣлать, что̀ вамъ угодно, — онъ пошелъ въ свой номеръ и будетъ ждать васъ тамъ безъ выхода, чтобы вы его обыскали. Можете. Но условіе у насъ одно: мертвое молчаніе объ этомъ передъ всѣми. На это я требую отъ васъ честное слово.

Мы дали честное слово и номеръ Августа Матвѣича обыскивать не пошли, а только зашли къ нему наскоро пожать его руку.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

А тѣмъ не менѣе во всѣхъ осталось полное тяжелое недоумѣніе и скорбь о человѣкѣ, а тамъ надъ бѣднымъ Сашей производилось вскрытіе; написанъ фальшивый по существу актъ о томъ, что онъ «лишилъ себя жизни въ припадкѣ умопомѣшательства»; батька отпѣлъ панихиду и дьячокъ тянетъ монотонно псалтырь: «имъ же образомъ же-

лаетъ елень на источники водные, сице желаетъ душа моя ко Богу крѣпкому, Богу благодѣявшему мнѣ».

Томленье духа. Ходишь-ходишь, куришь до безчувствія и уйдешь и заплачешь. Какая юность, какая свѣжесть угасла!.. Вотъ именно «вкусилъ мало меду и умеръ».

Всѣ мы боевые или, по крайней мѣрѣ, предназначенные къ боямъ люди раскисли и размякли. Полякъ тоже не хотѣлъ уѣзжать — онъ хотѣлъ проводить съ нами Сашу въ могилу и видѣть его отца, за которымъ, рано утромъ, послали и ждали его въ городъ къ вечеру.

Если бы не коридорный Марко, то мы бы забыли время ѣсть и пить, но онъ бдѣлъ надъ нами и много дѣлалъ и для покойника. Онъ его обмывалъ, одѣвалъ и разсказывалъ, что̀ надо купить и гдѣ поставить, да и насъ уговаривалъ успокоиться.

— На все воля Господня!—говорилъ онъ:—мы всѣ какъ трава.

И сейчасъ же опять бѣжалъ по другимъ дѣламъ. Другіе слуги подъ какимъ-то предлогомъ были арестованы и въ вещахъ ихъ былъ сдѣланъ обыскъ. Денщика покойнаго Саши тоже обыскали и даже допросили: не передалъ ли ему чего-нибудь передъ своею смертью самоубійца.

Солдатъ, казалось, не сразу понялъ этотъ вопросъ, но потомъ отвѣчалъ:

— Его благородіе никакихъ денегъ мнѣ не передавалъ.

— Ты помнишь, что̀ тебѣ можетъ быть за утайку?

— Какъ же-съ, помню.

Разумѣется, все это спрашивали не мы, а слѣдственныя власти, которымъ нельзя увлекаться щекотливостью.

Денщика отпустили, и онъ тотчасъ же ушелъ и сталъ чистить запасные Сашины сапоги.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Вечеромъ пріѣхалъ отецъ. Онъ былъ очень миловидный и совсѣмъ еще не старый,—не болѣе лѣтъ пятидесяти двухъ или трехъ. Манера держаться у него была военная, и онъ былъ въ отставномъ военномъ сюртукѣ, со шпорами, но безъ усовъ. Мы его никогда ранѣе не видали и потому не замѣтили, какъ онъ вошелъ въ комнату сына, а узнали его уже тогда, когда онъ оттуда вышелъ.

Онъ съ пріѣзда спросилъ денщика, и тотъ повелъ его

и оставался съ нимъ одинъ на одинъ, съ глазу на глазъ при покойникѣ около 2—3 минутъ. И послѣ этого короткаго времени отецъ вышелъ къ намъ въ залъ, имѣя видъ, поразившій насъ своимъ тихимъ величіемъ.

— Господа! я представляюсь вамъ, — началъ онъ, кланяясь: — я отецъ вашего несчастнаго товарища. Мой сынъ умеръ, онъ убилъ себя... онъ осиротилъ меня и свою мать.. *но онъ не могъ поступить, господа, иначе...* Онъ умеръ какъ честный и благородный молодой человѣкъ и... и... это то, въ чемъ я увѣряю васъ и... въ чемъ я самъ буду искать себѣ утѣшенія...

Съ этими словами сразу обаявшій насъ старикъ упалъ на стулъ къ круглому столу и, закрывъ лицо руками, звонко заплакалъ какъ ребенокъ.

Я поспѣшилъ подать ему дрожащею рукою стаканъ воды.

Онъ принялъ ее, проглотилъ два глотка и, ласково сжавъ мою руку, молвилъ:

— Благодарю васъ всѣхъ, господа.

А потомъ обмахнулся платкомъ и сказалъ:

— Не то еще... Я что такое? Но жена, жена какъ узнаетъ!.. Материнское сердце не вынесетъ.

И онъ опять утерся платкомъ и поѣхалъ «представиться полковнику».

Полковнику онъ сказалъ тоже, что Саша «умеръ какъ должно честному и благородному молодому человѣку», и что «иначе онъ поступить не могъ».

Полковникъ глядѣлъ на него въ упоръ долго, кусая, по своему обычаю, маленькій леденецъ, и потомъ сказалъ:

— Вы знаете, что этому предшествовало одно несчастное обстоятельство... Мы съ вами вѣдь въ свойствѣ и потому я вамъ могу и долженъ сказать все. Я ничему не вѣрю, но поведеніе корнета было-таки странно...

— О, оно было совершенно необходимо, полковникъ...

— Я вѣрю, но если бы вы могли приподнять передъ моими глазами хоть уголокъ завѣсы, закрывающей эту тайну...

— Не могу, полковникъ.

Полковникъ пожалъ плечами.

— Что дѣлать,—сказалъ онъ:—пусть все такъ остается.

— Кромѣ одного, полковникъ. Деньги княжескому управителю полкъ платить не будетъ, потому что ихъ плачу я. Это мое грустное право.

— Не смѣю спорить.

И отецъ Саши, дѣйствительно, въ тотъ же самый день съ глазу на глазъ подалъ Августу Матвѣичу двѣнадцать тысячъ.

Полякъ взялъ пачку и, сказавъ: «никогда!» — положилъ ее снова въ карманъ старика, и они сѣли другъ противъ друга, и оба стали плакать.

— Великій Боже! великій Боже!—восклицалъ старикъ:— все это такое честное, такое благородное, — и между тѣмъ есть же злодѣй, который здѣсь что-то сдѣлалъ.

— И онъ найдется.

— Да; но сынъ мой не воскреснетъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

А въ чемъ же была тайна?

Чтобы разсказъ сталъ наконецъ понятнымъ, — надо нескромно раскрыть ее.

На груди Саши былъ акварельный портретъ его милой розовой кузины Ани, которая была теперь его полковницей и дала жизнь новому человѣческому существу въ то самое мгновеніе, когда Саша самовольно разрѣшилъ себя отъ жизни.

Этотъ портретъ былъ залогъ не столько страстной любви, какъ свѣтлой дѣтской дружбы и цѣломудренныхъ обѣтовъ; но когда розовая Аня сдѣлалась женой полковника, и тотъ сталъ ревновать ее къ кузену, — Саша почувствовалъ себя въ томленьяхъ Донъ-Карлоса. Онъ довелъ эти муки до помрачающихъ терзаній и... въ эту-то пору подвернулся случай съ деньгами и съ обыскомъ, къ которому, какъ на грѣхъ, подошелъ полковникъ.

Саша не выдалъ тайны кузины.

Держа уже пистолетъ у груди, онъ подалъ этотъ портретъ денщику и сказалъ:

— Богомъ заклинаю—отдай отцу.

Тотъ и отдалъ его черезъ гробъ покойнаго.

Отецъ сказалъ, что его сынъ «умеръ, какъ должно честному и благородному молодому человѣку».

Портретикъ былъ чистый, невинный, даже мало схожій съ тою, кого изображалъ онъ, съ дробною надписью: «милому Сашѣ его вѣрная Аня».

И ничего болѣе...

Это теперь смѣшно,—пожалуй даже глупо! Да, да; быть-можетъ, все это такъ. «Что ни время—то и птицы, что ни птицы—то и пѣсни». Я вамъ никого не аттестую и ничего не критикую, но только я насчетъ *интересности,* какъ ее женщины чувствуютъ.

Что это такое былъ корнетъ Саша? Такъ себѣ, ничего или очень мало, — розовый мальчикъ, дворянчикъ, бѣлогубый выкормочекъ въ мундирѣ. Ничего у него, никакихъ плѣнительныхъ даровъ, кромѣ дара молодости, и... безоглядного *чувства личной чести женщины...* И вотъ подите-ка, что̀ вы скажете: было ли тутъ передъ чѣмъ пасть и преклониться? А я вамъ разскажу, какъ пали и преклонялись.

Исторіи той тайны, которую я вамъ сейчасъ по необходимости разсказалъ, въ городѣ тогда никто никому разсказать не могъ, потому что о ней только кое-что зналъ денщикъ, а вполнѣ понималъ ее одинъ отецъ самоубійцы. Кромѣ того, явилось еще обстоятельство, которое не только могло, но и непремѣнно должно было все это спутать, благодаря ошибкѣ Марка, который видѣлъ и, крестясь, разсказалъ многимъ по секрету, какъ денщикъ покойнаго передалъ что-то тайно изъ рукъ въ руки его отцу. Что̀ это могло быть такое, что̀ одинъ изъ нихъ передалъ, а другой взялъ и спряталъ съ такою тайностію?.. Богъ знаетъ. Марко крестился и говорилъ:

— Не хочу брать на свою душу грѣха, — не могъ разсмотрѣть, что̀ именно такое, а только видѣлъ, что какой-то пакетецъ въ бумажкѣ переданъ.

Не это ли были деньги? Почему бы такъ не думать при тѣхъ смутныхъ обстоятельствахъ, которыя я вамъ описываю и которыя, какъ всякое подозрѣніе, становились часъ отъ часу безтолковѣе и способнѣе распространять на все свою деморализующую подозрительность... Не всякій ли, имѣющій руки, имѣетъ и средства взять ими? Открыть вора — вотъ въ чемъ первая задача; не упустить малѣйшаго подозрительнаго признака—вотъ въ чемъ обязанность каждаго...

Да, каждаго, кто думаетъ, что желчные глаза подозрительности видятъ лучше, чѣмъ свѣтлое око растроганнаго сердца; но, къ счастію рода человѣческаго, ему доступны бываютъ и великія душевныя откровенія, когда люди какъ бы осязаютъ невидимую правду и, ничѣмъ не сдерживаемые,

стихійно стремятся почтить скорбью несчастье. Это своего рода священныя бури, ниспосылаемыя для того, чтобы разогнать сгустившійся удушливый туманъ, — въ нихъ есть «дыханье свыше», въ нихъ есть откровенье, которому ясно все, что закрыто сплетеньемъ.

Марку даже не давали воли говорить о томъ, что онъ видѣлъ. Всѣ *знали*, что̀ такое денщикъ передалъ отцу бѣднаго Саши: *это былъ женскій портретъ*... Въ этомъ ни на одно мгновеніе не хотѣла усомниться ни одна человѣческая душа, — объ этомъ говорилъ свѣтъ, глядѣвшій въ окно, гдѣ совершилась съ глазу на глазъ таинственная передача; этимъ дышалъ воздухъ, объ этомъ разливался пѣснью жаворонокъ...

Похороны Саши были не торжественны и даже не трогательны, а онѣ были ужасны. Всѣ вы, господа, видали торжественныя погребенія съ тѣмъ, что называютъ «помпою»... Я не говорю о похоронахъ съ парадомъ, которыми, по моему мнѣнію, выражается только одна жалкая суета человѣческая. Вспомните похороны Гоголя, о которыхъ мы читали такія прекрасныя описанія, похороны Некрасова и Достоевскаго, которыя называли «событіемъ въ исторіи». Все это, конечно, имѣетъ значеніе и, быть-можетъ, не лишено искренности, но только искренность-то тутъ слишкомъ загромождена чѣмъ-то ей постороннимъ. Я видѣлъ, какъ въ Москвѣ хоронили Скобелева... Тутъ больше чѣмъ гдѣ-нибудь прорывалось того, что̀ отдаетъ настоящей скорбью, но — смѣйтесь надо мною, если вамъ угодно, а я, стоя тамъ, вспоминалъ и сравнивалъ тотъ значительно оригинальный день моей молодости, когда мы хоронили Сашу... Какое сравненіе! Тоже и ему, какъ офицеру, мы устроили по уставу «церемонію», но ее никто не видѣлъ и не замѣчалъ, хотя она и занимала самое видное мѣсто. То, что̀ сдѣлала въ честь его истинная скорбь людей, устремившихся отовсюду, чтобы рыдать и терзаться при видѣ его молодого мертвенно-блѣднаго лица, подавило все и, кажется, самый воздухъ пропитало трепетомъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Никого не собирали на эти похороны, кромѣ эскадрона, въ которомъ служилъ покойникъ, но люди во множествѣ сами пришли отовсюду. Вдоль всего пути отъ гостиницы

вплоть до кладбищенской церкви стали люди разнаго положенія. Женщинъ больше, чѣмъ мужчинъ. Имъ никто не внушалъ, о чемъ надо жалѣть, но онѣ сами знали, что̀ надо оплакать, и плакали о погибшей молодой жизни, которая сама оборвала себя «за благородность». Да-съ, я вамъ употребляю то слово, какое всѣ говорили другъ другу.

— За благородство свое, голубчикъ, померъ!

— Себя не пожалѣлъ для милаго сердца!

Стоитъ этакая подгородной слободы баба-тетеха и причитаетъ:

— Соколикъ ты ясный... жизнюшку свою положилъ за благородность...

И, куда ни повернитесь, всѣ въ томъ же родѣ что-то тепло-тепло и фамильярно лепечутъ. Непремѣнно на «ты» и чтобъ поласковѣй,—будто до сердца обнимаетъ.

— Крошка ты милый!.. молодой, благородный!..

— Ангелъ ты мой чувствительный!.. Какъ тебя не любить было!

И все такъ... Дворянки, купчихи, поповны, мѣщанки, горничныя и хоровыя цыганки, — и особенно эти послѣднія, какъ профессорины и жрицы трагическаго стиля въ любви,—всѣ лепечутъ дрожащими устами теплыя словца и плачутъ о немъ, какъ о лучшемъ другѣ, какъ о собственномъ возлюбленномъ, котораго будто послѣдній разъ держатъ и ластятъ у сердца.

А все вѣдь это женщины не ахти какія, и онѣ Сашу совсѣмъ и не знали, можетъ-быть, ни разу не видали, и, пожалуй, можетъ-быть, даже совсѣмъ ни за что и не полюбили бы его, когда бы знали его со всѣмъ, что̀ въ немъ было хорошаго и дурного. А вотъ тутъ, когда онъ «за благородство», да за «милое сердце»,—тутъ уже нѣтъ ни минуты, чтобы разсуждать и отрезвлять себя какимъ-нибудь разсужденіемъ, а надо причитать и плакать... Вонъ изъ тѣла душа просится...

Иннокентій однажды такъ всѣхъ тронулъ: вышелъ да вмѣсто ораторства говоритъ: «Онъ въ гробѣ—давайте плакать», вотъ и все, — и слезы льются и льются изъ глазъ. Это была какая-то общая трясовица сердецъ. Женщины вглядывались въ проносимое мимо лицо Саши (тамъ носятъ покойниковъ въ открытомъ гробѣ), и всѣ находили

его очень обыденное личико самымъ величественнымъ и прелестнымъ... «Такъ, говорятъ, и написано: «вѣрность до гроба!»

Что̀ за дѣло, что, можетъ-быть, не совсѣмъ то было написано? Онѣ читали то, что̀ видѣли ихъ глаза, — и этого довольно.

Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже
Насъ возвышающій обманъ.

Губы нервно дрожатъ и лица мокры отъ слезъ; всѣ нѣжны, всѣ съ нимъ говорятъ:

— Усни, усни, мой страдальчикъ!

Въ церкви иное настроеніе, еще острѣе. Ораторское искусство и не дерзаетъ ни на минуту испортить тотъ священный строй, къ которому все выше и выше возводитъ сердца пѣснотворческій геній Дамаскина. Его поэтическій вопль и жжетъ, и заживляетъ рану.

«Иду въ незнаемый я путь,
Иду межъ страха и надежды;
Мой взоръ угасъ, остыла грудь,
Не внемлетъ слухъ, сомкнуты вѣжды;
Лежу безгласенъ, недвижимъ,
Не слышу вашего рыданья,
И отъ кадила синій дымъ
Не мнѣ струитъ благоуханье.
Но, вѣчнымъ сномъ пока я сплю,
Моя любовь не умираетъ,
И ею всѣхъ я васъ молю,
Пусть каждый за меня взываетъ:
Господь! Въ тотъ день, когда труба
Вострубитъ міра преставленье,—
Прими усопшаго раба
Въ Твои блаженныя селенья».

И ужъ я вамъ, милостивые государи, доложу, что ужъ дѣйствительно... припадали съ этимъ къ Господу-то!.. Да вѣдь съ слезами-съ, съ какимъ плачемъ-съ!.. Какъ великъ грѣхъ Саши-розана по богословской наукѣ — въ этомъ оплакивавшіе его были не знатоки, но ужъ умоляли «принять его въ блаженныя селенья» такъ неотступно, что я, право, не знаю, какъ тутъ согласить этотъ душевный вопль съ точными положеніями оной науки... Я бы въ этомъ запутался.

Нынче многіе укоряютъ нашихъ, что они очень плохіе ораторы. Не напрасно ли? Правда, что ораторы — плохіе,

да вѣдь не вездѣ хорошо говорить, гдѣ принято. Есть случаи, гдѣ просто лучше плакать, гдѣ вопли «прими» и «прости» пристойнѣй рацей, которыя иной какъ пойдетъ разводить, такъ и договорится до чего-нибудь такого, что̀ либо оскорбляетъ разумъ, либо оскорбляетъ чувство. Вспомните Шиллеровскаго великаго инквизитора. За то я и люблю погребеніе по восточному чину. Приходятъ и уходятъ какъ-то... точно на зовъ пророка Исаіи: «Пріидите и стяжемся»... Но гдѣ тутъ стязаться? Кто побѣдитъ — ясно. А Ты вотъ все можешь, Ты призвалъ, Ты измѣнилъ зракъ и положилъ «красоту», какъ «неимущую вида»,—такъ Ты же «забудь», «прости» и «презри» все, чѣмъ онъ не оправдалъ себя передъ Тобою...

«Все пепелъ, призракъ, тѣнь и дымъ,
Исчезнетъ все, какъ вихорь пыльный.
Исчезнетъ все, что было плоть,
Величье наше будетъ тлѣнье,—
Прими усопшаго, Господь,
Въ Твои блаженныя селенья».

Снова все опять къ тому же и къ тому: «прости!»

Вспомнишь притчу о вельможѣ, который «никого не боялся и ничего не стыдился», а между тѣмъ, когда и къ такому усердно пристали, то и онъ сказалъ наконецъ: «сдѣлаю»,—и успокоишься.

Онъ ли, Который Самъ создалъ ухо, чтобы все слышать, Онъ ли задремлетъ, Онъ ли уснетъ, Онъ ли не сдѣлаетъ, что̀ проситъ голосъ столькихъ растроганныхъ душъ...

Пусть даже и «вѣрѣ могила темна», но ужъ пристойнѣе и трогательнѣе обходиться съ этимъ, какъ придумали обходиться восточные христіане, кажется невозможно. Со вкусомъ поэтъ былъ Дамаскинъ!

Еще случай тутъ вышелъ на Сашиныхъ похоронахъ со вдовою одного бывшаго вельможи. Это была дама родовитая, умная, очень воспитанная, а называлась она «змѣею». Кличка эта была глупая, змѣей эту даму звали не за зло, котораго она рѣшительно никому не дѣлала, а за презрительность, про которую говорили много. Она будто не любила ничего своего, русскаго — ни языка, ни вѣры, ни обычая, а все презирала, и презирала не съ легкомысліемъ, не съ фатовской замашкой, которыя легче

Ея уста произнесли эти слова тихимъ, едва замѣтнымъ движеніемъ, а отозвались они во всѣхъ сердцахъ, точно мы всѣ были ея дѣти.

Молотокъ гробовщика простучалъ, гробъ понесли къ выходу; отецъ велъ подъ локоть эту печальную мать, а глаза ея тихо смотрѣли куда-то вверхъ... Она вѣрно знала, гдѣ искать силъ для такого горя, и не замѣчала, какъ къ ней толпились со всѣхъ сторонъ молодыя женщины и дѣвушки и всѣ цѣловали ея руки, какъ у святой...

Отъ могилы къ воротамъ кладбища снова тотъ же натискъ и то же движеніе.

У самыхъ воротъ, гдѣ стоялъ экипажъ, «мать» какъ бы что-то поняла изъ окружающаго: она обернулась и хотѣла сказать «благодарю», но пошатнулась на ногахъ. Ее поддержала стоявшая возлѣ «змѣя» и... поцѣловала ея руку.

Такъ всѣхъ растрогалъ и расположилъ къ себѣ нашъ бѣдный Саша, такъ былъ оцѣненъ всѣми простой и, можетъ-быть, необдуманный порывъ его — «не выдать женщину».

Никто не останавливался надъ тѣмъ, что̀ это за женщина и сто̀ила ли она такого жертвоприношенія. Все равно! И что̀ это была за любовь, — на чемъ она зиждилась? Все началось точно съ дѣтской, точно «въ мужа съ женою играли»,—потомъ разстались, и *она*, по своей малосодержательности, быть-можетъ, счастлива, мужа ласкаетъ и рождаетъ дѣтей, — а *онъ* хранитъ какой-то клочокъ и убиваетъ себя за него... Это все равно! *Онъ*-то хорошъ, *Онъ всѣмъ интересенъ!* О немъ какъ-то легко и пріятно плакать.

Словомъ, никого тутъ нельзя отмѣтить титломъ особаго величія, а всѣ серьезно и вѣрно ведутъ свои роли, — вотъ какъ актеры занимавшей недавно Петербургъ мейнингенской труппы. Все *серьезно* поставлено!

Англичанка, про которую я, напримѣръ, говорилъ вамъ, — лицо намъ всѣхъ болѣе постороннее. Ей выходка Саши вѣрно должна была представляться совсѣмъ не такъ, какъ плакавшимъ о немъ хоровымъ цыганкамъ, и довольно бы ей, кажется, придти, посмотрѣть и уйти въ себя снова. Такъ нѣтъ же, — и она хотѣла свой штрихъ провести на картинѣ. Она писала свои замѣтки о Россіи и, разумѣется, дѣлала это основательно, свѣрялась съ тѣмъ, кто прежде

ея посѣщалъ нашу родину и что̀ говорилъ о нашихъ нравахъ, а потомъ обо всемъ дознавала въ новомъ, что̀ видѣла, и отмѣчала. Въ старыхъ справкахъ она почерпнула, что «на женъ нѣтъ подлѣй, какъ на Москвѣ», а дабы вѣрно отмѣтить новый фактъ, она выбрала время и адресовалась къ самому Сашину отцу. Она послала ему деликатное письмо, въ которомъ выражала сочувствіе его скорби и чрезвычайному достоинству, съ какимъ онъ и его жена перенесли свое горе. Въ заключеніе она просила позволенія знать: кто руководилъ ихъ воспитаніемъ, давшимъ всѣмъ имъ столько достойнаго чувства?

Старикъ отвѣчалъ, что его жена училась во французскомъ пансіонѣ, а его воспитаніемъ руководилъ monsieur Ravel изъ Парижа.

Англичанка находила странность въ этомъ извѣстіи, но «змѣя» помогла ей, сказавъ:

— Если бы ихъ училъ семинаристъ, то вы, быть-можетъ, даже не получили бы отвѣта.

Тогда думали, что все грубое и неприкладное къ жизни идетъ изъ семинарій, и винили ихъ такъ же искренно и неосновательно, какъ въ послѣдовавшую за тѣмъ недавнюю эпоху хотѣли-было заставить всѣхъ насъ судить о вещахъ съ граціей мыслителей изъ «Бурсы» Помяловскаго.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Остается покончить съ уголовщиной, которая во всякомъ разѣ была въ моей исторіи. Украдены или нѣтъ деньги, а вспомните, что вѣдь было положено возвратить ихъ поляку, и къ этому еще было добавленіе.

Кромѣ полковыхъ товарищей, явился еще добровольный плательщикъ и притомъ самый настойчивый — это Сашинъ отецъ. Поляку сто̀ило большихъ усилій отказаться отъ его требованій немедленно принять эти деньги, но Августъ Матвѣичъ ихъ не взялъ. Вообще онъ велъ себя во всей этой исторіи въ высшей степени деликатно и благородно, и мы ни въ чемъ не находили, чтобы его укорить или заподозрить. Въ томъ, что деньги были и пропали, уже никто изъ насъ не сомнѣвался. Да и какъ иначе: разъ, что онъ не беретъ предлагаемыхъ ему денегъ, то какую же онъ могъ имѣть цѣль, чтобы сочинить всю эту хлопотливую исторію съ кровавымъ концомъ?

— А ну какъ это въ самомъ дѣлѣ *такъ!*

— Да нечего гадать: это *такъ и есть!*

— Ахъ, чортъ бы его взялъ!

— Экій коварный народъ эти поляки!

И батюшка поддержалъ, сказавъ:

— Да, да, да.

А потомъ еще подумали и нашли, что соображенія Марка не слѣдуетъ скрыть отъ командира, но только не надо обнаруживать, что это отъ Марка, потому что это можетъ вредить впечатлѣнію, а указать какой-нибудь источникъ болѣе авторитетный и безотвѣтственный.

— Въ трактирѣ, въ бильярдной кто-то говорилъ...

— Нѣтъ,—это не хорошо. Полковникъ скажетъ: какъ же вы слышали такую мораль и не вступились. Арестовать надо было, кто это говорилъ.

— Надо выдумать другое.

— Да что?

Вотъ тутъ намъ батюшка и помогъ:

— Лучше всего, говоритъ,—сказать, что въ общей банѣ слышали.

Это всѣмъ понравилось. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь умно: баня—мѣсто народное, тамъ крикъ, шумъ, говоръ, вмѣстѣ всѣ голые жмутся и вмѣстѣ на полкѣ парятся,—вмѣстѣ плескаются... А кто сказалъ?.. разбери-ка, поди, или заарестуй... Всѣхъ развѣ надо брать, потому что тутъ всѣ люди ровненькіе, всѣ голенькіе.

Такъ и сдѣлали: и батюшку же самого упросили съ этимъ и пойти.

Онъ согласился и на другой же день все выполнилъ.

Полковникъ тоже этимъ слухомъ заинтересовался и говоритъ:

— И что всего хуже, что это уже сдѣлалось общей молвою... въ народѣ, въ банѣ говорится.

Батюшка отвѣчаетъ:

— Да, да, да! все въ банѣ... Я это все въ банѣ слышалъ.

— И что же вы... рѣшительно не могли узнать, кто это говорилъ?

— Не могъ-съ. Да, да, да, рѣшительно не могъ.

— Очень жалко.

— Да... я очень хотѣлъ узнать, но не могъ, потому что

всѣ, да... знаете, въ банѣ всѣ одинаковы. Насъ, духовныхъ, еще кое-какъ отличить можно, потому мы, мужчины, но съ косами, а простые люди, кои безъ этого, всѣ другъ на дружку похожи.

— Вы бы могли за руку схватить того, кто говорилъ.

— Помилуйте—намыленный сейчасъ выскользнетъ!.. И притомъ, какъ я въ это время на полкѣ парился, то мнѣ даже нельзя было его и достать.

— Ну, да,—если нельзя достать, такъ тогда, разумѣется, нечего... А только, я думаю, все-таки это пока лучше оставить такъ... Теперь вѣдь ужъ нѣсколько времени прошло, а черезъ годъ этотъ полякъ вѣдь далъ слово пріѣхать... Я думаю, онъ свое слово сдержитъ. А вотъ вы разскажите мнѣ, какъ по-духовному надо думать о снахъ? Пустяки они или нѣтъ?

Батюшка отвѣчаетъ:

— Это все отъ взгляда.

— Какъ отъ взгляда?

— Да, то-есть нѣтъ, — я не то хотѣлъ... есть сны отъ Бога, просвѣтительные, есть и иные—есть сны натуральные отъ пищи, есть сны вредные отъ лукаваго.

— То-то вотъ,—отвѣчаетъ полковникъ:—но, однако, и это еще не точно. А вотъ какъ вы отнесете такой сонъ. Моя жена—вы знаете—очень молодая женщина, и покойный корнетъ былъ ей и родня, и другъ ея дѣтства, а потому смерть его ее страшно поразила и она сдѣлалась какъ бы суевѣрна. Притомъ мы потеряли ребенка, и она передъ тѣмъ видѣла сонъ.

— Скажите!

— Да, да, да. Что касается до сновъ, то она относится къ нимъ—какъ вы сейчасъ сказали. Я этого не раздѣляю, но опровергнуть не хочу, хотя очень знаю, что если на ночь поужинать, то сонъ снится «бя» какой — стало-быть, это отъ желудка.

— Да, и отъ желудка,—согласился батюшка:—даже всего больше отъ желудка,—но ему пришлось еще помучиться.

— Да-съ,—продолжалъ полковникъ:—но вѣдь вотъ то и дѣло, что у нея это не сонъ, а видѣнія...

— Какъ видѣнія?

— Да-съ, понимаете—она не во снѣ видитъ, не закрытыми глазами, а видитъ на-яву и слышитъ...

— Сударь! говоритъ,—Августъ Матвѣичъ! Васъ ли, государь, вижу.

А тотъ отвѣчаетъ:

— Да, братецъ, ты меня видишь. А ты, мерзавецъ, все, знать, колокола льешь, да вѣрно, чтобъ они громче звонили, ты про честныхъ людей вздоры распускаешь,—и хлопъ его въ щеку.

Марко съ ногъ долой и завопилъ:

— Что это такое!.. за что!

Мы, кто случился дома, выскочили изъ своихъ комнатъ и готовы были вступиться. Что такое, въ самомъ дѣлѣ,—за что его бить,—Марко человѣкъ честный.

А Августъ Матвѣичъ отвѣчаетъ:

— Прошу васъ повременить минутку—за мною слѣдуютъ другіе гости, при которыхъ я вамъ сейчасъ покажу его честность, а пока прошу васъ къ нему не прикасаться и не трогать его, чтобы онъ ни на одно мгновенье не сошелъ съ моихъ глазъ.

Мы отступили, а въ это время, смотримъ, ужъ явилась полиція.

Августъ Матвѣичъ обернулся къ полицейскимъ и говоритъ:

— Извольте его брать—я передаю вамъ вполнѣ уличеннаго вора, который укралъ мои деньги, а вотъ и улика.

И онъ передалъ удостовѣреніе, что на колокольномъ заводѣ полученъ отъ Марка билетъ съ номеромъ, съ какимъ Августъ Матвѣичъ, за день до пропажи, получилъ этотъ билетъ изъ опекунскаго совѣта.

Марко упалъ на колѣна, покаялся,—и сознался какъ дѣло было. Августъ Матвѣичъ, когда ложился спать, вынулъ билеты изъ кармана и сунулъ ихъ подъ подушку, а потомъ запамятовалъ и сталъ ихъ въ карманѣ искать. Марко же, войдя въ его номеръ поправить постель, нашелъ деньги, соблазнился—скралъ ихъ, въ увѣренности, что можно будетъ запутать другихъ,—въ чемъ, какъ видѣли, и успѣлъ. А потомъ, чтобы загладить свой грѣхъ передъ Богомъ,—онъ къ одному прежде заказанному колоколу еще цѣлый звонъ «на подборъ» заказалъ и заплатилъ краденымъ билетомъ.

Всѣ остальные билеты тутъ же нашли у него въ ящикѣ подъ кіотомъ.

И зазвонили у насъ свои «Корневильскіе колокола», и еще разъ всѣ всплеснули руками и отерли слезу за бѣднаго Сашу, а потомъ пошли съ радости пировать.

Августу Матвѣичу всѣ чувствовали себя благодарными, а командиръ, чтобы показать ему свое уваженіе и благодарность, большой вечеръ сдѣлалъ и всю знать собралъ. Даже мать его, эта самая Вероника-то,—ей уже лѣтъ подъ семьдесятъ было,—и та пріѣхала, только оказалось, что она совсѣмъ не «Станиславовна», а Вероника *Васильевна*, и изъ духовнаго званія, протопопская дочь,—потому что Вероника есть и у православныхъ. А почему думали, что она «Станиславовна»,—такъ и не разъяснилось.

На этомъ вечерѣ полковница встрѣтила Августа Матвѣича при всѣхъ съ особеннымъ вниманіемъ: она встала, прошла ему навстрѣчу и подала ему обѣ руки, а онъ попросилъ извиненія «въ польскомъ обычаѣ» и поцѣловалъ у нея руки, а на другой день прислалъ ей письмо по-французски, гдѣ написалъ, что онъ все это время отыскивалъ самъ пропавшія деньги вовсе не для ихъ цѣнности, а для причинъ чести... И хотя деньги эти нынче найдены; но онъ ихъ взять не желаетъ, потому что онѣ есть «цѣна крови» и внушаютъ ужасъ. Онъ просилъ полковницу оказать ему «милосердіе»—воспитать на эти деньги круглую сиротку-дѣвочку, которую онъ отыскалъ и которая родилась какъ разъ въ ту ночь, когда разстался съ жизнью Саша. «Быть-можетъ, въ ней его душа».

Молоденькая полковница растрогалась и пожелала взять дитя, которое Августъ Матвѣичъ и привезъ ей самъ въ чистой бѣлой корзинѣ, въ бѣлой кисеѣ и лентахъ.

— Ловкій полякъ!—всѣ ему даже позавидовали, какъ онъ умѣлъ сдѣлать это красиво, нѣжно и вкрадчиво. Мистикъ, и вистикъ!

Она, говорили, прощаясь съ нимъ, плакала, а мы съ нимъ простились при брудершафтахъ за городомъ въ рощѣ. Это была случайность: онъ уѣзжалъ, а мы бражничали и остановили его. Извинились и затащили, и пили, пили безъ конца и откровенно ему все разсказали, что̀ гадкаго о немъ думали.

— Ну и ты тоже, приступили, — и ты намъ скажи... какъ ты это все подстроилъ.

Онъ говорилъ:

— Да я, господа, ничего не подстраивалъ, — все само собой такъ вышло...

— Ну, да ладно, говоримъ,—не виляй, братъ,—ты полякъ, мы тебѣ это въ вину не ставимъ, а, однако, какъ же это ты могъ отыскать сиротку-дитя, которое родилось какъ разъ въ ту ночь, какъ умеръ Саша, и, стало-быть, это дитя—ровесникъ умершему ребенку полковницы...

Полякъ засмѣялся.

— Ну, господа, говоритъ, — да развѣ можно было это подстроить?

— Да въ томъ-то и дѣло! Чортъ васъ знаетъ, какіе вы тонкіе!

— Ну, повѣрьте, я теперь только и узнаю, что я такъ тонокъ, что даже самъ себя не могу видѣть. Но вы меня увольте въ дорогу, а то почтовый ямщикъ, по своимъ правиламъ, выпряжетъ лошадей изъ моего экипажа.

Мы его отпустили, сами подсадили его въ коляску и крикнули: «пошелъ!»

А онъ примѣрялся, какъ намъ граціозно поклониться изъ коляски, но вѣрно не успѣлъ сѣсть, какъ лошади дернули—и онъ предвусмысленно поклонился намъ задомъ.

Такъ наша грустная исторія и кончилась. Въ ней нѣтъ идей, которыя бы чего-нибудь стòили, а я разсказалъ ее только по интересности. Тогда было такъ, что что-нибудь этакое самое ничтожное затѣется и пойдетъ расти, расти, и все какіе-то интересные ножки и рожки показываются. А теперь захватъ будто ухъ какой большущій, а потомъ пойдутъ перетирать—и меньше, меньше и, наконецъ, совсѣмъ ничего нѣтъ... Иной даже любить начнетъ, да и оставитъ—скучно станетъ. А отчего это?—чай, отъ многаго, а болѣе всего—думается—не отъ равнодушія ли къ тому, что называется *личной честью?*..

ТАИНСТВЕННЫЯ ПРЕДВѢСТІЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

При толкахъ о возможности близкой войны, недавно, какъ встарь, говорили о разныхъ необыкновенныхъ явленіяхъ, которыя, по мнѣнію вѣрующихъ, должны предвѣщать необыкновенныя событія. Въ Кіевѣ, напримѣръ, у храма Трехъ Святителей найдены въ необыкновенномъ положеніи два человѣческіе скелета; въ Кронштадтѣ родился необыкновенный младенецъ, который тотчасъ же заговорилъ, что ему надлежитъ наречь имя «Іоаннъ»; прилетные грачи не заняли старыхъ гнѣздъ по набережью взморья, а завились ближе вовнутрь; многимъ былъ видимъ редакторъ Комаровъ въ сербскомъ военномъ убраньѣ...

Эти, а также и нѣкоторыя другія, столь же замѣчательныя или, по крайней мѣрѣ, очень рѣдкія событія въ первыхъ числахъ апрѣля мѣсяца 1885 года отмѣчены русскими газетами великой и малой печати, и истолковывались какъ «предвѣщанія» той «близкой войны», о которой въ истекшіе дни всѣ говорили и всѣ ждали рѣшительныхъ извѣстій. Особеннымъ значеніемъ пользовалось «прореченіе кронштадтскаго младенца».

Полагали, что «Іоанникъ» не остановится на одномъ провѣщаніи своего имени, а скоро скажетъ и еще что-то болѣе обще-интересное,—потомъ стали даже опасаться: не скрываютъ ли по какимъ-нибудь соображеніямъ то, что̀ говоритъ «Іоанникъ».

Въ виду такихъ событій, можетъ статься, не излишнимъ будетъ разсказать, что̀ въ этомъ же чудесномъ родѣ случалось у насъ прежде.

Одно изъ таковыхъ, какъ мнѣ кажется, весьма интересное событіе,—достойное вниманія по своей образности и по полнотѣ объясненія, — я нашелъ въ принадлежащихъ мнѣ отрывочныхъ запискахъ одного лица, пользовавшагося особеннымъ вниманіемъ весьма извѣстнаго общественнаго дѣятеля и писателя, Андрея Николаевича Муравьева. Тамъ оно значится подъ заглавіемъ: «*Событіе о сѣножатьхъ*».

Дѣло касается загадочнаго происшествія, которое случилось какъ разъ за годъ передъ Крымскою войною и заставило говорить о себѣ многихъ въ Петербургѣ и въ другихъ мѣстахъ.

Вотъ что̀ сохранилось объ этомъ въ замѣткахъ современника.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Разъ, лѣтомъ 1852 года, покойный императоръ Николай Павловичъ, въ какомъ-то разговорѣ съ графомъ Протасовымъ, поинтересовался Валаамскимъ монастыремъ. Графъ не былъ приготовленъ къ вопросамъ государя, но не хотѣлъ обнаружить своей неготовности и, начавъ отвѣчать бойко и рѣчисто, увлекся до нѣкоторой неосторожности. Онъ необыкновенно нахвалилъ государю Валаамскую обитель со стороны красотъ ея островного мѣстоположенія, аскетическаго благочестія ея обитателей, ихъ превосходныхъ хозяйственныхъ учрежденій и необыкновенныхъ успѣховъ ихъ въ садоводствѣ и огородничествѣ, причемъ было что-то говорено и о виноградѐ.

Государь находился въ самомъ благопріятномъ расположеніи, чтобы выслушать разсказъ графа, и особенно заинтересовался виноградомъ, а потомъ замѣтилъ:

— Это все любопытно. Братъ Александръ былъ тамъ, и я помню, что монастырь произвелъ на него сильное впечатлѣніе. Тамъ бы сто̀ило побывать.

Графъ, въ какихъ онъ зналъ—соотвѣтственныхъ выраженіяхъ, отвѣчалъ государю, что проѣхать, дѣйствительно, сто̀итъ, а государь уронилъ въ отвѣтъ на это: «да, да», и перешелъ къ другимъ рѣчамъ.

Было ли у государя серьезное намѣреніе посѣтить Валаамъ или замѣчанія его были высказаны вскользь безъ дальнѣйшихъ послѣдствій, но графъ Протасовъ тотчасъ же послѣ описаннаго разговора поѣхалъ прямо изъ дворца въ

лавру къ бывшему тогда митрополиту Никанору *) и сообщилъ ему слова императора,—какъ событіе, которое немедленно требуетъ подготовительныхъ дѣйствій.

Графъ былъ неспокоенъ, потому что онъ не хорошо зналъ Валаамъ и опасался, не проскользнуло ли въ его отвѣтахъ государю чего-нибудь несоотвѣтственнаго и опрометчиваго. Графу, конечно, была извѣстна необыкновенная памятливость государя и его строгость, если онъ узнаетъ обманъ. Слѣдовательно, если государю вздумается поѣхать на Валаамъ, да онъ найдетъ тамъ что-нибудь не то, что̀ ему разсказалъ графъ, то ему отъ императора достанется. А что государь ничего не забудетъ и обстоятельно сравнитъ разсказъ графа съ дѣйствительностію, въ томъ тоже не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія.

Безпокойство графа не показалось напраснымъ и владыкѣ Никанору. Напротивъ, оно еще значительно возросло въ митрополитѣ, такъ какъ высокопреосвященный проживалъ въ Петербургѣ въ епископскомъ санѣ съ 1848 года, а на Валаамѣ тоже еще не бывалъ; и теперь, когда оберъ-прокуроръ заговорилъ съ нимъ, онъ почувствовалъ, что и самъ не знаетъ — въ какой степени дѣйствительность Валаама отвѣчаетъ словеснымъ изображеніямъ графа. Особенно внѣшній порядокъ и чистота, которыя обыкновенно не скрывались отъ глазъ императора, легко могли быть ниже того, что̀ о нихъ было разсказано. Все это высокопреосвященный самъ и выразилъ графу.

— Ну, вотъ видите ли, какъ оно есть! — отвѣчалъ на то графъ. — Это никуда не годится. Такъ и мнѣ, и вамъ можетъ быть очень непріятно. Вы знаете, какъ государь проницателенъ.

— Знаю.

— Ну, такъ я бы совѣтовалъ вамъ предупредить государя и самимъ туда съѣздить — поклониться святынямъ и все посмотрѣть и исправить.

Митрополитъ согласился.

— Я и самъ, говоритъ,—давно желалъ поклониться преподобнымъ Герману и Сергію.

---

*) Никаноръ (Клементьевскій) былъ митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ съ 20 ноября 1848 г. по 17 октября 1856 г., когда умеръ. Его замѣстилъ съ 1 окт. того же года в.-пр. Григорій (Постниковъ), ум. 17 іюня 1860 г.

Графъ одобрилъ и вызвался самъ доложить государю объ этомъ намѣреніи.

Протасовъ съ этимъ *уѣхалъ*, а высокопреосвященный Никаноръ обратился къ лаврскимъ записямъ и къ старымъ инокамъ лавры за справками: когда и кто изъ петербургскихъ іерарховъ ѣздилъ самъ на Валаамъ и какія это имѣло послѣдствія?

Оказалось, что изъ всѣхъ митрополитовъ, бывшихъ прежде высокопреосвященнаго Никанора, совершалъ паломничество на Валаамъ только одинъ Михаилъ *), и цѣль его путешествія тоже была сложная: главное влеченіе, разумѣется, было поклониться мощамъ преподобныхъ Германа и Сергія, но совпала эта поѣздка владыки съ дошедшимъ до него слухомъ, что покойный государь Александръ Павловичъ желаетъ съѣздить помолиться на Валаамъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Это было лѣтомъ 1819 года, и именно въ половинѣ іюля. Одиннадцатаго числа іюля, въ день св. благовѣрныя княгини Ольги, одна изъ посѣтившихъ владыку тезоименитыхъ дамъ большого свѣта сообщила преосвященному, какъ кому-то случилось заинтересовать государя разсказомъ о духовной жизни, о прозорливствѣ и другихъ особенныхъ дарованіяхъ валаамскихъ скитниковъ и схимниковъ, а шестнадцатаго числа того же іюля владыка Михаилъ «прибылъ уже на Валаамъ на трехъ лодкахъ въ сопровожденіи выборгскаго протоіерея, іеромонаха, двухъ іеродіаконовъ, четырехъ пѣвчихъ и прочихъ духовныхъ и *свѣтскихъ* лицъ. Митрополитъ Михаилъ пробылъ здѣсь четыре дня (16—20 іюля),—служилъ, молился, провожалъ покойника и шествовалъ со славою, и 20 іюля отплылъ на лодкахъ». (См. описаніе Валаамскаго монастыря. Спб., 1864 г.). А «въ августѣ на Валаамѣ разнеслось извѣстіе, что къ десятому числу туда будетъ государь». Слухъ этотъ скоро и оправдался: «уже шестого августа получено было съ нарочнымъ отъ министра духовныхъ дѣлъ, князя Голицына, игуменомъ Валаамскаго монастыря письмо, въ которомъ изъяснена высочайшая воля государя императора

*) Высокопреосвященный Михаилъ (Десницкій) былъ митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербургскимъ съ 25 іюня 1818 г. по день своей смерти, 24 марта 1821 года.

непремѣнно быть въ монастырѣ, и повельно: не приготовлять ничего,—церемоніи не дѣлать, а принять самодержавнаго посѣтителя какъ благочестиваго путешественника» (ibidem).

Государю Александру Павловичу очень хотѣлось видѣть отдаленную обитель такъ, какъ она есть—ничѣмъ не приспособленную къ нарочитому пріему, а въ простомъ, въ обычномъ строѣ ея общежитія, но это не удалось. «Описаніе» сообщаетъ, что усердные иноки не могли совладать съ охватившею ихъ радостію и едва государь прибылъ въ Сальму, какъ его здѣсь уже встрѣтилъ валаамскій экономъ Арсеній. Правда, что экономъ какъ будто случился здѣсь по экономическимъ надобностямъ обители, а это было въ порядкѣ вещей, но тѣмъ не менѣе государь Александръ Павловичъ едва ли принялъ это за простую случайность, и во всякомъ случаѣ онъ воспользовался свиданіемъ съ экономомъ и самъ настойчиво выразилъ ему свое желаніе освободиться отъ всякихъ встрѣчъ и отъ всякаго особливаго почета на Валаамѣ. Государь Александръ Павловичъ «самъ» подтвердилъ эконому, чтобъ встрѣчи никакой не было, чтобъ службъ церковныхъ не прибавлять и не убавлять, а быть всему по монастырскому положенію, чтобы рукъ у его величества не цѣловать и въ ноги ему не кланяться. (Опис. Валаам. монаст., стр. 195).

И болѣе того: «склонный къ тонкой деликатности, государь, чтобы не смущать тишину скитской жизни и не нарушать богомысленнаго настроенія братіи блескомъ и многолюдствомъ придворныхъ, переплылъ на Валаамъ, не взявъ съ собою никого, кромѣ «одного камердинера». Но въ монастырѣ все-таки узнали о пріѣздѣ его величества, когда онъ уже всходилъ по гранитной лѣстницѣ. Тогда *затрезвонили во всѣ колокола,* и братія начала сходиться со всѣхъ сторонъ къ собору. Государь стоялъ на церковномъ крыльцѣ и внимательно изволилъ смотрѣть на монаховъ, *поспѣшавшихъ другъ передъ другомъ»* (196). Это было уже не то, чего хотѣлось государю.

«Взойдя въ соборъ, государь сталъ посрединѣ церкви, игуменъ былъ въ ризѣ и съ крестомъ, а іеродіаконъ въ стихарѣ, царскія двери отворены и іеродіаконъ возгласилъ многолѣтіе».

Государь выслушалъ эту встрѣчу и пошелъ «приклады-

ваться къ мѣстнымъ иконамъ», а игуменъ, тѣмъ временемъ, снялъ съ себя ризу и «сталъ за амвономъ съ братіею».

«Государь подошелъ къ нему и принялъ благословеніе сначала отъ него, а потомъ отъ всѣхъ іеромонаховъ, *цѣлуя у каждаго руку, но своей никому не давая*; затѣмъ кланялся всей братіи». Всѣмъ этимъ государь Александръ Павловичъ сколько удовлетворялъ своему собственному настроенію, столько же и давалъ чувствовать братіи — въ какомъ духѣ имъ надлежало держать себя въ его присутствіи; но братія, въ отвѣтъ на поклонъ императора, «поклонилась ему въ землю» (ibidem). Тогда государь уже сказалъ прямо въ лицо инокамъ, «чтобы ему никто не кланялся поклоненіемъ въ землю, подобающимъ только Богу».

Въ этомъ же родѣ случилось нѣчто и въ отношеніи службъ: государя опять спрашивали, какъ служить, — онъ опять просилъ служить все по установленію. Ему все хотѣлось, чтобы на него не обращали вниманія, а инокъ Савватій во время службы оставилъ свое мѣсто, чтобы «поднять перчатку», которую уронилъ государь, и «его величество не допустилъ до этого отца Савватія» (203). Одну службу затянули такъ, что «іеросхимонахъ-пустынножитель Никонъ, въ присутствіи государя, при привычномъ вниманіи и напряженномъ слушаніи божественнаго пѣнія, выпустилъ костыль изъ рукъ и упалъ, а государь его поднялъ и посадилъ» (ibidem).

Когда все это было приведено на память высокопреосвященному Никанору, онъ увидалъ, что есть очень большая надобность подготовить валаамскихъ отшельниковъ къ тому, чтобы они могли держать себя при встрѣчѣ государя Николая Павловича соотвѣтственнѣе того, какъ держали себя, встрѣчая покойнаго Александра Перваго. А для того, чтобы такую подготовку сдѣлать многостороннѣе и избѣжать недосмотровъ, допущенныхъ митрополитомъ Михаиломъ, высокопреосвященный Никаноръ пришелъ къ очень счастливой мысли—повезти съ собою на Валаамъ не однихъ спутниковъ изъ столичнаго духовенства, которые могли дать инокамъ подходящіе совѣты въ отношеніи богослуженія, но также пригласить съ собою и двухъ-трехъ мірянъ изъ такихъ людей, которые совмѣщаютъ въ себѣ настоящее русское благочестіе и настоящее знаніе этикета и вкусовъ государя.

Въ такихъ лицахъ тогда недостатка не было. Къ митрополиту была вхожа цѣлая группа свѣтскихъ людей, изъ коихъ каждый могъ основательно оспаривать у другого право и на общественное уваженіе, и на набожность и благочестіе. Таковы, напримѣръ, были: Степанъ Онисимовичъ Бурачокъ (изд. «Маяка»), графъ Дмитрій Николаевичъ Толстой, Андрей Николаевичъ Муравьевъ, Андрей Андреевичъ Вагнеръ, Аркадій Николаевичъ Мазовской и Иванъ Якимовичъ Мальцевъ.

Выборъ былъ свободный, такъ какъ каждое изъ этихъ лицъ отвѣчало цѣлямъ, которыя имѣлъ митрополитъ, и каждое, конечно, изъявитъ полнѣйшую готовность съ рвеніемъ принести свою долю ожидаемой отъ него пользы.

Мысли владыки втайнѣ намѣчали отдать предъ всѣми предпочтеніе Андрею Николаевичу Муравьеву, но судьба и разныя неожиданныя вещи устроили все это иначе, и притомъ гораздо лучше и ко всеобщему удовольствію многихъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Единомысленное содружество или «братство», состоявшее изъ Бурачка, гр. Дм. Н. Толстого, Андрея Н. Муравьева, Андрея А. Вагнера и Ивана Якимовича Мальцева, само признавало или, лучше сказать, чувствовало надъ собою нравственное старѣйшинство Андрея Николаевича Муравьева и было отъ него въ нѣкоторой авторитетной зависимости. Онъ ихъ тихо, но плотно подавлялъ извѣстными превосходствами своей натуры — смѣлостью, оригинальностью и беззастѣнчивостью; притомъ всѣ они признавали въ немъ большой умъ и талантъ и знали, что высокопреосвященный Никаноръ отличаетъ его отъ прочихъ и «помогаетъ ему» такъ чувствительно, что это давало поводъ многимъ утверждать, будто Муравьевъ «жилъ на счетъ митрополита» *).

*) Муравьевыхъ было пять братьевъ: Александръ—бывшій декабристъ и впослѣдствіи ссыльный, а потомъ губернаторъ и сенаторъ — Михаилъ (Виленскій), Николай (Карсскій), Сергѣй, служившій гдѣ-то въ небольшихъ должностяхъ, и общеизвѣстный Андрей Николаевичъ, котораго называли «вселенскимъ». Онъ былъ «другъ всѣхъ патріарховъ» и «эпитропъ». Часть свою изъ наслѣдства отца Андрей Н. отдалъ брату своему Александру, а самъ жилъ на Троицкомъ подворьѣ, въ прекрасномъ, впрочемъ, помѣщеніи, которое даромъ предложилъ ему покойный митрополитъ московскій Филаретъ (Дроздовъ).

равьеву, который выслушивалъ ихъ по виду съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, но въ самомъ дѣлѣ — съ большимъ вниманіемъ и никогда не упускалъ того, что̀ могло касаться какихъ-нибудь личныхъ его видовъ.

Изъ лицъ, сейчасъ нами названныхъ, одинъ даже имѣлъ долгъ или обязанность всегда являться въ собраніе «подъ патріархами» *непремѣнно* съ новостію и за то получилъ отъ Андрея Николаевича кличку «Репетиловъ» *).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

«Репетиловъ» приходился сродни Андрею Николаевичу (племянникъ) и занималъ такую должность, по которой могъ скоро и вѣрно знать новости Двора. А потому при «чаѣ подъ патріархами» онъ былъ интересная персона, которую всегда встрѣчали съ любопытствомъ и которой потому даже дозволялось запаздывать и являться «подъ патріарховъ» не изъ церкви, а прямо изъ города, лишь бы только его «вечернее приношеніе было въ порядкѣ».

«Приношенія» къ «чаю подъ патріархами» были не только въ обычаѣ, но это, такъ сказать, составляло необходимое условіе. Андрей Николаевичъ не скрывалъ, что его дѣла находятся въ большомъ стѣсненіи, но, напротивъ, онъ самъ говорилъ объ этомъ всѣмъ и своей веселою откровенностью довольно легко и благоуспѣшно выходилъ изъ затрудненій, не испытывая лишеній.

— Трудящійся достоинъ мзды, — говорилъ шутя, но съ серьезными цѣлями Муравьевъ.—Я васъ просвѣщаю, а вы меня кормите. Безъ меня вы ничего бы не знали, а я напишу моимъ золотымъ перомъ, что̀ вамъ нужно знать, и вы будете знать **).

Поэтому являлись съ «приношеніями» всѣ приходившіе

*) Вотъ клички нѣкоторыхъ другихъ «муравьевскихъ прихожанъ»: Эвальдъ назывался «Азъ и Фертъ», Мазовской—«Кукушка», Вагнеръ—«Корнетъ-хохолъ», Шаховской—«Колокольчикъ», Абамеликъ—«Зосима и Савватій». Дамы тоже имѣли клички. Пажи и берейторы назывались общимъ именемъ «сенъ-сиры», но степенью расположенности они пользовались у Муравьева неодинаковою. Въ числѣ ласкаемой Андреемъ Николаевичемъ молодежи («сенъ-спровъ») были тогдашніе юнкера Шереметевъ и братья Алексѣй и Петръ Ахматовы, изъ которыхъ одинъ потомъ былъ оберъ-прокуроромъ св. синода.

**) Андрей Николаевичъ Муравьевъ писалъ *золотымъ перомъ*, которое было ему поднесено его почитателями, съ надписью: «перо Муравьева». Куда оно дѣлось—неизвѣстно. Писалъ онъ всегда прескверно и потому предпочиталъ диктовать.

«подъ патріарховъ». Не освобождались отъ этого даже и люди совершенно бѣдные. Изъ тѣхъ одинъ (В.) былъ обязанъ приносить сливки, другой (А.)—калачи, и т. д.—кто что̀ могъ. У кого не было ничего своего для приношенія, тому Андрей Николаевичъ доставалъ возможность отбывать свою повинность на счетъ «ввѣренной части»,—такъ, напримѣръ, М. Э. и С. присылали ему верховыхъ лошадей изъ берейторской школы, и онъ совершалъ на нихъ по городу свои прогулки, которыя обращали на него вниманіе и не дозволяли забывать о немъ людямъ безпамятнымъ. Но всѣхъ исправнѣе и всѣхъ щедрѣе въ приношеніяхъ были вышеназванныя дамы, между коими находились обладательницы огромныхъ состояній. Ихъ попеченіями Андрею Николаевичу доставлялось не только все существенно необходимое для безнуждного существованія, но также не мало и излишняго. Дамы только иногда затруднялись знать, что̀ нужно Андрею Николаевичу или что̀ ему желается; но въ этихъ случаяхъ ихъ обыкновенно выручалъ тезка Андрея Николаевича — «корнетъ-хохолъ» А. А. Вагнеръ, который былъ одно время какъ бы наперсникомъ Муравьева и его ризничимъ и кравчимъ его «боярской палаты» Какъ бы тщательно ни былъ пополненъ весь палатскій инвентарь Муравьева, Вагнеръ всегда умѣлъ указать желающимъ услужить Андрею Николаевичу—что̀ еще можетъ быть предложено къ его благоугожденію. Даже, если было укомплектовано все,—то и тогда еще желающимъ приносить не приходилось тосковать въ невѣдѣніи, что̀ можетъ быть предметомъ новыхъ приношеній. Андрей Николаевичъ постоянно носилъ дома черные полукафтанья (архалуки) изъ шелковой матеріи, устроенные такъ, что они должны были застегиваться на пуговицы, но пуговицы къ нимъ не пришивались, а только прометывались петли. Въ эти петли вставлялись запоны изъ драгоцѣнныхъ цвѣтныхъ камней, обдѣланныхъ въ серебро или въ золото. Пуговицы одного какого-нибудь цвѣта Андрею Николаевичу надоѣдали, и онъ имѣлъ разныя смѣны: яхонтовыя, изумрудныя, рубиновыя, янтарныя. Новая смѣна въ этомъ родѣ всегда приносила Андрею Николаевичу удовольствіе, а Андрей Андреевичъ Вагнеръ зналъ вкусы «брата Андрея» и всегда могъ помочь дамамъ, затруднявшимся — какое приношеніе было умѣстнѣе во всякую данную минуту.

Понятно, что такъ хорошо обставленный А. Н. Муравьевъ былъ неупустительно извѣщенъ о томъ, что случилось послѣ мимолетнаго разговора государя съ графомъ Протасовымъ о Валаамѣ, и предполагавшаяся поѣздка митрополита вызвала въ Андреѣ Николаевичѣ свои соображенія.

Дѣло представлялось такъ, что Андрею Николаевичу, кажется, слѣдовало бы имѣть первое мѣсто и главную роль въ этомъ паломничествѣ, и такъ какъ съ мѣропріятіями по этому поводу медлить было некогда, то Андрей Николаевичъ тотчасъ же и сдѣлалъ свои распоряженія по причету.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

У нихъ въ «братствѣ» былъ такой порядокъ, что къ концу «чая подъ патріархами» Андрей Николаевичъ, какъ «настоятель», назначалъ подначальнымъ ему младшимъ братіямъ — куда имъ надлежитъ являться на завтрашнія воскресныя службы.

Назначенія эти дѣлались всякій разъ по непосредственному его усмотрѣнію: часто, напримѣръ, назначалось посѣтить «внезапно» раннія службы у Пантелеймона или у Симеона, гдѣ Андрей Николаевичъ преслѣдовалъ извѣстныя ему упущенія (особенно лѣность какого-то діакона), но иногда надобность указывала имъ явиться «внезапно» въ другихъ храмахъ,—и всѣ эти распоряженія давались только наканунѣ, подъ «патріархами», такъ что объ этомъ никто не могъ предупредить неисправныхъ священнослужителей, и Андрей Николаевичъ съ «братіею» настигали упустительныхъ врасплохъ, со всѣми слабостями, и тутъ же взыскивали или исправляли *). Если же все по храмамъ епархіальнаго вѣдомства въ столицѣ шло въ порядкѣ и упущеній нигдѣ не предвидѣлось, тогда Андрей Николаевичъ доз-

*) Если Андрей Николаевичъ приходилъ въ церковь Пантелеймона передъ начатіемъ ранней обѣдни и видѣлъ, что священникъ готовится начинать литургію одинъ безъ діакона, котораго Муравьевъ уже зналъ за человѣка лѣниваго къ молитвѣ, то Андрей Николаевичъ тотчасъ же просилъ батюшку «подождать», а за діакономъ посылалъ сторожа, съ приказаніемъ «поднять его съ постели». Сторожъ шелъ и исполнялъ порученіе такъ успѣшно, что діаконъ приходилъ очень скоро и служилъ съ благоговѣніемъ.

волялъ себѣ и своимъ братіямъ высшее духовное удовольствіе: они всѣ могли съѣзжаться въ Александро-Невскую лавру, въ Крестовую церковь митрополита, и тамъ даже принимать возможное для мірянъ личное участіе въ службахъ. Изъ «братіи» Андрей Николаевичъ Муравьевъ и Андрей Андреевичъ Вагнеръ почитались за хорошихъ чтецовъ и имъ дозволялось читать въ Крестовой церкви за всенощною шестопсалміе. (Самъ митрополитъ слушалъ это чтеніе, сидя у окна, которое было продѣлано въ церковь изъ его столовой). Вагнеръ и Муравьевъ читали «каждый въ своемъ родѣ»; но какъ однимъ изъ ихъ слушателей больше нравилось чтеніе Муравьева, а другимъ былъ пріятнѣе Вагнеръ, то въ общихъ интересахъ, для уравненія слушателей, между обоими мастерами читать была установлена очередь: одинъ разъ читалъ «Андрей большой», а въ другой—«Андрей меньшой», т. е. Вагнеръ.

Оба чтеца въ очередь свою подготовлялись къ чтенію и превосходили другъ друга въ своемъ искусствѣ, а потому случаи эти представляли интересъ для компаніи и сопровождались нѣкоторою особенною торжественностію. Въ тѣ дни, когда читали Муравьевъ или Вагнеръ, Андрей Николаевичъ пріѣзжалъ въ лавру одинъ, такъ какъ онъ былъ очень честолюбивъ и занималъ въ церквахъ особыя мѣста (въ Троицкомъ подворьѣ Муравьевъ, въ отсутствіе московскаго митрополита, стоялъ всегда на его мѣстѣ), а весь остальной мужской персоналъ «братіи» долженъ былъ пріѣзжать разомъ «въ курятникѣ». Это требуетъ объясненія. «Братія» съѣзжалась сначала на Моховую, въ домъ секундъ-маіора Ивана Якимовича Мальцева, къ обѣду. Обѣдъ въ такихъ случаяхъ происходилъ ранѣе обыкновеннаго, и при послѣднемъ блюдѣ къ крыльцу подавалась большая четверомѣстная карета, которую, со словъ Муравьева, называли «курятникъ». Въ этотъ-то «курятникъ» усаживались—самъ чтецъ Вагнеръ («иже бысть первый по Фараонѣ») и знатоки службы: Бурачокъ, Толстой и самъ секундъ-маіоръ Мальцевъ.

Въ Крестовой церкви оканчивалось служеніе, чтецы отличались, и затѣмъ всѣ шли на чай къ митрополиту, гдѣ и проводили часъ въ пріятныхъ разговорахъ о томъ, что̀ было на ту пору интереснаго въ городѣ.

Муравьевъ имѣлъ полное основаніе разсчитывать, что въ

этотъ разъ тамъ дежурный разговоръ будетъ о Валаамѣ, по, къ крайней своей досадѣ, онъ очень грубо ошибся.

Андрей Николаевичъ понялъ, что это не спроста и что ему что-то подстроено.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Положеніе Муравьева въ духовенствѣ было чрезвычайно странное. Близкій по своимъ отношеніямъ къ патріархамъ и вообще высшимъ іерархамъ, онъ вовсе не пользовался расположеніемъ клира. Напротивъ, онъ имѣлъ въ числѣ священнослужителей множество недоброжелателей и даже нѣкоторое число очень откровенныхъ и смѣлыхъ враговъ, которые не боялись «ходить на него въ одиночку». Изъ нихъ одинъ такой жилъ тогда въ Невской лаврѣ,—это былъ знаменитый синологъ, архимандритъ Аввакумъ, извѣстный по своей учености, по благородной прямотѣ характера, по неукротимой пылкости и по анекдотической небрежности въ отправленіи совершенно несродныхъ ему цензорскихъ обязанностей, къ которымъ онъ былъ назначенъ и потомъ отрѣшенъ. За продолжительную жизнь въ Китаѣ, отецъ Аввакумъ совсѣмъ «отвыкъ отъ европейской политики» и не скрывалъ никакихъ своихъ чувствъ: онъ гласно говорилъ, что «самое безвредное чтеніе—читать этикеты на бутылкахъ, а самый противный человѣкъ на свѣтѣ—Андрей Муравьевъ съ братіею его». И Андрей Николаевичъ это зналъ, потому что Аввакумъ однажды высказалъ всю эту тираду за столомъ въ присутствіи самого Муравьева; но Муравьевъ не могъ ему ничего сдѣлать и даже не дерзалъ его припугнуть. Онъ даже не выдумалъ Аввакуму никакой клички, кромѣ какъ «китаецъ», что̀, впрочемъ, составляло обыкновенное и давно извѣстное въ монастырскомъ обиходѣ прозваніе «Аввакума китайскаго» *). Этотъ характерный старикъ терпѣть не могъ Муравьева будто бы за то, что онъ и его «іезуиты» много «сто̀ятъ» высокопреосвященному Никанору и увлекаютъ его «къ свѣтскости». Аввакумъ любилъ приволье и простоту, любилъ и уважалъ въ человѣкѣ

*) Архимандритъ Аввакумъ дожилъ свой обильный приключеніями вѣкъ и скончался въ Александро-Невской лаврѣ. Онъ погребенъ тамъ же, подлѣ церкви Благовѣщенія, и надъ его могилою стоитъ такъ-называемый «Китайскій памятникъ». Китайская надпись изсѣчена на немъ въ Петербургѣ, но сочинена въ Китаѣ.

прямую доброту и честность, былъ заботливъ о сиротахъ и не находилъ никакого удовольствія въ сообществѣ свѣтскихъ людей, если они не занимаются «чтеніемъ этикетовъ». Положеніе же его было несравненно лучше и тверже положенія Андрея Николаевича, которое всегда «зависѣло отъ игры обстоятельствъ», тогда какъ «китайскій Аввакумъ» стяжалъ себѣ самую твердую репутацію и имѣлъ до шести тысячъ рублей въ годъ «полученія» при готовой, неотъемлемой монастырской квартирѣ, выходившей окнами какъ разъ насупротивъ митрополичьихъ покоевъ *).

Здѣсь онъ могъ видѣть изъ своихъ оконъ всѣхъ, кто пріѣзжалъ къ митрополиту, и когда замѣчалъ пріѣздъ Муравьева съ его «братіей», то впадалъ въ гнѣвность, и если на тотъ случай былъ еще «начитавшись этикетовъ», то не таился съ своими чувствами, а открывалъ форточку и кричалъ:

— Опять вы налетѣли, іезуиты!.. Пошли вонъ, попрошайки!

И такъ далѣе, въ этомъ родѣ.

Муравьевъ былъ очень самолюбивъ и мстителенъ до безконечности, и онъ нимало не таился съ этими качествами. Очень нерѣдко онъ даже своимъ приближеннымъ и друзьямъ рѣзко говорилъ серьезнымъ тономъ:

— Прошу не забывать, что я *Муравьевъ*.

Но Аввакуму онъ возражать не смѣлъ и отыгрывался отъ его обидъ, представляя, будто ихъ не замѣчаетъ. Иного ничего и не оставалось, потому что если бы онъ напомнилъ ему, что онъ «Муравьевъ», то Аввакумъ у него въ долгу бы не остался, ибо почиталъ себя «ничимъ же меньше» и, кажется, имѣлъ на то основаніе. Но и, кромѣ независимаго Аввакума, при особѣ митрополита были еще лица, въ

*) Аввакумъ получалъ около 4.000 руб. пенсіи за свою службу въ Китаѣ, да 2.000 прибавочныхъ. Въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ сказано, будто онъ былъ «казначеемъ» лавры, но это неправда. Аввакумъ казначеемъ не былъ и былъ такъ же неспособенъ къ этой должности, какъ къ должности цензорской. Онъ былъ очень добръ и очень щедръ, но все это подъ довольно грубою формою. Аввакумъ происходилъ изъ духовныхъ тверской епархіи. Цензорская проруха съ нимъ случилась на книгѣ архимандрита Израиля, гдѣ въ вину Аввакуму была поставлена слѣдующая неловкая строка: «блудъ не былъ бы блудомъ, если бы не было учреждено таинство брака». Аввакумъ не оправдывался и не тужилъ, что его отставили.

которыхъ Муравьевъ также имѣлъ болѣе или менѣе затаенныхъ недруговъ. Таковъ былъ, напримѣръ, знаменитый въ лѣтописяхъ лавры протодіаконъ-монахъ Викторъ *). Это былъ величайшій знатокъ богослужебныхъ церемоній, какому не было равныхъ даже между протодіаконами, всегда ведущими весь порядокъ сложнаго архіерейскаго богослуженія. Андрей Николаевичъ Муравьевъ тоже мнилъ себя знатокомъ этого предмета и отъ многихъ былъ почитаемъ за такое знаніе, но при познаніяхъ, навыкѣ и распорядительности Виктора всѣ Муравьевскія свѣдѣнія ничего не стоили, и Андрей Николаевичъ даже боялся говорить и не любилъ Виктора, какъ соперника, который подавлялъ его своимъ авторитетомъ. Андрею Николаевичу оставалось одно: держаться будто покровительствующаго Виктору тона, а между тѣмъ ронять его потихоньку въ глазахъ владыки сожалѣніями о «разночтеніяхъ», которымъ прилежалъ протодіаконъ по примѣру Аввакума. Но это «сожалительное коварство» обнаружилось и поселило въ сердцѣ протодіакона горькія чувства противъ Муравьева, а серьезно повредить Виктору оно не могло, такъ какъ онъ былъ человѣкъ нужный и даже казался незамѣнимымъ. Притомъ же «разночтенія» Виктора совсѣмъ не мѣшали дѣламъ службы. Протодіаконъ Викторъ, хотя былъ отъ природы простъ и снисходителенъ, но тоже, подобно Аввакуму, посматривалъ на Муравьева свысока, какъ человѣкъ нужный на человѣка, представляющаго изъ себя что-то такое, безъ чего все обходиться можетъ.

Казалось, что Викторъ иногда тоже, подобно Аввакуму, желалъ обнаруживать свое пренебреженіе къ Муравьеву очень открыто. Такъ, напримѣръ, онъ часто обтиралъ со лба потъ цвѣтнымъ платкомъ передъ самымъ лицомъ Андрея

Мнѣ случалось встрѣчать въ печати, что Виктора называютъ то «иподіакономъ», то «архидіакономъ». Какъ то, такъ и другое невѣрно. Викторъ прославился въ санѣ *«протодіакона»*. Первый *архидіаконъ* въ Невской лаврѣ поставленъ высокопреосвященнымъ Исидоромъ—это Валеріанъ, а между нимъ и Викторомъ былъ еще протодіакономъ Германъ. Также читалъ я гдѣ-то, что будто Викторъ выѣзжалъ съ митрополитомъ Серафимомъ на площадь во время декабристскаго бунта и защитилъ митрополита. Это опять невѣрно: на Сенатской площади 14 декабря 1825 года съ митрополитомъ Серафимомъ былъ протодіаконъ Прохоръ.

Николаевича, который находилъ такой «форсъ» со стороны протодіакона совершенно непозволительнымъ.

Андрей Николаевичъ даже не разъ ему говорилъ: «вы меня этимъ просто убиваете»; но отецъ Викторъ отвѣчалъ: «а что же, если у меня такая привычка»,—и продолжалъ его «убивать».

Но кромѣ этихъ двухъ лицъ, которыя своего нерасположенія не скрывали, но зато бились честнымъ оружіемъ въ открытомъ бою, у Андрея Николаевича при митрополитѣ были еще два человѣка, въ души которыхъ было гораздо труднѣе проникнуть, чѣмъ въ души Аввакума и Виктора; эти два лица были: письмоводитель митрополита Навроцкій и секретарь Ласскій, оба изъ малороссіянъ,—люди тонкіе и съ вліяніемъ. Притомъ послѣдній изъ нихъ, Ласскій, тоже дѣлалъ конкуренцію Андрею Николаевичу еще въ томъ, что владыка считалъ этого своего чиновника за знатока «свѣтской политики». Андрей Николаевичъ считалъ это за вопіющую несообразность, но отчасти, должно-быть, въ Ласскомъ были политическія дарованія. По крайней мѣрѣ мы должны такъ думать, судя по наступающему случаю, который обличалъ сообразительность Ласскаго въ ущербъ желаніямъ Андрея Николаевича, за «престижъ» котораго, однако, возстала сила судебъ и подняла его какъ пренебреженный камень на самую главу угла.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Когда Андрей Николаевичъ послѣ всенощной вошелъ въ аппартаменты митрополита Никанора, онъ засталъ здѣсь тѣ открыто и тайно непріязненныя ему лица, о которыхъ мы выше упомянули. Архимандритъ Аввакумъ, который, по обыкновенію, готовъ былъ всегда «будировать» противъ Муравьева, и теперь, при входѣ его, громко разсказывалъ кому-то, какъ просто жилъ въ этомъ самомъ помѣщеніи предмѣстникъ Никанора—митрополитъ Серафимъ.

— Вотъ,—говоритъ Аввакумъ:—эта комната была у него гостиная, и вотъ тутъ въ стѣнѣ было окошечко къ его келейнику. Бывало, позоветъ къ себѣ послѣ всенощной кого-нибудь чай пить, а келейникъ не подаетъ чаю. Онъ къ окошечку и говоритъ: «Давай же скорѣе чаю!» А тотъ отвѣчаетъ: «Подождите, владыко,—воды нѣтъ». И ждали, и

не обижались, потому что къ нему не приходили таковые, которые...

Андрей Николаевичъ почувствовалъ, что эти «таковые, которые» могутъ залетѣть въ его огородъ, и поспѣшилъ проникнуть далѣе здѣсь стоявшихъ и ожидавшихъ выхода владыки. Этимъ онъ избѣгалъ непріятности слушать Аввакума и всѣмъ далъ почувствовать, что онъ «Муравьевъ».

Но зато самое свиданіе съ-глазу-на-глазъ, наединѣ съ митрополитомъ, Андрея Николаевича не порадовало. Его штатный «Репетиловъ» не оказался на полной высотѣ своего призванія и оконфузился. Онъ принесъ къ чаю «подъ патріархами» не самое свѣжее приношеніе. Вѣсти Репетилова не были самыя свѣжія, и оттого вышли безчисленныя досажденія... Дѣло о путешествіи на Валаамъ ушло очень далеко впередъ противъ того, что̀ было разсказано «подъ патріархами». Графъ Протасовъ уже довелъ о желаніи митрополита до свѣдѣнія государя, а государь приказалъ «снарядить экспедицію какъ можно приличнѣе». Въ такомъ случаѣ, конечно, хорошо бы спросить Муравьева, но графъ Протасовъ его не жаловалъ, а другіе не желали о немъ напомнить митрополиту, и потому вопрошенъ былъ Ласскій, котораго Муравьевъ въ насмѣшку назвалъ «церемоніймейстеромъ».

Ласскій, однако, имѣлъ вполнѣ достаточную компетентность въ дѣлѣ, о которомъ его спрашивали, и никакихъ насмѣшекъ не заслуживалъ. Онъ зналъ, что плаваніе митрополита Михаила Десницкаго «на лодкахъ», при теперешнихъ взглядахъ, не можетъ быть признано за «приличное», и навелъ, гдѣ зналъ, справки, какъ плавалъ по петербургскимъ водамъ при Петрѣ Великомъ Ѳеофанъ Прокоповичъ. Справка показала, что судно, носившее владыку, ходило *подъ митрополичьимъ флагомъ*... Вотъ какъ приличествовало плыть и высокопреосвященному Никанору, который тоже любилъ пышность. Государь приказалъ дать митрополиту вмѣсто двухъ лодокъ «два парохода и чтобы оба шли подъ митрополичьимъ флагомъ». Штатъ своей свиты владыкѣ предоставлено было составить по его непосредственному усмотрѣнію, а онъ призвалъ на совѣтъ опять того же Ласскаго, и Ласскій предложилъ такой подборъ лицъ, какого лучше нельзя выдумать для прикровенныхъ соображеній, руководившихъ экспедиціей. Съ митрополитомъ

ѣхали оба его секретаря—Навроцкій и Ласскій, которые знали и исторію, и епархіальныя дѣла въ совершенствѣ; архимандритъ Сергіевской пустыни (впослѣдствіи архіерей) Игнатій Брянчаниновъ, который зналъ и свѣтское, и духовное не хуже, чѣмъ Муравьевъ, но притомъ обладалъ еще ласкою и увѣтливостью прекраснаго характера; архимандритъ Аввакумъ-китайскій, археологъ, нумизматъ и такой книговѣдъ, что ему довольно было поглядѣть библіотеку, чтобы понять, что въ ней есть и какъ ее показать лицомъ; протодіаконъ Викторъ—тихій, смирный, голосистый и головастый, съ замѣчательною манерою особенно хорошо носить волосы и вести служеніе въ величайшей тишинѣ и стройности. Онъ въ одинъ, въ два пріема могъ исправить несоотвѣтственныя манеры служенія въ любомъ малоискусномъ скитникѣ. Словомъ, никого не брали лишняго, но во всякомъ нужномъ родѣ былъ человѣкъ, вполнѣ отвѣчающій требованію. А эти избранники, каждый по своей части, знали кого еще прихватить нужно; такъ, напримѣръ, Игнатій Брянчаниновъ взялъ съ собой изъ своей Сергіевской пустыни повара, православнаго чухонца, по имени Сергія. Это былъ «врожденный талантъ», который умѣлъ приготовлять монастырскія трапезныя кушанья—какъ никакой другой поваръ. Разсчитывали, что Сергій могъ принести свою долю благихъ указаній на уединенномъ островѣ, гдѣ во многихъ отношеніяхъ не знаютъ лучшаго, а держатся пріемовъ рутинныхъ. Изъ свѣтскихъ было приглашено нѣсколько лицъ изъ моряковъ, кажется, больше по выбору Брянчанинова. Муравьевъ и его клирики были «абортированы», и это было бы непоправимо, если бы, къ счастью, не явился задержавшій отплытіе вопросъ о флагѣ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Военные пароходы, на которыхъ слѣдовало плыть митрополиту, были готовы; но нигдѣ не могли отыскать того флага, подъ которымъ плавалъ Прокоповичъ. Въ лаврѣ этого флага не оказалось и никто не зналъ, гдѣ его слѣдуетъ искать. Пришлось дѣйствовать наугадъ. Думали, что флагъ можетъ быть въ синодальномъ архивѣ, и искали его, но не нашли. Потомъ пришло на мысль—не положили ли его, по минованіи надобности, гдѣ-нибудь въ запасныхъ кладовыхъ адмиралтейства, и опять тутъ вездѣ искали, но

тоже не нашли, и стали думать, что всякіе дальнѣйшіе поиски будутъ напрасны, потому что, очевидно, митрополичій флагъ послѣ Ѳеофана легкомысленно почли за вещь, которая болѣе не нужна, и сунули его куда-нибудь небрежно, безъ описи и расписокъ, и онъ гдѣ-нибудь тлѣетъ безъ всякихъ слѣдовъ, а можетъ-быть даже и уничтоженъ какимъ-нибудь невѣжественнымъ профаномъ, польстившимся на кусокъ матеріи. И когда явились такія, повидимому, весьма вѣроятныя соображенія, тогда пришли къ заключенію, что дѣло собственно не въ томъ, чтобы отыскать старинный митрополичій флагъ, а гораздо скорѣе и проще будетъ устроить такой флагъ вновь и плыть подъ нимъ безъ задержанія. Но тутъ обнаружилось наше обыкновенное русское небреженіе въ геральдическихъ дѣлахъ: несомнѣнно было, что митрополичій флагъ существовалъ, но какой именно онъ былъ, т. е. какого цвѣта и что̀ на немъ было изображено, — объ этомъ нигдѣ не нашли никакихъ записей и никакихъ рисунковъ. Тогда, чтобы не останавливаться безконечное время на этомъ вопросѣ, для основательнаго разрѣшенія котораго не находилось никакихъ положительныхъ данныхъ, рѣшились сдѣлать поскорѣе новый флагъ «съ приличными изображеніями», — и это такъ и сдѣлали *).

Только эти хлопоты съ флагомъ и были причиною того, что митрополитъ не отплылъ безъ вѣдома Андрея Николаевича и что этотъ послѣдній могъ имѣть при экспедиціи на судахъ митрополита своихъ людей. Высокопреосвященный Никаноръ, въ угожденіе ему, пригласилъ съ собою Мазовского, Вагнера и еще кого-то... Компанія составилась

*) Замѣчательно, что и этотъ случай не исправилъ нашей характерной небрежности. Одинъ флагъ потеряли безслѣдно, другой при нуждѣ въ немъ сдѣлали кое-какъ наскоро, но опять и объ этомъ не сохранили никакихъ историческихъ памятей. О томъ, что флагъ былъ сооруженъ для плаванія митрополита Никанора, помнятъ нѣкоторые изъ доживающихъ свой вѣкъ иноковъ и мірянъ, но мнѣ ни отъ одного изъ нихъ не удалось узнать — какой именно былъ этотъ флагъ и куда онъ дѣлся послѣ экспедиціи митрополита на Валаамъ? Полагаютъ, что и этотъ флагъ тоже пропалъ, а о томъ, что̀ именно онъ изображалъ, говорятъ гадательно и разнорѣчиво: одни говорятъ, будто «были нашиты какіе-то кресты», а А. А. Вагнеру «помнится», что на флагѣ были нарисованы атрибуты митрополичьяго служебнаго облаченія: митра, посохъ, трикирій и дикирій. А какое изъ этихъ свѣдѣній вѣрнѣе — о томъ рѣшительно сказать невозможно.

не малая. Оба парохода въ прекрасный, свѣтлый, погожій день отвалили съ блестящимъ экипажемъ отъ петербургской пристани и направились вверхъ по Невѣ къ Ладожскому озеру. А Андрей Николаевичъ остался въ Петербургѣ, вѣроятно, не въ наилучшемъ расположеніи духа, и ходилъ ли онъ въ своемъ архалукѣ по покоямъ Троицкаго подворья, или ѣздилъ верхомъ въ своемъ штатскомъ плащѣ, — онъ, безъ сомнѣнія, чувствовалъ желчную досаду отъ того, что терпѣлъ въ угоду прихотямъ «гусара», какъ величалъ онъ графа Протасова.

Впрочемъ, такіе удары ему были уже знакомы, и онъ ихъ старался переносить съ достоинствомъ, что̀ ему порою и удавалось.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Между тѣмъ отплывшія подъ митрополичьимъ флагомъ суда совершали свой ходъ такъ весело и благополучно, что это навсегда оставило самое пріятное впечатлѣніе во всѣхъ соучастникахъ эскадры. Погода стояла прекрасная; солнце горѣло на небѣ, воздухъ былъ тихъ и тепелъ, невозмутимая гладь водъ блистала какъ зеркало. Вездѣ, на встрѣчныхъ судахъ и по берегамъ рѣки, все замѣчались оживленныя и веселыя лица. Нѣкоторыя были даже очень веселы. Въ послѣднемъ родѣ отличалась публика, помѣщавшаяся на палубѣ небольшого частнаго парохода, который отвалилъ отъ другой петербургской пристани почти одновременно съ эскадрою митрополита и, нагнавъ ее, шелъ за нею очень не въ большомъ разстояніи.

На этомъ пароходѣ было много кавалеровъ и дамъ: оттуда слышались звуки музыки, смѣхъ разныхъ голосовъ и смѣшанный русскій и иностранный говоръ.

Появленіе этого парохода съ веселыми пассажирами было неожиданностію для митрополита и его спутниковъ, и имъ удалось разгадать эту неожиданность только въ Шлиссельбургѣ, гдѣ пароходы, прежде чѣмъ войти въ озеро, пристали на короткое время, чтобы дать возможность пассажирамъ поклониться чудотворному образу, находящемуся въ прибрежной часовнѣ.

Оказалось, что это ѣдетъ очень интересная компанія милыхъ и веселыхъ людей, состоящая по преимуществу изъ французскихъ и русскихъ артистовъ и художниковъ, тоже

собравшихся полюбоваться красотами Валаама. Пришелся ли выѣздъ ихъ случайно въ одно время съ отплытіемъ митрополита, или они, быть-можетъ, нарочно старались увидать монастырскій островъ, когда тамъ будутъ встрѣчать высшаго церковнаго сановника, — это осталось неизвѣстнымъ. Одни говорили такъ, а другіе иначе; но высокопреосвященный Никаноръ, чувствовавшій себя тоже въ прекрасномъ расположеніи, слушая сообщеніе объ этомъ, не обнаружилъ ни малѣйшаго неудовольствія и сказалъ:

— Господь съ ними! они намъ не мѣшаютъ.

Услыхавъ такой снисходительный отзывъ отъ владыки, нѣкоторые изъ его свиты, замѣтившіе въ числѣ артистовъ извѣстнаго комика Мартынова, сдѣлали-было даже предложеніе пригласить его въ Шлиссельбургѣ пересѣсть съ частнаго парохода на казенный пароходъ митрополита, но высокопреосвященный Никаноръ улыбнулся и отвѣчалъ:

— Нѣтъ. Зачѣмъ его отрывать отъ своихъ. Всякому въ своей компаніи свойственнѣе. Не станемъ мѣшать другъ другу.

Пароходы вошли въ озеро и, держась одного фарватера, опять пошли на виду и на слуху одинъ у другого. Пассажиры ихъ какъ будто не обращали другъ на друга никакого вниманія; но, однако, тѣмъ не менѣе, съ обѣихъ сторонъ можно было наблюдать взаимную деликатность. Несходные по своему положенію путники старались ничѣмъ не стѣснять одни другихъ: митрополитъ не выходилъ на палубу, а сидѣлъ у открытаго окна въ рубкѣ, а по другую сторону этого окна, противъ него, сидѣли на морскихъ складныхъ табуретахъ Брянчаниновъ и китайскій Аввакумъ. Преосвященный и его спутники вели самыя веселыя и оживленныя бесѣды. «Лицедѣи» пѣли и шутили, но сдержанно; они, очевидно, старались умѣрять свое веселье, чтобы оно не очень доходило до подвижнаго монастыря.

Тотчасъ по входѣ въ Ладожское озеро начался обѣдъ, который былъ отдѣльно сервированъ для мірянъ и для монаховъ. Для первыхъ готовили обыкновенные морскіе «кохи», а для митрополита и его свиты изготовлялъ трапезу тотъ знаменитый въ свое время православный чухонецъ Сергій, кулинарными способностями котораго скромно щеголялъ Игнатій Брянчаниновъ.

Тотъ, кто хотѣлъ быть «говѣйнымъ» и, отказавшись отъ

скоромной стряпни «коховъ», присоединился къ постной трапезѣ иноковъ, — былъ положительно въ выигрышѣ, потому что отецъ Сергій на водѣ даже превзошелъ свою репутацію, составившуюся на сушѣ. Впрочемъ, можетъ-быть, этому много помогалъ и свѣжій морской воздухъ, развивающій аппетитъ и поддерживающій легкое расположеніе духа.

Затѣмъ солнце стало склоняться къ западу, пошло вечерѣть; съ частнаго парохода порывами легкаго вѣтерка доносилось отрывками стройное пѣніе. Митрополитъ опять сидѣлъ у открытаго окна рубки, а Брянчаниновъ долго-долго глядѣлъ молча вдаль и вдругъ, какъ бы забывшись, забредилъ стихами Пушкина, которыхъ зналъ наизусть чрезвычайно много...

Въ лѣса, въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ.

Владыка и Аввакумъ не прерывали его; поникнувъ головами, они его тихо слушали... Протодіаконъ Викторъ стоялъ у косяка, опершись головою о локоть, и тоже слушалъ... Его простое вниманіе было своего рода «народная тропа» къ могилѣ пѣвца. Вечеръ густѣлъ. На бѣловатомъ лѣтнемъ сѣверномъ небѣ встала блѣдная луна; вдалекѣ слѣва, на финляндскомъ берегу, заяцъ затопилъ листвой печку, и туманъ, какъ дымокъ, слегка поползъ по гладкому озеру, а вправо, далеко-далеко, началъ чуть зримо обозначаться надъ водой Коневецъ.

Митрополитъ взглянулъ на часы и сказалъ:

— Мы опоздали ко всенощной.

— Мы сейчасъ споемъ ее здѣсь, владыко! — отозвался Викторъ, и въ одну минуту досталъ и подалъ гдѣ-то близко у него подъ рукою лежавшую эпитрахиль Брянчанинову. Отецъ Игнатій сейчасъ же ее надѣлъ и громко, вслухъ благословилъ царство вездѣсущаго Бога подъ открытымъ куполомъ Его нерукотворнаго храма...

Викторъ читалъ и пѣлъ наизусть. Аввакумъ пѣлъ съ нимъ. Митрополитъ стоялъ у окна съ сложенными на груди руками и молился... Другіе, кто попалъ на эту отпѣтую безъ книгъ вечерню, стали на колѣна,—нѣкоторые плакали...

О чемъ и для чего? — вѣдаетъ Тотъ, Кому угодно было,

чтобы «благоухала эѳирною душою роза» и чтобы душа находила порою отраду и счастье омыться слезою.

Это была не всенощная, не вечерня, а какое-то вольное соединеніе того и другого или, еще вѣрнѣе сказать, — это былъ благоговѣйный порывъ высоко настроившихъ себя душъ, которому знатокъ богослуженія Викторъ вдругъ съимпровизировалъ молитвенную форму.

На пароходѣ было небольшое число взятыхъ съ собою митрополитомъ пѣвчихъ, но ихъ не позвали. Они бы, выстроившись съ регентомъ, не такъ тепло воспѣли «славу въ вышнихъ Богу», какъ спѣли ее втроемъ «китаецъ», Викторъ и Брянчаниновъ...

Къ концу ихъ хваленій пароходъ былъ завиденъ съ Коневца, и по волнамъ озера поплылъ навстрѣчу путникамъ привѣтный звонъ...

На частномъ пароходѣ, гдѣ плыли артисты, все было тихо: пароходъ держался близко къ судну митрополита, и артисты—дамы и мужчины — стояли у борта и... тоже молились...

Тѣ, кто помнятъ описанное путешествіе, никогда не говорили объ этой минутѣ иначе, какъ съ чувствомъ живого восторга...

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Ночевали у Коневца. Митрополитъ и болѣе высокіе изъ лицъ его свиты ночивали въ помѣщеніяхъ монастыря (тогда еще очень не обширныхъ), а всѣ прочіе ночевали гдѣ пришлось на своихъ судахъ. Пассажиры частнаго парохода всѣ остались на суднѣ, которому, вдобавокъ, и вполнѣ удобнаго мѣста для стоянки не было, такъ какъ у пристани стали военные пароходы подъ митрополичьимъ флагомъ.

Да экипажъ частнаго парохода такъ преисполнился деликатностію, что и самъ сторонился отъ митрополичьихъ судовъ, и на другой день утромъ снялся отъ Коневца и ушелъ въ море ранѣе казенныхъ пароходовъ.

На Валаамъ артисты прибыли за часъ или за полтора ранѣе прихода эскадры митрополита. Надъ артистами здѣсь шутили, что они, вѣроятно, пошли впередъ, чтобы извѣстить иноковъ о приближеніи именитаго гостя, или поспѣшили, чтобы занять подъ себя помѣщенія, а свиту владыки оставить безъ крова. Но въ самомъ дѣлѣ это было не такъ: ар-

тисты дѣйствительно укрывались, чтобы не стѣснять своимъ появленіемъ лицъ, положеніе и настроеніе которыхъ не могло отвѣчать ихъ положенію и ихъ настроенію. Ими не руководили никакія другія соображенія, кромѣ тонкой деликатности, столь много свойственной женщинамъ французской крови, которыхъ было много въ этой артистической компаніи, и онѣ своимъ мягкимъ вліяніемъ давали тонъ всей группѣ. Онѣ не хотѣли отказаться отъ возможности осмотрѣть Валаамъ, для чего выѣхали большою компаніей послѣ большихъ и довольно сложныхъ сборовъ, но хотѣли сдѣлать это какъ можно незамѣтнѣе для настигшихъ ихъ внезапно попутчиковъ, и для этого какъ можно скорѣе стушеваться и, если можно, совсѣмъ скрыться съ ихъ глазъ.

На пароходѣ подъ митрополичьимъ флагомъ ими теперь тоже не занимались, потому что свѣжее впечатлѣніе, охватившее всѣхъ вчера въ началѣ плаванія, теперь уже притупѣло послѣ ночи, не совсѣмъ удобно проведенной въ коневецкихъ помѣщеніяхъ; да и притомъ, въ концѣ перехода къ Валааму, съ большою серьезностью надо было обдумать, что̀ тамъ надо посмотрѣть и что̀ приспособить на случай предвидѣнной графомъ Протасовымъ возможности посѣщенія острова государемъ.

Вообще настроеніе измѣнялось тутъ и тамъ и не располагало болѣе путешественниковъ къ шуткамъ.

На островъ они прибыли, какъ я выше сказалъ, за часъ до парохода подъ митрополичьимъ флагомъ и застали тутъ совсѣмъ неблагопріятное для нихъ положеніе: для нихъ не было ни мѣста, ни людей, которые бы имѣли время съ ними заниматься, и если артисты съѣхались съ митрополитомъ не случайно, а съ расчетомъ видѣть островъ въ минуты торжественной встрѣчи высокаго гостя, то этотъ расчетъ ихъ выходилъ самымъ неудачнымъ. Валаамская братія была болѣе чѣмъ когда-нибудь усиленно погружена въ дѣятельность, которую можно было замѣчать далеко съ моря. Прежде чѣмъ нога путника становилась на берегъ, онъ видѣлъ, что зеленые острова усѣяны иноками и послушниками въ ихъ бѣлыхъ холщевыхъ кафтанахъ и такихъ же колпачкахъ, и всѣ они, не покладая рукъ, «ворошили» и гребли свѣжее, скошенное сѣно.

При приближеніи частнаго парохода, они было остановились, опершись на свои вилы и грабли, но точно пом-

чили издали условный, побудительный знакъ и опять продолжали работать. Но зато, когда вслѣдъ затѣмъ въ заливѣ показался митрополичій флагъ и на колокольнѣ раздался встрѣчный звонъ, всѣ эти «трудники» покидали на мѣстѣ свои вилы и грабли и, бросивъ недокопненное сѣно въ валахъ, бросились бѣгомъ къ пристани, опережая другъ друга, чтобы принять благословеніе и поцѣловать руку любимаго архипастыря.

Увидавъ эту картину — сбѣгающихъ съ горъ иноковъ, артисты, остававшіеся до сихъ поръ безпристанными, поняли, что имъ тутъ и ждать нечего, и, какъ не въ пору пришедшіе гости, они ушли въ дальнія части лѣсистаго острова и, пробродивши ночь, уѣхали на другое утро рано, когда братія еще молилась за заутренею въ храмѣ.

Впрочемъ, когда и какъ отплыли артисты, на это не обращали вниманія и объ этомъ и не говорили, потому что у каждаго было много дѣла, а къ тому же еще случился обратившій на себя вниманіе необыкновенный случай: недокопненное вчера вечеромъ сѣно было такъ и брошено въ рядахъ на ночь, но утромъ оно оказалось все сгребено и сметано въ копны...

Это было на виду у всѣхъ; никакой фальши или сомнѣнія тутъ быть не могло: уснули — сѣно оставалось въ валахъ, а когда встали—сѣно было въ копнахъ...

Мало того, два брата-трудника, «производившіе смолу» или гнавшіе деготь изъ бересты (работа которыхъ не могла быть прервана), робко и нерѣшительно разсказывали, что они, не спавши свѣтлою ночью, видѣли, какъ изъ лѣса вышли нѣкіе «легкіе естествомъ и препоясанные воздушнаго круга сѣножати и начали метать сѣно». А братья-трудники, увидѣвъ таинственныхъ сѣножатей, отвернулись. Они не знали, какъ имъ отнестись къ появленію тѣхъ сѣножатей, а когда настало утро, они увидѣли, что появленіе это было не призракъ, потому что сѣно оказалось убрано и сметано въ копны.

И вотъ всѣ пошли, всѣ посмотрѣли и всѣ удивлялись: сѣно было въ копнахъ...

Иноки крестились и отходили. Разсказъ двухъ братій-трудниковъ о «сѣножатѣхъ» передавался изъ устъ въ уста и дошелъ до митрополита...

Высокопреосвященный Никаноръ выслушалъ объ этомъ

чудесномъ событіи и улыбнулся. Повидимому, занятый настоящими цѣлями своего пріѣзда, онъ нерасположенъ былъ придавать особеннаго значенія происшествію съ сѣномъ, но нѣкто изъ «птенцовъ Андрея», много писавшій подъ диктовку своего учителя *), изложилъ въ тонѣ своего учителя и представилъ митрополиту проектъ записи «дивнаго событія о сѣножатѣхъ...»

Владыка отвергъ эту литературу, а когда другіе, желавшіе поддержать «птенца», попробовали представить соображенія, что событіе о «сѣножатѣхъ» не малозначуще, и что оно, безъ сомнѣнія, находится въ связи съ значеніемъ, какое имѣетъ посѣщеніе острова митрополитомъ, то преосвященный разсердился.

Запись «о сѣножатѣхъ», сдѣланная птенцомъ муравьевскаго гнѣзда, такъ и осталась безъ санкціи владыки и никуда не могла быть занесена, а только списана «для себя» тѣми, которыхъ разсказанное таинственное событіе особенно поражало и которымъ описаніе, сдѣланное ему муравьевскимъ слогомъ, особенно нравилось.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Къ тому же, какъ пріѣздъ митрополита былъ легокъ и веселъ, такъ возвращеніе его вышло неблагопріятно. Онъ распредѣлилъ свое время, когда ему угодно было вернуться, и въ тотъ самый день, когда хотѣлъ, тогда и отплылъ. А между тѣмъ на зарѣ, передъ восходомъ солнца, въ этотъ день по водѣ озера, щурясь, мигали, то расширяясь, то суживаясь, маленькіе кружочки. Это называютъ, будто «котъ плакавъ», и считаютъ за предвѣстіе къ бурѣ; и въ самомъ дѣлѣ поднялась буря, пошла бросать пароходъ, и пришлось убрать поскорѣе флаги... На пароходѣ

*) Андрей Николаевичъ Муравьевъ имѣлъ очень дурной почеркъ и остерегался своихъ неладовъ съ русскою орѳографіею, а потому онъ не любилъ писать собственною рукою. Онъ обыкновенно диктовалъ свои сочиненія которому-нибудь изъ «птенцовъ», назначавшихся по каждому случаю въ должность «генеральнаго писаря». Для полученія болѣе широкаго и сильнаго вдохновенія, Муравьевъ во время диктовокъ надѣвалъ на себя, поверхъ полукафтанья съ запонами, широкій бедуинскій плащъ и диктовалъ, ходя скоро по комнатѣ, чтобы плащъ на немъ вѣялся какъ будто отъ вѣтра въ пустынѣ. Такъ настраивался онъ «закидывая за себя Шатобріана», или «метая горящіе угли на головы» мало почтительныхъ къ нему людей.

появилось много больныхъ, и не было того, кто бы могъ приготовить трапезу, потому что о. Сергій, чухонецъ, лежалъ пластомъ на палубѣ, блѣдный, какъ мѣлъ, и вопіялъ:

— Ой, моя мартонька!.. Вынимайте скорѣе съ меня мою дусаньку.

Отецъ Викторъ стоялъ надъ нимъ и уговаривалъ:

— Подожди умирать,—ты человѣкъ нужный.

Отецъ Аввакумъ былъ непоколебимъ, и то по особой причинѣ.

Такъ пріѣхали въ Петербургъ всѣ не въ авантажѣ и прежде чѣмъ передавать о томъ, что и какъ учредили на Валаамѣ,—всѣ поспѣшили искать покоя и отдыха. Только одни строго-дисциплинированные «птенцы Андрея», ни минуты не упуская, явились донести ему о всемъ происшедшемъ и, конечно, изложили притомъ и исторію «о сѣножатѣхъ».

Андрею Николаевичу не понравилось, что этакое достопримѣчательное событіе могло произойти въ его небытность.

Непосредственную связь между пріѣздомъ на островъ высокопреосвященнаго Никанора и появленіемъ «сѣножатей» Андрей Николаевичъ отвергалъ.

По его мнѣнію, событіе могло быть всегда, но оно дѣйствительно заслуживаетъ вниманія и изслѣдованія, а не этакой «пусторамашки».

Изъ этого былъ выводъ тотъ, что при митрополитѣ не было надлежащихъ людей, которые бы знали, что̀ надо дѣлать, и—главное—которые сумѣли бы «безстрашно настоять на томъ, что должно».

— Завтра я ему противъ этого пропишу,—рѣшилъ Андрей Николаевичъ, и назначилъ себѣ на случай сего писанія завтра «дежурнаго генеральнаго писаря».

Въ назначенный день и часъ писарь сидѣлъ на мѣстѣ и выводилъ быстролетнымъ перомъ, что̀ изрекалъ, быстро летая въ своемъ бедуинскомъ плащѣ, Муравьевъ.

Смыслъ писанья былъ тотъ, «что нельзя отрицать...» что «испытывать надо»; но тутъ вдругъ совсѣмъ некстати доложили, что пришелъ актеръ Мартыновъ и непремѣнно проситъ его принять.

Андрей Николаевичъ изумился и пошутилъ:

— Святъ, святъ, святъ! Зачѣмъ ко мнѣ «Филатка и Мирошка»? Не ошибся ли онъ дверью?

— Никакъ нѣтъ, — онъ къ вамъ, ваше превосходительство.

— Часъ-отъ-часу не легче! Но кое же общеніе тьмѣ со свѣтомъ? Впустите его.

Впустили.

Иванъ Евстафьевичъ вошелъ и удивилъ еще болѣе, объявивъ Муравьеву, что онъ желаетъ говорить съ нимъ съ глазу-на-глазъ и не можетъ говорить при постороннемъ.

— Но это мой близкій человѣкъ,—отвѣчалъ Муравьевъ, указывая на секретаря.

— Все равно, я не могу ни при комъ.

Муравьевъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Выйди на минутку.

А когда тотъ выходилъ, онъ добавилъ:

— Не вздумалъ ли онъ и здѣсь разыграть своего «Филатку и Мирошку»?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Но игры не было. Набожный, какъ большинство русскихъ актеровъ, Мартыновъ пришелъ къ Муравьеву съ испугомъ и за самымъ серьезнымъ содѣйствіемъ.

Утромъ на репетиціи онъ слышалъ отъ Максимова о бывшемъ на Валаамѣ «чудѣ о сѣножатѣхъ», которому будто Муравьевъ желаетъ составить описаніе, какъ предвѣщательному къ войнѣ событію,—ибо были будто тѣ сѣножати не люди, но духи, а между тѣмъ...

Мартыновъ остановился.

Муравьевъ его поддержалъ:

— Договаривайте—я Муравьевъ.

— Извольте,—заключилъ Мартыновъ:—я договорю: здѣсь ничего худого нѣтъ и никакого дурного умысла не было, а сѣно убрали мы.

— Какъ это вы?

— Мы, наша компанія,— артистки и артисты... Мы ходили, бродили по острову въ ожиданіи дня... пришли на мѣсто, гдѣ оставалось сѣно, и вилы, и грабли... Одна французская актриса взяла грабли и говоритъ: «давайте, уберемъ за этихъ бѣдныхъ старичковъ», и всѣ стали гресть и копнить, и скопнили. Но теперь мнѣ—какъ православ-

появилось много больныхъ, и не было того, кто бы могъ приготовить трапезу, потому что о. Сергій, чухонецъ, лежалъ пластомъ на палубѣ, блѣдный, какъ мѣлъ, и вопіялъ:

— Ой, моя мартонька!.. Вынимайте скорѣе съ меня мою дусаньку.

Отецъ Викторъ стоялъ надъ нимъ и уговаривалъ:

— Подожди умирать,—ты человѣкъ нужный.

Отецъ Аввакумъ былъ непоколебимъ, и то по особой причинѣ.

Такъ пріѣхали въ Петербургъ всѣ не въ авантажѣ и прежде чѣмъ передавать о томъ, что и какъ учредили на Валаамѣ,—всѣ поспѣшили искать покоя и отдыха. Только одни строго-дисциплинированные «птенцы Андрея», ни минуты не упуская, явились донести ему о всемъ происшедшемъ и, конечно, изложили притомъ и исторію «о сѣножатѣхъ».

Андрею Николаевичу не понравилось, что этакое достопримѣчательное событіе могло произойти въ его небытность.

Непосредственную связь между пріѣздомъ на островъ высокопреосвященнаго Никанора и появленіемъ «сѣножатей» Андрей Николаевичъ отвергалъ.

По его мнѣнію, событіе могло быть всегда, но оно дѣйствительно заслуживаетъ вниманія и изслѣдованія, а не этакой «пусторамашки».

Изъ этого былъ выводъ тотъ, что при митрополитѣ не было надлежащихъ людей, которые бы знали, что̀ надо дѣлать, и—главное—которые сумѣли бы «безстрашно настоять на томъ, что должно».

— Завтра я ему противъ этого пропишу,—рѣшилъ Андрей Николаевичъ, и назначилъ себѣ на случай сего писанія завтра «дежурнаго генеральнаго писаря».

Въ назначенный день и часъ писарь сидѣлъ на мѣстѣ и выводилъ быстролетнымъ перомъ, что̀ изрекалъ, быстро летая въ своемъ бедуинскомъ плащѣ, Муравьевъ.

Смыслъ писанья былъ тотъ, «что нельзя отрицать...» что «испытывать надо»; но тутъ вдругъ совсѣмъ некстати доложили, что пришелъ актеръ Мартыновъ и непремѣнно проситъ его принять.

Андрей Николаевичъ изумился и пошутилъ:

— Святъ, святъ, святъ! Зачѣмъ ко мнѣ «Филатка и Мирошка»? Не ошибся ли онъ дверью?

— Никакъ нѣтъ, — онъ къ вамъ, ваше превосходительство.

— Часъ-отъ-часу не легче! Но кое же общеніе тьмѣ со свѣтомъ? Впустите его.

Впустили.

Иванъ Евстафьевичъ вошелъ и удивилъ еще болѣе, объявивъ Муравьеву, что онъ желаетъ говорить съ нимъ съ глазу-на-глазъ и не можетъ говорить при постороннемъ.

— Но это мой близкій человѣкъ,—отвѣчалъ Муравьевъ, указывая на секретаря.

— Все равно, я не могу ни при комъ.

Муравьевъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Выйди на минутку.

А когда тотъ выходилъ, онъ добавилъ:

— Не вздумалъ ли онъ и здѣсь разыграть своего «Филатку и Мирошку»?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Но игры не было. Набожный, какъ большинство русскихъ актеровъ, Мартыновъ пришелъ къ Муравьеву съ испугомъ и за самымъ серьезнымъ содѣйствіемъ.

Утромъ на репетиціи онъ слышалъ отъ Максимова о бывшемъ на Валаамѣ «чудѣ о сѣножатѣхъ», которому будто Муравьевъ желаетъ составить описаніе, какъ предвѣщательному къ войнѣ событію,—ибо были будто тѣ сѣножати не люди, но духи, а между тѣмъ...

Мартыновъ остановился.

Муравьевъ его поддержалъ:

— Договаривайте—я Муравьевъ.

— Извольте,—заключилъ Мартыновъ:—я договорю: здѣсь ничего худого нѣтъ и никакого дурного умысла не было, а сѣно убрали мы.

— Какъ это вы?

— Мы, наша компанія,— артистки и артисты... Мы ходили, бродили по острову въ ожиданіи дня... пришли на мѣсто, гдѣ оставалось сѣно, и вилы, и грабли... Одна французская актриса взяла грабли и говоритъ: «давайте, уберемъ за этихъ бѣдныхъ старичковъ», и всѣ стали гресть и копнить, и скопнили. Но теперь мнѣ—какъ православ-

пому — это очень непріятно, и я пришелъ просить васъ разъяснить это кому нужно и не допустить до ложныхъ толкованій.

— Благодарю,—произнесъ Муравьевъ и снисходительно протянулъ Мартынову руку, а бумагу, написанную ранѣе подъ диктовку, разорвалъ и поѣхалъ въ лавру, гдѣ Аввакумъ видѣлъ его при вхожденіи и при выхожденіи отъ митрополита «въ позѣ громадной».

Онъ одержалъ верхъ надъ всѣми своими недоброжелателями и показалъ, что такихъ людей, какъ онъ, нельзя манкировать, потому что до нихъ и отовсюду и всѣми путями доходятъ обо всемъ извѣстія.

И Аввакумъ, и Викторъ, и Ласскій съ Навроцкимъ должны были уступить и помолчать.

Это было лѣтомъ въ поздній сѣнокосъ 1852 года, и сочтено было за «предвѣстіе войны», которой нигдѣ не было на горизонтѣ.

Андрей Николаевичъ очень эффектно разрушилъ это предсказаніе. Но *не прошло года*, какъ въ маѣ 1853 года возникъ офиціально вопросъ о «святыхъ мѣстахъ», и въ Константинополь былъ посланъ чрезвычайнымъ посломъ князь Меншиковъ. а 14-го іюня послѣдовалъ высочайшій манифестъ, которымъ повелѣвалось нашимъ войскамъ занять Дунайскія княжества «съ миролюбивыми цѣлями»...

Муравьевъ вспомнилъ все это въ нѣкоторомъ разговорѣ въ Кіевѣ, и сказалъ:

— Да, вотъ вамъ и разбирайте теперь—было ли это предвѣщательное «событіе о сѣножатѣхъ», а война была.

АЛЕКСАНДРИТЪ.

Натуральный фактъ въ мистическомъ освѣщеніи.

Въ каждомъ изъ насъ, окруженномъ міровыми тайнами, существуетъ склонность къ мистицизму, и одни изъ насъ, при извѣстномъ настроеніи, находятъ сокровенныя тайны тамъ, гдѣ другіе, кружась въ водоворотѣ жизни, находятъ все яснымъ. Каждый листикъ, каждый кристаллъ напоминаетъ намъ о существованіи въ насъ самихъ таинственной лабораторіи.

Н. Пироговъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Я позволю себѣ сдѣлать маленькое сообщеніе объ одномъ причудливомъ кристаллѣ, открытіе котораго въ нѣдрахъ русскихъ горъ связано съ воспоминаніемъ объ усопшемъ государѣ Александрѣ Николаевичѣ. Дѣло идетъ о красивомъ густо-зеленомъ драгоцѣнномъ камнѣ, который получилъ названіе «александритъ» въ честь покойнаго императора.

Поводомъ къ усвоенію этого имени названному минералу послужило то, что камень впервые найденъ 17 апрѣля 1834 г., въ день совершеннолѣтія государя Александра II. Мѣстонахожденіемъ александрита были уральскія изумрудныя копи, находящіяся въ восьмидесяти пяти верстахъ отъ Екатеринбурга по рѣчкѣ Токовой, впадающей въ Большую Ревть. Названіе «александритъ» далъ камню извѣстный финляндскій ученый минералогъ Норденшильдъ, именно потому, что камень найденъ имъ, г-мъ Норденшильдомъ, въ день совершеннолѣтія покойнаго государя. Сказанной причины, я думаю, достаточно, чтобы никакой другой не разыскивать.

Какъ Норденшильдъ назвалъ вновь найденный кристаллъ «камнемъ Александра», такъ онъ и именуется по сіе время. Что же касается до свойствъ его природы, то о нихъ извѣстно слѣдующее:

«Александритъ» (Alexandrit, Chrisoberil Cymophone) есть видоизмѣненіе уральскаго хризоберила. Это минералъ драгоцѣнный. Цвѣтъ александрита — *темно-зеленый*, довольно сходный съ цвѣтомъ темнаго изумруда. При искусственномъ освѣщеніи камень этотъ теряетъ свою зеленую окраску и *переходитъ въ малиновый цвѣтъ*».

«Самые лучшіе кристаллы александрита были найдены на глубинѣ трехъ сажень въ Красноболотскомъ пріискѣ. Вставки изъ александрита очень рѣдки, а безукоризненно хорошіе кристаллы составляютъ величайшую рѣдкость и не превышаютъ вѣсомъ одного карата *). Вслѣдствіе этого александритъ въ продажѣ не только весьма рѣдокъ, но даже нѣкоторые ювелиры знаютъ о немъ только по-наслышкѣ. Онъ почитается камнемъ Александра Второго».

Свѣдѣніе это я выписалъ изъ книги Мих. Ив. Пыляева, изданной с.-петербургскимъ минералогическимъ обществомъ въ 1877 г. подъ названіемъ: «Драгоцѣнные камни, ихъ свойства, мѣстонахожденія и употребленіе».

Къ тому, что выписано изъ сочиненія г. Пыляева о мѣстонахожденіи александрита, надо прибавить, что рѣдкость этого камня еще болѣе увеличилась отъ двухъ причинъ: 1) отъ укоренившагося между искателями камней повѣрья, что гдѣ обозначился александритъ, тамъ уже напрасно искать изумруда и 2) отъ того, что копи, гдѣ доставали лучшіе экземпляры камня Александра II,—*залило водою* прорвавшейся рѣки.

Такимъ образомъ прошу замѣтить, что александритъ очень рѣдко можно встрѣтить у ювелировъ русскихъ, а иностранные ювелиры и гранильщики, какъ говоритъ М. И. Пылаевъ, «знаютъ о немъ только *по-наслышкѣ*».

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Послѣ трагической и великоскорбной кончины усопшаго государя, при которомъ прошли теплые, весенніе дни людей

---

*) *Каратъ* собственно считается равнымъ тяжестью одному зерну сладкаго рожка, или около 4 гранъ.

нашей поры, многіе изъ насъ, по довольно распространенному въ человѣческомъ обществѣ обычаю, желали имѣть о дорогомъ покойникѣ какія кто могъ вещественныя «памятки». Для этого разными чтителями покойнаго государя избирались разнообразныя вещи, впрочемъ преимущественно такія, которыя бы можно имѣть всегда при себѣ.

Одни пріобрѣли миніатюрные портреты покойнаго государя и вдѣлывали ихъ въ свои бумажники или часовые медальоны, другіе вырѣзывали на завѣтныхъ вещахъ день его рожденія и день его кончины; третьи дѣлали еще что-нибудь въ этомъ родѣ; а немногіе—кому позволяли средства и кому представился случай — пріобрѣтали вставки изъ камня Александра Второго. Изъ нихъ или съ ними устраивали перстни, чтобы носить и не снимать эту памятку съ руки.

Перстни съ александритомъ были изъ самыхъ любимыхъ и притомъ изъ самыхъ рѣдкихъ и, можетъ-быть, изъ самыхъ характерныхъ памятокъ, и кто добылъ для себя таковую, тотъ уже съ нею не разставался.

Колецъ съ александритомъ, однако, никогда не было много, ибо, какъ справедливо сказано у г. Пыляева, хорошія вставки изъ александрита и рѣдки, и дороги. А потому на первыхъ порахъ были люди, которые прилагали чрезвычайно большія усилія, чтобы отыскать александритъ, и часто не находили его ни за какія деньги. Разсказывали, будто это усиленное требованіе даже вызвало опыты поддѣлывать александритъ, но поддѣлывать этотъ оригинальный камень оказалось невозможнымъ. Всякая поддѣлка непремѣнно должна обнаружиться, такъ какъ «камень Александра Второго» обладаетъ дихроизмомъ или свѣтоперемѣнностію. Опять прошу помнить, что александритъ при дневномъ свѣтѣ *зеленъ*, а при вечернемъ освѣщеніи онъ — *красенъ*.

Этого достичь никакимъ искусственнымъ сплавомъ нельзя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мнѣ досталось кольцо съ александритомъ, шедшее съ руки одного изъ незабвенныхъ людей царствованія Александра Второго.

Я пріобрѣлъ перстень самымъ простымъ способомъ—покупкою, послѣ смерти того, кто носилъ эту вещь. Перстень

перешелъ черезъ руки рыночнаго торговца и достался мнѣ. Онъ былъ мнѣ впору, и я какъ надѣлъ его на руку, такъ съ нимъ и остался.

Кольцо было сдѣлано довольно затѣйно и идейно—съ символизмомъ: камень покойнаго государя Александра Второго сидѣлъ не одинъ, а его окружали два, чистой воды, брильянта. Они долженствовали представлять здѣсь собою два блестящія дѣла прошедшаго царствованія—освобожденіе крестьянъ и учрежденіе лучшаго судопроизводства, которое смѣнило старую «черную неправду».

Хорошій густоцвѣтный александритъ немного менѣе карата, а брильянты каждый только по полукарату. Это опять, очевидно, съ тѣмъ, чтобы брильянты, изображающіе дѣла, не закрывали собою главнаго скромнаго камня, который долженъ напоминать самое лицо благороднаго дѣятеля. Все это вдѣлано въ чистое, гладкое золото, безъ всякой пестроты и украшеній, какъ дѣлаютъ англичане,—чтобы перстень былъ дорогимъ воспоминаніемъ, но чтобы отъ него «деньгами не пахло».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Лѣтомъ 1884 года мнѣ привелось быть въ Чехахъ. Имѣя безпокойную склонность увлекаться разными отраслями искусства, я тамъ нѣсколько заинтересовался мѣстными ювелирными и гранильными работами.

Цвѣтныхъ камней въ чешскихъ земляхъ не мало, но всѣ они невысокаго достоинства и вообще много уступаютъ цейлонскимъ и нашимъ сибирскимъ. Исключеніе составляетъ одинъ *чешскій пиропъ*, или «огненный гранатъ», добываемый на «сухихъ поляхъ» Мероница. Лучше его нѣтъ нигдѣ граната.

У насъ пиропъ былъ когда-то въ почетѣ и въ старину высоко цѣнился, но теперь хорошаго крупнаго чешскаго пиропа въ Россіи почти невозможно найти ни у одного ювелира. Многіе изъ нихъ не имѣютъ о немъ и понятія. У насъ нынче встрѣчается въ дешевыхъ ювелирныхъ вещахъ или мутный, темный тирольскій гранатъ, или «гранатъ водяникъ», но крупнаго огненнаго пиропа съ «сухихъ полей» Мероница нѣтъ. Всѣ лучшіе старинные экземпляры этого прекраснаго, густоцвѣтнаго камня, ограненные, большею частію, мелкогранною крейцъ-розетою, скуплены по ничтож-

нымъ цѣнамъ иностранцами и вывезены за границу, а вновь находимые въ Чехіи хорошіе пиропы прямо идутъ въ Англію или въ Америку. Тамъ вкусы устойчивѣе, и англичане очень любятъ и цѣнятъ этотъ прекрасный камень съ таинственнымъ огнемъ, въ немъ заключеннымъ («огонь въ крови»—«Feuer in Blut»). Англичане и американцы, впрочемъ, вообще любятъ характерные камни, какъ, напримѣръ, пиропъ или какъ «лунный камень», который при всякомъ освѣщеніи отливаетъ только однимъ своимъ *лунным* свѣтомъ. Въ ихъ маленькой, но очень полезной брошюркѣ «Правила вѣжливости и приличій», есть даже указаніе на эти камни, какъ на болѣе достойные вкуса истиннаго джентльмена. О брильянтахъ тамъ сказано, что ихъ «можетъ носить всякій, у кого есть деньги». Въ Россіи на это другой взглядъ: ни символики, ни красоты, ни загадочности удивительныхъ цвѣтовъ камня у насъ нынче не уважаютъ и «запаха денегъ» скрывать не желаютъ. У насъ, напротивъ, цѣнятъ только то, «что принимается въ ломбардъ». Оттого такъ называемые любительскіе камни и не идутъ къ намъ, и они нашимъ нынѣшнимъ охотникамъ до драгоцѣнностей неизвѣстны. Имъ даже, можетъ-быть, показалось бы удивительно и невѣроятно, что прелестный экземпляръ огненнаго граната считается однимъ изъ лучшихъ украшеній австрійской короны и стоитъ ужасной цѣны.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Ѣдучи за границу, я, между прочимъ, имѣлъ порученіе отъ одного петербургскаго пріятеля привезти ему изъ Богеміи два лучшіе граната, какіе только можно будетъ найти у чеховъ.

Я и отыскалъ два камня изрядной величины и хорошаго цвѣта; но одинъ изъ нихъ, наиболѣе пріятный по своему тону, къ досадѣ моей, былъ испорченъ очень несовершенной, грубой огранкой. Онъ имѣлъ форму брильянта, но верхняя его площадка была какъ-то неуклюже, прямолинейно срѣзана, и оттого камень не имѣлъ ни глубины, ни блеска.

Руководившій меня въ выборѣ чехъ, однако, посовѣтовалъ мнѣ купить этотъ гранатъ и потомъ отдать его перегранить одному извѣстному мѣстному гранильщику, по имени Венцелю, котораго поводырь мой называлъ вели-

чайшимъ мастеромъ своего дѣла и притомъ большимъ оригиналомъ.

— Это артистъ, а не ремесленникъ,—говорилъ чехъ, и разсказалъ мнѣ, что старый Венцель — кабалистъ и мистикъ, а также отчасти восторженный поэтъ и большой суевѣръ, но человѣкъ преоригинальный и подчасъ даже прелюбопытный.

— Вы недаромъ съ нимъ познакомитесь,—говорилъ мой пріятель.—Камень для дѣдушки Венцеля представляетъ не бездушное, а одушевленное существо. Онъ чувствуетъ въ немъ отблескъ таинственной жизни горныхъ духовъ и, — прошу васъ не смѣяться, — онъ входитъ съ ними черезъ камень въ какія-то таинственныя сношенія. Иногда онъ разсказываетъ кое-что о полученныхъ откровеніяхъ, и слова его заставляютъ многихъ думать, что у бѣднаго старика уже не все исправно подъ черепомъ. Онъ уже очень старъ и капризенъ. Самъ онъ теперь рѣдко принимается за работу, работаютъ у него два его сына, но если его попросить и если ему камень понравится, то онъ его сдѣлаетъ самъ. А ужъ если онъ самъ сдѣлаетъ, то это будетъ превосходно, потому что, повторяю, самъ Венцель — великій и притомъ вдохновенный артистъ своего дѣла. Мы съ нимъ давно знакомы и вмѣстѣ пьемъ пиво у Едличка. Я его попрошу, и надѣюсь, что онъ исправитъ вамъ камень. Тогда это будетъ у васъ прекрасная покупка, которою вы какъ нельзя болѣе угодите тому, кто васъ просилъ о ней.

Я послушался и купилъ гранатъ, а затѣмъ мы тотчасъ же понесли его къ старому Венцелю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Старикъ жилъ въ одной изъ мрачныхъ, узкихъ и тѣсно застроенныхъ улицъ жидовскаго предмѣстья, недалеко отъ извѣстной исторической синагоги.

Гранильщикъ былъ высокій, худой старикъ, немного сгорбленный, съ совершенно бѣлыми длинными волосами и съ быстрыми карими глазами, взглядъ которыхъ выражалъ большую сосредоточенность съ оттѣнкомъ чего-то такого, что̀ замѣчается у больныхъ людей, одержимыхъ горделивымъ помѣшательствомъ. Согнутый въ хребтѣ, онъ держалъ голову вверхъ и смотрѣлъ какъ король. Актеръ, глядя на Венцеля, могъ бы превосходно загримироваться Лиромъ.

Венцель осмотрѣлъ купленный мною пиропъ и кивнулъ головою. По этому движенію и по выраженію лица старика надлежало понять, что онъ нашелъ камень хорошимъ, но, кромѣ того, старый Венцель повелъ дѣло такъ, что съ этой же первой минуты, хотя все шло у насъ о пиропѣ, но собственно главный интересъ для меня сосредоточился на самомъ гранильщикѣ.

Онъ долго-долго смотрѣлъ камень, чавкалъ беззубыми челюстями и одобрительно мнѣ кивалъ; потомъ мялъ пиропъ между двумя пальцами, а самъ глядѣлъ прямо и остро въ глаза мнѣ и морщился, морщился, точно съѣлъ зеленую скорлупу орѣха, и вдругъ объявилъ:

— Да, это *онъ*.

— Хорошій пиропъ?

Вмѣсто прямого отвѣта Венцель проговорилъ, что онъ этотъ камень «давно знаетъ».

Я очень удачно могъ вообразить себя передъ Лиромъ и отвѣчалъ:

— Я этимъ безмѣрно счастливъ, господинъ Венцель.

Почтительность моя старику понравилась, и онъ показалъ мнѣ мѣсто на скамейкѣ, а затѣмъ самъ подошелъ ко мнѣ такъ, что прижалъ своими колѣнами мои колѣна, и заговорилъ:

— Мы съ нимъ знакомы давно... Я видѣлъ его еще на его родинѣ, на сухихъ поляхъ Мероница. Онъ тогда былъ въ своей первозданной простотѣ, но я его чувствовалъ... И кто могъ мнѣ сказать, что его постигнетъ его ужасная участь? О, вы можете видѣть по немъ, какъ духи горъ предусмотрительны и зорки! Его купилъ разбойникъ-швабъ и швабу далъ его гранить. Швабъ можетъ хорошо продавать камень, потому что онъ имѣетъ каменное сердце; но гранить швабъ не можетъ. Швабъ—насильникъ, онъ все хочетъ по-своему. Онъ не совѣтуется съ камнемъ — чѣмъ тотъ можетъ быть, да чешскій пиропъ и гордъ для того, чтобы отвѣчать швабу. Нѣтъ, онъ разговаривать съ швабомъ не станетъ. Нѣтъ, въ немъ и въ чехѣ одинъ духъ. Швабъ изъ него не сдѣлаетъ того, что̀ ему вздумается. Вотъ они захотѣли сдѣлать его крейцъ-розетою, вы это видите (я ничего не видѣлъ), но онъ имъ на это не дался. О да, — онъ пиропъ! онъ схитрилъ, онъ лучше позволилъ

имъ, чтобы швабы ему отрѣзали голову, и они ему ее отрѣзали.

— Ну да,—перебилъ я:—значитъ, онъ погибъ.

— Погибъ! отчего?

— Вы сами сказали, что у него отрѣзали голову.

Дѣдушка Венцель сожалительно улыбнулся:

— Голова! Да, голова — важная штука, господинъ, но духъ... духъ еще важнѣе головы. Мало ли головъ отрѣзали чехамъ, а они всѣ живы. Онъ сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать, когда попалъ варвару въ руки. Поступи швабъ такимъ подлымъ образомъ съ какимъ-нибудь животнымъ, съ какимъ-нибудь жемчугомъ или съ какимъ-нибудь «кошачьимъ глазомъ», который нынче пошелъ въ моду, — и отъ нихъ не осталось бы ничего. Изъ нихъ вышла бы какая-нибудь пошлая пуговица, которую осталось бы только выбросить. Но чехъ не таковъ, его не скоро столчешь въ швабской ступѣ! У пиропа закаленная кровь... Онъ зналъ, что̀ ему надо дѣлать. Онъ притворился, какъ чехъ подъ швабомъ, онъ отдалъ свою голову, а свой огонь спряталъ въ сердцѣ... Да, господинъ, да! Вы огня не видите? Нѣтъ! А я его вижу: вонъ онъ густой, неугасимый огонь чешской горы... Онъ живъ и... — вы его извините, господинъ, — онъ надъ вами смѣется.

Старый Венцель самъ засмѣялся и закачалъ головою.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я стоялъ передъ этимъ старикомъ, который держалъ въ рукѣ мой камешекъ, и рѣшительно не зналъ, что̀ ему отвѣчать на его капризныя и малопонятныя рѣчи. И онъ, кажется, понялъ мои затрудненія: онъ взялъ меня за руку, а другою захватилъ концами пинцета пиропъ, поднялъ его въ двухъ пальцахъ вверхъ передъ своимъ лицомъ и продолжалъ повышеннымъ тономъ:

— Онъ самъ чешскій князь, онъ первозданный рыцарь Мероница! Онъ зналъ, какъ уйти отъ невѣждъ: онъ у нихъ на глазахъ переодѣлся трубочистомъ. Да, да, я видѣлъ его; я видѣлъ, какъ барышникъ-жидъ возилъ его въ своемъ карманѣ, барышникъ и выбиралъ по немъ другіе камни *). Но онъ не для того горѣлъ на первозданномъ огнѣ, чтобы те-

*) Если долго пересматривать однородные цвѣтные камни, то «глазъ притупляется» и теряетъ способность отличать лучшіе цвѣта отъ худ-

реться уродомъ въ кожаной мошнѣ барышника. Ему надоѣло ходить трубочистомъ, и онъ пришелъ ко мнѣ за свѣтлой одеждой. О! мы понимаемъ другъ друга, и принцъ Мероницкихъ горъ явится принцемъ. Оставьте его у меня, господинъ. Мы съ нимъ поживемъ, мы съ нимъ посовѣтуемся — и принцъ будетъ принцемъ.

Съ этимъ Венцель довольно непочтительно кивнулъ мнѣ головою и еще непочтительнѣе бросилъ первозданнаго рыцаря на очень грязную, засиженную мухами тарелку, на которой валялось нѣсколько совершенно схожихъ на видъ гранатовъ.

Мнѣ это не понравилось, и я даже просто побоялся, что мой пиропъ перемѣшается съ другими, худшими.

Венцель это замѣтилъ и наморщилъ лобъ.

— Постойте!—сказалъ онъ и, смѣшавъ рукою всѣ гранаты въ тарелкѣ, неожиданно бросилъ ихъ всѣ въ мою шляпу, а потомъ потрясъ ее и, опустивъ въ нее, не глядя, свою руку, какъ разъ вынулъ «трубочиста».

— Хотите это сто разъ повторить или довольно, довольно одного раза?

Онъ чувствовалъ и различалъ камень по плотности.

— Довольно,—отвѣчалъ я.

Венцель опять бросилъ камень въ тарелку и еще горделивѣе кивнулъ головою.

Мы на этомъ разстались.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Во всѣхъ словахъ и въ самой фигурѣ стараго гранильщика было столько прихотливаго и особеннаго, что его трудно было считать нормальнымъ человѣкомъ, и во всякомъ случаѣ отъ него вѣяло сагой.

— Вотъ, — думалось мнѣ, — если бы такого оригинальнаго знатока камней повстрѣчалъ въ свое время такой великій любитель самоцвѣтныхъ лаловъ, какъ Иванъ Грозный! Вотъ бы съ кѣмъ онъ всласть поговорилъ и можетъ-быть самъ бы его затравилъ самымъ лучшимъ медвѣдемъ! Те-

---

шихъ. Чтобы возстановить эту способность, скупщики камней имѣютъ при себѣ *регуляторъ*, т. е. такой камень, цвѣтъ котораго имъ извѣстенъ своимъ достоинствомъ. Сличая съ нимъ чужой камень, покупщикъ сейчасъ же видитъ разницу въ его оцвѣченіи и можетъ правильно судить о его достоинствѣ.

перь Венцель уже не ко времени птица и не къ масти козырь. Въ любомъ ломбардѣ сидятъ знатоки, которые навѣрное должны относиться къ нему по крайней мѣрѣ съ такимъ же презрѣніемъ, съ какимъ онъ къ нимъ относится. Что̀ онъ мнѣ наговорилъ о какомъ-то двадцатирублевомъ камнѣ!.. Чешскій принцъ, первозданный князь, и потомъ самъ швырнулъ его на грязную тарелку...

Нѣтъ,—онъ сумасшедшій.

А Венцель, какъ на зло, не выходилъ у меня изъ головы, да и только. Даже онъ сталъ мнѣ сниться. Мы съ нимъ все лазили по Мероницкимъ горамъ и чего-то скрывались отъ швабовъ. Поля были не только сухи, но жарки, и Венцель то здѣсь, то тамъ припадалъ къ землѣ, прикладывалъ ладони къ пыльному щебню и шепталъ мнѣ: «Пробуй! пробуй, какъ горячо!.. Какъ *они* тамъ пылаютъ! Нѣтъ, нигдѣ нѣтъ такихъ камней!»

И подъ наитіемъ всего этого купленный мною гранатъ въ самомъ дѣлѣ сталъ мнѣ казаться чѣмъ-то оживленнымъ «отъ первозданныхъ огней». Чуть я оставался одинъ, мнѣ тотчасъ начинали припоминаться въ дѣтствѣ читанное путешествіе Марко Поло и родныя сказанья новгородцевъ «о камняхъ драгихъ, ко многимъ дѣламъ угодныхъ». Вспомнилось, какъ бывало читаешь и удивляешься, что «гранатъ веселитъ сердце человѣческое и кручину отдаляетъ и кто его при себѣ носитъ, у того рѣчь и смыслъ исправляетъ и къ людямъ прилюбляетъ». Позже все это потеряло значеніе, — на всѣ эти сказанія мы стали смотрѣть какъ на пустое суевѣріе, стали сомнѣваться, что «алмазъ смягчить можно, помочивъ его въ крови козлей», что алмазъ «лихіе сны отгоняетъ», а если къ носящему его «окормъ приблизить, то онъ потѣти зачнетъ»; что «яхонтъ сердце крѣпитъ, лалъ счастье множитъ, лазорь болѣзни унимаетъ, изумрудъ очи уздоровляетъ; бирюза отъ паденія съ коня бережетъ, бечетъ нехорошую мысль отжигаетъ, тумпазъ кипѣніе воды прекращаетъ, агатъ непорочность дѣвицъ бережетъ, а безоаръ-камень всякій ядъ погашаетъ». А вотъ попался старикъ съ густымъ бредомъ, и я самъ съ нимъ снова готовъ бредить.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Спишь, а все это снится... И какъ славно, какъ это все густо, и жизненно, хотя и знаешь, что это вздоръ. Не

вздоръ—это то, что знаетъ оцѣнщикъ камней въ ломбардѣ. О да, то не вздоръ. То оцѣнка... то фактъ...

Да, но вѣдь и это было въ свое время фактомъ... Вѣдь патріархъ Никонъ фактъ писалъ царю Алексѣю, когда жаловался на своихъ лиходѣевъ. Совсѣмъ хотѣли его извести и злымъ окормомъ его на-смерть окормили, да былъ патріархъ запасливъ—онъ при себѣ «безуй-камень» имѣлъ и «*безуемъ отсосался*». Долго онъ лизалъ безуй-камень, который былъ у него въ напалкѣ вправленъ, но зато ему помоглося, а лиходѣи его пострадали. Правда, что все это было въ старину, когда и камни въ нѣдрахъ земли, и планеты въ выси небесной — всѣ были озабочены судьбой человѣка, а не нынче, когда и въ небесахъ горѣ, и подъ землею — все охладѣло къ судьбѣ сыновъ человѣческихъ и нѣсть имъ оттуда ни гласа, ни послушанія. Всѣ вновь открытыя планеты уже не получили никакихъ должностей для гороскоповъ; много есть и новыхъ камней, и всѣ они смѣрены, свѣшены, сравнены по удѣльной тяжести и плотности и затѣмъ ничего они не вѣщаютъ, ни отъ чего не пользуютъ. Прошелъ ихъ чередъ говорить съ человѣкомъ, и они теперь то же, что «витія многовѣщанные», которые сдѣлались «яко рыбы безгласныя». И старый Венцель, конечно, дуритъ, повторяя какія-нибудь старыя сказки, которыя у него перепутались въ ослабѣвшемъ мозгу.

Но какъ же онъ меня мучилъ, этотъ сумасбродный старикъ! Сколько разъ я заходилъ къ нему, а мой пиропъ не только былъ еще не готовъ, но Венцель за него даже и не принимался. Мой «первозданный принцъ» валялся «трубочистомъ» на тарелкѣ, въ самомъ низкомъ и малодостойномъ его товариществѣ.

Если хоть каплю, но искренно суевѣрить, что въ этомъ камнѣ живетъ какой-то горный, гордый духъ, который мыслитъ и чувствуетъ, то обращаться съ нимъ такимъ непочтительнымъ образомъ тоже есть варварство.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Венцель меня уже не интересовалъ, а сердилъ. Онъ ни на что не отвѣчалъ толкомъ, и порою мнѣ въ немъ сказывался даже нахалъ. На самыя вѣжливыя мои замѣчанія, что я слишкомъ долго жду маленькаго поворота его шлифовальнаго колеса, онъ меланхолически чистилъ свои гни-

лые зубы и начиналъ разсуждать, что̀ за вещь *колесо* и сколько есть разнообразныхъ колесъ на свѣтѣ. Колесо при мужичьей мельницѣ, колесо въ мужичьей телѣгѣ, колесо въ вагонѣ, колесо въ легкой вѣнской коляскѣ, часовое колесо до Брегета и часовое колесо послѣ Брегета, колесо въ часахъ Дениса Блонделя и колесо въ часахъ Луи Одемара... Словомъ, чортъ знаетъ, что̀ за рацею разведетъ, а конецъ тотъ, что каретную ось легче выковать, чѣмъ огранить камень, а потому: «ждите, славянинъ».

Я потерялъ терпѣніе и попросилъ Венцеля возвратить мнѣ назадъ мой камень, какимъ онъ есть, но въ отвѣтъ на это старикъ заговорилъ ласково:

— Ну, какъ это можно? зачѣмъ дѣлать такіе капризы?

Я признался, что мнѣ это надоѣло.

— Ага, — отвѣчалъ Венцель: — а я думалъ, что вы уже сдѣлались швабомъ и нарочно хотите оставить чешскаго князя трубочистомъ...

И Венцель захохоталъ, широко раскрывъ ротъ, такъ что изъ него по всей комнатѣ запахло хмелемъ и солодомъ.

Мнѣ показалось, что старикъ въ этотъ день выпилъ лишнюю кружку пильзенскаго пива.

Венцель даже сталъ мнѣ разсказывать какую-то глупость, — будто онъ бралъ *его* съ собою *гулять* на Виноградъ за Нуссельскіе сходы. Тамъ они будто вмѣстѣ сидѣли на сухой горѣ противъ Карлова тына, и *онъ* будто открылъ, наконецъ, ему, Венцелю, всю свою исторію «отъ первозданныхъ дней», когда еще не только не родились ни Сократъ, ни Платонъ, ни Аристотель, но не было содомскаго грѣха и содомскаго пожара, — вплоть до самаго того часа, какъ *онъ* выползъ на стѣну клопомъ и посмѣялся надъ бабой...

Венцель будто вспомнилъ что-то очень смѣшное,—снова расхохотался и опять наполнилъ комнату запахомъ солода и хмеля.

— Довольно, дѣдушка Венцель,—я ничего не понимаю.

— Это очень странно!—замѣтилъ онъ съ недовѣріемъ и разсказалъ, что бывали случаи, когда превосходные пропы находили просто въ избяной обмазкѣ стѣнъ. Богатство камней было такъ велико, что они валялись поверхъ земли и попадали съ глиной въ штукатурку.

Венцель, вѣроятно, имѣлъ все это въ головѣ, когда си-

дѣлъ въ садикѣ пивницы при Нуссельскихъ сходахъ, и унесъ это съ собою на сухую гору, на которой глубоко и мирно уснулъ и видѣлъ прелюбопытный сонъ: онъ видѣлъ бѣдную чешскую избу въ горахъ Мероница, въ избушкѣ сидѣла молодая крестьянка и пряла руками козью шерсть, а ногою качала колыбель, которая при каждомъ движеніи тихонько толкала въ стѣнку. Штукатурка тихо шелушилась и опадала пылью и... «*онъ пробудился!*» То-есть пробудился не Венцель и не дитя въ колыбели, а *онъ* — первозданный рыцарь, замазанный въ штукатурку... Онъ пробудился и выглянулъ наружу, чтобы полюбоваться лучшимъ зрѣлищемъ, какое бываетъ на свѣтѣ, — молодою матерью, которая прядетъ шерсть и качаетъ своего ребенка... Матьчешка увидала на свѣтѣ гранатъ и подумала: «вотъ клопъ», и чтобы гадкое насѣкомое не кусало ея ребенка, она ударила его со всей силы своей старой туфлей. *Онъ* выпалъ изъ глины и покатился на землю; а она увидала, что это камень, и продала его швабу за горсть гороховыхъ зеренъ. Все это было тогда, когда зерно пиропа стоило одну горсть гороха. Это было раньше, чѣмъ случилось то, что описано въ чудесахъ св. Николая, когда пиропъ проглотила рыба, которая досталась бѣдной женщинѣ, и ту обогатила эта находка...

— Дѣдушка Венцель!—сказалъ я:—извините меня—вы говорите очень любопытныя вещи, но мнѣ недосужно ихъ слушать. Я послѣзавтра утромъ рано уѣду, и потому завтра приду къ вамъ въ послѣдній разъ, чтобы получить мой камень.

— Прекрасно, прекрасно! — отвѣчалъ Венцель. — Приходите завтра въ сумерки, когда станутъ зажигать огни: трубочистъ встрѣтитъ васъ принцемъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Я пришелъ какъ разъ въ назначенное время, когда зажгли свѣчи, и на этотъ разъ мой пиропъ дѣйствительно былъ готовъ. «Трубочистъ» въ немъ исчезъ, и камень поглощалъ и извергалъ изъ себя пуки густого, темнаго огня. Венцель на какую-то незамѣтную линію снялъ края верхней площадки пиропа, и середина его поднялась капюшономъ. Гранатъ принялъ въ себя свѣтъ и заигралъ: въ немъ, въ самомъ дѣлѣ, горѣла въ огнѣ очарованная капля несгораемой крови.

— Что? каковъ витязь?—восклицалъ Венцель.

Я поистинѣ не могъ налюбоваться пиропомъ и хотѣлъ выразить Венцелю это, но, прежде чѣмъ я успѣлъ сказать хоть одно слово, мудреный старикъ выкинулъ неожиданную и престранную штуку: онъ вдругъ схватилъ меня за кольцо съ александритомъ, который теперь при огнѣ былъ красенъ, и закричалъ:

— Сыны мои! чехи! Скорѣй! Смотрите, вотъ-вотъ тотъ *вѣщій русскій камень*, о которомъ я вамъ говорилъ! Коварный сибирякъ! онъ все былъ зеленъ, какъ надежда, а къ вечеру облился кровью. Отъ первозданья онъ таковъ, но онъ все прятался, лежалъ въ землѣ и позволилъ найти себя только въ день совершеннолѣтія царя Александра, когда пошелъ его искать въ Сибирь большой колдунъ, волшебникъ, вейделота...

— Вы говорите пустяки, — перебилъ я. — Этотъ камень нашелъ не волшебникъ, а ученый—Норденшильдъ!

— Колдунъ! Я говорю вамъ—колдунъ,—закричалъ громко Венцель. — Смотрите, что̀ это за камень! въ немъ зеленое утро и кровавый вечеръ... Это судьба, это судьба благороднаго царя Александра!

И старый Венцель отвернулся къ стѣнѣ, оперъ голову на локоть и... заплакалъ.

Сыновья его стояли молча. Не только для нихъ, но и для меня, который такъ давно видалъ постоянно на своей рукѣ «камень Александра Второго», камень этотъ будто вдругъ исполнился глубокою вѣщей тайной, и сердце сжалось тоскою.

Какъ хотите—старикъ увидалъ и прочелъ въ камнѣ что-то такое, что̀ въ немъ какъ будто и было, но что прежде до него никому въ глаза не бросилось.

Вотъ что̀ иногда значитъ посмотрѣть на вещь подъ необыкновеннымъ настроеніемъ фантазіи!

ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВІЕ

ВЪ СУМАСШЕДШЕМЪ ДОМѢ.

(Извлечено изъ бумагъ Е. В. Пеликана.)

(1858—1878).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ нынѣшнее время часто доводится слышать сильное негодованіе, если какое-нибудь изъ ряда выходящее происшествіе остается безъ скораго и удовлетворительнаго разъясненія его причинъ. Это сейчасъ же ставится въ вину порядкамъ новаго судопроизводства и еще чаще въ вину тѣмъ людямъ, которые нынче производятъ слѣдствія, и тѣмъ, которые совершаютъ судъ по законамъ императора Александра II. Думаютъ, — и такихъ людей не мало, — что ранѣе, т. е. до введенія новыхъ судовъ, дѣла будто бы шли лучше, т. е. скорѣе, строже и справедливѣе. Такое мнѣніе не только существуетъ въ темномъ простонародьѣ, но оно даже безъ стѣсненія высказывается и въ извѣстныхъ органахъ періодической печати, руководимыхъ образованными людьми. Послѣднее, въ свою очередь, раздражаетъ и сердитъ людей, сохранившихъ вѣрное воспоминаніе о прежнемъ слѣдственномъ и судебномъ процессѣ. Это раздраженіе понятно, но гнѣвъ все-таки неумѣстенъ. Напротивъ, кажется, надо радоваться, что если уже есть въ обществѣ такое странное мнѣніе, то пусть оно не таится, а находитъ себѣ свободное выраженіе въ печати. Печать лучше, чѣмъ что-либо иное, можетъ послужить свѣркѣ и оцѣнкѣ всякихъ мнѣній—какъ ошибочныхъ, такъ и обстоятельныхъ.

Однимъ изъ лучшихъ способовъ для этого служатъ сравненія, которыхъ много можно привести изъ такъ-называемыхъ «памятей» о дѣлахъ «добраго стараго времени».

Разумѣю не то настоящее «старое время», какимъ почитается въ нашей исторіи до-Петровскій періодъ, а собственно время, предшествовавшее введенію судебной реформы, которое нынче часто тоже называютъ «старымъ».

Любопытные сборники Любавскаго не богаты матеріаломъ для исторіи о дѣлахъ угасшихъ. Очень можетъ быть—тамъ нѣтъ такихъ дѣлъ, потому что во время составленія сборниковъ Любавскаго никому изъ нашихъ русскихъ современниковъ еще не приходило на мысль искать идеала правосудія въ старинномъ судебномъ порядкѣ. Не предвидѣлось и того, что скоро можетъ представиться надобность доказывать несостоятельность слѣдственнаго процесса въ дореформенное время. Иначе, вѣроятно, въ уголовныхъ сборникахъ нашли бы мѣсто образцы дѣлъ неразъясненныхъ, и притомъ такіе образцы, которые способны каждаго удивить и поразить своею оригинальностію и маловѣроятностію. Такихъ дѣлъ особенно много по группѣ убійства помѣщиковъ крѣпостными людьми и обратно, и не менѣе ихъ еще, напримѣръ, по истребленію казенныхъ лѣсовъ. Въ ранней моей молодости я помню, какъ въ Орлѣ, кажется, около четырнадцати лѣтъ, производилось дѣло о вырубкѣ казеннаго лѣса въ карачевскомъ или въ трубчевскомъ уѣздѣ. Въ этомъ преступленіи и грабежѣ казны на огромную, потогдашнему, сумму подозрѣвался и изобличался мѣстный лѣсничій по фамиліи Красовскій, — человѣкъ уже очень старый, набожный и постникъ, джентльменъ, съ совершенно бѣлой головою, всегда тщательно выбритый и причесанный.

Я помню, когда его водили изъ острога съ двумя часовыми мимо такъ-называемаго губернаторскаго сада, гдѣ я игралъ во дни моего дѣтства.

Красовскій ходилъ съ часовыми очень спокойно, ласково улыбался знакомымъ и почему-то *благословлялъ дѣтей!..* Онъ жилъ въ орловскомъ острогѣ болѣе десяти лѣтъ, и жилъ настоящимъ тюремнымъ аборигеномъ или даже патріархомъ. Когда въ Орлѣ была впервые прочтена «Крошка Доритъ», то многіе говорили, что старый отецъ маленькой Доритъ, живущій въ тюрьмѣ и тамъ лицемѣрствующій, точно будто списанъ Диккенсомъ съ орловскаго острожнаго патріарха—Красовскаго.

Красовскій, такъ же какъ и герой Диккенса, получилъ

вѣсъ и значеніе въ тюрьмѣ; онъ славился своимъ благочестіемъ и скупостію; имѣлъ нравственное вліяніе на заключенныхъ и на охранителей, и довелъ двухъ прислуживавшихъ ему арестантовъ изъ простонародья до того, что они сдѣлали покушеніе задушить его за скупость, и за то наказаны плетьми и сосланы въ каторгу.

Такъ изъ-за Красовскаго, во время его долголѣтней жизни въ орловскомъ острогѣ, возникали новыя дѣла, а его собственное дѣло объ истребленіи ввѣренныхъ ему казенныхъ лѣсовъ все тянулось. На немъ, такъ сказать, воспитывались цѣлыя поколѣнія палатскихъ юристовъ (выписку изъ него при представленіи въ сенатъ дѣлалъ сынъ слѣдователя, начавшаго слѣдствіе), и за всѣмъ тѣмъ хищническое дѣло это такъ и осталось нераскрытымъ. Кто срубилъ тысячи десятинъ казеннаго лѣса и куда ушли деньги, за нихъ вырученныя,—это такъ и не обнаружено. Красовскій притворялся бѣднымъ, или въ самомъ дѣлѣ ничего не имѣлъ,—это такъ и не открыто. Только онъ никому никакихъ взятокъ не платилъ и въ острогѣ промышлялъ ростовщичествомъ, давая подъ залоги отъ двугривеннаго до рубля изъ десяти процентовъ въ недѣлю. За это его и хотѣли задушить. Наконецъ, послѣ двѣнадцатилѣтняго содержанія въ тюрьмѣ, Красовскаго выпустили, но онъ еще не хотѣлъ идти изъ тюрьмы, говорилъ, что ему негдѣ жить и нечѣмъ жить. Такъ онъ «прижился въ тюрьмѣ» и такъ мало значила въ его глазахъ драгоцѣнная каждому живущему свобода.

Въ Орлѣ, назадъ тому сорокъ лѣтъ, всѣ отъ мала до велика были поражены, что столь всѣмъ очевидное преступленіе Красовскаго не раскрылось. Но это такъ и кончено.

Однако, не станемъ удивляться и на это: убійство господъ и крестьянъ, равно какъ и истребленіе лѣсовъ происходили на широкихъ пространствахъ, гдѣ не было особыхъ наблюденій и не было такъ называемой локализаціи преступленія. А встрѣчались случаи гораздо болѣе удивительные, когда дѣло совершалось, напримѣръ, въ домѣ, окруженномъ самымъ тщательнымъ присмотромъ, гдѣ все было, такъ сказать, «какъ въ горсти», а между тѣмъ уходило изъ горсти, и не могли добраться до виноватаго.

Одно изъ такихъ дѣлъ, интересныхъ не только въ судебномъ, но и въ научномъ отношеніи, представляетъ нѣко-

торый воронежскій случай, замѣтки о которомъ попались мнѣ въ бумагахъ покойнаго предсѣдателя медицинскаго совѣта, Евгенія Венцеславовича Пеликана.

Вотъ это дѣло.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ шесть часовъ утра мглистаго, морознаго дня, 27 января 1853 года, на женской половинѣ сумасшедшаго дома въ Воронежѣ прозвонилъ звонокъ, «возвѣщавшій время топки печей». Таковъ былъ ежедневный порядокъ въ заведеніи во все то время, когда зданіе отапливалось печами.

Звонокъ этотъ разбудилъ въ числѣ прочихъ служительницъ одну, по имени Кирсанову, которая ночевала при умалишенныхъ въ коридорѣ между комнатами №№ 6 и 10.

Кирсанова встала и удивилась, что ее сегодня первый разъ не разбудила раньше звонка одна изъ помѣшанныхъ— молодая, крѣпкая женщина, по имени Елена Швидчикова (по фамиліи судя, вѣроятно малороссіянка).

Названная больная имѣла пироманическія наклонности и очень любила топить печи. Такъ какъ это было совершенно безвредно и притомъ облегчало трудъ служительницы, то Швидчиковой было дозволено топить печи, и она, дорожа такимъ удовольствіемъ, имѣла привычку вставать очень рано. До звонка она будила Кирсанову и помогала ей при топкѣ, но... сегодня вдругъ Швидчикова первый разъ проспала.

Служанка подивилась, однако не стала безпокоить Елену, а сама затопила всѣ печи, но потомъ подумала:

«Что же это, однако, значитъ, что Елена не встаетъ о сю пору?»

Служанкѣ пришло на мысль, не случился ли какой грѣхъ,— и не напрасно.

Когда Кирсанова вошла въ комнату, гдѣ, въ числѣ трехъ больныхъ, спала Швидчикова, она не замѣтила здѣсь ни малѣйшаго безпорядка. Все было тихо, и всѣ помѣщавшіяся здѣсь три женщины въ самомъ спокойномъ положеніи лежали, закрывшись одѣялами, на своихъ койкахъ.

Служанка подошла прямо къ своей добровольной помощницѣ, Еленѣ Швидчиковой, и сначала позвала ее по имени. Елена не откликалась. Тогда Кирсанова хотѣла ее побу-

дить рукою, но едва лишь дотронулась до нея, какъ упала отъ страха на полъ и потеряла сознаніе.

Елена Швидчикова была мертва.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Придя въ себя, перепуганная служанка вскочила на ноги и бросилась къ другой сосѣдней койкѣ, на которой спала умопомѣшанная Фіона Курдюкова (28 лѣтъ), но, къ ужасу служанки, Фіона тоже была мертва... Служанка съ страшнымъ воплемъ кинулась къ третьей больной, молодой дѣвушкѣ (18 лѣтъ), по имени Прасковьѣ Снѣгиревой, и закричала ей во весь голосъ:

— Паша! Пашенька!—встань, помоги!

Но Пашенька тоже не вставала и не трогалась, а когда Кирсанова, вся дрожа какъ листъ, коснулась рукою до тѣла этой дѣвушки, то поняла, что и здѣсь всѣ зовы на помощь напрасны, потому что и молоденькая Паша тоже мертва...

Неожиданно, разомъ три покойницы, на трехъ сряду стоящихъ койкахъ, при сѣромъ сумракѣ январскаго утра и ходячихъ тѣняхъ отъ дрожащаго пламени только-что растопленныхъ печей,—это, какъ хотите, картина, способная произвести сильное и безпокойное впечатлѣніе даже и на больничную сидѣлку.

Кирсанова бросила мертвыхъ и, не помня себя отъ перепуга, кинулась бѣжать къ надзирательницѣ, г-жѣ Азаровой.

Азарова встревожилась,—прибѣжала еще съ другими служительницами заведенія и удостовѣрилась, что всѣ три помѣшанныя, спавшія въ комнатѣ № 10, дѣйствительно недвижимы, бездыханны и холодны. Азарова и другія бывшія съ нею прислужницы, въ тревогѣ, бросились посмотрѣть—все ли благополучно въ прочихъ покояхъ, и нашли не вездѣ все въ полномъ благополучіи. А именно, когда онѣ вошли въ небольшую комнату № 6, отдѣлявшуюся отъ № 10 лѣстницею, то здѣсь опять обрѣли роковую тишину и еще двухъ новыхъ покойницъ: Прасковью Воронину и Ирину Деревенскую.

Эти женщины спали вдвоемъ въ комнатѣ № 6, каждая на своей койкѣ, и такъ обѣ и найдены мертвыми на своихъ же койкахъ, безъ малѣйшихъ знаковъ насилія, въ спальныхъ чепцахъ и одѣтыя байковыми одѣялами.

Послали за фельдшеромъ Варламомъ Ивановичемъ, чтобы онъ шелъ какъ можно скорѣе—подать какую-нибудь помощь, или—какъ нынче красиво говорятъ—«констатировать смерть». Фельдшеръ пришелъ, посмотрѣлъ и объявилъ, что никакая помощь уже невозможна,—что всѣ пять женщинъ несомнѣнно умерли.

Пять скоропостижно умершихъ вдругъ, отъ неизвѣстной причины и въ строго охраняемомъ мѣстѣ... Что̀ за происшествіе!

Первое, разумѣется, что̀ могло придти въ голову при подобномъ случаѣ,—это *угаръ*, но объ угарѣ не могло быть и рѣчи, потому что, во-первыхъ, печи въ заведеніи топились съ утра, а всѣ пять умершихъ легли спать вечеромъ здоровыми, да во-вторыхъ же,—другія больныя, сосѣдки по комнатамъ тѣхъ, которыя умерли, были живы и здоровы, межъ тѣмъ какъ ихъ комнаты согрѣвались тѣми самыми печами и вообще находились вполнѣ въ одинаковыхъ атмосферныхъ условіяхъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Надзирательница и фельдшеръ тотчасъ же дали знать о страшномъ и загадочномъ происшествіи смотрителю заведенія, маіору Колиньи; тотъ удостовѣрился самоличнымъ видѣніемъ, что пять женщинъ умерли, и сейчасъ же донесъ объ этомъ губернатору.

Губернаторъ не медлилъ распоряженіями, и въ 11½ часовъ того же 27 января 1853 года въ сумасшедшій домъ прибыли инспекторъ врачебной палаты Шарковъ, старшій докторъ Погорскій и полицеймейстеръ города Воронежа г. Ѳедоровъ. Они сдѣлали осмотръ и написали актъ, изъ котораго беремъ слѣдующія подлинныя мѣста:

Первая осмотрѣна Курдюкова. Ей 28 лѣтъ, тѣлосложенія крѣпкаго, найдена на постели въ рубашкѣ, въ чулкахъ и въ чепцѣ на головѣ. Она покрыта байковымъ одѣяломъ, лежала на спинѣ въ прямомъ положеніи, съ головою, нѣсколько наклоненною на правую сторону, и съ руками, расположенными по бокамъ тѣла (какъ велятъ спать благовоспитаннымъ дѣвушкамъ въ пансіонахъ). Руки въ суставахъ отъ оцѣпенѣнія найдены малоподвижными; лицо нѣсколько вздуто, правая щека покрыта красноватыми пятнами, а лѣвая натуральнаго труннаго цвѣта; животъ вздутъ

и мягокъ при осязаніи; бедра и икры, преимущественно на задней поверхности, а равно спина, поясница и зашеекъ оказались при осмотрѣ темно-краснаго цвѣта; глаза закрыты, зрачки расширены; на головѣ надъ лѣвою теменною костью найденъ струпъ красноватаго цвѣта; другого рода поврежденій на тѣлѣ Курдюковой не было.

Вторая скоропостижно умершая сумасшедшая была Снѣгирева, дѣвушка лѣтъ около 18-ти, тѣлосложенія крѣпкаго. Она тоже найдена одѣтою—въ рубашкѣ, въ чулкахъ и въ чепцѣ, покрыта шерстянымъ байковымъ одѣяломъ, лежала въ постели на спинѣ въ прямомъ почти положеніи; правая рука протянута близъ боку и въ локтѣ немного согнута, съ приподнятою къ лицу кистью. Пальцы рукъ полусжаты, конечности въ суставахъ отъ оцѣпенѣнія малоподвижны, вся спина отъ шеи и задняя поверхность бедеръ и обѣихъ голеней найдены краснаго цвѣта; на лицѣ темнаго же цвѣта пятна замѣчены, прочія части тѣла натуральнаго трупнаго цвѣта; животъ раздутъ, напряженъ и твердоватъ. Лѣвый рукавъ рубашки найденъ замараннымъ въ жидкости красноватаго цвѣта (сукровицею, истекавшею изъ рта).

Третья—Елена Швидчикова (та самая, которая любила топить печи), около 30 лѣтъ, тѣлосложенія крѣпкаго, одѣта въ рубашкѣ, въ чулкахъ, въ чепцѣ и покрыта байковымъ шерстянымъ одѣяломъ. Она лежала въ постели на спинѣ въ прямомъ положеніи, съ наклоненною нѣсколько головою на лѣвую сторону, обѣ руки сложены вмѣстѣ, на животѣ, съ протянутыми пальцами. Конечности въ суставѣ отъ оцѣпенѣнія малоподвижны, вся спина, поясница и задняя поверхность бедеръ испещрена была красноватыми пятнами, лицо и прочія части тѣла трупнаго цвѣта; другого рода измѣненій на тѣлѣ не оказалось; животъ нѣсколько раздутъ и твердоватъ, ротъ закрытъ, зубы стиснуты, у лѣваго глаза верхняго вѣка недостаетъ, отчего глазное яблоко открыто, истощеннаго вида отъ предшествовавшаго болѣзненнаго состоянія этого органа.

Въ такомъ положеніи найдены три скоропостижно умершія жилицы сумасшедшей камеры № 10-й.

У всѣхъ обнаружена краснота, пятна, вздутости, но всѣ лежатъ на своихъ постеляхъ въ чепцахъ и ни одна не сбросила съ себя ни этого чепца, ни одѣяла, точно смерть ни одной изъ нихъ не стоила ни малѣйшей муки. Пришл

каждой «отложенное ея»—и онѣ пошли за ангеломъ смерти цѣлой компаніей «въ путь всея земли».

Исторія все становится удивительнѣе и непонятнѣе.

Теперь перейдемъ въ маленькій покой подъ № 6-мъ,—гдѣ спали только двѣ женщины, возрастомъ постарше, и тоже обѣ умерли въ товарищеской компаніи.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Начинается опять то же самое.

Первая—Прасковья Воронина, крѣпкаго тѣлосложенія, 45 лѣтъ, найдена лежащею на постели въ рубашкѣ, въ чулкахъ и въ неизбѣжномъ чепцѣ. Она такъ же, какъ и жилицы № 10-го, покрыта байковымъ одѣяломъ, лицомъ обернулась къ стѣнѣ и держала лѣвую руку на животѣ, а правую на кровати протянутою къ бедру; пальцы мало сжаты, животъ твердоватъ. Спина, поясница и задняя поверхность бедеръ темно-краснаго цвѣта, лицо и прочія части тѣла обыкновеннаго трупнаго цвѣта. Другого рода измѣненій на тѣлѣ никакихъ не найдено.

Ирина Деревенская, отъ роду лѣтъ около 50, тѣлосложенія посредственнаго, въ рубашкѣ, чулкахъ и въ чепцѣ; покрыта байковымъ шерстянымъ одѣяломъ; конечности, какъ верхнія, такъ и нижнія, найдены въ суставахъ оцѣпенѣвшими, животъ вздутый и твердоватъ; поясница, спина и зашеекъ краснаго цвѣта, лицо и прочія части тѣла натуральнаго трупнаго цвѣта.

Опять и здѣсь краснота и сукровица,—которыя, конечно, совсѣмъ уже упраздняютъ всякую необходимость разсуждать объ угарѣ, да и самый актъ, о которомъ мы говоримъ, на угарѣ не настаиваетъ. Очевидно, воронежскіе чиновники съ самаго начала не сомнѣвались, что причиною смерти пяти сумасшедшихъ былъ не угаръ, а что-то иное... Но что же именно?

Любопытныя вещи требуютъ часто большого терпѣнія.

Послѣдуемъ пока за осматривающими зданіе и посмотримъ, какія свѣдѣнія они соберутъ отъ служебнаго персонала.

При осмотрѣ зданія всего женскаго отдѣленія умалишенныхъ, оказалось: комнаты, въ которыхъ найдены мертвыя,—сухи, и воздухъ въ нихъ чистъ. Въ каждой изъ тѣхъ комнатъ, равно и во всѣхъ другихъ сего отдѣленія, *топка*

печей устроена изъ коридора; отдушниковъ въ комнаты нѣтъ по всему зданію. Комната № 10-й отдѣлена отъ прочихъ; въ ней одна голландская печь изъ простыхъ изразцовъ и безъ отдушниковъ въ комнату. Топка этой печи устроена изъ коридора. Комната № 6-й (гдѣ найдено два мертвеца) отдѣлена отъ предыдущей комнаты № 10-й (гдѣ три мертвеца) лѣстницею, которая ведетъ въ нижній этажъ; рядомъ же, только съ другой стороны этой комнаты, находится другая сосѣдняя комната, обозначенная подъ № 7. Это, надо думать, былъ покой для больныхъ особенно буйныхъ, потому что здѣсь стѣны до двухъ третей вышины обиты войлокомъ, а поверхъ войлока крашенинным холстомъ. Такія обивки въ домахъ умалишенныхъ дѣлаютъ только въ такихъ покояхъ, гдѣ помѣщаютъ людей, обнаруживающихъ большое раздраженіе, съ мрачною наклонностью вредить своему здоровью или самой жизни.

Комната эта нагрѣвается одною и тою же голландскою печью, которая обогрѣваетъ № 6-й, и эта печь точно такого же устройства, какъ и печь въ комнатѣ подъ № 10-мъ, т. е. онѣ голландки и безъ отдушниковъ.

Въ комнатахъ подъ №№ 10-мъ и 6-мъ, гдѣ найдены умершія, а равно на постеляхъ и другихъ покрывалахъ нѣтъ ни слѣдовъ рвоты, ни другихъ изверженій. Стѣны комнатъ, а равно и самаго коридора, выбѣлены мѣломъ и не представляютъ никакихъ признаковъ, по которымъ можно бы заподозрить, что ихъ скоблили или лизали языкомъ.

Слѣдовательно, отравленіе этимъ способомъ тоже невозможно.

На кроватяхъ, гдѣ лежали умершія, и вообще въ комнатахъ, не найдено никакихъ постороннихъ вещей, кромѣ того, что принадлежало къ устройству и инвентарю этихъ помѣщеній. Бѣлье на постеляхъ и на умершихъ чистое. Солома въ тюфякахъ, по объявленію надзирательницы Вѣры Азаровой, по всему отдѣленію женскаго дома умалишенныхъ перемѣнена назадъ тому всего только семь дней и притомъ опять-таки солому не отбирали на отборъ для тѣхъ пяти, которыя умерли, а набивали ею *всѣ* тюфяки изъ одной общей массы, а между тѣмъ умерли не всѣ изъ находящихся въ заведеніи, а только пятеро.

Что касается до порядковъ въ домѣ, то смотритель маіоръ

Колиньи объявилъ, что печи, какъ въ этомъ, такъ и въ прочихъ зданіяхъ, 26-го января были истоплены въ 5 часовъ утра и во второй разъ въ эти сутки топлены не были. Въ этомъ зданіи и по всему этому женскому отдѣленію дома умалишенныхъ нѣтъ ни кухонь, ни прачечной, ни другихъ какихъ-либо служебныхъ построекъ, откуда бы могли заходить дымъ, чадъ или какія-нибудь зловонныя и міазматическія испаренія.

Досмотръ за больными былъ такой рачительный, что, повидимому, желать лучшаго невозможно.

Для примѣра достаточно прослѣдить одинъ день 26-го января, предшествовавшій роковой ночи, когда пять сумасшедшихъ неизвѣстно отъ чего умерли цѣлой компаніей.

Въ 26-е число января это отдѣленіе посѣщали, въ 10 часовъ утра, старшій докторъ Погорскій и младшій ординаторъ Предтеченскій, а предъ ихъ визитаціей, въ 8 часовъ утра, все зданіе осматривали экономъ Алексѣевъ и помощникъ смотрителя Никитинъ.

Словомъ, досмотръ со стороны начальства былъ во весь день до вечера и никакихъ упущеній не указано.

Теперь начинается ближайшее время къ роковой ночи,— вечеръ 26-го января.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Вечеромъ 26-го января, въ 10 часовъ, вторично обходилъ это отдѣленіе экономъ Алексѣевъ.

Вечеръ въ такихъ домахъ кончается рано, въ 8 часовъ здѣсь уже спятъ. А послѣ того какъ больныя легли спать, въ 11 часовъ ночи, покои ихъ обходилъ дежурный надзиратель по заведенію, унтеръ-офицеръ Коноплевъ. Оба эти должностныя лица, обойдя покои, явились къ смотрителю маіору Колиньи и доложили ему о совершенномъ благополучіи того самаго отдѣленія, гдѣ къ утру оказался такой неожиданный и такой несчастный случай.

Что же касается пяти скоропостижно умершихъ женщинъ, то онѣ проводили день 26-го января вмѣстѣ съ прочими, находящимися въ томъ же отдѣленіи, умопомѣшанными въ числѣ 24; всѣ онѣ обѣдали за однимъ общимъ столомъ и употребляли одну, для всѣхъ безъ различія, приготовленную пищу.

Обѣдъ больныхъ состоялъ изъ щей, сваренныхъ съ го-

вядиною и съ кислою капустою, изъ ржаного хлѣба и кваса для питья. Пищу всѣмъ помѣшаннымъ подавали въ деревянныхъ крашеныхъ чашкахъ, а ѣли онѣ всѣ деревянными ложками, съ которыхъ краска отъ давняго употребленія сошла.

Послѣ обѣда до вечера *всѣ* были здоровы, и ни одна ни на что не жаловалась.

Вечеромъ въ шесть часовъ, больнымъ подавался ужинъ, который былъ вполнѣ повтореніемъ обѣда, т. е. всѣмъ имъ за однимъ общимъ столомъ, въ шесть часовъ, была подана та же самая пища, что и за обѣдомъ.

Кушанье для больныхъ приготовлялось всегда въ одной кухнѣ и въ однихъ котлахъ. Эти чугунные котлы были осмотрѣны и оказались въ самомъ чистомъ видѣ. Слѣдовательно, подозрѣвать, что пять скоропостижно умершихъ отравились пищею, предложенною имъ заведеніемъ, тоже невозможно.

Оставалось обратить вниманіе, какъ эти несчастныя проводили свой послѣдній день и ночь каждая въ отдѣльности. Но и это ничего особеннаго не представляло.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Послѣ ужина всѣхъ призрѣваемыхъ въ вышеозначенномъ отдѣленіи, въ 7 часовъ, положили спать. Каждая легла на своей койкѣ. Точно такъ же легли спать и тѣ пять женщинъ, которыя ночью скоропостижно умерли. Онѣ легли на тѣхъ самыхъ постеляхъ и въ тѣхъ самыхъ комнатахъ, въ которыхъ утромъ служанка Кирсанова нашла ихъ мертвыми.

Двери въ этихъ двухъ комнатахъ, точно такъ же, какъ и во всѣхъ прочихъ, были во всю ночь растворены настежь въ коридоръ, гдѣ ночевала Кирсанова. Рядомъ съ комнатой № 6-й, гдѣ найдено двое умершихъ, въ комнатѣ подъ № 7-мъ, нагрѣваемой тою же самою печью, которая обогрѣвала № 6-й, ночевала умалишенная Авдотья Рубцова; а тотчасъ же за этой комнатой—въ № 8-мъ, ночевали еще двѣ другія умалишенныя, Надежда Вихирева и Матрена Скобина, и всѣ онѣ остались живы и здоровы. Наканунѣ загадочнаго событія, т. е. 26 января, и при наступленіи ночи, какъ умершія, такъ и прочія умалишенныя, оставшіяся въ живыхъ, не жаловались ни на какіе болѣзненные припадки.

Послѣ урочнаго времени (7 часовъ вечера), когда всѣхъ умалишенныхъ уложили спать, съ ними осталась ночевать дежурная служанка Ѳедосья Кирсанова. Изъ лицъ правоспособныхъ она одна оставалась ближайшею свидѣтельницею, что̀ здѣсь происходило въ послѣдующіе ночные часы до утра, и съ нея тотчасъ же сняли показаніе, записанное въ актъ.

Кирсанова объявила, что до трехъ часовъ всѣ призрѣваемыя спали спокойно безъ особенныхъ движеній и не обнаруживали никакого безпокойства. Въ три же часа ночи одна изъ скоропостижно умершихъ — именно Елена Швидчикова, которая любила топить печи, — проснулась, разбудила двухъ другихъ спавшихъ съ нею въ одной комнатѣ подъ № 10-мъ (Снѣгиреву и Курдюкову), а потомъ пошла въ комнату № 6-й и тамъ разбудила двухъ тамошнихъ жилицъ — Воронину и Деревенскую. Собравъ эту компанію, Швидчикова попросила служанку Кирсанову провести ихъ въ ретирадное мѣсто. Служанка будто исполнила это безпрекословно, и всѣ пять помѣшанныхъ пошли съ нею, куда имъ было нужно. Оттуда Кирсанова провела ихъ обратно въ ихъ же комнаты, и при этомъ Кирсанова замѣтила, что Швидчикову немного вырвало на полъ. Больная спокойно попросила Кирсанову вытереть, и Кирсанова это исполнила.

Послѣ этого выхода и возвращенія всѣ пять скоропостижно умершихъ женщинъ, не тратя времени, тотчасъ же снова легли по своимъ койкамъ и уснули спокойно.

Ни одна изъ нихъ не жаловалась ни на какую боль, да если бы у нихъ что-нибудь болѣло, то онѣ бы и не уснули.

Отчего же стошнило Швидчикову и не было ли у нея чего-нибудь такого вредоноснаго, чѣмъ бы она могла извести себя и своихъ сосѣдокъ въ то короткое время, которое имъ нужно было на то, чтобы выйти въ ретираду и снова возвратиться на свои койки?

Слѣдователи не упустили изъ вида и этого, но опять ничего не вышло.

Надзирательница Азарова и служанки Кирсанова и Пелагея Логинова объявили, что постороннихъ посѣтителей въ заведеніи передъ этимъ не было, кромѣ 25-го числа января; 25-го же утромъ, до обѣда больныхъ посѣщали какія-то три неизвѣстныя барыни и роздали всѣмъ по од-

пому французскому хлѣбу. Хлѣбы эти были всѣми больными съѣдены до обѣда того же 25-го января, и съ той поры больныя не употребляли никакой другой ѣды, кромѣ вышеописанной больничной пищи, состоявшей изъ съѣдобныхъ предметовъ довольно грубыхъ, но здоровыхъ и во всякомъ разѣ безвредныхъ.

Засимъ старшій докторъ, коллежскій совѣтникъ Погорскій, удостовѣрилъ, что вышепоименованныя скоропостижно умершія женщины 26-го января и до этого дня были здоровы (исключая умственнаго разстройства въ разной степени) и никакихъ лѣкарствъ ни одна изъ нихъ не принимала.

Стало-быть, даже и съ этой стороны ничего сокращающаго жизнь имъ подано не было, и смерть ихъ послѣдовала по крайней мѣрѣ «безъ медицинской помощи».

Но, однако, отчего же онѣ умерли?

Вотъ въ томъ-то и тайна.

Да это и въ теченіе цѣлыхъ двадцати пяти лѣтъ оставалось тайною даже для такого лица, какъ предсѣдатель медицинскаго совѣта, которому въ интересахъ науки нельзя было не заботиться, чтобы уяснить разсказанный случай. И предсѣдатель медицинскаго совѣта описаннымъ происшествіемъ въ воронежскомъ сумасшедшемъ домѣ интересовался,—только втуне.

Актъ, сохранившійся въ бумагахъ покойнаго Пеликана, кончается на томъ, что̀ мы могли изъ него выбрать и сообщить; но на немъ есть еще чрезвычайно любопытная помѣтка, сдѣланная собственною рукою Евгенія Венцеславовича 8-го декабря 1878 года. Изъ этой надписи видно, что покойному предсѣдателю медицинскаго совѣта описанное загадочное событіе пяти смертей оставалось необъяснимымъ до 1878 года, т. е. въ теченіе ровно двадцати пяти лѣтъ.

Въ 1878 году покойный Пеликанъ распорядился искать по этому дѣлу справокъ въ архивахъ министерства внутреннихъ дѣлъ, но, несмотря на то, что Пеликанъ держалъ свои бумаги въ отличномъ порядкѣ и обо всемъ касающемся даннаго предмета дѣлалъ обстоятельныя отмѣтки собственною рукою, — загадочный случай пяти смертей въ воронежскомъ сумасшедшемъ домѣ и послѣ 1878 года оставленъ имъ безъ объясненія,—при одномъ лишь желаніи знать: чѣмъ такая загадка разъяснена быть можетъ.

Къ сказанному, можетъ статься, нелишнимъ будетъ прибавить, что всѣ пять въ одно время скоропостижно умершихъ были женщины бѣдныя и изъ низшаго класса, такъ что, кажется, трудно даже придумать, кому было выгодно озабочивать себя приспѣшеніемъ всѣмъ имъ коллективной кончины.

Развѣ, можетъ статься, теперь кто-нибудь изъ воронежскихъ старожиловъ въ состояніи пролить свѣтъ на любопытный вопросъ: отчего въ ихъ городѣ скоропостижно и вдругъ умерли, въ 1853 году, пять сумасшедшихъ?

Для медицинской науки это еще и теперь, несмотря на тридцатилѣтнюю давность, будетъ интересно.

На читателей этотъ маленькій разсказъ изъ недавняго русскаго прошлаго, можетъ-быть, произведетъ непріятное чувство; онъ какъ бы незаконченъ,—въ немъ нѣтъ удовлетворенія любопытству: чѣмъ же дѣло разъяснилось?

Пишущій настоящія строки вполнѣ сознаетъ законность такого неудовольствія, и самъ его испытывалъ, когда прочелъ сейчасъ разсказанное дѣло. Но просвѣщенный читатель пусть не посѣтуетъ за эту неудовлетворенность. Пусть онъ обратитъ свою мысль въ другую сторону, — пусть онъ вспомнитъ тѣхъ изъ нашихъ соотечественниковъ, которые, по замѣчанію Н. И. Пирогова, «преобѣдили въ себѣ даже потребность воспоминаній о прошломъ».

Настоящій разсказъ годится для того, чтобы оцѣнить весь трудъ ихъ «преобѣжденной» памяти, и въ этомъ отношеніи онъ не оставитъ досадительной неудовлетворенности.

Припомнить себѣ такую неудовлетворенность есть своего рода большое удовлетвореніе.

УМЕРШЕЕ СОСЛОВІЕ.

(изъ юношескихъ воспоминаній.)

Въ 1884 году было напечатано въ газетахъ, что въ Нижнемъ-Новгородѣ одинъ торговецъ и одинъ чиновникъ, сидя въ трактирѣ, бранили мѣстнаго губернатора Баранова. Полиція арестовала этихъ господъ, но губернаторъ Барановъ приказалъ ихъ освободить и указалъ полиціи впредь не обращать вниманія на такія ничтожныя вещи.

Этотъ случай, не заслуживающій, кажется, ничего другого, кромѣ сочувствія должностному лицу, которое такъ распорядилось—вызвалъ, однако, у кривотолковъ осужденія.

— Во всякомъ случаѣ (доводилось слышать)—это своего рода рисовка, гарунъ-аль-рашидство; все это только разводитъ дикія фантазіи.

Въ дни нашей юности мы тоже видали «дикія фантазіи», но только въ другомъ родѣ. Нижегородскія «дикія фантазіи» напоминаютъ мнѣ другой городъ и другой губернаторскій характеръ, который считали типическимъ въ прошлую, хотя и не очень отдаленную отъ насъ пору. Кто любитъ вспоминать недалекую старину и сопоставлять ее съ нынѣшнимъ временемъ, для тѣхъ, можетъ статься, это будетъ не лишено интереса.

Во время моей юности, проходившей въ Орлѣ, тамъ жилъ «на высылкѣ» Аѳанасій Васильевичъ Марковичъ, впослѣдствіи мужъ талантливой русской писательницы, извѣстной подъ псевдонимомъ «Марко-Вовчокъ».

Аѳанасій Васильевичъ въ очень молодыхъ годахъ былъ

высланъ въ Орелъ изъ Кіева по случившейся въ Кіевѣ «исторіи», которую тогда считали «политическою» и называли «Костомаровскою исторіей».

Марковичъ долженъ былъ жить въ Орлѣ и находиться подъ непосредственнымъ наблюденіемъ мѣстнаго губернатора, а дабы наблюденіе за нимъ было удобнѣе, Марковичъ былъ зачисленъ на службу въ губернаторскую канцелярію. Тутъ онъ занималъ должность дѣлопроизводителя, или помощника правителя, — не помню уже теперь по какому отдѣлу.

Имущественныя средства Марковича были не очень свободны — онъ нуждался въ подспорьѣ, которымъ ему и служило маленькое жалованье, присвоенное его канцелярской должности (помнится, что-то около 25 р. въ мѣсяцъ). Занятія службою Марковича не тяготили, но не могла его не тяготить подчиненность лицу, отъ котораго онъ зависѣлъ.

Орловскою губерніей во время ссылки Марковича правилъ не разъ упоминавшійся въ литературѣ князь Петръ Ивановичъ Трубецкой.

Увѣряли, будто онъ былъ человѣкъ не злой, но невоспитанный и какой-то,—какъ его звали орловцы,—«невразумительный». Князь зналъ и понималъ въ дѣлахъ очень мало, или, вѣрнѣе сказать,—почти ничего, а правительственнаго искусства онъ не имѣлъ вовсе, но безмѣрно любилъ власть и страдалъ охотою вмѣшиваться во все.

Такая склонность побудила его, между прочимъ, вмѣшаться даже въ дѣла церковнаго управленія, что̀ и было причиною возникновенія много разъ описанной непримиримой «войны» между нимъ и покойнымъ орловскимъ архіепископомъ Смарагдомъ Крыжановскимъ, который ранѣе, по случаю болѣзни Павскаго, далъ нѣсколько уроковъ покойному государю Александру Николаевичу во время его дѣтства. Поэтому Смарагдъ слылъ въ Орлѣ «царскимъ законоучителемъ» и очень этимъ кичился. Вообще же онъ имѣлъ характеръ гордый и неуступчивый.

Его «война» съ Трубецкимъ есть своего рода орловская эпопея. Она не разъ изображалась и въ прозѣ, и въ стихахъ, и даже въ произведеніяхъ пластическаго искусства. (Въ Орлѣ тогда были карикатуристы: маіоръ Шульцъ и В. Череповъ). Интереснѣе исторіи этой войны въ старомъ

Орлѣ, кажется, никогда ничего не происходило, и все, о чемъ ни доведется говорить изъ тогдашнихъ орловскихъ событій, непремѣнно немножко соприкасается какъ-нибудь съ этой войной.

Я хочу разсказать объ одномъ покушеніи князя Трубецкого вторгнуться въ область исторіи, и о томъ, кто его на это навелъ и кто его отъ этого отвелъ... Все это относится къ тому же боевому времени.

Кто-то изъ охотниковъ вмѣшиваться не въ свое дѣло сообщилъ письмомъ князю Петру Ивановичу, что въ Орловской гимназіи происходятъ будто бы непозволительныя вещи, а именно — будто учитель исторіи (кажется) Вас. Ив. Фортунатовъ (тогда уже почтенный старикъ) излагаетъ ученикамъ «революціонные экзерсисы», а почетный попечитель гимназіи, флота капитанъ 2-го ранга Мордарій Васильевичъ Милюковъ (на дочери котораго впослѣдствіи былъ женатъ В. Якушкинъ) будто бы оказываетъ этому вредному дѣлу потворство.

Наблюдатель, желающій оставаться самъ въ неизвѣстности, представлялъ въ подкрѣпленіе своихъ словъ доказательства, состоявшія въ томъ, что подозрѣваемый имъ въ неблагонадежности учитель исторіи, въ присутствіи попечителя Милюкова, разъяснялъ ученикамъ «о правахъ третьяго сословія во Франціи», а капитанъ 2-го ранга Милюковъ учителя не остановилъ и тѣмъ выразилъ ему какъ бы свое одобреніе.

Можно было предполагать, что извѣтъ этотъ прислалъ князю кто-нибудь изъ родителей какого-нибудь воспитанника,—человѣкъ, можетъ-быть, ничего не знавшій въ исторіи и имѣвшій какой-то сумасшедшій взглядъ на позволительное и непозволительное въ преподаваніи.

Болѣе важнаго въ доносѣ ничего не указывалось, но князь никогда не давалъ себѣ труда различать важное отъ неважнаго. Ему главное было, чтобы имѣлся предлогъ «пошумѣть». Это былъ въ его время такой служебный терминъ. О начальникахъ, которыхъ особенно хотѣли похвалить, всегда говорили: «Охотникъ пошумѣть. Если къ чему привяжется, и зашумитъ, и изругаетъ какъ нельзя хуже, а непріятности не сдѣлаетъ. Все однимъ шумомъ кончалъ».

Такихъ начальниковъ одобряли: «брань на вороту не виснетъ».

Таковъ былъ отчасти и князь Петръ Ивановичъ, и такъ же поступилъ онъ въ томъ случаѣ, о которомъ будемъ бесѣдовать, вспоминая его славное время.

Князю Трубецкому письмо показалось вполнѣ достаточнымъ поводомъ для того, чтобы вмѣшаться не въ свое дѣло и кому-нибудь «надерзить». (О немъ такъ и говорили въ Орлѣ, что онъ «любитъ дерзить»).

Князь сейчасъ же призвалъ правителя или исправлявшаго его должность и велѣлъ немедленно написать «хорошій напрягай и указаніе». Сноситься съ попечителемъ, который тогда жилъ въ Харьковѣ, князю казалось излишнимъ,—онъ хотѣлъ самъ исправлять все непосредственно,—да и дѣло не терпѣло отлагательства.

Правитель канцеляріи не могъ возражать князю, а извернулся иначе. Онъ сослался на незнакомство съ учебнымъ дѣломъ и указалъ на Марковича, какъ на человѣка «университетскаго», который долженъ все это хорошо знать и потому можетъ написать и «напрягай указаніе».

Приказаніе сейчасъ же было передано Марковичу и поставило того въ очень непріятное затрудненіе. Онъ не могъ усмотрѣть рѣшительно никакой вины со стороны учителя въ томъ, что тотъ упоминалъ про «третье сословіе», и не зналъ, какой и за что давать напрягай. А потому онъ явился къ князю и осмѣлился ему доложить, что это не губернаторское дѣло, а дѣло попечителя учебнаго округа, а притомъ, что учитель имѣлъ основаніе упоминать о «третьемъ сословіи», такъ какъ это, очевидно, не что иное, какъ tiers-état, т. е. сословіе гражданъ и крестьянъ, составлявшее въ феодальныя времена во Франціи часть генеральныхъ штатовъ (États-généraux) и существовавшее до революціи рядомъ съ аристократіею и съ духовенствомъ.

Князь разсердился, и хотя онъ обращался съ Марковичемъ всегда деликатнѣе, чѣмъ съ другими, но тутъ и на него зашумѣлъ во всю. Обрезонить его не было никакой возможности, ибо онъ былъ ужаснѣйшій крикунъ и ругатель.

Вообще, какъ гражданскій правитель, Трубецкой походилъ, пожалуй, на Альберта Брольи, о которомъ Реклю говоритъ, что «по мѣрѣ того, какъ онъ приходилъ въ волне-

піе, онъ начиналъ пыхтѣть, свистать, харкать, кричать и трещать, гнѣвъ его походилъ на гнѣвъ восточнаго евнуха, который не знаетъ, чѣмъ излить досаду». Но Трубецкой имѣлъ еще перевѣсъ передъ Брольи, потому что зналъ такія слова, которыхъ Брольи, конечно, не зналъ, да, безъ сомнѣнія, и не посмѣлъ бы употребить съ французами.

Такимъ Трубецкой явился и на сей разъ. Онъ ничего не желалъ слушать и настойчиво велѣлъ какъ можно скорѣе написать «напрягай» и подать его къ подписи.

Онъ былъ очень скоръ и любилъ дѣйствовать по-военному.

Марковичъ дерзнулъ только спросить, какъ онъ прикажетъ впредь называть людей третьяго сословія?

— Называть ихъ такъ, въ какихъ они нынче чинахъ.

— Они всѣ уже умерли.

— А это еще лучше: если они умерли, то пусть учитель и говоритъ о правахъ «умершаго сословія».

Приходилось писать объ умершемъ сословіи и напрягай Милюкову, и наставленіе учителю, а также и сообщеніе окружному учебному начальству.

Но что человѣкъ предполагаетъ, то Богъ располагаетъ.

Представлять резоны князю Трубецкому было невозможно, тѣмъ болѣе, что и тѣ краткія замѣчанія, которыя осмѣлился представить ему Марковичъ, уже привели легко возбуждавшуюся натуру губернатора въ кипяченіе. Князь въ такихъ случаяхъ не переносилъ даже себя самого и нетерпѣливо рвался на воздухъ. Ему надо было выгуляться и выпустить изъ себя неукротимый жаръ.

Въ губернаторскомъ домѣ всѣ это знали, и чуть князь начиналъ шумѣть, сейчасъ же готовили для него лошадей «на выскочку».

Такъ въ городѣ и говорили: «вотъ князь ѣдетъ на выскочку»—и всѣ по возможности прятались, чтобы не попадаться ему на глаза.

И теперь онъ тоже рѣзко всталъ изъ-за стола, порывисто отбросилъ ногою прочь свое кресло и велѣлъ какъ можно скорѣе подать открытую пролетку. Онъ очень спѣшилъ на кого-нибудь покричать на вольномъ воздухѣ, потому что въ такихъ случаяхъ онъ любилъ кричать громко,

во все свое удовольствіе, но дома, при княгинѣ, онъ не всегда смѣлъ доставить себѣ такое удовольствіе *).

Чиновникъ ушелъ, а князь поѣхалъ по городу, чтобы какъ-нибудь перетерпѣть, пока ему изготовятъ и подадутъ подписывать «напрягай», а тѣмъ временемъ, по усмотрѣнію судебъ, мысли его получили другое направленіе и напрягай оказался совсѣмъ ненужнымъ.

У князя Петра Ивановича въ Орлѣ былъ знаменитый кучеръ. Онъ развѣ малымъ чѣмъ-нибудь уступалъ оставившему по себѣ въ Москвѣ историческую память кучеру оберъ-полицеймейстера Беринга. Орловскій наѣздникъ былъ такъ же утробистъ, такъ же горластъ и краснорожъ, имѣлъ такіе же выпяченные рачьи глаза и такъ же неистово хрипло оралъ и очертя голову несся на всѣхъ встрѣчныхъ и поперечныхъ, ни за что не ожидая, пока тѣ успѣютъ очистить ему дорогу. На душѣ этого христіанина, говорятъ, считалось уже нѣсколько смертныхъ грѣховъ, и во всякомъ случаѣ онъ по справедливости могъ почитаться въ свое время очень опаснымъ человѣкомъ въ городѣ.

Лихая ѣзда какъ на пожаръ тогда была, впрочемъ, въ модѣ у многихъ большихъ лицъ, и это почиталось даже необходимымъ признакомъ «твердой власти». Особенно шибко ѣздили губернаторы и полицеймейстеры: они всюду скакали, и кучера ихъ всегда особенно кричали. Это придавало городамъ оживленіе.

Князь Трубецкой по преимуществу любилъ такого рода всенародную помпу, и горожанамъ она нравилась. Всѣ видѣли, что губернаторъ ѣдетъ какъ губернаторъ, а не трюхъ-трюхъ, какъ ѣздилъ тогда въ Орлѣ приснопамятный инспекторъ гимназіи Азбукинъ.

А ѣздилъ князь большею частію по-русски, то-есть парой, съ пристяжкой,—рысакъ въ кордѣ и залихватскій, въ кольцо изогнувшійся скакунъ въ пристяжкѣ.

Летитъ, бывало, какъ вихорь, кони мчатся, подковы ляз-

---

*) Супруга князя Петра Ивановича Трубецкого, рожденная Витгенштейнъ, была сама очень грознаго характера и любила властвовать безъ раздѣла. Ея гнѣвность и силу знали не только въ городѣ, но и на почтовыхъ станціяхъ, гдѣ ея боялись всѣ ямщики... Необыкновенное воспитаніе этой знатной дамы составляло для всѣхъ неразъяснимую загадку.

гаютъ о широкіе каменья отвратительной орловской мостовой, кучеръ выпретъ глаза и оретъ, какъ будто его снизу огнемъ жаритъ, а князь сидитъ руки въ боки, во всѣ стороны поворачиваетъ свое маленькое незначительное лицо, которому не даровано было отъ природы никакого величія, но, однако, дозволено было производить нѣкоторый испугъ. Для этого князю стоило только поднять къ носу стоячіе усы и пустить въ ходъ свое прискорбное сквернословіе. Ротъ у него тогда становился черный и круглый какъ у сжатаго за жабры окуня, а изъ-подъ усовъ рвались и текли эти звуки, которые по справедливости требовали увѣщаній по тексту извѣстнаго поученія, приписываемаго Іоанну Златоусту.

Прибавьте къ этому, что человѣкъ, о которомъ говоримъ, по вѣрному мѣстному опредѣленію, былъ «невразумителенъ», грубъ и самовластенъ,—и тогда вамъ станетъ понятно, что онъ могъ внушать и ужасъ, и желаніе избѣгать всякой съ нимъ встрѣчи. Но простой народъ съ удовольствіемъ любилъ глядѣть, когда «ёнъ садитъ». Мужики, побывавшіе въ Орлѣ и имѣвшіе счастье видѣть ѣхавшаго князя, бывало долго разсказываютъ:

— И-и-ихъ, какъ ёнъ садитъ! Ажно быдто весь городъ тарахтитъ.

Особенно сильное впечатлѣніе производило, когда князь поворачивалъ на углу изъ одной улицы въ другую. Тутъ его кони, экипажъ, кучеръ и самъ онъ неслись совсѣмъ накренясь, и на поворотѣ летѣли въ наклонномъ положеніи, пока опять выравнивались и, принявъ прямое положеніе, мчались еще быстрѣе. Это никогда не обѣщало благополучія ни пѣшему, ни конному, кто бы тутъ ни подвернулся.

Такъ Трубецкой понесся и теперь, раздраженный почтительными представленіями Марковича о третьемъ сословіи во Франціи.

Губернаторъ ѣхалъ отъ себя съ горы, по Болховской улицѣ внизъ. Онъ имѣлъ, вѣроятно, намѣреніе пронестись мимо оконъ гимназіи, чтобы тамъ его увидали и заранѣе уже содрогнулись.

Онъ благополучно обскакалъ «домъ дворянства» и безъ всякаго для себя вреда повернулъ внизъ за уголъ, но здѣсь случилось съ нимъ несчастье: кони его сшибли съ ногъ

одного приказнаго. Тотъ, однако, съ Божіею помощью всталъ и выпутался изъ своей разодранной шинелишки, и даже старался успокоить начальство, что его приказной спинѣ не больно. Но князь еще больше осердился и обругалъ подьячаго за неловкость,—а затѣмъ вдругъ встрѣтилъ новый, еще большій безпорядокъ.

Въ то время, какъ князь подъѣхалъ къ Введенскому дѣвичьему монастырю (нынче, кажется, простая приходская церковь), ему, противъ магазина тогдашняго великосвѣтскаго портного Жильберта, попался навстрѣчу мѣстный купецъ П.—Купецъ былъ старикъ и плохо видѣлъ, а притомъ онъ ѣхалъ въ маленькой бѣговой купеческой телѣжкѣ и самъ правилъ дорогимъ кровнымъ рысакомъ.

Купецъ этотъ былъ большой храмоздатель и съ этой стороны былъ извѣстенъ архіерею Смарагду, а кромѣ того, онъ былъ охотникъ до лошадей и съ этой стороны былъ извѣстенъ князю, у котораго не было ни одной такой хорошей лошади, какою правилъ теперь купецъ. Это уже само по себѣ было непорядокъ.

Ѣхалъ купецъ шагомъ, чинно и степенно, что называется «въ свое удовольствіе», а рядомъ съ нимъ, подъ лѣвымъ локтемъ, помѣщался мальчикъ лѣтъ четырнадцати, его фаворитъ-внучекъ; но, встрѣтясь съ губернаторомъ, купецъ ни самъ не снялъ картуза, ни поучилъ этому внука. Это уже было совсѣмъ непозволительно.

Всего вѣроятнѣе, что купецъ, правя горячею лошадью, не успѣлъ снять передъ княземъ Петромъ Ивановичемъ свой картузъ, а о внукѣ не вспомнилъ. Но князь не любилъ входить въ такія мелочи. Онъ видѣлъ въ этомъ одинъ оскорбительный для него фактъ. Онъ заколотился руками и ногами и поднялъ такой шумъ и крикъ, что купецъ оробѣлъ и бросилъ вожжи. Лошадь рванула и понесла, выбросивъ старика у дверей Жильберта, а внучка у столбовъ Георгіевской церкви.

Мальчикъ, болѣе легкій тѣломъ, отдѣлался счастливо, а грузный старикъ очень расшибся. Старый французъ Жильбертъ имѣлъ столько независимости, что поднялъ его и посадилъ у себя на крылечкѣ,—и тѣмъ, можетъ-быть, вызвалъ на мягкость самого князя.

Трубецкой велѣлъ посадить старика на извозчика и отправить его на гауптвахту, гдѣ того и продержали, пока

князь успокоился, а онъ въ это время все ждалъ, не станетъ ли заступаться за купца Смарагдъ, и за этою новою заботою позабылъ о полученномъ имъ извѣтѣ насчетъ третьяго сословія. Марковичъ же слукавилъ и не напоминалъ ему о его намѣреніи вмѣшаться не въ свое дѣло. Такъ опасность отъ вреднаго направленія въ гимназіи миновала, и губернаторское распоряженіе именовать tiers-état «умершимъ сословіемъ» не получило дальнѣйшаго хода. За все французское tiers-état въ Оргѣ оттерпѣлся одинъ купецъ, едва умѣвшій выводить каракулями «церикофніи старта».

Въ Трубецкомъ была прелестна и достойна самаго любовнаго наблюденія искренность его губернаторскаго величія: онъ его словно несъ съ собою повсемѣстно, какъ бы нѣкій алавастръ мѵра, съ постоянною заботливостью, чтобы кто-нибудь не подтолкнулъ его подъ локоть, чтобы сосудъ не колыхнулся и не расплескалось бы его содержимое. Это былъ «губернаторъ со всѣхъ сторонъ»; такой губернаторъ, какіе теперь перевелись за «неблагопріятными обстоятельствами». Но въ то время, къ которому относятся мои воспоминанія, въ числѣ современниковъ Трубецкого было нѣсколько такихъ губернаторовъ, которыхъ не позабудетъ исторія. Надъ ними надъ всѣми яркой звѣздою сіялъ Александръ Алексѣевичъ Панчулидзевъ въ Пензѣ, на котораго дерзкою рукою «навелъ слѣдствіе» немножко извѣстный въ литературѣ своими «стансами» Евфимъ Ѳедоровичъ Заринъ («Библіотека для чтенія» — «стансы Зарина» и т. д.). Печатной гласности тогда у насъ и въ заведеніи еще не было, а функціи ея исполняла «молва»: «земля слухомъ полнилась». Между орловскою губерніею, гдѣ процвѣталъ князь Трубецкой, и пензенскою, которая была осчастливлена переводомъ туда изъ Саратова А. А. Панчулидзева, находится тамбовская губернія, сродная орловской по особенной чистотѣ плутовскихъ типовъ. (Ни въ той, ни въ другой даже «жидъ долго не могъ привиться» — потому что «свои были жида ядовитѣе»). Черезъ тамбовскую губернію орловцы съ пензяками перекликались: пензяки хвалились орловцамъ, а орловцы пензякамъ — какіе молодецкіе у нихъ водворились правители. «Нашъ жестокъ».—«А нашъ еще жёстче».—«Нашъ ругается на всякіе манеры».—

«А нашъ даже изъ своихъ рукъ не спущаетъ».—Такъ другъ друга и превосходили. Но пришло какое-то измѣнчивое время, и Смарагдъ съ предводителемъ какъ-то «подвели» Трубецкому какую-то хитрую механику. Почувствовалась надобность «убрать его въ сенаторы». Убрали. Онъ уѣхалъ на-чисто, такъ что послѣ его отъѣзда въ губернаторскомъ домѣ не нашли даже нѣкоторыхъ паркетовъ. Въ Пензѣ, между тѣмъ, А. Панчулидзевъ продолжалъ процвѣтать: Предводитель А. А. Араповъ былъ ему другъ и собратъ по «заводчеству» (оба были «винокуры и бѣдокуры»), а Е. Заринъ еще былъ въ юности, и сразительный ядъ еще не созрѣлъ подъ его семинарскимъ языкомъ. Приставленный къ сенату, Трубецкой былъ и польщенъ, и въ то же время обиженъ: въ сенатѣ его рѣшительно никто не боялся, да и на стогнахъ столицы онъ совсѣмъ не производилъ никакого внушающаго впечатлѣнія. При появленіи его самые обыкновенные люди такъ же шли и ѣхали, какъ будто его и нѣтъ,—и «не ломали шапокъ», и не уступали дороги, между тѣмъ, какъ это столько лѣтъ кряду согрѣвало и вдохновляло князя... Онъ заскучалъ въ столицѣ о добрыхъ и простыхъ нравахъ провинціи, и поѣхалъ лѣтомъ прокатиться — навѣстить свои и витгенштейновскія родовыя маетности. Орелъ онъ «промигнулъ мимо»... Не въ гостиницѣ же ему было тутъ останавливаться и слушать какъ «другой» правитъ!.. Но въ Кіевѣ онъ остановился для совѣтовъ съ врачами и ради какихъ-то духовныхъ потребностей княгини, которой тоже были свойственны и религіозные порывы. Остановились они incognito, въ молитвенномъ смиреніи, не въ гостиницѣ «Англетеръ», а у самого православнаго купца Ивантія Михайловича Батухина, и вечеркомъ, когда всѣ кошки становятся сѣры, князь отправлялся подышать чистымъ воздухомъ. Дѣло это было по осени. На дворѣ, послѣ погожаго дня, проморосилъ дождичекъ и смочилъ кіевскіе кирпичные тротуары,— гуляющихъ было мало и князь могъ «растопыриться». Это было самое любимое его устроеніе своей фигуры, когда ему надо было идти, а не ѣхать. Онъ бралъ руки «въ боки» или «фертомъ», отчего капюшонъ и полы его военнаго плаща растопыривались и занимали столько широты, что на его мѣстѣ могли бы пройти три человѣка: всякому видно, что идетъ губернаторъ. (Сенаторства князь не ров-

пялъ съ губернаторствомъ и любилъ быть вѣчно губернаторомъ).

Такъ шелъ онъ и теперь по лучшей улицѣ Кіева, Крещатику, отъ «Англетера» къ Александровскому спуску, и вдругъ на самомъ углу Институтской горы съ нимъ случилось странное, но въ то же время досадительное происшествіе.

Въ Кіевѣ былъ тогда гражданскимъ губернаторомъ знаменитый въ своемъ родѣ богачъ и добрый, кроткій человѣкъ Иванъ Ивановичъ Фундуклей, иждивеніемъ котораго сдѣлано много прекрасныхъ описательныхъ изданій. Онъ былъ одинокій, довольно скучный человѣкъ, тучнаго тѣлосложенія и страдалъ неизлѣчимыми и отвратительными лишаями. Его лѣчили многія медицинскія знаменитости и не вылѣчили: лишаи немножко успокаивались, но потомъ опять разыгрывались,—пузырились, пухли, чесались и не давали богачу нигдѣ ни малѣйшаго покоя. Тогда потаенно былъ призванъ который-то изъ извѣстныхъ въ свое время кіевскихъ самоучекъ,—не то Потапенко, не то Корней (Столпчевскій) и сталъ лѣчить расчесавшагося вельможу «травкою и *выпотнѣніемъ*». Травки шли больше «для успокоенія больного», но главное, на что разсчитывалъ знахарь,—это было «выпотнѣніе», столь извѣстное по своимъ послѣдствіямъ ветеринарамъ и спортсменамъ. Лошадямъ для этого покрываютъ подлежащую выпотнѣнію часть тѣла войлочнымъ потникомъ и гоняютъ ихъ на кордѣ, а для Фундуклея было устроено такъ, что онъ покрывалъ стеганымъ набрюшникомъ пораженное лишаемъ мѣсто, надѣвалъ на себя длинное ватное пальто, сшитое «англійскимъ сюртукомъ», бралъ зонтикъ и шелъ гулять съ своею любимою пѣгою левреткою. Такимъ образомъ производилось «выпотнѣніе», и производилось оно въ теченіе довольно долгаго времени неотложно и аккуратно при всякой погодѣ. А такъ какъ губернаторамъ въ то время днемъ среди толпы гулять было неудобно, потому что всѣ будутъ кланяться, и надо будетъ откланиваться, а Фундуклей былъ человѣкъ застѣнчивый и скромный, то онъ дѣлалъ свою гигіеническую прогулку черезъ часъ послѣ обѣда, вечеромъ, когда — думалось ему— его не всякій узнаетъ, для чего онъ еще тщательно закрывался зонтикомъ.

Разумѣется, всѣ эти старанія скромнаго губернатора не вполнѣ достигали того, чего онъ желалъ: кіевляне узнавали Фундуклея и, по любви къ этому тихому человѣку, давали ему честь и мѣсто. Образованные люди, замѣтивъ его большую фигуру, закрытую зонтикомъ, говорили: «Вотъ идетъ прекрасная *испанка*», а простолюдины повѣряли по немъ время, сказывая: «Седьмой часъ,—вонъ уже *дьякъ* съ горы спускается».

«Дьякомъ» называли Фундуклея потому, что въ своемъ длинномъ, англійскомъ ватошникѣ онъ очень напоминалъ извѣстную кіевлянамъ фигуру златоустовскаго дьячка «Котина», который въ такомъ же длинномъ ватошникѣ сидѣлъ на скамеечкѣ съ тарелочкою и кропильницей у деревянной церкви Іоанна Златоуста и «переймалъ богомуловъ», уговаривая ихъ «не ходить на Подолъ до братчиковъ, бо они дуже учени и переучени, а класти упростъ жертву Ивану». Издали дьякъ Котинъ и губернаторъ Фундуклей въ англійскомъ капотѣ имѣли по фигурѣ много сходства.

Чтобы выпотнѣніе шло сильнѣе, губернаторъ дѣлалъ свои вечернія прогулки не по ровной мѣстности, въ верхней плоскости города, гдѣ стоитъ губернаторскій домъ на «Липкахъ», а, спускаясь внизъ по Институтской горѣ, шелъ Крещатикомъ и потомъ опять поднимался въ Липки, по крутой Лютеранской горѣ, гдѣ присаживался для кратковременнаго отдыха на лавочкѣ у дома портного Червяковскаго, а потомъ, отдохнувъ, шелъ домой.

Такой курсъ держалъ онъ и въ тотъ теплый и темноватый вечеръ, когда шелъ случившійся проѣздомъ въ Кіевѣ князь Петръ Ивановичъ Трубецкой.

Фундуклей шелъ, понуривъ голову и закрывая лицо распущеннымъ безъ надобности зонтикомъ, а Трубецкой «перъ» своей гордой растопыркой, задравъ лицо кверху. Они столкнулись. Трубецкой получилъ легкое прикосновеніе къ локтю, но самъ вышибъ этимъ локтемъ у Фундуклея зонтикъ и шнурокъ, на которомъ шла собачка.

Грузный Иванъ Ивановичъ ничего не сказалъ и сталъ дѣлать очень тяжелое для него усиліе, чтобы поймать и поднять покатившійся зонтикъ, а въ это время отъ него побѣжала его собачка, шнурокъ которой ему было еще труднѣе схватить, чѣмъ зонтикъ.

Трубецкой же разсердился, затопталъ и закричалъ:

— Знаешь ли, кто я? знаешь ли, кто я?

— Не знаю,—отвѣчалъ Фундуклей.

— Я губернаторъ!

— Ну такъ что же дѣлать,—разсѣянно произнесъ Иванъ Ивановичъ:—я и самъ тоже губернаторъ!

Въ это время на небѣ блеснула луна, и случившійся на улицѣ квартальный, узнавъ Фундуклея, поймалъ и подвелъ къ нему на шнуркѣ его собачку.

Тутъ Трубецкой воочію убѣдился, что передъ нимъ въ самомъ дѣлѣ, должно-быть, губернаторъ, и поспѣшилъ возвратиться въ свою гостиницу въ гнѣвѣ и досадѣ, которыя и излилъ передъ покойнымъ медицинскимъ профессоромъ Алекс. Павл. Матвѣевымъ. Акушеръ Матвѣевъ происходилъ изъ дворянъ орловской губерніи и имѣлъ родныхъ, знакомыхъ Трубецкому, вслѣдствіе чего и былъ приглашенъ для безплатнаго медицинскаго совѣта. Ему Трубецкой разсказалъ свою «непріятную встрѣчу», а тотъ по нескромности развезъ ее во всю свою акушерскую практику.

Теперь всѣ эти лица уже сами составляютъ «умершее сословіе»; но когда случится вспомнить о ихъ времени, то даже какъ-будто не вѣрится, что все это было въ дѣйствительности, и притомъ еще сравнительно такъ недавно.

ЗАГОНЪ.

«Disciplina arcani существуетъ въ полной силѣ: цѣль ея — предоставить ближнимъ удобство мирно копаться въ свиныхъ корытахъ суевѣрій, предразсудковъ и низменныхъ идеаловъ». Дж. Морлей («О компромиссѣ»).

«За ослушаніе истинѣ — вѣрять лжи и заблужденіямъ» (2 Θес. II. 10—11).

Въ одномъ произведеніи Достоевскаго выведенъ офицерскій денщикъ, который раздѣлялъ свѣтъ на двѣ неравныя половины: къ одной онъ причислялъ «себя и своего барина, а къ другой всю остальную сволочь». Несмотря на то, что такое раздѣленіе смѣшно и глупо, въ нашемъ обществѣ никогда не переводились охотники подражать офицерскому денщику и притомъ въ гораздо болѣе широкой сферѣ. Въ послѣднее время выходки въ этомъ родѣ стали какъ будто маніею. Въ концѣ сентября 1893 года, въ засѣданіи Общества содѣйствія русской промышленности и торговлѣ, одинъ ораторъ прямо заговорилъ, что «Россія должна обособиться, забыть существованіе другихъ западно-европейскихъ государствъ, *отдѣлиться отъ нихъ китайскою стѣною*».

Такое стремленіе отгораживаться отъ свѣта стѣною намъ не ново, но послѣдствія этого всегда были для насъ невыгодны, какъ это доказано еще въ «твореніи» Тюнена «Der isolirte Staat» (1826 г.), которое въ 1857 году у насъ считали нужнымъ «приспособить для русскихъ читателей», для чего это твореніе и было переведено и напечатано въ томъ же 1857 году въ Карлсруэ, въ придворной типогра-

фіи, а въ Россіи оно распространялось съ разрѣшенія петербургскаго цензурнаго комитета *).

Одновременно съ тѣмъ, какъ у насъ читали приспособленную для насъ часть «творенія» Тюнена, въ качествѣ художественной иллюстраціи къ этой книгѣ обращалась печатная картинка, на которой былъ изображенъ темный загонъ, окруженный стѣною, въ которой кое-гдѣ пробивались трещинки, и черезъ нихъ въ сплошную тьму сквозили къ намъ слабые лучи свѣта.

Такимъ «загономъ» представлялось «уединенное государство», въ которомъ всѣ хотѣли узнавать Россію, и для тѣхъ, кто такъ думалъ, казалось, что намъ нельзя оставаться при нашей замкнутости, а надо вступать въ широкое международное общеніе съ міромъ. Отсталость русскихъ тогда безбоязненно сознавали во всемъ; но всего болѣе были удивлены тѣмъ, что мы отстали отъ западныхъ людей даже въ искусствѣ обработывать землю. Мы имѣли твердую увѣренность, что у насъ «житница Европы», и вдругъ въ этомъ пришлось усомниться. Люди яснаго ума указывали намъ, что русское полеводство изъ рукъ вонъ плохо и что если оно не будетъ улучшено, то это скоро можетъ угрожать Россіи бѣдствіемъ. Причину этого видѣли въ томъ, что наши крестьяне обработываютъ землю очень старыми и дурными орудіями и ни съ чѣмъ лучшимъ по дикости своей и необразованности обращаться не умѣютъ, а если дать имъ хорошія вещи, то они сдѣлаютъ съ ними то, что дѣлали съ бисеромъ упомянутыя въ Евангеліи свиньи (Мѳ. VII, 3).

Я позволю себѣ предложить здѣсь кое-что изъ того, что мнѣ привелось видѣть въ этомъ родѣ.

Это касается крестьянъ и некрестьянъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Тяготѣніе къ жолудю и къ корыту.

Въ моихъ отрывочныхъ воспоминаніяхъ я не разъ говорилъ о нѣкоторыхъ лицахъ англійской семьи Шкотъ. Ихъ

*) «Уединенное государство въ отношеніи къ общественной экономіи, изъ творенія З. Г. фонъ-Тюнена, мекленбургскаго эконома, извлечено и приспособлено для русскихъ читателей Матвѣемъ Волковымъ. Карлсруэ, въ придворной типографіи Б. Госнера. Печ. позв. 7 февр. 1857 г. Цензоръ Б. Бекетовъ».

отецъ и три сына управляли огромными имѣніями Нарышкиныхъ и Перовскихъ и слыли въ свое время за честныхъ людей и за хорошихъ хозяевъ. Теперь здѣсь опять нужно упомянуть о двухъ изъ этихъ Шкотовъ.

Александръ Яковлевичъ Шкотъ,—сынъ «стараго Шкота» (Джемса), послѣ котораго у Перовскаго служили Веригинъ и извѣстный «аболяціонистъ» Журавскій,—многократно разсказывалъ, какія хлопоты перенесъ его отецъ, желая научить русскихъ мужиковъ пахать землю какъ слѣдуетъ, и отъ какихъ, повидимому, неважныхъ и пустыхъ причинъ всѣ эти хлопоты не только пропали безъ всякой пользы, но еще едва не сдѣлали его виноватымъ въ преступленіи, о которомъ онъ никогда не думалъ.

Старый Шкотъ какъ пріѣхалъ въ Россію, такъ увидѣлъ, что русскіе мужики пашутъ скверно, и что если они не станутъ пахать лучше, то земля скоро выпашется и обезсилѣетъ. Это предсказаніе было сдѣлано не только для орловскаго неглубокаго чернозема, но и для дѣвственной почвы степей, которыя теперь заноситъ песками *). Предвидя это огромное и неминуемое бѣдствіе, Шкотъ захотѣлъ вывести изъ употребленія дрянныя русскія сохи и бороны и замѣнить ихъ лучшими орудіями. Онъ надѣялся, что когда это удастся ему въ имѣніяхъ Перовскаго, тогда Перовскій не откажется ввести улучшеніе во всѣхъ подвѣдомыхъ ему удѣльныхъ имѣніяхъ, и дѣло получитъ всеобщее примѣненіе.

Перовскій, кажется, говорилъ объ этомъ съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ и въ очень хорошемъ расположеніи духа, прощаясь въ Москвѣ со Шкотомъ, сказалъ:

— Поѣзжайте съ Богомъ и начинайте!

Дѣло заключалось въ слѣдующемъ.

По переселеніи орловскихъ крестьянъ съ выпаханныхъ ими земель на дѣвственный черноземъ въ нижнемъ Поволжьѣ, Шкотъ рѣшился здѣсь отнять у нихъ ихъ «Гостомысловы ковырялки» или сохи и пріучить пахать легкими пароконными плужками Смайля; но крестьяне такой перемѣны ни за что не захотѣли и крѣпко стояли за свою «ковырялку» и за бороны съ деревянными клещами. Крестьяне, выведенные сюда же изъ малороссійской Украйны,

*) См. статью Вл. Соловьева «Бѣда съ востока».

умѣли пахать лучше орловцевъ; но тяжелые малороссійскіе плуги требовали много упряжныхъ воловъ, которыхъ налицо не было, потому что ихъ истребилъ падежъ.

Тогда Шкотъ выписалъ три пароконные плужка Смайля, и чтобы ознакомить съ ними пахарей, взялся за одинъ изъ нихъ самъ, къ другому поставилъ сына своего Александра, а къ третьему—ловкаго и смышленаго крестьянскаго парня. Всѣ они стали разомъ на равныхъ постатяхъ, и дѣло пошло прекрасно. Крестьянскій парень, пахавшій третьимъ плугомъ, какъ человѣкъ молодой и сильный, сразу же опахалъ обоихъ англичанъ — отца и сына, и получилъ награжденіе и *снасть одобрилъ*. Затѣмъ къ плужкамъ попеременно допускались разные люди, и всѣ находили, что «снасть способна». Къ году на этомъ участкѣ пришелъ хорошій урожай, и случилось такъ, что въ этомъ же году представилась возможность показать все дѣло Перовскому, который «слѣдовалъ» куда-то въ сопровожденіи какихъ-то особъ.

Извѣстно, что графъ былъ человѣкъ просвѣщенный и имѣлъ характеръ благородный. За это за нимъ было усвоено прозваніе «рыцарь».

Шкотъ, встрѣтивъ владѣльца, вывелъ предъ лицо его пахарей и поставилъ рядомъ русскую соху-«ковырялку», тяжелый малороссійскій плугъ, запряженный въ «пять супруговъ воловъ», и легкій «способный» смайлевскій плугъ на парѣ обыкновенныхъ крестьянскихъ лошадокъ. Стали немедленно дѣлать пробу пашни.

Пробныя борозды самымъ нагляднымъ образомъ показали многостороннія преимущества смайлевскаго плужка не только передъ великорусскою «ковырялкою», но и передъ тяжелымъ малороссійскимъ плугомъ. Перовскій былъ очень доволенъ, пожалъ не одинъ разъ руку Шкоту и сказалъ ему:

— Сохѣ сегодня конецъ: я употреблю всѣ усилія, чтобы немедленно же замѣнить ее плужками во всѣхъ удѣльныхъ имѣніяхъ.

А чтобы еще болѣе поддержать авторитетъ своего англичанина, онъ, развеселясь, обратился къ «хозяевамъ» и спросилъ, хорошо ли плужокъ пашетъ.

Крестьяне отвѣтили:

— Это какъ твоей милости угодно.

— Знаю я это; но я хочу знать *ваше мнѣніе*: хорошо или нѣтъ такимъ плужкомъ пахать?

Тогда изъ середины толпы вылѣзъ какой-то плѣшивый старикъ малороссійской породы и спросилъ:

— Гдѣ сими плужками пашутъ (или орутъ)?

Графъ ему разсказалъ, что пашутъ «сими плужками» въ чужихъ краяхъ, въ Англіи, за границею.

— То значится въ німцахъ?

— Ну, въ нѣмцахъ!

Старикъ продолжалъ:

— Это вотъ значится у тѣхъ, що у насъ хлѣбъ купуютъ?

— Ну да,—пожалуй, у тѣхъ.

— То добре!.. А тильки якъ мы станемъ сими плужками пахать, то гдѣ тогда мы будемъ себѣ хлѣбъ покупать?

Вышло «табло», и просвѣщенный умъ Перовскаго не зналъ, какъ отшутить мужику его шутку. И всѣ бывшія при этомъ случайныя особы схватили этотъ «замысловатый отвѣтъ крестьянина» и, къ несчастью, не забыли его до Петербурга; а въ Петербургѣ онъ получилъ огласку и надоѣлъ Перовскому до того, что когда императоръ по какому-то случаю спросилъ:—«А у тебя все еще англичанинъ управляетъ?» то Перовскій подумалъ, что дѣло опять дойдетъ до «остроумнаго отвѣта», и на всякій случай предпочелъ сказать, что англичанинъ у него болѣе уже не управляетъ.

Государь на это замѣтилъ: «то-то!» и болѣе объ этомъ не говорилъ; а Перовскій, возвратясь домой, написалъ Шкоту, что онъ долженъ оставить степи, и предложилъ устроить его иначе.

Честный англичанинъ обидѣлся; забралъ съ собой плужки, чтобъ они не стояли на счету экономіи, и уѣхалъ.

Дѣло «ковырялки» было выиграно и въ такомъ положеніи остается до сего дня.

Смайлевскіе плужки, которыми старый Шкотъ хотѣлъ научить пришедшихъ съ выпаханныхъ полей переселенцевъ «воздымать» тучныя земли ихъ новаго поселенія на заволжскомъ просторѣ, я видѣлъ въ пятидесятыхъ годахъ въ пустомъ каменномъ сараѣ села Райскаго, перешедшаго къ Александру Шкоту отъ Ник. Ал. Всеволожскаго.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Шутъ Севацкой.

Всеволожскій тоже интересный человѣкъ своего времени. Для большинства его современниковъ онъ былъ знаменитъ только какъ безумный мотъ, который прожилъ въ короткое время огромное состояніе; но въ немъ было и другое, за что его можно помянуть добромъ.

Онъ жилъ какъ будто въ какомъ-то изступленіи или въ чаду, который у него не проходилъ до тѣхъ поръ, пока онъ не преобразился изъ милліонера въ нищаго. Личная роскошь Всеволожскаго была чрезвычайна. Онъ не только выписывалъ себѣ и своей супругѣ (урожденной Клушиной) всѣ туалетныя вещи и платья «прямо изъ Парижа», но къ нему оттуда же должны были спѣшно являться въ Пензу французскіе рыбы и деликатесы, которыми онъ угощалъ кого попало. Онъ одинаково кормилъ деликатесами и тогдашняго пензенскаго губернатора Панчулидзева («меломана и звѣря»), и приказныхъ его канцеляріи, и дворянскихъ сошекъ, изъ которыхъ многіе не умѣли положить себѣ на тарелки то, что̀ имъ подносили. Пожилой буфетчикъ Всеволожскаго, служившій послѣ его разоренія у другихъ такихъ же, какъ Всеволожскій, обстоятельныхъ людей (Данилевскаго и Савинскаго), говорилъ:

— Бывало, подаешь засѣдателю Б. французскій паштетъ, а у самого слезы на рукавъ фрака падаютъ. Видѣть стыдно, какъ онъ все расковыряетъ, а взять не умѣетъ. И шепнешь ему, бывало: — «Ваше высокородіе! Не угодно ли я вамъ лучше икорки подамъ?» А онъ и самъ радъ: «Сдѣлай милость,—говоритъ,—я икру обожаю!»

Гостей этого рода часто нарочно спаивали, связывали, раздѣвали, живыхъ въ гробы укладывали и нагихъ бабъ надъ ними стоять ставили, а потомъ кидали имъ что-нибудь въ награду и изгоняли. Это дѣлали всѣ или почти всѣ, и Всеволожскій грѣшенъ такими забавами, можетъ-быть, даже меньше, чѣмъ другіе. Но Всеволожскій ввелъ ересь: онъ сталъ заботиться, чтобы его крестьянамъ въ селѣ Райскомъ было лучше жить, чѣмъ они жили въ орловской губерніи, откуда ихъ вывели. Всеволожскій приготовилъ къ ихъ приходу на новое мѣсто цѣлую «каменную деревню».

О такихъ чистыхъ и удобныхъ помѣщеніяхъ и помышлять не могли орловскіе крестьяне, всегда живущіе въ безтрубныхъ избахъ. Всѣ дома, приготовленные для крестьянъ въ новой деревнѣ, были одинаковой величины и сложены изъ хорошаго прожженаго кирпича, съ печами, трубами и полами, подъ высокими черепичными крышами. Выведенъ былъ этотъ «порядокъ» въ линію на горномъ берегу быстраго ручья, за которымъ шелъ дремучій боръ съ заповѣдными и «клейменными» въ петровское время «мачтовыми» деревьями изумительной чистоты, прямизны и роста. Въ этомъ бору было такое множество дичи и звѣрья и такое изобиліе всякой ягоды и бѣлыхъ грибовъ, что казалось, будто всего этого вѣкъ ѣсть и не переѣсть. Но орловскіе крестьяне, пришедшіе въ это раздолье изъ своей тѣсноты, гдѣ «курицу и тае выпустить некуда», какъ увидали «каменную деревню», такъ и уперлись, чтобы не жить въ ней.

— Это, молъ, что̀ за выдумка! И дѣды наши не жили въ камени, и мы не станемъ.

Забраковали новые дома и тотчасъ же придумали, какъ имъ устроиться въ своемъ вкусѣ.

Благодаря чрезвычайной дешевизнѣ строевого лѣса, здѣсь платили тогда за избяной срубъ отъ 5 до 11 рублей. «Переведенцы» сейчасъ же «изъ послѣднихъ силъ» купили себѣ самые дешевенькіе срубцы, приткнули ихъ гдѣ попало, «на задахъ», за каменными жильями, и стали въ нихъ жить безъ трубъ, въ тѣснотѣ и копоти, а свои просторные каменные дома опредѣлили «ходить до вѣтру», что̀ и исполняли.

Не прошло одного мѣсяца, какъ всѣ домики прекрасной постройки были загажены, и новая деревня воняла такъ, что по ней нельзя было проѣхать безъ крайняго отвращенія. Во всѣхъ окнахъ стекла были повыбиты, и оттуда валилъ смрадъ.

По учрежденіи такого порядка, на всѣхъ подторжьяхъ и ярмаркахъ люди сообщали другъ другу съ радостью, что «райскіе мужики своему барину каменную деревню всю запакостили».

Всѣ отвѣчали:—Такъ ему и надо!

— Шутъ этакой: что̀ выдумалъ!

— Вали, вали ему на голову; вали!

За что они на него злобствовали, — этого, я думаю, они и сами себѣ объяснить не могли; но только они какъ ощетинились, такъ и не приняли себѣ ни одного его благодѣянія. Онъ, напримѣръ, построилъ имъ въ селѣ общую баню, въ которую всѣмъ можно было ходить мыться, и завелъ школу, въ которой хотѣлъ обучать грамотѣ мальчиковъ и дѣвочекъ; но крестьяне въ баню не стали ходить, находя, что въ ней будто «ноги стынутъ», а о школѣ шумѣли: зачѣмъ нашимъ дѣтямъ умнѣе отцовъ быть?

— Мы-ли-де своимъ дѣтямъ не родители: наши ли сыновья не пьяницы!

Дворяне этому радовались, потому что если бы райскіе крестьяне приняли благодѣянія своего помѣщика иначе, то это могло послужить вреднымъ примѣромъ для другихъ, которые продолжали жить какъ обры и дулѣбы, «образомъ звѣринымъ».

Такого соблазнительнаго примѣра, разумѣется, надо было остерегаться.

Когда «райскій баринъ» промотался и сбѣжалъ, его каменное село перешло съ аукціоннаго торга къ двумъ владѣльцамъ, изъ которыхъ, по волѣ судьбы, одинъ былъ Александръ Шкотъ — сынъ того самаго Джемса Шкота, который хотѣлъ научить пахать землю хорошими орудіями *). Переходъ этотъ состоялся въ началѣ пятидесятыхъ годовъ. Тогда мужики въ Райскомъ все «севацкое» уже «обгадили на отдѣлку», а сами задыхались и слѣпли въ «куренкахъ». Ѳ. Селивановъ въ своей части села Райскаго оставилъ мужиковъ въ куренкахъ, но Шкотъ не могъ этого переносить. Онъ не былъ филантропъ и смотрѣлъ на крестьянъ прямо какъ на «рабочую силу»; но онъ берегъ эту силу и сразу же учелъ, что потворствовать мужичьей прихоти нельзя, что множество слѣпыхъ и удушныхъ приносятъ ему большой экономическій ущербъ. Шкотъ сталъ уговаривать мужиковъ, чтобы они обчистили каменные дома и перешли въ нихъ жить; но мужики взъерошились и объявили, что въ тѣхъ домахъ жить нельзя. Имъ указали на дворовыхъ, которые жили въ каменныхъ домахъ.

---

*) Другая половина Райскаго была пріобрѣтена Ѳед. Ив. Селивановымъ.

— Мало ли что подневольно дѣлается, — отвѣчали крестьяне: — а мы не хотимъ. Въ каменномъ жить, это все равно что острогъ. Захотѣлъ перегонять, такъ ужъ лучше пусть прямо въ острогъ и сгонитъ: мы всѣ и пойдемъ въ острогъ...

Отъ убѣжденій перешли къ наказаніямъ и кого-то высѣкли, но и это не помогло; а Шкоту черезъ исправника Мура (тоже изъ англичанъ) было сдѣлано отъ Панчулидзева предупрежденіе, чтобы онъ не раздражалъ крестьянъ.

Шкотъ осердился и поѣхалъ къ губернатору объясняться, съ желаніемъ доказать, что онъ старался сдѣлать людямъ не злое, а доброе, и если наказалъ одного или двухъ человѣкъ, то «безъ жестокости», тогда какъ всѣ безъ исключенія наказываютъ безъ милосердія; но Панчулидзевъ держалъ голову высоко и не дозволялъ себѣ ничего объяснять. Съ Шкотомъ онъ былъ «знакомъ по музыкѣ», такъ какъ Шкотъ хорошо игралъ на віолончели и участвовалъ въ губернаторскихъ симфоническихъ концертахъ; но тутъ онъ его даже не принялъ.

Шкотъ написалъ Панчулидзеву дерзкое письмо, котораго тотъ не могъ никому показать, такъ какъ въ немъ упоминалось о прежнихъ сношеніяхъ автора по должности главноуправляющаго имѣніями министра, перечислялись «дары» и указывались такія дѣла, «за которыя человѣку надо бы не губерніей править, а сидѣть въ острогѣ». И Панчулидзевъ снесъ это письмо и ничего на него не отвѣтилъ. Письмо содержало въ себѣ много правды и послужило матеріаломъ для борьбы Зарина, окончившейся смѣщеніемъ Панчулидзева съ губернаторства. Но тогда еще въ Загонѣ не вѣрили, что что-нибудь подобное можетъ случиться и расшевелить застоявшееся болото.

Смѣлѣе прочихъ сторону губернатора поддерживалъ дворянскій предводитель, генералъ Араповъ, о которомъ тоже упоминалось въ письмѣ, какъ о нестерпимомъ самочинцѣ. А генералъ Араповъ, въ свою очередь, былъ славенъ и жилъ широко; въ его домѣ на Лѣкарской улицѣ былъ «открытый столъ» и самыя злыя собаки, а при столѣ были свои писатели и поэты. Отсюда на Шкота пошли пасквили, а вслѣдъ затѣмъ въ Пензѣ была получена брошюра о томъ, какъ у насъ въ Россіи все хорошо и просто и все сообразно нашему климату и вкусамъ и привычкамъ нашего добраго

народа. И народъ это понимаетъ и цѣнитъ и ничего лучшаго себѣ не желаетъ; но есть пустые люди, которые этого не видятъ и не понимаютъ и выдумываютъ не-знать для чего самыя глупыя и смѣшныя выдумки. Въ примѣръ была взята курная изба и показаны ея разнообразныя удобства: кажется, какъ будто она и не очень хороша, а на самомъ дѣлѣ, если вникнуть, то она и прекрасна, и жить въ ней гораздо лучше, чѣмъ въ бѣлой, а особенно ее совсѣмъ нельзя сравнить съ избой каменной. Это вотъ гадость ужъ во всѣхъ отношеніяхъ! Въ куренкѣ топлива идетъ мало, а тепло какъ у Христа за пазухой. А въ воздухѣ чувствуется легкость; на широкой печи въ ней способно и спать, и отогрѣться, и онучи и лапти высушить, и веретье оттаять, и нечисть изъ курной избы бѣжитъ, да и что теленокъ съ овцой насмердятъ,—во время топки все опять дверью вонъ вытянетъ. Гдѣ же и какъ можно все это сдѣлать въ чистой горницѣ? А главное, что въ курной избѣ хорошо — это *сажа!* Ни въ какомъ другомъ краю теперь уже нѣтъ «черной, лоснящейся сажи» на стѣнахъ крестьянскаго жилища,— вездѣ «это потеряно», а у насъ еще есть! А отъ сажи не только никакая мелкая гадь въ стѣнѣ не водится, но эта сажа имѣетъ очень важныя врачебныя свойства, и «наши добрые мужички съ великою пользою могутъ пить ее, смѣшивая съ нашимъ простымъ, добрымъ русскимъ виномъ».

Словомъ — въ курной избѣ, по словамъ брошюры, было цѣлое угодье.

«Русская партія» торжествовала побѣду; ничего новаго не надо: надо жить по старинѣ, — въ куренкѣ и лѣчиться сажею.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Лѣченье сажей.

Англичанинъ смѣялся.

— Мало имъ, что люди въ этой сажѣ живутъ и слѣпнутъ, — они еще хотятъ обучить ихъ пить ее съ водкою! Это преступленіе!

Шкотъ самъ умѣлъ стряпать брошюры,—это ихъ англичанская страсть, — и онъ поѣхалъ въ Петербургъ, чтобы напечатать, что крестьяне слѣпнутъ и наживаютъ удушье отъ курныхъ избъ; но напечатать свою брошюру о томъ, что крестьяне слѣпнутъ, ему не удалось, а противная партія,

случайно или нѣтъ, была поддержана въ листкѣ, который выходилъ въ Петербургѣ «подъ гербомъ» и за подписью редактора Бурнашова *).

Раченіемъ Бурнашова почти одновременно вышли двѣ хозяйственныя брошюры: одна «О благотворномъ врачебномъ дѣйствіи коры и молодыхъ побѣговъ ясенева дерева», а другая «О цѣлебныхъ свойствахъ лоснящейся сажи». Исправники и благочинные должны были содѣйствовать распространенію этихъ полезныхъ брошюръ.

Въ брошюрѣ о ясени сообщалось, что этимъ деревомъ можно обезопасить себя отъ ядовитыхъ отравъ и укушеній гадами. Стоило только имѣть при себѣ ясеневую палочку— и можно легко узнавать, гдѣ есть въ землѣ хорошая вода; щелокомъ изъ ясеневой коры стòитъ вымыть ошелудивѣвшихъ дѣтей, и они очистятся; золою хорошо парить зачесы въ хвостахъ у лошадей. Овцамъ въ овчарню надо было только ставить вѣтку ясеня, и овцы ягнились гораздо плодущѣе, чѣмъ безъ ясеня. Бабамъ ясень унималъ кровотокъ и еще дѣлалъ много другихъ вещей, про которыя черезъ столько лѣтъ трудно вспомнить. Но избяная «лоснящаяся сажа» превозносилась еще выше.

Въ брошюрѣ о сажѣ, которая была гораздо объемистѣе брошюры о ясени, утвердительно говорилось, что ею, при благословеніи Божіемъ, можно излѣчивать почти всѣ человѣческія болѣзни, а особенно «болѣзни женскаго пола». Нужна была только при этомъ сноровка, какъ согребать сажу, т. е. скрести ее сверху внизъ, или снизу вверхъ. Отъ этого измѣнялись ея медицинскія свойства: собранная въ одномъ направленіи, она поднимала опавшее, а взятая иначе, она опускала то, что̀ надо понизить. А получать ее можно было только въ русскихъ курныхъ избахъ и нигдѣ иначе, такъ какъ нужна была сажа *лоснящаяся*, которая есть только въ русскихъ избахъ, на стѣнахъ, натертыхъ мужичьими потными загорбками. Пушистая же или лохматая сажа цѣлебныхъ свойствъ не имѣла. На Западѣ такого

*) Владиміръ Петр. Бурнашовъ скончался недавно въ Маріинской больницѣ, въ Петербургѣ, въ возрастѣ очень преклонномъ. Въ послѣдніе годы жизни сотрудничалъ въ изданіяхъ гг. Каткова и Комарова. Оставилъ много автобіографическихъ замѣтокъ, изъ которыхъ было напечатано извлеченіе въ «Историческомъ Вѣстникѣ». По словамъ его, вращаясь въ литературныхъ кружкахъ, онъ иногда служилъ и не однѣмъ литературнымъ потребностямъ.

добра уже нѣтъ, и Западъ придетъ къ намъ въ Загонъ за нашею сажею, и отъ насъ будетъ зависѣть дать имъ нашей копоти или не давать; а цѣну, понятно, можемъ спросить какую захотимъ. Конкурентовъ намъ не будетъ.

Это говорилось въ-серьезъ, и сажа наша прямо приравнивалась къ ревеню и калганному корню, съ которыми она станетъ соперничать, а потомъ убьетъ ихъ и сдѣлается славой Россіи во всемъ мірѣ.

Загонъ былъ доволенъ: осатанѣлые и утратившіе стыдъ и смыслъ люди стали расписывать, какъ лѣчиться сажею. «Лоснящуюся сажу» рекомендовалось разводить въ винѣ и въ водѣ и принимать ее внутрь людямъ всѣхъ возрастовъ, а особенно дѣтямъ и женщинамъ. И кто можетъ отважиться сказать: сколькимъ людямъ это стоило жизни! Но тѣмъ не менѣе, брошюра о сажѣ имѣла распространеніе.

Радовались, что не послушались затѣйниковъ и уберегли свои избы; а затѣйниковъ бранили и порочили и припоминали ихъ въ большомъ числѣ, перемѣшивая умныхъ съ безумными: Сперанскаго съ Всеволожскимъ.

— Помилуй Богъ, если бы имъ тогда волю дали! Что бы они надѣлали!

На губернскихъ балахъ той самой баснословной пензенской знати, которая столь обмелѣла, что кичилась своею «араповщиной», — между безстыжими выходками всякой пошлости прославляли «умъ и чуткость русскаго земледѣльца», который не захотѣлъ жить въ *чистомъ домѣ*. При этомъ разоренный и отсутствующій Всеволожскій всякій разъ былъ осмѣиваемъ, и ни одному изъ благородныхъ людей, ѣвшихъ его деликатесы, не пришло въ голову отыскать его на мостовой, для которой онъ билъ камни, и отдать ему хоть частицу тѣхъ денегъ, которыя у него были заняты.

Но его еще хотѣли сдѣлать посмѣшищемъ на вѣчныя времена.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Всевозможные бетизы.

Нѣкто С., ничтожный «человѣкъ высокаго происхожденія по боковой линіи», замѣчательный удивительнымъ сходствомъ съ Ноздревымъ и также членъ и душа общества, напившись предводительскаго вина, подалъ мысль собрать

«музей бетизовъ» Всеволожскаго, чтобы всѣ видѣли, *«чего въ Россіи не нужно»*.

Бетрищеву это понравилось, и онъ хохоталъ и обѣщалъ не пожалѣть тысячи рублей, чтобы такой «музей бетизовъ» былъ устроенъ.

Тысячъ у него было много!

Вспомнили все, что надо почитать за «бетизы». Набиралось много: Всеволожскій не только построилъ каменныя жилыя помѣщенія для крестьянъ, но онъ выписалъ для нихъ плуги, жнеи, вѣялки и молотилки отъ Бутенопа; онъ завелъ школу и больницу, кирпичедѣлательную машину и первый мѣдный ректификаторъ Шварца, на винномъ заводѣ. Съ ректификаторомъ еще пошли осложненія: крестьяне въ этомъ ректификаторѣ забили трубки, и въ пріемникъ полилась вонючая и теплая муть вмѣсто спирта, а на кордѣ рабочіе быки, пригнанные хохлами для выкормки ихъ бардою, пришли въ бѣшенство, оттого что они напились пьяны, задрали хвосты, бодались и перекалѣчили другъ друга почти наполовину.

Всеволожскій заплатилъ хохламъ за погибшихъ отъ опойства и драки быковъ, и еще приплатилъ, чтобы не говорили о происшедшемъ у него на заводѣ скандалѣ.

Этого нельзя было «скупить» и выставить, но это положили заказать написать на картинѣ живописцу Петру Соколову: «онъ, правда, беретъ дорого, но онъ свой братъ дворянинъ и съ нимъ можно поторговаться».

«Бетизы» Ноздревъ обѣщалъ свезти въ Пензу; но, выѣхавъ съ генеральскими деньгами въ Райское, Ноздревъ остановился перемѣнить лошадей у мордвина въ с. Чемодановкѣ, которая тогда принадлежала сыну знаменитаго военнаго историка Михайловскаго-Данилевскаго, Леониду, а этотъ дворянинъ имѣлъ обыкновеніе приглашать къ себѣ проѣзжающихъ, угощалъ ихъ и игралъ съ ними въ карты. И Ноздревъ въ силу этого обычая тоже былъ приглашенъ черезъ верхового посланца къ чемодановскому барину и тамъ «потерялъ деньги» и уже ни въ Райское не поѣхалъ, ни въ Пензу не возвратился, а отбылъ домой, пока дѣло о бетизахъ придетъ въ забвеніе.

«Бетизы» долежались въ Райскомъ до Шкота. Онъ мнѣ ихъ показывалъ, и я ихъ видѣлъ, и это было грустное и глубоко терзающее позорище!.. Все это были хорошія, по-

лезныя и крайне нужныя вещи, и онѣ не принесли никакой пользы, а только сокрушили тѣхъ, кто ихъ припасъ здѣсь. И къ нимъ, къ «севацкимъ бетизамъ», Шкотъ придвинулъ свои и отцовскія — «улучшенныя орудія» и, трясясь отъ старости, тихо шамкалъ:

— Все это не годится въ Россіи.

— Вы шутите, дядя!

— Нѣтъ, не шучу. Здѣсь ничто хорошее не годится, потому что здѣсь живетъ народъ, который дикъ и золъ.

— Не золъ, дядя!

— Нѣтъ, золъ. Ты русскій, и тебѣ это, можетъ-быть, непріятно; но я сторонній человѣкъ, и я могу судить свободно: этотъ народъ *золъ;* но и это еще ничего, а всего-то хуже то, что ему говорятъ ложь и внушаютъ ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придетъ наказаніе, когда его не будете ждать!

Въ этой Пензѣ, представлявшей одно изъ самыхъ темныхъ отдѣленій Загона, люди дошли до того, что хотѣли учредить у себя все навыворотъ: улицы содержали въ состояніи болотъ, а тротуары для пѣшеходовъ устроили такъ, что по нимъ *никто* не отваживался ходить. Тротуары эти были дощатые, а подъ досками были рвы съ водою. Гвозди, которыми приколачивали доски, выскакивали, и доски спускали прохожаго въ клоаку, гдѣ онъ и находилъ смерть. Полицейскіе чины грабили людей на площади; предводительскія собаки терзали людей на Лѣкарской улицѣ въ виду самого генерала съ одной стороны и исправника Фролова — съ другой; а губернаторъ собственноручно билъ людей на улицѣ нагайкою; ходили ужасныя и достовѣрныя сказанія о насиліи надъ женщинами, которыхъ приглашали обманомъ на вечера въ дома лицъ благороднѣйшаго сословія... Словомъ, это былъ уже не городъ, а какое-то разбойное становище. И увидѣлъ Богъ, что злы здѣсь дѣла всѣхъ, и, не обрѣтя ни одного праведнаго, наслалъ на нихъ Ефима Ѳедоровича Зарина, вызвавшаго сенаторскую ревизію.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Интервалъ.

Сдѣлаемъ шагъ въ сторону, гдѣ больше свѣта.

Въ Европѣ намъ оказали непочтительность; мы увидѣли

надобность взять въ руки оружіе. Сценой дѣйствія сдѣлался нашъ Крымъ. Регулярные полки и ратники ополченія тащились на ногахъ черезъ Кіевъ, гдѣ ихъ встрѣчалъ поэтъ изъ питенцовъ кіевской духовной академіи Аскоченскій и командовалъ: «На молитву здѣсь, друзья! Кіевъ передъ вами!» А къ другимъ онъ оборачивался и грозилъ: «Не хвались, идя на рать, а идучи съ...» *).

Скоро оказалось, что тѣ, которыхъ мы уговариваемъ «не хвалиться», на самомъ дѣлѣ гораздо меньше насъ хвалятся, но, къ совершенной неожиданности, оказываются во всемъ насъ успѣшнѣе. Къ тому же вкралось много воровства, и дѣла у насъ пошли худо. Все это извѣстно и переизвѣстно, но, къ несчастію, кажется, уже позабыто. Но много любопытнаго осталось въ неизвѣстности до сихъ поръ. Въ числѣ анекдотовъ и казусовъ этого времени припоминаю, какъ въ Пензу были присланы два взятые въ плѣнъ англійскіе военные инженера, изъ которыхъ одинъ назывался Миллеръ. Говорили, будто онъ отличался знаніемъ строительнаго искусства и большимъ безстрашіемъ. Во всякомъ случаѣ, онъ былъ на лучшемъ счету у Непира. А у насъ онъ осрамилъ себя сразу и окончательно! Какъ только этого Миллера привезли—Шкотъ пошелъ навѣстить его. Сдѣлалъ онъ это, какъ землякъ, и ему это въ вину не поставилось. Онъ просидѣлъ у плѣннаго вечеръ, а на другой день англійскій инженеръ пошелъ отдать ему визитъ, но былъ такъ глупъ, что думалъ, будто надо идти по тротуару, а не посреди улицы, которая, впрочемъ, была покрыта жидкою грязью по колѣно.

Миллеръ пошелъ по пензенскимъ тротуарамъ, по которымъ въ Пензѣ *не ходили*.

И Шкотъ не сказалъ ему этого.

За это тротуарная доска спустила англійскаго инженера однимъ концомъ въ клоаку, а другимъ прихлопнула его по темени, и дѣло съ нимъ было кончено.

Это было смѣшно! Не знали только, какъ съ этимъ поступить: стыдиться или хвалиться? Въ Крыму уцѣлѣлъ отъ всѣхъ пушекъ, а въ Пензѣ доской прихлопнуло. Забавно!

А виноватъ былъ Шкотъ: онъ долженъ былъ его сразу же предупредить, что по тротуарамъ не ходятъ. Но онъ англи-

*) 15-го сентября 1893 г. этотъ стихъ полностію воспроизведенъ въ весьма извѣстной русской газетѣ.

чанинъ... онъ хитрый человѣкъ, онъ нарочно хотѣлъ создать исторію...

Старикъ Шкотъ вышелъ изъ себя и послалъ вызовъ на дуэль генералу Арапову, въ домѣ котораго это говорили.

Генералъ не отвѣчалъ, но сталъ ѣздить въ закрытой каретѣ.

Шло что-то новое: бахвальства смѣнились картинами «Изнанки крымской войны» и «Параллелями» Палимпсестова. «Параллели» особенно смутили Загонъ, такъ какъ тамъ просто, но обстоятельно было собрано на видъ, что̀ есть у насъ и что̀ въ соотвѣтствіе нашему убожеству представляетъ жизнь за окружающею нашъ Загонъ стѣною. По рукамъ у насъ пошла печатная картина, гдѣ нашъ «Загонъ» изображенъ былъ темнымъ и безотраднымъ, но крѣпко огражденнымъ китайскою стѣною. Со внѣшней стороны разные безпокойные люди старались проломать къ намъ ходы и щелочки и образовали трещины, въ которыя скользили лучи свѣта. Лучи эти кое-что освѣщали, и то, что̀ можно было разсмотрѣть—было ужасно. Но всѣ понимали, что это далеко не все, что̀ надо было освѣтить, и сразу же пошла борьба: свѣтить больше или совсѣмъ задуть свѣточъ? Являлись заботы о томъ, чтобы забить трещины, черезъ которыя къ намъ пробивался свѣтъ. Оттуда пробивали, а отсюда затыкали хламомъ, и среди затыкавшихъ выдѣлялась одна голова съ чертами знаменитаго тогдашняго современника. На картинкѣ онъ говорилъ: «Оставьте: если это отъ людей, то это исчезнетъ, а если отъ Бога, то вы свѣта остановить не можете». Почти тѣ же самыя, или по крайней мѣрѣ въ этомъ духѣ и родѣ, велъ онъ бесѣды и на самомъ дѣлѣ. Это былъ любимецъ и настоящій герой самыхъ прекрасныхъ дней въ Россіи: это былъ Пироговъ. О немъ говорили, что «онъ во время войны рѣзалъ руки и ноги, а послѣ войны приставляетъ головы». Всѣ понимали одно, что Пироговъ хотѣлъ «воспитать человѣка» и что намъ это всего нужнѣе, такъ какъ мы очень невоспитанны.

Такое чистосердечное сознаніе въ своемъ грѣхѣ свидѣтельствовало, разумѣется, о счастливой способности націи къ быстрому улучшенію. Пироговскіе «Вопросы жизни» были напечатаны въ «Морскомъ Сборникѣ» по приказанію великаго князя Константина Николаевича. Пирогову довѣрялись и его хвалили не только взрослые и умные люди,

но даже «дѣти» и, кажется, «камни». Въ февралѣ 1859 года въ Одессѣ былъ выпущенъ «Новороссійскій литературный сборникъ», издателемъ котораго былъ очень мало значащій въ литературѣ человѣкъ, А. Георгіевскій, но и онъ посвятилъ свой сборникъ «имени Н. И. Пирогова». По словамъ этого г. А. Георгіевскаго, на Пирогова «Россія должна смотрѣть съ гордостью, ибо его дѣятельность обѣщала много добра впереди». А. Георгіевскій особенно указывалъ на старанія Пирогова «вызвать въ краѣ умственную дѣятельность, главнымъ поприщемъ для которой служитъ литература» (Предисл. II). По разъясненію г. А. Георгіевскаго, это должно было идти такъ, что «дѣло самосознанія каждая мѣстность должна совершить собственными средствами, чрезъ посредство своей мѣстной литературы, ибо централизація умственной дѣятельности есть явленіе ненормальное и вредное, которое парализуетъ жизнь остальныхъ частей, стягивая всѣ силы къ одному пункту» (ibid. III). Въ сборникѣ главною статьею былъ отрывокъ Пирогова, подъ заглавіемъ «Чего мы желаемъ?» Здѣсь разсматривался вопросъ о высшемъ образованіи въ независимости отъ «одной только ближайшей цѣли» (185). Пироговъ выяснялъ, что, «преслѣдуя одно ближайшее, мы незамѣтно попадемъ въ лабиринтъ, изъ котораго трудно будетъ выбраться» (186). А «по закону противодѣйствія можетъ начаться на другой улицѣ праздникъ». Но мы такъ полны были радостей, что ничего не опасались, и, ходя по тропинкѣ бѣдствій, не ожидали послѣдствій. Удаль и бахвальство шибали въ другую сторону: на проводы Пирогова собрались «тьмы». Это дѣйствительно былъ «излюбленный человѣкъ», съ которымъ людямъ было больно и тяжело разстаться. Прощаясь съ нимъ, плакали, и одна молоденькая институтка, вскочивъ на столъ съ поломанной ножкой, громко вскрикнула: «Будьте нашимъ президентомъ!» — и сама упала вмѣстѣ со столомъ... Нѣсколько человѣкъ ее подхватили. Она была внѣ себя и все кричала «президентъ!» и жаловалась на боль въ колѣнкѣ.

Въ числѣ лицъ, суетившихся вокругъ этой юной особы, были флотскій докторъ, мичманъ и штабъ-офицеръ въ голубой формѣ. Послѣдній желалъ у нея о чемъ-то освѣдомиться, но флотскій докторъ сурово отстранилъ его и сказалъ:

— Развѣ вы не видите, что дѣвушка въ истерикѣ!

А другіе ему закричали:

— Стыдно, полковникъ, стыдно!

И полковникъ уступилъ и только спросилъ у какого-то простолюдина:

— Что̀ такое она тутъ чекотала?

А тотъ ему «неглежа» отвѣтилъ:

— Чекотала чечотка, видно чечета звала.

— Ага! — сказалъ, не обижаясь, полковникъ: — пѣтушка кличетъ!

— Разумѣется.

И въ самомъ дѣлѣ, явился пѣтушокъ, съ которымъ чечотку обвѣнчали съ удивительною поспѣшностью.

А важное дѣло образованія, которое такъ широко понималъ Пироговъ, было рѣшено «въ тонѣ полумѣръ», которыхъ всего болѣе Пироговъ опасался... Потомъ и самъ Пироговъ подпалъ осмѣянію въ передовомъ изъ тогдашнихъ журналовъ и былъ не только удаленъ отъ воспитательнаго дѣла, но, по словамъ, сказаннымъ имъ на его юбилеѣ, онъ еще «былъ оклеветанъ», и даже г. А. Георгіевскій уже не защищалъ его...

Затѣмъ Катковъ открылъ въ правительствѣ безсиліе и слабость, и сталъ пугать, что насъ «скоро отмежуютъ отъ Европы на Нарву», и что наши петербургскія генеральши будутъ этому очень рады, «потому что имъ станетъ близко ѣздить за границу». Отъ дамъ чего не станется! Опять бы имъ надвинуть на уши повойники да и разсадить ихъ по теремамъ.

Появилась и книжка съ такимъ направленіемъ, напечатанная въ Петербургѣ, а изъ Москвы и на всѣхъ вообще раздался окрикъ: «Назадъ! Домой!»

И это уже не казалось дико, а стало моднымъ словомъ.

Интервалъ проходилъ.

Появились знаменитости, какихъ нѣтъ на Западѣ и которымъ Западъ долженъ былъ позавидовать. Прослылъ въ *ученыхъ* Маклай, сочиненій котораго въ Россіи до сихъ поръ не читали; а потомъ г. Катковъ отыскалъ и проявилъ въ свѣтъ *воителя* Ашинова, «вольнаго казака», который, по мнѣнію г. Каткова, внушалъ полное довѣріе. Его поддерживали другіе знаменитые люди: Вис. Комаровъ, Вас. Аристовъ, свящ. Наумовичъ и другіе, имена кото-

рыхъ останутся навсегда связанными съ этимъ «историческимъ явленіемъ». Я его помню въ одной торжественной обстановкѣ, среди именитыхъ лицъ: рыжій, коренастый, съ круглыми, бѣгающими глазами и куцупыми руками, покрытыми веснушками... Онъ былъ превосходенъ въ своемъ родѣ. Его ассистировали Комаровъ, Аристовъ и Наумовичъ, и еще одинъ русскій поэтъ изъ чиновниковъ, и три «только-что высѣченные дома болгарина...» Его надо было оберегать, потому что ему угрожала Англія. Для этого онъ не пилъ ничего изъ бокаловъ, которые ему подавали, а хлебалъ «изъ сусѣдскаго»... Все это казалось «просто и мило». И затѣмъ уже пошла такая знаменитость, которой уже никто и не угрожалъ: выѣхалъ верхомъ казакъ и поѣхалъ, и (по отчету одного дѣтскаго журнала) только разъ одинъ ему «пришлось купить вазелину», а между тѣмъ не только ему, но и его «сивому мерину» были оказаны всѣ знаки почтенія. Если редакторъ «Petersburger Zeitung» удивилъ нѣкогда людей, съѣздивъ въ Берлинъ для того, чтобы видѣть Бисмарка и «поцѣловать рыжую кобылу», на которой тотъ былъ въ битвѣ, то наши дамы не уступали этому редактору въ чувствѣ достоинства, и... сивый меринъ тоже дождался такой же ласки, и притомъ не отъ мужчины... Вредныхъ тяготѣній къ чужеземщинѣ, которыхъ ожидалъ Катковъ, со стороны дамъ не встрѣчалось, а наоборотъ, имъ стало нравиться все простое, не попорченное цивилизаціей, даже прямо *дикое*.

Огромное множество людей вдругъ почувствовали, что они были неосторожны и напрасно позволили духу времени увлечь себя слишкомъ далеко: имъ было неловко, что они какъ будто выпятились впередъ за черту, указанную благоразуміемъ... Имъ стало стыдно и дико: что они, взаправду, за европейцы!

Кто-то припомнилъ, что и Катковъ нѣкогда говорилъ, что «нельзя насыпать на хвостъ соли Европѣ», но теперь уже ничто подобное не казалось убѣдительно. Нельзя насыпать соли — и не нужно; и пошли повороты на понятный дворъ по всѣмъ линіямъ.

И тутъ случилось въ спѣшкѣ и суматохѣ, что кое-кого напрасно сбили съ ногъ и позабыли то, чего не надо бы забывать. Забыли, какими мы явились въ Крыму неготовыми во всѣхъ отношеніяхъ и какимъ очистительнымъ

огнемъ прошла вся слѣдовавшая затѣмъ «полоса покаянія»; забыли, въ виду какихъ соображеній императоръ Александръ II торопилъ и побуждалъ дворянъ дѣлать «освобожденіе рабовъ *сверху*»; забыли даже кривосудъ старыхъ, закрытыхъ судовъ, отъ котораго страдали и стенали всѣ. Забыли все такъ скоро и основательно, какъ никакой другой народъ на свѣтѣ не забывалъ своего горя, и еще насмѣялись надъ всѣми лучшими порядками, назвавъ ихъ «припадкомъ сумасшествія».

Настало здравомысліе, въ которомъ мы ощутили, что намъ нужна опять «стѣна» и внутри ея—загонъ!

Съ тѣхъ поръ, какъ произошелъ этотъ кратко мною очерченный послѣдній оборотъ, я уже не бывалъ ни въ орловскихъ, ни въ пензенскихъ, ни въ украинскихъ деревняхъ, а вертѣлся по балтійскому побережью. Пожилъ я здѣсь въ разныхъ мѣстахъ, начиная отъ Нарвы до Полангена, и не нашелъ ничего лучше, какъ Меррекюль, выдерживающій свою старинную и почетную репутацію. Это именно тотъ первый пунктъ за Нарвою, гдѣ, по расчету Каткова, русскія генеральши захотятъ сдѣлать для себя «заграничное мѣсто». Здѣсь хорошо жить, потому что въ Меррекюлѣ очень красивое приморское положеніе, есть порядокъ, чистота, тихій образъ жизни, множество разнообразныхъ прогулокъ и изобиліе русскихъ генеральшъ. Очень любопытно видѣть, что̀ такое учреждаютъ здѣсь теперь эти почтенныя дамы, тяготѣвшія къ чужимъ краямъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Возвышенные порывы.

О Меррекюлѣ говорятъ, будто тутъ «чопорно»; но это, можетъ-быть, такъ было прежде, когда въ русскомъ обществѣ преобладала какая ни есть родовая знать. Тогда тутъ живали лѣтомъ богатые люди изъ «знати», и они «тонировали». А теперь тутъ живутъ генералы и «крупные приказные», да немножко нѣмцевъ и англичанъ, и тонъ Меррекюля сталъ мѣшанный и мутный.

Меррекюльскіе генералы, которые еще не вышли въ тиражъ, находятся бо̀льшею частью въ составѣ какихъ-нибудь сильно дѣйствующихъ центральныхъ учрежденій, и потому они обыкновенно присутствуютъ шесть дней въ

столицѣ, а въ Меррекюль пріѣзжаютъ только по субботамъ. Въ теченіе шести буднихъ дней въ Меррекюлѣ можно видѣть только самыхъ старыхъ генераловъ, въ которыхъ столица уже не ощущаетъ лѣтомъ надобности, но они не дѣлаютъ лѣта и въ Меррекюлѣ. Украшаютъ и оживляютъ мѣсто однѣ генеральши и ихъ потомство, — дѣти и внуки, которыхъ онѣ учатъ утирать носы, дѣлать реверансы и молиться рукою. Между генеральшами одна напоминаетъ мнѣ преблагословенное время юности, когда у нея не было еще ни дѣтей, ни внучатъ, и сама она была легкомысленная чечотка. Да! Здѣсь она, которая когда-то крикнула «президента» и упала подъ столъ.

Ея давній «пѣтушокъ» теперь достигъ уже всего, чего онъ могъ достичь, и въ нынѣшнемъ году выходитъ въ тиражъ. Будущимъ лѣтомъ они уже не будутъ жить въ Меррекюлѣ.

Мы едва узнали другъ друга и, конечно, не много говорили о прошломъ. Мы чувствуемъ, что мы стары и намъ некстати вспоминать, какіе мы были въ то время, когда она упала подъ столъ. Генеральша, повидимому, желаетъ поддерживать со мною знакомство, но такъ вѣжлива, что старается говорить всегда о такихъ вещахъ, которыя мнѣ не интересны. Впрочемъ, иногда она говоритъ со мною о Толстомъ, котораго она «похоронила для себя послѣ Анны Карениной». Какъ онъ «пошелъ косить»—она ему сказала: «прощай, батюшка!» Она на него, однако, «не нападаетъ, какъ другіе». — «Зачѣмъ, нѣтъ! Пускай онъ себѣ думаетъ что̀ хочетъ, но зачѣмъ онъ хочетъ это распространять. Это не его дѣло. Суворинъ его отлично... Онъ его почитаетъ и обожаетъ, а на предисловіе къ сонатѣ отлично... Не за свое дѣло и не берись. Родъ человѣческій кончаться не можетъ... Суворинъ отлично!..» На эту тему генеральша неистощима и всегда сама себѣ равна: Суворина она ставитъ высоко: «il a une bonne tête», а Толстой «геніальный умъ, но ce n'est pas sérieux, vous savez. Толстому, по-моему, одного нельзя простить, что онъ прислугу и мужчинъ портитъ. Это разстраиваетъ жизнь. У меня была честная, вѣрная служанка—и вдругъ проситъ: «пожалуйста, не приказывайте мнѣ никому говорить, что васъ дома нѣтъ, когда вы дома: я этого не могу».—Что за вздоръ такой!— «Нѣтъ-съ, говоритъ, это ложь — я лгать не хочу». И такъ

и уперлась. Чтобы не давать дурного примѣра другимъ, я должна была ее отпустить, и только тогда узнала, что эта дурочка все «посредственныя книжки» читала. Но зато теперь у меня служанка, охъ, какая лгуньи! Каждое слово лжетъ и кофе крадетъ; но надо ихъ почаще мѣнять и тогда онѣ лучше. Другое дѣло мужчины: это самый безпутный и глупый народъ на свѣтѣ, и главное, что съ ними нельзя такъ часто мѣнять, какъ съ прислугой. У нихъ на умѣ то же самое, что было у нигилистовъ, — чтобы не давать содержанія семейству; но это въ такомъ родѣ не будетъ: все останется какъ мы хотимъ».

Не знаетъ она основательно ничего или, точнѣе сказать, знаетъ только однѣ родословныя и мастерски слѣдитъ за тѣмъ, кто изъ извѣстныхъ лицъ гдѣ живетъ и въ какихъ съ кѣмъ находится короткостяхъ. Она считаетъ себя благочестивой, и ее занимаетъ распространеніе православія среди инородцевъ. Меррекюль чрезвычайно удобенъ для этого рода занятій: здѣсь есть православный храмъ, «маленькій, какъ игрушечка», много чухонъ или эстовъ, которые совсѣмъ не имѣютъ настоящихъ понятій о вѣрѣ. Среди нихъ возможны большіе успѣхи.

Прежде тутъ была только лютеранская каплица, построенная въ лѣсу. Она и теперь на своемъ мѣстѣ. Ее называютъ Waldkapelle. Она вся изъ бревенъ и крыта лучиною; въ ней есть органъ и распятіе, да на вышкѣ небольшой колоколъ. Ни внутри, ни снаружи нѣтъ никакихъ портативныхъ драгоцѣнностей. Передъ капеллою расчищена полянка, посрединѣ которой пріютилась маленькаи колонка. Это памятникъ Генту; а вокругъ, подъ большимя великолѣпными соснами, стоятъ скамейки, на которыхъ любятъ сидѣть охотники до поэтической тишины. Здѣсь прелестно читать, и этимъ пользуются немногіе любители чтенія, какіе кое-гдѣ еще остаются. Хорошо здѣсь играть и въ крокетъ, но это не позволяется. На дорожкахъ, ведущихъ къ капеллѣ, есть столбы съ надписями: «просятъ не играть въ крокетъ у капеллы». По мнѣнію нѣмцевъ, домъ молитвы надо удалить отъ шума: ему пристойна тишина. Няньки этимъ недовольны и приводятъ сюда генеральскихъ дѣтей, которыя тщательно брыкаютъ ногами въ памятникъ покойнаго владѣльца Меррекюля и стараются оборвать окружающія цоколь цѣпи. Люди бурныхъ инстинктовъ не най-

дутъ это мѣсто веселымъ; но многіе говорятъ, что здѣсь имъ «хотѣлось молиться».

Лѣтъ двадцать или больше назадъ сюда по нѣкоторымъ особаго рода обстоятельствамъ прибылъ изъ Петербурга православный священникъ Александръ Гумилевскій. Онъ былъ человѣкъ молодой, горячій и мягкосердечный, съ любовью къ добру, но безъ большой выдержанности и послѣдовательности. Онъ началъ проповѣдывать и такъ увлекся своимъ маленькимъ успѣхомъ, что счелъ себя за Боссюэта и позабылъ объ Аскоченскомъ, который тогда дѣйствовалъ въ духѣ и силѣ нынѣшняго Мещерскаго. За это неосторожный бѣднякъ былъ смѣщенъ изъ Петербурга въ Нарву, гдѣ все чрезвычайно не нравилось и ему, и его домашнимъ.

Думали, однако, что онъ еще дешево отдѣлался и что ему могло бы достаться гораздо хуже; но митрополитъ Исидоръ не любилъ портить жизнь людямъ.

Вина же Гумилевскаго состояла въ томъ, что онъ «увлекся духомъ христіанина» и вообще былъ родственъ по мыслямъ архимандриту Ѳедору Бухареву, который все хотѣлъ примирить «православіе съ современностью» и достигъ только того, что его стали называть «enfant terrible православія». Аскоченскій, какъ жрецъ, «заклалъ» его и «обонялъ воню его крови». Но архимандритъ Бухаревъ былъ умнѣе и характернѣе Гумилевскаго, и притомъ онъ былъ одинокъ въ то время, когда Аскоченскій вонзилъ ему въ грудь свой жертвенный ножъ и «бѣгалъ по стогнамъ съ окровавленной мордой». Одиночество для борца —большое удобство!

Въ Нарвѣ Гумилевскому приходилось терпѣть и отъ своихъ, и отъ чужихъ; а главное, здѣсь ему не передъ кѣмъ было говорить свои экспромпты. Русская публика въ Нарвѣ къ этому не пріучена, и жаждавшій дѣятельности молодой и дѣйствительно добрый человѣкъ почувствовалъ себя лишеннымъ самаго дорогого и пріятнаго занятія и началъ-было заниматься инымъ дѣломъ, но остановился. Въ Меррекюлѣ онъ встрѣтилъ знакомыхъ петербургскихъ генеральшъ и задумалъ съ ними построить здѣсь «маленькую, но хорошенькую православную церковь». Въ ней добрый священникъ надѣялся опять «расширить уста свои», такъ какъ онъ могъ надѣяться, что идоложертвенный Аско-

ченскій имѣетъ па кого метаться въ Петербургѣ, и, что̀ будетъ сказано за Нарвою—онъ того не услышитъ. Можно будетъ говорить самыя смѣлыя вещи, въ родѣ того, что всѣ люди на свѣтѣ имѣютъ одного общаго Отца; что ни одна національность не имѣетъ основанія и права унижать и обижать людей другой національности; что нельзя молиться о мирѣ, не почитая жизни въ мирѣ со всѣми народами за долгъ и обязанность передъ Богомъ и т. д., и т. д. Все это Гумилевскій любилъ развивать въ петербургскомъ рождественскомъ приходѣ и хотѣлъ пустить генеральшамъ въ Меррекюлѣ, что̀ и было бы кстати.

Выборъ мѣста для русской церкви въ Меррекюлѣ былъ обдуманъ «съ русской точки зрѣнія». Церковь не хотѣли прятать, какъ Вальдъ-капеллу, а напротивъ — находили, что нужно «*выдвинуть* ее на видъ». И потому ее построили при большой дорогѣ, по которой ѣздятъ въ Нарву на базаръ и къ бойнямъ, гдѣ рѣжутъ животныхъ на мясо. Церковь должна всѣмъ бросаться въ глаза: черезъ это кое-что можетъ перепадать въ кружку отъ прохожихъ и проѣзжихъ (послѣднее, однако, не оправдалось, но, можетъ-быть, только потому, что чухны очень расчетливы и скупы). Во внѣшней отдѣлкѣ русская церковь тоже превзошла Waldkapelle. Та хотя и привлекаетъ своимъ Gemüthlichkeit'омъ, но лишена всякаго блеска и въ ней даже украсть нечего. Нашу церковь покрыли бѣлою жестью и раззолотили по кантамъ. «Золото заиграло на солнцѣ», а ночью къ алтарю храма протянулъ свою дерзкую руку воръ и унесъ кое-какія цѣнности, которыя ему попались подъ руку. Потомъ это повторилось и еще разъ, а проповѣди, въ томъ духѣ, какъ предполагалъ Гумилевскій, въ этой «маленькой, но хорошенькой» церкви не послѣдовало. Гумилевскому, который надѣялся направлять курсъ новаго корабля по-своему, не пришлось этого выполнить. Его пожалѣли и возвратили въ Петербургъ въ больничную церковь «напутствовать умирающихъ», которымъ онъ могъ говорить что̀ угодно, а они могли узнавать о пользѣ его внушеній только въ новомъ существованіи. О проповѣди въ Меррекюлѣ болѣе не заботились. Меррекюльскую церковь приписали къ собору въ Нарвѣ, откуда и до сихъ поръ пріѣзжаютъ сюда священникъ и дьяконъ, служатъ вечерню и всенощную въ субботу, а на другой день обѣдню, и опять уѣзжаютъ въ Нарву.

Проповѣди не бываетъ, но хлопотъ все-таки много, и все это стòитъ порядочныхъ денегъ для ктиторской кассы крошечной церкви. Казалось, что доходъ малъ оттого, что ко всенощнымъ мало ходятъ, потому что въ это время ходятъ гулять и слушать музыку. Позаботились, чтобы подъ праздникъ на Визѣ не играла музыка; но однако это нѣмцамъ помѣшало, а церкви не помогло: гуляютъ и безъ музыки. Попробовали показать великолѣпіе и учредили крестные ходы изъ храма на Казанскую и на Спаса. Это произвело впечатлѣніе, такъ какъ такихъ религіозныхъ церемоній здѣсь еще не видали; но эстамъ не разъяснили значенія этихъ процессій, и они до сихъ поръ называютъ это тоже «гуляньемъ». Ношеніе блестящихъ на солнцѣ вещей изъ русскаго храма сдѣлало только церковь предметомъ вниманія воровъ, которые все думаютъ, что тамъ «гибель денегъ».

Явилась необходимость нанимать постояннаго сторожа на цѣлый годъ; но и при сторожѣ воры опять приходили. Чтобы спасать соблазняющее ихъ богатство, драгоцѣнности стали увозить на зиму частью въ Нарву въ соборъ, частью къ старостѣ, что тоже рискованно и не совсѣмъ законно. Но всего болѣе изнуряетъ «доставка духовенства» къ каждой службѣ, и чтобы избѣжать этого, нашли нужнымъ построить въ Меррекюлѣ *лѣтнюю поповку*.

Предпріятіе въ этомъ родѣ показываетъ, что дѣла за Нарвой шли совсѣмъ не въ томъ направленіи, какое предсказывалъ Катковъ, и впереди это будетъ доказано еще ярче.

Постройка лѣтней поповки въ Меррекюлѣ представляла затрудненія: опасались, что свои собственныя власти найдутъ это, пожалуй, излишнимъ и не велятъ строить; но можно построить домъ для *школы*, такъ, чтобы она была меньше школою, чѣмъ поповкою и сторожкою. Это сдѣлали. Построили домъ, вмѣстимостью не меньше храма, покрыли его желѣзомъ; даже загородили проходившую тутъ проѣзжую дорожку, чтобы ни конный, ни пѣшій не мѣшали дѣлать чтò нужно, и вотъ чтò придумали: завести въ этой русской школѣ такого учителя, чтобы онъ за одну учительскую плату былъ тоже церковнымъ сторожемъ, а кстати также былъ бы лѣтомъ звонаремъ, подметалъ бы церковь

и ходилъ у дьякона, у батюшекъ и у старосты на посылкахъ...

Такого учителя выражали желаніе достать для русской школы въ Меррекюлѣ, чѣмъ надѣялись и достичь большой экономіи, и пристыдить чухонъ; но прежде чѣмъ успѣли въ этомъ, пришелъ въ «собраніе прихожанъ» мясникъ Волковъ и заговорилъ для всѣхъ неучтиво и неласково, будто при постройкѣ дома для меррекюльской поповки исконный врагъ нашъ дьяволъ смутилъ строителя такъ, что онъ не могъ хорошо различать своего отъ церковнаго; словомъ, возглашено знакомое слово «воръ», и... пошло дѣло объ обидѣ...

Сказались мы и здѣсь опять въ своемъ видѣ и въ своихъ правилахъ.

Но это еще дѣло провинціальныхъ аборигеновъ: пріѣзжія генеральши сдѣлали для пропаганды гораздо больше.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Апоѳеозъ.

Побережный житель Финскаго залива хотя и суевѣренъ, но у него не тотъ жанръ въ суевѣріи, какъ у настоящаго «твердо-земнаго» русскаго человѣка. Здѣшнимъ много чего не дохватываетъ. У насъ, напримѣръ, есть блаженные и юродивые, а у здѣшнихъ этого нѣтъ, и они даже считаютъ людей подходящаго къ этому сорта за плутовъ или дураковъ. Отсюда совсѣмъ разныя отношенія къ людямъ, и что у насъ готовы признать за святость, — за то здѣсь гонятъ со двора. Въ Меррекюлѣ, какъ онъ просіялъ на свѣтѣ, никогда святыхъ не было; однако, дамы наши нашли здѣсь очень замѣчательнаго человѣка и дали ему славу.

Человѣка, о которомъ наступаетъ рѣчь, знали здѣсь съ самаго дня его рожденія. Теперь ему было около 66-ти или 67-ми лѣтъ. Имя его Ефимъ Дмитріевичъ, а фамилія Волковъ. Онъ тутъ родился и здѣсь же въ Меррекюлѣ умеръ по закончаніи лѣтняго сезона 1893 года. Всю свою жизнь онъ пьянствовалъ и разсказывалъ о себѣ и о другихъ разные вздоры. За это онъ пользовался репутаціею человѣка «пустого». Мѣстные жители не ставили его ни въ грошъ и называли самыми дрянными именами.

О прошломъ его приходилось слышать слѣдующее. Лѣтъ до двадцати онъ висѣлъ на шеѣ у родныхъ и ничего не

ніемъ. Наложили доски и лошадь вытащили, а Мифимъ увидалъ, что это ему чѣмъ-то грозитъ, и сдѣлалъ диверсію: онъ съѣхалъ отъ кузнеца и повернулъ все свое направленіе на другую стать.

До сихъ поръ онъ держался «военной линіи» и разсказывалъ о себѣ по секрету, что онъ черезъ какое-то особенное дѣло сталъ въ родѣ французской «Желѣзной маски» или византійскаго «Вылѣзарія», а послѣ исторіи съ «Талькой» онъ началъ набожно вздыхать, креститься и полушопотомъ спрашивать: «Позвольте узнать, что̀ нынче въ газетахъ стоитъ про отца Іоанна и гдѣ посѣщаетъ теперь протосвятитель арміи—Флотовъ?»

Особенно ему всегда нужно было знать: «гдѣ протосвятитель Флотовъ?» Но цѣль своей надобности онъ скрывалъ.

— Такъ, нуженъ онъ мнѣ вотъ-вотъ всего на одну на минуточку, чтобы онъ на меня взглянулъ и я могъ ему произнесть всего одно слово, и тогда увидали бы, что я не Ефимъ, а можетъ-быть,—*Эфиръ*.

Моя знакомая генеральша подала поводъ къ тому, что Мифимъ получилъ возможность причислять себя къ «церковному штату».

Когда за генеральшею въ церковь прошла ея собака, и потомъ такой случай еще разъ повторился, Мифимка предложилъ старостѣ свои услуги, чтобы ему стоять у дверей и «не пускать собакъ господъ», а староста за это чтобы платилъ полтинникъ въ мѣсяцъ.

Предложеніе было принято, и Мифимъ пришелъ съ хворостиною и прежде всего прогналъ отъ храма трехъ нищихъ старухъ и сталъ у дверей. Такимъ образомъ онъ захватилъ себѣ «привилегію нищенства».

Съ этихъ поръ онъ началъ считать себя «членомъ штата» и сталъ оказывать приходу большія услуги.

Здѣсь водится такой обычай, что передъ тѣмъ, какъ духовенство хочетъ идти со святыней, по дачамъ посылаютъ «брандера», чтобы не получать отказовъ, а заблаговременно узнать: кто приметъ, а кто не приметъ?

Мифимъ «пошелъ брандеромъ» и, идучи путемъ-дорогою, достигъ къ моей генеральшѣ, и здѣсь его такъ развезло, что онъ открылся ей, будто онъ православный священникъ,

который находится подъ ужаснымъ несчастьемъ за то, что не своею волею повѣнчалъ совсѣмъ особенную свадьбу.

Генеральша какъ услыхала объ этой свадьбѣ, такъ и ахнула. То, о чемъ она узнала, еще никому не было извѣстно.

Генеральша задыхалась отъ смѣшанныхъ чувствъ, которыя подняло въ ней это открытіе. И страхъ, и радость, и любопытство... все вмѣстѣ ее совсѣмъ одурманило; и чтобы что-нибудь сдѣлать, она бросилась къ Мифимкѣ съ раскрытыми пригоршнями и завопила:

— Батюшка, благословите!

Мифимъ сумѣлъ ее благословить, а она поцѣловала его руку.

Чтобы не оставаться одинокою при такомъ открытіи, одна генеральша сообщила свой секретъ другой, и дамы узнали, что Мифимъ есть самый удивительный «вѣнчальный батюшка». Такой человѣкъ долженъ имѣть даръ помогать. А брачныхъ надобностей такъ много.

У второй генеральши три взрослыя дочери, и ни одна изъ нихъ не выходитъ замужъ, потому что всѣ мужчины «подлецы» и «не женятся».

Вторая генеральша нашла, что Мифимово благословеніе можетъ быть имъ полезно; но Мифимъ обнаружилъ осторожность и не захотѣлъ благословлять дѣвицъ въ домѣ, при прислугѣ, а велѣлъ вывести ихъ въ лѣсъ, къ сѣннымъ стогамъ, и у стоговъ благословилъ ихъ и далъ облобызать свои руки.

И что же? Въ слѣдующую же зиму одна изъ этихъ генеральскихъ дочерей неожиданно вышла замужъ! Число охотницъ цѣловать Мифимкину руку послѣ этого умножилось; къ нему выводили дѣвицъ, и онъ ихъ благословлялъ.

Но вотъ одинъ изъ такихъ случаевъ благословенія въ лѣсу изъ-за стоговъ подглядѣли чухны и не поняли, что это такое дамы дѣлаютъ съ Мифимкой, и начали разсказывать:

— Тамы-то на него рестятся и ку ему риклятаются, а онъ таитъ та на ныхъ міется *).

Поблагословивъ дамъ прошлаго сезона, Мифимъ въ по-

*) «Дамы на него крестятся и къ нему прикладываются, а онъ стоитъ да на нихъ смѣется».

слѣднихъ числахъ августа 1893 года пошелъ въ винный погребъ негоціанта Звонкова и, испивъ «до воли», закряхтѣлъ и переселился въ вѣчность...

Одному лицу, которое съ любопытствомъ наблюдало духовную практику Мифимки, казалось, будто онъ не только благословляетъ дамъ и ихъ дочерей, которымъ «Богъ долго судьбы не даетъ», но что онъ будто бы тоже исповѣдывалъ ихъ у стоговъ и въ бортищахъ; но самъ Мифимъ энергически опровергалъ это, и я вѣрю его отрицательству. Онъ былъ человѣкъ смѣлый и даже дерзкій, но осторожный и расчетливый: называться таинственнымъ священникомъ «временъ Лориса» и благословлять—это онъ могъ, и я утвердительно могу говорить, что это онъ дѣлалъ и считалъ это за неважное, потому что «не заѣдалъ чужого хлѣба»; но исповѣдь совсѣмъ иная статья: это могло повредить Мифиму. Словомъ, хотя объ этомъ говорили, но я увѣренъ, что это неправда. Но, кажется, нѣтъ никакого сомнѣнія, что Мифимъ оказывалъ дамамъ другія услуги, благопріятныя для ихъ видовъ.

Мнѣ припоминается еще одна генеральша, большая, дебелая, тоже южной породы, съ безгранично-любящимъ материнскимъ сердцемъ и съ неукротимымъ воображеніемъ. У нея «блекла дочь», и мать виноватила въ этомъ ея мужа, еще довольно молодого и, кажется, очень порядочнаго человѣка.

— Вообразите,—говорила она:—всего четыре года какъ онъ женатъ на моей дочери, а уже манкируетъ женѣ.

Я ей отвѣтилъ, что это, кажется, иногда и лучше.

Генеральша отвергла.

— Ну, нѣтъ, извините! — воскликнула она. — Если вы это, можетъ-быть, по Толстому, то это такъ; но онъ напрасно расписывается за всѣхъ женщинъ. Можетъ-быть, такія и есть, какъ онъ высказываетъ, но для этого ихъ надо было особеннымъ образомъ изуродовать съ дѣтства. А моя дочь, какъ вы видите, это живая и полная жизни женщина, а не толстовка. О, она не толстовка! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ—не толстовка! Ею манкировать нельзя, потому что она блекнетъ. Вы видите какая она!.. Она и сама не понимаетъ, что̀ съ нею дѣлается, но она была цвѣтокъ!.. Я это и понимаю, но что же я могу сдѣлать? Ничего! Мужъ къ ней невнимателенъ и баста! И цѣлая вещь! Такихъ

негодяевъ теперь довольно много. Теперь, говорятъ, даже въ природѣ что-то такое распространяется къ тому, чтобы ничего не надо, и явилась такая порода мужчинъ, въ блузочкахъ, и ножками стучатъ и сопятъ... Тогда и видно; но вѣдь человѣка, который одѣтъ какъ всѣ, нельзя раньше знать! Неправда ли?

— Да.

— А какіе-то ученые утверждаютъ, что еще хуже будетъ. У образованныхъ мужчинъ скоро совсѣмъ ужъ не будетъ дѣтей. Переутомленіе. Вотъ ужасъ! Понимаете? Цѣлую недѣлю онъ остается въ Петербургѣ, а мы здѣсь, и онъ ничего не испытываетъ, а въ субботу ѣдетъ сюда и везетъ, болванъ, съ собою въ карманѣ новую книжку... Какое остолопство! Такіе не должны жениться. Одна моя знакомая, которая была за учеными мужьями, и всѣ они были дрянь, а теперь она вышла за казака, и говоритъ: «Повѣрьте, что настоящіе мужья—это только казаки! Пусть всѣ это знаютъ!» Я и вѣрю, потому что казакъ — это дичокъ, онъ еще не подвергался въ школѣ переутомленію и онъ всегда просто ѣстъ; у него желудокъ все варитъ, даже, прости Господи, хоть сальную свѣчку, и онъ верхомъ, въ движеньи,—и ему хочется жить, и вотъ онъ цѣнитъ присутствіе женщины... А эти еще по своей развращенности отъ служебныхъ дѣлъ ѣдутъ въ шато-кабаки и пялятъ глаза на испанокъ и цыганокъ... Но тогда зачѣмъ жена?

Генеральша ударила себя обѣими ладонями по выступамъ своего корсета и повторила:

— Забываютъ-съ, что молодая жена *хочетъ жить!* Понимаете: она *имѣетъ* право! Да; что́ вашъ Толстой ни говори, а она имѣетъ это право. И потому, когда мой зять вынимаетъ изъ своего кармана волюмъ Zola или Bourget, я дѣлаю надъ собою огромное усиліе, чтобы не закатить ему плюху. Дуракъ и подлецъ! При цыганкахъ, небось, не читаетъ, а при женѣ читать!.. Свинья! Это только для того, чтобы не оставаться съ глазу-на-глазъ съ совѣстью. А отъ этого блѣдность, отъ этого вялость и малокровіе, и суженъ, совсѣмъ уничтоженъ весь интересъ къ жизни... Это надо кончить! Зачѣмъ на бѣдныхъ женщинъ кричать adultère? Этого слова до Толстого не произносили! Если нельзя развода, то нуженъ revanche.

— Берегитесь, это можетъ услышать ваша дочь.

— И я желаю... Я ей это и говорю... Но она глупа... Или она, можетъ-быть, меня стѣсняется... Или она не понимаетъ... не говоритъ!.. О, если бы эту мысль ей вложилъ человѣкъ... который могъ бы ее успокоить, что это не важно... не важно... Потому что это не важно!..

И вотъ тутъ, можетъ-быть, Мифимъ кому-нибудь и помогъ... Онъ былъ не строгъ и могъ все *разрѣшить*.

По крайней мѣрѣ, одной дамѣ, которая имѣла къ нему вѣру и «блекла отъ невниманія», Мифимъ сообщилъ рѣшимость, воспоминаніе о которой вызывало розы на ея ланиты; а ея maman любовалась ею и шептала ей Деруледово слово:

— «Nitchevo!»

Генеральши про Мифима, вѣроятно, скоро забудутъ и найдутъ себѣ иного тамватурга; но чухны, которые хорошо знали, что̀ за человѣкъ былъ ихъ меррекюльскій Мифимъ, «міются».

ПО ПОВОДУ КРЕЙЦЕРОВОЙ СОНАТЫ.

ПОСМЕРТНЫЙ ОЧЕРКЪ.

«Всякая дѣвушка нравственно выше мужчины, потому что несравненно его чище. Дѣвушка, выходя замужъ, всегда выше своего мужа. Она выше его и дѣвушкой, и становясь женщиной въ нашемъ быту».

Л. Толстой.

I.

Хоронили Ѳедора Михайловича Достоевскаго. День былъ суровый и пасмурный. Я въ этотъ день былъ нездоровъ и съ большимъ надъ собою усиліемъ проводилъ гробъ до воротъ Невскаго монастыря. Въ воротахъ произошла большая давка. Въ тѣснотѣ раздались стоны и крики. Драматургъ Аверкіевъ показался на возвышеніи надъ толпою и что-то кричалъ. Голосъ у него былъ громкій, но разобрать словъ было невозможно. Одни говорили, что онъ учреждаетъ порядокъ, и хвалили его за это, а другіе на него сердились. Я остался въ числѣ тѣхъ, которыхъ не пропустили въ ограду, и, не видя цѣли оставаться здѣсь долѣе, возвратился домой, выпилъ теплаго чаю и уснулъ. Отъ холода и разнородныхъ впечатлѣній я чувствовалъ себя очень уставшимъ и спалъ такъ крѣпко и долго, что не всталъ къ обѣду. Обѣда мнѣ въ этотъ день такъ и не пришлось ѣсть, потому что къ суммѣ разнородныхъ впечатлѣній неожиданно прибавилось еще одно новое, весьма меня взволновавшее.

Въ густыя сумерки меня разбудила моя дѣвушка, сказавъ мнѣ, что ко мнѣ пришла какая-то незнакомая дама и не хочетъ уходить, а настойчиво проситъ, чтобы я ее принялъ. Дамскія посѣщенія къ нашему брату, пожилому писателю, вещь довольно обыкновенная. Не мало дѣвицъ и дамъ ходятъ къ намъ просить совѣтовъ для ихъ литературныхъ опытовъ, или ищутъ у насъ какого-нибудь содѣйствія въ устройствѣ ихъ дѣлъ съ незнакомыми редакціями. Поэтому приходъ дамы и даже ея настойчивость меня нисколько не удивили. Когда горе велико, а нужда неотступчива — не мудрено сдѣлаться и настойчивымъ.

Я сказалъ дѣвушкѣ, чтобы она попросила даму въ кабинетъ, и самъ сталъ приводить себя въ порядокъ. Когда я вошелъ въ свой кабинетъ, на большомъ столѣ была зажжена моя рабочая лампа. Она сильно освѣщала столъ, но комната оставалась въ полумракѣ. Незнакомая дама, сдѣлавшая мнѣ на этотъ разъ визитъ, была мнѣ, дѣйствительно, незнакома.

Когда я отыскалъ ее глазами и хотѣлъ ее просить сѣсть въ кресло, мнѣ показалось, что она какъ будто избѣгаетъ освѣщенныхъ мѣстъ комнаты и старается держаться въ тѣни. Это меня удивило. Особы, мало застѣнчивыя, неопытныя, иногда церемонятся и стѣсняются такимъ же образомъ, но удивительнѣе всего мнѣ показалось ажитированное состояніе этой дамы, которое мнѣ какъ-то чувствовалось и сообщалось. Она была одѣта прекрасно, скромно, на ней было все дорогое и изящное: прекрасное плюшевое пальто, которое она не сняла въ прихожей и въ которомъ оставалась все время, пока говорила со мной; черная изящная шляпочка, очевидно, парижской модели, а не русскаго производства, и черная вуалетка, сложенная вдвое и завязанная назади такъ, что я могъ видѣть только бѣлый, круглый подбородокъ и иногда сверканіе глазъ сквозь двойную сѣтку вуали. Вмѣсто того, чтобы назвать себя и сказать цѣль своего прихода, она начала съ того, что сказала мнѣ:

— Могу ли я разсчитывать на то, что вамъ нѣтъ никакого дѣла до моего имени?

Я отвѣчалъ ей, что она на это вполнѣ можетъ разсчитывать. Тогда она попросила меня сѣсть въ кресло передъ

лампой, безцеремонно подвинула зеленый тафтяной кружокъ на абажурѣ лампы такъ, что весь свѣтъ падалъ на меня и затемнялъ ея лицо, и сама сѣла по другой бокъ стола и снова спросила:

— Вы одинокій?

Я отвѣчалъ ей, что она не ошибается: я—одинокій.

— Могу ли я говорить съ вами совершенно откровенно?

Я отвѣчалъ ей, что если она питаетъ ко мнѣ довѣріе, то я не вижу, что̀ мѣшаетъ говорить такъ, какъ ей угодно.

— Мы здѣсь одни?

— Совершенно одни.

Дама встала и сдѣлала два шага по направленію къ другой комнатѣ, гдѣ помѣщалась моя библіотека, и за нею—спальня. Въ библіотекѣ въ это время горѣлъ матовый фонарь, при которомъ можно было видѣть всю комнату. Я не тронулся съ мѣста, но сказалъ для успокоенія дамы, что она видитъ, что у меня нѣтъ никого, кромѣ прислуги и маленькой сиротки, которая не можетъ играть никакой роли въ ея соображеніяхъ. Тогда она сѣла снова на свое мѣсто, снова подвинула зеленый кружокъ и сказала:

— Вы меня извините, я въ большомъ возбужденіи... и мое поведеніе можетъ показаться страннымъ, но имѣйте ко мнѣ состраданіе!

Рука ея, которая протягивалась опять къ тафтяному кружку на лампѣ, была обтянута въ черную лайковую перчатку и сильно дрожала. Вмѣсто отвѣта я предложилъ ей выпить воды. Она меня удержала и сказала:

— Это не нужно, я не такъ нервна, я пришла къ вамъ потому, что эти похороны... эти цѣпи... этотъ человѣкъ, который производилъ на меня такое необыкновенно сильное, ломающее впечатлѣніе, это лицо и воспоминаніе обо всемъ, что̀ мнѣ приходилось два раза въ жизни разсказывать, перепутало всѣ мои мысли. Вы не должны удивляться тому, что я пришла къ вамъ. Я разскажу вамъ, почему я это сдѣлала, — это ничего, что мы съ вами не знакомы: я васъ читала много и многое мнѣ было такъ симпатично, такъ близко, что теперь я не могу отказать себѣ въ потребности, чтобъ говорить съ вами. Можетъ-быть, то, что̀ я задумала сдѣлать, есть величайшая глупость. Я хочу

прежде спросить васъ объ этомъ, и вы должны отвѣчать искренно. Что̀ вы мнѣ посовѣтуете, я и сдѣлаю.

Ея контральтовый голосъ дрожалъ, и руки, которымъ она не находила мѣста, трепетали.

II.

Посѣщенія и приступы въ такомъ родѣ въ теченіе моей литературной жизни бывали хоть не часто, но бывали.

Болѣе свойственны они были людямъ съ политическимъ темпераментомъ, которыхъ успокоивать довольно трудно, а помогать вдвойнѣ рисковано и непріятно, тѣмъ болѣе, что въ этихъ случаяхъ всегда почти не знаешь, съ кѣмъ имѣешь дѣло. На этотъ разъ мнѣ прежде всего пришло въ голову, что эта дама также обуреваема политическими страстями, что у нея есть какой-нибудь замыселъ, который по несчастію пришло въ голову мнѣ довѣрить; вступленіе ея бесѣды имѣло много похожаго на это, и потому я неохотно сказалъ ей:

— Не знаю, о чемъ вы будете говорить. Я ничего не смѣю обѣщать вамъ, но затѣмъ, если личныя чувства ваши привели васъ ко мнѣ по довѣрію, которое внушаетъ вамъ моя жизнь и репутація, то я ни въ какомъ случаѣ не нарушу того, что̀ вы хотите мнѣ передать, очевидно, какъ тайну.

— Да, — сказала она: — какъ тайну, какъ совершенную тайну, и я увѣрена, что вы ее сохраните. Мнѣ нѣтъ нужды повторять вамъ, почему ее надо сохранить; я знаю, что̀ вы чувствуете, я не могу такъ ошибаться: лицо ваше мнѣ говоритъ лучше всякихъ словъ, и при этомъ для меня нѣтъ выбора. Повторяю вамъ, я готова сдѣлать поступокъ, который одну минуту представляется мнѣ честнымъ, и сейчасъ же представляется мнѣ грубостью: выборъ долженъ быть сдѣланъ сейчасъ, сію минуту, и это зависитъ отъ васъ.

Я не сомнѣвался, что вслѣдъ за этимъ послѣдуетъ откровеніе политическаго характера, и неохотно сказалъ:

— Я васъ слушаю.

Несмотря на двойную вуаль, я чувствовалъ на себѣ пристальный взглядъ моей гостьи, которая глядѣла на меня въ упоръ и твердо проговорила:

— Я невѣрная жена! Я измѣняю моему мужу.

Къ стыду моему долженъ сказать, что съ сердца моего

при этомъ открытіи спала великая тяжесть; о политикѣ, очевидно, не было и помину.

— Я измѣняю прекрасному, доброму мужу; это продолжается шесть... больше!..—я должна сказать правду, иначе не стòитъ говорить: — это продолжается восемь лѣтъ... и продолжается... или нѣтъ, это началось съ третьяго мѣсяца брака; позорнѣе этого нѣтъ ничего на свѣтѣ. Я не стара, но у меня дѣти, вы понимаете?

Я качнулъ утвердительно головой.

— Вы понимаете, чтò это значитъ. Два раза въ жизни, какъ къ вамъ, я приходила къ тому... кого мы хоронили и чья смерть меня всю перебpоила, призналась ему въ своихъ чувствахъ; онъ былъ разъ со мной грубъ, другой— нѣженъ, какъ другъ. Какъ это... не похоже на то состояніе, въ которомъ я къ нему приходила, и наконецъ я хочу, чтобы вы мнѣ дали тотъ совѣтъ, который мнѣ нуженъ. Хуже всего въ жизни обманъ, я это чувствую, мнѣ кажется, лучше открыть свою гадость, перенести наказаніе и быть униженной, разбитой, выброшенной на мостовую,— я не знаю, чтò можетъ со мной случиться... я чувствую непреодолимую потребность придти и все разсказать моему мужу; я чувствую эту потребность шесть лѣтъ. Между началомъ моего преступленія прошло два года, въ которые я не видала... того; затѣмъ это началось снова и идетъ попрежнему... шесть лѣтъ я собиралась сказать и не сказала, а теперь, когда я шла за гробомъ Достоевскаго, мнѣ захотѣлось кончить это, кончить сегодня такъ, какъ вы мнѣ посовѣтуете.

Я молчалъ, потому что ничего не понималъ въ этой исторіи и не могъ дать рѣшительно никакого совѣта; она это уловила на моемъ лицѣ.

— Вы, конечно, должны знать болѣе, я пришла не затѣмъ, чтобы играть въ загадки, — а говорить, такъ говорить все. Дѣло въ томъ, что я безстыдно лгала бы, если бы стала себя оправдывать. Я не знала никогда никакой нужды, я родилась въ достаткѣ и живу въ достаткѣ. Природа не отказала мнѣ въ долѣ разсудка, мнѣ дали хорошее образованіе, я была свободна дѣлать свой супружескій выборъ, слѣдовательно говорить не о чемъ; я вышла замужъ за человѣка, который ничѣмъ не испортилъ своей репутаціи до этой минуты, напротивъ... Мое положеніе

было прекрасно, когда этотъ человѣкъ... то-есть я хочу вамъ сказать: мой мужъ, мой законный мужъ... сдѣлалъ мнѣ предложеніе. Мнѣ казалось, что онъ мнѣ нравится, я думала, что могу его любить, но во всякомъ случаѣ не думала, что я могу ему измѣнить, тѣмъ болѣе измѣнить самымъ подлымъ, самымъ гнуснымъ образомъ и пользоваться репутаціей честной женщины и хорошей матери, такъ какъ я не честная и должно быть гадкая мать, а измѣну принесъ мнѣ самъ дьяволъ, — если хотите, я вѣрю въ дьявола... Въ жизни очень много зависитъ отъ обстоятельствъ; говорятъ — въ городахъ грязь, въ деревняхъ чистота; въ деревнѣ именно и случилось, потому что я была одна съ глазу на глазъ съ этимъ человѣкомъ, съ этимъ проклятымъ человѣкомъ, котораго привезъ и оставилъ на моемъ попеченіи самъ мужъ мой. Я должна бы каяться, если не безполезно раскаяніе, я должна бы каяться безконечно за этотъ поступокъ, которымъ обязана моему мужу, но дѣло въ томъ, что я не помню этого момента, я помню только грозу, страшную грозу, которой я всегда боялась съ дѣтства. Я тогда его не любила, мнѣ просто было страшно, и когда насъ озаряла молнія въ огромной залѣ, я съ испугу взяла его руку... и я снова не помню, потомъ это продолжалось... потомъ онъ ходилъ въ кругосвѣтное плаваніе, вернулся, и это опять началось: теперь я хочу, чтобы это кончилось и на этотъ разъ навсегда. Я этого хотѣла не одинъ разъ, но на это мнѣ никогда недоставало воли, чтобы это выдержать. Рѣшеніе, которое я принимала, совершенно улетучивалось черезъ часъ при его появленіи, и что хуже всего—я ничего не хочу скрывать,—не онъ, а я сама была причиной, я сама, понимаете, я сама высказывала и достигала, и злилась, если достичь этого мнѣ было трудно,—и если я буду продолжать такъ дальше, то обманъ, мое униженіе никогда не кончатся...

— Что же вы хотите сдѣлать?—спросилъ я.

— Я хочу все открыть моему мужу и хочу непремѣнно сдѣлать это сегодня, вотъ какъ выйду отъ васъ и приду домой...

Я спросилъ, каковъ ея мужъ, и что представляетъ собою его характеръ.

— Мой мужъ,—отвѣчала дама:—пользуется лучшей репутаціей, у него хорошее мѣсто и достаточно средствъ; всѣ считаютъ его честнымъ и благороднымъ человѣкомъ.

— Вы это мнѣніе раздѣляете?—спросилъ я.

— Не совсѣмъ, ему слишкомъ много приписываютъ; онъ слишкомъ даровитъ и порядоченъ, въ немъ мало того, что̀ принято называть сердцемъ, какъ ни глупо это названіе, напоминающее такъ-называемую душу музыки, но я другого не могу сказать; его сердечныя движенія всѣ правильны, опредѣленны, точны и не разнообразны.

— А тотъ, кого вы любите...

— Что̀ вы хотите о немъ сказать?

— Онъ вамъ внушаетъ уваженіе?

— О!—воскликнула дама и махнула рукой.

— Я не совсѣмъ понимаю, что̀ долженъ думать по этому движенію?

— Вы должны думать, что это самый безсердечный и дрянной эгоистъ, который никому не внушаетъ и даже не заботится внушать какое бы то ни было уваженіе.

— Вы его любите?

Она сдвинула плечами и сказала:

— Люблю. Это, знаете, странное слово, которое у каждаго на губахъ, но очень не многіе его понимаютъ. Любить все равно, что быть предназначенной къ поэзіи, къ праведности. На это чувство способны очень немногіе. Крестьянки наши вмѣсто слова любить употребляютъ слово жалѣть; онѣ не говорятъ: онъ меня любитъ; онѣ говорятъ: онъ меня жалѣетъ. Это по-моему гораздо лучше и тутъ больше простого опредѣленія; слово любить-жалѣть, значитъ: любить въ обыденномъ смыслѣ. А то есть желать; говорятъ: мой желанный, мой милый желанный... понимаете,—желать...

Она остановилась, тяжело дыша; я ей подалъ стаканъ воды, который она приняла на этотъ разъ изъ моихъ рукъ, не устранялась, и, кажется, была очень благодарна, что я не всматривался въ нее.

Мы оба молчали; я не зналъ, что̀ говорить, и у нея изсякъ весь потокъ откровенности. Очевидно, она высказала все, что̀ было крупнаго, и далѣе мелькали уже детали. Она точно угадала мою мысль и сказала тихимъ голосомъ:

— Такъ вотъ, если вы скажете мнѣ, что я должна сказать это мужу, — я такъ и сдѣлаю; но, можетъ-быть, вы можете сказать мнѣ что-нибудь другое? Кромѣ того, что

мнѣ внушаетъ симпатію и довѣріе къ вамъ, въ васъ есть практицизмъ, я ваша внимательная читательница; мы, женщины, чувствуемъ то, чего не чувствуютъ присяжные критики. Вы можете, если хотите, сказать ваше искреннее снова: должна или нѣтъ я придти и открыть мой позорный и долговременный грѣхъ моему мужу.

III.

Несмотря на занимательность исторіи, я чувствовалъ тяжелое свое положеніе. Хотя такой отвѣтъ, какой требовала моя гостья, дать гораздо легче, чѣмъ успокоить политическаго дѣятеля или оказать ему требуемую имъ услугу, но тѣмъ не менѣе совѣсть моя чувствовала себя призванной къ очень серьезному дѣлу. Я достаточно жилъ и достаточно видѣлъ женщинъ, искусно скрывавшихъ свои грѣхи въ этомъ же родѣ или не скрывавшихъ, но не сознававшихся въ нихъ. Я видалъ также двухъ-трехъ откровенныхъ женщинъ и помнилъ, что онѣ мнѣ всегда казались не столько искренними, сколько жестокими и аффектированными. Мнѣ всегда казалось, что всей этой откровенностью женщина могла бы повременить и прежде чѣмъ объявить о своемъ преступленіи тому, кого это можетъ заставить сильно страдать, хорошенько пораздумать. Мнѣ никогда не было дѣла до того, какъ относится къ чьей бы то ни было внутренней жизни свѣтъ. Не свѣтъ, а лично человѣкъ, — вотъ кто дорогъ мнѣ, и если можно не вызывать страданіе, зачѣмъ вызывать его; если женщина такой же совершенно человѣкъ, какъ мужчина, такой же равноправный членъ общества и ей доступны всѣ тѣ же самыя ощущенія, то человѣческое чувство, которое доступно мужчинѣ, какъ это даетъ понять Христосъ, какъ это говорили лучшіе люди нашего вѣка, какъ теперь говоритъ Левъ Толстой и въ чемъ я чувствую неопровержимую истину, — то почему мужчина, нарушившій завѣтъ цѣломудрія передъ женщиной, которой онъ обязанъ вѣрностью, молчитъ, молчитъ объ этомъ, чувствуя свой проступокъ, иногда успѣваетъ загладить недостоинство своихъ увлеченій, то почему же это самое не можетъ сдѣлать женщина? Я увѣренъ, что она это можетъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что число мужчинъ, измѣняющихъ женщинамъ, превышаетъ число женщинъ, и женщины это знаютъ; нѣтъ ни одной или по-

чти ни одной разсудительной женщины, которая послѣ болѣе или менѣе долгой разлуки съ мужемъ или ребенкомъ, питала бы увѣренность, что во все время этой разлуки мужъ остался ей вѣренъ. Но тѣмъ не менѣе по возвращеніи его она ему прощаетъ столь великодушно, что прощеніе ея выражается въ томъ, что она его объ этомъ даже не спрашиваетъ, и откровенность эта была бы для нея не одолженіемъ, а горемъ; это былъ бы поступокъ, который обнаружилъ то, чего она не хочетъ знать. Въ этомъ невѣдѣніи она находитъ силу продолжать свои отношенія, какъ будто они были прерваны нечаянно. Я сознаю, что въ мои соображенія входитъ гораздо больше практицизма, чѣмъ отвлеченной философіи и возвышенной морали, но тѣмъ не менѣе я склоненъ такъ думать, какъ думаю.

Въ этомъ направленіи я продолжалъ бесѣду съ моею гостьею и спросилъ ее:

— Дурныя свойства человѣка, котораго вы любите, внушаютъ къ нему какъ-нибудь неуваженіе?

— Очень сильное и очень постоянное.

— Но вы стараетесь иногда его оправдывать.

— Къ сожалѣнію, это невозможно: для него нѣтъ никакихъ оправданій.

— Тогда я позволю себѣ спросить: что же ваше негодованіе къ нему, пребываетъ ли оно постоянно въ одномъ положеніи, или оно иногда ослабѣваетъ, иногда усиливается?

— Оно постоянно усиливается.

— Теперь я спрошу васъ, — вы вѣдь позволяете мнѣ спрашивать?

— Пожалуйста.

— Въ эту минуту, когда вы сидите у меня, гдѣ вашъ супругъ?

— Дома.

— Что онъ дѣлаетъ?

— Спитъ въ своемъ кабинетѣ.

— И затѣмъ, когда онъ встанетъ?

— Онъ встанетъ въ 8 часовъ.

— И что онъ будетъ дѣлать?

Гостья улыбнулась.

— Онъ умоется, онъ надѣнетъ пиджакъ, пройдетъ къ

дѣтямъ и будетъ играть полчаса на биксѣ, потомъ подадутъ самоваръ, изъ котораго я налью ему стаканъ чаю.

— Вотъ,—сказалъ я:—стаканъ чаю, самоваръ и домашняя лампа, это прекрасныя вещи, около которыхъ мы группируемся.

— Прекрасно сказано.

— И это проходитъ болѣе или менѣе—пріятно?

— Да, для него, я думаю.

— Извините меня, въ этомъ дѣлѣ, которое вамъ угодно было раскрыть мнѣ, онъ одинъ имѣетъ право, чтобы о немъ подумать — не дѣти, которыя могутъ и должны даже этого никогда не знать, и ужъ конечно не вы... Да, не вы, потому что вы нанесли ему страданіе, между тѣмъ онъ — лицо пострадавшее. Поэтому, объ немъ надо подумать, чтобы онъ не страдалъ, и представьте себѣ, вмѣсто того, чтобы онъ, по обыкновенію, отпивъ чай, и можетъ-быть, съ уваженіемъ поцѣловавъ вашу руку...

— Ну-съ?

— И потомъ, когда онъ пойдетъ заняться дѣлами... потомъ поужинаетъ и спокойно пожелаетъ вамъ доброй ночи,— вмѣсто всего этого, онъ услышитъ ваше открытіе, изъ котораго узнаетъ, что вся его жизнь съ перваго мѣсяца, или даже съ перваго дня супружества поставлена въ такую безсмысленную рамку. Скажите мнѣ, добро или зло вы ему этимъ сдѣлаете?

— Не знаю; если бы я это знала, если бы я могла это рѣшить, то я не была бы здѣсь и не разговаривала объ этомъ. Я у васъ спрашиваю совѣта, какъ мнѣ поступить?

— Совѣта я вамъ дать не могу, но я могу сказать мнѣніе, которое во мнѣ складывается. Однако, для того, чтобы оно имѣло въ моихъ глазахъ опредѣленную форму, я еще позволю себѣ предложить вамъ одинъ вопросъ... Чувства никогда не пребываютъ въ человѣкѣ въ одномъ и томъ же положеніи... Ваше нерасположеніе къ тому ослабѣваетъ?..

— Нѣтъ, оно обостряется!

Она воскликнула это съ болью въ сердцѣ и даже какъ будто привстала и хотѣла отстраниться отъ чего-то, что̀ я видѣлъ въ моемъ воображеніи. Несмотря на то, что мнѣ не видно было ея лица, я чувствовалъ, что она ужасно

страдаетъ, и страданіе это дозрѣло до такой степени, что не могло оставаться дольше безъ развязки.

— Слѣдовательно, — сказалъ я: — вы осуждаете его все строже и строже...

— Да, чаще и чаще...

— Прекрасно,—сказалъ я:—теперь я позволю себѣ сказать вамъ, что я считалъ бы благоразумнымъ, чтобы вы, возвратившись домой, сѣли къ вашему самовару такъ, какъ вы садились къ нему прежде.

Она слушала молча; глаза ея были устремлены на меня, и я видѣлъ ихъ сверканіе сквозь вуалетку, слышалъ, какъ громко и учащенно билось ея сердце.

— Вы мнѣ совѣтуете продолжать мою скрытность?

— Не совѣтую, но думаю, что такъ будетъ лучше для васъ, для него и для вашихъ дѣтей, которыя, во всякомъ случаѣ, ваши дѣти.

— Да почему лучше? Значитъ, тянуть безконечно!

— Лучше потому, что при откровенности все было бы хуже, и безконечность, о которой вы говорите, сказалась бы еще печальнѣе того, о чемъ вы думаете.

— Моя душа очистилась бы страданіемъ.

Мнѣ казалось, что я вижу ея душу: это была душа живая, порывистая, но не изъ тѣхъ душъ, которыхъ очищаетъ страданіе. Потому я ничего не отвѣтилъ о ея душѣ и снова упомянулъ о дѣтяхъ.

Она заломила обѣ руки такъ, что пальцы ея хрустнули, и тихо поникла головой.

— И какой же будетъ конецъ этой моей эпопеѣ?

— Хорошій.

— На что̀ вы надѣетесь?

— На то, что человѣкъ, котораго вы любите, или, по вашимъ словамъ, не любите, а съ которымъ вы свыклись... станетъ вамъ день-ото-дня ненавистнѣе.

— Ахъ! онъ мнѣ и такъ ненавистенъ!

— Будетъ еще больше, и тогда..

— Я васъ понимаю.

— Я очень счастливъ.

— Вы хотите, чтобы я его бросила молча?

— Я думаю, что это былъ бы самый счастливый исходъ изъ вашего горя.

— Да, и потомъ...

— И потомъ вы... возвратите...

— Возвратить ничего невозможно.

— Виноватъ, я хотѣлъ сказать, вы удвоите вашу заботливость о вашемъ мужѣ и о вашей семьѣ; это дастъ вамъ силу не забыть, а сохранить прошлое и найти достаточно поводовъ жить для другихъ.

Она встала, — неожиданно встала, еще глубже опустила свою вуалетку, протянула мнѣ руку и сказала:

— Благодарю, я довольна тѣмъ, что послушала своего внутренняго чувства, которое сказало мнѣ придти къ вамъ, послѣ того, какъ меня взволновало ужасное впечатлѣніе похоронъ; я оттуда вернулась, какъ сумасшедшая, и какъ хорошо, что я не сдѣлала всего того, что̀ хотѣла сдѣлать. Прощайте! — она подала мнѣ опять руку и крѣпко пожала мою, какъ бы съ тѣмъ, чтобы остановить меня на томъ мѣстѣ, гдѣ мы находились. Затѣмъ она поклонилась и вышла.

IV.

Повторяю, что̀ лица этой женщины я не видѣлъ; по одному подбородку и подъ вуалью, какъ подъ маской, о ея лицѣ судить было трудно, но по фигурѣ ея у меня составилось понятіе о ея граціи, несмотря на ея плюшевое пальто и шляпку. Говорю, это была фигура изящная, легкая, необыкновенно живая и необыкновенно сильно врѣзавшаяся въ мою память.

До сихъ поръ я этой дамы никогда нигдѣ не встрѣчалъ, и по голосу ея думаю, что она не была мнѣ знакома. Говорила она своимъ непритворнымъ голосомъ, легкимъ, груднымъ контральто, очень пріятнымъ; манеры ея были изящны и можно было бы принять ее за женщину свѣтскаго круга, и еще вѣрнѣе, высшаго чиновничьяго круга, за жену директора или вице-директора департамента или въ этомъ родѣ; однимъ словомъ, эта дама была для меня незнакома и осталась незнакомою.

Послѣ похоронъ Достоевскаго и разсказаннаго мною событія прошло три года. Я зимой заболѣлъ и весною отправился на воды за границу; до вокзала желѣзной дороги меня сопровождалъ пріятель и одна моя родственница; мы ѣхали въ коляскѣ; съ нами были мои дорожныя вещи. Проѣзжая по одной изъ улицъ, прилегающихъ къ Нев-

скому проспекту, на одномъ изъ поворотовъ, у подъѣзда большого казеннаго дома, я увидалъ даму; мгновенно, несмотря на мою близорукость, я призналъ въ ней мою незнакомку. Я вовсе не былъ приготовленъ къ этому, вовсе о ней не думалъ, и потому поразительное сходство меня сильно удивило; у меня мелькнула глупая мысль встать, подойти къ ней, остановить, о чемъ-то спросить, но такъ какъ со мною были постороннія лица, то я, къ счастью моему, этого не сдѣлалъ, и воскликнулъ:

— Боже мой, это она! — и этимъ далъ моимъ спутникамъ поводъ посмѣяться.

На самомъ дѣлѣ это была она; вотъ какъ это открылось. По обычаю всѣхъ русскихъ или большинства русскихъ, я выбралъ кружный путь; прежде всего заѣхалъ въ Парижъ и пилъ воды въ іюлѣ и затѣмъ только въ августѣ появился тамъ, гдѣ мнѣ слѣдовало быть въ іюнѣ; скоро я ознакомился съ большинствомъ другихъ лѣчившихся русскихъ и всѣхъ почти зналъ, такъ что прибытіе всякаго новаго лица мнѣ было замѣтно.

И вотъ однажды, когда я сидѣлъ на скамейкѣ парка, по которому проходитъ дорога, ведущая къ вокзалу, я увидалъ коляску, въ которой помѣщались: мужчина въ свѣтломъ пальто и шляпѣ и дама въ вуали, а передъ ними сидѣлъ мальчикъ лѣтъ девяти.

И опять со мной случилось то же самое, что̀ было при выѣздѣ изъ Петербурга.

— Боже мой, это она!

Дѣйствительно, это была она.

На другой же день въ ресторанѣ парка за кофейнымъ столикомъ, я увидалъ ея благообразнаго, на испитаго мужа и ея необыкновенно красиваго ребенка. Мальчикъ былъ нѣсколько цыганскаго типа, смуглый, съ черными локонами и съ большими совершенно голубыми глазами.

Я допустилъ себѣ маленькую наглость: подкупилъ гарсона, чтобы онъ устроилъ столикъ поближе къ дамѣ; я хотѣлъ разсмотрѣть ея лицо.

Она была хорошенькая, съ довольно пріятнымъ мягкимъ, но мало значительнымъ выраженіемъ; она меня, безъ сомнѣнія, узнала, два или три раза она старалась повернуться на своемъ стулѣ такъ, чтобы мнѣ неловко было разсмотрѣть, но потомъ встала, остановилась возлѣ одной моей

знакомой дамы, поговорила съ нею, отошла въ сторону и возвратилась къ мужу.

Вечеромъ за послѣобѣденнымъ кофе на одномъ изъ сборныхъ концертовъ, моя знакомая дама, къ которой подходила новая гостья, сказала мнѣ, что она желаетъ меня представить г-жѣ Н., которая въ эту минуту мимо насъ проходила, и представленіе было сейчасъ же исполнено. Я сказалъ ей обыкновенную фразу, на которую она отвѣтила также обыкновенными словами, но въ этихъ словахъ, въ этомъ голосѣ, въ этой манерѣ я узналъ ее; это, несомнѣнно, была она, и она была настоль умна, что поняла, что я ее узналъ, рѣшила не скрываться и сдѣлаться знакомой; она могла разсчитывать на мою порядочность, на слова, которыя она мнѣ тогда говорила...

Съ тѣхъ поръ мы стали видѣться, и мы даже нѣсколько разъ дѣлали экскурсіи со знакомыми дамами и ея сыномъ. Мужъ ея какъ-то не любилъ поѣздокъ, у него болѣло колѣно, онъ прихрамывалъ и притомъ не могу разобрать, что̀ съ нимъ происходило: не то онъ тяготился женой, не то даже желалъ быть свободенъ, приволокнуться за одною, или даже можетъ-быть не за одною изъ пріѣхавшихъ дамъ сомнительныхъ репутацій. Но при всѣхъ нашихъ встрѣчахъ и разговорахъ, она никогда не сказала и не намекнула, что у меня была или что мы когда-нибудь видѣлись раньше: только я прекрасно чувствовалъ, что она и я считаемъ за несомнѣнное, что мы другъ друга понимаемъ. И вдругъ среди этого положенія представился совершенно непредвидѣнный случай.

Въ одно прелестное время поутру она не явилась сопровождать мужа къ источнику: онъ былъ къ кофе одинъ и сказалъ, что ихъ Анатолій недомогаетъ, что мать не помнитъ себя отъ горя.

Въ 8 часовъ вечера мой портье сообщилъ мнѣ страшную новость, что въ отелѣ такомъ-то умеръ ребенокъ отъ дифтерита; это, конечно, былъ сынъ моей незнакомки.

Я не принадлежу къ числу людей слишкомъ осторожныхъ и потому тотчасъ же взялъ мою шляпу и отправился въ этотъ отель; мнѣ почему-то казалось, что мужъ ея слишкомъ безучастно къ этому относится; если этотъ дифтеритный ребенокъ есть ея сынъ, то можетъ-быть моя помощь или какое-нибудь участіе на что-нибудь пригодится.

Когда я вошелъ въ отель, гдѣ занимала она номеръ... никогда не забуду того, что̀ я увидѣлъ. Тамъ было всего двѣ комнаты: въ первой, гдѣ была гостиная мебель, обитая краснымъ плюшемъ, стояла моя незнакомка съ распущенными волосами, съ остолбенѣвшими глазами; она держала обѣ руки съ растопыренными пальцами, защищая собою диванчикъ, на которомъ лежало что-то покрытое бѣлой простыней; изъ-подъ этой простыни была видна одна небольшая синяя нога; это былъ онъ — мертвецъ Анатолій. У двери стояли два незнакомыхъ мнѣ человѣка въ сѣрыхъ пальто, передъ ними былъ ящикъ, не гробъ, а ящикъ въ родѣ большого свѣчного ящика въ аршина два глубиною, до половины налитый чѣмъ-то бѣлымъ, что̀ мнѣ показалось сначала молокомъ, или крахмаломъ; спереди ихъ стоялъ полицейскій комиссаръ и бюргеръ съ какимъ-то значкомъ; они говорили громко; мужа дамы не было дома, она была одна, она только спорила, защищалась и, увидѣвъ меня, воскликнула:

— Боже мой! защитите, помогите! Они хотятъ взять ребенка, они не даютъ похоронить его; онъ умеръ сію минуту.

Я хотѣлъ заступиться, но это было совершенно безполезно, даже если бы у насъ была сила одолѣть четырехъ человѣкъ, которые безъ всякой церемоніи и довольно грубо бросили ее въ другую комнату и закрыли дверь, въ которую она напрасно съ страшнымъ стономъ стучала кулаками. Въ это время взяли ребенка, который былъ такимъ цвѣтущимъ, опустили его въ растворъ извести, тотчасъ схватили ящикъ и быстро удалились.

V.

Въ небольшихъ купальныхъ мѣстахъ и городкахъ страшно не любятъ смертныхъ случаевъ. Содержатели отелей и меблированныхъ квартиръ всемѣрно избѣгаютъ такихъ жильцовъ, здоровье которыхъ заставляетъ опасаться скорой смерти.

Ни въ одномъ изъ этихъ городовъ не допускаютъ погребальныхъ процессій и, если случится покойникъ, то его скрываютъ отъ всѣхъ постороннихъ, вывозятъ по желѣзной дорогѣ рѣшительно безъ всякаго погребальнаго обряда.

Заразныя болѣзни съ смертельнымъ исходомъ случаются

очень рѣдко, и въ той мѣстности, гдѣ умеръ сынъ моей знакомой, это былъ первый случай, и вѣсть объ этомъ распространилась между публикой съ невѣроятной быстротою и произвела страшный испугъ, особенно между дамами. Мѣстные врачи, составляющіе въ такихъ городкахъ самое важное правящее сословіе, старались успокоить возбужденные умы и, превосходя въ этомъ усердіи другъ друга, перессорились и раздѣлились на два лагеря: одни, къ числу которыхъ принадлежали и пользовавшіе ребенка два консультанта, не отрицали, что причиною смерти ребенка былъ настоящій дифтеритъ, но что противъ заразы приняты были ими всѣ мѣры, что входили къ нему въ особомъ платьѣ и что, выходя, себя тщательно дезинфецировали; двое даже изъ нихъ обрились, чтобы доказать, какъ они серьезно относятся къ дѣлу. Другіе же, въ несравненно большемъ числѣ, говорили, что случай былъ довольно сомнительный, даже съ достаточными противупоказаніями, и обвиняли своихъ коллегъ въ неосторожномъ преувеличиваніи болѣзни мальчика, отъ чего произошелъ большой и напрасный переполохъ, нарушившій спокойствіе больныхъ и угрожающій болѣе всего экономическимъ интересамъ мѣстныхъ обывателей. Эта же вторая медицинская фракція неодобрительно отзывалась о представителяхъ городской власти, которые чрезвычайно грубо и рѣзко обошлись съ госпожею Н., у которой они вырвали ребенка съ разбойническимъ насиліемъ чуть-чуть не въ минуту смерти и утопили въ известкѣ, можетъ-быть ранѣе, чѣмъ у него угасли послѣднія искры жизни. Указаніемъ на эту грубость доктора хотѣли отвлечь вниманіе публики отъ себя и направить его на другихъ лицъ, поведеніе которыхъ въ самомъ дѣлѣ представляло большую рѣзкость; но это не удалось. Эгоизмъ человѣческій, въ минуту опасности, становится особенно отвратительнымъ, и въ публикѣ совсѣмъ не находилось людей, которые обнаружили бы достаточно вниманія къ положенію несчастной матери. Ужъ если дифтеритъ, такъ церемониться нечего, и чѣмъ власти поступили рѣшительнѣе и тверже, тѣмъ лучше. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, подвергать другихъ опасности! Интересовались только тѣмъ: куда былъ высланъ ящикъ съ опаснымъ покойникомъ? И свѣдѣнія на этотъ счетъ получились довольно успокоительныя. Ящикъ былъ отвезенъ въ черное болото,

изъ котораго прежде добывали лѣчебную грязь для ваннъ. Теперь въ это болото ящикъ былъ спущенъ и въ одной изъ его глубокихъ колдобинъ затопленъ, заваленъ камнями и снова еще разъ залитъ известкой. Рѣшительнѣе и аккуратнѣе распорядиться заразнымъ трупомъ, казалось, было невозможно; но затѣмъ началась расправа съ отелемъ, изъ котораго почти все населеніе разбѣжалось, и остались только бѣдняки, которые были не въ состояніи позволить себѣ такую роскошь, чтобы бросить оплаченную впередъ за мѣсяцъ квартиру. Надо было дезинфецировать весь отель или по крайней мѣрѣ тѣ аппартаменты, которые занимало семейство Н., и прилежащее къ нимъ по бокамъ помѣщеніе; надо было тоже дезинфецировать коридоръ, по которому бѣгалъ мальчикъ, и уголъ столовой, въ которой семейство Н. вмѣстѣ кушало. Все это представляло очень значительный денежный счетъ, если не ошибаюсь, свыше 300 гульденовъ, такъ какъ мягкую мебель трехъ аппартаментовъ признано необходимымъ сжечь всю до тла, въ остальныхъ же помѣщеніяхъ перемѣнить гардины, ковры и портьеры и замѣнить ихъ новыми. По этому поводу г-ну Н. были предъявлены со стороны содержателя отеля денежныя требованія, а представители города поддерживали права содержателя отеля, который, несмотря на требуемое вознагражденіе, все-таки останется въ убыткѣ отъ случившагося происшествія, такъ какъ въ отелѣ его множество помѣщеній будутъ пустовать весь сезонъ, и на будущее время хозяинъ рискуетъ потерять кліентуру у большаго числа посѣтителей, до которыхъ дойдетъ извѣстіе, что здѣсь былъ дифтеритный случай.

Этого рода претензіи были новы для посѣтителей, и всѣхъ занимало, какъ это дѣло кончится. Одни находили, что это требованіе придирчиво, другіе же находили его правильнымъ, хотя чрезмѣрнымъ; объ этомъ повсемѣстно говорили, и г-нъ Н. сталъ интереснымъ человѣкомъ. Но удивительно, что его не боялись. Къ нему подходили, такъ какъ извѣстно было, что онъ, какъ больной человѣкъ, вышелъ изъ своего номера тотчасъ же, какъ обнаружилась болѣзнь, и не возвращался туда до смерти сына. О женѣ его не спрашивали, и ея не было видно въ теченіе нѣсколькихъ дней. Думали, что она куда-то уѣхала или же нездорова. Самъ же г-нъ Н. представлялъ большой инте-

ресъ для людей, интересовавшихся иностранными порядками. Г-нъ Н. всякій день разсказывалъ, какія къ нему предъявляютъ требованія, и что онъ на эти требованія отвѣчаетъ. Онъ не отрицалъ, что хозяинъ отеля потерпѣлъ убытки и что смерть ребенка, дѣйствительно, въ этомъ случаѣ была причиной этихъ убытковъ, но отрицалъ право произвольнаго наложенія на него платежа и не хотѣлъ ничего заплатить безъ суда.

— Положимъ, — говорилъ онъ: — я и долженъ заплатить, но мнѣ это должно быть доказано не какимъ-нибудь комиссаромъ и тремя мѣщанами, а доказано формальнымъ судомъ, которому я могу подчиняться. И кромѣ того, что значитъ такой приговоръ: заплатить. Хорошо, если я имѣю чѣмъ заплатить. Пусть берутъ мой чемоданъ и ничего больше. Вотъ ежели бы на моемъ мѣстѣ былъ бѣднякъ, я полагаю съ нимъ нечего было бы и толковать.

И всѣ были заняты мозаикой этого вопроса, и около господина Н. постоянно собирались кружки, которые разсуждали о его правахъ и окружающихъ непріятностяхъ. Дѣло, однако, скоро уладилось какъ-то мирно: городъ не захотѣлъ доводить дѣло до настоящаго суда, такъ какъ при этомъ разговоръ о дифтеритномъ случаѣ сдѣлался бы еще болѣе извѣстнымъ, а порѣшили покончить дѣло мировой сдѣлкой, по которой г-нъ Н. долженъ былъ заплатить тотъ счетъ, который представятъ дезинфекціонные подрядчики. Тѣмъ бы дѣло и кончилось, но тогда вдругъ произошло новое событіе: г-жа Н., проведя 8 дней въ большомъ номерѣ отеля, каждый день ходила къ болоту, въ которое бросили ящикъ съ тѣломъ ея ребенка, и на девятый день изъ этого путешествія не возвратилась. Ее напрасно искали: никто не видѣлъ ея, ни въ лѣсу, ни въ паркѣ; она не заходила ни къ кому изъ своихъ знакомыхъ, не пила чаю ни въ одномъ ресторанѣ, а просто исчезла, и съ нею исчезли чугунныя гири, которыми мужъ ея дѣлалъ комнатную гимнастику. Ее напрасно искали три или четыре дня, и потомъ стали высказывать подозрѣніе, что она, вѣроятно, утопилась въ томъ же болотѣ, — что потомъ, говорятъ, и было доказано, но трупъ ея, поднявшійся будто къ поверхности, былъ снова засосанъ болотомъ. Такъ она и погибла.

Это было происшествіе очень замѣчательное по своему

трагизму, по той тишинѣ, съ какой все это произошло; исчезнувшая Н. не оставила ни записки, ни какого признака своего рѣшенія покончить съ собою. Г-нъ Н. возбуждалъ къ себѣ сочувствіе многихъ; самъ онъ держался очень скромно въ холодномъ и гордомъ молчаніи; онъ говорилъ: всего бы лучше мнѣ надо уѣхать; но не уѣзжалъ потому, что собственное здоровье его было очень слабо и требовало того, чтобы лѣчебный срокъ на этихъ водахъ былъ выдержанъ.

Мое знакомство съ нимъ плохо ладилось: мы очевидно были люди несроднаго характера. Несмотря на то, что я зналъ семейную тайну, которая должна бы заставить меня относиться къ нему съ сожалѣніемъ, онъ мнѣ казался далеко противнѣе своей жены, нанесшей ему супружеское оскорбленіе. Желать сближенія съ нимъ я не имѣлъ причины, но по непонятному для меня побужденію, вдругъ онъ удостоилъ меня вниманія, и въ разговорахъ, которые между нами завязывались, очень часто и очень охотно касался памяти своей покойной жены.

Оглавленіе

XX ТОМА.

стр.

Разсказы кстати:

Интересные мужчины. 3
Таинственныя предвѣстія 61
Александритъ 91
Загадочное происшествіе въ сумасшедшемъ домѣ . . . 105
Умершее сословіе. 119
Загонъ 132
По поводу Крейцеровой сонаты 165

Stanford University Libraries
3 6105 013 495 051

891.73
L711
ed. 3a
v. 17-20

FEB 16 1978

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.